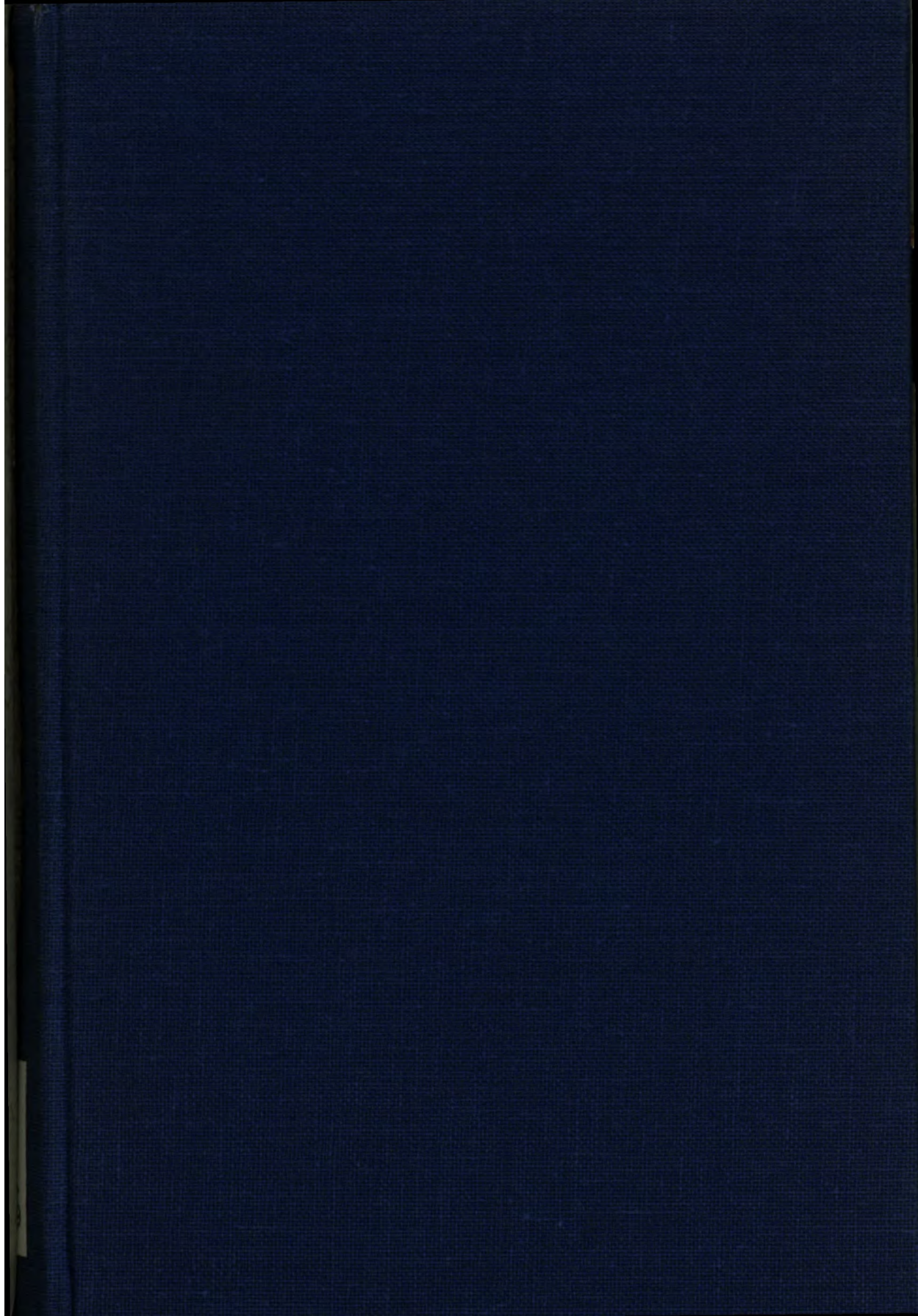






INDIANA
UNIVERSITY
LIBRARY

SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS

94/32



Published by Europe Printing Establishment

This volume was previously announced as

SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS, 265/13

a series published by Mouton Publishers, The Hague, Netherlands

(supplements Slavistic Printings and Reprintings, 94/1–11)



EUROPE PRINTING ESTABLISHMENT

VADUZ – LIECHTENSTEIN

1973

Вылос

ВЫЛОЕ

№ 27-28

1924

R.

DK 1
. B 982
New ser.
no. 27-29

INDIANA UNIVERSITY LIBRARY

Неизданные страницы записок А. М. Тургенева.

Интереснейшие записки Александра Михайловича Тургенева известны в печати в неполном и неточном издании. Они появились впервые на страницах Русской Старины 1880-х годов¹⁾; это обстоятельство не обеспечило им строгого, научного воспроизведения: отсутствие у М. И. Семевского сколько-нибудь определенных эдидиционных принципов достаточно известно. Неудовлетворительности издания этого ценного мемуарного памятника способствовали еще более цензурные условия той эпохи: ради „чопорной цензуры“ было исключено из Тургеневского повествования немало живых и интересных страниц, да и самый текст подвергся обычной редакторской обработке Семевского, стремившегося, елико возможно, смягчить резкий и злой язык Тургенева.

¹⁾ Русск. Стар. 1885, т. XLVI, № 9; т. XLVIII, №№ 10 — 12; 1886, т. XLIX, № 1; т. LII, №№ 10, 11; 1887, т. LIII, №№ 1, 2; 1889, т. LXI, № 2; т. LXII, № 4. — До январского № 1836 г. включительно записки печатались с собственноручной рукописи Тургенева, заключающей краткую редакцию их (эта рукопись была передана М. И. Семевскому внуком автора по женской линии А. С. Сомовым); с октябрьского же № того же года печатание производилось с другой, обширной собственноручной же рукописи, представляющей гораздо более подробное изложение записок Тургенева. Вот что говорит Семевский об этой рукописи, содержащей „четыре ста восемьдесят пять страниц убористого письма in-folio“: „Записки эти набросаны Александром Михайловичем по совету Ивана Васильевича Киреевского, знаменитого писателя и народника 1830-х и 1840-х годов. А. М. Тургенев был связан искреннею дружбою с Киреевским и его супругой; в годы жизни своей в Москве, А. М. часто приходил к ним, прочитывал написанное и оставлял у них отдельные тетради. Все эти тетради составляли затем объемистый сборник, который он и подарил супруге Киреевского. Как женщину она, чуть не под несколькими замками, никому не показывая манускрипта, хранила госпожа Киреевская эту рукопись и лишь в 1885 году отдала ее почтенному своему сыну — Сергею Ивановичу. Этот последний, заметив, что „Русская Старина“ издала уже часть записок Александра Михайловича по рукописи, сообщенной внуком автора, нашел, что сообщение господина Сомова составляет лишь сжатое извлечение из поманутых записок, — извлечение, впрочем, сделанное самим А. М. Тургеневым, — и потому поспешил весьма обязательно передать нам эту рукопись, как он пишет „действительную драгоценность для отечественной истории новейшего времени“ (Русск. Стар. 1887, т. LVI, № 12, стр. 857; ср. ib. 1886, т. LII, № 12, стр. 758).

Эти предохранительные меры, однако, не помогли. „Первые по времени и „обязательные“ читатели нашего издания“, — писал в 1889 г. Семевский в традиционном ежегодном обзоре содержания Русской Старины: „в те четверо суток, когда книга еще неведома нашим подписчикам, находят рассказы А. М. Тургенева не вполне удобными к печати... И вот, эти главы являются с такими затруднениями, что мы решаемся ждать — выражаясь языком издателей — „более благоприятных“ условий для возможно полного их отпечатания“¹⁾. Семевский не дождался этих „более благоприятных условий“, но при его преемнике по редактированию Русской Старины Н. Ф. Дубровине в журнале был опубликован еще ряд рассказов Тургенева, извлеченный из неиспользованной части его обширной рукописи²⁾. Дубровину же русская историческая наука обязана сохранением копии и записок Тургенева, сделанной с подлинной рукописи³⁾; в виду того, что этот рукописный подлинник неизвестно где теперь находится (быть может, он даже погиб), не всегда исправная копия Дубровина (хранящаяся в рукописном отделении библиотеки Российской Академии Наук) приобретает особое значение и ценность. По ней записки Тургенева частично опубликованы в Былом 1918-19 годов⁴⁾.

Печатаемые нами страницы записок Тургенева рассказывают об одном скандальном эпизоде из жизни богатого московского дворянства, начала 90-х годов XVIII столетия; в свое время они не могли быть напечатаны в Русской Старине; в копии же Дубровина, использованной Былым, рассказ Тургенева об этом эпизоде обрывается на самом начале⁵⁾. Запретные страницы Тургенева печатаются нами с копии, сделанной с текста, видимо, уже испытывавшего на себе редакторскую руку Семевского.

В этом любопытном отрывке из Тургеневских записок сообщены подробные сведения о существовавшем в Москве, в 1791—93 годах, своеобразном клубе, носившем, по словам Тургенева, название „клуба адамистов“. Единственный в своем роде, этот „клуб“ нашел себе также подробное описание

¹⁾ Русск. Стар. 1889, т. LXIV, № 12, стр. 848.

²⁾ Русск. Стар. 1895, т. LXXXIII, № 5, 6; т. LXXXIV, № 7; 1897, т. LXXXIX № 1, 2; т. XCII, № 11.

³⁾ Повидимому, второй, более полной редакции (С. И. Киреевского).

⁴⁾ Записки А. М. Тургенева (со вступ. статьей и под редакцией Я. Л. Барскова) — Былое 1918, № 13, стр. 148 — 177; 1919, № 14, стр. 58—88. Об этом издании Записок см. заметку Историка (М. К. Лемке) в Книге и Революции 1920 г. (№ 1, стр. 41). — Отметим здесь, что с записками Тургенева теснейшим образом связаны опубликованный Б. Я. Гротом дневники 1837 года („Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя“, вып. I, СПб., 1907, отд. II, стр. 4—38), рассказ „Ермолафия“ (Русск. Стар. 1908, т. CXXXVI, № 11, стр. 429—433, сообщение Н. Лернера) и небольшая автобиографическая заметка „Судьба“ (Русск. Арх. 1912, кн. III, № 11, стр. 430—436, сообщение К. Я. Грота); см. также выдержку „Из одного дневника“ (Русск. Арх. 1904, кн. III, № 12, стр. 623 — 624), в которой воспроизведено несколько мелких рассказов Тургенева.

⁵⁾ Былое 1918, № 13, стр. 150—151.

в анонимно-изданной книге comte de Fortia de Piles „Voyage de deux Français en Allemagne, Danemarck, Suède, Russie et Pologne, fait en 1790 — 1792“¹⁾. Осторожный, лишенный имен и точных фактических указаний, рассказ de Fortia de Piles кое-в-чем дополняет сообщения Тургенева, кое-в-чем противоречит ему (так, напр., de Fortia de Piles иначе рассказывает о возникновении „клуба“, годом его основания называет 1784 год и т. п.). Следует заметить, что краткое сообщение Masson „Mémoires secrets sur la Russie“ об этом клубе²⁾ вполне сходно с рассказом de Fortia de Piles³⁾. Что касается русской мемуарной литературы, то в ней о „клубе адамистов“ встречается беглое упоминание в записках С. П. Жихарева; под 22-м июля 1806 г. в его дневнике читаем: „Почтенный старик И. А. Альферьев рассказывал, что известный по преданию, так называемый, Ев...“⁴⁾ клуб никогда в Москве не существовал⁵⁾. По поводу этого категорического и совершенно неверного утверждения другой современник той же эпохи, „хорошо знавший это дело“, В. А. Юнг⁶⁾ в свое время сообщал М. Н. Лонгинову, что этот „клуб“ „точно был утвержден и помещался в Немецкой Слободе, в Посланниковом переулке, в доме Годенна, и что Екатерина, узнавши о том наконец, прислала в Москву Пешковского, который и закрыл клуб в 1793 году“⁷⁾. Показание Юнг, что клуб был устроен в доме Годенна, противоречит рассказу Тургенева, по свидетельству которого собрания „адамистов“ происходили „в большом, просторном, богато и со вкусом убранном доме“ княгини Анны Ивановны Голицыной, рожд. Зотовой; это лицо Тургенев называет основательницею

¹⁾ Т. П., A Paris, 1796, pp. 359—363. Ср. В. А. Бильбасов. История Екатерины Второй, т. XII, Обзор иностранных сочинений о Екатерине II, ч. I, Берлин з. а. (1897), стр. 550.

„Nous tenons les détails suivants“ — говорит de Fortia de Piles в начале своего повествования о „клубе адамистов“: „d'un des fondateurs, qui nous en a parlé comme d'une chose fort ordinaire, ne nous cachant pas les noms des personnes affiliées“ (p. 358).

²⁾ Т. П., Paris, An VIII (1800), p. 129—130. Ср. перевод П. Степановой в Голосе Милнувш. 1917 г. (№ 1, стр. 107—108).

³⁾ De Fortia de Piles и Masson называют это учреждение „физическим клубом“ („club physique“). Ниже читатель встретится с другим названием („Еввин клуб“).

⁴⁾ „Еввин“.

⁵⁾ (С. П. Жихарев) Записки студента — Москвитянина, 1854, т. V, № 19, Октябрь, кн. 1, отд. I, стр. 202. Характерно, что эта фраза опущена в обоих отдельных изданиях записок Жихарева (Записки современника с 1805 по 1819 год, ч. I, СПб., 1859, стр. 383. Записки Степана Петровича Жихарева, М., 1890, стр. 191). Заметим также, что в отдельных изданиях выставлены другие инициалы имени и отчества Альферьева (Н. А.).

⁶⁾ Василий Александрович Юнг, статск. советн., ум. 29-го января 1857 г. на 82 году жизни (Московск. Некрополь, т. II, СПб., 1903, стр. 392).

⁷⁾ М. Н. Лонгинов. Новиков и московские мартиансты, М., 1867, стр. 304, прим. В „Указателе Москвы“ (ч. I, М., 1793, стр. 182) отмечен дом „Годенна, Илья Ивановича, содержателя Клуба, в приходе богоявления господня, в Посланниковой улице, 1, кварт. № 43“. De Fortia de Piles говорит, что дом, в котором происходят собрания членов „физического клуба“, „est louée sous un nom emprunté“ (p. 382, прим.).

„клуба“¹⁾. О кн. А. И. Голицыной не сохранилось никаких биографических данных (даже неизвестны даты ее рождения и смерти); очень любопытен поэтому тот факт, что в первые же дни царствования императора Александра I княгиня Голицына, указом от 15-го марта 1801 г., была освобождена (в числе многих других лиц) из заключения в Шлиссельбургской крепости²⁾; заключение Голицыной в крепости дает основание считать соответствующим действительности рассказ Тургенева о ее первенствующей роли в „клубе адамистов“³⁾.

„Слава“ клуба надолго пережила его существование; слухи о нем, широко ходившие по Москве и Петербургу, нашли себе отражение в романе В. Т. Нарезного „Российский Жилбаз“ (СПб., 1814), в описании органа масонской ложи „Общество благотворителей света“⁴⁾. За „предосудительные и соблазнительные места“ нравоописательный роман Нарезного был, как известно, запрещен⁵⁾; А. Н. Пыпин высказывает мнение (впрочем, ничем не обоснованное), что „одной (если не единственной) из причин запрещения была, вероятно, большая откровенность этого эпизода“ (описание оргии)⁶⁾.

С. Шестериков.

Расскажу вам события, которым был свидетелем; о других получил достовернейшие⁷⁾ сведения.

¹⁾ Дочь полковника Ивана Никитича Зотова, Анна Ивановна была первой женой князя Сергея Николаевича Голицына (1763 — 1827) (Русск. Арх. 1876, кн. I, № 3, стр. 881; Князь Н. Н. Голицын. Род князей Голицыных, т. I, СПб., 1892, стр. 173). „Дом“ Голицына, князя Сергея Николаевича, полковника в 90-х годах XVIII столетия, я находился в приходе знамения богородицы, на большой Знаменке, 5 кварт. № 468“ (Указатель Москвы, ч. I, стр. 152).

²⁾ Полн. Собр. Законов, № 19784. Русск. Арх. 1876, кн. I, № 3, стр. 381. Голицын, о. с., стр. 342 — 343. Указ имп. Александра имеет в виду лиц, „содержавшихся по делам, производившимся в Тайной Экспедиции“.

³⁾ Не об этой ли Голицыной рассказывает Masson: „On avoit vu auparavant mesdames B...n, K...n, G...n, et tant d'autres faire, à l'envi de leur souveraine, un vrai b... du palais des tsars“ (t. II, p. 123). „Cette princesse G...n,“ — говорит он в примечаниях: „disoit, un jour, dans une société, qu'elle avoit acheté trois singes, une femelle et deux mâles. Lorsqu'il y en a deux d'accouplés, dit-elle, le troisième se suffit à lui-même. Assise sur mon sofa, je m'amuse beaucoup de cette scène singulière“ (ib., p. 148). Даже не зная, о какой Голицыной идет речь, автор исследования о „Роде князей Голицыных“, тем не менее, считает возможным, не обинуясь, называть эти сообщения „нелепостями и даже совершенными небылицами“ (Голицын, о. с., стр. 446).

⁴⁾ Т. III, стр. 193 и сл., см. Н. Белозерская. Василий Трофимович Нарезный. С.-Пб., 1896, стр. 91 — 94.

⁵⁾ М. И. Сухомяков. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. I, С.-Пб., 1839, стр. 426 — 427, 519. Белозерская, о. с., стр. 78.

⁶⁾ Вестн. Евр. 1891, т. I, № 2, стр. 837. Отголосок предания о „Еввином клубе“ встречается также в романе А. Ф. Писемского „Масоны“ (часть IV, глава X); об этом см. замечание Пыпина — Вестн. Евр., I. с.

⁷⁾ Былое — достоверные.

Екатерина II бездействием своим, а может быть и содействием, способствовала развитию силы революционной партии в Париже, как ¹⁾ в то же время, соединенно с прусским королем Фридрихом II и австрийским императором Иосифом, начертала план уничтожению и разделу царства польского, разрушила конституцию, данную народу Понятовским, поддерживала в Швеции права народные и замыслившего Густава соделаться ²⁾ в Швеции самодержавным велела застрелить! Многим из бывших в заговоре на убийство короля шведского Екатерина дала в России убежище, покровительство и обеспечила их в жизни ³⁾ щедрым содержанием ⁴⁾. В преклонных летах своих плавала в сладострастии, терпела, благопритствовала, покровительствовала разврату высшей степени при дворе своем и неуспынно заботилась о продолжении целомудрия внуков своих. Преследовала сословие масонов и мартинистов, страхась переворота и низвержения самодержавия, и в то же время ⁵⁾ равнодушно слушала, как все пели: „Allons, enfants de la patrie“.

* * *

Клуб адамистов в Москве ⁶⁾. В Москве в 1791—92 и 93 годах Анна Ивановна З[отова], урожденная кн. Г[олицына] ⁷⁾, учредила клуб адамистов; вся знать, князья, княгини, графы и графини, богатые дворяне, все, за исключением одного или двух-трех из ста лиц, были усерднейшие члены клуба адамистов. З[отова], урожд. кн. Г[олицына], была богатая женщина. В большом, просторном, богато ⁸⁾ и со вкусом убранном доме ее собирались адамисты обоего пола, по ночам. Съезд обыкновенно начинался в 9 часов. Мужчины шли раздеваться в одну комнату, женщины в другую; ванны, благовонные духи были в раздевальнях в готовности, кому что было потребно и угодно. Между двух комнат, в которых члены раздевались ⁹⁾, мылись, натирали тело свое благовонными духами и помадами, была устроена большая

¹⁾ Былое — и.

²⁾ Былое — сделаться.

³⁾ Эти слова в Былом опущены.

⁴⁾ Как известно, Густав III был застрелен в Стокгольме, на маскарадном балу, Анварстремом (1792), став жертвой дворянского заговора. В нашем распоряжении нет данных, чтобы судить, насколько прав Тургенев, обвиняя Екатерину в организации этого заговора.

⁵⁾ Слова „и в то же время“ — в Былом отсутствуют.

⁶⁾ Этого заглавия нет в нашей копии; заимствуем его из Былого.

⁷⁾ В нашей копии обе фамилии учредительницы „клуба адамистов“ целомудренно скрыты тремя звездочками. Называл ее „урожденной кн. Голицыной“, Тургенев ошибается: она была лишь замужем за одним из князей Голицыных (см. выше).

De Fortia de Piles в своей книге, не называя имен, несколько иначе рассказывает об основании клуба, относимом им к 1784 г. [по его словам основателями были некие „quatre hommes et quatre femmes, de la première noblesse du pays, dont plusieurs parents, étoient, de plus, liés par un attachement réciproque, presque généralement connu“ (p. 358)].

⁸⁾ Былое — богатом.

⁹⁾ В Былом это слово опущено.

зала с нишами, установленная померанцевыми деревьями в кадках, в горшках с розами, лилиями, гвоздиками; зала представляла прелестный сад. Красочные, тускло-прозрачные китайские фонари разливали томный свет в зале; прохладительные и возбуждающие питья, равно как и холодные кушанья для подкрепления сил, были расставлены на столах; эхо приятных, гармонических тонов восхищало ухо ¹⁾). Развешанные картины известной китайской библии острили желание необыкновенностью положения тела, манили к испытанию и сулили незнатное наслаждение.

В 11 часов пополудни двери обеих комнат, в которых члены раздевались, вдруг растворялись, и члены с обеих сторон вбегали в залу, где в ту же минуту, без предварительного осмотра друг друга, начиналось действие. После двукратного повторенного труда, дозволялось разлучаться, выбирать и соединяться по взаимному влечению. Вступившие в члены клуба адамистов и посвящаемые в таинства произносили ужасные заклинания, никому, никогда о том, что в собрании членов происходит, не говорить. Нарушитель тайны подвергался лишению жизни; каждый из собратов-членов, как скоро представится удобный случай, должен был истребить его мечом или ядом ²⁾).

Более трех лет существовал в Москве клуб адамистов.

Хотело ли правительство знать о существовании клуба, искало ли узнать о таинствах его, — это остается покрыто неизвестностью; но вот как все министерии толкну полезного общества для приятного препровождения времени лучшему дворянству XVIII века открылись.

* * *

Армейский драгунский капитан, во уважение качеств и всегдашней готовности, дознанных Анною Ивановною, был ею предложен в члены, принят и посвящен в таинства. В первое собрание на новопосвященного члена-капитана наткнулась полунистершаяся уже барыня, не помню фамилии, и ничто не могло разлучить ее с дюжим капитаном до 4-х часов утра. В определенный час разлуки, по данному сигналу старшинями, все были обязаны ту же минуту расстаться и спешить в комнаты, где раздевались; здесь, одевшись, в 5 часов утра непременно все были должны уехать.

Княгиня, доведенная драгуном капитаном с первого сеанса магнетизирования до экстаза, решительно не хотела, чтобы другой магнетизер, нередко попадавший в клубе наудачу, укрощал недуг ее, кроме сильного и неутомимого драгунского капитана. По возвращении домой княгиня, прежде нежели соизволила пойти в опочивальню, — успокоить себя и благотворным сном восстановить изнурившиеся силы, — строжайше приказала дворецкому отыскать капитана и просить его тот день обедать.

¹⁾ Здесь обрывается текст Б. Я. Гоголя.

²⁾ У de Kortia de Pillez подробно описывается „образ“ принятия в клуб нового члена (pp. 360 — 362).

За отыскание обещано дворецкому награждение 500 руб., за неотыскание капитана — отдача в солдаты.

Какое нам до того дело, как ухитрился дворецкий, каким образом открыл капитана; дворовые господские люди всегда всё знают, всегда всё, если хотят, отыщут; довольно для нас того, что капитан-магнетизер в 2 часа пополудни сидел уже у княгини в гостиной.

Двери дома ее сиятельства тот день были для всех знакомых затворены; швейцар лгал, не краснея, докладывая приезжавшим: „Княгиня изволила поехать в ****“. Ее сиятельство и капитан обедали вдвоем. Как сказать — ознакомились? Нет: — всмотрелись друг в друга лучше вчерашнего; в зале клуба фонари разливали томный лунный свет, а в будуаре ее сиятельства светило солнце. Всмотрелись, объяснились, согласились, чтобы капитан магнетизировал одну княгиню, отнюдь не магнетизируя других, и во взаимное удостоверение постановили в договорных пунктах трактата не посещать более клуба адамистов.

Капитан был человек казенный, жил долгое время на оренбургской линии в степи; не богат, любил вино, любил в карты поиграть. У княгини для него и то, и другое было готово с избытком. Восхищался предложением княгини и не прежде оставил ее сиятельство, как на другой день в 10 часов утра, напившись у ее сиятельства кофе. Княгине было весьма интересно беседовать с капитаном; она много, много узнала от него нового, чего ей не удалось до знакомства с ним видеть и слышать.

Прошло собрание — собирались по пятницам ¹⁾; прошло другое, прошло и третье.

В зале или в саду клуба адамистов не видят члены собрата-капитана и сестры-княгини. Отсутствие их и наиболее отсутствие капитана произвело в женщинах большое беспокойство и сожаление. В первое собрание, когда капитан был посвящен в таинства, счастливая княгиня одна вразумляла и поучала неофита. Каждая завидовала ей, каждой хотелось, в свою очередь, поучить нововерного. По зрелом созерцании определили послать узнать о причине отсутствия. К ее сиятельству ехать приняла на себя труд директриса З[отова], и драгунскому капитану был отряжен член из благонадежнейших и благоразумных.

З[отова], приехав к княгине, нашла у нее капитана и, без спроса о причине их неявления в собраниях клуба, узнала безошибочно причину.

* * *

Нужно рассказать, каким образом возник клуб адамистов в Москве.

Об этом разврате на святой Руси не слыхивали. Раскол, знаемый под названием хлыстовщины, в кругу дворян никогда не был распространен, и, изъеменя из сословия дворянского родственников и наследников богатейшего

¹⁾ По словам de Fortia de Pilès: „les jours d'assemblées ne sont pas fixés; elles ont lieu tous les 15, 20, 25 jours plus ou moins, selon les circonstances“ (p. 362).

Твердышева-Дурасова, которые были в расколе, едва ли кто-либо еще из дворян был раскольников; безбожников или атеистов было и тогда уже довольно.

Переворот порядка дел во Франции, когда были выгнаны из нее тысячи невежд, которые выбежали из Франции с пустыми головами и карманами, разнесли по всей Европе гордость, тщеславие, обветшалые, полустлывшие идеи о Париже; *le beau, le pur sang de la noblesse* — было одно выражение истощенных развратом невежд, маркизов, виконтов, графов, дюков и принцев-эмигрантов. Как пчелы налетают роем на дерево и облепляют все ветви его, так эмигранты набежали в Россию! Набежали, нанесли и водворили у нас тысячу и тысячи, дотоле неизвестных нам, предрассудков, разврата, бездельничества, — словом всего, что было скверного, гнусного, преступного во Франции. Беглецов вместо презрения принимали с распростертыми руками, и эмигранты, по соврожденной нации их ветренности и дерзкой наглости, скоро завладели умами русскими, были моделью образования и казались учеными, ничего не зная. Последнее произошло от того, что мы сами тогда ничего не знали. В тысяче эмигрантов французских дворян, конечно, было не более 10 человек, знавших правильно написать несколько слов на природном языке своем. Однако же, все эмигранты, прибывшие в Россию, заняли места в лучших семействах дворянских, образователей ума и сердца детей их ¹⁾).

Развратнейшие из эмигрантов подали идею развратной З[отовой] учредить клуб адамистов ²⁾. Они говорили, что такое общество существовало во Франции для сохранения чистой крови дворянской; что супружеская связь есть взаимное условие, *de pure convention*, и потому сохранять свято и ненаружимо произнесенные клятвы перед алтарем не по влечению естественному, а по расчетам, есть предрассудок прошедших, мраком невежества покрытых, времен; что дворянский род, составляя касту чистой крови, всего более должен стараться не допустить привиться к этой крови нечистой *roture* (гнилости). На основании доказательств о сохранении чистоты в дворянской крови без примеси — в клубе адамистов супруг видел супругу в объятиях другого, без малейшего оскорбления, по уважению чистоты в крови. Отец — дочь, брат — сестру везли в собрание адамистов без зазрения.

Благородным дамам такое братство и союз весьма понравились; они, выходя в замужество по соображениям и расчетам их родителей, будучи членами в клубе адамистов, не страшились лишиться на всю жизнь единственного в сем мире наслаждения и впасть, по необходимости, может быть, в небла-

¹⁾ „Плоды воспитания и обращения с выбежавшими из Франции дворянами-эмигрантами“, — читаем в другом месте записок Тургенева: „знатные и богатые люди вносили в себя и передали детям своим все неистовства, принесенные господами и господами, бежавшими из Франции от заслуженного ими возмездия на гильотине“ (Былое 1918, № 13, стр. 163).

²⁾ О возникновении „клуба адамистов“ см. выше.

гопристойность, как то случилось с * * *, разрешившейся от бремени младенцем черного цвета, арапом ¹⁾.

Мужчины-дворяне, философы, материалисты, убеждались в истине сохранения чистоты в крови и улучшения породы вывезенными из Англии скаковой породы жеребцами и кобылами. Приехавшие из Англии группы, конюхи доказывали чистокровное происхождение скакунов, со стороны отца и матери, неоспоримыми легальными аттестатами (родословными); прыткость ног и сложение костей у коней удостоверяли точность свидетельства, вернее дворянской грамоты. Князь, граф, богач, купивший скакунов английских, могли божиться о том, что лошади чистой крови, *chevaux de race*, что в жилах их капли крови нет гонтар-горс; но не смели спорить, что в собственных их детях течет чистая кровь дворянская.

Нет опровержения тому, что французы-эмигранты принесли нам, привили нам, водворили у нас тысячи пороков, разврат и все гнусности, которым были сами преданы. Но как современник, очевидец, считаю обязанностью сказать, что с водворением французов в семействах дворянских состояние крепостных, господских людей, улучшилось. Срабами начали обращаться лучше, снисходительнее, видеть в них, хотя по убеждению о чистоте дворянской крови, не точно таких же, как 'сами, однако же человек, по крайней мере, *une espèce du genre humain*.

Французы усилили в домах дворянских жертвоприношения богине любви, но возливание бахусу весьма уменьшилось. Беседы дворянские начали оканчиваться без игры в коммерческую, т.-е. поединка на кулаках. Дворяне русские начали подражать в обезьянстве французам, играть в театре и затвердили наизусть лучших французских авторов. Пели французские романсы, знали множество анекдотов и каламбуров; выучили твердо наизусть поколенное родословие французских королей, начиная от Шильперика до *Louis le Grand*, и не знали, кто был Рюрик.

Я был со многими эмигрантами знаком, со многими был товарищем по военной службе. Вспоминая разговоры и действия их, не понимаю, каким образом это в них происходило: эмигранты, аристократы, ненавидевшие переворот во Франции, были вправе не любить новый порядок дел, лишивший их столь выгодных преимуществ. Твердя беспрестанно о чистоте крови своей, о привилегиях, о величии и славе жоролей и родов своих, проповедывали русским о вольности и равенстве, приходили в восторг от марсельезского гимна: „*Allons, enfants de la patrie*“.

¹⁾ В собранных Пушкиным исторических анекдотах („*Table Talk*“) имеется следующая запись: „Об арапе гр. Стр.(оганова)“: „У графа Стр. был арап, молодой и статный мужчина. Дочь его от него родила. В городе о том узнали вот по какому случаю. У графа Стр.—ва по субботам раздавали милостыню. В назначенный день нищие пришли по своему обыкновению; но швейцар прогнал их, говоря сердито: „Ступайте прочь, не до вас! у нас графинюшка родила арапченка, а вы лезете за милостыней“ (Соч. Пушкина под ред. С. А. Венгера, т. V, С.-Пб., 1911, стр. 399.).

* * *

З[отова] упрекала княгиню и капитана, что они нарушили клятвенные обещания, забыли братство, и разговор, начавшийся шуткою, превратился в колкие и грубые укоризны; от колкостей дошло до брани. Княгиня, страшившаяся лишиться капитана-магнетизера, указала З[отовой] двери.

З[отова], сама рожденная княжна ¹⁾, вышла из себя от гнева и, оставив капитана и княгиню, напоминула им о наказании нарушителям законов клуба.

Оставшиеся княгиня и капитан-магнетизер, приведя себя взаимно в гаррот, вспомнили, что напоминание З[отовой] грозило им обоим великим злополучием. Капитану-магнетизеру весьма понравилось находиться при ее сиятельстве, и он, ни под каким предлогом, не соглашался быть заколотым или отравленным.

По взаимном совещании и зрелом обсуждении, он и княгиня нашли за лучшее, благоразумное и полезное объявить о существовании клуба и тайнствах главнокомандующему в Москве.

* * *

В то время в Москве начальствовал кн. Александр Александрович Прозоровский — грубый, глупый, надменный. Донесла княгиня ему и раскаивалась в прегрешениях. Прозоровский, умолчав о доносе, представил всемилостивейшей государыне, как об открытии своем, о существовании клуба адамистов.

Вместо ответа императрица высочайше соизволила прислать из Петербурга известного Степана Ивановича Шешковского, главного начальника Тайной Канцелярии.

Поручение Шешковскому было много полезно. Члены адамистского клуба были знатные и богатые люди. Кнут у Шешковского в руках — и никакая власть не могла остановить действия Степана Ивановича!

Шешковский в этот приезд жил в доме Гусятникова, эзердир-гауза, на Моховой. Сзади дома примыкает стена сараев дома тогда фельдмаршала гр. Кирилла Григор. Разумовского, ныне (1834 г.) гр. Шереметева. Кучера гр. Разумовского, становя кареты в сарай иногда поздно ночью, стуком и разговорами своими беспокоили Степана Ивановича, мешали ему спать. Его превосходительство рано изволил отходить с вечера ко сну.

Шешковский дозволил себе попросить фельдмаршала, чтобы его сиятельство оказал ему милость, приказал шталмейстеру своему велеть кучерам действовать, вдвигая кареты в сарай, потише и без разговоров. Когда доложили графу, что Степан Иванович вошел на двор и идет к крыльцу, фельдмаршал забыл, что у него подагра, вскочил с кресла своего и вышел в прихожую комнату встретить Шешковского.

В присутствии Степана Ивановича, гр. К. Г. Разумовский призвал шталмейстера своего и строжайше приказал ему, чтобы в сарай, вблизи почивальни

¹⁾ Неверно.

Степана Ивановича находящийся, не только карет ставить, а подходить к нему близко никто не смел.

* * *

Кто был из членов адамистского клуба победнее, тех Степан Иванович Шешковский постегал препорядочно. Богатые отделились деньгами, знатные помирвоили в уважение связей.

Клуб адамистов перестал существовать ¹⁾).

Сообщ. С. П. Шестериков.

¹⁾ У Массон читаем: „В виду того, что его [клуба] сочлены обоих полов принадлежали к самым богатым и знатым семьям и что на их сборищах и речи не было о политических вопросах, скандальную ложу только закрыли и запретили“ (Голос Минувш. 1917, № 1, стр. 108).

Записки русского помещика.¹⁾

Глава первая.

Древние времена.

Я родился в 1813 году, по крайней мере, по моему возрасту, это очень вероятно. Стало, мои воспоминания начинаются около двадцатых годов. Досемилетнее детство, может быть, очень мило, но мало интересно. Вдобавок мне не хочется писать только о себе, а хочется припомнить разные людские отношения в разные людские времена и их различные изменения. Итак начну, не благословясь, а осмелясь.

Время около 1820 года было странное время, время общественной разладицы, которая подвигалась медленно, медленно и не знала, куда придет. Большинство еще торжествовало победу над французами и молилось на Александра Благословенного. Монашество начало верить в возможность военного переворота и собирать силы. Крестьянство, после спасения отечества, ограбленное и забитое чиновниками и помещиками, молчало со страха. Император благодушествовал и начинал побаиваться.

Себя я помню в это время маленького в большом доме в Москве. Помню отца с двумя крестами на шее и постоянным уважением ко всем царственному. Помню бабушку большого роста и бабушку маленького роста. Помню старую няню с платком, повязанным на голове. Няня оставалась со мной неразлучно почти что до десятилетнего возраста, так что всё мое детство прошло на бабьем помечении. Ее приставили за мной, потому что она оставалась одна без мужа; мужа отдали в рекруты за какой-то проступок противу барских распоряжений. Какой был резон в этой пристановке — не знаю; а любила она меня, потому что была глупа. Но, несмотря на то, у

¹⁾ „Записки русского помещика“ Н. Огарева использованы Т. П. Пассек в ее воспоминаниях (Воспоминания Т. П. Пассек „Из дальних лет“). Но, опасаясь цензуры, автор воспоминаний выбросил множество подробностей. Поэтому редакция „Былого“ считает возможным напечатать по автографу Огарева полный текст „Записок“, отбечал разрядкой то, что из них было выкинуто. Ред.

меня тоже был и дядька, которого должность была забавлять меня разными игрушками и учить меня читать и писать. Дядька мой всегда ходил в сером фраке и под вечер бывал в пол-пьяна, в это время он начинал доказывать моему отцу, что меня воспитывают не так, как следует. Отец мой приказывал ему замолчать; но старика остановить было невозможно. Тогда отец давал ему пощечину (человек был крепостной); тем дело и кончалось. Дядька уходил опечаленный, а я дрожал со страха и негодования. Я этого дядьку любил страстно и считал его моим лучшим другом. Он выделял мне самые лучшие игрушки и никогда не сказал мне подлого слова; а ведь он был просто крепостной дворовый человек, — а брат его был у моего отца приказчиком и, конечно, плутом. — Вот тут и вопрос, господа: почему же, в то время, этот человек не был подлецом? — „Случайность“, скажут многие. А я скажу, что это и в то время было движение ненависти крепостного человека к барству. Я на этом чувстве и рос; но, как после увидится, обстоятельства жизни много раз меня изменяли.

Одно в этом дядьке могло быть для меня вредным или даже опасным, это — его суеверное богомольство или ханжество. Но это чувство богомольства, пока я не отделался собственным побуждением, развивал во мне не один дядька, а вся совокупность жизни. Одна бабушка постоянно ездила по монастырям и задавала обеды архиереям. Отец приходил ко мне каждый вечер, когда меня укладывали спать, молиться вслух перед образами в моей комнате. У меня стоял целый шкаф с образами в разных медных, серебряных и золотых окладах. Живопись, разумеется, могла нравиться только изуверам. И так я сам был изувером, и читал аккуратно, по утру и вечерам, толстый молитвенник, полный всякого вздора. Николай чудотворец был для меня любимым господином, я сам назывался Николоем в честь его имени. С семилетнего возраста я приучился в великий пост исповедываться у попа и слезно каялся в грехах, которые, разумеется, выдумывал. Вдобавок поп был одержим горловою чахоткою, что мне вселяло к нему еще большее уважение. Я даже плакал от раскаянья в моих небывалых прегрешениях.

Однако, это настроение скоро растаяло. Мне давали читать Вольтера, мне давали читать Байрона. Мало-по-малу я увлекся в другую сторону. Моего доброго дядьку услали в деревню — в ссылку (за пьянство). Ко мне приставили немца, к которому я с первой минуты возымел ненависть, сколько он ни был мне действительно полезен. Он был слишком глуп, чтоб похерить во мне изуверство; но довольно опытен, чтобы развить во мне физическую силу, в которой мой организм нуждался, и я из болезненного мальчика вышел довольно здоровым юношей. Но все же наши отношения были такого рода, что я раз схватил его за руки и хотел грохнуть опол. „Что это значит?“ — спро-

сил он меня. — „Это значит, что я вас ненавижу“, — отвечал я. Это не мешало ему остаться со мной до моего шестнадцатилетнего возраста, а мне тогда было лет двенадцать.

В одном этот немец сделался для меня совершенно полезен: он свел меня с моим родственником Александром, который был моего же возраста, но несравненно развитее меня — и мы с этого же времени стали неизменными друзьями.

Глава вторая.

Этот немец, мой воспитатель, рабой и плешиный, очень белокурый, носил постоянно рыжую накладку. За детские проступки он меня драл за волосы. Отец этого не знал; он бы никогда этого не позволил, не потому, чтобы оно было уже слишком вредно, а потому, что в его мнении было, что простой немец не смеет бить русского барина.

Около того же времени, т.-е. всё же около 1825 года, ко мне стали ходить разные учителя, из которых о многих память я сохранил до моей старости как святыню. Чувствую, что нельзя кое-чего не рассказать об этом, тем более, что теперь это для них безопасно — вероятно, уже ни одного в живых нет.

Вот, например, на первом плане, мой учитель математики Иван Федорович Волков (он был преподавателем в Московской гимназии). Он учил меня от начала арифметики до конца геометрии. Он учил тоже моего друга — Герцена. Но он в то же время сообщал нам направление декабристов, и мы тотчас же стали ему сочувствовать, и он нас любил действительно, как бы своих детей.

Когда он со мной дошел до конца геометрии, и я сам по себе стал изучать математику дальше, он отказался давать мне уроки, говоря, что я знаю больше, чем он. Это не мешало нам остаться до конца искренними друзьями.

Был у меня тоже учитель французского языка Кюри, который был воспитателем Васильчикова-декабриста ¹⁾. Да! я этих людей помню с любовью и глубоким уважением.

Мне других называть не хочется. Не хочется кого-нибудь обидеть, потому что я все-таки был с ними по-детски дружен, а о ком-нибудь сказать мое настоящее слово — я не могу. Мир праху усопших, не сделавших в жизни ничего, — ни хорошего, ни худого!...

Н. Огарев.

¹⁾ Васильчиков служил в уланах, хотя и был в числе декабристов. Что делать! В то время все хорошие люди служили в военной службе; это было результатом войны 12 года. После все хорошие люди пошли служить по штатской. Когда же это придет время в России, что все хорошие люди пойдут служить только по народному выбору, с определенными целями народных отношений и общественного строения?

Неизвестная статья Бакунина о России.

Предисловие.

Публикуемая статья М. А. Бакунина найдена нами среди бумаг б. министерства иностранных дел (в Московском историко-револ. архиве)¹⁾.

Написанная в первых числах мая 1863 г. и тогда же напечатанная в шведских газетах „Aftonbladet“ и „Nya Dagligt Allehanda“, статья эта дает исчерпывающее представление о программе Бакунина в русских делах в дни польского восстания. Значение ее для характеристики эволюции его взглядов не подлежит никакому сомнению, и среди других публицистических набросков Бакунина она займет не последнее место.

История происхождения этой статьи такова. Польское восстание, как известно, сильно захватило Бакунина. Герцен весьма картинно, хотя не всегда с достаточной объективностью, рассказал нам, как „волнуясь и спеша“, Бакунин пытался форсировать события, „шагая семимильными шагами“ через горы и моря, через годы и поколения. Направившись в Швецию в феврале 1863 года, Бакунин принял затем участие в экспедиции на пароходе „Ward Djackson“, закончившейся решительной неудачей. Оторвавшись от экспедиции и не желая терять ни сил, ни времени безрезультатно, Бакунин проявил оживленную деятельность, отчасти налаживая сбыт в Россию революционных изданий, отчасти пытаясь завязать прочные связи с представителями шведского общества и финскими революционерами.

Пребывание в Стокгольме столь крупного деятеля, хотя и прикрывавшегося, на очень короткий срок, именем канадского профессора Анри Сюла, — не могло не вызвать пристального внимания как со стороны шведского министерства иностранных дел, так равно и со стороны русских агентов. Общественное мнение Европы, а вместе с ней и маленькой Швеции было на стороне восставшей Польши. Это не мешало, однако, шведскому министерству иностранных дел, в лице министра гр. Магдорстрема, принимать всяческие меры для избежания трений с русским правительством. Поэтому, на ряду с овациями, которыми встречали шведы „известного беглеца“ Бакунина, агенты шведского министерства иностранных дел плели тайную интригу,

¹⁾ Упоминания об этой статье, со слов аугсбургской „Allgemeine Zeitung“, встречаются в полемике „Дня“ с Герценом в 1863 году по польскому вопросу.

чтобы выжить из пределов Швеции „дорогого проповедника“, как проинически ласково называл его Коссидьер, революционный префект французской полиции 1848 г. Для этой цели гр. Мандерстрем вступил даже в сношения с царской охранкой и получил от нее для публикации памфлет, сфабрикованный по хранившейся в III Отделении собственноручной „Исповеди“ Бакунина и по его показанным письмам царям Николаю и Александру. Публикацией этого памфлета гр. Мандерстрем думал навсегда ликвидировать возможность дальнейшего пребывания Бакунина в Швеции ¹⁾. Но до того, как эта рукопись была изготовлена, озабоченный деятельностью опасного революционера и ползавший на коленях перед русским министерством иностранных дел, гр. Мандерстрем „тиснул“ анонимно биографию Мих. Бакунина в шведских газетах, все с той же „святою“ целью — открыть глаза шведскому обществу на опасный характер русского беглеца. В одной из секретных депеш из Стокгольма князю Горчакову (от 29 апреля 11 мая 1863 г.) сообщается о том, что Бакунин занят составлением ответа на это произведение гр. Мандерстрема. Из этой депеши можно также заключить, что Бакунин, расточавший комплименты свободам гостеприимной страны, находился в этой стране под полицейским надзором русского правительства.

Вот что читаем мы в этой депеше:

„Пока что, я узнал, что Бакунин снял комнаты на даче, расположенной у ворот города, чтобы провести там лето. Понимая, что его хотели бы удалить отсюда, он выражает намерение не дать себя выселить. Однако, относительно его будущих намерений удалось подметить у него некоторую нерешительность. В настоящее время он, как меня уверили, работает над произведением, касающимся его личности; быть может, это будет опровержение его биографии, помещенной в газете заботами графа Мандерстрема. Как и следовало ожидать, журналисты, преданные анти-русской партии, не перепечатали этой статьи, дающей возможность публике вполне ознакомиться с прошлыми подвигами Бакунина, и они приложили все меры к тому, чтобы ослабить неблагоприятное для героя баррикад впечатление от этой статьи, провозгласив ее появление нарушением гостеприимства“ ²⁾.

Впрочем, биография, опубликованная „стараниями“ гр. Мандерстрема, не заключала в себе ничего выдуманного, злого, клеветнического. Это была краткая, с обычными ошибками того времени, справка о деятельности Бакунина. Заимствованная частью из словаря Брокгауза, частью являющаяся перепечаткой биографической заметки о Бакунине, напечатанной еще в 1849 г. в Стокгольмской газете „Aftonbladet“. В глазах современного читателя, особенно русского, пережившего Великую октябрьскую революцию, в этой „биографической“ справке нет ничего устрашающего. Но именно с устрашающей целью опубликовал ее гр. Мандерстрем, справедливо учитывая впечат-

¹⁾ См. об этом нашу работу „Бакунин. Из истории русской интеллигенции“. Том первый. Бакунин-романтик. Стр. 391 — 392. Госиздат. Москва, 1922.

²⁾ Делепа неопубликована. Извлечена нами из бумаг министерства иностранных дел (Московский историко-революционный архив).

ление, какое она должна была произвести на богобоязненных и лояльных шведских либералов, аплодировавших Бакунину. Называли же в свое время саксонцы Бакунина „der Russische Bluthund“ — русский крокопийца. Показать его „крокопийцей, поджигателем, профессиональным бунтарем, преследующим тайные цели“, — эту именно задачу и ставил себе шведский министр иностранных дел.

Чтобы дать представление об этой биографической справке, извлечем ее из записки, сообщенной (на французском языке) русским посланником в Швеции Дашковым князю Горчакову ¹⁾.

I.

„Михаил Бакунин, известный своим революционным направлением, сына помещика Новоторжского уезда ²⁾, родился в 1814 году и воспитывался в петербургском кадетском корпусе.

„Едва поступив прапорщиком в гвардейскую артиллерию, он подал „в отставку и возвратился домой. В 1841 году он покинул Россию и отправился в Берлин, где стал изучать философию. В 1842 году он уехал в Дрезден, чтобы продолжать там свои занятия. Там, между прочим, он написал философскую диссертацию, которая была опубликована в немецких „Ежегодниках под псевдонимом Жюль Элизара. К началу 1843 года он покинул Дрезден и отправился в Париж, где посещал общество польских эмигрантов. Оттуда он уехал в Швейцарию, там, именно в Цюрихе, он принял участие в промках коммунистическо-социалистических обществ. Результатом этого был приказ русского правительства возвратиться на родину, а так как он ему не подчинился, его имущество было конфисковано.

„В 1847 году в горличей речи, произнесенной в Париже на одном „банкете, он предложил полякам побрататься с русскими, чтобы совместно „устроить революцию в России.

„Эта речь произвела сильное впечатление, вследствие чего, по просьбе „петербургского государственного совета, Бакунин в 1848 году был „выслан из Франции. В то время как русское правительство обещало 10 т. „рублей тому из своих агентов, который захватит Бакунина, ему удалось „скрыться от их розысков в Брюсселе. После Февральской революции он „вернулся в Париж. В июне 1848 года он появился в Праге, где принял „участие в славянском конгрессе. Оттуда он направился в Берлин, где он „не замедлил присоединиться к немецкой демократической партии, пока „в октябре его не выслали из Пруссии. В марте 1849 года он возвратился „в Дрезден. Несмотря на то, что пребывание в этой столице ему было „запрещено, он там нашел убежище у своих политических друзей до Майской катастрофы.

„В качестве члена резолюционного правительства Бакунина, как кажутся, руководил всем происшедшим в Дрездене. Спасшись бегством из „столицы, он был в Хемнице арестован в ночь с 9 на 10 мая вместе с Гейблером и Рокелем и перевезен в Кенигсберг. Приговоренный в 1850 г. „к смертной казни, замененной ему впоследствии пожизненным заключе-

¹⁾ Не опубликована. Хранится там же. Биография эта напечатана в стоковольской газете „Post och Inrikes Tidningar“ — от 29 апреля 1863 г. № 97. Воспроизводим с несущественным сокращением.

²⁾ В записке: „du district de Torschok“.

„внем, он был выдан Австрии, где его объявили виновным в государственной измене и приговорили к повешению, — приговор этот был подобно первому впоследствии смягчен.

„Часто, но несправедливо, Бакунина принимали за шпиона и за русского агента-provokatora. Еще не доказано, что он принимал участие в панславистских и немецких радикальных волнениях, имея исключительно в виду свои собственные намерения против России.

II.

„Бакунин, который считался всегда зачинщиком Дрезденского восстания, играл в течение нескольких лет роль международного революционера и принимал иногда, правда, тайственное, но всегда значительное участие во всех европейских волнениях. Он был для славянства тем, чем был Мадзини для единства Италии. Хотя и различные в точках отправления, они очень сходны характерами. Вместо экзальтированной и мистической живости Мадзини, в Бакунине преобладает скорее философское и умозрительное начало. Цель, к которой он стремился, была, конечно, восстание в России, но, чтобы достигнуть этой цели, он вынужден был принять участие в немецких, французских и славянских волнениях. Со времени его речи, произнесенной в Париже в 1847 г. по случаю польского банкета, в которой он предложил полякам побороться с русскими, чтобы революционизировать Россию, он стал центром революционной агитации.

„Тот факт, что император Николай потребовал от французского правительства изгнания Бакунина, так же как и назначение цены за его голову русским правительством, достаточно доказывает, как боялись его в России. Со времени его пребывания в Цюрихе, после того как он следовал коммунистом и социалистом, он навсегда порвал с русским правительством.

„Вскоре после этого он был вызван в свою страну под угрозой конфискации его имущества, но, зная, что его возвращение приведет только к приглашению совершить путешествие в Сибирь, он предпочел потерю состояния. Его участие в Пражском конгрессе, так же как и прокламация, в которой он на французском языке обращался к славянам, с достаточной ясностью доказывают, что в течение всего этого времени главным пунктом его революционной программы было славянское восстание, что он употреблял всевозможные старания, чтобы произвести слияние славян с другими революционными элементами Европы. Несмотря на все это, многие его считали за шпиона и русского агента. Его значительные издержки, которые он мог производить только благодаря средствам, принадлежавшим польскому комитету, с очевидностью доказывают, что он пользовался полным доверием своих единомышленников.

„Во время его последнего пребывания в Берлине следующей осенью он завязал тесные сношения с несколькими лицами, принадлежавшими к крайней левой партии национального собрания. После изгнания из Берлина он проживал, с большими, однако, предосторожностями, в Дессау и Кетене. Предполагают, что отсюда под его руководством начала раскидываться до Лейпцига и Дрездена революционная сеть, и полицейские агенты Праги, Бреславля и Берлина до сих пор стараются выискать какую-нибудь связь в мятежах названных городов. Если, с другой стороны, — говорит газета, — славянский элемент перевешивал в этих последних волнениях, это выяснится скоро из бумаг Бакунина, которые удалось

„захватить. В данный момент важно узнать, будет ли заслуживать доверия сообщение о них агентов немецкой полиции особенно, если бы открытия, которые отсюда вытекают ¹⁾, подтвердили, что Бакунин не действовал „по своей доброй воле, но что он был скорее дипломатом, чем демагогом“.

Бакунин правильно понял умысел и происхождение этих заметок. Не проверяя сообщенных им фактов, он решил лишь осветить перед шведскими читателями свои нынешние намерения. Эту задачу и выполнила статья, публикуемая ниже.

Напечатана она была в три приема: первая часть в № 108 от 10 мая, вторая в № 110 от 15 мая и третья в № 112 от 18 мая 1863 г. в газете „Aftonbladet“. Одновременно статьи эти печатались в газете „Nya Dagligt Allehanda“. Статьи эти закончены не были. Бакунин, в конце третьей статьи, обещал четвертую. Она в печати не появилась. Можно предположить, что на редакторов и издателей газет был сделан соответствующий нажим, заставивший их прекратить свое гостеприимство. Первой прекратила печатание газета „Nya Dagligt Allehanda“, напечатавшая всего две статьи. „Повидимому, — с удовольствием сообщал князю Горчакову его корреспондент из Стокгольма, — акционеры „Dagligt Allehanda“ воспротивились дальнейшему помещению его на столбцах последней газеты“.

Печатались статьи без подписи, под заглавием „Бакунин о России“. Первая статья открывалась следующими строчками, принадлежавшими редакции: „Мы получили от известного беглеца Бакунина следующую статью с просьбой о ее помещении“. Далее следовал текст, воспроизводимый нами.

Деятельностью Бакунина сильно интересовался царь. Он, вероятно, неоднократно удивлялся своей прозорливости, вспоминая покаянное письмо Бакунина и свое заключение: „Mais je ne vois pas le moindre repentir dans cette lettre“.

Но что было — того не воротить, и вместе с глубокими сожалениями обманутому венценосцу приходилось испытывать жестокие уломы от „помилованного“ преступника.

Александр II внимательно следил за зарубежными выступлениями Бакунина, читал его статью и сделал на докладе по ее поводу обиженно-надутую надпись: „вполне достойно этой личности“. Публикуемая статья Бакунина, вероятнее всего, и вызвала к жизни мысль — опубликовать покаянные материалы о Бакунине. Автор „Исповеди“ и „всеподаннейшего“ прошения Александру II обмолвился неосторожною фразой: „В моей прошлой жизни нет поступка, за который мне пришлось бы краснеть“, — написал он в первой статье.

Люди из III Отделения решили показать всему миру, что это не так. Случайность, нам еще неизвестная, спасла Бакунина от моральной смерти, ибо опубликование „Исповеди“ в 1863 году, разумеется, вычеркнуло бы Бакунина навсегда из списка живых.

Вяч. Полонский.

¹⁾ Писано в 1849 году.

Статья М. Бакунина

I.

Г-н редактор!

С некоторых пор шведская пресса сказала мне честь заняться япой, и я спешу выразить мою живейшую благодарность независимым газетам Стокгольма и провинции за благородство и великодушие, с какими они приняли участие в моем деле и вместе с тем защитили право гостеприимства Швеции от нападков, которые, хотя и обрушились на меня со стороны официальных перьев столичной прессы, но, тем не менее, выдают свое иностранное происхождение. Это происхождение, этот источник, никогда не устающий изливать свои черные волны на общественное мнение мира, эти невидимые, но упорные и непримиримые враги всякой правды, всякого права, всякой справедливости и всякой свободы, — я знаю их давно, ибо уж скоро 25 лет я борюсь против них. Они называются Санкт-Петербург и Берлин, солидарные между собой более чем когда-либо и более чем когда-либо заслуживающие общего порицания. Какое же мне дело до их анонимных слуг и их презренных друзей в Швеции! В дружбе, как и в войне, я предпочитаю держаться учителя.

С помощью фантастических преувеличенных описаний, с великим трудом собранных из старой немецкой газеты, известной тем, что она продавалась всевозможным правительствам, хотели запугать шведскую общественность, выставя меня чем-то вроде Герострата и революционного кавальера, мечтающего лишь о поджогах и кровопролитии. И однако ж, я никогда никого не убивал и не приговаривал к смерти, никогда я не позволял никому служить цивилизации народа, никогда не сокрушал целых народностей, никогда не сжигал городов и деревень для их лучшего усвоения. Никогда я также не служил в качестве палача или жандарма соп змюге, или как тицон деспотического правительства, и никогда его страшной мести я не выдавал поляков, искавших защиты и убежища.

И вызываю моих противников сказать то же самое о себе.

В моей прошлой жизни нет достиженья, за который мне пришлось бы краснеть. В 1848 и 1849 годах, как и сегодня, я имел лишь одну веру — человечество, одну цель — победу свободы. Я знал, что все народы солидарны в свободе, как и в рабстве, и, когда я боролся за свободу запада, я был уверен, что тем самым борюсь за русскую свободу. Я тем более был в этом убежден, что видел, как правительство в Петербурге, пугавшее европейской революцией, тайно сговаривалось со всеми реакционными правительствами Германии, чтобы подавить ее. Для нас, честных русских, любящих свой народ, имеется верный знак, по которому мы находим справедливый правильный образ действия. Внутренне убежденные, что царская система в Петербурге является познейшим воплощением всего, что следует назвать злом, нам достаточно делать противоположное тому, к чему она стремится, чего хочет, что делает, чтобы никогда не ошибаться.

Сам славянин, я ревностно работал на освобождение славянских народов. Я считал большой честью для себя свое участие в славянском конгрессе 1848 г. в Праге. Я боролся одновременно против двух тенденций, одинаково угрожающих будущему этой расы: той, которая поддерживалась сторонниками Австрии, хотевшими из славянских народностей создать новый пьедестал для могущества Габсбургов, и той, которая поддерживалась петербургским панславизмом.

В 1849 году, когда царь Николай соединился с Австрией, чтобы подавить законное восстание венгров, я пытался противопоставить этому гибельному союзу священный союз народов и, прежде всего, примирить славян в Богемии с немецкими демократами. Мои старания не были совершенно безуспешными, немцы и славяне подали друг другу руку для одновременного и всеобщего революционного движения, которое, если бы удалось, спасло бы Италию и Венгрию, привело бы Польшу к восстанию и перекинуло бы революцию в Россию. Но все это произошло слишком поздно. Всеобщий отлив уже замечался во всей Европе. Настала пора реакции. Мы должны были потерпеть неудачу.

Восстание в Дрездене, вспыхнувшее раньше, чем предполагали, вследствие государственного переворота, застало меня в этом городе как раз в тот момент, когда я собирался ехать в Прагу, где меня ждали. Мне было невозможно отстраниться и уехать, и таким образом я, иностранец, не предполагая этого и не желая этого, стал quasi-членом повстанческого комитета в Дрездене. Раз втянутый в борьбу, я взялся за нее серьезно. Понятно, что при этом был сожжен театр и несколько домов, пожертвовать которыми было необходимо для защиты. Война не детская игра, и истинно нужно быть очень напившим, чтобы удивляться этому. Но я тороплюсь сказать, что в продолжение этой борьбы народ в Дрездене не совершил ни одного варварского поступка, что он предоставил эту привилегию солдатам, и что уже тогда прусские и саксонские командиры произнесли те жестокие слова, которые сегодня, к сожалению и к вечному стыду моего отечества, повторяются высшими начальниками русской армии в Польше: в плен не брать, раненых убивать!

Мы устояли в течение целой недели против объединенных прусских и саксонских войск; после, вынужденные отойти, мы провели в полном порядке отступление в Фрейбург, где мы распустили по домам большую часть наших добровольцев. По прибытии в Хемниц ночью я был, благодаря предательству, схвачен.

Вот видите, милостивые государи, в нескольких словах — вся моя история. Вы не найдете в ней никакого блестящего достопамятного поступка, но также ничего, в чем я должен был бы раскаяться. Если я о чем-нибудь сожалею, так это о том, что я не сумел еще лучше, еще сильнее послужить святому делу свободы. Но я считаю честью для себя, что посвятил ему всю свою жизнь.

Неужели же в Швеции мне придется краснеть за это? О, другое дело было бы, если бы я был ревностным и верным исполнителем идей Петербурга и Берлина. В особенности в настоящий момент, когда столько жестокостей и ужасов происходит в Польше по распоряжению одних и преступной услужливости других — мне бы понадобилось либо больше способностей, чтобы скрыть мой стыд, либо на много-много больше цинизма, чтобы снести его.

А теперь, милостивые государи, позвольте мне прибавить несколько слов о тенденциях партии, к которой я имею честь принадлежать, партии народного движения в России.

Надеялись запугать шведскую общественность рассказом, что русский революционер, т.-е. самый красивый из красивых, с некоторых пор поселился в Стокгольме, что между прочим никого не должно было удивить, потому что жизнь здесь так проста и вместе с тем так приятна, общество так гостеприимно и еще потому, что либеральные законы страны разрешают каждому иностранцу приехать и жить без паспорта, требуя взамен этого гостеприимства лишь строгое соблюдение шведских законов. Если даже предположить, что я действительно тот самый страшный и красивый человек, каким мои друзья из русской и немецкой дипломатии хотят меня представить, какое зло мое присутствие могло бы причинить Швеции? Разве можно серьезно думать, что революционная пропаганда здесь возможна? Она выполняется только в странах, где правят ваши хозяева, милостивые государи, в странах, где глупость правительства превосходится лишь циничной жестокостью их инстинктов и их делами, разрушающими все справедливое и все свободное, и где революционизирующий деспотизм монархов рано или поздно необходимо вызовет народную революцию. Но здесь, в этой стране,

такой счастливой, такой спокойной и пользующейся большой свободой, которая не является здесь, как в других местах, горячо желанной целью, а чудесной привычкой — здесь, где повседневный обычай открытых собраний и свободнейшей прессы никого больше не беспокоит и где прогрессивное развитие, одновременно всеобъемлющее, правильное и быстрое, дает себя чувствовать во всех направлениях, — в этой стране, наконец, которой правит один из самых популярных монархов в Европе, — человек, попытавшийся вести революционную пропаганду, был бы смешным дураком, которого неминуемо убила бы насмешка.

А в остальном, милостивые государи, — вы это хорошо знаете, а если не знаете, то должны были бы знать, ибо зачем бы вы иначе содействовали тем, кто за нами шпионит, — я не приехал сюда, чтобы пытаться устраивать революцию в Швеции. Времена изменились, мы не вмешиваемся больше во внутренние дела других стран. Правда, мы сохраняли все наши прежние симпатии, но опыт научил нас, что каждый действует хорошо лишь дома у себя, на своей земле, и у нас право же слишком много дела в России, чтоб иметь время и материальную возможность заниматься делами других.

Мы делаем исключение только для одной чуждой страны — Польши. Ах, это происходит оттого, что Польша прикована к той же цепи, что мы, как и мы, она является жертвой немецкого чудовищного централизма, который называется императорской властью в Санкт-Петербурге и который в себе не заключает ничего русского, кроме имени. Мы, как и они, презираем эту так называемую императорскую власть, потому что мы любим честь нашей родины, нашего народа; потому что, подобно страшному кошмару, это жестокое, деспотическое положение, основанное исключительно на рабстве, на brutальной принудительной эксплуатации всех сил народа, с единственной целью — завоеваний, в течение более двух веков давило на жизнь народа, да, на его свободное дыхание, потому что, с тех пор как она основалась на развалинах нашей национальной жизни, эта императорская власть, вначале византийская и татарская, затем немецкая, всегда чуждая нам, обвиняла, позорила, разоряла, мучила нас, пользовалась нами как неблагородной мертвой материей, как пассивным орудием для своего величия; потому что неслыханными, бесчисленными злодеяниями, внешними и внутренними, она навлекла на нас проклятие, ненависть и пренебрежение мира. Мы презираем ее за гнусности, которые она сегодня совершает в Польше, и за все то хорошее, что она подавляет в России. Мы презираем ее, одним словом, со всей силой нашего унижения и вынесенных нами страданий, а также со всей мощью нашего будущего. Между нами и ней война на жизнь и смерть. Поляки протянули нам руку, нам, партии национального возрождения, потому что они убеждены, что мы, как и они, желаем радикального уничтожения этой немецкой коварной императорской власти. И когда Финляндия, в свою очередь, поднимется, чтоб отвоевать свою свободу и самостоятельность, мы протянем ей руку, как мы протянули ее полякам. Ибо все враги императорской власти в Петербурге — наши друзья, друзья русского народа, а все ее друзья — наши враги.

В этой по видимости неравной борьбе, она на первый взгляд имеет все шансы за собой. Она имеет против нас окаменевшую силу, выросшую за двухсотлетнее существование. Она представляет все подобие могущественного организованного государства, распоряжающегося более чем 70 миллионами душ, с финансами, флотом, большой армией, бесчисленной рабски повинующейся бюрократией, и с еще более бесчисленным омологением агентов и шпионов внутри и вне страны. Заграницей, несмотря на опыт крымской войны, несмотря на поразительный, сказочный успех польского восстания — опыт и успех, которые должны были бы открыть миру глаза, — еще не отважились бояться и уважать ее. Кроме того, она располагает дружбой и наивным восхищением Берлина, который в настоящее время ведет себя так, будто продал свою душу Санкт-Петербургу, счастливый тем, что может позвать руки, обгащенные польской кровью, и не знает, как бы в достаточной мере трусливой угодливостью заслужить себе его любовь. И все же, вопреки всему этому, вопреки даже дружбе и любезности Берлина,

я. не колеблясь, говорю, что все шансы борьбы за нас, что годы и дни царского кошмара сочтены и что, если только польское движение продержится еще немного, то этой царской власти не осталось прожить года.

Я намерен в ближайшем времени в серии статей выявить причины возникновения так называемой царской власти, ее быстрого роста и теперешнего упадка. Я докажу, что эта царская власть никогда не была русской и что не было ничего общего между официальной Россией, единственной, которую знает Европа, и народной, „национальной“ Россией; что вначале Московское царство, татарское и византийское во всем своем существе, и затем его неизбежное дополнение — Петербургская нехотелая империя основались лишь после кровавой борьбы, длившейся более полувека; что русский народ никогда добровольно не подчинился скипетру царской власти; что он гигантскими восстаниями дважды расшатывал государство в самых его основаниях, что русский народ, даже побежденный и угнетаемый, никогда не примирялся с властью. Я покажу, как эта противоестественная и на вид такая мощная власть, не знающая другой цели, кроме завоевания, — будь то хитростью или силой других средств, кроме рабского страха и грязного своекорыстия, — подорванная своими собственными пороками, необходимо должна рушиться, а также каким образом из этого явно приближающегося падения должна вырасти торжествующая, но мирная и счастливая новая свободная Россия.

II).

Для тех, кого удивит сила моей ненависти к петербургскому императорскому режиму, я скажу, что с режимом этим я познакомился в царствование императора Николая. А это, быть может, был наиболее мрачный период в истории наших монархов, уже самой по себе достаточно мрачной.

В продолжение 30 лет это было систематическим отрицанием всякого человеческого чувства, всякой мысли, всякой справедливости. В течение всего этого времени не прислушивались ни к жалобам, ни к ропоту, подвергался действию этой системы удушения, которую называли Николаевским режимом: люди страдали и умирали, не смея вымолвить слова.

Император Николай был Дон-Кихотом системы, созданной Петром I и Екатериной II; он был наиболее трагическим ее выразителем. Он считал себя благодетелем и просветителем России. Что случилось бы, если бы он не был побежден в Крыму? Для России это было бы большим несчастьем. Но, к счастью для нас, его торжество оказалось уже невозможным.

Никто никогда не забудет трепета, пробежавшего по всей империи при смерти императора Николая. Его можно было бы назвать первым вздохом воскресшего.

Чиновничество оплакивало крушение своего владычества, остальное же на еле-еле не содрогнулось от радостных надежд.

Россия не умерла: несмотря на все его усилия, императору Николаю не удалось убить ее, и было ясно, что его режим, столь ненавидимый всеми, вместе с ним сошел в могилу. Дата его смерти является днем рождения новой России. После Крымской войны все поняли, что старая система отжила свой век и что надо создавать новую.

Это убеждение было настолько глубоким и всеобщим, что проникло в высшие сферы, обычно мало расположенные к реформам. Совершенно открыто стали кричать недостатки как военной, так и гражданской администрации. А недостаткам не было числа; всюду полное невежество, всюду обман, возведенный в систему, всюду, наконец, попрание справедливости. Императорское правительство пожертвовало всем, лишь бы казаться могущественным извне, но оно не успело и в этом: его уже не боялись, его презирали, и оно было доведено до того, что начало презирать самого себя. Положение стало невыносимым. Нужна была радикальная реформа.

1) Продолжение, напечатанное в № 110 от 15 мая 1863 г. „Nya Dagligt Allehanda“.

С другой стороны, крестьяне начали открыто требовать земли и свободы, в чем не могли отказать из боязни народного возмущения.

На трон вступил молодой император. Говорили, что он добр, кроток и благожелателен. Вся Россия приветствовала его как своего спасителя. Может быть, ни один император не был так восторженно встречен при своем вступлении на престол, как Александр II. Никогда монарх не обладал до такой степени возможностью сделать добро. Но, чтобы сделать это в том критическом положении, в котором находилась тогда Россия, нужен был или большой ум или, по крайней мере, благородное сердце. К несчастью для самого себя и для нас, он не обладал ни тем, ни другим. Он один мог бы освободить Россию, не пролив ни одной капли крови. Вместо этого он довел нас до революции и в настоящее время является величайшим революционером России.

Он должен был понять, что элементы для политической и социальной организации должны быть заимствованы у народа.

Русский народ за два века рабства сохранил в неприкосновенности три принципа, которые послужат ему исторической основой будущего развития.

Первым является общераспространенное в народе убеждение, что вся земля принадлежит ему.

Второй принцип — уважение к общине, организации, которую два века рабства не могли совершенно уничтожить, и которую русский народ сохранил в виде обычая. Общинное устройство составляет политическую и социальную связь русского народа, и ему русский народ обязан той энергией, с которой он смог сопротивляться соединенным силам царей, бюрократии, дворянства и духовенства.

Наконец, третий принцип, источник всей нашей будущей свободы — самоуправление общины.

Эти три принципа в их наиболее широком значении содержат в зародыше всю будущность России. Их развитие должно иметь своим первым следствием соединение общин в округа, затем округов — в области, наконец, областей — в государство. Вторым следствием было бы применение выборного начала к замещению всех должностей, за исключением монарха, власть которого должна была бы остаться наследственной, — одним словом, окончательный отказ от немецкой системы бюрократического централизма, введенной Петром Великим и развитой Екатериной II и Николаем I.

Император Александр должен был понять, что для проведения реформ ему надо было решительно выбрать между старым и совершенно новым режимом.

Отрекшись от деспотизма во внутренней политике, он должен был бы отказаться от системы завоеваний по отношению к иностранным державам. Надо было возвратить свободу и независимость всем областям, которые хотят входить в состав русского политического целого. Необходимо было дать свободу полякам и финляндцам, открыто провозгласить освобождение славянских народов, еще томившихся под игом турок или немцев, и принять во внешней политике совершенно новую систему, в одно и то же время свободную, справедливую и прежде всего национальную. Этой ценой император Александр мог бы приобрести такой действительный и благотворительный авторитет, каких не пользовался ни один император России. У него не хватило смелости. Он, имевший возможность сделать так много, все испортил теперь непоправимым образом. Для замирения Польши было два пути: деспотизм Николая I, ведущий ни более ни менее как к полному уничтожению польской национальности, — и другой путь, заключающийся в предоставлении свободы и независимости Польше, — Польше всей целиком.

III ¹⁾.

К несчастью Александр II показал полное непонимание требований эпохи, послав в Польшу маркиза Велепольского и своего августейшего брата. Первым следствием такого режима был заговор, составленный в 1861 г. 12 молодыми поляками без имени,

¹⁾ Продолжение в № 112, от 18 мая, той же газеты.

без положения, без состояния, во полных энергии и воодушевленными желанием освободить родину от русского деспотизма. В Варшаве образуется тайный комитет русских офицеров, вступающий в сношения с редакцией „Колокола“. И комитет, и редакция заключают союз с центральным польским комитетом в Варшаве. Несколько времени спустя этот союз был ратифицирован центральным комитетом тайной русской организации, существующей под названием „Земля и Воля“, крупного объединения, насчитывающего в настоящее время в числе своих членов часть армии, дворянства, бюрократии, даже духовенства, а также большое количество лиц, принадлежавших к низшим классам населения.

Русское правительство, видя, что в Польше готовится восстание, и опасаясь революции в собственной стране, решило его ускорить, чтобы задвинуть в самом начале. Для этого оно ввело новую систему рекрутского набора, изобретенную Веленодским. Боясь, как бы армия не действовала заодно с восставшими, русское правительство не только позволяло, но даже приказывало армии грабить и убивать как мясурентов, так и мирных жителей польских городов и деревень.

Этим император Александр покрыл русское имя позором, бесчестием, за которые ему придется отвечать перед нами.

Покойный император Николай был более искренен: завистливый, гордый и жестокий по природе, он не позволял никому делать зла кому бы то ни было, не вмешавшись в это сам. Это был его способ заставлять уважать себя. Александр II более скромен. Он облакает своих должностных лиц абсолютной властью, приказывает им совершать преступления, и сам с содроганием умывает руки.

Наконец, политика, проводимая сейчас в Польше, — не русская политика: это — политика вполне немецкая, — немецкая не в смысле национальном, но в смысле Гут-ского альянса. Монархи и князья, графы и бароны, все они в настоящее время особенно симпатизируют императору Александру, которого они, без основания, считают чистейшим немцем, как мы считаем его наиболее фатальным из русских.

„Бесы“ Достоевского и Бакунин.

Спор, затянувшийся слишком долго, всегда рискует затеряться в мелочах и мало-по-малу снизиться до уровня личных счетов по поводу уже сказанного. Не миновал этой участи и сенсационный спор о Бакунине в „Бесах“: в последних выступлениях спорящих сторон принципиальная острота возражений заметно притупилась, зато обострились до крайности собственные разногласия Л. Гроссмана и Вяч. Полонского... При таком направлении спора вопрос о прототипе Ставрогина не только не уясняется, а напротив, с каждым новым выступлением диспутантов будет все более и более заслоняться вопросами частными, имеющими лишь косвенное отношение к основному вопросу историко-литературной полемики. Мы и берем на себя задачу еще раз сопоставить главные тезисы этого диспута с тем, чтобы проверить их объективную убедительность¹⁾.

Гипотеза Л. Гроссмана, утверждающая, что Михаил Бакунин послужил Достоевскому прототипом Ставрогина, обоснована на двух основных утверждениях: 1) художественная биография Ставрогина повторяет в целом ряде разительных совпадений биографию Михаила Бакунина; 2) Достоевский не мог не быть широко осведомлен „по внешней и внутренней биографии Бакунина“.

Первое утверждение, даже если с ним и не спорить, является простым констатированием сходства двух разнородных явлений, и поэтому ничего не говорит о какой-либо генетической между ними связи, в силу чего и не может, само по себе, служить доказательством главного тезиса („Достоевский, создавая Ставрогина, исходил из личности Бакунина“, кн. 4, 1923 г., стр. 85). Надо предположить, следовательно, что вся сила доказательности сосредоточена Л. Гроссманом в фактах собственной биографии Достоевского: иной

¹⁾ Спор протекал в следующей последовательности: статья Л. Гроссмана „Бакунин и Достоевский“ („Печать и революция“ 1923 г., кн. 4) вызвала возражения со стороны Вяч. Полонского в его статье „Бакунин и Достоевский“ (ibid. 1924 г., кн. 2), которых, с своей стороны, Л. Гроссман противопоставил несколько новых тезисов (Бакунин в „Бесах“, ibid. 1924 г., кн. 4, 5); новые возражения Вяч. Полонского появились в той же книге журнала (в книге пятой), но еще не доведены до конца. — При дальнейших ссылках будем указывать кратко, уже не называя журнала; кн. 4, 1923 г.; кн. 2; кн. 4, 1924 г.; кн. 5.

аргументации, кроме как биографической, в первой статье Л. Гроссмана мы вообще не находим, и вопрос в его собственной постановке сводится таким образом почти исключительно к обоснованию фактами биографии отмеченного им сходства (Ставрогина и Бакунина).

Если исключить всё то, что и с точки зрения самого исследователя „гипотетично“ (напр. беседы Достоевского с Герценом о Бакуanine) или же слишком удалено хронологически от замысла „Бесов“ (Белнинский, кружки 40-х гг., Сибирь), то о „широкой осведомленности“ Достоевского „во внешней и внутренней биографии Бакунина“ в период зарождения замысла „Бесов“ „убедительно“, как утверждает Л. Гроссман, свидетельствуют следующие факты: присутствие Достоевского на втором заседании конгресса мира в Женеве в 1867 году; общение Достоевского с Огаревым; и, наконец, пристальное внимание Достоевского к процессу „нечаевцев“, где замешан был и Бакунин.

Решающую роль в построении Л. Гроссмана играет женевский конгресс: это — место единственной встречи, лицом к лицу, Достоевского и Бакунина, той встречи, которая и решила, по предположению исследователя, судьбу Ставрогина („...В этот день Достоевский задумал своего Ставрогина“, кн. 4, 1923 г., стр. 84). И надо признать, что возражения Вяч. Полозского в той их части, где оспаривается даже самый факт этой встречи („в природе не существует даже материала, говорит он, который мог бы установить, что Достоевскому удалось на конгрессе прослушать короткую речь Бакунина“, кн. 2, стр. 27), поколеблены ответами Л. Гроссмана: как-раз тот материал, существование которого отрицал оппонент, не только найден, но и убедительно говорит против него; на основании протоколов конгресса (*Annales du Congrès de Genève*, 9 — 12 septembre 1867. Genève, 1868 г.) Л. Гроссману удалось установить с известной точностью присутствие Достоевского не только на том заседании, где выступал Бакунин (10 сентября 1867 г.), но и присутствие его там именно в тот момент, когда Бакунин произносил свою речь (см. кн. 4, 1924 г., стр. 57 — 62). Однако, и эти разъяснения решают лишь часть вопроса, — и меньшую... Пусть Достоевский видел и слушал Бакунина 10 сентября 1867 г. в Женеве; но что убеждает нас в том, что „личность Бакунина как бы расковала дремлющую стихию каких-то творческих возможностей“, что „новый еще глубоко загадочный, но уже нестерпимо волнующий образ стал мучительно прорезываться в сознании Достоевского“ и, наконец, что образ этот — будущий Ставрогин, которого „в этот день“ и задумал художник (кн. 4, 1923 г., стр. 84)?

Надо различать простое констатирование внешнего биографического факта (Бакунина Достоевский видел и слушал) и наличие в сознании художника творческой апперцепции этого факта. Как раз о последней говорят приведенные слова Л. Гроссмана, и на них он снова настаивает в ответной статье („отмечены два момента: гневное возмущение писателя и творческий сдвиг его сознания... Он потрясен и взволнован до творческого напряжения“, кн. 4, 1924 г., стр. 65). Однако, нет пока решительно ни одного факта, подтверждающего этот „творческий сдвиг“, заключать же о нем

лишь на основании внешнего факта встречи, — пусть бесспорного, но все же глубоко разнородного с тем, который был бы тут доказательным, — не значит ли это, во-первых, произвольно отождествлять простую направленность внимания (тоже ведь недоказанную) с художественно-творческой апперцепцией и, во-вторых, вызвал к значительности явления с нашей, уже исторической точки зрения („Титан... мог ли не изволновать вечно-динамическую стихию творческого духа Достоевского?... Могло ли это явление не потрясти русского романиста...“ кн. 4, 1924 г., стр. 65), произвольно навязывать эту точку зрения современнику и, несомненно, не очень внимательному наблюдателю явления. — не значит ли все это допускать в своих доказательствах *argumenta ad hominem*?... В самом деле, где данные, позволяющие утверждать, что образ Бакунина выделен был хотя бы даже не творческим, а обычным вниманием наблюдателя-Достоевского из толпы „бесцветного собрания европейских пацифистов“? Как известно, в переписке с друзьями Достоевский дважды говорит о своих впечатлениях от заседания конгресса; имя Бакунина ни разу не упомянуто. А. Г. Достоевская, в то время на мир и людей смотревшая глазами мужа (что так заметно в ее „дневнике“), рассказывая в своих „Воспоминаниях“ о посещении конгресса, о Бакунине тоже молчит. Молчание Достоевского соображениями политическими объяснить быть не может, как разъяснил это с полной убедительностью Вяч. Полонский. Но может быть, молчание Достоевского объясняется целомудрием художника, уже приобщившего этот титанический образ своему творчеству? Предположение Л. Гроссмана о зарождении замысла Ставрогина в самый день встречи Достоевского с Бакуниным наталкивается, как увидим, на непреодолимые препятствия уже в области неоспоримых фактов генезиса „Бесов“. Но и сейчас, в плоскости психологических допущений, умолчание о Бакунине в переписке Достоевского никак нельзя объяснить умышленным замалчиванием художника, ревнивого к своему замыслу: если Н. Н. Страхову не до конца приоткрывал Достоевский свои художественные проекты, то Ап. Майкову, напротив, он рассказывает о них, и как раз в тот период (1867—1870 гг.), с откровенностью, почти мучительной для него самого. И вот, если Л. Гроссман ставит риторический вопрос перед нами, мог ли Бакунин не поразить художественное воображение Достоевского, — мы, в свою очередь, вопрос ставим и перед ним: если б Бакунин, действительно, так поразил тогда (10 сентября 1867 г.) художественное воображение Достоевского, мог ли бы Достоевский столь тщательно утаить (как приходится допускать, если встать на точку зрения защитника гипотезы) от самых близких ему в то время друзей столь значительное событие своей внутренней жизни, скрывать которое у него оснований было не больше, чем, например, случайную встречу с Герценом (в Женева) или, с другой стороны, такие подробности замысла „Атеизм“, как имена Чаадаева, Тихона Задонского и Павла Прусского.

Надо знать, до какой степени живо реагировал Достоевский в своей интимной переписке на всё, что порождало его воображение (будь то журнальная статья Леонтьева или Данилевского, сообщение ли о Кельсиеве, слу-

чайнал ли встреча на улице с Герценом, или собственный художественный замысел), чтобы признать, что упорное молчание его о Бакунине никак не мирится с той психологической интерпретацией случайной их встречи на заседании конгресса, которую дает в своем исследовании Л. Гроссман. Утверждать, что „это явление не могло не потрясти русского романиста“—и значит решать за Достоевского. Но не осторожнее ли довериться ему самому и его впечатление от этой встречи восстанавливать на основании бесспорных, хотя и отрицательных только фактов? — Впрочем, и не только, может быть, отрицательных: десятиминутная речь Бакунина свой след в переписке Достоевского. нам думается, всё же оставила; не ее ли имеет в виду Достоевский, когда и в письме к Ап. Майкову, и в письме к Ивановой-Хмелевой, под непосредственным впечатлением речей на заседании 10 сентября, пересказывает политические лозунги Женевского конгресса: „Начали с предложений втиривать, что не нужно больших монархий и все поделать маленькие“; и в другом письме: „большие государства уничтожить и поделать маленькие“¹⁾. Если в этих дважды повторенных словах признать отклик Достоевского на воззвание Бакунина „о превращении современных государств в *Etats-Unis de l'Europe*“ (кн. 4, 1924 г., стр. 59), — психологическая гипотеза о „творческом сдвиге сознания“ уже с наглядной убедительностью теряет под собой почву. Если признать эти слова Достоевского пересказом воззвания Бакунина и прочитать их в контексте, — исчезнет и тень правдоподобия в указанных предположениях Л. Гроссмана: ведь необходимо будет тогда согласиться, что образ Бакунина, „героическая личность русского бунтаря“, под взглядом Достоевского ни на минуту не выступила вперед, вопреки утверждениям Л. Гроссмана, из „бесцветной“ массы „европейских пафистов“; напротив, в восприятии Достоевского она была до последней степени обезличена: Бакунин даже не назван, когда именно о нем идет речь; его слова памятны Достоевскому вовсе не потому, что это — его слова, а только потому, что они кажутся Достоевскому характерными для конгресса, т. е. с его точки зрения, характерным проявлением „коичности, слабости, бестолковщины, несогласия, противоречий себе“. Тут уж нельзя усмотреть не только „творческого сдвига“, но даже и „гневного возмущения“: есть удивление перед нелепостью, пронизывающее недоумение и даже склонность к баламбуру („мирный конгресс“, но „первое слово... драка“). Если таким образом согласиться, что в центре этой характеристики поставлены Достоевским слова Бакунина, как бы едва уловленные в качестве ходового и обезличенного лозунга комической „бестолковщины“ — каким странным парадоксом покажется тогда гипотеза, относящая за счет впечатлений, столь слабо дифференцированных и столь мимолетных (речь Бакунина длилась ведь десять минут), зарождение столь сложной художественной идеи, как Ставрогин.

Другим существенным обстоятельством „в истории заочного знакомства автора „Бесов“ с Бакуниным“ Л. Гроссман считает „встречу и близкие отно-

¹⁾ См. Письма, стр. 179; „Русская Старина“ 1895 г., т. 17, июль — сентябрь.

шения Федора Михайловича с Огаревым в Женеве в 1867 году". Возражения Вяч. Полонского достаточно, однако, убедительны. Правда, вопрос о степени дружеского доверия и откровенности Огарева в беседах с Достоевским в течение тех трех месяцев, пока оба они жили в Женеве, остается открытым. („Воспоминания" А. Г. Достоевской говорят скорей в пользу Л. Гроссмана). Но тщательно восстановленный Вяч. Полонским итнерарий Огарева и Достоевского за 1867—1870 г.г. делает мало-правдоподобным предположение Л. Гроссмана о знакомстве Достоевского с письмами Бакунина к Огареву после 1868 года, с чем почти согласился, наконец, и сам Л. Гроссман (кн. 5, стр. 46). Но тем самым из цепи доказательств „широкой осведомленности" Достоевского выпадает одно из самых полновесных звеньев.

Что касается пр-цесса „нечаевцев", утверждение Л. Гроссмана („Изучал процесс..., Достоевский неоднократно встречался с именем Бакунина" и т. д.) не до конца опровергается возражениями Вяч. Полонского, указавшего, что, с одной стороны, причастность Бакунина к делу Нечаева осталась для суда тайной, а с другой — что официальный отчет о процессе (в „Правительственном Вестнике" 1871 года) появился уже после того, как „добрая половина романа" стала достоянием читателя, и в частности те две первые главы его второй части, где отношения Ставрогина и Петра Верховенского намечены уже с достаточной полнотой. Как известно из рассказа дочери Достоевского, он был осведомлен о подробностях политического убийства в Петровско-Разумовском парке еще задолго до начала судопроизводства и помимо всяких официальных и даже газетных источников — благодаря встрече за границей со своим шурином Иваном Сниткиным, знавшим некоторые подробности этого дела ¹⁾. Странно, что Л. Гроссман нигде не упоминает об этом... Однако, насколько широка была та информация, о которой рассказывает Л. Ф. Достоевская, — распространялась ли она на Бакунина или не распространялась, — мы не знаем. Что же касается печатных источников сведений Достоевского о деле Нечаева, по отношению к ним возражения Вяч. Полонского сохраняют всю силу убедительности. Итак, всё, что приводит Л. Гроссман в качестве доказательств „широкой осведомленности" Достоевского относительно личности и событий жизни Бакунина, не доказывает на наш взгляд даже и этой осведомленности, т.-е. простого внимания Достоевского к предполагаемому прототипу его героя, хотя бы в такой же степени, как это известно нам относительно Кельсиева или Герцена. Настаивать на этом утверждении мы, однако, не станем, так как вот что надо иметь в виду: генетическое сближение Ставрогина с Бакуниным требует большего, чем только доказательств „широкой осведомленности" Достоевского в биографии Бакунина: отстаивая свой основной тезис, Л. Гроссман должен доказать и то, что осведомленность эта отмечена была в сознании Достоевского характером

¹⁾ „Никто не подозревал, что мой отец имел случай составить себе ясное представление о заговоре, расспросив дядю Ивана, который стоял близко к жертве, убийце и другим революционерам академии и мог сообщить ему об их беседах и политических взглядах". См. „Достоевский в изображении его дочери" 1922 г. Стр. 69—70.

художественно-творческой апперцепции, как, например, это мы знаем по отношению к Чаадаеву или Тихону Задонскому, Нечаеву или Грановскому. Поясним это методологическое требование на следующем примере: Достоевский выписывает из России и читает с большим вниманием книгу Станкевича о Грановском; этим бесспорно доказывается интерес Достоевского к данному лицу, более или менее „широкая освеломленность“ Достоевского в биографии Грановского. Но было ли достаточно только этих фактов для того, чтобы утверждать, даже и при явном сходстве с Грановским Степана Трофимовича Верховенского, что „создавая Верховенского, Достоевский исходил из личности Грановского?“ Думается, что нет. Утверждение это, так обоснованное, было бы правдоподобно, но не было бы доказано. Полную же доказательность оно приобретает только тогда, когда, раскрыв рукописи романа, мы наглядно убеждаемся, что задуманный персонаж, будущий Верховенский, всюду почти именуется „Грановским“, т.-е. был с ним в известной степени тождествен уже в замысле художника. На этом примере изобличается, как нам кажется, степень доказательности тех биографических фактов, которые собраны Л. Гроссманом: не будучи до конца убедительными даже относительно осведомленности Достоевского в биографии Бакунина, они не только не доказывают основной тезис Л. Гроссмана, но и не делают его вероятным.

Таким образом биографический анализ в работе Л. Гроссмана не дает никаких оснований к тому, чтобы отмеченное им сходство (Ставрогина и Бакунина) объяснить с точки зрения генезиса Ставрогина. Если ставится вопрос о генезисе художественного явления („создавая Ставрогина, говорит исследователь, Достоевский исходил из личности Бакунина“), — учету подлежит процесс генезиса по возможности на всем его протяжении, а не только лишь завершение этого процесса (Ставрогин законченного романа) и совершенно гипотетическое начало его („творческий сдвиг сознания“ 10 сентября 1867 г.). Учитывая только эти два крайних момента процесса и как бы совершенно забывая об его средних звеньях, — забывая, что у Ставрогина есть очень разветвленное и уж вполне законное, о происхождении его вполне убедительно говорящее „генеалогическое дерево“, — а, вместе с тем, забывая и то, что, если Бакунин в самом деле „родоначальник“ Ставрогина, героя законченного романа, то родство это неизбежно и в сильнейшей степени должно сказаться и на промежуточных ступенях генеалогической лестницы Ставрогина, — забывая все это, Л. Гроссман стремится уверить нас, что указанное им сходство уже само по себе свидетельствует о генетической связи сравниваемых явлений. Сходство это схематически сформулировано самим Л. Гроссманом в виде 20 основных признаков ¹⁾. Каждый из них был подверг-

¹⁾ 1) Аристократ, идущий в демократию; 2) духовное влияние видного идеалиста 30-х гг.; 3) образование в заграничных университетах; 4) путешествие, участие в экспедиции; 5) неудачная офицерская служба; 6) кратковременное пребывание в великосветских кругах; 7) мощная революционно-философская пропаганда за границей; 8) близость с Нечаевым и разочарование в нем; 9) эпизод использования женщины с революционными целями; 10) связь с представителями „разбойничьего мира“;

нут Вяч. Полонским тщательной критике. Но Л. Гроссман, отвечая ему высказал принципиальное недоверие такой частичной оценке того или другого из указанных им признаков сходства: не отдельные совпадения, говорит он, но „система совпадений“, как таковая, должна быть или целиком отвергнута или целиком принята. Свое требование Л. Гроссман оправдывает ссылкой на поэтику акад. Веселовского: „При установлении связи между художественным образом и его реальным прототипом действует тот же закон, что и при установлении связи между родственными сюжетами. По выведенному А. Н. Веселовским принципу: только сложная система совпадений в развитии сходного сюжета делает для нас убедительным сюжетное заимствование. Это, конечно, применимо полностью и к вопросу о связи образов“ (кн. 4, 1924 г., стр. 66). Категорическое утверждение это далеко, однако, не убедительно; больше того — тут явное недоразумение.

Как известно, метод всякой науки и объект ее взаимно определяют друг друга: меняется один — неизбежны перемены в другом ¹⁾. Методологический принцип, на который ссылается Л. Гроссман, как раз именно так и связан с объектом той науки, которую строил ак. Веселовский; и чтобы убедиться в этом, надо только вспомнить введение и первую главу „Поэтики сюжетов“ (сочинение, на которое ссылается Л. Гроссман), где дано определение сюжета. Сюжет для акад. Веселовского — „типическая схема..., к которой фантазия привыкла обращаться для выражения того или другого содержания“, это „схема, передававшаяся в ряду поколений, как готовая формула“; „схематичность и повторяемость“ — основные признаки сюжета, как объекта историко-литературной науки ²⁾.

Таким образом сюжет, как объект исследования, опирающегося на тот методологический принцип, который указан Л. Гроссманом, индивидуально-единичным, неповторяемым, незаимствованным вообще быть не может; неповторяемый художественный сюжет, как объект науки, — это для науки ак. Веселовского почти *contradictio in adjecto*; „схематичность и повторяемость“ этого объекта исследования только собою и только по отношению к себе и узаконяет методологическое правило о „сложной системе совпадений“: в „Поэтике сюжетов“ эта система убедительно говорит о заимствовании только потому, что заимствование, переходный характер постулированы здесь, как основной признак сравниваемых явлений (сюжетов). Но решится ли Л. Гроссман утверждать,

11) реагирование на пощечину и отношение к дуэли; 12) сексуальная ущербность — 13) обращение к самоубийству; 14) малограмотность русского барича; 15) Швейцария; 16) обвинение в шпионстве; 17) черты внешнего сходства; 18) двойственное отношение друзей и женщины; 19) этапы мирозерцания: культ России, воинствующий атеизм, всеобщее разрушение; 20) совпадение характеристики Ставрогина (гибельная гипертрофия интеллекта) со свидетельствами Анненкова, Белинского, Герцена об исключительной рассудочности Бакунина“ (кн. 4, 1924 г., стр. 66).

²⁾ Именно из этой мысли о принципиальном тождестве объекта и метода науки исходил в своем вдумчивом изучении системы поэтики ак. Веселовского Б. М. Энгельгардт. См. его книгу „А. Н. Веселовский“ 1924 г., стр. 39.

³⁾ См. Собр. сочинений А. Н. Веселовского, т. II, вып. 1, стр. 1, 2.

что и всякий художественный образ предполагает наличие „литературного прототипа“?

В исследовании Л. Гроссмана „сложная система совпадений“ охватывает собой как раз ту сторону художественного произведения и тот момент ее генезиса, которые, в качестве индивидуального и его эстетической основы вообще и совершенно сознательно освобождены ак. Веселовским из-под власти установленных им законов поэтики. Указанием на такое ограничение своих задач он и начинает „Поэтику сюжетов“; ее задача, по словам Веселовского, — „определить роль и границы предания в процессе личного творчества“ (ор. cit., стр. 1). Но и больше того: возможность генетических сближений отдельных сюжетных ситуаций с теми или иными событиями жизни, — т. е. как раз то, что, между прочим, находим в исследовании Л. Гроссмана (напр., пощечина Каткова Бакунину — пощечина Шарова Ставрогину), — в „Поэтике сюжетов“ теоретически предусмотрена, но как? — в качестве исключения из законов этой поэтики. „Есть сюжеты анекдотические, подсказанные какою-нибудь случайным происшествием, вызвавшим интерес фавулой или главным действующим лицом“; но, продолжает ак. Веселовский, они „не типичны“ в качестве объектов науки о сюжетах; таковы сказки дикарей, тагов и „современный роман“¹⁾.

И чтоб уж окончательно убедиться, что именно та историко-литературная проблема, которую стремится разрешить Л. Гроссман, — „проблема литературного прототипа“, как он сам ее называет, — вполне сознательно была изгнана акад. Веселовским из-под охраны законов его „поэтики“, вспомним, с какой точки зрения надо взглянуть на „современный роман“ для того, чтобы он оказался „нетипичным“ для методов и историко-литературных задач акад. Веселовского: „Современный роман не типичен“, говорит он, потому, что „центр не в фавуле, а в типах“ (ор. cit., 13).

Исследование Л. Гроссмана как раз и стремится найти в романе Достоевского этот „нетипический“ для метода ак. Веселовского „центр“, укрепив его за тем пределом (безличного поэтического предания), которым строго ограничена поэтика ак. Веселовского. Словом, у Л. Гроссмана не было ровно никаких оснований утверждать, будто методологический принцип „Поэтики сюжетов“ „конечно, применим полностью“ и к вопросу о реальном прототипе Ставрогина: тут „система совпадений“, как бы она „сложна“ ни была, сама по себе о заимствовании не говорит и говорить не может. Она решала бы этот вопрос в положительном смысле только в том случае, если-б заранее было установлено, что в период работы Достоевского над „Бесами“ образ Бакунина был им творчески апперцепирован (как это известно, например, относительно образа Грановского) или даже и в том случае, если-б были основания считать, что за данным поэтическим образом скрывается какой-то реальный прото-

¹⁾ Вот каково заключение В. М. Энгельгардта по поводу приведенных слов ак. Веселовского: „Все это лишь исключения, подтверждающие общее правило. Поэтика сюжетов, как и поэтика жанров, строится в границах литературного предания, и процесс индивидуального творчества остается вне круга ее изучений“. Ор. cit., стр. 165.

тип (как, например, об этом свидетельствуют известные стихи „Евгения Онегина“). Но в исследовании Л. Гроссмана нет и намека ни на одно из этих условий.

Вопрос о прототипе Ставрогина, для его окончательного решения, необходимо перенести из области биографических справок и методологически необоснованных сопоставлений в ту область, куда Л. Гроссман почти и не вступает, но которая, тем не менее, является последней, решающей инстанцией для его спора с Вяч. Полонским,— в область объективного генезиса данного художественного замысла.

На это и рассчитана особая глава в первой статье Вяч. Полонского („История Николая Ставрогина“), где собраны показания переписки Достоевского о генезисе „Бесов“. Дополним их и еще некоторыми для того, чтобы до конца восстановить последовательность художественной работы Достоевского за 1867 — 1870 гг. и увидеть место, занимаемое здесь замыслом Ставрогина.

Осенью 1867 года, т.-е. в тот период, когда, согласно гипотезе Л. Гроссмана, задуман был Ставрогин, художественная работа Достоевского, действительно, была напряженной; он „выдумывает“ новый роман; „выходило планов по шести ежедневно“; на одном из них воображение художника приостанавливается, но не надолго: „4 декабря иностранного стиля бросил всё к черту“, замысел не удался. И вот только „18 декабря... сел писать новый роман, 5 января (нового стиля) отослал... 5 глав“ (письмо Ап. Майкову от 31 декабря/12 января 1867 — 68 г. См. Сборник под ред. А. С. Долинина, стр. 345 — 346)... Видеть в начатом, но тотчас же оставленном „плане“ — будущих „Бесов“, конечно, нельзя; головокружительная смена замысла в тот период („всё лето и всю осень компановал разные мысли“) вовсе не подтверждает предположения Л. Гроссмана о мгновенном сосредоточении художником всего своего внимания на одном образе (в день встречи с Бакуниным); а устойчивый результат этого творческого возбуждения еще дальше уводит нас от рассматриваемой гипотезы; 18 декабря 1867 г. начинается последовательная работа над одним замыслом и без перерыва, с большим напряжением, тянется через весь 1868 год, — создается „Идиот“. В конце года Достоевский осведомляет друзей о своих новых художественных проектах: их три; на первом месте — „огромный роман“ или „поэма“ („Атеизм“, „Житие великого грешника“); затем — „идея одной довольно большой повести“ (будущий „Вечный Муж“); и наконец — „есть и еще одна мысль“, в которой и надо признать зачаток „Бесов“ (письмо Ап. Майкову 11/3 декабря 1868 г., см. Письма, стр. 202). Как видим, интересующий нас замысел — на последнем месте, и предполагать какие-либо затем к нему в тот период нет никаких оснований. Воображение Достоевского всецело планомерно первым замыслом; о нем он говорит как о деле всей жизни, но работу не начинает: откладывает ее, из опасения испортить будущее произведение, до возвращения на родину. Поэтому для очередной литературной работы выбирает один из двух второстепенных замыслов: повесть в „Зарю“ (т.-е. „Вечный Муж“) — продана и деньги получены; но их не хватает, а потому „Русскому Вестнику“

предлагает Достоевский и последнее из трех задуманных произведений, т.-е. будущие „Бесы“. Приняться за эту двойную работу он предполагает тотчас же по приезде в Дрезден... Такого положение вещей к середине 1869 года (письмо Майкову из Флоренции от 15/27 мая 1869 г. См. Сборник под ред. А. С. Долинина, стр. 426).

Каких-нибудь признаков исключительной заинтересованности Достоевского будущим героем „Бесов“ нет и теперь; но он по-прежнему до самозабвения заинтересован героем „Жития“... К намеченной в мае двойной работе приступает Достоевский только в конце августа: „три месяца во Флоренции я потерял от жары“, но „наконец сажусь за работу“, „надо садиться писать — в Зарю“, а потом начать большую вещь в „Русский Вестник“... 8 месяцев уже не писал ничего (разрядка моя), т.-е. с самого окончания „Идиота“ (письмо от 14/26 августа 1869 г. из Дрездена к Майкову, см. Сборник, стр. 430). Таким образом до конца августа 1869 года Достоевский не только не приступил к работе над „Бесами“, но и не проявил к этому замыслу сколько-нибудь заметного интереса; как и прежде, при распределении ближайших литературных заданий первая очередь сохраняется за „Вечным Мужем“, и лишь „потом“ — вещь в „Русский Вестник“; но при этом — все еще полная неопределенность того и другого замысла („начну разумеется горячо, но что-то будет дальше“) и довольно равнодушное к ним отношение („мысли кой-какие есть“); видно, что страсть художника, вся целиком, вложена пока вовсе не в них, а по-прежнему в тот большой и ответственный замысел, осуществление которого отложено; в двух словах указанного письма, он, хоть и не названный тут, дает о себе знать („надо России“). Конец августа и сентябрь всецело посвящены „Вечному Мужу“: „сижу в настоящую минуту за повестью в „Зарю“ и довел работу уже до половины“ (письмо из Дрездена Майкову от 17/29 сентября 1869 г. Письма, 206); от этой работы не отрывается Достоевский и в течение октября (письмо от 27 октября 18 ноября 1869 г. Письма, стр. 216), но закончить повесть все еще не может; о какой-либо другой работе нет и речи. Только 5/17 декабря „Вечный Муж“ был закончен и выслан в редакцию „Зари“ после непрерывной работы в течение 2 1/2 месяцев (письмо из Дрездена к Майкову 7/19 декабря 1869 года. Письма, стр. 225). Весь 1869 год, как и предыдущий, прошел для Достоевского не только вне работы над „Бесами“, но и вне сколько-нибудь заметного интереса к этому замыслу. Где же тут признаки „творческого сдвига сознания“, совершившегося уже бы пред лицом Бакунина и уже в предчувствии Ставрогина 10 сентября 1867 года?... Внешний, принудительный характер предстоящей Достоевскому работы, в декабре 1869 года (над „Бесами“), виден и вот из какой подробности: приведенное письмо, где говорится об отсылке „Вечного Мужа“, заканчивается следующими словами: „Через три дня сажусь за роман в „Русский Вестник“ (т.-е. за „Бесы“); это написано 7/19 декабря 1869 года. Но за работу сел Достоевский не через три дня, а на другой же день, — первый свободный день после двухмесячной непрерывной работы; однако, принялся не за роман в „Русский Вестник“ (не настолько он его

интересовал, очевидно, в то время), а за ... „Жизнь великого грешника“: первая запись сохранившегося конспекта помечена: „20/8 декабря“ (1869 года)¹⁾.

Не изобличается ли этим с наглядной убедительностью соотношение творческих устремлений Достоевского в тот период... Но, вместе с тем, мы вплотную подходим и к известным черновым наброскам „Бесов“²⁾. Первый из этих отрывков датирован 23 января (3 февраля) 1870 года. Из всего предыдущего необходимо заключить, что это и есть самая ранняя запись к тому замыслу, упоминать о котором Достоевский начинает с декабря 1868 года и который превратится затем (к концу 1870 года) в роман „Бесы“. Необходимо также признать, в связи с предыдущим, что замысел этот все время, вплоть до окончательного приступа к его осуществлению (т.-е. до января 1870 года), был у художника на последнем счету, в тени, особого интереса к себе не возбуждал, да и начав мало-по-малу укладываться на бумагу (в январе — марте 1870 г.), далеко не сразу этот интерес пробудил. Все это, как бесспорное, не может не признать и защитник гипотезы о Бакунине-Ставрогине; но, вместе с тем, все это решительно говорит против нее: первые записи к „Бесам“ (в январе 1870 г.) слишком удалены от момента встречи Достоевского с Бакуниным для того, чтобы этой встрече можно было приписывать сколько-нибудь решающую роль в генезисе романа.

Но все же решительный ответ на вопрос: был ли Бакунин прототипом Ставрогина, принадлежит самим записям. Если гипотеза Л. Гроссмана все-таки верна, — это не может не обнаружиться при анализе первых рукописных конспектов романа. Но Вяч. Полонскому уже удалось с достаточной убедительностью погнать, что Ставрогин-„князь“ первоначального замысла с Бакуниным ничего общего не имеет. Поэтому нам остается лишь подчеркнуть этот вывод несколькими новыми, более или менее частными наблюдениями над текстом отрывков. Попробуем, однако, подойти к этим первым рукописным страницам будущего романа о Ставрогине с максимальным доверием к гипотезе о Бакунине; — разочарование не заставит себя долго ждать. Вот что бросается в глаза прежде всего: художник намечает несколько главных и немало второстепенных персонажей, и почти каждый из них найдет себе потом соответствующее место в законченном романе „Бесы“: Ставрогин, С. Т. Верховенский, Петр Верховенский, Шатов, В. П. Ставрогина, Даша-„воспитанница“, Лиза Дроздова, даже Виргинский, — все они, как бы в рудиментарном состоянии, узнаются здесь уже безошибочно; не забудем, однако, что эти записи предназначаются пока для романа-„памфлета“ (см. письмо Майкову от 25 марта 1870 г. Письма, стр. 231); такой характер задуманного произведения очень красноречиво дает о себе знать в наших записях: почти каждый из намеченных персонажей назван тут не только

¹⁾ См. „Документы“. Изд. Центр архива, 1922 г., стр. 63; см. также нашу статью в сбор. под ред. А. С. Долинина, стр. 203.

²⁾ Опубликованы: в Приложениях к роману в 6-м (юбилейном) издании соч. Достоевского, в сборнике „Святот“ и в сборнике „Творчество Достоевского“ (Одесса 1921 г., под ред. Л. П. Гроссмана.

своим будущим именем законченного романа, но и по имени своего реального прототипа. На это обстоятельство надо обратить особенное внимание: оно, думается нам, и решает судьбу гипотезы Л. Гроссмана, — по крайней мере в применении к первоначальному замыслу романа.

С. Т. Верховенский всюду почти именуется Грановским („Гр-вский“, „Гр-ий“, „Гр-й“, „Грановский“), а если и выступает иногда под своим именем, то все же и тут прототип дает о себе знать („Степан Трфимович Верховенский (Гр.)“, см. Т. VIII собр. соч. изд. 1906 г., стр. 606); будущий Шатов, выступая уже здесь под своим именем, тоже имеет, однако, и другое — имя одного из „петрашевцев“, Шапошникова ¹⁾; Петр Верховенский, именуясь „студентом“ („ст.“), иногда назван и просто Нечаевым ²⁾; даже В. П. Ставрогина один раз сопоставлена как будто с Смирновой, известной современницей Пушкина ³⁾; а будущий Виргинский ни разу иначе и не назван, как по имени Успенского, одного из соумышленников Нечаева ⁴⁾; в качестве персонажей будущего романа, кроме того, фигурируют Голубов, нечаевец Зайцев, петрашвец Милуков; наконец и Тургенев, упомянутый тут несколько раз, все время как бы выглядывает из-за спины будущего Кармазинова, который скрыт пока под условно-пародийным названием („великий писатель“, „великий поэт“); но один раз будущий Кармазинов и прямо назван Тургеневым (см. „Творчество Достоевского“, стр. 26).

Всё это говорит об устойчивой привычке Достоевского, — будущего героя, уже по замыслу связанного для него с каким-либо реальным лицом, называть в рукописях просто именем этого лица, именем прототипа ⁵⁾. И, как мы видим такими именами пестрят первые наброски к „Бесам“. Однако, имени Бакунина, — там, где идет речь о главном герое задуманного романа, — мы не находим вовсе. Уже на первой странице нашего рукописного собрания Ставрогина выступает как „Ставрогин-внук“ (см. т. VIII, стр. 597) и как-нибудь иначе он нигде и ни разу не назван.

Если принять гипотезу Л. Гроссмана, если согласиться с ним и признать, что „Грановский и Тургенев, ... Нечаев и Бакунин, — все (разрядка наша)

¹⁾ Что „Шапошников“, „Шатов“ и „Ш.“ наших записей обозначают одно лицо, — видно из следующих, хотя бы, сопоставлений: „Шапошников. В городе Ш-ков... Разговоры с Ш..... Ш. — тип коренника. Его убеждения — славянофилы барская затея“ „ст. (удец) подговаривает тройку убить Ш. убивают“...; „Ш. новый человек. Угрюм прост“; „Убийство Ш. жалавшего все донести“. — См. „Свиток“, стр. 87, 88, 89, 106.

²⁾ Например: „...входит Нечаев“; „Нечаев окрутил их мнением“; „княгиня... сошлась с Нечаевым“ и т. д. См. „Свиток“, стр. 106, 107, 114, 115, 117 и др.

³⁾ „Гр. несколько в зависимости от кн. (агнии) и получал пенсию (от Смирновой)“ см. *ibid.*, 89.

⁴⁾ „Один из убийц, У-й“...; „Убив Ш., он чувствует угрызения“; „У-й говорит... что брюхо вздор“ и т. д. См. *ibid.* 89. 94.

⁵⁾ Как например и в рукописях к „Идиоту“, на что указывает сам Л. Гроссман (кн. 5, стр. 61 — 62), а также и в рукописях к „Братьям Карамазовым“ (которые мною приготовлены к печати): в первоначальных записях Митя, например, везде назван „Ильинский“. Как указывает А. Г. Достоевская (см. „Творчество Достоевского“, стр. 35), так звали одного из обитателей „Мертвого Дома“.

прошли сквозь... сложный закон преобразования, разложения и даже искажения" (кн. 4, 1924 г., стр. 75), — тогда отмеченное нами в рукописях романа исключение только для одного из этих имен, для Бакунина, становится необъяснимым. Но примиряя противоречия, отбрасывают не факт, который противоречит гипотезе, а гипотезу, противоречащую факту. Впрочем, говоримся, — имя Бакунина один раз все же упомянуто в рукописи; посмотрим, однако, о чем оно тут может свидетельствовать.

„Гр[ановский]: Бакунин старый гнилой мешок бредней, ему легко детей хоть в нужник нести.

Ст[удент]: тебе-то нелегко, небось!“ („Свиток“, стр. 117). Из контекста видно, что этот диалог — один из ранних вариантов тех, рассеянных по роману споров и столкновений С. Т. Верховенского с сыном, которые полной всего представлены в 4 главе второй части („Все в ожидании“). Почему упоминает Грановский-Верховенский, пикируясь с сыном, Бакунина, — угадать не трудно: потому же, почему в указанной главе законченного романа введен в рассказ Чернышевский и его роман. В задачи художника входило ведь поминутное подчеркивание духовного сродства (вопреки внешним различиям темпераментов и даже вражде) между „идеалистом 40-х гг.“ и выгилистом-шестидесятником. „Та же наша идея, именно наша, но, боже, как все это выражено, искажено, (исковеркано“, восклицает Степан Трофимович над романом „Что делать“. Рукописный диалог с упоминанием Бакунина можно (предположительно) считать вариантом указанного места законченного романа: нераднкий отец, но всегда при этом в пове возвышенного благородства, Верховенский репликой сына („тебе-то не легко, небось!“) приравнен, в лице Бакунина, крайним отрицателям семьи и семейственности, от которых себя резко отделяет, однако, Степан Трофимович (как и в законченном романе — от радикальных выводов Чернышевского) тем, что осуждает Бакунина... Таково это единственное упоминание Бакунина в рукописях „Бесов“. Оно, свидетельствует, конечно, о том, что какие-то сведения в области биографии Бакунина у Достоевского были, с чем мы охотно соглашались и выше; но и только. Историко-литературной гипотезе Л. Гроссмана это случайное упоминание несколько не помогает. Напротив: не под таким углом зрения, как здесь, должен бы был воспринять Достоевский образ Бакунина для того, чтобы отождествить с ним „красавца“ Ставрогина, в особенности в тот первый период его генезиса ¹⁾.

Но не будем преувеличивать наш отрицательный вывод и пока формулируем его так: объективные факты в области генезиса романа „Бесы“ до конца убеждают в том, что говорить о Бакунине, как о прототипе первого

¹⁾ Как известно и как указал на это Вяч. Полонский, Ставрогин-„князь“ первоначальных записей, для Достоевского — „симпатичная фигура, прекрасная (под видом легкомыслия — глубоко поражен и мыслит“; „Блестящая фигура“; „верит в бога страстно“; „У князя... впечатлительная, грустная, застенчивая душа“; „Главная же идея (т.-е. пафос романа) это князь и воспитанница — новые люди, выдержавшие покушение и решающие начать новую, обновленную жизнь“, см. „Свиток“, стр. 118. 112 и др.

Ставрогина (Ставрогина-„князя“) нельзя. Ограничивая наш вывод пределами первого замысла Ставрогина, которые простираются от 11/23 декабря 1868 года (первое упоминание о будущих „Бесах“) до середины марта 1870 года, и утверждая таким образом, что в указанный период развития замысла Бакунин в качестве прототипа Ставрогина в поле художественного внимания Достоевского не присутствовал, мы предадим для автора рассматриваемой гипотезы еще одну, впрочем только теоретически допускаемую, возможность оправдать предлагаемое им сближение. Как известно, замысел „Бесов“ претерпел решительный перелом в течение летних месяцев 1870 года. Но наши сведения об этом втором периоде генезиса романа ограничиваются пока эпистолярным материалом: рукописи „Бесов“, опубликованные до сего времени, освещают лишь первый период генезиса романа. Как видоизменился тогда, летом 1870 года, общий очерк задуманного произведения, когда намеченная было редакция (в рассмотренных записях) сразу потеряла устойчивость, и ее быстро стали сменять, одна за другой, всё новые и новые („переменял чуть не десять редакций“); как в этом вихре изменился первый очерк Ставрогина („князя“) и под каким углом зрения должен был тогда взглянуть Достоевский на своего „настоящего героя-романа“, чтоб увидеть в нем не то, что уже было намечено (записями за январь — март), но нечто „новое“, „новое лицо“, „нового героя“, который „до того пленил“ его вдруг, что принудил „опять приняться на переделку“ — все эти вопросы остаются пока нерешенными: исчерпывающий ответ могли бы дать только рукописи соответствующего периода художественной работы Достоевского. Будем же надеяться, что именно этот период и осветят те три „тетради в коленкорных переплетах“, которые в описании А. Г. Достоевской отмечены под №№ 18, 14, 15 ¹⁾ и которые до сих пор всё еще остаются под спудом. Вот может быть здесь — кто знает? — и выступит перед нами, на смену Ставрогину-„князю“, преобразив его до неузнаваемости, как „новое лицо“ по отношению к нему, Ставрогин-Бакунин... Само собою понятно, что это — всего только предположение, ни на чем пока не основанное. В его пользу не говорит ни один из известных нам пока фактов. Но, по крайней мере, мирятся ли они с ним?..

Еще в 1921 году, т.-е. до появления в печати рукописных отрывков к „Бесам“, опубликованных Бродским (в „Свистке“ 1922 г.), мною высказано было несколько соображений относительно происхождения того „нового лица“, которое, в результате летнего перерождения замысла, к концу 1870 года неожиданно вступило в права „настоящего героя романа“: так как этот перелом хронологически вполне совпадает со столь же неожиданным отказом Достоевского от твердого еще недавно решения — дать в течение ближайшего времени первую часть „Жития великого грешника“ в „Зарю“ и так как, с другой стороны, вся сила художественного внимания Достоевского в течение последних двух лет перед этим была сосредоточена по преимуществу на этом характере „великого грешника“, — мне и представлялось тогда возможным объяснять

¹⁾ См. „Документы и т. д.“ Издание Центр. архива, 1922 г., стр. III, IV, V.

перерождение Ставрогина (летом 1870 года) как перенесение на него некоторых отличительных признаков „великого грешника“; этим и объяснялось бы происхождение того сходства между Ставрогиним законченного романа и „великим грешником“ неосуществленного замысла, которое не подлежит сомнению¹⁾. К моим доводам присоединился и Вяч. Полонский (кн. 2, стр. 49). Но при обсуждении этого вопроса теперь, надо иметь в виду и те новые данные, которыми нельзя было располагать в 1921 году. Как обвнаружилось из ранних записей к „Бесам“ (в сборнике „Свиток“), и Ставрогин-„князь“ тоже немало имеет общего с „великим грешником“ из „Жития“. Значит, сходство „великого грешника“ и Ставрогина законченного романа уже нельзя теперь всецело относить за счет летнего перерождения памфлетного замысла; нужны какие-то новые разъяснения.

Сходство „великого грешника“ и Ставрогина первоначальных набросков (записанных, кстати сказать, одновременно с некоторой частью конспекта „Жития“) надо, вероятно, объяснить как неуровненное еще самим художником, бессознательное для него самого подчинение одного персонажа другому более созревшему, более облюбованному воображением, несмотря на то, что общий замысел „Жития“ и общий замысел романа-„памфлета“ с самого своего возникновения были строго дифференцированы художником. Что же касается летнего перелома в замысле, то за его счет и надо, вероятно, отнести уже совершенно сознательное решение Достоевского отождествить (до известной, конечно, степени) будущего героя „Бесов“ с „великим грешником“. Не об этом ли говорят следующие слова Достоевского в письме к Майкову: „Переменял чуть не десять редакций и увидел, что тема oblige, и поэтому ужасно стал к роману мнителен.“ Самоуверенно-пренебрежительное отношение Достоевского к замыслу „Бесов“ до середины 1870 года известно (из его переписки), а вместе с тем ясна и причина такого отношения: вся сила художественного воображения с 1868 г. и до лета 1870 г. направляется на замысел „Жития“, который и волнует, и страшит своей необъятностью; но как-раз эти чувства художника перенесены теперь, осенью 1870 года, на замысел „Бесов“ („тема oblige, ... стал мнителен“). Несомненно об известном тождестве Ставрогина с „великим грешником“ (а вовсе не с Бакуниным, как заключает Л. Гроссман без всяких к тому оснований) свидетельствуют слова Достоевского о своем герое в письме к Каткову от 8/20 октября 1870 г. „Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его“. Два обстоятельства истолковывает тут Л. Гроссман (кн. 4, 1923 г. стр. 84) в пользу своей гипотезы: указание на Ставрогина как на „лицо“ он понимает как намек на живой прототип героя; слова же: „слишком давно“ объясняет из сопоставления даты письма с „моментом встречи Достоевского и Бакунина (10 сентября 1867 года)“. Но чтобы убедиться в полной произвольности первого толкования,—чтобы понять вложенный здесь в слово „лицо“ смысл так, как этого хотел сам Достоевский,—надо только прочитать цитату в ее

¹⁾ См. сборник под ред. А. С. Долинина, стр. 203—206.

контексте: „Это лицо (Петр Верховенский)... выходит... лицом комическим.. И потому... все это происшествие... только аксессуар и обстановка действий другого лица... Это другое лицо (Николай Ставрогин)—тоже мрачное лицо... Это мрачное трагическое... Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. Это и русское, и типическое лицо. Я из сердца взял его.“ („Былое“ № 14, стр. 49). Слова, отмеченные разрядкой (моей), делают совершенно неправдоподобным тот реально-персонифицирующий смысл, который усматривает в слове „лицо“ Л. Гроссман. Что же касается слов: „слишком давно уже хочу изобразить его“,—у нас нет ровно никаких оснований относить их за счет химерического „сдвига сознания“ в день второго заседания женевского конгресса; но зато есть некоторые основания истолковывать их как свидетельство в пользу тождества Ставрогина с героем „Жития“. Прежде всего — несколько соображений по поводу самой „поэмы“, о которой тут идет речь. Это название невольно поражает в применении к тому произведению, которое еще так недавно перед тем сам же Достоевский называл памфлетом. Тем более должно бы было поразить это название Л. Гроссмана, с точки зрения которого „Бесы“ даже в лице своего главного героя так и остались проявлением „сатирического возмущения Достоевского“ (кн. 4, 1923 г., стр. 111). Но вот сам Достоевский говорит, что это произведение — „поэма“, а герой „поэмы“ — лицо, которое он „взял из сердца“... Правда, и до летнего перерождения замысла „Бесов“ Достоевский его однажды назвал „поэмой“ (см. „Свисток“ стр. 106) однако, в тот период этот литературный термин для него был гораздо прочнее связан с другим художественным замыслом: „поэмой“, „поэмой настоящей“ называл тогда Достоевский свой величественный замысел „Жизне великого грешника“ ¹⁾). К осени 1870 года с ясностью видит Достоевский, что даже и первую часть этой „поэмы“ он не напишет скоро; одновременно преобразуется памфлетный замысел „Бесов“; новый герой этого преобразованного произведения, — схожий, как нам известно, с героем „поэмы“ — „Жития“, — и назван теперь героем „поэмы“... Характерно, что роман „Бесы“ не в целом назван „поэмой“, а лишь по отношению к Ставрогину („я сел за поэму об этом лице“). Понятными становятся и слова: „слишком давно уже хочу изобразить его“; рассказывая в своей переписке (за 1868 — 1870 гг.) о возобновившем его тогда замысле „поэмы“, „жития“, Достоевский как бы уже по привычке, а вместе с тем и подчеркивая этим всю значительность для себя данного замысла, не раз упоминает о сроках его зарождения и вынашивания ²⁾). Напротив, о замысле „Бесов“, до того, как летом 1870 года сменили друг друга 10 его редакций, таких признаний в переписке Достоевского мы не имеем; но вот теперь, — после отказа от скорого осуществления 1-й части

¹⁾ См. письмо к Ивановой-Хмыровой от 8 (20) марта 1869 г. — Ч. Ветринский „Достоевский“, изд. 1912 г., стр. 280.

²⁾ „Уже два года как зреет в моей голове“... „Идея этого романа существует во мне уже три года“, см. Письма, 232, 288.

„Жития“ и после одновременного перерождения Ставрогина, и опять всего лишь о нем, а не о целом романе „Бесы“—Достоевский признается, что слишком давно уже вынашивал эту художественную идею. Наконец, слова: „я из сердца взял его“ вполне уже решают вопрос,—о ком из двух (о Бакуanine или герое „жития“) говорится в этом письме Достоевского.

Итак, факты из области генезиса Ставрогина не оставляют, как будто, места гипотезе Л. Гроссмана и для второго периода оформления героя „Бесов“.

Но если с Бакуинным никак не связан не только Ставрогин - „князь“ первоначальных набросков, но и тот второй Ставрогин, который властно и, как видно, навсегда вступил в замысел, в качестве „настоящего героя романа“ летом 1870 года,—тогда гипотеза Л. Гроссмана теряет права и вообще на какое-либо место в науке о Достоевском; если и летом 1870 года образ Бакунина не был художественно апперципирован Достоевским в качестве прототипа Ставрогина—в следующий затем период работы художника такую апперцепцию предполагать уже невозможно: когда налицо „настоящий герой романа“, прототип для него и не нужен и уже не возможен.

Но факты из области художественно-объективного генезиса романа не только подрывают в корне биографическую аргументацию Л. Гроссмана, но, кроме того, отчасти объясняют подлинное происхождение тех элементов художественной биографии Ставрогина, которые, в качестве „сложной системы совпадений“, при всей ее методологической несостоятельности, как будто говорят сами собой,—на первый взгляд,—в пользу гипотезы о Бакуinine.

Аристократическое происхождение Ставрогина,—первое совпадение с Бакуинным в системе Л. Гроссмана,—имеет, совершенно независимо от Бакунина, свою собственную, довольно сложную традицию в творчестве Достоевского... „Ставрогин (князь)“—так начинается рукопись „Бесов“; и эту тему художник не перестает развивать на всем протяжении известных нам записей (январь—март 1870 г.) „Князь, аристократ... Вообще создать князя“ („Свиток“, 113). Смысл этого художественного задания обнаружится в дальнейших записях; например: „Чистое лицо. Новая форма боярина“ (ibid., 118). Это и есть, очевидно, „новая форма“ тех „новых людей“, „начать“ которых предназначен Ставрогин первого замысла.—„Новая форма боярина“ должна быть показана путем художественного контраста—к „понятиям феодального боярства“ (ibid., 117), что и сохранилось отчасти в законченном романе, где выступает жена губернатора в прямом соответствии некоторым из ранних записей 1870 года (например: „Понятия феодального боярства и нигилизма так и выпрыгивают без всякой связи из ее головы“ (ibid., 117). „Понятиям феодального боярства“ очевидно и противопоставлен был, согласно раннему замыслу, „князь“ Ставрогин: „Князь и говорит о боярской партии“ (ibid. 114)... Про себя же он говорит так: „Буду простым, честным и новым человеком“ (ibid.). „Уважать себя и быть высоко-честным, быть настоящим князем? N. B.“ (ibid., 113). Если же к этим записям прибавить и ту, где предугадано, что на взгляд других персонажей задуманного произведения главный

герой будет казаться „чужаком и идиотом-князем“ (ibid., 110), — подлинная художественная традиция аристократизма Ставрогина не потребует дальнейших разъяснений. Как уже давно указал на это Юр. Никольский, „князь“ Ставрогин преимущественно связан с князем Мышкиным, который тоже ведь объявляет на балу у Епанчиных, что он — „князь исконный“, но верит при этом, что русское княжество — „материал для будущего, для надежд“. Перейди отсюда в первый замысел Ставрогина, но не развернувшись достаточно полно в законченном романе „Бесы“, этот мотив шире всего развит в „Подростке“¹⁾, и таким образом записи о Ставрогине-„князе“ прямо предвосхищают Версилова и „князя Сережу“ „Князь хочет трудиться“, „в мужики и в раскольник хочет идти“, „быть настоящим князем“, „Свиток“ стр. 112, 113; ср. разговор „о дворянстве“ у Версилова с „князем Сережей“, гл. 2, часть II, „вериги“ Версилова).

Аристократизм Ставрогина имеет прочную традицию в собственном творчестве Достоевского и с воображаемым прототипом героя ничем не связан.

То же надо сказать и относительно пощечины, которую получает Ставрогин от Шатова и оставляет без отпущения. Сюжетная ситуация, столь богатая возможностями психологического эксперимента и, вместе, столь выгодная с точки зрения обычных приемов катастрофического построения романа у Достоевского, в „Бесах“ использована Достоевским не впервые и не в последний раз: впервые мы находим ее в „Идиоте“ (гл. X, ч. I); затем она предназначается очевидно и для поэмы о „великом грешнике“ („— „Пощечина есть величайшая обида“. Кровью—“ см. „Документы и пр.“, стр. 68); отсюда — прямой путь к первым записям „Бесов“, где указанная сюжетная ситуация уже внимательно предусмотрена, но приурочена очень невыгодно для гипотезы Л. Гроссмана: не Ставрогин получает пощечину, а от Ставрогина ее получает, и тоже не мстит за нее — Шатов („NB. Пощечина князи III.. III. снес“; „князь III. дал пощечину, тот снес“; „Между тем князь вдруг дает пощечину III. Тот сносит“; „Князь дает III. пощечину при Гр-м и при Ст.“; „Княгиня... рада... что может сказать сыну, то-есть князю, что его возлюбленная в связи с III. Отсюда пощечина“ и т. д. см. „Свиток“, стр. 89, 97, 98, 100, 103, 109). Наконец, не забудем, что в „Подростке“ прошлое Версилова тоже запятнано неотпущенной обидой. — Всем этим вполне изобличается „переходный“ характер данной сюжетной морфемы, если и восходящей к чему-либо за пределами творчества Достоевского, то уж, конечно, не к биографии Бакунина, а к какой-либо литературной традиции (вероятно, французской).

„Сексуальная ущербность“ Ставрогина тоже не потребует для своего объяснения справок в биографии Бакунина, если будет принята во внимание уже указанная генетическая связь Ставрогина-„князя“ с князем Мышкиным; а с другой стороны — нельзя не вспомнить два совпадающие момента духовных исканий „великого грешника“ и Ставрогина-„князя“, которые несомненно имеют свою проекцию и в Ставрогине законченного романа: „Спускается...

¹⁾ См. мою статью: „Генезис романа „Подросток“, „Лит. Мысль“, кн. 3.

в глубину хлыстовщины" (Письма, 202), "такие типы из коренника... доходят до всей хлыстовщины"... (Собр. соч. изд. 1906 г. Т. VIII, стр. 597). Но для нас важно сейчас не это, а то, что непосредственно затем следует в этой первой записи о „Ставрогине-(князе)": „доходят до всей хлыстовщины и скопчества"... „Обращение к самоубийству" уже потому, хотя бы, не нуждается в гипотезе Л. Гроссмана, что предусмотрено в первых набросках романа, о связи которых с биографией Бакунина, как мы видим, не может быть и речи.

„Связь с представителем „разбойничьего мира" гораздо лучше была истолкована в одной из ранних работ Л. Гроссмана („Композиция романов Достоевского"), с точки зрения традиций французского „авантюрного романа"; но обратим также внимание на конспект „Жития великого грешника", где судьба героя связана с „разбойником Куликовым", иногда разительно совпадая с судьбой Ставрогина („сходится с Куликовым"; „Куликов с ним. Убийство"; „...разбойник Куликов"; „С Куликовым силу духа выказывает — тот его не режет, а отпускает", „Документы" стр. 64, 65, 66, разрядка моя). И позже эта сюжетная ситуация повторится еще раз у Достоевского, — в Иване Карамазове и Смердякове, сохранив при этом одну разительную черту сходства: „идеологическое попустительство" к преступлению Ивана Карамазова повторяет ведь пассивное соучастие Ставрогина в преступлении Федьки Каторжного. „Малограмотность русского барича" вызывает в памяти воспоминание Кириллова — прежде, чем эпистолярный стиль Михаила Бакунина; это — во-первых; а во-вторых — данная художественная подробность предусмотрена в опубликованных рукописях романа к которым, как известно, гипотеза о Бакунине неприменима; к тому же предназначена она здесь, вовсе не для Ставрогина („Генерал пишет Гр-му письмо... (безграмотное)" см. „Свиток", стр. 101).

„Швейцария" в биографии Ставрогина так же мало говорит о Бакунине, как и в биографии князя Мышкина или в „исповеди" Версилова. Пародийный штрих: „гражданин кантона Ури" подкаazan был, вероятно, Достоевскому воспоминаниями о Герцене, на что указал уже Вяч. Полонский. Имя Герцена упоминается в рукописях романа. „Этапы мирозерцания Ставрогина", как одно из совпадений с Бакуниным, особенно неубедительны. Национально-религиозный мессианизм Шатова неужели требует каких-либо генетических обоснований за пределами творчества Достоевского, — пред лицом его собственной идеологии, — когда при этом сам Достоевский в рукописи прямо указывает: „Идея князя (в разговоре с Шатовым) насчет огромного значения православия и его нового фазиса (все мое мнение о православии)", см. „Творчество Достоевского", стр. 20.

Богоборчество Кириллова неужели не всеми своими корнями — в идеологии самого Достоевского, в его метафизике атеистического сознания, и разве с Бакуниным оно связано больше, чем с Ипполитом (в „Идиоте") или Крафтом (в „Подростке")? Наконец, анархические идеи Шигаева и Петра Верховенского, чтоб появиться в романе, нуждались ли в каких-нибудь спе-

дательных разысканиях о биографии Бакунина, раз вся публицистика Достоевского, начиная от 1864 года и до последних выпусков „Дневника писателя“, пренеполнена пафосом борьбы против этих идей... Но Л. Гроссман обращает наше внимание не столько на идеологическое содержание каждого из „этапов“ мысли Ставрогина, сколько на последовательность их смены, в чем и видит характерное совпадение с Бакуниным. Обратимся, однако, еще раз к фактам генезиса Ставрогина, — к рукописям: „Ставрогин (князь)... Это просто тип из коренника, бессознательно беспокоимый собственной типическою своею силою, совершенно непосредственною и не знающею на чем основаться. Это необычайная, для них самих тяжелая непосредственная сила, требующая и ищущая, на чем устояться и что взять в руководство, требующая до страдания спокоем от бурь и не могущая пока не буревать до времени, до успокоения. Он устлавляется наконец на Христе, но вся жизнь — буря и беспорядок“ (Т. VIII, стр. 597). Таков первый очерк Ставрогина; следующие записи и намечают эту духовную „бурю“, изображая „князя“ то проповедником православия, то вдруг решающим „все сжечь и примкнуть к Верховенскому“ (ibid., 602). Впрочем и здесь Л. Гроссман пытается отметить отдельные черты сходства с Бакуниным (кн. 5, 64 — 65). Но мы уже условились: все, что в законченном романе может быть возведено к записям за январь — март 1870 года, тем самым уже выпадает из-под власти гипотезы о Бакунине. Однако, укажем все-таки, что идеологическая „буря“ Ставрогина восходит не только к записям первой редакции романа, но, — через эти записи, — и к „Житию великого грешника“, который ведь точно так же, как Ставрогин-„князь“, прежде чем „устлавляется на Христе“, „шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам... спускается в глубину хлыстовщины“ и только „под конец“, подобно Ставрогину-„князю“, „обретает и Христа и русскую землю“ (письмо к Майкову 11/23 декабря 1868 г.).

„Эпизод использования женщины с революционными целями“ — одно из самых эффектных совпадений в „системе“ Л. Гроссмана. Однако, и его нельзя связывать генетически с биографией Бакунина: эпизод Лизы Тушиной тщательно намечен уже первыми записями к роману. Это одно противоречит гипотезе Л. Гроссмана; но и больше того: в первых записях к „Бесам“ „красавица-наездница“ (будущая Лиза) свою судьбу связывает не с Ставригиным, а с Петром Верховенским („студентом“), при чем сюжетная ситуация намечена здесь уже в точном соответствии законченному роману: „Ст[удент] является ночью — последнее объяснение. — Появление бежавшей невесты. Ст[удент] от нее отказывается... Князь встречает невесту и доводит ее до дому“ (см. „Свиток“, стр. 100). Тут, как видим, вполне предвосхищается та глава („Законченный роман“), где эпизод Лизы Тушиной достигает своей развязки; но при этом заметим, что в приведенном конспекте первой редакции романа „студент“ т. е. Верховенский-Нечаев занимает место будущего Ставрогина, а Ставригин-„князь“ — место великодушного жениха Лизы Тушиной, Маврикия Николаевича. Словом, в первой рукописи романа эпизод этот с Ставригиным связан так, что предполагать его генетическую зависимость от биогра-

фии Бакунина не представляется возможным. Надо обратить внимание также и на то, что посредничество Бакунина между Н. А. Герцен и Нечаевым имело место не раньше, а вероятно позже того, как в рукописях Достоевского появился этот эпизод „красавицы“ и „студента“; одна из первых записей, сюда относящихся, помечена Достоевским „5 февраля“ („Святок“, стр. 98), а упоминание о посредничестве Бакунина находим в сборнике Драгоманова в виде примечания к письму Бакунина от 22 февраля 1870 г. (см. „Письма М. А. Бакунина“, стр. 373—374).

Когда строится гипотеза о генетической связи художественного образа с известным комплексом впечатлений художника, исследователь всегда должен быть готов к тому, чтобы обосновать следующие два положения, отнюдь не смешивая их друг с другом: 1) данный комплекс впечатлений заполняет собой сознание художника в период, непосредственно предшествующий замыслу художественного целого или отдельного образа; 2) отмеченные в сознании художника впечатления апперциированы его поэтическим замыслом и вступают в него, как его доэстетический материал.

Чтобы обосновать первое положение, и следует обращаться к фактам биографическим в собственном смысле. Но, как мы видели, признать убедительной даже и биографическую аргументацию Л. Гроссмана нельзя: нет никаких доказательств тому, будто среди впечатлений Достоевского на втором заседании конгресса в Женеве доминировал образ Михаила Бакунина... Биография художника может прийти иногда на помощь при обосновании и второго положения. Несколько слов в частном письме Пушкина оказываются например, почти решающими по отношению к вопросу о „прототипе“ его „элегической красавицы“. Но это — случайность, которой может и не быть в распоряжении исследователя. Зато рукописная традиция художественного произведения, — там, где она восходит к самым ранним моментам его генезиса, — подводит обычно к решению поставленного нами вопроса с известной точностью, и при этом так, что процесс становления художественного замысла может быть рассмотрен, как процесс транссубъективный художнику... Как мы видим, этот вопрос, от решения которого гл. об. и зависит судьба гипотезы о Бакунине, вовсе почти не привлекал внимания Л. Гроссмана; когда же к нему вплотную подвел его Вяч. Полонский, Л. Гроссман, как бы не учитывая всю важность для отстаиваемой им гипотезы того или иного ответа на тот вопрос о рукописной традиции Ставрогина, просто попытался устранить его, как несущественный: „то, что относится к одной из многочисленных формаций „князя“, — говорит он, — никоим образом нельзя относить к герою законченных „Бесов“, (кн. 5, стр. 62). Да, нельзя, но только в том случае, если мы рассматриваем законченный роман не в процессе его индивидуального становления, а как замкнутое в себе целое или же как результат безличного поэтического предания. Напротив, если речь идет о происхождении, о генезисе законченного романа, да еще к тому же о доэстетических, насквозь психологизированных моментах этого генезиса (разве не о них говорит вся биографическая гипотеза Л. Гроссмана?), — тогда исследователь не только

может, но и обязан перейти от предполагаемого прототипа к герою законченного романа, к „системе“ их совпадений, через весь этот ряд „многочисленных формаций“ художественного замысла; несмотря на противоречия в них есть своя закономерность. И только в том случае, если этой закономерности генетического процесса не противоречит, а, напротив, обуславливается его сходство законченного художественного образа с его предполагаемым прототипом (вспомним Грановского и С. Т. Верховенского, Ольгу Умелую и Настасью Филипповну), только тогда это сходство и можно объяснять генетически; если в каждой из сменявших друг друга формаций замысла исследователь отметит общие им всем, одни и те же признаки „прототипа“ (один и тот же доэстетический материал замысла), только тогда собственно и можно говорить о том, из чего „исходил“ в своем замысле художник. Но говоря все время именно о процессе художественной формации образа, Л. Гроссман требует от нас согласия с гипотетическим описанием этого процесса („создавая Ставрогина, Достоевский исходил из личности Бакунина“, разрядка моя) помимо исследования этого процесса, как такового. Настаивая на этом требовании, автор гипотезы стремится, очевидно, скрыть ее наиболее уязвимую сторону: исследование генезиса романа как-раз и убеждает в ее полной несостоятельности.

В. Комарович.

21 XI 1924 г.

Письма К. П. Победоносцева к гр. Н. П. Игнатьеву.

Печатаемые здесь с подлинников 57 писем Константина Петровича Победоносцева к графу Николаю Павловичу Игнатьеву служат важным и ценным дополнением к изданному недавно Государственным Издательством первому полутому первого тома сборника „К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки“ (М.-П., 1923 г.), где среди прочих документов напечатаны и соответствующие письма гр. Н. П. Игнатьева к К. П. Победоносцеву. Переписка обоих этих сановников относится к 1881 — 1882 г.г., к тому именно времени, когда гр. Н. П. Игнатьев занимал пост министра внутренних дел.

После опубликования известного манифеста 29 апреля 1881 г., в котором Александр III всенародно объявил о неизбежности основ самодержавия и положил конец всяким ожиданиям „куцой“ конституции, граф Лорис-Меликов вручил недавно вступившему на престол молодому монарху заявление о своей отставке, и дарь тут же наметил ему преемника. „Я получил сегодня утром письмо гр. Лорис-Меликова, — писал Александр III К. П. Победоносцеву 30 апреля 1881 г., — в котором он просит об увольнении под видом болезни. Я ему отвечал и принял его просьбу... Моя мысль назначить на место Лориса — графа Игнатьева, человека, на которого я могу вполне надеяться“. Гр. Н. П. Игнатьев быстро согласился на предложение, и уже 5 мая 1881 г. указ об отставке гр. Лорис-Меликова и назначении гр. Н. П. Игнатьева был опубликован в „Правительственном Вестнике“.

Если исключить одно первое случайное письмо К. П. Победоносцева к Н. П. Игнатьеву, написанное в 1880 г., то все остальные относятся, как было сказано, ко времени занятия гр. Игнатьевым поста министра внутренних дел. Должно отметить, что К. П. Победоносцев писал публикуемые здесь письма не столько лично гр. Н. П. Игнатьеву, с которым он вообще не был в близких отношениях, сколько именно министру внутренних дел.

Последнее из печатаемых писем датировано 21 мая 1882 г. Через несколько дней, 30 мая, гр. Н. П. Игнатьев был уволен с должности министра внутренних дел и на его место назначен гр. Д. А. Толстой.

Ближайшим поводом к уходу гр. Н. П. Игнатьева послужил, как известно, его проект о созыве „земского собора“, который М. Н. Катков в передовой „Московских Ведомостей“ от 12 мая 1882 г., специально посвященной гр. Игнатьеву, назвал „нелепым“, „торжеством крамолы“. „Если кому-либо наше правительство кажется слабым, неспособным действовать, нуждающимся в сборе людей, которые сами не знали бы, зачем они призваны, — писал в названной передовой М. Н. Катков, — то не следует ли искать причины этой слабости не в действительных условиях правительственной власти, которые остаются невредимы и целы, а разве в неспособности ее случайных органов“, намекая тем на министерство гр. Н. П. Игнатьева.

Проектом этим, конечно, был недоволен и К. П. Победоносцев, который в начале мая 1882 г. сразу охладел к „достопочтеннейшему графу“ и считал даже ниже своего достоинства коснуться этого вопроса в своей переписке с гр. Игнатьевым. Переписка их разом оборвалась, как и разом началась. И если при назначении графа Н. П. Игнатьева К. П. Победоносцев, насколько это можно установить по опубликованным документам, в лучшем случае держал нейтралитет, то ныне, после проекта о „земском соборе“, он резко и прямолинейно высказался против беспринципного и ненадежного министра внутренних дел и прямо требовал увольнения его с занимаемого поста.

Взятые вместе с опубликованными письмами гр. Игнатьева, печатаемые здесь письма К. П. Победоносцева поэтому представляют собою ценный исторический первоисточник и дают историку богатый материал для характеристики внутренней политики правительства Александра III эпохи 1881—1882 г. Равным образом они рисуют ту исключительную, для постороннего глаза незаметную роль, которую Победоносцев играл в русской жизни. Он, официально числившийся обер-прокурором сипода, пытается руководить действиями министра внутренних дел, делает ему в отменно дружеской форме ряд указаний и наставлений, а иногда, когда события того требуют, в более категорической форме предлагает гр. Игнатьеву прибегать к мерам, которые ни в какой связи с служебным положением К. П. Победоносцева не находятся. Особенно недоволен Победоносцев прессой. И в этом отношении он неоднократно пытается нажать на гр. Игнатьева, требуя от него крутых мер против повременной печати. Характерно в этой переписке и отношение гр. Игнатьева к своему частому корреспонденту. Если ему по тем или иным причинам невозможно удовлетворить Победоносцева, он всегда спешит оправдаться перед последним, будучи несомненно уверен в том, что без поддержки Победоносцева ему не удержаться на своем посту.

Опубликованные в названном сборнике „Победоносцев и его корреспонденты“ письма гр. Н. П. Игнатьева к К. П. Победоносцеву содержат массу неясностей и непонятных мест. Вследствие того, что большинство из них не датированы, редактору сборника приходилось почти наугад располагать письма в мнимом хронологическом порядке. Неудивительно, поэтому, что хронология писем гр. Н. П. Игнатьева там перепутана. Обстоятельство это отразилось и на примечаниях, в которых находим порой грубые ошибки.

Печатаемые ныне письма Победоносцева к гр. Игнатьеву упраздняют все неясные и непонятные места из писем гр. Игнатьева. В примечаниях расшифрованы даты большинства писем гр. Н. П. Игнатьева и по возможности исправлены ошибки, допущенные в издании Госиздата.

Ред.

1. Достопочтенный гр. Николай Павлович.

И при обратном проезде Вашем через Питер не удалось повидаться с вами. Если придется исполнить осенью свое намерение — съездить дальше по Волге и Каме, авось либо захвачу Вас в Нижнем, либо в Казани, либо в Саратове.

А теперь скажу, в коротких словах, на что я хотел обратить Ваше внимание.

Пашков ¹⁾ уехал, — надо полагать, покуда, из России. Но гнезда, им разведенные внутри России, еще остаются. На них-то надобно теперь обратить внимание повсюду, где они завелись. Это очень важно. К сожалению, ни гражданская наша администрация, ни духовная не делают дело как следует — разумно, заботливо, внимательно, осторожно. Посылаются бумаги, и затем думается, что все дело сделано.

Пашков уезжал обыкновенно на лето в Нижегородские свои имения, и можно себе представить, какие гнезда он завел там. Говорят, у него там заведено три училища, и заботы приложено много. Душа у него добра, но голова помутилась. В разговоре со мною он прямо признавался, что отвергает иконы, пренебрегает церковь, снимает с шеи кресты, не верует в мать божью. Хотя он уверяет, что не учит бросать иконы, однако, где являются его эмиссары, там являются отвергатели икон и сниматели крестов.

Итак, по моему мнению, надлежало бы осторожно и разумно разведать в его имениях, что там делается, как там живут люди и как действуют на народ; что там за училища и как ведутся.

Затем, дело преимущественно местного архиерея — принять к сердцу заботу об умной борьбе с этими проделками и о воздействии со стороны правосл. священников. Хорошо если там благолепная церковь, с благолепным служением, с истовым и стройным пением, с благочестивым и внимательным священником. А если нет, если дело стоит наоборот, — тогда есть великая опасность и чистое поле для деятелей Пашкова. И вот, архиерею следовало бы сделать во что ни стало так, чтобы в этом месте церковь стояла в порядке и в красоте служения, привлекала к себе народ.

Подумайте об этом, многоуважаемый Николай Павлович, и поговорите с архиереем. Вы сами человек православный и от православного жорня.

Живу в Ораниенбауме и занят делами и заботами поверх головы. В прошлую субботу был в Сергиевской пустыни и там встретил Вашу матушку, в радости о рождении внука. Она ночевала в монастыре и уехала обратно в воскресенье после ранней обедни.

Здравствуйте — до свидания. Душевно уважающий и преданный
К. Победоносцев.

24 июля 1880. Оранienбаум.

Старик принц Ольд[енбургский] ³⁾ серьезно заболел за границей бронхитом. Опасаются за него.

2. Многоуважаемый граф Николай Павлович.

Хотел вчера вечером завернуть к Вам, но предполагая, в каких Вы заботах, не поехал.

Благослови, господи ⁴⁾.

Теперь у вас на руках дело и о выкупных платежах ⁵⁾. Себя я жажду помиловать от тяжелого бремени, тем более, что уже прежде заявлял свои мысли. Итак записки Ваши ⁶⁾, мне переданные, завтра, если позволите, пере-
шлю к Вам.

Видели ли Вы сегодняшнюю газету „Порядок“. Дело, мне кажется, серьезное ⁷⁾.

До свидания. Душевно уважающий и преданный К. Победоносцев.

2 мая 1881.

3. Многоуважаемый граф Николай Павлович.

Простите, что не прислал вчера записки о выкупном деле ¹⁾.

Спешу возвратить Вашу, полученную мною уже в 1 час ночи, с некоторыми замечаниями.

Думаю, что всего приличнее форма циркуляра от Министерства Внутренних Дел, как указание губернаторам. Заявление от всех министерств — форма небывалая, и едва ли приличная. — Безличная форма объявления в Прав[ительственном] Вестнике тоже имеет неудобства: тогда надобно было бы больше разработать изложение и дать более определенные указания. Но от имени М[инистра] В[нутренних] Д[ел] может быть достаточно и этого, ибо цель Ваша — искренно разъяснить недоумения. Важно это не для ПБурга, а для местных правительств. Циркуляр и будет напечатан в Прав[ительствен-
ном] Вестнике ²⁾.

До свидания. Да благословит Вас бог. Всякий из нас отклоняет от себя чашу испытания, но не в том дело, как бы избежать ее, а как бы получить силу божью и разум, дабы работа наша была не даром ³⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

4 мая 1881.

4. Многоуважаемый гр. Николай Павлович.

Спешу сообщить Вам свои опасения и свои предположения, относящиеся до Вашего ведомства.

Меня беспокоит агитация, происходящая здесь в Думе о подписке адреса гр. Лорис-Меликову. Сегодня уже появился в газетах текст адреса, составляющий явную манифестацию против последних распоряжений ¹⁰⁾. Орудуют этим делом люди неблагонадежные и озлобленные, и во главе их бар. Корф ¹¹⁾, человек ограниченный, с напускным либерализмом, и тем более опасный. Есть противная партия — будет шум, а если появятся протесты и контр-адреса, произойдет все-таки скандал, нетерпимый в нашем правительстве. Что же будут обсуждать? Манифест 29 апреля и волю Государя ¹²⁾.

А затем наверное поднимется новая агитация — об адресах Абазе и Милютину ¹³⁾.

По моему мнению, все это должно и можно прекратить разом. Я давно уже возмущаюсь злоупотреблениями адресов и общественных заявлений. Нет такого — презируемого всеми губернатора, кому бы не подносили адреса, почетного гражданства и пр., вследствие агитации возбуждаемой его партией — тоже чиновниками. Я давно думал, что эту безурядицу надобно ограничить. Общественные адреса правительственным лицам — дело совсем не сообразное с положением нашего правительства.

Я не задумался бы предложить государю издать хоть завтра же следующее правило. „Запрещаются всякие общественные адреса, публичные заявления, хвалы или порицания, или предложения почетных общественных званий всем лицам, состоящим в должности на государственной службе, по поводу служебной их деятельности, а лицам, оставившим должность, благодарственные и почетные заявления сего рода могут быть делаемы не ранее как через год по оставлении ими должности“.

Такого рода распоряжение само себя оправдывало бы, просто в целях „нравственности и приличия“.

Сделайте милость, многоуважаемый граф, обратите серьезное внимание на это дело и на мое предположение ¹⁴⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

17 мая 1881.

5. Воля Ваша, многоуважаемый граф Николай Павлович, а невозможно ничему положить доброго начала, пока не будут обузданы газеты. Взгляните на сегодняшний № Голоса — он весь наполнен возмутительными внушениями и иронией на правительство ¹⁵⁾. И так пойдет с каждым днем хуже, если не положить конец.

И что за обычай у них завелся новый извещать, кто из министров был с докладом у государя ¹⁶⁾.

А на что похожи сенсационные статьи и телеграммы о голоде. Мировой судья извещает, что один крестьянин умер от голода ¹⁷⁾. И какое приличие Мировому судье оглашать свои жалобы через газеты!

Все это система — которая доведет до бед, если не остановить ее.

Душевно преданный К. Победоносцев.

21 мая 1881.

6. Сделайте милость, многоуважаемый граф Николай Павлович, обратите внимание на прилагаемый листок. Трудно сказать, чем отличается язык того фельетона от выражений в прокламациях „Земли и Воли“¹⁸⁾. Извольте заметить однако, что все это дозволено цензурою, и что здесь целый полк чиновников, наблюдающих за провинциальною печатью.

И давно указывал еще гр. Лорис Меликову на эту газету „Южный Край“¹⁹⁾, но, окзалось, что он ей покровительствует.

Душевно преданный К. Победоносцев.

22 мая 1881 г.

Извольте подумать: требуют от церкви и священников, чтобы проповедями удерживали народ от насилий над евреями. Какая злая ирония в этом требовании, когда правительство под штемпелем своей цензуры выпускает такие прокламации! —

7. Многоуважаемый граф Николай Павлович.

Получив сегодня список вопросов — на рассмотрение местным земствам²⁰⁾, позволяю себе предложить Вашему Снятельству некоторые замечания.

Думаю, что приличнее исключить 2 пункт²¹⁾. Преобразование уездного управления — тема слишком обширная и слишком тесно связанная с общею организацией. Кажется, она выходит из пределов аттрибуции земства²²⁾.

Из п. 7 — не лучше ли исключить слова: „упорядочение ипотечного дела“: тема тоже слишком обширная, и термин мало определенный²³⁾.

8 пункт не лучше ли исключить вовсе²⁴⁾. Дело идет о перевозке по жел. дорогам: едва ли тут есть место рассуждению земства.

В п. 10 не довольно ли одной первой общей фразы. Пусть само земство подумывается, если найдет нужным, до нормы неотчуждаемого имущества. Слова эти могут подать повод в мысли о том, что правительство остановилось уже на известном решении²⁵⁾.

Душевно уважающий и преданный К. Победоносцев.

27 мая 1881 г.

8. Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Задумано мною дело, которое, полагаю, и Вы одобрите: составить поучение народу в виду бывших и ожидаемых беспорядков и распространить его в большом количестве. Но чтоб оно было несомнительно, надо, чтоб на нем лежала явная таксация, печать или государя или церкви. Оно должно идти от церкви, с благословением синода.

Не имея времени сам заняться этим делом, я поручил составление этой книжцы одному духовному приятелю в Москве, мастеру писать.

Сегодня я получил от него заказ и, прочитав, остаюсь весьма доволен. Надеюсь уговорить своих перархов, если можно представить им, что это согласно и с волею правительства.

А как это дело всеобщее, и по моему мнению важное, то спешу послать вам тетрадку эту и прошу вас прочесть ее: не будет ли с вашей стороны каких замечаний.

Лучше будет, кажется, если вы прочтете про себя и никому не будете показывать: ныне всюду сплетня летает ²⁶).

Покорнейше прошу, если можно, завтра же возвратить мне тетрадку.

Душевно преданный К. Победоносцев.

4 июня 1881 г.

9.

Многоуважаемый гр. Николай Павлович.

Мне кажется, и Вы заботились об улучшении издания Правительственного Вестника. Я давно уже проповедую, что правительство, имея свою газету и способ действовать через нее, показывает лишь совершенную несостоятельность своего органа; что ничего не будет лучше, пока издание останется под руководством чиновного лица—еще в высоком чине, а редакция будет присутственным местом, отдающим в печать лишь официальные бумаги и сообщения.

Сюда приехал некто Цветков, Константин Николаевич, надумавший проситься на эту работу. Он человек бесчиновный, и еслиб место редактора или помощника редактора поставлено было вне чинов, то Цветков мог бы недурно управлять этим делом,—и направления он надежного. Он уже около 20 лет работает у Каткова по Моск[овским] Вед[омостям] и по Русс[кому] Вестнику, может прибрать и работников. Он принес мне записку об издании, толково написанную, которую посылаю на Ваше благоусмотрение. Сам он на-днях хотел явиться к Вам ^{26а}).

Душевно уважающий и преданный К. Победоносцев.

Ораниенбаум 11 июня 1881.

10.

Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Вероятно, я не увижусь с вами до отъезда, если вы едете завтра ²⁷). Буду трепещущим сердцем следить за вашим путешествием. Прошу вас,—если не забудете в суете, сделать мне одолжение—телеграфировать два слова из Москвы, после выхода, и из других городов, о благополучном приезде (Ораниенбаум).

Завтра постараюсь отослать государю императору свой набросок, на всякий случай ²⁸).

Но позвольте мне, ради тревоги сердечной, сказать еще несколько слов по предметам, о коих конечно и Вы сами думаете.

Я буду просить государя принять в Москве митрополита и обоих викариев, кои оба — почтенные люди.

Сделайте милость, не пускайте к нему там журналистов, кроме Каткова ²⁹). Он один — достойный уважения и преданный, разумный человек. Все остальные — сволочь или полоумные.

Мне приходит на ум: если состоится поездка в Ярославль и Кострому, не учредите ли там заранее надзор за всеми вновь приезжающими по жел. дор. и на пароходах? Оба места — относительно чистые, но естественно, что к этому времени наплывет всякая сволочь.

Настроение в обоих городах хорошее. Только по мудрованиям земства в Ярославле хромает женская гимназия.

Крестьяне просят себе учительниц из духовного училища, но чуются гимназисток. В Ярославле — женское духовное училище превосходно во всех отношениях. В Костроме рекомендую директора мужской гимназии Масленикова, основательного педагога и разумного. Но главное там Крестово-Владимирский женский монастырь и игуменья — мать Мария.

Еще приходит на ум вот что. Нет сомнения, что прием будет всюду восторженный. Нелишнее всюду рекомендовать после отъезда особенную бдительность по части пожаров — и самые старательные ночные и дневные караулы. Не могу забыть Симбирска, который мерзавцы подожгли в 1863 г. после восторженного приема цесаревича, в отместку, как дворянский город.

Да хранит вас господь. Душевно преданный К. Победоносцев.

15 июля 1881. Петербург.

Отводите раскольников от государя. Удерживайте Воронцова ³⁰).

11.

26 июля 6 ч. пополудни.

Сейчас приносят газеты, и наконец я вижу, что остановлен Голос ³¹). Обнимаю вас сердечно, граф Николай Павлович, только ради бога не спускайте, как спустил в прошлом году Маков ³²), разрешив запрещение через неделю.

Душевно преданный К. Победоносцев.

12.

Многоуважаемый гр. Николай Павлович.

Я болен с среды, валяюсь и не могу ничем заняться, не теряю однако надежды выехать во вторник.

Между тем вчера получил от Мансурова ³³) новую редакцию статей охранного положения.

Я весьма недоволен ею. Канцелярия едва ли поняла, в чем дело, и изложила многое совсем несоответственно, да и неумело.

Сейчас отправляю Мансурову свои замечания: желательно, чтоб он показал их Вам. Их не мало, а я считаю их важными.

Сделайте одолжение, обратите внимание. Ведь это ваше дело, по преимуществу, и вам надо будет исполнять. Посмотрите, что они сочинили по поводу замечания Набокова ³⁴). По поводу каждого устранения чиновника, когда покажется оно несправедливым (?), каждый Министр может возбудить Вам пропуск в Комитете М[инист]ров, и это по поводу временной меры и осадного положения. По моему это нелепость, и противоречие смыслу всего положения. Дело шло только о том, чтобы министры могли объясняться между собою. Могут встретиться такие деликатные статьи, о коих совершенно неудобно представлять объяснение комитету М[инист]ров.

Я хочу предъявить свои замечания во вторник, но желательно избежать этого и справиться редакцию раньше. По моему суждению ошибки эти произошли от неумелости и небрежности канцелярии ³⁵).

Душевно преданный К. Победоносцев.

Ораниенбаум. 9 авг. 1881.

Стоило ли составлять особое совещание о малороссийском языке! Это предмет деликатный! Много в нем не поймет напр. барон Николай ³⁶).

Надо быть, по моему мнению, весьма осторожным в этом деле ³⁷).

13.

(Без даты ³⁸).

Ничего не знаю, что у вас делается по переговорам с Римом.

Но надо, кажется, усугубить осторожность и не очень отворять двери лице. хотя она просится скромно: „сама на лавочку, а хвостик под лапochку“.

Видите, какую кампанию теперь подняли Штротсмайер с Ледоховским. Болгария окатоличить собираются — и отпора им нет. А известны ли Вам последние донесения из Боснии о том предложении, которое сделано было Кассаковичу, и как собираются власти вводить там Унию? Дело становится очень серьезно.

14.

(Без даты ³⁹).

Нарочно был сегодня в комитете, чтоб видеть Вас, достопочтеннейший граф Николай Павлович, но Вас не было. Я получил от Вас просьбу Рогожских — об отпечатании алтарей и на-днях посылаю Вам свой ответ ⁴⁰); но между тем хотел узнать Вашу мысль. Ради бога, не уступайте этому ходатайству ни в каком случае: в настоящих обстоятельствах это будет гибельный удар нашей церкви по всей России. Дело это не Рогожское, а всероссийское. И с Адрианом Пушкиным прошу не спешить к 30 августа: дело это весьма обдумать надо, о чем тоже пишу вам ⁴¹).

И еще хотел сказать. Слышу, что Голос ⁴²) хлопочет умиловать государя — окольными путями. Прошу вас, не сдавайтесь: тут честь правительства.

И еще хотел сказать: как это в такой важный пункт, как Кишинев, назначили Копира ⁴³⁾, и в узел так сказать жидовского вопроса: ведь он жидовского происхождения!

Душевно преданный К. Победоносцев.

15. Вам угодно было, достопочтеннейший граф, спросить моего совета о редакции Указа ⁴⁴⁾. Возвращаю Вам его исправленным по моему разумению. Долгом считаю объяснить, что в прежней редакции многое показалось мне не соответствующим достоинству верховной власти в России. Говорить — в таком акте, об общественном служении (!) власти, о единении власти с народом (а не народа с властью) — это совсем новые фразы, которые коробят мысль и в газетных статьях, но невозможны в Указе: таким языком власть никогда не говорила еще в России. Оставить их — значит объявить перед всею Россией падение власти.

Многие выражения крайне искусственны: народ не поймет, а люди образованные почувтятся. Например — единение на почве, начинаний в области управления, условиях правильного хода общежития, целесообразный и т. под.

Я поправил как мне казалось лучше и достойнее; извольте Вы рассудить, вам и книги в руки ⁴⁵⁾.

Вчера мне сказывали, будто Вы, граф, объявили уже Вильбасову ⁴⁶⁾, что 30 августа ему будет разрешено издание Голоса до 15 сентября. Правда ли это — иная правда то, что я вчера от Вас слышал? Если сказали мне верно, то мы презрительно скатываемся в область анархии, и гибельного конца не долго ждать. Ведь Вы, граф, и не кто иной, как и я решитель в газетном деле! ⁴⁷⁾.

Да наставит Вас на правду господь бог, по завету достойнейшего родителя Вашего, который имел русскую, верующую и правую душу.

Душевно уважающий и преданный К. Победоносцев.

27 августа 1881. Орапиенбаум.

16. Многоуважаемый граф Николай Павлович.

В разосланных и вывешенных по улицам афишах объявлено большое гулянье с музыкой и увеселениями в Летнем саду на 13 сентября, с 1 часу пополудни до 1 часу полуночи.

Долгом считаю обратить внимание вашего сиятельства на неприличное совпадение этого времени с временем чтимого всем народом богослужения, т.-е. с выносом креста на всенощной под праздник Воздвижения, когда воспоминаются страсти христовы. Прилично ли, чтобы в то самое время, когда выносятся для поклонения св. крест с печальным перезвоном, — музыка

с буфетами и лотереями привлекала толпу народную к общему соблазну? ⁴⁹⁾

С совершенным почтением имею честь быть вашего сиятельства покорнейшим слугою К. Победоносцев.

11 сентября 1881 Петербург.

17. Душев но благодарю за ответ ⁴⁹⁾, достопочтеннейший граф Николай Павлович. Приходится покориться, но не примириться, ибо это срам для земли русской. Согласитесь, что самые эти гулянья в Летнем саду — императорском, но превращаемом ими в кабак и место разврата — представляют возмутительное явление. Я вчера бранил людей, зачем они не сказали мне о Вашем приезде. Я же вчера обедал один без жены, и без церемонии попросил бы Вас взойти ко мне.

Сам пришел бы теперь (я уже переехал из Рамбова), но должен ехать в Петергоф, по случаю изготовляемого рескрипта гр. Адлербергу ⁵⁰⁾.

Вчера получил из М[инистерства] В[нутренних] Д[ел] извещение, что одного из выпущенных узников ⁵¹⁾, и притом самого опасного, отправляют на жительство в Казань. А Казань один из важных центров раскола. Хотел писать к Вам, но сначала объясняюсь с преосв. Казанским, здесь находящимся.

Душевно преданный К. Победоносцев.

13 сентября 1881.

18. Достопочтенный граф Николай Павлович.

Сделайте милость, прочтите прилагаемые бумаги ⁵²⁾. Они касаются близкого Вам предмета. По прочтении благоволите возвратить.

Завтра собираюсь к обеду в Царское Село и вернусь вечером.

Душевно преданный К. Победоносцев.

17 сентября 1881 г.

19. Достопочтенный граф Николай Павлович.

Предполагаю выехать завтра в 1 час с половиною в Варшаву. Если бы зачем повадилось, извольте прислать ко мне на квартиру спросить. Я буду телеграфировать жене о своем выезде из каждого места. Располагаю, если бог даст, вернуться недели через две.

Душевно преданный К. Победоносцев.

26 сентября 1881 г. Петерб.

Вижу по газетам, что Вы разрешили еще в Казани какой-то „Волжско-Камский Встанк“.

Вспоминаю притчу о кудеснике, который заклятием вызывал множество бесов из бездны, но потом, позабыв формулу заклятия, которое должно было снова вогнать их в бездну, — был сам растерзан разъяренными бесами ⁵³⁾.

20.

Достопочтенный граф Николай Павлович.

Огорчили Вы меня известием, что я могу разъехаться с Альбединским ⁶⁴⁾. С ним-то мне и нужно объясниться, и некоторые бумаги я и вез для того в Варшаву. А вечером (еще государь на мои вопросы отозвался в таком смысле, что Альб. придет еще не на этих днях. Во всяком случае ехать надобно мне, ибо если не уеду завтра, то совсем не удастся.

Посылаю Вам записку ⁶⁵⁾. На этих днях я встретил Мосолова ⁶⁶⁾ у кн. Урусова ⁶⁷⁾ и объяснялся с ним, по тем предметам, к коим больше мои заметки относятся ⁶⁸⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

27 сентября 1881 г.

Ваше сиятельство — по погневайтесь, но мне кажется, что помещение в Правительственном Вестнике отдела „из журналов и газет“ решительно ставит правит[ельство] относит[ельно] печати в фальшивое положение. И сегодня еще есть продолжение, а я надеялся было, что они прекратили. — Даже Новое Время указывало на неприличие этого отдела для Правительственного Вестника ⁶⁹⁾.

21.

Многоуважаемый гр-ф Николай Павлович.

Вчера я послал Вам записку об унiateских делах, при бумаге с обыкновенным канцелярским заключением — доставить Ваш отзыв, ибо спешил и прямо подписал, что было представлено. Но этим канцелярским путем дело вести невозможно, а необходимо, как есть, немедленно обсудить дело вместе — прихватив и Альбединского, куда он здесь. Я вчера являлся к нему, но не застал его.

Душевно преданный К. Победоносцев.

11 октября 1881 г.

22.

Достопочтеннейший граф Николай Павлович ⁶⁰⁾.

Удаление преосв. Михаила было для меня сюрпризом ⁶¹⁾. До тех пор я не видал депеш о предшествовавших обстоятельствах и прошу Гирса ⁶²⁾ сообщить их мне. Мне ждается, что представитель наш в Белграде Персиани не умеет или не хочет иметь твердое влияние на дела.

Благодарю за сообщенные мне инструкции ⁶³⁾. Я не писал об них ничего, потому что Вы меня не спрашивали. Радуюсь, что инструкции эти клонятся к затяжке переговоров, но не могу не пожалеть, что переговоры были начаты именно на этой почве, и что мы уже дали выпросить у себя некоторые условия, на которые по моему убеждению не следовало соглашаться. Это убеждение еще утвердилось во мне после поездки в польские губернии. Дело шло из того предположения, что все будто бы уже замирено и спокойно. А я думаю совсем напротив: именно теперь настает кризис дела, особливо в такую пору, когда Римская курия предприняла великий крестовый поход

на Восток и на нашу Западную границу. Дело для нас совсем не шуточное, — а в связи с униатским вопросом получает особое значение.

Именно в этих видах не следовало, по моему мнению, никак соглашаться на отмену указа 14 дек. 1863 г. об администраторах приходских (оружие существенно для нас необходимое) и указа 30 июня 1866 г. (*l'obligation de demander l'assentiment des autorités pour la revocation d'un ecclésiastique venait supprimée*). Через это мы разом потеряем — и разом предаем — всех ксендзов, входивших в политику правительства, всех охотно преподававших на русском языке и т. п. Все они на счету у Римской власти, и всех их она выкинет немедленно. А с другой стороны — и теперь уже она выставила на все пункты борьбы и колебания искусных воителей, которые систематически смущают и возбуждают народ. А тогда она двинет без затруднения целый полк своих мудрецов — против нашей простоты. А мы и без того перед ними все равно, что мужик перед деревенским писарем-адвокатом. Это дело весьма важное.

Относит. семинарий мы лишаем себя всякого контроля, не упоминаем даже об орудии этого контроля; что весьма важно, ибо с Римом нужно все прибавлять гвоздиками на бумаге. Необходимо сказать, что мы имеем право посылать своих визитеров — из гражданских чиновников — для ревизии или осмотра. Иначе ведь никого не пустят в Семинарию.

Мимоходом скажу, что сосредоточение Академии в Петербурге послужило нам не в пользу. В Петербурге духовные еще более и тверже ополчаются, нежели в Варшаве.

О Саратовском архiereе ⁶⁴⁾ скажу, что я не причисляю его к плоховатым. Он считается из деятельных, и Саратовская епархия у нас замечательна между прочим по деятельности против раскола.

Душевно преданный К. Победоносцев.

22 октября 1881 г.

У Вас был сегодня мой Аранов. Мне причисляют его к кривоватым, но он из таких кривовых, которыми семья наша держится: по своей вере, церковности и преданности царскому дому. Живет посреди народа — и без большого ума — лучше умных понимает народ и его нужды.

23. В наш век телеграфов Вы хотите писать и действовать по телеграфу. достопочтеннейший граф Николай Павлович — Вы же притом и министр телеграфов. Я думаю, что телеграф одно из бедствий нашей бедственной жизни, однако попытаюсь сегодня же набросать проект того, о чем мы говорили — вчера, кажется. С того часа я еще не успел опомниться ⁶⁵⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

31 октября 1881 г.

24. Посылаю Вам, достопочтеннейший граф Николай Павлович, набросанный вчера образец редакции известного объявления ⁶⁶⁾.

Но оговариваюсь. Я сообщаю Вам только форму, но не разделяю Вашей мысли и плана. Вы показали мне бумагу, которая в целом испугала меня, и я предпринял только отпаривать большее зло меньшим злом.

Но и эту меру я считаю злом и фальшивой, вредною и опасною мерою.

Далеко не настало еще время для призыва к прощению. В отдельных случаях всегда можно прощать, но вызывать — крайне опасно, — и воля Ваша, на совести нашей будет лежать тяжелое бремя, если мы теперь станем предлагать эту меру государю. Я с своей стороны ни за что не принял бы такого бремени на свою душу.

Разве успокоилось у нас что-нибудь? Ничего: только что осень наступила. Перед 1-м марта было тоже запылье, и Гр. Лорис-Меликов проповедывал замирение.

На такой призыв откликнутся — почти все враги, с притворным раскаянием, с тем, чтобы вернуться в Россию и здесь, под прикрытием амнистии, совершать преступные замыслы свои. Вспомните: кто были до сих пор преступники и злодеи. Все помилованные и отпущенные от прежних следствий!

Верьте мне, граф. Страшное дело Вы задумываете: не поведет это к добру.

Один только есть путь — твердость правительства, которой покуда не видно. Надо, чтобы была черта резкая, явственная, а ее нет. Мы все считаемся еще с какими-то стремлениями фальшивой интеллигенции и боимся показать прямо и решительно, чего хотим и чего не допускаем... *7).

Душевно преданный К. Победоносцев.

1 ноября 1881.

25.

Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Сейчас мне говорит Анухин *8), что Альбединский уезжает в четверг, если государь не задержит его. Ради бога постарайтесь, чтобы прежде отъезда было ему предписано что-либо прочное *9). Вы надеялись устроить совещание у государя, кажется, это необходимо. Что бы ни сказал ему государь без свидетелей, все будет непрочным у него в уме и может быть извращено. Момент теперь весьма важный, и Альбединского и необходимо отпустить с крепким словом *10).

Душевно преданный К. Победоносцев.

9 ноября 1881.

26. Очень сожалею, достопочтеннейший граф Николай Павлович, что государю неугодно было собрать нас вместе „да при успех двою свидетелю станет всяк глаголать“. Очень опасаясь, что гвозди все-таки не вбиты и дно будет по прежнему распатано *11).

Записка отправлена к Вам. Душевно преданный К. Победоносцев.

10 ноября 1881.

27. Заезжал к Вам, достопочтеннейший граф Николай Павлович, но Вы были в Гатчине.

Альбединский приводит меня в изумление и в негодование. Что-нибудь из двух: или он серьезно разумеет дело, или шутки шутит. Два раза я с ним говорил и настаивал, что нам непременно нужно до отъезда его совещаться, при Вашем участии. Он с жаром согласился.

Вдруг узнаю — что его уж нет.

Услышав о скором его отъезде, я третий день ищу его. Вчера и третьего дня не застал и оставил карточку. Он знал, конечно, зачем я ищу его, государь конечно сказал ему о моем докладе, — и все-таки он не позаботился предупредить меня, что уезжает.

А он уже совсем выехал в Царское Село к гр. Стейнбоку, откуда завтра садится на поезд.

Я телеграфировал ему туда о своем изумлении.

Вместе с сим отправляю в Гатчину ⁷³⁾ письмо о том же. Не знаю, не благоволит ли государь остановить его. (Мое письмо придет завтра утром, с утренним курьером.)

А без Альбединского нам многое и пригвоздить невозможно — нам придется с ним переписываться.

Неужели он нарочно избегал объяснений?

Душевно преданный К. Победоносцев.

11 ноября 1881.

28. Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Сию минуту получил от ген. Альбединского письмо, которое при сем прилагаю ⁷³⁾. Я ответил ему и просил его посвятить мне часть завтрашнего вечера, т.-е. приехать ко мне в 8½ часов. Сделайте милость, пособиите мне и Вы и постарайтесь приехать: авось ненадолго задержим. Я буду просить и Набокова ⁷⁴⁾. Копию с своего доклада я пошлю к Альбединскому сегодня.

Душевно уважающий и преданный К. Победоносцев.

12 ноября 1881.

29. Крайне сожалею, достопочтеннейший граф Николай Павлович, но понимаю, разумеется, что Вам трудно отлучиться в таких обстоятельствах. Но Вы говорите, что у Вас много замечаний. Это очень для меня важно, и я постараюсь хоть на 5 минут заехать к Вам ⁷⁵⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

13 ноября.

30. Сейчас принесли новый список журналов из почтамта ⁷⁶⁾.

Досада берет. С кем они там советуются? В славянские журналы включили как нарочно самый вредный Галицкий журнал Дело, самого крайнего украинифильского направления; и не включили новые, превосходные, умные, чисто русские журналы: Пролом, Русская Рада, Наука. Я знаком со всею этою литературою и получил недавно все Галицийские издания, числом 17. Есть очень дурные, враждебные, поносящие, в том числе и Дело. Но есть превосходные. Наука народный журнал священника Наумовича приводит меня в восторг, и всех духовных, коим я показывал. У нас никто не умеет так писать для народа: и вот бы откуда редакции Сельского Чтения Вашего следовало черпать статьи.

И всего этого нет в списках почтамта, или все это не подлежит выписке. А Дело они поставили!

Душевно преданный К. Победоносцев.

21 ноября 1881.

Нельзя ли хоть включить в список Пролом (прекрасное издание) и Науку? ⁷⁶).

31. Не лишним почитаю сообщить, что пишет преосв. Платон из Одессы от 17 ноября: „Готовлю теперь пастырское послание, вследствие новых беспорядков, происшедших на сих днях в Одессе по случаю приезда из-за границы актрисы Сары Бернар, католички из евреев. Повод к сим беспорядкам, как я слышал, подала чрезвычайная овация, оказанная сей актрисе сараями и некоторыми греками, не понравившаяся простому русскому народу и побудившая его бить евреев“ ⁷⁷).

К. Победоносцев.

21 ноября.

32. Очень сожалее, что сегодня не застали меня, достопочтеннейший граф Николай Павлович ⁷⁸). Я неожиданно был потребован в Гатчину и вернулся уже в 7-м часу. Завтра может быть государь изволит Вам говорить о том, что я имел случай докладывать его величеству относительно причины распространяемых слухов и сплетен ⁷⁹).

О Бунине ⁸⁰) и я получил от кн. Долгорукова ⁸¹) пространное писание. Разумеется, не приходится на сей раз входить с ним в пререkanie. Плохо было бы и Бунину сесть вопреки кн. Долгорукову ⁸²).

Душевно преданный К. Победоносцев.

24 ноября 1881.

Жена душевно благодарит Вас за память ⁸³). Она крайне расстроена, ибо ждет овдовевшую сестру с телом мужа.

Очень рад, что вы взяли г. Томару из Смоленска, но меня весьма интересует, кто будет в Смоленске. Ради бога, придумайте хорошего и дельного человека.

Еще просьба. Вы не могли быть у меня на совещании с Альбединским. Но мне необходимо сообразить Ваши замечания, сделанные, как я видел, на полях моей докладной записки ⁸⁶). Не благоволите ли сообщить их мне?

33. Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Здесьшний митрополит получил безыменное письмо с предупреждением о подозрениях на подкуп в одном доме у Красн[ого] моста. Может быть, все это сплетни или наветы, но в нынешнюю пору ничего не следует оставлять без внимания и потому препровождаю к Вам означенное письмо в подлиннике, с конвертом ⁸⁶).

Душевно уважающий и преданный К. Победоносцев.

25 ноября 1881 г.

Некоторые указывают, не без основания, что в опасную пору, — опасное место-Одесса — оставлена без начальства. Дондуков сюда вызван, и Гудим Левкович переведен в Киев ⁸⁶).

Дрентельн ⁸⁷) покровительствует Гудиму, но мне он побазался вялым и малозначащим.

34. Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Дело о Литовской грамоте требует некот[орых] объяснений. Позвольте мне поддержать записку дней 6—7. Я имею в виду человека, близко знающего это дело на практике; но он в Сувалках, и мне надобно написать ему — он не замедлит ответом ⁸⁸).

Душевно преданный К. Победоносцев.

4 декабря 1881.

Ольга Новикова ⁸⁹) прислала мне из Лондона статью свою „New Departure in Russia“, мастерски написанную, рассказ о плане конституции Лорис М[еликава] и о дальнейших событиях, о собрании экспертов — тут и о Вас не мало речи — не в худую сторону. Она пишет бойко и гладко.

35. Возвращаю при сем сообщенную мне Вашим сиятельством бумагу, обязываюсь изъяснить, что, по мнению моему, никак не следовало бы разрешать к печатанию русский перевод катехизиса для баптистов.

Издание этого катехизиса предпринято очевидно ради пропаганды между русскими. При обсуждении дела в 1879 году в Госуд. Сов. было заявлено от Мнч. Вн. Д., что у баптистов нет никаких символических книг и изложения вероучения: теперь оно является, да еще предполагается на русском языке. Секта эта отличается стремлением к пропаганде, и тем она опаснее.

Для массы русских крестьян при их церковном невежестве, соединенном с религиозным чувством, пропаганда облегчается заманчивостью и учения и церковной дисциплины. Между тем некоторые черты этого учения вовсе не безопасны для государства, если секта будет распространяться.

Баптисты, по выражению своему:

— уклоняются от военной службы,

— отвергают присягу.

Детей они не крестят. —

Некоторые их толки — отвергают исполнение общественных должностей.

Священство они не признают, но избирают проповедников из среды себя, по выбору или по жербию. — Это последнее обстоятельство служит нередко первую приманкою в секте для крестьян, особливо при разногласии или ссоре со священником: этим путем, при содействии искусных пропагандистов, многие переходят и в штунду, имеющую много сходства с учением баптистов и с направлением так назыв. пашковцев.

Итак, когда на русском языке появится книга, в коей собраны догматические черты учения баптистов, книга эта в руках у пропагандистов может послужить сильным орудием к объединению и сосредоточению совратительной деятельности. Извольте обратить внимание на то, что наш крестьянин до сих пор смотрит на печатную книгу, как на авторитетное слово, и даже соединяет печатное слово с идеей о распоряжении или приказании правительства. Итак, с печатным катехизисом в руках, пропагандисту нетрудно будет уверить простых людей, что само правительство покровительствует учению баптистов. Этот прием донныне практикуется у нас с успехом.

Душевно уважающий и преданный К. Победоносцев.

7 декабря 1881 г.

36.

Многоуважаемый граф Николай Павлович.

По предложенному Вашим сиятельством вопросу ⁹⁰⁾ я входил в сношение с двумя лицами — (в Варшаве и в Седлеце) — близко и отлично знающими предмет на практике. Отзывы обоих согласны в том, что следует дозволить выпуск молитвенников, напечатанных латинским алфавитом. Одну из присланных мне записок прилагаю при сем для соображения Вашего. Другая записка пространнее и обнимает общий вопрос о литовской письменности.

Доклад Главного Управления ⁹¹⁾ при сем возвращается.

Душевно уважающий и преданный К. Победоносцев.

15 декабря 1881 г.

37.

Заходил было к Вам сегодня, достопочтеннейший граф Николай Павлович, чтобы сказать нечто по поводу нынешней телеграммы в газетах относительно постановления Новгородского земского собрания. Мне казалось бы, необходимо на самом начале остановить этот поток демонстраций, которые очевидно возбуждаются искусственно и без сомнения будут повторены ⁹²⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

16 декабря 1881 г.

38.

Достопочтеннейший гр. Николай Павлович.

. Весьма сожалею, что Вы заезжали, когда я был у митрополита. Хотел заехать к Вам вечером, но дела не пускают. Сейчас был у меня М. Н. Островский ⁹³⁾. Завтра Вы будете в Гатчине. Прошу и умоляю, доложите государю о коммиссии бар. Николаи с выборными от земств ⁹⁴⁾. Дело это точно из-под земли высочило, и очевидно, что чья-то лукавая рука направляет его из-за кулис, а бар. Николай благодушествует и не видит, какая змея под цветком. Истинно говорю — если дело это состоится, не оберешься тревоги, и правительство создаст для себя прецедент прескверный. Дело это надобно остановить во что бы то ни стало, ради общественного спокойствия, коего Вы верховный блюститель. Прошу и умоляю — возложите руку на рало не зря вспять и разрушайте замыслы Краевского и К-о ⁹⁵⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

17 января 1882 г.

39. История о вопросных пунктах Псковского съезда ⁹⁶⁾ еще раз свидетельствует, сколько вреда могут приносить учительские съезды, направляемые земскими деятелями, которые желают проводить свои фантазии в деле народного образования.

Программа вопросов вообще слишком сложна и не соответствует простоте преподавания закона божия в народной школе. Невозможно требовать ни от сельского священника, ни от детей исполнения слишком сложной задачи, помеченной во всех 16 пунктах.

Думаю, что лучше было бы для дела, если бы подобных съездов, под руководством земства, вовсе не было. Во что превращаются такие съезды, показывает пример бывшего недавно Киевского. Стоит посмотреть № 10 января Киевской газеты Заря, чтоб в сем убедиться ⁹⁷⁾.

Полемика по 4 и 7 вопросу программы Псковского съезда весьма замечательна. Рассуждения г. Ваганова показывают, какая путаница понятий образуется в головах у современного земского деятеля, когда он хочет стать на точку зрения Поля Бера и отнестись безразлично к вере. Г. Ваганов превратно называет нетерпимостью — обучение православного мальчика вере и обрядам православной церкви. Он хочет, чтоб в этом учении не было ничего, что не могло бы быть одинаково приятно и раскольнику, и католику, и протестанту! Странная фантазия! Ты можешь говорить, что теперь день, но не смей доказывать, что теперь не ночь, можешь говорить, что вещь белая, но не смей говорить, что она не черная! Ведь всякое вероучение есть единое и исключительное: иначе оно не было бы вероучением.

Можно возражать против редакции 4 пункта вопросов; его можно было и следовало изложить просто; но сущность требования или запроса — вполне разумная, и лишь один тупой либерализм может возражать против нее. Если в известной местности есть, напр., молокане или штундисты — как не просить законоучителя, чтоб он разъяснял мальчикам понятие о церкви, о

таинствах, об иконах, — и предостерегал их от заблуждений и вредных толков? Где есть беспоповцы, необходимо изъяснять, что такое церковь, законное священство, таинство, в противоположность беспоповщинскому учению? Разве запретить ему объяснить, что треперстное сложение одинаково свято, как и дво-перстное, Иисус все равно что Исус, и т. под? Разве запретить ему объяснять, в склоческой местности, истинный смысл текста о скопцах?

Даже изумительно, до какого тупоумия доходят земские либералы.

Впрочем, сколько известно мне, в этом смысле и дан г. Ваганову и Земству ответ попечителем здешнего учебного округа ⁹⁹⁾.

18 января 1882 г.

40. Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Сегодня в Новом Времени читаю, что Каткова назначают членом Госуд. Совета, а в городе слышу разговоры, что статья Нового Времени внушена Вами ⁹⁹⁾.

Не знаю, есть ли что основательного в слухе о назначении Каткова. Я слышал от кн. В. А. Долгорукова, что он просил о производстве Каткова в чин тайного советника; но о назначении его в Госуд. Совет узнаю лишь из журнальной статьи. Я старый приятель М. Н. Каткова, но признаюсь, что такого назначения не одобрил бы, если бы меня спросили. Прежнего Каткова правительство потеряет, а нового не приобретет ¹⁰⁰⁾. По моему мнению назначение Галагана было ошибкою, — о чем не приходилось еще говорить с Вами ¹⁰¹⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

20 января 1882 г.

41. Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

В газетах пишут, что частные театры будут открыты постом. Если это может случиться, будет соблазн в виду высочайшего повеления. Если оно не правилось, для чего в свое время не возражали? А если оно уже состоялось, то надобно исполнить его. Здесь Козлов ¹⁰²⁾ в состоянии разрешить что угодно, ибо он сам охотник по женской части ¹⁰³⁾.

В этой газете есть еще указание на значение Харьковской истории ¹⁰⁴⁾. Воюсь, как бы после завтра не случилось нечто подобное в здешнем университете ¹⁰⁵⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

6 февраля 1882 г.

42. Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Душевно благодарю за предупреждение: я и сам никогда не езжу на университетские собрания, ибо давно утратил веру в них и интерес к ним; притом терпеть не могу толпы и шума ¹⁰⁶⁾.

Известны, рассказывают, человек 8 зажигателей: для чего бы не припрятать их перед актом?

Имеется ли у вас наблюдение за г-жею Ламанскою, которая проживает здесь где-то в гостинице, а муж за границей. За ней надо присматривать: она женщина способная на все, и она, главное, агитирует после падения мужа: она и на биржу действовала, она ведет связь с г. Полонским и Страною. Обратите на нее внимание ¹⁰⁷⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

7 февраля 1882 г.

К. Долгоруков ¹⁰⁶⁾ кажется несколько обижен разрешением Чичерину мер, которые он запретил ¹⁰⁸⁾. Чичерин стоит за них усиленно — и напрасно. Речь его много выиграла бы, когда бы этих мест в ней не было. И еще скажу: напрасно он с первых шагов поставил себя этим делом в антагонизм самолюбия с кн. Долгоруким. Теперь Долгоруков наверняка будет искать поводов придирается к нему.

43. Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Вам без сомнения известно, что лорд Редсток ¹¹⁰⁾ приехал сюда и опять открыл свои собрания у Пашкова.

Одна почтенная старушка, вдова адмир. Руднева, присылает мне прилагаемое письмо и повестку пригласительную на проповедь.

Казалось бы, не грех — этого юродивого, наплодившего у нас столько других юродивых, не грех бы попросить вовсе удалиться из России. Прихвостни и прихвостницы его могут и туда за ним последовать. Об этом была речь и весной 1880 года в заседании у Лорис-Меликова под предс. Валуева (где и я участвовал) ¹¹¹⁾, когда запрещено было Пашкову вести свою пропаганду и посоветовали ему от имени покойного государя выехать на время из России. Пашков же есть отродие л. Редстока.

Когда бы они только домашним манером собирались со своей пророчицей Софией Ив. Нелидовой и прочим кагалом; но этого им мало — они рассылают повестки и просят „amener vos connaissances“ — а там пойдет дальше ¹¹²⁾.

Если он сектант, то пусть себя заявит; или пусть проповедует в Лютеранской или Англиканской кирке. Но туда его, кажется, не пускают, ибо считают еретиком.

Душевно преданный К. Победоносцев.

10 февраля 1882 г.

44. Благодарю за телеграмму, хотя она печальна. Новая забота!

Долгом почитаю препроводить к Вам письма.

Одно из Петергофа ко мне, уже не первое, все о том же предмете. Превжнее письмо было мною отослано к Плеве ¹¹³⁾.

Другое прислал мне митроп. Исидор, от Кулянского крестьянина. Не мешало бы, кажется, разузнать, что это за человек.

Душевно преданный К. Победоносцев.

11 февраля 1882 г.

45. Достопочтенный граф Николай Павлович.

Знаю, что проповедую в пустыне, однако не могу все-таки умолчать. Ваше дело слушать или не слушать.

Или мало еще жи и разврата распространяется у нас существующими журналами и газетами? К чему, как не к усилению этого зла может послужить открытие новых? Ведь газета стала ныне одним из жидовских гешефтов, и нет безграмотного жиденка, который не мечтал бы о подобном предприятии.

Между тем беспрестанно читаешь о разрешении новых газет. И сегодня в Правит. Вест. их несколько.

На Волини — в гнезде жидов и поляков — вместо паршивого листа объявлений разрешена газета политическая и литературная — Г. Зиферману. Явно, что это жид. А и без этой газеты в Житомире некуда деваться от интриг и сплетен! ¹¹⁴).

Вот г. Суворину — вздумалось издавать в Москве „Русское Дело“. Можно себе представить — это новое гнездо либеральной жи и сплетен; в Москве и без того их масса! ¹¹⁵).

И в ПБурге является дворянин Ярмонкин со Светочем, политическо-литературным! ¹¹⁶).

Помилосердуйте! Доколь мы будем сидеть на суку и сук рубить под собою!

Душевно преданный К. Победоносцев.

14 февраля 1882 г.

46. Признаюсь, достопочтеннейший гр. Николай Павлович, что я сам желал бы потопить крестьянский поземельный банк! ¹¹⁷). Я считаю его фальшивым учреждением, одним из звеньев той фальшивой цепи, которую заплела политика А. Меликова и Абазы — Соляной налог ¹¹⁸), выкупные платежи ¹¹⁹), миллионы платимые в Госуд. Банк — и крестьянский банк. Это — трата даром госуд. денег и внесение в народное сознание начал развращающих!

Душевно преданный К. Победоносцев.

25 февраля.

Сейчас еду в Гатчину.

47. Благодарю за присылку и возвращаю. Надеюсь, что Серапион вскоре будет взят из Чернигова.

Боюсь, что бедный Баранов ¹²⁰) недолго наживет. Он как-то очень осунулся, и доктор, который лечит его, говорит, что легких у него хватит венадолго. Жаль человека: напрасно его отсюда выкинули.

А Шибаев с К-о здесь сидят не даром. Слышу, что у них идут в трактире Малоярославец совещания с офицерами и генералами дружины о союзе во имя религиозной свободы! ¹²¹⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

2 марта 1882 г.

48. Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Вчера был у меня Н. А. Сергиевский ¹²²⁾ из Вильны и рассказывал много. Вам известно, какие у него поднимаются вопросы по учебному ведомству и как трудно решить их с помощью бар. Николая ¹²³⁾, но решить их необходимо. Не знаю, когда Вы поедете в Гатчину. Если в среду, то в тот же день будет представляться Сергиевский, и желательно, чтобы государь расспросил его. Бар. Николай странным образом отзывается, что до него не касаются вопросы о недопущении поляков и полек к воспитанию юношества в том крае. Если он такого мнения, то не в праве и претендовать, если эти вопросы решены будут помимо его...

Ожидаю от Вас сообщения записки, поданной старообрядцами-раскольниками.

Слышу о горестной вашей утрате, и соболезную. Дай боже усопшей вечного успокоения! ¹²⁴⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

2 марта 1882 г.

49. Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

В дополнение к вчерашнему моему объяснению относительно объявленного публичного исполнения литургии Чайковского спешу препроводить при сем только что полученную мною по сему же предмету бумагу от гофмейстера Бахметева ¹²⁵⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

9 марта 1882 г.

Сейчас Дондуков показывал мне бумагу с разрешением митрополита.

Но ведь в бумаге совсем не то сказано: разрешаются духовн. концерты: и никто бы не мешал им поставить в программе

№ 1. Единор. сыне — Чайковского.

2. Тебе поем — Чайковского

и т. под.

Но они поставили: будет исполнена в зале Кононова Литургия Иоанна Златоуста, соч. Чайковского.

Вот что не было разрешено и чем оскорбляется слух. В Москве был от этого большой соблаз.

Итак дело, пож., можно поправить объявлением, что будет концерт, и включить в программу № № некоторых других композиторов ¹²⁶).

Видели ли Вы сегодня статью Нового Времени? Мне говорят про нее с ужасом — будто там обруганы поголовно все носящие немецкую фамилию.

Воля Ваша, надо бы положить этому конец и показать, что правительство не только не солидарно с этими братьями, но и налагают взыскание за статьи, возбуждающие ненависть между подданными одного государя и классами общества ¹²⁷).

50.

Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

1. Я получил от Вас бумагу доверительно, о праздновании 19 февраля. В Синоде будут в недоумении, какие делать распоряжения. Установление праздничных дней совершается обыкновенно гражд. порядком через 1-й Деп. Сената. Желательно знать, сделано ли Вами подлежащее в эту сторону сообщение. В Вашей бумаге о сем не упомянуто ¹²⁸).

2. Обращено ли Ваше внимание на частое появление в афишах публикаций о концертах, под фирмою „для благотворительной цели“. Под этою фирмою могут скрываться и, вероятно, скрываются цели прескверные. Не знаю, есть ли у Вас какие правила по сему предмету. Мне кажется, не надлежало бы допускать таких неопределительных объяснений, и вообще порядок требовал бы, чтобы в подобных концертах имелось в виду ответственное лицо или учреждение, обязанное заявлять, сколько выручено денег и куда они сданы ¹²⁹).

3. Завтра предполагаю ехать в Гатчину ¹³⁰). На-днях я позволил себе представить государю всеподд. прошение проф. моск. ун-в. Любимова. Не упоминал ли Вам государь об этом деле? ¹³¹).

4. Сегодня наконец вечером Набоков ¹³²) обещал иметь со мною совещание по вопросу о наложении штрафов по униатским делам в Ц. Польск.

Душевно преданный К. Победоносцев.

12 марта 1882 г.

Вы, конечно, знаете уже вчерашнюю ужасную весть о кончине милой нашей Екатерины Федоровны ¹³³). Мы с женою поражены как громом. Это была у нас единственная родная душа в мире.

Последние слова ее были: Возьми меня, возьми меня, господа! Я уверен, что она кончалась с радостью в душе и со светом ¹³⁴).

51.

Многоуважаемый граф Николай Павлович.

Долгом считаю довести до Вашего сведения, что, по дошедшим до меня известиям, латинская пропаганда в среде воссоединенных униатов царства польского усиливается, и более и более принимает систематический вид. Известно, Сейнскому католическому епископу вверено от Римской Күрии

особливое попечение о душах униатов Августовского уезда, почему население направляется за своими требами к ксендзам в г. Сейны. Во всем Холмском крае организована пропаганда ксендзов, которые ныне уже беспрепятственно отправляют требы у лиц, принадлежащих к православным приходам, и получают с них за то немалые деньги. Некоторые сделали уже из сего полный для себя промысел; так например в Соколовском уезде Седлецкой губ. нынешнею зимою разъезжавший под видом крестьянина ксендз успел окрестить до 130 младенцев, получил по 15 рубл. за каждого. Мне неизвестно, имеется ли за этою пропагандою надлежащее наблюдение в центральном Варшавском управлении, но известно, что дела сего рода находятся в Варшаве в руках у поляка и католика Г. Каминского.

Душевно преданный К. Победоносцев.

Пропу бросить взгляд на прилагаемую вырезку ¹³⁵⁾.

12 апр. 1882 г.

52. Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Сейчас был у меня митрополит Московский, отъезжающий послезавтра в Москву. Его приводит в смущение следующее обстоятельство. Открытие выставки назначено на 16 мая, конечно без всякого соображения с тем, что в это число нынче приходится Троицын день ¹³⁶⁾. Рассудите сами, какое от этого неудобство и какой будет ропот в купечестве. В Троицын день и по церковному уставу положена поздняя обедня с вечернею. Митрополита приглашают служить молебен на выставке, а в этот праздник из года в год митрополит служит в Троицкой Лавре.

Нельзя ли, покада есть еще время, переставить открытие выставки на понедельник 17 числа, т.е. на Духов день. Это удовлетворило бы всех. Митрополит, по приезде в Москву, будет говорить об этом с кн. Долгоруковым ¹³⁷⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

30 апреля 1882 г.

53. Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Действительно, когда Л. С. Маков ¹³⁸⁾ спрашивал меня о г. Дурново ¹³⁹⁾, просившем дозволения на издание газеты, я дал об нем добрый отзыв, положившись на рекомендацию от духовных лиц из Москвы, — и не перестаю жалеть о том, ибо на деле г. Дурново оказался церковным дураком, на которого и следует ныне, по правилу мудрой Екатерины, без суда наложить молчание.

Душевно преданный К. Победоносцев.

2 мая 1882 г.

54. Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Препровождаю на Ваше благоусмотрение телеграмму, полученную мною от Бунина ¹⁴⁰⁾.

Боюсь, что завтра не придется мне быть в Комитете Министров. Меня остановило дело о Петрункевиче ¹⁴¹⁾.

Вам известно, особенно по отношению к граф. Паниной ¹⁴²⁾, что это за человек. Он ловок, не высказывается, но приносит вред и в Смоленске. Неужели разрешат ему быть Борзенским гласным? ¹⁴³⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

3 мая 1882 г.

55.

Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

На-днях изволите получить от меня официальный ответ на сообщение Ваше по цензурному делу. А повуда спешу сказать, что я совершенно согласен с Вашими предположениями и даже несколько расширил бы компетенцию предполагаемой комиссии: впрочем, как министр внутр. дел в ней присутствует, то с ним всегда может быть объяснение.

Желательно было бы, чтоб чрез эту комиссию проходили и дальнейшие предположения об устройстве печати.

В комитете министров, конечно, будут возражения.

Вы сейчас заезжали ко мне — я обедал — напрасно Вы не велели сказать мне ¹⁴⁴⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

9 мая 1882 г.

56.

Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Сейчас получил от Вас подтвердительную бумагу об ускорении ответом на запрос Ваш относительно изыскания порядка отобрания у раскольников разных вещей.

Ответ не замедлит; но его нельзя было изготовить скоро. Дело немало-важное: его нельзя сделать наскоро. Ваша редакция циркуляра меня не удовлетворяла, ибо она только отменяет правила 1858 года и ничего не ставит на их место.

Надо было обдумать точные правила, изложить их, потом провести через Синод, — что требует времени. Наконец присутствие здесь прокуроров Московского, Саратовского и Казанского дало мне возможность посоветоваться с ними. На днях определение Синода будет подписано, и я пришлю Вам ответ немедленно.

При составлении сих правил я посылал объясняться у Вас в Д-те с г-м Хартуляри ¹⁴⁵⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев

11 мая 1882 г.

57. Достопочтеннейший граф Николай Павлович.

Усерднейше благодарю за память о 21-м числе ¹⁴⁶⁾. К сожалению, я был в это время на открытии Палестинского общества, а жена моя лежит больная уже третий день.

Спешу препроводить на усмотрение Ваше только что полученную телеграмму Бунина ¹⁴⁷⁾.

Душевно преданный К. Победоносцев.

21 мая 1882 г.

Примечания *).

¹⁾ Пашков, Вас. Ал-др., отставной полковник гвардии, сектант, глава религиозной секты „пашковцев“, пользовавшейся большим влиянием в 1870-х и 1880-х годах. Секта эта образовалась в России под влиянием проповеди англичанина Редстока (см. прим. 110), часто приезжавшего в Россию. „Пашковцы“ отрицали иконы, святых, таинства и церковную иерархию. Свое учение они в течение нескольких лет проповедывали открыто, создав для этой цели в 1876 г. „О-во поощрения духовно-нравственного чтения“, которое было закрыто лишь в 1881 г. по высочайшему повелению. Тогда и начались систематические преследования „пашковцев“. К. П. Победоносцев, разумеется, ненавидел эту секту, привлекавшую в свою среду массу последователей. Особенно яростно стал он выступать против Пашкова, когда последний в 1878 г. ответил категорическим отказом на призыв официальной русской церкви вернуться в лоно православия. Весною 1880 г. была образована особая правительственная комиссия под председ. гр. П. А. Валуева для изыскания мер борьбы с „пашковцами“. В комиссию входил и Победоносцев (см. прим. 111), который, судя по настоящему письму, не особенно был доволен результатами ее работ и окольными путями старался побороть „пашковцев“.

²⁾ Принц Ольденбургский, Петр Георгиевич (1812—1881)—председательствовавший в департаменте гражданских и духовных дел Государственного Совета по делам особой важности. Среди широких слоев населения известен был более как один из главных руководителей ведомства императрицы Марии, благодаря стараниям которого в свое время был создан ряд благотворительных учреждений, больниц, школ и т. п.

³⁾ К. П. Победоносцев имеет здесь в виду назначение Н. П. Игнатьева на пост министра внутренних дел, о чем тогда велись переговоры. См. предисловие.

⁴⁾ С начала 1870-х годов стала обнаруживаться обременительность для бывших помещичьих крестьян выкупных платежей, установленных положением 19 февраля 1861 г. Обременительность эта обуславливалась несоответствием их поря величине падеков, качеству и действительной доходности их, непрерывным ростом населения, недородами и т. п. Кроме того, в 1881 г., согласно того же положения, наступал срок для переоброцки повинностей бывш. помещичьих крестьян, оставшихся еще в обязательных отношениях к помещикам в губерниях Великороссии и Малороссии. Эти крестьяне оказывались в самом затруднительном положении, так как перевод их на положение собственников, вследствие безплодности земли и обременительности выкупных платежей, мог осуществиться лишь в далеком будущем. Граф Н. П. Игнатьев, будучи министром государственных имуществ, поставил в связи со сказанным вопрос о понижении выкупных платежей. Для разработки проекта им весною 1881 г. были созваны на специальное совещание 12 „сведущих людей“—представителей интересов помещиков. Результатом работ комиссии явился законопроект о снижении выкупных платежей, который гр. Игнатьев внес на рассмотрение Государственного Совета. Там накануне назначения гр. Игнатьева на пост министра внутренних дел законопроект был провален (о чем

*) Ссылки на 1-ый полутом 1 тома сборника „К. П. Победоносцев и его корреспонденты“ обозначаются сокращенно: „Поб. и Кор.“.

см. письмо Игнатъева к Победоносцеву в сборн. „Поб. и кор.“, стр. 86). Вопрос получения окончательное разрешение в конце 1881 г.: указами 28 декабря 1881 г. выкупные платежи были снижены. Над принципом соразмерности выкупных платежей с доходностью земли восторжествовал принцип однообразной скидки в один рубль с каждого душевого надела, в пользу которого высказалось совещание „сведущих людей“.

4) Записки о снижении выкупных платежей.

5) Газета „Порядок“ — орган либералов, ред. М. Стасюлевичем. Передовая в номере от 2 мая 1881 г. посвящена антиеврейским беспорядкам, происходившим тогда на юге России. К. П. Победоносцев, очевидно, возмущена не передовой, которая не включает ничего резкого, а белые полосы на последней странице. Дело в том, что газете 1 мая 1881 г. было запрещено в течение месяца, начиная со 2 мая, печатать объявления. 2 мая редактор демонстративно выпустил номер с белыми полосами вместо объявлений, что в те времена являлось редким событием. Этим поступком редактора и возмущился, видимо, К. П. Победоносцев.

6) Данному пасмю предшествовало письмо гр. Н. П. Игнатъева к К. П. Победоносцеву, в котором первый решался „напомнить о возвращении записки касательно выкупных платежей“, которую Победоносцев (см. его предыдущее письмо) обещал „возвратить сегодня утром“. (Поб. и кор., стр. 85. Отсюда можно заключить, что недатированное письмо Игнатъева, помещенное там под № 67, было послано 3 мая 1881 г.)

7) Речь идет о проекте циркуляра, присланном Игнатъевым при своем письме от 3 мая 1881 г. (см. предид. прим.). „Мне думается, — писал Игнатъев, — что проект циркуляра мог бы обращенным быть и в правительственное сообщение (подписанное всеми министрами) в [Правительственный] „Вестник“, если бы эта форма была предпочтительна простому циркуляру. Как Вы полагаете?“ — спрашивал Игнатъев. Автор примечаний к письмам Игнатъева указывает, что „циркуляр не сохранился“, т. е. содержание его остается неизвестным (Поб. и кор., стр. 387). Между тем несомненно, что разговор идет об известном циркуляре графа Игнатъева к губернаторам, опубликованном в „Правительственном Вестнике“ 6 мая 1881 г. Этим циркуляром, в котором гр. Игнатъев ставит губернаторов „в известность о взгляде правительства на современное внутреннее положение“, и началась деятельность его на посту министра внутренних дел. Циркуляр данный, представляющий собою декларацию и программу работ нового министра внутренних дел, хотя и был адресован губернаторам, по существу был рассчитан на внимание всей страны, всего населения, почету и был опубликован. Его перепечатала вся тогдашняя пресса, которая в многочисленных статьях подвергала его критике и анализу.

8) Ожидая с минуты на минуту указа о назначении его министром внутренних дел, последовавшего только 4 мая 1881 г., гр. Игнатъев в своем письме к Победоносцеву от 3 мая писал: „Я во всяком случае не поеду в Гатчину [к Александру III] ранее 10½ часов [4 мая 1881 г.], потому что указа [о своем назначении] до сих пор не получил. Не мимо идет ли чаша сия?“ Дал бы бог“ (Поб. и кор., стр. 85—86). Ответом на эти его фразы и служат заключительные строки письма Победоносцева.

9) 17 мая 1881 г. в столичных газетах (см., напр., „Голос“ или „Новое Время“) появилось сообщение, что 130 гласных петербургской городской думы внесли предложение о присуждении гр. М. Т. Лорису-Меликову звания почетного гражданина города Петербурга, при чем приводился и текст адреса, который предполагалось преподнести ему по этому поводу.

Граф Михаил Тарнелович Лорис-Меликов, нач. верховной распорядительной комиссии (февраль—август 1880 г.) и министр внутренних дел (с августа 1880 г.) с чрезвычайными полномочиями, уволен был 4 мая 1881 г. (см. предид.). Деятельность его на посту руководителя внутренней политики встречала сочувствие в либеральных кругах русского общества, которые возлагали на „диктатора сердца“, как его тогда называли, много надежд. С его именем связывали ряд намечавшихся реформ в госу-

дарственной жизни, вплоть до создания народного представительства. Отставка его, вызванная тем, что Александр III, следуя совету К. П. Победоносцева, резко повернул курс внутренней политики в сторону реакции, означала для либералов крушение их надежд. Присуждением Лорис-Меликову звания почетного гражданина гор. Петербурга и поднесением ему адреса предполагалось, с одной стороны, выразить ушедшему в отставку „диктатору сердца“ сочувствие, а с другой — продемонстрировать против нового направления правительственной политики.

¹¹⁾ Корф, П. Л., бывший одно время петербургским городским головой.

¹²⁾ В манифесте 29 апреля 1881 г. Александр III всенародно объявил о неизбежности основ самодержавия и положил конец всяким ожиданиям конституции и других реформ. Манифест этот, явившийся неожиданностью для некоторых министров кабинета Лорис-Меликова и вызвавший среди них смятение, предвещал наступление реакции. По указанию гр. П. А. Валуева (см. его „Дневник“, изд. „Былое“, 1919 г., записи за май 1881 г.), манифест был составлен К. П. Победоносцевым и М. Н. Катковым. С обнародованием его начались перемещения в составе кабинета министров. Первым, как было сказано, ушел в отставку гр. Лорис-Меликов, подавший о том заявление царю 30 апреля в день опубликования манифеста.

¹³⁾ Абаза, А. А., министр финансов, и Милютин, Д. А., военный министр в кабинете Лорис-Меликова, пользовались репутацией либеральствующих министров и считались единомышленниками гр. Лорис-Меликова. Вслед за ним оба они вышли в отставку. Первого на посту министра финансов сменил Н. Х. Бунге, а второго — ген.-адъют. П. С. Вапновский.

¹⁴⁾ В ответном письме гр. Игнатьев писал К. П. Победоносцеву: „Совершенно разделяю мнение Ваше об адресах и различных публичных заявлениях. Если государь прикажет, можно положить конец. Мое личное положение несколько щекотливо в данном случае, ибо я считаю антирезисом прошлого. Я говорил Баранову (Петербургскому градоначальнику), что ему следует сделать надлежащее внушение петербургским воротилам в думе“. (Поб. и кор., стр. 86. Недатированное письмо Игнатьева, помещенное там под № 69, отправлено К. П. Победоносцеву несомненно 17 или 18 мая 1881 г.) Несмотря на противодействие Победоносцева, вопрос о присуждении Лорис-Меликову звания почетного гражданства и поднесении ему адреса обсуждался в городской думе 18 мая 1881 г. и предложение было принято (см. газ. „Голос“ от 19 мая 1881 г.).

¹⁵⁾ Газ. „Голос“ издавалась А. А. Краевским под ред. В. А. Бильбасова и держалась умеренно-либерального направления. В номере от 21 мая 1881 г. внимание Победоносцева, очевидно, привлекла передовая, посвященная недороду и надвигающемуся голоду. Довольно осторожно, как бы замаскированно, подчеркивались пассивность и беззаботность правительства в этом вопросе, волнующем миллионы населения Европейской России и Сибири.

¹⁶⁾ В городской хронике сообщалось, что накануне с докладами выезжали к царю министры внутренних дел Игнатьев, юстиции Набоков, народного просвещения бар. Николай и управ. морским министерством. В то время подобные заметки появлялись в печати редко.

¹⁷⁾ В виде телеграммы из Петрозаводска была напечатана заметка мирового судьи Давыдова о постигшем Петрозаводский уезд голоде. „В уезде голод... Крестьяне в отчаянии“ — писал он. Корреспонденция эта послужила материалом для автора передовой, о которой упоминалось в прим. 15.

¹⁸⁾ „Земля и Воля“ — орган русских революционеров пародников („землевольтцев“), издававшийся нелегально в Петербурге в 1878 — 1879 г.г.

¹⁹⁾ Газета „Южный Край“ издавалась в Харькове. В то время принадлежала к числу крайне либеральных органов. Прокатившаяся весной 1881 г. по южной и юго-западной России волна кровавых антиеврейских беспорядков всецело поглотила внимание „Южного края“. Изю дня в день в мае 1881 г. передовые, фельетоны и значительная часть хроники этой газеты посвящались описанию погромов, выявляе-

нию виновников беспорядков и агитации за прекращение беспорядков. Подобного рода упорная агитация была не по душе Победоносцеву.

²⁰⁾ 27 мая 1881 г. гр. Игнатьев официально препроводил Победоносцеву на рассмотрение „список вопросов, по которым могли бы быть затребованы заключения местных земств, прежде чем они подвергнутся окончательной разработке в законодательном порядке“. Письмо Игнатьева, включающее список вопросов, опубликовано в сборн. „Поб. и кор.“, стр. 96—97.

²¹⁾ 2-ой пункт списка гласил: „Преобразование уездного управления“.

²²⁾ В ответном письме от 30 мая 1881 г. гр. Игнатьев объяснил Победоносцеву, что постановка такого вопроса и на его взгляд представляется беспечной. Но тем не менее он не нашел возможности исключить его из списка, так как „постановка его предreshена передачей бывшим министром внутренних дел [Дорис-Меликовым] на рассмотрение земств переустройства уездных по крестьянским делам учреждений“ (Поб. и кор., стр. 97).

²³⁾ Пункт 7-й гласил: „Упорядочение питейного дела, изыскание же для противодействия пьянству, при возможном сохранении существующего казенного дохода с питей“. Игнатьев не согласился с замечаниями Победоносцева и считал необходимым „настаивать на нем по существу, охотно допуская редакционные изменения“ (Поб. и кор., стр. 98).

²⁴⁾ Пункт 8-й гласил: „Облегчение в деле перевозки рабочих“. Гр. Игнатьев по настоящему пункту вполне согласился с замечаниями Победоносцева (Поб. и кор., стр. 99).

²⁵⁾ Пункт 10-й гласил: „Охранение отдельных крестьянских хозяйств от разорения и определение размера падежа и другого недвижимого имущества, которое ни по взысканию, ни самим крестьянином не должно подлежать продаже, как необходимое для поддержания его хозяйства“. И по этому пункту гр. Игнатьев согласился с мнением Победоносцева.

²⁶⁾ Имеет в виду, очевидно, происходившие тогда антиеврейские беспорядки. Текст поучения нам неизвестен и навряд ли был опубликован тогда. Несомненно только, что „поучение“ не могло быть отредактировано в пользу евреев, ибо Победоносцев, как видно из приведенного письма его от 22 мая 1881 г. о газ. „Южный Край“, очень не одобрял печатные и публичные выступления в защиту евреев.

²⁷⁾ Редактором „Правительственного Вестника“ тогда был известный романист Григорий Петрович Данилевский. Он им оставался и в последующие годы.

²⁸⁾ 16 июля 1881 г. Александр III с семьей выезжал в Москву. Министр внутр. дел гр. Игнатьев сопровождал их в пути. На время отсутствия Александра III и мин. внутр. дел была назначена особая комиссия в составе вел. кн. Владимира Александровича, министров юстиции Набокова, государственных имуществ Островского, обер-прокурора синода Победоносцева и тов. мин. внутр. дел ген. Черевина. Комиссия была создана „на случай, если бы возникли важные, требующие особых распоряжений беспорядки“. См. официальное письмо Игнатьева к Победоносцеву от 16 июля 1881 г. (Поб. и кор., стр. 93—99. В примечании к письму на стр. 391 подчеркивается, что „сам министр внутренних дел, получивший это распоряжение [от государя о создании комиссии] в комиссию включен не был“. Гр. Игнатьев не был включен в состав ее только потому, что уезжал вместе с царем).

²⁹⁾ Проект речи Александра III для произнесения в Кремлевском дворце при посещении Москвы (см. Поб. и кор., стр. 64—65, где и напечатан).

³⁰⁾ Катков, Михаил Никифорович (1821—1897)—редактор „Московских Ведомостей“ и „Русского Вестника“, вождь реакции 1880-х годов, пользовавшийся большим влиянием и авторитетом в консервативных кругах. Единomyшленник и друг К. П. Победоносцева.

³¹⁾ Граф Воронцов-Дашков, Иларион Иванович, в то время начальник главной императорской квартиры.

³¹⁾ Газета „Голос“, изд. А. А. Краевским под ред. В. А. Бильбасова, была приостановлена 25 июля 1881 г. на 6 месяцев. Выход ее возобновился 6 января 1882 г. с высочайшего разрешения.

³²⁾ Маков, Лев Саввич, — министр внутренних дел с 1878 г. по август 1880 г. когда уступил свой пост гр. Лорис-Меликову.

³³⁾ Мансуров, Николай Павлович, управляющий канцелярией комитета министров

³⁴⁾ Набоков, Дмитрий Николаевич, министр юстиции с 1878 г.

³⁵⁾ Ответ гр. Игнатьева на эти замечания Победоносцева см. в сб. „Поб. и кор.“, стр. 87—88. Письмо Игнатьева без даты, но написано несомненно 10 или 11 августа 1881 г. Автор примечаний к письмам гр. Игнатьева полагает, что в письме идет речь „об ограничении гласного судопроизводства и введении административных увольнений чиновников“ (стр. 388). В действительности же речь, как видно из письма Победоносцева, идет о новом проекте охранного положения или, точнее, о „Положении о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия“, опубликованном в „Правительственном Вестнике“ 9 сентября 1881 г., но окончательно разработанным и утвержденным царем 14 августа 1881 г. (см. ниже, прим. 44).

³⁶⁾ Николай, Александр Павлович, барон, — министр народного просвещения с марта 1881 г. по март 1882 г. Назначен на такой ответственный пост вопреки личным заявлениям о непригодности своей для роли министра. По предложению Александра III К. П. Победоносцев, хорошо осведомленный о непригодности бар. Николая для занятия поста министра народного просвещения, все же убеждал бар. Николая согласиться на предложение и добился его согласия (см. Поб. и кор., стр. 44, 156—168 и 380).

³⁷⁾ Ср. ответное письмо гр. Игнатьева (Поб. и кор., стр. 87—88), решившего всетаки передать вопрос о допущении малороссийского языка на рассмотрение особого совещания. При Игнатьеве, должно указать, были допущены незначительные облегчения для украинской литературы, и разрешены были к постановке пьесы на малороссийском языке.

³⁸⁾ Записка без даты, но несомненно написана в августе 1881 г. По нашему предположению, записка это послана вслед за предыдущим письмом Победоносцева, либо приложена к нему, так как в ответном письме гр. Игнатьева, о котором мы говорили в прим. 35 и 37, находим ответ и на эту записку (Поб. и кор., стр. 88). Гр. Игнатьев, состоя ранее на дипломатической службе, принял участие в улажении церковной распри на Балканском полуострове и в отделении от константинопольского патриархата болгарской церкви с экзархом во главе (там же, стр. 383).

³⁹⁾ Письмо без даты, но написано приблизительно 25 августа 1881 г. Победоносцев упоминает в письме о назначении Кониара бессарабским губернатором. Назначение состоялось 22 августа, а в „Правительственном Вестнике“ соответственный приказ был напечатан 25 августа 1881 г.

⁴⁰⁾ Письмо гр. Игнатьева, о котором тут упоминает Победоносцев, не опубликовано среди других писем Игнатьева в сборн. „Поб. и кор.“ Возможно, что, будучи послано в официальном порядке, оно приобщено было к соответствующему делу синода. Рогожские — очевидно, представители старообрядцев.

⁴¹⁾ Адріап Пушкин — раскольник, находившийся в заключении (в монастыре) с 1860-х годов. Гр. Игнатьев в августе 1881 г. подал Александру III мысль об освобождении из суздальского монастыря старообрядческих архиереев Аркадия, Геннадия и Конона. Мысль возникла в связи с прошением, которое староверы подали гр. Игнатьеву и в котором писали, что архиерей „готовы служить [царю] верой и правдой, молиться за него будут ежедневно, но свободы желают и слезно просят“. Александру III мысль понравилась, и освобождение их было приурочено к 30-му августа — дню ангела царя (Поб. и кор., стр. 87, 89—90 и 388). Очевидно, одновременно поднимался вопрос и об освобождении Адріана Пушкина в этот день, что встретило противодействие со стороны обер-прокурора синода Победоносцева.

42) Газета „Голос“, приостановленная распоряжением мин. внутр. дел 25 июля 1881 г. на 6 месяцев.

43) Коннар, Модест Маврикиевич, архангельский губернатор. 22 августа 1881 г. назначен бессарабским губернатором, о чем объявлено было в „Правительств. Вестнике“ 25 августа 1881 г. К. П. Победоносцев был о нем весьма плохого мнения, о чем см. Поб. и кор., стр. 250—251.

44) Речь, видимо, идет о редакции высочайшего указа от 4 сентября 1881 г., опубликованного в „Правительственном Вестнике“ 9 сентября 1881 г., по случаю введения нового „положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия“. Указ носил торжественный характер. В нем подробно мотивировалась необходимость введения нового положения об усиленной охране и отмечались наиболее важные задачи, стоявшие перед правительством и сводившиеся к необходимости успешной борьбы для „искоренения крамолы“.

45) Гр. Игнатьев, отвечая Победоносцеву, писал, что он, действительно, допустил в тексте указа некоторые выражения, „непригодные для акта подобной важности. Непременно займусь сегодня вечером переделкой и постараюсь придерживаться всем замечкам Вашим“ (Поб. и кор., стр. 89. Ответное письмо гр. Игнатьева, напечатанное под № 72 на стр. 88—89, по словам автора примечания к нему, стр. 339, не датировано. В начале текста же имеется дата „2 апреля“. Последняя дата безусловно ошибочна. Сопоставление писем Победоносцева и Игнатьева приводит к неоспоримому заключению, что цитируемое письмо последнего отправлено 27 августа 1881 г.). Опубликованный текст указа подтверждает, что замечания Победоносцева были приняты во внимание (ср. „Правительственный Вестник“ от 9 сентября 1881 г.).

46) Бильбасов, Василий Андреевич, известный историк, редактор газ. „Голос“, приостановленной 25 июля 1881 г. (См. прим. 31 и 42).

47) На чем основано переданное Вам известие о возобновлении „Голоса“ 15 апреля следует читать: [сентября], мне неизвестно — писал гр. Игнатьев в письме, о котором мы говорили в прим. 45. — Могу вам только сказать, что не далее как сегодня был у меня в числе просителей Бильбасов и, прося о помиловании, передал свою программу, основанную (по его выражению) на трех столбах: самодержавие, православие и народность. Верите или нет, но я устоял и ничего не обещал“ (Поб. и кор., стр. 89. Эта переписка о Бильбасове и „Голосе“ еще раз убедительно доказывает, что письмо Игнатьева, о котором шла речь в прим. 45, написано в августе 1881 г. Никакого разговора о возобновлении „Голоса“ 15 апреля, как сказано в вышеприведенной цитате, не могло быть, так как „Голос“ приостановлен на 6 месяцев 25 июля 1881 г. и снова вышел 6 января 1882 г. И Победоносцев и Игнатьев ссылаются на „вчерашнее“ их свидание — 26 августа, что позволяет точно установить дату отправления Игнатьевым своего письма — 27 августа 1881 г. Кстати укажем, что автор примечаний к письмам Игнатьева на стр. 388 указывает неправильно время приостановления „Голоса“ — 25 июня вместо 25 июля, — а на стр. 389 он не может „донкаться, о каком проекте говорит Игнатьев в своем недатированном письме“. Мы указали выше в прим. 45, что речь идет об указе по случаю введения нового положения об охране).

48) На следующий же день, 12 сентября, гр. Игнатьев сообщил Победоносцеву о своем разговоре с обер-полицмейстером Козловым и указал, что отменить данное разрешение невозможно, ибо устроители гулянья заявят претензии на убытки, а с другой стороны, канун Воздвижения не включен в число так наз. запрещенных дней и даже в императорских театрах в этот день будут представления (Поб. и кор., стр. 90. Письмо Игнатьева без даты, но написано несомненно 12 сентября 1881 г.).

49) Т.-е. ответ на предыдущее письмо.

50) Адлерберг, Александр Владимирович, граф, министр императорского двора. Рескрипт был дан по случаю увольнения его с этого поста. Его заменил граф И. И. Воронцов-Дашков (см. прим. 30). Записку Александра III к Победоносцеву о рескрипте см. в сб. „Поб. и кор.“, стр. 65.

⁴¹⁾ Как указывалось в прим. 41, к 30 августа 1881 г. приурочили освобождение из Суздальского монастыря трех архиереев — Аркадия, Геннадия и Киона. Фактически их освободили только 8 сентября (Поб. и кор., стр. 388). Об одном из них и пишет тут Победоносцев.

⁴²⁾ Содержание бумаг неизвестно.

⁴³⁾ По этому поводу гр. Игнатьев тотчас же писал Победоносцеву: "... газета давно была разрешена вследствие настоятельного и неоднократного ходатайства Гейнса [казанского губернатора], на полную ответственность которого и возложена мною каждая строка этого листа. Поэтому объявлено о появлении этого листа лишь теперь, что редактор был в отсутствии. Кн. Вяземский [начальник главного управления по делам печати, — как бы оправдывается гр. Игнатьев, —] мог бы вам составить список до 50 газет и изданий, мною не разрешенных. Дальше идти нельзя" (Поб. и кор., стр. 94. Письмо Игнатьева не датировано, но написано несомненно 26-го сентября 1881 г.).

⁴⁴⁾ Альбединский, Петр Павлович, — варшавский генерал-губернатор и командующий войсками варшавского военного округа. Гр. Игнатьев в письме, цитировавшемся в предыдущем прим., предупреждал Победоносцева, что Альбединский по высочайшему повелению вызван в Петербург к 1 октября 1881 г.

⁴⁵⁾ Записку о латинских семинариях и соглашении с Римом, которую гр. Игнатьев просил вернуть с его, Победоносцева, пометками.

⁴⁶⁾ Мосолов, Александр Николаевич, директор департамента духовных дел иностранных исповеданий. По поручению гр. Игнатьева вел переговоры с Римом в то время.

⁴⁷⁾ Урусов, Сергей Николаевич, председатель департамента законов Государственного Совета, сенатор и главноуправляющий II отделением собственной его величества канцелярии.

⁴⁸⁾ Т.-е. заметки на записку о латинских семинариях и соглашении с Римом, которую он послал гр. Игнатьеву вместе с письмом.

⁴⁹⁾ Отдел "Из журналов и газет" в "Правительственном Вестнике" вскоре был упразднен. Печатался всего в нескольких номерах газеты.

⁵⁰⁾ Настоящее письмо К. П. Победоносцева служит ответом на письмо гр. Н. П. Игнатьева от 22 октября 1881 г. (Поб. и кор., стр. 93).

⁵¹⁾ Митрополита Михаила изгнали из Сербии. "Удаление ир-го Михаила — надежнейшее нашего союзника, воспитанника нашей духовной академии и человека твердого и предпримчивого — неспиральный удар, нанесенный венграм и немцам нашему выпянию" — писал Игнатьев Победоносцеву (Поб. и кор., стр. 93).

⁵²⁾ Гирс, Николай Карлович, министр иностранных дел.

⁵³⁾ Инструкция прислана Игнатьевым при письме 22 октября 1881 г. Точное содержание их неизвестно, но несомненно они трактовали вопрос о происходивших тогда между Россией и Римом переговорах.

⁵⁴⁾ "Говорят, саратовский архиерей плоховат. Не правда ли?" — запрашивал Игнатьев Победоносцева. Епископом в Саратове был тогда Тихон.

⁵⁵⁾ Беседа гр. Игнатьева с К. П. Победоносцевым 30 октября 1881 г., как видно из последующего письма, была посвящена вопросу об амнистии некоторым категориям политических эмигрантов. Мысль возникла, видимо, у Игнатьева, который, прежде чем представить о том доклад государю, решил посоветоваться с Победоносцевым. Предложение это произвело на последнего потрясающее впечатление.

⁵⁶⁾ Об амнистии политическим эмигрантам. Существо проекта сводилось к объявлению "удалившимся из отечества лицам, хотя бы участвовавшим в преступных сообществах и собраниях, что, если желают они принести правительству чистосердечное раскаяние в своих заблуждениях, то могут явиться в Россию и получат прощение, если не совершили таких деяний, за которые российский закон угрожает смертной казнью и бессрочными каторжными работами". Записка Победоносцева теперь полностью напечатана (см. Поб. и кор., стр. 69 — 70).

67) Гр. Игнатъев, вероятно, в конце концов согласился с Победоносцевым, что „далеко не настало еще время для призыва к прощению“. Сомнительно, чтоб о том докладывали царю. Во всяком случае в 1881 г., насколько известно, проект этот не был осуществлен. После коронационного манифеста 1883 г. раскаявшимся политическим эмигрантам, после подачи соответственного заявления, разрешалось, как общее правило, вернуться в Россию.

68) Алухтин — попечитель варшавского учебного округа.

69) Политики Альбединского в варшавском генерал-губернаторстве были недовольны в Петербурге, так как при нем упрочилось положение поляков. Победоносцев, очевидно хотел инструкторовать Альбединского и переговорить с ним по унятскому вопросу и по тем вопросам, о которых шли переговоры между Россией и Римом и которые преимущественно касались Польши.

70) „Альбединскому уже даны лично его величеством положительные приказания“ и „совещание уже считается бесполезным“ — ответил гр. Игнатъев (Поб. и кор., стр. 85. Письмо Игнатъева не датировано, но написано несомненно 10 ноября 1881 г.).

71) Ответ на письмо гр. Игнатъева по поводу предыдущего, Победоносцева, письма.

72) В Гатчину — Александру III.

73) Письма Альбединского нет ни среди писем Победоносцева к Игнатъеву, ни среди опубликованных писем корреспондентов Победоносцева.

74) Министра юстиции.

75) 3 ноября 1881 г. на тов. министра внутренних дел ген. Черевина было совершено покушение. Гр. Игнатъев, проживавший в одном доме с Черевиным, был сильно встревожен выстрелом Санковского, смело проникшего в квартиру генерала и приведшего в исполнение свое намерение. „При таких обстоятельствах отлучиться из кабинета на несколько часов [для участия в совещании с Альбединским] не могу, — писал Игнатъев Победоносцеву. — Беспреданно ко мне обращаются и по телеграфу, и по телефону. Необходимо отвечать на запросы и отдавать приказания“ (Поб. и кор., стр. 92 — 93. Письмо Игнатъева не датировано, но отправлено днем 13 ноября 1881 г.). Записка Победоносцева является ответом на датированное письмо Игнатъева.

76) Очевидно, очередной список журналов, издающихся за границей и дозволенных к обращению в России.

76-а) Священник Иван Наумович, редактор журнала „Наука“, находился в Галиции. К. П. Победоносцев ему усердно покровительствовал и впоследствии содействовал в выдаче ему казной крупных субсидий (Поб. и кор., стр. 309 и 330 — 331).

77) 13 ноября 1881 г. в Одессу приехала на несколько гастролей знаменитая французская артистка Сара Бернар. Население оказало ей торжественную встречу. Вечером того же дня она выступала в русском театре, где публика устроила ей шумную овацию. По окончании спектакля С. Бернар вместе с директором ее труппы г. Жарет в карете отправилась домой. Едва экипаж своротил из Колодезного переулка на Дерибасовскую ул. и поравнялся с домом Ралли, выходящем на угол Газанной и Дерибасовской улиц, группа хулиганов стала бросать в карету камни и кислые огурцы. Стекла кареты были разбиты вдребезги, при чем г. Жарет оказался легко раненным осколками стекла. Вслед за тем раздались крики: „бей жидов“, „вот вам, жида, Сара Бернар“ и т. п. В несколько минут собралась большая толпа, которая, преследуя артистку криками, стала по пути грабить еврейские лавки. Это явилось сигналом к крупным антиеврейским беспорядкам, продолжавшимся несколько дней. (См. „Одесский Листок“ от 17 мая 1881 г.).

78) Данное письмо Победоносцева служит ответом на полученное в тот день соответствующее письмо гр. Игнатъева (Поб. и кор., № 77, стр. 92. Письмо Игнатъева без даты, но отправлено 24 ноября 1881 г.).

79) О каких случаях и слухах идет тут речь, нам неизвестно. Среди опубликованных писем гр. Игнатъева к Победоносцеву имеется одно недатированное, в котором первый пишет второму: „Надеюсь с вами видиться на этих днях. Пущенные

„дружиною“ [известной „священной Дружиной“] и из Яхт-клуба слухи об административных переменах у нас, обличавших несостоятельность правительства, наделали переполох на европейских биржах, и последовало всеобщее падение наших фондов, курса и бумаг“ (Поб. и кор., стр. 92). Возможно, что об этих слухах говорит тут и Победоносцев и что цитированное письмо гр. Игнатьева непосредственно связано с данным письмом Победоносцева.

⁸⁰⁾ Бунин, Яков Иванович, бердичевский исправник. К. П. Победоносцев весьма покровительствовал ему и подыскивал ему вице-губернаторское место. При содействии Игнатьева он получил немного позже должность одесского полицмейстера.

⁸¹⁾ Кн. Долгоруков, Владимир Андреевич, — московский генерал-губернатор, считавший, по признанию министра внутренних дел, Москву за свое „удельное княжество“ (Поб. и кор., стр. 92).

⁸²⁾ По предложению К. П. Победоносцева гр. Игнатьев обращался к кн. Долгорукову с просьбой назначить Я. И. Бунина на должность в Москве. „Он [кн. Долгоруков] решительно и обидчиво отменяет предлагаемого ему нашего кандидата, — писал гр. Игнатьев Победоносцеву. — Мне кажется, что разумнее поискать другое место вице-губернатора для Бунина“. (Поб. и кор., стр. 92).

⁸³⁾ Жена К. П. Победоносцева, Екатерина Александровна, в тот день, 24 ноября 1881 г., была именинницей. Гр. Игнатьев заехал поздравить ~~их~~, но никого не застал дома, почему тотчас же и написал письмо [Поб. и кор., стр. 92].

⁸⁴⁾ Докладная записка по униятскому вопросу, обсуждавшемуся на совещании Победоносцева, Альбединского и Набокова (см. выше, письма Победоносцева от 9 — 13 ноября 1881 г.)

⁸⁵⁾ Под Красным мостом, как известно, народовольцами были заложены мины, предполагая, если понадобится, взорвать мост во время проезда Александра II. 5 мая 1881 г. мины осторожно были извлечены из-под моста. К. П. Победоносцев в настоящем письме ссылается на новый донос о каком-то несуществующем подкопе. „Верно сказали Вы, что в нынешнее время нельзя ничего оставить без внимания, — писал ему гр. Игнатьев в ответном письме. — Я приказал полиции расследовать дело о минном подкопе у Красного Моста; но полагаю, что страх происходит от гнетущего воспоминания о найденных в этом месте, прошлым летом, минах“ (Поб. и кор., стр. 91). Конечно, никакого подкопа и там не обнаружили.

Письмо гр. Н. П. Игнатьева без даты, помещенное в сборн. „Поб. и кор.“ под № 76 (стр. 91), является ответом как на данное письмо Победоносцева, так и на письмо от 24 ноября. Так как предыдущее письмо Игнатьева написано во вторник 24 ноября 1881 г. (см. прим. 73), а только что цитированное — в субботу, как значится в тексте, то ясно, что это последнее письмо Игнатьева было написано 28 ноября 1881 г.

⁸⁶⁾ Кн. Дондуков-Корсаков, Александр Михайлович, командовавший войсками одесского военного округа, был назначен командовать кавказской армией. Лишь 9 января 1882 г. последовало назначение ген.-адъют. Гурко на пост временного одесского генерал-губернатора и командующего войсками одесского военного округа.

⁸⁷⁾ Дрентельн, Александр Романович, бывший начальник III отделения собственной его величества канцелярии, в то время временный киевский генерал-губернатор и командующий войсками киевского военного округа.

⁸⁸⁾ См. ниже письмо К. П. Победоносцева от 15 декабря 1881 г.

⁸⁹⁾ Новикова, Ольга Алексеевна, урожд. Киреева, писательница. Постоянно проживала в Англии, где пользовалась большим влиянием в политических кругах. Поддерживала близкое знакомство с премьер-министром английского кабинета Гладстоном, который всегда считался с мнением и советом „депутата от России“, как обычно звали О. А. Новикову.

⁹⁰⁾ См. выше, письмо К. П. Победоносцева от 4 декабря 1881 г.

⁹¹⁾ Главное управление по делам печати. Доклад о печатании, очевидно, молитвенников и произведений литовской письменности, о которых идет речь в письмах от 4 и 15 декабря 1881 г.

⁸⁷⁾ В „Новом Времени“ 14 декабря 1881 г. напечатана была телеграмма международного телеграфного агентства из Новгорода о том, что губернское земское собрание, установив главные положения о переустройстве местных по крестьянским делам учреждений, призвало, что вполне удовлетворительное разрешение этого вопроса возможно лишь при том условии, если для разрешения его будут приглашены уполномоченные от всех земских собраний, „в возможно большем числе избранные собранием специально для этой цели“. 16 декабря 1881 г. появилась телеграмма собственного корреспондента „Нового Времени“, в которой отмечались новые постановления Новгородского земского собрания о привлечении в общественно-политическую работу большого количества представителей земств и о целом ряде разных реформ в губернской земской жизни. Несомненно, что К. П. Победоносцев имеет в виду именно эти выступления новгородского земского собрания.

Вероятнее всего, что ответом на настоящее письмо Победоносцева служит недатированное письмо гр. Игнатьева, помещенное в сборн. „Поб. и кор.“ под № 83 (стр. 94—96). В нем гр. Игнатьев, между прочим, пишет: „Разделяю Ваше мнение касательно новгородского земства и тотчас же по прочтении в газете телеграммы (Краевскому) телеграфировал губернатору, чтобы обратить внимание его на незаконность заявления и на неисполнение моего циркуляра, посланного летом на случай подобных уклонений от прямых ответов на запросы моего предшественника [Лорис-Меликова. Об упоминаемом здесь циркуляре шла, очевидно, речь выше, в письме Победоносцева от 27 мая 1881 г. Ср. прим. 20 — 23 Р. Е.]. Подтверждения, что такое постановление, как отпечатанное по инициате проклятого международного телеграфного агентства (об уничтожении которого с 1 января я забочусь), действительно состоялось, — я еще не получил“ (Поб. и кор., стр. 94—95. Если это письмо гр. Игнатьева действительно является ответом на письмо Победоносцева, то оно написано 18 декабря 1881 г.).

⁸⁸⁾ Островский, Михаил Николаевич, министр государственных имуществ.

⁸⁹⁾ Министром народного просвещения бар. Николай (см. прим. 86) была создана, комиссия для обсуждения вопросов о некоторых преобразованиях в системе народного образования. Для участия в работах комиссии были привлечены „сведущие люди“ — выборы в ее представители от земств, городских дум и т. п. Первое заседание комиссии должно было состояться 19 января 1882 г.

⁹⁰⁾ Краевский, А. А., издатель газеты „Голос“, издание коей возобновилось 6 января 1882 г. (см. прим. 15 и 81), состоял председателем комиссии по народному образованию при петербургской городской думе и был избран в качестве представителя от думы в комиссию бар. Николай.

Письмо К. П. Победоносцева оказало свое влияние. На следующий же день, 18 января 1882 г., гр. Игнатьев писал ему: „Государь прислал мне через Островского приказание приостановить съезд комиссии — в ответ на мое письмо, посланное сегодня утром взамен личного доклада. Вы видите, что возможное сделано.

...И уже сегодня вечером сообщил барону Николай высочайшее повеление приостановить всякие обсуждения поднятых им вопросов и не допускать заседаний комиссии до получения „особого указания“ государя императора (Поб. и кор., стр. 84. Письмо Игнатьева, датированное 18 января [1882 г.] неправильно включено в число писем 1881 г.)

⁹¹⁾ Псковское губернское земское собрание в январе 1882 г. постановило созвать в июле 1882 г. съезд народных учителей губернии для обсуждения вопросов, связанных с постановкой дела народного образования. Для этой цели из земских сумм было ассигновано 3000 руб. На земском собрании особенно горячо поддерживал идею созыва съезда гласный Ваганов, который подверг резкой критике правительственную политику в этом вопросе (см. „Новое Время“ от 13 января 1882). В связи с съездом земской управой, очевидно, была выработана анкета для учителей, в которой намечалась программа работ съезда. Содержание анкеты нам не известно, но ее-то ниже имеет в виду Победоносцев.

⁹⁷⁾ В киевской газете „Заря“, в номере от 10 января 1882 г., была напечатана корреспонденция из Одессы от 6 января 1882 г. о проходившем там педагогическом съезде учителей гимназий и прогимназий. Съезд был созван с разрешения учебного начальства, и для участия в его работах нарочно были вызваны только те преподаватели, которые, на взгляд начальства, положительно относились к системе классицизма. На деле вышло обратное: съезд стал в резкой оппозиции к практиковавшейся системе народного образования и наметил целый ряд реформ, за осуществление которых высказалось большинство участников съезда и которые имели целью резко видоизменить методы образования.

⁹⁸⁾ „Взгляд, высказанный вами по поводу псковского разноглагольствования, разделяю“ — ответил гр. Игнатьев (Поб. и кор., стр. 84).

⁹⁹⁾ В „Новом Времени“ 20 января 1882 г. появилась большая анонимная статья о М. Н. Каткове, в которой было сказано, что „если верить городским слухам, М. Н. Катков, знаменитый редактор „Московских Ведомостей“, назначается членом Государственного совета с производством в тайные советники“.

¹⁰⁰⁾ „Боже меня оборони влупять статьи „Нового Времени“ — оправдывался гр. Игнатьев в ответном письме. — О назначении Каткова членом Государственного Совета и речи не было — сколько мне известно. Кн. Долгоруков [московский генерал-губернатор] представлял его в тайные советники и разболтал преждевременно по городу. Теперь Мих. Ник. [Катков] говорит, что его компрометировали, и от него первого слышал я (третьего дня), что слух распускают о назначении членом Госуд. Совета“ (Поб. и кор., стр. 83. Письмо Игнатьева без даты включено там в серию писем 1881 г., между тем оно написано 20 или 21 января 1882 г.).

В связи с этими слухами о назначении Каткова, в „Правительственном Вестнике“ 31 января 1882 г. было опубликовано следующее „правительственное сообщение“.

„В последнее время некоторыми газетами сообщены в форме достоверных слухов о предстоящих будто бы новых назначениях на высшие государственные должности. Подобные слухи, легко принимаемые на веру, весьма часто не имеют основания и расчитаны преимущественно на невозможность для правительства опровергнуть каждое появляющееся в печати ложное или не вполне верное известие. К разряду известий вымышленных принадлежит и слух о назначении трех членов Государственного Совета из числа известных писателей и публицистов“.

¹⁰¹⁾ 1 января 1882 г. последовал высочайший указ о назначении почетного почетителя коллегии Павла Галагана в Киеве, прилукс его уездного предводителя дворянства и председателя прилукского съезда мировых судей Григория Павловича Галагана членом государственного совета („присутствовать в департаменте законов“). Он был одним из „сведущих людей“, вызванных гр. Игнатьевым для обсуждения вопроса о крестьянских переселениях. „Предложение о назначении Галагана сделано не мной, — писал гр. Игнатьев в свое оправдание К. П. Победоносцеву, — а вел. кн. Николаем Николаевичем“ (Поб. и кор., стр. 84).

¹⁰²⁾ Кошов — петербургский обер-полицейстер.

¹⁰³⁾ Опасения К. П. Победоносцева были напрасны. В ответном письме гр. Игнатьев категорически заверил его, что „никаких драматических представлений на русском языке в частных театрах не будет“ (Поб. и кор., стр. 83. Письмо Игнатьева без даты, помещенное там под № 62 среди писем 1881 г., является несомненно ответом на настоящее письмо Победоносцева и написано 6 февраля 1882 г.).

¹⁰⁴⁾ „Харьковская история“ — студенческие беспорядки в Харьковском университете, возникшие в конце января 1882 г. и приведшие к закрытию 29 января 1882 г. Харьковского университета на непродолжительное время. Корреспонденция о том была напечатана в „Новом Времени“ 5 февраля 1882 г.

¹⁰⁵⁾ 7 февраля 1882 г. состоялось обычное ежегодное торжественное заседание Петербургского университета, на котором читался отчет о деятельности университета за 1881 г. „Что касается до завтрашнего университетского акта, — писал ему в ответ

гр. Игнатьев 6 февраля. — то я дружески прошу вас, душевно уважаемый Константин Петрович, не ездить на это домашнее торжество. Не знаю, зачем бы Вам там и быть. Меры приняты по соглашению с университетским начальством, но ручаться за отсутствие какой-либо дурной выходки нельзя, при нынешнем складе умов и направлении некоторых профессоров" (Поб. в кор., стр. 83). Как видно из следующего письма Победоносцева, он таки отказался ездить на это собрание.

¹¹⁶⁾ См. предыдущее прим.

¹¹⁷⁾ Полоцкий, Леонид. — редактор газеты „Сграна“, выходившей в Петербурге три раза в неделю и считавшейся либеральным органом. За г-жою Ламанской, насколько нам известно из архивных источников, действительно департаментом полиции была устроена слежка.

¹¹⁸⁾ Кн. Долгоруков, В. А. — московский генерал-губернатор.

¹¹⁹⁾ Чичерин, Борис Николаевич, — известный русский философ и юрист. В 1882 — 1883 г.г. состоял московским городским головой. При избрании городским головой он произнес торжественную речь в городской думе, в которой допустил некоторые резкие фразы, метившие в генерал-губернатора. Кн. Долгоруков запретил печатать речь. Тогда Чичерин отправился в Петербург и здесь после настойчивых хлопот добился разрешения на оглашение своей речи полностью, в каком виде она была тогда напечатана в петербургских газетах и некоторых московских. Говоря о мерах, которые разрешены Чичерину, Победоносцев и подразумевает разрешение на оглашение его речи. Кн. В. А. Долгоруков был очень недоволен этим фактом и с первого же дня выступления Чичерина в должности городского головы занял в отношении его враждебную позицию.

¹²⁰⁾ Лорд Редсток — англичанин, сектант, часто приезжавший в Россию, где приобрел массу последователей своего учения о религии в лице так наз. „ташкентцев“ (см. прим. 1).

¹²¹⁾ Весною 1880 г. была создана под председательством гр. П. А. Валуева особая правительственная комиссия для выяснения мер борьбы с „ташкентцами“, о чем см. в дневнике Валуева (изд. „Высшее“, 1919 г., записи за апрель и май 1880 г.).

¹²²⁾ Нелидова, Софья Ивановна, — горячая последовательница лорда Редстока, стособолезнившая ему в устройстве собраний в Петербурге. О приезде лорда Редстока в 1882 г. и разосланных им личных повесток, как равно и С. И. Нелидовой, см. небольшую заметку в „Новом Времени“, в номере от 8 февраля 1882 г.

¹²³⁾ Плове, Вячеслав Константинович, тогда директор департамента полиции, позднее министр внутренних дел.

¹²⁴⁾ 5 января 1882 г. (опубликовано в „Правит. Вестнике“ 14 февраля 1882 г.), разрешено редактору-издателю газеты „Никомирский Исток“ статск. совет. Богдану Зифферману изменить название газеты и переименовать ее ввиду „Вольны. Газета политическая, литературная и общественной жизни“. Одновременно разрешалось вместо двух раз выпускать газету три раза в неделю.

¹²⁵⁾ 23 января 1882 г. разрешено Алексею Сергеевичу Суворову превратить издаваемый им в Петербурге ежемесячный „Литературный журнал“ в ежедневную политико-литературную газету и издавать ее под его редакторством в Москве под названием „Русское Дело“ („Правит. Вестн.“, 14 февраля 1882 г.).

¹²⁶⁾ 31 декабря 1881 г. разрешено было дворянину Валентину Васильевичу Ярхонкину издавать под его редакторством без предварительной цензуры ежедневную политико-литературную газету „Светоч“ („Правит. Вестник“, 14 февраля 1882 г.).

¹²⁷⁾ Крестьянский поземельный банк был тогда только учрежден.

¹²⁸⁾ Соляной налог был отменен при министре финансов А. А. Абазе.

¹²⁹⁾ О выкупных платежах см. прим. 4.

¹³⁰⁾ Баранов, Николай Михайлович, петербургский градоначальник, которого гр. Игнатьев перевел в Архангельск на должность губернатора. Впоследствии был нижегородским губернатором.

¹³¹⁾ „Дружина“ — „священная дружина“, тайная правительственная организация, ставившая себе целью искоренить революционное движение.

¹²⁰⁾ Сергневский, Николай Александрович, попечитель виленского учебного округа.

¹²¹⁾ Министра народного просвещения.

¹²²⁾ Ответ гр. Игнатьева см. в сборн. „Поб. и кор.“ (№ 61, стр. 83. Письмо Игнатьева без даты находим там среди писем 1881 г. Оно несомненно послано в первых числах марта 1882 г.)

¹²³⁾ Бахметьев, директор певческой капеллы.

¹²⁴⁾ В начале марта 1882 г. в петербургских газетах появились объявления и по городу были расклеены афиши о том, что в пятницу 12 марта 1882 г. в зале Кошоновой состоится устраиваемый о-вом любителей сценических искусств духовный концерт под управлением В. М. Орлова, на котором в 1-й раз будет исполнена литургия композитора П. И. Чайковского. Генеральная репетиция концерта состоялась 9 марта в Михайловском дворце в присутствии вел. кн. Екатерины Михайловны, графа П. А. Валуева, К. П. Победоносцева и др. сановников. Интерес к этому концерту был проявлен потому, что публичное исполнение литургии Чайковского раньше встречало противодействие со стороны духовенства. Лишь после усиленных хлопот удалось добиться разрешения на включение литургии в программу концерта. Как видно из переписки К. П. Победоносцева с гр. Игнатьевым, в сферах были недовольны тем, что в объявлениях подчеркивалось слово „литургия“. „Афиши были изменены по моему приказанию, и слово „литургия“ везде исчезло“, — писал гр. Игнатьев в ответ на письмо Победоносцева (Поб. и кор. стр. 82. Письмо гр. Игнатьева без даты, помещенное там среди писем 1881 г. под № 89 стр. 81 — 82, отправлено 9 марта 1882 г.).

¹²⁵⁾ В „Новом Времени“ 9 марта 1882 г. появилась анонимная статья, полемицирующая с газ. „Голос“ и озаглавленная „Голос о русских немцах“. Статья, действительно, была направлена против тех сановников, которые носят немецкие фамилии. Гр. Игнатьев не согласился с Победоносцевым и отказался оштрафовать „Новое Время“, „Суворин — груб, бестактен и надоед мне до крайности своими выходками. Верьте, я рад, когда они грызутся с Краевским“ [издателем „Голоса“] (Поб. и кор., стр. 82).

¹²⁶⁾ Речь идет об установлении 19 февраля (в память упразднения крепостной зависимости) праздничным днем, что осуществлено, как известно, не было: этот день праздновался всегда только в учебных заведениях. „Сообщением Вам о празднестве 19 февраля я исполнил высочайшее повеление, относительно подробностей хотел предварительно с Вами переговорить“ (Поб. и кор., стр. 82).

¹²⁷⁾ „Уже недель 6 тому назад обращено мною внимание на сбор с благотворительной целью, и при ближайшем расследовании оказались весьма странные вещи. Губернаторам вменено в обязанность надзирать за употреблением и распределением собранных денег“, — писал гр. Н. П. Игнатьев в ответном письме (Поб. и кор., стр. 82).

¹²⁸⁾ К Александру III.

¹²⁹⁾ Любимов, Николай Алексеевич, профессор физики Московского университета, первый консерватор, близкий друг М. Н. Каткова. Министр народного просвещения бар. Николай не считал возможным сделать для Н. А. Любимова исключение и оставить его профессором Московского университета, не подвергая его баллотировке. Любимов, пользовавшийся большими связями и влиянием в придворных сферах, ни в коем случае не хотел мириться с точкой зрения бар. Николая, так как, подвергаясь баллотировке, он легко мог быть провален многочисленными противниками. Он поэтому обратился с просьбой к царю, который и приказал оставить Н. А. Любимова профессором, не подвергая баллотировке. Письмо Победоносцева написано как раз в те дни, когда вопрос этот должен был получить высочайшее разрешение. „Ничего не говорил мне государь о Любимове, но я не подумаю, что с ним так хотят обойтись“, — писал гр. Игнатьев Победоносцеву (Поб. и кор., стр. 82). Конфликт с Любимовым явился ближайшим поводом к отставке бар. Николая.

¹³⁰⁾ Министр юстиции.

¹³¹⁾ Тютчева, Екатерина Федоровна, фрейлина императорского двора; интимный друг Победоносцевых.

¹³⁴⁾ Ответом на настоящее письмо Победоносцева служит письмо гр. Игнатьева помещенное в сборн. „Поб. и кор.“ под № 60, стр. 82—83. Оно без даты и помещено среди писем 1881 г., но написано несомненно 12 или 13 марта 1882 г.

¹³⁵⁾ Вырезка не сохранилась.

¹³⁶⁾ На 16-е мая 1882 г. было назначено открытие всероссийской промышленной выставки. Фактически открылась 20 мая 1882 г.

¹³⁷⁾ Московский генерал-губернатор.

¹³⁸⁾ Маков, Лев Саввич, — министр внутренних дел с 1878 г. по август 1880 г.

¹³⁹⁾ Н. Н. Дурново — редактор-издатель политико-литературной газеты „Восток“, выходившей в Москве в 1880—1886 гг.

¹⁴⁰⁾ О Бунине см. прим. 80. Он хлопотал через Победоносцева, покровительствовавшего ему лучшую для себя должность. Вскоре назначен полицмейстером в Одессе (Поб. и кор., стр. 257—258).

¹⁴¹⁾ Петрункевич, Иван Ильич, гласный черниговского земства, известный земский деятель. В 1879 г. за составление адреса правительству от черниговского земства, в котором говорилось о необходимости созыва народного представительства и недвусмысленно упоминалось о необходимости учреждения конституции, Петрункевич был выслан административным порядком в Костромскую губернию, а потом переведен в Смоленск.

¹⁴²⁾ Графиня Панина, Софья Владимировна, известная общественная деятельница, учредительница Лиговского Народного дома в Петербурге, председательница известной постоянной комиссии по устройству народных чтений. Жена И. И. Петрункевича.

¹⁴³⁾ „Ни в каком случае не могу согласиться на возвращение Петрункевича в Черниговскую губернию. Он должен пробыть в подназдорных или лучше сказать в административной ссылке еще не менее пяти лет“, — писал гр. Игнатьев в ответ на настоящее письмо К. П. Победоносцева (Поб. и кор., стр. 257. Письмо Игнатьева, над которым стоит непонятная дата 11^{3/4}, написано 3 мая 1882 г.).

¹⁴⁴⁾ Ответ гр. Игнатьева на настоящее письмо см. „Поб. и кор.“ стр. 258. (Письмо гр. Игнатьева без даты; написано несомненно 9 мая 1882 г.). В то время по инициативе министерства внутренних дел вырабатывались новые правила для печати, которые имели целью еще больше ограничить права повременной печати и свободу слова. К. П. Победоносцев явно сочувствовал подобным мероприятиям. Правила, выработка которых началась при гр. Игнатьеве, были изданы 27 августа 1882 г. при его преимстве, гр. Д. Толстом. На основании этих правил особому совещанию из четырех министров предоставлено было право закрывать издания или подвергать их предварительной цензуре.

¹⁴⁵⁾ Хартулари — чиновник департамента духовных дел иностранного исповедания министерства внутренних дел.

¹⁴⁶⁾ 21 мая — именины К. П. Победоносцева.

¹⁴⁷⁾ См. прим. 80 и 141.

Примечания составил Р. М. Кантор.

М. П. Драгоманов и „Вольное Слово“¹⁾.

(По неизданным материалам).

I.

Летом в 1881 г. русская эмигрантская Женева, — как и вся политическая Россия, — томилась в раздражительной, нервной тоске. Все чего-то ожидали, — новых выступлений, новых покушений, народного движения, амнистии, конституции, — и ничего не было. Из России приходили точные известия об арестах и репрессиях и недостоверные слухи о том, что Исполнительный Комитет выжидает и готовит новое покушение. Загрязнились сомнения, но их еще не высказывали. Созревала готовность к переоценке прежних путей борьбы, но еще подавляло впечатление от дела 1-го марта. „Молодежь верила в террор, как в бога“, — по выражению Плеханова.

В знаменитом кафе Грессо, где собирались русские эмигранты, — служившем одновременно форумом, клубом и биржей труда, — было затишье. Завсегдатаи пробавлялись мелкими слухами и сплетнями из жизни колонии: крупных событий не было. В руководящих кругах колонии были подавленность и разброд. Наиболее видная, одно время центральная фигура женевской эмиграции, профессор М. П. Драгоманов, перессорился и разошелся со всеми другими вождями и лидерами, — и со старым бундистом Жуковским, и с анархистами, которых представлял Черкезов, и с чернопередельцами Стефановичем, Дойчем, Плехановым, и с польскими социалистами Мендельсоном и Лимаевским. Разброд и раскол, как это часто бывает, начался с попытки всех объединить. Сначала горячие споры об этом шли на квартире у Драгоманова, где раз в неделю собиралась избранная часть женевской эмиграции. У Драгоманова были очень охотно, и попасть к нему для новичка было

¹⁾ В основу настоящего очерка положены материалы хранящегося в Российской Публичной Библиотеке архива гр. П. П. Шувалова, хранящиеся в архиве редакции „Былого“ — неопубликованная переписка между М. П. Драгомановым, А. П. Малышиным, П. Б. Аксельродом и др. лицами, письма и материалы, опубликованные в сборнике „Из архива П. Б. Аксельрода“, Берлин. 1924 г. История св. дружины в общих чертах рассказана в книге В. Я. Богучарского „Из истории политической борьбы в 70 и 80-х гг. 19 в.“, и отдельных ссылок на эту книгу не делается. Подробнее об отношениях М. П. Драгоманова к русской политической эмиграции см. Д. Заславский М. П. Драгоманов. Критико-биографический очерк. Киев, 1924 г.

великой честью. Привлекала уютная и семейная обстановка, сам хозяин, всегда живой, остроумный, интересный собеседник и спорщик. А затем совершенной новостью для эмигрантов явились большие, устроенные Драгомановым, политические собрания, на которых обсуждался вопрос об организации единой социально-революционной партии, — но на федеративных началах и с делением по принципу национальностей. Формально, впрочем, инициатором собраний был не Драгоманов, а „группа социалистов-евреев“, но эти люди говорили, что в группе всего два человека, и создал эту группу, как первый камень в строительстве новой партии, сам Драгоманов. Из собраний ничего, кроме крика, шума и взаимных обид, не вышло, и Драгоманов после провала своей затем ушел в сторону от колоннальной жизни. А затем произошел разрыв с чернопеределцами, — в такой скандальной форме, с такими пикантными и таинственными подробностями, что профессиональные сплетники в кафе Грессо долго работали с полной нагрузкой.

Драгоманов почти целиком отдался своим украинским делам. Вокруг него образовался тесный кружок преданных ему украинских социалистов и демократов. Вместе с М. Павляком, известным впоследствии галицийским крестьянским деятелем, и С. Подолинским Драгоманов издал два номера журнала „Громада“, который не надо смешивать со сборниками „Громады“, — их редактировал Драгоманов единолично. Подготавливал в это время Драгоманов к печати и свою работу о политических песнях украинского народа 18-го и 19-го века. Научная и литературная работа поглощала почти все его силы, но Драгоманов был политиком, публицистом, и замкнуться в кабинете или библиотеке он не мог. За событиями в России он следил с неослабным вниманием. Как и другим, ему казалось, что убийство Александра II не завершает, а только открывает эпоху революционного подъема, и в громадном антиеврейском движении 1881 г. он тоже видел симптомы пробуждающейся народной стихии, которая начала с евреев, а кончит панями. Вместе с тем Драгоманов переживал разочарование в силах социально-революционной партии. Еще недавно он саркастически писал о русском образованном либерально-буржуазном обществе, которое неспособно на активный политический протест. Свои надежды он связывал с радикальной молодежью, с пробуждающимся крестьянством, городским пролетариатом. Он приветствовал инициативу Е. О. Заславского и его южно-русского рабочего союза и предсказывал рабочему движению великое будущее. Но силы народовольчества истощились в террористической партизанской борьбе: революционная организация оторвалась от народа. Драгоманов это видел, указывал на это с тревогой. Личное общение с заграничными вождями революции увеличивало его скептицизм. А из России — вернее, с Украины — писали ему о росте оппозиционных земских настроений. Он знал о попытках южных земцев организовать, образовать земский союз; знал, что съезд земцев-радикалов в Харькове, под предлогом празднования юбилея Квитки-Основьяненко, не прошел совсем даром. Сношения с киевской „Громадой“, правда, ослабевали: уже намечался разрыв, — но левое крыло поддерживало связь с Драгомановым

и время от времени информировало о настроениях в кругах радикально-демократической интеллигенции. Преувеличения, переоценка своих сил и перспективы были вполне естественны. Драгоманов мог поверить, что по-настоящему складывается серьезное либерально-буржуазное движение, которое будет немалой силой в предстоящей борьбе за политическую власть.

Эти настроения Драгоманова еще больше отделяли его от всей женевской эмиграции. Народнические социально-революционные организации не только игнорировали земскую либеральную оппозицию, но и относились к ней с враждой, не меньшей, чем к царизму. В либеральной буржуазии они видели конкурента в борьбе за власть, притом более опасного, чем самодержавие. Либеральная буржуазия у власти, с конституцией на западно-европейский манер знаменовала приход и утверждение в России капитализма, а между тем основная задача, стоявшая перед народническими партиями, и заключалась в том, чтобы непосредственно, путем переворота и восстания, перейти к социалистическому строю. Правда, в этой народнической вере политическая борьба уже успела проделать значительные брешь, и в самой России „политическая“ ересь сделала большие успехи, но как раз за границей, в эмиграции сильнее держалась народническая ортодоксия. Драгоманов и без того числился в „либералах“, „конституционалистах“ и, — из нынешней терминологии, — в самых вредных соглашениях. Через три года в соглашениях попал и Плеханов.

Женевская и парижская эмиграция была взбудоражена и заинтригована, когда стало известно, что возникает новая большая газета „Вольное Слово“ и ближайшее участие в ней принимает Драгоманов.

II.

В мае или в июне 1881 г. Драгоманов у себя на дому вместе с Кузьмой разбирал издания „Громады“ и составил транспорт для переправки на Украину. Настоящее имя Кузьмы — Антон Григорьевич Лиходик, по его под именем Кузьмы с рок лет до 1918 г. знала вся русская колония Женевы. Это был старожил эмиграции, один из интереснейших ее типов. В молодости он принимал участие в южных народнических кружках, был арестован, бежал, и в Женеве устроился в качестве наборщика в „русской типографии“. Когда Драгоманов устроил украинскую типографию „Громады“, Кузьма стал ее единственным наборщиком, метрайжем, корректором. Он был беззаветно привязан к украинскому революционному делу и к Драгоманову, переносил терпеливо все невзгоды жизни, работал самоотверженно и бескорыстно, — не ожидая ни награды, ни славы. Ему не раз приходилось голодать, брать службу для заработка в других типографиях, но в свободные часы и на свои заработные деньги он набирал „Кобзаря“ Шевченка, украинские и русские социалистические издания, — набирал без твердого убеждения в том, что набор удастся отпечатать, а отпечатанное распространить. В скверную безденежную полосу эмигрантской жизни у него не было своей квартиры, он жил у Драгоманова в проходной комнате или ночевал в типографии. Впоследствии он завел свою

маленькую типографию, и через нее прошло немало социал-демократической литературы. Он умер в Женеве в 1918 г.

Работу Драгоманова и Кузьмы над транспортом прервал приход незнакомого посетителя. Это был немолодой уже человек, представительный, весьма прилично одетый, непохожий на эмигрантов-революционеров. Он отрекомендовался — Аркадий Павлович Мальшинский, журналист, бывший сотрудник прогрессивных одесских газет. От имени некоторой нелегальной организации, — о которой, конечно, он ничего сказать не может, — он хотел бы приступить к изданию большой еженедельной революционной газеты. Не может ли Драгоманов указать ему типографию и оказать содействие хотя бы на первых порах советом?

Драгоманов охотно откликнулся. Типография — вот она, налицо: Кузьма. Работы у него сейчас нет, и он — превосходный наборщик. Что касается содействия, организационного и литературного, то это вопрос более сложный, и сразу Драгоманов согласия дать не может. Надо узнать, что это за группа, стоящая за спиной Мальшинского, каковы ее задачи, взгляды, цели.

Так началось знакомство Драгоманова с Мальшинским. Надо думать, что Драгоманов слышал о Мальшинском и раньше, и то, что он мог знать о Мальшинском, должно было располагать в его пользу. Не было оснований относиться к Мальшинскому с самого начала с предвзятым недоверием.

Мальшинский, как Чичиков, мог бы сравнить свою жизнь с плаванием по бурному морю. Это был человек способный, но беспокойный и плутоватый. В его прошлом было много приключений, интересных встреч и знакомств, но много и темных пробелов, странная тайна всегда окружала его, и даже впоследствии, в лагере реакции, где он успокоился после бурных скитаний, вокруг него была враждебная пустота. Ему, повидимому, не доверяли ни свои, ни чужие. На его смерть никак не откликнулись прогрессивные издания, а он был тогда (в 1899 г.) редактором большой правой газеты и старым заслуженным сотрудником „Русского Вестника“. Суворинское „Новое Время“ в десятке строк петита отметило его смерть, умолчав из деликатности о многом. А собственная газета Мальшинского, им созданная, „Народ“, поместила пространную статью, в которой под конец больше оправдывала покойного, чем воздавала ему хвалу, и старалась уверить своего читателя, что, хотя Мальшинский и заблуждался подчас, но всегда искренне и из любви к народу. Из этого видно, что в том стане, которому Мальшинский служил верой и правдой, на его участие в „Вольном Слове“ и на его связи с революционной эмиграцией смотрели всегда косо и так с этим периодом его жизни до конца не примирились.

Когда Мальшинский впервые появился в Женеве 80-х годов, Драгоманов мог знать о нем только следующее. В молодости Мальшинский учился за границей, в гейдельбергском университете. В конце 60-х годов он попал домашним учителем в Неаполе в семью княгини З. С. Оболенской, аристократической эмигрантки, видевшей в русском самодержавии личного своего врага. Мальшинский был знаком с политическими эмигрантами, встречался с Бакуниным,

считал себя социалистом и революционером. Позже в Женеве он бывал у Огарева и даже, по видимому, имел некоторое основание называть себя другом Огарева, — во всяком случае, его собеседником. Затем, в биографии Мальшинского некоторый перерыв, несвещенная полоса, — и он сотрудник прогрессивных газет в Одессе, украинofil, интересный и яркий человек в провинциальной интеллигентской среде. И — снова скачок: в конце 70-х годов он — скромный клерк банка в Кременчуге. Заглохнуть здесь не дает ему знакомство с киевским генерал-губернатором, впоследствии шефом жандармов, Дрентельном. У этого генерала Дрентельна в тогдашнем юго-западном крае была, как ни странно, либеральная репутация, — не в революционных, конечно, кругах. Объясняется это тем, что главного врага администрация видела в польской националистической культуре и, борясь с польским „засильем“, смотрела сквозь пальцы на русское либеральное культурничество и даже поддерживало его. Украинofilство тоже одно время считалось терпимым, так как и оно было направлено против колонизации края. Знакомство Мальшинского с Дрентельном не могло поэтому смутить Драгоманова. А в том, что Мальшинский говорил о нелегальной организации влиятельных землевладельцев, решивших издавать за границей свободную газету, об их средствах, влиянии и связях, — ничего не было неправдоподобного. Идея Земского Союза носилась в воздухе. Попытки организовать его делались неоднократно, и было под этим именем несколько неоформленных объединений, в особенности на юге, о чем Драгоманов знал по своим связям с киевской „Старой Громадой“.

Но Драгоманов не знал, — и Мальшинский, конечно, скрыл от него, — что незадолго до появления в Женеве с решением издавать революционную газету Мальшинский был деятельным сотрудником реакционного „Берега“ и состоял в дружеской переписке с издателем этой газеты, махровым черносотенцем того времени, проф. Цигвицем; скрыл Мальшинский и то, что писал по предложению генерала Дрентельна книгу об истории революционного движения в России по жандармским источникам, и был совсем не чужим человеком Третьему Отделению, хотя, может быть, и не состоял там формально на службе. Главное же, не обмолвился ни словом Мальшинский о своих отношениях к священной дружине, а он состоял ее заграничным агентом под кличкой Николаева 1-го и доставлял исполнительному комитету этой дружины сведения о русской политической эмиграции. Надо отбросить предположение, будто Мальшинский, как и патрон его граф П. П. Шувалов, был искренним конституционалистом, либералом и сам заблудился „в дремучем лесу“, — по выражению В. Я. Богучарского. Нет, и Шувалов, и Мальшинский служили прежде всего добровольному политическому сыску и были провокаторами по призванию, что не мешало им, конечно, стоять по-своему за конституцию. В 1905 г. в придворных кругах самым горячим сторонником конституции в кадетского министерства был знаменитый жандарм-палач Д. Ф. Трепов. Возможно, даже вероятно, — у Шувалова и у Мальшинского, помимо сыска и провокации, была своя политическая идея, свои политические планы с примесью личного честолюбия: Шувалов, по видимому, мечтал очень высоко и собирался

стать неофициальным диктатором России. Для этого ему надо было сосредоточить в своих руках все нити реакции и революции, и прежде всего надо было овладеть революцией, усмирить и разложить ее. План задуман был очень уж тонко, а где тонко, там и рвется. Шувалов сорвался так же и на том же, как впоследствии, через двадцать лет, Зубатов, который тоже затеял чересчур сложную и тонкую игру с революцией путем провокации.

III.

Типографская и организационная часть новой газеты, „Вольного Слова“, была очень скоро, при помощи Драгоманова и Кузьмы, налажена. Работников рекомендовал Драгоманов. Управляющим типографией был приглашен эмигрант Жылка, корректором — Добровольский, в экспедиторы Драгоманов провсчил Навлика, который тогда, из-за преследований социалистов в Галиции, принужден был жить в Женеве и очень нуждался в заработке. Сложнее обстояло дело с организацией редакции и с сотрудниками. Из своей собственной братии Мальшинский мог рассчитывать только на Божидаровича-Веселитского, который тоже был агентом св. дружины, жил в Берлине и считался специалистом по славянским делам, да еще, пожалуй, по антисемитизму. Из Петербурга должен был присылать статьи некто „Александрович“, в котором можно предполагать Корнилия Александровича Бороздина, — главного литературного деятеля и идеолога свяц. дружины, специалиста в ней по сводничеству между реакционными заговорщиками и прогрессивной печатью.

С такими силами поставить революционную газету было мудрено, и Мальшинский старался привлечь к участию в ней видных революционеров. Русское правительство и священнная дружина по свойственному им невежеству были убеждены, что во главе всего революционного движения, руководя им из-за границы, стоит Драгоманов. Лавров, Кропоткин и Ткачев. Мальшинскому было дано поручение организовать революционную газету, которая могла бы объединять все социальнo-революционные организации, но которая сама не проповедывала бы террора. Таким образом оглашали Кропоткин и Ткачев, и под некоторым сомнением оставался Лавров. Драгоманова Мальшинский настойчиво убеждал войти в редакцию и принять постоянное и близкое участие в газете. Драгоманов колебался, выжидал, пока не определится характер и направление „Вольного Слова“, и добивался подробных объяснений от Мальшинского о задачах и программе его группы, чего Мальшинский, — повидимому, не случайно, — избегал. В июле 1881 г. (число и месяц не указаны, но это устанавливается по данным письма) Драгоманов писал Мальшинскому:

„Думал это я, думал и решил написать Вам свои думы о газете и о моем в ней участии. — Мой совет был бы не торопиться к субботе, а отложить выпуск № на неделю или хоть до среды, — чтобы хорошенько обработать статьи, — а при поспешном способе писания слишком много опасностей есть и недоразумений и ошибок. — Что до моего писания, — то, во-1-х, пока я не кончу своей работы, не могу сосредоточить своих мыслей на другом предмете.

а во-2-х, и в-3-х, и в-4-х есть много резонансов, чтобы мне не пускаться по крайней мере в первых № №-ах. Резоны эти:

Вам надо же будет иметь постоянных помощников, соредакторов. Таким я быть не могу уже потому, что мне времени нет, да и потому, что, как политическая газета есть не столько литература, сколько действие, — я бы мог быть участником в действии только тогда, когда бы принадлежал к той же партии, которая основала газету, — или был Вами посвящен в нее. Это условие всегда я считал бы необходимым, а особенно теперь, когда я стою при деле тоже кружка (изд. Громаду). Между тем мое появление в 1 № имело бы вид, как будто я в редакции. А так как я не в ладах с большей частью эмиграции, — то это сразу поставило бы Вас в невозможность приискать себе между нею сотрудников.

Затем о разногласиях между нами я уже говорил. — И разногласия эти, наверно, обнаружатся и дальше. Вы имеете преимущество надо мною то, что свежо из России прибыли, а также то, что говорите от организации практической. Между тем я от своих мыслей отступить не могу, потому что, так или иначе, — они у меня сложились в систему. Мы должны бы были сейчас же завести полемику в газете. Когда же Вы от себя по разным случаям расскажете свой образ мыслей, так что будет видна Ваша система, то Вы можете, помещая мою статью, прибавить только: „в том-то и том-то мы не согласны“ — наш взгляд известен, — а для „вольности“ принимаем на страницы и взгляд Н. Н.

Таковы главные соображения. Есть и второстепенные, — о которых можно и на словах поговорить. Только бы поговорить, если хотите, — систематически, а то мы собственно ни разу так не говорили о внутренней стороне издания. И придю завтра утром и захвачу черновую и статьи о федерализме.

Во всяком случае я теперь же готов продолжать всякую совещательную и устроительную помощь делу.

Ваш М. Драгоманов.

Колебался и выжидал Драгоманов; но колебался и Мальшинский. Достаточно было пробыть и неделю в Женеве, чтобы познакомиться с внутренними отношениями в русской эмиграции и получить представление о вражде руководящих ее кругов к Драгоманову. Выпустив своими собственными силами первый номер, удивительно бесцветный, пустой, если чем и обращающий на себя внимание, то только крикливыми антисемитскими нотами в статьях по поводу еврейских погромов, — Мальшинский поехал в Париж к Лаврову. О Мальшинском и „Вольном Слове“ уже толковали в эмигрантских кругах — с немалым удивлением, конечно, но и с большим интересом. Следствием беседы Лаврова с Мальшинским явилось, между прочим, письмо Лаврова к П. Б. Аксельроду. Лавров писал:

„...У меня был некто Аркадий Павлович Мальшинский, издающий „Вольное Слово“ в Женеве. Заявил себя социалистом и просил содействия в социалистическом духе, особенно же сотрудничества по иностранному рабочему и вообще экономическому движению за плату. Я собираю сведения

о нем, что за человек, и имело ли бы смысл прибрать это издание некоторым образом к рукам (может быть, Плеханов и писал вам об этом), но пока, так как он считает себя солидарным с программой „Черного Передела“ (хотя противник Стефановича и Дейча за Чигирин), указал ему, между прочим, на Вас для немецкого движения. Это было до Вашего письма. Не попробуете ли Вы пойти к нему и одновременно и пощупать его, что за человек такой, и, может быть, получить оплачиваемую немедленно работу... В сущности, если он человек не запятанный, то этот орган можно бы забрать в руки (иметь, где писать) и сделать из него что-либо порядочное. Мальшинский противник террора, как он говорит, и мечтает о совокушении воедино всех оппозиционных групп...“

Это письмо категорически опровергает установившуюся в литературе версию о приеме, оказанном Лавровым Мальшинскому. Источником для этой версии послужил полицейский доклад о деятельности св. дружины за границей. В нем Мальшинский фигурирует под кличкой „Крапивина“ и в докладе („Записка о противо-правительственных обществах не столь вредных“) сказано: „С первых же слов оказалось невозможным рассчитывать на его (П. Лаврова) содействие, в виду явного его сочувствия террористической фракции“. В. Я. Богучарский, со своей стороны, подтвердил это сообщение с такой категоричностью, что дал повод Б. А. Кистяковскому в книге „Страниды прошлого“ написать будто Лавров Мальшинского „чуть ли не спустил с лестницы“.

Дело обстоит как раз наоборот. И Лавров, и чернопередельцы отнеслись с чрезвычайным вниманием к предложению Мальшинского, а Плеханов, возможно, поднял вопрос о сотрудничестве в „Вольном Слово“ еще до предложения Мальшинского. Легко могло случиться так, что „Вольное Слово“ стало бы органом не Драгоманова, а Плеханова, и защищало не идеи Земского Союза, а „Черного Передела“, находившегося уже на пути к группе „Освобождение Труда“. Если это не произошло, то отнюдь не потому, что Плеханов и Лавров с самого начала резко отвернулись от „Вольного Слова“ и не пожелали в нем участвовать вместе с неведомым Мальшинским. Для отказа от „Вольного Слова“ были другие причины, искать их надо во взаимных отношениях Драгоманова и чернопередельцев, и косвенно указал на это в своем письме сам Драгоманов. Чернопередельцы хотели бы „забрать в свои руки“ новую газету, но для этого надо было бы решительно устранить Драгоманова, против которого в особенности был вооружен Плеханов. Мальшинский, однако, на первых порах совершенно не был расположен к тому, чтобы отдавать „Вольное Слово“ в чьи бы то ни было руки, а сотрудничеством Драгоманова он чрезвычайно дорожил. Драгоманов в те годы представлялся, — в особенности человеку постороннему, — фигурой более крупной и влиятельной, чем Плеханов. Кроме того, основное ядро чернопередельцев держалось чрезвычайно сплоченно, и участие Плеханова в „Вольном Слово“ означало бы непременно и вхождение в газету Веры Засулич, Дейча и Стефановича. С Засулич у Драгоманова поддерживались, несмотря на разрыв с чернопередельцами, сравнительно хоро-

шие отношения. Иное дело — Дейч и Стефанович. Их сотрудничество было явно нежелательно и Драгоманову и Мальшинскому.

К третьему номеру „Вольного Слова“ отношения несколько определялись. В Париже Мальшинскому не удалось наербовать сотрудников. Драгоманов согласился принять участие в газете и с третьего номера начал серию пространных статей под заглавием „Историческая Польша и Великопольская демократия“. Ближайшего участия в редакционных делах он повидимому на первых порах не принимал, и по крайней мере до конца 1881 г. Мальшинский оставался единоличным и полновластным редактором. Из чернопередельцев деятельное участие в „Вольном Слове“ принял П. Б. Аксельрод, который взял заведывание иностранным и рабочим отделом и из номера в номер в пространных обзорах освещал современное социалистическое движение. Другие чернопередельцы в „Вольном Слове“ не писали, но смотрели на него сначала совсем не враждебно, — вопреки позднейшему об этом утверждению Л. Г. Дейча. Напротив, после выхода номера десятого, — в октябре 1881 г., — Аксельрод писал Мальшинскому, что газета нравится друзьям Аксельрода, они одобряют взятый ею тон и даже просят отпечатать некоторое количество экземпляров на особо тонкой бумаге для распространения в России через революционные организации. А еще позже Аксельрод обратился к Мальшинскому с предложением некоторого организационного объединения между иностранными группами „Народной Воли“, „Черного Передела“ и „Вольного Слова“, при чем предложение это Аксельрод делал не от своего собственного имени, а по уполномочию своих друзей.

Мальшинский мог поздравить себя с успехом. Газета его завоевала себе положение в эмигрантской революционной печати. Нападки, намеки и даже прямые указания „Общего Дела“, будто „Вольное Слово“ издается на казенные деньги и является органом министра внутренних дел гр. Игнатьева, не смущали Мальшинского. Это была неправда, которая служила превосходной ширмой для убийственной правды: „Вольное Слово“ было создано полицией не официальной, а добровольной.

До мая 1882 г. „Вольное Слово“ выходило с непривычной для зарубежной печати аккуратностью раз в неделю. С мая — столь же аккуратно два раза в месяц. Уж самая эта аккуратность была источником подозрений. У неведомой революционной организации были постоянные и надежные денежные средства. „Вольное Слово“ было и первой эмигрантской газетой, оплачивавшей регулярно и сравнительно прилично труд своих работников. Аксельрод, например, за свои обзоры получал 125 фр. в месяц, — гонорар по тому времени немалый. Когда Драгоманов стал официальным редактором „Вольного Слова“, — говорили о нем, будто он получает 1.000 фр. в месяц. Эта цифра была преувеличена раза в три, по крайней мере, — но и в таком виде она дразнила воображение вечно нуждающейся, привыкшей жить на гроши эмиграции.

Главную литературную силу „Вольного Слова“ составляли Драгоманов и Аксельрод. Им принадлежала добрая половина статей, обзоров, заметок, заполнявших номер. Кроме Божидаровича-Весселитского, писавшего из Бер-

лина на славянские темы, и Александровича, поставлявшего хронику и корреспонденции из Петербурга, пасал в „Вольном Слове“ видный народоволец И. Н. Присецкий, — впоследствии, по возвращении в Россию, полтавский земец, член первой государственной думы и влиятельный деятель кадетской партии. Враждебного отношения к газете не было, если не считать кругов, близких к другому женеvскому органу, „Общему Делу“. Оттуда шло непрерывное идовитое шипение, не прекращались намеки и выпады, — к ним, однако, привыкли и не обращали на них особого внимания. Среди редакторов и соiрудников „Общего Дела“ только В. Зайцев был заметной и в свое время влиятельной величиной в эмиграции. В начале 80-х годов он представлял, впрочем, только почтенные традиции 60-х годов. Журнал его считался беспартийным, заполнялся революционной декламацией без всякого содержания и никакого влияния не имел. Сам Зайцев, тяжело больной, мало выступал. А представляли „Общее Дело“ такие революционеры, как Эллидин, Трусов, Черкезов, — фигуры скорее комические, чем драматические. Серьезнее были известия, переданные в январе 1882 г. из России, непосредственно из народовольческих кругов. Они предостерегали от сближения с Мальшинским, как с агентом Третьего Отделения. Ни фактов определенных, ни строго сформулированных обвинений, однако, не было. Драгоманов не считал возможным бросить налаженное дело на основании одних лишь подозрений. Содержание вышедших двадцати номеров их не подтверждало. Известно было также, что в систему Судейкина входит распространение слухов о провокации, продажности революционеров. Мальшинский именно на этом и настаивал и в походе „Общего Дела“ тоже видел руку Судейкина. И не без оснований, потому что действительно в это время полиция официальная уже начала поход против священной дружины и Судейкин составлял записку о „Вольном Слове“. В „дремучем лесу“ не так легко было разобраться.

Драгоманова известила о письме, полученном от петербургских народовольцев, В. И. Засулич, которая, как и другие чернопеределцы, придавала письму большое значение. Драгоманов дважды беседовал по этому поводу с Мальшинским. Главный пункт обвинения, повидимому, был в том, что Мальшинский написал для Третьего Отделения книгу о революционном движении в России. Отрицать это нельзя было. Но Мальшинский представил объяснения, которые удовлетворили Драгоманова. Аргументом в его пользу служило и то обстоятельство, что „Народная Воля“, говоря довольно подробно об этой книге, отзывалась об авторе скорее благосклонно, а в работе по материалам Третьего Отделения революционеры не видели ничего зазорного. Впоследствии, когда стало известно, что и Стефанович „работал“ по материалам департамента полиции, составляя известную свою записку (но самая записка еще не была известна), — в этом не усматривали компрометирующей близости к полиции.

Драгоманов писал Аксельроду 9 января 1882 г.:

„...Меня занимает только вопрос, — каким образом петербуржцы могли поддаться сомнениям, ибо женеvцам я не удивляюсь, да и не придаю ни-

какого значения. Так как петербуржцы в своем письме, из которого В. И. (Засулич) мне сделала выписку, были так любезны, что поручили предупредить меня, — то я просил сегодня В. И. передать им, что я, по размышлению времени, решился продолжать писать в „В. С.". Кроме того, я просил передать им, чтоб они обратили внимание, с своей стороны, на начинающееся земское движение и издали манифест вроде первого послания к царю с указанием на то, что вот, мол не мы одни требуем земского собора, а и другие. В видах раздувания земского движения я и остаюсь в „В. Сл.", хотя лично желал бы перервать публицистику для других дел, мне очень интересных.

По-моему следует оставаться и Вам, — при чем, по всегдашнему моему мнению, лучше бы Вам и подписываться. Это удобно даже на случай невозможного: если бы вышла какая-либо пакость, — Вы пред всеми чисты за свои писания. По крайней мере, я по совести не буду краснеть ни за что, написанное мною в „В. Сл.", даже, если бы паче чаяния, оказалось, что М(альшинский) сам Игнатьев; мне бы только было очень жалко его самого, а не себя.

Так вот мое мнение. Вы, конечно, в себе вольны, — но я считал себя обязанным это мое мнение сообщить и Вам, так как принимал некоторое участие в Вашем знакомстве с М(альшинским). — Впрочем, думаю, что скоро увидимся и перговорим на словах".

В конце января Аксельрод приехал по приглашению Мальшинского из Цюриха в Женеву. 29 января Мальшинский устроил банкет для сотрудников и служащих „Вольного Слова", было человек десять, и Мальшинский представил объяснения по поводу своих отношений к генералу Дрентельну, работы при Третьем Отделении и книги. У Аксельрода не сохранилась в памяти ничего об этом банкете. Во всяком случае после личной встречи с Драгомановым и Мальшинским Аксельрод твердо решил из „Вольного Слова" не уходить, работу там продолжать по-прежнему и впредь под статьями своими подписываться. Так в ближайшем номере „Вольного Слова" он и сделал и пояснил при этом, что не подписывался перед этим совсем не потому, что хотел по каким бы то ни было причинам скрыть свое участие. Это был своего рода демонстративный ответ на обвинения, которые шли из „Общего Дела" и которые сплетническим своим характером возмущали лучшую часть эмиграции. Негодовал в особенности С. М. Кравчинский (Степняк), выражавший открыто свое сочувствие Драгоманову.

Группа чернопередельцев косилась, конечно, на участие Аксельрода в „Вольном Слове", но открыто своего недовольства не выражала. Аксельрод считал даже возможным привлечь Плеханова к работе и вел одно время с ним переговоры. Повод к этому дала статья И. Присецкого в № 10 „Вольного Слова", 11 октября 1881 г. Появилась она в виде открытого письма в редакцию и представляла попытку прямой ревизии народофильства. Присецкий призывал отказаться решительно от предрассудков в отношении к политической борьбе и конституции, отодвинуть социализм и пропаганду среди крестьян и рабочих на второй план и опереться на те общественные

классы, которые наиболее заинтересованы в политической свободе, то-есть на радикальную интеллигенцию и либеральную буржуазию. Такая статья требовала ответа, и Мальшинский с готовностью предоставлял место для дискуссии. Аксельрод полагал, что всего лучше мог бы ответить Приседкому Плеханов. Переговоры затянулись, и в конце концов с значительным заго-зданием, в № 9 „Вольного Слова“, в декабре, появилась пространная статья Плеханова, а самого Аксельрода: „Все для народа и посредством народа“. Статью эту можно считать первым фрагментарным изложением идей русского революционного марксизма. Ее основные мысли были несколько позже развиты в брошюре Плеханова „Социализм и политическая борьба“, которая была литературным манифестом группы „Освобождение Труда“.

Несколько позже, весной 1882 г., Плеханов писал Лаврову: „Получаете ли вы „Вольное Слово“? здесь все считают его органом Игнатьева. Меня ужасно печалит сотрудничество там Павла (Аксельрода). Правы или неправы обвинители „Вольного Слова“, это другой вопрос, но раз публика относится к нему подозрительно, то на Павла падает некоторая тень. Здесь, в Кларане, все осуждают его. А написать ему я не решаюсь,—очень уже щекотливый вопрос. Да он и сам не маленький,—может и без моих указаний обойтись благополучно...“

Плеханов таким образом смотрел на участие Аксельрода в „Вольном Слове“, как на личное его дело. Работа Аксельрода в газете Мальшинского не мешала ему принимать одновременно участие и в литературных органах „Народной Воли“ и „Черного Передела“. Обстоятельства, однако, вскоре изменились, и друзья Аксельрода поставили пред ним альтернативу: „Черный Передел“ или „Вольное Слово“? Аксельрод избрал, конечно, первое. Совпала эта перемена с переменой в характере самого „Вольного Слова“. Слухи о происхождении „Вольного Слова“ не приобрели большей определенности; определилась зато политическая физиономия „Вольного Слова“. Из органа никому неизвестного и сомнительного Мальшинского „Вольное Слово“ становилось органом всем хорошо известного Драгоманова. Не могло быть уж речи о том, чтобы „Вольное Слово“, по выражению Лаврова“, прибрать некоторым образом к рукам“ народолюбцев или чернопередельцев. Оно оказалось — и весьма прочно — в руках Драгоманова.

V.

В первоначальные планы графа П. П. Шувалова и Мальшинского не входило, повидимому, связывать „Вольное Слово“ с определенным каким-либо течением, с отдельной революционной организацией. Оставаясь газетой совершенно беспартийной, „Вольное Слово“ могло свободно искать связи во всех революционных организациях, и это давало бы Мальшинскому широкую осведомленность. Однако оставаться на совершенно беспартийном положении было совсем не легко, и Мальшинскому пришлось эту позицию сдать.

Аксельрод с самого начала указывал в своих письмах к Мальшинскому на странную неопределенность „Вольного Слова“, которая заставляет даже

сочувствующих держаться выжидательно в стороне. Чем больше внимания привлекало к себе „Вольное Слово“, тем сильнее интриговала таинственность стоящей за ним группы. Кто они — те люди, которые дают солидные денежные средства, снабжают газету материалами и распространяют ее в России? Конспирация не позволяла справляться об их именах, об их численности, о месте их деятельности. Но каковы же их политические и социальные взгляды, каковы средства и приемы их борьбы? Мальшинский отделялся общими фразами в переписке с Аксельродом, но в личных беседах с Драгомановым вилить и лгать было труднее. Драгоманов знал, что к „Вольному Слову“ причастны земцы и какие-то высокопоставленные имеющие связи при дворе лица, — но тем более странно было, что эти земцы не имели организационного касательства и как будто не искали его с земскими деятелями и украинофилами на юге, которых Драгоманов знал очень хорошо.

С другой стороны, деятельное участие Драгоманова в „Вольном Слове“ само по себе придавало ему некоторую окраску. Мальшинский при всей своей бойкости был все же беспомощен. Вести политическую зарубежную газету ему было не по силам, и руководящая роль фактически переходила к Драгоманову. Он писал наиболее боевые статьи по вопросам принципиального, программного характера, — а это были в первую очередь вопросы о политической борьбе, о терроре, о конституции, земском движении, федерализме. Драгоманов, прямой и последовательный по натуре, задачу свою видевший в борьбе с бунтарскими, террористическими и якобинскими тенденциями русского народничества, — гнул свою линию. У него были сторонники, хотя и немногочисленные. Выступление Присецкого было в этом смысле показательным. Постепенно стали намечаться линии расхождения между Драгомановым и Аксельродом, который, например, подвергал резкой критике германскую социал-демократию за ее парламентаризм, высказывал симпатии французскому синдикализму и вообще подчеркивал идею классовой борьбы с излишней, по мнению Драгоманова, настойчивостью. Дошло до того, что одна статья Аксельрода появилась с пространном примечанием от редакции, и это вызвало политический обмен мнений между Мальшинским и Аксельродом. „Вольное Слово“ теряло характер свободной трибуны, на которой все направления равны кроме террористического. Надо сказать, что и в отношении терроризма „Вольное Слово“ высказывалось редко и осторожно — откуда Мальшинский был подлинным хозяином газеты. Драгоманов не считал нужным соблюдать эту осторожность. Напротив, он стоял за открытую и прямую идейную борьбу с террористическими настроениями.

Между тем как раз в это время в чернопеределеских кругах намечался поворот к примирению с народовольцами на почве признания терроризма. Только Плеханов сохранял непримиримость, но и он не высказывался в печати против террора. Даже Аксельрод колебался; разногласия с народовольцами не казались ему, как Плеханову, столь существенными. Из вопроса о терроре он во всяком случае не стал бы делать предмета разрыва. Компания „Вольного Слова“ против террора, при участии в газете Аксельрода,

должна была приводить поэтому чернопередельцев в немалое раздражение, да и сам Аксельрод начинал испытывать неудобство своего положения и подумывал об уходе. Напечатанная в № 34 (апрель, 1882 г.) статья Драгоманова „Обязательность энергии“, с резкими выпадами против Исполнительного Комитета „Народной Воли“, с гневным обличением нравов политической эмиграции — была только последней каплей, переполнившей чашу. Чернопередельцы потребовали от Аксельрода немедленного и демонстративного ухода из „Вольного Слова“. Он не сразу ушел и некоторое время колебался. В статье Драгоманова было много жгучей и горькой правды. Увлекающийся, порывистый Кравчинский по выходе № 34 послал Драгоманову письмо, в котором спешил „крепко позвать ему руку“, — а Кравчинский в это время намечался кандидатом в редакторы „Вестника Народной Воли“, и об этом шли серьезные переговоры между Лавровым, Тихомировым и Плехановым. По словам Л. Г. Дейча, кандидатура Кравчинского и снята была из за его отношения к Драгоманову. Кравчинский настаивал на том, чтобы Аксельрод не уходил из „Вольного Слова“ и чтобы во всяком случае не печатал неприемлемых для „Вольного Слова“ писем. Аксельрод действительно от письма в редакцию отказался, ч в № 37 появилась краткая заметка о том, что обзоры рабочего движения перешли к другому лицу, а редакция выражает свою благодарность Аксельроду. Вслед за тем появилось отдельной листовкой „Открытое письмо господину Драгоманову“, подписанное всеми чернопередельцами, — в том числе и Аксельродом, с требованием объяснений по поводу статьи „Обязательность энергии“. Драгоманов на это письмо не отвечал. Позже, в 1883 г., оно было перепечатано в „Календаре Народной Воли“, и в последнем номере „Вольного Слова“ Драгоманов заметил мимоходом, что ответ на письмо потребовал бы от него таких разоблачений, для которых время еще не пришло. Драгоманов имел в виду, между прочим, некоторые неблагоприятные деяния Стефановича и пресловутый циркуляр Исполнительного Комитета о захвате власти и временном правительстве.

Уход Аксельрода ускорил естественное течение событий. „Вольное Слово“ должно было теперь определять свое политическое лицо. Дальнейшая игра в прятки в прежнем виде становилась невозможной и бесполезной: объединить все революционные партии не удалось. Мастер мистификации граф Шувалов придумал новую комбинацию, — да ему и думать много не приходилось. Переход „Вольного Слова“ под фактическое руководство Драгоманова, плененного идеей земского оппозиционного движения, подсказывал форму новой провокации. В один прекрасный день Мальшинский открыл Драгоманову великую тайну: его неведомая группа есть „Общество Земского Союза и самоуправления“. Эта группа имеет свои органы и программу, — составленную, возможно, если не при участии, то под влиянием самого же Драгоманова. Имена, конечно, оставались все еще неизвестны, и Драгоманов об именах и не расспрашивал. То, что ему сообщал Мальшинский, казалось вполне правдоподобным и само по себе не должно было вызывать сомнений. К тому же в России графу Шувалову удалось какии-то путем завязать сношения

с В. А. Гольцевым, и деньги на поддержку „Вольного Слова“ шли иногда через Гольцева. Это нм могло служить для Драгоманова абсолютной гарантией реальности Земского Союза, и он имел полное право скептически относиться к слухам о сомнительном происхождении „Вольного Слова“, покуда эти слухи не подтверждены сколько-нибудь определенными фактами.

Земский Союз был чистойшей фикцией, прямым и беспримесным созданием графа Шувалова. В. Я. Богучарский, равоблачивший эту фикцию, был вполне прав. Но, создавая эту фикцию, граф Шувалов верил в реальность земского движения и преувеличивал, как это свойственно жандармам, его силы и размеры. Священной дружине казалось, что есть какой-то неуловимый, влиятельный земский центр, руководящий выступлениями земств, связанный и с революционным подпольем. Шувалов хотел овладеть этим центром, как хотел овладеть и вообще всеми нитями революции. „Вольное Слово“ должно было стать средством для проникновения в земскую либерально-оппозиционную среду. В связи с этим изменялась задача Мальшинского. Прежде сдержанный в своих отношениях к народолюбцам, он теперь требует жестокого и беспощадного похода против них, старается углубить раскол в революционном движении, натравить одну партию на другую. И возникает рядом с „Вольным Словом“ климовская „Правда“, как орган уже чисто террористический, имеющий целью завоевать доверие тех революционных кругов, которые окончательно порвали с „Вольным Словом“. Глупость и оголтелое невежество Климова мешали св. дружине выполнить этот свой план. Паутина гр. Шувалова в этом месте сразу прорвалась; но она прорвалась и в том месте, где в новой своей роли должно было выступать „Вольное Слово“.

VI.

С № 37 „Вольное Слово“ стало выходить как орган „Земского Союза“. С этим совпало некоторое перемещение сил в редакции. Мальшинский уходит в сторону и берет на себя преимущественно конторско-издательскую и технически-организационную часть. Драгоманов является фактическим редактором. Правда, он советуется с Мальшинским, и на время отъезда Мальшинский заменяет его. Но по существу литературным хозяином газеты выступает Драгоманов. Он дает ей тон и направление. Новые сотрудники знают Мальшинского уже только как издателя. На Мальшинском лежит и переписка с Россией, и секрет этой переписки Мальшинский ревниво оберегает. Когда однажды, в отсутствие Мальшинского, Драгоманов вскрыл пакет с корреспонденцией Александровича из Петербурга, то Мальшинский в мягкой и учтивой форме, — однако весьма решительно, — дал понять, что впредь это не должно повторяться: „...По теории это воспрещается, — писал Мальшинский Драгоманову. — Теория тут такая, что в письме А-ча могут заключаться известия, касающиеся внутренней организации „Союза“ и „меня лично“. Этой „внутренней организации“ Мальшинский пред Драгомановым по-прежнему не раскрывал. Но Драгоманов знал, что сношения Мальшинского с главами Земского Союза происходят не только письмен-

ным путем. Время от времени приезжали из России люди, с которыми Мальшинский устраивал тайные свидания. Драгоманов с ними не встречался. Повидимому, одним из этих приезжих — „антихристов“ на условном языке Мальшинского и Драгоманова — был граф Шувалов. У Драгоманова не было пока и оснований проявлять особый интерес к этим людям. Деньги поступали регулярно, выход „Вольного Слова“ был обеспечен, а Драгоманову, как редактору, предоставлена полная свобода.

Весной 1882 г. Драгоманов совершил поездку в Париж, — отчасти по своим личным делам, а отчасти и для того, чтобы пригласить новых сотрудников.

Из Парижа он писал Мальшинскому:

„Многоуважаемый Аркадий Павлович,

Сейчас вернулся я из экскурсии в гнездо, где засела „птица великая“, Кулиж, т.-е. Куликовский. Это место под Парижем: Val-de-Notre-Dame, где я провел вчера после обеда и ночевал. Поездкой этой я весьма доволен, ибо столкнулся там с К-им, который пришлет статью, м.б., еще перед 15 мая, а во всяком случае в следующем за тем №-ру, а потом будет писать из России, куда он едет (через юго-запад в Москву). Там же застал одного из Жебуневых, с которым и прежде был знаком и с которым теперь порядком столкнулся. Оба они вполне разделяют примечание от редакции к статье А-да в № 35 „В. Сл.“ и обещают писать в таком роде. Жебунев почти 6 лет жил в Париже, где близко стоял к рабочей агитации (он держал красильню, а теперь имеет под Парижем огород), и на первый раз мы условились, что он напишет: 1) о теперешних партиях среди французских рабочих: а), революц.-централистах, б) рев. федералистах, с) радикалах и муниципалистах и т. п.; 2) специально о синдикальных ассоциациях рабочих с 1875 г., — все с соответственными указаниями на Россию. Писать оба они: и К., и Ж. могут с литературной стороны недурно. Там же нашел я еврея, б. одесского студента Рабиновича, из числа евреев наиболее нам интересных, т.-е. проповедующего необходимость „итти в народ еврейский“. Он очень близко стоит к делу переселения евреев в Америку и рассказал мне несколько интересных фактов, которые я его попросил записать для меня пока наскоро как материал для заметки, — а после, когда я напишу статейку о еврейском вопросе и социалистах в России, он обещал от себя написать о том же систематично. Вообще жду пользы для газеты от всех трех упомянутых лиц, и главным образом потому, что все трое, каждый по своему, стоят на местной реальной почве при достаточно широком общем взгляде.

Вот с Зибером беда! Писать-то он обещал, да так неопределенно. Первое — что он-таки боится (он вообще ужасно мнителен), боится скомпрометироваться перед правительством, а второе — он вообще ужасно субъективен, — никак не может войти сразу в положение, которое сложилось не под его глазами, а третье: теперь он как-то совсем расстроен нервами, так что все эти пороки дошли до максимума. Иногда я его не ругаю резко только из жалости, — а иногда даже думаю писать его жене, чтобы она серьезно

его взяла в руки да полечила. И эта неопределенность разглаголий З-ра тем более досадна, что, если-б он взялся толком за работу при „В. Сл.“, то это бы имело на него и полезное нравственное влияние в смысле прекращения той изолированности, в какой он живет столько времени и какая его самого так тяготит. Ну, да человека не переделаешь! Некоторую работу все-таки от З-ра ожидать можно“...

Кулик — „птица великая“, о котором идет речь в письме, это известный впоследствии проф. Д. П. Овсяннико-Куликовский. Он жил с 1876 г. за границей, преимущественно в Париже, занимаясь научной работой, но был близок к революционным кругам, встречался часто с Лавровым, Лонатиным, Цакни и др. С Драгомановым Куликовский познакомился в 1876 г. в Цюрихе, но еще раньше, будучи студентом в Одессе и участником украинских кружков, считал себя драгомановцем. За границей Куликовский написал даже брошюру: „Заниски южно-русского социалиста“, которую Лавров разнес в журнале „Вперед“, а Драгоманов вил под свою защиту в „Громаде“. Овсяннико-Куликовский охотно согласился писать в „Вольном Слове“, но успел дать только одну статью на тему о национальной и областной автономии. Срок его научной командировки в 1882 г. истекал, и он благополучно вернулся в Россию к профессорской деятельности и корреспонденций, вопреки обещанию, не писал.

Братья Жебуневы играли видную роль в народническом движении семидесятых годов. Было их трое, — сыновья богатого помещика на юге России. Здесь речь идет о старшем, Николае Александровиче. В период „хождения в народ“ он стал кузнецом в Конотопском уезде, — и был хорошим кузнецом. Братья его были арестованы, а ему удалось бежать. В Париже он с женой, — дочерью русской прачки, — открыл мастерскую под вывеской „Teinturier-Gébrouteur“, где-то на Монмартре. „Помню, — писал о них Овсяннико-Куликовский, — как Зинаида, инициаторша и руководительница предприятия, бойко тараторила, стоя за прилавком, с клиентами и клиентками, а он, в задней комнате, лихо утюжил пиджаки и штаны“. Мастерская вскорее прогорела, и когда Драгоманов приехал в Париж, супруги Жебуневы жили за городом и занимались огородничеством. В „Вольном Слове“ Жебунев сменил Аксельрода и писал регулярно, — вплоть до последнего номера. Корреспонденции и обзоры написаны бойко, размахисто, проглядывают симпатии к анархизму и синдикализму французского рабочего движения, но в общем отсутствует и серьезный социальный анализ, и определенная политическая идея, — то, что делало статьи Аксельрода, несмотря на их тяжелый язык, исключительным явлением в современной ему печати. Жебуневы в середине восьмидесятых годов получили возможность вернуться в Россию; здесь он устраивал какие-то промышленные предприятия, маслобойный завод, разорился и умер в нищете.

„Еврей Рабинович“ — это известный впоследствии в русско-еврейской литературе публицист и беллетрист Марк Яковлевич Рабинович, писавший под псевдонимом Бен-Ами („сын моего народа“). Он был студентом в Одессе

пережил ужасы погромов 1881 г., участвовал в первых кружках самообороны и уехал за границу, чтобы организовать помощь пострадавшим и наладить массовое переселение в Америку. Рабинович был близок к социалистическим кружкам в Одессе, увлекался народничеством, — но все, и социализм, и революционность, смыло с него националистической болью, обидой, горечью от сочувствия социалистов 80-х годов еврейским погромам как проявлению протестующей народной стихии. Приобретение Рабиновича для „Вольного Слова“ никак нельзя было назвать удачей. Публицист он среднего таланта с склонностью к пафосу, крикливости. Он в страстном тоне обличал русских социалистов и писал о добродетелях еврейских ремесленников. Этим внешне оправдывалось (в видах объективности) появление в „Вольном Слове“ статей Бжидаровича-Веселинского об антисемитском движении на Западе. Крикливый апологетический тон Рабиновича только мешал выяснению дела, в полемике свою он, в конце концов, прервал с убеждением, что Драгоманов такой же антисемит, как и другие. Статьи в „Вольном Слове“ по еврейскому вопросу чрезвычайно интересны для настроений 80-х годов и заслуживают отдельного очерка. В „Еврейской Старине“ (1915 — 1916 г.) Бен-Ами напечатал свои воспоминания о „Вольном Слове“ и Драгоманове, пропикнутые все тем же националистическим тоном и пристрастием.

Наиболее интересно в письме Драгоманова, конечно, то место, где речь идет о Зибере. Оно свидетельствует о том, что признаки недуга, от которого так рано сошел в могилу Зибер, проявились и были заметны постороннему уже в 1882 г. В другом письме к Мальшинскому Драгоманов прямо говорит: „А Зибер, по-моему, просто болен“. Меланхолия Зибера, действительно, все больше усиливалась. Для „Вольного Слова“ он работал охотно и написал ряд статей на экономические темы без подписи или с инициалами Н. С. А. в 1884 г. он в состоянии психического расстройства был перевезен в Ялту, где через 4 года скончался.

С Зибером Драгоманова связывала старая дружба. В 70-х годах оба они представляли в Киевском университете молодую оппозиционную профессиу, против которой ополчились не только все старые вороны и совы местного ученого мира, но и петербургские власти. На квартире Драгоманова Зибер излагал — впервые в России — перед небольшим кружком молодежи основы экономического учения Маркса. А когда в 1875 г. Драгоманов был исключен за неблагонадежность из университета „по третьему пункту“, Н. И. Зибер, один из всех профессоров, демонстративно бросил свою добровольную отставку в лицо Киевскому университету.

К сотрудникам, приглашенным Драгомановым, надо еще присоединить В. А. Гольштейна, видного эмигранта, старого бакуниста, одного из редакторов „Работника“, М. Павлика, руководившего социалистическим движением в Галиции, А. М. Эпштейн и др. Со своими сотрудниками Драгоманов окончательно освободился от литературной зависимости в „Вольном Слове“ от Мальшинского. Он свободно распоряжался всем литературным материалом. С этого времени „Вольное Слово“, — каковы бы ни были фи-

нансовые источники, питавшие его, — орган Драгоманова, и только Драгоманова.

VII.

Выражается это прежде всего в том, что „Вольное Слово“ становится солиднее, серьезнее и, — надо признать, — скучнее. Драгоманов не обладал талантами редактора. Изданные им сборники „Громада“ являются, кажется, непревзойденными в зарубежной литературе памятниками громоздкости, тяжеловесности, неуклюжести. Сам он писал пространно, многословно, с частыми отступлениями и экскурсиями в сторону. Таков был, впрочем, литературный стиль времени. Правда, Драгоманов был всегда в своих статьях интересен, содержателен, остроумен. Его политические памфлеты имели большой успех среди читателей. И все же Плеханов ядовито называл его писания „хрями“.

Солиднее стала хроника политических событий в письмах и сообщениях. При Мальтийском попадались известия, которые давали „Общему Делу“ внешний повод заподозрить „Вольное Слово“ в излишней снисходительном отношении к министру внутренних дел. В новом „Вольном Слове“ этого нет. При этом о спященной дружине и в частности о графе П. П. Шувалове „Вольное Слово“ высказывается с достаточной, не дающей повода к криво-толлкам определенностью. С этого времени компания в эмигрантских кругах против „Вольного Слова“ как будто ослабевает, — надо оговориться: в серьезных кругах. Там „Вольное Слово“, определившее себя как орган земского движения, теряет значительную долю своего интереса. А с другой стороны появляется ультра-террористический орган „Правда“ с подозрительным редактором Климовым, и главная задача этой „Правды“, повидимому, травля „Вольного Слова“. Приемы и характер этой травли заставляли все сколько-нибудь приличные, круги эмиграции держаться от нее в стороне. Когда, еще незадолго до этого, вышла брошюра В. Черкезова „Драгоманов из Гадяча в борьбе с русскими социалистами“, — она вызвала довольно решительное осуждение среди серьезной части эмиграции. Осенью 1882 г. состоялось даже небольшое собрание наиболее авторитетных представителей русской революционной колонии — специально по вопросу о „Вольном Слове“ и „Правде“. Несмотря на то, что на собрании были непримиримые противники „Вольного Слова“, — среди них Плеханов, — собрание не решилось поддерживать обвинения против „Вольного Слова“ и никакого постановления о нем не приняло. А „Правду“ решено было разоблачить и печатно отречься от всякой близости к ней. Любопытно, что предостерегал эмиграцию от „Правды“ и указывал на весьма сомнительное происхождение Климова не кто иной, как Драгоманов, — а от кого же мог получить Драгоманов сведения о Климове, как не от Мальтийского! Поистине — в дремучем лесу...

„Правда“ по заданиям Шувалова грызла „Вольное Слово“ и распространяла полицейскую записку, обвинявшую Драгоманова в сношении со священ-

ной дружиной¹⁾. А Мальшинский, хотя и знал, конечно, происхождение этой записки, приписывал распространение ее народовольцам и требовал от Драгоманова решительного похода против Исполнительного Комитета Народной Воли. Повидимому, в этом и был план Шувалова: заставить перегрызться все течения и фракции революционной партии, внести побольше смуты, отравить атмосферу. Но Драгоманов категорически отказался от травли народовольцев. Летом 1882 г. распространился слух, будто Исполнительный Комитет готовит специальный циркуляр против „Вольного Слова“. Мальшинский писал по этому поводу Драгоманову:

„Я очень рад, что „народовольцы“ открыли поход про ив „Вольного Слова“. Не я начал, но уж если они хотят бороться, так пусть держатся. Когда походом пойдет „союз“, то это уж не то, что полиция“.

Угроза это неопределенная, но довольно загадочная. Еще позже Мальшинский писал:

„Многоуважаемый Михаил Петрович! Из письма А—ча, к сожалению, не ясно, чьим именно органом Исполнительный Комитет объявляет „Вольное Слово“ в своем циркуляре. Если более обстоятельные сведения об этом имеются у женевской эмиграции, то я был бы весьма признателен за сообщением мне этих сведений, так как г-дам Исполнит. Комитета я намерен отвечать (лично от своего имени) самым обстоятельным образом.

Вместе с этим покорнейше прошу Вас теперь же уведомить как о существовании циркуляра, так и о моем намерении приглашенных Вами сотрудников, на тот конец, чтобы они не были стеснены в возможности не принимать никакого участия в газете, которая, по мнению правительства всероссийской революции, срамит себя служением чьим-то и каким-то, но только не народно-общественным целям.

Ясность взаимных отношений между редактором и сотрудниками, по-моему, решительно необходима, тем более что мой ответ будет резок и далеко не в пользу ни личного состава, ни целей, преследуемых тою шайкою жуликов и честолюбцев, которая именует себя Исполнительным Комитетом и около которой увиваются червонные вальеты эмиграции в Женеве, Париже, Лондоне и пр.“.

Драгоманов, по своему обыкновению, весьма спокойно отнесся к новым слухам о „Вольном Слове“. Он называл их „чепухой“ и не собирался делать из них предлога для полемики с народовольцами. Он отвечал на первое письмо Мальшинского так:

„Что касается до похода „народовольцев“, то надо еще выждать подробностей. Я Вам скажу, что я рад воевать с ними, но не для того, чтобы побить их на-голову, а для того, чтоб или передать их, или вызвать около них другие активные организации: вольнословские или украинские, — но если таких не будет, то пусть себе народовольцы существуют со всеми их дуростями, ибо все-таки они (не разобрано) царя и К-о. А потому суть дела все-таки не так воевать с Н. В., как устраивать своих“.

¹⁾ См. „Возмущенные лоботрясы“. Былое, № 25.

Это письмо и само по себе должно было немало разочаровать Мальшинского, но вслед за ним последовало и второе письмо, которое и по содержанию и по тону своему должно было отбить у Мальшинского всякую охоту возобновлять компанию против народолюбцев.

„Пока ничего о циркуляре Н. В. не слышно, — писал Драгоманов, — и из этого заключаю, что этого циркуляра, может быть, и нет. Наверно, это опять такой же слух, какой был пускаем около нового года.

Если же циркуляр будет, то по всей вероятности многие, если не все, сотрудники Р. Сл. ответят. Я по крайней мере непременно, — но только я не считаю себя в праве, не имею оснований — называть И. К. жуликами и червонными валаетами и т. п., а только думаю, что он несколько зазнался и что его надо поставить на надлежащее место. Вообще главное в нашем положении не столько бороться с соседями (тем более ругаться), сколько устраивать свой лагерь и выводить его на бой с главным врагом. В частности же для нас теперь самое главное — выяснить отношение „В. Сл.“ как литературного предприятия к З. Союзу как политич. обществу и установить отношения к другим подобным обществам. Как писал я Вам вчера, эти отношения самые странные теперь“.

В „Вольном Слове“, действительно, резко политических статей против Народной Воли не появлялось, а когда Мальшинский пожелал, в конце концов, выполнить свое намерение, то ему пришлось свою статью напечатать не в „Вольном Слове“, а отдельной брошюрой в виде открытого письма „не знаю, к кому“ (то-есть к анонимному Исполнительному Комитету).

Драгоманов таким образом, находясь несомненно „в дремучем лесу“, держал себя с чрезвычайным достоинством и осторожностью. Сделать его слепым орудием в руках св. дружины не удавалось. Очевидно, в связи с этим возникал в дружине вопрос, стоит ли продолжать издание „Вольного Слова“. Мальшинский явно потерял к нему интерес. В переписке с ним Драгоманов жалуется на то, что издатели охладели к журналу, деньги поступают неаккуратно, дальнейшее издание необеспечено, и „может быть „В. Слово“ умрет через три номера“. Драгоманова удивляет такое отношение к изданию как раз тогда, когда идеи Земского Союза начинают иметь широкий успех. Он настаивает на том, что журнал надо непременно продолжать, даже расширить его, привлечь новые силы.

После колебаний решено было „Вольное Слово“ не прекращать. Литературным органом св. дружины оно правда служить не могло. Пришлось отказаться и от использования его, как средства вести травлю против народолюбцев. Но у Шувалова были и другие планы. Надо думать неожиданно и для него самого созданная им фивция — Земский Союз начинал приносить некоторые живые плоды. Возникал соблазн — воспользоваться ими.

VIII.

Различными путями „Вольное Слово“ проникло в Россию и расходилось там, как всякая нелегальная литература, довольно широко по рукам.

У газеты была своя собственная экспедиция, которой одно время заведывал Павлик, а после работала в ней А. М. Эпштейн. Главным пунктом переправы был Эйдкунен, но транспорты, проходившие через этот пункт, вряд ли попадали к рядовым читателям. На границе сидел агент свящ. дружины. Значительная часть тиража, повидимому, истреблялась здесь же или в Петербурге, отдельные экземпляры поступали в распоряжение св. дружины и распределялись с большим выбором. У полиции были свои собственные источники снабжения нелегальной литературой.

Некоторое количество экземпляров проходило через австрийскую и румынскую границу, через украинские и народовольческие организации. На юге „Вольное Слово“ распространено было несравненно больше и шире, чем на севере. И здесь оно вызвало некоторое, не очень значительное и вскоре прекратившееся „вольнословское“ движение. Об этом свидетельствуют данные южной агентуры свящ. дружины.

Правда, свидетельство это не из надежных. Называлась южная агентура на языке св. дружины „южно-русской инспекцией“, и стоял во главе ее некто Воронович, бывший следователь в Звенигородском уезде, а затем видный и деятельный агент III Отделения в Париже. В охранном мире за Вороновичем числились немалые заслуги. Ему удалось втереться в эмигрантские круги, где на него смотрели как на пустого, но доброго малого, охотно оказывающего революционерам услуги. Он был шафером на свадьбе у проф. Овсяннико-Куликовского, а когда Герману Лопатину понадобился для поездки в Россию легальный паспорт, Воронович любезно предоставил свой, — после чего Лопатин и был арестован. В Киеве Воронович действовал под фамилией Савченко и Марченко, впоследствии перешел на службу в министерство внутренних дел, по уголовному делу попал в тюрьму и умер от прогрессивного паралича у себя в имении в Киевской губ.

В св. дружину Воронович посылал пространные и обстоятельные доклады. Несомненно, он привирал в них и по обыкновению всех агентов раздувал размеры движения. Но не подлежит сомнению, что в целом ряде городов возникли „вольнословские“ кружки, были во всяком случае сочувствующие и содействующие. Можно допустить, что в некоторых случаях кружки возникали и без помощи самого Вороновича. Однако не было никакой нужды в Вороновичах, чтобы создать в России организацию содействия „Вольному Слову“. Для этого была, во-первых, подготовленная почва, во-вторых — велик был на юге авторитет Драгоманова. Его имя действовало вернее и убедительнее, чем неопределенная программа Земского Союза. Для украинской молодежи Драгоманов оставался еще кумиром. Его называли „батькой“ в студенческих „громадах“ Киева, Одессы, Харькова. Он становился идейным вождем для радикальной земской интеллигенции, будировавшей потихоньку в полтавском и черниговском земствах. Воронович привирал, но не сплошь врал: „Вольное Слово“ читалось всюду, доходило до самых глухих углов, и всюду, как и в эмиграции, будоражило публику. Часть, — и притом более значительная, — готова была видеть в проповеди „Вольного Слова“ измену революции, трусость

даже прямое предательство. Но было и меньшинство, которое энергично поддерживало Драгоманова. В земских кругах на юге известие об образовании Земского Союза не должно было вызвать особые сомнения. Идея этого союза носилась в воздухе.

У Драгоманова были корреспонденты в России. „Старая Громада“ в Киеве уже отворачивалась от него, но левые ее члены, с Н. Ковалевским во главе, поддерживали связи и сохраняли прежнюю верность. Приезжали люди из России и рассказывали Драгоманову об успехе „Вольного Слова“ в кругах либеральной интеллигенции. И Драгоманов верил, что земское движение не миф, не фикция; он преувеличивал силы движения, поддавался увлечению. Он искренне писал Мальшинскому, что никак нельзя теперь прекращать газету, потому что „идеи з. с. идут в ход“.

С этим „вольнословским“ движением у Драгоманова были и собственные связи. Являлись люди, которые предлагали свои услуги для организации кружков в России и распространения там литературы. Из этих людей двое заслуживают внимания: студент Степан Эрастов и киевский адвокат Владимир Волков.

Эрастов — украинец по происхождению, сын священника, был член студенческих „громад“ на юге, но в то же время был близок и к народофильским кружкам. В 1881—82 г.г. он учился в Петербургском университете и здесь вместе со студентом Литевским основал вольнословский кружок, находившийся в письменных сношениях с Драгомановым. Эрастов был человек энергичный, подвижной: к Драгоманову он питал безграничное уважение и за дело взялся с рвением. Летом 1882 г. он побывал в Женеве, познакомился с Мальшинским и затем совершил поездку по России, вербуй сторонников св. дружины об этом знала и даже отчасти была в курсе дел петербургского студенческого кружка. У Драгоманова не было оснований держать все это в тайне от Мальшинского, а Мальшинский регулярно осведомлял свое начальство о Драгоманове и о близких к Драгоманову людях. Мальшинский вообще поддерживал связи с заграничной агентурой св. дружины и даже сносился, — соблюдая крайнюю осторожность, — с тем самым Климовым, который в „Правде“ изобличал его в продажности и в принадлежности к полиции. Это невероятно, но это так.

Эрастов верил в существование Земского Союза и, естественно, требовал установить с ним прямую связь в России. Это было ужасно неудобно для Св. дружины, которая хотела всячески проникнуть в революционные организации, но не хотела никого впускать в свои ряды. Когда Эрастов уезжал из Женевы, Драгоманов прямо предложил Мальшинскому снабдить Эрастова надлежащими адресами и рекомендациями, чтобы Эрастов мог стать равноправным членом земского союза. Мальшинский уклонился от этого и в письме к Драгоманову отделался общими фразами:

„Кстати об Эр-ве. Дайте ему, пожалуйста, общую инструкцию во время его поездки оттягивать на месте украинцев от революционного централизма. Да пусть сближается с нашими людьми, из которых кто-нибудь наверно поедет на юг теперь же“.

Конечно, такого рода отписка мало удовлетворила Драгоманова и еще меньше Эрастова. А то, что писал Эрастов уже из России, приводило Драгоманова и совсем в недоумение. Повидимому, Эрастов жаловался на то, что Земский Союз отказывается вступить с ним в прямые сношения и отсылает за инструкциями в Женеву, к Драгоманову и Мальшинскому. Драгоманов писал:

„Посылаю Вам письмо Эрастова в целости. Прочитав, верните. Увидите, что и тут чепуха. Не то, что про Суд-на и пр. болтают и что Н. Вольцы бушуют, а то, что Эрастов, очевидно, ни в какую интимность с Вашими не пущен и инструкции ждет от Вас. Таких инструкций (куда жіхати? и т. п.) он, конечно, не получит, — и вот лето даром пропадет для Эр. Я думаю, что по здоровому разуму следовало бы, чтобы Эр. был принят как полный член З. Союза, иначе как же он может быть посредником Союза с другими? Ничего не зная, он обращается ко мне, который тоже почти ничего не знает, и через меня к Вам, который за тридцать земель. При таком положении я совсем не знаю, как исполнить Вашу просьбу дать Э-ву „инструкцию“ — пусть сблизается с нашими людьми и проч.“.

Поведение Земского Союза казалось, повидимому, Эрастову весьма странным, и у молодого человека в связи с упорными слухами о причастности Судейкина к „Вольному Слову“ зародились сомнения. Это отразилось в его письме к Драгоманову. Мальшинский отвечал в раздражении:

„Многоуважаемый Михаил Петрович! Только что получил Ваше письмо и при нем письма Волкова и Эрастова, последнее при сем возвращаю. Особенно благодарен за присылку последнего письма: оно многое выясняет. Прежде всего очевидно, что „Вольн. Сл.“ возбуждает всеобщее неудовольствие в той среде, в которой вращается Э-в, — неудовольствие совершенно такого же свойства, каким отличаются писания Черкезова, генеральской козы ¹⁾ и К^о, одним значит миром мазаны. Затем уже следует все остальное, т.-е. легенды о Судейкине и надпись жандармского управления (какого?) на пакете ²⁾. Сам Э-в, после моего приезда в П-бг, имел полную возможность сблизиться с нашими людьми, если бы того искренно желал, т.-е. если бы действительно сам не колебался и не слушал советов своих близких друзей. Мне очень жаль, что этот молодой человек находился всецело под влиянием духа кружкового товарищества, и потому сам себя спутал по рукам и ногам по отношению к представителям в П-бге „Земского Союза“. Последние не младенцы и, очевидно, весьма скоро поняли, в чем дело. При таких условиях, очевидно, не могло завязаться отношений, основанных на взаимном доверии, тем более, что „Союз“ по мере возможности исполнил поручение Э-ва, последний же по обстоятельствам, изложенным в письме к Вам, не исполнил своего обещания прислать в „Вольн. Сл.“

¹⁾ „Генеральской козой“ в переписке между Драгомановым и Мальшинским именуется „Общее Дело“. — Д. З.

²⁾ Слух, циркулировавший среди эмиграции. В чем тут дело, — из писем не видно. — Д. З.

корреспонденции. Он сам предложил мне это, а теперь, как видите, находит исполнение этого предложения зазорным для своей компании. Стало быть, он слишком скор на предложения и неустойчив в своих мнениях. Таким образом, и самой ничтожной услуги он не мог или не хотел оказать „Союзу“ или даже просто мне лично, как редактору „Вольн. Слова“, хотя, как видно, я лично ему и не противен. Что касается до распространения им „Вольн. Слова“, то на то было его собственное желание, а не оказание „Союзу“ услуги за услугу. Мне тем прискорбнее неудача отношений с Э-вым, что Э-в украинец, а в „Вольн. Слове“ частный интерес Украины поставлен выше общерусских интересов и лишь благодаря Вам и мне можно было выдвинуть нашу родину на первый план в таком всероссийском учреждении, как „Земский Союз“. Если между нами могут становиться личности, подобные Судейкину, и отталкивать друг от друга людей, преданных общему делу (очевидно, что вся легенда о Судейкине выдумана самим же Судейкиным, да им же или по его наущению по всей вероятности и сделана надпись на пакете, если еще такая надпись не миф, опять же измышленный Судейкиным), то нам разговаривать больше не о чем. Удивительно только, что Э-в сам себе не представляет фальши своего положения при таких условиях и находит возможным в сношениях с Союзом начинать прямо со второго шага, не сделав первого, — т. е. не отрешившись от узких кружковых предилекций и боязни того, что скажет, боже мой, княгиня Мария Алексеевна.

Пусть проездится на родину, освежится действительною жизнью, попробует сблизиться с тамошними людьми, не задаваясь никакими кружковыми целями; присмотрится, поучится — и тогда, быть может, перед его глазами рассеется кажущийся ему теперь „туман“ программы „Земского Союза“. Возвратившись же в Петербург с запасом фактов действительной жизни, ему будет на чем сойтись с членами „Союза“. Покуда же еще рано, по-моему, пишу Вашу руку. А. Мальшинский.

Письмо это поражает своей развязностью и наглостью. Но именно эта самоуверенность и сбивала Драгоманова с толку. Он во всяком случае поверил Мальшинскому, который таким образом ловко отбил первую попытку, хотя бы и ненамеренную, разоблачить тайну Земского Союза. Ясно становилось, однако, что авантюра Шувалова заходит слишком далеко. Привлекая к себе внимание, вызвав вокруг себя некоторое движение, Земский Союз не может долго оставаться простой фикцией. За Эрастовым последуют и другие ¹⁾.

¹⁾ Дальнейшая судьба Эрастова была такова. В 1883 г. за принадлежность к тайному революционному сообществу „Громада“ и за сношения с эмигрантами он был выслан в Зап. Сибирь на три года под надзор полиции. Отбыв срок ссылки, он переехал в Ростов „под предлогом занятий мелким комиссионерством“, — по выражению полицейского дознания. В 1894 г. возникло в Ростове дело „о пропаганде среди рабочих“, и среди привлеченных и арестованных оказался Эрастов. Жандармы отводили ему второстепенную роль в соц.-демокр. пропаганде. Он будто бы доставал среди интеллигенции финансовые средства для организации. Ему было запрещено проживать в крупных центрах и три года он был под надзором полиции. — Истор. револ. сборник под ред. В. Невского. II, стр. 225.

Так оно и было. За Эрастовым тем же путем пришел в Земскому Союзу Владимир Волков. Возможно, что этот Волков и зашел несколько дальше, чем Эрастов. Он взял на себя, будучи в Женеве, задачу связать „Вольное Слово“ с земскими кругами в Москве. Об его переговорах с общественными деятелями мы скажем ниже, а теперь отметим одно странное обстоятельство, для объяснения которого у нас нет данных. Волков подробно информировал Драгоманова о своих переговорах с москвичами, — и это естественно. Но он же сообщал и св. дружине о своей переписке с Драгомановым, и стало быть он имел какие-то сношения с деятелями Св. дружины и помимо Драгоманова. Копии его писем сохранились в архиве гр. Шувалова, и на одном из них есть такой заголовок: „Мое третье письмо“. Как попали эти письма к Шувалову?

Волкову по делам киевских сахарных заводов приходилось бывать в Царстве. В одну из таких поездок, в январе 1862 г., он познакомился с „Рольным Словом“, заинтересовался им и написал Драгоманову о желании поставить в России широкое распространение газеты. Затем в Москве Волков вел переговоры с Ланиным, известным либеральным общественным деятелем, издателем газеты „Курьер“ и владельцем популярного на всю Россию заведения шипучих напитков. В переговорах участвовали и другие общественные деятели. Имена их нам неизвестны, но повидимому в курсе дела был и В. Гольцев. Москвичи отнеслись к предложению Волкова сочувственно. Был намечен план снабжения „Вольного Слова“ финансовыми средствами и литературными материалами. Волков об этом сообщил Драгоманову, а Драгоманов — Мальшинскому. св. Дружина, со своей стороны, такому успеху чрезвычайно обрадовалась и всячески поощряла дальнейшие сношения с Ланиным, надеясь, очевидно, таким путем проникнуть в самый центр земской оппозиции. В июне Волков лично побывал в Женеве у Драгоманова, и они по пунктам выработывали проект соглашения с земцами. Предполагалось, между прочим, объединить земцев южных и северных и созвать предварительно украинский съезд. Все это брало на себя Земский Союз.

Однако дело сорвалось. Волков уехал в Россию и оттуда прислал письмо Драгоманову (от 22 июля 1862 г.). Он повторяет, что первые его попытки „по привлечению московской либеральной партии к участию... были встречены сочувственно“, — но

„недолго однако продолжались наши надежды и вскоре они разрушились перед такими препятствиями, которых я менее всего мог ожидать... Дело вот в чем: Л(анин), к которому я обратился прежде других, как уже заявлявшему и в своей партии и при других случаях свое крайне либеральное направление, по прочтении и ознакомлении с „В. С.“ заметил мне прежде всего его видный недостаток (тот же самый, о котором я с вами говорил) — это бедность содержания и малоинтересность его для большинства публики, нуждающейся не в теоретическом обсуждении экономических и социальных вопросов, но в живом слове пропаганды, в общедоступной форме изложения. Это, как я уже заметил вам, недостаток, который происходит от бедности

вашей в сотрудниках и легко исправимый! Но за этим первым замечанием выступили и другие, более серьезные, такие замечания, которые невольно поколебали и мое доверие к „В. С.“. Два серьезных аргумента выставляют московские либералы против „В. С.“, а именно: 1) неопределенность его программы (об этих обстоятельствах мы не раз беседовали с вами и я настаивал на опубликовании ее в более категорической форме), и 2) полное недоверие к личности редактора, который, как оказывается, не только в этом кружке, но и в других фракциях наших революционеров пользуется самой ненадежной репутацией. Правильно или неправильно такое недоверие, это вопрос, разрешить который очень трудно; но мне кажется, что публицист, поставивший себя во главе органа, долженствующего служить выразителем идей партии, стремящейся к освобождению от деспотизма, — как жена Кесарева, не должен быть даже подозреваем. Я верю в Вас, М. П., но допускаю, что и Вы могли быть введены в заблуждение. Кроме этого за редакцией стоит также какой-то З. С. (Земский Союз), о котором никто в России понятия не имеет. Что это за сообщество, какова его цель? Если оно действительно существует, почему оно не показывает себя? Нельзя же приписывать это одной только осторожности. Все это, скажу вам откровенно, ужасно меня смущает. Друзья мои убеждают меня, чтобы я прервал только что начатые сношения с „В. С.“, но я не сделаю этого, потому что хочу сохранить с Вами те же дружеские отношения, которые, кажется благодаря обоюдной симпатии, так скоро завязались между нами“...

И дальше Волков уговаривает Драгоманова бросить „Вольное Слово“ или дать ему погибнуть и основать с помощью московских либералов новый журнал. „Все эти откровенно высказываемые мысли, — заканчивал свое письмо Волков, — прошу Вас, М. П., сохранить в величайшей тайне. При свидании расскажу все то, чего здесь не досказываю“.

В таком заблуждении находился Драгоманов, видно из того, что он письма Волкова немедленно, в подлиннике переслал Мальшинскому. А Волкову отвечал так — в условном тоне, потому что письмо шло в Россию, — но достаточно прозрачно:

„Оба письма Ваши я получил. По обстоятельствам, приходится отвечать Вам только на второе. Очень жаль, что переговоры Ваши с предполагаемым вкладчиком получили вдруг неблагоприятный оборот. Но я советовал бы Вам проверить его настроение. Вытекает ли его скептическое отношение из абсолютного недоверия к предприятию или из недостаточного знакомства и с Вами и из недостаточности Ваших полномочий? В последнем случае дело легко поправить на месте и преодолеть тот дух недоверия, который при настоящем состоянии рынка вполне понятен.“

Но, конечно, еще более мне печально было читать те замечания, какие Вы [неразборно] нашей фирмы от себя, и то, что Вы столь лестно выгородили меня, не служат мне утешением. Я уже говорил Вам нечто о директоре, после чего многое должно было стать Вам понятным из того, что Вы слышали о нем. Я не первый день с ним имею дело, вижу его по два-три раза в день,

получал за него корреспонденцию, видел не раз его важнейшие бумаги, юридические и денежные, видел людей, к нему приезжавших по делам, и как личная его благонамеренность, так и не мифичность его партнеров для меня очевидны до того, что я могу только с улыбкой относиться к скептицизму на этот счет. Мало того, я знаю, что значительная часть нареканий на него вызвана мыслью (что я ему предсказывал, когда он меня приглашал в помощники), так как я своим дерзким способом вести коммерцию навязал себе немало неприятелей, которые, не имея возможности напасть на меня с известной стороны, нападают на него.

Конечно, и сам директор и его акционеры далеко не без недостатков и, поверьте, я их вижу лучше, чем кто другой, уже потому, что близко стою к делу. Директор мало талантлив, не глубок и неопытен в своем специальном деле, да и акционеры еще только пробуют почву и организуются. Но выбирать надо из готового. Не всякий возьмется за предприятие неверное и рискованное.

В последние лет 5—6 я имел сношения с людьми, казалось бы, более подходящими, — да всегда вычислялось ничем, хотя во всех случаях инициатива планов исходила от этих самых людей. Что до акционеров, то самый рост их сознания и планов за последнее время говорит за то, что они пойдут далее, увлекались жизнью, а не теорией. Конечно, неталантливость директора и некоторое [неразобрано] акционеров мешает многому — и т. пр. составляет причину неясности опубликованного плана коммерции. Мне он нравится меньше, чем многим, напр. Вам самим (судя по Вашему первому письму.) Но главное, на теперешнюю минуту, есть и в плане и в самой коммерции, — улучшение зависит от самой публики. До сих пор не было ни одного примера, чтобы фирма оставила без внимания какое бы то ни было замечание. По всему этому я не считаю себя ни в праве, и не считаю благоразумным оставлять дела, особенно рывшие условленного уже срока. Я свой долг исполню, как могу и умею, а другие пусть делают как хотят. Желаю от души успеха новым предприятиям, только, думаю, неблагоприятно пренебрегать синицей в руке — на-ва журавля в небе, особенно, когда есть полная возможность приблизить синицу к журавлю. Ваш Леонид*.

В этом письме „директор“ — Мальшинский, „фирма“ — Земский Союз, „владельцы“ — Ланни и московские земцы. „Дерзкая коммерция“, о которой говорит Драгоманов, — это его выступления против террора и вообще против народовольцев, возбуждавшие эмиграцию. Драгоманов себе приписывал значительную часть того недовольства, которое вызывало „Вольное Слово“; ему казалось, что Мальшинский как бы жертва отношений, сложившихся в эмиграции, и он старался выгородить Мальшинского. Это, повидимому, было одной из причин, заставлявших Драгоманова упорно, даже упрямо отворачиваться от всяких указаний на сомнительное прошлое Мальшинского и на сомнительную его нынешнюю роль.

Убежденность Драгоманова действовала и на Волкова. Переписка между ними продолжалась еще некоторое время, — без видимых однако результатов.

Перед св. дружиной всгдал серьезный вопрос. Дальнейшие шаги ее тормозились из-за недоверия к Мальшинскому и Земскому Союзу. Шувалов, который был летом 1882 г. за границей, но знал о переговорах в Москве между Волковым и земцами и очень интересовался этими переговорами, писал в Петербург, что Мальшинский служит теперь помехой делу и надо бы его заменить другим лицом. Повидимому, этот вопрос был предпретен, и Мальшинский не случайно отошел в сторону от редакционных дел.

Сложнее был вопрос о Земском Союзе. Прятать его дальше не было возможности. И Шувалов возбуждает в св. дружине вопрос о превращении Земского Союза из фикции в реальность, то-есть о провокации чистейшего рода. Доклад Шувалова по этому вопросу заканчивается таким любопытным предложением:

„В заключение долгом считаю доложить Ц. К., что по всем признакам различные личности, верящие в существование (Земского Союза), исключительно чрез посредство редакции „Вольное Слово“ или же помощью Петербургской и Московской „Станции“, пожелают сойтись с более серьезными членами этого фиктивного сообщества. В продолжение некоторого времени можно будет, конечно, отклонить такого рода предложение. Но со временем придется показать им нечто вроде названного Союза. Составить такого рода Союз из агентов едва ли возможно, так как во-первых пришлось бы в таком случае перезнакомить агентов между собой, а во-вторых установленная фикция изображает членов Союза в виде состоятельных и либеральных землевладельцев интересующихся земским делом, что несколько не подходит под тип наших агентов. По моему мнению, всего желательнее было бы изобразить Земский Союз небольшим кружком братьев С.-Д., перемешанных с двумя, тремя настоящими либералами (вроде Лихачева, Рагозина и Скалона) и т. д.

Покорнейше прошу Ц. К. не отказать мне в точной инструкции по сему предмету“.

Ответ Центрального Комитета св. дружины нам неизвестен. Возможно, фарс, затеянный Шуваловым, получил бы и дальнейшее развитие. Но можно попустить, что затея Шувалова явным своим авантюризмом испугала высокопоставленных его друзей. Прогивавши св. дружине в правительственных кругах вели уже энергичную кампанию против нее, и в частности против Шувалова, обвиняя его в конституционных замыслах, в тайном сговоре с революционерами. Известная полицейская записка прямо говорила о поощрении св. дружиной нелегальных обществ.

Но если бы и осуществился проект Шувалова и несколько сановников устроили маскарад,—все равно было ужэ поздно. Св. дружина рухнула, увлекая с собой Шувалова, Земский Союз, агентуру и еще другие провокаторски-фантастические предприятия.

IX

В конце 1882 г., как известно, св. дружина ликвидировала свою организацию и свои дела. „Правда“ вместе с Климовым перешла к министер-

ству внутренних дел. А „Вольное Слово“? У нас нет никаких данных для ответа на этот вопрос. Мальшинский оставался в Женеве до лета 1883 г. и своих сношений с „Вольным Словом“ не прерывал. Но с 1 января 1883 г. Драгоманов стал и официальным редактором газеты, о чем была статья в № 52. Программа, состав сотрудников, тон и характер газеты не изменились, и она по-прежнему выходила как орган Земского Союза, в существование которого Драгоманов продолжал непоколебимо верить. Деньги из России Драгоманов стал получать на свое собственное имя, и состоялось даже у него личное свидание с одним приехавшим из России „антихристом“, — повидимому, графом Шуваловым. Зачем этот граф продолжал и теперь свою мистификацию, какова теперь была роль Мальшинского? Мы не знаем. Дремучий лес остается таким же, если еще не более — дремучим.

„Вольное Слово“ выходило регулярно, два раза в месяц, но в пересылке денег из России начались серьезные перебои. Под изданием явно заколебалась почва. Но Драгоманов смотрел на газету как на свое дело, относился к нему с увлечением и боролся за нее, как журналист. Он доставал деньги у своих знакомых, входил в долги. Он считал необходимым дотянуть дело во всяком случае до коронации, с которой он, как и многие, связывал какие-то надежды. Ему казалось, что идеи „Вольного Слова“ начинают иметь успех в кругах революционной эмиграции. Плеханов в это время решительно выступил в защиту политической борьбы и немедленно был награвлен за это со стороны народолюбцев кличкой „конституционалиста“ и „либерала“. Драгоманов приписывал, — не без некоторого основания, — и своему влиянию намечавшийся поворот в настроениях. Тем обиднее казалось угасание „Вольного Слова“.

В апреле Драгоманов писал Мальшинскому, который еще был за границей, но уже собирался уезжать в Россию:

„В тот же день как Вы уехали, мне принесли из Лионского Кредита 3000 фр., но письма никакого. Ждал, — и терпение потерял. А между тем неизбежно надо выпустить №№ 60 и 61, чтоб выпечатать присланный материал, конечно, гарнитурой. Так я и сделаю, хоть влезу в долг. Да и нельзя умереть до коронации. Надо храбриться.

Когда б хоть возможность переговорить с кем. Писать К-ому я боюсь, чтоб его не посадить. А в крайнем случае хоть бы 1 № в м. пускать, хоть бы в экономию пуститься, — только бы не умирать. Ведь скандал. Могу ли надеяться кого-либо увидеть?“

В конце мая вышел последний двойной (61 — 62) номер „Вольного Слова“. В заметке от редакции было сказано: „Номер запоздал выходом как по причине скопления трудно разделенных материалов, так и потому, что редакция ожидала получения важных для нее сообщений из России. Ожидание это, по неизвестным причинам, пока не оправдалось. Поэтому выпуск следующего номера откладывается на неопределенное время“.

Драгоманов не терял надежды на то, что „Вольное Слово“ возобновится. В июне 1883 г. уезжал в Россию Мальшинский. Драгоманов давал ему пору-

чения в разные города, и из этого видно, что доверие к Мальшинскому несколько не было поколеблено, и этот господин был в курсе сношений Драгоманова с Россией.

„Многоуважаемый Аркадий Павлович, — писал Драгоманов, — вот те предметы, о которых желательно бы было, чтоб Вы поговорили в России.

1) В П-бге: с Зуб [не разобрано]: о корреспонденциях, почему не посылают? о планах и действиях кружка? Не могут ли помочь изданиям: книги П(авли)ка о „Спилях“, Кобзарю, Политичним пісням? Почему бы не прислать своего делегата на разговоры?

2) В Москве: Получил ли В—в письма мои? Почему не писал, и не присылал М. Т. с 35 №? Что думает делать дальше?

3) В Харькове: что думает делать барыня и К-о?

4) В Киеве: Борисов (ред. Зари) то же, что в Пт-бге. Жду делегата. Что делают одесситы?

В Питере: Нельзя ли получать корреспонденции от Ст(асюлеви)ча, Спа(сови)ча, У(ти)на?

Адреса можно дать парижские.

Очень буду ждать ответа хоть на часть вопросов. М. Ф.—на (жена Мальш.) забыла польские книги. Как зовут барыню?—я ей пошлю.

За сим: до свидания, дорогой Аркадий Павлович. Спасибо Вам за все хорошее и за добрые личные чувства. Желаю очень еще свидеться. М. Ф. крепко жму руку.

Ваш М. Драгоманов.

Собственно о „В. Словских“ делах не пишу, Вы их знаете и, надеюсь уладите по мере возможности“.

Мальшинский уехал с обещанием немедленно прислать письмо и деньги и для Драгоманова потянулась полоса томительного ожидания. Вторая половина 1883 г. и ближайшие за ним годы были самым тяжелым и болезненным периодом в его жизни. После закрытия „Вольного Слова“ он остался без работы, без средств к существованию, в полном одиночестве. Его письма отражают и крайнюю материальную нужду и чувства разочарования и горечи. И все же он верил, что Земский Союз существует, хотя и замер на время, и что его можно оживить. Он писал Мальшинскому в Петербург инсказные письма, подписываясь условным именем К. Василенко. В августе 1883 г. он писал:

„Похлопочите, будьте ласковы, чтоб меня выручили. Я не получил по 1 мая 3000 фр., да потом за 2¹/₂ штуки по справедливости следовало бы получить хоть 1500, чтоб покрыть хоть грубейшие материальные расходы. Я теперь в долгах, из которых не знаю, как и выкручусь; отправив семью, остался с суммою, на которую, право, и месяца обедать нельзя, а к концу месяца надо платить за 2 квартиры и т. д. и т. д. Я, знаете, небольшой охотник говорить о таких сюжетах, но теперь очень уж припекло. Да напишите, какие виды на будущее. Жаль, если никаких, ибо по моим признакам вижу, что прошлое было не бесплодно. Говорил я с 3-мя серьезными при-

езжими, из которых два очень охотятся собирать товарищей в наших краях. Да и тут летом Жоржинька¹⁾ стал требовательнее. Та ба! Тру!²⁾

Из России от Мальшинского он получил раза два краткие извещения, что деньги на расплату с долгами будут высланы, но в действительности денег не высылали. И приходилось снова напоминать и просить... В одном из писем попутно Драгоманов говорит о разрыве между народолюбцами и чернопеределцами и об образовании группы „Освобождение Труда“.

„Дней с 12 назад А. В. показала мне письмо, в коем я прочел переданные от Вас слова, что „по тому письму исполнено“. Но до сих пор „исполнения“ я не получил. Между тем дела мои дошли до крайности. В какой я никогда не был, пока стоял исключительно на своих ногах. Я кругом должен и, что хуже всего, — ничего не могу сказать положительного своим кредиторам и уж совсем не знаю, что я скажу тому „помещику“, которого деньги я употребил на текущие расходы и который скоро должен быть здесь. Одно остается: выдавать векселя и продавать женину землю для их покрытия. Я к этому и приступаю, — но прежде еще раз обращаюсь к Вашему посредничеству с просьбой поспешить с окончательным и категорическим ответом: да или нет? — Неделю 3 получил-было письмо от А(нтихри)ста с обещанием свидания в конце августа. „Сентябрь уже наступил“...

Новости тут по торговой части не безынтересные: соседний магазин опять разделился на две лавки, из коих обе теперь печатают отдельные проспекты. Один из них я просматривал: при мешанине старой, есть и товары, которыми мы торговали; кажется это вышло так по расчету — привлечь публику. *Ваш К. Василевско*“.

Но еще и в начале 1884 г. Драгоманову приходится требовать через Мальшинского денег для расплаты с долгами по „Вольному Слову“. И снова попутно он пишет о настроениях и течениях в политической эмиграции. „Измышления одного противника, который теперь повторяет наши слова“, — это брошюра Плеханова: „Социализм и политическая борьба“.

„Самое главное это то, что в последнее время было много указаний и с юга и с севера и здесь на то, что идут наши встречают сочувствие, но активно и организованно все-таки за них никто не берется. Кой-кто было брался, но провалились, оставив впрочем завешание, которое надеюсь скоро прислать, если укажете как. Интересно было бы прислать Вам и измышления одного противника, который теперь повторяет наши слова. Сегодня узнал, что то же затевает и Коза, которая будто бы должна потолстеть через поддержку из отечества. Отчего Вы не пишете ничего? Неужели нечего писать? Что случилось с нашим собеседником? Если выручите застрявшие теперь деньги, то есть ли надежда получить остальные 1500 фр. Право, я бы их употребил на полезные вещи.

Еще раз прошу: помогите окончить так или иначе мое денежное дело. Вы не поверите, в какое положение поставили меня постоянно возбуждае-

¹⁾ Г. В. Плеханов.

мне и неосуществимые надежды с разных сторон. Подумаешь, что кто-то просто смеется надо мною. Только за что? За работу?.. А теперь и работы не могу выпросить у людей...”

Это было последнее письмо Драгоманова к Мальшинскому. На этом и обрываются все известные нам данные о сношениях Драгоманова со св. дружиной в лице Земского Союза. Правда, Мальшинский еще не терял надежды использовать Драгоманова и затеять новое дело. Хотя св. дружина официально и прекратила свое существование, но деятели ее — по крайней мере некоторые — свою работу продолжали. Шувалов находился уже за границей, в состоянии нервного расстройства. Князь Щербатов был под судом... Но уцелел „набольший“ св. дружины, старший магистр этого ордена титулованных заговорщиков, гр. Воронцов-Дашков, — и это с ним Мальшинский вел переговоры о высылке Драгоманову денег. Речь шла, однако, не только о деньгах... Н. Шмит, бывший начальник Третьего Отделения, а затем глава секретного розыска в св. дружине писал 19 декабря 1883 г. Мальшинскому:

„Милостивый Государь Аркадий Павлович, — позвольте мне сообщить Вам, что сейчас известили меня, что перевод денег не может быть сделан ранее 2 — 4 дней, вследствие весьма простых денежных соображений.

Вчера же граф Воронцов-Дашков извещен мною о смысле телеграммы Др-а. Если бы Вы вновь получили от него же подтверждение или нечто, имеющее какое-либо отношение к тому вопросу, который вы усматриваете в телеграмме, полученной 15 числа, и если Вы не будете предполагать дать этому сообщению какое-нибудь определенное назначение, то не откажите сообщить мне, для немедленной передачи гр. Воронцову. Прошу Вас, Аркадий Павлович, верить в уважение преданного Вам Н. Шмита. Если бы Вам угодно было повидать меня сегодня утром или днем, то я сижу дома из-за небольшого воспаления глаза“.

Дремучий лес так и не открыл до конца своих тайн...

Д. Заславский.

Четверть века назад ¹⁾.

(Странички из воспоминаний).

На рассвете 12 марта 1898 года я подъезжал на извозчике к Киевской губернской тюрьме. Справа, от Днепра, тянуло пронизывающим холодком весеннего ледохода. Слева, охватив талию рукой, крепко прижимался ко мне непрощенный спутник — сопровождающий меня в тюрьму помощник пристава. Чем ближе подъезжали мы к Лукьяновскому базару, тем чаще и чаще попадались навстречу „обратные“ извозчики с исполнившими уже в эту тревожную ночь свои „служебные обязанности“ городовыми, околадочными и жандармами. С некоторыми из них мой спутник обменивался приветствиями.

— Ну, сегодня не одного вас потревожили, — проговорил он, обращаясь ко мне.

Мне и без него давно уже было ясно, что в эту ночь произведены массовые аресты, как ясно было и то, что по обстоятельствам обыска мой собственный арест, к сожалению, не может сойти за „недоразумение“.

— К Романовской даче? — простодушно спросил обернувшийся к нам извозчик.

— Что?! Поезжай, болван! — грозно оборвал пристав.

Несмотря на совсем невеселое настроение, я не мог не усмехнуться при мысли о той своеобразной связи, которая установилась в народном сознании между русской тюрьмой и русской царствующей династией.

В Лукьяновской тюрьме мне до сих пор не приходилось еще бывать, но видел я ее не впервые. Ровно за год перед этим здесь в течение нескольких недель сидело около двух сотен моих товарищей по университету, отбывавших арест за участие в „Ветровской“ демонстрации (18—19 марта 1897 года) ²⁾, впервые вынесшей на киевские улицы дух политического протеста и

¹⁾ Перепечатываем эту статью из своеобразного периодического издания, которое не получает общего распространения. Это — сборник, выпускаемый заключенными в Киевском Доме предварительного заключения. Полное его заглавие — „Заключенный“ следует: Сборник первый. Издание Культотдела Киевского Губернского Допра № 1 Киев. 1924 г.

²⁾ Курсистка Мария Ветрова покончила с собою в Петропавловской крепости, облив себя керосином. О причинах ее смерти ходили разные толки. Смерть Ветровой послужила к политической студенческой демонстрации 4 марта, разогнанной при помощи казаков. Демонстрация 18—19 марта явилась продолжением петербургских событий.

накопившуюся энергию студенчества. Их тогда поместили в верхнем этаже центрального корпуса. Окна их камер выходили на улицу и здесь, перед воротами тюрьмы и по обоям тротуарам (тогда не существовало деревянного забора, ограждавшего ворота тюрьмы от улицы), с утра и до вечера шумела и волновалась разносортная толпа, перебивавшаяся и обменивавшаяся приветственными сигналами с заключенными. Помню, одна из групп притащила с собой даже огромную ползоровую трубу, установленную на треножнике — нечто вроде домашнего телескопа, а и здесь установилась огромная очередь желающих заняться своеобразными „астрономическими“ наблюдениями. Стоила прекрасная весна, сияло солнце, возбужденно горели глаза у толпившейся молодежи, и чувствовалось, что политическая демонстрация, оборванная с помощью полицейской и военной силы там на центральных улицах города, получила свое продолжение здесь, на окраине, у самых ворот тюрьмы, что здесь невидимо протягиваются и закрепляются новые духовные связи и вербуются новые кадры борцов молодой России.

Через несколько дней пришлось и мне отбыть свое наказание за участие в демонстрации. Но я попал тогда не в Лукьяновку. В количестве до 300 человек нас сошнали в Исправительное Арестантское Отделение на Бибиковский бульваре (ныне Допр № 2), установившийся режим которых был несравненно более суров, чем на Лукьяновке. На нас, студентов, он, конечно, не мог распространяться, так как мы не были лишены прав и отбывали свой арест по предписанию министра внутренних дел Горемыкина. Но и те правила внутреннего распорядка, которые были обязательны для нас, были с первых же дней опространены и снесены напором ворвавшейся вместе с нами юной жизни. Немые до того коридоры, по которым, как тени, скользили фигуры заключенных, огласились шумом беспрестанно переходившей из камеры в камеру веселой толпы; разговоры полупопотом сменились звонкою молодою речью и стройным хоровым пением; убитый сотнями ног тюремный двор с утра до вечера гестрел сходящими и расходящимися группами студентов, а из окон и с крыш соседних домов неслись приветствия товарищей, оставшихся на свободе и пришедших к нам на это своеобразное „свидание“. Тут же, на дворе возникали иногда растягивавшиеся на несколько часов диспуты как по вопросам студенческого движения, так и по вопросам все сильнее и сильнее прокладывавшего свой путь в студенческую среду марксизма.

Здесь же среди нас, членов „Союзного Совета Объединенных Землячества, и Организаций“ (центрального, организованного студенчества, устроившего только что состоявшуюся демонстрацию), зародилась мысль об устройстве общероссийского студенческого съезда. К реализации этой идеи было приступлено немедленно после отбытия нами ареста. Был избран организационный комитет съезда, выработана программа, распределены доклады и разосланы приглашения. Съезд состоялся в августе того же 1897 года здесь же, в Киеве. Заседания его продолжались три дня и происходили в лозах, за старым руслом Днепра („Старик“), куда делегаты съезжались на лодках по

разным маршрутам. В Организационный Комитет входили пять представителей от Киева; В. В. Петров (соц.-рев., председатель Киевского Совета), В. Н. Михайлов (умерший в прошлом году известный врач-профессор: он тогда принимал к с.д.), А. М. Моргул (от украинской громады, — позднее земский деятель Полтавской губернии), Фиш (с.-р., позднее врач) и я — ныне политический арестант Допра № 1. В съезде принимали участие, кроме Киева, — Харьков (университет и технологический институт), Одесса, Москва, Казань и Томск. Представители от Петербурга отсутствовали по случайным как выяснилось позже, обстоятельствам (утеря конститутивного адреса). Съезд принял ряд резолюций о необходимости прочного организационного сплочения студенчества для борьбы за автономию высшей школы, выставил ряд демократических требований (свобода науки, свобода слова и печати) и призвал студенчество к поддержке складывавшихся в то время революционных социалистических партий. Изданные на гектографе „Труды Съезда“ высоко ценились в студенческой среде и оказали большое влияние на развитие последующего студенческого движения 1899—1900 г. г., о чем свидетельствуют случаи киевских студентов в солдаты, а также убийства министра народного просвещения Боголепова (выстрел Барловяча). В эти годы, как известно, политическая борьба студенчества достигла своей кульминационной точки, получив поддержку со стороны революционного рабочего класса, определенно выставившего на своем знамени лозунг борьбы с царским деспотизмом за установление народоуправления в форме, основанной на всеобщем избирательном праве („четырехмилетка“) демократической республики. Студенческому движению уделяли немало статей как „Искра“ так и „Революционная Россия“. По поводу его издавались специальные прокламации.

Наше пребывание в „Арестантских ротах“ (Допра № 2) продолжалось всего несколько дней, но оно в такой степени перевернуло вверх дном весь уклад тюремной жизни, что начальник этой исправительной тюрьмы, прощаясь с нами, принужден был заявить: „За эти дни вы испортили мне всю тюрьму“. В этих словах, сказанных, конечно, без всякой предвзятости мысли, таился своего рода пророческий смысл. Врываясь под затхлые своды тюрьмы бурливым и непокорным потоком несущейся вперед жизни, „политика“ — таким общим именем называли политических заключенных — не только нарушала установившийся уклад, но и создавала в тюрьме своего рода автономную республику, превращала ее в настоящую школу политического воспитания для тех тысяч и десятков тысяч политических борцов, которыми отныне стали заполняться стены царских Бастилий. Повсеместные мартовские аресты 1898 г., коими предполагалось ликвидировать только что образовавшуюся социал-демократическую партию, могут считаться началом этого процесса.

Лукьяновская тюрьма, с которой мне предстояло теперь познакомиться уже в качестве политического подследственного арестанта, сравнительно недавней постройки. Насколько я помню, надпись на ее воротах (ныне упраздненная) указывала на 1863 г. (год польского восстания), и только творимая

легенда может относить ее сооружение к Екатерининским временам¹⁾. Тем не менее, она имела свою почетную политическую историю. В 70-х и начале 80-х г.г. прошлого столетия Киев играл видную роль в революционном движении. В Лукьяновской тюрьме содержалось в то время немало видных землевладельцев и народовольцев. Отсюда произошел знаменитый побег политических, организованный М. Фроленко, отсюда же были выведены на казнь юноша Розовский и Валериян Осинский. Опозитивированная в преданиях и в „Революционных профилях“ Степняка-Кравчинского, личность Осинского особенно привлекала симпатии молодого поколения, вступавшего в жизнь в начале 90-х г.г. Много способствовала этому и революционная песня, приурочившаяся к казни Осинского („Прогремела труба, повалила толпа“...), часто распевавшаяся тогда в студенческих кружках и на вечеринках.

В 90-х годах Лукьяновская тюрьма состояла лишь из одного главного здания, выстроенного в форме буквы Е и расположенного посредине обнесенного каменной стеной четырехугольного пространства. Следственный корпус, в котором находятся теперь камеры предварительного заключения, сравнительно недавней постройки, и был закончен в 1911 году. От улицы тюрьма отделялась зданием конторы и конвойной команды. Позже в конторе была сделана пристройка, в которой теперь помещаются мастерские и бани. Часть этих мастерских помещалась прежде в нижнем этаже центральной части главного корпуса. Слева, если стать лицом к тюрьме, среди образцово-содержавшегося сада, была расположена тюремная больница, справа — помещения с казенными квартирами для администрации. Дальше шла усадьба и здания Дехтиревских богачей, за которыми уже открывалось поле. Позади тюрьмы шли тюремные сгороды, граничившие с пересеченными оврагами и буераками огромным пустырем, тянувшимся до Шулявки и только что выстроенного Политехнического Института. Никаких построек, в том числе и зданий Лукских казарм, тогда не было.

Центральная часть тюремного здания была предназначена для уголовных арестантов. Здесь помещались также церковь, часть мастерских, пересыльные камеры, а также и карцер. Политических заключенных размещали в боковых корпусах: правом (западном) — „мужском“ и левом (восточном) — „женском“. Большинство камер здесь были одиночные. В отсутствие политических сюда сажали наиболее строго содержавшихся уголовных. По рассказам одного из надзирателей, прослуживших в тюрьме около 25 лет, т.-е. со середины 70-х г.г., прежде одиночные корпуса соединялись внутренними ходами с центральным корпусом. После же побега, организованного М. Фроленко, внутренние коридоры были замурованы, и пробиты особые ходы с боковых сторон корпусов.

Тюремный двор, как и теперь, был разбит каменными перегородками на четыре части. Передний и задний дворы предполагались для прогулок заключенных центрального корпуса, два боковых — для одиночек. Двор представлял

¹⁾ Одним из творцов такой легенды является г. В. Яроцкий, посвятивший Лукьяновской тюрьме фельетон в „Пролетарской Правде“ (август 1923 г.)

собой утопанный сотнями ног плац, лишенный какой бы то ни было растительности—картина, так художественно нарисованная Л. Н. Толстым в его „Воскресении“. Но „как ни старались люди, как ни выпщивали они пробивающую травку,“—жизнь прокладывала свои пути даже и в этом мертвом царстве.

Политические корпуса были строго отделены от остальной тюрьмы. Но, как о том свидетельствует вся обширная история русской политической тюрьмы, достаточно обрисованная в разного рода мемуарах, нет таких стен и таких порядков, которые не могли бы перебороть упорное стремление арестованных ослабить накладываемые на них узы изолированности. Тюрьма всегда представляла собой особый замкнутый мир, с своим собственным строем, своими строго соблюдаемыми правилами поведения, своей внутренней дисциплиной. Ничто так не каралось в тюрьме, как донос или предательство. Как ни разделены были оба тюремных мира—уголовный и политический,—как резко ни отличались они между собой по своему составу и своему характеру,—это все же были лишь части одного целого. И так как политика с первых же дней сумела себя поставить и внушить к себе уважение, ей никогда не отказывали в услугах и подчас очень серьезных. Временами политическим удавалось устанавливать сообщения и с „волей“. Делалось это обыкновенно через отдельных надзирателей. В 1898 г. роль такого почтальона выполнял надзиратель Буяльский. Действовал он небескорыстно и зарабатывал немало, но услуги, им оказанные, были велики. Впоследствии его удалось устроить конторщиком при Киевском арсенале, где начальником мастерских был мой друг, капитан гвардии П. Т. Матюшенко, человек до глубины души преданный делу народного освобождения. В 1921 г. П. Т. Матюшенко трагически погиб в Холмогорском концентрационном лагере. В 1901-1902 г. огромные услуги заключенным оказывал надзиратель А. М. Гайчук. Это был друг политических в полном смысле этого слова.

Одной из старейших особенностей русской тюрьмы является старостат заключенных, подобие арестантского самоуправления, стихийно выросшее на почве удовлетворения чисто хозяйственных нужд арестантского мира и обратившееся с течением времени в необходимый элемент внутреннего управления тюрьмой.

С ростом освободительного движения, по мере заполнения мест заключения революционными борцами, этот институт должен был распространиться и на политическую часть тюрьмы. Особую роль он сыграл в киевской Лукьяновской тюрьме, где, опираясь на него, „политике“ удалось завоевать себе почти полную автономию, превратившую (в период 1898—1903 г. г.) киевский „тюремный замок“ в одну из наиболее льготных политических тюрем в России. Этому много способствовало отношение к политическим со стороны тогдашней тюремной администрации, а также та энергия, с которой „политика“ оказывала отпор стремлениям политической полиции (жандармам) ввести в тюрьме свои порядки. Между „политикой“ и администрацией быстро установился своего рода молчаливый договор, сводившийся к внешнему формальному соблю-

дению всякого рода инструкций и сравнительно большой свободе внутренней жизни политических. Это было достигнуто, конечно, не сразу и достигнуто благодаря тому моральному весу, который приобрела себе „политика“ в глазах администрации, а также благодаря энергии и дипломатическому искусству ее выборных представителей—старост, из которых следует указать Н. Н. Соколова (с.-р. 1898 г.), Иосифова (с.-р. 1899 г.), К. И. Шуляковского (с.-д. 1899—1900 г.), М. С. Урицкого (с.-д. 1900 г.), А. Берлина (с.-д. 1901 г.) и М. А. Гурского (с.-д. 1901—1902 г. г.). Нелишним будет здесь назвать и имена тех представителей тюремной администрации, которые вполне заслужили это своим отношением к политическим. Это были начальники тюрьмы: подполковник Левицкий, Магуза, а также их помощники Циржецкий, Ботвиновский ¹⁾ и штабс-капитан Аракчеев. Последний осенью 1901 г. (тогда я отбывал уже свой второй арест) исполнял должность начальника тюрьмы и с его ведома—старостой тогда был М. А. Гурский—мы регулярно получали номера „Искры“, прочитывавшиеся предварительно самим начальником. Так велико было тогда воздействие нараставшего революционного движения.

После затопья 80 г. г. мы были не первыми политическими заключенными в Лукьяновской тюрьме. В самом начале 90 г. г. (кажется в 1894 г.) здесь сидел Б. А. Кистяковский, один из первых проводников научного марксизма в Киеве, много способствовавший, благодаря своим связям в Галиции, появлению первого издания „Эрфуртской программы“ на русском языке,— в последствии известный философ-государствовед (умер в Екатеринодаре в 1920 г.). Кажется, в том же году здесь сидел и А. Г. Шлихтер, ныне уполномоченный Наркоминдела СССР на Украине. В 1895 г. в Лукьяновку был посажен по делу первого „Союзного Совета“ В. Н. Крохмаль; в 1896 г.— один из пионеров киевского соц.-дем. движения Ю. Д. Мельников. В 1896—97 г. г. здесь отбывал свой арест и И. Н. Мошинский, с.-д. Последний был арестован по делу транспорта нелегальной литературы через Галицийскую границу. Освобожденный после 6-месячного сидения, он занялся организацией марксистских кружков среди молодежи. Мое знакомство с ним произошло в связи с организацией им так называемого „рефератного кружка“, в котором принимали участие, между прочим, Н. А. Бердяев, А. В. Луначарский, М. С. Балабанов, Д. Я. Логвинский, умерший в Сибирской ссылке в 1904 г. и др. На этих свиданиях И. Н. Мошинский часто рассказывал нам о днях своего заключения на Лукьяновке, так что у нас имелось общее представление об ожидавшем нас теперь тюремном быте. Осенью 1897 г. было произведено также несколько арестов среди соц.-рев. В числе арестованных был и один из лучших с.-р. агитаторов Н. Н. Соколов, состоявший ко дню нашего прибытия в тюрьму политическим старостой.

Это были все же единичные аресты. В ночь на 12-е марта 1898 г. жандармско-полицейская сеть была заброшена очень широко и захватила не

¹⁾ Андрей Михайлович Ботвиновский в 1920 г. расстрелян украинцами при отступлении из Киева поляков.

только всю с.-д. организацию, но и часть с.-р., а также круги, примыкавшие к обеим партиям. Сюда, в Лукьяновскую тюрьму, свозили, кроме арестованных в Екатеринославе Б. А. Эйдельмана, А. Д. Поляка и К. А. Петрусевича, также и членов Киевской организации, разбегавшихся из Киева в предвидении возможных арестов. Уже в начале января 1898 г. была замечена усиленная слежка за многими членами организации. Кроме того, в том же январе П. Л. Тучапским и Б. Э. Шеном были получены два анонимных письма, написанных печатными буквами и уведомлявших о том, что „все выслежены“. Письма эти потом приписывались гувернантке помощника начальника Киевского жандармского управления полковника Преферанского, случайно подслушавшей служебный разговор своего хозяина. Ввиду этого вслед за избранием делегата на первый учредительный съезд (П. Л. Тучапский) было решено изменить состав организации, дав наиболее заподозренным членам продолжительный отпуск и введя в работу новые силы. Установление преемственной связи между работой старой и новой организацией было возложено на недавно прибывшего из Швейцарии секретаря заграничной организации Теслера и на меня. Однако и нам пришлось разделить общую участь. Из выехавших в январе были арестованы: В. Г. Крыжановская (Тучапская), С. Л. Померанц, Б. Э. Шен, В. С. Эттингер (ныне Давидзон) успела скрыться из Витебска за границу. Таким образом в Киевской тюрьме очутилась почти вся с.-д. организация, сыгравшая видную роль в развитии социалистического движения на юге России и в частности в деле создания Р.С.Д.Р.П.

Аресты 12 марта захватили свыше полутора десятка человек. Разместить их в одиночных корпусах было невозможно, и пришлось отвести общие камеры центрального корпуса. Распределением арестованных по камерам распоряжался сам генерал Новицкий (начальник жандармского управления), явившийся в тюрьму со всем своим штабом. Помню, когда меня вводили в контору для общего в таких случаях опроса (анкета), я наткнулся на неожиданную спешу. Просторная приемная была вся наполнена блеском эполет, аксельбантов и „малиновым“ звоном жандармских шпор. Посредине две пары офицеров кружились в вальсе. Остальные весело смеялись и разговаривали. Политические аресты, очевидно, всегда действуют на настроение их исполнителей в достаточной степени возбуждающе.

Согласно распределению, я попал на „мужской“ корпус в камеру № 19. Нижний полуподвальный этаж этого корпуса, где теперь находятся казематы для приговоренных к высшей мере наказания, был отведен под цейхгауз. В трех верхних помещалось 25 отдельных камер. Корридоры соединялись между собою деревянною лестницею, шедшею винтом и позволявшей находящимся в коридорах всегда расслышать шаги поднимающегося по лестнице, не рискуя самому быть замеченным. Это представляло свои удобства. Средний коридор был занят старыми тюремными жильцами, в нижнем были размещены тоже „старички“ и кое-кто из арестованных с.-ров (Н. Огарков и В. В. Петров), а также примыкавший к с.-д. А. К. Дроздов (перед революцией тов. председателя Симферопольского окр. суда). Верхний этаж был

целиком занят членами с.-д. организации. Здесь были размещены: в 17-й камере А. Д. Рабчевский, в 18-й К. И. Шуляковский, в 19-й я, в 20-й Теслер, а после него Яцковский (рабоч.), в 21-й П. И. Белоусов (покончивший с собою в прошлом году), в 22-й Эд. Плетат — раб. Ю. З. ж. дороги, член Рабочего Комитета, в 23-й П. А. Тучанский, в 24-й Терпилов — рабоч. Южно-Рус. завода и в 25-й В. Э. Шен. Эйдельман, Полик, П. Полонский и К. А. Петрусевич сидели во втором коридоре „женского“ корпуса, устроенного аналогично мужскому. На третьем этаже этого корпуса помещались В. Г. Крыжановская (Тучанская), С. А. Померанц, О. В. Яцимирская (Белоусова) и арестованные работницы. Остальные в количестве нескольких десятков человек были размещены в общих камерах центрального корпуса. Их окна выходили в тот же задний двор, куда смотрели и окна обоех одиночных корпусов. Так как в то время фактически не возбранялось заключенным сидеть на окнах и переговариваться между собой, то это обстоятельство имело огромное значение для арестованных. Запрещение показываться в окнах было введено уже после 1903 г., когда после побега 11 „искровцев“ в Лукьяновскую тюрьму были введены жандармы. Особенно же строго проводилось оно в Столыпинский период.

Среди сидевших в общих камерах были: И. А. Дьяков (лидер киевских с.-р.), Протопопов с.-р., В. П. Михайлов, В. А. Дрезлинг, только что приехавший из-за границы, ¹⁾ И. А. Бердяев и В. В. Годовозов, поддерживавший тесную связь с социалистическими организациями (особенно с.-д.) и оказавший большое влияние на развитие политической мысли революционного Киева. В течение 1897 года В. В. Годовозовым был прочитан для с.-д. организаций ряд нелегальных лекций о государственном строе Зап.-Европ. держав и о политических партиях. Им же делались доклады о выборах в рейхстаг и о партейтагах германской с.-д., на которых он лично присутствовал. При строгостях тогдашней цензуры, отсутствии всякой свободы слова и полном недостатке политической литературы, эти лекции и доклады, а равным образом и прения по ним, в которых также участвовали И. А. Бердяев, А. В. Дуначарский, М. Б. Ратнер, Д. И. Логвинский, Е. В. Тарле, имели огромное политическое-воспитательное значение. Беседы эти отчасти продолжались и в тюрьме, но сравнительно недолго, так как огромное большинство общих камер было освобождено в течение первых полутора месяцев.

В эти первые недели нашего заключения тюрьма стала центром посещения целого ряда административных лиц. Помимо участвовавших наездов прокуратуры и тюремной инспекции, заключенные удостоились посещения тогдашнего генерал-губернатора и командующего войсками ген. М. И. Драгомирова, а несколько позже и директора департамента полиции Звялянского.

Как и всегда бывает в таких случаях, и тюремная администрация, и заключенные были прекрасно осведомлены о всяком предстоящем визите и

¹⁾ Викентий Андреевич Дрезлинг, соц.-дем., земский деятель и литератор, умер от холеры в 1920 г. В 1917 г. он был председателем Киевского комитета РСДРП, а затем был избран председателем первой демократической думы г. Киева.

соответственным образом готовились к встрече. Генерал Драгомиров явился окруженный свитой своих адъютантов. Сопровождал его ген. Новицкий. В камеру Драгомиров вошел в своей генерал-адъютантской шапке. Свита шапки снимала.

— Вы студент? — спросил меня генерал.

— Студент.

— Какого факультета?

— Юридического.

— Вот и видно, что вам нечего делать!

Этим мудрым изречением и закончился наш диалог.

Посещение Драгомирова никаких последствий за собой не повело. Видимо это был акт простого административного любопытства, — черта, довольно распространенная во все времена.

Посещение Зюбинского имело другой характер. Однажды после торопливо-взволнованного рапорта коридорного надзирателя быстро защелкали откидывавшиеся четырехугольные „волчки“ одиночек, и мимо образовавшегося в двери отверстия молча и торопливо прошмыгнула по коридору поджарая фигура типичного чиновника в котелке и штатском пальто. „Волчки“ опять захлопнулись. Ближайшим последствием этого визита был перевод Эйдельмана и Теслера из Лукьяновки в Петропавловскую крепость.

Жизнь в одиночках шла несколько иным порядком, чем в общих камерах. Режим вначале был довольно суров, а изоляция одиночек довольно строгая. Нарушалась она только ежедневным посещением старосты Соколова, обходившего камеры в сопровождении надзирателя. Затем пошли послабления, во времени же окончания следствия изолированность была фактически снята и нахождение в одиночной камере представляло уже скорее удобство, чем лишение, так как избавляло от той сутолоки и того невольного общения, которые в общих камерах могут влиять столь же удручающе на нервную систему, как и слишком строгое одиночество.

Помещение одиночек было не из плохих. Хуже оно было в нижнем коридоре, где в камерах был цементный пол. В двух верхних коридорах полы были деревянные, крашенные, и это придавало камерам известный уют. Большое неудобство одиночных камер составляли окна в двойных железных рамах, заделанные в нижней своей трети кирпичом, с прикованной цепочкою фроточкой (фрамугой). Благодаря такому устройству, оконные стекла были совсем недоступны чистке и пропускали недостаточное количество света. Страдала несколько и вентиляция. Это последнее неудобство быстро было устранено самими же заключенными. Цепи были сорваны, и арестованные получили доступ к окнам, на которые надо было взобраться при помощи предоставленных кроватей. В некоторых камерах кровати были привинчены, и сорвать их с места стоило немало труда. Доступ к окнам приводил „одиночек“ в соприкосновение с тем „внешним миром“, который представлял собою задний двор тюрьмы. Сюда выпускались на прогулку по очереди общие камеры политических и уголовных. И у тех, и у других был прекрасный хор, и тюремный двор часто оглашался стройным пением. Сюда выходили окна

*

почти всех политических камер. Это давало возможность перекрикиваться между собой и обмениваться так называемой „почтой“, т.-е. передавать, спуская по веревочке, съестные припасы, табак, книги.

Установился такой обычай: от вечерней поверки, и приблизительно до 10 часов вечера перекрикивались уголовные, после 10 ч. двор поступал в распоряжение „политэки“. Иногда тут устраивались „литературно-вокальные“ вечера: кто-нибудь пел, декламировал, делал какие-либо сообщения. Так было отпраздновано заключенными и 1-е мая. Эти вечерние заседания на окнах были своего рода „клубом“. Во время их иногда решались и вопросы общего характера, например объявление всеобщей голодовки (в 1901 году).

На первых порах эти „заседания“ привлекали всех заключенных. Чем дальше шло время, тем больше они приедались, и заключенные всё больше и больше уходили с своим камерным занятием. Перекрикивания из окон их уже не развлекали, а раздражали. В особенности круто приходилось „старикам“, после каждого новых массовых арестов, когда опять вновь прибывшими „с воли“ вносилось столько сутолоки, утомлявшей ослабевшие нервы. И нередко можно было слышать, как во время нового оживления „клубной“ жизни из окон „стариков“ раздавалось сердитое ворчание, сопровождаемое порывистым захлопыванием оконных рам.

Одиночники имели прогулки. В первые дни их брали на прогулку по трое и разводили по специальным дворикам, устроенным в ограде „мужского“ корпуса. Двориков было два — каждый шагов 18 — 20 в длину; третий человек гулял вдоль цейхгауза. Такой организацией прогулок имелось в виду разобщить заключенных. Однако, в конце концов, это мало достигало цели. Стены двориков были испещрены надписями, вырезанными в кирпиче. Некоторые из них были давнего происхождения и замазаны слоем извести и краски. Некоторые вырублены. Во время одной из прогулок мне удалось под слоем краски открыть довольно глубоко высеченную надпись „Осинский“. Ее старательно очистили от известки. И видел ее потом и в 1901 — 1902 г.г. Кирпич, на котором она была высечена, кто-то, видимо, старался вынуть из кладки: он был довольно глубоко отделен от своих соседей. Если эта надпись еще существует, ее не мешало бы вынуть для музея революции, как не мешало бы вообще пересмотреть и записать и другие надписи. Это дало бы любопытный материал для истории русского освободительного движения ¹⁾. Вначале прогулки продолжались 15 — 20 минут, затем удлинялись, превращались в прогулки всем коридором и даже целым корпусом. По окончании жандармского дознания камеры одиночек вообще почти не запирались, а „старики“ могли гулять чуть ли не целый день.

Другим видом развлечения были поездки в город на допрос и на свидание. И то и другое происходило в жандармском управлении, помеща-

¹⁾ В настоящее время эта надпись вместе с некоторыми другими уже вынута и находится в Музее Допра, организованном заключенными. Музейной комиссией составлен также список всех уцелевших надписей политических — до полутора ста имен.

вшемся тогда в здании Старо-Киевского участка. Политических не водили под конвоем. Для их передвижения существовала тюремная карета, — неуклюжая постройка на четырех колесах, передвигавшаяся с помощью двух тюремных охров. Помимо необычайной тряскости, характерную черту этого допотопного экипажа составляла его особая склонность к поломкам. Часто это случалось в дороге, и тогда транспортируемый шел пешком, в сопровождении конвойного. Если же карета чинилась в тюремной кузнице, арестованного доставляли в паевном открытом экипаже. Были счастливицы, на долю которых не раз выпадала такая удача. Время отъезда кареты из тюрьмы было известно (между 10 — 11 ч. утра), и, садясь в нее, часто можно было надеяться на встречу с близкими людьми, приносившими в тюрьму перелачи.

Свидания в жандармском управлении давались „личные“, т. е. не через решетку, — по особому каждый раз разрешению. При свиданиях присутствовал жандармский офицер. Несмотря на такой надзор, свидания эти очень ценились заключенными. С окончанием следствия „личные“ свидания часто можно было иметь и в тюрьме, в присутствии надзирателя. Они давались большей частью „старикам“ в определенные дни и служили тем главнейшим источником, из которого „политики“ черпала свои сведения о жизни внешнего мира. Газет и журналов тогда в тюрьму не допускалось.

Благодаря одному из таких свиданий (Н. Н. Соколова с его женой), нам сделался известным факт выхода в свет и распространения на улицах Киева печатного „Манифеста Р. С.-Д. Р. П.“. Известие это вызвало бурное ликование среди арестованных соц.-дем. Оказалось, что жандармерии не удалось не только предотвратить выхода „Манифеста“ о первом съезде, но и ликвидировать киевскую с.-д. организацию. Полгода спустя М. С. Урицкий, с которым мне по выходе из тюрьмы пришлось продолжать работу по восстановлению с.-д. организации, так передавал мне об этом эпизоде. Спустя несколько дней после мартовских арестов, М. С. Урицкий, ничего о них не зная, отправился из Черкасс, где он провел зиму, в Киев, намереваясь держать государственные экзамены. В вагоне второго класса, куда он сел, ему удалось подслушать разговор двух ехавших из Екатеринослава жандармских офицеров, из которого он узнал о разгроме киевской организации. По приезде в Киев М. С. Урицкий отбросил свои экзамены и занялся собиранием остатков с.-д. сил. К этому времени в Киев пришел „Манифест“, который успела отпечатать оставшаяся еще типография Ц. К. (А. Кремер). Связей для распространения у восстанавливаемой Урицким организации было мало, да и состояла она из молодых и еще очень неопытных людей. Тогда прибегли к такому способу. Наняли на толкучке двух неграмотных безработных крестьян и, дав им деньги вперед, поручили раздать „афишки“ на Крещатике. Необычного в этом тогда не было ничего (за исключением, конечно, содержания самой „афишки“), так как бесплатная роздача всякого рода рекламных объявлений была в Киеве явлением повседневным. Нанятые выполняли данное им поручение вполне добросовестно и успели раздать несколько десятков „Манифеста“, пока не наткнулись под конец на какого-то добровольца, отпра-

ившего их в учисток. Там они были допрошены жандармами и через сутки отпущены, кажется не без рукоприкладства. Появление „Манифеста“. — да еще таким путем — вызвало в городе шум, не меньше, чем и самые наши аресты.

Тогда же в Лукьяновской тюрьме начала закладываться и библиотека. Книги разрешалось иметь и подследственным. Передача их происходила вначале через жандармское управление, а позже — через тюремную контору. Иногда жандармы в целях „морального воздействия“ отказывали в передаче книг, а также в пропусках. Но это обычно практиковалось только по отношению к лицам, содержащимся при жандармском управлении, и сравнительно короткий срок. Возможность иметь книги при увеличивавшемся с течением времени общении друг с другом позволяла многим из арестованных серьезно заняться пополнением своего образования. Из рабочих на нашем коридоре особенно усиленно работал Терпилов, бывший гвардейский унт.-офицер, очень стойкий и интересный человек. В тюрьме мало-по-малу установился обычай оставлять при освобождении несколько книг для библиотеки. Кроме того, через заключенных поступали в библиотеку пожертвованные книгами. Слабжал книгами также и политический „Красный Крест“. В 1898 г. — во время моего первого ареста — библиотека только закладывалась. Через три года (в 1901 г.) я застал в ней свыше тысячи томов по разным отраслям знания. Особенно полно были представлены отдел социально-экономический, исторический и беллетристика. Было немало и иностранных книг на языках французском, немецком и польском. В 1901 г. под библиотеку были отведены две комнаты в полуподвальном этаже „мужского“ корпуса между ванной и пейсгаузом. Библиотека находилась в ведении библиотечной комиссии из политических. Книги по камерам разносил главный политический староста. Библиотека была каталогизирована. Какова ее дальнейшая судьба, я не знаю. Если она погибла, это большая потеря для тюрьмы, особенно в виду тех культурно-просветительных задач, которые перед ней решено поставить. Несмотря на формальное запрещение, библиотека не была закрыта и для уголовных, и надо заметить, что книги возвращались ими очень исправно. Впрочем, больших требований с этой стороны не поступало. Среди уголовных просветительную работу вел в это время дамский кружок „Киевского Общества Грамотности“, занимавшийся главным образом начальным преподаванием. В тюрьме существовала воскресная школа.

Существенную сторону в жизни политической тюрьмы составлял, конечно, экономический вопрос. Чем глубже пускало корни революционное движение, чем более широкие круги оно захватывало, тем заметнее изменялся социальный состав арестованных. В тюрьму попадало много лиц материально необеспеченных, много рабочих, и поддержка их становилась общественной проблемой. Она была сравнительно удачно разрешена комбинированной деятельностью политического „Красного Креста“ и самостоятельностью самих заключенных.

Политический „Красный Крест“ был учреждением не новым. Он был основан еще во время „Народной Воли“ и существовал как вспомогательное

учреждение при этой партии. С наступлением общественной и политической реакции 80-х годов деятельность „Красного Креста“ хотя и не прекратилась, но должна была сузиться. Революционное движение следующего десятилетия и тот сочувственный отклик, который нашло оно в широких кругах общества, благотворно отразились и на деятельности этой политически-благотворительной по своему существу организации. Сообразно с изменением характера политического движения изменился и самый строй „Красного Креста“. Из организации, работавшей при определенной партии, он превратился в организацию внепартийную, ставившую своею целью помощь всем пострадавшим за свои политические убеждения, без различия их партийной принадлежности. Помощь эта оказывалась как заключенным в тюрьмах, так и находящимся в ссылке. Теперь с нее сошел всякий налет партийной окраски, и она стала именоваться беспартийным названием „Красный Крест политических ссыльных и заключенных“.

В крупных центрах, в Петербурге и Москве, деятельность „Красного Креста“ не прекращалась и в глухое время общественной реакции. В Киеве более или менее организованный характер она стала принимать лишь в середине 90-х годов, т.-е. в начале нового общественного подъема. Первый отчет „Киевского Красного Креста“, вышедший в декабре 1897 г. (на mimeографе в издании с.-д. „Союза Борьбы“), указывал на расширение задач организации в связи с ростом освободительного движения, все более захватывающего и рабочую массу, и призывал общество к деятельной поддержке по оказанию помощи политическим борцам. За одиннадцать месяцев отчетного года „Красным Крестом“ было собрано и израсходовано 1200 р. — сумма, позволявшая покрыть все текущие потребности этого года, но совсем недостаточная для удовлетворения тех срочных нужд, которые стали перед „Красным Крестом“ после мартовских арестов и которые в дальнейшем должны были, конечно, только нарастать. Это требовало не только усиления его деятельности, но и некоторого изменения его организационных форм.

Эта перестройка происходила не в силу какого-либо предвзятого „плана“, а исключительно опытным путем, и в конечном счете дала очень разветвленную и гибкую организацию. Ядро ее составили старые члены „Красного Креста“, действовавшие дотоле весьма конспиративно и пользовавшиеся, главным образом, личными связями для собирания необходимых средств (система индивидуального обложения). Ядро это было пополнено — путем кооптации — более молодыми, энергичными силами; в состав организации входили также представители от революционных партий (с.-д. и с.-р.) и представитель от студенческого „Союзного Совета“, объединявшего тогда 22 землячества (включая сюда „Украинскую Студенческую Громаду“ и „Польское Студенческое Коло“). Позднее, с прекращением деятельности „Союзного Совета“, связь „Красного Креста“ с учащейся молодежью поддерживалась путем представительства отдельных учебных заведений (Университет, Высшие Женские Курсы, Политехникум, Женский Медицинский Институт), где были организованы „группы содействия Кр. Кр.“.

Благодаря такому строю „Красный Крест“ мог не только гораздо шире применить прежнюю систему индивидуального обложения, но и воспользоваться совершенно новыми источниками доходов. В кассу „Кр. Кр.“ делались регулярные отчисления с членских взносов в землячества, с доходов от студенческих вечеринок и вечеров, с благотворительных концертов, лекций и спектаклей. Разъезжаясь на каникулы, члены землячества, обыкновенно, организовывали у себя в провинции концерты, спектакли, значительная часть доходов с которых поступала в кассу „Кр. Креста“, являясь существенным ее подкреплением. Устраивались — под легальной вывеской, конечно, — и специальные предприятия „Красного Креста“, дававшие тогда очень солидную выручку. В тот период, к которому относится настоящая страничка моих воспоминаний, особенную поддержку „Кр. Кресту“ дали устроенный в Литературно-Артистическом Обществе вечер известного драматического артиста И. П. Киселевского и предпринятое В. П. Родовиковой издание публичных лекций по политической экономии, прочитанных проф. В. Я. Железновым от имени „Общества Нестора Летописца“. Это издание легло потом в основу известного печатного курса В. Я. Железнова „Очерки Политической Экономии“. Тогда же „Красным Крестом“ была издана „История Революционных Движений“ А. Туна. Идея этого издания и ее выполнение принадлежали В. В. Вакару. Наиболее деятельное участие в „Красном Кресте“ за этот период принимали: В. П. Родовикова, Л. М. Бриллиант, Н. И. Кульженко, П. И. Гиберман, М. Д. Тартаковская, З. А. Линдорфс, А. А. Кистиковский, В. Н. Михайлов, братья Вакары и др.

Расходы „Красного Креста“ распадалась на две главнейшие рубрики — помощьсылыным и помощь находящимся в тюрьмах. Так как в составе „Кр. Креста“ находились представители главнейших политических партий, он всегда обладал своевременной и полной информацией о всяких новых арестах и вел точный учет числа заключенных и их нужд. С другой стороны и „Крест“, благодаря своим постоянным связям с тюрьмой, был наиболее точным осведомителем общества о всем, касавшемся подневольной жизни политических арестантов.

Помощь, оказывавшаяся „Кр. Крестом“ политической тюрьме, выражалась в форме снабжения продуктами и вещами и в денежных пособиях. Вещевое снабжение в громадном большинстве случаев касалось, впрочем, лишь лиц, уже предназначенных к ссылке, или же шедших этапным порядком из других тюрем и не имевших необходимой экипировки. Продовольственная же помощь, по мере развития собственного тюремного хозяйства политических (старостат), все более теряла характер индивидуальных передач и превращалась в снабжение необходимыми продуктами общей политической кухни („оптовая“ доставка сахару, маслу, табуку и т. и.). Это не исключало, конечно, и практики индивидуальных передач готовыми продуктами, тем более, что, по установившемуся с течением времени обычаю, и индивидуальные передачи поступали в общую „кассу“. В определенные моменты — обычно перед рождественскими и пасхальными праздниками — число таких передач необы-

чайно умножалось. В данном случае, на помощь „Кр. Кресту“, и по собственной инициативе ассигновывавшему достаточные средства, приходил старинный русский обычай, обязывавший „не забывать о заключенных“. В предпраздничные дни в городе во многих домах усиленно работали хозяйки, готовя свои предпраздничные подарки заключенным, и к тюремным воротам полъезжала не одна телега, нагруженная „вещественными доказательствами неспешественных отношений“, — всё более устанавливавшихся между политической тюрьмой и „свободой“. Денежные передачи „Кр. Креста“ поступали через контору на имя отдельных заключенных, передававших затем квитанции общему политическому старосте. Обычно в его распоряжение поступали и личные денежные суммы, получавшиеся заключенными от родных.

Продовольственная и денежная помощь извне дополнялась казенными ассигнованиями, которые, согласно положению, должны были идти на содержание политических заключенных. В царской России и в тюрьмах продолжало существовать деление на привилегированных и не привилегированных (сословные привилегии, как и самые сословия, как известно, были уничтожены декретом Временного Правительства в марте 1917 г.), причем первые получали на свое содержание от 17 до 25 коп., а вторые от 8 до 12 к. в сутки, смотря, по месту и времени. Кроме того, арестантам полагалась казенная постель (сенник, одеяло, подушка и простыня), а также одежда. Политические обладали правом носить собственное платье, но при отправке в ссылку им выдавалась либо одежда, либо установленная сумма „на постройку одежды“ („Уст. о ссылках“).

С момента перехода политической тюрьмы на свое собственное хозяйство, все выдачи натурой были прекращены и заменены соответствующей денежной ассигновкой, передававшейся в фактическое распоряжение главного политического старосты. Их расходование производилось теперь по его усмотрению под общим наблюдением тюремной администрации. Такая постановка дела представляла удобства для обеих сторон. Не выходя из общих границ тюремного распорядка, „политика“ могла улучшать свой быт, сообразно своим нуждам и потребностям. Тюремная же администрация избавлялась как от массы хлопотливых хозяйственных забот, так и от тех внутренних неурядиц, с которыми могло быть связано невнимательное и формально-бюрократическое отношение к нуждам „политики“, достаточно сплоченной, всегда готовой к отпору и имевшей за стенами тюрьмы свой чуткий резонатор, в виде нараставшего общественного мнения. Система взаимного контроля устраняла возможность каких-либо неправильностей в израсходовании казенных сумм, а практика делового общения с администрацией способствовала установлению такого строя отношений, при котором почти совершенно исчезла почва для всяких столкновений, а возникшие недоразумения решались быстро и без особенного труда.

К марту 1898 г., ко времени наших арестов, эта новая хозяйственная система в общих чертах уже сложилась. „Политика“ имела свой собственный стол (пища варилась, правда, еще на общей кухне в центральном корпусе),

у нее имелся уже свой хозяйственный инвентарь (чайники, чашки, жестяные саковары и т. д.), свои особые поставщики (хлеба, мяса, табаку), во главе хозяйственной деятельности стоял выборный староста. Неожиданный наплыв новых жильцов сразу же расширил круг хозяйственных задач и должен был повести к усложнению самой организации заключенных. Политические оказались разбросанными по разным корпусам и коридорам, и староста физически не мог уже выполнять всех тех функций, которые до сих пор он нес единолично.

Так сам собой начал создаваться и входить в обиход институт коридорных и камерных старост. К обязанностям главного старосты теперь относилось общее заведывание хозяйством, расчеты с администрацией и поставщиками, заведывание кухней, учет заключенных и опрос их нужд, представительство их интересов перед администрацией, а также наблюдение за выполнением заключенными тех „норм обычного права“, которые сами собой создавались в ходе тюремной жизни и сваливали политических в одно целое. Коридорные же и камерные старосты (в общих камерах) заведывали хозяйством своего коридора, главным образом распределением продовольствия, причем количество едоков определялось не по числу заключенных, а по количеству лиц, числящихся на политическом коридоре, т. е. со включением всех обслуживающих данный коридор надзирателей и уборщиков. Все они получали одинаковый с заключенными паек, и это правило проводилось с неослабной точностью.

В первые дни нашего ареста тюремное хозяйство по своим скромным размерам должно было, конечно, оказаться несколько неприспособленным к обслуживанию неожиданно раздвинувшихся пред ним нужд. Но, несмотря на некоторые дефекты, заключенными сразу же и во всем чувствовалось проявление той товарищеской помощи и заботливости, которые в первые дни ареста всегда действуют так морально-ободряюще, а в последующем так скрашивают подневольное существование арестованных.

Массовые аресты 1898 г. дали первый толчок созданию новых условий жизни политической тюрьмы. Все участвовавшие новые аресты и постоянный наплыв новых тюремных жильцов, среди которых было немало лиц с прежним тюремным опытом, ускорили этот процесс. За пять лет 1898—1903 гг. жандармскими и охранными властями были произведены в Киеве следующие крупнейшие „операции“: в 1898 г. — аресты с.-д. организации и части с.-р.; весной 1899 г. — аресты с.-д. и с.-р., аресты среди студентов; осенью — арест типографии с.-д. газеты „Вперед“ (М. С. Урицкий), весной 1900 года аресты с.-р., арест 60 человек на реферате В. В. Водовозова, аресты студентов, аресты в связи со всеобщей забастовкой булочников; в феврале 1901 г. арест центральной рабочей группы с.-д., в апреле — аресты всей с.-д. организации и типография „Вперед“ (М. А. Гурский), в мае — аресты с.-р. в связи с майской манифестацией, в мае же аресты революционной группы „Рабочая Воля“, в феврале 1902 г. — аресты участников рабоче-студенческой демонстрации (2 февр.), аресты с.-д. организации и „Искровцев“ (В. Н. Крохмаль,

Бауман, Басовский, Розенблюм, С. З. Дижур и др.), в июле 1903 г.—массовые аресты в связи со всеобщей забастовкой рабочих юга России.

Указывая на непрерывное нарастание освободительного движения пред первой революцией (1905 год), этот перечень—далеко к тому же не полный—дает понять, как быстро должна была эволюционировать жизнь политической тюрьмы, как усложнялся ее внутренний строй.

Время моего вторичного пребывания на Лукьяновке (1901 — 1902 г.г.) может считаться своего рода „золотым веком“ в истории киевской политической тюрьмы. К этому моменту „автономный строй“ вполне выкристаллизовался и получил законченные формы. С внешней стороны Лукьяновская тюрьма имела всё тот же угрюмо-пугающий вид, с мрачными глазами ее окон, с унылыми дворами, время от времени наполнявшимися звяканьем кандалов и в огромной своей массе бесцельно-слоняющимися фигурами гуляющих арестантов. Но за оградой ее политических корпусов шла своя жизнь—также подневольная, также унылая, но умевшая противостоять растлевающему влиянию тюрьмы, сохраняя духовные и физические силы заключенных.

„Политика“ имела свое достаточно сложное и развитое хозяйство. В отношении продовольствия она была совершенно независима от начальства и казенного пайка. В ее распоряжении была собственная и совершенно отдельная—устроенная в полуподвальном этаже „мужского“ корпуса—кухня своевременно дававшая здоровую, сытную, питательную и всегда горячую пищу. Рядом с кухней помещалась собственная ванна. Камеры и коридоры были снабжены полным инвентарем. На каждом коридоре имелся свой самовар, три раза в день доставлявший заключенным настоящий кипяток, а не приносимую в ушатах теплую водицу. В каждом коридоре имелась также своя уборная, пользование которой допускалось отнюдь не в принудительно установленные часы,—обстоятельство, имевшее огромное значение в смысле сохранения здоровья заключенных. Прогулки также совершались регулярно и без пропусков.

„Политика“ также имела свою, всё более расширявшуюся библиотеку. Кто хотел заниматься, тот мог заниматься и занимался, пополняя свое образование, используя для этого тот досуг, которого не хватало „на свободе“ в суетоке политической борьбы и связанной с такой растратой сил и времени конспиративной работой. Здесь на деле проводился в жизнь горделивый вызов, не раз бросавшийся деспотизму в революционной прессе: „самые тюрьмы мы превратим в наши университеты“.

„Политика“ имела свой быт, свою историю, свои традиции, свою организацию. Это помогало ей вводить в рамки внутренней дисциплины разнородную толпу, всё больше и больше заполнявшую политические корпуса по мере расширения революционной борьбы, и тем самым избегать ненужных и нежелательных осложнений. Но это давало в ее руки и сильное оружие в те моменты, когда обстоятельства вызвали необходимость упорного отстаивания уже приобретенных прав.

Это время не замедлило прийти с воцарением всевластного Царе и введением в действие „Нового Уголовного Уложения“ в 1903 г. Порядок административного рассмотрения политических дел был отныне сужен. Все наиболее крупные дела передавались на рассмотрение Суд. палаты. Это означало усиление правительственных репрессий и перевод осужденных политических на уголовное положение.

Революция 1905 г. и октябрьская амнистия ликвидировали эти дела. Реакция последующих годов обрушилась на „политику“ с новой силой и небывалой жестокостью. Тогда русская тюрьма — и русская политическая тюрьма также — вновь увидала самое страшное: увидала приговоренных к казни, услышала стоны людей, изнывающих в предсмертном томлении.

Это время неизгладимо отмечено в русской печати и в сознании русского общества. Это была эпоха торжества Столыпинской „скорострельной юстиции“. Это было в те дни, когда Влад. Короленко писал свои негодующие страницы о „Бытовом явлении“, когда Леонид Андреев дал свой незабвенный „Рассказ о семи повешенных“, когда старческий голос Льва Толстого бросил на весь мир: „Не могу молчать“.

Константин Василенко.

На переломе жизни.

Воспоминания 1905 года ¹⁾.

I.

1905 г. был порой тяжелого перелома для широких слоев русского народа. Такая пора перелома неизбежно приходит как в широкой народной жизни, так и в жизни почти каждого человека, когда он освобождается от гипноза чужих привитых ему мнений и от гипноза простой веры первых дней жизни. Рано или поздно суровая действительность срывается в этот простодушный мирок, заставляет открытыми глазами посмотреть правде в глаза, переоценить все ценности, всё, чему поклонился до сих пор, и создать свое новое мировоззрение, опирающееся уже на реальные данные жизни, на правильно понятые предрасположения и стремления своей души. Такой перелом пережил и я в 1905 г.

С раннего детства в военной семье, готовясь к военной карьере, я рос под впечатлением рассказов о войне, о том, как почетна и красива служба в армии, где люди, грозные в минуты войны, выходят сражаться за свой родной край, ценою подвига, крови, а, быть может, и жизни, завоевывают отчужденное независимое, спокойное и славное будущее. Перед глазами стояло стройное вековое сооружение вооруженной силы России, покрытое славой былых подвигов целых столетий борьбы, в горниле которой выковывалась страна, которую с детской гордостью мы называли Россией. Воображение рисовало „фасад прекрасной постройки армии“ законченных форм, прекрасной архитектуры, и в то время ничто не вынуждало спросить, что же скрывается за ним. Но события 1905 года заставили заглянуть за этот прекрасный фасад, вдуматься в суть того, что было за ним и разобраться в этой новой непонятной еще обстановке.

¹⁾ Написанные еще в 1918 г. эти воспоминания известного современного военного деятеля отражают настроения передовых слоев военной среды в период, предшествовавший первой революции. Воспоминания несвободны от иллюзий и заблуждений своего времени и своей среды; но они ярко воспроизводят картину великого „перелома“, затронувшего даже такие неприступные твердыни аристократически-дворянской касты, как пажецкий корпус.

Ред.

В круг понятий, с которыми я подходил к производству в офицеры, закончая в 1905 г. курс пажеского корпуса, ворвались впечатления поражений войны с Японией, так тесно связанные со всей государственной системой, со всеми ее пороками и преступлениями, непосредственным следствием которых были неудачи войны.

Юношеское представление — иллюзия армии, твердой защиты родины от врага, — было разрушено действительностью: армия оказалась неспособной выполнить свою задачу в Маньчжурии, и это прежде всего разбудило в душе тяжелый вопрос: почему? Еще большее впечатление произвели на меня расстрелы рабочих на улицах Петербурга. Здесь впервые вскрылась обратная сторона медали, второе задание армии — борьба с „внутренним врагом“.

Эта задача армии до 1905 года, в моем представлении о военной службе, не существовала. Но с того дня, когда у меня на глазах пролилась кровь народа, вопрос поддержания „порядка“ внутри страны стал самым большим, мучительным вопросом, в котором тоже надо было найти новую правду.

Без подготовки, без всякого знания жизни пришлось искать ответа на все эти сложные вопросы, для понимания которых нужно было знать всю жизнь страны, знать роль, которую армии в ней играли, понять соотношение общественных сил внутри государства, борьбу за власть и свои привилегии, понять их значение в выполнении задач общегосударственного характера. Действительно: задача сохранения власти в своих руках, стоявшая перед царским правительством и поддерживавшей его небольшой группой крупного земельного дворянства и сановной бюрократии, была необычайно трудна при условии необходимости разрешать те великие мировые задачи, которые стояли перед Россией. Ведь, это была власть ничтожного меньшинства страны над ее огромным большинством, правившая в ущерб, в прямой вред действительным интересам государства, против воли народа. Естественно, что эта власть могла существовать лишь до тех пор, пока сила была в ее руках, пока она могла заставить, хотя бы и против воли, исполнять ее пожелания. И для этого власть создала сложный аппарат, державший в своих руках всю страну (бюрократия, полиция, жандармерия, охрана и т. д.); решающую роль в нем играла армия.

Армия существовала и готовилась как бы для защиты страны от внешней угрозы. В действительности ее главной задачей было поддержание внутри страны власти самодержавия.

Между тем против „существующего строя“ было почти всё население России: крестьяне, рабочие, буржуазия, вся интеллигенция и даже большая часть дворянства. Фактически 99% солдат нашей армии были по своим интересам прямо враждебны дореволюционному государственному строю. И вот, задачей царского правительства было поддерживать самодержавный строй, опираясь на составленную из таких солдат армию. Естественно, что для этого приходилось прежде всего в широком масштабе прибегать к мерам, затеиавшим народным массам, поставлявшим солдат в армию, и интеллигенции, комплектовавшей армию офицерами, сознание их действительных интересов.

Всё внимание крестьянина — в солдатской шинели и интеллигента — в офицерском мундире — правительство стремилось сосредоточить на вопросах внешней обороны, на защите родины.

Эта идея, сама по себе, обладает огромной притягательной силой. Но она эксплуатировалась для того, чтобы во имя ее ввести систему дисциплины, обрабатывавшей человека в слепое орудие, для того, чтобы создать армию „стреляющих автоматов“, которую можно будет направить в любую сторону — прежде всего против тех, кто покушается на „ниспровержение существующего строя“, а затем и для обороны страны от нападения извне. Эти две стороны великого дела, — борьба с „внешним“ и „внутренним“ врагом, — по самому своему существу, прямо противоположны, даже больше, они взаимно исключают друг друга.

Если борьба с „внешним врагом“ в современных условиях развития техники и массовых армий требовала всех творческих сил ума и воли человека, самостоятельности и активного участия в борьбе лучших сторон его души, то задача расстрела безоружной толпы — „внутреннего врага“, наоборот, требовала мертвого автоматизма, исполнителя, который не думает, не понимает, что он делает, ибо как только он поймет — он откажется это делать. Если первое требовало от бойцов подвига, жертвы собой, с одной стороны, больших знаний и организационных талантов — с другой, то второе, наоборот, лучше всего осуществлялось при бессердечном, холодном и тупом исполнении приказа. В бой за спасение родной земли шел „человек“ в лучшем смысле слова, приносивший величайшую жертву во имя любви к ближнему; в бой со своими успешнее, легче всего, могилы палач. Но, как и во всем мире, по соображениям чисто финансовым, руководящие группы России вынуждены были строить лишь одну армию для выполнения и той и другой задачи, отдавая однако, по вполне понятным соображениям, явное предпочтение всему тому, что содействовало созданию из нее оружия-автомата внутренней войны, хотя бы даже в ущерб тем требованиям, которые явно вытекали из свойств и особенностей большой современной войны. На этой почве неизбежно вырастал трагический конфликт для всех тех, кто хотел служить военному делу искренне и по глубокому убеждению, принося пользу родине. Люди, создавшие армию, с почти невероятным, чисто пезуитским проникновением в человеческую душу, построили целую систему воспитания армии и, в особенности, ее командного состава с тем, чтобы подменять одни идеи другими и заставить людей во имя спасения родины от „внешнего“ врага расстреливать друг друга, под видом „внутренних“ врагов, обеспечивая этим господство в стране самодержавному строю. Эта система военного воспитания давала армии материал, из которого она уже формировала нужное правительству боевое оружие. Но на этом дело не останавливалось. Нужно было в самой армии обеспечить себя от случайностей, вроде бунта декабристов, и для этого весь строй армии был создан по принципу: „разделяй и властвуй“. Он проводился в жизнь при посредстве сложной системы категорий, на которые разбивалась вооруженная сила, служба в которых сопровождалась большими или меньшими привилегиями, причем власть давалась именно в руки привилегированных; все остальные были отданы им

в полное и бесконтрольное распоряжение, на полный и безудержный произвол. Вооруженная сила была разделена на армию и привилегированную гвардию, причем гвардейским офицерам предоставлялись серьезные преимущества по службе и назначения для командования армейскими частями. Особо привилегированной была категория офицеров генерального штаба, которым вверялись почти все старшие командные должности и фактически все руководство вооруженной силой. Вся эта система, глубоко продуманная во всех деталях, изучению которой нужно посвятить особую работу, имела целью внутри самой армии держать в своих руках власть, бороться со всеми течениями, которые в нее могли проникнуть, создавая из армии верный и надежный оплот во внутренней борьбе за господство в стране.

Совершенно особое место в этой системе было отведено военному воспитанию; оно должно было дать войскам главный контингент офицерства которое-бы с полным убеждением, с глубокой верой в свою правоту защищало бы не только Россию, как целое от ударов извне, но и внутри страны с таким же убеждением защищало-бы „существующий строй“. В достижении этой цели заключалась главная воспитательная задача кадетских корпусов и военных училищ.

II.

Такова была в кратких чертах внутренняя схема устройства нашей вооруженной силы, маленькую часть которой я мог увидеть в 1905 г. в стенах пажеского корпуса.

Действительно, корпус был маленькой ячейкой, ничтожной частицей того огромного механизма, которым была наша армия, но в нем, как „солнце в малой капле вод“, отражались все силы, все противоречия, но и все лучшее, из чего слагалась наша старая армия. Трагическое противоречие, которое должно было погубить и, действительно, погубило нашу армию в 1917 г., противоречие между идеологией обороны отечества с одной стороны, и подавлением свободной жизни своего народа с другой; это противоречие чувствовалось на каждом шагу, в каждой стороне корпусной жизни. Красивая ширма, за которой была лишь грязь и мерзость запустения. Это полусознательно чувствовалось все время, но нужен был 1905 год, чтобы начать сознавать смысл всех этих явлений хотя бы отчасти, ибо понять всё это в полном объеме можно было лишь позже.

Перечитывая теперь те дневники и заметки, которые сохранились у меня во время моего учения в корпусе и которые ложатся теперь в основу моего очерка, я невольно останавливаюсь на этом постоянном взаимном противоречии идей и фактов корпусной жизни, из которых одни властно притягивали и заставляли невольно полюбить корпус с его укладом жизни, обычаями, нравами, а с другой стороны — томиться, мучиться в нем в поисках выхода.

Мало кому была известна жизнь, протекавшая за стенами корпуса. А „стены“ корпуса, как и вся его внешность, здание, в котором корпус жила

форма корпуса, участие в придворных церемониях, весь уклад жизни, все было красиво, и это было первое и, несомненно, сильное впечатление, охватывавшее каждого, кто приходил в соприкосновение с корпусом. Кто из жителей Ленинграда не знает на Садовой улице, против Гостиного двора здание Пажеского корпуса, одно из лучших украшений столицы, оставленное нам в наследство изысканном веком Елизаветы и Екатерины. Построенный Растрелли... утонченный, благородный, законченный во всех деталях бывший дворец графов Воронцовых, отделенный от улицы двумя садами по сторонам от входа и красивой решеткой, выходящей на Садовую, — он несет на себе тот отпечаток лучшей стороны старого умершего барства, с его любовью к красоте, которая чувствуется в каждой детали постройки большого художника-архитектора.

В субботу между 3 и 4 часами дня прохожие встречали молодежь в элегантных остроконечных касках и черных, отлично сшитых с золотыми погонами шинелях, выходящую из ворот корпуса в отпуск, взглянуть на свет божий. Но, что делалось, как жилось в этом питомнике будущей гвардейской молодежи, это мало, кто знал. Для одних корпус был образцовым военным заведением с отличным духом и традициями, для других он был ненавистным гнездом и рассадником привилегированных сыновей сановников и бюрократов, из которых должны выйти душиатели народа.

Несмотря на то, что мне пришлось пережить в стенах корпуса много горьких минут и тяжелой душевной борьбы, память о нем мне дорога, и каждый раз, когда я проезжаю и теперь мимо него, чувство благодарности просыпается в старому корпусу за все хорошее, что вынесено из его стен.

Я перешел в пажи из Александровского кадетского корпуса в 1901 г. и вышел из него в 1905 г., проведя, следовательно, в его стенах 4 года, а, считая пять лет учения до того в Александровском корпусе, — всего обычный стаж закрытого учебного заведения был девять длинных, бесконечных лет. Войдя в корпус мальчиком 10 лет, после девятилетнего пребывания, мы выходили в жизнь с офицерскими погонами на плечах. И ведь это те девять лет жизни, когда создается молодая душа, когда закладывается фундамент того человека, который будет строить и свою и общественную жизнь.

Состав воспитанников корпуса был довольно однообразный. В корпус принимались дети и внуки военного и гражданского генералитета, за заслуги своих отцов и дедов.

Поступая в корпус, дети приносили с собой хорошие способности, в чем несомненно сказывалась известная культура того слоя общества, из которого они выходили. Учение давалось шутя, и выдвигалось много воспитанников с отличными способностями, имена которых впоследствии отличались на всех поприщах народной жизни, но в смысле воспитания и учебной подготовки дети приносили немного. Как общее правило, надо отметить, что родные мало занимались душой ребенка. Они ограничивали свою обязанность тем, чтобы дать детям хорошие манеры, умение себя держать и т. д., душа оставалась мало затронутой, так как отец и мать, отвлекаемые жизнью „света“, редко

в этом кругу сами интересовались воспитанием детей. Нянюшка в детские годы, а как только ребенок входит в сознание—англичанка или французенка должны были заменить родителей. Дети изучали языки и получали, больше от непосредственного влияния жизни, первые намеки на то, чем должен быть „порядочный“ человек, что он должен и что не должен делать. Также, почти с молоком матери, всасывалось отношение к окружающим. Были равные—люди, „нашего круга“, затем—все остальное общество и наконец—низшая раса-народ, отношение к которому складывалось по примеру отношения к своему лакею и повару; эти отношения к народу как то невольно складывались, как продолжение отношений к своим крепостным, покровительственные и полупрезрительные. Прямых отношений народа и барина у нас почти не было и негде было людям взаимно узнать, понять друг друга. Народом прежде всего было неинтересно заниматься, а доставлял он в семейном быту лишь неприятности, постольку по крайней мере, поскольку дети могли узнать это из разговоров старших.

Итак, поступая в пажи, дети приносили с собой хорошие в общем способности к учению (хотя и без привычки, а главное любви к труду, сознания его необходимости), внешнюю воспитанность, знание языков. В детские годы, конечно, трудно говорить об отношении к внешнему миру, но поскольку они намечались тогда, в них уже был замечен тот кастовый дух, который потом, в более зрелом возрасте, становился характерной особенностью нашей военной среды.

Такова в общих чертах та основа воспитания и задатков, с которыми дети вступали в корпусную жизнь, с этой исходной точки начиналась уже воспитательная работа корпуса. На этой воспитательной работе, на том воспитательном влиянии, которое оказывал корпус на своих питомцев я прежде, всего почувствовал то тяжелое раздвоение, которое, постепенно расширяясь, заставило обратиться к переоценке всей жизни.

Старый Воронцовский дворец, в котором некогда ¹⁾ император Павел приютил Мальтийских рыцарей, казалось, еще хранил предания и боевую славу изгнанников-крестоносцев, самоотверженно, целые века, боровшихся за святую Землю. Память о них в стенах корпуса хранили мраморные доски с высеченными на них афоризмами—заветами Мальтийских рыцарей, и костел во дворе корпуса, где под высоким балдахином стояло кресло последнего гротсмейстера ордена—императора Павла. В корпусе жило предание, что до сих пор в большом белом зале в полночь ходит тень рыцаря-крестоносца но в темных доспехах, и старшие пажи по ночам любили пугать „молодежь“, изображая привидение, надев на себя латы из корпусного музея. Другая легенда говорила, что будто бы из усыпальниц костела от того места, где погребен герцог Лихтенбергский шел подземный ход в Михайловский замок,—бывший дворец императора Павла, по которому Мальтийские рыцари сообщались с кабинетом императора; этим тайником он рассчитывал воспользоваться в случае опасности!

¹⁾ Корпус в это время помещался на Литейной в деревянном доме в том месте, где теперь стоит дом Собрания Армии и Флота.

Преемственность корпуса от рыцарей крестоносцев, несомненно, оказывала свое воспитательное влияние на подрастающее юношество.

Воспоминание о мальтийских рыцарях в корпусе очень любил, оно жило в представлении пажей, в разговорах оно влияло на оценку того или другого поступка. Когда нужно было выбрать нагрудный знак в память окончания корпуса, то естественно общее мнение остановилось на мальтийском кресте.

Исторические воспоминания вообще играли большую роль в корпусной жизни. Пажи были учреждены еще Петром Великим и с тех пор, лишь меняя название, корпус жил до наших дней, и, естественно, любил и интересовался своей историей. В корпусе был недурной музей, собравший все реликвии, относящиеся к истории корпуса, формы одежды за все 200 лет существования, дневники, рукописи, портреты бывших пажей, научные и беллетристические работы ими написанные. Список пажей Георгиевских кавалеров и портреты или фотографий большинства из них были собраны в Георгиевском зале корпуса, где висели также портреты двух старых пажей-фельдмаршалов — графа Паскевича-Эриванского и Гурко, героя войны 1877-78 годов. Была написана история корпуса, и каких только имен не было в числе людей, вышедших из стен корпуса. Наряду с видными вождями, только что названными, к которым теперь прибавился один из немногих генералов, заслуживших себе почетное имя на поле сражения — Брусилов, мы читаем имена известного деятеля Елизаветинских времен фельдмаршала графа Шувалова, Муравьева-Амурского, инициативой которого присоединен к России Уссурийский край с Владивостоком, министра путей сообщения князя Хилкова и министра иностранных дел графа Ламсдорфа. Наряду с целым рядом видных государственных деятелей на всех поприщах, деятелей, ярко представивших старый строй, от Чернышева — военного министра при Николае I и графа Игнатьева в наши дни, корпус дал России Пестеля, Муравьева-Апостола, известного друга и сподвижника Александра I Новосильцева, мечтавшего о даровании России конституции, ближайшего сотрудника императора Александра II по освобождению крестьян Ростовцева, наконец, корпус дал России человека, создавшего себе мировое имя ученого и социолога — князя Кропоткина, бывшего камер-пажем императора Александра II, имя которого, так же как имя Пестеля, за отличные успехи было занесено на мраморную доску корпуса, и... доска эта снята и разбита, а имя его замещено следующим по списку, когда камер-паж князь Кропоткин стал Кропоткиным, известным всему культурному человечеству.

К сожалению, однако, если мы хорошо знали имена военных героев, вышедших из стен корпуса, то вся эта плеяда лучших имен, которыми справедливо гордится вся культурная Россия, эти имена были нам неизвестны. Только о Кропоткине мы слышали кое-что и он был у нас „букой“, которой пугали детей. „Кропоткин, который осрамил корпус“. Так что в области истории корпуса все внимание сосредоточивалось на военных подвигах, а та широкая жизнь духа, в которой от Радищева и до Кропоткина принимали деятельное участие питомцы корпуса, она оставалась совершенно неизвестной, даже больше, ей сумели придать в глазах молодежи опасный, отталкивающий характер

•

Оставляя в стороне этот вопрос, было несомненно, что, вступая под сень корпуса, мы сразу чувствовали себя во власти воспоминаний военного прошлого, в котором деятельное участие принимали наши старшие товарищи по мундиру; перед нами сразу становился ряд людей, вышедших из этих же стен, сумевших оказать своей родной земле ряд услуг, прославить ее, оградить ее безопасность, сделать ее той великой страной, какою мы себе тогда представляли Россию.

Эта мысль — служба своей родной земле, служба ей до гроба, не жалея ничего, самую жизнь, с тем чтобы имя было записано либо в Георгиевском зале, либо на почетных траурных досках в корпусном храме, — была положена в основу всего нашего воспитания. Все меры были приняты, все усилия сосредоточены для того, чтобы каждый был проникнут ею с первого дня жизни в корпусе.

Эта основная мысль о родине, тесно и неразрывно, всеми доступными способами, связывалась с личностью царя. Царь и родина в представлении нашем постепенно сливались в одно. Служить царю значило служить родине, любить родину значило любить царя. Везде висели портреты императора и всей царствующей семьи, старшая рота в виде особой чести была названа ротой государя и носила на погонах его вензеля. Корпус назывался Пажеским — его императорского величества. Постепенно под влиянием частого повторения имя царя действительно приобретало какую-то гипнотическую власть над умом и сердцами молодежи, которая привыкала без размышления, без сомнений чтить волю царя и видеть в служении ей единственную цель своей жизни.

Каждый год, обыкновенно зимой, царь посещал корпус. Его приезда долго с нетерпением ожидали, приводя корпус в праздничный вид. Все надевали чистенькие мундирчики. Волнение нарастало по мере приближения дня. Когда же государь удостоивал корпус своим посещением, когда под нашу кровлю приходил тот, кого мы считали вождем народа, человек, воплощавший в наших глазах Россию, то счастью и радости не было границ. Немолчные влики „ура“ провожали государя по всему корпусу, полные восторга глаза следили за каждым его движением, детские сердца трепетали от умиления увидеть, услышать своего обожаемого царя; когда он уезжал, то весь корпус без шапок и шинелей в сильную стужу бежал за его экипажем, провожая покуда хватит сил, и каждый раз по корпусу ходила легенда, что он кого-нибудь, забежавшего особенно далеко, увозил отогревать к себе во дворец.

Эта основная мысль — любовь к родине и своему государю, ее представителю и олицетворению, и готовность к борьбе за их неприкосновенность и счастье отдать всё, лежало в основе всего мировоззрения, создавшегося в корпусе, лежало в основе всей системы воспитания и уклада товарищеских отношений. В деле воспитания очень видную роль в Пажеском корпусе имело непосредственное влияние товарищей друг на друга. Тот общий уклад, о котором я говорил выше, дополнялся сильными течениями, приходившими со стороны по преимуществу от товарищей уже кончивших корпус и служивших в гвардейских частях. Наиболее сильным течением было

развитие и поддержание чувства индивидуальной чести. Понятие чести вместе с любовью к родине и своему государю доминировали над всем остальным. Честь была несомненно дороже жизни; честь была главной точкой опоры в личной и общественной жизни. Это был, пожалуй, один из главных импульсов для действия — ради чести. Честь была тем высшим критерием, который понимался своеобразно, особенно в вопросах личных столкновений, но служа главной нравственной опорой человека; это была громадная сила, поддерживавшая его впоследствии в тяжелой жизненной борьбе, а особенно в минуты колебания, на поле сражения.

В корпусе существовал негласный товарищеский суд чести, в решениях которого принимал участие весь класс, провинившегося пажа, и суд этот отличался большой суровостью. Я помню несколько случаев решений, кончавшихся тем, что провинившийся должен был оставить корпус. Такой был случай с одним из пажей, донесшим начальству на своих товарищей; с другим, проехавшим с женщиной легкого поведения на лихаче по Морской, или еще третий, где двое пажей были уличены в азартной карточной игре в корпусе.

Товарищество в корпусе было твердое и традиционно поддерживалось. Весь корпус, от фельдфебеля старшей роты (специальных классов)¹⁾ и камер-пажа государя и до пажика, только что поступившего в 3-й класс, был на „ты“, а в отношениях господствовала простота и непринужденность; бывшие пажи, даже незнакомые, встречая друг друга в жизни, подходили друг к другу, как старые друзья, уверенные, что найдут и сочувствие и поддержку. Сколько забавно милых обычаев создавалось на почве тесного, дружеского товарищества. Как тепло вспоминаются, в холоде жизни, собрания в белом зале, вечером после занятий, когда при свете одной лампочки в углу у рояля собирались поболтать, попеть, послушать доморощенного музыканта, декламатора или просто „разыграть“ сладкие пирожки от Бала, „поставленные“ согласно старому обычаю каждым „закопавшим редьку“ на верховой езде. Вечеринки эти собирали обыкновенно старший специальный класс, выпускной, и начальство, хотя официально и не разрешало, но и не препятствовало им.

Товарищество проникало во все отношения в корпусе, кроме служебных, и потом по окончании корпуса так естественно переходило в товарищество полковой семьи товарищей по оружию, которое на поле брани, под угрозой смертной опасности, лучше всего способствует развитию чувства боевой солидарности, взаимной выручки, уничтожает все неизбежные трения в бою, и в самой высокой мере содействует прочности и стойкости боевого порядка. Но вся простота товарищеских отношений резко кончалась там, где начиналась служба, где властно говорила дисциплина. Два друга, только что обсуждавшие вместе впечатления от пьесы в Михайловском театре, став в строй — становятся начальник и подчиненный, и дружба не дает никаких оснований думать

¹⁾ Соответствующих курсу военных училищ. В Пажеском корпусе не было двух младших, 1-го и 2-го классов, но зато при корпусе с его общеобразовательным курсом средних учебных заведений, были и специальные классы, доводившие подготовку высшего училища, после которых молодых людей сразу выпускали в офицеры.

что начальник позволит своему подчиненному „манкировать“ службой, или недостаточно „отчетливо“ выполнить тот или другой служебный наряд. Поддержание дисциплины, точность в исполнении приказов, самая щепетильная аккуратность в одежде, хранении оружия, исполнении различных поручений и нарядов по службе, безупречной корректности поведения в корпусе и в отпуску — весь состав корпуса придавал этому особое, исключительное значение; дисциплина поддерживалась не столько даже корпусным начальством, сколько самими пажами, круговой порукой. Каждый старший класс в роте ¹⁾ внимательно и строго следил за выполнением всех требований устава, строевой и внутренней службы, поддерживая в своих младших товарищах чувство долга и безупречного исполнения своих обязанностей. Особое внимание обращалось в домашнем быту на чистоту и порядок в одежде, на соблюдение формы, на безукоризненное отдавание чести и т. п.

III.

Но это все одна сторона медали. И если-бы армии ставилась только одна задача, борьба с внешним врагом, то этим, очевидно, исчерпывалась-бы вся военная служба, исчерпывалась-бы и корпусная жизнь. Когда вспоминаешь ее с этой ее стороны, то видишь, сколько в ней было верного, красивого, привлекавшего молодую душу. Вспомним, что условия ведения современной войны и боя требуют наивысшего развития всех сил и способностей человека. Всё, что приведено выше, стремилось осуществить именно это первое задание.

Но в армии предъявлялись еще и другие требования — требования внутренней политики. Ради них нужно было из человека сделать автомата, и то, что будет изложено ниже, как раз и преследовало эту вторую цель. Для того, чтобы добиться таких результатов, нужно было прежде всего, взяв мальчиков из соответствовавшей такому направлению деятельности среды, изолировать их от окружающей жизни, от возможности влияния на их мысль и душу иных течений, оппозиционных правительству, которыми общество было насыщено. Это и было достигнуто в корпусе. Мы должны были поставлять офицеров в гвардейские части, главную опору старого строя, и корпус комплектовался в среде высшей чиновной и дворянской знати. Взяв мальчика 10 — 11 лет в интернат корпуса, его почти совершенно изолировали от жизни, создавая всем укладом корпусной жизни такую атмосферу, в которой постепенно, но верно человека обращали в машину. День с механической точностью походил на день. По команде вас утром будят, ставят в строй, в ногу вы идете на молитву, одновременно по команде садитесь за утренний чай, одновременно поднимаетесь, идете гулять, переходите в класс и т. д. Если во время перемены вы начнете бегать или шуметь, то неизбежно попадете „на штраф“ и должны стоять „столбом“ в то время, как ваши товарищи имеют сомнительную привилегию чинно ходить вокруг рекреационного зала; и так весь день с утра до вечера, и день за днем, год за годом, пока из ребенка не

¹⁾ Корпус был разделен на 3 роты, составленные из воспитанников 2 — 3 классов.

вырастает почти взрослый человек, производимый в офицеры, которому дают право жизни и смерти над его близкими. Я помню, с какой тоской, с какой жаждой свободы жизни я глядел из окон корпуса на далекую Садовую, по которой ходили, ездили свободные люди, которые не обязаны, как мы, вставать и ложиться по команде. С каким тоскливым нетерпением ожидался рождественские, летние каникулы, особенно лето, когда меня родные увозили на Волын, где на целое лето мы свободны от полуказарменного, полумонастырского уклада. Но, насколько я помню, далеко не все так тосковали и томизались в корпусной обстановке. Ритм жизни и товарищество заставляли многих совершенно примириться с окружающим, которое именно и стремилось убить в человеке это стремление к независимости, приучить его к пассивному подчинению. Таким образом, оторванные от жизни, гарантированные семьей и школой от вторжения в подрастающую душу каких бы то ни было „нежелательных“ мыслей, мы росли с мечтой кончить корпус и выйти в офицеры. Что там будет, как там сложится жизнь, никто не знал, но ясно чувствовалось, что эта жизнь кончилась и будет другое. Меня же особенно радовало, что наше полутюремное заключение кончится, и каждый день, хотя-бы его известную часть, я буду хозяином своего времени, хозяином самого себя, хотя на время могу остаться один со своими мыслями, со своей работой. Таким образом корпус прежде всего подбором мальчиков из определенной среды, совершенно изолируя их от внешних влияний, длительной системой муштровки стремился выработать привычки к пассивному беспрекословному повиновению, совершенно стирая всякую индивидуальность, обращая человека в номер, в машинку.

Но иногда мы не выдерживали гнет этой системы и по любому, часто случайному поводу вспыхивал „балаган“, дававший выход невольно скапливавшемуся оппозиционному настроению. „Балаганы“ устраивались воспитателям и учителям нелюбимым за холодную автоматичность и педантизм в отношениях к мальчикам. Они вспыхивали стихийно и в Нашеском корпусе (!?), носили зачастую прямо бунтовской характер. Устраивались кошачьи концерты, дотели кровати, табуретки, бились электрические лампы, опрокидывались парты, чернила; однажды мы целым классом ушли с урока одного нелюбимого нами педанта, сухого, бездушного преподавателя, устроив ему предварительно потрясающий „балаган“, долженствовавший выявить наше к нему презрение. Все такие выходы подавлялись начальством со страшной строгостью. Начинаясь разбор „дела“ с чисто жандармскими приемами допросов, запугиваний очных ставок и т. д. Но класс всегда держался твердо. „Зачинщиков“ не выдавали. Вины все. Это было испытание товариществу, испытание каждому, ибо, выдав товарищей, он сам мог избавиться от наказания. Служители, конечно, были приспособлены начальством к роли сыщиков.

Как плохо согласовалось это явление „балаганов“ с тем общим настроением корпуса, о котором я говорил выше; Между тем все считали участие в „балаганах“ молодечеством, признаком мужества, храбрости. Легенды о „балаганах“ и фокусах с учебным персоналом особенно удачных или остро-

умных передавались из поколения в поколение. Мне представляется, что на этом прежде всего сказывался неосознанный протест молодой души против убийственной системы воспитания, стремившейся подавить самое дорогое, самодеятельность в человеке, проесть, конечно, неосознанный, но уже тем, что он, был, подававший надежду на то, что жив дух, и что его нельзя убивать безнаказанно.

Совершенно та-же система педантично проводилась и в учении. Все, что могло пробудить интерес к жизни, заставить человека думать, развить в нем критическое отношение к окружающему, к самому, заставить работать над самосовершенствованием, все было тщательно изгнано из нашей корпусной системы преподавания. Точно тина какая-то охватывала нашу научную жизнь. История по Илювайскому, география по Белоху, литература только до Пушкина, законоведение, которое совершенно обходило все вопросы государственного устройства. Такие интересные предметы, как физика, химия, естествознание, были обращены в зубрежку заданного урока, не оставляя никакого поля для своей мысли, для умственной работы. Практические работы почти совершенно отсутствовали, оставались факты и цифры, и снова сухие цифры и факты. Не было и речи даже о самостоятельном чтении. Библиотеки были составлены так, что в них не попадала ни одна современная книжка. В нашей библиотеке 2-ой роты (6 и 7 класс) не было даже Толстого и Достоевского, не говоря уже о более современных писателях. Ни одной книжки нельзя было принести из дому, не показав ее своему воспитателю, а точка зрения много воспитателя была такова, что, увидев однажды у мальчика 5 класса „Живописную Астрономию“ Фламарiona, он разразился насмешками и едва разрешил такую вздорную книгу.

Грустно вспомнить, сколько сил, времени, жизни было потрачено на подобного рода ученье. Когда корпус был уже окончен, и молодым офицером я оглянулся на сделанную работу, я с ужасом увидел, что в итоге девятилетнего учения в памяти остались отдельные факты и цифры, но ничего действительно ценного, ничего такого, что открывало бы путь к серьезной научной работе она не дала и нужно было снова садиться за книжку и настойчиво много учиться для того, чтобы начать разбираться в явлениях жизни, понимать их суть, хотя-бы для того только, чтобы толково ответить на вопросы своих солдат в батарее, не говоря уже о том, чтобы иметь возможность серьезно следить за литературой, читать газеты и журналы. Система учения в корпусе достигла действительно блестяще той цели, которую она себе ставила. Головы забивались вздором, никакого отношения к жизни не имеющим, не дающим ни метода, ни исходных данных для ее понимания; но в то же время такое ученье создавало какую-то иллюзию образованности. Но этого мало. Не имея ни откуда притока свежих идей и невольно считая, что те знания, которые нам преподавались и есть настоящая единственно существующая наука, молодежь получала отвращение к ней. Уроки учились „отселева и доселева“ и немедленно забывались. В прочитанном ничего не говорило ни уму, ни сердцу, не будило жажды к дальнейшему знанию, к саморазвитию. Никаких новых идей, которые заставили-бы думать, сравнивать, искать, не было. Была

лишь забивающая голову „зубрежка“. Во время ответов, как и везде, процветала самая усовершенствованная система „подсказывания“; на письменных работах пользовались хитроумнейшими „шпаргалками“.

Но в результате всех этих ухищрений, с которыми учителя вели настоящую войну „команчей с апахами“, получались люди, мнящие о себе, что они всю премудрость усвоили, что никто ничего нового им не скажет, что вся наука вздор и серьезно о ней говорить не стоит. — Они невольно судили по той карикатуре науки, которую им преподавали на корпусной скамье, и мысль получалась жесткой, неповоротливой, неспособной просто и достаточно широко подойти к иному мировоззрению чем то, которое выработалось в корпусе.

Так военная школа, одним из лучших представителей которой был Пажеский корпус, калечила душу людей, делая из них тех автоматов, необходимых для поддержания внутри страны власти правительства, делая это не колеблясь много, не рассуждая совсем. Во всем этом обратная сторона медали становится ясно, отчетливо видна.

На нездоровой почве монастырской жизни закрытого учебного заведения и тупой зубрежки все, даже верные, чистые, нужные идеи искривлялись, приобретая совершенно ложные формы.

Товарищество, сохраняя многое хорошее из своей основной идеи, в атмосфере бурсачества приобретало в некоторых случаях формы мелкой, колючивой тирании всех над каждым. Нельзя сказать, чтобы класс выбирал своей жертвой юношу дурного, сделавшего что-нибудь предосудительное. Но достаточно, чтобы мальчик чем-нибудь выделился из ряда товарищей, чтобы эта его оригинальная черта становилась мишенью насмешек. Более слабые подвергались систематическим гонениям, переходившим иногда в настоящее издевательство. От скуки придумывались самые разнообразные способы досадить тому из класса, кто в данное время служил предметом травли, доходившей иногда до самых невозможных выходов, как например: наливанья воды в кровать, вывешивания на простыне на мороз и т. д.; практиковались всевозможные способы, доводившие человека до совершенного отчаяния, — например, принуждение под угрозой битья выполнять всевозможные явно ненужные работы напр., заучить на память фамилии всех героев 1812 г., висевших у нас в зале, или название всех кавалерийских полков с фамилиями их командиров и отличиями их форм и т. д. Малейшее отклонение от общего уровня, а особенно проявление интереса к научной работе, трактовалось, как желание подлизываться к начальству и жестоко преследовалось „силачами“ класса.

Та же обратная сторона медали была и в области взаимного воспитания товарищеской дисциплины. Право старшего класса каждой роты наблюдать за порядком и исполнительностью младших товарищей обращалось в „дуканье“, приобретавшее совершенно нелепые формы, часто оскорбительные, почти всегда носившие характер муштровки, заколачивавшей в человека всё живое; У нас в корпусе оно выливалось в формы, подобные тому, что было и в кав-

лерийских училищах. Всякое требование устава можно требовать в мере разумной, но его можно довести и до издевательства, и всякую науку легко обратить в самую злую насмешку над человеком. Многие этого не могли вынести и оставляли корпус. Так например, один из моих товарищей, сын очень видного сановника при дворе, оставил корпус за год до выпуска, не желая выносить оскорбительных издевательств старших товарищей. „Цуканье“ старшего класса принимало иногда совершенно странные, а порой дикие формы. Так младший класс в саду мог гулять только по одной средней дорожке, всё время отдавая честь и выслушивая замечания старших пажей, сидевших на скамейках по сторонам дорожки; старший класс имел право провинившихся младших товарищей ставить держа руку под козырек „в башню“ на „всю перемену“ — а большая перемена длилась целый час, что обращало наказание в настоящую пытку.

Скука и бессодержательность жизни и учения в корпусе, естественно, вели к тому, к чему всегда ведет такое состояние душевной пустоты, к чему старший строй вел всю Россию — к пьянству и разврату. Если не дать уму, душе человека простора самостоятельности, если не указать ему пути, на котором человека захватит большой настоящий интерес к жизни, то пьянство и разврат будут естественным следствием и нужно удивляться, что они еще оставались в скромных размерах в той атмосфере пустоты, которую нам искусственно создали и в которой нас воспитывали с раннего детства.

Таким образом, подготовка наша для борьбы с „внутренним врагом“ была ужасна. Она убивала ум, душу, сердце. Она стремилась убить всякий интерес, к жизни, к науке, приучить к беспрекословному исполнению всякого приказа, сделать слепое оружие, готовое выполнить не задумываясь, что прикажут.

Большинство воспитанников корпуса, незаметно для себя, шло по тому пути, который был для него уготован, постепенно втягивалось в этот круг понятий и отношений, искренно, убежденно считая, что так и надо, что именно так и должно быть. Между ними я помню целый ряд юношей с прекрасными задатками. Но некому было наставить их, некому разбудить умственное движение; некому указать путь самосовершенствования, по которому идти. В каждом классе было и свое меньшинство, которое, привлеченное первой, лицевой стороной медали, искренно и с открытым сердцем идя служить делу родным, так-же искренно, хотя, конечно, совершенно инстинктивно, не могло поддаться режиму, систематически убивавшему личность. В нашем классе выпуска 1905 г. таких было несколько. И на почве недовольства системой цуканья, критики учебной системы, споров с начальством, понемногу и с классом создались натянутые отношения.

IV.

Совершенно особый характер придавало всей нашей корпусной жизни участие — хотя-бы и просто в виде статистов — в придворных празднествах и церемониях. Как в волшебной сказке, жизнь переносила нас в совершенно

иной мир, бесконечно далекий от корпуса, с его монотонным, рутинным обиходом, в обстановку блеска и роскоши, в обстановку, где, чувствовалось, был завязан узел всей жизни России, в непосредственную близость царя и всех „великих мира сего“, которых там мы видели и слышали. Обязанности наши были очень не сложны. Мы должны были находиться при той или другой особе царской семьи, на случай необходимости оказать ту или другую мелкую услугу. Надобность такая встречалась редко и обычно мы просто находились здесь же, в самом центре придворной жизни, без дела, но с полной возможностью все видеть, в особенности потому, что на нас никто не обращал внимания.

Впервые на придворной службе мне пришлось быть летом 1904 г. на крестинах наследника. Впечатления, вынесенные из дворца, глубоко запали в душу, вызвав так же, как и корпусная жизнь, какое-то странное раздвоение, болезненный вопрос, на который тогда тревожно ждал, искал ответа, ответа, который жизнь дала уже много спустя лет взрослому человеку. Внешность поражала величием и красотой обстановки и формы, по сути, внутренние отношения, которые одним углом были видны при внимательном наблюдении, заставляли сердце сжиматься от мучительного вопроса: „если уж здесь, у царя, нет правды, то где-же ее искать?“

Наши цари сумели сделать и величественной и красивой окружающую их обстановку. Попадая на высочайший выход, торжественное молебствие или завтрак в высочайшем присутствии, каждый участник был невольно поражен грандиозностью картины, которая как-то олицетворяла собой величие масштаба той огромной страны и огромной власти, олицетворением которой являлся император. Чудные дворцы, художественные, огромные залы, тянувшиеся непрерывной амфиладой; блестящая, но строго выдержанная обстановка, масса света в роскошных люстрах, масса цветов, картины лучших художников, мозаика паркетов, лепные потолки, резные двери, словом все, что талант, искусство и колоссальное сосредоточие богатства могли дать, было собрано в этих дворцах-сокровищницах в Петербурге, Петергофе и царском Селе, — все это составляло фон, на котором разыгрывалась придворная жизнь, прекрасная буквально как лучшие замыслы театрального сценария. Каждая мелочь продумана, создана талантливым художником, от ливреи придворного лакея, до убранства стола и компановки общего церемониала „выхода“, церемонии праздника. В ожидании царя, все имеющие „вход ко двору“ придворные дамы и кавалеры собирались в залах, по старшинству. Особо приближенные имели право входа „за кавалергарды“¹⁾ в непосредственную близость „внутренних покоев“ царя. При выходе царя все замирало, отвешивая глубокий поклон и по мере движения царя присоединялось к шествию. Дамы в старых русских костюмах с кокошниками на голове, придворные и сенаторы в шитых золотом мундирах, красного и черного сукна, масса военных, а по

¹⁾ Часовые кавалергардского полка, стоявшие в дверях залы, предшествовавшей внутренним покоям царя.

сторонам шествия, сопровождая великих княгинь, камер-пажи в ботфортах, лосинах и красивых длинных с золотым галуном кафтанах, помогая великим княгиням в их сложных маневрах с длинным 2-х саженым треном. В качестве фельдфебеля 1-ой роты по правилам корпуса я был назначен состоять камер-пажем при государе; фактически обязанностей не было никаких, но следуя непосредственно за ним во всё время церемоний я мог всё видеть и ценить всю картину почти как зритель, на которого никто не обращает внимания и никто не стесняется. Из всех придворных церемоний больше всего меня поразили Георгиевский парад, этот праздник храбрых, на который со всех концов России съехались георгиевские кавалеры, офицеры и солдаты. Царь принимал их в залах Зимнего дворца, и нужно было видеть тот неподдельный энтузиазм, с которым его встречали везде, — и на выходе к георгиевским кавалерам, построенным в залах дворца, и на завтраке солдат георгиевцев в огромных помещениях Народного Дома, и на обеде офицеров, с белым крестиком на груди, снова в Белом зале Зимнего дворца. Много нужно было сделать для того, чтобы эти чувства, которые привели в царский дворец всех этих людей, со всех сторон России, и которые выливались в откровенную радость при виде царя, обратились в холодное равнодушие, презрение, а иногда и ненависть, в промежуток времени всего в 10-12 лет.

Император держался всегда необычайно просто и как будто стеснялся всего блеска и величия, которым его окружали. Но это лишь как будто. Вглядевшись внимательно, ясно было видно, что это все он принимал как должное, твердо и убежденно, видя в себе самодержавца величайшей в мире страны. Он говорил с гостями, приближенными, послами иностранных держав, как будто конфузился, подбирая слова, подыскивая, что сказать, нервно покручивая ус. Казалось иногда, что ему просто нечего сказать, потому что у него в душе ничего нет для окружающих. Ему видимо было приятно, когда его собеседник не заставлял его искать тему для разговора, а говорил сам.

Поражал и отталкивал окружавший царя двор. Я ожидал увидеть лучших просвещенных деятелей России. Юношеское воображение, воспитанное в четырех стенах корпуса, рисовало обожаемого тогда царя, окруженного советниками, собранными со всей страны, лучшими, светлыми людьми, достойными осуществлять великие задачи управления. Я искал глазами этих лучших светлых и... не находил. Кругом стояло бесконечное количество людей, делавшейся особенно любезной во время разговора с кем-нибудь стоявшим близко к „солнцу“ и обращающейся в какой-то волчий оскал, полный равнодушия и скуки, как только беседа прекращалась и можно было думать, что его никто больше не наблюдает. Постороннему наблюдателю было ясно видно, с каким величайшим вниманием все следят за тем, что скажет царь и кому именно, а особенно, что скажет царю тот, с кем царь удостоил беседовать. Внешне все держали себя очень просто и непринужденно, но под этой выложенной поверхностью чувствовалось большое напряжение, постоянная борьба влияний, борьба за отношения царя, от которого исходило всё. Но где-же

люди, где-же эти большие и сильные? Напрасно юношеское сердце искало их. Были лощенные царедворцы, но не люди-борцы, строители новой жизни. И глядя на них невольно вспоминались рассказы о той вакханалии личных честолюбий, корыстных происков, темных дел, интриг, лести, подoboстрастия, которые сплетались в чудовищный клубок вокруг царя в погоне за личной выгодной карьерой, орденом, концессией, подобно той, которая послужила поводом к несчастной японской войне, трагедия которой разворачивалась как раз в это время на Дальнем Востоке. И не хотелось всему этому верить. Неиспорченное жизнью сердце отказывалось „принять жизнь“ такую, какая она была, но глядя в глаза этих раззолоченных господ „с ключами“, невольно рождались тяжелые мысли, мучительные вопросы. Не было у них „света в глазах“.

Вот те впечатления, та обстановка, в которой довелось встретить события 1905 г. Жизнь шла по инерции, по старым проторенным путям, но те глубокие внутренние недуги, которые ее разъедали, давали себя чувствовать на каждом шагу даже в том круге людей, в обстановке Пажеского корпуса, в который я встречал канун великих событий. Целый ряд фактов, наблюдений врывался резким диссонансом и заставлял думать, искать ответа. И этот ответ принесли вести с войны и события 9 января на улицах Петербурга.

Все эти мысли и впечатления, конечно, приходилось глубоко таить в душе. Они были настолько смутны, и в то-же время так мало обоснованы, что даже говорить о них было трудно. Но в общее мировоззрение они вносили свое влияние, всё дальше и дальше уводя от окружающей среды, для которой ни таких вопросов, ни сомнений не было.

V.

Такова в крупных чертах та обстановка, в которой мы жили в корпусе и с которой подошли к событиям Русско-Японской войны. Война эта была встречена общим, нескрываемым несочувствием широких слоев народа и даже высших кругов общества. Недовольство это высказывалось и на страницах газет, и на общественных собраниях, и даже в петербургских гостиницах, этой вспомогательной лаборатории нашей дореволюционной политики. Реляции из действующей армии стали приходить невеселые. С первого боевого столкновения на море—потопления „Варяга“, повреждения „Цесаревича“, „Ретвизана“ и „Паллады“—и с первого поражения наших войск на суше у Тюринчена, мы так и не получили ни одной, в буквальном смысле слова, ни одной радостной вести с театра войны. Это совершенно переворачивало всё наше мировоззрение в корпусе, на создание которого было положено столько труда нашими преподавателями военной истории и тактики. Что значили все эти неудачи? Мы этого понять и объяснить себе не могли, а наши старшие молчали сконфуженно и тоже ничего не могли нам сказать. Нас воспитывали на примерах подвигов Суворова и его чудо-богатырей, на славных воспоминаниях 1812 г., на взятии Парижа. Мы слышали о героизме защитников Севастополя, о переходе Гурко

в зимние вьюги через высоты Балкан и о мире, подписанном в Сан-Стефано. Это была, в наших глазах, в том освещении, которое нам давалось, блестящая эпопея подвигов, самоотвержения, во имя любви к родине целых поколений русского народа в серых шинелях, целых поколений русских дворян в офицерских мундирах. В лучах этой мировой, как нам казалось, славы, меркли все мелкие недочеты и промахи. Мы жили с таким представлением о действительности, с таким представлением об армии. И естественно, что такая славная, победоносная армия была в наших глазах воплощением силы всего народа, воплощением и того государственного устройства, которое сумело такую силу создать и обеспечить своему народу „мир и благоденствие“ с 1878 г. тогда уже почти 30 лет.

И вот на такую неподготовленную к пониманию действительности молодую психологию сваливались одно за другим, как гром из ясного неба, вести с театра войны, одна другой тяжелее, одна другой позорнее! Где-же наша историческая стойкость, доблесть войск, таланты начальников? Где-же наша историческая слава, передававшаяся из поколения в поколение, от отца к сыну? Когда наши войска оборонялись, японцы нас каждый раз опровергали и гнали назад, забирая пленных, военную добычу, даже пушки! Последнее казалось нам просто чудовищным! Так было и под Тюринченом, под Вафангоу, на передовых Ляоянских позициях и наконец под Ляояном, где уже давался бой сосредоточенной и серьезной армией, которая численно превосходила японцев; когда мы пробовали перейти в наступление, мы едва могли отбросить японцев на версту назад, после чего наше наступление останавливалось, не добившись никаких результатов. Наконец Мукденский погром, сдача Порт-Артура — словом каждый шаг нашей армии в Маньчжурии был новым разочарованием, грубо срывавшим занавес с глаз, разрушавшим иллюзию того мировоззрения, в котором мы жили до сих пор. И мучительно начались поиски объяснения. Разве вся история наша не была историей непрерывных побед, из столетия в столетие расширявших наши границы и присоединявших к нам все новые и новые земли? Ведь это же в наших глазах тогда было неопровержимой правдой! А если права история, то как было понять вести из Маньчжурии. Ни мы сами, ни старшие нас окружающие, нам ответа дать не могли. Одно только чувствовалось ясно — наша обязанность была в том, чтобы ехать на войну. И тщательно собиралось походное снаряжение, покупались китайские и японские словари, все мысли были направлены туда, где была нужна наша энергия, наши силы. Но и этому мечтанию был положен предел. Распоряжением свыше выпускные классы должны были взять вакансии в Европейской России.

Ответ на все эти мучительные вопросы стал получаться из такого источника, откуда я меньше всего его ждал. По военным вопросам ответ давали „штатские люди“, „газетные писатели“, к которым в корпусе у нас было предубежденное и полупрезрительное отношение, как к людям, которые совершенно иначе смотрят и на вопросы „чести“ и на свой долг перед родиной, а главное, которые много говорят и быть может хорошо пишут, но

сами совершенно не считают нужным рискнуть своей „драгоценной“ жизнью для того, чтобы помочь делу. Однако, под влиянием вестей о непрекращающихся неудачах, газеты стали читаться внимательно, да и содержание газет резко изменилось. Появился резкий обличительный тон; многое такое, о чем раньше говорилось шепотом, теперь стали „кричать с крыш домов“. И постепенно на поверхность выплывал такой ужас грязи, лжи, обманов, насилия, что хотелось закрыть глаза и бежать куда попало. Будь война удачна, можно было бы не верить, но всё, что говорили, все оправдывалось. Чего стоила хотя бы одна история с Безобразовым и концессиями на Ялу? Началось пробуждение широких кругов общества. Все заговорили, что дальше так жить нельзя, что продолжение ошибок, наделанных в эту войну, будет означать гибель России. Нужно начать жить по другому. К январю 1905 г. в петербургских гостиницах грохотом утверждалось, что все неудачи войны происходят благодаря полной неспособности нашего правительства предвидеть и предотвратить удары, грозившие России, и привлечение к работе народных представителей указывалось как единственный возможный путь к обновлению жизни. Мнения, однако, делились. Одни считали, что нужно, главным образом, подтипути государственную машину, внушить всем чувство долга, а главное укрепить самодержавие. Таких голосов в обществе однако было слышно немного. Но зато в корпусе именно это направление торжествовало в тех редких случаях, когда возникали споры на политические темы, вносившие все новое и новое отдаление в мои отношения к товарищам. В главной массе пажей вести с войны встречались с большой болью, но они не толкали на обсуждения, на искания причин. Большинство считало, что всё это не нашего ума дело, и всякая попытка подойти к этим вопросам более серьезно и глубоко встречала глухое недоброжелательство. Эти мысли считались „красными“, от них инстинктивно уходили.

Что же касалось большинства людей, которых приходилось встречать вне корпусных стен, то они считали такую программу совершенно неудовлетворительной (только!) и говорили о необходимости привлечения к государственной работе народа. У всех как-то глаза открылись на изумительное явление — многомиллионный народ находился в опеке у маленькой кучки бюрократов, опеке, которая не обеспечивала ни благосостояния, ни даже внешней безопасности народа, но которая все покушения на свои привилегии и власть считала государственным преступлением. Мало того, они создали в стране такую жизнь, при которой никто не был гарантирован даже от вмешательства в его личную жизнь агентов государственной власти, беззастенчиво посягавших и на свободу и на имущество граждан. Вот что приходилось и слышать и читать везде, что врвалось в жизнь и сознание потоком новых идей, чувств, настроений. Находился, наконец, виновник того стыда, который мы переживали, из-за которого там на Востоке лилась кровь, и старые знамена полков, всегда знавшие одни лишь победы, теперь несли позор поражения.

Переживалась тяжелая душевная драма. Чувствовалось, что рушится какая-то дорогая вера, гибнут какие-то дорогие мечты. Но государь! Мне

так хотелось думать тогда, что он то здесь не при чем. С его ясными, добрыми глазами человек казался неспособен на это, и всё негодование переносилось на тех людей в шитых золотом мундирах, с холодными улыбками и утонченными манерами, которых я видел на выходах во дворец. Это они были во всем виноваты: постепенно все яснее и яснее становилось, что наше национальное несчастье есть дело их рук. Так рисовалась обстановка большой душе, невыносимо страдавшей от всего переживаемого, искавшей во чтобы то ни стало объяснения происшедшему, так ее можно было понять в условиях времени и места, в январе 1905 г. в стенах Пажеского корпуса.

VI.

Неудачи на театре войны были первым и главным возбудителем, заставшим напряженно думать о соотношении внешней и внутренней политики в армии. Но, конечно, эти мысли никогда не принимали бы такой резкости, если бы война с „внешним“ врагом, не совпала с первыми волнениями внутри, первыми раскатами революционной бури в стране.

Пушечный выстрел картечью 6 января 1905 г. по беседке, где в присутствии царя совершалось крещенское водосвятие, был собственно первым днем великого революционного действия, волны которого, то поднимаясь и опускаясь, докатились девятым валом до февраля 1917 года. В качестве камер-пажа императора я присутствовал в этот день на параде и, стоя непосредственно за ним, видел все, что произошло в этот день. Помню, я вернулся из дворца глубоко потрясенный пережитым, еще плохо разбираясь в том, что произошло, и, конечно, не отдавая себе отчета в том, в какую новую, великую эпоху нашей русской и мировой жизни мы в этот день вступили. Придворный церемониал в этот день протекал с обычной торжественностью. Во всех залах дворца были построены части войск — представители всех полков гарнизона Петербурга со знаменами и штандартами. Толпы блестящего гвардейского офицерства, бесконечное количество разных господ в шитых золотом мундирах, генералы с лентами, звездами, дамы в придворных нарядах наполняли огромный Зимний дворец.

Государь, со свитой обойдя войска и отстояв обедню в дворцовой церкви, с крестным ходом снова прошел по всей амфиладе бесконечных зал, мимо войск и приглашенных, через Иорданский подъезд на Неву, где на льду была построена беседка для водосвятия. Духовенство спустилось вниз для водосвятия, знамена и штандарты разместились по внешней стороне беседки, обращенной к Бирже, а император со свитой остался, не входя во внутрь на широком помосте, между дворцом и беседкой, заслоненный ею со стороны Биржи. После короткого молебствия митрополит освятил воду Невы; одновременно с верков Петропавловской крепости, и со стороны Биржи, где стояла прибывшая нарочно для производства смотра гвардейской конной артиллерии батарея его величества, раздалась салютационная стрельба. Почти одновременно в окнах дворца послышался звон битого стекла, довольно сильный.

треск в куполе беседки, и к ногам царя упал довольно крупный обломок дерева. Первое впечатление было, что это упал хвост ракеты, неудачно занесенный сюда ветром. Но, одновременно на противоположной стороне беседки, обращенной к Бирже, произошло движение. Великий князь Владимир, прошел на ту сторону и, вернувшись, шепнул императору, что во время салюта, со стороны Васильевского острова по водосвятию и дворцу были произведены выстрелы, одним из которых перебило знамя Морского корпуса: никто из присутствовавших в беседке ранен не был, но одному из городских, стоявших неподалеко от входа, пулей выбило глаз.

Царь встретил известие совершенно спокойно, прошел посмотреть побитое знамя, несмотря на уговоры вернуться во дворец, остался, и прослушал всю службу до конца; затем не ускоряя шага вместе с крестным ходом вернулся к себе. Я помню, что мне было страшно жутко за него. Салют в 101 выстрел не прерывался, и каждую минуту можно было ждать новых, быть может более метких попаданий. Но все обошлось благополучно. Во дворце выяснилось, что окна в нескольких залах были пробиты пулями образца принятого для картечи легкой полевой пушки.

Церемониал крещенского „выхода“ не прерывался. Служба закончилась. Государь долго беседовал по очереди со всеми представителями иностранных держав и только по окончании официальной стороны приема к царю подошел градоначальник Фулон и доложил о результатах быстро произведенного расследования. Полиция осмотрела все чердаки на Васильевском Острове, откуда могли быть произведены выстрелы. Осмотр не дал никаких результатов, но зато перед тем местом, откуда стреляла конная батарея, найден картуз от разорвавшейся картечи, а ряд очевидцев показал, что 2-е орудие, после первого же выстрела, сильно откатилось назад, чего при холостых выстрелах не должно иметь место. Доклад не оставлял сомнения в том, что картечь была выпущена салютовавшей батареей. Тут только, впервые можно было заметить, что случай этот тяжело повлиял на царя; он горько усмехнулся и заметил: „Моя же батарея меня и растреливает! Только плохо стреляет!“

Это происшествие произвело очень большое впечатление и в городе, и у нас в корпусе, тем более, что все офицеры на стрелявшей батарее были бывшие пажи. Никто в корпусе не хотел верить, что здесь имел место злой умысел, хотя и указывалось на то, что наводчик у орудия был какой-то вольноопределяющийся, уже по одному этому лицо подозрительное. Было произведено строжайшее расследование, но оно обнаружило лишь, что картечь была забыта (!?) в стволе орудия во время ученья накануне, а перед салютом орудие снова забыли (!?) осмотреть.

В обществе, несмотря на результаты расследования, осталось убеждение, что следствие умышленно скрыло следы произведенного покушения, так как невозможно было объяснить редчайшим совпадением случайностей все вплоть до того, что именно заряженное орудие оказалось наведенным на самую церемонию водосвятия, а попадания так хороши, что был даже выбит глаз у городского, стоявшего у лестницы и прострелено знамя при входе в нее.

Офицеров судили военным судом, разжаловали в рядовые, но вскоре они были прощены, и один из них служил даже потом в генеральном штабе.

VII.

Выстрел на крещенском параде, как бы дал сигнал началу волнений, толкнул целую волну недовольства, выразившегося в известном движении рабочих 9 января под предводительством Гапона к Зимнему дворцу. Движение это, насколько было известно, назревало давно, а в последние месяцы 1904 года, под влиянием вестей с войны, стало принимать очень острый характер. Один из моих родных, в доме которого и проводил время отпусков, был в это время начальником казенного Трубочного завода, и по его рассказам я мог довольно близко следить за тем, что делалось в народной массе; тревожные слухи из рабочей среды невольно заставили заинтересоваться жизнью рабочих и понемногу я стал знакомиться с условиями существования и бытом петербургского пролетариата. Раньше это мало интересовало меня, но по мере того, как одна за другой накапливались вопросы, я невольно стал приглядываться к рабочей среде. Первое, что меня поразило, это жалкий размер заработной платы. Хорошей платой рабочему считалось 1 руб. 20 коп.—1 руб. 50 к. в день т.-е. 25—35 руб. в месяц. Большая часть моих товарищей получала от своих родных на мелкие расходы примерно такую, а часто и много большую сумму, и вот, сидя всю неделю в корпусе и имея все, что было нужно для жизни, большинство с трудом ею обходилось, расходуя деньги с величайшей осмотрительностью. Здесь же рабочий с семьей должен был из этих грошей покрыть все свои расходы, начиная от квартиры и кончая сапожками своему ребенку. Но были рабочие, которые не выручали и 60 коп. в день. Неудивительно, что зачастую они не могли позволить себе роскошь иметь на каждого по одной кровати, а жили, как звери, вповалку по углам. Обычно на мои вопросы приводился довод, что их потребности и наши совершенно разные, и поэтому нельзя сравнивать наши и их расходы. Но это меня мало удовлетворяло. Разница в потребностях человека казалась мне чрезвычайно условной. Но и в этом вопросе я не встречал сочувствия и поддержки в своем классе. Большинство считало, что людей „черной кости“ нельзя равнять на наш аршин.

События развивались очень быстро. После праздников забастовал целый ряд заводов, обуховцы и путиловцы в первую голову. 7-го января стали и все казенные заводы, что привело меня в отчаяние, ибо каждый день без работ уменьшал боевые средства наших войск там, на Дальнем Востоке, где они, истекая кровью, боролись за честь и интересы России на берегах Тихого Океана. В корпусе все эти вести производили очень тяжелое впечатление. Большинство совершенно не понимало, чего нужно было рабочим и искренно негодовало, считая, что должны быть приняты самые решительные меры умирения. Одиночные голоса, стремившиеся заставить взглянуть в смысл происходящего, оставались безрезультатны, и эти попытки вызвали очень резкое, прямо враждебное отношение. В субботу 8 января, когда я после окончания

занятий ехал из корпуса в отпуск на Васильевский Остров, на улицах было ясно заметно необычайное возбуждение. В рабочих кварталах народ кипел, как в муравейнике; люди сходились кучами, слышны были оживленные споры, выкрики. Полиция также суетилась больше обыкновенного. Воскресенье 9-го января день выдался светлый, погожий. К 12 часам на Малом проспекте Васильевского Острова началось усиленное движение рабочих. Люди, приходившие оттуда на Трубочный завод, рассказывали, что на 4-й линии собралась огромная толпа народа, что там устроены баррикады, выкинуты красные флаги. Телеграфные столбы повалены и проволока пошла на устройство проволочных заграждений. По телефону непрерывно сообщали одну за другой тревожные вести о том, что делалось в центре города, у Зимнего дворца, о толпах народа, ходивших по городу, о намерении рабочих разбить Трубочный завод и т. д. Весь день доносились далекие раскаты залпов. Стало сразу известно, что громадные толпы народа со всех предместий города двинулись к Зимнему дворцу просить царя об улучшении участи рабочих. Они шли безоружными с твердым убеждением, что царь примет их, выслушает и защитит их от угнетения „господ“. Это старая психология нашего крестьянина, верившего в то, что царь его вечный заступник от притеснения „господ“ помещиков, отнявших у него землю „божью“. В иных условиях, в рабочей среде, оживала та же психология русского землероба, продолжавшая жить в душе оторвавшегося от деревни крестьянина в рабочей блузе. Но мирные толпы рабочих, шедшие местами с портретом царя, были везде встречены стеной штыков или сомкнутым строем кавалерии. Толпе предлагали разойтись, и если она по троекратному приказу не расходилась, то пехота открывала огонь, а конница шла в атаку с холодным оружием. Стреляли на Невском, на Дворцовом мосту, на Каменно-островском и еще во многих местах. На Дворцовой площади, когда толпа отказалась разойтись, кавалергарды атаковали, но перед самой толпой командир эскадрона остановил людей. Толпа, которая везде была уверена, что с ней будет говорить царь, что она ничего противозаконного не делает, не верила сигналам, предвалявшим ее о том, что в ход будет пущено оружие. Люди снимали шапки и крестились. В толпе были дети и жены рабочих. Не удивительно, что у кавалергардов не хватало сердца атаковать и они остановились. Но смех раздавшийся из толпы задел их за живое и была произведена вторая атака, уже серьезно, и много трупов осталось на месте, окрасив снег кровью народа, вышедшего добиваться права на человеческую жизнь. Никто в дворец допущен не был и только несколько сотен рабочих заплатили жизнью и ранами за свою попытку.

Среди гвардейских офицеров, действовавших на улицах, было много родных и друзей моих товарищей по классу, и рассказы о событиях этих дней из первоисточников стекались и оживленно обсуждались в корпусе, причем действия войска встречали горячее одобрение. Большинство было возмущено дерзостью народа, вышедшего чего то требовать. Вольноопределяющийся Конногвардейского полка, расположившегося по вызову из Петергофа в манеже нашего корпуса, возбудил общее сочувствие рассказом о решительных действиях

их эскадрона. Он вынул из ножен окровавленную пашку, которой он пробил голову какому-то „негодяю“! Из-за этой пашки у меня произошло уже первое крупное столкновение с классом. Я не помню, что и как я говорил, но смысл моей речи был тот, что оружие нам дано для защиты родины, для борьбы за свой народ, а не против него, что хвастаться кровью, пролитой на улицах своей столицы, может только человек, не чувствующий никакой любви к своему народу. Спор принял было резкие формы, но перешел на обсуждение общего положения рабочих, о которых я рассказал все, что знал. Мне хотелось убедить в том, что если народ вышел наконец на улицу, то потому, что сил не хватило терпеть скотского приниженного положения, в котором он жил. Ведь чернорабочие получали по 16 — 17 руб. в месяц!!! Ведь это-же существование зверя — работа по 10 — 12 часов, еда и сон. Больше на 16 руб. ничего позволить себе было невозможно. Единственная радость, единственная мечта, на которую хватало средств, это была бутылка водки и забвение, хоть на короткий миг, ужаса этого беспроектного существования, без счастья, без надежд, без будущего, с уверенностью, что рано или поздно, человек, как измученная кляча, свалится и умрет в придорожной канаве! Во мне самом вспыхнула тогда впервые мысль, и я хотел передать ее и другим. Я не мог понять, как могут люди, живущие рядом, в достатке и роскоши, имея всё, и даже больше того, что им нужно, и держа власть в своих руках, терпеть эту чудовищную несправедливость, это духовное и физическое умирание народа рядом с собою. И этих людей, вышедших требовать своих прав на свою долю, не говорю уже счастья и света в жизни, но просто человеческой жизни, расстреливали сегодня! Рабочий вопрос вызвал и в этот раз, и много раз потом, большие споры в нашей среде, но моя точка зрения находила мало сторонников. Наоборот, чувствовалось, что, заступаясь за „бунтующих“ рабочих, я сам навлек на себя подозрение и неудовольствие класса, с которым расходился всё дальше и дальше по целому ряду крупных вопросов как корпусной, так и общественной жизни.

Но были, очевидно, люди, которые чувствовали и думали так же, как и я. Мне передавали случай, кажется, бывший с батальоном Семеновского или Гренадерского полка. Когда толпа подошла к строю, командир батальона верхом и без шапки выехал к ней на встречу и просил разойтись „Христом богом“. Он объяснил, рассказал рабочим, что он обязан будет открыть огонь и погибнут люди, а он не хочет брать греха на душу. И толпа, неотступавшая перед конной атакой, разошлась, когда „человек говорил человеку“.

„Бой“ в городе длился несколько дней. В столицу были стянуты части из всех окрестностей. Все улицы были заняты патрулями. Сильные резервы расположились во всех частях города на случай новых выступлений. В холодные зимние ночи у костров на углах улиц грелись заставы пехоты, а конные дозоры объезжали опустелые улицы, звеня оружием. Толпа, встретившая огонь и железо, вместо ласкового приветия царя, озверела. Во многих местах начались грабеж лавок, в городе слышна была то здесь, то там перестрелка; провозили убитых. Город носил совершенно необычный, мрачный вид.

Я помню о них из таких вечеров, когда нас несколько человек стояло у открытого окна, прислушиваясь к звукам отдаленных выстрелов, долетавших из города. У всех болело сердце, все чувствовали себя тревожно, но душой мы уже были разделены в эти минуты. Я чувствовал ясно, что у меня росли новые чувства, зрели новые мысли, враждебные тем, которые воодушевляли людей, стоявших рядом со мной; в то же время росло большое чувство разочарования всем тем, чем жил, во что верил раньше. Не было ясного сознания, что в этом старом была правда, и если была, то в чем. Всё надо было пересмотреть, пересмотреть, найти ответ на все те вопросы, которые смутно тарахтелились в корпусной жизни, и во дворце, и при получении вестей с войны, но которые стали неумолимо перед сознанием, давя на лучшие стороны души при виде крови своего родного народа, пролитой на улицах родной столицы в то время, как он с детской верой шел просить заступничества своего „батушки“—царя.

Эти дни были в моей жизни переломом, периодом тяжелой болезни, когда впервые я стал смотреть своими глазами и сам пошел искать свою новую правду.

VIII.

Со времени расстрела рабочих 9—11 января на улицах Петербурга мучительная внутренняя работа в душе не прекращалась. Мировоззрение, такое прочное прежде, рухнуло; новое на его место так легко создаться не могло. С одной стороны стояли вопросы внешней обороны, решался вопрос выхода России к Тихому океану, с другой стороны, самый вопрос борьбы за родину переопределялся: нужно было понять, что же такое родина, за которую нужно бороться. Если эта „родина“—мачеха, с которой свой народ борется на улицах, чтобы выбиться из тупика недоедания и медленной нравственной смерти, то заслуживает ли она того, чтобы за нее отдавать жизнь. Однако, этот вопрос стоял недолго. Мне как то всегда было ясно до очевидности, что внутри мы должны рано или поздно договориться и создать возможность жить всем хорошо и свободно, но от „внешнего“ врага пощады ждать не приходится, и с ним мы должны биться прежде всего; но найти ответ на вопрос, как сопоставить, как соединить эту необходимость внешней обороны, с переустройством страны внутри, я конечно не мог тогда с моими силами. Я только чувствовал себя между молотом и наковальней, между двумя правдами: правдой для всех, и правдой „авгуров“; между красивыми фразами, предназначенными для уловления сердец, об спасании родины, и суровой отвратительной действительностью, обгабившей кровью снег на улицах Петербурга в борьбе за господство внутри страны.

И некого было спросить, негде было найти ответ. Разговоры с товарищами в корпусе вызвали только бурю негодования: „Из тебя растет социалист. Ты также осрамишь корпус, как и они“. Но ведь это же не ответ на вопросы, которые меня мучили. Я искал ответа в книгах, но снова некому было указать, что читать. А брошюры, популярно излагавшие вопросы политической экономии и международной политики, без наличия у меня нужной подготовки только

еще более спутывали всё, оставляя ясным и чистым лишь само искание правды, желание найти ответ во что бы то ни стало. Ведь если меня что и волнует, так это вопрос, как сделать, чтобы жизнь шла по правде, чтобы не было рядом с богатством и роскошью той ужасной нищеты, того общего падения нравственности, которые глубоко возмущают душу и заставляют сомневаться в людях, в возможности осуществить „царствие божие на земле“. Мне тогда ясно было лишь одно. Мы не можем оставаться жить по старому. Нужно искать новых путей. Ведь могли-же Московские цари созывать земские соборы в трудные дни государства и вместе с народом искать выхода—что делать? Мне казалось, что единственным путем спасения для нас было переход от самодержавия к конституционной форме правления. Лучшие люди, собравшись со всей страны, могли бы пайти выход из тупика, из которого, сейчас, кажется, выхода нет настолько, что народ выходит толпами на улицу под расстрел, в поисках хлеба и правды.

Мне верилось, что если выборные обратятся прямо к царю, минуя то средостение в золотых мундирах, которое наполняет залы дворца, то царь всё поймет и всё сделает так, как нужно для блага народа. В эту пору впервые для меня ясно стал вопрос, что самое дорогое, самое ценное на земле это личность человека, его свободный дух. Что жизнь надо строить так, чтобы эта основная ценность жизни росла и ширилась, чтобы человек был свободен развиваться, чтобы внешние условия жизни, ее материальная сторона была так построена, чтобы она не давила человека, не поглощала его целиком, препятствуя развитию его личности, закрывая ему дорогу к свету и счастью. Всё это казалось мне таким простым, ясным, очевидным, несмотря на то, что для меня самого эти мысли стали наглядны, я бы сказал насущны, впервые лишь после расстрела рабочих на улицах, после того, как самое грубое, ничем не оправдываемое насилие над человеком произошло у меня на глазах. В связи с этим произошел и полный переворот взгляда на войну. Наступательные войны, войны завоеваний, войны, где армии неизвестно зачем борются неведомо с кем, проходя насквозь всю Европу, „восстанавливая троны и алтари“,—эта война стала казаться тем же самым, ничем неоправдываемым насилием, против которого должно бороться всеми силами, не допуская его ни в каком случае. Очарование победоносных походов армий, несущих завоевание в чужие страны, рухнуло раз навсегда, и осталось лишь сознание необходимости обороны в случае нападения извне. В связи с этим стал вопрос, можно ли отдать свои силы военному делу. И этот вопрос мучил меня долго, неотвязно стоя в душе.

За долгие годы воспитания в корпусе под влиянием семейных преданий и личных моих предрасположений, военное дело меня тянуло, было мне по душе. Борьба в ее наиболее яркой форме, большая организационная работа, постоянный риск, жизнь на воздухе, спорт, все это во имя большой красивой идеи—защиты родины, все это казалось и верным, и нужным, и вполне отвечающим моим задаткам и симпатиям. Но бороться с внешним врагом это одно; а здесь навязывали еще и борьбу с своим народом; этого я не мог принять, и не мог этому найти объяснения и оправдания. Естественным выходом было стремление

поскорее уехать на войну, вырваться из обстановки внутренней борьбы и покончить с мучительным вопросом, как быть, как согласовать эти две стороны вопроса, из которых вторую чувство справедливости отказывалось признать.

Все эти мысли, вся эта внутренняя борьба, искания естественно отражались на моих отношениях с товарищами. Отсутствие близости, создавшееся еще с первых шагов в корпус, основанное на другой психологии, не принававшей „цуканья“ — того же насилия над личностью, тянувшейся к знанию, давало все более и более обостренный характер этим отношениям, и к концу февраля недовольство в классе моим образом мыслей стало приобретать общий характер. Один из моих немногих друзей предупредил меня, что класс очень восстановлен против меня и что идет серьезное обсуждение, как со мной поступить. Он мне сказал, что решение класса повидимому будет для меня очень тяжелым. „Мужайся“, — помню, заметил он тогда, — „одними словами человек никогда не доказывает свою веру в правду. Человек за свою правду должен страдать“. Это было, конечно, верно, тем более, что правду мою я начинал чувствовать глубоко, со всем убеждением. Она казалась мне настолько очевидной, казалось, что лишь только ее поймешь, как она непременно всякого убедит, и мне думалось, что государь, который передал Булыгину приказ о выработке формы народного представительства, после 9-го января тоже ее понял и тоже ищет выхода, как совместить, как решить эти новые возникшие вопросы.

Видимо, однако, не все думали и чувствовали по моему. Два дня класс обсуждал, что делать, и, наконец, 11 февраля в торжественной обстановке состоялась моя последняя встреча и разговор с товарищами. Меня пригласили в наш корпусный клуб „курилку“, где собрался весь класс и один из камерпажей, прекрасный юноша очень образованный и несомненно с лучшими и чистыми намерениями, — от имени класса обратился ко мне с речью. Он говорил о том, как глубоко я заблуждаюсь, на какой опасный путь становлюсь, говорил о том, насколько мои взгляды расходятся с традициями корпуса и мнениями товарищей, и закончил тем, что мои мысли совершенно несовместимы со званием фельдфебеля Пажеского корпуса и камер-пажа государя, а потому класс предлагает мне либо отказаться от моих взглядов и здесь же об этом громко заявить, либо оставить корпус. Все остальные внимательно сосредоточенно слушали, ожидая, что и как на это будет отвечено. Я отвечал коротко, как умел, стремясь показать, на сколько мои взгляды справедливы, указав на то, что работы Булыгинской комиссии по приказу царя лучше всего доказывают мою правоту; что от моих убеждений я, конечно, не откажусь и с радостью оставлю корпус, как он ни дорог мне тогда был, с тем, чтобы ехать на войну и делом доказать мою преданность государю и родине. Весь разговор был короток и едва ли занял больше 5—10 минут. Решения обеих сторон были приняты заранее, причем характерно, что решение класса было принято большинством 26-ти против всего лишь одного голоса.

После доклада о случившемся ротному командиру я заявил ему на его вопрос, что ни на какие уступки не пойду и прошу одного, возможно скорее

отпустить меня в действующую армию. Ротный командир был весьма смущен происшедшим. Время было тревожное, и он очень боялся, как бы такой случай с „политической“ окраской не причинил вреда его карьере. Это же стремление, боязнь набросить всей этой историей тень на корпус, заставила и весь класс принять решение никому об этом ничего не говорить, что в первое время и выполнялось очень добросовестно. Я перестал бывать в корпусе, а весь класс, несмотря на все расспросы, хранил глубокое молчание. Но директор корпуса посмотрел на дело иначе, решил проявить строгость и твердость и тем заслужить одобрение свыше. Начались допросы, сначала ротным командиром, потом директором корпуса. Слухи об „истории“ в Пажеском корпусе поползли по городу. Рассказывали о прокламации, будто-бы подложенной мной государю, о бомбах, найденных в корпусе и т. д. Одна из моих родственниц была даже напугана слухом о том, что меня уже расстреляли за агитацию в Конно-Гренадерском полку.

История стала привлекать все больше и больше внимания, и наш начальник военно-учебных заведений вел. кн. Константин Константинович вызвал меня для личного допроса к себе в Мраморный дворец. То, что я думал, что составляло мою веру, в эти дни я рассказал и ему. Беседе со мной великий князь уделил больше часу, причем разговор перешел на всю нашу жизнь во всем ее объеме, захватил и Толстого, и Достоевского, захватил самодеятельность, Ницше; великий князь спрашивал меня о моих родных, о том, что я читаю, спросил верю-ли я в бога. Наконец, спросил признаю-ли я свою вину, как военный, как часть армии, которая должна стоять вне политики? Я не отрицал, что с этой стороны, быть может, я и не прав, но есть случаи, когда чувство говорит сильнее, чем все эти условные перегородки. Встретил он меня стоя, говорил строго, но потом как-то незаметно мы сели и постепенно расстояние между великим князем и мальчиком, подозреваемым в „страшных“ замыслах, совершенно исчезло и остался просто интерес человека к человеку. На прощанье он поцеловал меня, отпустил и сказал, что главная моя вина была в том, что я говорил о своих мыслях и идеях с людьми, которые совершенно не подготовлены к их восприятию, и этим причинил себе же огромный вред.

Великий князь лично председательствовал на заседании корпусного учебно-воспитательного комитета, обсуждавшего весь этот инцидент и комитет вынес следующее постановление: „За неосторожные речи о текущих событиях отставить от должности фельдфебеля и до окончания курса наук приезжать в корпус лишь для сдачи репетиций и экзаменов, находясь в отпуску у родителей“. Однако, это решение не было утверждено государем. Через гостинные и прихожие дворца до его сведения все было доведено в совершенно извращенном виде, и он приказал по всему делу произвести второе следствие, для производства которого назначил старика генерал-адъютанта Рихтера, бывшего в это время старейшим из пажей.

Снова начались мытарства вызовов, допросов, расспросов. Рихтер вызвал к себе поочередно весь класс. Откуда то всплыли легенды об агитации

в Конно-Гренадерском полку; мне ставилось в вину, что я радуюсь скорому окончанию корпуса, что я считаю участие в придворных церемониях унижительными и т. д. В заключение Рихтер высказал мне свое мнение, что „мои убеждения очень гуманны, но что они действительно совершенно неуместны в устах камер-пажа государя“.

Что и как было доложено государю я не знаю, но мне было объявлено решение царя — разжаловать из камер-пажей и перевести на службу в войска. Но так как я пробыл два года в корпусе, то обязан был за это отслужить три года в строю рядовым.

Такое решение было ударом грома из ясного неба. Три года жизни потерять за „гуманные взгляды“. То, что теперь так ясно, — зная все внутренние пружины устройства вооруженной силы, зная как и зачем регулировалась ее внутренняя жизнь, — того я совершенно не мог понять тогда. Мои родные пришли в совершенное отчаяние и моя мать добилась аудиенции у вдовствующей императрицы, просил ее ходатайства о смирении кары. Долгие хлопоты, просьбы, старания, содействие родных, а главное матери, опиравшейся на явное несоответствие преступления и наказания, привели к тому, что мне разрешено было выбрать себе место службы в составе действующей армии, а главнокомандующему было дано указание, в случае отличной службы и выдающегося поведения в бою — произвести в офицеры. Но чего это стоило, я узнал уже много потом. Только самоотвержение матери, боровшейся за будущее своего ребенка, добавок так несправедливо, по ее мнению, обиженного, могло дать ей силу, пройти через все те мытарства, пока ей не удалось у императрицы-матери встретить наконец более теплое и отзывчивое отношение и выпросить как милость (!?) право сыну ехать на войну и заслуживать свою „вину“.

Необычайно характерен для настроения руководящих кругов того времени ответ, данный моей матери фрейлиной государыни графиней Г.-К. Моя мать говорила, что ведь следствие не обнаружило за мной никакой вины; ведь нельзя же за „неосторожные суждения о текущих событиях“, как формулировал свою оценку воспитательский комитет корпуса, отставлять от производства и обречь на трехлетнюю солдатчину! — „Что вы хотите?“ — ответила Г.-К. — если оставить проступок без взыскания, то ведь весь оставший класс может обидеться. Могут быть оскорблены за своих сыновей их родители. А ведь „неосторожные“ суждения были, и от них ваш сын не отказывается“. В последнем она была права. От своих суждений я не отказывался.

К 1-му мая закончилась вся эта тяжелая, мучительная волокита и в то время как весь класс был произведен в офицеры, я ехал на восток в шинели солдата 35 Артиллерийской бригады.

Петроград
X-XI/1918 г.

А. И. Верховский.

Арест Совета Рабочих Депутатов ¹⁾.

Много полицейских обязанностей возлагалось на войска в 1905 — 1906 гг. и мне пришлось быть участником ареста Совета Рабочих Депутатов в помещении Экономического Общества в Петербурге.

Дело происходило так: еще с утра, шопотом передавался слух о предстоящем ночью походе. Действительно, к ночи намеченным в экспедицию было объявлено о возлагаемом на них поручении, которое состояло в содействии полиции при аресте Сов. Раб. Депутатов, собравшихся в помещении Экономического Общества. Часов в 12 ночи отряд наш, в составе 4-х рот, выступил к месту назначения, где встретился с ротами другого полка, присланного для той же цели, что и мы. Несение патрульной службы было поручено коннице. Надо думать, власти предполагали сопротивление и даже колебание в войсках, ибо только этими соображениями можно объяснить себе как силу отряда, так и состав его, — из рот и эскадронов не одного, а нескольких полков.

По приходе на место одна часть заявила все выходы из помещения, а другая, в которой находился я, должна была, согласно полученной инструкции, войти внутрь помещения, обезоружить находящихся там и далее действовать по указанию полицейских властей. Исполняя данную инструкцию, рота была введена в нижний зал, где до нашего прихода происходил, вероятно, митинг, который возобновился тотчас же, как прошло первое впечатление, произведенное приходом войск. Ораторы призывали к спокойствию, уверяя, что только выдержка не вызовет эксцессов, и разъясняя невинность войска в этом акте, навязанного помимо его желания. К находящимся в зале полиция, вошедшая за нами, отнеслась довольно равнодушно и ареста отдельных личностей не производила, но тем не менее задержала всех присутствующих без разбора. Дальнейшее пребывание арестованных в нижнем зале протекало в обстановке относительно не тяжелой, за исключением мучительной очереди в единственную отведенную уборную. Что происходило в нижнем зале позднее, я не знаю, так как должен был с отрядом человек в пятнадцать подняться по узкой деревянной лестнице на хоры, где в одной из комнат заседал Исполнительный Комитет.

Следовавший за нами жандармский офицер остановился перед одной из дверей, выходящей на хоры, и, предупредив, что дверь ведет в помеще-

¹⁾ Журнал, посвященный истории революционного движения, не должен обходить своим вниманием и наказание недруга революционного движения. Мы печатаем воспоминания офицера, которому выпала злая доля быть одним из участников ареста первого Совета Рабочих Депутатов. Мы воспроизводим текст без всяких изменений...

ние, занятое сейчас Исполнительным Комитетом, предложил нам войти в это помещение и арестовать присутствующих. Взынченность нервов, неизвестность того, что ожидает нас за дверью, заставляли меня и, думаю, каждого из нас, переживать, хотя и короткие, но неприятные минуты; но делать было нечего — время шло и нужно было или отказаться или действовать. Первого сделать было нельзя уже потому, что это было бессмысленно и повело бы за собой немедленный арест. За дверью была тишина. Мой сосед, старший унтер-офицер Свиридов, попробовал открыть дверь, но она или была заперта или просто туго открывалась; во всяком случае, первая попытка заглянуть в лицо неизвестности успехом не увенчалась. На минутном совещании, как лучше, без лишних жертв с обеих сторон, выполнить поручение — решили быстрым натиском сорвать дверь и всей группой броситься в комнату. Дверь оказалась незапертой и потребовала небольших усилий для того, чтобы ее открыть.

В комнате, куда мы вбежали, стоял стол, покрытый зеленым сукном; какие-то лица, при нашем появлении, встали из-за стола и без всякого сопротивления позволяли себя окружить. На предложение выдать оружие выложили таковое на конец стола, ближний к выходной двери. Когда всё это было сделано, неизвестность и связанная с ней возможность опасности миновала, — вошла полиция, а с ней агент охранного отделения, до чрезвычайности предупредительный и приторный. Число арестованных наверху было невелико; в числе арестованных было, если не ошибаюсь, две или три женщины. Кого мы арестовали, — я по сие время не знаю, кроме Хрусталева-Носаря, фамилию которого я в первый раз тогда услышал.

Арестованных членов Исполнительного Комитета по-одиночке вводили в отдельную комнату, где агентом охранного отделения им производился допрос, сводящийся к установлению личности, но так как никто из них называть себя не пожелал, то тут же производился обыск, и по найденным бумагам личности некоторых были установлены. Нас, присутствующих, удивляло то спокойствие, которое проявляли арестованные, в особенности женщины. Закончив опрос членов Исполнительного Комитета, полиция в каретах и под охраной конных отправила их в тюрьму.

С задержанными в нижнем зале было поступлено проще: их без всякого опроса, партиями человек в 100 — 150, отправляли в Кресты в сопровождении конвоя, возглавляемого жандармом.

Одна деталь этой ночи осталась у меня в памяти: сопровождал вторую или третью партию с одной из рот Измайловского полка в Кресты, измучившись физически и нравственно, я услышал голос жандарма, напештывающего начальнику сопровождающего отряда, в момент перехода Литейного моста: „Ваше высокоблагородие! чего вам из-за них мучиться? Скинем под мост“. Этот шепот, обстановка, чудовищное предложение сопровождающего жандарма делали образ его каким-то сатанинским.

В Крестах нас встретило „тамошнее“ начальство, которое приняло от нас арестованных, общим числом, и выдало расписку в принятии.

В. Карпов.

Думы о былом.

(Из истории белостокского, анархического, „чернознаменского“ движения).

I.

Вместо предисловия.

Бергсон где-то говорит: радость — это устремление в будущее, скорбь — это возвращение к прошлому. Думаю, что это неверно. Мы часто видим в истории, что классы и личности, которым отрезан путь к будущему, радостно возвращаются к прошлому, пытаются в воображении пережить это прошлое. С другой стороны, без скорби возвращаются к прошлому те, кому светят ярко и неугасимо огни будущего. Радость такого возвращения к прошлому объясняется почти непреодолимой потребностью познать внутреннюю целостность и единство исторического замысла и всего, пусть маленького, скромного, но нелишнего дела. Полагаю, что отчасти этим объясняется обилие мемуарной литературы последнего времени.

Определенный фазис истории пролетарской борьбы закончен. Боя на новых позициях продолжают. Осознание задач момента не затевняется, а углубляется выяснением степени исторической преемственности. Пусть утверждают Шпенглеры, что исторической преемственности нет, что, прозвучавши в истории, аккорд замирает навсегда, и никакое чуткое ухо не услышит его более. Пусть. Но мы знаем, что через новые общественные классы, через острое противопоставление одной классовой идеологии другой мы не обрываем нити истории, а еще глубже понимаем смысл и значение и своеобразный характер связи с прошлым.

Конечно, только историк, вооруженный правильным методом и реально связанный с основными запросами настоящего, может дать картину связи через классовое противопоставление различных эпох. Но историку придут на помощь и мемуары, и воспоминания.

В „Думах о былом“ я не собираюсь дать хоть сколько-нибудь связной картины анархического движения. Только воспоминания, отрывки, характеристики. Как бы из записной книжки. Но и в этих пределах я должен буду еще более ограничить себя. Я буду говорить только об одной фракции, а если хотите, течении в русском анархизме — о чернознаменстве. И это

не только потому, что я работал именно в этом движении и был отчасти идеологическим его выразителем, но и потому, что для картины общепанархического движения требуются материалы, которыми я не располагаю. Правда, в смысле документов судьба чернознаменского движения исключительно печальна и убога. Наши противники совершенно правильно упрекали нас в том, что мы, чернознаменцы, существовали, как стоустая народная молва, что наши положения нигде не были теоретически зафиксированы. Это верно. Ни одной хоть сколько-нибудь исчерпывающей статьи о „безмотивном терроре“, критике демократии, критике кропоткинизма, отношения к безработным, ни одной статьи нет. Литература скудна до-нельзя. Издан один номер „Черное Знамя“, один номер „Бунтарь“, два-три номера „Маленького бунтаря“ (группой тов. Эрделевского) да бесчисленные прокламации. Но ни одной прокламации у меня под руками нет. Да и упомянутые номера газет дают слабое и приблизительное представление о позиции чернознаменства. Но здесь мне поможет личный опыт. Следовало бы, по настоящему, дать специальный очерк теоретических предпосылок. Но я это сделаю в другой раз, в одном из ближайших очерков. Это имеет, конечно, исторический интерес, но не только исторический. Дело в том, что чернознаменство характеризуется идеологической и тактической борьбой на два фронта. С социал-демократизмом, поскольку социалдемократизм II Интернационала и явно, и тайно прикрывал классовую фразеологией общенациональную тактику и идеологию. С кропоткинизмом, поскольку наряду с бунтарством и максимализмом на деле утверждался тщательно замаскированный мелкобуржуазный федерализм и минимализм. Борьба с демократизмом — центр, душа чернознаменства. И ни в какой мере эта борьба не была повторением борьбы старого анархизма против демократии. Наша борьба была строго классово мотивирована и этим противопоставлялась старому анархизму.

Сейчас при свете Октябрьской революции делается очевидным, что не только в рядах старой социалдемократии происходила дифференциация по линии высвобождения от ига демократизма, но эта же борьба происходила в рядах русского анархизма. И идейным и тактическим выразителем этой борьбы явилось чернознаменство. Правда, в среде большевиков эта работа происходила как будто гораздо медленнее; водораздел между Лениным и Каутским 1903 г. был почти не заметен, но эта замедленность темпа объяснялась крепкой связью с рабочим авангардом, который медленно, но верно не только в разуме, но в организационных формах высвобождался от демократического гипноза. Анархисты не все были против „демократии“, но на деле кропоткинство было глубоко заражено своеобразным, до-капиталистическим демократизмом в виде федерализма-либерального. Эта язва выступила во время войны. Чернознаменцы эту болячку вскрывали и обнажали с начала своего появления. Помню один интересный эпизод. Когда я в 1919 г. приехал в ставку Махно, я немедленно прочитал всем ответственным работникам всей ставки доклад на тему, почему я, бывший чернознаменец, иду рука об руку с большевиками. Я выяснил, что по существу в основном, в кардинальном

чернознаменцы делали ту же, что и большевики, работу и что эти две параллельные линии, вопреки теоремам геометрии, должны были встретиться в историческом пространстве. Аршинов, тот самый Аршинов, который окончательно перекочевал в Махно, и который сейчас стоит во главе нечестной травли и клеветнической кампании, направленной против меня, как против продавшего шпату свою большевикам, этот Аршинов усумнился в исторической правильности моей аналогии. Однако, в дальнейшем он со мною согласился целиком и полностью. Эта справка показывает, что изучение чернознаменства имеет далеко не только исторический интерес.

Еще два слова: я сейчас не „чернознаменец“ и не хочу оправдываться задним числом. Но надо сказать вот что: — Очень часто склонны смешивать чернознаменцев с максималистами. Нас характеризует по ложному признаку — мы не хотели программы-минимум, а требовали реализации безгосударственного коммунизма сейчас же. Это была идеология нетерпеливой, романтической воли. Запоздалый отзвук утопизма. Да, утопизма и романтики было немало. Но вышеназванный признак неправилен. Пусть читатель познакомится хотя бы с передовицей „Бунтаря“, „Современный момент и наши задачи“. Найдет ли он там хоть тень веры догматической в немедленное осуществление социализма или безгосударственного коммунизма... Нет, там исходит из такого положения: возможно, что демократия победит. Будет создана общенациональная идеология. Задача в период революции создать такие революционные традиции, с которыми будущая демократическая законность должна считаться, как с объективным фактом и нелегко преодолимой силой. Прочитируем хотя бы следующее место:

„Итак, наши задачи и лозунги в современный момент таковы: в среде крестьянства лозунг — земля и орудия обработки. В армии — отказ от военной службы, призыв к военным бунтам и поддержке народа в его борьбе. Этим мы разоблачаем половинчатость клича: „буржуазная революция“. Второе: учащенное применение экономического террора — как главное и ничем незаменимое средство накопления революционных традиций, как средство вырыть непроходимо-глубокую пропасть между пролетариатом и буржуазией. Работа среди резервной армии увеличит количество врагов общества, врагов, с которыми не сможет справиться демократия. Всем этим мы парализуем попытки демократии вытравить душу рабочего движения — бунтарский дух. Этим мы подкладываем динамит под буржуазный поезд“.

Из предположения о возможности победы демократии и необходимости создания чего-то демократии враждебного исходит автор статьи, помещенной в том же номере „Бунтаря“ — „Недочеты движения“, статьи, не подписанной и принадлежащей Леониду Виленскому. Автор полагает, что после того, как демократия победит, может случиться как бы перерождение бунтарского орла в „демократическую курицу“. Попытки построить революционную коммунистическую автор объясняет так:

„Пройдет революция, — говорили они, — и образами героев-борцов, кровью павших жертв, крестами братских могил на многие, долгие годы осветит

в глазах масс демократическое знамя. Чем-то дорогим, выстраданным станет оно для них. Враждебно и холодно встретят тогда массы всякую критику демократии. Чем-то кощунственным, святотатственным покажется она им. И надо теперь же на громадном фоне демократии создать хотя бы одну враждебную всей картине точку. Пусть это будет только точка. Пусть вспыхнет и угаснет она. Но след она оставит. Многочисленные массы заметят и запечатлеют ее в своих умах, как нечто идущее в разрез с идеями и лозунгами демократии“.

Конечно, не только можно, но и должно в вышеприведенных положениях констатировать и романтику, и утопизм, но уж ни в коем случае не догматический максимализм. Центр спора переносится на методы борьбы с демократизмом и подготовки как бы крепостей для дальнейшей борьбы. Чтобы подчеркнуть, что именно антидемократизм является центром чернознаменства, надо бы привести выдержки из статьи „Демократия и анархическая тактика“ из первого номера „Черное Знамя“ (не следует смешивать нелегальный номер газеты „Черное Знамя“ с изданным явочным порядком сборником „Черное Знамя“, куда вошли статьи Кропоткина, Орджоникидзе и др.). Но предпочитаем отложить до очереди, в котором изложим взгляды и развитие воззрений чернознаменцев. Пока процитируем отрывок из передовицы той же газеты:

„...И рабы, на свое несчастье, так же часто обоготворяли господ, как некогда человечество природу, с той лишь разницей, что класс господствующих сознательно во все века старался и старается привить рабам чувство религиозного уважения к себе.

Они говорят: на нас — отблеск божественного сияния, господство — наше „божественное право“. Мы — носители разума, мы вырвали человечество из объятий варварства, озарив лучами культуры“.

И рабы слушались, преклонялись, все больше погружаясь в рабство. А когда нельзя было выносить более голода и приниженности, и когда рабы бешено и неукротимо бросались на врагов, господствующие классы говорили себе: надо их укротить привлечением в наш храм, пусть раб вообразит, что здесь и его спаситель, и его бог; создадим ему иллюзию единой нации, скрыв противоположность классовых интересов, — громом отвод для собственности и государства.

Загудели гуманные колокола, засвистала-защелкала „свободолюбивая“ буржуазная мысль: оставляя пролетариат в экономическом и умственном рабстве и спокойно за свое господство, она „дает“ им „юридические свободы“, „демократические гарантии“, говоря: Отныне ты свободен. Отныне ты гражданин. У нас одна вера — Цивилизация, одна ценность — Демократия. Обнажаем же меч для защиты этих общенациональных благ“.

Всё это предисловие мне нужно было для того, чтобы читатель мог как-нибудь ориентироваться и вдуматься в смысл дальнейшего моего рассказа. Я хочу рассказать об одной только страничке славной истории Белостока, где в то время были собраны значительные силы анархистов. Взоры и революции и реакции были одновременно прикованы к этой точке. Еще раз

подчеркиваю: я дам только отдельные штрихи, моменты, характеристики. И не больше.

II.

Анархическая работа в Белостоке началась приблизительно в 1903 г. Никто не оспаривает, что белостокская группа была теснейшим образом связана с широкими массами пролетариата. Применение экономического террора, которое должно было бы, казалось, способствовать тому, чтобы кучка революционеров превратилась в каких-то спасателей „извне“, этот экономический террор, однако, только способствовал связи с массами. Надо сказать, что в общем этот экономический террор, по крайней мере за последнее время, применялся весьма разумно. Террористы выступали только в тот момент, когда нужен был дополнительный нажим или когда нужно было устранить наиболее рьяных предпринимателей, занимавшихся организацией хозяйского сопротивления. Да и в таком случае выступали члены федерации, широко связанные с массой. Очень часто группа оказывала чисто техническую поддержку. Стачки выигрывались почти всегда. Велась широкая массовая агитация среди рабочих и отчасти среди солдат. Пропаганда по тогдашнему времени стояла на значительной высоте. Имелась прочная связь с группами учащихся. Движение захватило и отсталые слои работниц — „шитарок“. Что движение было громадно, — этого не отрицала и тогдашняя социал-демократия. „Бунд“ издал специально толстый номер, почти весь посвященный критике анархизма. В статьях и прокламациях „Бунда“ признавалось, что впервые в России организованная анархическая группа прочно, глубоко связалась с широчайшими массами. На групповках, на митингах главной целью борьбы была — борьба с анархизмом. Но дело ограничилось не только Белостоком. В городах, селах, местечках возникали, как грибы после дождя, группы. Белосток был организационным центром, сердцем всего движения. Группы сохраняли полную самостоятельность, но всегда делегаты являлись за директивами идейного и тактического характера. Делались попытки установить единство методов и лозунгов. Откликалась деревня. Белосток кипел. Вскоре слух о белостокском анархизме прошел по всей революционной России. Приезжавшим представителям других партий местные организации жаловались, что демократические лозунги среди белостокского пролетариата не имеют успеха и что есть опасность захвата всего края анархистами. Бесперывный террор против полиции окончательно дезорганизовал последнюю. За последнее время полиция буквально не смела являться в рабочие кварталы, особенно туда, где находилась „ставка“ анархистов. Характерно, что даже во время безумного, по жестокости, еврейского погрома в Белостоке полиция и даже армия не посмели явиться на Суражскую улицу, квартал анархистов.

Не мешает сказать несколько слов о характере организации. Во главе стояла „группа“, она являлась душой всего движения. В подавляющем большинстве состояла из рабочих. Группа распадалась на отделы. Была техническая секция, агитаторская, пропагандистская, даже „оружейная“, финансовая.

Группа в целом непосредственно была связана с федерациями — текстильщиков и т. д. Федерация — это не было формой беспартийного синдиката. Федерация была уже массовым движением. В федерацию входило по триста человек. Однако же задачей федерации была профессиональная связь с рабочими данной отрасли промышленности. Федерацией замыкались рамки анархической организаций. Дальше шла широкая масса, которая сочувствовала, пополняла, как ряды федерации, так и группы. Собрания устраивались или межфедерационные, или же все федерации созывали общерабочие громадные митинги. Митинги не прекращались. Я сам, под открытым небом, проводил их буквально сотнями. Жадность рабочих масс была неопишима. Замечательно, что даже теоретические проблемы о понимании хода развития, о роли объективных и субъективных моментов привлекали широкие массы. Слушали жадно, почти торжественно, серьезно. Вскоре группа сделалась центром и для мелкой трудовой массы, но в своеобразной форме: обидели кого-либо, учитель плохо обращается с ребятами, домовладелец грозит высылкой неисправного жильца, кто-то хочет забрать обратно машину Зингера у бедняка за невнесение очередного взноса — всё идет в „Белостокскую группу“. Приходилось наскоро создавать что-то вроде юридической комиссии для разбора дел, столь неважных, но отравляющих жизнь бедноты. Надо было видеть, как беспрекословно обе стороны повиновались, когда свое мнение, — группа не судила, а только высказывала свое мнение, — высказывала группа. Помню два курьеза: после митинга я, усталый, направлялся на кладбище — резиденция белостокских анархистов. Меня останавливает старушка. Она говорит, что была на митинге, вполне согласна со мной; „но, — добавляет она, — не можешь ли ты повлиять, чтобы Мотыка жестянник уплатил мне шесть рублей за обеды; я женщина бедная и во всем согласна с тобой“. И еще. Еду я из Ломжи. Чувствую, что неблагополучно. За мной следят. Колеблюсь: соскочить ли на ходу или подождать ближайшей станции. Вдруг кто-то меня за плечо. Передо мной маленький рыжий огненный человечек; лица не видеть, только и видны лихорадочно блестящие глаза. Он зовет меня. Выхожу на площадку. Оказывается: он кому-то продал партию „краек“ — обрезки материи. Тот после доставки товара „взял его в пресс“. И вот „не может ли защитница бедноты — белостокская группа — рассчитаться с кровопийцей-капиталистом“. Если вы примете во внимание, что в группу стали являться деревенские ходоки, то вы получите только крайне приблизительное представление о той работе, которая свершалась в Белостоке.

В начале 1905 г., группа блестяще выиграла стачку, в которой принимала участие наиболее отсталая, наиболее забитая часть пролетариата — работницы „нитярки“. По национальному составу это были работницы польки. Там орудовали „народовцы“. Шовинизм невероятнейший. Народовцы прожигали национальную ненависть, прививали яд польского национализма. Умело, тонко, если хотите, виртуозно, использовали революционные фразы для религиозно-патриотических целей. С громадным трудом удалось вовлечь эти массы в упорную и большую стачку. Лично я придавал вы-

игрышу этой стачки колоссальное значение. Работа кипела лихорадочно. Пришлось преодолеть и преодолевать невероятную косность, адское сопротивление „народовцев“. Но жадность хозяев, бесстыдство эксплуатации, да и вся революционная ситуация служили нам. Да и работали мы на славу! Громадным триумфом было, когда масса работниц пришла на Суражское кладбище, требуя тут же читать им лекцию о классовой борьбе, и елились не едаться и не приступать к работе ни в коем случае. Враги оценили значение этого переворота в сознании рабочих. Епископ барон Ропп, член Государственной Думы, не поцеремонился с кафедры клеветать, будто бы это была не стачка, а какая-то черная месса, где происходили оргии. В свое время я поместил ответ на страницах „Виленского Северозападного Края“ хваленому епископу. На самом деле было что-то аскетически строгое и воистину величавое в поведении всех. Стачка была выиграна.

Вскоре вспыхнула новая почти всеобщая забастовка, руководимая анархической группой. Стачка была проиграна. Это несомненно начало надрыва в белостоцком анархическом движении. Буржуазия и враждебные нам партии единогласно признали, что выигрыш этой стачки есть на деле диктатура анархистов в Белостоке, и не только в Белостоке. О поведении социал-демократов говорить не буду, — в свое время поговорим об этом замечательном моменте с документами в руках. Пока только я отмечу, что работа и борьба была сверхчеловечески напряженная. Враги и противники отдавали должное упорству, энергии в борьбе. Для меня нет сомнения в том, что проигрыш этой стачки всё же не является результатом случайной ошибки или чрезмерности требований рабочих. Нет. Дело глубже. Здесь, с одной стороны, вскрылась тактическая и идеологическая незрелость всего движения; интуитивно был нащупан правильный пункт в борьбе с демократами. Но массового оформления, твердого мировоззрения, умения нащупать пульс революции в целом не было. В общем своеобразная смесь пролетарского реализма с утопической романтикой. Это следует сказать прямо и мужественно. Но здесь же несомненно вскрылась и слабость всего социалистического движения в целом. В самом деле. Если проанализировать сущности поражения 1905 г., постольку, поскольку это поражение зависело и от поведения партии, то надо сказать следующее: мы были недостаточно демократами, чтобы установить единый общенациональный фронт с буржуазией, и недостаточно *классовыми* борцами, выставляющими четко пролетарское требование социальной революции. Мы были чересчур максималистами в глазах банкиров Западной Европы и чересчур минималистами для спайки русского и мирового пролетариата вокруг пролетарской программы. Говоря так, я не думаю никого обвинять, не думаю, что нужно было действовать по кабинетной выдержанной программе; эта промежуточность была продиктована объективной обстановкой, да и революцию 1905 г. должно рассматривать как великий, авангардный бой, на десятилетие прерванный, в октябре 1917 г. возобновленный и в общем победоносно законченный.

Мы уже видели, что борьба с демократией велась чернознаменцами вовсе не по рецепту старого анархизма кропоткинских толка, а в живой

борьбе с социал-демократизмом и кропоткинизмом, в котором мы вскрыли мелкобуржуазный утопический федерализм. Помню, когда я еще в Женеве выступил впервые с черновизнаменской аргументацией против соединения тактики демократии и класса против Ю. О. Мартова, ко мне подошла Вера Ивановна Засулич и сказала: „Ваша постановка совсем иная, чем у анархистов старого толка; ваш анализ — классовый. Ваши взгляды ошибочны, но ошибочны по-иному“. Борьба в Белостоке была победоносной, поскольку раскрылась внутренняя логика неизбежного ренегатства II Интернационала. Но при переходе к практике дала себя знать организационная, тактическая, стратегическая и идеологическая отсталость. Наметился „надрыв“. Надрыв в движении; надрыв у отдельных работников. Неудачная стачка только раскрыла и вскрыла этот надрыв. Начался период демобилизации анархических рядов; началась мобилизация реакции, закончившаяся белостокским погромом. Этот момент надрыва имеет большое и не только историческое значение. К описанию этого момента я и перехожу.

III.

...Белосток. Суражское кладбище. Раннее утро. Сегодня день свободный. Нет митингов. Нет собраний. Только вечером — теоретическая „групповка“. Я рано пришел на кладбище. Никого нет. Только откуда-то раздается пискливый, надрывной плач. Это какая-то женщина пришла плакать на могиле. Медленно собираются члены группы. Извне всё как будто бы благополучно. Но я знаю, что начинается глубокий и безысходный кризис. Вот появился Митя и знаменитый террорист Арон Елин. Арон Елин — личность почти легендарная. После его гибели — он был убит солдатами, ворвавшимися на кладбище, — официальный, самодержавный „Варшавский Дневник“ писал, что погибла громадная боевая единица. Арон Елин один отстреливается и обращает в бегство казакский патруль. Совершает террористические акты против буржуазии и полиции с поразительным хладнокровием. О нем нельзя сказать, что он „храбр“! Это как-то не то слово. Кажется, Сократ говорит, что есть храбрость, которая основана на неразумии, на незнании и непонимании силы и степени опасности. Арон Елин точно взвешивает все опасности, точнее — заранее предполагает, что враг бесконечно сильнее. В нем нет ни капли рисовки, авантюризма. Он спокоен, прост и ясен. Он знает: надо сделать то-то и делает. Он никогда не впадает ни в „механический боевизм“, когда человек автоматически „делает покушения“, увлекаясь как бы террористическим „искусством для искусства“. Елин связан с массой, он выполняет определенную функцию. Ни капли от психологии „красных дел мастера“, как говорит о себе Ропшин, ни капли самолюбования и смакования психологических деликатесов и пришептывания на мистико-религиозные темы. Он целен и прост. Рядом с ним — Митя. Митя мог бы написать из своей жизни изумительную поэму борьбы и риска. Митя знает только радость кипучей, напряженной борьбы. Митя признает только одного врага — спокой-

*

стие, размеренность, быт. Бледный, точно изнуренный лихорадкой, он во-
истину „ищет бури“ и подозрительно смотрит и на группу, боясь, что она
поддастся постепеновщине и благоразумию. Помню беседу с ним. Митя
надорван, болен. Митя никак не может итти нога в ногу с чересчур для
него замедленным темпом революции. Он с отчаянием говорит мне: „А по-
чему они терпят? Чего они ждут? Чего им жаль?.. Сытого корыта?..
Его у рабочих нет. А ждут! Проклятие“. Не пытайтесь Мите объяснить
объективный ход вещей, закономерность движения! Напрасно. Митя „нена-
видит историю“... И трагедия его в том, что разумом он сознает, что без
миллионов победы нет и быть не может. А вот пришел другой — Самуил.
Рабочий. Много читал. Вот сейчас он ложится под деревом и сейчас же
разворачивает Зомбарта. Читает и каждый раз хватается за голову и как-то
радостно смеется: он поймал Зомбарта там, где „буржуазный идеолог фаль-
сифицирует науку во имя буржуазии“. Самуил воображает себя практиком.
Он работает в синдикате, на фабрике. Но его практицизм — иллюзия. Самуил
плохо видит реальную жизнь. Он весь в видении других миров; весь мир
буржуазии для него — царство дьявола, какая-то бледная, искаженная копия
иного мира. Он — „материалист“, всегда говорит о реальной практике, но
на деле это этический романтик, который цепляется за мир, чтобы найти
иллюстрации негодности и греховности рабского мира.

Группа собирается. Ко мне подходит Арон Елин в сопровождении
своего „адъютанта“, с которыми он шушукается за последнее время. Адъю-
тант — сейчас вне группы. Это угрюмый, злой, ослобленный человек. Лицо
хитрое; скептически ехидная улыбочка. Если есть в организме фагоциты,
спешащие восстановить разрушенную ткань, то этот адъютант — подвижная ба-
цилла: он чувствует, где начинается надрыв, зачатки разложения, и старается свернуть
и расправлять раны. Вспомнил: позже через четырнадцать лет я был на фронте
у Махно. Я, батю Махно и сподвижники собирались кажется в Бердянск. Я во-
шел в вагон третьего класса; хотелось подумать, подвести итоги. Но вот я по-
чувствовал устремленный на меня откуда-то взор. Подымаю голову: на верхней
полке „адъютант“ — те же хитрые глаза, та же скептическая, опустошенная
улыбочка. И сейчас же ад скептицизма, сейчас же зарабогали бациллы — он
виртуозно чувствует, где гниль и разложение, и спешит разложению „на помощь“.

Вот Елин подходит ко мне. Происходит странная беседа. Арон Елин
(он же „Гелингер“) заявляет, что он устал, измучен, что дольше работать
не может. Ему надо уехать за границу. Учиться. Он не хочет быть авто-
матом, он должен на время уйти, чтобы прояснить „свою темную голову“. Он
спрашивает, буду ли я поддерживать его просьбу в группе, — ассигно-
вать ему средства на поездку и учебу. Я отвечаю утвердительно. Но по-
нимаю, что это результат „надрыва“. Группа больна. И даже выдержанный,
закаленный, крепко с массой слитый, ровный и заражающий деловым идеализмом
Бушоль мечется. Он говорит мне: „Они разочарованы, потому что „горят
извне“: революция облила их керосином, а агитация подожгла. А теперь
в реку бросаются, чтобы потушить пожар“.

Разумеется, этот надрыв вызван объективными причинами, противоречием, которое вскрылось в самом движении.

Последняя неудачная стачка несколько не потушила революционного энтузиазма масс. Но вскрылось несоответствие между разрушительной работой и созидательными возможностями. Наступил такой момент, когда конкретные требования хозяевам теряли свой смысл; все поняли, что капиталистов победить мы можем, что надо взять в свои руки город, наладить производство, организовать производственно-военную коммуну. Уже накануне я посетил во дворе фабрики одно рабочее собрание. Хозяин закрыл фабрику. Рабочие остались вне производства и реально ставили вопрос о необходимости самим пустить фабрику в ход. Каковы были шансы подобной революционной коммуны? Ни в коем случае не следует предполагать, будто бы группа наивно полагала, что можно надолго организовать коммуну в маленьком масштабе на одной территории. Но полагалось, что такая коммуна вызовет энтузиазм и поддержку всех рабочих и послужит ярким организационным и агитационным стимулом. Предполагалось, что революция — длительный процесс, и что в дальнейшей поступательной борьбе такое же несоответствие между конкретными требованиями и созидательными возможностями наступит во всей России, и что переход к экспроприации и организации орудий производства, если не абсолютно неизбежен, то возможен. Конкретно было основание предполагать, что будет налажена связь с окрестностями и что крестьяне будут подвозить хлеб. Надо было действовать. Или обрывать поступательное развитие движения и разослать боевые силы в другие города, или же дать новый организационный и идейно практический толчок. Полагалось, что уход из Белостока без последней классовой битвы ни на чем не основан и является капитуляцией перед сложной задачей высшего типа. На „групповке“ расширенный вопрос ставился серьезно и всесторонне. Все понимали, что новая задача требует упорной, сосредоточенной и сравнительно длительной организационной и агитационной подготовки.

Я лично решил немедленно объехать районы, посмотреть наличность сил и ознакомиться на местах с настроением. Общее мое впечатление было таково: повсюду громадный интерес масс. Повсюду большая готовность идти за нами. Элементов романтико-утопических я не усмотрел потому, что вряд ли сам был от них свободен... Сильное впечатление произвели на меня слова одной провинциальной работницы. Выходило, что, если мы не дадим новых лозунгов, не перейдем к высшей стадии борьбы, то масса потеряет доверие, словесная критика социал-демократизма уж не нужна: масса ждет дела. Отсутствие этого дела способствует деморализации в сильнейшей степени. Замечается моральный упадок и недоумение. Повсюду констатировал я тот же „надрыв“, как результат несоответствия боевой готовности и реального дела. По возвращении в Белосток я дал отчет, при чем весьма сдержанно отзывался о наших возможностях, словом — упрекнуть себя в сессии иллюзии я никак не могу.

Прежде, чем приступить к непосредственной работе, мне пришлось ехать беспромеделительно в Варшаву по следующему делу.

Как известно, палач, варшавский генерал-губернатор Скалон, расстрелял, после невероятных пыток, тринадцать анархистов. Группа решила „убрать“ Скалона. За Скалоном охотилась П. П. С. У нас было основание полагать, что нам это удастся скорее.

Условившись о всей подготовительной работе, о необходимости тщательнее следить за контр-революцией, которая что-то готовит, тщательней закрепить и расширить связь с солдатской массой, я счел нужным влезать ненадолго в Варшаву. Предвиделось, что мне придется вести переговоры с представителем боевой организации П. П. С. Я запасаюсь нужными рекомендациями. В Варшаве я в конспиративном смысле устроился великолепно. Я фигурировал в качестве покупателя большой партии бумаги для типографии, спал в общей комнате с купцами в совершенно легальном „доме“: хозяин, содержатель, хороший черносотенец, был на хорошем счету у полиции, останавливались там только свои; моя рекомендация помогла, и хозяин именно со мною охотно беседовал о мерзостях революции.

Вскоре состоялось и мое свидание с представителем П. П. С.

С самого начала стало ясным, что боевая организация и этот представитель ведут какую-то двойную игру. Они как будто решили не отказывать нам в технической помощи, но на самом деле чести такой борьбы уступить нам и не думали. Прошло два дня. Я попросил определенно: ответа. Пришел важный представитель боевой организации. По крайней мере, мне его отрекомендовали таковым. Это был джентльмен, неумеренно красивый, пухленький, ласковый и хитренький. Он великолепно умел отмазываться, да с таким видом, как будто он углубленно и неумеренно проныновенно отвечает именно на суть вопроса. Временами он принимал апостольский святой вид, но тотчас же стал жадно улыбаться, как будто бы говорил сообщнику масляными глазами: „А мне очень хорошо, ужасно, как мне хорошо! Не правда ли, это и вас радует?“ Я решил прекратить версеговоры. В тот же день я предпринял кое-какие самостоятельные, но только подготовительного характера шаги. Дело затягивалось. Я решил, не сочтя значительными результатами, — вернуться в Белосток. После делового свидания я вышел на улицу. Был серенький, уныло пасмурный денек. На углу какая-то группа людей взволнованно галдела. Какая-то тревога точно пробегала по всей улице...

Вдруг показался газетчик... Он горланил: „кровавый погром в Белостоке!.. Тысячи жертв!..“ Я купил газету. Всё стало ясно. Реакция нас предупредила. Пробраться в Белосток? Но это было невозможно. Наступили черные дни. Перевести движение на высшую стадию развития не удалось. Тучи сгустились. Не только над Белостоком. Над всей революцией... Заниматься „переживаниями“ было некогда. Надо было действовать... Но как?.. Выхода сейчас не было. Надо было его найти.

На этом и закончилась одна из страниц белостокского анархического движения...

И. Гроссман-Рошин.

Шлиссельбургская каторга.

(Из воспоминаний).

Быт.

I.

Физическая жизнь заключенных мало поглощала свободного времени. Утром, без четверти-шесть часов—зимой, пять—летом, раздавался по коридорам пронзительный надзирательский свисток.

Пора вставать. Тяжелый сон сменялся нудным днем. В шесть производилась быстрая, формальная проверка каторжан; там—торопливая раздача хлеба и кипятку; за ними чаепитие, и оставалось ожидать обеда, часового—в будни, двухчасового в праздники отдыха, снова свисток, чтоб ожидать ужина, опять проверка, в десять снова спать. И так, как поется в песенке, „с вечера до вечера и снова до утра“, изо дня в день, из года в год, на долгие годы:

„День не приносит перемены,
Ночь ярких снов не создает...“

Каждому, кто провел хоть один день с тяжелыми тюремными порядками, и кто пытался окинуть взором грядущие годы, казалось, что им нет ни конца, ни края, что они потянутся долго, до бесконечности. Такая перспектива только сгущала краски, неизбежно было погружение в самую беспробудную тоску, какая бывает после тройного похмелья самогонном. Но она научила мудрому правилу, вошедшему в арестантский катехизис: „не считай дней впереди, считай только позади“. Благодаря этому взгляд, брошенный назад, говорил, что и чорт не так страшен, как его малюют. Последний день на воле, отдаленный годами от момента „оглядки“, казался таким близким, что с трудом верилось в промежуток. События и впечатления того дня были так свежи и ярки, что мрачные краски окружающего сами собою смягчались, рассеивались, и вперед смотрелось бодрее и веселее, и надежды горели светлее.

В мастерских — столярной, ткацкой, сапожной, слесарной, переплетной и на кухне, занято было в 1913 г. 201 человек. Их уводили на работу, после утреннего чая, часов в семь, приводили на обед и возвращали уже

перед самым ужином. Всем им приходилось, по собственному согласию, работать буквально на пользу начальства и себе лишь на утомленио. Платили по десяти копеек с выработанного рубля и разрешали расходовать половину платы на улучшение тюремной пищи, остальные пятаки должны были скапливаться, чтобы составить капитал, на который труженик, по окончании срока каторги, должен был обзавестись хозяйством. История умалчивает об удаче кого-нибудь получить эти пятачки, но она дает факты, что ни один из освобожденных на поселение каторжан не обзавелся на них своим хозяйством—собственников не прибавилось. И все-таки такие возможности не лишали арестантов-мастеров старательного рвения. Это яснее всего заметно на ткачах, среди которых были не единичны, вырабатывавшие на ручном ткацком станке, в течение рабочего дня за 9 часов, по куску в 55—63 арш. ткани в 28—30 ниток.

Несмотря на полезность мастеровых для тюремного начальства, они не пользовались никакими привилегиями и доверием администрации, их каждый раз по выходе из мастерских тщательно обыскивали, подчеркивая, что, если ты не был вором, то обязательно должен им быть, и за тобой нужно смотреть, потому ты—каторжник. Практического результата, кроме сказанного, обыски не давали: кому нужно было пронести что-нибудь в камеру для себя или для товарища—умели всегда пронести. Но обыски сильно действовали на психологию: люди привыкли к обыскам настолько, что просто чувствовали себя неудобно, если их почему-либо не обыскивали. Условия работы в мастерских были совершенно лишены какого-нибудь намека на гигиену или заботу о работавших. Грязь, пыль, скученность станков и людей до безобразия, ругань, обмериванье, обчитыванье, вечная путаница в записях конторских книг—были постоянной приманной наградой за усердие.

Тяга же в мастерские держалась исключительно привычкой к физическому труду, недаром главную массу работников составляли уроженцы прибалтийского края, с наследственным трудолюбием. Насколько сильно практиковалась обчитывание, говорит тот факт, что надзиратель, бывший при мастерских около 5 лет и получавший 30 рублей в месяц, дал в приданое за дочкой пять тысяч рублей, но ведь он не отдал всё до копейки, и его доля была меньше, чем доля помощника. Помощник после годового заведывания мастерскими приобрел себе моторную лодку, которая каждый вечер с треском катала его персону по невшскому и ладожскому раздолью.

Оставшиеся в камерах после ухода мастеровых и полный состав камер второго корпуса были осуждены на ничего-неделанье. Им, как и сидевшим парами в одиночках, предоставлялось право делать всё, что угодно, только не спать¹⁾. После ухода из камер мастеровых, а где их не было,—после чая, обыкновенно водворялась тишина и все брались за книжки, кто читал, кто учил что-нибудь. Учили серьезно, вникая в каждую мелочь, не пропуская ни одного слова и ничего не принимая на веру от автора. Каждая деталь рассматривалась со всех сторон и проверялась всевозможными способами. Если,

¹⁾ В это число входило три четверти каторжан.

скажем, в арифметике было сказано, что „сумма чисел не зависит от порядка слагаемых“ и даны для этого примеры, то, проверив данные, подыскивались иные примеры, несходные с данными, основательно проверялись, перевертывались всеми способами, и только, когда были исчерпаны все возможности, когда было ясно, как день, что здесь нет ни фальши, ни исключения, переходили к следующему положению. Такое ученье требовало колоссальной усидчивости, терпения, доходившего до упрямства, поглощало напрасно много времени, подвигалось очень медленно, но зато давало основательные результаты. Изученное не только лучше запоминалось, но и давало возможность практического использования в повседневной жизни. Заметно было, что достигнутый результат давал настоящее наслаждение и охватывал ученика неподдельным восторгом, когда он убеждался, что он знает то, чего раньше не знал. Чтобы понять всё это, нужно было видеть кого-нибудь из бывших пролетариев, складывавшего с великим пытанием, как будто ворочал целую гору, $\frac{3}{8}$ и $\frac{4}{5}$, с улыбкой рассматривающего полученную сумму и не имевшего надобности скрывать свое удовольствие:

„Надо ж это! Вот, убей, на заводе не поверил бы, что можно сложить два разных винта и получить другой — целый. Недаром контора скидывала нам гроши и четвертушки — смотри-ка, сколько из этой драни может собраться“.

И, насладившись своим торжеством, он снова пытит и потеет над разной дрянью осьмушек и четвертушек. Такое отношение к изучаемому предмету создавало и особые требования, предъявляемые к учебнику. Школьный сухой учебник не пользовался уважением. Идеальным же руководством для большинства была „Гимназия на дому“, но она почти всем была недоступна по своей, для каторжан, колоссальной стоимости.

Тюремное учение замечательно само по себе уже тем, что оно совершается, за редкими исключениями, самостоятельно, без посторонней помощи и указаний; что оно увлекает человека целиком. Общих его достоинств мы коснемся своевременно в нужном месте.

Такой же, приблизительно, подход и у читателя книги — здесь преобладает не критическое отношение к произведению, но разбор и суждение, вплоть до осуждения и оправдания действующих лиц.

Каторжане, чуждые пристрастия к книге и учебнику, стремились сгруппироваться в одну камеру и проводили большую часть времени в разговорах или спорах, или просто ходили из угла в угол, мерно побрякивая кандалами.

Несмотря на то, что тюрьма была довольно основательно отрезана от живой жизни, темы споров и разговоров всегда были неисчерпаемы, и, кроме того, для них существовали специально-приспособленные типы, которых, по камерному выражению, „стоило только завести“, как заводят грамфон, чтобы они, не умолкая, проговорили целый день. После „заводки“ остальным оставалось только вставлять, время от времени, что-нибудь противоречащее говоруну, или выразить сомнение в правдивости, — машина воодушевлялась снова, волновалась, и слова текли бурным ручьем. Такие типы были необ-

ходимы для камер, и всё же они не пользовались камерным почётом; за свои таланты они постоянно награждались кличками, в роде „ботало“, „грамофон“, „трепало“. — В этих кличках всегда отражалось насмешливое к ним отношение, что, однако, не являлось для них препятствием к дальнейшим спорам.

Чего только в этих спорах не отстаивалось, не защищалось с пеной у рта и довольно убедительным потрясанием кулаков. Вот-вот, гляди, вцепятся друг в дружку и пойдет доказательство физическим путем, но такие окончания до начала общеевропейской войны были редкостью, допускались только при отстаивании арестантской чести и каторжанской непорочности, дававших право на жизнь в обществе, а не в сучьем кутке. Окончание боем почти всегда влекло за собою бойкот зачинщика, который прекращался только под впечатлением нового события или стирался вечным полировщиком—течением времени.

Были среди спорщиков люди, не прочитавшие из теорий ни одной строчки, но, так сказать, наследственные „коммунисты“, которые во всем видели неуклонное и стремительное движение в сторону коммунизма, на каждом шагу находили доказательство, что борьба между людьми исчезнет. Были и их прямая противоположность, прирожденные индивидуалисты, могшие дать самому Штирнеру „двадцать пять очков вперед“—эти, кроме развития эгоизма, ожесточения борьбы между людьми ничего не видели и не признавали. Первые доказывали, что человек без коммуны еще не человек, вторые—что, пока существует человек, отношения не могут измениться, и высшим критерием истины выдвигали самого Христа:

— Ты, что,—говорит „индивидуалист“,—мелочь, настоящая шпана. Не тебе чета были люди—и те не могли вылезти из человеческой кожи, а ты, шпана, тоже общее... коммуна.

— Да ты, смотри,—горчился „коммунист“,—люди учатся, становятся умнее, смотри, сколько повили уже, что в одиночку пропадает много силы и времени...

— Ну, скажи, что изменилось? Всё идет по-старому... И природа против равенства... Ты большой, а я маленький, вон, какой длинный... Тебе пайка не хватает, у меня остается... как же нам на одинаковый счет?

— Ты насчет природы не ври. Солнце всем равно светит, и богачу, и бедному, и святому, и тебе, вору...

— Вот и врешь. Был в лесу? Был?

— Ну, был, и что ж, все деревья одинаково растут...

— Одинаково... растут,—сказал же. Смотри, „мать твою в догонку босиком“, хорошенько—там кроме разбоя, убийства ничего нет. Хуже... Я поймал фараона, ему и крышка, а там какая-нибудь осина душит сотню маленьких, душит хуже, чем нас Плечкайтис...

— То „борьба за существование“, Дарвин доказал...

— Плевать мне на твоего Дарвина. Я говорю: ты мелочь или нет? Ну?

— Ну, мелочь, ну что ж?

— Ты мелочь и всегда будешь смотреть, как бы урвать что-нибудь у другого. Смотри, Христос не тебе ровня...

— Пускай так, а с ним не хочу и равняться...

— Не пускай, а гляди, каков он. У него тоже пальцы загибались к себе, а не от себя, а это что-нибудь да значиг...

Старик Мясников, индивидуалист, картинно изображает, как у Христа загибались пальцы к себе. На лице у него такое торжество, как будто он заткнул за пояс самого Александра Македонского. Но противник не унижается, кинитесь, привоюит свои примеры, хотя и не находит таких всепобеждающих, как загибающиеся пальцы Христа. Он разбит.

Рядовых и трусов в этих камерах не было, не было и представителей отживших поколений,—здесь все были герои, всё—народ передовой, изживший всякие предрассудки, преклонение перед авторитетами. Но религиозные споры, всё же, занимали не последнее место. Все атеисты до мозга костей часто щеголяли атеизмом, часто в месту и без места пускали в оборот „бога — мать“, достигая в этом поразительной виртуозности и настоящей художественности. Однако, частенько были случаи, когда отъявленнейшие атеисты, оказавшись на смертном одре, писали священнику записки с призывом дать напутствие в предстоящий последний этап. Но и этот шаг диктовался скорее монтепенским „почем знать“, чем раскаянием, в церковном смысле слова. Недаром после ухода священника, которому только-что были выложены с самой искренней нитонацией все прегрешения, сомнения и т. п., следовала такая же искренняя матершина, с упоминанием и бога, и Христа, и святого духа со всем небесным синклитом!

Можно утверждать, что люди только утрачивают веру в непоколебимость и точность своего знания, чувствуют проникновение в себя скептицизма, но еще не дорастают до полного отрицания, поэтому про всякий случай запасаются и „старой лывкой“. Изжитые предрассудки не мешают даже интеллигенции придерживаться „правой ноги“, массе не мешают принять и пророчество снов. Всё совершается без резких коллизий, просто, как у всех. Видевший во сне, что он попал в церковь, был убежден, что его посадят в карцер, начинал в нему готовиться—„затыривать“ табак,—убеждал в неизбежности карцера, начинал вести себя соответствующим образом, всё равно: „семь бед—один ответ“, и, действительно, попадал в карцер. Но были и настоящие снотолкователи. Практика у них была большая, и для них не было затруднения истолковать приснившегося тюремщика, выпавший зуб и мордобой. Нужно признать, что в толкованиях отражалось большое практическое знание арестантской психологии и тюремной жизни. Приблизительное знание сновидца давало нить для объяснения его будущего, и трудно было доказать, что всё предсказание ерунда, совпадение, шантаж—человеку, который признавал самого себя доказательством истинности пророчества. Так, видевший во сне, незадолго до суда, что ему принесли жареной рыбы, из которой он выбрал для себя шесть штук, а четыре передал товарищу—от-

ставшал, что Вильчипольский (кстати сын сельского священника, бывший матрос) верно ему предсказал, что рыга это срок, ее костистость—каторга, а две посуды—два „дела“. Ему действительно дали шесть лет, а товарищу четыре года каторги. Убедить ссылками на обвинительный акт, ясно доказывавший его руководящую роль, попытку сбежать и подговор товарища—вовлечение в преступление, было невозможно. У него был свидетель, доказавший его alibi, он мог быть оправданным, но вот вышло всё, как предсказал Вильчипольский,—значит, правда, он в снах понимает... Видевший во сне мордобойство, был убежден, что в камеру кто-нибудь прибьется, он совсем забывал, что не проходило ни одной недели без перемещений из камеры в камеру, а так как срок „действительности“ сна, в зависимости от дня, под который он приснился, растягивался от полдня до целого года, то, конечно, совпадение всегда было, и таким путем утверждалась слава и точность сновещателей, которые к своему делу относились вполне серьезно и, пожалуй, верили в свои познания по этой части.

Каторжная жизнь текла из года в год одним и тем же руслом. Вся она проходила в камерах, с небольшими ежедневными прогулками на тесных тюремных двориках; про эти прогулки, в особенности про прогулки во дворе второго корпуса, можно только сказать „загуляли, как собаки в колдее“. Люди постепенно свыкались со своим положением, привыкали к камерам и к лязгу кандалов. Правда, привычка к кандалам была неестественна, и расковка вызывала радость. Вспоминается расковка солдата Соловьева, который влетел в камеру как сумасшедший, выкинул несколько таких антраша, которым позавидовал бы любой танцмейстер, перецеловал всех сидевших в камере, носился с криками „расковали“, а вечером, ложась спать, заплакал—жалко кандалов стало.

В тюремной жизни всё казалось естественным: надзиратель на коридоре, решетка в окне, за ней—на высокой стене надзиратель с винтовкой, вечная жизнь всегда на глазах у других. Воля, если и вспомнилась, то, так сказать, единично, попарно. Воспоминания касались только некоторых штрихов прошлого, бывшей воли, но в них никогда не чувствовалось связи с волей. Все нити были отрезаны решетками. Все разговоры велись в прошлом времени, никогда не употреблялось ни настоящее, ни будущее время,—от этого получалось впечатление, что разговаривают между собою мертвецы, закопанные навсегда в глубокую могилу. Как-то странно казалось слышать, когда двое, присев на прогулке на скамейку перед цветочной клумбой, залитой солнечными лучами, ведут разговор в таком духе:

— Я очень любил солнце и поле,—начнет один, другой перебивает:— Я больше любил оставаться один...

Те явления, которые были тогда, продолжались и теперь, и что-то нудное чудилось в минувшей любви к солнцу, которое и сейчас светит не хуже и не лучше... Люди бессознательно признавали себя мертвецами. Они не умели жить жизнью, жизнью переживчивых колебаний, как образно и верно определенной Надсоном:

Жизнь—это безбрежный океан и тесная тюрьма,
Жизнь—непорочный серафим и пыльная вакханка...

Очевидно, таким живым мертвецам нужен был не весь мир целиком, со всеми его надземными и подземными стихиями, бликами света и теней, но тесная раковина улитки. Как для улитки, выдирание ее из раковины было физической смертью, так и для таких людей решетка давалась острым ножом между прошлым и настоящим. На этом образе жизнь совершенно останавливалась, и всё, что было за ним, сохраняло те черты, которые запечатлелись в последний раз. В этом отношении были все равны: и ученые, и иуды, и старье, и молодые. Здесь кроется причина того, что отец, не выдавший своего ребенка, или брат—брата в течение десяти лет, продолжал писать им письма всё в том же тоне и духе, нисколько не считаясь с тем, что адресат за эти годы уже перестал быть ребенком. Эта черта долго сохраняется и после того, как вновь приходится встретиться разрезанным концом. Примирение действительности и представления о ней совершается не без борьбы в длительном процессе. И если встречи продолжают носить случайный характер—не постоянное общение—представление уступает свое место действительности только на момент встречи.

В Шлиссельбурге можно было наблюдать массовое чувство связи с волею, охватывавшее всех только два раза в год. Внешним толчком для этого проявления являлась присылка к Рождеству и Пасхе, через мать Лихтенштадта, так сказать „праздничных подарков“ для каждого заключенного, в виде сахара, чая, лимона и нескольких конфет. По существу, все эти вещи не составляли для каторжан редкости. Без сахара приходилось сидеть сравнительно немногим, бывшим в строгой изоляции за скверное поведение. Остальные, кое-как, перебивались то самостоятельно, то при участии в тюремных коммунах. Но эти вещи представляли для всех громадную ценность, дающую возможность почувствовать, что ты в мире не одинок. Девяносто девять и три четверти процента всех сидящих в Шлиссельбурге никогда не видали матери Лихтенштадта, слышали о ней только в Шлиссельбурге от других, но эти „передачи“ всех связывали с нею: каждый чувствовал, что есть люди, которые считают и его, несмотря на серый бушлат и кандалы, человеком, связывают его с собою человеческой нитью заботливости и воспоминания.

Суета при распределении вносила какой-то заразительный психоз. С началом его настроение быстро приподнимается, во всех лицах начинает искриться какая-то удовлетворенность, что-то радостное, трудно уловимое в тесные рамки слова, пожалуй—то самое, что Диккенс в „Christmas Carol“ называет временем, „открывающим людские сердца навстречу всему хорошему“. Все становятся как-то добрее, нежнее. Больше говорят о воле, говорят не как о бывшем, но как о настоящем, не выделяя и себя из общей канвы, никто, кажется, не ощущает своего действительного положения „отрезанного ломтя“ от общего каравая. Жизнь снова сливается во-едино, дарит неподдельное ощущение сознания, что все люди, все человеки...

Настроение растет выше и выше. В общих камерах, кажется, исчезают каторжники, умолкает печальная песнь кандалов, и оконная решетка не бросает тени своей тесной узкой рамки, в которую втиснута жизнь. В это мгновение приятнее всего смотреть на толпу. Своего кульминационного пункта настроение достигает к моменту вечерней поверки, после которой, вместе с последним стуком-оборотом тюремного замка, оно разбивается вдребезги...

Оживление, радость, доброта, нежность — всё, как по мановению волшебного жезла, моментально исчезало. Но всё же настроение не останавливалось на исходной точке, оно падало значительно ниже. Даже из прежнего оставались только серые бушлаты и кандалы неизменными, — люди становились серее своих бушлаков, блеск глаз и мягкость черточек на лице моментально изглаживались, лица выражали большую печаль, чем печальная песня кандалов... Все, поголовно, делались грубыми, злыми до озверения, всякая связь между людьми рвалась окончательно. Каждая камера представляла собою клетку, в которой были собраны самые злейшие и непримиримые враги. В такой момент простой вопрос приятеля к приятелю был куда оскорбительнее, чем целый поток художественно-изысканной русской брани. Каждый опускался на дно своей линии отрезанного ломтя, каждый чувствовал, что там, на воле — жизнь, что все там, на воле, чувствуют себя молодыми телятами, выпущенными на зеленую лужайку из мрачных хлевов, готовыми каждую минуту поднять хвост и пуститься вприпрыжку в пляску жизни. Здесь, в тюрьме, становится всё мрачнее, серое делается черным, кандалы начинают лязгом резать и уши и душу; решетка наглее и оскорбительнее загораживает окошко; надзирательская рожа — олицетворение ничем не прикрытой злобы за лишение праздничных удовольствий.

В часы от поверки да сна жизни в большинстве камер не было, был какой-то кошмар. В этом психозе, кроме резкости колебания, очень интересно, что он захватывает всех одинаково, не только сидящих годами, но даже и прибывших с последним этапом — три дня тому назад — в такой степени, как и первых. Интересно и то, что резкую перемену в сторону зверя в человеке не смягчают праздничные материальные преимущества: усиленная, довольно основательно, порция пищи, карцерная амнистия и тому подобные тюремные прелести. Интересно также и бессознательное, наследственное признание обычая празднества.

Некоторые камеры не могли изжить тяжелого напряжения злобы течение двух-трех дней. Легче всего она изживалась в камерах волышников и бунтарей. В них кануны праздников старались использовать для своего удовольствия и для раздражения надзирателей. Почти всегда сделанное в эти вечера сходило с рук безнаказанно, в редких случаях приходилось сидеть в карцере, но сидка всегда отсрочивалась до окончания праздников. Это уже было большим преимуществом, им пользовались во-всю, конечно, больше рассчитывая на полную безнаказанность.

Как только воцарившаяся злоба разъединяла всех, все расходились по разным углам, кто-нибудь пристраивался в камерном клубе — около „парашки“ —

опершись на железную широчку. Очевидно, амачные испарения самое лучшее лекарство против бацилл озлобления. Попавший в клуб первый начал мурлыкать, к нему скоро присоединился другой,— уже слышен был мотив, но вот присоединился главнокомандующий Виноградов,— проводил регентски рукой, задавал тон, и всю камеру наполняли звуки раздолья, хитрости и молодого задора, умеющего прямо смотреть на сделанное:

В саду ягода-малина
Под закрытием росла,
Цвет-книгина молодая
С князем в тереме жила...

При первых звуках открывалась в дверях форточка, из которой торчал надзирательский нос и несло убеждение:

— Брось, ребята, записку напишу...
— Пиши, всё равно завтра не посадят.
— Брось, я говорю, завтра праздник, люди в церковь собираются,
а вы непутевые песни...

— Не мешай, самая путевая.
— Бросьте, отделенный услышит...
— Пусть слышит, не больше возьмет.
— Эх, бусурманы, хотя бы бога побоились...
— Чего бояться-то, он сам от нас отрекся...

Васька с нянькой поругался,
Нянька князю донесла...

Песня своими перебивками наполняла камеру и изгоняла всю накопившуюся злобу в открытую надзирателем форточку.

Лучше „Ваньки Ключника“ для начала трудно было найти в арестантском репертуаре. Она хорошо отражала глупость князя, сумевшего догадаться только тогда, когда в дело вмешалась „сучья порода“— нянька. Здесь и дурак может догадаться. Вместе с тем, ко душе было презрение к казанию Ваньки-ключника,— он не убоился казни, с какой же стати карцера бояться...

„Ваньку“ сменила монотонная, но зато своя:

Нам трудно жить на свете стало,
Нас давят власти и закон.
Да и по тюрьмам нас не мало
Собралось со всех сторон...

Действительно, были со всех сторон. Сколько полиция и прокурор стоптали сапог, исписали чернил, чтобы собрать всю эту разношерстную братию. Она это понимала и вкладывала всю свою каторжную душу в строки, которые были настоящей фотографией действительного положения.

Тюрьма нас каменная сушит,
Замки, решетки давят грудь,
Администрация нас душит,
Не даст свободно нам вздохнуть...

Открыть окно не позволяют,
Нельзя нам громко говорить,
А крикнешь — в карцер отправляют;
Спроси: за что, так станут бить...
Теперь телесных наказаний
В законе, пишут, больше нет,
А от побоев и терзаний
Ушло не мало на тот свет...

Верней этого в арестантской жизни ничего не было. Песня отражала душу каждого и всех вместе, все считали своим долгом присоединиться к хору, и если не было голоса, то стоять около певцов, чтобы, в случае чего, сидеть сообща в карцере за общее дело...

Арестантскую сменяла общая, но опять близкая по духу всем, хотя более близкая — политическим, серенада Минского, исполнять ее приходилось Аснину. Хороший бас наводил тоску словами:

„Горе проснувшимся в ночь безысходную,
Им не сомкнуть своих глаз.
Сны мимолетные, сны беззаботные
Снятся лишь раз...“

От тоски спасал Иван Иванович Маслов с утиной походкой, но с живой, воробьиной душой. Не успевали смолкнуть последние звуки серенады, как он начинал „фальцетную партию“ — „Снежки белы „лопушисты“. Зараза веселья охватывала всех, кто вооружался эмалированным чайником, прижав ручку к боку — начинал отбивать барабанную дробь, кто усаживался на скамейку и пускал в ход кандалы — заменяющие трензель. Не успевали отхватить первого куплета, как выскивалась пара... Стол отодвигался к стенке, камера очищалась, начиналась русская пляска со всевозможными коленями, дробью, плавным течением и лихой присадкой. Всё, — песня, чайник, трензель-кандалы, кандалы плясунов — сливалось в общую музыку, печаль из лязга кандалов исчезала, слышен был только задор, веселье, плясала русская душа; удаль, которая сумеет „отжарить“ трепака не только в каторжной тюрьме, но и на острие бритвы.

Довольно серьезная ругань надзирателя в начале пения, с угрозой написать записку начальнику о нарушении общественной тишины и спокойствия, постепенно переходила в ворчанье; дальше сменялась критикой, а в конце концов переходила в похвалу.

Всё кончалось общим утомлением и хорошим сном, отгоняющим всякие напасти. После вспоминали веселье и ждали следующего праздника.

Но иногда дожидаться не могли и устраивали хор в непоказанное время. Это пение прерывалось на половине, и певцов вели в карцер, соблюдая высшее наказание для регента в три недели, для хористов по две...

Разрозненная и разобщенная внутренняя жизнь тюрьмы, с ее безалаберными спорами и разговорами, с подвижническим углублением в книжку, с длительными отлучками в карцере, с отрывками воспоминаний о прошлом, не являлась препятствием к сосредоточенной внимательности и остроте

наблюдения, — пожалуй, наоборот, концентрировала эти способности. Здесь каждый пустяк запечатлевался быстрее, становился на свое место и создавал целую научную теорию для всевозможных определений, которая, углубляясь из года в год, передавалась дальше и дальше. Таким способом выработалась наука определить по кандалам, кто из какой тюрьмы прибыл, когда новичок появился в камере и не успевал сказать ни одного слова, определить по одному взгляду на начальство о политическом настроении за стенами тюрьмы. Работа над созданием теории поглощала у ее творцов слишком много времени и, пожалуй, этим объясняется, что в Шлиссельбурге не было культа преступления, который резко бросался в глаза в других тюрьмах. Заблуту изгнания подобного культа принимало на себя и высшее начальство. Хрулев, вступивший в управление Главным Тюремным Управлением, признавал, что на арестантов можно воздействовать только смягчением характера, и с этой целью разослал циркуляр, приказывавший „разводить в тюрьмах цветы, которые действуют на душу арестантов смягчающе“. К непосредственному разведению смягчающих цветов в Шлиссельбурге допустили только избранных, которые выделяли затейливые клумбы, сажали, поливали, поливали и собирали семена для будущего посева. Избранные пользовались правом, в течение целого лета, копаться в клумбочках целый день, что действовало на них благотворно: чувствовали себя здоровее, ценили свои привилегии, делались более смиренными, ручными. Иногда доходило до того, что избранные от своих трудов собирали роскошный букет и преподносили начальнице.

Остальные смягчали свои души только лицезрением зелени и красок цветов, иногда срывали цветов, уносили в камеру, засушивали и посылали в письме родным; но иногда „смягчение“ выражалось энергичными кивками и солидным поругиванием в сторону избранных.

В общем, можно вывести заключение, что шесть лет, шесть цветочных периодов, смягчили арестантский характер столько же, сколько и кандалы. За эти годы корпоративный арестантский дух сильно возрос, и пропасть между начальством и каторжной массой не уменьшилась, но яснее обобщи- чилась.

Долгая совместная жизнь в каторжных тюрьмах создает благоприятную почву для возникновения отношений взаимопомощи. Формы последней довольно разнообразны, но из них заметнее всего учительская и матерьяльная. В камерах часто создаются кружки первоначального обучения. Однако, кружки всегда недолговечны. С одной стороны, администрация их немедленно разбивает по другим камерам, как только заметит, что в камере образовалось некоторое согласие на почве общности интересов; с другой — сами участники, как только почувствуют, что вышли из младенческого возраста и могут ползать в книге в любом направлении, отделяются от кружка и продолжают занятия самостоятельно. Матерьяльная взаимопомощь всегда выражается в трех формах: единовременной поддержке между отдельными товарищами; в длительном объединении двух-трех человек и редко больше и в организации коммуны.

Единовременная поддержка носит всегда случайный характер и касается только близких земляков или сопроцессников, выручающих друг друга из критического положения.

Объединение более длительного характера в больших группах зиждется всегда на дружеских и товарищеских отношениях. Хотя эти элементы — дружбы и товарищества — не являются предметами собеседований, но они всегда чувствуются. В этих объединениях, связанных сверх дружбы и общим чайником, мало-по-малу сглаживаются инстинкты собственности. Слов „мое“, „твое“ не заметно — часто случается, что один из компаньонов не имеет источников бытия, и всё же упреков „нахлебничеством“ почти не слышать: если же они и раздаются, то, обычно, падают позором на голову упрекаемого. Форма дружеского объединения самая длительная, она иногда продолжается целыми годами, и лишь изредка прерывается скандалами.

Менее длительна, но всегда охватывает большее число участников — тюремная коммуна. Большею частью она обнимает только сокамерников и только в редких случаях участников целой прогулки. Названное коммуны здесь мало приложимо: всё основано на добровольном и равном распределении житейских благ только на собственные деньги. Распределение в камерах происходит просто: прежде всего стараются обеспечить камеру табаком, на остатки выписывается сахар и, если еще получается остаток, оговариваются селедками. Прогулочная коммуна, наоборот, учитывает возможный в расходу фонд и распределяет его по числу участников; причитающиеся доли участник распоряжается самостоятельно. В этом уже лежит начало распада коммуны. Отход начинают почти всегда неимущие. Особенно быстро начинается распад, если в коммуне есть люди слабые. Неимущих начинает „угрызать“ совесть, что они лишают слабого возможности поддержать свое существование теми крохами, которые у них отнимают. Как-то всегда случалось так, что неимущие всегда обладали более крепким здоровьем, привычка обходиться без всяких деликатесов облегчала их уход из коммуны. Помощь коммуны нельзя признать существенной — вернее, это было отбирание крох. Из собственных денег разрешалось расходовать на улучшение казенной пищи ежемесячно 2 р. 10 коп., таким образом на долю „коммуниста“ приходилось от 45 до 60 коп., цифра эта редко подымалась до 85 коп. и только раз достигла одного рубля. Существенного значения коммуны не имели и в отношении сплочивания массы, культурной роли они совсем не играли.

Между каторжанами постепенно развилось стремление избегать всяческими способами обращений к администрации. Причиной такого явления было прежде всего твердое предубеждение администрации, что каждая просьба заключенного обязательно должна иметь заднюю цель, что поэтому исполнение ее должно быть осторожным. Осторожность всегда сводилась к отказу или же к противоположному действию. Кроме того, исполнение каждой просьбы администрация старалась поставить в такие рамки, которые увеличивали кадры послушных, но иногда она допускала и приемы, унижающие просителя.

Волинщики прямо уклонялись от заявления просьб, так как всегда требовалось называть тюремщиков „ваше высокоблагородие“, обращение „господин помощник“ — всегда оканчивалось скандалом и карцером.

— Господин помощник, — кричит каторжанин, — у меня есть заявление.

— Каторжанам, — отвечает тюремщик, — помощников не полагается по закону. Руки по пивам. Стать хорошенько. Не знаешь, как обращаться. Я выучу, — начинает орать.

— Вы не орите, науки вашей не боюсь...

— В карцер... Отделенный, взять...

И тащут заявителя отсиживать за непочтение. Чести у помощников начальника никогда не было. Они, чтобы усилить наказание, в докладах начальнику всегда искажали подобные сцены в сторону оскорбительную для себя. Заключенные брань пускали в лицо тюремщиков очень редко. Но это не мешало помощнику утверждать на суде начальника, что виновный назвал его „сволочью“. Свидетель надзиратель всегда твердил одно: „Так точно, ваше высокоблагородие“, и редко удавалось доказать, что такой формы оскорбления не было, обычно „суд“ оканчивался тридцатью сутками карцера.

Если удавалось отклонить взваливаемое обвинение, то выплывало какое-нибудь другое: распространение ложных слухов, агитация, непочтительность и т. д.

Помощники начальника меньше всего выдерживали свою линию, когда были заявления демонстративного характера. Чем лучше была проведена подготовительная кампания, тем больше они бесились, тем больший получался эффект. Если заявление охватывало несколько корпусов, предела волнению их не было границ, но хорошо было, если выступали все камеры даже одного корпуса.

На вечерней поверке третьего корпуса каторжанин с.-д. Муравин сделал пустячное заявление довольно грубому помощнику Пугавко, которое последнему не понравилось, и он, когда захлопнулась дверь одиночки, бросил, конечно, по адресу Муравина: „жиловская морда“. Сопроцессник Муравина, с.-р. Егоров услышал брань через коридор и застучал в дверь — за что и попал в карцер на две недели. К следующему вечеру удалось организовать запрос: на каком основании помощник оскорбляет заключенных, почему посажен в карцер Егоров. На поверку пришел фат — Кириллов. Тридцать семь заявлений, без „вашего высокоблагородия“, взвинтили его до последней крайности. В мою, последнюю, камеру Кириллов влетел, как ошпаренный: обыкновенно он останавливался за порогом, и его нужно было звать в камеру. Он, очевидно, решил испытать чашу до дна, знал, что без моего заявления из корпуса не уйи, и сам влетел.

— Ну, заявляй, — начал он.

— На каком основании, господин помощник, Пугавко оскорбил...

— Какой я вам помощник, — перебил Кириллов, — его всего трясло, как цыгана на краденой кобыле, — царя за глаза ругают, не надо свозь двери слушать...

— Меня это не касается, почему Егоров в карцере?

— Нет и не будет у вас помощников. Отчетом перед каторжанами не обязан, обращайтесь к начальнику...

— Чтож, обратимся!

Дверь захлопывается со всего размаха, корпус сотрясается. Слышен топот сапог по винтовой лестнице да площадная брань...

Суд начальника по этому делу носил иную форму. Путаво пришлось оправдываться ссылками, что он сам слышал, как каторжане ругают даже царя кровопийцей, а Муравин против царя — ничтожество. Но ему пришлось выслушать наставление начальника, что он, сам, Зимберг, не позволяет себе брани и оскорбительных выражений по адресу каторжан.

Егоров отсидал в карцере за покушение на влом двери и за возмущение заключенных...

Интересна черточка, не игнорировавшая из каторжан за всю историю каторжанского существования, — любовь к слабому и беззащитному созданию: воробью раненому, выпавшей из гнезда ласточке и т. п... Их бережно воспитывают в камерах, лечат, кормят, пока птенцы наберутся сил, и тогда дают им свободу. Птица понимает и долго сохраняет дружбу, влетая в камеру через форточку. Но совсем иное отношение к каторжанину, задавившему такого птенца. В третьей камере второго корпуса каторжанин Лаптонин, как он уверял, по неосторожности, задавил бывшую на излечении ласточку с переломленным крылом. Его не спасли оправдания, и ему адороме наломали бока и принудили уйти из камеры.

II.

Человек говорит и делает одно, но часто в голове у него стоит совсем другое. Первое видно и слышно другим — второе знает, и то не всегда ясно и точно, только он сам. Но это второе является главным наполнением жизни, оно одно им двигает и руководит. Там, в груди или за лобной костью, совершается великая закулисная работа, клочки которой высказывают наружу и составляют в глазах других то, что принято называть жизнью человека. Ясно, что эти клочки не являются полной его жизнью. Такая двойственность в человеке — скрытая от других больше половины — является громадным препятствием к познанию человека вообще и, следовательно, к слиянию всех в одно целое.

Точно так же идет дело и среди каторжан. У каждого из них есть сокровенные уголки, свои думы, свои мечты и свои надежды. Все это для каждого очень дорого, каждый строго бережет свои ценности и очень скупно делится ими с друзьями и товарищами. Очевидно, эта скупость диктуется самой природой человека. Много каторжан имеют самых настоящих друзей, живут в такой дружбе, что ей могут завидовать не только люди, но и настоящие богочеловеки, отрешившиеся от всех человеческих слабостей. В этой дружбе сживаются куда лучше, чем на воле родные братья. И однако такая дружба имеет пределы. На одного из друзей нападает какая-нибудь случайность, которую лучше всего назвать сентиментальной баццилой. Под

ее влиянием друг влияет перед другом всю свою душу, не оставляя у себя ни одного уголка. Кажется, после этого дружба окончательно должна закрепиться на всю жизнь — ведь люди узнали один другого до мельчайших подробностей, что же может их разделить? Но получается как раз наоборот. Из всех известных мне случаев дружбы, дожившей до интимной открытости, я не знаю ни одного, в котором сохранилось бы дружеское отношение. Больше половины из них перешли в свою противоположность — открытую вражду, и только меньшая часть закончилась простым охлаждением и позволила бывшим друзьям оставаться в рамках простого, как говорится, шапочного знакомства. Попытки объяснить такие факты тем, что виновный в интимное влияние одумывается и начинает стыдиться своей сентиментальности, всегда были недостаточны. Раскопки в душе сентиментала показывают, что он не стыдится ни своей слабости, ни сентиментальности, но даже признает в себе наличие этих чувств. Но бесполезно получить объяснения факта от виновника, ответ всегда стереотипен: „не знаю, дружил раньше, а теперь терпеть не могу, он мне противен“. Не помогает делу и то, что разрыв дружбы происходит от инициатора влияния; если бы было обратное, можно было бы объяснить, что другой узнал отрицательные черты и нашел дальнейшую дружбу несовместимой. Но разрыв дружбы, однако, не получается, когда друзья изучат друг-друга, без помощи влияний посредством долгой совместной сидки.

При долгой совместной жизни, особенно в одиночной камере, сокровенные тайники понемногу протерываются, и за какие-нибудь три-четыре года, проведенные в одной одиночке, совершенно посторонние, насильно посаженные вместе узнают друг друга куда основательнее, чем на воле, сошедшиеся по любви и общему согласию члены семьи за пятнадцать-двадцать лет. Объяснить такое явление проще всего можно тем, что под замком ни одного шага нельзя сделать, который ускользнул бы из поля наблюдения другого.

В одиночке невольно начинаешь изучать своего сокамерника, поворачивать его и на-лицо и наизнанку, распаливать его во всех видах, подобно ученому, препарирующему какую-нибудь лягушку. Понемногу обнаруживаются сокровенные мысли человека, несмотря на то, что он сам о них не сказал ни слова, замечаются такие мелочи, которых на воле совершенно не заметил бы и на которые никогда не обратил бы внимания. Мало-по-малу начинаешь понимать человека не хуже самого себя; начинает мало-по-малу складываться к нему определенное отношение, которое впоследствии внешним обстоятельствам даже трудно поколебать.

В процессе невольного изучения вскрывается вторая часть жизни человека. Здесь начинаешь понимать, что каждое слово и каждое действие связаны прочно между собою одним основанием мечтаний и надежд. Здесь замечаешь, как человек производит себе оценку, как он становится недоволен прошлым, как он начинает искать новых путей. Видно, как происходит, если можно так выразиться, практическое использование добытых в прошлом результатов всего человечества.

В тюрьме, естественно, основной мечтой является желание выбраться каким-нибудь путем из проклятых стен, зажечь новой жизнью, на линии которой не было бы снова тюрьмы. В этой мечте всё исходит из того положения, что горький опыт настоящего научил ценить свободу, жизнь и многое другое. Конечный пункт всех мечтаний всегда точно определяется склонностями самого мечтателя и свойствами его характера. Для спокойного, усидчивого, в конце-концов, грезится, так сказать, Пушкинский идеал — „щей горшок да сам большой“. Хозяйство мечтателя не принимает вида детализации разных мелочей, ему грезится только общий контур его, что сам, мечтатель, никого не замает, и его также никто не тревожит. Мечтателям, чуждым спокойствия, грезится жизнь настоящего бродяги — тюрьма пробудила в нем дикую любовь свободы, жажу посмотреть то, о чем он слышал, но чего не видал. Такой мечтатель живет мечтой, что он собственными глазами увидит, как и кто живет, кому больше посылает солнце своих лучей, кто знает его знойные поцелуи и кто — только холодные ласки безучастной мачехи. В его мечтаниях природа не занимает никогда последнего места, он не чужд способности наслаждения ее красотами, но и красоты мысли знаемы его душе. Идеал такого мечтателя — простор и дикий воля степей и гор, но не кладбище городов.

Интеллигентные ищут в мечтаниях скорее забвения от тяжелой действительности. Жажда забвения отлагает постепенно на лице мечтателя черты задумчивости и тихой грусти. Она становится настолько сильной, что превращается в основу жизни, и всё остальное занимает второстепенное место, иногда же является просто неприятным нарушением ставшей обычной жизни. Такой уклад придает человеку рассеянность, равнодушие и удерживает в постоянном равновесии. У него нет ни ярких вспышек, нет и необдуманных смелых поступков — получается воплощение механизированного человека.

Мечты человека с более низким уровнем сознания, наоборот, более примитивные, изменяют его в противоположную сторону. Под их впечатлением он становится более сосредоточенным, более, пожалуй, логичным и более активным в стремлении приблизиться к реализации своих мечтаний. У него не заметно и тени исканий забвения. Они ему просто не нужны, он легче переносит гнет оков и решеток, грубое обращение администрации не причиняет болезненного ощущения и он всегда парирует его той же монетой. Прошлое, как и настоящее, он прямо отбрасывает, как ненужное и мешающее радости. Всё окружающее принимает второстепенное значение и служит только ступенью для достижения намечающейся в мечтах цели.

Мечты уголовных всегда бледноваты. Искренно или нет, — это даже не важно, — они сводятся к желанию зажечь жизнь человеческой, что вполне понятно, так как отрицательное отношение к прошлому очень быстро проникает в сознание. Но есть из них мечтатели, которые считают, что приговором суда над ними совершена несправедливость. Такие лелеют мечту о мщении, и когда, в результате, грезится снова тюрьма, — начинают озлобляться,

что попали в заколдованный круг, где никак не вытанцовывается восстановление справедливости.

Много политических в тисках власти приходят к отрицательной оценке своего прошлого. Это объясняется, с одной стороны, краткостью прохождения революционной школы, что мешало выработать определенное твердое мировоззрение; с другой стороны — слабостью веры в неизбежность революции. В эти десять лет в Шлиссельбурге, как и в других тюрьмах, было много заключенных, захлестнутых революционной волной революции 1905—06 г.г. Большой процент давало не сознание, но увлечение яркими идеями, красивыми событиями. Для этой части политических, конечно, наказание было слишком тяжело, в особенности, если не было почвы — увлечение заменить выработкой убеждений. Рассеявшееся увлечение оставляло место только для мечтаний как-нибудь попасть на старую дорогу — пусть это будет мещанство, болото, что хотите, только не каторга...

Не ставшие на такой путь, путь искания покоя, мечтали о будущей работе и не ограничивались одной мечтой: усиленно запасались знаниями, так как первый же день тюрьмы, день серьезного знакомства с книгой, показывал, что в прошлой работе больше нахальства, чем твердого знания. Это не преувеличение, но настоящий факт. Заметил я его, лично, на самом себе... Мне вспоминается и теперь, как в 1906 году, с товарищем удалось разбить „на-голову“ на митинге, в Семяниковском заводе, Алексинского. Помню, как свои доказательства аргументировал Михайловским. Как велико было мое удивление, когда я попал в 55 одиночку „Предварилки“ и нашел все свои аргументы у Маркса. Мне стало стыдно самого себя, смущению не было видно конца. И свое утешение я обрел только в том, что Алексинский в течение митинга не уличил нас, что мы знаем столько же Михайловского, сколько и китайский язык в сочинениях Конфуция. Себе я дал отрицательную оценку и обещание избавиться от нахальства. В Шлиссельбурге мне вздумалось смягчить отрицательное отношение к самому себе. Я поделился наблюдениями с кружком товарищей и предложил проверить каждому свою прошлую работу. Ответов удалось собрать 15, и из них 13 человек нашли у себя элементы нахальства.

Знания понемногу накапливались, с их накапливанием росли и мечтания. В последних уже проявлялся размах, хотелось захватить для работы если не всю Россию, то целую область, завод казался слишком маленьким. В мечтах не выскакивала и техника: кто придумывал способы перевозки литературы, кто изощрялся в конспирации, кто строил целые типографии собственными руками. Такие мечты были хороши и яри, революция, казалось, висела на самом носу, но потребовалось семь лет, чтобы с носу она свалилась на русскую землю.

Сообразно различию между мечтателями разграничиваются и надежды. Только спокойно-хладнокровный надеется, что его мечты реализуются, когда он окончит свой срок и, так сказать, законно получит возможность приступить к реализации. В связи с этим он не только надеется, но и серьезно прини-

мает в расчет все обещанные тюремными правилами льготы и скидки по два месяца с года „за хорошее поведение“. Этими обещаниями он придает значительную цену,—несмотря на то, что ими никто не воспользовался, и возможность освобождения раньше истечения срока, определенного в приговоре, усиливает его и облегчает переносить настоящее.

Тип более подвижной, более нервный, уже не довольствуется такими расчетами. Он уже стремится сам изыскать возможность сокращения срока. В этом стремлении смешивается и желание попасть на вольные работы в Сибирь, где обещается за работу четырехмесячная скидка с года, и желание просто сбежать с этих работ, если подвернется случай. Логическое мечтание оканчивается всегда на моменте побега. Никто не касается последствий. Важно сбежать удачно, а там реализация сама придет. Невозможность для беглеца постоянного нахождения под ударом нового ввержения в тюрьму совершенно не находит места в голове мечтателя. Эта возможность не только не принимается в расчет, но прямо-таки совершенно забывается.

У хвативших из источников революционного движения отсутствует почти поголовно надежда воспользоваться разными обещаниями скидок и льгот. Они понимают, что такие обещания не для них. Фундаментом их надежд является убеждение, что царящая несправедливость вечно продолжаться не может, что она рухнет со всей своей системой, именно раньше окончания ими своего срока, которого, поэтому, нет надобности отбывать целиком. Но такое убеждение всё же не мешает плавать на поверхности мечтаний надежде, что, до падения несправедливости, подвернется момент, когда удастся сбежать и поставить на всем крест. Здесь уже учитываются все последствия, вытекающие из факта побега, и серьезно обдумываются шаги для избежания вторичного пленения. Здесь почти всегда отсутствует мысль „посетить“ родные уголки и тому подобные вещи. Вместо них избирается „для прогулок подальше за коулок“. Учитываются также все способности и таланты розыскного аппарата, и в результате эта группа мечтателей распадается снова на два течения. Спокойные и доверчивые рассуждают, что всё будет благополучно, если они сами не будут никого беспокоить, будут сами жить по чести и по совести, их никто не тронет, и они никогда не попадут на каторжное пепелище. Беспокойные, с подмоченной доверчивостью, идут дальше. Они не верят, что власти нужно жить по чести и по совести, что властям нужен человек, но утверждают, что ей обязательно нужно именно мучить человека по тюрьмам. Отсюда получается и соответствующий вывод, что в России порядочному человеку жить нельзя ни спокойно, ни беспокойно, поэтому нужно искать пристанища в других странах,—только там можно жить и работать...

Если бы исполнились все мечты и надежды, которые роятся в головах заключенных, можно сказать утвердительно, что три четверти русской каторги были бы солидными и хозяйственными гражданами других государств, всех частей света.

Процент политических, мечтающих порвать с революцией окончательно и не скрывающих своей мечты, был незначителен. Многие скрывали подсоб-

ную мечту, так как их могли публично обзывать ренегатами. Но этот процент должен быть увеличен той категорией, которая развивает теорию необходимости отдохновения и накопления сил в спокойном состоянии, возможно только во временной эмиграции. Подготовка их к такой возможности вскрывает настоящую картину их надежд. Они стараются начинаться исключительно только тем, что может пригодиться в эмиграции, — изучают один или два иностранных языка и только точные науки — математику, физику, химию, механику, которые ведаде одинаковы. Действительно надеющиеся возвратиться в революционную борьбу — изучают языки поверхностно, фонетикой совершенно не интересуются; если изучение переходит за рамки выучки комнатных слов, оно приспособляется только к возможности чтения модлиннинов иностранной литературы. Точные науки поголовно изгоняются, все силы тратятся на гуманитарные и экономические, давая большой перевес касающимся родины.

Основной надеждой большинства политических каторжан была грядущая революция, которая должна была вынести их на поверхность житейского моря. Эта надежда давала и силу и радость жизни. Исключительно ею жили, только она помогала переносить царский мрак и насилие. С точки зрения этой надежды рассматривалась вся личная жизнь и весь мир. Она была исходным пунктом всех бесед, споров; ею же они всегда и заканчивались. Она определяла собою не только всё поведение в целом, но и отдельные поступки, часто имеющие к революции такое же отношение, как и к пятнам на солнце. Надежда на революцию давала всему оправдание: ею оправдывалась и многоэтажная ругань с надзирателями, и надувательство начальника тюрьмы при выписке книги Иванова-Разумника, и кража у доктора ланцета, — как нужного орудия для взлома тюремного цементного потолка, и хождение в церковь, чтоб выплавить через дьякона на волю письмо, — многое, очень многое, даже, пожалуй, больше чем следовало, оправдывалось революцией и надеждой на нее.

При таком доминирующем положении революции в мечтах и надеждах понятны попытки определить ее форму и содержание. Эти попытки составляли не только тему мечтаний, но и выплывали наружу. В таких случаях поднимались такие дебаты, каких „воля“ в России никогда не видала и не слыхала. Там, на воле, эта тема была запрещенной. Говорили с оглядкой, или так инсказательно, что трудно было понять, о чем идет речь: о неудаче ли экспедиции в среднюю Азию Пржевальского, или о падении самодержавия. Даже в конспиративных кружках, по заводам, на массовках в лесах, редко кто говорил полным голосом. Если и находился такой смельчак, то у половины слушателей невольно возникала мысль „а не провокатор ли? Не хочет ли он приманить сюда полицию?“ и каждый инстинктивно оглядывался, нет ли в кустах бляхи городского. Здесь, за пятисаженной стеной, с которой свесился и внимательно слушал надзиратель с заряженной винтовкой, под равнодушным взглядом другого надзирателя, выводящего на прогулку, под аккомпанемент кандаальной музыки — символ существующего самодержавия, каждый говорил полным голосом. Страшные слова всего револю-

ционного словаря носились в воздухе такой же беспорядочной кучей, как мягкокрылые желтоватые „пчелы“. Слова увлекали дебатантов до полного самозабвения, и прекращал их, на время, только крик надзирателя „ка-ан-чай прогулку“. Выходила следующая очередь, и снова дебатировались революционные темы, с тем же азартом и горячностью.

Возвращение в камеру, вырывающиеся в окно потоки революционных речей, невольно толкали на сравнение „вольной и свободной“ жизни за стенами с каторжанской жизнью в стенах, в кандалах, под штыком и револьвером надзирателей. Конечно, вывод был не в пользу жизни за стенами...

Каких только гениальных планов ни развевывалось в этих дебатах для русской и международной революции! Все были согласны в том, что начало революции положит Россия, а в ней центры Петроград и Москва. Запад окостенел в своих традициях, и нужно много времени, чтобы ему раскачаться. Исключения составляли одни поляки, которые совершенно не верили в возможность русской революции, и если некоторые из них условно допускали возможность ее, то были единодушны в мысли, что русская революция не принесет Польше ничего, кроме нового раздела и еще большего закабаления. Все они были обозлены до последней крайности не только против правительства и казенной России, но пожалуй, еще в большей степени против народа и против революционеров. Особенно сильно эта черта выражалась у инженера Богусевича: он никогда не мог говорить на эту тему, чтобы от злости не брызгала слюва и лицо не искажалось от озлобления. Крайний, беспочвенный национализм задевал их так сильно, что вне его они ничего не видели и не слышали, они даже не допускали мысли, что такой большой национализм чужд большинству политических каторжан.

Момент начала революции для всех помещался в различных пунктах. Социал-демократы склонны были усматривать его в росте сознания пролетариата. Социалисты-революционеры, не отрицая этого роста, напирали на пробуждение крестьянства; медленное втягивание его ходом общественного развития в революционное движение для них уже было началом революции. Но много было и сторонников внешнего толчка.

Особенно яркими сторонниками последней теории были Аггей Козлов и Павлин Виноградов. Первый твердо стоял на утверждении, что русская революция будет результатом столкновения династических интересов между Германией и Россией, которое должно неизбежно возникнуть при первой попытке пересмотра торгового договора, заключенного правительствами в 1905 г. с большим ущербом для России. В этом взгляде он особенно укрепился во время балканской войны, и с этой точки никому не удалось сбить его. Наоборот, ему удалось в начале 1913 года поставить свою мысль на общее обсуждение. Месяца два или три заняли споры о возможности и неизбежности русско-германской войны, ее вероятном ходе, разгроме русского самодержавия и сильном развитии революционного движения по всей стране, со всеми ее окраинами. Ярые противники, Петров и Орженекидзе, доказывали, что такая война немыслима, невозможна при наличии массы организованного

продетарната, ко оръй не допустит ее възникновения, благодаря своей сознательности и интернациональности. Спор начал ослабевать и вероятно погас бы, если бы Козлов не настоял на признании истины „в мире нет ничего невозможного“. Павлин Виноградов определенно согласился с Козловым и стал доказывать необходимость революционерам готовиться к войне, чтобы в нужный момент выступить для борьбы на два фронта, воевать с войной и воевать с самодержавием. Он доказывал, что пассивное сопротивление войне не должно иметь места при современной технике и постановке военного обучения, которое своей дисциплиной и машинностью совершенно убивает индивидуальную сознательность. Его доказательства были сильны и особенно арки иллюстрациями из собственного опыта.

Виноградов был тип, в полном смысле слова, вышедший в люди своими средствами. Пристроенный матерью в чертежную контору Невского Судостроительного Завода для побегушек, с перспективой впереди стать чертежником, он скоро почувствовал тягу к училищу. В те времена, среди рабочих Невского района, пользовалась большим и заслуженным вниманием Корниловская вечерняя школа. Она, благодаря хорошему подбору добровольцев из учительского персонала, давала довольно основательное общее и техническое образование. Она же являлась настоящим рассадником социалистических и революционных идей. Почтенный граф Портасмутский — Витте несколько не преувеличил, когда окрестил ее „первым социалистическим университетом“. В ней открыто организовались политические рефераты Микомина, Норского и др. Менжинская под флагом „Географии западной Европы“ протащила через всю зиму — Историю Французской Революции, на уроках русской словесности развешивалась история общественной мысли и т. д. Кроме того, ученический выборный старостат всегда был в курсе, какие комнаты свободны и могли быть заняты под собрания районных и подрайонных комитетов. Полиция иногда удавалось накрыть рефераты, но всегда оканчивалось благополучно: жандармы и охранники осматривали руки, околоточные надзирателя переписывали тысячи людей, сотню-другую сомнительных, под конвоем пеших и конных городовых, отводили в недалекорасположенный участок для удостоверения личности, где их обычно и отпускали к утреннему заводскому свисту.

В эту школу однажды и явился Виноградов — кудлатый, ослепленный, вымазанный чернилами и тушью, в неестественно больших штиблетах, носки которых загнулись вверх, как на юмористических картинках, распутивший солидные усы. Все ученики не отличались изысканностью костюмов, парили блузы, но и среди них костюм новоявленного являлся выдающимся. Время приема в школу было уже закончено, но общий вид Виноградова, его просьба помочь ему поступить, убедили всех учащихся, что из него выйдет большой прок, и сейчас же решили, что для него должно быть сделано из общих правил исключение. Заведывала школой не то Вознесенская, не то Воскресенская, мне, как классному старосте, не пришлось вести с ней долгих разговоров, она быстро согласилась на прием ученика, и Виноградов начал учиться. С первых дней учения он проявил удивительное рвение, не смотря

на то, что был всегда измучен, голоден и всегда с мокрыми ногами в своих пароходах, не защищавших от влияний природы.

Если бы Виноградов не сохранил способности кончиком языка доставать свой собственный нос, то встреча с ним на каторге, через десять лет после его первого появления в Корниловской школе, ни за что не убедила бы, что это один и тот же Виноградов. Это был настоящий ученый и специалист по военной части.

Путь на каторгу не многосложен.

Партийная работа повлекла отказ в явке к исполнению воинской повинности. После двух лет нелегальной работы Виноградов был арестован и, за неимением улик, направлен в поле. Отказ от присяги привел в дисциплинарный батальон в селе Медведь. Здесь он умудрился познакомиться с теорией военного дела и с историями войн. Изучил практику солдата по фронту и по наказаниям. В конце концов за оскорбление царя и окончательный отказ от военной службы прибыл в Шлиссельбург на шесть лет каторги. Здесь, в первый день прибытия, он громогласно объявил, что будет главнокомандующим революционной армией. Многим такое заявление дало основание усомниться в нормальности его умственных способностей — мол, порка в дисциплинарном пошатнула его рассудок. Но Виноградов добился своего: он погиб как командующий армией, действующей против англичан под Архангельском...

Виноградов шел дальше Козлова. Он рассуждал о линиях фронтов, мелочах военных действий, и революция начиналась с громадного поражения русской армии на берегах Немана и Вислы. Дальше он с революционной армией брал в плен Вильгельма и торжествовал победу революции...

Эти речи выражали целиком его надежду, и они являлись настоящим феейерверком крайне нервного, до самозабвения преданного революции и родине человека...

Различие в понимании сущности революции и переживаемого момента, в общем, не давало больших различий в определении размаха чаемой революции. Твердо определялось только уничтожение самодержавия, дальнейшее было туманностью.

Мечты, надежды и споры до самозабвения создавали особую психологическую обстановку, в которой проникавшие с воли клочки известий о забастовках или возмущениях приписывали вид довольно значительных и важных событий. В эту же сторону толковались и туманные выражения в письмах, почти всегда ничего не имевших с общественным движением. Поэтому надежда на выход из тюрьмы через революцию не только не утасала, но всегда горела ярким пламенем. Она освещала тюремный мрак, и без нее многие бы погибли безвозвратно.

Всё это не мешало зародиться надежде на искание правительством примирения с народом. Подходящим моментом считали для этого трехсотлетний юбилей царствующего дома. Появилась надежда на амнистию. Появление новой надежды скоро произвело и новое размежевание. Одна часть настаивала на

необходимости отказаться от амнистии, чтобы из рук врагов не пользоваться милостями; другая, наоборот, доказывала необходимость взять „хоть влок шерсти с паршивой овцы“, амнистию нужно было принимать. К ней стали даже действительно готовиться, вплоть до обзаведения нужной одеждой. Чем ближе приближался юбилей, тем больше надежда теряла свою красочность. Перед новым годом правительству удалось заключить внешний заем, без малого в миллиард,—это уже был козырь в руках неприемлющих амнистий. Они уже доказывали, что с такими деньгами правительству нет надобности искать примирения, и стали отвергать возможность самой амнистии.

Наступили юбилейные дни, и, конечно, для ожидавших принесли полное разочарование; противники нашли пищу для подтрунивания и доказательств склонности к компромиссам. На этой почве дело дошло до форменных скандалов и полного разрыва дипломатических сношений. Особенно не выносил подтрунивания и упреков в компромиссности анархист Гейсман, собиравшийся 23-го февраля быть в Двинске у своих знакомых, но вынужденный досиживать оставшиеся четыре-пять месяцев, и затем, вместо Двинска, прогуляться в Сибирь. За один вопрос: „Ну, как твоя Сарочка?“ он лез в битву, за упрек, что надеялся на царя — так озлился, что за всё время до этапа не сказал ни слова, в ссылку ушел настоящим врагом.

С началом европейской войны все мечты и надежды отодвинулись на задний план. Тюрьма начала жить политически самостоятельно, но об этом в своем месте...

III.

Длительная однообразность острее чувствовалась в каторжных тюрьмах чем в других — ротных и простой высибки, хотя положение заключенных в последних было сравнительно хуже, чем в первых. В каторжных тюрьмах не было той массы грязи, какая царила в ротных. Паразитов Шлиссельбург совершенно не знал, если случайно заносились с этапа — немедленно принимались самые решительные меры. Пища в ротных и высидочных тюрьмах была значительно хуже, там больше расхищались продукты. Но в каторжных тюрьмах отношение администрации к каторжанам было значительно хуже: все тюремщики смотрели на каторжан, как на более низкую арестантскую породу, которую нужно уничтожить. Состав каторжных тюрем был более постоянным, что создавало почву для относительной сплоченности заключенных, которая обостряла те настроения, какие просто неизбежны в тюрьмах.

Главной причиной тюремных недовольств, брожений, волынок и протестов являлась, без сомнения, некультурность тюремной администрации сверху и донизу и полная дикость надвора.

Главное Тюремное Управление писало и рассылало циркуляры и инструкции об отношениях к каторжанам и всячески изгоняло ими мало-мальски человеческое отношение. Так, этими законами категорически повелевалось не знать никакого обращения, кроме как на „ты“, — даже безличная форма

считалась попустительством; требовалось неуклонное снятие шапок перед чинами администрации, обязательность величания „благородиями“ и т. д. Одним словом, вся тюремная политика сводилась к тому, чтобы везде и всегда подчеркивалось и выявлялось, что каторжанин не человек, что начальство терпит его на земле только по своей великой милости. Из этой политики и вытекали массовые хищения скудного арестантского продовольствия, одежды, усиливались до бессмысленности жестокости, издевательства, что в конце концов и приводило к протестам.

Брожение в тюрьме никогда не прекращалось совершенно, но массовые протесты были редки. За всё время существования Шлиссельбурга, как каторжной тюрьмы, то-есть в течение десяти лет, — было только два, и оба они приняли довольно сильную революционную окраску.

Как первый в 1908 году, так и второй в 1912 году не ограничились защитой только внутри-тюремных требований, но, так сказать, покупались оказывать давление на существующее законодательство, которое сохраняло вплоть до февральской революции телесное наказание. Во главе требований каждого из этих двух протестов стояло требование отмены телесного наказания и только после него проводились требования внутри-тюремного характера.

Протест 1908 года, когда число каторжач в Шлиссельбурге не превышало 200 человек, семьдесят пять процентов которых составляли политические, хотя и был ярким, но оказался непродолжительным, и никаких практических результатов не дал. Этот протест можно определить двояко: с одной стороны — это был акт отчаяния во мраке ночи; с другой — вспышка былой энергии, потрясение бурным и славным прошлым. За стенами тюрьмы реакция развернулась во всю свою мощь и уже близка была к своему кульминационному пункту. Политические партии были сильно разгромлены правительством. Только что пережитая Азефовщина придавила живую душу революции — кроме мрака отчаяния, впереди трудно было что-нибудь рассмотреть. Полевые и военные суды, карательные экспедиции терроризовали страну. Потрясение было настолько сильно, что большинство опустило руки, и место пробуждающихся стремлений к свету, казалось, бесповоротно заняли растущие, как грибы после дождя, пивные, трактиры, танцевальные площадки. В такую атмосферу, конечно, не мог ворваться задущенный стон недавних борцов, брошенных в крошечные застенки. Такое положение развязывало тюремщикам руки для расправы с безумцами, не признающими силы и власти победителя-тирана.

Вскоре после начала протеста 64 человека участников были выделены в группу зачинщиков и разосланы по другим тюрьмам. Таким путем удалось изъять самых активных и решительных, оставшихся в Шлиссельбурге был нанесен очень чувствительный удар — они ослабели. Реакция на воле заставляла рассчитывать только на свои собственные силы. Даже простого сочувствия трудно было ожидать из-за стен — там, пожалуй, была худшая тюрьма. Всё это учитывалось протестантами, и протест окончился в месяц — полтора, не давши, как сказано уже, никаких результатов. Он имел только

то значение, что показал администрации границу арестантского терпения к издевательствам тюремщиков, после которых скованные выходят из рамок тюремных правил и если не добиваются выполнения своих требований, то, во всяком случае, причиняют массу неприятностей всему начальству. По своему возникновению и по содержанию этот первый шмиссельбургский протест был явлением стихийного поядка, совершенно не был организованным и планомерным.

Второй протест, 1912 года, наоборот, явился в результате длительной подготовки и организации. С самого начала 1911 года собирались материалы о причинах недовольства, собирались факты, велась основательная пропаганда, устанавливались и закреплялись связи между корпусами и согласовались интересы всех обитателей каторжных камер. Число каторжан уже перевалило за 800 человек. Политические каторжане не превышали одной четверти общего числа, остальную массу составляли групповцы и уголовные. Инициаторы прилагали все усилия вовлечь в предстоящее выступление всех групповцев и часть уголовных, так как дело касалось интересов всей тюрьмы без исключения.

К началу 1912 года стала совершенно невыносима постановка медицинской помощи заключенным. Грубость и невнимательность медицинского персонала создавали для больных крайне тяжелое положение брошенных на произвол судьбы. Число больных туберкулезом уже достигало целой сотни. Долгая сидка на пище, избыточной калорийности, давала массу желудочных заболеваний катаррального характера. Измученные приступами болезней, как и только заболевшие, не находили у врача никакой помощи и, в большинстве случаев своего обращения к нему, попадали в карцер так же легко, как от столкновений с надзирателями.

Тюрьмное начальство твердо стояло на пути царившей в стране реакции и открыто держало курс на уничтожение. Карцера щедро раздавались за малейшие проступки, только в исключительных случаях опускались сроки ниже двух недель, преобладали же трехнедельные и месячные. В холодных, неотапливаемых и в самые жестокие морозы карцерах не выдавалось ни соли, ни теплой воды. Крайне антисанитарное состояние всех карцеров также настоятельно диктовало требование необходимости их ограничения.

Законы о кандалном сроке, или по выражению устава о ссыльных — о сроках разрядов исправляющихся и испытанных, совершенно не применялись. Достаточно было попасть в карцер, чтобы срок носки кандалов начинался снова, со дня освобождения из карцера. И так до бесконечности. Кому следовало носить кандалы восемь месяцев — таскал их полтора, два года кому причиталось полтора-два года, тот по арестантскому выражению „разменивал“ не редко пятый год и не видел впереди никак й возможности быть раскованным. Но хуже было положение бессрочных каторжан, обязанных носить кроме ножных кандалов и ручные — наручники в течение восьми лет. Обыкновенно, по усердию администрации, цепь между „браслетами“ длиной в 8—10 вершков, укорачивалась тем, что смыкалась вдвое. Это было много

мучительнее: не было возможности не только умыться, но трудновато было даже обедать,— нужно было или нагибаться к самой миске, или тащить ко рту обе руки.— И всё это с лязгом, звоном, цепь путалась, цеплялась и мешала. Такой способ смывки наручников не являлся исполнением закона, но был просто способом „допечь“ каторжанина, отяготить и без того тяжелую жизнь только по административному усердию.

Сокращение на два месяца каждого после-кандалного года не практиковалось, и эта статья была совершенно упразднена администрацией. Причиной для лишения этой скидки всегда выступало, что в прошлом была скидка в карцере, но и несидевшие в карцере скидкой не пользовались. Между тем в других каторжных тюрьмах заключенных не только не лишали этой скидки, но даже часто отправляли заканчивать срок в сибирские тюрьмы, что, само по себе, вносило разнообразие и этим улучшало положение каторжан.

Тюрьма, своей постановкой обрекая девять десятых каторжан на ничего-неделание, на сидку сложа руки, не давала возможности проводить время мало-мальски с пользой для заключенных, но в руках ненавистников книги и мысли даже ставила всяческие преграды к проникновению в тюрьму книги. Очень много книг, разрешенных для арестантского чтения индексом Главного Тюремного Управления, не разрешалось начальником. К началу 1911 года в тюремной библиотеке, с ее восьмьюстами клиентами, было от 200 до 300 мало-мальски удобочитаемых книг. Беллетристика почти совсем была изгнана. Ее отдел содержал несколько десятков книг, главным ядром которых были Шеллер-Михайлов и Лесков. Книги по общественным и гуманитарным вопросам были совершенно запрещены. Тюремная инструкция разрешала к чтению журналы только по истечении года после их выхода в свет, но и это ограничение было усилено полным их запретом. Таким образом необходимость борьбы за существование библиотеки и ее расширение сознавались всеми довольно остро.

Наличие больных туберкулезом, а также имевших признаки его, требовало властно увеличения двадцатиминутной прогулки, тем более, что потребность движения не могла быть удовлетворена ни в общих, ни в одиночных камерах, почти совершенно лишенных даже примитивной вентиляции.

К этим вопросам присоединились, сами собой, и вечные требования каторжных тюрем: изменение и улучшение пищи, вежливость в обращении, отмена телесного наказания и гигиеническое улучшение в виде более частой бани и улучшение снабжения бельем.

Вопрос об улучшении пищи, правду сказать, всегда пристегивался больше по традиции. Конечно, с тюремного порциона трудно было нагулять сало на ребрах, но он, пожалуй, был достаточен. По расписанию полагалось 2 фунта хлеба, и хлеб был хороший, 24 золотника мяса, 28 золотников крупы на кашу. По воскресениям довольно густой суп из воржишели; в понедельник, четверг и субботу щи, в среду и пятницу горох, во вторник картофельный суп. На ужин в воскресенье и четверг — суп; вторник — макароны,

среда и пятница — сырая капуста с отварным картофелем и селедкой, в остальные дни каша. Так тянулось из недели в неделю, целыми годами, со дня основания Шлиссельбурга до момента его падения. Однообразие так надоедало, что в четвертый-пятый год не бойкотировали только картофельный суп и горох — от остальной же пищи отказывались, она не лезла в горло. Особенно скоро надоедали вермишель, макароны и каша. Таким образом приходилось соглашаться с начальством, что нужно не изменение пищи, но ее разнообразие.

Медленно проникала в массу пропаганда необходимости протеста, требования медленно внедрялись в сознание, но всё же они с каждым днем росли и крепились.

Начало 1912 года отметило перелом в общественном сознании. Апатию сменило пробуждение интереса к вопросам политики. Ленский расстрел рабочих так всколыхнул стоячее болото, что почувствовалось даже на каторге. Снова заговорили об общественных язвах. Тюрьма начала психологически отражать настроение общества — дух протеста стал развиваться гигантскими шагами, и для его проявления, нужен был только внешний толчок, хотя бы и незначительной силы. Таким толчком явилось назначение помощником начальника Любенецкого.

В конце марта месяца в стенах Шлиссельбургской крепости появилась, в прямом смысле, лаявая собака, шныряющая по всем дворам, носившаяся сатаной за воробьями и голубями. Она была первым вестником грядущего новшества. Чтобы узнать причину ее появления, удалось расспросить надзирателя, который и рассказал, что помощник Линченко — симпатичный, насколько может быть таким тюремщик, человек — получил назначение в „Крепты“, а на его место прибыл новый, которому и принадлежит собака.

— А каков?

— Говорят — собака — простодушно ответил надзиратель, и действительно, дал вернейшую характеристику. Новость с надзирательской характеристикой быстро облетела все корпуса. Стали ожидать первого появления вновь назначенного; и он, наконец, явился.

Любенецкий, сравнительно молодой, явился в Шлиссельбург щеголем, таким пронзительным, как и его собака. Как тюремщик, он уже имел за собой порядочное прошлое. До назначения в Шлиссельбург он был начальником пензенской губернской тюрьмы со специальным заданием Главного Тюремного Управления „привести тюрьму в порядок“, что значит в переводе на арестантский язык — упразднить все тюремные вольности, веяния времени и заставить всю тюрьму крепко-на-крепко. Свою миссию он начал объявлением, что в пределах тюрьмы не должно быть ничьей воли, кроме его собственной, так, не говоря прямо, объявил, что для тюрьмы он царь и бог, что он повелевает не только людям, но и явлениям природы.

Чтобы осуществить свое стремление к власти на практике, Любенецкий, сверх усилия строгости тюремного режима, скоро перешел к настоящему издевательствам над заключенными и их истязанию. Но и этим он не удовле-

творился: жизнь в тюрьме шла также, как и до его пришествия. Он решил перешагнуть этот предел. Один за одним стали появляться его приказы, полные самоуправства, с одним неуклонным требованием подчиниться его воле. Самым знаменитым был приказ считать день ночью, а ночь — днем. После его издания он зачастую посещал камеры и самолично наблюдал за его выполнением. Днем требовал, чтобы заключенные немедленно ложились спать и засыпали. Горе было неумевшим уснуть по приказу начальства — на них немедленно обрушивался собственноручный начальнический мордобой, а за ним неизбежный карцер. Не лучше было положение задремавших ночью, когда по приказу Любенецкого полагалось быть днем, — тот же мордобой и тот же карцер разгуливал по всем камерам. Обычно эта система исправления проводилась так: часов в десять — одиннадцать Любенецкий, восстав от сна, влетал в камеру и командовал зычным голосом „ложись“, бежал в следующую, там тоже команда и так до последней камеры. После обхода всех камер, начиналось все снова; камеры на этот раз старались открыть бесшумно, так же бесшумно входил Любенецкий, осматривал, поголовно, всех лежавших, которые не имели права закрывать голов. Если начальнику казалось, что лежавший притворяется, не спит, он немедленно „вцеплял кулак в арестантскую рожу“, сопровождавшие его надзиратели схватывали симулянта за ноги и тащили в карцер. Таких и подобными манерами, Любенецкий вполне терроризовал тюрьму, но, очевидно, переборщил, так как высшее начальство отдало его же под суд за истязание арестантов. Суд признал его виновным и отрешил от занимаемой должности. Главное Тюремное Управление все же оценило его усердие и назначило помощником начальника в Шлиссельбург, формально понизив его на одну ступень чиновнической лестницы, но по существу дала ему повышение: оклад Шлиссельбургского помощника был значительно выше оклада начальника губернской тюрьмы, да и само-посебе место в Шлиссельбурге было доходнее. Близость к столичному начальству открывала лучшие перспективы и обещала блестящую карьеру. Любенецкий правильно понял и свое понижение и судебный процесс: все замашки полудиких дебрей он деликом перенес в образцовую Шлиссельбургскую каторжную тюрьму.

Первое появление Любенецкого на вечерней поверке, несмотря на совершенно неизвестное каторжанам его прошлое, сразу буквально всех настроило против него. Уже самый прием его поверки нарушил обычай Шлиссельбурга. По обычаю, каторжане в общих камерах выстраивались попарно у одной стены, перед ними был обеденный стол, тянувшийся почти через всю камеру. Дежурный помощник начальника, производивший поверку, проходил с одной стороны стола: сосчитывал глазами пары арестантов и говорил „здравствуйте“, — на это приветствие должны были отвечать хором, по военному: „здравия желаем, ваше высокоблагородие“, после чего помощник уходил в другую камеру. Любенецкий не вошел, но влетел в камеру, направился между столом и каторжанами, с толстым длинным варядашом в руках, которым он торкал стоящих в первом ряду в грудь, громко выкрикивал сколько

насчитал:—„раз... два, три... четыре“... окончив счет, орал „здорово, ребята“, и вперял глаза в губы отвечающих. Ему ответили, но как только он вылетел, сейчас же заговорили:

— Какие тут ему ребята...

— О здоровье фельдшер спрашивает...

— Ну и ну, за кого я вышла...

Последний многозначительный вывод уже показывал, что протестантская температура близка к 39°.

В первой половине апреля, в первой камере второго корпуса Любенецкому показалось, что каторжанин Богданов — и по виду, и в действительности, настоящий ребенок: он пошел пятнадцатилетним мальчиком, — стоит на проверке не как следует, широко расставил ноги, и помощник бросил ему „стоять хорошенько, что стоишь, как корова“. Сказанное само по себе довольно грубо, усилилось кровавым оскорблением упомянутой коровой. Без уговора, но очень единодушно все одиннадцать заключенных в камеру потребовали от Любенецкого не оскорблять заключенных в будущем и извиниться перед Богдановым в настоящем. Конечно, об извинении перед каторжанином помощника, вообще, с точки зрения тюремщиков, не могло быть речи, а со стороны Любенецкого, в особенности. Он только усилил свое выражение матерной бранью.

Так был дан необходимый толчок.

Немедленно заработали тюремный телеграф и почта. К следующему дежурству Любенецкого было уже принято решение: подвергнуть оскорбителя бойкоту, т.е. не отвечать на его приветствие и не обращаться к нему ни с какими заявлениями и просьбами.

Бойкотистское движение захватило второй корпус. Инициаторов бойкота и причину его — всех каторжан первой камеры и Богданова в их числе — рассадил по карцерам.

Протест начался официально.

Остальные корпуса принялись обсуждать инцидент, неожиданно вклинившийся в программу, и формулировать требования.

Это событие тюремной жизни совпало с ожиданием посещения Шлиссельбурга инспектором Главного Тюремного Управления принцем. Инициативная группа четвертого корпуса решила сделать принцу соответствующее заявление и уже потом присоединиться ко второму корпусу, до приезда же инспектора решено было заняться усиленной агитацией.

В агитации больше всего проявила энергии шестая камера, где подобрались все боевые каторжане с прошлым заправских волынников, и она стала настоящим бродильником для четвертого и первого корпусов. Камеру выпускали возить на тачках с берега, из-за крепостных стен, каменный уголь в корпусные вочегарки и на электрическую станцию. Это облегчило возможность войти в общение с другими корпусами через встречавшихся товарищей. Работа кипела во всю настолько, что бросалась в глаза надзирателям, которые и поспешили доложить начальству, что творится нечто

неладное. В результате шестую камеру перестали выпускать на работу, запретили и прогулку. Так прошло три дня или четыре, и вдруг утром старший надзиратель Дергачев заходит в камеру и не вызывает, как бывало прежде, желающих на работу, но прямо командует „выходи на работу“. На вопрос: „куда?“ — прачечную не особенно долюбливали каторжане — ответил „за крепость“ — это всегда нравилось каторжанам, — понятно, все бросились стрелглав, даже дежурный по камере и тот пошел, — и все попали на начальническую удочку.

Подозрительным показалось, что шестую камеру не подпустили к другим и разбивку произвели ей одной. Часть назначили подметать берег, часть таскать из озера песок для украшения клумб и посыпки дорожек.

День стоял хороший. Яркий, солнечный. С реки и озера дул свеженький ветерок. Подозрение о каверзе начальства изгладилось. Явившись на место работы, по обще-русскому трудовому правилу, первым долгом сели покурить...

Спокойное озеро отражало в себе бледно-голубое небо. Мелкая рябь поверхности воды придавала голубизне красивые переливы. Работа была нужна „работникам“ столько же, сколько и кандалы, в ней не торопились, принялись любоваться природой, красотой озера и мирно беседовали.

Спокойное озеро привольно развернулось перед глазами. Блестящая зеркальная поверхность вдали теряла свой блеск и постепенно сливалась с горизонтом, как будто упираясь в туманную стену. Вдали, на левом пустынном берегу, виднелся маяк, на правом видна была песчаная отмель, дальше тянулся чахлый лесочек, с краю зеленевший яркими елями и вдали синевший соснами, среди которых дымились заводские трубы.

Взятая для песка, на семь человек, тачка мирно ожидала, на нее облокотился сопровождавший надзиратель, нежась, как кот, на солнечном припеке. Просидели больше часу, надзиратель не торопился, а каторжанам и подавно не нужно было торопиться... Яркий солнечный свет, голубое небо, спокойное озеро — всё манило к лодырству; за спиной мрачные крепостные стены с вековой тоской гнали дальше от себя, некоторые товарищи, сняв коты, забрались на камни, окруженные водою, и полоскались в холодной чистой воде — хорошо да и только. Время уже близилось к обеду, и Бузинов предложил для очистки совести насыпать тачку песка, но надзиратель сам объявил, что это дело не уйдет: раз начальство так думает, то „работникам“, как говорят хохлы, и „баи дуже“. В обед узнали, что подметальщики сделали не больше, однако и после обеда отправили на ту же самую работу. Только явившись ужинать узнали, где была зарыта собака. Принц был, прошел по коридору, зашел в пустую камеру, но заявлений никто не делал, так как эта обязанность лежала на шестой камере. Поняли, что тюремщики мастерски провели заключенных, поняли, почему надзиратели не понукали „на работе“. Принц, по расчетам, не мог уехать с острова — решили потребовать его в камеру. Дергачев сказал, что он обедает у начальника и после придет, но „раз надутых“ трудно было уверить. Заговорил активизм.

Принесли ужин, камеру открыли и бак с пищей поставили на порог, при готовясь разливать по чашкам. Я предложил Тихонову, социал-демократу с Песоченских заводов, втащить бак в камеру и не отдавать до прихода инспектора. К нам присоединился Константин Бушуев, новгородский ушкунник — в полном смысле слова. Он отобрал у раздатчиков разливной ковш, а мы втащили за ушки в камеру бак и, под клич всеобщего одобрения, объявили старшему, что бак не отдадим до приица. Старший и отделенный растерялись, вызвали дежурного помощника, уговаривали, грозили — не помогало, камера шумела: „давай инспектора“. Наконец, объявили, что инспектор уехал — бак отдали...

Дело началось и в этом корпусе. Трём предстояло идти в карцер.

На следующий день Крамбах нанес врачу Шерману три раны ножом...

Шестая камера предъявила сидевшим в одиночках „ультиматум“ немедленно выступать и сообщила о своем решении начать в этот же день бойкот Любенецкого. Передали свое решение и в остальные шесть камер по отделению.

Началась проверка.

Слышно было, что первые пять камер отвечают помощнику, хотя и не так дружно, как было до этого дня.

Открывается дверь и нашей камеры. Надзиратель командует: „смирно“. Влетает Любенецкий, тыкает карандашом в грудь, громко выкрикивая: „Раз... два... три...“

Добежал до конца шеренги и крикнул свое: „Здорово, ребята“.

Гробовое молчание действовало на него очень сильно, и его, как электрическим током, отбросило от шеренги за стол, но он не понял факта и повторил: „Здорово, ребята“, сильнее прежнего.

Ни звука.

„Здорово, ребята“.

Молчание.

Старший Дергачев, стоя у противоположной стены за столом, сопровождавший на проверке помощника, нервно спросил:

— Почему не отвечаете?

— Спроси в первой камере второго корпуса..., — бросил Бузинов, — там знают и, когда нужно, скажут.

Этот ответ, хотя и был внепрограммным, ясно подчеркнул, что дело касается общности интересов. Дергачев хотел что-то сказать, но его перебил Любенецкий:

— Ладно, мы с ними поговорим в другом месте на другом языке, теперь разговаривать нечего...

Любенецкий дал понять, что предстоит порка за непочтение к его особе.

Седьмая камера слышала, что шестая не отвечала помощнику, так же дружно промолчала и она.

Протест уже захватил два корпуса — он уже принимал общетюремный характер.

На следующий день пришел из одиночек запоздалый ответ, советовали отложить начало до полного окончания агитационной работы, формулировки и рассылки по корпусам требований.

В этот день нас, тройку „за насилие над баком“, как было сказано в приговоре, посадили в карцер на неделю каждого.

Зимберг уехал вместе с инспектором принцем. Он получил отпуск и его замещал Агафонов — субъект дегенеративного типа. После нашего отказа дать объяснение захвату бака, он прочел длинную лекцию на тему, что каторжанам глупо требовать доставки „пищи из ресторана, а на 11 копеек лучше кормить невозможно“. Начальническое чванство и, пожалуй, глупость вышибли из его головы совет Кузьмы Прутькова: „смотри в корень“.

Шестая и седьмая камера, в день нашей посадки в карцер, в знак солидарности, не стали на проверку и целиком угодили в карцер на месяц.

По окончании карцерной недели нас троих, без пересадки, отвели во второй корпус.

Отделенный второго корпуса встретил нас приветственным словом:

— Мало погуляли. Вас тут только и не хватает.

И верно, благами „вольного“ четвертого корпуса нам удалось попользоваться только около месяца.

Не хуже был и в камерах товарищеский прием.

Полку волынщиков и бунтарей прибыло.

Здесь уже обсуждалась редакция требований. На мою долю выпало стать их выразителем.

В эти дни вклинился еще новый факт, торопивший переход к активности.

Богданова, из-за которого, по мнению начальства, загорелся сыр-бор, Бузинова, за свой ответ попавшего в жоаки, и Прожогина, указанного мелким жуликом Колосовским, как организатора седьмой камеры, — по распоряжению и в присутствии Агафопова, подвергли телесному наказанию по 35 ударов розги.

Это событие заставляло торопиться. По телеграфу спесились с остальными камерами, наместили однообразность в общих чертах редакции заявления и в тот же вечер приступили к сочинению на курительной, сумкинской бумаге.

„Господину Начальнику Шлиссельбургской каторжной тюрьмы.

От ссыльных каторжан второй камеры второго корпуса. Заявление.

События последних месяцев, разыгравшиеся в стенах Шлиссельбургской крепости, показывают, что каторжане не имеют никакой гарантии от поднимающего голову произвола тюремных палачей.

Спокойное существование на острове дальше не мыслимо.

Мы заявляем, что только в проведении нижеперечисленных требований в жизнь можно восстановить порядок. Поэтому требуем в течение 12 часов дать нам положительный ответ, в противном случае мы отказываемся от подчинения тюремному режиму.

Т р е б о в а н и я:

- 1) Немедленная отмена навсегда телесного наказания.
- 2) Отмена для бессрочно-каторжных ношения ручных кандалов.
- 3) Немедленное увольнение помощника начальника Любенецкого и тюремного врача Шермана.
- 4) Отмена обращения администрации с каторжанами на „ты“ и введение обязательной вежливости.
- 5) Отмена снятия шапок перед администрацией по команде.
- 6) Отмена ответа на приветствие в форме „здравия желаю“.
- 7) Строгое применение закона о расковке окончивших кандалный срок.
- 8) Применение по закону силки для разряда исправляющихся.
- 9) Улучшение постановки дела медицинской помощи.
- 10) Изоляция больных от здоровых в отдельные камеры и высылка туберкулезных в южные тюрьмы.
- 11) Допущение в библиотеку книг по беллетристике, общественным вопросам и журналов.
- 12) Увеличение прогулок до одного часа и введение еженедельной бани.
- 13) Отмена 30-суточного карцера и введение обязательного перевода на четвертые сутки в светлый карцер.
- 14) Выдача в карцер кандалного ремня, подкандалников, горячей воды и соли. Отопление карцеров зимой.
- 15) Улучшение общей арестантской пищи.
- 16) Установление особого порциона для больных катаром желудка.
- 17) Немедленный вызов начальника Главного Тюремного Управления, если начальник тюрьмы не найдет для себя приемлемым удовлетворение настоящих требований“.

Заявление подписали все сидевшие в камере и тем совершили преступление: закон карает коллективные петиции.

На утренней поверке вручили заявление старшему надзирателю Адельбергу, он его осторожно взял, положил в фуражку и добавил, расплываясь в улыбку:

— Снаю, снаю, зговорились, штенку штучали.

Дружное участие в протесте большинства каторжан всполошило тюремщиков. Немедленно вызвали из отпуска Зимберга, как более тонкого и выдержанного тюремного политика.

Со стороны каторжан не было прямых отказов от участия в протесте. Отказы мотивировались недостаточной решительностью действий.

— Вы, чтож, решили сидеть в карцере и этим добиться исполнения требований?

— Конечно. А как же иначе?

— Бойтся начальники, что вы будете сидеть в карцере. Я на это не согласен. Если хотите добиться успеха, нужно переходить к террору против администрации, надзирателей: поджечь тюрьму...

— Это немисливо. Много убьют невинных...

— Пусть бьют, зато испугаются и всё выполнят...

— Нет, этого нельзя. Недопустимо...

— Недопустимо, а иначе я не согласен. Я не буду сидеть в карцере полгода и отказываюсь от участия.

Человек не струсил, он самый решительный, остальные телята, и ему с ними не по пути.

И невинность соблюдена и капитал приобретен. Но это маскировка — не больше...

В день предъявления требования на вечернюю поверку явился сам Зимберг. При входе в камеру он, по обыкновению, сказал „здравствуйте“, ему ответили тем же, но уже без вашего высокоблагородия, и он, как будто ничего не случилось, повернулся к выходу. Пришлось бросить ему в догонку:

— Господни начальники, нам нужен ответ на поданное заявление.

Зимберг вернулся и, немного волнуясь, сказал:

— На основании статьи, — назвал ее, — устава о ссыльных коллективные заявления незаконны, и я, как начальник, не могу дать на них ответ. Я его получил.

— В таком случае, завтра с утра мы отказываемся от подчинения тюремному режиму.

— Это ваше дело. Смотрите сами.

Такая сцена повторилась во всех камерах, и Зимберг все-таки не вышел вон из кожи, как другие.

Отказ от подчинения режиму требовал, чтобы никто не должен был вставать в показанное время с койки, становиться на поверку, вставать при входе в камеру чинов администрации и соблюдать тишину.

Наступило утро. Затрещали надзирательские свистки. По привычке все проснулись, но лежали на койках. Надзиратель открыл форточку и закричал:

— Что, ай не слышали, свисток был...

— Слышали, нас не касается.

— Как не касается — поверка идет...

— Пусть, теперь нас поверять не будут, мы все дома, будут считать ментов.

— Бросьте, ребята, вставайте, нехорошо.

Разговор прервался появлением старшего, явившегося для поверки. Надзиратель скомандовал: „встать — смирно“, но никто не встал, старший сосчитал на койках, пустил в шутку: „отдыхайте“ и ушел.

Из четвертого корпуса стали стягивать уличенных агитаторов, — в нашу камеру попали два анархиста, Баткин и еще один и эс-эр Житный, которым через месяц—два предстояло идти на поселение и не было расчета

присоединяться к протесту из-за угрозы задержки на несколько лишних месяцев.

Парни попали в неловкое положение. Им было совестно товарищей, что они дорожат такими пустяками; и неловко было уйти из камеры. Но они всё же вызвали для объяснения помощника Тешнера. Тот явился, в камере при его появлении никто, кроме тройки, не встал.

Баткин выразил удивление, что их, не присоединившихся формально к протесту, посадили в одну камеру с теми, которых подвергнут скоро наказанию.

Тешнер запросто уселся около стола, окинул взглядом волынщиков и пустился в добродушные разговоры.

— Пока все сидят смирно, никого начальник не накажет.

— Все-таки нам здесь сидеть неудобно.

— Чем? Люди посиживают, чаек попивают, махорочку покуривают. Чем здесь неудобно?

— Здесь протестуют...

— Так что же, протестуйте и вы; не хотите — не пужно; не всё ли равно, где бы ни сидеть, только бы срок досидеть.

— Все-таки нас лучше отсюда перевести...

— Куда? Чтобы вы в той камере рассказали, как здесь протестуют? Чтобы и те присоединились: нет, на это начальник не пойдет. Он очень доволен, что есть еще сотни три непротестующих.

— Как же быть?

— Сидите, где посадили. Зашумите — накажем...

Тешнер ушел.

Валяться на койках, без привычки, скоро надоело.

Тихонов быстро смастерил небольшой хор, немножко спелись, чтобы не ударить в грязь лицом, вполголоса.

Из окон других камер неслся на двор нестройный шум споров и разговоров.

Наша камера взяла на себя инициативу запеть полным голосом и тем окончательно вывести жизнь из тюремных рамок.

На двор понеслись грустные звуки:

По лыльной дороге телега несется,
А в ней два жандарма сидят...

Это для Шлиссельбурга было так ново и оригинально, что в первую минуту ошеломило и надзирателей, и каторжан в других камерах, — шум смолк, и только хороший тенор Тихонова властно царил в камере и выбрался на двор. Тихонов выводил:

Сбейте оковы, дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить...

Отделенный Колобов открыл форточку и начал обычное увещание, действуя на арестантскую совесть:

— Тихонов, перестать нужно, неприлично...

Хористы не обращали внимания и продолжали, продолжал и отделенный:

— Разве тюрьмы построены для песен?

— Бросьте, отделенный, мы заявили, что тюрьму больше не признаем. Отделенный не мог осмыслить такой реплики и удивился.

— То-есть, как же это не признаете, когда она стоит, как и раньше стояла?

— Мы всё равно сейчас, что на воле...

— Все-таки песен не нужно петь, где это видано, чтобы в тюрьмах революционные песни пели?

— Не было видано, теперь повидайте.

— Зачем же тогда казна тюрьмы строит, нам жалование платит?

Хотя тон отделенного был больше просительский, чем начальнический, он все-таки мешал хору, и беседу прервали:

— Довольно, что было, того не будет. Посидели смирно, а теперь повольным...

— Ничего из этого не выйдет.

Песня не прерывалась. Она росла и крепла, пробралась сквозь окно на тюремный двор, там подымалась через стену и стремилась вдаль.

Надзиратель, стоявший на стене с винтовкой, потерял свою боевую готовность, наклонился на перила и серьезно слушал незнакомую песню...

Песнь второй камеры внесла сперва в остальные одиннадцать камер groboвую тишину, но затем быстро всколыхнула дремавшие силы, и уже через несколько минут пел весь корпус. Разные песни сливались в одну общую музыку, которая осилила петровские стены, перешагнула через них, опустилась на лоно вод Невы и Ладожского озера и поплыла по ним в город и к рабочим на Пороховые заводы, всем сообщая свою радостную весть, что мертвый Шлиссельбург заговорил, что есть сомнения в незыблемости вековой твердыни царского оплота...

Несмотря на то, что каждая камера пела свою песню, на волю вырывалось нечто общее. Как из различных голосов слагается общий хор, так из различных революционных песен выросла общая революционная музыка. Звучи песни волновали душу певцов, это волнение сливалось за стенами в общую мелодию. Как только каждая камера почувствовала удовлетворение от спетых песен, поднимался вопрос спеть одну всем, по сигналу.

Куражев заложил пальцы в рот, свистнул что называется „разбойничьим посвистом“ — в ответ, нестройно, но зато громко пронеслось:

„Нас давит, товарищи, власть капитала“.

Стройность немного улучшилась, и уже были слышны отдельные слова:

„Пусть черное знамя собой означает
Идею рабочего люда...“

Подъем волны людской был очень высок и серьезен, но скоро в нее влилась комическая нотка.

В моменты перерыва пения в камеры врываются звуки граммофона, распевавшего самыми отчаянными голосами разные арии из всевозможных опер...

Дело скоро выяснилось.

Зимберг, аstoneц, как говорится, родной племянник германскому немцу, сверх всего обучавшийся тюремному ремеслу в Германии, получил сообщение, что революционные песни из его крепости проникают на волю. И он сообразил, что, если не парализовать революционные звуки, долетавшие на другие берега Невы и уже собиравшие там толпы любопытных, то можно их всё же смягчить одновременным исполнением классических арий, привлечением на правительственную службу, по тюремному ведомству, изобретения человеческого ума — граммофона.

Зимберг собственноручно вытащил машину на балкон комендантского дома, сам заводил ее, меняя пластинки, подбирая самых горластых артистов всех стран и наций. Но если, по капризу Достоевского, в „Бесах“ „Кама-ринская“ в конце-концов заглушала марсельезу, то здесь такая штука не прошла, совсем не удалась. На противоположном берегу Невы очень хорошо были слышны арии, но не хуже, особенно ночью или на утренней заре, были слышны революционные песни выскочивших из ежовых рукавиц каторжан...

Такая обстановка, с одной стороны, веселила протестантов каторжан, с другой — была могучим рычагом для напряжения вокальных способностей, до пределов возможности, чтобы не дать торжества победы бездушной машине над униженным и оскорбленным каторжанским человечеством. И нужно правду сказать, каторжане куда громче орали, чем заслуженные оперные певцы. Это оранье создавало вне пределов крепости благоприятную почву для всевозможных слухов о бунте и восстании каторжан в крепости. Там, на воле, видели, что в крепость свозят солдат конвойной команды. Там не раз назначали сроки, когда каторжане начнут разбивать крепостные стены и брать приступом всё тюремное начальство. Для захудалого уездного городка, как Шлиссельбург, этот тюремный протест казался громадным революционным движением. Тюремное начальство, стягивавшее в крепость большую конвойную команду и воспретившее надзирателям и членам их семей общение с берегом, только укрепляло фундамент слухам и толкам. Неудивительно, что мирные обыватели ждали от каторжан великих потрясений спокойного уклада мещанской жизни...

Каторжанская масса, не исключая и уголовных, легко примыкала к протестующим, на нее хорошо влиял общий подъем настроения и растерянность администрации. Для каторжан, еще не примкнувших к протесту, из одного улучшения до пределов возможности тюремной пищи было видно, что тюремщики боятся протеста.

Только группа церковных певчих, состоявшая целиком из участников „Гордовского процесса“, да таких анархистов, как Иващенко и Соломин, колебалась и всё еще обсуждала вопрос об их присоединении. В день их положительного решения появилась Воронова, преподнесла им по куску пирога и этим отменила уже принятое решение. Из них присоединился только Соломин,

но и тот, просидев в карцере неделю, попросил у начальника прощения под предлогом наличия признаков „горловой чахотки“. Начальник простил, хотя на время и устроил из хора.

Протестантами набили все карцера и изоляторы — по два, по три и больше человека. Неуместившихся в карцера перевели в камерах на карцерное положение. Особенно скверно было попавшим в нижний этаж. Им приходилось сидеть и спать на асфальтовом полу, лежащем прямо на земле, что значительно сильнее его охлаждало.

Втечение первого месяца многие отказались от приема на четвертые сутки горячей пищи, всё время сидели на одном хлебе и холодной воде. Это была тактическая ошибка. Физические силы быстро истощались, создавалось благоприятное положение для всевозможных заболеваний.

Администрация решительных мер практически не предпринимала. Теория же выражалась в расклейке по коридорам и в уборной объявлений, что остров объявлен на военном положении и всякая попытка к открытому бунту, битье окон, нападение на надзор, разрушение зданий — должна быть пресечена в самом начале огнестрельным оружием. Была расклеена инструкция о правилах употребления огнестрельного оружия и указаны сигналы. Срывать объявления было воспрещено военным положением, но это не помешало каторжанам скурить их в первые же дни.

В половине июля еще не было заметно кризиса протеста. В это время приехал губернский тюремный инспектор Благовещенский, генеральские погоны и академический значок украшали его персону, но эти вещи не мешали быть ему чистокровным тюремщиком, любителем, как и Агафонов, порки каторжан. Администрация, при посещении камер инспектором, решила приподнять свой авторитет: ввиду отказа повиноваться по команде „встать, стройся“ надзиратели, с помощником Ефисом во главе, принялись стаскивать каторжан в шеренгу и ставить на ноги. Но усердие не помогало — перетасканные на новые места снова садились на пол. Не обошлось и без тумачков. На приветствие инспектора никто не отвечал.

Благовещенский стал подходить к каждому и спрашивать: „какие есть заявления“. Все отвечали одинаково:

— Заявлений нет, нами предъявлены требования, исполнения которых ожидаем.

— Говори только за себя.

— Прошу „не тыкать“, личных заявлений нет...

— Не разговаривать. Никаких требований нет, и ничего не будет удовлетворено.

Переходил дальше, и повторялась та же история. Разнообразие внес только Куражев:

— Не тыкайте, я с вами свиней не пас.

Инспектор проглотил и это.

На другой день после инспекторского посещения началась выборка зачинщиков для рассылки по другим тюрьмам. Это обычный метод тюремной

политиком, чтобы сломить упорство протестующих и подорвать их сплоченность. Изъятие всегда касается предполагаемых главарей и дает тюремщикам надежду, что масса без них немедленно сдастся на милость начальства. Производится оно больше по признаку ораторских способностей и по предполагаемой авторитетности среди заключенных. Но оно почти никогда не достигает цели, — изъятые всегда являются или случайно собранными, или больше других насолившими администрации, или же просто неприятными ей, независимо от их поведения.

На этот раз из протестантов изъяли 14 человек: Жедановского, Тимопечкина, Некрасова, Вилибина, Короткова, Шеенсона, Купченко, Канупу, Цюна, Лякса, Берштейна, еще троих — за десять лет забыл. Всех их увезли в Орел, тюрьма которого славилась смертным боем. Отправка гуртом в одну тюрьму, чего обычно не практиковалось, говорила, что им предстоит набивание, и, в самом деле, некоторым из них там пришлось отвечать, на славу, настоящего боя.

Оставшихся в Шлиссельбурге начальство предполагало взять измором. Протест не прекращался: его длительности содействовало то, что в разных корпусах он и начинался в разное время. Когда одна партия кончала свой карцерный срок, другие еще оставались в карцере. Освободившиеся, в день освобождения, предъявляли требование об освобождении сидящих в карцере и получали отказ. На следующий день они снова шли в карцер из солидарности к сидящим. Когда выпускали последних, они шли в карцер из солидарности к вновь севшим. Так одна партия стремилась выручить другую, но увязала сама и тянула за собой и другую на следующий месяц.

Наступил август месяц, лето пошло на ущерб, ночи становились холоднее; в карцерах, и особенно в камерах на карцерном положении становилось всё труднее. Многие уже настолько истощились, что администрация распорядилась отвести их из карцеров в больницу, был уже один смертный случай среди протестантов, понятно — начали подумывать об изыскании концов.

Самым простым выходом из боя была капитуляция, но ее никто не хотел. Для всех было ясно, что в этой борьбе каторжане понесли очень большие потери, — жаль было сдаваться самим. Уж если гибнуть, так гибнуть в самом бою, но не в позорной сдаче.

Конец протеста чувствовался даже надзирателями: они всё чаще и чаще спрашивали, когда же всё это кончится.

У большинства протестантов серьезное отношение к целям борьбы исчезло, оно заменилось каким-то чудачеством. Верным показателем такого настроения была самостоятельная расковка каторжанина Андрея Костикова. Брянский максималист, осужденный по малолетству на три года, пронесл кандалы вместо полагавшихся восьми месяцев все три года, — 7-го августа оканчивал срок своей каторги и подлежал отправке в Сибирь, на поселение. Сидевшие с ним в камере решили, в этот день, в 12 часов, расковать его и объявить ссыльно-поселенцем. Разбить заклепки не было возможности, начали пилить самодельными пилами кандалные обручи, согнутые из овального

железа $1" \times 7/16"$, — работа заняла около двух часов. Наконец, кандалы торжественно сняли, протелеграфировали в нижнюю камеру, чтобы ловили у окна „почту“ и стали медленно спускать на веревке. Надзиратель, стоявший на стене, вытаращил глаза и молчал, другой, стоявший у окна, под классической яблоней, испугался и закричал, как будто кто-нибудь его резал: „батюшки — кандалы“, снял шапку и начал креститься. Шестая камера осматрела посылку и выбросила ее за окно, к ногам перепуганного надзирателя. Сверху и снизу неся к нему раскатистый смех, который и ободрил его, он поднял кандалы, внимательно осмотрел их и торжественно повес для вручения высшим властям. В камеру пришел Тешнер. Ему рассказали, что решили восстановить поправленный закон, он посмеялся и очень удивился, что перерезали без специального инструмента такое толстое железо. Костикова взяли в кузню — там снова подковали в новые кандалы, а через неделю в них же отправили на поселение.

Внизу решили закончить протест объявлением голодовки, к этому решению присоединились и другие. В карцерах в это время уже голодали. На четвертый день камерной голодовки явился сам Зимберг с увещеванием, но объявил, что ни одно из требований официально удовлетворено не будет — создал лазейку для компромисса. Через несколько дней Зимберг вызвал одного из камеры и в порядке частной беседы дал обещание, что, пока он будет начальником Шлиссельбургской тюрьмы, в ней не будет телесного наказания и тридцатисуточного карцера, на горячую воду в карцер не покупились, но через три месяца — снова были 30-суточные карцера и холодная вода. Прочным завоеванием была библиотека, катаральная диета и кое-какие мелочи. Порезанный Шерман сам побоялся вернуться, исчез и Любинецкий.

Волянка закончилась. Только единицы продолжали сидеть в карцерах с малыми перерывами до самого Рождества.

По отношению к голодавшим проявили научную внимательность: для спасения их желудков поили горячим кипяченым молоком и давали небольшими порциями белый хлеб, — черный запретили...

С первых дней окончания протестанты потянулись на больницу. Вечерние сентября месяца отправились на „ладожский этап“ такие богатыри, как Скородумов, Сикорский, Тимофеев, Куражев. Скоро в догонку за ними ушли Письменчук, Сапожников и другие, более слабые. Человек 30 получили явные признаки чахотки...

Выврванная иллюзия победы унесла 20—25 хороших товарищей и имела столько же кандидатов в кладбищенские поселенцы. Таковы результаты для участников протеста; для оставшихся и вновь прибывающих они имели громадное значение, — благодаря протесту и гибели товарищей из Шлиссельбурга вышли живыми лишние две сотни...

Много тяжелого и мрачного отложил на душе этот протест. Одно воспоминание об умерших в результате протеста сжимает сердце до боли, становится тоскливо и грустно. И всё же эти месяцы являются, пожалуй, самыми дорогими из многолетней тюремной жизни: сквозь мрак и тоску пробивается

сильная струя радостности общих переживаний, общего подъема и общей веры в человека. Это были дни человеческой жизни, под звои кандалов, песен, в самых невероятных условиях, как вряд ли может представить себе человек, не видевший „воочию“ царской каторги.

На смену общему протесту — пришли мелкие, частные, в лучшем случае обнимающие интересы только второго корпуса, но в большинстве ограничивающиеся интересами одной камеры или одной группы волюнщиков.

Численность группы специалистов-волюнщиков не превышала трех-четырёх десятков. У них всегда находились поводы для волюнок и протестов, следовательно и для сидки в карцерах: то начальник неправильно посадит в карцер одного, и остальные восстанавливают справедливость собственной сидкой; то надзор оскорбит одного, и остальные протестуют, сидя в карцере, против оскорбителя; то один „в запальчивости и раздражении“ оскорбит надзирателя, и остальные идут сидеть из сочувствия к пострадавшему. Из всех этих мелочей заслуживают внимания только „макаронный бунт“ и „задача супа на аршин“.

Несколько камер из второго корпуса работали в прачечной — стирали арестантское белье. Один татарин сменил рваные портянки на здоровые — фактически такая смена не запрещалась, но надзирателю показалось, что каторжанин обзавелся лишней парой. После работы, при обыске, надзиратель забыл, на кого у него пало подозрение, и заявил, что все причастны к краже. Обыск никакого результата не дал, настойчивое утверждение надзирателя заставило повторить обыск с тем же результатом, — ничего не нашли. Каторжан задела за живое такая канитель: когда они пришли в камеру, принесенные на ужин макароны остыли, на них и решили отыграться, — отказались есть. Пришедший уладить конфликт помощник начальника Гудима — пустился в философию, стараясь свалить вину на каторжан.

— Сами виноваты, вам выдают и меняют портянки, зачем же воровать?

— Никто не воровал, за два обыска ничего не нашли...

— Разве у каторжан что-нибудь найдешь?

— Среди нас нет воров, — бросил Никитин.

— А где же вору? — выпалил Гудима.

— В конторе. Всё с ковардами.

Гудима принял на свой счет и посадил Никитина в карцер, за ним пошли остальные. Пришлось отсидеть только по двадцати дней, появился юбилейный манифест и „макаронники“ получили амнистию. Так, зря, отбарабанили, но все же бодрости не потеряли. Утеха была в том, что помощник признал себя вору: „Нет дыму без огня“.

К бессрочникам администрация относилась более враждебно, чем к срочным каторжанам. Бессрочным и жилось-то сравнительно хуже. Из них очень немногие получали от родных деньги и все часто сидели без табаку. Положение еще больше ухудшилось, когда администрация решила давать пищу с аршина. До сих пор иногда в камеру попадала добавка из остатков от других камер. Новый метод раздачи упразднил добавку. Пищу разливали по ведрам для

каждой камеры отдельно и уравнивали линейкой, на которой были нанесены деления, сколько приходится на человека. Линейку скоро окрестили аршинном. В камере бессрочных, как нарочно, собрался народ всё крупный, и вершка супу, конечно, не хватало. С голодухи они обратились к другим камерам поддержать их в борьбе против аршина. Началось с отказа получать пищу взреть до уничтожения мерки. Начальство немедленно аршин уничтожило, но часть посадило в карцер, а часть изолировало в одиночки. Сам по себе этот протест был совсем незначителен, но он очень характерен для изобретательности администрации и ее боязни перед возможностью большого протеста.

Все волынщики группировались во втором корпусе, в „заразном“ отделении и в одиночках четвертого корпуса на первом отделении. Положение последних было хуже всех. Здесь для изоляции между камерами бунтарей сидела „сучья порода“, народ что называется исподлившийся в конец. Но как здесь, так в заразном и втором корпусе не было препятствий для разработки идей волынок и протестов. Обстановка позволяла отстаивать свою репутацию волынщика, и здесь постепенно завоевывалось даже почтение от администрации.

В. Градский.

Психология предательства.

(Из воспоминаний „сотрудника“).

1. Перед „решением судьбы“.

Была ранняя осень — середина августа 191*... года. Утро было теплое, но какое-то серое, а с полдня пошел мелкий-мелкий дождь, от которого на душе становилось как-то серо и беспринятно. Я шел по Троицкому мосту, хлюпая сапогами без галош по лужам и думал всё ту же горькую думу: „Уже скоро сентябрь, а в университет не принимают из-за отсутствия бумаги о благонадежности... Пожалуй, и вовсе не примут. Придется бросить уроки и ехать служить на военную службу... Ну, а дочка? Да, ведь дочке уже пошел седьмой месяц: кто же ее будет кормить, мою маленькую... И будь я виноват в беспорядках, а то сидел дома, давал уроки, пришли товарищи, чуть не силой привели в университет („стыдно, мол, старому партийному работнику сидеть в своей норе, когда нарушается университетская автономия!“). А там арест, сиденье в вонючей части, высылка по этапу на родину (в первый раз побывал на этой „родине“), возвращение и беганье „по передним профессоров, министров, генералов“. А дома? Жена, ворчащая на „несчастную судьбу“, связавшую ее с „неудачником“; попреки родственников жены и обидные намеки на „крикунов-тунеедцев“, выслушиваемые чуть не ежедневно... Эх, кабы конец! Да разве конец — в смерти? А дочь?“

В это время проехавшая мимо коляска обрызгивает меня с головы до ног липкой грязью, и я, невольно подняв голову, вижу ослабленное сытое лицо товарища по гимназии, теперь даже не здоровающегося со мной. „Вот такие устраиваются: в пятом году был в Шутейке розовым кадетом, подлаживался к прогрессивной профессуре, кончил, женился на дочери октябриста-земца, взял миллионное приданое и блаженствует... Что ему народ и его муки? Впрочем, за что я его ругаю? Я мог идти той же дорогой, но не захотел, пошел в „подполье“, попал в крепость на целые годы и... кому я принес пользу? Десятку жандармов и сыщиков дал работу и награды, обеспечил куском хлеба тюремных сторожей, а теперь кормлю филеров... Впрочем, последние зря едят свой хлеб: какой же я революционер? Кому я опасен, кроме как самому себе!“

Мысли становятся еще мрачнее, когда я, спустившись с моста, начинаю месить гущу грязи Александровского парка: вода проникла за воротник, размочила пальто и как-то нелепо его расширила; чувствую, что мне вид

„бедного, но благородного оборванца“, и это меня злит еще больше. — Неужели снова просить и унижаться? Снова давать обещания, что ни в чем не замешан, что попал в день беспорядков случайно, что у меня есть маленькая дочь... Но „им“-то что за дело? Разве у этих охранников есть сердце и чувства? Но, впрочем, что я ругаю их: а есть разве чувство у всех тех сотен интеллигентов, у которых я эти дни просил уроков или протекции? Разве они не давали мне уроки, которые не взял бы гимназист VI класса? Разве они не посылали меня к бюрократам с рекомендательными письмами, на которые давался стереотипный ответ: „Крайне сожалею, но ничего не могу сделать; так и передайте многоуважаемому Имя-реку, что я ныне не у дел по случаю реакционных влияний в нашем ведомстве“. Ведь все эти господа знали, что, когда я шел по этапу, моей дочери было всего три недели от рождения и что денег у меня, конечно, дома не запасено. А как они помогли? Воспользовались и скупили за бесценок мои книги, на которые деньги откладывались грошами по годам!

Злоба на общество, на человечество поднималась в сердце... Но вдруг я невольно остановился на одной площадке: здесь когда-то я говорил речь безработным рабочим Лангензипена; живо вспомнились мне страдальческие, изможденные лица рабочих, их восторженные рукоплескания... Но это было мгновение: я вспомнил, что из среды рабочих вышли предатели, законопатившие меня на два года в одиночку, что в большинстве рабочие пятого года давно бросили партии, обуржуазились, стали торговцами, кондукторами, даже городовыми... Злоба вспыхнула снова. Вот за углом забелело здание — цель моего путешествия. Охранка... Сколько муки, и слез, и проклятий сыпал я на нее в дни тюремного жилья; сколько ужасов скрыто за этими приличными на вид стенами „барского дома“! Допросы максималистов с избиениями, пытками, попрание всякого человеческого достоинства, унижения...

— Вам кого?

— Господина Статковского... Он меня, вероятно, помнит; скажите ему мою фамилию...

— Пожалуйте!

Вхожу. В грязной, заваленной бумагами комнате сидит мужчина в форменной тужурке, с орденом в петлице; перед ним кипы дел, карточек и... браунинг. С хитрой усмешкой на измятом лице, с прической в виде „хохолка“, Статковский напоминает какую-то из статуй Иннокентия Жукова. Он любезно протягивает руку, а сам косится на оттопыренные карманы пальто, очевидно не доверяя обыскавшим меня филерам.

— Давненько не выдались! Как живете, что поделываете? Что хорошего?

— Я к вам, Павел Семенович, по делу: меня исключили из университета, и теперь...

— Ай-ай-ай! вот так дело! Я и забыл: как же, как же, слышал от ваших товарищей, что вы организовали протест против Кассо! Не протестуйте: не поверю-с, чтобы вы, старый революционер, пошли бы „случайно“: наверное, и выступали с речью, и шикали... Я человек прямой: люблю

правду. И жаль мне вас: читал в прошении, что у вас дочь родилась, пора бы остепениться. Я бы, конечно, дал (но уже в последний раз) вам свидетельство о благонадежности, но начальник и слышать не хочет! Еще острит: „аресты студентов удивительно, если верить прошениям, повышают рождаемость детей в столице: у всех арестованных родили жены, а у какого-то жиды так даже две!“

У меня является желание схватить пресс-папье и кинуть его в голову Статковского, но мысль о дочери удерживает меня. А Статковский, заметив направление моего взгляда, перекладывает пресс-папье на другое место. Я сдерживаю злость и говорю:

— Я хочу подать прошение на высочайшее имя об амнистии.

— Не советую: ваши товарищи отвернутся от вас, газеты высмеют, а профессора будут презирать вас, как ренегата, и все равно не дадут кончить... Главное же, что прошение будет прислано к нам за справками о вас... Ну, а мы завалены работой и успеем ответить лишь через 2—3 месяца: всё равно не попадете в университет.

В душе я соглашаюсь, что это верно, но молчу.

— Знаете, у меня мелькнула мысль: я поговорю с начальником, чтобы вас принять в университет условно, чуть что заметим—вон без возврата. Вы зайдите ко мне... Нет, не заходите, а придите в Зоологическому саду; там я встречу вас и расскажу о результатах: я всегда охотно хлопочу, если вижу у человека и крепнее желание порвать с революционным подпольем. Дай бог, чтобы хлопоты увенчались успехом...

— Спасибо сердечное, Павел Семенович. До-свидания.

Я вышел из охраны; дождь уже перестал, но в воздухе было сыро и холодно; громко вдали выглядывал шпид Петропавловки, а с Невы доносились гудки пароходов. В сердце было мучительное сомнение, сделает ли? Получит ли согласие? А вдруг это не даром: потребует взятки или „услуг?“ „Но тогда можно не согласиться“, успокаивал внутренний голос.

На сердце было тяжело: хотелось солнца, ласки близкого человека, слова товарища. На небе были тучи, близкого человека не было, товарищи были озлоблены, как и я, на свою судьбу.

2. „Ноготок увяз“...

Полчаса третьего я был уже у Зоологического. В четверть четвертого показался Статковский, зорко всматривающийся в проходящую публику и подозрительно осмотревший всех окружавших меня. Подождались.

— Ну, начальник ломался, но всё же я его убедил: напишем, что с нашей стороны нет препятствий к вашему возвращению в университет. Только вот что; вы мне напишите об этом в форме не прошения, а простого личного письма, что просите меня похлопотать о свидетельстве о благонадежности.

Я задумался, но, вспомнив свое решение навсегда уйти от революционных кружков, решил, что это письмо не может меня скомпрометировать. После этого мы расстались.

В тот же день я написал письмо. Однако, в министерстве народного просвещения свидетельства не оказалось и через 3—4 дня; снова иду в охранку. Статковский принимает меня сухо.

— Еще не послано... Начальник упрямится, считает вас очень опасным: он хочет, чтобы вы помогли мне восстановить истину; академики нас засыпали доносами на профессуру и студенчество; мы прямо не решаемся, что и делать: арестовать и выслать невинных легко, а потом и от начальства будет нагоняй, да и самим неприятно. Помогите нам: сделаете доброе дело, спасете невинных. А мы вам тоже услужим: пошлем благонадежность...

В моем мозгу пропеслась мысль; ведь это „провокация“, служба в охранке. Хотелось бежать, все забыв на свете, а Статковский читал мысли.

— Мы вовсе не требуем предательства, мы только будем вам говорить про имеющиеся у нас сведения, а вы скажете, кто невиновен; если же не хотите говорить, то просто скажете — „не знаю“.

Я молчал. Статковский взял со стола бумагу и спросил:

— Скажите, мог ли И. убить прокурора... Я веду это дело, давно знаю и не могу ничего понять...

Я возмущился.

— Прокурора убили воры. И. непричем: он ехал в одном с ним поезде...

— Да, я уверен тоже, что И. невиновен: очень рад, что он непричем. Ну, разве так страшно будет вам говорить изредка про невинных людей, обвиняемых академиками чорт знает в чем...

Я почувствовал, что мысли путаются: с одной стороны, ясно сознавал, что мой долг — бежать отсюда; с другой — меня удерживало то, что Статковский сладко пел.

— Подумайте: разве плохо будет спасать невинных от ареста, от ссылок, исключений... Вы сами пострадали невинно и должны понимать, как важно знать нам правду. У нас сотни доносчиков, но все они доносят про дурное в людях, а про хорошее молчат. Я знаю, что вы не пойдете на провокацию, и поэтому-то предлагаю только корректировать нашу работу. При ваших знакомствах и связях вы это можете делать без труда. А „благонадежность“ — то уж готова. Вот она.

Сердце сжалось: через неделю кончался прием в университет, и грозила солдатчина, а тут предлагали доброе дело делать, и открывались перспективы научной работы. Увы, был я малоопытен и доверчив к людям; думал, что „никто не станет у меня вырывать показаний, которые я не захочу дать; хуже не будет, чем сейчас“...

Статковский спросил:

— Посылать? — и, не дожидаясь, позвонил агенту, которому и велел „немедленно отдать бумагу в канцелярию и сказать, что И. С. просит сейчас же ее отправить“¹⁾. Статковский, поняв мое желание разобраться в мыслях,

¹⁾ Даже это было комедией, рассчитанной на эффект: бумага пошла лишь через 3 дня, когда ее отвез в департамент лично Добровольский!

попросил меня написать мой адрес и звание собственноручно и извинился, что больше не может „беседовать“, так как очень занят: через несколько дней он меня известит о времени новой „беседы“. Я ушел.

Только на улице, когда я шагал, не разбирая дороги и не замечая встречных, я почувствовал, что попал в саутину.

— Неужели Азеф начал тоже с выяснения истины, а дошел до предательства всех и вся? Неужели я „провокактор“, „сотрудник охраны“, т.-е. самое последнее отребье на земле? Нет и нет! Я никого не продам, а только буду давать верное освещение истинных фактов. Да и не вечно же я буду связан с охранкой: через несколько месяцев можно „заболеть“ и перестать ходить на „беседы“. Кроме того, я уйду в сторону от „подполья“, перестану видаться с товарищами по партии и, следовательно, буду неинтересен. Увы, я не знал, что моя судьба уже решена, что мне остается лишь катиться вниз по наклонной плоскости.

Придя домой, я долго не мог разобраться в мыслях; когда я лег спать, мне всё слышалось, что кто-то кричит: „провокактор! охранник! Азеф!“. Этот сон стал спутником моей жизни: и позже не раз я просыпался ночью в холодном поту, весь дрожа, что открыто мое „сотрудничество“.

Через два дня я получил письмо, в котором Статковский просил меня зайти поговорить „об уроке“ в кафе Андреева (на Невском против улицы Гоголя). Новые сомнения, которых положило конец известие, мало относящееся к этому делу, но заставившее меня идти: один из исключенных студентов был принят благодаря любовнице Кассо, которой он очень понравился, а другой купил „благонадежность“ в провинции. Оба говорили открыто, не считая свои способы поступления некрасивыми: я считал, что спасение „невинных“ через охранку чище ухаживания за перерезавшей гречанкой... Скоро мне пришлось раскатыться в своей наивности.

3. Новое знакомство.

В назначенное время я был в кафе. Скоро пришел Статковский с каким-то блондином в очках, гораздо более симпатичным на вид, чем Статковский. Тот отрекомендовался: „Иван Васильевич Федоров“.

Сели за стол. „Федоров“, оказавшийся впоследствии Добровольским (это я узнал лишь через год!), попросил меня рассказать про одно темное дело, бывшее за несколько лет до того, — убийство студента М., заподозренного в провокации. В виду того, что убит он был лицами, позже основательно подозревавшимися в службе в охранке, я откровенно рассказал, что слышал про убийство. „Федоров“ сказал, что я очень „справедлив“ и „объективен“ в рассказе. Тогда Статковский, всё время молчавший, заметил:

— Ладно. Вот я будете работать с Иваном Васильевичем, а меня начальник, слава богу, освободил от этих дел. Ну мне пора к обеду домой. Прощайте.

„Федоров“ записал мой адрес и просил меня в случае надобности писать ему „Александровский 2, И. В. Федорову“, но не подписываться своей

фамилией („а то вдруг подумают, что вы служите в охранном: лучше выберите какой-нибудь псевдоним“). Подумав немного, я сказал, что буду подписываться фамилией одного действующего лица в романе Амфитеатрова „Восьмидесятники“. Вслед за тем мы расстались, условившись о следующем свидании через неделю на квартире „одной знакомой“ Федорова — Моховой (по Большой Дворянской, 23).

Я ушел со свидания смущенный: „Федоров“ обнаружил недожанный ум, знакомство с литературой, историей, социальными науками; он совсем не походил на жандармов, грубо ведших допросы по моему делу; наоборот, каждое его слово звучало подкупающе ласково, он всё время с мягкой улыбкой смотрел в глаза, говорил очень сердечно и просто.

— Неужели же такие охранники? Быть не может! Статковский — груб, хитер, ядозит, склонен к издевательству; а тот — симпатичен и прост. Наверно, он занимает небольшое место и служит недавно!

Увы, я не знал, что в сравнении со Статковским „Федоров“ был крупнейшей величиной охраны, идейным руководителем целой системы политической провокации, отдавшей в руки палачей массу жертв; я и не подозревал, что со мной познакомился инспириатор многих революционных выступлений против самодержавия, умевший очаровывать тысячи людей обаятельностью своего обращения. Я не знаю до сих пор, что привело его к службе в охранном, но позже узнал, что и ему было иногда не под силу вечно играть роль, вечно бороться со всем честным; узнал, что и у него были тяжелые минуты мук совести и искреннее желание бежать из того омута, который назывался „политической полицией“.

.

Через неделю я снова виделся с „Федоровым“: он стал меня „обучать работе“.

— Пожалуйста, сходите кое к кому из ваших товарищей посылке: видите, они просят свидетельства о благонадежности, и мы бы им дали, если бы знали, что они стремятся в университет не ради политики, а ради занятий. Поэтому будет очень хорошо, если вы скажете мне, кто из них навсегда решил бросить политику. Кстати, скажите, как ваше мнение: будут в этом году беспорядки в университете?

Я ему указал на то, что система Кассо ужасно вредно отзывалась на университетской жизни, что студенчество вовсе не революционно, но всё же это не стадо, которое позволит над собой производить эксперименты.

Кое-что Федоров одобрил, кое с чем не согласился.

— А, ведь, я забуду всё это... Знаете что: напишите-ка эти ваши взгляды для меня только, чтобы я не забыл... Кстати, ведь вы потеряете время на это, как и на хождение; а всякий труд должен вознаграждаться; вот возьмите пока деньги...

Тщетно я отказывался: он настойчиво убеждал меня взять деньги, хотя бы для расходов „на извозчика“. Ни расписки, ни квитанции он у меня не

требовал¹⁾; я взял деньги — оказалось 75 рублей. Уйдя от Федорова, я задумался: ведь я уже стал „провокатором“ — получил деньги, написал письмо, буду писать донос... Вернуть деньги и получить письмо назад? Не согласится. Покончить с собой? Но еще я не сделал подлого поступка.

А деньги жгли карман: хотелось выбросить их, разорвать, но вспомнилось, что уроков мало, что трудно жить на те 50 — 55 руб., которые я получу в этом месяце за ежедневную беготню по массе уроков. Невольно я остановился перед каким-то рестораном; впервые я вошел в „настоящий ресторан“, где лакеи насмешливо осматрели мою неказистую тужурку и изломанную фуражку. Я заказал обед и бутылку вина: пока ел и пил, я чувствовал, что моя совесть делает последние попытки протеста, что я скоро успокою ее софистическими доводами. Жгучую краску на лице вызвало воспоминание о годах крепости: я поспешил согнать ее пивом.

Придя домой и отдав деньги жене, которой я сказал, что буду принят в университет и что получил еще работу по составлению отчетов, чем ее очень обрадовал, я молча нагнулся над кроваткой дочери и долго смотрел на нее: невеселые мысли теснили голову; хотелось бежать от людей, от себя, от всего мира. Ночью опять выдал кошмарные сны...

Утром написал отчет, потом побывал у нескольких товарищей, перед которыми чувствовал себя отвратительно: так и ждал каждую минуту, что кто-нибудь назовет меня провокаторм. После пошел с несколькими в пивную, где за пивом и раками (недавно еще недоступная для меня роскошь!) я окончательно угомонил свою совесть: пил за свободную науку и университет, за смерть Кассо, поминали товарищей. Пиво отуманило мозг, заставило на несколько часов забыть о том, что через 6 дней надо идти подавать отчет, что придется жить вечно раздвоенной жизнью, что настанет момент, когда и сам не сможешь отличить лжи от правды. Особенно жутко вспоминалось о годах одиночки: зачем я просидел два года, если теперь согласился на предательство того же народа, за освобождение которого попал в крепость... Я тогда не понимал, что именно эти-то два года и сделали меня безвольным, слабохарактерным, безразличным ко многому. Только много позже я понял, как тюрьма развращает человека, как постоянное одиночество заставляет человека приучаться смотреть на всё с одной точки зрения, уменьшает количество нравственных принципов, что и приводит к абулии, столь характерной для всех провокаторм. Позже я понял, что чтение книг, переполнивших в 1909 году тюремные библиотеки, — Ремизова, Кузьмина, Зиновьевой-Аннибал, Ауслендера, Мауринна и др. наложило на всех заключенных печать раздвоенности: ведь мы читали целые дни; книга была буквально нашей жизнью; и когда после „чистки“ жандармами библиотеки ее наполнили полу-порнографические произведения годов реакции, мы невольно поддались влиянию этих книг, от чтения которых горело лицо и являлась жажда половой жизни.

¹⁾ Расписки потребовались спустя несколько месяцев „сотрудничества“, когда уже нельзя было вырваться из охраны.

4. За „работой“.

Долго описывать то, как понемногу охранники „учили“ меня. Через несколько времени со мной познакомился начальник охраны Фон-Коттен, человек тяжелый, грубый, рассказчик нецензурных анекдотов, проникнутый „собачьей верностью“ самодержавию. Он и Добровольский понемногу расширили круг моей деятельности. Сначала у меня только спрашивали, можно ли такому-то дать „благонадежность“, на что обычно я говорил „да“; однако, скоро мне пришлось писать отчеты о настроении студенчества. Я писал эти отчеты без фамилий студентов, за что и получил выговор.

— Что вы всё говорите, будто не знаете, кто говорил... А у нас есть сведение, что не только вы его знаете, но даже он с вами разговаривал перед речью. Не годится, знаете, вести игру на два фронта... Иначе придется нам расстаться. А тогда, чтобы обезвредить вас в политическом отношении, мы как-нибудь сообщим о наших беседах... Я это говорю к слову. Надеюсь, что вы сами поймете, что должны честно сообщать обо всем происходящем... Ведь мы от вас не требуем провокации, а только желаем, чтобы мы стояли au courant всех событий.

Я был поражен: о моей беседе с оратором знало 2-3 человека; следовательно, около меня есть кто-то, кто следит за мной. С того дня я начал подозревать всех окружающих в службе в охране. Попытка не ходить в университет не прошла.

— Вы должны отказаться от части уроков; ведь они дают вам гроши. Вы должны быть в курсе движения, конечно, по возможности избегая выступлений... За пропущенные уроки получите отдельно.

В эти дни у меня являлось желание пойти к кому-нибудь из известных общественных деятелей и рассказать ему всё. Но к кому? К профессорам я не мог, так как узнал, что кто-то „освещает“ не только их общественную деятельность, но даже интимную (напр., проф. Э. Д. Гримма). К общественным деятелям—но почти о половине их сообщались в охранку такие факты, что я поражался: имена, горевшие для меня когда-то светочем на недостижимой высоте, оказывались запятанными взяточничеством, развратом, доносами, плагиатами, беспринципностью и пр. Кроме того, подленькое чувство самосохранения заставляло таяться и молчать: грозный вопрос, куда девают разоблаченных провокаторов,—стоял передо мной денно и ночно. Жить стало безумно тяжело: целыми днями беготня по урокам, по ночам писание очередного „доклада“ к четвергу и подготовка к экзамену. Часто казалось, что я не в силах дальше жить: приходилось прибегать к обычному русскому лекарству — водке, дававшей на время забыть весь позор своей жизни. Скоро из меня выработался добросовестный доносчик: я уже боялся что-нибудь пропустить в доносе, так как надо мной висел дамоклов меч — разоблачение охранкой моей деятельности. Единственное утешение для меня было то, что никому вреда пока не было: ни арестов, ни обысков пока охранка не делала.

Я не буду говорить о том, что я испытывал за это время: бессонные ночи, подозрение, что каждый видит во мне предателя, боязнь будущего и отчаяние, отчаяние без конца и просвета впереди. Часто я ловил себя на мысли, что желаю смерти дочери: ее смерть развязала бы меня, дала бы свободу покончить с этой двойственной жизнью тем или иным способом. От жены я отошел: у нее была другая личная жизнь, и я стал тем одиноким, каким остаюсь посейчас и останусь навсегда. Тщетно иногда я искал себе забвения в вине: даже оно не всегда давало забыть от того голоса в глубине сердца, который днем и ночью кричал: — „предатель, доносчик, провокатор!“. Мне казалось, что на улице, в театре, в трамвае публика глядит на меня с усмешкой и говорит тихо — „шпион“. И на эти муки я был обречен на всю жизнь.

А „работы“ прибывало: в ноябре университет вновь зашумелся, так как Кассо продолжал давить всякое проявление автономии; слухи о предстоящих увольнениях профессоров, о новых ограничениях студенческих кружков, об уничтожении „общего коридора“ и разделении университета по курсам и факультетам (проект, внушенный Кассо... Фон-Коттенон, стремившимся изолировать факультеты по примеру Московского университета), ежедневно росли. Стало ясно, что без волнений не обойдется. Охранка уже к Рождеству имела список „руководителей“ будущего движения, при чем $\frac{3}{4}$ этих фамилий были мне неизвестны. В январе я получил приказ — бывать ежедневно в университете, не пропускать ни одной сходимки, а главное — познакомиться с рядом студентов, которые „должны были стать во главе движения!“. Попытка „заболеть“ не прошла: на нее была ответом нешуточным угрозой в виде рассказа о сотруднике, который не захотел в нужную минуту дать сведений, затем был арестован, через 3 дня освобожден, после чего был арестован и выслан ряд его товарищей, якобы выданных им! Этот „рассказ“ произвел на меня ужасное впечатление, тем более, что во многих случаях были мне указаны лица, о которых я знал мало, а охранка сообщала все подробности вплоть до того, что „N такого-то числа заболел такой-то болезнью и боится ехать к жене!“. И понял, что не мне бороться с охранкой и ее помощниками, — и отдался течению.

Быстро шли дни. Наступил пост, начались беспорядки. Старые студенты в большинстве не принимали участия в них; волновались первокурсники, вызвавшие своим срыванием лекций назначенных профессоров введение в университет полиции. Готовились обструкции, предполагались даже террористические выступления. Охранка „испугалась“: за волнения предыдущего года она получила не благодарность, а выговор за „непредусмотрительность“; в результате был решен ряд арестов. С ужасом я слушал, когда Фон-Коттен с мерзкой усмешкой говорил „о необходимости изъять ряд лиц из обращения“: среди них были славные юноши, хорошие товарищи Т. и К., далекие от сознательной принадлежности к партии... Фон-Коттен доказывал, что арест необходим, что он ничем им не грозит, кроме „двухнедельного“ сидения. Я слушал, как убитый: никакого желания, кроме как броситься куда-нибудь в угол, убежать, спрятаться от себя — не было...

5. „Провал“.

Аресты были произведены... Движение в университете пошло на убыль, и никто из арестованных не пострадал особенно серьезно, так как ни для суда, ни для административной высылки не было оснований. Пережил я за это время ужасные дни и еще более ужасные ночи: днем и ночью стоял передо мной образ Кости Т., в аресте которого я больше всего винил себя. Другим мне удалось облегчить участь после приезда Добровольского, уезжавшего за границу. Д. был недоволен „преждевременным арестом“, считал глупыми поступки Фон-Коттена и боялся, что я „без пользы провалился“. А я ходил целые дни в полупьяном состоянии: с утра я пил водку, стараясь забыться, отогнать ужасные мысли о людях, сидящих за решеткой. Еще ужаснее было, когда родственники арестованных приходили ко мне за советами: после их ухода я бросался на кровать и ревел, как маленький мальчишка.

Освобождение арестованных навело на мысли о виновнике ареста: конечно, подозрения падали на меня. Я попросил о товарищеском суде над собой, будучи уверен, что суд признает меня виновным, и я покончу с собой, так как не считал возможным жить с позорным клеймом предателя. Слухи о моем предательстве широко распространились: многие товарищи стали избегать встреч со мной... Я не знал, что делать...

В один из четвергов, когда я увидел Добровольского, он сказал:

— Ну, поздравляю. Еле-еле удалось вас вытащить из той ямы, в какую втолкнул вас Фон-Коттен. Сколько труда и денег стоило — не поверите! Но зато чисты, как агнец: все обвинения отвергнуты, и перед вами даже извинятся товарищи в своих гнусных подозрениях...

Вслед за этим он мне подробно описал все заседания суда, передал речи каждого из ораторов и даже дал текст той бумаги, которую я должен получить. Оказалось, что в числе судей было два ближайших сотрудника Добровольского! Я сидел, как дурак, раздавленный, уничтоженный; я чувствовал, что теряю всякую веру в правду и справедливость, — вместо нее у меня растет вера в безграничное могущество охранки!

Придя домой, я действительно нашел бумагу, о которой говорил Добровольский. Мне стало стыдно и больно: вновь заговорила совесть. Я дал слово, что уйду не только от партийных групп, но и от всякого рода общественных организаций; и это слово я сдержал: ни в одну организацию, где хоть немного чувствовалось нелегальщина, — я не входил, отказываясь от предложений охранников, предлагавших мне ехать за границу для работы среди социал-революционеров или таявших меня в кадетскую партию обещаниями провести меня в Петербургский комитет партии.

Я чувствовал, что разбита навсегда моя жизнь, что в душе моей есть ужасная щель, которую ничто не в силах исправить. Я уже знал, что дальше у меня нет жизни. Всё чаще и чаще приходилось прибегать к опьянению,

чтобы забыться, уйти от самого себя: я не мог работать для науки, не верил больше в свои силы. Иногда являлось желание убить тех, кто довел меня до предательства: но кого? Ведь представление об охраннике у публики связывается обычно с представлением о грубом, бессовестном негодяе — жандарме, нагло попирающем все человеческие права, а Добровольский был милым, образованным человеком, больше говорившим об опере, литературе, красотах природы, чем о застенках охраны. И с ужасом я понял, что „не за чем“ его убивать, что виновен не он, даже не я, а та система, та среда правительства и общества, та жизнь, полная ненормальностей, которая толкает человека от революции к охране и от охраны обратно к революции. И когда бы я стал убивать? Не тогда ли, когда Добровольский спрашивал о здоровье моей дочки и давал мне жалованье за месяцы отпуска (а таких в каждом году выходило 5 — 6)? Или тогда, когда он меня познакомил со своей женой, которой я стал давать уроки и которая так же, как и он, сердечно относилась ко мне? С ужасом я понял, что во мне исчезли все понятия честности, что я стал человеком с „надрывом“.

Дальнейшая моя „работа“ шла как „по маслу“: я, пользуясь хорошим отношением ко мне Добровольского, стал писать доклады в общих фразах, указывая лишь людей, и без того известных охране или даже иногда совершенно не существовавших. Я „набил себе руку“ и умел писать так, что получался законченный доклад в сущности безо всякого содержания. Добровольский иногда ругал меня за „литературу“, чаще смеялся, но всегда прощал, так как понимал мое отвращение от предательства. Еще сердечнее стали наши беседы, когда начальство пело интриги против него: мы решили оба уйти вместе, так как я прекрасно понимал, что новые жандармы не удовлетворятся моей „водицей“¹⁾.

Так и вышло: в феврале 191* я порвал с охранкой. Но увы! Оказалось, что это не навсегда, что снова мне придется испытать силу влияния охранников и вновь работать с ними, правда, уже не предавая людей, а составляя огромные доклады по всевозможным вопросам, интересовавшим секретную полицию. Но во второй период — я был уже не мальчик: я говорил только то, что хотел, сознательно скрывая многое. Да и охранники были не те: место Добровольского заменил жуликоватый П., внушавший всем антипатию; мне пришлось работать с людьми, смотревшими на охранку как на „место службы“ и не двигавшими ее ни на какие новые пути. Моя работа была грязная, но не преступная; но о ней в другой раз.

6. Итоги.

Много-много мне пришлось задумываться над тем, что толкает людей к провокации, к предательству своих близких. И в настоящее время мне кажется, что я могу ответить удовлетворительно на этот вопрос. Прежде

¹⁾ За „воду“ я лишился даже через 3 месяца после отъезда Добровольского благонадежности!

всего, всякое обширное народное движение захватывает с собой тысячи подростков, которые со школьной скамьи сразу попадают в вожди групп; не имея еще зрелости, ни точных знаний, эта молодежь, попав в ужасы тюрьмы, не имела возможности бороться с разлагающим влиянием одиночества. Мало-помалу юноша Х. 19—20 лет приучался к тому „эгоцентризму“, который столь характерен для всех (политических и уголовных) заключенных. Тюремная отчуждала юношу от реальной жизни, заставляла его жить исключительно в мире грез, всегда резко индивидуалистических. Надломляя здоровье, губя здоровые инстинкты или извращая их, тюрьма отнимала у заключенного верное понимание нравственных принципов. По выходе на волю подобные юноши выносили, с одной стороны, лютую ненависть к тем, кто засадил их в тюрьму, а с другой — слабование, неспособность примириться с жизнью: ведь жизнь за годы заключения ушла вперед, а заключенному хочется жить теми же принципами, коими он жил до тюрьмы. Из-за этого злоба на новые течения жизни, возмущение „новой“ молодежью, которая кажется заключенному „мальчишками“, лишенными принципов, знаний и т. д. Такой заключенный — клад для охраны: он искренно ненавидит старый строй, но не может идти вместе с новыми бойцами; его слабование легко может быть использовано, чтобы сделать из него предателя. И охранники это умели: путем незаметных нюансов они сеяли в душе различные семена провокации, которые и всходили пышным цветом, губившим всё живое. Зная тонко человеческую психику, охранники не брезговали ничем; одному они говорили: „вы — талантливый поэт, у вас чудный стиль, а вы получаете по 7 коп. за строчку; плюньте на буржуазную культуру, громите ее в пролетарских газетах, и мы добудем для вас и славу, и спокойную обеспеченную жизнь“, другому — „вас не ценит профессора, поезжайте за границу, работайте, составляйте имя, а мы вам поможем деньгами“ etc. Тысячи людей работали в Петербургской охране при Коттене (по его собственному признанию около 2.000), но было ли много среди них добровольцев, первыми предложивших свои услуги? Не думаю, чтобы были такие: терновый венец предательства никто добровольно не возьмет....

Захватив однажды в свои руки человека, охранка уже его не выпускала: одних она удерживала денежными наградами, устройством их личных дел (устраивала на места, давала права жительства, спасала от уголовного преследования, освобождала от военной службы), других без стеснения хвалила, продвигая их какими-то путями в руководители партийного и общественного движения, содействуя их славе (литературной, артистической, академической). Наконец, третьих она держала застрашиванием обнаружения перед обществом их двусмысленной деятельности и этим побуждала к новым подвигам. Охранка и департамент полиции имели сотрульников всюду: рядом с генералом доносил солдат, рядом с лакеем министра осведомителем состоял профессор, журналист, священники, адвокаты, учителя, учащиеся, рабочие, боясь, etc., etc. несли службу на пользу охраны, охватившей все стороны русской жизни сплошной паутиной, из которой никто не мог вырваться иначе, как ценой кровавого преступления. Но большинство молчало и „сотрудничало“: многим

легче бы сидеть годы в тюрьме или отдаться самому грязному труду на заводе, чем играть двуличную роль, которая ежеминутно могла быть раскрыта перед обществом. Охранка зорко следила за „сотрудниками“, не брезгуя при этом сведениями, идущими даже из „противного лагеря“: все сведения она собирала, чтобы в удобный момент еще теснее прижать человека, чтобы он не смел и думать вырваться от всемогущей охраны. Если же все-таки находился человек, вырвавшийся из паутины и переставший сотрудничать, то против него начиналось гонение: охранка преследовала его „неблагонадежностью“, инспирировала других сотрудников, что ушедший — лицо подозрительное, чуть ли не уволенное из охраны „за провокацию“. И судьба человека решалась: его предательство „обнаруживалось“ товарищами, и он погибал бесславно, бессмысленно. Сколько темных историй подобного рода на совести у старых охранников — известно одному богу!

Зато покорные благодумствовали, пока не навлекли подозрений в окружающих и не были принуждаемы уезжать в другие места: им платили, их устраивали, старались поставить их на „верную дорогу“. В этом отношении нельзя упрекнуть охранку: она не жалела денег „нужному человеку“, выдавая помимо жалованья добавочные, расходные, разъездные, пособия на лечение и пр. Огромные суммы, тратившиеся при Герасимове и Фон-Коттене, создали у охраны ту массу сотрудников, которая поражала всех знавших про это и которая дала самодержавию возможность победить революцию 1905 года. Нельзя сравнить даже того, что было при Герасимове, с нынешней охранкой, платившей очень мало и имевшей несколько сот (не больше 300) платных сотрудников (зато число бесплатных было неисчислимо!)...

11—13 апреля 1917 г.

¹⁾ Настоящие воспоминания написаны в 1917 году; автор их действительно секретный сотрудник. Профессия автора наложила печать на его рассуждения; об этом надо помнить всякому читателю этого „документа“. Ред.

Социальные движения 1916 г. в Туркестане.

Вместо введения.

Империалистическая политика, интересы метрополии, стремление побежденных выйти из-под опеки — вот факты современной действительности колониальных стран, и Русский Туркестан — до Октября — не являлся исключением; эти же элементы занимали соответствующее место в его социальной жизни, влияя в нее определенное соответствующее содержание, во всем своем многообразии.

Мобилизация местного населения на тыловые работы действующих армий в 1916 году, по приказу императора от 25-го июня того же года, являлась фактом колониальной политики, в интересах метрополии; последовавшее восстание было конкретным выражением желаний побежденных улучшить условия своего существования, освободиться из-под власти „неверных“

Нало, однако, отметить, что между Русским Туркестаном и хотя бы Индией, как типической колонией западного капитала, существовало значительное различие. Туркестан сравнительно очень недолгое время находился, как колония, под властью царской России (немного больше 50-ти лет); некоторые из жителей еще помнили ханские времена, собственными глазами видели ханские клоповники, ханские башни смерти ¹⁾. Если брать торгово-промышленные элементы населения, то условия их существования при ханах были значительно менее благоприятными, чем во времена господства „белого царя“; эти группы могли также констатировать не более соответствующую обстановку для себя и в „самостоятельных“ „ханских“ — Бухаре и Хиве. В то же самое время страна, сама по себе, не обладала в целом социальными силами для создания собственной буржуазной государственности, для национальной буржуазной оппозиции, и таким образом для местных буржуазных групп существовавшие отношения колониального Туркестана с его метрополией — Россией не всегда являлись сколько-нибудь острыми и, наоборот, воспринимались почти как нормальные.

В рассматриваемых ниже событиях, несомненно, также отразились все историко-культурные особенности края, что, в конечном счете, и дало опре-

¹⁾ С башен смерти сбрасывали преступников. Такого рода учреждение существовало некоторое время в Бухаре и при протекторате России.

деленное содержание всему движению, являющемуся одним из этапов истории национального пробуждения „колонизальных“ народов Туркестана. В рассматриваемое время национальные движения большей частью развертываются, как движения буржуазные. В Индии движение проходило именно этим путем: здесь на сцену выступила туземная промышленная и торговая буржуазия, буржуазная интеллигенция; экономические факты, в частности, развитие туземного промышленного капитала, особенно за годы войны, дали основное содержание указанной форме, а процесс пролетаризации мелких производителей, участвующих в движении под руководством туземной буржуазии, придал ему общенародный характер, увеличив во много раз его мощь.

В тех же странах, где не было экономической базы для чисто буржуазного характера движения, стремление к национальному освобождению принимало другие формы, как раз имеющие место также и в эпоху первоначального захватывания империализмом колоний, когда он встречает местную политическую, хозяйственную и вообще культурную организацию, стоящую еще на феодально-патриархальной основе, когда духовенство, аристократия, вожди кочевых племен являются в борьбе представителями общенародных интересов. Боксерское восстание в Китае (1900 г.), шедшее под главенством дворянских сил, и носило данный характер, развертываясь в борьбу против „белых чертей“; в мусульманских странах такого рода события протекали, как защита ислама, и направлялись против „неверных“, черпая реальное содержание и силу в соответствующих хозяйственных отношениях.

Экономика Туркестана, в ее целом, не имела промышленного капитала, не имела промышленной буржуазии, буржуазной интеллигенции. — Туркестан являлся отсталой колониальной страной. В нем еще существовали разлагающиеся родовые скотоводческие общины (у киргиз, у туркмен), полу-натуральное хозяйство обширных районов и другие элементы отмирающего экономического строя. Они-то в совокупности и дали движению 1916 года социальное содержание, отвечающее переходному моменту между строем феодально-патриархальной эпохи и новыми началами — развитого капитализма колониальной страны. В частности, наличие у киргиз-кочевников родового строя нашло очень яркое выражение в событиях 16 года, идеология которых призывала к борьбе с „неверными“, к защите ислама, т.-е. выдвигала пан-исламистские требования.

Что такое пан-исламизм?

Стремление к объединению всех мусульман под знаменем религии в целях распространения ислама, во исполнение заветов пророка и достижения политического господства среди „инверцев“ — совокупность такого рода идей составляет содержание идеологии пан-исламизма. Ислам, как вообще всякая религия, заключая в себе веру в наличие высшего существа, управляющего миром, имеет свои индивидуальные черты, выражающиеся в чрезвычайном усилении элементов веры, так сказать, — уплотнении их, в результате чего получается большая крепость религиозного экстаза, еще усиливающаяся

южным темпераментом исповедующих его народностей. Фанатизм, как крайняя нетерпимость к другим верованиям, полный фатализм, как убеждение в непреложности воли бога — составные части ислама. Самое слово „ислам“ означает „вручение себя (богу)“ — выражает наличие глубокого чувства зависимости от кого-то, свыше стоящего, полное подчинение себя этой силе. В своем содержании учение Магомета говорит, что побежденные мусульмане всегда должны стремиться выйти из-под господства „неверных“. Провести логически, до конца, его положения значит — прийти к идеям объединения всех мусульман, их борьбы за господство в мире — то-есть к пан-исламу. Среди них крупное место занимает идея „священной войны“, имеющая в основе стремление к завоеванию всего мира, — и в архиве учения последняя исполняет роль распространительницы и защитницы „истинной веры“.

Европейская литература по пан-исламу говорит, что он возник, как сознание мусульманством своей слабости, в крупных рамках развился в 19 веке и центром развития явилась Турция. Играет значение и то, что в последней господствующим племенем, по численности, являлись не-турки, а в пан-исламе и выдвигается момент религиозный — для защиты отечества. Если взять мусульманскую литературу по данному вопросу, то в ней видно желание придать движению организационные формы. В XX веке ставится в порядок дня требование созыва всемирного конгресса мусульман; теоретики учения стараются координировать свою идеологию с достижениями общего культурного развития. Так на открытии мусульманского общества в Париже (газета „В мире мусульманства“ 17-го июля 1911 г.) говорится:

„Ислам в сущности вовсе не так строг к новизне, как думают многие, широкая будущность ожидает наши народы. Ислам не идет к регрессу, а, напротив, с каждым днем всё идет вперед, без принуждения вербуя в свои ряды новых последователей. Ислам никогда не может задерживать наше движение вперед и т. д.“

Всё это явление того же порядка, как различного рода подцикта христианства, в наше время, под давлением идущего вперед научного знания и общего развития человека.

В существующем, наряду с пан-исламом, движении „пан-тюркизма“, как известно, в основе лежит идея национально-буржуазной государственности Турции. Являясь стремлением использовать развитие других мусульманских народов для усиления именно последней страны, „пан-тюркизм“ — великодержавная попытка турецких националистов.

Один из представителей современной Западной Европы — Нитти, бывший итальянский премьер-министр, в своей книге „Возрождение Европы“ (П. 1923 г.) так говорит об исламе:

„Ислам — религия 240 миллионов людей и представляет собой религиозную силу непоколебленной еще мощности. Он очень легко распространяется между примитивными народами и, однажды вкоренившись, не легко искореняется. Мусульманские народы менее всего поддаются религиозному обращению и устойчивы в ненависти“ (стр. 104).

Идеи пан-исламизма нашли свое отражение в развитии мусульманского Туркестана и, в частности, социального движения 1916 года, но прежде, чем остановиться на них, необходимо посмотреть на общее культурное развитие страны.

По сведениям 6. департамента духовных дел на 1/I — 1912 г. в России было мусульман 16.226.000 (Новый Энциклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона). Туркестан же характеризуют следующие цифры:

Мусульманское население Туркестана по областям, количество учебных заведений, учащихся и сравнительные данные по Орловской г. ¹⁾.

Таблица № 1.

Г о д.	О б л а с т и.	Жит. мус. в тысяч.	М а д р а с.	Учащиеся в них.	М а г т а б м.	Учаш. в них.	Итого учебн. зав.	Итого учаш. в тыс.	Один учащийся на 1.000 чел. жит.
1912	С.-Дарьинск. . . .	1.382	31	862	1411	13.118	1.442	14	98
"	Ферганская	2.017	184	6.535	2550	31.112	2.743	37,5	53
"	Самаркандская . . .	967	93	990	2753	20.500	2.846	21,5	44
"	Закаспийская	410	63	719	492	2.903	555	3,5	117
"	Семиреченская . . .	1.031	5	531	75	3.231	80	3,5	260
	Итого	5.807	376	9.637	7.290	70.864	7.666	80	72

Г о д.	Г у б е р н и я.	Кол. жит. в тысяч.	Учебн. зав.	Учащиеся в тысячах.	Один учащийся на 1.000 чел. жит.
1914	Орловская	2760 ²⁾	1918	154	19

В таблице обращает внимание сравнительно большое количество школ; оно объясняется тем, что школы, особенно низшие, имеют в Туркестане

¹⁾ Цифры количества жителей по областям взяты из журнала „Мир ислама“ т. II, 1913 г. Петербург. Количество учебн. заведений, учащихся взяты из книги „Исламоведение“ Остроумов, Ташкент, 1914 г.

²⁾ Цифры взяты из Нового Энциклопедического Словаря Брокгауза и Ефрона. Было № 27 — 28.

незначительное количество учащихся (одно учебное заведение приходится на 785 человек жителей-мусульман; мактаб — школа низшая, мадрас, „мед-рессе“ — школа более высокой степени: обе конфессиональные).

В 1912 году в России издается на киргизском языке только 36 названий книг, на сартовском 40, на всех мусульманских языках в России печатается книг и брошюр — 2.812.000 экземпляров, из них религиозного содержания — 1.282.000 экз., т.е. около половины. В 1912 году во всей б. империи существует 23 мусульманских типографии.

Очень хорошо иллюстрируют социальную жизнь мусульманского населения Туркестана цифры мечетей сравнительно с количеством церквей, хотя бы русских городов ¹⁾.

Города Туркестана.	Количество жителей мусульман.	Количество мечетей.	Мечетей на 1.000 жит.	Города России	Количество жителей.	Количество церквей.	Церквей на 1.000 жител.
Боманд 1912 г. . .	117.000	248	2,1	Орел 1913 г. . .	96.000	27	0,3
Маргелан 1912 г. .	46.000	193	4,2	Курск 1912 г. . .	84.000	28	0,33
Андижан 1907 г. .	72.000	274	3,8				
Бухара	70.000— 100.000	364	3,6				

Панисламии в Туркестане.

Каждое европейское империалистическое государство, имевшее или имеющее колонии с мусульманским населением, очень живо интересовалось панисламизмом, по вполне понятным и определенным причинам. Царская Россия не была исключением. В Туркестане этим вопросом „интересовалось“ Туркестанское охранное отделение, оставившее в наследство кой-какой материал, заключающийся в секретных делах, ведшихся охранкой по данному вопросу. Агентурные сведения, разработка, сводки, доклады — таков материал. Некоторые источники имеются и в делах и б. секретного отд. канц. генерал-губ. Турк. края. Материал этот небогат — во-первых, потому, что Турк. О. О. было слабо для „углубленной“ крупной работы и, во-вторых, по самому существу, т. е. пан-исламии в Туркестане развивался почти без всяких организационных форм, без систематической пропаганды, и выражался стихийно, проявляясь во взаимоотношении двух противоположных сил — мусульманского населения и Европейской метрополии.

¹⁾ Цифры взяты из Нового Энциклопедического Словаря Брокгауза и Ефрона.

Начальник Туркестанского охранн. отд. в своем докладе от 21-го мая 1915 г. директору департамента полиции пишет:

„Мусульманское движение, охватившее с началом войны, в той или иной степени, почти все области края, но особенно Фергану, представляет особенности, благодаря которым борьба с ним неминуемо должна выдвинуть приемы более сложные, чем те, которые применяются в Европейской России. Помынутое движение не создало никаких организаций в том смысле, который им придастся в русском революционном движении, а те группы, которые можно, с натяжкой, подвести под понятие организации, за очень редким исключением, не общаются письменно ни между собою, ни с иногородними группами, не имеют никаких письменных отчетов в поступающих денежных суммах и расходе их, а, благодаря особенностям жизненного уклада, преступные сходки и сборища, обставляемые крайней конспирацией, в случае открытия их объясняются обычно практикуемыми „тябами“ („машрабами“), иначе говоря клубными, иногда молитвенными собраниями, а собранные на нужды Турции деньги, в случае обнаружения их, — объявляются личной собственностью. Свидетельскими показаниями установить что-либо существенное невозможно, так как ни один мусульманин не будет свидетельствовать против другого“.

С войной был дан толчок, как указывает и доклад, развитию пан-исламизма в Туркестане; каждый мусульманин стоял перед фактом борьбы России с исламистской Турцией и каждый мусульманин знал, что религия в этом случае говорила об его обязанностях. Вообще Турция, как самое сильное и с традициями мусульманское государство, всегда вставала, вместе с пан-исламистскими идеями, перед мусульманином угнетенной страны как что-то свое, родное, откуда надо ждать помощи, на которую можно опереться. И до войны, в мирные годы, и во время войны, через границы Персии, Афганистана, Китая, в Туркестан попадали всевозможные мусульманские проповедники, пророки, торговцы, иногда и специальные агенты Турции, Афганистана — напоминавшие населению все о тех же вопросах.

На кого обращает свое внимание охранное отделение? Если остановиться на 1916 году, то выяснению личности подвергаются: афганский офицер (старая Бухара), афганские подданные (Бухара), бухарские подданные, ишан старого г. Маргелана, два „шейха“ (Бухара), два индуса (Ташкент), бухарский бек, бухарский торговец (Бухара), афганский доктор (Бухара), турецкий подданный (Бухара), Ишан г. Коканда, торговец-перс г. Чарджуя, китайский подданный (Андижан) и т. п.

За январь месяц 1915 г. охранн. отд. обращает внимание, выясняет личность, привлекает к ответственности по пан-исламизму: семь „влиятельных“ и состоятельных лиц селения Базар-Курган, андижанского богача, народного судью Андижанского уезда, служащего Сибирского банка (мусульманина), торговца рисом г. Кермине, двух андижанских крупных богачей („миллионеров“), двух видных мулл г. Андижана, торговца г. Ташкента, двух народных судей г. Коканда.

Общее количество лиц, на которых обращено внимание за январь 1915 года — около 40; из них 10 чел. — иностранно-подданных; перечисленные все принадлежат к богатым слоям (20) населения, экономическое положение других — по делам не видно. Священнослужители, купцы, остатки крупных землевладельцев-феодалов — вот элемент верхушек панисламистского движения. Основная масса — темное гордское кшлячное население — является материалом, который можно было обработать и гораздо больше, чем это имело место в действительности.

В отчете за январь 1915 г. охранн. отд. говорит: „Втечение отчетного месяца деятельность организаций проявлялась в следующем: тайные сборы денег, пропаганда идей пан-исламизма, агитация за отторжение Туркестана от России“.

С мест, б. уездные начальники, участковые пристава, полиция, отделения Турк. охр. отд. и агенты очень много докладывают и пишут о появлении агитаторов-турок, о сборе денег в пользу Турции, но всё это, главным образом, докладывается „по слухам“, из „разговоров“, „передают“ и т. д., а конкретное и определенное в этих докладах попадает очень редко. Возникает часто вопрос: не „дутое“ ли большинство „расследований“, что несомненно так и бывало (причина — излишнее, весьма понятное „усердие“ слушающих агентов).

В одном из сообщений Туркестанского генерал-губернатора директору департамента духовных дел (1915 г.) говорится: „Туземное население относится к событиям — имеется в виду европейская война — индифферентно, и только может быть опасение по отношению к муллам, могущим агитировать в нежелательном для нас смысле“.

В сентябре 1915 года началось расследование о „распространении среди туземного населения Андижанского уезда воззваний, с призывом способствовать Турции в войне с Россией“. Дело возникло по доносу двух туземцев, производились обыски, аресты, и в одном доме найдено было гектографированное воззвание на мусульманском языке. Содержание его таково (перевод охранн. отд.):

„Мусульмане, время настало нам освободиться от русской власти. В настоящее время, над нами царствующий халиф ислама, турецкий султан, ведет войну с Россией и другими государствами. Каждый мусульманин должен сочувствовать этой войне и должен немедленно сделать пожертвование на нужды ее и для блага всего мусульманства. Если кто не в состоянии жертвовать, то должен стать в ряды сражающихся армий. Собранные пожертвования сдавать предъявителю сего, воззвания следует широко распространять“.

„Хозяин“ найденного документа обнаружен не был, но в расследованиях был привлечен и обвинялся в соучастии один андижанский крупный купец — „миллионер“, высланный затем в Россию.

В феврале 1915 года в Фергане обнаруживается следующее воззвание на местном языке (перевод охр. отд.):

„Настало время освободиться от власти гауров-русских. Калиф имеет могущественных союзников. Помогите, чем можете. Эти события посылают

мусульманам сам бог; поэтому, кто не будет помогать, тот — противник бога. Если сейчас не приложат усилий освободиться от „неверных“ — не освободятся никогда“.

Если брать непосредственно „агентурные записки“ — агентурные сведения, то получается уже слишком раскрашенная картина. 10-го января 1915 года „сотрудником“ сообщается: „мусульманское население Андижанского уезда весьма сочувственно относится к Турции, втянувшейся в войну с Россией; старается помочь ей материально“... „Ферганская область кишит афганскими агентами, и нет кишлака, в котором таковые бы ни находились“... „Туземная администрация вполне солидарна с общей массой... К русским туземное население относится не только враждебно, но и презрительно, насмехаются, плюют вслед, и престиж русской власти совершенно подорван, благодаря корыстолюбию чиновников“... Здесь говорится, что туземная администрация солидарна с массой, события 1916 года показали противное (об этом речь будет ниже). „Афганские эмиссары наводняют Бухару“... — пишет другой сотрудник, „Бухарцы в массе, как и все мусульмане, желали бы изгнания русских гауров из своего государства, но знают, что на это у них сил не хватает“...

Сравнивая доклад генерал-губернатора, в котором говорится: „Туземное население относится к событиям индифферентно, и только может быть опасение по отношению к муллам“, с этими агентурными сведениями о кишящей афганскими эмиссарами Фергане, о наводнении ими Бухары — легко можно видеть огромную разницу в постановке вопроса.

Кто был ближе к действительности?

Несомненно, доклад генерал-губернатора более правильно характеризовал положение. Если бы действительности соответствовали данные агентов охраны, то туркестанская жизнь имела бы более определенные факты выражения своих социальных противоречий. Между тем таких фактов в этом году нет, на поверхности ясно видны обыденные, обыкновенные отношения мусульманского темного населения к покорившим, и в 1916 году нужен был очень конкретный, сильный нажим на массу (мобилизация), чтобы она вышла из спокойного, можно сказать, — сонного состояния.

В материалах охр. отделения, между тем, всё время идут сообщения агентов общими фразами — о появлении турецких, афганских эмиссаров, о сборе в пользу Турции денег, о складах оружия, о „зажигательных“ анти-русских проповедях в мечетях с призывом к газавату и т. п., а 6/хп 1915 докладывается:

„Учащаяся мусульманская молодежь Ферганской области спокойно относится к текущим событиям и стоит на стороне России; что же касается стариков и, главным образом, духовенства, то последнее враждебно настроено против России, тяготеет зависимостью и склонно при первой же возможности перейти на сторону своих единоверцев, если только войска последних появятся в пределах Туркестанского края“.

В конце 1914 года в Закаспии был „ликвидирован“ „мервский пан-исламистский комитет“, в феврале 1915 года сотрудники охраны докладывают:

„Среди мервских мусульман в настоящее время полная тишина, нет собраний, нет никаких подозрительных разговоров — все боятся респрессий со стороны властей“.

В рапорте Турк. охр. отд. 8-го мая 1916 г. департаменту полиции читаем: „Мусульманское население Туркестанского края, хотя наружно всеми средствами стремится доказать свою лояльность по отношению к России, в самом деле нельзя считать вполне благонадежным: прогрессисты, новометодники и учащаяся молодежь, правда, на стороне России, но их не так много, между тем невежественное и косное духовенство и ишаны, имеющие громадное влияние на общую массу населения, при благоприятных обстоятельствах, могут сделать что угодно с фанатично настроенным населением“.

Прогрессисты, новометодники, учащаяся молодежь не участвуют в пан-исламистском движении — что хорошо видно по материалу, но не думается, чтобы можно было сказать словами доклада так определенно, что они — „на стороне“ царской России.

Во многих отчетах 1916 года отмечается, что деятельность (пан-исламистов) проявлялась: „в обсуждении вопроса о возможности войны (России) с Персией и Афганистаном, тайных сборах денег в пользу Турции“, а в месячных отчетах августа и сентября 1916 года прибавляется — „а равно в переговорах о нежелательности выставлять рабочих в тылу действующих армий“.

В мае 1915 года министерство внутренних дел извещает Турк. охр. отд., что в Киеве предполагается съезд студентов мусульман ВУЗ'ов, почему министерство предложило Турк. охран. отделению выяснить, как будет на этот факт реагировать студенческая мусульманская молодежь Туркестана. Турк. охранка разослала на места соответствующее распоряжение — с мест ответили, что почти ничего не слышно о съезде, иначе, конечно, не могло и быть, так как „туземцы-туркестанцы — студенты ВУЗ России“ были только оди-ночки.

Подводя итоги, надо отметить, что почва для пан-исламизма в Туркестане была и заключалась в наличии остатков феодально-патриархальных отношений в недрах темного мусульманского населения.

Турция, Афганистан, как самостоятельные (во всяком случае более самостоятельные, чем Туркестан) мусульманские страны должны были иметь и фактически имели идейное влияние на Туркестан, и именно поданные их зачастую являлись движущим элементом пан-исламизма в самом Туркестане. Движение не создало никаких организационных форм и проявлялось несистематически, стихийно, — отдельные факты его зачастую носили совершенно случайный характер.

Территориально пан-исламистские движения больше всего развивались в Фергане и Бухаре, затем идут — Самаркандская, С. Дарьинская, Закаспийская и Семиреченская области (в последних кочевое население киргиз и туркмен — далеко не столь религиозно).

В дальнейшей истории Туркестана пан-исламистские идеи выходят на арену гражданской войны и занимают должное место и в событиях 1916 года,

и в басмачестве Ферганы (1918—1923 г.г.) ¹⁾ и Бухары, где в 1921 году Энвер-паша (Энвер-бей) боролся под лозунгами — „объединение всех мусульман“, „создание великого средне-азиатского мусульманского государства“, „изгнание всех европейцев“, а его печать торжественно его титуловала:

„Главкомандующий всеми войсками Ислама, зять Халифа, наместник Магомета“ ²⁾.

1.

Первые этапы движения.

Спокойно, без крупных событий, в рамках привычно знакомых интересов, в том числе и пан-исламистских, протекало мирное время в Туркестане. С войной прибавилось переживаний, но события происходили где-то далеко и, в конечном счете, задевали население очень косвенно и постепенно, но приказ от 25-го июня 1916 года, который объявлял призыв туземцев на тыловые работы действующих армий, задевал массу очень ясно, очень конкретно.

Среди местного населения, перед приказом о мобилизации, не было проведено никакой подготовительной работы разъяснительного характера, — и распоряжение оказалось крупной неожиданностью. Надо оговориться, что общее настроение было все-таки не то, что в годы мирного времени: в киблаках стало больше разговоров, расшевеливавших мозги, и все они проходили на том же фоне — отношений мусульманского колониального населения к иноверцам. За войну идеи пан-исламизма, нередко в совершенно кустарном виде, проходили перед каждым мусульманином и в городе, и в киблаке. Таким образом, 25-го июня 1916 года застало не совсем обывательную, мирного времени, туркестанскую действительность. Весьма вероятно, однако, что будь объявлен призыв и в мирные годы, так же без всякой подготовительной работы, он вызвал бы те же последствия.

С мобилизацией масса оказывалась перед фактом, грозившим изменить очень многое. И до этого момента те же пан-исламистские идеи существовали, но, в конце концов, была известная привычка — идея ненависти к иноверцам, с вечно существующими одними и теми же побудительными причинами, носила некоторый характер обывательности, а теперь неожиданно вышел новый фактор, и фактор солидный. За 50 лет русского господства мусульмане нигде принудительно не призывались, теперь же стояло принуждение. Надо представить полную темноту населения, его фанатичность, чтобы понять, какие чувства и настроения его должны были охватить.

Русский Туркестан имел своего рода особенности, о которых следует сказать несколько слов, так как они имели большое значение в разбираемых событиях. Они заключались в полном отрыве, за единичными исключениями,

¹⁾ Необходимо, разумеется, оговориться, что басмачество 1918—23 г., с одной стороны, и пан-исламистское движение — с другой, отнюдь нельзя уложить в одни и те же рамки — их причины и содержание в целом различны, но поскольку и в басмачестве есть элементы пан-исламизма, постольку здесь и отмечается только этот момент.

²⁾ Журнал „Новый Восток“ № 2, 1922 г., ст. „Рев. Бухара“.

русской администрации от подчиненных — от населения, и затем в очень частом, почти поголовном взяточничестве, лихоимстве администрации на местах (приставов, полицеймейстеров и т. д.) Этими же качествами отличалась и туземная администрация — волостные, сельские старшины, переводчики, полицейские, — и всё это отзывалось на кияшачниках: они больно чувствовали эти „порядки“ на своей спине.

О взяточничестве многократно говорят официальные документы. Б. ферганский губернатор в отчете о беспорядках пишет о злоупотреблениях местной власти, как об одной из причин событий; в докладе жандармского андижанского управления, от 28-го октября 1916 года, начальнику туркестанского охранного отделения отмечается, что восстание выразилось в убийстве волостных старшин, „как протесте против царящего взяточничества“.

Рапорт туркестанского генерал-губернатора императору в феврале 1917 года указывает на Семиреченскую область, где громадное отрицательное влияние имела лесная стража: „дурно материально обставленная и лишенная должного контроля, эта стража является бичом населения“. Трудно представить, каков был бич, если его так характеризуют „всеподданнейшие“ рапорты.

Как всякой мобилизацией экономически задевались все жители, ее ясно ощущала вся масса, отражавшая это в своем настроении. В Фергане, Закаспии всегда не хватало рабочих рук для полевых работ, с призывом недоплаток становился острее. Предполагалось мобилизовать 250.000 человек, т.-е. данное количество здоровых рабочих рук должно было уйти. Хозяйство дехканина Туркестана, как типическое явление, имеет, как известно, небольшой размер, обладает очень небольшим капиталом, чрезвычайно трудоемко, и уход из него даже одного работника, в горячую летнюю пору, нередко мог рассматриваться как крах всего положения. В Фергане владение в 2 десятины (8 тапапов)¹⁾ считается не маленьким, а средним, и взять из него рабочего — огромный минус.

Самое время мобилизации было выбрано, таким образом, крайне неблагоприятно для деревни. Первоначальный приказ говорил о призыве сейчас же, летом, совершенно не учитывая положение сельского хозяйства. Можно только удивляться, как могло быть издано распоряжение, не учитывавшее ни обстановки, ни условий хозяйств, которые должны были дать рабочих; но факт — фактом, приказывалось сейчас же исполнять волю императора; эта экономическая угроза, понятная каждому и, в первую очередь, темному кияшачнику, должна была его подстегивать, придавать ему силы в упорстве неподчинения и толкать на открытую борьбу.

Когда в массе стали возникать вопросы, то, вследствие полной оторванности русской администрации от кияша, не было никого, кто бы разъяснил недоумение, и рядовому жителю приходилось в своей же среде искать ответов. Понятием явилось то, что хотят „брать“ людей, а темнота в остальных вопросах, неясность в конечной цели давали хорошую почву для всякого рода

¹⁾ Ферганский тапап равен 600 кв. саж.

упорно-распространяемых слухов. Очень крепко держится уверенность, что „берут в солдаты“, при чем дополняюсь, что, если даже мобилизованные будут исполнять обязанности рабочих, то всё равно их заставят рыть окопы под огнем неприятеля, „вперед“ всех войск.

Спустя немного времени после объявления приказа, распространяется по некоторым местностям молва об отмене, в других говорят, что мобилизация проводится только по почину местной администрации, а никакого распоряжения из России нет.

Снова воскресают в памяти народа старые легенды и предания. Когда в Ходженте губернатор Самаркандской области появляется перед толпой, к нему выступает из среды грозно гудящего народа седой старик-мулла, он говорит о том, что в Ходженте не должен проходить набор.

Почему?

В 1876 г., повествует старик, генерал-губернатор Туркестана Кауфман, отправляясь в поход против Кокандского ханства, призвал к себе „именитых“ жителей Ташкента и „обещал“, что, если мусульмане, в его отсутствие, сохраняют полное спокойствие, то освободятся на 50 лет от призыва в войска. Старик-мулла, теперь, спустя 40 лет, указывая на это „обещание“, настаивал на том, что в Ходжентском уезде не должно быть набора, так как он присоединен к России меньше столетия тому назад.

Указанный случай ярко показывает, как в описываемое время могли еще существовать в массе убеждения, окрашенные своего рода патриархальными красками. Старик-мулла „повествовал“ патриархальное предание губернатору, которое должно было избавить народ от войны, в то время, когда в мире гремела одна из заключительных сцен развитого империализма.

В Ташкенте, первое время, носятся слухи, подхваченные охранным отделением, что беднейшая масса расправится с богачами, если последним будет предоставлено право откупаться от исполнения наряда. Перед крупным религиозным праздником, первый день которого падал на 18 июля, по многим пунктам распространяется молва о назначенном на это время генеральном восстании. Русское население поселков, раскиданных по уездам, приходит почти в панику. Всё время местная администрация и представители русских крестьян просят у власти оружия для защиты от готовящихся нападений. В местностях, занятых кочевым населением, наблюдается откочевание аулов подальше от городов — в горы, в степи, а в пограничных районах — даже из пределов России (Чимкентский уезд, Туркестанский, Перовский, Казалинский, Голодная степь, пограничные районы Закаспия, Семиречья и др.).

У массы возникала мысль — нельзя ли опереться и найти себе поддержку в военнопленных, по отношению к которым русская администрация проводила строгие меры изолирования их от мусульман. Несомненно, что роль первых в событиях 1916 г. была равна нулю, и могли быть единичные случаи. В материале есть только одно указание, а именно: 17-го июля в телеграмме штаба округа военному министру докладывается, что около Саперного лагеря, близ Ташкента, задержан мусульманин, предлагавший сербам (пленным),

помещавшимся в лагере, принять участие в восстании. Вообще, по материалу не видно, оказало ли влияние на движение наличие в Туркестане всенно-пленных, не отмечено совершенно участие каких-либо шпионских иностранных организаций, так что, повидимому, и фактически участия таковых не было.

В Закаспии туркмены настойчиво просят освобождения от призыва, мотивируя свою просьбу также и тем, что они уже участвуют в „общем деле“, выставив на фронт конный полк. У начальника Мервского уезда представители населения 9-го июля 1916 г. просят заменить натуральную повинность денежными взносами или же наймом рабочих на стороне за их счет. Представители говорят: население Туркестана не будет пригодно к работе в Европейской России, „мы думаем, что браг посоветовал царю сделать такое распоряжение, от которого не будет пользы царю, а будет только разорение народа“. 10-го июля состоялся приговор представителей текинских племен Мервского уезда Тохтамышского и Отамышского районов. Приговор указывает:

„В крае всегда ощущается недостаток рабочих рук, особенно обострившийся во время войны, в связи с уходом на родину пришедших рабочих; призыв назначается в самый разгар работ по уборке хлопка; призванных туркмен предполагается назначить на работы, которые по характеру своему и по климатическим условиям для них совершенно не привычны“.

Просьбы носят продуманный и организованный характер. Масса не смогла бы сама так вылить свое настроение; повидимому, здесь принял участие какой-то интеллигентный элемент, но в материале данных на этот счет не имеется. Просьбы, конечно, уважены не были.

У населения стоял вопрос, как поступить. Личная заинтересованность, идеи, которые мусульманин слышит с детства, подсказывали ответ, что рабочих давать не надо. Конечно, каждый сейчас же с тревогой думал о последствиях неисполнения. Однако, перед глазами стоял факт — отсутствие на местах, по кишлакам, по мелким городам той силы, которая заставила бы выполнить приказ, многие убеждали друг друга, что в данный момент у русских вообще нет этой силы, т. е. войск.

На местах, как это обычно бывает, стали прислушиваться к тому, как отзовутся крупные города — Ташкент, Самарканд и др. Из последних, по сведениям русской власти, посылаются запросы в Афганистан и Персию о том, не дадут ли те помощи в случае восстания. В Бухару, по тем же сведениям, делаются запросы к высшим священным лицам — не объявят ли они священной войны. Всё проходило, однако, чисто стихийно, неорганизованно, не существовало никакой общей воли, никакого общего плана.

Отрицательно относились к приказу и толстосум-купец, и крупный землевладелец, и рядовой крестьянин, но разные общественные слои сделали разные выводы из своего настроения, различно оценивали необходимую тактику, оказывались в неисходном положении — в фактическом выполнении новой повинности.

Более культурно-обтертые группы, как, например, в городах — средние и крупные торговцы, немногочисленные служащие — конечно, тоже ничего не

имели бы против неисполнения, но эти группы прекрасно знали, что у власти есть сила, что на „бунтовщиков“ последует карательный нажим, и понимали, разумеется, что безоружной темной массе невозможно противостоять хорошо вооруженной силе. Вообще, городское население крупных городов, ближе стоящее к действительности, чувствовало, что выполнить наряд придется. Вот почему в некоторых крупных городах вовсе не было „беспорядков“ (Самарканд), а в других прошли сравнительно незначительные вспышки (в старом Ташкенте).

В первые же дни по объявлении приказа „почетными“ и „влиятельными“ лицами, по терминологии русской администрации, принесли изъявления полного согласия на выполнение приказа, даются торжественные клятвы производятся торжественные патриотические богослужения, особенно учащающиеся после первых же попыток неподчинения со стороны масс. Семипалатинский губернатор шлет в Ташкент 22 июля телеграмму, где говорит, что им собирались почетные лица из среды местного населения, в количестве свыше 1000 чел., единодушно пришедшие к решению выполнить приказ, и „весьма приподнятое настроение заключилось выходом вперед мулл, просивших разрешения помолиться за царя. Молитва была встречена общим одобрительным гулом, растроганные старики со слезами на глазах целовали мои сапоги и говорили, что всё будет так, как я приказал“.

Торговцы-туземцы во многих пунктах края, в том числе и Ташкенте, не открывают лавок и вывозят товар из туземных частей городов в русские, боясь разгрома первых. Наблюдается усиленный выезд населения из городов на дачи.

В селении Хан-Абад Ташкентского уезда, 12 июля, участковый пристав созывает представителей кышлаков, которые отказываются, к удивлению пристава, выполнить приказ, категорически заявляя, что рабочих население не даст. Русская администрация, появившись перед массой, слышит угрозы, возгласы—„рабочих не дадим“, общий недовольный гул; видит грозно волнуемую толпу. 14 июля начальник Ташкентского уезда слышит в Троицком поселке, на сходе туземного населения, как толпа кричит— „рабочих население не даст“.

Губернатор Сыр-Дарьинской области в докладе 15-го июля определенно заявляет генерал-губернатору: „По полученным сведениям, население Ташкентского уезда пришло к категорическому решению рабочих не давать“. В этом докладе он пишет о всё увеличивающемся возбуждении, которое „направляется пока, главным образом, на туземную администрацию“, так как масса считает, что она именно, не спросив согласия народа, дала подписку русскому правительству о выполнении приказа. В это же время Пскентский участковый пристав Ташкентского уезда указывает о солидарности всех в невыполнении „высочайшей воли“.

Представители власти приходят к определенному выводу, что „успокоить положение может только посылка на места вооруженных отрядов“. В Самарканде особое военное присутствие 14-го июля отмечает, что народ в Самаркандском уезде решил рабочих не давать и „сопротивляться до конца“.

Туземная администрация, почти не протестуя, приступает к составлению возрастных списков; масса видит, как ее правители подчиняются страшному и ненавистному распоряжению, как они составляют списки — и у массы растет озлобление против правящих верхушек, которые, по ее выражению, „продают детей народа русскому правительству“.

2.

Национально-религиозный элемент движения.

Как отмечалось выше, Туркестан, на основании своего социально-экономического уклада, должен был отразить в движении, возникшем против колониального господства, национально-религиозный элемент.

Отношение в 1916 г. между туземцами и пришлым населением Туркестана, примерно, было таково ¹⁾:

Области.	Всего населения в тысячах	Русских в тысячах
Закаспийская	472	41
Сыр-Дарьинская	1316	103
Семиреченская	1201	204
Самаркандская	960	22
Ферганская	2041	34

По Туркестану предполагалось мобилизовать следующее количество рабочих: Семиреченская область — 60.000 человек, Сыр-Дарьинская — 87.000, Самаркандская — 38.000, Ферганская — 50.000, Закаспийская — 15.000; всего 250.000 человек.

21-го июля 1916 года командующий войсками Туркестанского военного округа объявляет мусульманским жителям характерное распоряжение: „всегда почтительно приветствовать офицеров и чиновников всех ведомств — вставанием и поклоном“. Этот колониальный приказ мелкой чертой подчеркивал национальный элемент событий, выразившийся в действиях восставших и в идеях, овладевших массами.

Наибольшей законченностью своего развития, размером, силой характеризуется Джизакское восстание. Оно началось 13-го июля 1916 года и, повидимому, под его давлением „вспыхнули беспорядки“ в соседнем Катта-Курганском уезде. В это время в селении Синтаб (Джизакского уезда) находились два русских техника с женами, которые спаслись от расправы толпы только тем, что согласились на предложение одного мусульманина — перейти в магометанство. В Катта-Курганском уезде распространяется следующее письмо, также имеющее религиозное содержание (перевод, по всей вероятности, канцелярии губернатора Самаркандской области):

¹⁾ См. Сафаров „Национальный вопрос и пролетариат“, изд. 1923 г., стр. 245.

Сие послание от муллы Таша. Оно гласило с Рзымурадом-Хальфой в кишлак Дрия Алаяр дому и Рауману-иликбаши по поводу газавата такого содержания: убивший—газы ¹⁾, умерший — шахид ²⁾. Приглашаются с дома по два человека — если есть больше, пусть идут — можно 4 — 5 человек, вооруженных ружьями, пашками и другим оружием. Нужно иметь запас хлеба и других продуктов—дня на три. Пусть собираются братья в кишлак Нурдум, в дом Турсуна. Неявившиеся будут убиты, а имущество их будет разграблено, в таком смысле состоялся маслахат. С почтением Таш и другие старшие“.

Национальные черты движения имели два источника: с одной стороны, сама государственная организация подчеркивала „разницу“ между русским и мусульманином — заставляла последнего „почтительно приветствовать поклоном“ первого встречного представителя власти, с другой — масса населения восставала против иверцев, против русских, власть которых нарушала национальные интересы и национальные традиции.

Случай с техниками в Джизакском уезде очень характерен, не менее характерно и цитированное выше письмо, наполненное религиозно-национальным содержанием — оно говорит о священной войне, объявляемой мусульманами в момент исключительной важности, в борьбе с неверными народами.

Самаркандский судебный следователь по поводу восстания в Сансирском уезде Джизакского уезда отмечает: „всюду почетными туземцами объявлялась священная война“.

В селении Заамин ишан избирается „Зааминским беком“, на народном собрании в главной мечети им объявляется газават и он отменяет для участников восстания пост — „уразу“, падавший на это время.

В Катта-Курганском уезде в кишлаке Джума-Базар народ, собравшийся на моление по случаю праздника (18 июля — большой религиозный праздник), в конце концов начинает громить местную туземную администрацию, как сторонницу русского правительства.

В вышеотмеченных случаях масса начинает действовать под сенью мечети, в ней она ищет опоры, воодушевления — в ней провозглашается бек, газават—религия дает содержание требованиям восставших. В эти же дни в кишлаке Заамин подвергается нападению со стороны поднявшихся таджиков пристав: спасаясь, он прячется в одной постройке, которая окружается восставшими. Толпа предлагает ему перейти в мусульманство и, получив отказ, убивает его.

19-го июля в селении Нуйдук (Катта-Курганского уезда) народ избивает сельского старшину, во главе толпы стоит мулла. В кишлаке Шейхлар (Кокандского уезда) протестующие, по призыву ишана, уничтожают посемейные списки и поджигают дом сельского старшины; в кишлаке Чуама (Андижанского уезда) производится нападение на переписчиков сельско-хозяйствен-

¹⁾ Газы—убивший неверного „победитель“.

²⁾ Шахид — погибший в священной войне, заслуживший себе рай.

ной переписи. Итак народ первым делом рассчитывается с местной туземной администрацией, как стоящей на стороне правительства, и с русскими чиновниками, если они попадают под горячую руку.

В Семиречье восстание захватило всю область. Здесь пострадало много русского населения на местах. Восставшие, можно сказать, сразу приступают к разрушению русских поселков, раскиданных по области, жестоко расправляясь с крестьянами-переселенцами. Эту острую форму борьбы во многом подготовило отношение самих поселенцев к киргизам. Затем главную вину несла переселенческая политика правительства, заселявшего хорошие удобные земли русскими переселенцами, стесняя и зачастую совсем обездоливая киргизское население. Естественно, что копившиеся десятилетиями вражда и чувство обиды должны были стихийно прорваться при первом же удобном случае.

„Обзор мятежа“ в Пржевальском уезде ротмистра жандармов говорит:

„Причины восстания: 1) земельные стеснения — у киргиз были отобраны лучшие земли, они были оттеснены к горам и принуждены были арендовать землю у крестьян, которые сдавали ее испольно. Если взглянуть на карту Пржевальского уезда издания Переселенческого управления, то видно, что русские поселки сгруппировались в долинах вокруг озера Иссык-куль и в богатых долинах на восток от него, а киргизам были оставлены безлесные горы, т. е. сырты. 2) Отношение русских переселенцев к киргизам. Сюда пришли всякие отбросы из Европейской России. При всяком удобном случае отбирали у киргиз скот, якобы за потраву, а затем сами же взыскивали за это деньги, грозя не выпускать его, не давая ему пищи и питья. В то время как киргизы никому не отказывали в гостеприимстве, новоселы по отношению к киргизам этого не делали. 3) Отношение местных русских властей к киргизам. Они смотрели на киргиз как на источник постоянных доходов. „Чигин“ (незаконный сбор между киргизами для подкупа начальства) постоянно увеличивался“.

Все эти факты, отмечаемые в официальных документах, придавали движению Семиречья обостренный национальный характер и усиливали его размах. Семиречье знало в своей прошлой истории и настоящем, как ни одна из других местностей Туркестана, колониационную политику с очень мрачными чертами, уже выше частично отмеченными.

Цитированный жандармский обзор отмечает, что „русское население издевалось над киргизами, говоря, что их пошлют вперед войск, чтобы меньше было убыли в войсках“. Вот мелкая черточка, рисующая отношения переселенцев к киргизам.

В одном из многих дел „о предании туземцев суду, по обвинению их в восстании и сопротивлении властям“ есть прошение 5-ти присяжных поверенных гор. Ташкента — защитников нескольких узбеков, обвиненных в убийстве волостного управителя в селении Той-тюбе Ташкентского уезда. Прошение просит снисхождения к обвиняемым и, говоря о причинах беспорядков, указывает на взяточничество и поборы туземной администрации. В данном

случае народ требовал у властного объяснений по поводу приказа; объяснить — он ничего не объяснил, а на угрозы ответил выстрелом из револьвера, после чего был убит; находящиеся же там 4 русские солдата беспрепятственно прошли через толпу. В прошении делается вывод, что расправлялись с туземной администрацией, а не с русскими, против которых население ничего не имеет. Конечно, прошение делало неверные выводы — все события очень хорошо подтвердили, что движение имело национальный и религиозный характер. Первый более выпукло выступал там, где сильнее чувствовалось национальное угнетение (Семиречье), второе — там, где население было более фанатично настроенным (оседлое, особенно узбекское и таджикское население).

Для исторического сопоставления еще следует отметить два факта из многих. В Андижанском уезде в 1898 году произошло восстание мусульман, восстание это царское правительство подавило, разрушив мятежные киблаки до основания. На землях бывших киблаков был устроен русский переселенческий поселок. Этот более крупный факт — один из многих подготовивших почву для национального движения 1916 года. Неудивительно поэтому, что восставшие уничтожали переселенческие поселки. В августе 1916 года в Пржевальском уезде Семиреченской области было уничтожено русское село Кольцовка с населением в 650 человек, из которых осталось в живых 35, взятых в плен.

Подводя итог, можно сказать, что движение в целом носило национальный характер борьбы:

- 1) против русской власти,
- 2) против русского населения — поскольку первое и второе в понимании восставших представляли одно целое.

Далее, „беспорядки“ имели религиозную окраску; где проходят они глубже, там обязательно выплывает на сцену религия, и в восстании принимают участие ее священнослужители. Как уже отмечалось, религиозный оттенок мало заметен в движении киргизского и туркменского населения, что объясняется вообще меньшей религиозностью тех и других по сравнению с оседлым тюркским населением.

3.

Социальные группы в движении.

Состоятельные группы.

Если брать, в общих чертах, наиболее заметные социальные группы, то достаточно будет иметь в виду, с одной стороны, массу населения, вкладывая в это понятие — бедняков и середняков города и киблака, в совокупности и составляющих в Туркестане большинство населения, а с другой стороны — состоятельные группы, причисляя к ним — по городам крупных, средних и мелких торговцев и по киблакам, и по аулам — крупных землевладельцев и скотовладельцев. Но, взяв эти две главные группы, сейчас же следует отметить, что только роль массы, не желавшей подчиниться везде не только на

словах, но и на деле, была однородной. Отношение же состоятельных групп к „беспорядкам“ не дает одной общей картины. Богатей степей Семиречья шли вместе с массой, вместе с батраками и даже ими руководили; совершенно другую роль играли состоятельные слои городов. Являясь наиболее образованным, ближе стоящим к русским элементам, они понимали, что противодействие не удастся, что в событиях можно прежде всего пострадать карманом, как и страдали недалёковидные мапапы Семиречья и богатеи Джизакского уезда.

Таким образом в группе состоятельных различаются два совершенно различных социальных слоя: не участвовали, можно сказать поголовно, богатеи городов, но шли вместе с массой состоятельные элементы Семиречья, Закаспия и тех вилайетов Самаркандской и Ферганской областей, которые находились в районах крупных по размерам отдельных вспышек. Эти богатеи, шедшие в рядах восставших, были остатками феодальных отношений, — они являлись крупными землевладельцами, скотовладельцами, муллами, предводителями родов; те же, кто не участвовал, принадлежали к купеческим торгово-промышленным элементам и не феодального времени, а колониальной эпохи — господства финансового капитала.

В Семиреченской области долгое время существовал среди киргиз родовой строй, старший в роде стоял во главе; и при введении волостного управления между старшими рода началась борьба за должности волостных старшин, судей и т. д. Большую роль в борьбе и играли старшие элементы родов, к которым и перешли все выборные должности. Постепенно происходило закабаление населения состоятельными, стоящими над аулами так же, как и официальная власть. Различного рода ссуды-ростовщичество имели в данном процессе большее значение. Когда был объявлен приказ о мобилизации, богатеи „манапы“, видя недовольство массы и боясь потерять свою роль и влияние на нее, становятся во главе восставших. При победном исходе они, как предводители, должны были, что и понимали, получать еще большую власть. Таким образом в Семиреченской области на местах получается одна общенародная картина восстания: в нем участвуют как бедняцкая масса киргизского населения, так и состоятельные социальные группы, вступающие даже во главе движения. Так, в Пржевальском уезде, сплошь охваченном восстанием, „в бой“ население ведут „манапы“.

В „старом Ташкенте“ (туземной части города) 11-го июля произошла кровавая вспышка. После того как „восстановилось спокойствие“ и бушевавшая толпа разбежалась, губернатор собирает „иочетных и должностных лиц“, которые выражают глубокое сожаление о случившемся, молятся за императора, кричат „ура“. По сведениям охранного отделения, перед этими событиями в „старом городе“ два „минбаши“ и четверо „иликбашей“ (старшина в квартале) приглашали „простой“ народ с женщинами идти к полицейскому управлению и заявить там, что они „своих детей не дадут на войну“. Приглашавшие ссылались на то, что сами они (минбаши, народные судьи) не могут это сделать, так как они „влиятельные лица“ (следовательно, им неудобно),

а „простоку“ народу ничего не будет. Возможно, что в такой определенной форме это и не происходило; вероятнее, какие-нибудь народные судьи, скорее „частным“ образом, говорили своим окружающим о неисполнении приказа, но, во всяком случае, даже отдельные, нехарактерные попытки местной туземной администрации стать на сторону народа носят чрезвычайно пассивный и двусмысленный характер.

Политический агент России в Бухаре 22 июля того же года телеграфирует туркестанскому генерал-губернатору: „Явившиеся сегодня ко мне двадцать крупнейших купцов заявили, что бухарское купечество, одушевленное чувством искренней преданности и любви к России, выражает свое крайнее негодование по поводу мятежных действий самаркандцев“ (имеется в виду Дживакское восстание).

Наманганские „влиятельные лица“ 12 июля на собрании, по предложению старшего народного судьи, клянутся „в верности и в искренности желания побед русскому оружию“.

Как видно из материалов, русская администрация созывает, а часто и по собственному почину собираются „влиятельные и почетные“ лица, т. е. крупные торговцы, крупные муллы, богатые народные судьи. На собраниях совершенно не бывало резких протестов, иногда, в лучшем случае, просится отсрочка в выполнении мобилизации, но когда доводится до сведения, что отсрочки дано быть не может, все соглашается с „высочайшей“ волей, молятся, дают клятвы, провозглашаются здравицы Николаю II, издается полная лояльность, поются патриотические гимны. Городское собрание Андижана 23 июля — из представителей кварталов, пятидесятников, народных судей, старших аксакалов, мударисов, городских старшин, ишанов (до 900 человек) — выслушивает главного ишана, народного судью и старшего аксакала, призывающих всех к выполнению приказа, к патриотической обязанности, и заявляющих, что „по шарияту“ мусульмане должны выполнить „высочайшую волю“. Собрание заканчивается молитвой за царя.

В Коканде, Намангане, Пскенте, Маргелане, Ош, Чимкенте, Аулиа-Ата и др. городах собираются такие же собрания, на которых выносятся те же решения и выполняется тот же ритуал.

Богатей-ростовщики, имеющие массу должников, боясь потерять свои деньги (а с уходом рабочих по мобилизации — это легко могло быть), просят русскую администрацию заменить натуральную повинность денежной. Такая замена приносила бы им тройную выгоду: обеспечивала от отбывания повинности лично, сохраняла закабаленных должников и открывала широкие перспективы по дальнейшему закабалению терроризированного населения и получению с него самых ростовщических процентов. О такой замене просит депутация „почетных“ лиц в Андижане 23 июля 1916 г. О размере задолженности можно судить хотя бы потому, что за 1914—15 гг. было предъявлено ко взысканию, по сведениям судебного ведомства, исполнительных листов в одной только Ферганской области на сумму свыше 16 миллионов рублей (см. рапорт б. туркестанского генерал-губернатора императору в феврале 1917 г.).

Когда обрисовалось „патриотическое“ настроение состоятельных слоев, масса населения совершенно отходит от влиятельных лиц, теряющих свое влияние. Заметила разнь между массой и богачами также и русская администрация. Андижанский уездный начальник в докладе Ферганскому губернатору (22 июля) пишет: „почетные туземцы, которые когда-то пользовались большим влиянием на народ, теперь это влияние утратили настолько, что открыто боятся даже говорить с народом на темы о призыве рабочих... Влиятельные туземцы пришли уже к заключению, что высочайшее повеление необходимо выполнить беспрекословно, но явится ли у них возможность победить общественное мнение большинства народа — сказать трудно“.

На местах по кишлакам (в Сыр-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской областях) муллы, купцы, крупные землевладельцы, — там, где „беспорядки“ не развиваются в крупном масштабе, как например в Джизакском уезде, — соглашались на мобилизацию, не участвуют в бунтующей толпе; там же, где волнение ширится, там богачи оказываются в рядах восставших — их увлекает за собою масса, и они, так же, как в Семиречьи, боясь потерять свой авторитет и состояние, „бунтуют“. Бывали, конечно, и исключения; затем надо отметить, что туземная администрация везде, кроме Семиречья, идет против движения, и на нее первым делом обрушивается гнев народа.

В конце июля 1916 года издается распоряжение о праве призываемого откупаться от наряда, нанимая за себя рабочего, который и идет, как мобилизованный; таким образом, состоятельные группы фактически избавлялись от призыва, что также определяло их роль. Данное распоряжение показывает, что государственная власть искала себе какой-нибудь точки опоры в населении и, конечно, некоторого рода подпорку в данном случае и нашла, с полным отказом от принципа воинской повинности даже своей эпохи и с возвратом к самым архаическим формам рекрутчины. Зато какой-нибудь купец Ташкента, когда получилась возможность не самому идти в наряд, а нанять за себя постороннее лицо, вне сомнения, еще с большим усердием молился за здоровье „белого царя“, давал клятвы, пел „патриотический“ гимн и благодарил бога за то, что так хорошо устроена земная жизнь.

Священнослужители в Туркестане являются большею частью людьми состоятельными. Чем же объяснить их участие в местах крупных беспорядков? В данном случае действовали те же мотивы, которые побуждали богатых, при известном размахе движения, участвовать в событиях, а именно — боязнь потерять свое влияние, неправильная оценка положения, но к этому присоединялся для данной группы и такой могучий двигатель, как религиозный фанатизм.

По разбираемому материалу неясно видно отношение к движению имущих групп в Закаспии. С достаточной достоверностью следует предполагать, что они были в общей массе с восставшими.

Итак, основной движущей силой событий не являлись состоятельные социальные группы, и только масса населения придавала „беспорядкам“ всю характерную для них силу и весь размах.

Масса населения.

Отдельные моменты движения заключались во всех фактах неподчинения приказу, неподчинения силой, конкретно, на деле. Во всех этих эпизодах основным материалом и силой являлась масса населения, т.-е. главным образом городские и сельские бедняки, в первую очередь, а затем и середняки.

Что заставляло массу мусульманского населения пойти на определеннейший фактический протест? Несомненно, все отрицательные черты их бытия: взяточничество администрации, притеснения во всех видах со стороны русского населения и той же администрации, экономическое закабаление ростовщиками, но также и стремление выйти из-под опеки другой нации. Движение прошло неорганизованно. Отдельные вспышки объединяла только одновременно проходящая мобилизация, и другой связи не существовало. Вследствие особенно крупных размеров восстания в Семиречье, там получается более внушительная картина народного возмущения, но и здесь не видно присутствия организационных начал — всё проходило стихийно. Фактическим толчком, заставлявшим массу протестовать и начинать разгром русских и туземной администрации, являлось большей частью составление возрастных списков для распределения наряда. Народ толпами собирается у помещений волостных, сельских канцелярий, требует для объяснения администрацию, при ее появлении — требует прекращения составления списков, а когда с требованиями не соглашаются, следуют угрозы толпы — и, в конце концов, разворачиваются кровавые события, призываются войска и протестующие разгоняются силой оружия.

Для иллюстрации остановимся на четырех конкретных фактах „неподчинения“: в Ташкенте, Намангане, кишлаке Дальварзан и в Джизакском уезде — они достаточно оттеняют общую форму движения так, как она зарегистрирована официальными представителями Русского Туркестана.

Вообще все случаи беспорядков однообразны, они не блещут богатством формы, содержания и заключаются в стихийно-развивающемся протесте. В столице страны — Ташкенте прошли одни из первых волнений по краю, но, сравнительно с величиной города, весьма небольшие. 11-го июля к управлению полиции вызываются пятидесятники для разъяснений и переговоров о составлении списков, сюда же собирается постепенно увеличивающаяся толпа. В ней много женщин-мусульманок, что являлось характерной чертой для всех случаев протеста. Народ шумит, требует прекращения составления списков, угрозы полиции, конечно, не действуют, температура настроения повышается, полиция не пускает к зданию — масса выламывает решетку у дома, убивает караульщика-туземца, затем каким-то образом нирод отбирает у одного полицейского револьвер, полиция начинает стрелять и запирается — толпа выбивает все окна, рвет провода, и только вызванные войска оружием разгоняют „бунтующих“.

Чем объяснить отмеченное общее участие женщин-мусульманок? Если женщине определенно было бы сказано „хозяйном-мужчиной“, чтобы она не ходила — ее, при существовавшем положении мусульманки, и не было бы.

Повидимому, в данном случае, мужчина указал на желательность ее присутствия, помимо того, что и у ней самой должны были возникнуть вопросы, как реагировать на то, что „берут“ ее детей. Мужчина, отпуская женщину в толпу, мог рассчитывать, что получится явственный характер требований всего народа, что с женщинами будут больше разговаривать и не будут столь бесцеремонно разгонять стрельбой.

Типична вспышка, прошедшая в г. Намангане (Ферганская область) 11 июля. Официальный доклад заместителя уездного начальника так излагает события: „Около 8 часов утра пристав третьей части дал мне знать по телефону, что в его части начались среди туземцев беспорядки. Прибыв туда с нарядом полиции тотчас же, я застал на площади возле сифона толпу в несколько тысяч человек, среди которой были и женщины. Толпа буквально редела, не слушая никаких увещаний, что вынудило меня вызвать роту и пулеметы. С появлением войск толпа несколько притихла и тем дала возможность начать увещания. Я сам, как знающий туземный язык, просил толпу не безобразничать, вести себя спокойно, не доводить до крутых мер. В толпе раздались голоса: „Если уведут войска, то толпа разойдется“. Войска были уведены, но народ продолжал еще больше шуметь, наседали на полицию, требовал отмены составленных списков; войска приводятся опять. „Так как никакие меры воздействия на толпу путем уговоров не действовали, то пришлось пригрозить, что будет применена вооруженная сила, но и эта угроза толпу не успокоила, а, напротив, она стала вести себя еще более вызывающе. Послышались угрожающие крики „ур“¹⁾, толпа двинулась вперед на выставленный взвод нижних чинов с ружьями на перевес и начала хватать за ружья, шашки полицейских и два поставленных впереди взвода пулемета“, затем „тремякратно предупреждалось“, что будет открыт огонь, народ продолжал наседать... дается залп — и тогда только разбегаются „бунтующие“.

В кишлаке Дальварзан Кокандского у волостной управитель объявляет населению о мобилизации, народ криками не соглашается выполнить приказ. Когда волостной хочет подписать и приложить печать в том, что распоряжение объявлено, масса наступает, старшина отстреливается, протестующие приходят в крайнее раздражение, убивают его и двух джигитов. После убийства народ рассеивается сам, так как в селении войск не было и никто не разгонял толпу.

Во всех трех приведенных эпизодах — в Ташкенте, Намангане и в кишлаке Дальварзан Ферганской области — есть общие типичные черты. Народ стихийно собирается у места работы администрации, начинает настойчиво требовать отмены приказа, постепенно повышается настроение, когда администрация не соглашается на отмену „высочайшего повеления“, и на нее первым долгом и обрушивается гнев.

Как отмечалось, большое развитие движение получило в Джизакском уезде, начавшись в городе Джизаке. Еще 12 июля в нем было сравнительно спокойно, пристав вел переговоры с туземцами относительно набора рабочих.

¹⁾ „ур“ — бей.

По впечатлению старшего аксакала, всё обстояло благополучно: жители изъявляли согласие дать рабочих, обещая на утро составить приговоры о наряде" (доклад Самаркандского губернатора—генерал-губернатору 5-го августа 1916 г.). Однако в этот день из Ташкента приехал один джизакский ишан, видевший беспорядки 11-го июля. Он стал разъяснять туземцам, что в Ташкенте рабочих не дают и что там был бунт. Под влиянием „информации" и агитации ишана, джизакское население решает протестовать, и 13 июля, во главе с приехавшим, большая толпа является в городскому старшине, составлявшему списки. Убивается старшина; в „старый город" успокаивать население идет уездный начальник, пристав и за ними идет воинская команда. Толпа убивает уездного начальника, пристава, переводчика и стражника, отъехавших слишком далеко от солдат. Встреченная на своем пути залпами, устремляется в железной дороге, где и начинает разрушать железнодорожное полотно. Сейчас же весть о восстании распространяется по соседним кишлакам. Оттуда население также направляется на железную дорогу для ее разрушения, подвергая избитию всех железнодорожных рабочих, служащих по линии, на протяжении нескольких пролетов.

Возможно, что, уже зная о ташкентских и джизакских событиях и находясь под их влиянием, население кишлаков Им, Заамин и др. (Джизакский уезд) протестует против приказа.

Возбужденная масса утром 18 июля убивает в кишлаках Кыре и Ак-таш старшин, составлявших списки; в этот же день приезжает зааминский участковый пристав с двумя стражниками для ареста „убийц"; на следующий день с арестованными едут в кишлак Заамин, за ними настойчиво следуют толпы мусульман, и около кишлака русские, отстреливаясь, бросают арестованных, присоединившихся к народу, а сами скачут в Заамин, где застают разнесенную накануне канцелярию пристава. Беглецы скрываются в одной из построек (бала-хана), которая окружается восставшими. Во главе последних стоит ишан, предлагающий пристава перейти в мусульманство. Получив отказ, народ обстреливает постройку и убивает спрятавшихся русских.

В то время в Джизаке находилось мало солдат, почему все европейцы собираются в так называемую крепость, где проводят несколько дней в оборонительном положении. В следующие дни восстание ширится: жители кишлаков по линии Урсатьевская—Джизак разрушают железнодорожное полотно, телеграф, поджигают мосты, уничтожают постройки и убивают рабочих и служащих на линии. Восстание распространяется по Сансарской волости, в которой убиваются все русские лесные объездчики вместе с семьями. В кишлаке Богдан провозглашается „бек", убивается писарь пристава и лесной объездчик.

Железнодорожные рабочие, служащие, лесные объездчики,—казалось бы, рядовые, „безответственные" работники русской власти—подвергаются усиленному уничтожению, причем это сопровождается жестокостями, издевательствами, изнасилованием женщин. Первые отряды войск, посланные с карательными целями, встречают со стороны восставших сопротивление, происходят.

перестрелки, и только под влиянием технического превосходства своего противника масса рассеивается.

По всем данным, широкое развитие получает волнение в Джизакском уезде именно только потому, что первая же попытка — убийство уездного начальника — заканчивается без карательных последствий, и дальше восставшие не встречают в своих действиях на первых порах противодействия войск. Успех окрыляет, поднимает силу и веру в себя, и население с известной планомерностью стремится — во-первых, обезопаситься от прихода солдат разрушением железной дороги, а затем уничтожить всех русских, как представителей всего ненавистного порядка, устроившего мобилизацию. Обе цели в локальных пределах восстания удаются, но тут же появляются карательные отряды извне, пушки и пулеметы, — начинается разгром движения.

Ни в Фергане, ни в Сыр-Дарьинской области „бунтующее“ население не разрушает железной дороги. В Джизакском уезде восставшие в первый же день первый же свой успех закрепляют разрушением полотна — факт, говорящий за то, что масса верила в успех своего дела и самыми радикальными из имеющихся в ее распоряжении средств стремилась к цели. Всё это указывает на большой размах и глубину движения: вообще восставали не только затем, чтобы не пойти по мобилизации, но чтобы с корнем уничтожить ее основные причины. Однако, эта целесообразность и известная планомерность получались по мере развития самого движения. Когда масса угрожала уездному начальнику, вряд ли отдельные единицы толпы сознательно шли к какой-нибудь цели: народ был под влиянием момента, отдельный человек — под влиянием массы.

Официальные бумаги указывают в качестве основного толчка событий — на приезд ишана, начавшего пропаганду. Повидимому, агитация была очень резкая, захватывающая, массовая, а сам ишан находился под свежим впечатлением ташкентских „беспорядков“ и правильно не мог оценить положения.

К чему должен был стремиться в своей пропаганде приехавший ишан? Косвенный ответ дает страничка прошлой истории Туркестана: в Андижанском восстании 1898 г. целью ставилось свержение русского владычества, и там так же провозглашались „беки“ и объявлялся газават. Вся пан-исламистская работа шла под лозунгом отделения Туркестана от России. И джизакский ишан должен был, что и подтверждается фактами, идти по тому же пути, требуя отделения Туркестана от России и соединения с какой-нибудь мусульманской страной. Он выступил как осколок феодально-патриархальных отношений, слепо не понимавший существующей обстановки, в которой эти отношения были почти совершенно разрушены под напором капитализма.

При сравнении трех в начале приведенных эпизодов с джизакскими событиями видно, что движение — там, где обстановка представляла малейшую возможность, — приобретало характер типичного колониального восстания, стоявшего на религиозно-национальной идеологии.

В событиях 1916 года нашли свое отражение, как исключение, также и случаи организованной расправы населения со своими врагами. Катта-курганский мировой судья расследует одно из убийств старшины (жилая Узбек-Кенты Каль-Курганской волости). Привлечено 19 человек „убийц“, которым инкриминируется, что „они на общем своем собрании порешили убить народного судью и волостного управителя Каль-Курганской волости и решение свое по отношению народного судьи и его джигита привели в исполнение“. Большинство обвиняемых вины за собой не признают, один из признающих говорит, что он убил народного судью за то, что он неправильно развел дядю обвиняемого с женой.

Вследствие отсутствия своевременной, постепенной подготовки мобилизации, путем разъяснений и агитации, в массе очень крепко держится мысль, что „берут в солдаты“. Самаркандский губернатор в своем докладе 21-го июля о проведении в жизнь приказа пишет: „распоряжение это народ считает только скрытым введением в крае воинской повинности, что и подтвердилось в его глазах требованием составления возрастных списков от 19 — 31 года... Население установилось в уверенности, что предстоит первый в крае рекрутский набор, и началась паника“.

В одном из многих донесений Наманганского уездного начальника вложен доклад инструктора по сельскохозяйственной переписи, бывшего во время волнений с несколькими статистиками в Кейпинской волости. 10-го июля толпа народа требует отмены мобилизации и выдачи всех списков; после настоячивых угроз списки были вырваны и сейчас же разорваны массой; в конце концов убивается волостной старшина, но не трогает народ русских статистиков, а, наоборот, дает им лошадей и пропускает в г. Наманган. Этот единичный факт стоит особняком, и можно только предполагать, что толпа в Кейпинской волости заключала в составе „заправил“ людей, имевших „добрые“ отношения с русскими и отклонивших гнев народа от последних.

По всему Туркестану, кроме отмеченного, один случай пощады имел место еще в Ташкентском уезде. Таким образом два исключения из общей массы только подтверждают общий характер движения. В середине июля, когда уже пролилась кровь, в губернатору Сыр-Дарьинской области поступает прошение двух узбеков (один из них учитель), с просьбой разрешить им проводить беседы среди населения Ташкента для разъяснения мобилизации, целей ее и т. д. О движении прошение заявляет: „Мы убеждены в том, что в данном случае главные причины надо усматривать прежде всего в неразвитости туземного населения, не могущего уяснить себе истинный смысл“.

Незначительные интеллигентные слои мусульман видели причину в непонимании массой „истинного смысла“ — т.-е., в конце концов, в том, что правительство ничего не сделало, чтобы не создавать этого непонимания — не провело никаких подготовительных мер.

По сведениям охранного отделения в Ташкенте бедняки предполагали, если будет дано право откупаться, устроить погром богатеев, но, хотя это право, как отмечалось выше, и было дано, указанных случаев не произошло.

В Семиреченской области, как уже упоминалось, во главе восстания, в верхушке идут богатые — манаты, а в низах вся масса киргизского населения. В начале августа русская администрация замечает среди киргиз происходящее обсуждение вопроса о мобилизации, совещания, „сборища“, на которых, по сведениям той же администрации, выносятся определенные решения — не подчиняться приказу и подготовиться к восстанию путем заготовки оружия (холодового). Между тем, своим порядком, составляются списки, — и в ответ вспыхивает восстание. Еще в конце июля, а именно 25-го числа, губернатор Семиречья в телеграмме генерал-губернатору сообщает: „Население Верненского, Пишпекского и Пржевальского уездов создало вполне, что от них требуется, и готово выполнить необходимый наряд. В уездах — Копальском, Лепсинском и Джаркентском близость китайской границы внесла некоторые осложнения... Население ухватилось за мысль о побеге“. В двадцатых числах русский консул в г. Чугучаке (северо-восточная граница Семиречья с Китаем) докладывает, что в пределы Китая прибыло несколько тысяч киргиз русско-подданных. Повидимому, масса в уездах Копальском, Лепсинском, Джаркентском большей частью покинула местожительство и бежала. Восстание в Верненском и Пржевальском уездах ставит целью уничтожение русского господства и русского населения. Восставшие подвергают полному разгрому русские села, станицы, мужское население почти поголовно уничтожается, женское отчасти берется в плен. Семиречье в то время почти не имело войск, а русское население — оружия, реквизированного на нужды войны. Восставшие, плохо вооруженные пиками, топорами, дрекольем и, в незначительной части, ружьями, но представлявшие огромные массы, свободно преодолевают оборону русской деревни... Восстание полно картинами жестокости массы, отплачивающей за десятилетия угнетения. Разрушаются конно-почтовые станицы, телеграф, отбиваются транспорты оружия, и в середине августа, например, в Пржевальском уезде, из всех русских селений целыми остаются только три, расположенные недалеко от города.

Здесь движение носит характер крестьянского, национально-аграрного, и религиозный элемент, по отмеченным ранее причинам, замечен мало. Вся область погружается в кровавый национально-аграрный кошмар.

В Закаспийской области, когда для туркмен выясняется, что русские не отменяют мобилизации, а приступают к ее выполнению, масса направляется в Персию. На границе происходит первая стычка казаков с туркменами. Затем вооруженные нападения принимают характер массового явления. При наличии у туркмен оружия, борьба принимает настойчивый, упорный характер. В ней, по сведениям администрации, участвуют не только русско-подданные, но также и персидские туркмены. Русские деревни также подвергаются нападениям, но так как в Закаспии таковых немного, факты нападения сравнительно редки ¹⁾.

¹⁾ Так как в Закаспии, при общей редкости населения, туркменская масса в целом не соприкасается с незначительным русским населением, взаимная резня не принимает здесь столь громадных размеров, как в Семиречье.

На одном из допросов обвиняемый туркмен, участвовавший в волнениях, говорит: народ поднялся потому, что не хотел давать „солдат“, народ соглашался на дачу скота, денег, но требования людей — это слишком. Русские войска, показывает он, когда жители перекочевали в Персию, „беспричинно“ на границе убили трех туркмен, почему, в свою очередь, население стало убивать всех попадавшихся русских; затем казаки сожгли один аул, что еще больше усилило гнев народа.

Сводка, помещенная в приложении, дает список тех пунктов по трем „коренным“ областям края (Сыр-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской), где не было массового восстания и проходили только отдельные вспышки. Эта сводка подтвердит также наиболее сильное движение из этих трех областей в Ферганской области, затем идет Самаркандская и, наконец, Сыр-Дарьинская. Недостаточность материала лишила, к сожалению, возможность внести в сводку пункты Закаспия и Семиречья.

4.

Русский Туркестан и разгром движения.

Если разобрать, хотя бы в общих чертах, отношение к движению государственной власти, т.-е. Русского Туркестана, вкладывая в это понятие прошлый государственный строй со всеми его придатками и дополнениями, стоявший над страной, то получится более полная картина.

8-го июля исполняющий должность туркестанского генерал-губернатора, в развитие и исполнение приказов Петрограда (высочайшее повеление 25-го июня 1916 г.), издает распоряжение, в котором говорится:

„Все призываемые будут работать за плату и довольствоваться женой... Я выражаю уверенность, что туземное население края, не несшее до сих пор тяготей великой отечественной войны и ныне призываемое высочайшей волей к труду в тылу армий, с полной готовностью явится на призыв, а затем с особой энергией будет работать в тыловом районе действий победоносной русской армии, предводимой верховным вождем ее—государем императором“...

В распоряжении официальным языком отлито официальное содержание и выражены официальные надежды. По областям те же надежды наполняли такие же приказы военных губернаторов, иногда даже вполне осведомленных в местных условиях, но лишенных возможности предотвратить катастрофу. Объявление Самаркандского губернатора (одно из наиболее осторожных) гласит:

„Население Туркестанского края освобождено от воинской повинности и защищается от врагов другими русскими подданными. Такое положение продолжалось бы и далее, но 2 года тому назад мы вступили в войну с очень сильным врагом... Война еще не кончена... Каждый русский с охотой идет против врага... Поэтому он дорог теперь как солдат. Но на войне требуется много людей и не-солдат для того, чтобы исполнять разные работы:

арбакешей, носильщиков, для исправления дорог и пр. Эти люди служат в тылу. Такую работу могут вести хорошо и мусульмане и эгим послужат ускорению конца войны... С этой целью государь император приказал взять для разных работ в тылу туркестанских жителей... Всем им уездная и городская администрация должна составить списки. Людей уважаемых, почтенных, стариков, ученых я прошу объяснить жителям, что нужно спокойно с полным порядком исполнить волю государя императора и не уклоняться от своих обязанностей“.

Однако, обстановка, в какой началось проведение приказа, а именно—совершенная неожиданность, отсутствие предварительной работы подготовительного характера среди гущи народа и настроения последнего были таковы, что никакие самые содержательные губернаторские объявления, не огмнявшие мобилизации, помочь делу не могли.

На основании материала, повидимому, можно сделать только тот осторожный вывод, что, если бы Русский Туркестан провел своевременно подготовительную работу, то крови пролилось бы меньше.

Один военный губернатор (Ферганский) ¹⁾, повидимому, пытался первоначально „оттянуть“ время, выжидая разъяснений, и выдвинул на первый план произвольно принцип добровольчества. В приказе от 16-го июля он пишет:

„Для той цели, с какой было объявлено высочайшее повеление, желательны были бы только такие рабочие, которые охотно, по доброму желанию, пошли бы в рабочие отряды для дружеской, братской помощи русским войскам, ныне сражающимся и одерживающим победы над врагами нашего государя и нашего государства.

На Ферганскую область назначено такое, по сравнению с многочисленным населением, незначительное количество рабочих, что я вполне убежден, что в Ферганской области найдется в 2 и в 3 раза и даже в 4 раза большее количество охотников, нежели сколько ныне назначено по разверстке на область. Вся задача заключается лишь в том, чтобы выработать и установить порядок созыва и собрания таких охотников. Такого порядка до сих пор еще не было объявлено, и такой порядок даже правительством еще не разработан, и к набору рабочих Ферганская администрация еще не приступила. Всё дело еще впереди. Вырабатывать порядок набора добровольцев-рабочих, по личным ли заявлениям или по жребию, я сам не стану, а предоставляю сначала обсудить этот вопрос самим обществам, и только после того, как совершенно определенно выяснится порядок, каким можно практически осуществить высочайшее повеление от 25 июня с/г., я этот порядок объявлю для беспрекословного исполнения. Я приказал прекратить составление списков мужского населения, которые поэтому и не будут мне представляться и никакого значения не будут иметь. В высочайшем повелении нет указаний, чтобы рабочих набирать силой, и я теперь силой набирать рабочих не

¹⁾ Во время событий он был смещен.

буду. Пусть население выжидает моих дальнейших распоряжений, которые будут составлены в том смысле, что набор рабочих будет на этот раз производиться только с согласия населения и по правилам, которые потом будут выработаны“.

Ферганский губернатор совершенно определенно выдвигает принцип добровольности при исполнении распоряжения. Почему? Он отвечает: так как свободно найдется столько добровольцев, чтобы выполнить наряд даже в большем количестве, и так как о принуждении не говорит царский приказ. И первое, и второе не верно. Конечно, добровольцев не нашлось бы и для половины нужного количества, а „Высочайшее повеление“, само собою разумеется, подразумевало принцип принудительности, и о добровольчестве в нем нет и речи...

Количество рабочих, назначенное на область, распределялось в ней следующим порядком: губернатором созывались областные совещания, распределяющие наряд по уездам, уездные начальники с участковыми приставами распределяли по городским участкам и сельским обществам. Участки и общества уже непосредственно составляли поименные списки призываемых.

Очень часто в официальных бумагах, когда мобилизация стала исполняться, указывается на большой процент рабочих „добровольцев“. В одной из статей тогдашней либеральной ферганской газеты „Туркестанский Голос“ (№ от 2-го августа 1916 г.) достаточно ясно отмечена сущность „добровольчества“:

„Добровольчество есть не что иное, как натуральная повинность тех слоев населения, какие не имеют возможности откупиться. Туземной администрации предоставлено право изыскивать способы осуществления набора. Во многих местах эта администрация решила вопрос так: каждому из туземцев предоставлено право вместо себя выставить добровольца. В добровольцы идут пока только представители местного пролетариата, а также из наиболее несостоятельной части земледельцев-декханов“.

Таким образом, по терминологии администрации, „добровольцем“ был тот, кто шел по найму вместо других.

Когда Самаркандский губернатор убеждается, что без трений приказ не будет выполнен, он выпускает второе объявление:

„Первое мое объявление не везде в народе было встречено одинаково, в некоторых местах благоразумные поняли его, как законное требование... В других среди жителей нашлись злонамеренные люди, не желающие народу добра, сами испорченные и злые, и эти преступники стали давать простому народу дурные советы, уверяя, что это только от нашей области берут рабочих... Это была наглая ложь... Я сам был приглашен в Ташкент, и в совещании 2 июля число рабочих было распределено между всеми пятью областями. Злонамеренные люди говорят также и о том, что рабочих ведут на войну, чтобы сделать их солдатами, и это ложь, потому что хитрят только люди несправедливые и слабые, а наш государь издает повеления, которые и сомнения в правильности возбуждать не могут: вся Россия верит слову

своего повелителя, как самой истине... При таких обстоятельствах темный народ, оставшийся без разумных руководителей, не знал что делать; в некоторых местах произошли драки... побой невинных, так как никто не может отменить наряды, и рабочие будут взяты, хоть силой; если рабочих добровольно не дадут, то в город или в селение вводится войска, и с жителями поступают, как с ослушниками приказа. Еще раз обращаюсь с добрым советом — не доводите власть до крайности и исполняйте наряд без возражений. Наряд неминуем, как смерть, рабочих давать надо непременно и добровольно... Общества могут заменять одно лицо другим, только той же веры. Это сделано для того, чтобы на работах в одном месте были единовольцы и могли сообща молиться богу о здравии государя и даровании его войску побед ¹⁾».

Ясно, что такого характера объявления не успокаивали массу, но еще больше поднимали настроение.

17-го июля императорским приказом Туркестанский край объявляется на военном положении, с подчинением всего гражданского управления-командующему войсками, вслед за этими командующий войсками издает: 1) приказ о формировании временного военного суда, 2) приказ, чтобы администрация доносила о настроении и положении населения три раза в сутки, 3) приказ о разгоне всех „скопищ туземцев“ в полосе отчуждения железных дорог вооруженной силой и т. д.

В третьем объявлении Самаркандского губернатора исчерпывающе видно официальное отношение Русского Туркестана к движению:

„17-го июля состоялось высочайшее повеление, которым Туркестанский край объявлен на военном положении. Туземные жители Самаркандской области! Вы теперь находитесь вне гражданских мирных законов, а подчинены законам военным. Военные законы действуют на войне и там, где население бунтует или не подчиняется власти. Наказание по военным законам жестокое и короткое — больше по преданию смерти.

„Жители, у вас еще есть время опомниться и исполнить непреклонную волю государя императора и дать рабочих. Упорство ваше бессмысленно. За неисполнение требований — вас будет судить военное начальство. Многие из вас бросили свои дома и недвижимости и ушли. Объявляю вам, что недвижимость тех, кто не вернется теперь же на свои места, будет конфискована в государственную собственность. Вы лишитесь имущества, перешедшего к вам от отцов и дедов и добытого трудом. Потом вы будете жалеть, что наделали глупостей. Будьте разумны и исполнительны. По законам военного времени, за бунтовщические действия положена смерть. Помните, что у вас есть семьи. Вы не только себя подводите под наказание смертью, но и под разгром — свои семейства, города и кишлаки. Перед богом будете виноваты вы потому, что вышли из повиновения богом поставленной власти. Еще раз советую вам вернуться скорее на свои места, дать рабочих и жить

¹⁾ В этом приказе характерна, помимо стиля и официального пафоса, нарастающая тревога.

попрежнему, мирно занимаясь своим делом, для своего же благоденствия”.

Вместе с карающими отрядами усиленно выявляются, по вполне понятным причинам, „патриотические чувства“ населения. Начальник охраны г. Ташкента очень часто в конце июля сообщает о патриотических молебствиях в мечетях старого города. То же самое происходило и по всему краю: усиленно устраиваются патриотические манифестации с портретами государя (Самарканд, Ходжент, Коканд, Андижан, Скобелев, Наманган, Ош, Ташкент и др. города).

Начальник наманганского гарнизона 25 июля пишет в телеграмме: „Собралось около 1000 добровольцев-туземцев, записавшихся в рабочие, и, имея впереди портрет государя императора, обошли город патриотической манифестацией, сопровождаемые почетными туземцами и толпами народа при пении патриотической песни и криках „ура“ в честь государя императора и на погибель врагам.

Пришли к моему дому, просили, чтобы я вышел провозгласить здравицу государю. Последовало громкое „ура“, картина была внушительная, собравшиеся просили принять уверение, что охотно идут на работу по призыву царя. Говорили о своей преданности государю, уверяя, что приложат все старания к полному выполнению наряда“.

Очень редко в докладах можно найти робкие указания, что такого рода факты есть „наружное“ патриотическое настроение, в большинстве они не комментируются и трактуются как „действительные чувства“.

Начальник карательного джизакского отряда во время своей работы выпускает обращение, где говорит:

1) Все туземцы Джизакского уезда, оставшиеся верноподданными и не примкнувшие к бунтовщикам, могут вернуться в свои дома; над каждым домом мирных туземцев должен быть вывешен белый флаг.

2) Та же часть населения, которая подняла бунт против русской власти, будет мною уничтожаться до последнего человека, оказывающего сопротивление; жилища бунтовщиков будут уничтожены, а имущество взято в казну; схваченные при сопротивлении властям и оставшиеся при этом в живых будут предаваться военному суду при отряде и подвергнуты смертной казни.

3) Но если вовлеченное в бунт население пришлет мне заложников, выдаст мне главарей бунта, имена которых мне уже известны, а также задержит и доставит мне виновников в убийстве русских людей, в нападении на железную дорогу и в прочих бесчинствах, то я донесу об этом главному начальнику края, и, может быть, тогда менее виновной части населения, увлеченной своими главарями, будет дарована жизнь“.

Также очень характерно объявление, выпущенное 3-го сентября 1916 года семиреченским губернатором, хорошо выявляющее Русский Туркестан:

„Киргизы! Два месяца тому назад государь император издал манифест о призвании вас на работы в тылу действующих армий за хорошую плату. Вместо того, чтобы исполнить волю царя, вы, послушав подговор злых людей, совершили неслыханное дело: после 50-летней мирной жизни под властью

белого царя, вы с оружием в руках бросились, как звери, на мирных жителей, занялись убийствами и грабежами и, мало того, осмелились даже вступить в бой с посланными на усмирение войсками.

Что же от этого произошло?

Поля брошены, скот разбежался без хозяев, а хозяева прячутся в горах и степи. Многие из вас со злым умыслом, с оружием в руках последовали за бунтовщиками, побрасав на произвол судьбы даже семьи свои. Неужели думаете, что у русского царя не хватит войск, чтобы наказать виновных? Войска пришли — придут, если понадобится, еще и везде достанут виновных. На Китай не надейтесь — там вас не принимают, а если кто проскользнет туда самовольно, то у русского царя найдутся средства заставить потом выдать всех беглецов.

Опомнитесь, безумцы, пока не поздно, немедленно исполните требования начальства, которые таковы: сейчас же изъявите покорность, выдайте всех действительных зачинщиков, подстрекателей и участников нападений, имена которых мне всё равно известны, сползайте с гор и песков и возвратитесь к мирному труду. Равно представьте приговоры о назначении рабочих. Повторяю еще раз: вас не берут в солдаты, а на работы в тылу. С покорностью следует являться особыми депутациями от каждой волости к уездному начальнику или участковому приставу. Для этой цели, а также для представления приговоров о наряде рабочих, назначаю последний срок 10 октября с/г., после будут приняты самые решительные и суровые меры.

Предупреждаю, тогда никому пощады не будет".

Во время большого религиозного мусульманского праздника (18 июля и след.) администрация доносит, что нет обычного оживления: эти дни совпали с работой карательных отрядов, и вместе с их работой сейчас же среди войск отмечаются различного рода мародерства. 2-го августа ходжентский уездный начальник в рапорте указывает на „пошаливающих“ солдат батальона, расположенного в Ходженте. Они забираются в сады и огороды, требуют бесплатно угощения в чайханах, останавливают проходящих мусульман, требуют денег и т. п.

Это мародерство, конечно, в значительно более крупных размерах, чем об этом свидетельствовали официальные данные, продолжалось много месяцев и после окончания событий.

В Семиреченской области, еще до прихода карательных отрядов, на местах — в пунктах, где оставалось европейское население, хотя бы осажденное восставшими киргизами, в ответ на уничтожение русских — начинаются жестокие избиения мусульман.

В г. Пржевальске происходят массовые убийства киргиз и дунган после разгрома русского населения в уезде. 15-го августа к Пржевальску подходил отряд войск, под его прикрытием ехало много туземцев — торговцев с Каркаралинской ярмарки (в Пржевальском уезде). Часть отряда ушла вперед, и когда оставшая, в 9 верстах от города, около селения Тепло-Ключинское переходила мост через речку, русские крестьяне, вооруженные пиками, пал-

ками и ружьями, пропустив вперед солдат и татар, напали на киргиз узбеков, устроив кошмарное избиение. По официальному докладу было убито более 500 человек.

Карательные суды привлекают массу „преступников“, но большей частью обвиняемые себя виновными не признают. Повидимому, во-первых, часто привлекались в суду на основании непроверенных доносов, затем возможно, что подсудимые считали для себя более удобным не признавать своего участия, так как доказательствами у суда являлись, в большинстве, общие фразы и общие указания очень неглубокого обвинительного содержания. Но, кроме того, в полном отрицании вины — мог заключаться и некоторого рода революционный характер непризнания карательного суда и сознания страдания за правое дело. В делах много прошений о помиловании. Все они, конечно, однообразного казенного характера. Для иллюстрации ниже приводится одно из них:

„Его Высокопревосходительству Господину Туркестанскому генерал-губернатору

жительницы селения Барданги
Язизаванской волости, Скобелев-
ского уезда, Бусали Бекбутаевой

ПРОШЕНИЕ.

Приговором временного Военно-Окружного Суда, состоявшимся 1-го сего декабря в г. Скобелеве, по обвинению в соучастии в беспорядках из-за рабочих, сыновья мои: Магомеджан и Исламбай Худайберды Ходжаевы приговорены — по лишении всех прав состояния — к смертной казни через повешение, не входя в суждение вопроса о виновности или невинности осужденных, он предрешен, но одно лишь — припадая к стопам Вашего Высокопревосходительства, взывая о милосердии, всепокорнейше прошу, ради своих 13-ти малолетних внучат, детей осужденных, у Магомеджана 8 и Исламбая — 5 человек, смягчить наказание моим детям.

2/хп-16 г. Прощение подать доверяю

г. Скобелев. За неграмотностью

(Смертная казнь была заменена 15-тью годами каторжных работ).

Надо отметить, как массовое явление, замену вновь назначенным генерал-губернатором приговоров судов более легкими наказаниями. Смертная казнь заменяется — 10, 4 годами каторжных работ, есть случай замены 20 лет каторжных работ 12-тью месяцами ареста и т. п. Повидимому, было соответствующее распоряжение из центра.

В результате карательных действий одного джизакского отряда в уезде (по официальным данным) уничтожено совершенно — 24 кишлака, 11 кишлаков от $\frac{1}{2}$ до $\frac{3}{4}$, четыре в третьей части, частично — 11. Всего пострадало — 50 кишлаков. Туземцев, по официальным источникам, убито во время

Джизакского восстания 958 ¹⁾). Потери в войсках, повидимому, были очень незначительные.

Некоторые данные из результатов восстания в Семиреченской области таковы (годовой отчет губернатора): нападению подверглось 94 русских селения, сожжено и разрушено 5373 двора, ранено 684 человека, убито 1905, без вести пропало 1105 (часть из них затем были обнаружены уведенными восставшими в пределы Китая). В войсках убито офицеров — 3, рядовых — 53, пропало без вести — 77, ранено — 41.

По всему Туркестану русских было убито — 2325, пропало без вести 1384. Разорено около 9000 хозяйств. Количество погибшего местного населения неизвестно, но оно очень велико (несколько десятков тысяч). К 1 февраля 1917 г. было присуждено к смертной казни — 347 человек, к каторжным работам — 168, к исправительным арестантским отделениям — 228 и к тюремному заключению — 129. В конечном итоге было подвергнуто смертной казни — 51 человек.

В середине августа новый генерал-губернатор, назначенный в конце июля, признает следующие причины всего происшедшего:

„Исследование настоящего дела показало: 1) спешность, проявленная при призыве, породила толки о призыве инородцев в войска для боя, 2) срок призыва оказался несогласованным с хозяйственными занятиями, что вызвало тревогу за сбор урожая и подготовку пашни, 3) при производстве разверстки допущена неравномерность, 4) не были выяснены для рабочих условия работы“...²⁾

Трудно более конкретно осудить всю политику призыва на работы, чем это сделано лицом, возглавлявшим Русский Туркестан, не выходя из рамок существовавшей „государственности“. Тогдашней России государственная власть сама изрекла здесь по всем пунктам обвинительный приговор в отношении одного из самых ответственных шагов, сделанных в один из наиболее серьезных моментов, и притом на одном из главных „ударных“ заданий прошлого — колонизации.

С сентября 1916 г. до февраля 1917 г. происходила отправка эшелонов рабочих. Всего было взято — 120.000 человек, предполагалось же сначала реквизировать 250.000. Выполнить план полностью помешали — сначала морозы, а потом — Февральская революция.

В одном из архивных дел б. канцелярии генерал-губернатора есть сообщение агента-мусульманина, посланного в кишлак Хайрабаты Джизакского уезда, от 5-го января 1917 года. Он докладывает: „Население настолько пострадало от бывшего карательного отряда и настолько напугано, что не только говорить о каких-либо нападениях, но и думать об этом боится. Все неприятности, которые им и теперь приходится переносить от железнодорожных рабочих и охранных солдат (воровство домашних вещей и мелкого скота), они

¹⁾ Действительная цифра, вероятно, около 5.000 чел.

²⁾ Эти четыре пункта были помещены в проекте приказа, опубликован же был он без них.

переносят безропотно, даже не заявляя жалоб чинам администрации, во избежание каких-либо недоразумений... Бывшие местные баи в кишлаке в настоящее время представляют из себя не баев, а нищих, разоренных в конец, благодаря бывшим беспорядкам". Это сообщение, конечно, верно; в настроении жителей должны были быть указанные агентом черты: масса была напугана, издергана карой, боялась хоть чем-нибудь навлечь на себя гнев власти и с полным, присущим ей фатализмом переносила все тяжести. Солдаты же карательных отрядов понимали настроение забитости, подавленности населения и всецело использовали его для различного мародерства.

Еще более подавленное настроение создавали возвращающиеся по болезни, призванные рабочие. Кокандский уездный начальник в докладе от 2-го марта 1917 года сообщает:... „Только не внушают доверия рабочие, вернувшиеся с работ вследствие болезни; они рисуют населению всё или выдуманное в довольно мрачных красках. Главным образом, высказывается недовольство пищей, а также непривычкой к довольно холодному климату Европейской России.“

Можно только удивляться, когда еще и в январе 1917 года попадают рапорты и доклады, говорящие о том, что к „русской администрации туземное население относится с уважением за справедливое и гуманное к нему отношение, почему и память о своей независимости не возобновляет,“ и совершенно верны доклады с противоположным содержанием, как например джизакского уездного начальника, от 28-го января 17 г.: „Теперь народ замкнулся и готов перетерпеть всё. В особенности та часть уезда, которая так или иначе принимала участие в движении... Во всяком случае, теперь не может быть речи о доверии, и все патриотические манифестации туземцев я лично считаю фальшивыми“.

Между тем, вследствие сильных морозов, с 1-го февраля прекращается временно отправка дальнейших эшелонов, затем приходит — революция. 12-го марта командующим войсками Туркестанского края издается приказ о прекращении отправки впредь до особого распоряжения и, наконец, распоряжение Временного Правительства аннулирует „царскую волю“ и возвращает мобилизованных по домам.

Так закончился характернейший факт колониальной политики царской России и царского Русского Туркестана.

В заключение еще один штрих.

В Государственной Думе, в заседаниях 13 и 14 декабря 1916 года, по инициативе группы прогрессистов, обсуждались туркестанские волнения, и Дума единогласно приняла запрос правительству „о событиях в Туркестане“, который гласил:

„Государственная Дума неоднократно указывала правительству на ненормальность того положения, при котором инородцы Средней Азии и Кавказа не несут воинской повинности... Гос. Дума требовала, чтобы в эту войну и инородцы, наравне со всеми гражданами русского государства, несли тяжелую и почетную повинность крови... Однако, оно привлекло инородцев не к не-

сению воинской повинности, а только к работам по обороне, при которой инородцы ставятся в относительно безопасное положение по сравнению с теми, кто призывается под ружье на фронт.

Правительство смело и самоуверенно взяло на себя ответственность за проведение указанной меры без участия законодательных учреждений. Последующие события показали, что правительство, в лице министров военного и внутренних дел, оказалось бессильным справиться с обстоятельствами, осложнявшими проведение в жизнь этих важных государственных мер. Они проявили невероятную небрежность и преступное легкомыслие в исполнении возложенной на них указанной обязанности. Было приступлено к призыву инородцев без предварительного издания каких-либо правил... Министры, которые позволили себе, до выработки вышеозначенных правил, сделать распоряжение о проведении в жизнь высочайшего повеления, совершили незаконность, бездействие и превышение власти...

Общезвестно, что допущенные при исполнении указа бездействие и превышение власти повели к тяжчайшим последствиям... Подавление смуты принесло государству тяжелые материальные и моральные жертвы...

В опасных и незаконных действиях мы усматриваем тяжкое преступление министров... На основании ст. 33 положения о Государственной Думе мы обращаем наш вопрос председателю совета министров, министру внутренних дел, военному — следующего содержания:

1) известно ли председателю министров, министру внутренних дел и военному, что, привлекая мужское инородческое население к работам в тылу — без участия Государственной Думы в решении этого вопроса, они нарушили ст. 46 — 48 устава о воинской повинности и статью 96 основных законов, они не исполнили пункт 2-й высочайшего повеления от 25-го июня 1916 г., предписывающий издание подробных правил.

2) Министру юстиции запрос, на каком основании он допустил опубликование незаконных мероприятий, а затем не возбудил уголовного преследования против виновных лиц в превышении и бездействии власти.

3) Если названным министрам изложенное известно, то какие меры ими приняты для восстановления поправной законности в управлении?

Здесь можно поставить точку: преступное правительство, бессильная Дума и жестокое кровопускание населению. Заботливая история преподнесла этот трафарет прошлого и далекому Туркестану, чтобы и он оказался подготовленным к приходу революции.

А. Миплашевский.

Леонид Николаевич Андреев.

Из воспоминаний.

I.

Он был испуганный. Темный испуг, страх перед жизнью жили в душе его и мрачным покровом окутывали пред ним жизнь.

Таким родился он. В нем был испуг того древнего-древнего человека, человека без огня, который стоял необороненный перед необъятной страшной природой и в ком было заложено противоречивое и непримиримое — зверь и человеческая совесть, инстинкт и мысль, пред кем испокон веков вставали загадки жизни, повелительно звавшие к себе, смутные, непонятные, страшные своей тайной и загадочностью.

Он не прошел у людей, этот древний испуг и, как далекий отзвук, как древнее переживание, стоит он пред нами, людьми других веков, людьми знания — страх перед грозой и бурей, пред темной ночью, перед снами, перед числами, — и у людей, в ком меньше веры и больше знания, быть может, еще больший испуг перед всё более усложняющейся неразгаданностью жизни — тот испуг, что сует в руки человеку веревку, револьвер, чтобы уйти ему от жизни.

Люди рождаются светлыми, ясными, — сияющими Пушкинными и ослепительными, как снег на вершинах гор, Гёте, рождаются и сумрачными, полными темного страха, Эдгарами По, „Леонидами Андреевыми“.

И Россия никогда не была страной веселья, неомраченной радости жизни, не она могла рассеять страх в душах сумрачных людей. Россия, где сумерки гуще, где ночи длиннее и темнее, где тропы еще не протоптаны и пути не искожены, жизнь смутнее и загадочнее...

И в сумерки общественной жизни протекали юность — время складывания личности — Леонида Андреевна, когда волна идеалистического народничества снизилась и не поднималась еще во всем объеме новая идеалистическая волна.

Был в нем и русский испуг. Тот испуг, что встает первым лепетом ребенка: „Мама, боюсь“, русский испуг, который из Чехова, жизнерадостного, жадного к жизни человека, сделал хмурого человека, который сбросил Гаршина в пролет лестницы, который изувечил и погубил многих, многих русских писателей...

II.

Литературная жизнь Леонида Николаевича сложилась на редкость удачно. Уже сразу после „Жили-были“ он был признан большим талантом, надеждой русской литературы. Он рано стал желанным и жданным сотрудником журналов и альманахов, его книги сразу хорошо пошли, материальная нужда не висела над ним. Счастлива была его личная жизнь, — с ним была нежная и умная жена, так хорошо понимавшая Леонида Николаевича, умевшая думать с ним; был Дима мальчик, а сумрачная морщина рано залегла между бровями и врезывалась всё глубже и глубже.

Я знал Андреева и в этот период его жизни — он и тогда не был настоящему веселым, радостным, неомраченным. Всё пугало его. Ничтожные житейские мелочи разрастались у него в грозящие беды. Он рассказывал мне про свои юные страхи, дикие нелепые испуги, темные полосы его юной жизни.

Заболел ребенок его, Дима. То был обыкновенный летний детский понос, болезнь протекала без всяких осложнений. Я через день ходил к нему из Ялты лечить ребенка в тот чудесный маленький домик на самом берегу моря, под Никитским садом, где мы устроили его, — и всякий раз он ждал меня тревожный и испуганный и уже на пороге сообщал мне свои страшные предположения. И когда я слышал его и говорил, что всё идет хорошо и что он выдумывает несуществующие страхи, он криво улыбался и говорил о глазах ребенка, которые по его мнению потускнели, о чрезмерной будто бы худобе ребенка, о вздрагиваниях ночью.

Наконец, он сам пришел ко мне в Ялту заявить, что Дима совершенно здоров, но у него не было радостного лица, и я видел, что он чем-то озабочен. Оказалось, что он накануне ушиб ногу, и у него болело колено.

— С. Я., это не туберкулез?

Я снова стал стыдить его за его страхи, он улыбался своей бледной, неуверенной улыбкой и сказал:

— Я пошутил.

Я знал, что он не шутил, знал, что он продолжал думать о туберкулезе, когда прошла всякая боль в колене.

III.

Темный испуг, смутный страх, сумерки были в душе его... Не Чеховские задумчивые сумерки уходящего дня, а густые и плотные сумерки надвигающейся ночи, когда предметы теряют дневной облик и встают уродливо в смутных очертаниях, когда человеку кажется...

Домик, в котором он устроился в Крыму, был, повторяю, чудесный. Плескалось море у ног, ласковые невысокие горы замыкали горизонт. Стояло чудное крымское лето. Ярко цвело и нежно пахло, зрел зеленый виноград

у самого дома. Леонид Николаевич всё бранил Крым. Бранил гордый великолепный камень крымских скал, и строгие кипарисы, и многоветвистую магнолию с огромными белыми пахучими цветами. Да, было море. — „Ну что же море...“ — равнодушно отвечает он мне, когда я указываю ему на ослепительное, сиявшее, чуть плескавшееся у берега июльское опалово-молочное море.

И только раз я застал его видимо захваченным этим морем. Я шел к нему берегом и еще издали увидел его сидящим на высоком камне, вдвинувшемся в море, и неистовно смотрящим в морскую даль. Мне долго пришлось обходить наваленные на берегу громады камней. Л. Н. всё оставался в той же позе. Выпал сумрачный день, тяжелые облака покрыли небо, море было, как темная сталь, и огромные с белыми гребнями валы шли друг за другом, бились об утес и глухо рокотали в узких проходах между камнями.

Он обернулся на мой зов и ничего не ответил, глубокая морщина лежала на лбу. Но когда я заговорил о красоте Крыма, он стал рассказывать мне о волнующихся ровными хлебами орловских и московских полей, о тихой радости летних облачных дней, а потом о милых осенних дождичках, о наглухо замаванных двойных рамах, когда так спокойно, так тихо, так думается, так пишется...

И часто потом возвращался к той же теме, и я понял, что ему мила тихая радость русского лета, родные серые сумраки осени, и что ему чужда и непереносима буйная радость южного берега, что ему слишком светло в ярком Крыму.

И дом себе, постоянное жилье, выстроил он в Финляндии, в стране туманов, бледного вереска, корогатых далей, выстроил он на суровой глинистой почве, — тяжелый и мрачный дом с толстыми стенами, полутемный, с малыми для дома окнами.

Не было юмора в писаниях Андреева, и остроты, которые изредка писал он в письмах, были тяжелые, не веселые. Я видал его в обществе веселых, смеющихся людей. — Леонид Андреев никогда не смеялся открытым громким смехом, каким смеются неомраченные люди, только беглая, бледная улыбка кривила губы, — никогда не хохотал он.

Ходил он всегда в черной поддевке и из художников больше всего любил он мрачного Гойю и при мне начал разрисовывать стены своего сумрачного дома под Гойю.

Л. Н. много рассказывал мне о своей юности. И от него и от близких ему людей я знал, что мысль о самоубийстве рано встала перед ним, — раз он стрелялся, другой раз лег под поезд — и поезд прошел над ним и случайно не раздавил его, и что он рано начал пить и много пил. Когда я его знал он редко пил, — за всё время знакомства я только раз видел его пьяным, — но когда начинал, — пил старым русским тяжким запоем целыми сутками, не останавливаясь днем и ночью, без сна. И не давало ему веселья вино, — мрачное настроение повисло над ним, случалось — начинал буйствовать, бил, что попадало под руки.

VI.

Известны слова Л. Н. Толстого об Андрееве: „Он хочет напугать, а мне не страшно“. Андреев не хотел пугать — он сам был испуганный. Он „пугал“ людей не потому, что попал на зарубку, нащупал тему, которая имела успех, которую выгодно было использовать, а потому, что в нем самом был испуг, в нем сидел страх перед жизнью, его собственная душа окутана была темным, мрачным.

Его избранной темой было то темное, жестокое и загадочное, что было в человеческой жизни. Борьба в человеке человека и зверя, звериного инстинкта и человеческой мысли, загадки жизни противоречивые, вечно неразрешимые, мучительно страшные. И нужно договаривать до конца, нужно откопать в человеке то древнее, стихийное, страшное, — отзвуки дальнего, — что лежит в глубокой глубине человеческой души, время от времени вырывается в нем, ломает временное, наносное, внешнее и толкает его внезапно на уродливо ужасное.

Здесь Леонид Андреев чувствовал себя дома, здесь целиком отдавался своему таланту. Так вставала перед ним жизнь, так казалась ему жизнь

Да, он писал и про нежное, ясное, ласковое, находил „ангелочка“ в жизни. Но скоро поблекли светлые пятна жизни, завяли цветы ее, и чем дальше, тем больше нежное, светлое, радостное всё сокращалось в его рассказах — и всё больше встало мрачное и жестокое, и то бледное, ясное и светлое, казалось, было нарисовано только затем, чтобы оттенить темное и страшное. Леонид Андреев нашел себя.

„Так было с юности, — я любил рисовать рожи“, — пишет он в своей автобиографии, — с первых дней, шагов его литературной деятельности.

Я познакомился с Леонидом Николаевичем у Н. Д. Телешева, — это было вскоре после женитьбы Л. Н. и громкого успеха его рассказа „Жили-были“. За обедом мы сидели рядом, Л. Н. рассказывал мне, что он работает над большой драмой — кажется, предполагалось в 4-х действиях, — где темой была любовь брата и сестры, половая любовь.

Я был под обаянием его великолепного рассказа „Жили-были“, такого целостного и художественно-гармонического — думаю, не ошибусь, если скажу единственного его рассказа, где ровно положены свет и тени, — и я начал уговаривать Л. Н. отказаться от рискованной и экстравагантной темы. Он слушал серьезно, когда я говорил ему о том, что особенно ценно в „Жили-были“, но продолжал настаивать, что его теперешняя тема законна, что он целиком во власти ее и не откажется от нее.

Характерно, что уже и в этом прекрасном рассказе „Жили-были“ тема — болезни и смерти и „белый налив“ и солнышко только оттеняют и подчеркивают смертельный испуг, нависший над дьяконом и толстым купцом. А потом — чем дальше, тем больше.

Леонид Андреев нашел себя.

Появляются „Молчание“, „Бездна“, „В тумане“, „Жизнь Василия Фивейского“, „Жизнь человека“ и т. д. и т. д.

Идут на прогулку юноша-студент и семнадцатилетняя нежная девушка, идут влюбленные друг в друга, первой, самой светлой, робкой, невысказанной любовью. Разговор у них был ясный, задушевный и тихий... и был всё об одном — о силе, красоте и бессмертии любви. Леониду Андрееву нужно, так ему кажется, чтобы у этого чистого юноши вдруг проснулся дикий звериный инстинкт и чтобы он изнасиловал свою любимую девушку, изнасиловал после того, как надругались над ней трое разбойников. Нужно было, чтобы другой юноша с губами „чистыми и милыми, как у молоденькой девушки“, пришедший первый раз к проститутке, вонзил ей нож в живот. Нужно чтобы материнский инстинкт жены Василия Фивейского вырывался из нее воплем, криками, бешенством.

Л. Андрееву нужен, стоит перед ним „некто в сером“, тот бесстрастный и холодный, который держит в своих руках вспыхивающую и потухающую свечу жизни, Анатема, Иуда, нужно поднять из могилы Елеазара.

Даже винт („Большой шлем“), такой веселый у Чехова, оканчивается у Андреева смертью. И четыре из пяти его „Иронических рассказов“, так прозванных по андреевской иронии, имеют темой разного вида смерти. И наиболее подчеркнут из них тот случай, когда вешают человека в бальном костюме, в котором захватили его, как заговорщика, подчеркивается впечатление, что повешенный как будто танцует на виселице.

Характерен рассказ „Елеазар“. Елеазар три дня пробыл в могиле и воскрес. Но смерть осталась на лице его, страшное загадочное смотрело из его глаз. И под этим взглядом смех замирает на губах его друзей, под этим взглядом гибнет радость и веселье людей, ванут молодые жизни юношей и девушек, жадный к красоте мира римский художник перестает видеть красоту и радость жизни и отказывается от своего искусства, — под этим взглядом меркнет и гаснет всё живое и светлое...

Нельзя не прибавить, что многие мрачные его рассказы писались им в тот счастливый, неоправданный период жизни, когда всё улыбалось ему, семейное счастье, слава, свобода от материальных забот, — до смерти его первой жены¹⁾.

V.

Л. Н. любил бывать в обществе, любил собирать у себя знакомых, любил читать свои произведения до их напечатания в среде близких людей. И, думаю, никто так жадно и ревниво не следил за журнальными и газетными отзывами о его произведениях. Но Леонид Андреев заглянул в глаза Елеазара.

Кругом него билась жизнь с ее днем и ночью, светлым и темным, с ее надеждами и разочарованиями, радостями и печалами, с ее светотенями, спадая и вздымаясь шире волны общественного движения, громко и настойчиво звали к себе мудреные загадки русской жизни — Леонид Андреев шел мимо

¹⁾ Леонид Николаевич писал мне из Берлина, где умерла его жена, как тяжело переживал он там эту смерть.

текущей жизни, шел как-то сбоку, отстраняясь, словно боясь, не желая, чтобы она задела его.

Его влекло к себе не сегодняшнее, а всегдашнее, не текучее, изменчивое, а коренное, извечное, исконно неизменное, — то что „так было, так будет“, — и именно извечно-жестокое, тайное, темное и страшное, что есть в жизни.

Он хотел понять смысл жизни и, испуганный этим смыслом, уже не мог уйти от своей темы, как не может улететь птица, зачарованная глазами очковой змеи, не мог вернуться к простому и гармоничному „Жили-были“.

Он писал в автобиографии: „Натуру я не любил и всегда рисовал из головы“. Так и писал он. Не из натуры, не из жизни, которая билась кругом него, а из головы, из сумрачных переживаний своей души. Да, „натура“ и врывается в его душу, и он отзывался на текущую жизнь. Отзывался, когда это было созвучным ему, когда совпадало с его настроением. Он отзывался на войну „Красным смехом“, но потому, что там было извечное, а не текучее, и там были раны, кровь — много крови — смерть, ужас. Он отзывался на текущие „бытовые явления“ русской действительности и написал превосходный рассказ „Семь повешенных“, но потому, что там был ужас, там было страшнее ран, крови, смерти на войне.

Случайно мне приходилось наблюдать, как зарождались некоторые темы у Леонида Андреева. Помню, как-то раз в том же домике над морем под Никитским садом я застал Л. Н. особенно оживленным, и он встретил меня словами:

— Ну, С. Я., вчера я на войне был. И написал рассказ, большой рассказ из войны... Да, да, вы не смейтесь. Вот увидите. В голове у меня уже всё готово.

Оказалось, что накануне, когда турки рвали по соседству скалу, взрывом тяжело ранило одного из турок, которого окровавленным пронесли на носилках мимо домика Андреева.

Этого было достаточно для того, чтобы зародился „Красный смех“. Это сразу захватило Л. Н., отодвинуло другие темы, и через 3 — 4 месяца, когда я проездом в Петербург остановился в Москве у него в Грузинах, рассказ был уже написан. Было очевидно, что он был весь в рассказе и продолжал волноваться им. Я приехал в его отсутствие, Л. Н. поздно возвратился домой, я лежал уже в постели, и он тотчас же принес мне уже переписанную, готовую к печати толстую тетрадь, и так как мне нужно было на другой день рано вставать, настойчиво просил меня непременно сейчас же прочитать „Красный смех“. Мне пришлось прочитать его ночью, утром я ему сказал свое мнение, а Л. Н. рассказал мне, что, кроме раненого турка, его знакомство с войной почерпнулось из газетных корреспонденций и личных рассказов одного из вернувшихся с войны знакомого корреспондента.

Другой раз, как-то в Озерках, под Петербургом, у меня обедали Горький и Леонид Андреев. Не помню по какому случаю, за обедом зашел разговор о литературном творчестве, о писательских темах. Я сказал, что жизнь часто создает свои повести и романы интереснее писательских, и в подтвержде-

ние вынул из кармана вырезку из „Русских Ведомостей“, где репортер сообщал, что во время какого-то судебного дела одна из свидетельниц отказалась принять присягу, заявив, что она проститутка, нечистая, и потому недостойна целовать крест и евангелие.

После обеда мы играли в крокет. В перерыве Л. Н. отозвал меня в сторону и убедительно, с его особой настойчивостью, стал просить меня уступить ему эту тему.

Я чувствовал, что тема захватила его, знал, что здесь он будет в своей стихии, и отдал ему газетную вырезку. Так появилась его „Христианка“.

Не к солнцу были обращены глаза Леонида Андреевна. И не к радости жизни легло сердце его.

VI.

Пришло время — и „нынешнее“ ворвалось к нему, грозное и гневное. Леонид Андреев испугался последним смертельным испугом. И не хватило у него сил пережить этот последний испуг.

С. Елпатьевский.

Как ушла артиллерия из Зимнего Дворца.

(25-го октября 1917 года).

Чтобы были понятны мои действия 25 октября 1917 г. в Зимнем Дворце во время его осады восставшими рабочими и солдатами Петрограда, я должен сделать небольшое вступление.

Во время наступления ген. Корнилова на Петроград в августе месяце 1917 г. я пошел в штаб командующего Петроградским округом и предложил свои услуги для организации авиационной разведки. Мое предложение было отклонено, а было приказано отправиться в Михайловское Артиллерийское Училище. Я запротестовал, говоря, что я летчик и с артиллерийскими вопросами не знаком.

Комиссар временного правительства Филоненко настаивал, чтобы я ехал к юнкерам, говоря, что, если хочу „защитить революцию“, то должен делать, что предлагают, и отправиться в качестве комиссара в Михайловское Артиллерийское Училище. Пришлось подчиниться. В училище юнкера пели „боже, царя храни“ и кричали „да здравствует белый генерал“.

Стоявших у орудий юнкеров-монархистов я заменил юнкерами-социалистами и солдатами из команды училища, и корниловцы присмирели.

По окончании корниловской авантюры я хотел ликвидировать свое „комиссарство“, но группа юнкеров-социалистов и, главным образом, солдаты обратились в Петроградский Совет и штаб округа с ходатайством об оставлении меня. Мне было предложено остаться в училище.

Офицерский состав также не возражал против этого и даже часто обращался ко мне за разъяснениями по политическим вопросам.

Так продолжалось до Великих Октябрьских дней, когда Петроградский Совет отдал свой знаменитый приказ о подчинении петроградского гарнизона Совету, а не командующему округом.

В училище начались волнения. Все юнкера, около 300 человек, заявили категорически, что будут защищать временное правительство. Команда солдат при училище, тоже человек 300, стояла за Совет.

Среди офицерского состава была полная растерянность. Спрашивали меня, что делать. Зная, что юнкера будут драться против Советов, я повел среди офицеров разговоры о том, что юнкера — дети, их надо беречь, а за временное правительство должен сражаться „сам народ“. Короче говоря, из двух зол надо было выбирать меньшее, и я агитировал за „нейтралитет“.

Две батареи училища еще недели за две до Октябрьских дней были поставлены в Зимнем Дворце для охраны временного правительства. Юнкера ежедневно ходили во Дворец для караульной службы.

Наконец, настало 25 октября. К вечеру войска Советов тесным кольцом окружили Зимний Дворец, где находилось временное правительство. Я решил пойти в Зимний Дворец и вывести оттуда артиллерию. Мне довольно легко удалось пробраться до дворцовой площадки, откуда и свободно прошел в Зимний Дворец. Было около 7 часов вечера. Стоял обычный петроградский туман, временами накрапывал дождик. Артиллерия помещалась во внутреннем дворе. Кроме 2-х батарей Михайловского Артиллерийского Училища другой артиллерии там не было.

Курсовые офицеры, командовавшие батареями, встретили меня с радостью и стали расспрашивать, что происходит в городе. Они ничего не знали, так как с раннего утра были отрезаны от внешнего мира. Я им передал о переходе на сторону Советов всего петроградского гарнизона, добавив, что всякое сопротивление ни к чему не приведет, а будет только бесполезным и напавшим кровопролитием.

Отведя в сторону старшего курсового офицера кап. Братчикова, командовавшего всей артиллерией, сказал ему, что начальник училища приказал юнкерам с орудиями отправиться в училище и не участвовать в защите временного правительства. В действительности такого приказа не было. Кап. Братчиков объяснил мне, что юнкера откажутся покинуть Зимний Дворец, так как незадолго до моего прихода состоялось общее собрание частей, находившихся во Дворце, на котором по инициативе юнкеров Михайловского Артиллерийского Училища было предложено желающим немедленно покинуть Дворец, чтобы оставшиеся могли учесть свои действительные силы.

После этого собрания некоторые колебавшиеся части покинули Зимний Дворец, а оставшиеся группировались вокруг юнкеров Михайловского Артиллерийского Училища, как наиболее стойких защитников временного правительства. К тому же все возлагали главную надежду на артиллерию. Других артиллерийских частей, как я уже упоминал, в Зимнем Дворце не было.

Кап. Братчиков был одним из наиболее интеллигентных офицеров и считался социалистом. Он соглашался со мною, что лучше всего юнкерам уйти из Зимнего Дворца, но снова повторил мне, что при создавшемся положении, когда юнкера Михайловского Артиллерийского Училища являются наиболее воодушевленной частью, уход из Зимнего Дворца он считает невозможным.

После этого разговора мы вышли в комнату, где помещались офицеры других частей. Меня стали опять расспрашивать о событиях в городе. Из разговоров с офицерами я узнал, что временное правительство всё время вело переговоры со штабом Северного Фронта о присылке с фронта подкреплений для борьбы с Советами.

Офицеры с иронией говорили, что из городской телефонной сети Дворец был выключен, но большевики забыли повредить прямой провод со штабом Северного Фронта. Настроение у них было бодрое. Говорили, что до утра

продержатся своими силами, а к тому времени подойдут свежие части из Пскова.

Создавшаяся обстановка еще больше убедила меня в необходимости ухода артиллерии из Зимнего Дворца.

Тогда я предложил кап. Братчикову следующий план: отдать юнкерам приказ вывести орудия на Дворцовую площадь, не говоря о дальнейших действиях, а когда всё будет готово, на Дворцовой площади, от имени начальника училища объявить приказание ехать в училище.

Кап. Братчиков согласился с моим предложением и отдал распоряжение, как было условлено. Юнкера стали быстро собираться и впрягать лошадей, но кто-то пустил слух, что это делается, чтобы ехать в училище.

Из штаба временного правительства потребовали Братчикова для объяснений. Взволнованный, он подошел ко мне, спрашивая, что делать. Я посоветовал передать через юнкеров, что его не могут найти. Юнкера стали волноваться и, окружив меня, требовали объяснений. Я сказал, что действую согласно указаний начальника училища и никаких объяснений давать не намерен. Мне пришлось сказать небольшую речь, в которой я требовал исполнения приказа, а не митингования, которое „недостойно юнкеров“.

Юнкера молча разошлись и стали седлать лошадей. В это время пришел дежурный адъютант и, найдя кап. Братчикова, предложил ему пойти для объяснений в штаб.

Оставшись один, я стал торопить юнкеров. Братчиков вернулся бледный, взволнованный, и передал мне, что в своих объяснениях он ссылаясь на меня. Посланный офицер штаба стал разыскивать меня. Было уже темно, и я спрятался во дворе.

Вскоре юнкера, сев на лошадей, с орудиями стали выезжать на Дворцовую площадь. При последнем орудии шла лошадь, приготовленная для меня. Видя, что батареи двинулись, я пошел к приготовленной для меня лошади, чтобы сесть верхом и уехать с остальными. Но здесь юнкера, завидя меня, указали разыскивавшему меня офицеру штаба. Пока подходил ко мне офицер, я успел сесть на лошадь. Он стал меня спрашивать, кто я такой и на каком основании распоряжаюсь. Моя лошадь оказалась норовистой и все время „танцевала“ подо мной. То сдерживая, то пуская лошадь, я делал вид, что не могу справиться с лошадью. На вопросы старался не отвечать или отвечал, что я сам плохо понимаю, что тут происходит, стараясь поскорее выехать на Дворцовую площадь. Выезжая из ворот Зимнего Дворца, я был в конце колонны последней батареи. Артиллерия рысью направлялась через площадь к арке на Морскую улицу. Я ехал, сбивчиво отвечая на вопросы дежурного офицера. Последний всё больше и больше волновался и, видя, что артиллерия рысью уходит на Морскую улицу, схватил мою лошадь под уздцы и, наставив на меня револьвер, объявил, что я арестован. Подбежавшие юнкера других училищ окружили меня. Я слез с лошади и пошел, окруженный юнкерами, вовнутрь Дворца, надеясь как-нибудь скрыться в саду или в надворных постройках.

Юнкера, однако, шли рядом со мною и расспрашивали, почему ушла артиллерия. В это время к толпе окружавших меня юнкеров подошел Станкевич, бывший верховный комиссар Ставки. Юнкера с шопотом „Станкевич, Станкевич“ расступились. Ко мне подошел Станкевич с несколькими офицерами. Со Станкевичем я не был знаком и знал его только по фотографиям. „Здравствуйте, тов. Станкевич“, сказал я, направляясь к нему и протягивая руку. Возмущаясь, я стал протестовать, почему меня арестовали и угрожают револьверами. Видя, что мой маневр удался, я стал выражать еще большее „негодование“ по поводу произошедшего. Станкевич растерялся, стал говорить, что по поводу произошедшего затребует объяснений в штабе. Он повернулся и ушел в штаб.

Отношение юнкеров ко мне после обмена рукопожатий со Станкевичем и нашего разговора переменялось. Со мною стали почтительнее и револьверами больше не угрожали.

Тем не менее я видел, что спрятаться внутри Дворца невозможно, юнкера наблюдали за мною. У меня созрел другой план. Нервно шагая у ворот, где группа юнкеров делала из дров баррикады, я, обратившись к юнкерам, наблюдавшим за мною, сказал, что пойду сам объясняться в штаб округа. Там, в то время, организовался штаб обороны временного правительства. Юнкера расступились, и я, выйдя из ворот Дворца, пошел через Дворцовую площадь по направлению к зданию штаба округа. Уже было после 9 часов вечера. Пройдя шагов 120—150, я услышал за собою шаги. Первая мысль была, что это погоня. Обернувшись в темноте, я не мог различить, кто шел. Стараясь не бежать, я еще быстрее зашагал к зданию окружного штаба. У подъезда штаба стояло много автомобилей; пробираясь между ними, я обогнул штаб и пошел по набережной Мойки. В темноте меня окрикнули. Я остановился. Ко мне подошли два солдата-гвардейца с винтовками. — „Откуда идешь?“ — „Из Зимнего Дворца“. — „Вот этих нам и надо“. — „Вы советский?“ — „Да, мы стоим за Совети“. Под конвоем меня провели в казармы Павловского полка, где находился штаб, руководивший осадой Зимнего Дворца. Было около 10 часов вечера.

Там я встретил своих товарищей по военной секции Петроградского Совета, и мы стали делиться новостями о последних событиях.

К 12 часам ночи Зимний Дворец был взят, и временное правительство арестовано ¹⁾.

Н. Анашев.

¹⁾ Вышедшие на другой день газеты, преимущественно беспартийные, описывая взятие Зимнего Дворца и арест временного правительства, упоминали вкратце о внезапном уходе артиллерии из дворца, объясняя это действиями „самозванного комиссара“. Подробных сведений об этом эпизоде во время осады Зимнего Дворца 25 октября 1917 г., насколько я знаю, в нашей печати нет. По независящим от меня обстоятельствам я не мог до сих пор дать подробного описания обстановки и причин ухода артиллерии из Зимнего Дворца.

В своем очерке я старался беспристрастно наложить события, участниками которых я был, не делая ни выводов, ни заключений. Моей целью было дать исторический материал.

А. А. Поливанов и его „Мемуары“.

Высшим Военно-Редакционным Советом только что издана, под редакцией А. М. Зайончковского и с предисловием Мих. Павловича, книга, на обложке которой стоит:—„А. А. Поливанов. Мемуары“. На титульном листе она носит уже другое название: „А. А. Поливанов. Из дневников и воспоминаний по должности военного министра и его помощника. 1907—1916. Том I“. Наконец, в предисловии редактора мы читаем, что „редакция считает, что наиболее подходящим наименованием настоящего труда будет:—„Из бумаг военного министра А. А. Поливанова. 1907—1916 года“.

Почему же редакция не остановилась на этом „наиболее подходящем“ названии? Потому, что „бумаги“-то военного министра и исключены из настоящего издания. „Дневника“, как такового, Поливанов, видимо, не вел, а заносил в памятные книжки всё, что было ему нужно в процессе жизни и деятельности. Записи, сделанные в них наскоро и небрежно, не имеют характера нарочитости, отражают главным образом только факты, даже внешнюю оболочку их, а не настроения и суждения автора по поводу их. Для печати Поливановым были составлены воспоминания только о своей деятельности в должности военного министра, которым он и дал заглавие: „Девять месяцев во главе военного министерства. 13 июня 1915 г.—13 марта 1916 г.“ Эту обширную рукопись, примерно, около 60—70 печатных листов, умирая (в 1920 г.), он завещал Комиссии по исследованию опыта мировой и гражданской войны. Это и есть литературное наследие, оставленное Поливановым. Но редакцией найдена в военно-ученом архиве еще семь памятных книжек его за 1907—1913 г.г. и приобщила их в своем издании к воспоминаниям. За это ее, конечно, можно лишь благодарить, и благодарность эта была бы безоговорочной, если бы она не дала нам и то и другое в сокращенном виде.

Свою „цензорскую“ работу редакция объясняет „непомерно большим размером записок Поливанова“, содержащих в себе газетные выдержки, разные законоположения и протоколы, „которые интересующиеся могут в полном объеме найти в военных архивах“ (легко сказать!) и делающих „работу Поливанова тяжеловесной для общего (читай—легкого) чтения“. Из памят-

ных книжек Поливанова редакция извлекла также лишь то, что, по ее мнению, имеет общественное значение.

Забота сделать исторические записки Поливанова „легким чтением“, конечно, не могла не отразиться на их убедительности по существу исторических фактов, многие из которых до сих пор являются спорными. Она лишила их документального фундамента. Извлечение же из памятных книжек только некоторых записей всегда вызывает предположение о субъективности оценки и подбора их. Сомнения рождаются невольно, когда вы подведете итоги сократительной работе редакции. Она росла crescendo: из книжки 1907 г. дано 99 записей без больших перерывов во времени; за 1908 г. — 76 с перерывом от 29 августа по 21-е октября; за 1909 г. — 106; за 1910 г. — 38, с перерывом от 15 июня по 10-е августа; за 1911 г. — 20 с перерывами от 1 января по 10-е февраля и с 27-го апреля по 5 сентября; за 1912 г. — 13 записей, причем последняя запись дана от 27 апреля, и за 1913 г. — всего 5 записей, начиная с 7 февраля и с пропуском от 15 марта по 28-е августа, причем запись от этого числа является последнею из данных записей этого года.

Едва ли можно признать правильным такое наделение исторических материалов. А между тем сам редактор „Мемуаров“ Поливанова говорит в своем предисловии, что „высокое образование автора, его большие способности и трудолюбие, которые законно ставят Поливанова в число наиболее выдающихся военных администраторов бедной людьми эпохи последних десяти лет империи, придают его деятельности и составленному им отчету особый интерес“. Странным после этого отзыва является заявление редактора, что „тридцать лет знакомства с автором заставляют его опасаться быть пристрастным“. В чем? В оценке труда или личности Поливанова? Если в отношении первого, то таковая дана ему. В вышеприведенных строках предисловия дана и оценка Поливанова, как военного деятеля. Что же означает эта осторожность? Вопрос возникает невольно, когда находишь в книге предисловие Мих. Павловича, в котором он, едва ли знавший Поливанова лично, дает его характеристику, весьма отрицательную, основанную якобы на записях памятных книжек Поливанова и на его Мемуарах. Солидарен ли с нею А. М. Зайончковский, знавший Поливанова 30 лет и много сотрудничавший с ним, или не счел для себя удобным оспаривать ее?

Пишущий эти строки знал А. А. Поливанова 22 года (1898—1920), временами был с ним близок, соприкасался почти ежедневно как в служебной, так и во внеслужебной обстановке, временами даже не встречаясь по целым месяцам, — и считает своим нравственным долгом, не боясь упрека в пристрастии, возражать против тех неправильных обобщений и выводов, которые сделал Мих. Павлович, пользуясь материалом „Мемуаров“, для характеристики Поливанова. Последний лишен уже возможности защищаться от введенных на него обвинений сам и дать объяснения по тем беглым и неполным записям в своих памятных книжках, которые легли в основу их. Личность же Поливанова принадлежит истории, и оценка ее, как личности

всякого исторического деятеля, должна быть произведена с учетом тех реальных бытовых условий, в которых он жил и действовал, — тех умственных и общественно-политических течений, которыми была отмечена его эпоха.

В данном случае для установления правильного взгляда на личность Поливанова мне нет даже надобности обращаться к личным моим воспоминаниям о нем, которые могут быть заподозрены в субъективности, — и я останусь на почве тех же „Мемуаров“.

— „Генерал Поливанов, — говорит Мих. Павлович, — пользовался репутацией „левизны“ в наших правящих и думских кругах... В действительности же это был чиновник правого образа мыслей и самых верноподданнических чувств“. И он предъявляет Поливанову следующие обвинения:

1) „С умилением и гордостью“ рассказывает Поливанов о том, как государь троекратно христосовался с ним, не удостоив этой чести некоторых других сановников.

2) По поводу принятия Николаем II верховного командования Поливанов занес в свой дневник: — „Совершилась великая перемена в верховном командовании нашими войсками. Хочется верить, что решением государя в этом важном не только для России, но и всего мира деле, руководил промысл божий“.

3) Находился под обаянием личности Столыпина и гордился сознанием, что Столыпин доволен его деятельностью.

4) Неоднократно принимал у себя на-дому, „по каким-то несомненно (?) темным делам“, о которых „при всей своей словоохотливости предусмотрительно умалчивает“, такого мошенника, как князя Андроникова.

5) Свидания с Дубровиным, когда Поливанов самолично ездил на квартиру последнего, принимал у себя дубровинских агентов и т. п. (?), не оставляют сомнения в том, что Поливанов находился в очень тесных связях с черносотенной кликой.

6) Поскольку от него зависело, принимал зависящие меры для скорой и быстрой расправы с революционерами. После убийства начальника главного тюремного управления Максимовского, телефонировал главы. военн. прокурору Рыльке и затем Рауху о необходимости „суда скорого, решительного“, т.-е. настаивал на казни убийцы, вмешивался в ход судебного производства и производя давление на председателя суда.

7) Поддерживал в совете министров министра юстиции по вопросу о присвоении тюремной страже права действовать оружием.

8) Вместе с Гучковым выступал главным обвинителем против Сухомлинова.

Отнесемся к „Мемуарам“ Поливанова более внимательно, спокойно и, главное, объективно.

Поливанов не был, конечно, революционером, — об этом свидетельствует хотя бы та необычная для него растерянность, которую он проявил, будучи назначен в марте 1917 г. председателем комиссии по реорганизации армии на новых, революционных началах. Но он не был ни ярым монар-

хистом, ни тем более ярким черносотенцем. Это удостоверяет все, кто знал его лично. Он слишком дорожил общественным мнением, гораздо больше, чем мнением монарха, чтобы связывать свое имя с непопулярным, более того — ненавистным обществу политическим течением. Он гораздо более подходил к типу западно-европейских политических деятелей, — парламентариев, конституционалистов, — чем к типу министров самодержавного режима. Но условия времени и служебного положения обязывали его быть внешне лояльным. Критерием „левизны“ или „правизны“ по тому времени служило отношение к представительным учреждениям империи. И вся его деятельность, как и его „Мемуары“, свидетельствуют, что он не был врагом Гос. Думы, а став членом Гос. Совета, не примкнул к правой группе его членов, что обеспечивало бы ему благосклонность царя и успехи по службе. К личности Николая II он относился отрицательно и, при всей своей осторожности и скупости в высказывании своих мнений о людях, не всегда это скрывал в витийном, конечно, разговоре с людьми, которых не опасался.

Без всякого „умиления и гордости“ занес он в свою памятную книжку 1907 г. о христосовании с царем следующие строки: — „Когда пошел поздравлять, видно было, что государь с некоторыми христосуетея, а некоторых пропускает так. Когда я сделал поклон, государь сказал: „Христос воскрес“ и троекратно поцеловались, потом поклон и поцелуй ручки у имп-цы Марии Федоровны; несколько отступя стояла имп-ца Александра Федоровна у стола, окруженная свитой, и после поцелуя ручки давала каждому айдо, я получил из серой яшмы“ (стр. 27).

Тут нет никакого „умиления и гордости“, а простое описание церемонии христосования. Справедливо говорит редактор „Мемуаров“, что они „не являются продуктом позднейшего измышления и дают читателю только самый факт, отмеченный наблюдательным человеком без всяких в большинстве случаев личных выводов“. Из приведенной выше цитаты ясно видно, что христосование царя с тем или иным из поздравлявших и пропускание других являлось лишь показателем отношения его к ним, — симптомом их служебного положения. С этой точки зрения рассматривал Поливанов и тот факт, что царь с ним похристосовался.

К принятию царем верховного командования Поливанов, как это видно из „Мемуаров“, относился определенно отрицательно. Когда царь объявил ему о своем намерении вступить в верховное командование армиями, Поливанов возразил ему, в мере служебной возможности, что „он, таким образом, берет на себя задачу, превосходящую силы человека“... (стр. 203). Николаю II такое возражение не могло, конечно, польстить, и он его отпарировал. Но Поливанов не сдался. — „Не теряя надежды как-нибудь, если не предотвратить, то по крайней мере отдалить смену вел. кн. Николая Николаевича, — пишет далее Поливанов, — я представил государю ряд военных соображений, по которым перемена верховного командования... была бы для успеха дела весьма опасна“ (стр. 204). Но и эти соображения мало повлияли на царя. После этого Поливанов принимал участие в обсуждении письменного обра-

щения группы министров к царю в целях побудить последнего отказаться от мысли принять на себя верховное командование. Обращение это не было им подписано, как и морским министром, только потому, что „относительно нас было принято постановление, что в эту тяжелую минуту войны военный и морской министры не имеют права делать шаги и рисковать увольнением от должности по причине политического характера“ (стр. 235 и 236). И если после всего этого Поливанов занес в свою памятную книжку, что „хочется верить, что решением государя руководит промысл божий“, то это лишь выражение последней надежды верующего человека на бога, в смысле последствий принятого царем решения. Иначе, выражением полной веры в царя и надежды на него, формулировал Сухомлинов свое отношение к этому факту (См. его дневник в журн. „Дела и Дни“, кн. 2-я).

Как бы ни относиться к политике П. А. Столыпина, личность его импонировала своею властностью, энергией и определенностью взглядов и действий. Сравнивая его с другими членами совета министров, Поливанов и отдался обаянию этой личности. Разделял ли он всецело столыпинскую политику, — „Мемуары“ и памятные книжки не дают возможности судить об этом, ибо в них „факты“, а не „взгляды“ Поливанова. Но обаяние личности не мешало Поливанову подмечать и отмечать слабые стороны Столыпина. 25 октября 1907 г. он заносит в памятную книжку: — „Столыпин сам по себе человек благородный, но департамент полиции его совсем запугал, и он верит им во всем“... (стр. 34). По поводу речи Столыпина в Гос. Думе 27 апреля 1911 г. о применении 87 ст. Основы. Законов Поливанов отметил: „Речь Столыпина была властна, но неудачна“ (стр. 105).

Всем знавшим Поливанова было хорошо известно определенно отрицательное отношение его к „мошеннику Андроникову“. И этому вполне соответствует то, что сказал о нем Поливанов в своих „Мемуарах“ (примеч. к стр. 141). Не буду выписывать целиком всё им сказанное тут; приведу наиболее характерные строки: — „В бытность мою помощником военного министра А. Ф. Редигера (1905 — 1909 г.г.), кн. Андроников стался посещать меня, являясь посланником из Мраморного дворца, или от королевы эллинов, или от ген. П. Е. Кеппена... При всех этих посещениях адъютант господина бога, не искавший для себя ничего, ибо всё, что ему нужно — щи и каша у него имеются, говорил о тех обменах мысли, кои ему доступны по отношению к высшим особам“... Появление в печати рескрипта об увольнении вел. кн. Николая Николаевича с поста председателя совета гос. обороны во время бытности Редигера за границей вызвало письмо последнего к Поливанову с просьбой выяснить создавшуюся обстановку, — „а вслед за ним, — рассказывает Поливанов, — появился у меня и кн. Андроников с такой же просьбой, дабы он с своей стороны мог успокоить А. Ф. Редигера. На это сие лицо получило от меня ответ, что всё, что нужно, я сам напишу всевному министру. Неудовлетворенное любопытство имело последствием обвинение меня кн. Андрониковым в „генеральском бюрократизме“ и угрозу пожаловаться на меня А. Ф. Редигеру. После этого я уклонился от приемов

кн. Андроникова"... После назначения Поливанова военным министром он получил от Андроникова лъстивое письмо с выражением „нетерпения повидать меня хотя бы на одну минуту". — „Принят мною кн. Андроников не был после этого письма ни разу".

Итак, Андроников проникал всегда к Поливанову под благовидными предложениями исполнения данных ему разными высокопоставленными лицами поручений. Ироническое и отрицательное отношение к нему Поливанова, выраженное в „Мемуарах", вполне согласуется с отметками Поливанова в своих памятных книжках о визитах Андроникова. Как видно из этих отметок, личностью этого проходимца была Поливанову сперва неизвестна или во всяком случае ему неясна. 14-го мая 1907 г. Андроников проник к Поливанову, а 15-го мая Поливанов спрашивал Коковцова, Философова, Кауфмана и Шванебаха, „что из себя представляет кн. Андроников; вполне неблагоприятно отзывался только Шванебах" (стр. 28 и 29). После визита Андроникова 20 августа 1909 г. Поливанов отметил у себя: „... вообще всё более принимает манеры Хлестакова" (стр. 77). — 20 октября того же года Поливанов отмечает: — „Около 6 ч. ко мне под предлогом экстренной надобности проник кн. Андроников..." (стр. 84) — и этим определенно выражает характер своего отношения к посещениям его Андрониковым, визиты которого были тягостны Поливанову. Сущность разговоров, которые вел с ним Андроников, он отмечает в памятных книжках. Из отметок видно, что говорил Андроников, видно и ироническое отношение Поливанова к его словам: — „Принимал в 4½ кн. Андроникова, который распространялся о каких-то своих письмах к вел. кн. Николаю Николаевичу" (стр. 48). Поливанов, видимо, лишь был вынужден выслушивать сплетни „адъютанта господ бога". „Словоохотливым" назвать Поливанова, как это делает Мих. Павлович, отнюдь было нельзя. Он предпочитал выслушивать других и был очень осторожен и скуп на реплики. На основании записей Поливанова никак нельзя утверждать о несомненности темных дел, связывавших его с Андрониковым. Знаящие Поливанова с полною уверенностью могут утверждать, что таких обших с Андрониковым дел у него не было.

О сношениях с Дубровиным мы имеем всего лишь две отметки Поливанова в его памятных книжках. Уклониться ему от них было еще труднее, чем от визитов Андроникова. Дочь его брата, М. А. Поливанова, была замужем за сыном Дубровина, — факт, вероятно, неизвестный Мих. Павловичу. И хотя братья не были близки между собою и, живя оба в Петербурге, редко виделись, но всё же родственные отношения существовали и к кое-чему обязывали. Первая запись Поливанова о Дубровине и говорит об этих обязательствах: — „Нашел у себя записку брата, что А. И. Дубровин желает меня видеть по весьма серьезному делу... Поехал к Дубровину..., он сказал, что в армии идет сильная пропаганда...; ему всё известно, известно и то, что и мой писарь вошел в сеть. Предложил мне „Шерлока Холмса"... , говорил, что гр. Витте третий по величине масон в России, а кто же первые двое?" (стр. 31).

Через 6 дней „Шерлок Холмс“ от Дубровина явился, — „произвел впечатление болтуна (Лев Ефим. Катанский), говорил о масонских ложах, принес свои статьи“ (стр. 31).

Следующее свидание Поливанова с Дубровиным, который сам приехал к нему, состоялось через полтора года. — „Между прочими рассказами — Пурашкевич получал и получает большие деньги от правительства; охранное отделение его не любит“ (стр. 65). И всё. Можно ли на основании этих двух свиданий и сухих записей утверждать, что Поливанов находится „в очень тесных связях с черносотенной кликой?“ Можно ли вообще лицу, занимающему видное служебное положение, всегда уклониться от приема и сношений с лицами, с которыми нет ничего общего, но которые „проникают“ под благовидными предложениями и по вопросам служебной деятельности?

В чем выразилось принятие Поливановым мер для скорой и быстрой расправы с революционерами? А вот в чем. — „Вечером (15 октября 1907 г.) меня потребовал к телефону Столыпин, передал, что убили начальника главной тюремного управления Максимовского и что необходимо, дабы произвести впечатление, суд скорый и решительный. Об этом я тотчас же по телефону передал Рыльке“ (стр. 34). Итак, требование суда скорого и решительного, давление на председателя суда исходило от Столыпина, и Поливанов лишь явился передатчиком в порядке службы распоряжений председателя совета министров главному военному прокурору ¹⁾. Из этого простого служебного факта нельзя делать вывода, что Поливанов „настаивал на казни убийцы, вмешиваясь в ход судебного производства“. В других случаях Поливанов являлся передатчиком от членов Гос. Думы просьб о помиловании. На личное отношение Поливанова к революционерам нет в его бумагах и намек.

Упрекая Поливанова в поддержке им проекта министра юстиции о присвоении тюремной страже права действовать оружием, Мих. Павлович упускает из вида, что в совете министров Поливанов лишь замещал военного министра, помощником которого он состоял, и в качестве такового вел не свою политику, а политику военного министра. Это понимали все. В совете министров обсуждался вопрос о применении 96-й ст. Основн. Законов по поводу штатов морского генер. штаба. После доклада царю Коковцовым происходивших прений, Николай II спросил: — „А какого мнения держится помощник военн. министра Поливанов?“ На это Коковцов ответил, что он, „как помощник военного министра, по свойственной ему корректности, не выскажет другого мнения, (т. е. иного, чем военный министр), но как ген. Поливанов, вероятно, высказал бы то же самое, что и он, Коковцов“ (стр. 101).

Упускают из вида, что до призыва к должности военного министра 13-го июня 1915 г. Поливанов не был полномочен в своей деятельности, своей политики не вел, а проводил взгляды военного министра, на которого, конечно, в иных случаях мог повлиять своими доводами и соображениями, но последние

¹⁾ См. в том же смысле записи Поливанова в памятной книжке за 1907 г. от 15 мая, 11 августа, 16 сентября и 16 октября (стр. 29, 32 и 34).

не были ни для Редигера, ни для Сухомлинова в особенности, очень самоуверенного, обязательными. Поэтому не прав и А. М. Зайончковский, упрекая, в качестве редактора, Поливанова в том, что он, занимая высоко ответственные места, не оказал влияния на подготовку начальствующих лиц и таким образом несет ответственность за неудачный подбор высшего командного состава, выявившийся в мировую войну. „Мною лично, — говорит А. М. Зайончковский, — с ним по этому поводу велись многочисленные разговоры, не приведшие ни к чему“ (примеч. к стр. 173).

И не могли привести, как потому, что это не входило в сферу дел, порученных ведению помощника военного министра, так и потому, главным образом, что подбор высших командных лиц интересовал самого царя. Даже Сухомлинову, при всем своем влиянии на Николая II, не удалось помешать назначению ген. Ренненкампа командующим войсками Виленского военн. округа. Бессилие не только Поливанова и Сухомлинова, но и высшей аттестационной комиссии в вопросах личного состава, ясно выражено в следующей записи Поливанова в памятной книжке 1910 года: — „Получен от его вел-ва журнал высшей аттестационной комиссии по поводу командиров корпусов; последовало соизволение на увольнение ген. Шутлеворта; против заключения об увольнении ген. Клауза и Новосильцова — высочайшая резолюция: „оставить“, а против ген. Адлерберга: — „я знаю его, он не гений, но честный солдат; в 1905 г. отстоял Кронштадт, оставить“... Таким образом попытка освободить армию от малопригодных корпусных командиров не удалась“... (стр. 96).

Не удалась и попытка организовать военную игру командующих войсками военных округов в том же 1910 г.; против этого был. вел. кн. Николай Николаевич, который должен был участвовать в ней в роли главнокомандующего. Характерно для будущего „главеверха“, что он уклонился от нее, говоря, что он не подготовлен и многих взглядов не разделяет (стр. 101). Любопытно и то, что тогда уже царь проявлял желание взять верховное командование на себя. — „На докладе государю (об организуемой военной игре), е. в. изволил указать, что верховное командование он берет на себя“. — „Но так как нельзя же привлекать е. в. к занятиям военной игрой, — отмечает Поливанов, — то полагалось бы на военной игре иметь гл-щего вел. кн. Николая Николаевича“. (стр. 99). Таким образом учиться царю, который к тому же вопросами военной техники вообще не интересовался, признавалось неудобным. В результате получилось совершенно номинальное командование армиями как им, так и вел. кн. Николаем Николаевичем, когда грянула война. Любопытно описание Поливановым процедуры оперативных докладов, делавшихся им в ставку. Начальник штаба, по рукописи, упоминал о том, что произошло за истекшие сутки на наших фронтах, попутно сообщая о замеченном у неприятеля; ген-квартирмейстер по карте указывал карандашом те пункты местности, о которых упоминалось в докладе. Не было никакой речи о задачах фронтов и армий, о вероятных действиях противника, не упоминалось ни о размере наших потерь, ни о деятельности тыла в смысле снабжения. — „Получалось впечатление, — говорит Поливанов, — что есть длиннейшая линия русских корпу-

сов и дивизий и против них линия неприятельских войск и между отдельными точками этих линий происходят столкновения, не связанные ни с той, ни с другой стороны какой-либо руководящей мыслью, — хаос военных событий, управляемых случайностью" (стр. 132 и 136).

Вернусь к последнему обвинению Мих Павловичем Поливанова в том, что вместе с Гучковым он был главным обвинителем Сухомлинова. Само по себе оно звучит странно. Но оно не отвечает и действительности. Поливанов им не был для тех, кто знает это дело. Он был слишком умен, чтобы вести такую линию поведения в нем, которая дала бы повод заподозрить его беспристрастие, его мстительность. Его показания далеко не были „убийственны“ для Сухомлинова. В своих показаниях он не сваливал всю вину на него, а говорил об общих условиях деятельности военного министерства, олабляя тем личную ответственность Сухомлинова ¹⁾.

Можно было ожидать, что по повелу своей отставки, столь неожиданно привезенной ему Сухомлиновым из Ливадии, Цоливансв проявит свое раздражение против него в своей памятной книжке. — Нет, та же короткая, сухая, фактическая запись.

20-го апреля 1912 г. он записал: — „Поехал к военному министру, отбывающему сегодня в Ливадию. Я застал его в состоянии взволнованном. Все, по его словам, шло в заседании комиссии государ. обороны хорошо, но Гучков выступил против него с резкой речью, обвиняя в создании около себя охранного отделения. Тут Сухомлинов опять много говорил про Гучкова и всё в неуравновешенном тоне. Я подметил и ноту неудовольствия против меня в словах: „А мои друзья в Госуд. Думе мне сказали, что в тот день, когда вы хотели, чтобы я ехал в Думу (13 апреля), мне, действительно, хотели устроить скандал“. Простились холодно“ (стр. 111).

А 27-го апреля: — „Встречал военного министра, возвратившегося из Ливадии. Он взволнованно заявил мне, что после доклада государь неожиданно сказал ему: — „Я назначил Поливанова в Госуд. Совет, и пусть он теперь туда уходит“. — „И что такое случилось? — продолжал Сухомлинов. — Вам Коковцов ничего не говорил? Я его видел там, но так как говорилось, что он повез мою отставку — и хотел говорить о вашем назначении, то я к нему не пошел, а пришел ко мне он сам и ни с того, ни с сего начал мне говорить по поводу той травли, которая на меня ведется“ (стр. 111).

Поливанов знал, конечно, цену словам Сухомлинова, хотя бы по эпизоду с увольнением ген. Мышлаевского с поста начальника генерального штаба, которого Сухомлинов также заподозрил в интригах против себя. Царю представлен был доклад, что „при несомненных дарованиях усмотрен недостаток в строевом цензе“, и потому Мышлаевскому надо дать в командование корпус. При личной встрече, — записал тогда же Поливанов (21 сент. 1909 г.), — воен-

¹⁾ Не так вел себя в отношении Поливанова после своей отставки Сухомлинов. Его раздражение на своего преемника не знало границ и выразилось в дневнике (см. „Дела и Дни“, кн. 1 и 2), в доносах, анонимных пасквилях и ябедах царю. Вероятно, оно нашло себе место и в его мемуарах, только что вышедших в свет за границей.

ний министр хочет так и объяснить это назначение Мышлаевскому, а если тот будет добиваться иных причин, то военный министр хочет привести ему под видом сплетен все те, по его сведениям, подкобы, которые Мышлаевский делал против него" (стр. 80).

Сухоминов называл Мышлаевского „Мазепой“. Предоставляем судить, к кому из них подходило более это имя.

— „В моих воспоминаниях, — говорит Поливанов в своем мемуаре о девятомесечном управлении военным министерством, — я не имею в виду дать очерк деятельности военного министерства под моим руководством, — это делают другие и в другом месте, а потому на вытекающих из моей программы мероприятиях буду останавливаться лишь по исключительным, связанным с ними обстоятельствам" (стр. 149). Соответственно этой поставленной себе задаче Поливанов и дает в своем мемуаре написанную крупными мазками картину бытового характера государственного и военного управления в один из наиболее острых моментов жизни России, в период мировой войны. Детали этой картины читатель должен был найти в тех „бумагах министра“, которые редакция исключила, дабы не сделать „работу Поливанова тяжеловесной для общего чтения“. Но, сокращая литературное наследие Поливанова, редакция его „Мемуаров“ брала тем самым на себя обязательство пояснить многое читателю своими обстоятельными примечаниями, не отсылая его в „военные архивы“. Однако эта сторона редакторской работы оставляет желать большего. Для выполнения ее редакции, видимо, не понадобилось ничего другого, кроме легкого напряжения своей памяти. В отношении одних упоминаемых в памятных книжках и в мемуаре лиц редактор помнит, что такой-то был генерал-адъютантом, а такой-то членом Гос. Думы — и это всё, что он может о них сказать, — а о других забыл или не знает. Так, на первой же странице памятной книжки Поливанова за 1907 год встречается запись о том, что ему (Поливанову) за обедом подали городское письмо, в котором за подписью „Комитет“ он извещался, что за Павловым его очередь (стр. 15). Кто этот „Павлов“ и в чем „очередь за ним“ Поливанова, редакция не поясняет, зато слова Поливанова, что в церкви ставки служил „какой-то великолепный дякон“, она снабжает примечанием, что это был „протодякон л.-гв. Егерского полка“. Приходится напомнить редакции, что Павлов, о котором говорится в записи Поливанова, — главный военный прокурор, убитый в декабре 1906 года. Еще более приходится жалеть, что в примечаниях не вскрыты забытые теперь многими факты, о которых Поливанов, делая отметки в своих записных книжках, не считал нужным в то время распространяться. Так, редакция не вскрывает нам вскользь отмеченного Поливановым оскорбления командира л.-гв. Семеновского полка Зурова б. вел. кн. Николаем Николаевичем, вследствие которого Зуров подал в отставку, а б. имп-ца Мария Федоровна отозвалась о вел. князе, „qu'il est malade" (стр. 55). Подстрочное примечание, едва ли принадлежащее Поливанову, (оно ему было не нужно), дает только перевод этой французской фразы. Между тем эпизод с Зуровым характерен для б. вел. князя и в свое время

произвел сенсацию. Еще обиднее отсутствие примечаний к таким записям Поливанова, как, например, сделанная им 23 февраля 1906 г.: „...Когда пришли в министерский павильон, куда явился Хомяков спросить, можно ли поместить в стенограмму выходку Маркова, военный министр сказал, что он вычеркнет из стенограммы только имеющее вид служебных секретов“... (стр. 61). Выходку Маркова Поливанов в своей записи не отметил, и в чем она заключалась, читателю остается неизвестным. Зато представляется совершенно излишним трудом противопоставление в примечаниях личных взглядов редактора взглядам Поливанова, — без боязни показаться „пристрастными“. Так, он не согласен с характеристикой ген. Вернадера, данной Поливановым, и находит ее „пристрастной во всех отношениях“. Однако, с нею согласятся очень многие. У рядового читателя, право, нет никаких оснований верить в этом случае более редактору, чем автору, тем более, что никаких доказательств правоты своей оценки первый из них не дает.

Чтобы покончить с характеристикой редакторской работы, следует отметить еще чрезвычайное обилие опечаток, подчас весьма грубых. На стр. 43 мы читаем о каком-то генерале Криницком. Надо полагать, что речь идет о ген. Кривинском. На стр. 35, вместо генерал-инспекторов напечатано „Ген. Инст.“ (!). Исправления опечаток не дано. Не дан, к сожалению, и алфавитный указатель собственных имен, встречающихся в „Мемуарах“, что безусловно необходимо для пользования ими как историческим источником.

Поливанову пришлось сталкиваться по службе со многими историческими деятелями последних лет империи, знать о многом, многое слышать и самому являться в центре некоторых событий. Не говоря уже о составленном им мемуаре, в его памятных книжках разбросано много ценных отметок, воссоздающих в своей совокупности образы прошлого.

В центре его стоит фигура Николая II, для характеристики которого Поливанов дает не мало любопытных и значительных штрихов.

Так, 13-го февр. 1907 г. он отмечает, что „государь не согласился на издание 19 февр. указа об отмене военно-полевых судов и одобрил разослать циркуляр о том, чтобы ограничить их применение“... (стр. 19). Военному министру, который ехал на открытие Гос. Думы (февр. 1907 г.), Николай II указал, что „при малейшем задевании армии следует давать категорический (грозный) отпор, причем всегда можно указать, что армия не занимается политической, а исполняет тяжелый долг“ (стр. 20). Про ген. Гершельмана, который ставил условием принятия должности военн. министра подчинение ему ген.-инспекторов и начальника генер. штаба, б. царь выразился: „Какой нахал“ (стр. 35). Поливанову он заявил: „...вообще я думаю более взять военное дело в свои руки“... (стр. 49). Эти руки не желали, однако, никакой ломки в организации армии и ее управления (стр. 44), совершенно не интересовались военной техникой, увлекались внешней стороной военного дела, замазывали рот военной печати, когда та начала обсуждать военную доктрину, расценивали высший командный состав по политическим заслугам и назначали на места угодных и угодливых, а не полезных делу лиц.

Руководить военным делом у Николая II была, видимо, „охота смертная“, но не было ни умения, ни знания, ни устойчивости в решениях. В октябре 1908 г. он заявил военн. министру Редигеру, что будет сам лично председательствовать в совете гос. обороны, — и благосклонно принял предложение Редигера, чтобы каждый вопрос обсуждался предварительно, до заседания под председательством государя (стр. 51), но совет более не собирался, а через 2—3 месяца и вовсе упразднили его.

Заявил военн. министру, что будет лично руководить военной игрой командующих войсками округов, но легко пошел на то, чтобы эта игра не состоялась вовсе. Когда комиссия по реорганизации армии на основании опыта русско-японской войны разошлась безрезультатно, Николай II „выразил удовольствие, что не будет никакой ломки и что не предполагено упразднить (в полках) 4-е батальоны, с которыми армия сражалась в течение 40 лет“ (стр. 44). К военным академиям б. царь относился подозрительно, как к рассадникам учености и „вольных мыслей“, и предпочитал видеть на ген. Сухомлинове гусарский доломан форме офицера ген. штаба (стр. 161). — По поводу б. главн. военн. прокурора, ген. Рылъке, большого законника и гуманного человека, царь высказал однажды Поливанову, что „многообразие не может иметь теплых чувств к России“ (стр. 34), но Фредерикс был министром его двора, Бенкендорф — гофмаршалом, Саблер управлял Синодом и т. д.

Исходя из мысли: — „я создал Думу не для того, чтобы она мне указывала, а для того, чтобы советовала“ (стр. 69), Николай II рассматривал и правительство как своих приказчиков. Он запретил Сухомлинову ездить в Думу, говоря: — „что с ними спорить, — вы мой министр“ (стр. 67). Ему гораздо более нравились умеренно-правые, чем октябристы, которые „всегда захватывают в свои речи то, что им не принадлежит“ (стр. 61). Тому же Сухомлинову он дал в 1912 г. поручение передать Гучкову, что „государь называет его подлецом“, и спрашивая, передано ли это, на что Сухомлинов ответил, что „случая еще не представлялось“ (стр. 110). На заявление Столыпина: „ваше величество хотите, повидимому, опираться на крайних правых, имея умеренный кабинет“, — последовал ответ: „нет, я отлично знаю крайних правых“. Через Маркова 2-го был передан, однако, поклон фракции“ (стр. 70). На указание Столыпина, что нужна ревизия морского ведомства, что на этом настаивает Гос. Дума, а от этого зависит получение кредитов на постройку dreadnoughtов, царь ответил, что никакой ревизии не надо, „а деньги я прикажу дать“ (стр. 99). Не одобрив постановления совета министров об освобождении 10% недостаточных детей от платы за ученье в гимназиях, хотя эта мера применялась со времен имп. Александра I („здесь видна идея не допускать, по возможности, избытка учащихся в университете, и в гимназиях“, замечает Поливанов), — царь, вопреки мнению того же совета, высказался за вознаграждение известного авантюриста Леонтьева за убытки по доставке им в Абиссинию негусу Менелику оружия: „Считаю несправедливым и недостойным русского правительства“, — гласила его резолюция (стр. 98). Выразил он сожаление и о том, что Гос. Дума отказала в субси-

дн известному балабачнику Анзрееву:— „Я у Гучкова потребую этих денег“, — сказал царь (стр. 97).

Передает Поливанов со слов Столыпина и историю предполагавшегося якобы образования кадетского министерства. В совете министров Столыпин объяснял, что дело было так: — „А. П. Извольский передал ему по телефону, когда он был еще министром внутр. дел при председателе совета министров Горемыкине, что государь повелел узнать, что такое Милюков и чего желает кадетская партия. Столыпин пригласил Милюкова, и тот выразил, что для успокоения страны необходимо образование кадетского министерства, которое сумеет задуть революцию. Министр внутр. дел доложил об этом государю, высказав свое убеждение, что это невозможно, но на столе у государя видел список кадетского министерства, представленный Д. Ф. Треповым, который всегда сносился с кадетами“ (стр. 60).

Интересные отметки Поливанова о прениях, происходивших в совете министров и в совете госуд. обороны, о наших отношениях к Японии, о положении на Д. Востоке, о том, сохранять ли там укрепления Владивостока или скрыть их (стр. 16—18, 21, 22, 24, 87, 88 и 108); о возможности войны с Германией, которая потребовала в 1909 г. категорического ответа от России по поводу замышлявшейся Австрией аннексии Боснии и Герцоговины, предваряя, что уклончивый ответ будет признан равносильным „нет“ и „тогда на Россию падет вся ответственность в дальнейшем“ (стр. 62, 64 и 65); — о назревавшей в 1908 г. войне с Турцией, причем выяснилось, что б. вел. кн. Николай Николаевич требует брать Константинополь, а начальник ген. штаба Палицын — действовать только в Закавказье (стр. 38, 39 и 41), и об ожидавшихся в 1909 г. в Финляндии беспорядках, долженствовавших привести ее к отделению от империи (стр. 82—84, 88 и 106). — При этом каждый раз вставал, конечно, вопрос о готовности нашей армии и флота к войне, и каждый раз выяснялась их небоеспособность. Тогда начинались взаимные пререкания министров, кто в этом виноват: министр военный обвинял министра финансов в недостаточном отпуске на армию кредитов, министр финансов — военного министра в нерациональной трате средств. — „Армия не учится, а служит вам“, — сказал однажды резко Редигер Столыпину. Пререканий было много, а толку мало. По поводу заседания совета гос. обороны, в котором обсуждался вопрос о задачах флота в Балтийском и Черном морях и на Тихом океане, Поливанов записал в свою книжку: — „Как всегда, не пришли ни к какому определенному заключению, так как был намечен один миллиард в безвоздушном пространстве, без соображений с потребностями сухопутного ведомства и финансовыми средствами“ (стр. 24). И совет гос. обороны и совет министров всегда были стеснены, в конце концов, монаршей волей, ведшей свою собственную тайную политику. К тому же у верховного вождя армии и флота были свои взгляды на военное дело, которое он желал „взять больше в свои руки“, и на государственную оборону, которую он желал в случае войны лично руководить. Посетив в феврале 1912 г. Мих. Арт. Училище и Арт. Академию, Николай II был приятно поражен, что в акаде-

мии „нет длинных волос“, что было прежде, а изобретателю автоматической винтовки, полк. Федорову, лекцию которого он прослушал, — заявил, что „и против введения ее в армию, так как тогда не хватит патронов“. — „Это дало мне случай, — замечает Поливанов, — доложить об отношении прочих держав к автоматической винтовке и похвалить винтовку Федорова“, — конечно безуспешно (стр. 110). Даже когда грянула мировая война и выяснила всё значение военной техники для ведения современной войны, Николай II, уже будучи верховным главнокомандующим, проявлял всё тот же индифферентизм к ней. Поливанов в своем „Мемуаре“ о пребывании своем в должности военного министра рассказывает, что на докладе 28 июля 1915 г. показал царю образец винтовки системы Винчестер (под наш патрон) из партии, только что полученной из Америки, где их заказано 500,000 штук, — „но, видимо, интереса к сему не вызвал, хотя из армии и пишут, что там винтовки теперь „дороже золота“. Зато не мало времени потребовалось, чтобы написать собственноручно резолюцию на телеграмме рабочих Охтенского порохового завода, которую приказано объявить для всеобщего сведения“ (стр. 195).

Работать с царем было нелегко. — „При первом же упоминании о критическом отношении к действиям власти по военной части говорилось: — „Я вообще не обращаю внимания на то, что говорят, — да и что они понимают“, — а при упоминании о требованиях в политической жизни страны следовал еще более холодный ответ: — „Председатель совета министров мне еще об этом не говорил“ (стр. 189).

Наиболее удобным из числа председателей этого учреждения был для Николая II, конечно, Горемыкин, ни в чем ему не перечивший, а во время войны усердно от нее отмежевывавшийся. — „Что ж тут делать, так его величеству угодно“, говорил обычно этот „старец“, как называет его в своих воспоминаниях Поливанов, когда кто-либо из министров или весь совет их высказывался против воли его величества.

Извлечь в настоящую статью из воспоминаний Поливанова всё, что может интересовать современного читателя, дело трудное. Они несомненно дают богатый материал для характеристики последних лет царизма и его деятелей. Особенно ценною представляется вторая часть книги, содержащая не беглые, сухие и отрывистые заметки в памятных книжках, делавшиеся не для печати, а специально для нее написанные воспоминания о пребывании автора в течение девяти месяцев во главе военного министерства. Из них напечатано пока лишь пять глав: 1) Вызов в ставку и назначение. 2) Вступление в должность. 3) К первой годовщине войны. 4) В Госуд. Думе и 5) Перемена верховного командования и начало проявления темных сил.

Хотя редактор издания и говорит в предисловии, что „в действительности, это есть своего рода маленькая история со всеми специфическими особенностями такого рода трудов самоописания и самооценки, где, наравне с полной достоверностью фактической стороны и существовавших настроений, проглядывает и некоторая доля пристрастия и оскорбленного самолюбия“ однако, на наш взгляд, мемуары Поливанова весьма мало грешат этим, осо-

бенно если сравнить их, ну, хотя бы с мемуарами Курлова и Витте. Не следует забывать и того, что положение Поливанова было трудное. Это был уже не „мой министр“, а навязанный насильно общественным мнением страны, которому царь на этот раз должен был уступить. И Поливанов не делал себе никаких иллюзий, принимая пост военного министра. — „Николай II, — пишет он в своем предисловии к мемуарам, — по свойству своего характера, никогда не забывал вынужденных у него общественным мнением уступок, дабы при первой возможности взять их обратно, а если дело касалось реформ, — возвратиться к до-реформенному положению, а если оно касалось лиц, то этих лиц удалить, коль скоро за ними нет поддержки Александры Федоровны и стоявшего за ней „нашего друга“ (Распутина) (стр. 119). А отрицательное отношение Александры Федоровны к Поливанову не замедлило выразиться в ее письмах к супругу: — „Прости меня, мой друг, — писала она, — но мне не нравится назначение нового военного министра; разве ты не помнишь, как ты был против него? Ему нельзя довериться... Удалил ли он Гучкова, не враг ли он нашего друга, — а это всегда приносит несчастье“ (стр. 118).

Поливанов это знал, другом Распутина не был, и поэтому не ожидал, „чтобы должность военного министра могла быть мне предоставлена на продолжительное время“. Царь воспользовался первым же столкновением Поливанова со Штурмером и уволил его.

В условиях недоверия и недружелюбия царя и его супруга, личных качеств, способностей и взглядов царя — верховного главнокомандующего, политики Штурмера и краткости времени и надо оценивать деятельность Поливанова, как военного министра, в самый острый период войны. Для полной же оценки его мемуаров надо подождать выхода в свет второго тома.

Вл. Апушкин.

Дарницкий исход ¹⁾.

Из воспоминаний о деникинщине.

В течение сентября, стратегическое положение добровольцев в Киевском округе несколько осложнилось. Частям XII советской армии, отрезанным было от главной своей базы, удалось благополучно, даже не понеся особенных потерь, пробиться от Одессы на соединение с северной группой красных. О состоянии всей этой армии в целом мы, в подпольи, сведений не имели, но те две дивизии, с которыми у нас установилась непосредственная связь (45-я и 58-я), сохранили, по общему отзыву работавших с ними товарищей, полную боеспособность. Сосредоточившись в районе Коростеня, Радомысла, Брусилова и усилившись свежими подкреплениями, перебросенными с севера, названная армия перешла в первых числах сентября в наступление на „зону галицийской оккупации“; 5 сентября взяла Житомир, отбросив петлюровцев к Бердичеву, а вслед затем завяла Новоград-Волинск, значительно расширив, таким образом, свой плацдарм. Одновременно с этим обозначился нажим красных и на Коростенском направлении: с линии Тетерева, — на которой каменел в течение долгого времени фронт („в лесах восточнее Бородеянки“ по стереотипному выражению официальных добровольческих сводок), — бои передвинулись к последней естественной преграде на путях наступления к Киеву с запада — р. Ирпеню. На этой линии фронт снова — и надолго — застыл. Противники весьма настойчиво поддерживали боевое соприкосновение. К концу сентября стрельба на Ирпене стала явлением обычным — канонада почти ежедневно слышна была в городе, а товарищи, жившие на Лукьяновке и Куреневке, нередко сообщали, что „от них“ слышна не только орудийная стрельба, но и пулеметы. К этому времени определилось наступление и на фронте 44-ой советской дивизии, развернутой на линии Макаров — Мотышино: 27-го сентября, в бою, в этом районе был уничтожен (по сведениям нашей партийной разведки) почти полностью добровольческий полк.

Эта явно нараставшая активность красных на Коростенском направлении не внушала нам, однако, мысли о возможности каких-либо серьезных операций с их стороны. Правда, „добровольческий клин“ всё глубже вгонялся в территорию Р. С. Ф. С. Р.: белые стояли уже под Орлом и Ельцом, и соответственно

¹⁾ Эта статья тесно примыкает к главам, напечатанным в 25-ой и 26-ой книгах „Былого“.

сильный фланговый удар — „под украинский корень“ их был бы в высшей мере полезен; с другой стороны, попытки деникинцев развить, опираясь на Киев, наступательные операции к Чернигову, с одной стороны, к Гомелю — с другой, также вызвали на встречный маневр. Но, чтобы оказать должное стратегическое воздействие, восстановить прогнутый советский фронт, такой встречный маневр должен был быть проведен в формах Наполеоновского „громового удара“, — в противном случае он повел бы лишь к напрасным и притом тяжелым жертвам; риск такого предприятия увеличивался еще и тем, что правобережная группа наша фактически находилась между двух огней: единственная коммуникационная линия ее (Коростень — Мозырь — Гомель) на большей части своего протяжения была под ежечасной угрозой прорыва со стороны поляков, фронт которых тянулся, не в далеком расстоянии, параллельно указанной линии. В таких условиях дальнейшие демонстрации советскому командованию, казалось, стратегически немыслимо было идти. Об атаке и захвате Киева, как эффектен ни был бы такой, пусть даже и временный успех, как велико ни было бы моральное его впечатление, в сложившейся обстановке не стоило, на наш взгляд, и думать, хотя сам по себе киевский гарнизон и был ослаблен постоянными выделениями на Черниговский фронт, где советские войска оказывали упорнейшее сопротивление. Об этих отправках мы своевременно и точно извещали красный штаб, и потому обозначившийся за последние дни нажим на подступы к Киеву рассматривался нами (я хочу сказать: военным отделом партийного нашего подполья) как усиление, большую смелость демонстраций, обусловленную именно этой осведомленностью о слабости киевского гарнизона. Казалась ясной нам и цель этого усиления нажима: прекратить дальнейший отток деникинских войск на Гомельское и Черниговское направление, „связать“, поскольку возможно, киевскую группу белых.

Поэтому, когда 31-го сентября в кооперативном союзе, где я продолжал свою службу (переменив только „специальность“: с „паренья“ на „стекло“), мне передали сослуживцы, — конечно, „под строгим секретом“, — что на фронте „очень не благополучно“, я отнесся к этому, как к обычному киевскому слуху. Ведь Киев без слухов не может прожить дня: без них — базар совершенно беспомощен: как он установит цены?!

В ночь (на 1-е), от вари до вари слышен был под окнами грохот тяжелых, неуклюжих колес обозов и возбужденные, тревожно-громкие голоса возчиков. Это должно бы было навести на размышления: ведь, обычно, движение войск по улицам в ночное время не совершается так, спуская рукава, с гамом и криком. Но даже и такой яркий и настойчивый „намеки“ не возбудил во мне подозрений: я слишком верил в стратегию...

На утро меня разбудила непривычная суматоха в нашей, всегда тихой, до могильности тихой квартире... Что случилось? „Добровольцы уходят. К 12 часам, говорят, в городе будут уже большевики. Вчера прорвали фронт под Святошиным“.

— Очередная сенсация? Но на улице, несмотря на ранний час, толпились, — не в пример обычным дням, — суетливо, нервно пешеходы... Мелькнули,

в окнах, под дробный перебой копыт, силуэты полным галопом, распустив поводья, проскакавших всадников.

Я накинул пальто и вышел. Так вот почему не вернулись последние наши вестовые, ушедшие в штаб...

Бибиковский бульвар (наш дом стоял на углу Бибиковского и Пушкинской), по левой стороне, был весь загружен подводами, образовался настоящий затор. Толпившиеся на углах зрители, пользуясь остановкой, переговаривались с конвоирами.

На самом углу Пушкинской, первыми в ряду „затора“ — стояли три пролетки, нагруженные пулеметами. Сопровождавшие их пулеметчики, в траншейных шлемах, перемазанные глиною до пояса, оживленные и радостные, охотно и подробно отвечали на вопросы. „Едут из Святошина. Погрузились потому, что пулеметы отказ дали. Когда уезжали, приходилось трудно. Красные сильно наседали, густыми цепями, по четыре цепи на нашу одежду“. — Чем дело кончилось? „Кто его знает... Должно отошли. Потому, со всех сторон отходят... Эвона тянутся. А впрочем, и то говорят, что подкрепа подошла, с-пол Чернигова. Разное говорят. — Так что кто его знает“...

„Вот так, — все они!“ — горючатся в толпе высокий, черный субъект, трусливо перебегая глазами с одного на другого: „Я сейчас офицера спрашивал — вон этого, что с пушками сейчас тронулся. Говорит — беспокоиться нечего: отходим потому, что нам смена пришла. Врет, ясное же дело: где это видано, чтобы артиллерия уходила „со смены“, когда так жарят...“

Гул канонады, действительно, становится жарче и — ближе: глаза невольно ищут над крышами белых дымков.

„Да еще увозила с собой снаряды“, — поддакивает другой, кивая на тянувшийся за батареей длинный ряд понурых подвод, на которые беспорядочно, без ящиков, частью даже без всякой подстилки, навалены шрапнели...

„Бегут, — цедит сквозь зубы, злобно и осторожно озираясь, мещанского вида человек: — разве так снаряды возят! Смотрите; явное дело: побросали — сколько схватить успели...“

И вправду, — на иных телегах всего три, четыре снаряда перекатываются по дощатому настилу.

„Я ему говорю, я ему доказываю, — доносится из другой кучки, — какое право имеют не предупреждать нас: ведь мы не из любопытства спрашиваем... Тут о голове дело. Ведь если, к примеру сказать, большевики меня, по моей секретной должности, в городе застукают, не почешешься...“

Сочувственно внимавшие спервоначалу слушатели на этих словах — спешно и хмуро поворачиваются спинами и медленно расходятся. От Крещатика на взмыленной лошади поднимается офицер. Машет рукою, обозы трогаются.

Иду дальше по Пушкинской. У дома 22, занятого помощником главноначальствующего, генералом Флугом, стоит несколько автомобилей и извозчиков. Двери распахнуты. Вестовые волочат перевернутую веревкой корзину.

Дальше. На Фундуклеевской — огромное оживление. То же и в том же направлении, — к Крещатику, — тянутся подводы, снуют верховые на рысях. Против гостиницы Франсуа (на Театральной площади), отведенной под офицерские квартиры, — грузовики, подводы, легковые извозчики. Из подъезда выносят вещи. Офицеры, с винтовками и подсумками, громоздятся на груды наваленного на подводы багажа; кое-где между ними, по дорожному укутанные, с пледами, саками, картонками — дамы. На грузовики длинными рядами выкладывают чемоданы и ящики. Нарастает большая толпа, грудится к подъезду.

„Посторонней публике немедленно разойтись!“ — кричит, похлопывая нагайкой по лакированным сапогам, маленький коренастый офицер, в полной походной форме. — „Вахмистр, очистить тротуары, принять мер-ры!“

Но публика, не дожидаясь „принятия мер“, послушно сбрасывается в липкую грязь, затопившую мостовую...

Похоже, что действительно эвакуируются: куда ни глянь, влево, вправо — всюду офицеры с чемоданами.

Толпа на Владимирской, толпа у театра. Смотрят хмуро, напряженно, исподлобья. Никаких разговоров.

„Сдавай Киев, спасай чемоданы!“ язвит, крутятся колесом, юркий мальчонка и бежит, пронзительно, „по-паровозному“, свистя, за извозчиком на дутых шинах, увозящим полковника с дамой в шиншилах и с грудой картонок.

Робкой, выблужаясь тенью проскользнула в толпе барышня с трехцветной повязкой на рукаве и кружкой. Я и забыл! Ведь сегодня сбор! Сегодня „праздник народных героев“: так значится в афишах... И вечером концерт в Купеческом саду...

Барышня имеет до заплаканности растерянный вид. Все же протягивает бумажку с портретом: Май-Маевский или Шкуро? „Возьмите“... Но обрюзглый, обмокший господин в котелке, к которому она обратилась, меряет ее свирепым взглядом: „Не возьму-с...“

Дело ясное: воистину, добровольцы уходят.

У подъезда контр-разведки (отель „Европа“ — здесь же на Фундуклеевской) десятка три людей, подталкивал и подминал друг друга, пытаются проникнуть в подъезд. Часовые яростно „осаживают“ их, и какой-то чин, в боевых ремнях, с вещевым мешком за спиной, надрываясь кричит: „Сказано вам: от трех до шести“.

Прохожие фыркают. Высокая, худая еврейка истерически, в надрыв плачет, хватаясь за приклады солдат у подъезда...

На тротуаре вижу ротмистра „Владимира Ивановича“: рыжие усы его стоят дыбом; он без фуражки; сильно жестикулируя, объясняет что-то трем, явно-шпиковского вида штатским, уныло и покорно кивающим головой в такт его приказам.

Замелькали по рукам белые листки. Свежая, только что из типографии летучка... Плынут под пальцами, черные, не просохшие еще, крупные буквы: „По приказу главноначальствующего, киевский губернатор опо-

вещает население, что инцидент на фронте исчерпан и оснований для тревоги нет. Киев, 1 октября, 10 ч. 30 м.“

В толпе летучки вызывают озлобление. „Ах, язви-те, оснований нет. А сами тикают. Эво, багажа-то, багажа что навалено!“

„Народные герои!“—смеется другой, сбивая картуз на затылок. — „Устроили на свой праздник спектакль: показали пятки. В-во, так и блестят. Шибче, наддай, наддай—оповдаешь!“

Мальчишки, целыми рядами носящиеся по улице, шлепая босыми или хранимыми пятками по лужам—захлебываются от восторга, расступаясь перед стонущими грузовиками... Ухают вслед одиночным...

.....

Спускаюсь на Крещатику. В противность боковым улицам, его тротуары почти пусты. Редкие прохожие, останавливаясь через шаг, провожают глазами в перегон друг другу мчащиеся в Днепру пролетки. По обе стороны сплошной лентой тянутся подводы; странно: войскового имущества видно мало—все больше „багаж“; откуда столько набралось чемоданов и корзин?

Подводы сворачивают по Александровской. Поднимаюсь в Царский сад в Днепру: здесь в одном из закоулков, над обрывом—условленная на случай тревоги „явка“ наших (партийных) „боевиков“. Во всем парке ни души. Тихо. Только каштаны гулко бьют о побурелую от дождя глину дорожек, под налетами пронизывающего мокрого ветра.

Днепр под сеткой дождя. Даль затянута туманом, не видно, что творится на мостах. Река пуста, только на самой середине маячат сбитые носами, словно овцы в бурю, нелепо и беспомощно, пять—шесть барок.

Явочный пункт наш пуст. Обратно тем же путем. При сходе на Крещатику вижу вытягивающуюся с Александровской обозную колону, которую я обогнал, час тому назад по дороге в Царскому саду. Слежу за ней: въезжает на Крещатику в те же ворота, из которых выехала. Что за притча? Эвакуация приостановлена?..

У Думы, в кучке прохожих, какой-то департаментского вида „милсдарь“, распушив бакенбарды, повествует о том, как он только-что лично был у „самого“ Драгомирова, и тот заявил, что опасности нет, так как с Дзержинской уже прибыли крупные подкрепления и спешно вызваны войска с Черниговского фронта. В подтверждение этому—видим в окне соседнего магазина спешно, кривыми, корявыми литерами намалеванный плакат, гласящий:

„По приказанию главноначальствующего оповещаю население Киева, что городу не угрожает никакой опасности. Войска Доброармии перешли в наступление и гонят противника“. Подписано: киевский губернатор Чернявский.

Но... и плакат этот, и повествование презентабельного господина мало убедительны: извозчики, всё шибче торопящиеся „к мостам“, и звуки всё ближе и ближе надвигающейся перестрелки говорят иное...

— В городе уже ложатся...

— На Еврейском... Я сейчас оттуда, — услужливо подвертывается, засматривая в глаза, дяскающий зубами — не то от страха, не то от сырости — бледный, курчавый, растрепанный субъект...

Иду в направлении на вокзал. На углу Владимирского и Бибиковского бульвара, прижавшись к стене, бьется о камень, с глухим плачем, просто-волосая, полудетая женщина. Полукругом, не подходя слишком близко — кучка соблезнующих: десяток торговов, чистильщие сапог...

В чем дело?

— Мужа-офицера оставили в заслоне, на Еврейском. Приказано держаться до последнего. А снаряды на базаре так и ложатся, — так и ложатся — тарыхтят бабы. — Притом отрежут, беспреренно отрежут: на вокзале — слышно — уже китайцы высадились...

Дальше, дальше...

Но... в глаза бьет резкая перемена на улицах. Утреннего оживления, многолюдства, многоголосости — нет: замер, застыл, затих, затанлся ожиданием город. Магазины, кофейни, подъезды заперты. Подвод уже не видно. Лишь кое-где, поджимаясь к стенкам, оглядываясь, торопятся затерявшиеся на безлюдья — пешеходы...

Пожалуй, и впрямь уже высадились на вокзале советские... Пора домой: должны уже быть вести от организации.

Чем ближе к дому (я иду дальним обходом), тем тише, тем заглушеннее, пустые, мертвые улицы... Гулко отдаются одинокие шаги по замерзшим плитам. — И вдруг, словно дохнуло чем-то палачим и страшным над городом. Словно по сигналу, сразу как-то, бурливо, шумно хлынули люди: из всех углов, из всех подъездов. Волной взмыл новой, гуще, шумливее утреннего, людской поток.

Спешат, толкаются, обгоняют друг друга, расхлестывая во все стороны жидкую грязь. Тащат узлы и картонки, свертки какие-то; но все налегке, словно на пикник собрались...

В этой новой беженской волне военных уже нет: редко-редко промелькнет „форменная шинель“. Идет сплошь штатский, обывательский люд. Интеллигентик, с поднятым воротником пальто, ловя на ходу поминутно падающее с носа пенсне, тащит, подгибаясь, завернутую в одеяло подушку и пачку книг. Три барышни с картонками, в белых туфлях, уже замасанных облепившей тротуары жидкой, как кофейная гуща, грязью... Крестящаяся, приседающая при каждом ударе снаряда (а они все ближе ложатся) старуха, чиновного вида брюхатый мужчина, с портфелем и портпледом. Дама с грудным младенцем, наспех завернутым — вкривь, вкось — в три одеяла: из кармана пальто горлышко бутылки с молоком: другого снаряжения нет... Четыре студента, взявшись под руки, безо всякого багажа... И еще, и еще, целыми струями, сбиваясь на-ходу в кучки, сливаются на Крепчатке... Сколько их?.. Пол-Киева?..

Бегут молча, смотря себе под ноги... И оттого, что молчит, молчит, как неживая, вся эта перебирающая ногами толпа—особая жуть ложится на улицы, по которым бегут они...

Из окон столовой нашей квартиры (дом, я сказал, угловой)—виден весь отрез Бибиковского от Пушкинской до Крещатика, часть Бессарабки, Пушкинская почти до Фундуклеевской: отличный наблюдательный пункт.

С пункта этого я вижу, как катится — и здесь, по Бибиковскому вниз, запоздалая беженская волна. Опять: студенты, барышники, старушки, геморроидальные чиновники, благообразные интеллигенты... Только рабочих нет, как не было их и в том, ранее, на других улицах виденном людском потоке...

Гудя и треща всем корпусом промчались по обе стороны бульвара, беженным ходом, обрызгивая бегущих по улице пешеходов, несколько грузовиков, доверху заваленных набросанными как попало вещами; среди них, цепляясь за корзины и сундуки — женщины, дети... Пршла, мерно отбивая шаг, офицерская охранная рота. Ее четкий неторопливый марш, размеренность уставных движений кажутся потрясающе спокойными на фоне только что пронесшегося смерча паники...

И снова пустеет улица. Только на перекрестке, у заколоченной наспех будки с лимонадом, остается еще некоторое время всегдашний постовой милиционер. Но и он, поймавшись с ноги на ногу, вдруг решительным жестом скидывает винтовку на плечо, дулом вниз, и все ускоряющимся, в рысь переходящим шагом спускается вслед за беглецами, к Крещатику. Гулко ударяет где-то совсем, совсем близко снаряд. И снова тихо и пусто, только дробно барабанит мелкий, чахлый, тоскливо-назойливый дождик...

Кажется, последние ушли!...

В первый раз за день посмотрел на часы: четвертый...

Минут пятнадцать длится жуткое затишье. Затем, маленькой кучкой, тиньком, скопившиеся на углу любопытствующие „квартильные жители“ всё беспокойнее и напряженнее начинают заглядывать из-за угла вверх по Бибиковскому — и вдруг разбегаются по Пушкинской, во всю прыть, врассыпную, теряя галоши. И едва опустел перекресток, — мимо наших окон, — в сбитой на затылок фуражке блином, в распахнутой, ватной, „окопной“ тужурке, — по ветру распустив завязки ее, широко расставив руки, словно балансируя на скользкой мостовой, пробежал солдат.

„Наши!“ И спрашивать не надо...

За ним еще два. Бегут по середине улицы, ружья на-изготовку. Оглянувшись с угла на Пушкинскую — пуста. Дальше к Крещатику.

Но как только они миновали угол — резко вызывая стукнул выстрел с Бессарабки... Второй, третий... и тотчас по всему бульвару, радостно и торопливо отзываясь, затрещали винтовки. С моего места я вижу первого солдата: прижав за выступом угловой стены, он стреляет, быстро и спорливо меня обоймы. На линии нашего дома залился, зацокал пулемет.

„Снизу“ отвечают. Затем стрельба обрывается сразу,— так же внезапно как и началась. И по тротуарам спуска, обеими сторонами, уже спокойным неторопливым шагом, „как дома“, ружья за спиной, гурьбою, бесстройно сходят красноармейцы.

Снова доносятся выстрелы, но уже далеко впереди, в стороне Печерска. Мы — „вагты“...

„Вагты“, но не совсем. К вечеру выяснилось, что не только мосты не захвачены, не только удержан белыми Печерск, командующий городом, но добровольцами организован уже встречный удар. Вернувшийся „с того берега“ товарищ сообщил, что, по приказу Драгомирова, генерал Штакельберг роздал оружие всем, оказавшимся в Дарнице офицерам и свел их в четыре „ударные роты“: среди этих офицеров было немало „подследственных по обвинению в службе большевикам“, выпущенных перед самой эвакуацией из Лукьяновской тюрьмы — для усиления добровольческих кадров. Ядро „ударников“ составила группа „дроздовцев“ — „первая рота“ новоявленного офицерского батальона; остальные составились из офицеров разных чинов и разных родов войск. Около 5 час. дня, напутствуемые самим Драгомировым, роты перешли через мост, направляясь на Печерск, естественный опорный пункт дальнейших операций; в их рядах перешел и наш товарищ. Две первые роты по диспозиции имели задание занять 5-ую гимназию и прилегающие улицы, и выдвинуться до Институтской по Александровской. Назначение двух остальных рот точно установить не удалось, известно было лишь, что они направлены левее первых двух колонн, вероятно, к военному госпиталю.

По сведениям с Подола, он был очищен добровольцами к 6 часам вечера — задолго до подхода красных войск к гавани (к этому часу наступавшие на этом участке „интернационалисты“ дошли только до церкви Рождества). Преждевременность отступления объяснялась трусостью некоего пристава Тюринна, командовавшего отрядом государственной стражи, составлявшим арьергард добровольцев на этом направлении. Он поторопился отойти за Днепр, бросив без прикрытия батарею, до того времени довольно оживленно отвечавшую на огонь красных и сдерживавшую, в некоторой мере, их наступление: за нехотой ушла и осиротевшая батарея. Еще раньше, при первых попаданиях советских снарядов в район гавани, снялись и ушли вниз по Днепру грузовые пароходы и суда речной флотилии, принявшие на борт часть киевских беженцев. На некоторое время гавань, таким образом, осталась „без власти“. Этим воспользовались местные босаки, отчасти поддержанные и „мирными“ жителями: они разграбили склады на пристани, где хранились довольно крупные запасы муки и крупы и сложены были вещи беженцев, принятых на пароходы (с багажом пассажиров не брали). Перекалечены были грабителями и автомобили (грузовые и легковые), брошенные добровольцами в этом районе за израсходованием бензина: с них сняты были все „ценные“ части, а некоторые разобраны почти полностью. Подошедшие

советские войска разогнали грабителей, но пристань к этому времени была уже разгромлена в конце. Совершенно такие же сцены разыгрывались, в те же самые часы, на противоположной стороне города, где Товарная станция с ее груженными составами и складами была разграблена до тла „мешечниками“ (которыми всегда кишит этот район), при деятельном участии местных железнодорожников. „Работали“ как здесь, так и на Подоле, преимущественно женщины.

Захват Подола нашими отрезал часть добровольцев, отходивших от Пущей-Водицы. Об этом подольская группа и не подозревала: белые, пробиваясь к Днепру, неожиданно вышли ей в тыл; это дало им возможность без особых потерь проскочить по набережному шоссе к водокатке Юго-Зап. жел. дороги, где они засели за каменными прикритиями. К этому времени стемнело — атаку пришлось отложить до утра, так как ориентироваться впотьмах небывавшие до того в Киеве, незнавшие города войска, естественно, не могли.

Общая картина, таким образом складывалась в чертах неопределенных; всё зависело от того, успеют ли наши до подхода подкреплений к белым захватить Печерск — „ключ“ позиции белых, открывавший и выход к мостам.

Но находившиеся в городе советские войска как будто не проявляли особой, в этом смысле, энергии. Правда, в центре города, до вечера, были только передовые части — главные силы, по словам командиров, еще не подтянулись от окраин. Но и передовые к ночному бою не готовились. Связь, поскольку удалось установить, налажена не была, некоторые отряды не знали даже, где в данное время штаб: они располагались бивуаком, прямо на улице.

Словом, по общему впечатлению, советское наступление „зачехало“... на тех местах, где какую часть застали сумерки.

Та горсть „боевиков“, которыми располагала наша организация, еще в разгар отступления белых пробралась в Марининский парк, откуда из-за решетки обстреливала отходившие обозы. К вечеру этот район был занят частями Интернационального полка, продвинувшимися до Инженерного проулка и Никольской башни. Часов около 10 на Никольской улице показались первые цепи наступающих встречным ударом белых. Предупрежденные о предстоящей атаке, наши были готовы к встрече: они подпустили добровольцев на близкую дистанцию и взяли их под перекрестный ружейный и пулеметный огонь. Белые отхлынули, понеся крупные потери. Еще два раза пытались они возобновить атаку, но оба раза с тем же результатом.

После полуночи — на линии боя появился броневик „Якутец“, недели две тому назад отбывший на Черниговский фронт. Можно было заключить, что к белым уже стали подходить подкрепления: „Якутец“ несомненно был „первой ласточкой“.

Новая атака белых, при поддержке броневика: наши на этот раз не удержались и отошли к Марининскому парку, частью же вниз по Александровской. Добровольцы попробовали развернуть, немедленно, преследование, но уже

на линии Крепостного проулка были остановлены огнем бомбометов и пулеметов с Александровской и фланговым обстрелом из-за ограды парка. Огнем этим был подбит броневик, спешно вышедший из боя; следом за ним потянулась назад, за Никольские ворота, и пехота. Наши, преследуя по пятам, вернулись к исходному своему положению, закрепившись в башне и арсенале.

Отдыхать, однако, не пришлось. На рассвете белые, видимо значительно усилившись, снова перешли в наступление. Снова появился, — очевидно, спешно подправленный, — „Якутец“. С нашей же стороны не было ни подрешлений, ни даже сведений о том, что делается в других районах: заброшенная вперед часть чувствовала себя оторванной, это снижало боеспособность. К тому же и патроны, не пополнявшиеся всю ночь, были на исходе. Тем не менее наши продолжали держаться. Выбитые из башни и арсенала воистину бешеными атаками добровольцев, в рядах которых замечены были „дроздовцы“ — они отошли в Марининский, где засели настолько прочно, что все попытки белых ворваться в парк кончались неудачей. „Якутец“ был вторично подбит и снова вышел из боя...

.....
Е двенадцати часам дня 2-го, я ушел на Крещатику, к Бессарабке, где должен был сойтись с товарищами из районов. В противность „Липкам“, „дышавшим“ огнем, — в этом районе было такое спокойствие, что, глядя на спокойно передвигающуюся — к базару и от базара — толпу, на торговков, по всегдашнему копошившихся у ларей, на мелькавших кое-где по тротуарам красноармейцев, с папиросками в зубах, не верилось как-то, что за несколько кварталов отсюда идет бой, решающий, быть может, судьбы Киева. Базар шел своим порядком, даже цены не очень поднялись: масло до 190 рублей, хлеб до 20 — 25, местами, где его разбирали слишком торопливо, цену набивали до 40. Много овощей и фруктов. В одном лишь сказалась переходность момента: базарная „биржа“ аннулировала временно и донские, и советские: ни тех, ни других не брали — шли только „нейтральные“ керенки.

На всем Крещатику никаких признаков советских войск, кроме одиночных отбывшихся от своих частей, солдат. Все они имели до невероятности обношенный вид; попадались в буквальном смысле слова босые. Преобладали Таращанцы; на вопросы отвечали неохотно и хмуро. Один из спрошенных мною ответил, кинув острый взгляд из-под косматых бровей: „советские-то мы, советские, только у нас ни коммуны, ни чрезвычайки не будет“ ¹⁾.

¹⁾ Эта формула, как выяснилось впоследствии из рассказов обывателей, была „ходячей“: ее слышали во всех концах от красноармейцев различных частей занявшей город 68-й дивизии. Она, видимо, и дала повод к распространившимся в городе слухам, что ворвавшиеся в Киев войска не большевистские, а лево-эс-эровские. Слухи эти нашли себе, позднее, отражение и в печати: 8-го октября „Киевская Жизнь“ (№ 22) напечатала сенсационную заметку под заглавием „Новый Украинский Совнарком“. Заметка гласит: „О том, что наступление на Киев не было случайной военной операцией, носившей только местный характер, говорит тот факт, что на случай прочного захвата Киева был заранее сформирован новый временный Совнарком Украины. Часть членов этого Совнаркома все время оставалась в Киеве, ожидая прихода советских

Товарищи оказались в сборе: бродят парами и в одиночку, останавливаясь у пустых витрин. Многих я не видал с первого дня подполья: с трудом сдерживая смех, видя привычные „родные“ лица — в непривычных маскарадных нарядах...

Гуляю взад и вперед, сменяя по одному (для конспирации) собеседников: делаем сводку. Организация, как и следовало ожидать, к событиям не готовилась; однако, кое-что удалось сделать: о Печерской группе я уже упоминал; упоминал также о товарище, из числа наших контр-разведчиков, ушедшем в Дарницу при эвакуации и вернувшимся с ударными ротами; кроме него в Дарницу ушло еще несколько человек, связь держится, хотя добровольцы установили строжайшее наблюдение за мостами, и несколько человек, показавшихся подозрительными, расстреляны ими на месте при попытке перейти в город. Член железнодорожной организации нашей тов. Я. пустил паровоз на Бредовский поезд из тупика между вокзалом и товарной станцией. Состав оказался разрезанным пополам, три вагона разбиты в щепы. Поезд все-таки отошел, хотя и с большим опозданием: благодаря этому на него успели посадить митрополита Антония, задержавшегося на обедне в соборе и не поспевшего к „генеральской эвакуации“. Самого Бредова в поезде не было: как и весь остальной генералитет, он предпочел, для безопасности, отбыть из города на автомобиле.

Лукьяновская тюрьма взломала при отступлении белые двери и ушла: до 2000 человек, в большинстве числившихся за контр-разведкой. Из партийных товарищей наших — Гриша Смолянский, не оправившийся еще от жестоких истязаний, которым его подвергали на допросе — с огромным трудом вышел из тюрьмы и, из последних сил, добрался до своих; в данный момент он уже на надежной квартире и может считаться в совершенной безопасности, даже в случае возвращения добровольцев; бывший в заключении там же Анатолий Р. не только выбрался, он успел уже стать в ряды: он работал главным образом на Софийской площади, где стояли красные батареи, стрелявшие по Печерску. Что касается положения Киева, то, по общему отзыву всех товарищей, город производит впечатление брошенного обеими сторонами. Красных войск, повидимому, мало (наши видали только богунцев и тарашанцев) — и держатся они пассивно. Две роты стоят бивуаком на Васильковской, у костела, выставив пулеметы посреди улицы. Вчера на Софийской площади стояла артиллерия, но под утро она снялась и куда-то ушла — едва ли не назад. Так или иначе, в центр города советские войска сколько-нибудь крупными частями не вступили до сих пор: надо думать, что они намеренно

войска, часть же двигалась вместе с большевиками, или вернее, лево-эс-эровскими войсками, так как руководили ими левые эс-эры. Новый Совнарком был также составлен из левых эс-эров“. Мы в подполье не мало смеялись над этой фантастической заметкой. Однако, вспоминались невольно предупреждения, сделанные некоторым из нас „доброжелателями“: именно от некоторых сотрудников „Киевской Жизни“ они слышали имена двух — трех оставшихся в Киеве видных партийных товарищей. Их-то, видимо, они и провозгласили наркомами...

задерживаются на окраинах. Со штабом красных по сие время мы не связались, так как он, по слухам, находится в Политехническом, а наши всё время были заняты в городе. На Днепре появились три военных судна — по распросам, добровольческие канонерки.

Если прибавить к этому итоги ночного боя у Никольских ворот — общий военный диагноз можно было формулировать в том смысле, что дальше налета дело не пойдет. Первый, важнейший момент — момент паники и „спасения чемоданов“, момент совершенной военной беспомощности добровольцев, когда к их отступившим колоннам примешались, парализуя возможность всякого маневра, орды бегущих обывателей, остался абсолютно неиспользованным. Что могли бы в этой обстановке надеть два — три красных эскадрона — с одной хотя бы конной батареей! Но кавалерии не было, а пехота — не унялась: Драгомиров успел вывести свои войска и сумел сохранить за собой не только мосты, но и Печерск. К данному моменту, в силу этого, пришлось признать на его стороне все преимущества — и стратегические, и тактические. Академическая наука, видимо, пошла в прок генералам: не даром заставляли их подзубривать „Тактику“ Балка: операция проведена по его рецепту: „В случае восстания или внезапного налета противника на город, прежде всего вывести войска за городскую черту; затем, восстановив полный порядок в отступавших частях, перейти в планомерное, систематическое наступление, занимая квартал за кварталом“. Первая часть — опаснейшая — удалась добровольцам всецело: в городе были захвачены только одиночки — офицеры. Что касается второй — обратного занятия города, то в уличных боях перевес должен был несомненно оказаться на стороне добровольцев. Этот тип боя требует высокой „одиночной“ подготовки бойца, развитой боевой индивидуальности, выдержки и отменно-поставленной связи. Во всех этих отношениях офицерские роты Драгомирова бесспорно стояли выше удамых и стойких, бравярущих опасностью, но своевольных и неприседших строевой тактической школы таращанцев и богунцев. Что же до связи, то она всегда являлась слабейшим пунктом нашей армейской организации.

К тому же даже численно — перевес в городе был пока на стороне добровольцев. А тот факт, что советские войска не подтягивались к Днепру с окраин, невольно наводил на мысль, что вне города ведется белыми какой-то неизвестный, невидимый нам здесь, но уже обнаруженный советским командованием контр-маневр белых, заставляющий наших не рисковать углубляться в город.

Словом, всё, как будто приводило к выводу о малой надежности всего этого предприятия. А из этой пессимистической предпосылки сама собой складывалась и очередная директива нашей организации: ни в коем случае не раскрываться; напротив, устроить осторожность, памятуя, что в случае возвращения добровольцев влещи контр-разведки раскроются еще шире, еще злее, еще жестче, и работать будет труднее, чем до набега.

В этом смысле и даны были инструкции по партии. Молодежь поворчала: и вправду, безмерно тяжело — психологически — снова уходить в под-

полье — с самого порога возврата к „вольной“ открытой жизни. Ведь многие из наших серьезно поверили уже, что „нелегалшине“ конец. Но против фактов не поспоришь.

Разошлись. Я остался на Крещатике: к часу дня мы с Гайком (энергичнейшим, чудесным и по смелости и по выдержке военным работником нашего подполья) должны были пройти в типографию Кушнерева, на Караваевской, где до Деникина печаталась наша „Борьба“ (орган Центрального Комитета нашей партии), а при Деникине стал печататься „Киевлянин“. Г. накануне еще (т.-е. вчера 1-го) заходил туда и условился с управляющим о вызове на сегодня, в двенадцати, наборщиков и остальных рабочих, необходимых для выпуска газеты: хотелось попытаться выпустить „по-верху“ „Борьбу“ — хоть один номер. Управляющий обещал, тем более, что подобное же заявление поступило к нему и от „боротбистов“, газета которых печаталась при советской власти в той же типографии.

До часу оставалось еще минут сорок: я медленно шел по Васильковской к Караваевской. Внезапно улица дрогнула; прохожие затоптались на месте... Обернулся: от Бессарабки, веером разметываясь по улицам, бегут люди. Выстрелов не слышно. Я заступил дорогу первому подбежавшему: „Куда вы? Что случилось?“. Он не сразу понял: бессмысленные, страхом остановленные глаза. Наконец, пробормотал что-то о добровольцах. „Где?“ — „На базаре!“ — „Вы видели?“ — „Нет, но кто-то крикнул“. — „Ну, как не стыдно!“

Бежавшие стали останавливаться. Нерешительно, словно не доверяя себе. Часть повернула обратно на Бессарабку, встраивая корзины. В это время снизу, от костела показался автомобиль. Он промчался мимо нас, залепленный грязью, видимо с дальнего похода: шесть сидов, лиц не разглядеть, мелькнули лишь красные звезды на фуражках, да дула винтовок. Автомобиль свернул на Бессарабку, я пошел дальше, к Караваевской.

Но не успел сделать десяти шагов, как сзади донесся короткий, глухой удар выстрела, многоголосный вскрик толпы, и тотчас впереводку друг другу застучали, затакали пулеметы. Полным ходом, делая бешенный выраз, вынесся на Крещатик обратно красноармейский автомобиль, а за ним, давя друг друга, с протяжным — не криком, а воем каким-то — хлынул с Бессарабки базарный люд.

Оглянувшись (я стоял на перекрестке) на Прозоровскую, я увидел и там мчащихся в диком беге людей. Стрельба не стихала ни на секунду. Явственно слышался ставший таким знакомым за эти годы шелест пуль по улице.

Васильковская обезлюдела почти мгновенно. Припав вместе с другими прохожими в нишу ближайших ворот, я переждал первый шквал. Пулеметы продолжали стрекотать где-то близко, но насколько хватало кругозору — нигде никого не было видно.

Я перешел улицу — от непривычной пустоты, посвиста пуль и истеричных предостерегающих обликов — из всех окрестных ворот — казавшуюся шире обыкновенного, завернул за угол и столкнулся с Гайком. Он шел из типографии: наборщики и метранпаж на местах, можно бы приступить к ра-

боте. Но ... не поздно ли? Какие сведения с Александровского направления? Как там с утра развернулся бой? И что значит бессарабский инцидент?

На Бессарабку добровольцы вышли всего вероятнее со стороны Собачей тропы: надо думать, обнаружались те две левофланговые роты, о назначении которых не знал пришедший из Дарницы товарищ. Что же до Александровской, то и здесь, судя по ходу ночного боя и полной оторванности выдвинутых на этом направлении „интернационалистов“, на успех наших надежд было мало... Во всяком случае, с набором газеты решили несколько обождать, пока выяснится обстановка. Двинулись по Пушкинской, в стороне Бибиковского. Когда мы были, приблизительно, на середине квартала, на обоях углах, сзади и спереди нас, почти одновременно появились пригнувшиеся, крадущиеся фигуры, с винтовками и белыми повязками на руках. Вопрос о газете решался сам собой: типография переходила в зону добровольческой оккупации. Мы спешно расстались, наскоро условившись о свидании.

Я снова занял свой „наблюдательный пункт“ в столовой. Линия боя, видимо, вынеслась уже значительно дальше вперед, за Пушкинскую. Правда, в течение дня посты, занимавшие наш перекресток, несколько раз очищали его и, подхватив ружья, опрометью бежали вниз по Бибиковскому, к Бессарабке. Иногда они при этом „куда-то“ стреляли... Но с „той стороны“ — ни выстрелов не было слышно, ни людей не видно. И происходившие перед моими глазами эволюции правильнее было отнести попросту к излишней впечатлительности занимавших участок добровольческих постов.

В составе их, сменявшемся, не было ни разу „настоящих“ кадровых добровольцев: были люди по всем признакам специально на этот случай набранные из обывателей: надо думать, — тыловое ополчение из Дарницких беглецов (к слову сказать, это тоже свидетельствовало, что наш участок — тыловой). До вечера их прошло перед моими глазами десятков пять; но особенно запомнились, комичной надутостью своей, три фигуры: гимназист, из великовозрастных, уже с кустиками на подбородке, с укороченной и едва ли годной к стрельбе винтовкой без штыка; округленный по всем трем измерениям отец семейства, в картузике и мафферлане, обликом или лучше сказать повадками удивительно напоминавший Павла Николаевича Милюкова в общезитии, и доброволец еврей в пенсне, в солдатской, не на его рост шинели. Эти трое нервничали, важничали и суеились больше остальных, хотя грешили тем же, конечно, и прочие: ведь важничанье и нервность — черта характерная для всех вообще штатских людей, когда они играют в солдатики, да еще с заряженными ружьями. „Милюков“ в своем рвении дошел до того, что в один прекрасный момент лег животом на мокрую панель — прямо в жижу — хотя в таком „положении живота“ не виделось ровно никакой необходимости: к этому моменту (по сообщению зашедшего ко мне товарища) — „враг“ был уже за Еврейским базаром, и стало быть вне всякой досягаемости храброго стрелка. Тот же „Милюков“ распорядился, реквизируя проходных, навалить баррикады поперек Бибиковского и Пушкинской, используя для этого бульварные скамейки. Грому было много, перепачкался весь этот воинствующий

люди с головы до пят, но затруднений переходившим перекресток пешеходам причинено было немного: перешагнуть через поваленную скамейку нетрудно даже самой стыдливой даме... К тому же, через какой-нибудь час всё это сооружение пришлось разворотить, чтобы дать проехать поднимавшимся вверх по Бибиговскому, под сильным (до 200 человек) конвоем офицеров, двуколкам с пулеметами и походным кухням.

Вне этих воинственных занятий посты развлекались тем, что дирижировали движением по улице, обыскивая подозрительных прохожих. Как сейчас вижу фигуру какого-то франта, семитического типа, поднявшего по окрику руки в новеньких вишневых перчатках и выпатив живот, предоставившего себя ощупыванию „охранительных“ рук... На углу в это время произошла „очередная“ тревога: повидимому, в связи с приближением к „баррикадам“ двух очень хорошеньких дам — пост демонстрировал опасность и красоту своего служения: он изговаривался к стрельбе, гимназист даже прицеливался... И франт, ожидая ежесекундно выстрела под ухом, танцевал всем телом, от судорожно кривившихся пальцев — до непроизвольно дергавшихся ног...

Уже под вечер, когда улица наша приняла совершенно мирный вид и на подъезды высыпали „граждане“, разминая затекшие от сиденья в подвалах члены, — на панели, словно из земли, вырос видимо отбившийся от своих, заплутавшийся тараканец. В рваной шинелишке, с каким-то узелком, в опорках...

Что случилось с улицей! Вся сразу, от конца в конец, дрогнула, всколыхнулась, застонала, задыкала... Тараканец побежал, придерживая за спиной мотавшуюся винтовку... И такой он казался маленький, щупленький, заморенный — среди этой бесноватейшей толпы... На пути его — прохожие и „местные“ шарахались в подъезды, в панике хватаясь за перила лестниц... „Вон, вон — бежит...“ Вправо взял... Растерявшиеся угловые воики пропустили его на бульвар, и, пока они возились с затворами, он скрылся уже из нашего кругозора. Я мог следить дальнейший бег его только по улюлюканью прохожих... „Правее, правее... за деревом“... Два добровольца — офицера, подошедшие от Крепятина, сорвали винтовки с плеч и бросились по бульвару, прикладываясь на-ходу...

Внезапный и сильный пулеметный огонь на Крепятике отвлёк внимание всех от этой охоты за человеком. По Бибиговскому подымались ошалелым галопом две-три пустых подводы и походная кухня: лошади одни, без вожатых... Не добежав до Пушкинской, запыхались, стали. Вдогонку за ними бежал, приседая и взмахивая руками, доброволец, в распахнутой шинели, толстый, обмотанный чем-то белым. Подскочили постовые. Лошадей завернули, свели вниз, к Крепятику... Должно быть, тоже „отбившиеся тараканцы“: материал для реляций ¹⁾.

¹⁾ Эпизод этот, действительно, в добровольческом изложении представлен был, впоследствии, как уничтожение сильной большевистской колонны, спускавшейся от Липок по Кругло-Университетской.

В восемь часов сошелся с товарищами; сообщения всех созвучны: добровольцы наступают по всему фронту, советские отошли на самые окраины, задерживаясь — и то повидимому, по неведению, только на Подоле, где они закрепились в районе пристани и подобрались к стратегическому мосту ж. д. Лукьяновка-Дарницы, по которому еще утром отходили добровольческие обозы с Куреневки. Часть обозов удалось отбить, но самый мост добровольцы отстояли.

На остальных же участках поле было за добровольцами. В Маринском парке интернационалисты держались почти до трех часов дня, отбивая атаки офицерских ударных рот и подошедшего, в часу дня, пешего отряда волчанцев. Потери противника в этом районе очень велики, так как китайцы и мадьяры несколько раз подпускали белых на штыковой удар и отбивали затем беглым огнем, почти в упор. Держались бы и дольше, если бы не полная оторванность: опасались обхода, да и патронов могло не хватить. Поэтому решили отойти, не принимая „решительной атаки“, которую готовили жестоким картечным огнем с близкой дистанции добровольцы. Снялись незаметно, и, когда денкиныц размахнулись, наконец, всем кулаком по Маринскому парку — он оказался уже пустым. Красные отступили, не задерживаясь, через Крещатик по Трехсвятительской и дальше до Львовской; нигде ни признаков резервов; задержавшись еще несколько отход — были бы отрезаны. После их отступления добровольцы, без боя, распространились по кварталам центра — до Софийской площади и Сенного базара.

Левее этой группы действовали, как мы и предполагали, третья и четвертая роты офицерского ударного батальона, подкрепленные позднее Якутским и Волинским полками, прибывшими с Черниговского фронта. Первые моменты этого наступления — спуск головных частей с Собачьей тропы — мы утром и видели. Правда, довелось в тот же вечер слышать и другой вариант Бассарбской тревоги: некий офицер, с которым я заговорил, раскуривая у него папироску на улице, уверял, что наступление на Бессарабку было предпринято по личной инициативе группы офицеров в 8 человек, с одними винтовками: первый пулемет они будто бы отняли у красных уже на Терещенковской улице. Группе этой, усилившейся по пути присоединившимися к ней офицерами и вольными, удалось продвинуться за Ботанический сад, но здесь они были обойдены и перебиты до последнего. По уверению моего собеседника, он был единственным, спасшимся от резни.

Вариант этот несомненно может служить образцом беззащитного „лганья“: не даром же говорят: „врет, как очевидец“. Ибо в момент захвата Бессарабки явственно слышны были, и далеко не одиночные, пулеметы; самый же захват велся по всем правилам искусства, так как только что пройденный действующими войсками участок — на наших глазах — оказался немедленно закрепленным постами тылового ополчения, очевидно, продвигавшегося следом за ударниками на близкой дистанции.

Именно так и рисовал ход наступления работавший в этом районе товарищ. По его словам — шедшая по тропе 4-я рота, безо всякого сопроти-

вления, прошла по Бибииковскому бульвару, прикрывшись с левого фланга, на Васильковской, баррикадами; в этом районе стояли еще довольно крупные советские части, державшиеся однако пассивно: они ограничились обстрелом баррикад с дальнего расстояния. Вокзал и Еврейский базар заняты были белыми без боя. К ночи, при поддержке прибывших броневиков, добровольцы закрепились на линии Брест-Литовского шоссе. Головные части, по слухам, дошли до Кадетской рощи. Наших, повидимому, ближе Куреневки — уже нет... Дало таким образом явственно шло к развязке.

К ночи под нашими окнами спешилась подошедшая походным порядком осетинская сотня. При ней целый транспорт подвод с сеном.

Ночь на 3-ье прошла спокойно и беззвучно. Только перед рассветом стали доноситься орудийные выстрелы, но в большом отдалении. По Бибииковскому, один за одним, поднимались в направлении к Еврейскому базару свежие добровольческие части. Туда же ушли и ночевавшие на Пушкинской осетины.

Около 9 часов прибежал взволнованный товарищ: „Наши снова перешли в наступление, белые отходят, обозы их с Бессарабки и Прозоровской снова гонят назад, к Печерску“. Известие казалось сенсационным; однако, через каких-нибудь полчаса с Бибииковского донесся треск отрывистых винтовочных выстрелов — и к нашему углу отошла „сверху“, отстреливаясь от наседавшего, видимо, в упор противника, группа добровольцев, при двух пулеметах. Один, Кольта, ватили по тротуару, другой — щитовой — установлен был на повозке, запряженной четверкой великолепных вороных коней. Снизу, на поддержку подбежало десятка три людей. Они залегли на бульваре и за выступами угловых домов и в течение почти часа поддерживали беглый огонь, временами доводя его до пачек. Работали почти безостановочно и оба пулемета. „Сверху“ отвечали сильно: на глазах видно было, как летят со стен домов, по той стороне бульвара, отбитая штукатурка. Но пули с той стороны шли почему-то несуразно высоко — на уровне второго этажа, не ниже. словно велся не прицельный огонь. Потерь у добровольцев поэтому не было...

Этот короткий боевой эпизод был — для центра города — последним. Когда отавучала огневая схватка и добровольцы поднялись, разминувшись, перепачканные глиной и грязью, им больше уже не пришлось браться за винтовки...

Но на окраинах бой продолжал разгораться. Перегруппировавшись за ночь, советские войска вели наступление в обход добровольцев — со стороны Содоменки и Батыевой горы. Вокзал был захвачен ими еще на рассвете, под прикрытием тумана. В 12 часов завязался бой за Товарную станцию: белые стали отходить по Полицейской и Васильевской, неся большие потери, так как Полицейская на всем протяжении была под непрерывным обстрелом двух установленных на железнодорожном мостике, близ Товарной станции, пулеметов. Выбивая шаг за шагом старавшихся зацепиться за каждый изгиб улицы, за каждую вымолну дороги белых, советские заняли Троицкий базар,

Караваяевскую улицу, и разведка их продвинулась почти до Киевского военного госпиталя. Таким образом намечалась, как будто, подготовка атаки на Петерск.

В еще более тяжелом положении оказалось 4-я рота белых, ранним утром продолжавшая наступление по Керосинной улице и в Бендерских казармах: казармы, по данным белогвардейской разведки считавшиеся брошенными, на деле оказались сильно занятыми, и все попытки ударников овладеть ими отбивались до самого вечера контр-атаками. Часть белых в районе, прилегающем к Керосинной, была окружена и с большим трудом пробилась в направлении на Лукьяновку.

Здесь, на правом добровольческом фланге, их наступление продолжало развиваться весь день. Около 2-х часов дня, после упорного боя, они заняли при поддержке броневика „Якупец“ Лукьяновское кладбище батальоном пехоты. Две других роты, несколько позднее и тоже с боя — захватили второй опорный пункт красных — еврейское кладбище. На крайнем правом — на Подоле утром шли с переменным успехом бои за Юрковскую улицу. Подход частей якутского полка и кавалерии решил дело в пользу добровольцев: наши отошли на Куреневку.

В центре добровольцы с огромным трудом удерживали за собой Сенной базар, прикрывая зарвавшийся вперед правый фланг от глубокого обхода красных. Советские войска, распространяясь от Еврейского базара по Бульварно-Кудрявской и Столыпинской, около 2-х часов дня прорвали линию белых и вышли на Фундуклеевскую; их цепь доходила уже до Городского оперного театра. Самый Сенной базар добровольцам удалось отстоять при помощи отряда, засевшего на Святославской и бывшего во фланг советским через Чеховский переулок. Атаки красных, по общему отзыву видевших их, отмечены были каким-то особым презрением к противнику: солдаты шли не торопясь, прямо по улице, „во весь рост“, пренебрегая прикрытиями, словно смеясь над пулеметным огнем противника... Был момент, когда они, дойдя до каланчи вольно-пожарной дружины, свернули в Обсерваторный и чуть было не прорвались на Львовскую. Однако добровольцы удержались.

К четырем часам дня на линии боя появились прибывшие еще накануне роты Якутского и Волынского полков, сменившие утомленных двухдневным боем ударников. В то же время на Демиевке появился конный волчанский партизанский отряд, установивший связь добровольческих войск в городе с оперировавшими вне города войсками. Подкрепления эти, а главное, выяснившийся итог шедшего эти дни за городом встречного маневра белых, о котором мы здесь ничего не знали, но который чувствовали по колебаниям городского боя, — создали переход. Инициатива вновь перешла к добровольцам — наши начали отход по всей линии. Уже к шести часам отступилось наше правое крыло, дав возможность дроздовцам и 2-й офицерской роте занять снова Товарную станцию; якутцы были в это время уже на Еврейском базаре, готовя атаку очищенного уже красными вокзала. Только у Бендерских казарм продолжались еще бои до позднего вечера.

Лишь сообщение об общем отходе заставило защитников казармы отойти к Брест-Литовскому шоссе на соединение с оттягивавшимися из города частями.

Уже позднее вечером, возвращаясь по Пушкинской домой, я встретил генерала Флуга, во всем великолении его желтых лампас. Генерал шел один, без конвоя, и безо всяких предосторожностей. А несколько раньше обогнул улицу автомобиль со свеженьким, румяненьким, с иголки адъютантом. Толпившаяся уже на тротуарах публика приветствовала его жидким, но подободранным „ура“.

Добровольцы „вернулись“.

Правда: горожане не вполне еще „верили своим глазам“ и всё еще поглядывали в сторону спасительных подвалов. И когда пришедший в нашу квартиру на ночевку знакомый моей хозяйки, бывший сенатор, а ныне управляющий домом, в котором жил Флуг, сообщил, что перебравшийся было к себе генерал снова упаковал чемоданы и выехал в Дарницу, ссылаясь на отсутствие света, воды и телефона, у нас в квартире поднялось подлинное смугтение. Мне с трудом удалось успокоить дам, доказывая правильность решения Флуга: не может же помощник главноначальствующего по военной части в такие часы, хотя бы и „ликвидационные“ уже, остаться безо всякой связи со штабом и действующими войсками. А в Дарнице хотя, по рассказу самого Флуга тому же сенатору, — штабу и приходится работать натошак за отсутствием провианта, но помещается он зато в теплых, хорошо оборудованных, светлых вагонах и имеет обеспеченную телеграфную и телефонную связь по всему фронту.

Подумалось еще об одной причине, по которой, надо думать, генерал счел за благо отойти подальше от Киева на эту ночь: в городе уже пахло погромом...

Братское наступление 3-го октября было последней вспышкой договорившего уже с 1-го октября набега. Как выяснилось впоследствии, и предпринято оно было с исключительной целью дать время оттянуть из зоны добровольческого контр-маневра артиллерию и обозы. О восстановлении боя, о прочном занятии Киева не приходилось думать уже с того самого момента, как выяснилось, что незаконченный починкою мост на Тетереве „не пропустил“ подведенный к нему бронепоезд и эшелоны с двумя полками пехоты и тяжелой артиллерией.

На утро 4-го — канонада еще гремела. Снаряды лжжились в центре города. Взрывом одного из них выбито было окно в нашей квартире, со стороны Бибиковского. Четыре снаряда подряд раскрошили обшивку огромного дома против Флуговского особняка на Пушкинской. Однако, несмотря на обстрел, улицы полнились народом. Явно чувствовалось, з н а л о с ь всю эту разномастную толпой, что выстрелы, громящие город — только прощальный салют.

У гостиницы Франсуа, с перебитыми в нескольких этажах окнами, уже сгружали с подвод вернувшиеся чемоданы. В ресторанчике на Фундуклеевской, к удивлению моему оказавшемся открытым, я застал за кофе и бутербродами всё тех же чинов контр-разведки.

Сознание счастливо избегнутой опасности — пьянит: оно делает людей излишне-словоохотливыми. „Контр-разведка“, видимо, не изжила этого сознания, и так как мое лицо за месяц каждодневных обедов за соседними столиками в достаточной мере прилежалось им, они охотно, частью даже по собственной инициативе, поделились впечатлениями пережитого.

Да, была-таки встряска! И хоть бы кто предупредил! Даже дел не успели вывести, только одно дело о личном составе захватили, чтобы большевики не узнали фамилий служащих. Да и то на поверку оказалось, что копия общего списка — оставили: большевики забрали его и даже производили по ней розыски.

„Похозяйничали ли большевики в контр-разведке?“ Еще как! Придется все сызнова начинать. Из дел, прежде всего, взяты все документы, выбраны все вещественные доказательства, а все остальное изодрано в клочки, свалено в одну кучу — в три года не разберешься. Придется всё сызнова начинать...

„Да чего начинать, — философски замечает другой чин, задумчиво помышляя ложечкой кофе, — ведь арестованные все разбежались. Ищи ветра в поле“

„Ах, и хороша же была там одна штучка, — жмурится облыселый, явно жандармского вида, подполковник. — Все танул — танул удовольствие, со дня на день откладывая, — так и не пришлось „допросить“.

— Ничего, Аполлоша, будут и другие. Здесь в Киеве хорошеньких не обобратся.

— Хорошеньких-то много, да коммунистов среди них — поди-ка помщи. Ты помщишь, а я посвечу...

— Владимир Иванович, расскажи вот им, только по совести, как это ты умудрился вещественные доказательства на полтора-два тысяч царских в столе оставить.

Владимир Иванович седрито топорщит усы. Он уже пьян. Странное дело: в трезвом виде он никогда не обращал на меня внимания; да и в самом деле: что тут подозрительного — сидит себе почтенного вида человек, в золотых очках, — „Киевлянина“ или „Эхо“ читает. Но как только напьется ротмистр — глаз с меня не сводит. И ноздри раздуваются, как у ищейки. Словно чует...

Так и сейчас. Буравит глазами.

Но собеседники мои не унимаются. „Он, знаете ли, подал рапорт, что оставил при эвакуации у себя в столе полтора-два тысяч царских, отображенные при обыске у этого, как его... коммуниста на Львовской... Гриша, как звали коммуниста?“

— А чорт их упомянет... Помню, что жид...

— А гуляет теперь, каналья, где-нибудь: пофартило 'шельме. Как ты думаешь, Гриша, когда он будет по своему начальству подавать, сколько он покажет „отобранными при обыске“. Тысяч триста махнет. Ведь, наверно, у него еще где-нибудь были запрятаны...

— Так как же, Владимир Иванович? Так-таки и оставил? Этаким старый служака, и вдруг такая оплошность! Как это в рапорте у тебя? „В виду невозможности подобрать ключ и отсутствия инструментов для валома, вынужден был оставить... Каковые большевиками захвачены“....

Ротмистр начинает злиться не на шутку. Я стараюсь отвести разговор на Дарницу. Но собеседники не поддаются.

— Нет, что Володька, — вот меня так заправду большевики ограбили, картавит сухопарый чернявый поручик. — Я при отъезде оставил на окне полнехонькую бутылку водки — утром только получил. И как меня угораздило забыть! В Дарнице тосковал, тосковал... Погано там было, в Дарнице! И слакоть, и всякое такое. Э-эх, так бы дернули! А вместо этого, думаю, там какие-нибудь тарашанцы полощат себе эс-эровскую глотку — мне за упокой. Как вернулись мы — я прямо в кабинет, в окну... Смотрю, стоит на месте, моя голубушка, целехонька, полнехонька.... Вот, на мое счастье, думаю, вегетарианцы попались! Подумать только: водку не тронули! На радостях послал вестового сюда за кружкой, накачал полную, да как хлопнул! Тыфу, будь они трижды прокляты! — водку вылакали, да воды, канальи, воды налили!... Было же им время....

— Да, похозяйначали, не торопясь, с разбором...

К 5-му числу город принял уже обычный „добровольческий“ вид. Советские войска отошли уже за Ирпень, фронт принял „нормальное очертание“. К вечеру 5-го вышел экстренный выпуск „Вечерних Огней“. На следующий день, в воскресенье, вышли уже все газеты. Открылась возможность из официальных сообщений и перекрестных разговоров получить все данные, необходимые для того, чтобы связать в одну целостную картину отрывочные эпизоды, виденные и изжитые за эти дни. По официальной версии — „Неожиданное появление красных в районе Клева было вызвано тем, что часть сил Киевского направления была оттянута на Чернигов. Красные воспользовались этим, чтобы повести наступление на Киев. Довольно значительная войсковая группа (главным образом, так называемые „одесские части“ 45-ая, 43-ья и 58-ая дивизии, 518, 519 и 520 советские полки, 388 и 389 Богунские, Новгород-Северские, первый и второй Московские), скопившись в промежутке между железнодорожными линиями Киев — Коростень и Киев — Фастов, прорвала 30-го сентября, благодаря превосходству сил, добровольческое расположение на линии Святошино — Жуляны и проникла в предместья Клева. Широкий фронт, который занимали части Добармии на правом берегу Днепра, не давал возможности сразу же парировать удар противника в месте прорыва, и благодаря этому красные быстро подошли к городу“. („Киевлянин“ 6-го октября.)

Эта версия не совпадала с ходившими по городу рассказами о причинах прорыва. Рассказы эти сводились к двум вариантам: по одному из них, прорыв определился изменой Кабардинского полка, перешедшего к большевикам и тем открывшего фронт. В доказательство правильности этого слуха приводилось указание, что полк этот первоначально был большевистским, сдался добровольцам в трудную минуту, но очевидно большевистский дух сохранил: при первом же удобном случае он вернулся к своим....

Опровергнуть этот слух было нетрудно, так как Кабардинский полк, по опубликованным даже, весьма не полным, конечно, спискам потерь убитыми и ранеными, был одним из наиболее пострадавших в октябрьских боях, и в дальнейшем продолжал действовать даже на том же Ирпенском участке, на котором застиг его набег.

Иное дело — второй вариант, гласивший, что осетинский дивизион, занимавший один из Ирпенских участков, перешился, и прозевал неприятельскую разведку, установившую незащищенность охраняемой осетинами переправы. Красные немедленно заняли ее и вышли в тыл Святошину.

Такая версия согласовалась и с нашими данными, и подтверждена была, косвенно, Флугом, в разговоре с „сенатором“, упомянувшим что-то, хотя и глухо, об „осетинском пьянстве“, в связи с прорывом... К тому же она не противоречила и официальному сообщению, а лишь дополняла его.

Дальше в официальном сообщении говорилось: „Добровольцам пришлось временно оставить некоторые окраины города, Шулявку и Лукьяновку, и вместе с тем ускорить действия фланговых частей, так как некоторые части в итоге прорыва оказались далеко в тылу противника“.

„Несмотря на временную потерю связи с фланговыми частями, последние, выполняя задание по парированию местного прорыва, стали давить на тыл зарвавшихся красных, в то время когда в центре резервные части сдерживали противника. Благодаря этому взаимодействию, удалось не допустить противника в самый центр города“.

„Встретив упорное сопротивление наших частей в центре города и будучи сами атакованы с флангов и с тыла, красные вынуждены были остановиться. Прорыв их быстро ослабел, а вскоре и совсем выдохся“.

В общем и целом сообщение это довольно верно передавало сущность происшедшего: оно лишь недостаточно оттеняло действительное взаимоотношение боев в городе — с шедшим вне города контр-маневром белых. На деле — уличные бои не имели, в сущности говоря, никакого влияния на решение участи Киева: дело решалось вне Киева, в поле, на флангах, куда направлены были до подхода подкреплений все почти силы Драгомирова. Особенно важную роль сыграл левый ударный фланг, который составляли гвардейские стрелки и волчанский партизанский отряд.

„Набег“ застал гвардейских стрелков в Боярке. Уже вечером 30-го сентября прервана была связь с Белгородкой, что послужило левофланговой группе белых первым предостережением. С утра, 1-го октября, связавшись с Васильковским отрядом белых, стрелки начали наступление против ближай-

ших заслонов, выдвинутых на этом направлении советским командованием в обеспечение киевской операции. Уже на рассвете у дер. Забары они столкнулись с нашими, в свою очередь начавшими наступление в отрез Бярской группы от Фастова. Встречный бой решился в пользу белых, после того как около 9 час. утра им удалось обойти левый фланг противника. Красные отошли за Ирпень, к дер. Жерновой.

После недолгого раздыха стрелки, подтянув к себе Волчанский отряд, двинулись вдоль реки Ирпень на север, к дер. Белгородке, где советские войска занимали сильную и удобную оборонительную позицию. Сравнительно легко очистив от противника ближайший лес, белые потерпели неудачу при попытке овладеть деревней с налета и перешли к тщательной подготовке новой атаки. Красноармейцы оборонялись упорно. Тем не менее, к пяти часам дня добровольческой артиллерии удалось заставить их очистить высокие валы, служившие им естественным фортом, после чего белые ворвались в деревню: стрелки с юга, конница с востока. Имея сведения о тяжелом положении Киева, командовавший группой решил продолжать движение, несмотря на крайнее утомление людей и лошадей, трудную дорогу (глубокие, сыпучие пески) и отвратительную погоду (дождь шел не переставая). Уже в темноте отряд подступил к деревне Петропавловской Борщаговке. Она оказалась незанятой неприятелем, и к 11 час. ночи стрелки и волчанцы расположились в ней на ночлег.

Ночью получено было известие, что в соседней деревне, Софийской Борщаговке, размещается на ночевку какая-то советская часть; так как Петропавловская Борщаговка находится между Святошинным и Софийской Борщаговкой—добровольцы оказались „в клещах“. В виду этого начальник отряда поднял части в 5 часов утра, еще в полной темноте, рассчитывая закончить начатый обходный маневр раньше, чем противник обнаружит его присутствие. Подойдя незамеченным почти вплотную к Софийской Борщаговке с восточной ее окраины, добровольцы выдвинули батарею к самой околице, охватив деревню с севера развернувшимися стрелками. Борщаговка захвачена была с удара почти без боя: противник, захваченный врасплох—смог увернуться от полного разгрома только благодаря густому туману, облегчившему отступление. От Борщаговки, не задерживаясь, отряд проследовал к посту Волинскому, надеясь захватить его в тот же день, еще до подхода высланных из Фастова подкреплений. Советские войска занимали естественно сильную, прикрытую проволочными заграждениями позицию. Как только разошелся туман—стрелки и волчанская пехота бросились в атаку, поддержанные артиллерией с фронта; конница, занявшая к этому времени станцию Жуляны, стала заходить с правого фланга. По отзыву добровольцев, подкрепленному и официальной реляцией, красные дрались с чрезвычайным упорством и выдержкой, открывая огонь с очень близких дистанций. Тем не менее под ударом белых центр их несколько прогнулся; фланги продолжали держаться. Подход резервов к нашим не дал добровольцам развить их первоначальный успех: они были отброшены—сначала на флангах, затем и в центре. Дважды

возобновляли атаку белогвардейцы — и дважды советские отбрасывали их, переходя, каждый раз, в стремительные контр-атаки. В итоге добровольцам пришлось отказаться от дальнейших попыток и отойти в район дер. Крюковщины. Успех этот сыграл определенную роль в возобновлении нашего наступления в Киеве — 3-го октября.

За ночь к добровольцам подошли фастовские подкрепления и бронепоезд „Витязь“, чем в высокой мере поднята была боеспособность боярской группы. Использовать ее в этот день, однако, не удалось: с утра войска группы двинулись было снова на Волынский пост, конница вторично захватила ст. Жуляны, немедленно закреплennую за добровольцами наступавшей следом пехотой, начата была усиленная рекогносцировка главной позиции красных, — но в это время получено было сообщение о появлении крупных кавалерийских советских частей в тылу, на сообщениях группы с Фастовом. Из Фастова доносили, что „нашим большевиков очень силен...“ Начальник Боярского отряда, приостановив дальнейшее продвижение, немедленно отправил бронепоезд обратно в Фастов; но „Витязь“ не смог прорваться, так как на железнодорожной выемке, у ст. Мотовиловка, был атакован нашими. Сообщение с Фастовом прервалось. Одновременно с этим — едва „Витязь“ успел отойти в станции Боярка, наши взорвали железно-дорожный путь между ст. Васильков и Мотовиловки.

Этим работа бронепоезда была парализована совершенно, а в нем заключалась главная ударная сила левого фланга белых. Вследствие этого день 3-го октября для данного фланга в оперативном отношении пропал. Только волчанская конница выбросилась от Жулян, вновь захваченных красными, дальше вперед, держа направление на Дашевку и, пройдя сквозь нашу линию, к вечеру вошла в связь с войсками киевского гарнизона.

4-го положение под Фастовом облегчилось, и боярская группа возобновила атаку Волынского поста. Обеспечив свой левый фланг заслоном, выдвинутым к Белгородке и Петропавловской Борщаговке, добровольцы главными своими силами ударили опять на Жуляны, ключ позиции советским войскам — при поддержке „Витязя“ и обходных колонн, двинутых с севера и востока. Бой шел до шести часов вечера; участвовавшие в деле добровольческие офицеры заверяли, что за всю кампанию они не запомнят такого напряженного боя: красные, в буквальном смысле слова, не уступали ни пяди земли без упорного сопротивления, бурными контр-атаками отбивая удары стрелков и пластунов-волчанцев. Деревня была завалена трупами. Уже в сумерках советские войска отошли, очистив пост Волынский. Добровольцы не преследовали, в виду крайнего утомления войск и тяжелых потерь этого боевого дня.

Выигранный бой под Жулянами обеспечил положение заслона у Белгородки: опираясь на сосредоточенные пункты у поста Волынского главные силы боярской группы, заслон этот развернул дальнейшее наступление, занял обе Борщаговки и подошел таким образом к Святошинскому шоссе, главному пути отступления красных от Киева. Выход этот, однако, запоздал: раскрыв

маневр противника в первый же день, советские войска приостановили его упорством своих заслонов и своевременно успели вывести войска и обозы из той „петли окружения“, которую собирались набросить на ворвавшиеся в Киев части „белые генералы“.

Уверенность в успехе маневра боярской группы в драгомировском штабе была настолько велика, что генералитет официально и громогласно заверял во всех беседах, „данных“ корреспондентами за дни киевских боев, что они „ручались честью, что ни один большевик не уйдет из Киева живым“. Вопреки этим клятвам, большевики ушли благополучно. Но самый смысл и значение боярского маневра этим обстоятельством нисколько не уничтожаются: на ход борьбы за Киев операция эта имела действительно то решающее значение, которое приписывали себе „боярцы“, горько плакавшиеся впоследствии на то, что из всех добровольческих частей, отбивавших Киев от налета, именно им — „главным победителям“ — не было уделено никакого внимания. Даже встречи им никакой не было устроено, так как встретили они в Киев (6-го октября) поздно вечером, уже в темноте...

Дарницкие беженцы стали возвращаться в город с 3-го октября. К 5-му октябрю в город вернулись последние. Сколько их было всего? Газеты считали 50... 60... сто тысяч, в зависимости от степени приверженности редакции к добровольчеству. На деле — их никто, конечно, не считал. Наименьшая цифра, кажется, все же наиболее вероятной, так как даже она — кошмарно велика, если принять во внимание, что „бежал“ только центр: окраины города, кварталы рабочие и вообще более демократические — в беженский поток не влились... Вернулись беглецы, поистине, в невероятном состоянии. Изво всех киевских газет только „Киевлянин“ (№ 86) решился на попытку украсить этот эпизод, изобразив его чуть ли не увеселительной прогулкой, во время которой пышно проявились благопопечительность начальства, и тонкость чувств, и глубокая, братская взаимная любовь беженцев — буржуазии. „Масса людей не спеша шла на Печерск, спускалась на Цепной мост, а затем направлялась через Слободку и второй Русановский мост, далее, по Броварскому шоссе. Посредине человеческой ленты медленно двигались обозы, проежжали автомобили, извозничьи пролетки... Уходявшие очень быстро вступали в разговоры между собою и, делясь общим горем, по мере сил и возможности помогали друг другу“...

„В 3 — 4 часа дня ст. Дарница — этот тихий малолюдный в осеннюю пору дачный поселок, — превратился в муравейник. Многие из ушедших из Киева сразу решили обосноваться здесь и принялись искать себе временное пристанище до лучших времен, другие же сразу имели намерение добраться дальше в тыл. В ночь на 2-е октября из Дарницы было отправлено несколько поездов в сторону Полтавы и Нежина со многими тысячами оставивших город киевлян“...

„Размещались повсюду, где можно было так или иначе устроиться. Спали зачастую на голом полу. Это не волновало, не тревожило. Никто не роптал. Все были готовы перенести какие угодно лишения, чтобы быть только среди своих“.

„Как только миновала острота момента, и оставившие Киев более или менее освоились с обстановкой, у всех как-то сразу появилась совершенно твердая уверенность в том, что разразившееся несчастье временное, преходящее, и что в ближайшие дни, быть может, даже часы, все будет по-старому, враг будет позорно изгнан из Киева, все вернется к своим очагам, и жизнь потечет нормально“...

Еще с большим увлечением живописала Дарницкий исход присяжная поэтесса „Киевлянина“ Vendetta (№ 37).

...„Как никогда, — свидетельствует она, — чувствовалась внутренняя спайка, не было знакомых, незнакомых, не было враждебности, было одно: русское население уходило вслед за родной русской армией“.

...„Там, позади, осталось имущество... Но ни одного слова сожаления о нем не слышала я за все время тяжелого пути“.

...„И во всем этом была трагическая и захватывающая красота. Сразу поднялись мы над интересами маленького курятника. Как-то мгновенно вытравилась из души привязанность к тому последнему, что осталось брошенным на произвол судьбы. Жило два чувства: жгучая ненависть к врагу и сложная, трогательная любовь к родной армии“...

Тайный смысл этой малеванной идиллии ясен. Но действительность нимало, конечно, не соответствовала идиллии этой, и не менее „буржуазный“, но в другую сторону импульсивный сотрудник „Киевской Жизни“ совсем в иных тонах живописует то, что творилось в толпах буржуазии во время дарницкого исхода.

„Это случилось совершенно так, как рассказано в коротенькой новелле Иоанаса Ли: — „Когда падает занавес“.

„Занавес падает, и благородные отцы, неустрашимые рыцари, влюбленные принцы, смывают свои румяна, срывают мантии и парики и открывают свое действительное лицо.

Особенно страшный вид имеет это человеческое лицо в минуту опасности, когда рыцари превращаются в трусов, когда влюбленный жених вырывает из рук невесты спасательный круг“.

...„Но опасность миновала. Ледяная гора, грозившая потопить новый „Титаник“, благополучно прошла мимо корабля, и засиявшее солнце осветило лица, искаженные ужасом ночи“.

И как посмотрит теперь жених в глаза своей невесте, и что скажет рыцарь без страха и упрека, растерявший свои доспехи в позорную минуту страха и трусости...

Об этом сильно рассказано в новелле Иоанаса Ли, которая навязчиво свердила мой мозг все время, когда я, в числе прочих десятков тысяч, уходил из Киева под надвигавшейся кровавой глыбой, готовый сокрушить все, что попадется ей на пути.

Но засветило солнце, прошла ночь паники, и уже при свете дня я вспоминаю виденное ночью —

Когда опустился занавес...

Да, мы безоружные убегали... Но я видел убегающих вооруженных — и их было не мало: больше, чем бойцов, сдерживавших наступление на Киев, и еще больше, чем тех, которые, преодолев стихийное чувство паники, двинулись против течения и спасли Киев от красной власти...

Я видел, как одни бросали оружие, как лишнее бремя, замедлявшее бегство... Я видел в полукруглую дверь теплушки фокстерьеров, сладко кремавших у ног своих обладательниц, и здесь же видел измученных матерей, умолявших приютить в той же теплушке иззябших и промокших до востой младенцев...

В холодную, дождливую ночь, я слышал из одного вагона звуки мандолины, и им подпевал кто-то густым цыганским контральто, а на открытой площадке вагона, уже перегруженного какими-то повозками и экипажами, дремали под открытым небом раненые бойцы, пешком пробравшиеся из Киева в Дарницу.

Люди предстали в своем облике, без масок, без румян...

„Киевское Эхо“ (№ 35, 6 X) пишет: „На Цепном мосту... паника приняла совершенно непозволительный характер. Было что-то чисто стадное во всей этой толпе нителлигентных людей. Разнесся слух, что мост минирован, что он будет взорван, большевики только и жгут, чтобы буржуазия вступила на мост. Мост был благополучно пройден, и паника несколько улеглась. В Дарнице произошла „пробка“. Воинские обозы перемешались с беженцами. Вскоре все благополучно разрешилось, и толпы людей повалили в Дарницу. К вечеру стал накрапывать дождь. Большинство беженцев кинулось к вокзалу, спеша занять места в теплушках. Многие пошли пешком на ст. Борисполь, и только меньшинство наиболее благоразумных людей осталось в Дарнице. Чем дальше от Киева откатывалась толпа, тем сильнее вся масса людей впадала в транс паники. Стали рождаться, неведомо откуда, самые невероятные слухи и „факты“. Было обидно и больно за человеческое достоинство“.

Даже „Киевскому Эхо“!

„Вся эта масса людей, одетых чисто, по городскому, наспех, без самых необходимых вещей для столь рискованного воляжа, являла крайне тягостный и бедственный вид. Отсутствие продовольствия, дождь, холод, все это отражалось особенно резко на женщинах и детях. Совершенно не верилось, что все эти люди смогут вернуться благополучно и невредимо в Киев.“

На платформах, уставленных обозами, теплушках, просто на полу, без ключа соломы и сена, коченели от холода дети, женщины, старики...

И только когда началось возвращение — „мужчины стали мужчинами — они оказывают помощь детям, предупредительны к женщинам, внимательны к старикам... И только теперь, при сравнении той толпы, которая бежала из Киева, и той, которая возвращалась обратно, видишь всю разницу в настроении и психологии людей. Жестокость, эгоизм, грубость чудесным образом превратились в милосердие, заботливость и вежливость“.

Безграмотно, наивно, но тем убедительнее это „умозаключение“.

Еще образчик — немудрящее повествование доподлинного Ивана Ивановича, из „Объединения“.

„Все это было неожиданно, как вихрь. Налетел, смял цветы, разбросал лепестки, обвеял холодным ужасом и отхлынул, оставив после себя тоску и душевную боль. С палубы прекрасного корабля вас сбросили в море. Вы спасены, но к чувству радости примешивается горько-соленый вкус морской воды во рту...“

„Уходят. Не беспорядочно, но довольно торопливо. Иду к Никольскому спуску, главной артерии отхода. Тут уже не до сомнений. Нужно физическое усилие, чтобы удержаться и не влиться в эту лавину движущихся всеми способами передвижения людей. Идут шибко, идут, как на прогулку, бегут, скачут, едут — кто на чем попало и кто как попало. Отход, это — эпидемия. Я видел людей, вышедших из дома с самыми деловыми намерениями, ничего не знавших и не предполагавших, и вдруг...“

— Петр Иванович, скажите моей жене, что я ушел...

Я влился в поток и тоже вышел. Куда, зачем — не знаю, но тоже вышел. Мимо меня проходили повозки, люди, дети на руках и вприпрыжку — узлы, чемоданы, лошади, автомобили. — И общее отупение... Лучше бы не требовать от обывателя таких доказательств его симпатии и антипатии...

То, что мы застали в Дарнице, сразу окунуло нас в прелести военно-беженского быта. Под каждой Дарницкой сосной расположилось десять беглецов, на вокзале, в вагонах, на дачах — тысячи. Длинная, мокрая, холодная, трагически-художественная ночь с кострами, причудливыми рассказами, неизвестными лицами, дачами без окон и дверей, полными копошащихся людей, с плачем грудных детей и криками мулов — все это переплелось в сплошной хаос, в неразбериху, из которой, казалось, нет выхода. Люди бродили и жужжали, как мухи, дети-беженцы рассуждали, как взрослые, мулы ржали, как маленькие дети (Sic!), и над всем этим, по сосновым лесам Дарницы отдавалось эхо артиллерийской стрельбы... А к утру все тяжело спало, где попало и как попало“.

...Утро было неприятное. Нужно было что-то делать, но что — неизвестно. Ходили группами и в одиночку, и передавали „последние новости“ из Киева, полувероятные и заведомо невероятные. Некоторые ушли дальше в Бровары, Борисполь...

...Слухи чудовищные, нелепые ползли по Дарнице, отравляя и без того отравленную атмосферу.

— Все русские, которые живут по сю сторону Крещатика, вырезаны жидами — говорил один.

— Жида режут русских женщин, — утверждал другой.

Тяжело! Но больше не потому, что слышишь явно нелепые разговоры, а потому, что все, положительно все, охотно верят этому, и нет, положительно нет никакой возможности опровергнуть, доказать, убедить. Всё равно не поможет...

Печать охлаждает мысль. Впечатления — „выходы в люди“, на столбцы печати, — блекнут, окутываются одеждами приличия или позы: только истинные творцы не боятся „наготы“ своих мыслей и впечатлений. Но... не среди газетных завсегдатаев искать творцов... И потому в газетных показаниях очевидцев, образцы которых привел я выше, лишь отчасти вскрывается вся кошмарная красочность дарницких переживаний бежавших мещан. На словах, в устном рассказе дарницких беглецов переживания эти звучали несравненно искреннее, сильнее и чище. И ярче еще выступал глубокий драматизм этого исхода: до смертной боли осознанная брошенность, мертвое одиночество каждого — в однородной, казалось бы, одною мыслью, одним порывом поднятой многотысячной толпе. Жутко было слушать повесть о том, как брели от хаты к хате — все дальше от Дарницы, до самого Борисполя, измученные, изможденные люди в поисках приюта и хлеба... И всюду запертые двери, жестокий, бездушный ответ: „нет, нет, нет!..“ А рассказы о том, что творилось в момент крушения двух, последовательно на одном и том же перегоне (Вортнич — Борисполь), сошедших с рельс, переполненных беженцами поездов...

Но я сознательно предпочел держаться „печатного текста“, во избежание всяких поправок в нарочитом сгущении красок... К тому же, даже в этой ослабленной, газетной передаче, во весь рост, как должно, встает растерянная обывательщина. Со всей ее беспомощностью, ее сплетнями и пересудами, ее — бессильем навороженной злобностью — мертвенным оскалом трусливо ощеренных зубов. Воистину — лучшего примера, чем дарницкий исход, не подобрать для характеристики деникинского тыла... Но разве „тыл“ этот — разливное море мещанства — не есть в действительности доподлинный „фронт“ контр-революции?

Добровольческие верхи торжествовали в первый момент: „исход“ виделся им огромным сдвигом „тыла“ — на активную, внушительную демонстрацию. И в этом отношении они были правы: бегство из города вслед за отступавшими войсками фактически разбивало традиционный лед обывательской аполитичности: обыватель открыто, перед лицом всех; заявил о своей солидарности с деникинцами, дрожащими руками завязал с ними настоящую, не словесную, а жизненную связь. Правда, она сказалась только в бегстве; правда и то, что подвигала его на бегство — не идея какая-нибудь, а самый подлый, ласкающий зубами страх... Но все же: девять раз до того брали Киев на шит сменявшиеся на Украинском поле победители¹⁾.

Девять раз видел Киев уход власти и ни разу, кроме дарницких дней, не потянуло обывателя бросить насиженное, пригревое место и уйти вслед за

¹⁾ В октябре 1917 г. — большевики против войска временного правительства; в декабре 1917 г. — украинские войска против большевиков; январь 1918 г. — советские против украинских; февраль 1918 г. — Петлюра с немцами против большевиков; апрель 1918 г. — Скоропадский против сечевиков; ноябрь 1918 г. — Петлюра против гетмана; январь 1919 г. — советские против Петлюры; август 1919 г. — добровольцы и галичане против большевиков; добровольцы против галичан; октябрь 1919 г. — большевики против добровольцев.

уходящим правительством. Девять раз звуки канонады, вести о приближении новых вершителей судеб полнили страхом киевские улицы; но каждый раз страх загонял в подвалы, заставлял хорониться в землю, лишь ярче выявляя „нейтралитет“ обывателя, единую руководящую его мысль в дни борьбы и крушений: прикрыть понадежнее голову от, храни бог, случайного снаряда... еще того страшнее, случайного выявления сочувствия... 1-го октября — впервые страх выгнал обывателя в поле... В этом — несомненно была огромная победа добровольчества, систематически, настойчиво проводившего такие „исходы“ всюду, где белым приходилось отступать.

В провоцировании этом (говорить ли!) была тяжелая, ненужная жестокость; та же, что вскрылась (опять-таки на всем пройденном добровольцами пути) в отношении детей, которых они так охотно втягивали в свою „боевую работу“. Дети — разведчики, дети, подносящие патроны в цепь... С каким восторгом, с какими „американскими“ приемами рекламы расцветывала белогвардейская печать каждый эпизод, в котором героем являлся какой-нибудь 10—12-летний мальчик, вовлеченный „в дело“ — раненый или убитый в добровольческих рядах.

После киевских боев о таких эпизодах — действительных и выдуманных — кричали на всех перекрестках. Это было нужно, это создавало Добрармию, видимость общего — даже детского сочувствия, создавало видимость морального оправдания, которого так недоставало борцам за трехцветный флаг. Такого же „своекорыстного порядка“ было и провоцирование обывателей. Ведь и от них, как от детей, действительной помощи добрармейцам не было и быть не могло: на этот счет едва ли заблуждался кто-либо из белогвардейских политиков. Обыватель — раб своего места, своего быта: Он завсегда не мог поэтому не только разделить до конца судьбу „бездомовной“ Добрармии, но и вообще влиться в ее дело, хотя бы временно, на срок. Потому что активность его органически не могла пойти дальше бегства: борьба и обыватель — понятия несовместимые. Такое неприличное — противоестественное, сказал бы я — напряжение, как „уход“, могло только надорвать последние силы, источить его, но никак не явиться ступенью к дальнейшему подъему активности. Говорят, в момент смертельной опасности, даже заяц бросается на преследователя, пускает в ход зубы... Обыватель не кусается никогда...

Он не мог дать ничего — кроме „декорации“. И он ее дал, по требованию добровольцев, в которых он так искренно от всей души хотел видеть пришедшую, наконец, на спасение его быта, привычную ему, нужную, „родную власть“. Давал жестокой ценою. Ведь „уходы“, подобные прошедшим на моих глазах, Дарницкому, Нежинскому, Ворзельскому, переводили „беглецов“ в ряд активныx противников советской власти. Этим самым они обрекались на разорение, зачастую на голодную смерть, потому что гражданская война пощады не знает. Советские войска не трогали (вне „установленных“ реквизиций) имущества оставшихся на местах при их подходе жителей, но добро, бежавших с добровольцами — рассматривалось, как военная добыча.

Дарницкие беженцы не пострадали, так как город не был фактически занят советскими; но в Ворзеле, например, который пришлось посетить после вторичного посещения его красными войсками, реквизированными до-гола оказались только жилища беженцев, брошенные владельцами дома. При этом подлинному разгрому, вплоть до уничтожения окон, дверей, мебели — всего, что может быть разбито ударом топора — подверглось только два дома: жандармского полковника Орлова, проживавшего в Ворзеле до денюгицев в большевистские времена под другим именем, и железнодорожника Федота Гаврюшкина; у первого нашли под дачей тайник с несгораемым шкафом, в котором оказалось свыше 80.000 рублей николаевскими, масса золотых вещей и иных ценностей; что же касается до второго, то по его доносу был расстрелян добровольцами сосед его, служивший при советской власти милиционером. Оставшиеся же на месте жители даже реквизициями затронуты были поверху.

Уход выбрасывал обывателя из жизни: Добармия ничего не давала ему взамен. И не могла дать — заведомо. Вот почему так нелепо-жестоким было это провоцирование, разбивавшее обывательские жизни... ради пустой, ни в малой мере не влиявшей на ход событий, на краткий миг размалеванной „декорации“.

Характерно, что эта „пропаганда ухода“ действовала только на обывателя: точнее же сказать на нетрудовые, в действительном смысле слова, обывательские слои. Люди, живущие не на ренту, а собственным трудом, в особенности же рабочие, на провокацию эту не поддавались, равным образом и крестьяне к попыткам добровольцев подвигнуть их на уход оставались совершенно бесчувственными. Не раз приходилось слышать от них в деревнях Киевщины и Черниговщины: „Останемся — возьмут, что надо из живности, или там подводу, но хозяйство не тронут. Уйдешь — все разорят. Не большевики — так свои же...“ Да и обыватели — вторично искушению повального, не рассуждающего демонстративного бегства не уступили. В том же Ворзеле вернувшиеся с добровольцами беглецы при новом наступлении большевиков предпочли на этот раз остаться: „скрылись“ только единичные личности, и никакого впечатления „бегства“ в силу этого не создалось. Курьезно отметить, что в числе оставшихся был даже местный поп, бежавший в первый исход и ограбленный „под метелку“... не большевиками, а своими же прихожанами. Соседние бабы подсматривали, как попадья запрятывала серебро и иные ценности по сеновалу и прочим местам — открыли их безошибочно, во время реквизиции, организованной ими еще до вступления советских войск.

Вернувшись с добровольцами и осведомившись о происшедшем, поп вывесил на церковной ограде плакат с призывом вернуть „взятое на хранение прихожанами во спасение от большевистского грабежа имущество“. Но прихожане только посмеивались в бороды...

На внешности города октябрьский падеж отразился мало, несмотря на то, что некоторые кварталы обстреливались довольно жестоко. Объясняется

это, конечно, малым калибром советской артиллерии и плохим состоянием снарядов: громадный процент их не давал разрывов. Пострадали некоторые церкви. В Софийский собор попало 6 снарядов: один разрушил контрфорсы со стороны алтаря, один попал в библиотеку, один — в колокольню. Во Владимирский собор ударили с северной стороны два снаряда, но оба не разорвались, так что повреждений не было. В Десятинной церкви поврежден барабан купола. В Михайловском монастыре отмечено два попадания в главную церковь, одно в монастырскую гостиницу; крупных разрушений не было и здесь, так как снаряды не разорвались. Залетали снаряды и в университет — в зал торжественных заседаний и в XIV аудиторию.

Из частных зданий больше всего пострадали дома на Владимирской, Рейтарской, Б.-Подвальной, т. е. в районе Софийской площади.

В общем, как видно из приведенной выше (из официальных материалов заминированной) справки, капитальных повреждений не было; зато воистину неисчислимо было количество побитых оконных стекол: во многих домах обестеклены были целые этажи. Обстоятельство, в бытовом отношении сыгравшее не малую роль, так как цены на оконные стекла еще до налета стояли не шуточные, а после — стали совершенно баснословными. Битые стекла во многом содействовали усугублению квартирного кризиса, увеличив число негодных к обитанию квартир.

Нужно ли говорить, что белая печать использовала бомбардировку для филиппик по поводу „вандализма большевиков“. За „простреленные церковные купола“ приходилось хвататься, так как кроме неразорвавшихся снарядов материала для обличения не было: за время своего пребывания в городе тарашанцы, богунцы и интернационалисты были, в буквальном смысле, незаметны. Ни грабежей, ни тем паче разгромов не было. Меня поразило то обстоятельство, что целыми остались витрины с портретами генералов на Крещатику и Васильковской, хотя мимо этих витрин (особенно на Васильковской) прошло за дни набега не мало красноармейцев...

Перед этой сдержанностью спасовали даже беззастенчивые перья белогвардейских публицистов. Описания учиненных „большевиками во время набега зверств“ появились на столбах газет в ничтожном количестве, причем авторы их стыдливо приурочивали изобретенные ими события к дальним, „без свидетелей“ окраинам — Приорке, Святошину, Шулявке.

Впрочем, даже в этих редких статьях изобретательность авторов не пошла дальше расстрелов попавших в плен или „законспирировавшихся“ офицеров и разгрома нескольких брошенных офицерских квартир. Одно только „Объединение“ (№ 36, 13/X) дало истинно сенсационное сообщение о „Чрезвычайке на Приорке“ во главе с китайцем, подвергавшим как будто бы истязаниям стражника Куреневской части Занку, допытываясь у него местонахождения „государственной стражи“. Как будто местонахождение это могло при тогдашних условиях представлять какой-нибудь интерес.

„Обличая“ большевистскую жестокость, газеты ни словом не обмолвились о той обывательской жестокости, которая вскрывалась в эти дни буквально на

каждом шагу. Между тем не мало можно было бы сказать на тему об обывательских зверствах — и сказать справедливо: ибо разве не зверство — эпизод на Гоголевской, когда раненый офицер, ушедший из госпиталя, не успевший присоединиться к отступавшим добровольцам, не смог на всей улице найти квартиры, в которой его бы приютили. Он был выброшен из дома, в котором пытался укрыться, в буквальном смысле слова выброшен на тротуар — прямо под ноги наступающим китайцам. И когда его расстреляли и бросили на мостовой полуобнаженный труп — в течение трех дней не нашлось руки, которая его хотя бы прикрыла... Все руки — прятались за спину: „наше дело — сторона“...

Этот случай не единичный. Но, печать — „обличающая“ печать — молчала о них, предпочитая глумиться над тем, что у одного из китайцев, убитых в Марининском парке, нашли в ранце три книжки Мамина-Сибиряка. Китаец, советский солдат — и читает Мамин!.. Разве это не верх извращенности?..“

Но еще бо́льшей высоты достигла киевская пресса в общественной своей работе, когда разразились, в первую же ночь „возвращения“ добровольцев нависшие над городом... погромы.

С. Мотиславский.

О. В. Аптекман, как историк „Земли и Воли“.

Книгоиздательством „Колос“ выпущена новая работа старого русского землевольца, Ос. Вас. Аптекмана, по истории общества „Земля и Воля“ 1870-х гг.¹⁾ В ней всего 14 глав и одно приложение, в которое входит „Письмо к бывшим товарищам“, помещенное автором в газете „Черный Передел“ и посвященное полемике с народовольцами, главным же образом с „Политическими письмами социалиста“ Н. К. Михайловского („Грошьяр“ в газете „Нар. В.“). Кроме того, в той же книге О. В. Аптекмана мы находим еще заключение (стр. 432-452), воспроизводящее последнюю главу из его старых записок, в которой он, напротив, защищает позицию „Народной Воли“ и критикует программу чернопеределцев. Обо всем этом, впрочем, мы подробнее говорим ниже.

Ос. Вас. Аптекман не в первый раз выступает в качестве историка „Земли и Воли“. „Я только мемуарист“, — говорит он на стр. 378 своей книги. Это не совсем точно, он не только мемуарист, а также историк: притом не одной „Земли и Воли“, а, можно сказать, — хотя и с некоторой натяжкой, — всего революционного народничества 1870-х гг. Он даже пользуется в своей работе архивными материалами (см., напр., гл. III о Флеровском и Долгушине), хотя, правда, в общем историю того времени, в частности же „Земли и Воли“, он пишет по канве личных воспоминаний. Последнее ему тем легче, что долгое время он находился в самом центре тогдашних событий. На его глазах и при его ближайшем участии выросло всё общество „Земля и Воля“, эта наиболее совершенная и наиболее зрелая революционная организация того времени. Он же был непосредственным свидетелем и участником всех позднейших событий: Воронежского съезда, разделения революционного движения на две ветви, народовольческую и чернопеределческую, и борьбы между ними. Сам О. В. Аптекман в это время стоял в рядах „Черного Передела“, хотя и был такой момент, как он теперь передает, когда он мог для практической работы пойти к народовольцам, по примеру Гартмана, если бы получил на это санкцию своих товарищей. Перед тем, во времена „Земли и Воли“, О. В. Аптекман находился в рядах ортодоксальной

¹⁾ См. О. В. Аптекман. Общество „Земля и Воля“ 70-х гг. По личным воспоминаниям. 2-е, исправленное и значительно дополненное издание. — Ленинград. — „Колос“. — 1924. — Стр. 459 (с именной указателем).

части народничества, в среде так называемых тогда „деревенщиков“. Как „деревенщик“ он намечался даже на Воронежском съезде в состав редакции журнала „Земля и Воля“, на место Г. В. Плеханова, ушедшего со съезда, но сам не принял такого назначения. Зато позже, на этот раз с самим Г. В. Плехановым, он редактировал № I „Черного Передела“, в котором и было помещено его программно-полемическое „Письмо“, упомянутое выше.

Из революционной среды О. В. Аптекман был выхвачен внезапно, благодаря предателю Жаркову (январь 1881 г.), и волной событий его выбросило далеко от непосредственной арены борьбы: он очутился в Якутской области, на реке Усть-Мае. Здесь в далекой Якутской тайге, под влиянием нахлынувших на него воспоминаний, а отчасти удовлетворяя просьбы товарищей, прибывших сюда гораздо раньше его и не знавших в точности, как шли события после их ареста, — он взялся за перо и быстро набросал свои заметки о только что пережитом. Будучи человеком безусловно литературно одаренным, легко владея живой и образной речью, умел думать и творить с пером в руках, он заново переживал всё, что прошло перед его глазами, и изложил всё это, правда, на-спех, но в строго литературной и увлекательной форме. Это произошло еще в 1882-1883 гг. и с этого момента О. В. Аптекман становится самым талантливым и можно сказать самым авторитетным историком общества „Земли и Воли“.

Воспоминания, которые он тогда написал, вскоре попадают внутрь России, в революционные кружки, пройдя первоначально через всю ссылку, а потом и за границу. Внутри России уже в конце 1880-х гг. они переиздаются всяческими путями, и на гектографе, и на mimeографе, и просто переписанными от руки. Это был первый по времени и самый ценный по своему содержанию источник для нашего знакомства с историей „Земли и Воли“, источник анонимный, никому не известный, но тем более заинтриговывавший читателя. Чувствовалось, что пишет эти очерки умелая и опытная рука, и принадлежат они человеку, лично пережившему все описанные события.

Почти одновременно с этим, в 1886 году, покойный Л. Э. Шинкэ, бежав за границу из Сибири (из Томска), увез туда и рукопись воспоминаний О. В. Аптекмана. За границей они, к сожалению, никогда не были изданы целиком, как в России, где они переиздавались неоднократно. Но ими богато воспользовался, тоже не так давно умерший, Э. А. Серебряков в статье о „Земле и Воле“, напечатанной в № 5 „Материалов“ старых народолюбцев, выходивших под редакцией П. Л. Лаврова в 1894—1896 гг., в Женеве. У Серебрякова записки Аптекмана цитируются под названием „Недавних воспоминаний землевозльца“, и так с этим обозначением, но без имени автора, которое остается для всех неизвестным, они входят в русскую революционную литературу, как одно из самых ценных ее приобретений.

В течение десятков лет (1883—1907) эти записки анонимного автора, как потом, уже в эпоху первой революции, оказалось — О. В. Аптекмана являются настольной книгой революционной молодежи. На них воспиталось не одно поколение новых борцов. В революционных кружках они занимали

такое же место, как „Подпольная Россия“ Степняка. Но для научно-объективного познания прошлого записки Аптекмана давали даже больше, чем книга Степняка.

Я хорошо помню эту тетрадь воспоминаний О. В. Аптекмана и то впечатление, которое она производила на революционную молодежь, даже по своему личному опыту. Это было в одном из больших сибирских городов (в Томске) в 1895—96 гг. В небольшой подпольный кружок, составленный из местных гимназистов, реалистов и семинаристов, попала однажды вместе с „Подпольной Россией“ Степняка небольшая гектографированная тетрадь под заглавием на обложке: „Курс всеобщей истории“ проф. Н. И. Кареева „История французской революции“, с датой: 1890 год. Она имела вид студенческих лекций, которые тогда издавались такими именно тетрадками, напечатанными на гектографе, но писанными от руки, достаточно, впрочем, отчетливым почерком. Как делалось обычно в этих лекциях, в каждом левом углу, внизу каждого нового листа (их было 7 или 8) стояла и в этом случае соответствующая пометка: „Кареев. Ист. фран. рев.“. Я не знаю, где печаталась эта книжка, так удачно имитированная под курс Кареева, но предполагаю, что и печаталась она, всего вероятнее, в том же Томске¹⁾.

Тогда в Томске, у студентов недавно открытого в то время (в 1888 году) университета имелась уже своя печатня нелегальных произведений, работавшая, конечно, на гектографе. Я хорошо помню, напр., изданную ими в то время (самое начало 1890-х годов) „Эрфуртскую программу“. Издать „Эрфуртскую программу“ на гектографе—это значило совершить целый подвиг! Это была огромной толщины тетрадь, невероятного объема, синими четкими чернилами, прекрасно напечатанная, на хорошей белой бумаге, которая продавалась всего за 50 копеек. Дешевле этого наверное не было с тех пор изданий в России.

Отмечу попутно, что вместе с этими книгами циркулировала среди нас в то же время (зима 1895—96 годов) еще одна толстая тетрадь безыменного автора, тоже напечатанная синими гектографскими чернилами, но на пишущей машине, переплетенная в коленкоровый черный переплет (остальные были без переплета),—это была, брошюра, как потом оказалась Н. Ленина „Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов“. В правом углу, внизу на заголовном листе стояла пометка: „Издание провинциальной группы социал-демократов“. Это был кажется вып. III, сколько помню, во всяком случае посвященный Н. К. Михайловскому. Он циркулировал главным образом среди студентов-марксистов, к каковым тогда между прочим принадлежал столь известный впоследствии публицист А. С. Изгоев. Хорошо помню, что на одной из страниц этого выпуска стояла размашистая

¹⁾ В 1886 г. проездом из Якутской Обл. в Евр. Россию, О. В. Аптекман оставил в Томске один экземпляр своей рукописи. Копия с него была позже отвезена Л. Э. Шишко за границу, а подлинник остался в Томске. Тем вероятнее, что там эти записки и были изданы.

восторженная надпись какого-то студента, повидимому, украинца: — „Ну, и лыхо бисов сын ругается“.

Для нашего кружка было большим счастьем, что книжка О. В. Аптекмана попала к нам почти одновременно с „Подпольной Россией“ Степняка. Оба эти произведения так удачно дополняли друг друга! Кто был автором второго из них, мы, разумеется, не знали. Любопытно отметить, что, как оказывается теперь, сами жандармы считали, что автором этой книги был — Степняк-Кравчинский. На одном экземпляре записок Аптекмана, хранящемся в Ист. Рев. Архиве в Ленинграде, экземпляре того самого издания под именем истории Бареева, о котором я говорю тут, стоит надпись какого-то жандармского историографа, а может быть и библиографа: „По описи № 62. — Революционная брошюра, сочинения „Степняка“ (Кравчинского)“.

Как мы ни были в то время молоды, но для нас и тогда было совершенно ясно, что автором этой революционной брошюры никак не мог быть Степняк-Кравчинский. Но эта книжка произвела на нас впечатление не меньшее, а быть может даже большее, чем „Подпольная Россия“ Степняка. Она дополняла Степняка самым существенным образом, так как давала общую схему движения, вскрывала его организационную структуру, выявляла центральные узлы событий, и всё это делала в увлекательной, сжатой и простой, но навсегда запоминающейся форме.

„Неизданные воспоминания землевольца“ были первоначальным текстом записок О. В. Аптекмана. В таком виде, какой им был придан автором в 1882–83 гг., они просуществовали до 1907 года, до времени первой революции, снявшей запреты с революционной литературы. В 1906 — 1907 гг. О. В. Аптекман подверг их коренной переработке и в таком переработанном виде поместил сначала в журнале „Современная Жизнь“, а потом выпустил отдельной книгой в издании „Донской Речи“ под нынешним заглавием — „Общество „Земля и Воля“ 70-х гг.“. Это издание было, однако, вскоре конфисковано, что, впрочем, не помешало ему получить широкое распространение. Теперь эта же книга, но в новой переработке и с новыми дополнениями, в которых, как сказано выше, привлечены также архивные данные, с расположением материала по новому плану, выходит в издании „Колоса“. Небольшая тетрадка „Неизданных воспоминаний землевольца“ выросла теперь в огромный том почти в 500 страниц, полный самого разнообразного материала.

Этим, однако, не исчерпываются работы О. В. Аптекмана по истории „Земли и Воли“. Еще до выхода его последней книги, был выпущен Гос. Издательством в серии памятников агитационной литературы сборник „Черный Передел“, в который вошли перепечатанными все 5 №№ этой газеты, когда столь близкой О. В. Аптекуману¹). Этот сборник составлялся при непо-

¹) См. том I Памятников агитационной литературы. — „Черный Передел“ Орган социалистов-федералистов 1880 — 1881 гг. — Предисловие В. И. Невского. — Вступительная статья О. В. Аптекмана. — Гос. Издат. — Петроград. 1923. Стр. 355. См. также ст. О. В. Аптекмана: „Зачатки культурного народничества в 70-х гг.“ в книге „Истор.-револ. сборн.“ Под ред. В. И. Невского. Ленинград. 1924.

средственном участии самого О. В. Аптекмана. Им же написана большая, в 100 страниц, вступительная статья к нему, посвященная почти целиком той же организации „Земли и Воля“. Статья О. В. Аптекмана в предисловии к сборнику „Черный Передел“ представляет чрезвычайно большой вклад в литературу о „Земле и Воле“ и на ней с большим вниманием будет останавливаться каждый историк того времени.

Вся эта литература, взятая в ее целом, дает нам полное право рассматривать О. В. Аптекмана не только как мемуариста, а и как историка общества „Земли и Воля“ 70-х годов. С этой точки зрения мы и хотим сделать о его работах несколько критических замечаний, по преимуществу методологического характера.

Мемуарная литература давно получила у нас права гражданства и отличается большим богатством, особенно что касается эпохи 1870-х г.г., но до сих пор далеко не выработаны методы для ее научного использования и приемы ее критической разработки. Между тем как раз последняя книга О. В. Аптекмана заставляет—больше чем какое иное из произведений такого рода—поставить вопрос о методах научного использования мемуарной литературы, особенно в тех случаях, когда она приобрела уже характер, поднимающий ее на уровень исторических исследований.

Отметим прежде всего, что новый труд О. В. Аптекмана представляет собою в том виде, какой ему придан в настоящее время автором, собственно не книгу в строгом смысле такого слова, а скорее сборник разного рода статей и заметок, не всегда тесно между собою связанных, часто загроможденных разными деталями, а еще более лирическими отступлениями, а главное не связанных единством психологического настроения. Это не книга в смысле чего-то единого и цельного, проникнутого одними мыслями и одним настроением, а сборник, представляющий своего рода литературные отложения переживавшихся автором психологических напластований. Даже по внешнему виду работа О. В. Аптекмана имеет такой именно вид сборника разного рода статей и очерков, на характере и содержании которых сказываются переживавшиеся автором психологические настроения. Эта причудливость архитектурной постройки новой книги О. В. Аптекмана ставит порой в трудное положение исследователя, так как кроме критики исторической ставит перед ним задачи критики психологической, притом нелегкие. То время, когда книга О. В. Аптекмана была действительно цельной и единой по настроению и когда она сама по себе могла считаться своего рода документом для изучения прошлого, давно прошло. С тех пор, как зимой 1882—1883 гг. она впервые вышла из-под пера автора, на далекой Мае, в тиши якутской ссылки, минуло много лет. Чуть не каждое десятилетие за это время она перерабатывалась сначала по мелочам, а потом и в целом, и на каждой из этих переработок сказывались переживавшиеся автором настроения, что и понятно. Всякий раз события прошлого пред-

ставались ему несколько по-иному и не так, не с такими оттенками и не в таком психологическом восприятии (в чем главное) отлагались в его записках. Благодаря этому, очерки О. В. Аптекмана столь убедительные и столь монолитные прежде, представляют теперь не только картину своего рода нагромождения разных по характеру глав и отрывков, но и целую серию противоречивых, несогласованных и взаимно коренным образом исключающих одно другое показаний и оценок автора: Чтобы не остаться голословным в этом случае приведу несколько примеров, которые смогут иллюстрировать всё вышесказанное.

Первые главы книги О. В. Аптекмана посвящены харьковским кружкам 1870—1871 гг. Здесь идет живой рассказ о тогдашней харьковской революционной и культурной богеме, о клубе приказчиков, франко-прусской войне, о так называемом в Харькове „розовом доме“ Е. Н. Солнцевой (впоследствии Ковальской, печальной виновнице известной карийской трагедии), о курсах по физике и космографии молодого ученого Я. И. Ковальского. „Я прямо скажу,—пишет О. В. Аптекман не без некоторого подчеркнутого подъема,—что Ковальскому я обязан тем, что познакомился с философией естествознания того времени. И сейчас, когда я пишу эти строки и переживаю мои юношеские порывания, я пишу ему от всего сердца признательность и благодарность. Но, ведь, не я один был у Ковальского — таких юношей, как я, было-таки немало, и все они стучались в „розовый дом“, и двери этого дома радушно раскрывались для приходящих“¹⁾.

Эти курсы Ковальского были, по словам Аптекмана, — „культурно-просветительными в полном смысле такого слова и, как таковые, непосредственно приготавливали почву для будущей общественной деятельности — освободительной и революционной“ (стр. 54—55 разрядка авт.).

Перебросьте теперь несколько десятков страниц и прочтите такое показание того же автора:

— „Вот эта именно группа сытых старалась усыпить революционную мысль молодежи чтением лекций на разные темы по психологии, социологии и философии, и проч. Во главе лекторов стояли, говорили мне, — прибавляет Аптекман, — доктор Оршанский и, если не ошибаюсь, также Я. И. Ковальский. Последний, кроме лекций по космографии, которые читал хорошо, взял на себя неблагодарную задачу затуманивать головы молодых слушателей лекциями по философии эволюции. Очень туманные это были лекции“...

¹⁾ Позже Ковальский переехал в Петербург и здесь прежнюю работу вел вместе с медиком IV курса Исааком Оршанским, впоследствии известным невропатологом и психиатром. „Его рефераты о дарвинизме и систематическое изложение „Капитала“ Маркса были выслушаны с захватывающим интересом, — говорит О. В. Аптекман о лекциях Оршанского. — Изложение „Капитала“ было блестящим, тем более что референт то и дело проводил параллель между экономическим учением Маркса и учением классических и „вульгарных“ экономистов“ (стр. 65—66). Ср. с этим дальнейшие цитаты у нас в тексте.

Все эти люди, — заключает Аптекман, — были положительно мертвые люди, но, умирая, они не давали жить нам народникам-революционерам" (стр. 184 — 185, разрядка авт.).

На той же, только что процитированной странице есть еще одно характерное место, о „лаврестах“, за одну скобку с которыми, как с людьми „мертвыми“, Аптекман и берет Ковальского и Оршанского. „Лавристы“ того времени были культурниками пропагандистами, но свою пропаганду они направляли не в деревню, как большинство тогдашних революционеров, а в город, в среду рабочих. Лавристы не верили, что Россия может миновать капиталистическую стадию развития, и потому их называли уже тогда „марксистами“, тем более, что они и апеллировали к авторитету Маркса.

Обо всем этом подробно и достаточно убедительно пишет О. В. Аптекман (см. стр. 112—113), причем, написав всё это, указав даже, что у лавристов были такие талантливые, даже блестящие пропагандисты, как Таксис (стр. 112), он приводит следующие слова Плеханова:

„Если в программе образовавшегося зимою 78-79 гг. Сев.-Русск.-Раб. Союза сильно слышится социал-демократическая нота, то это, кажется, в значительной мере нужно приписать влиянию лавристов“.

„Нам остается только подписаться под этой характеристикой Плеханова“, — решительно и определенно заявляет автор.

Но перебросьте опять несколько десятков страниц, и посмотрите, что снова по тому же поводу говорит тот же автор. На 135 стр. он цитирует еще раз ту же самую фразу Плеханова (Если в программе и пр.), но сопровождает ее на этот раз иным, чем раньше, замечанием:

„Слишком мною чести, думается нам, для лавристов!“ — восклицает тут Аптекман.

Позволю себе привести еще один пример такого же рода, хотя гораздо более серьезный, касающийся на этот раз оценки О. В. Аптекоманом дела Засулич.

В книге о „Земле и Воле“ Аптекман говорит о деле Засулич, как о „решительном повороте“ (стр. 326, разрядка авт.) всего революционного движения. „В истории развития общественного сознания 24 января и 31 марта¹⁾ являются лишь прологом той великой исторической драмы, которая называется судом народа над правительством. В истории же развития нашего революционного движения делу Засулич суждено было стать решительным поворотом этого движения“.

Совершенно то же самое писал О. В. Аптекман и раньше, в „Неизданных воспоминаниях“, которые он кстати цитирует на стр. 341 своей книги. И то же самое говорили ему тогда и остальные его товарищи по „Земле и Воле“ (см. на стр. 343 слова „Титыча“ — Тищенко: „землевольты круто повернули фронт“ и пр.). Но вот в предисловии к сб. „Черный Передел“ Аптекман цитирует те же самые слова, как у него самого или как у „Титыча“,

¹⁾ 24 янв. 1878 г. Засулич стреляла в ген. Трепова. 31 марта ее судили и оправдали. Председателем суда был, между прочим, и ныне здравствующий А. Ф. Копп.

но принадлежащие на этот раз Кравчинскому — о том же „повороте“, созданном делом Засулич, и вдруг тут же, к полному недоумению читателя, резко курсивом протестует:

— „Неверно приписывать акту В. Засулич значение „поворота“ в тактике революционеров“. — „И никакого тут поворота не было бы, а лишь последовательность действия“¹⁾.

В связи с этим у О. В. Аптекмана стоит еще одно аналогичное место. Дело Засулич, создав полный и решительный переворот в настроении всего общества, привело, как известно, к расколу „Земли и Воли“, к разрыву двух его составных частей на самостоятельные фракции. В „Неизданных воспоминаниях“ О. В. Аптекман по этому поводу выражался очень ярко и определенно:

— „Разрыв был неизбежен“, — пишет он там.

Теперь же в предисловии к „Черному Переделу“ он утверждает, что никакой неизбежности в этом разрыве не было. „Ни тогда, ни сейчас, 43 года спустя, я не могу себе с достаточной ясностью выяснить ближайшие причины раскола. Раскололась маленькая организация на две крошечные самостоятельные ячейки, исповедуя в сущности одну и ту же идеологию, оди и тот же девиз... Непостижимо“!

Примеры таких противоречий и несогласованностей у Аптекмана я мог бы и еще привести, но не стану этого делать²⁾. Важны не сами по себе эти

¹⁾ См. об. „Черный Передел“, стр. 55 — 57, курс. автора. Ср. вообще как эти страницы, так и след. главу, III по счету. Всю эту полехику, о „практицизме“ и „оппортунизме“, которую ведет там Аптекман с Кравчинским и Д. Тихомировым, надо принимать с большой осторожностью. На стр. 62 он сам тут говорит, что теперь он видит многие вещи не так, как „сорок два года тому назад“. Поэтому и практицизм и оппортунизм он видит даже там, где его не было. Поэтому же он не видит „переворота“ там, где раньше его видел.

²⁾ См. хотя бы стр. 27 — 28 во введении о расколе и сектантстве, как признаках начинавшегося умственного пробуждения народа, и стр. 436 в заключении, где о расколе говорится как об организации, застывшей в своих догматах и способной только на то, чтобы эксплуатировать безбожно остальное крестьянство. То же самое несоответствие между заключением и введением имеется в отзывах о роли народных волнений (пугачевщина). Ср. также стр. 224, где во всех деталях рассказано, как и почему однажды Пеханов уехал в Киев (в 1879 г.); стр. 397, где говорится: „какое-то вышло, уж не помню как, что Пеханову надо было уехать обязательно в Киев“, и пр. Несогласованы также стр. 224 — 226 и стр. 374, с рассказом там и тут о выезде того же Пеханова за границу. На стр. 356. О. В. Аптекман идеализирует отношение Пеханова и др. „деревенщиков“ к экономическому террору в противовес политическому, а на стр. 371 пишет: „Нельзя же сравнивать в самом деле убийство главы государства с убийством, напр., какого-нибудь ничтожного кулака-мироода“. На стр. 287 автор говорит: „у меня сейчас под руками нет никаких вообще землевольских прокламаций и изданий“ (это он пишет в то время, когда пользуется для своей книги даже архивными документами), а на стр. 299 он приводит почти полный список землевольческих изданий и прокламаций. Правда, он пользуется тут книгой „За сто лет“ Бурцева, но ею же он мог бы воспользоваться и на стр. 287. И так далее. О более мелких недочетах говорить не считаю нужным, хотя и они многочисленны.

противоречия, даже не их многочисленность, важно то, что они у Аптекмана не случайны, — напротив, в них сказывается своя закономерность, которую нам теперь и нужно вскрыть. Она, впрочем, нами уже вскрыта и состоит в том психологическом многоцентрии автора, на которое мы указывали выше. Как характерны в этом отношении собственные автобиографические показания О. В. Аптекмана, к слову сказать — одни из лучших в книге, о его пребывании на положении пропагандиста в общине кн. Дондуковой-Корсаковой (см. гл. VII, стр. 162 и след.) и о его знакомстве там с сестрой Парашей ¹⁾. Как типичен и как вместе с тем ярок и талантлив этот рассказ О. В. Аптекмана о его мнимо-вольном подчинении („здесь помимо моей воли, на меня действовала совершенно необычная для меня религиозная обстановка общины“ и пр., см. стр. 167) тем переживаниям, которые так властно сказывались во всем духовном обиходе этой общины. Все эти страницы гл. VII написаны у Аптекмана с такой искренностью и с такой подкупающей простотой, что они надолго запоминаются читателем, и в них с особенной яркостью сказывается характерная для его воспоминаний черта: способность заражаться настроениями окружающей среды, если они в чем-либо существенном совпадают с основными потребностями, ему свойственными ²⁾. Эта чисто эмоциональная особенность и составляет психологическую основу того многоцентрии, которое мы наблюдаем в мемуарах О. В. Аптекмана и которая так осложняет научное их использование в целях объективного освещения революционной старины. Иногда она у него проявляется в чрезвычайно своеобразных и неожиданных формах, заставляя его видеть не то, что есть или что было на деле, и не видеть того, что на деле было и что является и остается неоспоримым фактом. Один пример такого рода я приведу сейчас же, так как он очень ярок и показателен, хотя как будто и незначителен по существу.

На стр. 445 своих очерков О. В. Аптекман цитирует тот первый текст своих воспоминаний, о котором мы уже не раз упоминали, и приводит оттуда такую фразу, характеризующую народнический социализм и отличие его от западно-европейского:

„Но если внимательно взглянуть в эту программу, то мы узнаем в ней нашего старого знакомого — социализм, только обобщенный и...“

Дальше стоят точки, многоточие, а в скобках вслед за этим сделано пояснение, что следующее затем слово не разобрано самим автором, так как

¹⁾ Это была та самая кн. Дондукова-Корсакова, которая впоследствии посещала Шлиссельбург. См. о ней в книге В. Н. Фигнер „Запечатленный труд“, часть II. Аптекман этого факта, к сожалению, не отмечает, а он так характерен для Дондуковой-Корсаковой.

²⁾ Ср. с этими отзывами О. В. Аптекмана о той роли, которую играли в его жизни Г. В. Плеханов, М. А. Натансон, даже Лев Тихомиров. Стр. 229, 231, 205, 361. — Эти места, если их критически проработать, дадут многое для освещения „психологического многоцентрии“ автора и для определения тех углов отклонения, под которыми он в разное время воспринимал свое же собственное прошлое.

текст своих старых записок он цитировал по нелегальному гектографированному изданию (других и не было) конца 1880-х гг., теперь от времени уже выцветшему, местами совершенно стертому, так что многих фраз, в том числе и приведенной выше, разобрать полностью невозможно. Между тем на стр. 147 того самого экземпляра, которым пользовался О. В. Аптекман, стоит достаточно ясно даже для невооруженного глаза: „социализм общинный и обостренный до нельзя...“

Почему же этот общинный и обостренный народнический социализм того времени стал казаться „общинным“? Это случилось, конечно, только потому, что теперь те же самые события прошлого О. В. Аптекман рассматривает иначе, чем раньше, теперь у него прошлое воспринимается через такую психологическую призму, которая дает совсем иной угол отклонения.

Мы могли бы привести и еще один чрезвычайно яркий пример такого рода, это именно характеристику литературы и журналистики 1860-х и 1870-х гг. („Современник“ и „Отечеств. Записки“), которую О. В. Аптекман дает в введении к своим „Неизданным запискам“, чтобы сравнить ее с той характеристикой тех же журналов, которую он делает теперь. Разница получилась бы во многих пунктах весьма существенная, приблизительно такая же, как в только что приведенном примере ¹⁾. Дело не в том, разумеется, верна ли или не верна эта характеристика по существу, или точнее: дело не только в этом. Дело в том, что в 1888 году О. В. Аптекман передавал очень точно, с документальной достоверностью, тот взгляд на указанную литературу, который тогда имели на нее народники-революционеры. Вот именно так они смотрели на нее, так воспринимали те указания, которые шли со страниц этих журналов, и так преломляли в своем сознании. Чрезвычайно большая заслуга О. В. Аптекина состояла в том, что этот взгляд, — как свой, так и своих товарищей, — он воспроизводил в своем прежнем тексте исторически вполне точно, в бесприимесном виде. Пусть они тогда ошибались по существу, но для нас важно знать не столько это, сколько то, как они тогда смотрели на вещи. От мемуариста мы требуем не изложение того, как он представляет и как он оценивает теперь события прошлого, а как он представлял их себе тогда, в то время, к какому его описание относится.

Казалось, именно О. В. Аптекину легче, чем кому-иному, дать как раз такого рода записки о прошлом. Легче потому, что они у него, можно сказать,

¹⁾ Ср. особенно стр. 40 — 43 новой книги О. В. Аптекина с приведенной выпиской. И тон, и содержание, и характеристики здесь уже иные, хотя в общем и посвящены одному и тому же писателю (Михайловскому). Ср. с этим также стр. 85 — 86, о „нормальном человеке“ у Долгушиных. Но этот „нормальный человек“ и есть тот самый „реальный человек“, о котором сам же Аптекман говорит (от лица Михайловского) в тексте, чего автор теперь не замечает. Ср. с этим также стр. 220 — 221 о критике Плехановым трудовой теории обычного права Ефименко. „Признаюсь, я был поражен совершенно неожиданной для меня аргументацией Плеханова“, — говорит Аптекман. Почему она была неожиданна в то время (в 78 — 79 гг.) для О. В. Аптекина, когда она полностью уже была изложена в тех же „Отеч. Записк.“ за 1879 . в „Литерат. Заметк.“ (ср. у Михайловского, т. IV, стр. 693 — 700 и др.)?

были уже готовы еще 40 лет тому назад, когда он был заброшен в далекую якутскую тайгу молодым чернопередельцем. Он и теперь принужден обращаться на каждом шагу к своим старым воспоминаниям. Он цитирует их в целом ряде мест своей новой книги (см. стр. 179, 194—196, 253—261, 291—293, 295—297, 308, 341, 344—351, 358—377), и чем дальше, тем всё более и более обильными становятся те цитаты, которые О. В. Аптекман приводит из своих прежних воспоминаний. Они у него всё растут и растут, постепенно занимают целые страницы и, наконец, подходя к эпохе Воронежского съезда, почти поглощают всё изложение. И хотя эти цитаты местами О. В. Аптекман все-таки модернизирует, хотя часто он приводит их с разными сокращениями и купюрами и разночтениями, едва ли рациональными и едва ли нужными, хотя кое-где у него при этом „общинный“ социализм превращается в социализм „общинанный“,— тем не менее мы сказали бы, что как раз все эти места его новой книги, а равно все остальные, написанные в духе и в тоне их ¹⁾, представляют самые ценные, даже никем не превзойденные по своей ценности, части его записок о „Земле и Воле“. Повторю еще раз: это то самое, что дал О. В. Аптекман как историю „Земли и Воли“ для научного построения истории революционного движения 1870-х гг.

О. В. Аптекман не пожелал пойти по этой дороге до конца и в таком духе составить все свои записки. Он счел нужным пересмотреть это прошлое под новым углом отклонения. Это его право, которого мы не станем, вообще говоря, у него оспаривать. Но и у нас, читателей, остается наше право утолять свою жажду познания революционного прошлого из тех светлых струй старых источников, в которых оно отразилось таким, как было, а не таким, как кажется через новый поток современных событий.

Мы можем только пожалеть, что в этом случае мы разошлись так далеко с первым и самым крупным историком такой богатой революционным опытом эпохи, как общество „Земли и Воли“ 1870-х гг.

Евгений Колосов.

¹⁾ Таковых мест, к счастью, не мало. В общем сюда можно отнести почти целиком гл. VII, VIII, IX, XI, XII, XIII и XIV книги Аптекмана. Сюда же можно отнести гл. IV, V и VI предисловия к сборнику „Черный Передель“, отчасти введенные, впрочем, и в текст книги о „Земле и Воле“. Напротив, главы о „Лавристах“ и о Балуныне и Лаврове (гл. IV и V книги о „Земле и В.“) теперь у О. В. Аптекмана сильно проигрывают по сравнению с тем, какими они были раньше. И наконец, в смысле исторической ценности нельзя и сравнивать то введение, которое было раньше приложено к „Неизданным воспоминаниям“, с тем, какое там имеется теперь.

Библиография.

Проф. Е. И. Тарасов. *Декабрист Николай Иванович Тургенев в Александровскую эпоху*. Очерк по истории либерального движения в России. — Самара. Изд. Самарск. Госуд. Унив. 1923 г.

Проф. Е. И. Тарасов давно и упорно работает над Н. И. Тургеневым. Его несомненной заслугой является издание дневников Николая Ивановича (хотя недавно вышедший III том полон существенных ошибок). Для своей работы он побывал в Гёттингене, посетил тамошний университет, где учился Н. И., досконально изучил тургеневский архив и т. д. Но тема, избранная Е. И. Тарасовым, опасна для исследователя. Поставив в центре крупную личность, последний рискует очень многим: он может дать ценную биографию, интересную в психологическом отношении, и совершенно не удовлетворить основной потребности историка — определению общественно-исторического значения изучаемого деятеля. Е. И. Тарасов полагает, что он, изучая личность Тургенева, „достиг эпоху“, более того, что это изучение сделало для него понятным движение декабристов, „ясности и противоречий“ которого он не мог постичь по трудам Пылева, Богдановича и Семеновского (предисл., XII—XIII). „Теперь следует усвоить объективное чисто историческое отношение к либералам александровской эпохи“, замечает Е. И. Тарасов. „Пора оглушного осуждения, равно как и традиционной идеализации декабристов, конечно, уже миновала; необходимо взглянуть на них не как на театральных героев или злодеев, а скорее как на обыкновенных людей, имевших и достоинства, и недостатки, и даже слабости. Этого требует беспристрастная история“ (стр. 7).

Мы готовы были бы вполне подписаться под эти слова. Действительно, пора прийти к новому, вполне объективному пониманию декабристов. Но разве исторический объективизм заключается только в признании „и достоинств, и недостатков, и даже слабостей“? И что разумеет под недостатками и слабостями? Недостатки характера, воли и т. п.? Или же под этим надо подразумевать и какие-то слабые места в убеждениях, принципах, какую-то узость и ограниченность кругозора? Книга Е. И. Тарасова доказывает, что он имел в виду именно последнее. Так, он очень „сожалеет“, что декабристы стремились к безземельному освобождению крестьян (стр. 284—285), находит „возмутительным“ предложение Тургенева в „Опыте теории налогов“ „о продаже государственных имуществ вместе с крестьянами“ (стр. 252), „неприятно“ поражается „идеализацией оборотной системы“ в записке Тургенева „Нечто о барщине“ и т. п. Все эти сожаления и возмущения делают честь доброму сердцу и демократическим убеждениям Е. И. Тарасова. Но читателя его книги больше интересует другое; он вынужден будет констатировать, что метод Е. И. Тарасова очень далек от исторического объективизма. Все эти сожаления о недостаточном демократизме декабристов читатель встречал в достаточном изобилии у В. И. Семеновского. Горячий народолюбец, молодой историк искренне сожалел о „несимпатичности“ многих в программах декабристов, прощал им их ошибки за страдания, понесенные ими, и оставлял читателя в ужасе перед стройностью мировоззрения автора и в полном недоумении относительно героев. Е. И. Тарасов строже: он не прощает,

а порицает, возмущается, негодует. А надо было бы „не плакать и не смеяться, а понимать“. Последнее было бы возможно, если бы Е. И. Тарасов поискал объяснения взглядов и принципов в общественной среде.

Несправедливо было бы утверждать, что Е. И. Тарасов совсем не обратил внимания на эту сторону. На стр. 284 он признает, что „чисто экономические соображения самих помещиков играли... немаловажную роль“ в выдвигании на первый план крестьянского вопроса, что новые либеральные помещики из изучения А. Д. Смита и слушания лекций в заграничных университетах выносили убеждение о большей выгодности свободного труда перед подневольным. Но, во-первых, и из этих замечаний неясно: соответствовали ли этим теоретическим убеждениям какие-либо явления хозяйственной жизни; во-вторых, это замечание остается совершенно одиноким у Е. И. Тарасова и отнюдь не мнит на понимание им Тургенева. Следует признать, что теоретическим увлечениям либералов соответствовали опыты помещичьего предпринимательства в области систем крупного хозяйства, фермерства. В то время как помещичья масса усиливала барщинную эксплуатацию, передовые сельские хозяева предпочитали оброчную систему, видя в ней переходную стадию к фермерству, готовы были прекратить торговлю крестьянами, желая их теснее привязать к земле, и вообще не возражали против тех или иных эмансипаторских проектов (см., напр., записку гр. П. А. Строганова в соч. в. к. Николая Михайловича, т. II, стр. 43—46). Здесь очевидно стремление вырваться из порочного круга крепостной системы. Все проекты и мысли Н. И. Тургенева отражают именно эту сторону жизни. Отсюда у него идеализация оброчной системы, стремление к безземельному освобождению и т. д. Перед нами либеральный экономист, последователь А. Д. Смита, поклонник „азиатской“ системы, противник принуждения в экономической жизни. Для Е. И. Тарасова чрезвычайно характерно, что он, при всем своем возмущении отсутствием демократизма у Тургенева, совершенно всего этого не понял. Да и возмущение Тарасова не мешает ему в ряде мест книги утверждать, что Тургенев питал глубокую вражду к дворянству и симпатии к крестьянам. Мы не будем отрицать искренности симпатий Тургенева к крестьянам. Но ведь и Шишков по-своему любил крестьян, и те крепостники, которые против подобных Тургеневу эмансипаторов выдвигали сильный аргумент: вы хотите пустить крестьян по миру, а у нас они сыты,—ведь и они не все же были лиземерами. А вот наличие у Тургенева вражды к помещикам мы решительно отрицаем. Е. И. Тарасов, напр., приводя выписку из дневника Тургенева от 30-го октября 1810 г., находит в ней „выпад“ против дворянства. Тургенев, действительно, в этом месте говорит о необходимости большего развития просвещения среди дворян, но ясно, что более всего он негодует на них за непонимание „своей пользы“, заключающейся в освобождении крестьян, и тут же, как верный последователь лозунга „laissez faire, laissez passer“, находит, что для этой последней цели „частные люди“, т.-е. те же дворяне, могут сделать больше правительства. В дневнике же от 28 марта 1818 г. Тургенев сам протестует против того, чтобы его заподозрили в „недоброжелательстве к сословию дворянскому“ уверяет, что помещики не отказываются от владения крепостными из-за отсутствия уверенности в том, „что сия перемена не уменьшит их благосостояния“. Единственное средство борьбы с отсталостью помещиков Тургенев видит в „распространении здравых идей о свободном состоянии крестьян, которое равно выгодно и для помещиков“ (Дневники, III, стр. 122). Тут же Тургенев подчеркивает добродушное отношение к крестьянам со стороны знатных и богатых помещиков. Выпады же Тургенева почти всегда направлены против рядового, среднего и мелкого дворянства, и тут нет ничего индивидуального. Подобные „выпады“ бывали и в правительственных официальных бумагах (см., напр., доклад председателя Комитета 6 дек. 1826 г. гр. В. П. Кочубея императору Николаю). Ошибочно было бы отсюда заключать о вражде к дворянству. Совершенно неудовлетворительно объяснена у Е. И. Тарасова история борьбы Тургенева за проведение в Гос. Совете в 1820 г. проекта запрещения продажи крестьян без земли (стр. 303—309). Здесь в самом проекте Тургенева наш автор видит только выражение

„симпатий к крестьянству“, и читатель должен верить, так как проект даже не выложен. С другой стороны, Е. И. Тарасову надо объяснить непонятный факт симпатии к проекту сановников Государственного Совета. И здесь оказывается, что либерально настроенная молодежь, члены Союза Благочестия, не то распропагандировала вельмож, не то вынуждала их своей фактической силой „подслуживаться к либерализму“. Все это искусственное объяснение неизбежный результат того, что Е. И. Тарасов вовсе не „постиг эпоху“. Иначе он принял бы во внимание, что в высших дворянских кругах уже давно многие смотрели на крестьянский вопрос скорее глазами Тургенева, чем Шиншкова и Карамзина; в частности В. П. Кочубей высказывал те же взгляды и раньше, в 1801 г., когда этой молодежи не было, и позже в 1827 г., когда она уже была в Сибири. А проект Тургенева, совершенно запрещающий торговлю крестьянами, в то же время, как признавал и сам Тургенев, всецело оградил интересы крупного прогрессивного хозяйства („La Russie et les Russes, tome II, Paris, 1847, pp. 106—108 et 166), устанавливая пределы допустимого дробления помещичьих имений. Поэтому и борьбу вокруг проекта следует понимать, как отражение столкновения прогрессивных и отсталых форм хозяйства (см. нашу статью в „Арх. Ист. Труда в России“, № 6—7). А Е. И. Тарасов довольствуется определением, что Тургенев был умеренный либерал, совершенно не пытаясь выяснить, что это собственно значит. Социологический метод объяснения деятельности лиц, подобных Тургеневу, помог бы это сделать. Но Е. И. Тарасов им не пользуется.

Таким образом, самой важной для историка задачей, выяснения общественного значения деятельности Тургенева, его роли в „истории либерального движения в России“ Е. И. Тарасов не выполнил. Но не выполнил он в полной мере и другой задачи: индивидуальный образ Тургенева у него беден и расплывчат. Несмотря на то, что нам дана биография начиная с детских лет, подробно описаны студенческие годы и последующая жизнь Тургенева, указан круг его чтения и т. д., для нас неясно, как именно складывались его убеждения, какое место следует отвести различным на него влияниям. Так, например, юный Тургенев в Москве уже, оказывается, вполне отрицательно относится к русским порядкам, горячо симпатизирует крестьянам, не имеет никаких сословных предрассудков и т. д. Мы не будем отрицать, что уже тогда Тургенев отрицательно относился к крепостному праву, но этот вопрос его вовсе не так занимал в ту эпоху, как философская и сентиментальная литература. По другим же вопросам общественной и политической жизни его взгляды отнюдь не выходили за пределы обычных. Да и вообще в эти годы он политикой не интересовался. Анализируя гёттингенские взгляды Тургенева, Е. И. Тарасов отмечает, что тамошние профессора передали ему свою умеренность и отвращение к революционным переворотам. Но и здесь у него Тургенев уже тот вполне законченный и притом загадочный „умеренный либерал“, каким он выглядит с каждой страницы книги Тарасова. Между тем правильнее было бы признать, что в Гёттингене Тургенев получил теоретические либеральные убеждения, и притом главным образом в сфере экономической, что углубило его отрицательное отношение к крепостному праву, но отнюдь не затронуло консерватизма его взглядов на другие вопросы. Так, характерно, например, его отношение к Сперанскому. В беседе со Штейном, т. е. спустя два года после Гёттингена, он обвинял Сперанского за „охоту к перемене“ и радовался его увольнению (стр. 197 у Е. И. Тарасова), т. е. соглашался в этом вопросе с общедворянским мнением. И сам Е. И. Тарасов признает здесь влияние Карамзина. В главе о Штейне читатель тоже оставлен без ответа на самые главные вопросы. Оказывается, Штейн способствовал усилению либерализма Тургенева, но чем и как? По нашему мнению (см. статью в III кн. журн. „Анналы“), Штейн передавал Тургеневу целиком свои взгляды по вопросам внешней политики, а по внутренним вопросам сообщил его взглядам отчетливый отпечаток практической „государственности“, не оказав большого влияния на их существо. А Е. И. Тарасов думает, что Штейн повлиял своей „ненавистью ко всякому угнетению и деспотизму“ (стр. 196), т. е. общими местами. Между тем Штейн был практический политик, и притом в основе консерватор, и уж

конечно, не у него Тургенев мог учиться ненависти к деспотизму. Консерватизма, т.-е. аристократизма воззрений Штейна не отвергал и Тургенев, но подчеркивал его широту и умение выходить за пределы узко-кастовых интересов („La Russie et les Russes“ Т. I, pp. 426 — 427). Дальнейшая эволюция политических убеждений Тургенева в книге Тарасова совершенно отсутствует. Приводятся выписки из дневников, проекты и т. п. — и только. А между тем именно за границей из Тургенева выработался политический либерал. И здесь несомненно влияние событий и французской публицистики. Е. И. Тарасов совсем не упоминает о влиянии В. Констана и вообще игнорирует этот вопрос. А между тем именно либеральными эпохи реставрации навсегда определили политическую физиономию Тургенева.

Мы считаем безусловно неприемлемым доверчивое отношение Е. И. Тарасова к рассказу Н. И. Тургенева о времени вступления в Союз Благодеятеля. Да и сам Е. И. Тарасов в комментариях к III тому Дневников допускал, что Тургенев мог вступить в Тайное Общество в конце 1818 г., а не 1819 г., как он утверждал. И нам кажется, что это ближе к истине. Тургенева принял в общество кн. Трубецкой, который в июне 1819 г. выехал из Петербурга и не возвращался к нему в этом году. Тургенев послал с ним письмо к своему брату Сергею (Рук. Отд. Акад. Наук, арх. бр. Тург., № 384. письмо от 28 июня), в письме он рекомендовал брату Трубецкого, которого знал „года с полтора“, как „человека весьма почтенного, стремящегося всеми силами и неутомимо ко всему добру“ и особенно полезного „по нашим теперешним обстоятельствам“. Это письмо несомненно писано уже членом Тайного Общества. А планы организации журнала в начале 1819 г. и постоянные свидания в связи с этим с членами Общества естественно заставляют предполагать, что и тогда уже Тургенев был членом Общества.

Мы думаем, что и настроение Тургенева в 1822 — 23 гг. передано у Е. И. Тарасова не совсем верно. Нет сомнения, что безжизненность Тайного Общества в эту эпоху сильно охлаждала рвение такого умеренного человека, каким был Тургенев. Но, во-первых, Е. И. Тарасов совершенно напрасно тут приводит показание Орлова об успехе среди декабристов в 1823 г. книги Дютю де-Траси, будто бы проповедовавшей истребление государей, и потому несимпатичной Тургеневу. Начать с того, что эта книга, по показанию самого Орлова, была популярна в Южном Обществе, где она повлияла особенно на Пестеля, в Северном же она вовсе не имела успеха; далее, истреблению государей эта книга вовсе не проповедовала, а просто теоретически оспаривала идею наследственной монархии¹⁾. Во всяком случае эта книга не могла создать никаких разногласий между Тургеневым и его друзьями по Северному Обществу. Во-вторых сам Тургенев свидетельствует, что он рекомендовал членам Общества книгу В. Констана „Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri“, а это он мог делать только в конце 1822 или в начале 1823 года, так как сам ознакомился с ней около этого времени и нашел в ней много своих мыслей (Дневники, III, стр. 323). Между тем это одна из наиболее резких работ В. Констана. В ней развивается мысль, что от правящих сфер никогда нельзя ожидать дарования свободы, что это дело самого общества. Очевидно, Тургенев разделял тогда этот взгляд, но практическая беспомощность русских заговорщиков отвлекала его внимание от них.

Но, конечно, книга Е. И. Тарасова не лишена и крупных достоинств. Так, бесспорной заслугой автора является установление им факта несамостоятельности Тургенева в его „Опыте теории налогов“. Эта работа, которую русские экономисты считали „оазисом в пустыне“, оказывается в значительной степени заимствованной у гёттингенского профессора Сартoriusa. То же можно сказать и о многих других местах книги, например, замечаний о московском университетском пансионе.

¹⁾ При том с оговоркой, что во Франции в данный момент лучший порядок — конституционная монархия.

Следует признать, что мы имеем перед собою кропотливый и добросовестный труд, но не имеем „очерка по истории либерального движения в России“. Что стало ясно в этом движении Е. И. Тарасову — читателю неясно. Даже в конце книги отсутствует какой-либо вывод. Е. И. Тарасов пошел за В. И. Самарским, но пошел без веры пошел с сомнениями в правильности этого пути и даже с намерением изменить его направление, а этого сделать не смог.

А. Шебунина.

Якутская трагедия. Сборник воспоминаний и материалов под редакцией М. А. Брагинского и К. М. Терешковича. Москва. О-во политических каторжан и ссыльно-поселенцев. 1925.

Фактическая сторона этого драматического эпизода в истории русского революционного прошлого освещена со значительной полнотой в специально-исторической и общей литературе как русской, так и иностранной. В частности отражение этой драмы нашло себе место и на страницах „Былого“²⁾. В этом смысле приращение новых материалов к доселе уже известным в сборнике не очень велико. Но идея сборника, приуроченного к тридцатипятилетней годовщине казни якутских мучеников, А. Л. Гаусмана, Н. Л. Зотова и Л. М. Коган-Бернштейна, несколько шире: она не только в фактическом, документальном воссоздании событий, но и в том, чтобы нарисовать ряд индивидуальных характеристик участников этого скорбного дела. И действительно, эти характеристики, продиктованные воспоминаниями личной близости, служат живым дополнением к духовным образам тех, кого прежде всего роднила общность революционной мысли и дела. Но за этим основным содержанием их жизни выступает здесь богатство и разнообразие индивидуальных оттенков. Здесь были люди незаурядного практического ума и серьезных теоретических интересов, люди экспансивного, пылкого духа и философски-сосредоточенного склада мысли, люди поэтического дарования и энциклопедичности положительного знания. Все это в своей совокупности, воспроизведенное на фоне личных воспоминаний, образует назидательнейший материал, рисующий своеобразие и полноту духовного мира деятелей якутской трагедии. И надо всем вышяется, как нечто органически-цельное и от них неотделимое — чистота и кристалличность души, пламенность и беззаветность помыслов, одушевление революционным порывом, вера в идеал, в святость дела, во имя которого эти люди с полным спокойствием восходили на эшафот, либо мужественно проводили свои дни в мрачном Вилюйском остроге, том самом, в котором некогда томился Н. Г. Чернышевский.

Возвращаясь к документальной стороне сборника, нельзя не сказать, что составители его сумели объединить ряд материалов существенного значения. Помимо статей М. Брамсона, М. Брагинского, ряда воспоминаний, принадлежащих разным авторам, и в их числе непосредственным свидетелям кровавого происшествия, — здесь помещены: полные глубокого драматизма письма приговоренных, официальные документы по делу (конфирмационное производство, апелляционная жалоба А. Л. Гаусмана, доклад и. д. якутского губернатора Осташкина, главного виновника события, департаменту пенитенции), также адрес французскому народу от политических ссыльных в Якутске.

Так, спустя тридцать пять лет, упоревшие „вилюйцы“ воссоединили материалы, относящиеся к якутскому делу, увековечивающие „светлую память борцов, погибших за народную волю“, как говорится в посвящении. Пусть материалы эти, как полагают редакторы сборника, лишены исчерпывающего значения; но, собранные воедино, они, во всяком случае, восполняют существовавший в этом смысле дефект. Если к этому

²⁾ „Якутская драма 22 марта 1889 г.“ О. Минора. „Былое“, 1906 г., № 9.
„На закате народолюбства“ И. Майнова. „Былое“, 1922 г., № 20.
„По поводу воспоминаний И. Майнова“. „Былое“, 1922 г., № 22.

прибавить, что большинство статей и заметок написаны четко и живо, а порой образно и проникновенно, то будет в наиболее общих и схематических чертах отмечен характер и содержание сборника.

Ряд относительно удачных фотографических снимков иллюстрируют, как самих участников, так и место их окружения и обстрела, где одни из них были ранены, другие убиты, третьи, как С. Я. Гуревич, уже умирающая, поднята была, по свидетельству В. Фрейфельд-Гуревич, расшвыривавшими солдатами на штыки и подлинным образом растерзана ими.

М. Коремицкий.

И. И. Попов. *Минувшее и пережитое. — Воспоминания за 50 лет. Часть I. Детство и годы борьбы.* — Издательство „Колос“. Ленинград, 1924 г. Стр. 187. *Часть II. „Сибирь и эмиграция“.* Ленинград, 1924. Изд. „Колос“. Стр. 290.

Наибольший интерес в воспоминаниях И. И. Попова, известного главным образом по его литературно-общественной деятельности в Сибири (ей автором отведена часть II его воспоминаний, за которой должна последовать и третья, тоже о Сибири, с 1896 г.), — представляют несомненно — „годы борьбы“, о которых он говорит в главах XI—XVI первой части своей книги. Они охватывают период с 1879 по 1884 гг. Активное участие в революционном движении И. И. Попов принял собственно с осени 1881 года, уже после 1 марта, хотя первоначальные связи с революционными кружками были у него и раньше, но то был подготовительный период его деятельности. Однако, уже за этот период ему приходилось встречаться, напр., в конце 1880 года с такими людьми, как Желябов и Перовская (стр. 84). Несколько позже, в августе 1881 года, автор входит уже целиком в революционную деятельность в качестве участника одной из тогдашних рабочих групп. Он принадлежал именно к рабочей группе, основанной Н. М. Флеровым и В. А. Бадаевым, независимо от партии „Народной Воли“, хотя и признававшей народоволюетскую программу. Вместе с Бадаевым и Флеровым, И. И. Попов образовал центральный кружок этой пропагандистской по своему характеру группы, который позднее стал центральным комитетом рабочей организации партии „Нар. В.“. С лета 1882 года работа в кружках, к которым принадлежал И. И. Попов, велась в контакте с только что тогда образованной группой социал-демократов, — это была так называемая „Благовеская группа“, работавшая в Петербурге с конца 1881 года. Благовеская группа признавала социал-демократическую программу, а сами основатели ее (П. А. Латышев, Благовес, болгарский подданный, и др.) называли уж себя не народо-волецами, а социал-демократами.

„Наша группа, хотя и стояла на народоволюетской платформе, но была автономна, — рассказывает автор. — Мы установили контакт и работали с социал-демократами дружно, и если было удобно для дела, то нередко направляли своих рабочих в кружки социал-демократов, а они к нам. Так мы работали до 1883 г., когда группа Благовеса-Латышева была разгромлена, Латышева сослали в Вологду, где он умер, а Благовеса выслали за границу (как болгарина). С рабочими группами Латышева стали заниматься мы“, прибавляет И. И. Попов.

У самой рабочей группы, к которой принадлежал автор, организационные отношения с „Нар. Волей“ установились не сразу. Флеров и Бадаев, посвятившие себя исключительно пропаганде среди рабочих (причем не исключалось и обучение рабочих простой грамоте) находили непцелесообразным входить в тесные связи с партией, практикующей террор. В интересах общего дела они считали, что для всех будет выгоднее, если рабочая группа станет работать обособленно. Однако, жизнь постоянно подталкивала это стремление к обособленному существованию и заставляла рабочую группу

все больше и все теснее сближаться с „Нар. Волей“. Такое сближение шло и прямо, через П. Ф. Якубовича и С. А. Иванова (впоследствии плинисальбуржца), и косвенно через польскую партию „Пролетарнат“ (см. стр. 99 — 105). Весной 1883 года группа Бадаева, Флерова и Попова вошла полностью в „Нар. Волю“ и фактически стала рабочей группой партии, приняв в свои организации рабочие кружки, сохранившиеся у народovolьцев. „Наш центральный кружок, — говорит И. И. Попов, — стал центральным кружком рабочей группы партии „Нар. Воля“, Флеров и Бадаев продолжали заниматься исключительно делами группы, но мне и Олесинову приходилось исполнять и другие поручения“ (стр. 106).

За этот период (1883 — 1884) на глазах у автора разворачивался последний акт борьбы „Нар. Воли“, связанный с дегаевщиной и убийством Судейкина. „Время было тяжелое“, говорит сам автор. Ему он и посвящает свое главное внимание. Читатель найдет тут много интересных и ценных деталей, которыми со временем с благодарностью воспользуются историки народovolьческой организации. Правда, очень многое у И. И. Попова изложено слишком бегло и даже поверхностно; на всем рассказе чувствуется спешность работы, есть и неточности, но все это не умаляет исторической ценности этих мест его книги. Но и кроме того в ней рассматривано много любопытных деталей также и в других главах обеих частей, зачастую не безразличных не только для историков революционного движения, но и для историка литературы. Таковы несколько страниц, посвященных автором Федору Сологубу (стр. 16 — 17; 65 — 67 и др.), с которыми И. И. Попов учился вместе, свача в нижней городской школе, а потом в Учительском Институте. Эти страницы несомненно будут использованы биографами Сологуба и историками русской литературы. То же самое следует сказать о заметках, рассматриваемых автором о Гаршине, который был человеком близким его семье (см. стр. 31 — 36). Так же, как во всех остальных случаях, и эти заметки важны и многолетны, без глубокого проникновения в психологический склад характеризуемых писателей, тем не менее они интересны и не лишены общего значения.

Отметим еще стр. 73 — 76 первой части, посвященные известной лекции Владимира Соловьева (конец марта 1881 г.), заключительную часть которой он посвятил только что закончившемуся тогда процессу „Первомартовцев“. И. И. Попов сам присутствовал на этой лекции и говорит о ней, как непосредственный очевидец, что делает его показания заслуживающими внимания.

Автору выпала на долю также печальная привилегия присутствовать еще в 1870 — 1880-х гг. на похоронах некоторых великих писателей (Некрасова, Достоевского, Тургенева) и даже выступать в одном случае, при открытии памятника на могиле Некрасова, — „с горящей речью о великом значении Некрасова“ (стр. 29). Эти главы о Тургеневе, Достоевском и Некрасове читаются с вполне естественным интересом (гл. IV, X и XIV).

Есть, наконец, у И. И. Попова несколько замечаний не только о литераторах и революционерах, но и о художниках (Шиншин, Верещагин и др.), главы, связанные, впрочем, порой с литературой и революцией. Так на стр. 93 он рассказывает о художнике С. А. Анжиковиче: — „Он был хороший рисовальщик и делал нам вылеты и обложки для брошюр. Между прочим, — говорит И. И. Попов, — он написал карандашом портрет Желябова, которого знал лично. Я, встречавший Желябова, сделал некоторые указания Анжиковичу, кое-кто еще внес поправки, Анжикович снова перерисовал портрет, который вышел удачным, и мы издали его в большом количестве экземпляров. Фотографии Желябова не было, а силуэты, зарисованные на суде, тогда еще не были известны“. Автор, к сожалению, не поясняет точнее, о каком именно портрете Желябова он говорит в этом случае.

16 марта 1884 года И. И. Попов был арестован (уже вторично), и его революционная карьера оказалась оборванной, как впоследствии оказалось — навсегда. К революции он больше не возвращался, посвятивши себя, на этот раз в Сибири, литературно-общественной деятельности, в качестве редактора-издателя газеты „Восточное

Обозрение" (в Иркутске), основанной Н. М. Ядрицевых. Об этой поре своей деятельности, с конца 1880-х годов, вплоть до 1906-го, автор рассказывает во второй части своих воспоминаний за него должна последовать третья; которая обещает быть не менее интересной, чем первые две. Было бы только желательно, чтобы она не оказалась написанной столь же спешно и эскизно, как эти. Желать этого нас заставляет, кроме отмеченных положительных сторон в воспоминаниях И. И. Попова, еще одно обстоятельство, которое мы считаем нужным указать здесь. Это именно обильный колорит книги И. И. Попова, несколько отличающийся от других произведений такого рода и вообще не совсем обычный в наших условиях. Автор этой работы прожил большую, интересную и в известном смысле — счастливую жизнь. Судьба революционеров подвержена всегда большим неожиданностям и порой зависит, по теории вероятностей, от простой случайности гораздо больше, чем от чьей бы то ни было воли или желания. Для огромного большинства эти случайности бывают гибельными, но, в силу той же теории вероятностей, должны были бы быть, и всегда бывали, счастливые исключения, когда из этой лотереи гибельных возможностей вынимались своего рода выигрышные билеты. Один из таких выигрышных билетов и выпал на долю автора рецензируемой книги. В 1883—84 гг., во время своей деятельности в „Народной Воле“, он был связан очень тесно с такими людьми, как В. А. Караулов, впоследствии шлиссельбуржец, как С. А. Иванов, тоже прошедший через Шлиссельбург, как П. Ф. Якубович, отбывавший наказание на Каре и в Акатуе, как Стан. Куницкий, окончивший жизнь на эшафоте. Все эти люди являлись его близкими товарищами по работе. Он соприкасался с ними непосредственно в тот момент, когда некоторыми из них, вместе с прибывшим из-за границы Г. А. Лопатиным, организовывалось убийство Судейкина. Однажды, на свидании с Якубовичем, в квартире С. А. Иенгерова (что тоже не безынтересно отметить) он встретился даже с непосредственными исполнителями этого акта, Стародворским и Конашевичем. А когда Судейкин был убит, — И. И. Попов, вместе с Россией, принимал участие в печатании извещения (см. стр. 118) партии по этому поводу. Одного этого, не говоря о всей его предшествующей работе по пропаганде среди рабочих, было бы достаточно, чтобы навечно на него такие же кары, как и на голову других участников всех этих трагических событий. И, однако, И. И. Попов выпул счастливый жребий в этой революционной лотерее, где выигрышными билетами определялась жизнь и смерть людей. Обстоятельства так сложились, что жандармы запутались в некоторых неожиданных для них и счастливых для И. И. Попова совпадениях между разными фактами, на деле имевшими не ту связь, которая ими видимым образом якобы устанавливалась, — и одну из своих жертв выпустили на волю (см. стр. 134—149). Привлечь к суду И. И. Попова жандармы не сумели и удовольствовались тем, что выслали его административно в Сибирь, но и в Сибирь он поехал (благодаря семейным связям), не как в ссылку собственно, а как на вторую родину, прыгом в такой город, как Кяхта, полный своеобразной жизни (см. часть II воспоминаний И. И. Попова), такую семью, как кяхтинские Лущниковы, отцы которых были учениками декабристов и славились в Сибири и своей культурностью и просвещенностью. Этот счастливый жребий, вынутый автором в жизни, — положил особый отпечаток на все его воспоминания. Они написаны в бодрых тонах и временами заражают читателя тем чувством самоудовольнения, которое в них невольно проскальзывает. Вот человек, который знал в своей жизни только удачу, — так и хочется сказать, дочитывая последнюю страницу воспоминаний Ив. Ив. Попова. Нельзя не ценить в наше время книг, проникнутых таким бодрым настроением, нельзя не позавидовать автору, который такими красками нарисовал перед нами свой жизненный путь.

Евгений Колесов.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ленинград, Дом Книги, проспект 25 Октября, 28. Телеф. 132-44, 570-14.
Москва, Тверская, 51. Телефон 3-92-07, 4-92-31.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1925 ГОД
На иллюстрированный Библиографический Бюллетень

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

„НОВАЯ КНИГА“

Литературные обзоры, статьи по вопросам книжного дела. Отзывы о книжных новинках. Литературная хроника. Иллюстрации.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

«Можно с уверенностью сказать, что без этого гибкого, живого и интересно составляемого журнала трудно сейчас обойтись человеку, следящему за книжными новинками, к какой бы отрасли знания они ни относились».

(«Красная Газета».)

«В журнале „Новая Книга“ мы находим много ценного: в журнале помещаются интересные статьи по вопросам печатного дела и книжной графики, в рецензиях даются сжатые, точные и беспристрастные оценки новых книг».

(Сборник Ленингр. О-ва Библиофилов.)

В 1925 году выйдет в свет 6 номеров.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

На год с пересылкой и доставкой 4 р.; на полгода 2 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Торговым Сектором Госиздата Ленинград, Дом Книги Проспект 25 Октября, 28 Москва, Ильинка. Биржевая площ., Богоявленский, 4, а также провинциальными отделениями и представительствами Госиздата.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1925 ГОД
на ежемесячный популярный естественно-научный журнал

„ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА“

Под редакцией проф. П. Ю. Шмидта.

Журнал будет выходить в 1925 году по прежней программе и в том же объеме (96 столбцов текст и 40 со многими рисунками).

ЗАДАЧА ЖУРНАЛА: следить за новыми течениями, открытиями, достижениями в области естествознания, географии и техники в СССР и за границей и давать в популярной и общедоступной форме картину современного развития естественных наук и их приложения к практической жизни.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Биографии выдающихся деятелей науки и техники и статьи по истории науки. Популярные статьи и очерки по всем вопросам естествознания. — Путешествия и путевые очерки. Научные фантазии. — Статьи и очерки по различным отраслям техники, особенно по авиации, радио-технике, электротехнике, технике транспорта и сообщений и пр. — Научные новости — мелкие заметки о новейших научных открытиях. — Новости техники. — Радиоспорт. — Научная хроника — сообщения о всех наиболее выдающихся научных событиях в СССР и за границей — Метеорологическое обозрение. — Астрономический бюллетень. — Среди книг и журналов — библиографические заметки о наиболее интересных книгах по естествознанию.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ.

Подписная плата за год — 8 р. с доставкой. Допускается рассрочка: при подписке вносится 5 р., при получении № 4 журнала вносится 3 р.

Цена отдельного номера 80 к. без пересылки.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Торговым Сектором Госиздата: Ленинград, Дом Книги, Просп. 25 Октября, 28; Москва, Ильинка, Биржевая площ., Богоявленский, 4; а также в провинциальных отделениях и представительствах Госиздата.

Имеются в продаже комплекты журнала за прежние годы: за 1923 г. [7 выпусков, №№ 1—12]. Ц. 70 к. без пересылки; за 1921—1922 г. г. [4 выпуска]. Ц. 40 к. без пересылки.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ленинград, Дом Книги, Проспект 25 октября, 28. Телеф. 132-44, 570-14.
Москва, Тверская, 51. Телеф. 3-92-07, 4-92-31.

2-й год
издания

«ЗВЕЗДА»

2-й год
издания

ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

Под редакцией И. Майского

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1925 ГОД

В течение 1925 года выйдут шесть книг, размером в 20 печатных листов каждая.

В ЖУРНАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

В. Апушкин, А. Аросев, Р. Арский, А. Безыменский, В. Богораз (Тан), А. Бубнов, Н. Бухарин, И. Васильев, В. Вегман, В. Вересаев, Б. Вишневский, Г. Горбачев, Б. Горев, И. Груздев, Ш. Дволайцкий, Дюре, П. Жуков, В. Зазубрин, Г. Зиновьев, Мих. Зошенко, Всев. Иванов, И. Ионоу, Н. Иорданский, В. Итин, С. Канатчиков, Ив. Касаткин, проф. Кашкадамов, А. Коллонтай, И. Кологривский, А. Крайский, Г. Кржижановский, М. Козырев, Л. Крицман, акад. П. Лазарев, Г. Лелевич, Ю. Либединский, И. Майский, С. Минин, проф. Н. Морозов, Том Мэн, Ник. Никитин, Н. Осинский, М. Павлович, Е. Панфилов, А. Е. Плотииков, Е. Преображенский, Карл Радек, Лариса Рейснер, С. Родов, М. Н. Рой, Г. Роланд-Гольст, И. Садофьев, Г. Сафаров, Дж. Серрати, Д. Сверчков, Д. Святский, С. Семенов, Г. Смолянский, Л. Сосновский, Ал. Тверяк, Н. Тихонов, А. Н. Толстой, Л. Д. Троцкий, К. Федин, проф. А. Ферман, проф. Ю. Филиппенко, Клара Цеткин, Г. Цыперович, А. Черновский, Мариэтта Шагинян, К. Шелавин, проф. Л. Штернберг, И. Эренбург, В. Яковлева, Н. Яковлев и др.

ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА: художественная проза и поэзия, русская и переводная; общественно-публицистические статьи; научно-популярный отдел; критика и библиография; систематические обзоры международного положения и внутренней жизни СССР.

В 1924 году в журнале, между прочим, было напечатано: *„Парижские олеографии“* и *„Бунт Машин“* Алексея Толстого; *„Из дневника 1918 года“* Александра Блока; *„Копейки“* Сергея Семенова; *„Европа и Россия“* Андрея Белого; *„Неуданные рассказы“* Н. Г. Чернышевского; *„Песнь о великом походе“* Сергея Есенина, *поэмы и стихи* Н. Тихонова, А. Безыменского, Ильи Садофьева, Мих. Герасимова, Осипа Мандельштама.

В публицистическом отделе статьи: Г. Зиновьева *„В. И. Ленин—гений, учитель, вождь и человек“*, *„Великий перелом“*, В. Ленина *„О карикатуре на марксизм и об империалистическом экономизме“*, Ларисы Рейснер *„В тени Гималаев“*, статьи И. Майского, Ж. Дюре, Тома Мэна, Дж. Серрати, А. Луначарского, Н. Семашко и др.

В научно-популярном отделе поместили статьи: проф. Д. И. Мушкетов, Н. Рынин, ак. П. Лазарев, Я. И. Перельман, ак. В. Ипатьев и др.

В отделе критики статьи: Г. Плеханова, Г. Якубовского, Г. Лелевича, М. Майского, П. С. Коган и др.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА С ПЕРЕС. НА 1 ГОД — 10 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАССРОЧКА:

При подписке — 3 р. 50 к.

При выходе № 5 — 3 р.

При выходе № 3 — 3 р. 50 к.

Цена отд. номера — 1 р. 80 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Торговым Сектором Госиздата: Ленинград, Дом Книги, Просп. 25 Окт., 24; Москва, Ильинка, Биржевая пл., Богоявленский, 4; а также провинциальными отделениями и представительствами Госиздата.

Во всех книжных магазинах имеются в продаже № 1, 2, 3, 4 и 5 за 1924 год

Адрес редакции: Ленинград, Пр. 25 Октября, № 28, Дом Книги, комн. 17.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ленинград, Дом Книги, Проспект 25 Октября, 28. Телеф. 132-44, 570-14
Москва, Тверская, 51. Телефон 3-92-31.

VIII год
издания

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА
„ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В ШКОЛЕ“

1925 год.

Журнал по вопросам естественно-исторического образования
под общей редакцией проф. Б. Е. Райкова.

Журнал ставит себе задачей разработку методов естественно-исторического образования в школе и вне ее с обращением особого внимания на школьную практику в области практических занятий и экскурсий и на описание и оценку пособий и книг по естествоведению.

В ЖУРНАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

Д. Н. Ангерг, проф. С. П. Аржанов, проф. А. П. Афанасьев, проф. К. К. Баумгарт, Н. С. Берсенов, проф. Г. Н. Боч, проф. В. А. Вагнер, П. Е. Васильковский, проф. В. Н. Верховский, А. П. Владимирский, В. В. Всесвятский, В. А. Герд, проф. К. М. Дорюгин, проф. В. А. Догель, В. А. Дубянский, И. И. Дьяконов, Е. А. Елачич, Н. Н. Ефимов, А. Е. Ждановский, проф. П. А. Знаменский, проф. В. В. Игнатьев, проф. Н. П. Каменщиков, проф. П. В. Кашин, проф. Г. А. Кожевников, акад. В. Л. Комаров, Л. И. Крапп, Ф. Н. Красилов, проф. Н. И. Кузнецов, Г. Д. Лавров, проф. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, С. Г. Лепнева, Ю. Ловягин, проф. Н. А. Максимов, В. Ф. Натал, проф. А. В. Немцов, М. Н. Никольский, Л. Н. Никонов, М. В. Новорусский, проф. А. П. Павлов, С. А. Павлович, С. А. Петров, проф. А. П. Пивневич, проф. М. Н. Римский-Корсаков, Л. О. Святский, проф. М. И. Силицкий, А. М. Смирнов, проф. С. И. Савонов, проф. В. И. Талыз, проф. Ф. Е. Тур, В. Ю. Ульяновский, М. В. Усков, проф. В. А. Федченко, акад. А. Е. Ферсман, проф. Ю. А. Филиппенко, проф. О. Д. Хвольсон, проф. Г. Г. Шенберг, проф. П. Ю. Шмидт, В. И. Шпаковский, Н. А. Эй, К. П. Ягдовский, проф. С. А. Яковлев, А. А. Яковлев, и мн. др.

В 1925 году выйдут четыре книжки. — Каждая книжка — самостоятельный сборник статей.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА на 1925 год за четыре книжки. — 4 р. с доставкой и пересылкой; на полгода 2 р.

Подписка принимается Торговым Сектором Госиздата: Ленинград, Дом Книги, Проспект 25 Октября, 28; 1-й этаж. Мамкина, Вирная ул., Боговазнецкий 4, а также провинц. отд. и представительства Госиздата. Книга, желающие получить книжки журнала 1925 год маломощным платежом благоволят присылать на них редактору (Ленинград, Протп, 25 Октября, 28, Госиздат, Удальч. Сектор, для В. Г. Райкова) заявление о взыскании их в твердой сумме подписчиков. Эти подписчики журнала будут взыскиваться по мере выхода маломощным платежом, без предварительного взноса при условии аккуратного выкупа или посылки с почтой.

В начале декабря выйдет и поступит в продажу книга четвертая журнала

„РУССКИЙ СОВРЕМЕННОК“

издаваемого при ближайшем участии М. Горького. Ев. Замыatina, А. Н. Тихонова, К. Чуковского и Авр. Ефроса.

Содержание 4-й книги:

Повести и рассказы. А. А. Н. Толстой. „Ибикус“. — Ев. Замыatina. „Инок Еразм—Конст. Федин. „Тишина“. — Валерий Хлебников. „Есир“. — В. Лидин. — Мыс Бык. — Л. Добычин. „Встреча с Лиз“. —

Стихотворения. Адалис, П. Антокольского, Мих. Герасимова, Вл. Кириллова, М. Комиссаровой, Велмира Хлебникова, Владислава Ходасевича.

Литературный архив. Письма Леониды Андреева и Валерия Брессова.

Статьи. М. Горький. „О. С. А. Толстой“. — К. Чуковский. „Легкие нелепицы“. Ю. Фролов. „Метод условных рефлексов“. — Юрий Тынянов. „Современные поэты“. Г. Винокур. „Хлебников“.

Библиография. От редакции. Письма в редакцию.

Издатель Н. И. Матарам.

Отв. редактор А. Н. Тихонов

Цена каждой книги 2 р. 50 к.

Адреса: Конторы в Москве — Мясницкая, 24. Редакция в Ленинграде — Моховая, 37.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ленинград, Дом Книги, Проспект 25 Октября, 28. Телеф. 132-44, 570-14.
Москва, Тверская, 51. Телефон 3-92-07, 4-92-31.

«ПАДЕНИЕ ЦАРСКОГО РЕЖИМА»

Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в Чрезвычайной,
Следственной Комиссии Временного Правительства (в 1917 г.).

Редакция **П. Е. Щеголева.**

ВЫШЕЛ В СВЕТ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ:

- Том I — Допросы и показания Хвостова, А. Н., Климовича, Протопопова, Хабалова, Гасильева, Штурмера, Бурцева. Наумова, Андроникова. Стр. XXX + 432.
Ц. 1 р. 75 к.

П Е Ч А Т А Ю Т С Я:

- Том II — Допросы и показания Добровольского, Манасевича-Мануйлова, Макарова, Беляева, Голицына, Щегловитова.
Том III — Герасимова. Спиридонова, Комиссарова, Курлова, Воейкопа, Трусевича, Вырубовой, Белецкого, Горемыкина, Виссарьонова.
Том IV — Чхеидзе, Рейна, Фредерикса, Золотарева, Джунковского, Маклакова, Н., Челнокова, Иванова, Н. И.
Том V — Покровского, Н. Н., Головина, Ф. А., Хвостова, А. А., Игнатьева, Велепольского, Плеве. Рейнбота, Волконского.
Том VI — Лодыженского Маркова II, Нератова, Веревкина, Гучкова, Милюкова, Дубенского, Шингарева, Чаплина.
Том VII — Поливанова Коковцова, Родзянко, Щербатова, Ледницкого, Лядова, Шувалова.
-

«КРАСНАЯ ЛЕТОПИСЬ»

Орган Ленинградского Отдела Комиссии по истории Октябрьской Революции и РКП (б.) — Истпарт Ленинградского Губкома РКП (б.).

Журнал выходит 1 раз в три месяца книгами размером в 20 нормальных печатных листов каждая — 1 марта, 1 июня, 1 сентября и 1 декабря.

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ В СВЕТ С 1922 года

до 1925 г. вышло 11 №№

Журнал дает исторические статьи как общего, обзорного характера, так и специальные исследования по истории Российской Коммунистической Партии (большевиков) и Октябрьской Революции, а также воспоминания участников революционного движения и работников партии, сообщения, историческо-архивные материалы, документы исторического же характера и библиография по вопросам истории революционного движения и партии.

Журнал имеет постоянный отдел, посвященный жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина, в связи с историей революционного рабочего движения в России и РКП (б.) и отдел по истории Петербургской организации РСДРП (б.) и революционного движения петербургских рабочих.

Выпуски журнала за 1925 год дадут также и обширный отдел, посвященный революции 1905 года.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на журнал с доставкой на 1925 г. — 8 руб.

РАССРОЧКА: 4 рубля при подписке и 4 руб. при выходе в свет № 3.

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА 2 рубля.

Подписные деньги на журнал следует направлять: Торгсектору Госиздата по адресу: Ленинград, Дом Книги, Проспект 25 Октября, 28; Москва, Ильинка, Биржевая пл., Богоявленский, 4; а также провинциальным отделениям и представительствам Госиздата.

Адрес редакции: Ленинград, Площадь Декабристов, здание б. Сената, телефон № 156-34.

В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ ВЫЙДЕТ И ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ

КНИГА ШЕСТАЯ ЖУРНАЛА „ПЕЧАТЬ И РЕВОЛЮЦИЯ“.

Журнал литературы, искусства, критики и библиографии под редакцией **В. П. ПОЛОНСКОГО** и при ближайшем участии **А. В. ЛУНАЧАРСКОГО**, **Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА**, **М. Н. ПОКРОВСКОГО** и **И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА**.

Содержание 6-ой книги.

Статьи и обзоры: «Брюсов и революция», **А. В. Луначарского**; «А. Франс», **В. М. Фриче**; «Литература о ленинизме (обзор 2-ой)», **Г. Баммеля**; «Из переписки 900-х годов», **В. Невского**; «Из переписки Ф. М. Достоевского», **Н. Писанова**; «Современная деревня», **П. Виноградской**; «Иллюстрированный «Ревизор» на немецком языке», **П. Эттингера**.

Обозрение искусства и литературы: «1-ая Всеобщая германская выставка» — статьи: **Я. Тугендхольда**, **Н. Тарабукина**, **Федорова-Давыдова**; «На правом фланге», **А. Ложнева**; «Журнал «Звезда», **Л. Войтоловского**, «Журнал «Красная Молодежь», **П. Лепешинского**.

Отзывы о книгах: **И. Луппола**, **Б. Горева**, **С. Кривцова**, **М. Брагинского**, **В. Виленского-Сибирякова**, **В. Кряжина**, **П. Китайгородского**, **Д. Кашинцева**, **С. Членова**, **А. Кона**, **А. Хавина**, **Ю. Спасного**, **Ю. Вильдо**, **А. Бессера**, **Н. Мещерякова**, **В. Яроцкого**, **М. Клевенского**, **И. Манарова**, **М. Зеллинмана**, **Г. Лелевича**, **С. Пионтковского**, **Д. Фурманова**, **Н. Лукина**, **И. Бреславского**, **А. Неусыхина**, **П. Преображенского**, **Г. Баммеля**, **д-ра Залкинда**, **И. Ильинского**, **А. Пионтковского**, **С. Марголина**, **М. Константинова**, **Б. Пурецкого**, **А. Стрелкова**, **Н. Лебедева**, **проф. В. Талиева**, **В. Костицина**, **М. Гремяцкого**, **И. Когана**, **Н. Кольцова**, **А. Тимирязева**, **проф. А. Селихановича**, **А. Иоаннисиани**, **Г. Вейсберга**, **Б. Неймана**, **В. Фриче**, **Б. Казанского**, **В. Переверзева**, **Н. Кашина**, **Р. Шор**, **В. Винокура**, **И. Кубикова**, **Н. Фатова**, **А. Ложнева**, **Д. Горбова**, **В. Полянского**, **К. Локса**, **П. Маркова**, **И. Гливенко**, **Л. Розенталя**, **М. Лейтезена**, **Е. Браудо**, **Л. Войтоловского**, **Федорова-Давыдова**, **Н. Щербакова**, **проф. А. Сидорова**, **Г. Жидкова**, **С. Бугославского**, **М. Эйхенгольца**, **Н. Тихонова**, **Ольгина**.

Литературная хроника. Письмо в редакцию.

В книге будут помещены портреты **В. Я. Брюсова** и **А. Франса**, также свыше 20 иллюстраций в тексте.

Адрес редакции: Москва, Никитский бульвар, дом № 8, «Дом Печати».

Издательство „БЫЛОЕ“

**Только-что вышли и поступили в продажу новые
книги:**

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ДНЯ 9 ЯНВАРЯ

П. М. Рутенберг

УБИЙСТВО ГАПОНА

воспоминания и документы. Ц. 75 к.

ЦАРСКАЯ РОССИЯ

Первая серия.

1. **Д. О. Заславский.** Рыцарь черной сотни
В. В. Шульгин. Ц. 50 к.
2. **В. А. Апушкин.** Генерал от поражений
В. А. Сухомлинов. Ц. 65 к.
3. **С. Б. Любош.** Русский фашист
В. М. Пуришкевич. Ц. 40 к.

ВЫЛОЕ

1925—№ 1

(№ 29)

Ленинградский Гублит № 4903.

Тираж 4500 экз. 18 л. л.

ГОС. УЧЕБНО-ПРАКТ. ШКОЛА-ТИП. ИМ. ТОВА. АЛЕКСЕЕВА. ЛЕНИНГРАД. КРАСНАЯ, 1.

К 20-летию годовщины 9 января 1905 г.

1. 9 января 1905 года в СПб. *Воспоминания Гилмера*. 2. Гапон и граф Витте, *Н. Петрова*. 3. Гапон и охранное отделение до 1905 г. *Сообщ. Р. Кобылова*. 4. Гапон в духовной академии по незнакомым материалам. *Сообщ. Н. Левицкого*. 5. 9 января 1905 г. и Синод. *Сообщ. Н. Левицкого*. 6. Неизвестные прокламации о 9 января. *Сообщ. А. Милошвида*. 7. Два документа об убийстве Гапона. *Сообщ. А. Милошвида*.

9-е января 1905 года в Спб.

Воспоминания.

I.

События 9-го января, разыгравшиеся с такой стихийной силой и так, на первый взгляд, неожиданно, на самом деле явились выступлением, тщательно в течение месяцев подготовленным Гапоном и, может быть, частью редакцией „Русской Газеты“. Я, по крайней мере, еще в августе или в сентябре 1904 г. обратил внимание на беседу с рабочими в „Русской Газете“ (первая газета, стоявшая 1 копейку за номер и приспособленная к обслуживанию рабочего средняка, редактор — некто Строев). Если не изменяет память, содержание этих бесед передавало беседу Гапона в его отделах. Обыкновенно брались один, два конкретных случая из жизни рабочих, анализировались, обобщались и делался вывод о необходимости той или другой из буржуазных свобод в устранение определенных дефектов. Иногда газета давала популярную статейку, описывающую устройство на войне проволочных заграждений, фугасов и т. д. В газете хвалили Святополка-Мирского и ожидали от него устранения всех темных сторон рабочей жизни. Таким образом мы можем констатировать, что к моменту обсуждения Гапоновской „петиции“ широчайшие слои петербургского пролетариата были уже вполне сыгитированы, частью непосредственно беседами Гапона, частью изложением их в „Русской Газете“.

Надо полагать, что беседы Гапона были предприняты не без одобрения департамента полиции, тем более, что каждая беседа, наравне с указанием темных явлений, обязательно рекламировала доброе сердце нового министра внутренних дел. Знал ли Гапон, что он готовил своими беседами 9 января, трудно сказать: очень осторожен был Гапон, чтобы самому в этом проболтаться. Но вот разразилась забастовка на Путиловском заводе, уволенными оказались гапоновцы. И Гапон понял, что если он хочет удержать свое влияние над рабочими, ему доверившимися, то он должен действовать. Случайно ли, вряд ли вполне случайно, в распоряжении Гапона оказалось 11 рабочих клубов-чайных „Общества“, расположенных во всех районах Петербурга.

И так как организации покровительствовала охранка, то чайные оказались расположенными именно в стратегически важных пунктах рабочего Петербурга, в самой гуще рабочих кварталов. На эту сторону также до сих пор обращали мало внимания. Для какой бы борьбы ни предназначались эти чайные, но для мобилизации пролетарских масс они были как нельзя более удобны, и Гапон, если не отдавал себе в этом отчета раньше, то теперь вполне оценил это обстоятельство. О первом подготовительном и выступлении периоде, пока оно не вышло из стен чайных за Нарвской заставой, я ничего не знаю. Под новый год я выехал в Москву договориться о сотрудничестве в предполагавшемся тогда к изданию большевистском „Голосе труда“.

II.

По возвращении из Москвы, 5-го января, я был осведомлен товарищами, что в „технических классах“ за Невской заставой, в селе Смоленском, сегодня вечером назначено собрание членов всех революционных организаций Питера. Вечером мы были за Невской заставой, собрание происходило под видом какой-то благотворительной вечеринки. Мы забили в обширную аудиторию. Из речей, произнесенных там, мне запомнилась только одна, произнесенная каким-то большевиком. Он говорил о том, что Гапон это ворона, но белая ли ворона — это еще вопрос, что белая ворона явление очень редкое и потому мы не должны доверять Гапону, но и он, подобно всем, находил нужным примкнуть к движению. Видно было, и в этом надо сознаться, что Гапон дал нам мат и все мы, и большевики, и меньшевики, и эс-эры были поставлены перед необходимостью так или иначе участвовать в назревающих помимо нас событиях под страхом надолго потерять кредит в массах.

6-го, 7-го и 8-го января происходило собрание подписей под петицией Гапона. Это зрелище, которое больше никогда не повторялось. Я все эти дни провел на улице и в чайных Гапона всех районов, наблюдая хмурые, темные лица пожилых рабочих и работниц Питера, впервые вышедших из своих углов для политической демонстрации. Я слушал Гапона, читавшего и объяснявшего петицию, поражаясь его громадным демагогическим талантом и его организаторской волей, подчинявшей себе наших ребят настолько, что, например, тов. Сухов, студент Политехникума, сильный большевистский агитатор, когда читал после Гапона, по его отъезде, „петицию“ новым толпам рабочих, то невольно воспроизводил все жесты Гапона, подражал его интонации, говорил с его южным акцентом. До смешного... о других говорить не приходится; закроешь глаза, слушаешь и видишь перед собой Гапона и только в самом конце, по прочтении „петиции“, когда вместо гапоновского „а“ его заменяющий говорит „отец Гапон“, то удостоверяешься, что это говорит не он.

А заканчивал свою беседу о „петиции“ Гапон эффектно; он говорил так: „Ну, вот, подам я царю „петицию“, что я сделаю, если царь примет ее? Тогда я выну белый платок и махну им, это значит, что у нас есть царь. Что должны сделать вы? Вы должны разойтись по своим приходам и тут

же выбрать своих представителей в Учредительное Собрание. Ну, а если... царь не примет „петицию“... что я тогда сделаю? Тогда я подниму красное знамя, это значит, что у нас нет царя, что мы сами должны добыть свои права“. Последние слова обыкновенно вызывали бурю негодования у собравшихся и они авансом начинали честить Николая кровопийцей, извергом и т. п. лестными эпитетами и кричать „долой его“!

Я лично полагал, что из петиции прова не выйдет, что к царю не допустят. Пробовал я об этом говорить толкавшимся вокруг чайных (отделов общества) рабочим, но меня и слушать не хотели: „Не примет? Да как это он может не принять... когда весь народ?... Ты гляди, какая сила“... и т. д. Я ходил от отдела к отделу, наблюдал массу, слушал многочисленных ораторов, взбиравшихся на тумбы и с них убеждавших в тщете затей или наоборот, сам иногда влезал на тумбу и развивал философию борьбы. В общем наш кружок накануне 9-го января решил, что мы примем участие в процессии в качестве наблюдателей, но что, если представится к тому случай, мы постараемся повлечь рабочих в активное действие против полиции и правительственных мест. причем договорились, что я буду на Васильевском острове, со мной еще несколько человек. Товарищ Александр Александрович Вилесов, беспартийный революционер, пойдет с процессией от Невской заставы, меньшевик Василий Леонидович Касаткин, кажется, от Нарвских ворот и т. д.

В моей квартире, в доме № 82 по пятнадцатой линии Васильевского острова, с вечера закипела работа по размножению на тектографе большевистской прокламации. Печатали ее Сени Рейхес (берг?), Саша Черняк, Валентина Евсеева и еще человека два-три. Заснули под утро не раздеваясь, а часу в 10-м уже встали и решили выступить.

III.

Процессию мы застали уже в тот момент, когда ее атаковали улань вблизи здания Академии Наук и она отступала к своим основным позициям на четвертую линию Вас. острова. Около гапоновской чайной мы оказались в одиннадцатом часу утра. Погода стояла тихая, ясная, было довольно тепло, но не жарко. На четвертой и пятой линиях между Средним и Малым проспектом стояла толпа тысяч до пятнадцати, ожидая решения гапоновцев, заседавших в отделе. Я сунулся туда, пробраться трудно. Доверия к гапоновцам у меня не было, и я боялся, что они сорвут дело каким нибудь нарочито благонамеренным решением. Между тем, толпа начинала скучать от бездействия, подъем угасал, народ начинал разбредаться, надо было подогреть настроение, занять людей работой, чтобы не сорвать дело. Я начал соображать, какое бы придумать толпе занятие. Хорошо было бы вооружить ее, это дало бы ей новую веру в свои силы. Однако, на Васильевском острове нет ни одного ружейного магазина, а нападение на казармы Финляндского полка может дать результаты, обратные желанию. Стой, в одном из переулков

между 13-й и 14-й линией Васильевского острова в полуподвальном этаже имеется фабрика холодного оружия Шаффа. В окне этой фабрики я как то видел клинки пашек. Нужно позвать толпу на эту фабрику, запастись пашками. Но все не пойдут, оставшихся нужно занять разговорами и постройкой баррикады. Сообразив так, я влез на тумбу и обратился к собравшимся с соответствующим призывом. Предложение пришлось по душе всем, публика заколыхалась, зашумела и к ужасу моему двинулась как раз в обратную сторону, к трубочному заводу. Оказавшийся около меня студент-горняк Вадим Зверев, меньшевик, попробовал было указать толпе, что она пошла не туда. Однако, надо было ковать железо, пока горячо; я инстинктом чувствовал, что всякая заминка может оказаться роковой, создав настроение усталости и подавленности, а потому я позвал Зверева с собой и мы поспешили обогнать толпу, чтобы встать во главе ее и повести, хотя бы и делая большой крюк, но к намеченной цели и главное не дезорганизуя ее настроение. Уходя, я предложил остающимся построить баррикаду и кое-кого из товарищей настроил ораторствовать. Около Малого проспекта мы уже были впереди, повернули всю массу по Малому проспекту к 14-й линии. Здесь какой то молодой рабочий вдруг закричал: „Товарищи, смотрите, оружие“. Этим оружием оказался городской с висевшей на нем „селедкой“, городского моментально окружила толпа в 50—100 с криком „давай оружие“. Городовой стоял ни жив, ни мертв, дрожащими руками он помог снять пашку, которую надел на себя счастливый инициатор, за первым городовой был разоружен второй и т. д. Около 14-й линии толпа атаковала двух солдат и сняла с них тесаки, один из солдат умолял не делать этого, плакал, а потом, когда беспощадная толпа обезоружила его, махнул рукой и в своей распутившейся без пояса шинели пристал к нам. На 14—15-й линии мы завернули к Среднему проспекту, а там за Большим проспектом была и фабрика Шаффа. В момент были выбиты и рамы и сетки в окнах фабрики, и мы были внутри ее. Готовых пашек почти не оказалось, были преимущественно клинки без рукояток, но клинки частью очень ценные, они в миг были расхватаны. Я получил хороший клинок, Зверев еще по дороге уже надел на себя полицейскую пашку и победителем шел с ней. Сделав свое дело, пошли назад, свернув на этот раз на Большой проспект. Здесь мы остановились и обезоружили несколько офицеров, у двух-трех взяли револьверы: кто их взял, куда девал — неизвестно. С одного офицера-черкеса сняли кинжал, револьвер, пашку, тот сердился, но не сопротивлялся; вообще все те офицеры, которых останавливала и обезоруживала толпа, не проявляли ничего, кроме трусости и животного страха за свою жалкую жизнь.

Во мне за время погрома фабрики и обратного шествия произошла тут же подмеченная мною самим перемена: когда я пригласил толпу идти добывать оружие, это было проявлением своего рода легкомыслия и авантюризма; теперь я понял, что я принял на себя серьезную ответственность, что ребята могут, благодаря доверию ко мне, поколотить и того хуже. Я сообразил, что начатое нами дело не фарс, а настоящая и серьезная поли-

тическая борьба, что от результатов сегодняшнего дня во многом зависит будущее и я поставил себе совершенно серьезно — выиграть сегодняшнее сражение и оправдать, как личное доверие, так и доверие партии, членом которой я являюсь. Я начал смотреть на себя, как на признанного вождя нашей Василеостровской толпы, а она, эта толпа, стала мне подчиняться, признав мое руководство.

Когда мы были снова около гаюновской чайной, мы застали на улице кое-какой хлам, который должен был изображать баррикаду, а за Средним проспектом гарцовали уланы. Еще полчаса, и мы могли быть атакованы, наши клинки скорее могли мешать нам, чем служить оружием в борьбе с конными врагом. Я выругался по поводу неумелой постройки баррикады и указал, что материала для ее сооружения можно найти сколько угодно во дворах. Дворы нам вообще будут нужны; так как мы пришли сюда добиваться лучшей жизни, а не подставлять свои головы под удары, то мы должны на всякий случай иметь возможность скрыться во дворы, а что бы не вышло сутолоки, то надо заранее взять у дворника ключи от ворот, открыть ворота и поставить свои караулы с ключами; если мы будем атакованы, мы должны поспрятаться во дворы, на лестницы домов, а ворота запереть и караулить их изнутри. У дворника взять ключи и спросить, какой есть хлам во дворе на постройку баррикад; берите бочки, пустые ящики, лестницы, тележные полки, сани и т. д.; если дворник оказывает содействие, берите только то, что дает добровольно, если противостоит — громите все и вся, тащите все на баррикады. Если найдете проволоку, тащите ее, устроим и проволочное ограждение.

Тут меня перебил один рабочий: „А это что, не проволока?!“ — показал он на телефонные провода... Да, эта была проволока, только за общими соображениями это я упустил из виду. Я скомандовал — начинать, и масса действительно принялась за работу, моментально была сооружена внушительная баррикада; кто-то, вытащил со двора национальный флаг и оторвав белое с синим превратил его в революционное знамя, водруженное на баррикаде. Часть рабочих вошла на телефонные столбы и начала ногами и палками обрывать проволоку, однако, дело это подвигалось медленно. Кто то из рабочих нашел более целесообразным пилить столбы: в этом случае проволоку не надо было прикреплять к стенкам, она была прикреплена к столбам, которые нужно только было положить на разных сторонах улицы. Дворники выдали поперечные пилы и работа закипела. Обрадовавшийся, как теленок, 17-ти летний толстяк Сенья Рейхес (берг), вынырнувший из типографии, (которую они заняли, пока мы ходили добывать оружие), в восторге начал было бить палкой фонари. Как чей-то стоит перед глазами картина: Сенья разбил фонарь и еще замахнулся, а солидный рабочий, занятый спиливанием телефонного столба рядом, дает ему увесистую затрещину и ругает его: „Ты здесь беспорядок не производи, народ делом занят, народ права требует, а ты фонари бить!“ Прочитав натапию, рабочий плюнул себе на руки и снова взялся за свой конец поперечной пилы, чтобы „дело делать“.

Между часом и двумя нас попробовали атаковать уланы, но поодно: наши провололочные заграждения или от самого Среднего проспекта до баррикады, лошади путались в проволоках и не шли вперед. Тем временем рвотившаяся толпа превращала наш участок улицы в крепость; теперь уже устраивали провололочные заграждения и баррикады на Малом проспекте, к 1-й линии и около 8-ой, так что подойти к нам уланам нельзя было ни с фронта, ни с тыла. Я не видел этих баррикад и провололочных заграждений, так как занят был все время у главной баррикады; туда ходили Зверев, Сеян и еще кое-кто.

Я полагал, что мы имеем час-другой времени, но что потом против нас двинут пехоту, которая может стрелять (звук слышался уже в это время от Дворцовой площади). Скорее до нас дошли вести, что в городе много убитых, что царь обманул и т. д.

Все, что мы могли сделать, на что могли рассчитывать, это — организовать сильное сопротивление войскам и по возможности не доставить им удовольствия перебить много народу. На территории, занятой толпой, находился недостроенный пятиэтажный дом архитектора Еремеева; поскольку дом был необитаем, он представлял для нас много удобства по сравнению с другими домами. Лестницы в доме были без перил с аловеще звявшими пролетами. Этот дом я решил укрепить и превратить в центр обороны. Объяснил товарищам свой план, и работа закипела. В верхние этажи натащили со двора большое количество обломков кирпичей и целых кирпичей; эти кирпичи были сложены частью у окон — для поражения врага, который бы расположился внизу под домом, частью около лестниц — на случай, если войска попытаются проникнуть внутрь и полесть наверх. Здесь один человек свободно мог сбить любое количество атакующих. Посаженным в засаду [в дом я дал строгий наказ не соваться вря к окнам, чтобы нападающий полагал, что дом пуст, сбивать врага с лестницы должны одни — два человека, остальным не соваться вря, так как это только на пользу нападающим. Однако, засаде нужно было дать возможность отступить без потерь. Обойдя двор, я заметил, что забор, [отделяющий] этот дом от соседнего, выходящего] на 6-ую линию, в одном месте низок и не особенно прочен. Я распорядился разобрать здесь забор, а засевшим в доме, равно как, и толпе, сообщил,¹ что этим ходом можно уходить на соседнюю линию. К пролomu и воротам дома на 6-й линии были поставлены караулы, которые пока [что должны были не давать пользоваться этим ходом и смотреть, чтобы дворник не запер ворот. Когда я снова очутился на улице, там уже вполне определенно говорили, что вызваны солдаты Финляндского полка,² что они скоро придут. Я снова влез на баррикаду и снова обратился к толпе, уже привыкшей получать от меня указания и распоряжения. Здесь я разви (если можно так выразиться) философию борьбы, в частности борьбы уличной. Я снова подчеркнул, что мы должны завоевать права, а не подставать, как бараны, головы под пули. Я указал, что происшедшее у Нарских ворот и Дворцовой площади — на руку царским слугам, что чем меньше они прольют

нашей крови, тем больше неудовольствия доставили им, а потому наша тактика должна быть такова: как только мы услышим сигнал на стрельбу—все по своим дворам, а там на лестницы, если войска захотят вломиться во дворы, стучитесь в квартиры, просите приюта, если приют будет дан, старайтесь по возможности немедленно выходить на парадный ход и, если возможно, убегать. Там, где вас не пустят по-хорошему вламывайтесь силой, баррикадируйте двери, а всю мебель употребите, как средство для борьбы; если увидите внизу под окнами солдат, сбрасывайте на них кофоды, шкафы, пиннино, цветы. Рассказал я, как надо было расходиться по домам; во-первых, рекомендовал уходить в сумерки, затем не сплном, а по одному перебегая от ворот к воротам, указал выход на 6-ю линию.

В это время появились прокламации, отпечатанные в типографии тут же на 5-й линии, кажется, Гаевского.

В моей квартире (в доме № 82 по 15-й линии) тем временем устраивался перевязочный пункт и что то в роде лазарета. Еще утром передал ключ от квартиры медичке-землячке Марии Яковлевне Ефимовой (якутка, с.-р.-ва) и одному студенту-медику с. д. Они добыли 5—6 матрацев, белья, перевязочные материалы, притащили еще несколько модичек и устроили постоянное дежурство, о пункте было объявлено во всеобщее сведение, но в первый день пункт работал слабо, было сделано 3—4 перевязки раненым пашеками. В четвертом часу (а может быть в 4 часа) распространился слух, что пехота приближается, в это время к нам на территорию укреплений какими то образом проник извозчик, привезший неизвестного никому товарища, прибывшего к нам с Дворцовой площади; он был очевидцем тамошних расстрелов; сам он, еврей с.-д., недавно выпущенный из тюрьмы, крайне нервный, всем видимым был чрезвычайно подавлен, он рассказывал, что только он с товарищами подобрали 36 убитых и раненых... Пока мы толпились вокруг прибывшего, подошли финляндцы (полурота), выстроились поперек в ширину всей улицы, и раздался сигнал к стрельбе. Я отдал распоряжение всем разойтись по своим воротам, извозчик к этому времени уже уехал, вновь прибывшего, который не понимал, в чем дело, подхватили под руки и поволокли в ворота недостроенного дома.

В этот момент, как на грех, появилась группа курсисток наших, работавших в типографии и не бывших в курсе наших планов. Девочки—Саша Черняк, А. Н. Мыслевская (ныне Колпинская, заведует одним из отделов в Госиздате), Варя Губельман (сестра Ем. Ярославского), Е. П. Купецкая (ныне Вилесова) и еще две-три—начали срамить рабочих за трусость: „Смотрите, мы, бабы, не бежим, а вам стыдно“. Но слушать это было уже выше моих сил: там уже второй раз играют сигнал на стрельбу, а тут наши девочки сеют дезорганизацию и смуту. Я обратился к ребятам, стоявшим возле меня: „Чего смотрите, бери их и тащи под ворота. Нам кровавую бойню устроят“... И, чтобы подать пример, схватил поперек талии Мыслевскую и потащил за собой в ворота, остальные девочки также мигом были растащены. Улица к концу третьего сигнала осталась совершенно пуста, только

один старик, рабочий, сбивший с толку криками девиз или еще почему-то, остался на улице около баррикады; я позвал его к себе; едва старик сделал шага два-три, как раздался залп, и он упал мертвый на снег. Это было всего в 10 шагах от нас. На карауле у ворот стоял я сам, калитка была затворена на цепь, мы смотрели в щель на то, что делается на улице. Мысленная рвалась наружу, ругала меня за мой деспотизм, говорила, что она хочет умереть, какой то рабочий немец тоже рвался вперед, но я не пускал их. После трех залпов командовавший полуротой приказал солдатам рвать наши проволоки; работа оказалась не легкой. В это время из ворот дома напротив (укрепленный) вдруг вырвался приезжий — караульный прозевал его — и, влезши на баррикаду, обратился к солдатам с речью, в которой ругал их, ругал правительство и т. д. Я не позволил никому пойти снять оратора, так как появление нескольких человек из наших ворот могло быть истолковано массой, как изменение тактики. Толпа могла снова вылиться на улицу, и это грозило сотнями жертв. Минут 5 говорил оратор, пока солдаты рвали проволоки. Но вот проволоки уничтожены; тогда командир выстроил против оратора 5—7 солдат, предложил оратору замолчать и уйти. Но оратор не унимался; тогда раздалась команда взять его на штыки, и сразу несколько штыков вонзились в тело говорившего. Момент тело провисело на штыках, потом, когда штыки вынули, оно мешком упало на баррикаду...

Дальше солдаты стали растаскивать баррикаду, офицер пробрался по эту сторону и стал шагах в пяти от нашей калитки. Если б у нас был револьвер, я убил бы его, но пара револьверов была в доме напротив, у нас же револьверов не было, имелись только клинки. Рабочий-немец с новой силой стал ломиться в калитку, я не пускал, офицер услышав немецкий акцент, обратился к ломившемуся с увещеванием по-немецки. Это окончательно взорвало вашего немца и он уже по-немецки начал косячить офицера... Фу! и этот палач — немец, представитель цивилизованной нации, дивн бы русский, а то немец и пошел. Офицер умоляюще смотрел на него, старался не слушать. Говорил, что он вынужден будет атаковать наши ворота. Немец продолжал, пока баррикада не была разрушена до основания и не был расчищен путь для кавалерии; пехотинцы прошли на Малый проспект, а под дом Еремеева встали те же злосчастные уланы. Из окон 3—4 этажей полетели камни. Несколько улан было сильно ушиблено, им пришлось отъехать назад. Вечером оставаться на улице дольше не имело смысла, и мы начали понемногу расходиться. Войска блокировали участок улицы между Средним и Малым проспектом, а мы уходили на 6 и на 3-ью линию через проломы и проходные дворы, а там через церковный двор между 7—8 линией и баней, между 2 и 1 линией — дальше. Наша компания решила пойти к Саме Червяк, жившей на 7, кажется, линии. Сказано — сделано.

IV.

Пробравшись через Еремеевский дом, мы оказались у Червяк. Подкрепившись, нас несколько человек решило двинуться к месту назначения сбора

в квартире Касаткиных (Фонтанка 119). Мосты с утра были разведены, лед у берегов обрублен, чтоб затруднить переход на ту сторону. Вечером к этому присоединились еще конные и пешие патрули гвардейских частей. Я провел всю нашу компанию на противоположный берег, а оттуда дальше к Касаткиным¹⁾.

У Касаткиных мы узнали, что сегодня днем было заседание общественных деятелей под председательством Горького в читальном зале публичной библиотеки, а на вечер назначено заседание в Вольном Экономическом Обществе. Мы двинулись скопом в В.-Эк. Об-во. Там шло заседание под председательством пр. Лесгафта. Делались сообщения с мест о положении дел. Вася Касаткин сделал сообщение о Ваг. Острове и вытащил на трибуну меня, как руководителя. Не помню, сказал ли я что-нибудь, во всяком случае, если и сказал, то мало: аудитория была не по мне, да и нечего было рассказывать. Затем появился на хорах М. Горький, который сказал, что хочет говорить лицо, близкое к Гапону. На смену тяжелого баса Горького раздался захватывающий баритон Гапона (это был он). Гапон был уже не в расе, а в пиджаке, крахмальном воротничке и манжетах, безобразно вылезавших наружу из рукавов. Гапон повествовал и в доказательство своих слов читал телеграммы и записки Святополка-Мирского, директора департамента полиции, охраны из Царского села и т. д. Впечатление от всего этого получалось такое, что даже Святополк-Мирский и охранка были обмануты членами царской семьи, главным образом дядюшками Владимиром и Сергеем. Согласно документам выходило, что царь в Питере будет и петицию примет, что охранка сама озаботится пропуском толпы, если не будет оружия. Что совещание у царя его дядей было только в ночь на 9 января и что приказы по гвардии в запечатанных пакетах были ночью переданы в части, с обязательством распечатать их только в 6 час утра. Так и вышла провокация провокаторов. Заседание длилось довольно долго. Завочевали мы у Касаткиных. Выяснилось, что Вилесов шел с толпой от Невской заставы, и ему удалось было направить ее на разгром оружейного магазина Биткова (на Литейном проспекте), а потом к Предварилке с требованием освободить политических. Однако результатов, кажется, это не дало.

V.

Утром 10 янв. мы встали, чтоб продолжать борьбу. Кто приводил в порядок и заряжал револьвер, кто припасал крепкую палку или тяжелый

¹⁾ Семья состояла: из старухи матери, Варварочки (Варвара Васильевна), старой народолюбки, дочерей Валентины и Надежды Леонидовны, — первая из них большевичка, жена Богрова, вторая скорее меньшевичка, сын Василий Леонидович, меньшевик, посланный в общек. паренъ, теперь он занимает какой-то хозяйственный пост в Н. Б. Здраве; затем — жильцы: крупный тогда революционный работник Вилесов Александр Александрович теперь живущий в Москве, но давно и совсем ушедший от революции, тогда же он сумел перехватить почти все гапоновские связи в Питере и организовал „Российский Освободительный Союз“, сыгравший крупную и не учтенную роль в коренном изменении техники подпольных организаций, и знаменитый впоследствии Матюшенко.

предмет на случай обороны. Поразила нас старуха, нянька Касаткиных, вырастившая всех детей. Религиозная и монархистка, она вдруг стала революционеркой. Расстрел рабочих съигитаровал ее. Нянька усердно крестила нас и напутствовала в бой, ей хотелось, чтобы мы непременно самого Николая Кровавого поразили. „Если бы он мне попался, так я бы ему своими руками белыми-то дурацкие выпарапала“, говорила она. „Вы уже его, христос вас благословил“. Плотно поев на весь день, мы понемногу стали выходить. Я пошел к себе на Васильевский Остров. Дело в том, что вчера, перед приходом пехоты я успел дать толпе инструкцию относительно контроля над мелочной торговлей, и теперь у меня, что называется, душа болела по этому поводу: как то мои ребята проводят этот контроль, не попал ли им за него. Дело, собственно, было простое: многие мелочные торговцы проявили тенденцию учесть в свою пользу создавшуюся политическую ситуацию и поднять цену на керосин, свечи, хлеб и т. д. Дабы пресечь это в самом начале, тем более, что было совершенно неизвестно, когда прекратится всеобщая забастовка, я предложил объявить торговцам, что они должны продавать все товары по ценам на 8-е января, в случаях повышения цен мы будем либо пролить лавки и выбрасывать все продукты на улицу, либо ставить своих людей, которые будут отпускать товар по нормальным ценам и часть выручки удерживать на общественные цели. Техника контроля очень проста, толпа должна была распоряжаться сама, не обращаясь ни к какой центральной власти или руководящей инстанции. Казенки и ренсковые погреба должны быть закрыты; в случае упорства хозяев, лавки разбивать, вино разливать. Вчера было воскресенье, да и поздно, а сегодня с утра контроль должен был дать себя знать. Вот я и поторапливался.

В общем, дела на Васильевском острове, оказавшись, шли хорошо. Лавочники, за ничтожными исключениями, подчинялись требованию, да иначе и быть не могло, потому что каждый лавочник имел свой контингент рабочих—покупателей, часть которых даже в долгу у него была и ссориться со своими покупателями была не рука. Контроль, т. е. продажа поставленным толпой, производилась только в лавке на углу Малого проспекта и 14 линии. Кроме того, были разгромлены одна или две казенки, однако, громили их хулиганские элементы, может быть, не без инициативы со стороны полиции, чтобы внести дезорганизацию в рабочую среду; но в общем обошлось благополучно, так как запас водки был невелик. Характерно, что один из рабочих, пользовавшийся водкой из разгромленной казенки, принес графинчик нам, в знак уважения к руководителям. Был разгромлен также винно-гастрономический и колониальный магазин на Малом проспекте. Вот и все.

Придя к себе на квартиру, я застал работающих перевязочный пункт, все были на местах, студент-медик отсутствовал, он пошел сделать перевязку рабочему на дому. Вдруг мы услышали во дворе неистовый шум, бушевала толпа, мы выскочили. Оказалось, что какой то провокатор, проживавший в нашем доме, хотел подбить толпу на разгром нас и, воспользовавшись возвращением нашего студента в халате с перевязкой, стал вышатаивать толпу, что

это переодетый социалист „жид“ и что это они — виновники погрома. Эффект получился для провокатора неожиданный; толпа заявила, что она нас знает (меня действительно все кругом знали и до 9-го января), а вот кто он такой? Провокатор бросился к себе, толпа за ним, вытащили его из его квартиры и начали избивать. Его тоже опознали, это оказался рабочий трубчатого завода, уже изобличенный ранее в доносах охране. Несчастный оказался в кругу и им бросали, как футбольным мячом, от одного края к другому. Он выск. Избив его сверх меры, отпустили, но сказали: если в квартире, где переселенческий пункт, произведут обыск или арестуют кого-нибудь, то он больше для после того не проживет. Толпа также предложила и дворникам беречь нас. С моим приходом квартира превратилась в штаб района. Через каждые 3—5 минут забегал какой-нибудь рабочий, сообщал о положении дел в определенном месте и спрашивал инструкции, как быть. Я и еще человека 2—3 давали указания; в случаях более серьезных шел кто-нибудь из нас. Главными делами были дела против казаков, наводивших сегодня остров и производивших обыск в квартирах. Нужно было затруднять им работу и причинять неприятности и мы, великодушно зная местность, зная каждый двор взятой части острова, проявляли неистощимую изобретательность. Рабочие трубчатники и поселенцы, да и другие ловили мысль на лету и великодушно ее развивали на практике: дело обысков шло так медленно, успехи казаков в боях были так ничтожны (слабо порублено человек 17—20), что настроение их быстро падало. Обыски оказывались не безопасными для их участников и потому производились крайне поверхностно. За дом в нам совсем прекратили обыски, так моя квартира и не подвергалась нападению. Часов в 12 или в час дня я вышел посмотреть город. У нас на Васильевском Острове все обстояло более или менее благополучно: в первый день было убитых три (кроме тех, о которых уже говорил я, оказалась убитой шальной пулей казак из женщины, шедшая по своим делам где то около Черной речки), раненых — несколько десятков саблями. 10-го опять было по слухам 2-е или 8-е убитых казаками. Одного, говорят, казак долго волок на аркане за собой, пока голова не оторвалась; порубленных было опять десятка полтора — два. Выйдя из дома, я пробирался на ту сторону. Дорогой я узнал, что у Саши Черняк ночью был обыск, искали меня. Дело в том, что у меня была довольно заметная шапка, шапку эту, когда я накануне уходил от Черняк, не мог найти и на меня надели шапочку Е. Крупецкой, женскую, в которой я и отправился к Касаткиным... Но очевидно, шиник проследил меня по шапке, как я зашел во двор, а так как вышел я в другой шапке, уже не приметной, то он меня и прозевал. При обыске моя шапка была обнаружена, стали добиваться, где ее хозяин. Сообразительная квартирная хозяйка, жена рабочего трубчатого завода, человек свой, пошла и войдя в комнату Черняк спросила, нет ли тут шапки ее мужа и, увидев в руках полиции шапку, сказала, что это и есть шапка ее мужа, которому нужно идти в завод на ночную смену. Полиция обрадовалась, потребовала мужа хозяйки, но это оказался человек небольшого роста с боль-

шой бородой, на меня совершенно не похожий. Его отпустили и инцидент был исчерпан.

Пробираясь далее, я каким то образом очутился с тов. Грачевым, студентом СПб. университета и в данный момент оказавшимся представителем, кажется, организации общественных деятелей. С ним мы попали к нему в „коллекцию“ общежития при СПб ун-ва., а может быть, я туда забрел и там уже встретил Грачева, знакомого мне по Ташкенту. В коллекции жило изрядно туркестанцев и между прочим два брата Керенских. Мне пришлось как то читать в биографии А. Ф. Керенского, что он принимал какое то участие в событиях 9 января. Так вот я показываю, что 10-го января я застал обоих братьев Керенских в коллегии в „дезабиле“, халатах и тибетайках, с 9-го числа игравшими в карты с такими же деятелями, как и они. Между прочим, тогда же я узнал, что весь день 9 января Этнографический музей Академии наук был открыт для публики по распоряжению тогдашнего директора его, академика и тайного советника В. В. Радлова, который сделал это для того, чтобы давать убежище застигнутым врасплох от преследования конных войск.

После мы продержались еще дня 2—3, успокоившись только к 13 января, когда остальные части Питера уже давно вошли в обычную колею. Мне невозможно уже было оставаться не только на Вас. Острове, но и в Питере и я к концу месяца, ликвидировав квартиру, перебрался в Москву. Должен указать на то, что дворники все время были весьма почтительны ко мне и охраняли мою неприкосновенность с полной добросовестностью.

Д. Гинер.

Гапон и граф Витте.

Граф С. Ю. Витте в своих интересных, но, может быть, излишне страстно написанных, воспоминаниях касается мимоходом своих отношений к знаменитому Гапону и попыткам последнего, после манифеста 17 октября, возобновить свою деятельность по организации рабочих кружков.

По словам Витте, он Гапона лично не знал и относился к нему и его деятельности настолько отрицательно, что еще до его премьерства, при Плеве, и пока он, Витте, был министром финансов в Петербурге „даже старались скрыть зубатовщину“ и лишь „с его уходом с поста министра финансов, в августе 1903 года, когда Плеве стал хозяином положения, зубатовщина распрелась, явился Гапон и вся эта полицейская организация привела к 9 января 1905 года“. В ноябре того же года к нему, Витте, когда он уже был премьером, явился как-то „прикомандированный“ к его канцелярии Мануйлов-Манасевич „и от имени князя Мещерского просил его принять Гапона, который искренно раскаивается в своем поступке 9 января и в виду дарованной 17 октября конституции желает помочь правительству успокоить рабочих“. Весьма удивившись, что Гапон в Петербурге, Витте ответил Мануйлову, что „никаких сношений с Гапоном иметь не желает и что если он в течении суток не покинет Петербурга и не уедет за границу, то будет арестован и судим за 9 января“. После этого граф Витте дал Мануйлову 500 р., сказав, что он „дает ему эти деньги с тем, чтобы он довез Гапона до Верхболова и убедился, что Гапон покинул Россию“. „Затем через два дня к графу явился Мануйлов и доложил, что Гапон переехал в Верхболово границу и обещал, что он в Россию не вернется“. „Может быть, прибавляет Витте, тогда было бы правильное его арестовать и судить, но в виду того, что тогда все рабочие были в экстазе, и Гапон пользовался между ними большой популярностью, он, Витте, не захотел „сейчас после 17 октября и амнистии усложнить положение вещей“. „Через некоторое время — продолжает далее граф — ко мне пришел князь Мещерский и убеждал меня разрешить Гапону вернуться в Петербург и принять его, говоря, что Гапон теперь принесет громадную пользу в борьбе с анархистами и революционерами в виду его влияния на рабочих и полного отчуждения от революционеров-анархистов после того, как он с ними познакомился за границей. Я просил Мещерского оставить меня в покое и сказал, что Гапону не доверяю, никогда его не приму, и ни в какие сношения с ним не вступаю“.

После этого, когда Гапон „по сведениям Мануйлова-Манаповича“ был уже за границей, в графу Витте являлся сотрудник „Новостей“ Матюшенский, который „доложил, что необходимо восстановить те библиотеки и читальни, которые были основаны до катастрофы 9 января и которые были после сего закрыты и опечатаны полицией, т. е. эти учреждения теперь могут оказывать громадное содействие в отвлечении рабочих от революционных обществ анархического характера. Я сказал Матюшенскому, что против этого принципиально ничего не имею, но что он должен обратиться к министру торговли ¹⁾, который должен войти в детали этого дела, мне неизвестные. Затем он заговорил о том, что следовало бы помиловать Гапона, что я категорически отверг.

Потом он просил меня дать ему записку к министру торговли; я написал, просил выслушать Матюшенского, но опасаясь дать ему записку на руки, позвал находившегося в канцелярии Мануйлова, передал ему записку, сказав, чтобы он передал ее Тимирязеву и одновременно представил Матюшенского. После этого я Матюшенского более не видел. Моя беседа с ним была весьма непродолжительна и он мне крайне не понравился. На другой или третий день был у меня Тимирязев и говорил, что он выслушал Матюшенского, что дело идет о восстановлении тех учреждений рабочих, которые были организованы во времена Плеве-Гапона и затем закрыты и опечатаны полицией после 9 января 1906 года, что он по нынешним временам, чтобы отвлечь рабочих от революционеров-анархистов, этому сочувствует и что для этого нужно будет денег.

Я ответил, что ничего против этого не имею, что относительно всего этого он должен сговориться с министром внутренних дел, а относительно денег испросить их у государя из так-называемого десятиллионного фонда, ежегодно ассигнуемого по государственной росписи для чрезвычайных расходов, которые росписью не предвидены; при этом я ему сказал, что во всяком случае на это можно дать только несколько тысяч, помню сказал — не более шести и при условии контроля за их расходованием. Этот разговор был около 20 ноября и затем мне Тимирязев ничего по этому делу не говорил, точно так, как мне ничего не говорил об этом деле Мануйлов, что со старшим последнему, впрочем, было довольно естественно, так как я ему никак их поручений, кроме передачи маленькой записки и представления Матюшенского Тимирязеву, не давал, да кроме того я после предупреждения Вунча ²⁾ о том, что вообще Мануйлов не заслуживает доверия, его не принимал.

Вдруг в конце января или начале февраля 1906 года я узнаю из газет, что Матюшенскому было выдано Тимирязевым 30.000 рублей на возобновление Гапоновских организаций, что из них 23.000 Матюшенский похитил и скрылся. Это побудило меня запросить письмом, в чем дело, и из объяснений Тимирязева я узнал, что он испросил всеподданнейшим докладом у госу-

¹⁾ Почему к министру торговли, а не к-ру внутренн. дел? Не потому ли, что тогда В. И. Тимирязев был ближе к графу Витте, чем П. Н. Дурново.

²⁾ Н. И. Вунча — управляющего канцелярией Совета Министров.

даря на организацию учреждений для рабочих 30.000р., что выдаст их Матюшенскому, что Матюшенский хотел украсть 23.000, что рабочие это узнали и затем, при содействии жандармской полиции деньги эти нашли, что, наконец, Тимирязев даже видел Гапона и обо всем этом он мне никогда не говорил ни слова!

О том, что он видел Гапона, он не только не говорил мне, но и не писал даже после того, как вся эта история раскрылась. Я узнал об этом уже по оставлении им поста министра из протокола его допроса судебным следователем по делу Матюшенского.

Эта история и была причиной, почему я решил расстаться с Тимирязевым¹⁾.

Таким образом, граф С. Ю. Витте в своих воспоминаниях решительно отмежевывается от Гапона, утверждает, что он ему никогда не доверял и ни в какие сношения с ним не вступал. Также отрицательно относился он, по его словам, и к Гапоновским рабочим кружкам и если направил выступавшего за них ходатаем Матюшенского к тогдашнему министру торговли Тимирязеву, то сделал это как бы нехотя, по необходимости, только потому, что шла речь о восстановлении тех рабочих библиотек и читален, которые были закрыты полицией после 9 января. Вместе с тем не менее отрицательно, чем к Гапону, он относился и к выступавшим за него ходатаям: князю В. П. Мещерскому, Матюшенскому и Мануйлову-Манасевичу, при чем последнему он не давал решительно никаких поручений по этому делу, кроме представления Матюшенского Тимирязеву и передачи последнему маленькой рекомендательной записки.

Не совсем так, однако, рассказывает те же обстоятельства и не так бледно описывает участие в них графа Витте бывший министр внутренних дел П. Н. Дурново в своей всеподданнейшей записке от 6 марта 1906 г. В свое время мы имели возможность снять копию с черновика этой записки, исправленного и дополненного собственноручными отметками П. Н. Дурново, а также и с некоторых оправдательных документов, приложенных к этому черновику. В какой мере соответствует черновик подлиннику, мы сказать не можем. Вот что говорится в этой записке:

„В ноябре 1905 года личный почетный гражданин Матюшенский, состоявший сотрудником газеты „Новости“ прибыл к графу Витте, в качестве представителя от собрания русских фабрично-заводских рабочих и предъявил ходатайства: 1) о дозволении возобновить действия отделов названного собрания, закрытых 10 января 1905 г. по приказанию б. министра внутренних дел князя Святополк-Мирского; 2) о возмещении собранию убытков, причиненных означенным распоряжением, и 3) о легализации прежнего руководителя собрания б. священника Георгия Гапона, нелегально вернувшегося в Петербург²⁾. Вследствие сего состоящему при гр. Витте кол. ассессору

¹⁾ Воспоминания графа С. Ю. Витте. Т. II, стр. 165 — 169. Изд. П. Книгоиздательство „Слово“.

²⁾ Таким образом, по сведениям П. Н. Дурново, речь шла отнюдь не об одних лишь библиотеках и читальнях.

Мануйлову было поручено войти с Гапоном в непосредственные сношения, при чем Гапон, с своей стороны, присоединился к просьбе Матюшенского. Однако, в виду тревожных событий того времени, по распоряжению председателя Совета Министров и через того же Мануйлова было внушено Гапопу, чтобы он выехал за границу, при чем ему было выдано на проезд 500 рублей из собственных средств графа Витте. Подчинившись этому требованию, Гапон тем не менее поставил свое согласие в зависимости от дозволения ему в недалеком будущем принять в делах собрания русских рабочих непосредственное участие, долженствовавшее, по его мнению, способствовать обеспечению интересов рабочих и вместе с тем их умиротворению.

По отъезде Гапона, была составлена, по указаниям графа Витте программа воззвания Гапона к рабочим, в которой намечены были следующие главные положения: 1) необходимость приостановиться на пути освободительных стремлений с целью удержать за собой и закрепить занятые позиции; 2) присоединение к началам, возведенным в манифесте 17 октября, и требование созыва гос. думы, и 3) отрицание насильственных способов действия.

Эта программа была отвезена рабочим Кузиным к Гапопу, находившемуся в Париже, и передана ему вместе с дополнительными 200 рублями, которые были обещаны ему Мануйловым перед отъездом Гапона из Петербурга. На основании означенной программы, Гапон составил и собственноручно переписал воззвание к рабочим, которое было доставлено затем к графу Витте и отпечатано в Петербурге в типографии Лесмана в значительном количестве экземпляров.

Средства для напечатания воззвания были отпущены из секретных сумм Департамента Полиции в виду многократных и настойчивых требований председателя Совета Министров.

В последней фразе слово „требований“ написано собственноручно П. Н. Дурново, поставившего его вместо написанного в канцелярии слова „указаний“. Далее идет собственноручно же сделанная Петром Николаевичем Дурново вставка следующего содержания: „Министр Внутренних Дел всеми способами оспаривал необходимость этого расхода, но вопрос ставился в высшей степени остро и отказ в выдаче денег грозил совершенно испортить отношения, вследствие чего министр внутренних дел, не усматривая в печатании прокламации ни пользы, ни вреда, сделал распоряжение о выдаче 2500 руб., которые 22 декабря через чиновника Мануйлова и вручена рабочему Николаю Варнашеву“.

Далее идет текст канцелярии:

„Отпечатанные прокламации были распространены при помощи особых рассыльных, отправленных в разные местности Варнашевым и Кузиным. Все распоряжения по напечатанию и распространению воззваний исходили от названных лиц, действовавших при этом совершенно самостоятельно и настолько секретно, что полученные ими 2500 рублей при указанных выше обстоятельствах не получили долгое время никакой огласки, даже в среде их ближайших сотоварищей“.

Правильность этого места всеподданнейшего доклада Дурново подтверждается приложенной к ней собственноручной докладной запиской И. Мануйлова на имя графа Витте от 19 декабря следующего содержания:

„Согласно выраженному Вашим Сиятельством желанию, рабочие намерены приступить к печатанию прокламации Гапона. Сегодня они были у меня, прося выдать им необходимые средства. Не получив их из Департамента Полиции, я позволяю себе просить приказаний Вашего Сиятельства. И. Мануйлов. 19 декабря“.

На этой докладной записке Мануйлова имеется следующая собственноручная резолюция графа Витте: „Эммануил Иванович ¹⁾. Благоволите оказать содействие. Я просил об этом Петра Николаевича. Граф Витте“.

К записке приложена и расписка Мануйлова от 22 декабря 19 . . года в получении „от его Превосходительства Директора Департамента Полиции“ двух тысяч пятисот рублей (2500 р.).

Далее следует собственноручная записка П. Н. Дурново от 21 декабря, написанная им на листке почтовой бумаги с бланком: „управляющий министерством внутренних дел“, следующего содержания:

Спешное. Деп. Пол. Прошу переговорить: 1) о напечатании Гапоновских прокламаций и 2) о командировании Мануйлова к Гапону“.

В пояснении второго пункта этой записки в излагаемом всеподданнейшем докладе Дурново говорится следующее:

„Варнашев довел до сведения графа Витте, что Гапон знает группу лиц, составляющих в С.-Петербурге верховную революционную организацию. По словам Варнашева, он также мог бы указать главных революционных деятелей, еслибы Гапон освободил его от данного обещания хранить эти сведения в тайне. Эти сообщения Варнашева приводились между прочим в числе доводов о необходимости допустить печатание упомянутой выше прокламации Гапона к рабочим, т. е. составилось мнение, что только удовлетворением желания Гапона воздействовать на рабочих можно склонить его к услугам правительству в деле раскрытия и подавления революционного движения.“

В результате переговоров с Варнашевым была организована по распоряжению графа Витте поездка к Гапону в Париж чиновника Мануйлова и Варнашева, при чем Мануйлову, „при тех же условиях, как и деньги на печатание прокламаций“ ²⁾ было выдано на расходы 23 декабря из средств Департамента Полиции.

(Приложена расписка И. Мануйлова от 23 декабря 1905 г. в получении от Его Пр-ва г. Директора Д-та Полиции 1500 рублей).

Далее в докладе П. Н. Дурново рассказывается следующее:

„По прибытии в Париж Мануйлов уже не застал там Гапона, который только что перед тем уехал в Стокгольм. Из полученных Мануйловым 1500 руб.

¹⁾ Эммануил Иванович — имя и отчество тогдашнего Директора Д-та полиции камергера Вунча.

— ²⁾ Слова, взятые в кавычках, вставлены рукой П. Н. Дурново.

он выплатил 300 рублей Варнашеву на путевые надержки и выдал в Париже доктору де Кервиль для перевода в Стокгольм 800 рублей, предназначавшихся Гапопу в виде дополнительного вознаграждения, также обещанного ему Мануйловым в день отъезда Гапопа из Петербурга. Упомянутый де Кервиль, бывший член партии Народной Воли, в разговоре с Мануйловым высказал мнение, что Гапопу предстоит большая роль в качестве сторонника графа Витте.

Из Стокгольма Гапон прибыл в Финляндию и поселился в Терйоках, откуда стал часто приезжать в Петербург. По возвращении Мануйлова из-за границы, он снова вступил в сношения с Гапоном, но имел с ним только одно свидание; дальнейшие же переговоры с Гапоном были возложены в половине января „министром внутренних дел“ ¹⁾ на чиновника особых поручений при министре внутренних дел Рачковского. В объяснениях с д. о. с. Рачковским Гапон высказал готовность в короткое время раскрыть боевую организацию партии с-ров, но до сих пор сношения с ним не дали каких-либо положительных результатов.

В бытность в Париже, Гапон, кроме составления упомянутого выше воззвания, поместил в газете „Матен“, в форме собеседования с репортером, заметку, в которой защищал русские финансы, правительство и графа Витте. Эта статья вызвала резкую отповедь газеты „Юманите“, органа Жюреса, при чем указывалось, что Гапон продал себя графу Витте.

Пока происходили описанные выше обстоятельства, дело об исходеатайствовании вспомоществования Совету рабочих получило следующее направление:

18 ноября к бывшему министру торговли и промышленности прибыли Мануйлов и Матюшенский и, передав ему рекомендательное письмо графа Витте, изложили просьбу о предоставлении денежных средств на воспомоществование названному собранию. Тайный советник Тимирязев принял благосклонно это ходатайство и после совещания по этому предмету с графом Витте, испросил всеподданнейшим докладом разрешение на выдачу собранию 30 тысяч рублей, о чем сообщил затем письменно министру финансов. Означенная сумма была выдана министром торговли и промышленности Матюшенскому по частям, под его расписки, при чем последняя уплата была произведена 24 декабря, когда Гапон уже находился за границей.

Из упомянутых денег Матюшенский передал собранию рабочих только семь тысяч рублей, сказав, что они получены от одного бакинского купца, состоящего в дружеских отношениях с Гапоном. Действительный источник субсидий был известен из числа рабочих только Варнашеву, который однако же не знал точной цифры выданных денег.

Вскоре Матюшенский возбудил против себя подозрение рабочих тем, что выдавал деньги по мелочам, сбивался в указании размера имеющейся у него

¹⁾ Вставлено рукою П. Н. Дурново.

суммы, а затем стал уверять, что у него был обыск вследствие нашего будто бы на него подозрения в политической неблагонадежности. По проверке рабочих этих объяснений, оказалось, что у Матюшенского обыска не производилось, и таким образом и весь рассказ про обыск был видимо ни чем иным, как подготовкою замышлявшегося Матюшенским уже в то время побега. В январе Варнашев сообщил о своих сомнениях Мануйлову, который в свою очередь доложил о них графу Витте. Последний посоветовал, чтобы Варнашев обратился к министру торговли и промышленности, после чего Варнашев узнал из разговора с тайным советником Тимирязевым, что Матюшенский получил от него не семь, а тридцать тысяч рублей. Тогда Варнашев поручил рабочим Кузину и Черемухину разыскать Матюшенского. По собранным сведениям выяснилось, что Матюшенский уехал из С.-Петербурга в Саратов, где посланные за ним лица действительно его настигли и отобрали у него все оставшиеся деньги, кроме 800 рублей, которые он уже успел истратить.

Относительно дальнейшей участи собрания русских рабочих и его отделов имеются следующие сведения:

26 ноября 1905 года в С.-Петербургскому Градоначальнику приехал товарищ министра торговли в сопровождении Николая Варнашева и передал просьбу тайного советника Тимирязева о разрешении открыть отделы и возобновить их деятельность с передачей Варнашеву, как уполномоченному лицу. „Одновременно с сим тайный советник Тимирязев настоятельно просил министра внутренних дел не препятствовать открытию отделов, вследствие чего было сделано распоряжение о выдаче Варнашеву хранившейся в градоначальстве принадлежащей собранию рабочих суммы около 8000 рублей и другого движимого имущества. При этом имелось в виду, что Варнашев наймет квартиры для отделов и оборудует их необходимыми принадлежностями. Засим в течение декабря прошлого и января текущего года председатель Совета Министров и министр торговли многократно заявляли министру внутренних дел о необходимости в видах умиротворения рабочих разрешать рабочим собираться в отделах для выяснения разных сообщений и толкований политического свойства. Все эти заявления под разными предлогами были отклоняемы и решение вопроса умышленно затягивалось на неопределенное время. Наконец, в конце января министр торговли обратился к градоначальнику с письмом о скорейшем утверждении лиц, вновь избранных на разные должности в состав правления совета рабочих, при чем доставил и список этих лиц, подписанный за председателя Варнашевым и секретарем собрания Кузиным. В этом письме тайный советник Тимирязев просил не препятствовать устройству сходок в помещениях отделов, при чем высказывал уверенность, что настроенные рабочие самое миролюбивое и заслуживает поощрения, дабы их опять не отащили влево к крайним организациям и что за рабочими, как людьми, только что пережившими острую болезнь, надо следить любовно, избегая всяких поводов к возбуждению в них раздражения

*) Фразы, заключенные в кавычках, написаны собственноручно П. Н. Дурново.

В ответном письме градоначальник изложил, что собранию возвращено арестованное имущество и предоставлена возможность приступить к организации своей будущей деятельности на началах законности и порядка. Самое же открытие действий отделов в настоящее время последовать еще не может, так как с закрытием собрания в минувшем году прежний устав 1904 года утратил силу. Таким образом утверждение должностных лиц может состояться только лишь по представлении министру внутренних дел и утверждении им проекта нового устава, вполне отвечающего миролюбивым целям организации русских рабочих и гарантирующего их от увлечения политической борьбой. Из последующего письма тайного советника Тимирязева к градоначальнику от 29 января 1906 года усматривается, что собрание рабочих ныне реорганизуется на основании устава, имеющего быть составленным применительно к новому закону о профессиональных и иных союзах, рассмотренному в государственном совете.

„Одновременно с сим ходатаем за разрешение сходок в помещениях отделов явился известный инженер Демчинский, который несколько раз был принят министром внутренних дел по этому делу. Домогательства Демчинского остались без результата, так как министр оставался на своей точке зрения, что подобные сходки, поддерживая в рабочих нервное возбуждение, вовлекают их в постоянные занятия политикой, что ни при каких условиях им пользы принести не может, а грозит лишь риском повторения разных осложнений и беспорядков. За последнее время Демчинский больше к м-ру не является“.

„По вопросу о том, желательно ли в настоящее время возобновление деятельности отделов, следует высказаться отрицательно, так как имеются достоверные сведения, что в числе членов возрождающегося собрания русских рабочих уже записались преимущественно социал-демократы, которые под видом легальных собраний намереваются вести социалистическую пропаганду и пользоваться отделами. Собрания русских рабочих, как политическими клубами“.

На этом оканчивается исподданнейшая записка П. Н. Дурново, поданная повидимому в виду выраженного государем желания иметь сведения о Гапоновских рабочих организациях, каковая то журнальная статья о которых обратила на себя внимание императора. Так по крайней мере можно судить из сохранившейся в той же переписке следующей собственноручно-же написанной Дурново записке директору Д-та Полиции:

„Его величество требует немедленного и самого подробного секретного расследования обстоятельств дела, о котором говорится в этом № (?) стр. 5. Потрудитесь переговорить со мной сегодня в 8 часов вечера 23 февраля“.

Результатом этих переговоров и произведенного расследования и явилась составленная в Д-те Полиции и исправленная лично П. Н. Дурново. приведенная выше записка от 6 марта.

К этой записке приложено подписанное Гапоном в Париже по одобрению графом Витте программе воззвание к рабочим, которое затем, как видно из

...ским Дурново, было по распоряжению графа и на средства Д-та Полиции
опечатано в Петербурге в типографии Лесмана.

Вот это воззвание ¹⁾.

„Родные, спасенные кровью, товарищи-рабочие. Шлю вам привет из далекой чужбины. С тяжелой грустью оставлял я недавно родную землю. Мне так хотелось быть среди вас, делить с вами и радость, и горе, работать... Но я должен был исполнить вашу волю. Значит, еще не настало для меня желанное время.

Шлю вам также и поздравление с открытием некоторых из ваших отделов.

Громадной важности задачу вы на себя, товарищи, взяли опять собрать воедино всю дружную свою семью-героев рабочих и опять взять судьбу свою в свои собственные руки, чтобы помогать друг другу, как раньше во всех невзгодах, умственно развиваясь, нести свет знания в другие рабочие массы, организовывать меньших братьев своих для взаимной мощи и защиты своих правовых и экономических нужд, чтоб не было грубых тактических ошибок в ведении вашего кровного пролетарского дела.

Великую надежду возлагаю я на это ваше чисто рабочее дело. Смотрю на него, как на первый краеугольный камень великого здания всероссийского рабочего союза; смотрю на него, как на основу будущей чисто рабочей партии, которой суждено будет сделать русский пролетариат могучим. Но при некоторых неперемennых условиях буду питать я в своем сердце твердую надежду на успехи вашей великой работы. Первое условие и самое главное, если именно вами на деле будет осуществляться принцип: освобождение рабочих должно быть делом рук самих рабочих. Точнее — не только делом их рук, их крови, но ума и воли их. Помните ли вы знаменательные мысли нашего покойного И. В. Васильева: „освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих“. „Да, часто говаривал он, это великий принцип, но горячо и проникновенно продолжал, так пусть же этот великий принцип будет осуществлен целиком на деле“. „Мы рабочие уже не стадо баранов. Есть и между нами разумные и великие мужи. Шкурные наши вопросы должны решать мы сами. Мы постановили проливать кровь или голодать в стачке и будем проливать, и будем голодать, но по своей воле, по своему решению, когда это действительно нужно, без указки, без камертона людей чужого класса“.

Действительно, достаточно грехов совершено было против великого принципа во имя его же, везде, не только у нас, но и за границей. Нередко люди не из рабочей народной среды, благородные и честные в душе, но оторванные от рабочей жизни, увлекались красивыми теориями, подчинялись формуле (букве). Не редко они, не сообразуясь ни с действительностью жизни, ни соотношениями сил, ни с внутренним настроением масс, давали рабочим неверный тон их тактическому шагу. Не редко они, эти самоотверженные люди становятся по пословице: „казаками задеры хвист“ и без

¹⁾ Приведено по имевшейся в моем распоряжении копии с него, собственноручно переписанной И. Ф. Мануйловым.

достаточного основания и без смысла необдуманно толкают иногда не во время на ненужную неудачную стачку, выбрасывая тем невольно рабочих, их детей на голод, холод, на смерть — безрезультатно, чем уменьшают у рабочих сознание своей силы, усложняют дело освобождения, принижают революционность рабочих масс. В результате, конечно, бессознательно принесят вред пролетарскому народному делу.

Поэтому, вы, дорогие товарищи, до конца должны проводить указанный принцип, если хотите делу успеха. Держите всецело в руках своих мозолистых свое рабочее дело и, приглашая в свои гнезда-отделы интеллигентов, внимательно выслушивайте их страстные горячие речи, но не слишком взвизгивайтесь; свой критический разум имейте. Этот свой разум уже самостоятельно, без единого интеллигента проявляйте в решении практических вопросов (например, о всеобщей стачке, о, так называемом, вооруженном восстании, о введении 8-ми часового рабочего дня путем революционным).

Вы и не зная до тонкости Маркса по существу своего пролетарского положения инстинктивно правильнее, чем кто-либо другой, решите и скорее избегнете пагубных для себя, для всего пролетариата ошибок. Не забывайте, что и вы окончили всемирный университет голода, холода, нищеты, лишений и проходите до конца своей жизни в совершенстве науку разных унижений, оскорблений, науку всякого угнетения и насилия. Не забывайте, что в применении к русской действительности практический здравый смысл русского рабочего-героя зачастую выше бывает немецкого Маркса, что видно на деле, по результатам.

Родные, спасенные кровью, товарищи-рабочие. Тем более вы должны взять свою судьбу в свои собственные руки в настоящее тревожное страшное время, чтобы пролетариат не сделал бы рокового для блага русского народа шага. Когда пролетариат и весь русский народ в опасности, когда идет вопрос об его жизни или смерти, то грешно представителям пролетариата, лучшим рабочим, фактически оставлять свою судьбу, судьбу пролетариата, в руках чужих, хотя бы по видимому и в хороших. Товарищи, я вижу на небе русского народа грозные знамения, слишком кровавую зарю и во имя блага русского народа мужественно требую от вас исполнения моего искреннего совета. Русский пролетариат в опасности, говорю я смело и открыто. Две провокации — одна сознательная со стороны правительства, другая бессознательная — со стороны честных, но необдуманно горячих борцов за свободу осадили его, не дают ему покоя... Взвизгивают его... Преждевременно толкают его неготового ни технически, ни внутренне сознанием на пропасти крови и хаоса со смутной, гадательной надеждой на полужах.

Встрепайтесь же, товарищи-герои, члены славного „Собрания русских рабочих“ и все рабочие, кому на самом деле дорога настоящая свобода и благо пролетариата и всего русского народа. Обращаясь одинаково к мужчинам и к женщинам-товарищам. Встрепайтесь. Смело и самостоятельно расправьте свои могучие орлиные крылья и влекотом орлиным и зычным голосом богатырским закричите на все города и веси: „Стой, пролетариат,

осторожней, засада!" Ни шагу вперед, ни шагу назад. Резким шагом вперед не вызывай темного и озлобленного реакционного чудища. Избегайте крови... Жалейте ее... И так ее достаточно пролито. Смотри, не повтори ошибки 1871 года коммунаров, героев французского пролетариата. Шагом назад — не задерживай освободительного святого движения. Укрепляй лучше теперь завоеванные позиции, душой и телом всецело отдавшись организационно-созидательной работе. Собирайся с силами, требуя пока от правительства выполнения программы, намеченной манифестом 17 октября и немедленного созыва думы с самым широким участием народа и рабочих.

Тут я подхожу к второму непременному условию, при котором именно должна вестись уже самая организационная созидательная работа. Но это до другого раза. Теперь до свидания, дорогие товарищи! Берите в свое святое дело, в свою великую миссию предостережения пролетариата от опасности зарваться в ущерб настоящему освободительному движению России.

Будьте только честны во всем. Особенно берегите копейку рабочего, потом и кровью облитую. По приведении дел общества немедленно выдавайте пособия нуждающимся членам, согласно уставу нашему. Между прочим, не откладывая в долгий ящик, постарайтесь как можно скорее распределять членов того или иного отдела по профессиям, так, чтобы каждый отдел являлся фактически общим гнездом профессиональных ячеек, и самый ваш рабочий союз собственно союзом профессиональных союзов.

Будьте мужественны и самоотверженны до конца. Вы, не побоявшиеся в прошлом году никаких нападков, никакого разногласия лая близоруких и узко односторонних людей, вы смело идущие 9-го января с открытой грудью безоружные под пули и штыки солдатские за народную свободу, вы и теперь конечно не убоитесь никого и ничего... И теперь, конечно, не смущитесь никакими нападениями, никакими клеветами, ни всем, что будут изрыгать узколобые, односторонние и нахально грязные люди. Верьте мне, что если вы проявите самоотверженную энергию в своем святом деле, а главное будете всегда честны в своем убеждении, то вас только не поддержат те из рабочих, у кого нет самостоятельного царька в голове, у кого слишком сидит приказчиный дух... кто привык ходить на помочах...

Все же люди разумного дела, а не шумливые, зачастую лживой фразой из интеллигентов — настоящих работников на народной ниве, все же рабочие, у которых на самом деле мозолистые руки, которые на самом деле пропитаны копотью и дымом, обвешаны нуждой, голодовкой, придут к вам, к своим братьям рабочим и рука об руку пойдут с вами, взаимно поддерживая, помогая друг другу в простоте своего честного рабочего сердца.

Будьте же смелы и бодры душой товарищи! Кому, как не вам, выступать с настоящей правдой?

Передайте от меня сердечный привет всем товарищам рабочим. Мысленно жму руку каждого из них; мысленно каждого из них обнимаю. Скажите им, что тоскую по ним, по работе... Скажите также им, чтобы они не верили

ничему, что будут болтать худого про меня злые люди. Судьбу свою, да твердо помнят, я на всегда связал с их судьбой. Дело само покажет.

Георгий Гапон.

Париж.
Ноябрь 1905 г.

Как видно из приведенного воззвания, его составитель не забыл тех положений, которые „по указанию графа Витте“ должны были быть положены в его основание: 1) необходимость приостановиться на пути освободительных стремлений, с целью удержать за собой и закрепить занятые позиции („ни шагу вперед“, „укрепляя завоеванные позиции“), 2) присоединение к началу манифеста 17 октября и требование созыва Госуд. Думы („собирайся с силами, требуя пока от правительства выполнения программы, намеченной манифестом 17 октября и немедленного созыва Думы“) и 3) отрицание насильственных действий („Избегайте крови... Жалейте ее... И так ее достаточно пролито“).

Приведенный выше материал далеко не полон, чтобы притти к определенному заключению, кто из двух сановников, стоявших в центре событий зимы 1905—6 г., граф ли Витте или Дурново — правее в своем описании завязывавшихся тогда новых сношений с Гапоном. Вряд ли по этому вопросу прибавится и какой-либо новый материал, если, конечно, случайно не всплывут еще какие-нибудь документы, так как главные действующие лица, наиболее заинтересованные в его разъяснении, граф С. Ю. Витте и П. Н. Дурново, сошли в могилу. Также нет более живых Гапона, Мануйлова, Тимирязева, которые, конечно, могли бы многое разъяснить.

Но, тем не менее, и найденные сейчас документы достаточно убеждают, что граф Витте в своем изложении этого интересного исторического эпизода вряд ли вполне беспристрастен. Возможно, конечно, что и П. Н. Дурново в своей всеподданнейшей записке, особенно имея в виду будущего читателя этой записки, несколько сгущает краски, когда говорит о „многократных и настойчивых требованиях председателя Совета Министров“ отпустить деньги на печатание Гапоновского воззвания, или когда утверждает, что „вопрос этот Витте ставил так остро, что отказ в выдаче денег грозил совершенно испортить отношения“ между двумя министрами. Но, во всяком случае, несомненно, и это подтверждается приведенной выше докладной запиской Мануйлова и собственноручной резолюцией графа Витте, что Департамент Полиции не хотел давать денег на печатание этого воззвания, и что если в конце концов их и дал, то исключительно по просьбе Витте, обращенной, как к директору Департамента Э. И. Вунчу, так и к министру внутренних дел. Такая просьба графа Витте, может быть, и не „настойчивая“, и не „многократная“, тем не менее свидетельствует, что Витте относился далеко не безучастно к Гапоновским организациям, и, наоборот, по крайней мере в ноябре и декабре 1905 года, в моменты высшего подъема тогдашней революционной волны и одновременного почти полного паралича правительственной власти

и ее окончательной растерянности, возлагал на эти „рабоче-правительственные“ организации какие-то смутные надежды, видя в них, может быть, ту единственную соломинку, за которую неизбежно хватается каждый утопающий. Только такими надеждами и может быть объяснена командировка Мануйлова в Париж для переговоров с Гапоном и составленное от его имени воззвание к рабочим по программе, заранее предуказанной графом Витте. Очевидно, что идея этой командировки исходила именно от Витте, а не из министерства вн. дел, так как в противном случае был бы послан не Мануйлов, чиновник, состоявший лично при графе Витте, а Рачковский или кто-нибудь другой из агентов Д-та Полиции. Все это, если и не указывает определенно на известное, хотя бы временное, увлечение со стороны графа Витте столь ненавистной ему, по его словам, „зубатовщиной“, то во всяком случае весьма далеко от того снисходительно презрительного отношения к Гапону и его деятельности, которое усердно подчеркивает в своих воспоминаниях граф Сергей Юльевич. И если даже и допустить, что автор этих воспоминаний действительно отрицательно относился к личности Гапона, то во всяком случае он, со свойственным ему большим дипломатическим искусством, которым так щедро его наделила природа, сумел это настолько хорошо скрыть от самого Гапона, что последний своими выступлениями в Париже в защиту русских финансов и их руководителя, произвел на некоторых своих слушателей, как например на д-ра де-Кервиля, впечатление „убежденного сторонника графа Витте“, а на Жореса даже более — „лица, продавшего себя графу Витте“.

В заключение остается сказать, что граф Витте в описании своих сношений с Гапоном, как, к сожалению, и в описании некоторых других событий своей многообразной деятельности и жизни, повидимому, не избегал, столь свойственного большинству мемуаристов и по человечеству понятного, стремления во чтобы то ни стало оправдать себя, обелить, затушевывая все свои, хотя бы и невольные, ошибки и погрешности, и сваливая ответственность за них на окружающих, особенно на своих недоброжелателей, и не жалея для последних густых, черных красок. Последним особенно грешит граф Витте, уделяя в своих воспоминаниях, к сожалению, слишком много страстного внимания своим многочисленным врагам.

Н. Петров.

Февраль.
1923 г.

Гапон и охранное отделение до 1905 года.

Вопрос о взаимоотношениях Георгия Гапона с охранным отделением до и накануне 9 января 1905 года, несмотря на его двадцатилетнюю давность, все еще не только не получил окончательного, категорического разрешения, но даже не подвергался ни разу серьезному критическому обсуждению.

О Гапоне писали много и многие, исходившие из разных точек зрения при оценке его личности. Немало опубликовано и архивных материалов его деятельности, но из всей этой груды литературы нельзя было извлечь что-либо мало-мальски ценное, достоверное и неопровержимое, что способно хотя бы отчасти рассеять туман, которым густо окутаны его сношения с департаментом полиции и охранным отделением в 1902 — 1905 гг. Противники и враги яростно его обвиняли, не останавливаясь перед решительным заявлением, что Гапон был сознательным и прямым агентом охраны, по меньшей мере — игрушкой в руках руководителей сыска. Его сторонники и сподвижники не менее яростно пытались защитить его имя от нападков противников, указывая, что Гапон сознательно и искренне стремился организовать рабочую массу, и наивно подчеркивая, что он перехитрил искушенных опытом деятелей департамента полиции и петербургской охраны. И те и другие всегда в своих выступлениях были голословны, опирались больше на мнтуацию, нежели на установленные факты. Как противники его не в силах были аргументировать свои обвинения ссылками на документальные данные, так и защитники его лишены были возможности надлежащим образом доказать необоснованность выдвигавшихся против Гапона обвинений и более или менее удовлетворительно и убедительно объяснить факт его сношений с охранкой, который сам Гапон признал в своих воспоминаниях ¹⁾.

„Воспоминания“ Гапона, опубликованные предварительно на столбцах западно-европейской прессы в 1905 г. и отдельным изданием на английском языке (Лондон, 1906 г.), до последнего времени оставались единственным источником для суждений о его связях с департаментом полиции. Гапон подробно рассказывает, как он впервые познакомился с С. Зубатовым. Поводом к знакомству, по его словам, послужил донос гласного петербургской городской думы и заведующего столичными приютами Аничкова на Гапона, как на

¹⁾ См. „Записки Георгия Гапона (очерк рабочего движения в России 1900-х годов)“. М., 1912.

революционера, поданный в охранное отделение еще задолго до образования „Собрания русских фабрично-заводских рабочих“. „Ко мне явился один из высших чинов этого отделения Михайлов, чтобы допросить меня пишет Гапон... Однажды Михайлов приехал ко мне в Академию и сказал, что одно лицо жаждет со мною познакомиться, и просил меня не медля ехать к нему. Я согласился, и он привез меня в здание на Фонтанке, на котором была краткая, но многозначительная надпись „Департамент Полиции“. Там мы прошли через ряд больших комнат, наполненных маленькими черными ящиками, в которых, как я узнал впоследствии, содержатся биографии и фотографии политически неблагонадежных лиц со всех частей империи.

„Вы сейчас увидите Зубатова, сказал мне Михайлов. Я в то время ничего не знал ни о Департаменте Полиции, ни о Зубатове, этом всемогущем начальнике политического отделения. Мое любопытство было сильно возбуждено. Мы вошли в великолепную приемную комнату, и я был представлен Сергею Васильевичу Зубатову, мужчине около 40 лет, крепко сложенному, с каштановыми волосами, пронзительными глазами и простыми манерами. „Мой коллега Михайлов“, сказал Зубатов с приветливым движением руки, „хорошо отзывался о вас. Он говорил, что вы в постоянном общении с рабочими, имеете свободный к ним доступ и оказываете на них большое влияние. Вот почему я так рад познакомиться с Вами. Я сам ставлю единственной целью своей жизни помощь рабочему классу. Вы, может быть, слышали, что я сперва пробовал это сделать при помощи сторонников революции, но скоро убедился, что это был ложный путь. Тогда я сам стал организовывать рабочих в Москве и думаю, что я успел. Там у нас организация твердая. Они имеют свою библиотеку, чтение лекций и кассу взаимопомощи. Доказательством того, что мне удалась организация рабочих, служит то, что 50 тысяч рабочих возложили 19 февраля венок на памятник Александру II. Я знаю, что и Вы интересуетесь этим делом и хотел бы работать вместе с Вами“¹⁾.

Зубатов познакомил его с „рабочим“ Соколовым, своим сподручным, одним из главных участников зубатовской организации в Москве. Через день Гапон имел опять свидание с Зубатовым на его квартире в департаменте полиции „Он крайне любезно меня принял и мы проговорили до 3-х часов. Он долго развивал свои взгляды на политические и социальные вопросы и свое мнение о способах улучшения быта рабочих классов“. В конце разговора Зубатов спросил его: „Ну, как же вы думаете? Хотите ли присоединиться к нам и помогать нам?“ „Я подумаю — ответил Гапон — сразу я не могу решиться. Я поеду в Москву на рождественские праздники и там на месте познакомлюсь с деятельностью рабочих союзов, и тогда решу“.

Эти первые встречи с Зубатовым имели место в 1902 году. С того времени и вплоть до 9 января 1905 г. Гапон не прерывал сношений с департаментом полиции и охранным отделением, находя у них всегда поддержку и покровительство. Гапон не отрицает этих сношений, по возможности отмечает

¹⁾ Записка Гапона, стр. 33 — 34.

их, но всегда избегает говорить по существу и отказывается изложить подробно происходившие между ним и руководителями сына продолжительные разговоры и переговоры.

Появившиеся недавно в печати интересные воспоминания рабочего Н. М. Варнашева ¹⁾, одного из ближайших сотрудников Гапона, подтверждая факт частых и близких сношений Гапона с охранным отделением, все же оставляют неосвещенным вопрос о форме и пределах его связи с охранным отделением. Просто, вероятно, потому, что Гапон не посвящал даже его, Варнашева, в тайну этих отношений. Почему именно Гапон уже после крушения зубатовской организации и высылки самого Зубатова продолжал пользоваться доверием и покровительством департамента полиции и даже субсидиями (как то утверждает в своих записках Гапон) — для Варнашева, как и для других „гапоновцев“ осталось тайной за семью печатами.

„Какими способами удалось Гапону внушить властям доверие „Собранию“ (петербургских рабочих, организованных Гапоном) и в дальнейшем совершенно ослабить надзор за последним, утверждать не решаюсь — пишет Варнашев, но то и другое было достигнуто не вдруг, а как бы завоевывалось исподволь, незаметно. Этою постепенностью объясняется мое затруднение дать определенный ответ. Одно ясно и несомненно для меня: работа в этом направлении была для Гапона очень нелегкая“.

„Градоначальнику Клейгельсу — свидетельствует дальше Варнашев — Гапон лично был известен еще до открытия „Собрания“, благодаря каким то докладам и пользовался его расположением. Митрополит Антоний тоже очень благоволил Гапону, в если между ними возникали недоразумения, то только благодаря нежеланию Гапона подчиниться советам Антония и устраивать свое благополучие. Значительные связи у него были и среди знати, особенно среди дам-патронесс, что тоже было использовано им при нужде. У Зубатова же Гапон познакомился с более или менее важными чинами департамента полиции, из которых определенно укажу на Скандракова и Лопухина. Возможно, что последние, учитывая рекомендацию Зубатова, смотрели на Гапона, как на единомышленника его и в дальнейшем оказывали ему всяческое содействие. Не помню причины, потребовавшей содействия последних, но только оно было ими оказано Гапону при градоначальнике Фуллоне. Приблизительно в январе месяце 1904 года Гапон познакомился с Герасимовым, если не ошибаюсь, начальником охранного отделения... Вот — старается решить задачу Варнашев — данные, умноженные личными способностями Гапона, которые, думается, помогли ему внушить властям доверие к „Собранию“ и усыпить бдительность охраны ²⁾.

Сам того, быть может, не замечая, Варнашев, наивно веруя в Гапона по сей день, указаниями на связи и широкие замыслы своего „вождя“ с руко-

¹⁾ „От начала до конца с Гапоновской организацией в С.-Петербурге“ в „Историко-революционном сборнике“ под ред. В. И. Невского, т. I (Ленинград. 1923 г., Госиздат).

²⁾ „Историко-революционный сборник“, том I, стр. 192—193.

водителями сыска и подчеркиванием этой связи, не только не рассеивает туман, но вселяет еще больше и больше подозрений. Анализируя его воспоминания, В. И. Невский с несомненностью доказывает, что Гапон являлся самым настоящим агентом департамента полиции не только после 9-го января, но и до 9-го и в самый момент великих событий¹⁾. Для такого решительного заключения в воспоминаниях Варнашева на наш взгляд нет достаточных материалов. Но они, повторяем, вселяют еще больше подозрений, усугубляют обвинения, до сих пор выдвигавшиеся против Гапона.

В виде своего рода комментарий к воспоминаниям Варнашева и запискам самого Гапона мы ниже публикуем любопытнейшую докладную записку, поданную Гапоном директору департамента полиции Лопухину в октябре 1903 г. Записка эта существенно дополняет литературу о Гапоне и помогает отчасти разобраться в отношениях Гапона с охранным отделением. Она, сказали бы мы, вносит большую ясность в этот запутанный вопрос, не освещенный до сих пор архивными материалами.

Но прежде, чем перейти к истории этого заявления, мы считаем необходимым привести относящийся к интересующему нас вопросу, небольшой отрывок из показаний некоего Евгения Зайцева, бывшего в 1902—1903 г.г. в весьма близких отношениях к петербургскому охранному отделению, служив там филером. Впоследствии Зайцев вынужден был по каким то причинам уйти из охранного отделения, привлекался в 1910 г. по делу о подготовлявшемся взрыве охранки, судился, был оправдан, но административно выслан в Сибирь. После февральской революции 1917 года, он был арестован, как деятель охранки, и, сидя в тюрьме, написал краткую записку о своей жизни, поступившую в свое время в редакцию *Былого*. „В записке этой находим несколько следующих строк, посвященных Гапону: „Гапон был в охране своим человеком. В 1902 г., когда я был на дежурстве, в отделение пришел Гапон и попросил доложить о нем Н. М. Михайлову (Петрову). Но его не оказалось, уехал на квартиру. Я по совести, ничего не знал, доложил вахтеру, ибо Гапон настаивал на том, чтобы дали если не Михайлова, то начальника, или дали адрес квартиры Михайлова. Я, не зная адреса, и спросил вахтера, а тот сказал. Впоследствии оказалось, что квартира конспиративная и меня за это оштрафовали 5-ю рублями. В 1904 г. пришлось стоять на Васильевском острове, 15 линии. Гапон проехал и обратил на меня внимание, для филера провокатор злой враг. Вечером, того же дня, я доложил Статковскому и он мне сказал, что это свой человек“.

Эти несколько строк из показаний Е. Зайцева показывают, каково было отношение к Гапону со стороны тех, кто ему столь покровительствовал и чью бдительность, по мнению Варнашева, Гапон столь талантливо и умело усыпил... В охранном отделении Гапона считали „своим человеком“. Таким на деле он и был. Публикуемая ниже записка лишний раз подтверждает это.

¹⁾ Там же, стр. 6.

Как есть основания предполагать, записка была представлена Гапоном не только директору департамента полиции, но вероятно, и петербургскому градоначальнику, и министру внутренних дел и т. п. сановникам. Главная цель ее сводилась к тому, чтобы добиться утверждения устава Гапоновской организации. В своих воспоминаниях Гапон уделяет этому эпизоду несколько строк: „До сих пор (осени 1903 г.) оно (собрание) не было санкционировано правительством и подвергалось опасности быть уничтоженным в любой момент. Поэтому я написал доклад министру внутренних дел о необходимости выработать устав для рабочих организаций и представил его через градоначальника Клейгельса, как того требовали установленные правила. Во время свидания с Клейгельсом, мы пространно обсуждали этот вопрос. Затем мне предложили отправиться к директору департамента полиции Лопухину по этому же делу. Тот принял меня весьма любезно и, когда я сказал, что у нас нет библиотеки и мы нуждаемся в книгах и газетах, он удивил меня вопросом, сколько мне надо денег для этой цели. Вскоре я получил из министерства внутренних дел около 60 рубл. со строгим предписанием подписываться только на консервативные газеты“¹⁾.

Выше указывалось уже, что никаких материалов, рисующих и характеризующих непосредственно сношения Гапона с охранным отделением, до сих пор не опубликовано. Настоящая записка, таким образом, воспроизводимая с подлинника, сохранившегося в архиве одного видного старого сановника²⁾, является первым такого рода документом. Перед нами Гапон в личной и душевной беседе с директором департамента полиции. Сколько не перечитываете и не изучаете записку, никак нельзя вынести впечатление, что Гапон собирается усыпить чью-либо бдительность. Он искренне, подробно, вдохновенно пишет о своей идее, сущность которой „заключается“ в постепенном и осмотрительном, но неуклонном созидании среди фабрично-заводских рабочих разумного и благожелательного элемента с русским самосознанием, который, добиваясь мирным, законным путем действительного улучшения в духовном и материальном быту рабочих, не поступался бы драгоценным достоинством нашего отечества — коренными русскими началами, не продавал бы последних за чечевичную похлебку врагам России“. И Гапон созиданием организации стремится „свить среди фабрично-заводского люда гнезда, где бы Русью, настоящим русским духом пахло и откуда бы вылетали здоровые и самоотверженные птенцы на разумную защиту своего царя, своей родины и на действительную помощь своим братьям-рабочим...“

Инициатива в деле созидания „Собрания русских фабрично-заводских рабочих“ действительно, как то можно заключить из публикуемого документа, принадлежит Гапону. Но он всю организацию создавал во имя полицейских принципов, отдавал ее сознательно на „контроль“ охранного отделения, вручал судьбу ее в руки охраны. Получив в результате докладной записки

¹⁾ Записки Гапона, стр. 44.

²⁾ Мы передаем этот документ в Музей революции на хранение.

и усиленных переговоров денежную субсидию, поддержку и доверие, Гапон спокойно приступил к организации рабочих, отнюдь не во имя какой либо революционной и профессиональной идеи, а совершенно в других интересах. Он делал то, что нужно было департаменту полиции. И с большим правом Скандраковы и тому подобные охранники могли уверенно считать его „своим человеком“. Гапон, если и не был их агентом в прямом смысле слова, все же исповедывал их принципы, руководствовался их указаниями и держал курс на охранное отделение. По меньшей мере, учитывая все доводы в защиту Гапона, приходится констатировать, что он был игрушкой в руках охраны. Но он понимал свою роль и, не имея возможности скрыть факты своих сношений с чинами департамента полиции перед рабочими, сознательно умалчивал в разговоре с ними о существовании этих отношений, скрывал от них язык и форму, в которые выливались его ходатайства, и тем самым играл в известном отношении двойственную, предательскую роль.

Наиболее ценны, понятно, те страницы докладной записки, где Гапон обосновывает, так сказать, идеологию организации. Но не менее существенный интерес представляет и первая часть записки, где читатель найдет подробные, детальные и наиболее точные сведения о структуре организации, о чем до сих пор в литературе встречаются самые противоречивые сведения.

Его Превосходительству г. Директору Департамента Полиции

Доклад.

Официально разрешенные Его Высочпревосходительством С.-Петербургским градоначальником еще в конце прошлого года общие собрания петербургских фабрично-заводских рабочих для выяснения и разумно-трезвого обсуждения последними своих нужд под руководством и ответственностью лиц¹⁾, в настоящее время вылились в своеобразную и, повидимому, в довольно симпатичную чайную-клуб. Помещается эта чайная-клуб рабочих на Выборгской стороне, Оренбургская улица дом № 23, кв. № 1. Главным ее хозяином состоит кружок более или менее развитых русских рабочих, преимущественно механического производства, которые ближайшей задачей своей общественной деятельности поставили иметь свой уютный уголок, где бы они сами и их товарищи могли проводить свободное (от работ время трезво, по семейному, и главное разумно, т.-е. проводить так, чтобы и сердцу было приятно, и уму полезно, и для кармана выгодно, чтобы из такого проведения свободного времени вышел толк, вышла фактическая возможность самопомощи и взаимопомощи.

Для разрешения поставленной себе задачи в благоприятном смысле, рабочие в количестве 18-ти человек 1-го августа сего года снимают указанное выше помещение под чайную (55 рубл. в месяц), а 19-го того же

¹⁾ Бумага — официальное разрешение, к сожалению, рабочими утеряна и потому не указывается здесь ни дата времени, ни номер, за которым она была послана из канцелярии градоначальства, ни точное и копии содержание ее.

месяца в конторе нотариуса П. П. Катеринича (Невский просп., № 70), на имя трех своих товарищей заключают и подписывают контракт (по реестру 4742) на три года с домовладелицей г-жей Алышевской. Засим на свои и пожертвованные деньги (360 рублей) приобретают простую, но вполне приличную обстановку, а также все нужное для чайной; берут торговое право на имя одного из членов кружка, рабочего механического производства С. Е. Устюжанина, и чайная-клуб с 30-го августа, после освящения, начала свою деятельность, открывая гостеприимно свои двери для трезвых рабочих товарищей рабочих каждый рабочий день с 6-ти часов вечера, а в праздничный день с 2-х часов дня. Вскоре в чайной явилась пожертвованная роль и немедленно было приступлено под руководством опытного регента, бескорыстно несущего свой труд, к организации из самих рабочих духовно-светского хора. Тут же делается попытка организовать и свой музыкальный кружок. Сама чайная постепенно начинает украшаться прекрасными портретами государя императора и государыни императрицы ныне царствующих, императора Александра II-Освободителя и Петра Великого. Все это приобретается на средства самих рабочих. Кроме того на стенах появляются издания попечительства о народной трезвости, рисующие и объясняющие вред от пьянства.

К сожалению газеты, журналы, книги хорошего содержания за неимением свободных средств пока отсутствуют, но рабочие льстят себя надеждою, что вашим превосходительством будет в скором времени разрешено им устраивать в своем помещении семейно-танцевальные и литературно-вокальные вечера, которые дадут им возможность основать библиотеку с хорошим подбором книг и приобретать полезные периодические издания нашей газетной и журнальной прессы.

Нельзя здесь не обратить благосклонного внимания вашего превосходительства на самую организацию ведения дела в чайной, где принцип самоконтроля при самостоятельности проведен до мелочей и которая служит ярким доказательством того, что учредители чайной-клуба смотрят серьезно на предпринимаемое дело, как на дело общее, святое и потому стремятся вести его прямо, честно и открыто.

Так, для успешного ведения предпринимаемого дела избираются: управляющий-эконом чайной-клуба, заведующий выдачей организационных билетов ¹⁾, казначей, дежурные члены контролеры и ревизионная комиссия. Управляющий-эконом избирается на 3 месяца непременно из среды кружка „ответственных“ лиц ²⁾.

¹⁾ Билет на право входа в чайную во время общих собраний в месяц стоит 20 коп.

²⁾ Здесь, равно как и в остальных местах нашего доклада, нужно иметь в виду, что кружок учредителей чайной-клуба называется „ответственным“ в том смысле, что члены его отвечают пред домовладелицей за правильный взнос арендной платы, как подписавшие контракт, затем отвечают пред остальными товарищами, имеющими организационные билеты, за честное ведение дела, так как оно общее, и наконец готовы отвечать — нести ответственность перед правительственной властью за все предпринимаемое и совершаемое ими.

Управляющий заведывает всей хозяйственной частью чайной-клуба и есть ответственное лицо за весь инвентарь чайной, который он принимает от кружка остальных ответственных лиц, под расписку. На управляющем лежит приобретение, хранение и порядок расходования провизанта. Управляющий-эконом заведывает и прислугой, которая, во избежание разногласий приказаний иногда одновременно разных лиц, должна подчиняться ему одному или кому он разрешит. Ключи от помещения хранятся только у одного управляющего. Если дежурному члену или члену ревизионной комиссии потребуется получить то или иное разъяснение, то он обязан его им давать. Управляющий-эконом, будучи самостоятельным в ведении хозяйственных операций чайной, в то же время раз в неделю, в день кружкового собрания представляет отчет в своей деятельности своим товарищам.

Заведующий выдачей организационных билетов избирается членами кружка из своей среды на 3 месяца. Он хранит у себя билетные книжки и по своему усмотрению может давать их известным ему и надежным лицам для выдачи билетов, но не более, как на недельный срок. Выдает сам билеты во время районных собраний и в особо установленные дни. Ведет книгу, в которую после каждой выдачи вписывает сколько и по какой книжке выдано билетов. Еженедельно сдает книги под расписку казначею и представляет отчет словесно и письменно кружку о своей деятельности.

На должность казначея избирается непременно член „ответственного“ кружка. Так как он заведует суммами чайной-клуба и в то время ведает сумму, состоящую из платы за организационные билеты, то его утверждение зависит от порайонного собрания. Он ведет кассовую книгу и не имеет права расходовать сумму без поставления кружка. Проверка денежных сумм может производиться внезапно ревизионной комиссией. Представляет еженедельно письменный или словесный отчет кружку ответственных лиц.

Помощниками управляющего и в то же время контролерами являются дежурные члены, их не менее трех: один из кружка „ответственных“ лиц, остальные — из товарищей рабочих, посещающих порайонные собрания. Как первый, так и вторые избираются на неделю большинством голосов, в первом случае — кружка, а во втором — товарищей-рабочих, при чем избираются и кандидаты по каждому из них. В часы открытия чайной-клуба дежурные члены являются охранителями порядка и благочиния в помещении. Будучи приветливы и радушны к посетителям, они должны всеми силами стараться, чтобы последние чувствовали себя уютно, но в то же время с особенною строгостью наблюдать, чтобы посетители не распивали в чайной спиртных напитков, были в трезвом виде и не заводили игр на деньги. Также на их обязанности лежит наблюдать за тем, чтобы на улице у подъезда, на лестнице и на дворе не собирались бы группами посетители ни для каких обсуждений и разговоров. Дежурные члены являются и контролерами управляющего: так, наблюдают за доброкачественностью съестных продуктов, за отпуском оных в должном количестве и по установленной цене и наконец, проверяют запись купленных продуктов, дневной расход оных и вписывают

*

ежедневно точный остаток их. Следят за чистотой помещения, посуды и опрятной внешностью прислуги, сейчас же доводя до сведения управляющего замеченные упущения и неисправности в чайной, равно как и претензии товарищей-рабочих дежурные члены заносят в особую книгу за своею подписью. Присутствие дежурных членов во все дни и часы открытия чайного клуба обязательно. Если же по каким либо причинам, весьма уважительным, дежурный член не в состоянии будет явиться для отправления своих обязанностей, то он своевременно должен позаботиться о замене себя своим кандидатом. В последнее время дежурный член от кружка несет обязанности и кассира, так что он выдает марки и получает деньги за чай и холодные закуски. Дежурные члены представляют отчет своей еженедельной деятельности словесно и письменно на суд своих товарищей в кружковом собрании.

Ревизионная комиссия состоит из 5-ти или 6-ти лиц, которые избираются большинством голосов на три месяца, два из среды кружка, а три или четыре из среды товарищей-рабочих, посещающих порайонные собрания. Они обязаны не менее одного раза в месяц произвести генеральную ревизию всей деятельности чайного клуба и свой отчет в письменном виде представлять в конце каждого месяца в кружковое собрание, каковой отчет секретарем порайонного собрания или председателем ревизионной комиссии непременно доводится до общего сведения всех товарищей, посещающих порайонные собрания, и затем протокол ревизионной комиссии вывешивается на видном месте в чайной.

Нужно заметить, что за исключением одной женской прислуги (живет со своим семейством и мужем по соседству, но на отдельной квартире), которая получает 9 рублей в месяц, все остальные ответственные и неотвественные должности несут рабочие сами совершенно безвозмездно.

Таким образом нельзя отрицать, что и по своей ближайшей цели чайная-клуб действительно является местом, где фабрично-заводские рабочие сами делают серьезную и притом практическую попытку облагородиться, самообразовать и проявить разумно, трезво и честно свою самостоятельность в свободное от работ время. Особенно все это заметно по дальнейшей задаче, которую поставил себе кружок ответственных лиц, и по тем средствам, которые, хотя еще в малом и несовершенном виде, но уже применяются в чайной для ее разрешения.

Дальнейшую задачу своей деятельности кружок ответственных лиц видит в благородном стремлении под руководством истинно-русских образованных людей и духовенства вырабатывать трезвый в христианском духе свой взгляд на жизнь и положение рабочего, а также упорно и при том на собственном примере проводить в жизнь и в среду рабочих идею взаимопомощи и тем способствовать улучшению условий труда и жизни рабочих без насильственного нарушения порядка и законности в своих отношениях к хозяевам и к правительству.

Разрешить в более или менее благоприятном смысле указанную задачу представители „благожелательных“ рабочих думают путем основания библио-

теки с хорошим подбором книг, путем кружковых и общих собраний, главное же путем организации лекций по общим предметам и в частности по рабочему вопросу, которые указывали бы и разъясняли рабочему особенно его правовое положение и законные пути выйти из невежества и грязи к свету, — думают разрешить также путем учреждения касс взаимопомощи, потребительских лавок, магазинов и устройством дешевых, но гигиенических квартир для рабочих и т. п.

Из перечисленных средств достижения намеченной дальнейшей цели, так называемый кружок „ответственных“ лиц пока пользуется только своими кружковыми собраниями и общими и то в несовершенном виде, так как сравнительно прошло слишком мало времени со дня образования кружка, чтобы получилась должная постановка их. Остальные же средства, намеченные для благоприятного разрешения симпатичной задачи, за исключением необходимых средств, ни должного соучастия со стороны правительства и общества, пока находятся или в зародыше или в проекте, одним словом не выходят из области предположений и благих намерений.

Кружковые собрания происходят каждую неделю в субботу с 8½ часов вечера. На них присутствуют кроме учредителей чайной-клуба, еще должностные выборные лица из массы, а также с согласия членов кружка и с разрешения главного руководителя и контролера всего предпринятого дела всякий серьезный рабочий. Кстати здесь сказать, что кружок ответственных лиц может количественно увеличиваться новыми товарищами, но непременно из заводских или фабричных рабочих ¹⁾.

Вступление в кружок обуславливается, во-первых, прежде всего искренним сочувствием к предпринимаемому организаторами доброму делу, со стороны выразившего желание вступить в кружок; во-вторых — рекомендацией одного или двух действительных членов кружка, хорошо знающих рекомендуемое лицо; в-третьих — согласием остальных членов кружка и, наконец, в-четвертых — обуславливается непременно письменным обязательством участвовать в уплате соответствующей доли за аренду помещения. При чем, если будет доказано, что кто-либо из кружка своею деятельностью или вообще своим легкомысленным поведением вместо пользы приносит только вред рабочему делу, то на остальных членов кружка лежит нравственная обязанность, после двукратного предупреждения, удалить его из своей среды посредством закрытой баллотировки.

На кружковых собраниях непременно бывает доклад председателя районных собраний о том, как прошло общее собрание рабочих, а также доклад должностных лиц о том, как шли за неделю дела в чайной. Как первый, так и второй доклады вызывают у присутствующих обмен мыслей и критические замечания. Тут же непременно предпринимается и обсуждается ход и содержание предстоящего районного (общего) собрания рабочих и составляется по-

¹⁾ В настоящее время численность кружка доходит до 30-ти человек рабочих механического и текстильного производства.

вестка к нему, которая вывешивается заблаговременно в чайной. Но этим дело не ограничивается на кружковых собраниях. Здесь же с разрешения почетного председателя и главного руководителя выслушиваются и критически разбираются заявления и доклады каждого члена кружка и даже каждого желающего выступить товарища рабочего по вопросам, касающимся быта, нужд и правового положения рабочих или нужд чайной-клуба, а также по поводу прочитанного по вопросу о рабочих.

Кружок имеет и своего председателя ¹⁾ и секретаря, которые избираются на три месяца. Так как кружок является головой или иначе сказать, ячейкой всего предпринятого дела, то председатель и секретарь кружкового собрания должны быть и по уму и по сердцу особенно на высоте своего положения. При чем, если будет доказано, что председатель и секретарь не имеют в виду дела и, руководствуясь личностями, занимаются интригами и ненужной болтовней, то по прошествии трех месяцев, а в более важных случаях и раньше, должны быть смещены со своих постов.

Общие, так называемые, районные собрания (происходят раз в неделю, именно в воскресенье с 3-х часов дня. Для ведения порайонных собраний из среды членов кружка и с согласия товарищей-рабочих порайонных собраний избирается председатель ²⁾ и секретарь порайонных собраний на 3 месяца. Председатель должен отличаться серьезным отношением к делу и знанием его, терпимостью по отношению к ораторам и умением направлять прения по существу разбираемого вопроса, а также умением делать кратко сказанное заключение (резюме).

Секретарь пишет протоколы по возможности кратко, записывая только сущность речи того или иного оратора. Должен наблюдать за подписью протоколов, а также за предварительным вывешиванием повесток в чайной с указанием, о чем именно будет идти речь на предстоящем порайонном собрании.

По вопросам, указанным в повестке, каждый рабочий, имеющий организационный билет и посетивший собрание, может проявить свою умственную самостоятельность. Члены кружка, как подготовленные на кружковом собрании, будут более в курсе дела, являясь в некотором роде трезвыми и осмыслительными учителями товарищей, проповедниками своей идеи солидарности и взаимопомощи во имя братства, законности и христианской любви. Таким образом происходит, может быть и простой, но интересный и полезный для самих рабочих обмен мыслей, полезный не потому только, что отапливает их от дурного проведения своего свободного от работ времени, но и прямо таки иногда развивающе действует на них, углубляет и отрезвляет их взгляд на свое положение, а также, может быть, нередко способствует страхнуть

¹⁾ За председателя С. В. Кладовиков, рабочий механического производства (Петербургская сторона, Ждановская улица д. 21, кв. 18).

²⁾ В настоящее время председателем рабочих механического производства П. М. Барвашев (Тверская ул., д. 29, кв. 7).

с себя крепостную зависимость от политиканствующей иногда не в меру интеллигенции, а то — и от своего односторонне смотрящего на вещи брата, служащего нередко бессознательным орудием в руках врагов нашего дорогого Отечества. Конечно, многого на общих собраниях еще не достает, так, лекторов-специалистов по известным вопросам (например, разъяснение фабричного законодательства), бесед и чтений с туманными картинками; но рабочие надеются на вас, ваше превосходительство, что вы обратите свое благосклонное внимание на их серьезную попытку к проявлению разумной самостоятельности, попытку, могущую иметь весьма плодотворные результаты, в благожелательном смысле и доставите им возможность приглашать лекторов и устраивать беседы и чтения с туманными картинками, каждый раз с особого вашего разрешения.

Выше было упомянуто, что некоторые из средств достижения известной уже нам дальнейшей цели своей деятельности, кружок „ответственных“ лиц имеет еще лишь в зародышном состоянии или в проекте. Мы здесь разумеем главным образом зародыш основного капитала проектируемой взаимопомощи и начало образования оборотного капитала для развития и расширения дела в чайной-клубе и для устройства и в других частях города чайных-клубов известного, указываемого нами типа, если на то последует разрешение со стороны вашего превосходительства.

Несмотря на необходимые, но все-таки сравнительно большие расходы по оборудованию чайной-клуба, несмотря на то, что последняя еще только существует месяц с небольшим и еще не поставлена пока, как следовало бы, так: в ней еще нет, как было упомянуто выше, ни чисто семейных, ни литературно-вокальных вечеров, а также лекций и концертов, что все на много, между прочим, увеличило бы и доходность чайной, — зародыш основного и оборотного капиталов действительно существуют, существуют благодаря серьезно бескорыстному и безусловно честному ведению предпринятого дела.

По протоколу ревизионной комиссии от 1-го октября зародыш основного капитала выражается в 100 рублей, которые положены 28-го сентября в 29-е отделение С.-Петербургской государственной сберегательной кассы по книжке № 283217 на имя рабочего механического производства Н. А. Степанова (Петербургская сторона Б. Посадская улица дом № 4 кв. № 25), при чем самая книжка для большей верности находится у главного руководителя и контролера.

Оборотный же капитал к 1-му октября до взноса квартирной платы за октябрь месяц выразился в 113 рублей, которые находятся на руках у казначея, рабочего механического производства С. Е. Устюжанина (Выборгская сторона, Астраханская улица дом № 18).

Как основной, так и оборотный капиталы составились главным образом из денег, вырученных от продажи так называемых организационных билетов (месячный билет, дающий право входа в общие собрания, стоит в месяц 20 копеек).

В сентябре месяце рабочие и в кружковом и в общем собрании постановили — из суммы, которая составляется в месяц от продажи организационных билетов, отчислять 25% в оборотный капитал до тех пор, пока чайный клуб совершенно „не станет прочно на ноги“; 75% идет в неприкосновенный основной капитал до тех пор, пока он не достигнет суммы в 500 рублей. Если же приход по чайной будет решительно превышать расход, то 25% отчисление прекращается и тогда в основной капитал должны поступать ежемесячно и полностью суммы, выручаемые за месяц от продажи организационных билетов и 50% чистой прибыли от чайной; другие же 50% этой чистой прибыли идут в оборотный капитал.

Естественно, что при таком распределении денежных поступлений основной неприкосновенный капитал сравнительно скоро, при благоприятных условиях может возрасти до 500 рублей и тогда по единогласному постановлению рабочих в кружковом и общем собраниях решено одну четверть, т.-е. 25% месячных поступлений в основной капитал отчислять на помощь своим действительно нуждающимся братьям-рабочим, особенно имеющим организационные билеты в продолжении 4-х месяцев. В случае же неотложной нужды и теперь помочь кому-либо из рабочих — делать в ближайшем районном собрании добровольный денежный сбор в пользу того или другого лица, что неоднократно и практиковалось: соберут всякий раз от 5 до 9 рублей и немедленно в общем собрании, тут же при всех товарищах вручают нуждающемуся.

Таким образом кружок ответственных лиц делает попытку разумно подойти к практическому осуществлению идеи взаимопомощи. Нельзя здесь умолчать, что рабочие при этом чувствуют и сознают ненормальность своего положения и несколько смущаются, но твердо надеются на вас, ваше превосходительство, и ждут от вас помощи в деле легализации их своеобразной чайной-клуба.

Теперь, прежде чем перейти к сильному критическому заключению, остается сказать несколько слов о руководящей коренной идее, которая должна одухотворять и давать основной тон всей деятельности кружка ответственных лиц при достижении им намеченных и уже разъясненных нами ближайшей и дальнейшей задач.

Сущность ее, выражаясь кратко, заключается в постепенном и осматрительном, но в неуклонном созидании среди фабрично-заводских рабочих разумного и благожелательного элемента с русским самосознанием, который, добываясь мирным, законным путем действительного улучшения в духовном и материальном быту рабочих, не поступался бы драгоценным достоянием нашего отечества — коренными русскими началами, не продавал бы последних за чечевичную похлебку врагам России. Наоборот, в убеждении, в сознании того, что мнимые благожелатели нашей родины и в частности — рабочие, между прочим, большую часть не русского происхождения, своей по существу и по последствиям не столько противоправительственной, сколько противорусской пропагандой только иногда задерживают планомерное и пло-

дотворное осуществление важных, полезных для всего русского народа, а в том числе и для фабрично-заводских рабочих, задач, намеченных в последнее время государем императором и его превосходительством и тем приносят громадный вред и рабочим и всему русскому народу: самоотверженно выступил бы с организованным и потому живодейственным тормозом, своего рода контр-пропагандой по отношению к ним. Одним словом сущность основной идеи заключается в стремлении свить среди фабрично-заводского люда гнезда, где бы Русью, настоящим русским духом пахло, откуда бы вылетали здоровые и самоотверженные птенцы на разумную защиту своего царя, своей родины и на действительную помощь своим братьям-рабочим.

Чайная-клуб петербургских фабрично-заводских рабочих и является первой попыткой свить подобное гнездо-школу для разумного возбуждения и укрепления у фабрично-заводских рабочих русского национального самосознания с действительной для них пользой, как в материальном, так и в духовно-нравственном отношениях.

Мы здесь не берем на себя смелости представить обстоятельный критический взгляд, как на идею только что высказанную, так и на место, где она пытается свить себе гнездо, т.-е. на деятельность так называемого кружка „ответственных“ лиц, приуроченную к своеобразной чайной-клубу. Это скорее вопрос времени, которого прошло так мало со дня практической постановки в Петербурге самого дела, находящегося в периоде вспахивания, подготовки почвы и бросания зерен святой идеи. Только время наведет действительную критику на все, только дальнейшая жизнь послужит пробным оселком благих намерений. В нас сильно убеждение, что каждый вопрос, каждая идея, как и всякая медаль имеет две стороны; все зависит от людей — руководителей дела и от тех условий, при которых им придется работать. Найдутся самоотверженные, преданные и разумные руководители, а также благоприятные условия, и дело пойдет хорошо и может дать обильный, благотворный плод. Не найдутся — „плевелы земли русской“, если и не задумат совершенно, то, пожалуй, сильно заглушат, затормозят начавший возрастать „добрый злак“ здорового русского самосознания. Не бывало ли, что и самые высокие идеи, проводимые в жизнь при неблагоприятных условиях обращались особенно на первых порах в бесполезные и даже иногда вредные.

Поэтому, думается нам, что как преждевременно, неразумно и даже странно видеть в указанной нами идее, проводимой среди фабрично-заводских рабочих и в том или ином пути ее осуществления какую то Кузьмичеву траву, балзам чуть-ли не от всех общественных, народных болезней, так, с другой стороны — прямо таки, как говорят, было бы грешно относиться с особенным недоверием или с чересчур предвзятою мыслью к честной и открытой в последнее время практической попытке в Петербурге некоторых русских фабрично-заводских рабочих разумно и благожелательно проявить свою самостоятельность; было бы прямо таки грешно и тоже странно видеть в ней решительный перевес отрицательных сторон на основании или предположительного „если“ — если вдруг когда-нибудь, может быть, в отда-

ленном будущем произойдет уклонение с правого пути, или на том основании, что от этой „попытки“ нет вот сейчас — через один, два месяца ее существования между прочим осязательных очевидных плодов и с точки зрения государственной безопасности и общественного спокойствия. В последнем случае нельзя забывать, что полезная, глубокая идея запускает свои корни в почву, в дух народа, или того и иного его класса и возрастает сравнительно медленно, но зато дает действительный плод. Что касается первого основания, то придавливать, препятствовать разумной самостоятельности рабочих на одном только предположительном опасении: „а что — дескать — если все это окажется впоследствии материалом опасным для правительства и общества“, значит, пожалуй, ничего не делать, ничего не предпринимать для блага родины, а главное не понимать „знамений времени“. Нельзя теперь смотреть на растлевающую, все усиливающуюся революционную пропаганду, особенно среди рабочих, с поверхностно-прямой точки зрения, а также нельзя забывать и вообще духа и запросов фабрично-заводских рабочих настоящего времени. По убеждению говорим — вряд ли теперь могут иметь особенно благотворное значение по отношению к рабочим только одни репрессии, которые нередко скорее подливают и будут подливать масла в „огонь“, чем тушить его. Едва ли также можно помочь теми или иными улучшениями положения рабочих, идущими со стороны правительства. Но так как последнее, имея в виду обще-государственную жизнь, действует и должно всегда стремиться действовать планомерно и потому и в деле улучшения быта рабочих идет и по необходимости должно идти медленно, если так можно выразиться, постепенно, поступательным образом, то на всякий хороший шаг правительства, враги русского народа, при невежестве или одностороннем мирозерцании рабочих успеют и сумеют набросить темное покрывало и перетолковать этот шаг в другую сторону. И кто снимет это покрывало, растолкует всесторонне и покажет рабочему на сколько возможно ту удочку, на которую агитаторы хотят поймать через него, как через червяка весь русский народ, кто при этом разумно возбудит и разовьет в нем русское национальное самосознание, а главное — кто укажет рабочему и найдет для него действительный и законный выход из его зачастую бедственного положения и кто поруководит его. Интеллигент? Общество Религиозно-Нравственного Просвещения? Или Попечительное Общество о Народной Трезвости?

Но где тот интеллигент, найдет ли он и когда, который с чисто русским самосознанием, стоя горой за коренные русские начала, на деле спустился бы до рабочих, понял бы их, полюбил бы их и отдал бы и свой ум, и волю, и сердце для проведения среди них указанной нами святой идеи. Деятельность же попечительств о народной трезвости, да простите Ваше превосходительство за нашу, может быть, излишнюю прямую откровенность при девизе — „зрелищ и при том дешевых зрелищ“ без „хлеба“ и здоровой духовной пищи, к сожалению по своим практическим результатам, пожалуй, мнится нам, как бы не была наклоненной в сторону канкана и разврата. Что же касается Обществ Религиозно-Нравственного Просвещения, то при омертвлении „прихода“

и ослаблении иногда до минимума той связи, которая должна была бы быть живодетельной между св. храмом и духовенством с одной стороны и народом с другой, при упадке веры и нравственности, а также отсутствии должной самостоятельности наконец членов и самих обществ, последние, несмотря на всю свою посильную благотворную деятельность, не удовлетворяют, да по существу и не могут удовлетворять некоторой более развитой, но озлобленной живаю или пропагандой элемент рабочих. Не могут потому, что подобные общества, равно как и сама святая православная церковь, верная заветам нашего спасителя, избегают в политико-экономических и в государственно-общественных делах даже и тени насилия, точнее — не вмешиваются, чтобы не „опошлиться“ в схватку, зачастую жестокую и по существу кровавую, сословий, классов и вообще людей разных положений: св. церковь стремится действовать при этом словом убеждения и голосом любви на самый корень, источник зла и добра людей — их сердце, от такого или иного преобразования, от которого зависит все и хорошее и дурное положение человека не только там на небе, но и здесь на земле...

И вот среди общего гула голосов, протестующих св. нашей церкви и в частности Обществу Религиозно-Нравственного Просвещения, все более и более начинает слышаться резкий голос некоторой части фабрично-заводских рабочих: тяжело нам слушать беседы о высоких материях и предвкушать небесный рай, когда на земле у нас, у наших детей зачастую желудки пусты, когда брюхо голодно, нас только озлобляет ваша многовековая попытка прикрыть „небесной паутиной“ наши земные язвы“.

Нужно заметить, что этот элемент рабочих-протестантов, несмотря на свою, может быть, сравнительно малочисленность, собственно и имеет влияние на остальную менее развитую массу рабочих.

Поэтому повторяем, если сравнительно более развитые фабрично-заводские рабочие с зародившимся русским самосознанием в той или иной степени воодушевляются святой благожелательной идеей и приступили по мере своих сил к практическому и при том, повидимому, довольно удачному осуществлению ее, то по нашему крайнему разумению, следует если и не радоваться особенно, то насколько можно, поощрять первый опыт (чайная-клуб), присматриваться к нему и, конечно, контролировать. В этом мы убеждены и потому осмеливаемся так смело и открыто высказываться. Здесь не важно, как именно получилось самое то воодушевление идеей — искусственным или естественным путем — так или иначе, все равно, с принципиальной точки зрения дело хорошее, святое. Да искусственность искусственности рознь. И если правительственная (полицейская) власть якобы искусственно действительно вызвала своеобразное рабочее движение (например в Москве), то в этом случае она сыграла только роль курицы, пробивающей скорлупу яйца, в котором уже сформировался цыпленок. Не нужно забывать, что стремление к организации и к самостоятельности естественно у людей, стоящих на известной степени развития и положения; в настоящее время пробуждение общего самосознания постепенно входит в плоть и кровь более развитых рабочих и начинает получать непреодолимую

силу, а потому лучше дать законный выход. Пусть лучше рабочие удовлетворяют свое естественное стремление к организации для самопомощи и взаимопомощи и проявляют свою разумную самостоятельность во благо нашей родины явно и открыто, чем будут (а иначе непременно будут), сорганизовываться и проявлять неразумную свою самостоятельность тайно и прикровенно во вред себе и всему может быть народу. Мы это особенно подчеркиваем — иначе воспользуются другие — враги России.

Конечно, при той постановке дела, какая имела место в Одессе (о Минске нечего и говорить), где руководителем русских рабочих являлся еврей (?) и в Москве, где руководителем являлась и при том не особенно умело — полиция и где потому дело приняло было административно-полицейский и при том показной шумный характер, — конечно, только поверхностный или слишком увлекающийся человек мог не глядеть с недоуменными вопросами на своеобразное рабочее движение, поднятое и ведомое правительственной (полицейской) властью^{*)}. Конечно, можно было несколько опасаться за результаты подобной же деятельности первоначально и в Петербурге, где также полиция, у которой своего непосредственного дела, необходимого и важного в жизни государственно-общественного организма, по горло, принялась через рабочих, бросающих работу, осуществлять известную нам идею с некоторым шумом, треском, не последовательно, чисто теоретически (говорильня) без практической постановки, а главное не образовав ядра-кружка сознательно развитых, преданных идее и уразумевших ее людей.

Мы здесь должны оговориться относительно своего взгляда на правительственную, полицейскую власть в ее отношении к своеобразному рабочему движению. Нужно быть весьма близоруким, чтобы смотреть на этот необходимый в общегосударственной жизни орган, как на институт лиц, занимающихся, в видах охранения общественного порядка, тишины и спокойствия, только пресечением (или исправлением) уже совершившегося зла с общественно-государственной точки зрения. Нет. Главная задача полиции должна заключаться в предупреждении зла. И с этой стороны развитая полиция, серьезно относящаяся к своему долгу, может быть больше, чем кто-либо другой, имеет возможность как бы предугадывать, предчувствовать имеющее еще только совершиться в будущем общественное зло и вернее, может быть, чем кто бы то ни было, указывать средства, предупреждающие это зло. Отсюда по естественно разумному ходу вещей от правительственной, полицейской власти должны и могут исходить глубоко-широкие полезные идеи, появление миссии которых может составить событие, эпоху в жизни народной.

Но из этого не следует, чтобы полиция всегда самолично проводила в жизнь идеи, а тем более производила эксперименты в области самостоятель-

^{*)} Несмотря на повидимому большой внешний успех, думается нам, вряд ли и теперь рабочее движение в Москве имеет внутреннее существенное значение с государственно-общественной точки зрения и вряд ли оно скоро войдет в желательную правильную колею, ибо едва ли здоровая правда лежит в основу его.

ности на общественном организме. Нельзя забывать, что в обществе еще до сих пор существует облако предубеждений против полиции: еще до сих пор оно находится под гипнозом исторических и социальных условий и событий и потому нередко относится враждебно, с опасением ко всякому доброму начинанию правительственной полицейской власти, ко всему, что от нее исходит. Поэтому при проведении в жизнь, в общество своих даже, может быть прекраснейших идей, полиция для пользы самого дела, приняв на себя роль даже ревнивого наблюдателя и строгого контролера, должна как бы отойти в сторону и, уступив место общественной самодетельности, при этом справиться с практическим осуществлением той или иной идеи, конечно поощряя так или иначе разумную и благожелательную самодетельность общества. В этом между прочим отношении и была допущена полицией ошибка в Москве и первоначально в Петербурге.

Нет сомнения, что и при теперешней (недавней) постановке дела в Петербурге не обойдется без недоуменных вопросов и опасений, как со стороны правительственной власти, так и со стороны самих рабочих, но все это, думается, будет не в таком количестве и не в такой степени, так как дело ведется кружком „ответственных“ лиц, на практической почве, честно, прямо и открыто, а главное самодетельно, что собственно и начинает возбуждать внимание и интерес многих петербургских фабрично-заводских рабочих и что собственно служит главным образом залогом успеха; ведется, наконец, не на привязи молнии, хотя повторяем, естественно может и должна быть действительность „кружка“ под контролем правительственной (полицейской) власти.

И потому мы заканчиваем наш послыльный доклад, осмеливаемся высказать твердое убеждение, что если с помощью Вашего Превосходительства последует такая или иная легализация чайных-клубов известного уже Вашему Превосходительству типа, то сравнительно скоро, при Вашем благосклонном внимании и при других благоприятных условиях получится и станет очевидным плодотворный, благожелательный плод и с государственно-общественной точки зрения. Во всяком случае нам здесь припоминаются слова мудрого Гамалиила, произнесенные им перед членами Синаedrона о деле Христа и его апостолов: „И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело — от человека, то оно разрушится, а если от бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками“ (Деян. 5, 38—39). Благородное же самоотверженное стремление так называемого кружка „ответственных“ лиц свить под видом чайной-клуба гнездо-школу для разумного возбуждения и укрепления у фабрично-заводских рабочих русского национального самосознания с действительной для них пользой, как в материальном, так и в духовно-правственном отношении, мнится нам, от бога, раз само стремление вполне искренно и глубоко.

Кандидат богословия, священник *О. Георгий Гапон.*

Сообщил *Р. Кобынов.*

14-ое окт. 1908 г.

Гапон в духовной академии.

По неизданным материалам.

Биографические сведения о Гапоне, имеющиеся в делах духовного ведомства, отличаются редкою скудостью. Достаточно сказать, что даже в так-называемых „Клировых Ведомостях“, где обыкновенно писались самые подробные сведения о происхождении священнослужителей, их образовательном цензе, возрасте, движении по службе, наградах, поведении и пр. относительно Гапона имеется всего одна строчка:

„Священник Георгий Антонович Гапон, 33 лет“ (см. „Клир. Вед.“ СПб. Пересыльной Тюрьмы за 1904 год).

Из сопоставления „Ведомостей“ за этот год с предшествующим и последующим годами можно однако видеть, что Гапон священствовал при церкви СПб. пересыльной тюрьмы всего около года, так как в 1903 году там был священником Алексей Никифорович Дрызлов, а 31 января 1905 года туда был назначен священник Владимир Вишняков.

Архив спб. духовной академии сохранил кое-какие сведения о предшествующей и академической жизни Гапона.

В „Журналах заседаний совета СПб. Д. Академии“ за 1898 — 9 учебный год (СПб. 1907 г.) на странице 4-ой, приведен следующий указ синода от 30 июля того же года за № 497:

„По ходатайству преосвященного полтавского о разрешении вдовому священнику Полтавской епархии Георгию Гапону, окончившему в 1893 году курс в полтавской семинарии по 2 разряду, держать приемные испытания в академию, приказала: во внимание к одобрительному отзыву преосвященного Илариона о служебной деятельности вдового священника кладбищенской Всехсвятской г. Полтавы церкви Георгия Гапона, а также имея в виду, что священник Гапон в выпускном свидетельстве имеет по успехам и поведению баллы, установленные для студента семинарии, разрешить правлению СПб. Д. Академии допустить священника Гапона к приемным испытаниям для поступления в число студентов 1-го курса“.

Учебный комитет при св. синоде, обсуждавший прошение Гапона о поступлении в академию прежде, чем оно было заслушано синодом, дает разъяснение этой загадки.

В журнале этого комитета от 14 июля 1898 года за № 249 приведена между прочим следующая справка:

„Звания студента семинарии священник Гапон не удостоен по особому постановлению педагогического собрания правления Полтавской семинарии от 9-22 июня 1893 года, за то, что позволил себе грубую выходку по отношению к преподавателю полтавской семинарии (ныне умершему) В. Щеглову“.

Не надеясь на очень хорошую оценку своих познаний по догматическому и нравственному богословию, он, пред выставкою годичных отметок по означенным предметам, спросил преподавателя Щеглова: — „какие вы мне годовые баллы выставите по догматическому и нравственному богословию?“

Когда преподаватель ответил: „какие следует“, то воспитанник Гапон сказал ему: „если вы мне не выставите 4, и я не попаду в первый разряд, то погублю и себя и вас“.

В самый день экзамена по догматическому богословию он прислал о. ректору полтавской семинарии письмо, в котором извещал, что не может держать экзамена вследствие расстройства физических и душевных сил.

Адрес на письме: — „в Полтавскую д. семинарию, ректору оной о. Иоанну Пичете“ и подпись: „уважающий Вас Ваш воспитанник и сын Георгий Гапон“, повидимому, свидетельствовали, что он находился в ненормальном состоянии, но на всех последующих экзаменах и на особом экзамене по догматическому богословию, в присутствии о. ректора семинарии, он не обнаруживал болезненного вида ¹⁾.

Означенный поступок Гапона и заявление о. ректора в правлении семинарии, что воспитанник Гапон не имеет расположения к духовному званию и домогается первого разряда для поступления в Томский университет, послужили основанием для постановления правления Полтавской духовной семинарии о выдаче воспитаннику Гапону свидетельства об окончании курса во втором разряде, с выставкою балла 4 по поведению“ ²⁾.

Епископ полтавский Иларион, поддерживавший просьбу Гапона о поступлении в спб. духовную академию, смотрел однако на этот проступок его несколько мягче.

„Преросвященный Иларион“, говорится в том же докладе, „ходатайствуя о благосклонном внимании к просителю, сообщает, что вышеизложенный несчастный случай объясняется, с одной стороны, болезненным раздражением бывшего наставника семинарии Щеглова, с другой, неумением молодого человека сдерживать себя, причем прибавляет, что он, преросвященный, лично

¹⁾ Это рассуждение правления показывает, как глубоко были пропитаны духом чинопочитания все слои русского народа при царском режиме. Даже правление семинарии, состоявшее исключительно почти из лиц, получивших высшее образование, склонно признать Гапона душевнобольным только за то, что он не написал на адресе титула „его высокопреподобию“ и не подписался: „вашего высокопреподобия нижайший послушник“.

²⁾ Дело синода № 551 за 1898 г. стр. л. 2 и 3.

видел отчаянное состояние Гапона, под влиянием которого он не владел собой¹⁾.

Тот же журнал учебного комитета дает кое-какие сведения и о семинарской жизни Гапона и о его служебной деятельности в Полтаве до поступления в академию.

„Из приложенного к прошению священника Гапона свидетельства об окончании им курса полтавской д. семинарии“, гласит журнал, „и представленной преосвященным Иларионом выписки баллов по успехам и поведению его во всех классах полтавской д. семинарии видно, что священник Гапон имел баллы, установленные для удостоения звания студента, во все время обучения в семинарии и в выпускном свидетельстве отмечен высшими баллами (5 и 4) по всем предметам, исключая догматическое богословие, алгебру и церковное пение, по коим у него балл три (3), по поведению же аттестован баллом 5 за все годы, кроме третьего и шестого классов, где поведение его аттестовано было баллом 4, каковой балл оставлен и в выпускном свидетельстве“²⁾.

Что касается священнослужительства в Полтаве, то журнал приводит такой отзыв епископа Илариона:

„Преосвященный Иларион дал отзыв, как о пастыре искренно-благочестивом, ревностном в проповеди слова божия, назидательном и учительном на внебогослужебных собеседованиях, собиравших к нему множество слушателей, хотя церковь его и бесприходна“³⁾.

На страницах 7 и 8 цитируемого „Журнала“ значится, что Гапон был принят в 1898 году в число студентов слб. академии под № 16 из 67 экзаменовавшихся и получил стипендию Марии и Василия Чубинских.

Вскоре по поступлении в академию и подаче первого семестрового сочинения, Гапон, по удостоверению врача академии Д. Пахомова, заболел и потому не подал остальных семестровых сочинений по введению в круг богословских наук теории словесности и истории иностранной литературы и не сдавал экзаменов ни по одному из предметов первого курса (стр. 192 — 193).

Поэтому он был оставлен на повторительный курс („Журналы“ за 1901-2 уч. г., стр. 25) и получил отпуск, из которого явился только 31 октября 1899 года („Журналы“ за 1899 — 1900 год, стр. 99).

По возвращении в академию Гапон подал прошение об освобождении его от первого семестрового сочинения, как уже писанного им в предыдущем году (ib.).

Совет академии, снисходя к его болезненному состоянию и принимая во внимание, что прошлогоднее его сочинение оказалось написанным удовлетворительно, освободил его от этой обязанности (ib., стр. 100).

В 1900 году Гапон был переведен на 2 курс под № 25 из 65 студентов (стр. 318), а в 1901 году — на 3 курс по № 47 из 59 студентов.

¹⁾ ib., л. 3 и 4.

²⁾ ib., л. 2 на обороте.

³⁾ ib., л. 4.

С этого курса, как видно из „Журналов заседаний совета Спб. Д. Академии“ за 1901 — 2 год (стр. 349), Гапон совершенно неожиданно был уволен, без всякого объяснения причин.

Уже много позже, в „Журналах“ за 1902 — 3 год, на стр. 83, приведен доклад секретаря совета академии, поясняющий, что „по определению совета академии от 16 сентября 1903 года за № 3, утвержденным 21 сентября, студент 3 курса священник Георгий Гапон, был уволен, как не сдавший переходных экзаменов по 6 предметам и не представивший в том объяснений“, но насколько это запоздалое разъяснение соответствовало действительности, остается неизвестным.

Есть однако полное основание предполагать, что истинная причина увольнения Гапона крылась в чем-то другом.

К этому заключению приводят „Журналы совета академии“ за 1902 — 3 уч. год, где на страницах 25 и 26 говорится, что Гапон обращался к совету с прошением об оставлении его на 2-ой год на 3 курсе, при чем представлял и медицинское свидетельство, но совет постановил „отклонить его просьбу за отсутствием законных оснований к ее удовлетворению“, хотя на 1 курсе подобную же просьбу Гапона удовлетворил очень охотно и не признал незаконной.

В силу этого совет академии еще раз подтвердил в своих „Журналах“: „студента 3 курса священника Георгия Гапона считать выбывшим из академии“ (стр. 34).

Для чего понадобилось это подтверждение остается тоже загадочным, ибо precedентов ему в делах академии не было.

После этого Гапон обратился к митрополиту петербургскому Антонию со следующей просьбой:

„Вследствие несчастно для меня сложившихся обстоятельств жизни, я заболел и как весной при переходе на 4 курс не мог сдать экзаменов по всем предметам, так и осенью додержат по оставшимся. Моя просьба об оставлении меня на 2 год на 3 курсе, хотя свидетельства врачей о моем болезненном состоянии своевременно были представлены в канцелярию академии, советом академии не была удовлетворена „за неимением законных оснований“.

„Между тем жалко бросать академию, так как собственно остался 4 курс с кандидатским сочинением (семестровые сочинения 3 курса все поданы). Поэтому осмеливаюсь обратиться к Вашему Высокопреосвященству с усиленной просьбой о разрешении мне, как додержат экзамены весной сего учебного года по некоторым предметам третьего курса, так и окончить академию на правах действительного студента. Додерживать же экзамены и проходить 4 курс академии в этом учебном году для меня нет разумных оснований: уже не успею более или менее обстоятельно справиться со своей кандидатской темой по священному писанию.“

16 октября 1902 года Антоний положил на этом прошении такую резолюцию (№ 7783):

Былое № 1 (29)

„Разрешается священнику Гапону для зачисления в студенты академии на IV курс держать экзамены по тем предметам, по которым вследствие болезни он не сдавал, теперь же, сроком до 15 ноября“ (ib., стр. 66 — 67).

Вследствие этого совет академии допустил Гапона к экзаменам в необычное время, при чем он получил следующие баллы: по патристике — 4, пастырскому богословию — 4,75, истории и обличению русского раскола — 4, истории и разбору западных исповеданий — 3,75, русской церковной истории — 4 и священному писанию ветхого завета — 4. Средний балл был выведен за 3 курс 4,088, и Гапон был принят на IV курс (ib., стр. 84).

А в следующем 1903 году он окончил академический курс под № 35 из 52 студентов (по второму разряду).

Тему для кандидатского сочинения он взял однако не из священного писания, а „Современное положение прихода в православных церквах греческой и русской“.

По поводу этого сочинения его доцент академии иеромонах Михаил дал такую рецензию:

„Работа небольшая (70 стр.) и написана компилятивно большей частью. Признается однако вполне удовлетворительною для степени кандидата богословия“ (ib., стр. 375, 341, 342).

Этим оканчиваются все сведения об академической жизни Гапона и за сообщение их считаю долгом принести глубокую благодарность профессору А. А. Бронзову.

Сообщил Н. Авидонов.

9 января 1905 года и Синод.

Грозные события 9 января 1905 года, нанешие первый ощутительный удар трону Николая II, естественно вызвали необычайное смещение в тех правительственных кругах, которые считались оплотами самодержавия. Один из таких оплотов — святейший правительствующий синод не мог, конечно, не отозваться на попытки „дерзкогенных сынов погибельных“¹⁾ посягнуть на права неограниченного монарха и сделал это с быстротой, поразительной для синодского делопроизводства, тянувшегося даже в самых экстренных случаях многие месяцы, а иногда и годы.

Уже 12 января синод издал указ о восстановлении чтения на литургии особой молитвы об искоренении крамолы, составленной при восшествии на престол Александра III²⁾.

С воцарением Николая II молитва эта, несколько сокращенная, продолжала читаться в храмах, и самовольное исключение ее из чина литургии некоторыми священнослужителями, как видно из целого ряда дел синодского архива, строго преследовалось синодом.

С началом японской войны молитва эта была заменена другою „о победе над супостатами“, которая в начале 1905 года и читалась еще во всех православных храмах.

К этому времени вполне уже выяснилось, что японская компания окончательно проиграна, и молитва о победе русского оружия являлась жестокою насмешкою над царскою армиею и ее руководителями.

Тем не менее, по обычной неторопливости синода, молитва эта возносилась-бы в церквях еще и после Портсмутского мира, если-бы событие 9 января не принудили синод зашевелиться.

¹⁾ Из синодской молитвы об искоренении крамолы.

²⁾ Текст этой молитвы следующий:

„Господи боже наш, великий и многомилостивый! Во утешении сердец наших смиренно молимся тебе: сохрани под кровом твоем благодти от всякого злого обстояния благочестивейшего государя нашего императора Николая Александровича, огради его на всех путях его святыми твоими ангелы, да ничто же успеет враг на него и сын беззакония не приложит озлобити его. Исполни его долготю дней и крепостию сил. Да свершит вся во славу твою и во благо народа своего. Мы же всеблагодарим твоему промышлению о нем радующиеся, на всяк день и час благословим и прославим все-святое имя твое отца и сына и святого духа. Аминь“. („Церк. Вестн.“ 1895 год № 6).

То, что произошло в этот день в Петербурге, наглядно показало синоду, что рядом с ним, в самом „царствующем граде“, есть враг, гораздо более опасный, чем находящиеся за десяток тысяч верст японцы.

И вот 12 января 1905 года синод спешит „предписать всем епархиальным преосвященным и протопресвитерам придворного и военно-морского духовенства“, чтобы они немедленно прекратили в церквях чтение молитв о победе и приказали духовенству читать прежнюю молитву об истреблении „неистовые крामолы супостатов, дерзновенно восстающих на поправление власти, от бога уставленные“¹⁾.

Прошло два дни. За этот короткий промежуток времени синод успел сообразить, что одного восстановления молений о прекращении крамолы, пожалуй и маловато. И вот 14 января синод снова собирается на заседание и имеет суждение „о прочтении в церквях послания святейшего всероссийского синода к возлюбленным чадам православной всероссийской церкви по поводу уличных беспорядков, произведенных в Петербурге, под влиянием злонамеренных лиц, рабочими разных заводов и фабрик“.

В заседании оказывается изготовленным и самый текст этого послания, если не целиком написанный тогдашним обер-прокурором синода К. П. Победоносцевым, то основательно им проредактированный.

Но что же мог сказать синод в своем послании поучительного народу?

Божией милостью святейший правительствующий синод возлюбленным чадам святой православной всероссийской церкви

Благодать господа нашего Иисуса Христа и любви бога и отца и участие святого духа буди со всеми вами.

Великим бедствием посетил господь наше дорогое отечество. Вот уже скоро год, как Россия ведет с язычниками кровопролитную войну за свое историческое призвание насадительницы христианского просвещения на Дальнем Востоке, за честь и достоинство поруганные неожиданно-дерзким нападением врага. Как вы отклоня от себя эту войну исполненный миролюбия, благочестивейший государь наш, но война была навязана России. Тяжкое испытание божие надлежало-бы принять всем с сознанием своих грехов, с чувством покаяния, в смирении пред неисповедимыми путями промысла божия о России. Но многие, в своей гордости и самооправданности, думали легко и скоро победить врага.

И вот начинаются тягчайшие испытания нашей веры, нашего смирения.

Христолюбивое воинство наше явило миру чудеса храбрости и терпения в отдаленной и чуждой стране. Не взирая на доблесть героев защитников, пала твердыня наша на Дальнем Востоке — крепость Порт-Артур и по воле божией не настал еще ковец борьбы, на которую должны быть собраны все народные силы.

В столь тяжком испытании, постигшем возлюбленное наше отечество, все сыны его, от мала до велика, от вельможи до простолюдина, должны бы явить горячую веру в бога, излить пламенные молитвы ко господу, омыть грехи свои слезами покаяния, единомышленно встать на защиту веры, царя и отечества, принять, по слову святого апо-

¹⁾ Дело синода № 2991 за 1905 год.

стола, всеоружие божие, дабы противостоять в день злой и, все преодолев, устоять (Ефес. VI, 13). Но вот новое испытание божие, горегоршее первого посетило наше возлюбленное отечество.

В столице и других городах России начались стачки рабочих и уличные беспорядки. Люди русские, искони православные, от лет древних навывшие стоять за веру, царя и отечество, подстрекаемые людьми злонамеренными, врагами отечества, домашними и иноземными, десятками тысяч побросали свои мирные занятия, решились скопом и насильем добиваться своих будто-бы поправных прав, причинили множество беспокоеств и волнений мирным жителям, многих оставили без куска хлеба, а иных из своих соображений привели к напрасной смерти, без покаяния, с озлоблением в сердце, с хулою и бранью на устах. Преступные подстрекатели простых рабочих людей, имея в своей среде недостойного священнослужителя, дерзновенно поправшего святые обеты и ныне подлежащего суду церкви, не устыжались дать в руки обманутым ими рабочим насильственно взятые из часовни честный крест, святые иконы и хоругви, дабы, под охраною чтимых верующими святых, вернее вести их к беспорядку, а иных на гибель. Всего прискорбнее, что пропешедшие беспорядки вызваны и подкупам со стороны врагов России и всякого порядка общественного. Значительные средства присланы ими, дабы произвести у нас междоусобицу, дабы отвлеchenн рабочих от труда помешать своевременной посылке на Дальний Восток морских и сухопутных сил, затруднить снабжение действующей армии всеми необходимыми для нее припасами и тем навлечь на Россию неисчислимые бедствия. Врагам нашим нужно расшатать твердыни наши — веру православную и самодержавную власть царскую. Ими Россия жива, на них возросла и окрепла и без них погибнет.

О, горе великое! Люди русские, христиане православные восстают против законной власти, враждуют друг против друга в то время, как их братья сражаются на Дальнем Востоке, в то время, когда государь наш и государыни императрицы неуслино заботятся об облегчении тяжелой доли больных и раненых воинов, пострадавших из славу родины... Подумайте возлюбленные братья, какое тяжелое горе причиняется сих венченокному вождю земли Русской, какам скорбь омрачит души наших мужественных воинов, когда они услышат о настроениях внутри отечества, в самой столице его, какую силу даст наша рознь врагам нашим.

Но, воистину, не по беззакониям нашим творит нам господь и не по грехам нашим воздаст нам. Видим в сих испытаниях божиих благодетельную нам десницу всевышнего, *его же бо любит юсодь, наказует*. Он, премилосердный, наказует нас, дабы все мы не погбли в бонец, но пришли к покаянию.

Святейший синод, скорбя о погубных настроениях в современной жизни русского народа, именем святой матери церкви православной умоляет всех чад ее: *бога бойтесь, царя чтите* (I Петр. I, 17) и *всякой власти, от бога поставленной, повируйтесь* (Римл. XIII, 1).

Пастыри святой православной церкви! *Проповедуйте слово, настояйте благосердечно и беззерженно, обличайте, запрещайте, умоляйте со всяким долготерпением и учением* (2 Тим. IV, 2) и *образы бывайте верным, словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою* (2 Тим. IV, 2).

Власть имущие! *Ищите правды, спасайте утетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову*. (Ис. I, 12 — 17)

Богатые! *Не уповайте на богатство неверное, но на бога живою, благодетельствуйте, богатейте добрыми делами, щедростию и милосердием* (I Тим. VI, 17).

Труженики земли Русской, люди рабочие! Трудитесь по заповедем господней в поте лица своего, памятуя, что нетрудящийся недостойн и пропитанна. Берегитесь ваших ложных советников, под видом радения о ваших нуждах и пользах, добивающихся беспорядка, лишующих вас крова и пропитанна. Они суть пособники или наемники злого врага, ищущего разорения земли Русской.

Возлюбленные о господе чада святой православной всероссийской церкви! Святейший синод, удивляя, что вы запечатлеете в сердцах ваших преподанное нами слово правого учения, призывает на вас апостольское благословение:

Милость вам и мир и любовь да умножат (Иуд. I, 2).
Смиренный *Антоний*, митрополит С.-Петербургский и Ладужский.
Смиренный *Владимир*, митрополит Московский и Коломенский.
Смиренный *Флавиан*, митрополит Киевский и Галицкий.
Смиренный *Николай*, архиепископ Финляндский и Выборгский.
Смиренный *Климент*, епископ Виваницкий.

С. Петербург ¹⁾.

14 января 1905 года.

Ясно, что нужно было дать народу освещение событий 9 января, оправдывающих дикую и жестокую выходку Николая II и его приспешников.

Великий и беспринципный каверзник Победоносцев нашел выход из этого положения: он ни мало не задумался привести в послании гнусную сплетню (может быть, им же самим и сочиненную), что уличные „беспорядки“ 9 января произведены были рабочими „под влиянием злонамеренных лиц, подкупленных иностранными деньгами“.

Отцы-члены синода скрепили этот документ своею подписью и распорядились напечатать его в официальном синодском журнале „Церковные Ведомости“ (№ 3 за 1905 год), предписав духовенству прочитывать это послание во всех церквах в первый воскресный день по получении указанного номера журнала.

Пустив по России такой слух, исключаящий всякое подозрение в провокаторской деятельности департамента полиции, синод не удовольствовался этим, но счел еще необходимым попытаться убедить народ в милостивом отношении Николая II к своим подданным вообще и к рабочим в частности.

21 января тогдашнему петербургскому генерал-губернатору Д. Ф. Трепову удалось организовать депутацию к царю от рабочих экспедиции заготовления государственных бумаг.

Как составлялась эта депутация, прекрасно рассказано в недавно вышедших „Воспоминаниях“ графа С. Ю. Витте.

„Познав имена таких рабочих, на которых можно было вполне положиться, которых можно было даже сделать сыщиками по самым важным политическим делам“, пишет Витте: „Трепов неожиданно взял десятков таких человек, повез их в Царское Село и представил государю, как представителей петербургских рабочих.“

Рабочие эти засвидетельствовали государю свои верноподданнические чувства, а его величество сказал им заранее приготовленную речь о том, что он знает их нужды и сделает для них все возможное. Затем, их накормили завтраком и отправили обратно в Петербург“ ²⁾.

¹⁾ Дело синода № 576 за 1903 год.

²⁾ Витте „Воспоминания“, т. I, стр. 285.

Узнав об этом посещении синода в заседании 26 января „имел суждение по поводу этих милостивых слов государя императора к депутации столичных и пригородных рабочих“.

К сожалению, в синодском деле не сохранилось ни малейших следов по чьему почину поставлен был на обсуждение этот вопрос.

Принимая в соображение существующую практику синодальных занятий, можно однако с полной вероятностью предполагать, что инициатором этого дела был тот же Победоносцев.

Результатом этого „суждения“ было постановление о „составлении особого поучения народу о милостивых словах государя императора к рабочим“, с предписанием прочесть его с церковных кафедр во всех церквях Российской Империи в первый воскресный день по получении № 5 „Церковных Ведомостей“, в котором это поучение будет напечатано.

Кроме того предложено было епархиальным преосвященным отпечатать эти слова в местных типографиях отдельными оттисками „в потребном количестве экземпляров“ и распространять их среди прихожан ¹⁾.

Этим постановлением и закончился отзыв синода на события 9 января, если не считать нескольких верноподданнических телеграмм от рабочих, присланных в синод от нескольких архиереев и переданных последним Победоносцеву для представления царю.

* * *

С событиями 9 января тесно связано имя Георгия Гапона, бывшего священником петербургской пересыльной тюрьмы.

Вначале синод, повидимому, не предполагал заняться этим провокатором, но вскоре провокаторская деятельность этого иерея получила столь широкую огласку, что церковная власть увидела себя вынужденной развязаться с ним, рискуя в противном случае потерять свой престиж в глазах народа.

В силу этого 20 января 1905 года митрополит петербургский и ладожский Антоний (Вадковский) представил синоду при рапорте за № 549 консисторское расследование о Гапоне „с мнением по сему делу петербургской консистории“.

Самое „мнения“ этого, равно как и „расследования“ в синодальном архиве не сохранилось, но из некоторых других документов, имеющихся в этом деле, видно, что петербургская консистория знала о деятельности Гапона еще 7 января, что она дважды вызывала его для объяснений, но он ни разу не явился, и потому консистория решила заочно лишить его сана за преступления против пресвитерской должности и самочиние и исключить из духовного звания.

Рапорт Антония заслушан был синодом 21 января, при чем товарищ синодального обер-прокурора Саблер предварительно „входил в сношение“ с петербургским генерал-губернатором Треповым относительно места пребывания Гапона,

¹⁾ Дело синода № 576 за 1905 год.

Трепов уведомил, что место жительства Гапона в настоящее время неизвестно.

Тогда синод предложил своей канцелярии вызвать Гапона „к выслушанию консисторского решения“ о нем через напечатание публикации в „Церковных Ведомостях“ и „Сенатских Объявлениях“ с предупреждением, что, если он не явится в месячный срок, то лишен будет права апелляции на это решение синоду.

Гапон не явился на их этот вызов, и 4 марта митрополит Антоний вошел в синод с новым рапортом (за № 2109) о лишении Гапона сана и исключении его из духовного звания, при чем ему вменялись в вину следующие преступления:

1. Вопреки 39 правилу св. апостолов и 57 правилу Лаодикийского собора священник Гапон вступил в общество рабочих в качестве председателя „Собрания русских рабочих г. С. Петербурга“ не только без согласия петербургского митрополита, но несмотря даже на его запрещение.

2. В противность тем же правилам, зная, что крестный ход, с которым рабочие собирались 9 января идти на Дворцовую площадь, задуман был без испрошения на то разрешения митрополита, совершил перед началом этого хода молебен, при чем, по присяжному показанию пристава Вербницкого, провозгласил анафему тем, кто будет препятствовать этому крестному ходу.

3. Принимал участие в собраниях рабочих и без разрешения епископа побуждал их идти толпой к государю императору, преступив 18 и 34 правила IV и VI вселенского собора и 11 правило Антиохийского собора.

4. Несмотря на объявленное ему указом петербургской духовной консистории от 7 января 1905 года за № 1 требование представить объяснение об участии его в деле забастовки рабочих Путиловского завода, а затем двукратный вызов его к его высокопреосвященству (м. Антонию) для объяснений по тому же делу, объяснений не представил и к его высокопреосвященству не явился.

10 марта синод определением за № 1320 утвердил представление митрополита Антония, и Гапон лишен был священного сана и исключен из духовного звания.

* * *

Рассматривая дело Гапона с процессуальной точки зрения, нельзя не обратить внимания на те натяжки, к которым прибегал церковный суд, чтобы обосновать свое решение церковными канонами.

Из всех соборных и апостольских правил, на которые ссылалась петербургская духовная консистория, в данном случае может быть более или менее применимо лишь 11-ое правило Антиохийского поместного собора, воспрещающее клирикам беспокоить царя личными нуждами без особого разрешения на то митрополита.

Правда, лучшие канонисты (как напр., Никодим, епископ сербский и др.) понимают это лишь в том смысле, что клирикам воспрещается беспокоить

цари лишь по спорам религиозного характера, какие имели место, напр., во время борьбы с арианами и полуарианами, которые и вызвали издание этого правила.

Но в данном случае все-таки на лицо воспреещение клирикам обращаться к царю, и, стало быть, консистория могла на него сослаться.

За то остальные приведенные правила не имеют никакого отношения к данному делу: 39-ое апостольское правило, хотя и воспрещает клирикам предпринимать что-либо без разрешения епископа, но имеет при этом в виду дела исключительно по управлению церковными имуществами; правила 18-ое IV вселенского собора и 34-ое VI вселенского собора воспрещают клирикам участие в сборищах, но исключительно направленных против своих епископов и духовенства.

Таким образом твердых оснований к лишению Гапона сана в церковном законодательстве не было; но синод и консистории не особенно считались с законами, когда нужно было устранить неудобных духовных лиц, и после Гапона при помощи такой же мотивировки были впоследствии лишены сана многие священнослужители, попавшие в Государственную Думу и примкнувшие там к левым партиям, как священники: Г. С. Петров, Бриллиантов, Тихвинский, Колокольников, протонерей Огнев и др.

Другую особенностью дела Гапона, как и остальных дел, касающихся событий 9 января, следует считать то, что о них не сохранилось ни малейших следов в архиве канцелярий синодального обер-прокурора, которой не могло миновать ни одно из рассматриваемых синодом дел.

Видимо, Победоносцев знал по этим делам то, что неудобно было записать в официальные акты, и предпочел об этом промолчать.

Сообщ. Н. Авионов.

Неизвестные прокламации о 9 январе.

Из печатаемых материалов, относящихся к январским событиям 1906 г., первая прокламация не имеет партийной подписи. Дальнейшие две листовки переносят нас в провинцию, куда также докатились революционные волны народного столичного волнения: первая говорит о революции в древнем Пскове, вторая листовка, конфискованная в Вильне, издана первой Белорусской революционной организацией „Громадой“ в стихах, написанных простой белорусской мовой.

1.

К последним событиям ¹⁾).

„Царя более нет. Невинная кровь народа легла между ним и народом. Да здравствует начало борьбы за свободу. Благословляю вас всех“. Так писал к рабочим С. Петербурга известный священник отец Георгий Гапон, после того как царские опричники смали 9 января крестный ход, с которым шла к царю делегация рабочих, чтобы поведать ему о своих нуждах. Последние надежды на царя рушились... На просьбу измученного, страдавшего своего народа о прекращении войны и даровании ему свободы и возможности жить по человечески, он ответил неслыханным злодейством, приказав расстрелять мирных, безоружных людей. С невероятной жестокостью царские опричники исполнили приказ деспота, расстреляв в упор тысячи рабочих, студентов, женщин и даже детей. На человеческом языке нет слов, нет выражений, чтобы описать весь ужас происшедшего. Но не пройдет даром для царского правительства это злодейство. Оно слишком велико, чтобы о нем можно было забыть. Невинная кровь народа громко вопиет об отомщении. Подумайте только, русские люди, до чего довело русский народ самодержавие. Мы даже не пользуемся правом на жизнь: каждую минуту вас могут обречь на смерть, послав в чужую страну воевать для славы правителей, или же просто расстреляют вас на вашей же родине, если вы осмелитесь заявить, что вы не хотите голодать, что вас оскорбляет и унижает последний полицейский, издеваясь

¹⁾ Прокламация, разбросанная 24 января 1906 г. в Ораниенбауме, Петербургской губ. Гектограф.

над нашим человеческим достоинством, что вы хотите лучшей участи, что вы хотите свободы. Неужели мы так глубоко нравственно пали, так растлели, что уже не можем сбросить с себя иго бесправия. Нет, этого быть не может. Мы еще молоды, в нас еще не заглохла надежда на лучшее будущее. Русский народ просыпается и уже даже проснулся и нет более на свете силы, которая заставила бы снова заснуть. Теперь мы знаем, где наши враги. В этот важный исторический момент все русские люди должны сплотиться и сбросить с себя иго самодержавия. Мы призываем всех честных граждан принять участие в этой борьбе за свободу, за поруганное человеческое достоинство. Вас, военные, мы призываем отказаться от позорной роли палачей, которую вам навязывает царь, заставляя расстреливать противников самодержавия. Не запятнайте страдальческой кровью ваших братьев. Отбросьте тот величайший предрассудок, что даже во имя блага родины, в тяжелую минуту, вы не можете нарушить присягу, которую у вас насильно вырвали. Это не присяга, это величайший обман, это последнее убежище обогрессного народною кровью русского царя, это крик человека, которого схватили за царя. Помните, что может быть сегодня, там, на вашей родине расстреливают ваших отцов, матерей, жен, братьев, детей, а завтра, когда вы снимете свой шутовской наряд, будут убивать и вас. Переходите на сторону народа, ибо дело народа — ваше дело. В настоящий момент все рабочие на фабриках и заводах России забастовали и потребовали у царя созыва земского собора народных представителей и только, благодаря войску, не удалось понудить царя исполнить справедливые требования народа. И так, у русского царя осталась одна опора — солдатские штыки. Так отнимите же солдаты, граждане, от него во имя блага родины эту последнюю опору. Довольно человеческой крови, довольно народного страдания. Когда раздастся клич, встанем все рабочие, крестьяне, солдаты и разом, одним натиском сбросим навсегда самодержавие и устроим жизнь так, как этого требуют интересы всех граждан. Да здравствует свобода, равенство и братство! Да здравствует народная воля! Да здравствует конституция. Долой самодержавие!

2.

Российская социал-демократическая рабочая партия.

Седьмое февраля 1905 г. всегда останется в памяти у псковского общества. Кровавые события этого дня врезались неизгладимыми чертами в чуткие души юношей, детей... невыразимую болью и страданием отзывались они на родительских сердцах. В этот день на глазах всего общества псковская полиция учинила одно из тех злодеяний, которыми умиротворяющее самодержавное правительство хочет задавить революционное движение. Это последний ход делает царское самодержавие, пытаясь спасти себя от близкой смерти. Но что же произошло? Ведь мы давно видели и слышали, как царские опричники расстреливали рабочих, крестьян, избивали студентов на улицах и в полицейских участках. Около месяца тому назад во Пскове стало известно,

что жандармский полковник Иелита-фон-Вольский вкупе с псковской полицией организует шайку хулиганов для избияния студентов и вообще учащейся молодежи. Многие этому не верили, многие не ожидали такого наглого бесстыдства даже от русской полиции. Но вот по городу разнеслось, что были расклеены прокламации с призывом бить студентов. Даже одна из газет (Наши Дни) напечатала это произведение полицейской литературы, требуя принятия мер к ограждению от насилия русских граждан. Псковский полицеймейстер Катайда послал в эту газету опровержение и обещал во всяком случае принять меры. Но против кого? Себя и всей своей полицейской шайки? Какова наглость. Седьмое февраля разрушило все эти иллюзии. Полицейская наглость проявилась во всеоружии. Честная и чуткая учащаяся молодежь города Пскова не могла молча оставаться свидетелями дикого расстреливания, по царскому приказу, рабочих Петербурга 9 и 10 января. Эти ужасные, кровавые дни заставили содрогнуться от ужаса и негодования всех честных русских граждан, давно знакомых с царским произволом. Но что чувствовала и переживала чуткая и отзывчивая учащаяся молодежь понятно всякому. И вот средне-учебные заведения города Пскова одно за другим прекратили занятия. 7-го февраля забастовали и гимназисты, около 12 часов дня они, вместе с землемерами и учителя, семинаристами, отправились к женской гимназии, думая послать туда депутацию, с предложением присоединиться к общей забастовке. На них набросилась свора городских, переодетых пожарных и хулиганов счастливыми приставами во главе. Замелькали в воздухе палки, кулаки и началась дикая расправа над юношами и даже детьми: били всех, кто был в ученической форме. Набрасывались и зверски насильничали даже над теми, что не принимал и ни малейшего участия в шествии молодежи. Мы видели, как на одного студента, проходившего по Сергиевской ул. набросились двое городских и несколько хулиганов. Началось зверское избияние. Псковский губернатор Адлерберг присутствовал при всем этом; мы думали, что он хоть для вида прекратит это избияние. Но „хозяин города“, увидев, что бьют студента, громко и с жестом одобрения крикнул: „арестовать“; избиваемый студент обратился к губернатору, прося прекратить избияние, но в ответ услышал еще более грубый окрик — „арестовать“. Городовые и хулиганы увидели, что сам губернатор одобряет их и продолжали свое преступное дело. Наконец, этого студента положили на сани, сели на него и, продолжая бить, поехали в полицию. Как нам потом удалось узнать этот студент вновь еще сильнее был избит городовым в полицейском участии. Наконец, кровавое утро окончилось. Нечто более наглое и ужасное готовилось полицией к вечеру.

Около 7-ми часов вечера по Сергиевской и Великолукской улицам гуляла, по обыкновению, небольшими группами учащаяся молодежь. Вместе с тем на этих улицах мы увидели нечто новое, небывалое. Всюду на углах улиц и по тротуарам стояли и ходили переодетые городовые и пожарные, хулиганы и даже посторонние лица, приглашенные, как потом оказалось, полицией для избияния учащихся. В 8 часу вечера около церкви Михаила Архангела

остановилось несколько человек из молодежи. Вдруг вслаившимся свистом раздался крик: „бей мерзавцев“. И вот наемные полицейские дружины с палками, кнутами, кастетами и даже ножами устремились на эту молодежь. Послышались крики и стоны. Торговцы начали закрывать магазины, на улицах царил мрак.

Во всех частях города пропеходило сорок тысяч. Монашеская кулачная ухаль развернулася во всю свою циничную ширь. Били по головам, упавших топтали ногами, царапали лица; тут же обшаривали, отбирали перочинные ножи, кошельки, часы: вот тут то пожизненные приставы, городовые и все, у кого хватало бесстыдства и наглости грабить и избивать не только юношей, но даже детей. Наконец, кто не успел убежать или скрыться в какую-нибудь квартиру, увозили в полицию, а там снова избивали и в полусознательном состоянии заставляли подписывать бумагу, что дескать полиция защищала учащихся. Наглая ложь.

Всеми побоищами руководили приставы и городовые. Потом вся эта дикая банда рассыпалась на мелкие группы и стали избивать выходивших из своих убежищ учеников. Двух гимназистов городовые даже ссадили с извозчика и тут же избили палками и кулаками. Далеко за полночь раздавались стоны и крики избиваемых.

Некоторые из интеллигентных родителей ездили к губернатору, полицеймейстеру, прося защиты невинных юношей и детей. Но напрасно — избивание продолжалось.

И так свершилось...

Рука не поднимается, чтобы вновь обращаться к псковскому обществу. Бьют и издеваются над его собственными детьми, а оно... молчит... молчит...

Большинство же родителей на совещаниях с директорами и учителями глумится над только что пролитой кровью собственных детей, требуя, чтобы начальство заставило детей начать прерванные занятия. Нашлось даже несколько негодяев, предлагавших сечь. Невежество, холопство, жестокость, произвол — все слилось здесь во всей своей неприкрашенной работе.

Многострадальная учащаяся молодежь.

Мы, социал-демократы, снова обращаемся к вам: — организуйтесь, снова указываем вам на Маркса и Энгельса — вот ваши учителя. Идите под знамя революционного пролетариата. Ведь только с ним наконец вы свергнете ненавистное самодержавие.

Долой самодержавие!

Да здравствует демократическая республика!

Псковский социал-демократический комитет.

Февраль 1905 г.

3.

Хрыст на свабоду ¹⁾.

На усходзі красна неба
Нас не дзівіць — так і трэба!
Кроу рукамі львядца у мора.
Салдат гіне там ад гора
Без кшталі і без хлеба
Нас не дзівіць — так і трэба!
Гоняць сына, гоняць мужа.
Мы слухаем цара дужа,
З душы рвецца скарга у неба,
А мы маучым — так і трэба!
Жандар стрэле, казак б'ецца.
У народу спінна гнецца
Ад налогаў з соли, хлеба,
А мы плачым — так і трэба.
У Пецярбурху змерлі людзі:
Ім прашылі куляй грудзі,
Бо то з песняй і з алтарам
Пашлі з попах перад царам.
А цар сыпнуў як бы з неба,
Тысяч куляў — так і трэба!
Дурнаў хрысцін на свабоду.
Цар навуку даў народу.
Паказаў ім як бы з неба

Што больш цара не патрэба!
Тагда Гапон у громаду
Бежыць, крычыць: трэба ладу,
Трэба шроту, бамбаў, стрэльбаў,
Трэба бійц нам гетых шэльмаў!
Чуе ешчэ голас з неба,
Што больш цара не патрэба!
З той пары, Масква, Варшава,
Рыга, Вільна, Бак, Лібавя,
Беларусь, Литва, Расея
Гоняць вон цара зладзея!
Нарох чуе голас з неба,
Што больш цара не патрэба!
Бомба трах! Сергей у шматы,
Мірскі бежыць аж да хаты,
Цар у страху, сэнат мее,
Беданосцаў аж хварэе.
Кладуць сеткі, каскі, бляхі.
Найбольш страшаць гета ляхі:
Ціха коляць, цёплне страджаць,
Так як жыта чэрцей меляць.
Народ чуе голас з неба,
Што свабоды яму трэба!

Выдаў Другі Краевы Камітэт Беларускае Соцыялістычнае Громады. Вільна.

Собщ. А. Миловідов.

¹⁾ Канфіскавана ў Вільне, адносіцца да лянварскіх падзеяў 1905 г.

Два документа об убийстве Гапона.

1.

Протокол пристава 2-го стана СПб. уезда Недельского о найденном им в Озерках трупе Георгия Гапона.

1906 года Апреля 30 дня. Пристав 2 стана СПб уезда составил настоящий протокол о нижеследующем: сего в 5 часов дня полицейский урядник Людорф доложил мне, что в Озерках на углу Ольгинской и Варваринской ул. на даче Звержинской в пустой необитаемой даче во дворе сего числа усмотрен во втором этаже в запертой снаружи комнате, повешанный человек. Прибыв совместно с помощником Начальника СПб. Губернского Жандармского Управления в СПб. уезде Подполковником Кузьминым на место, я из расспроса дворника Николая Конского узнал, что 24 минувшего марта дачу эту нанял на лето один господин, назвавшийся Иваном Ивановичем Путилиным, проживающим угол Чернышева пер. и Фонтанки меблированные комнаты Виноградова и дал 10 руб. задатку, прося оклеить и приготовить одну комнату наверху и, купив дров, истопить, чего дворник не исполнил мотивируя тем, что мало было дано денег. 26 марта на дачу приехал молодой человек видимо служащий нанявшего дачу и, узнав, что ничего не сделано, на другой день привез якобы своего хозяина, который дав еще 30 руб. послал служащего заключить условие с г. Звержинской, а сам, говоря, что ему осталось 10 мин. до отхода поезда, ушел. Г. Звержинская дала расписку на 40 руб. задатку за дачу, сданную за плату 190 руб., при этом Путилин требовал, чтобы верхняя комната была бы готова на другой день к 12 час. дня. На другой день продавали жильцов до 3 час. дня, дворник Николай Конский не дождался жильцов. А на следующий день 29 марта в 2 ч. дня их встретил другой дворник Василий Матвеев, при чем Путилин послал за пивом своего человека, и когда тот принес таковое, то они дали ему, Матвееву, бутылку, а две оставили себе. Дворник с пивом ушел домой на дачу Петровой, где живет, а когда пришел обратно, то жильцов на даче уже не было и двери дачи оказались закрытыми, после этого никто уже более не появлялся. Продав долгое время появления жильцов дворник Конский поехал разыскивать г. Путилина, но нигде его не нашел. Тогда, по распоряжению хозяйки, была 26 апреля наведена справка в адресном столе и оказалось, что разыскиваемое лицо:

выбыло из СПб. 20 января в Москву. Приметы нанимавших дачу следующие: назвавшийся Путилиным хорошо одет лет 45, гладко выбритый, волосы на голове с проседью, человек красивый (с проседью) и представительный. Другой повидимому рабочий молодой человек лет 19, блондин с едва пробивающимися усиками, одет в тужурку со стоячим воротником и лакированные сапоги, высокого роста, худощавый. 30 сего апреля по просьбе г-жи Звержинской в присутствии местного урядника Людорфа была вскрыта квартира и все оказалось в порядке, только одна комната была закрыта на всякий замок, вследствие чего был приглашен слесарь Александр Либауэр, в присутствии которого и понятых дворников Конского и Матвеева был обнаружен повешанный или повесившийся человек по всем признакам и по сличению с фотографической карточкой, напоминающий бывшего священника Георгия Гапона. Вербка, на которой висит тело, обыкновенная для сушки белья довольно толстая, повешена на незначительную железную вешалку, тело находится в сидячем положении, ноги согнуты в правую сторону, около справа валяются 2 галоши, слева темно-серая мерлушковая шапка, покрыт меховым пальто с бобровым воротником, один рукав, которого завязан тонкой веревкой. Повешенный одет в темно-коричневый жилет сверх которого одет черный пиджак, под цветной сорочкой фуфайка коричневого цвета, на ногах черные брюки и сапоги, при нем черные часы с цепочкой, а также обратный билет Финляндской ж. д. II класса от 28 марта, а на столе разостлан номер газеты XX век от 27 марта и на этой газете белый ситный хлеб около 2-х фунтов. Около этажерки вблизи ног покойного валяется его галстук и стекла от разбитого стакана и вблизи пивная бутылка, наполненная какой то жидкостью. Повешенного человека дворники в лицо никогда не видали.

Пристав Недельский.

2.

Репорт Спб. уездного исправника о похоронах Георгия Гапона 3-го Мая 1906 года.

В дополнение рапорта от 30 минувшего апреля за № 1297, доношу вашему превосходительству, что 3 сего мая тело убитого Георгия Гапона предано земле на Успенском городском кладбище, что по Финляндской ж. д., похороны окончились в 1½ час. дня и прошли спокойно. Обедня началась в 10 час. утра и в этоу времени стал стекаться рабочий народ, которого было до 200 человек, в числе рабочих были и женщины. На похоровах находились, приехавшая из Терриок возлюбленная покойного Мария Кондратьевна Уздалева и подруга ее Вера Маркова Корелина. На могилу покойного возложены венки: 1) с красной лентой, с портретом Гапона, с надписью „9 января, Георгию Гапону от товарищей-рабочих членов 5 отдела“, 2) с черной лентой „вождю 9 января от рабочих“, 3) с красной лентой „истинному вождю революции 9 января Гапону“, 4) с красной лентой

„дорогому учителю от Нарвского района 2 отделения“ и 5) с красной лентой „Василеостровского отдела от товарищей многоуважаемому Георгию Гапону. Собравшиеся рабочие пропели похоронный марш, начинающийся словами „мы жертвою пали“..., а затем стали говорить на могиле речи рабочие: Кладовиков, Смирнов, Князев, Ушаков, Кузин и Корелина, цитируя о том, что Гапон пал от злодейской руки, что про него говорили ложь и требовали отпущения убийцам. Затем слышались среди присутствовавших крики: месть, месть, ложь, ложь. После этого пропели вечную память, и, исполнив гимн „свобода“, начинающийся словами: смело, товарищи, в ногу. Все рабочие покинули кладбище, закусили в буфете и спокойно разошлись.

На могиле похороненного поставлен деревянный крест с надписью „герой 9 января 1905 г. Георгий Гапон“.

Сделанный мною по случаю похорон усиленный наряд полиции из урядников и стражников на Успенском кладбище снят.

Исправник Колобасев.

№ 1297 8 мая 1906 года

(Секретарь подпись)

Сообщил А. Миловилов.

Декабрист Е. П. Оболенский.

Письмо к Я. Н. Толстому.

Два имени, поставленные в заголовке настоящего сообщения, достаточно известны тем, кому нечужд интерес к прошлому. И Оболенский, и Толстой являются жертвами 14-го декабря. На долю Толстого, при этом, выпала исключительно тяжелая участь. „Задетшее его своим широким размахом дело декабристов совершенно исковеркало его жизнь и из „раннего философа“¹⁾, блестящего гвардейского офицера и члена тайного общества сделало тайного-же агента русского правительства за границей“²⁾...

Не останавливаясь подробно на биографиях Оболенского и Толстого отметим только, что Толстой был принят в тайное общество именно Оболенским (1820 г.); „сведения о Толстом, как члене тайного общества“, замечает П. Е. Щеголев: „крайне скудны и глухи. Достоверно, во всяком случае, что он был членом Общества и при том одним из старейших и авторитетных“³⁾. Этот вывод исследователя еще более усиливает трагический оттенок печальной судьбы Толстого.

Появляющееся ныне на страницах Былого письмо Оболенского к Толстому пополняет небольшую коллекцию его опубликованных писем⁴⁾. Вместе с тем

¹⁾ Так его назвал Пушкин в своих известных „Стансах Толстому“ (1819 г.):

Философ ранний, ты бежишь

Цирю и наслаждений жизни.

²⁾ В. Модзалевский. Стансы Толстому [комментарий]. — Сочинения Пушкина под ред. С. А. Венгера, т. I, С.-Пб., 1907, стр. 564.

³⁾ П. Щеголев. Из двадцатых годов. Заметки и материалы. I. Из биографии Я. Н. Толстого. — Пушкин и его современники, вып. II, С.-Пб. 1904, стр. 66. Ср. В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов, С.-Пб., 1909 (по указателю).

⁴⁾ Нам известны письма Оболенского к О. А. Ленарскому (Русск. Стар. 1892 т. LXXV, № 7, стр. 174 — 175), М. И. Муравьеву-Апостолу (Декабристы. Материалы для характеристики. Под ред. П. М. Головачева, М., 1907, стр. 58 — 117), кн. К. П. Оболенскому (Русск. Стар. 1887, т. LVI, № 11, стр. 479 — 482), кн. П. Н. Оболенскому (Вестн. всемирн. истории 1900, № 4 (март), стр. 175 176), А. В. Протасьеву (Историческ. Вестн. 1890, т. XXXIX, № 1, стр. 116 — 145), гр. Я. И. Ростовцеву (Русск. Арх. 1873, кн. I, № 1, стр. 509 — XCVII (513.), Русск. Стар. 1889, т. LXIII, № 9, стр. 637 — 639; 1900, т. CIV, № 11, стр. 367 — 369)

оно служит яркой иллюстрацией к высказанному Б. Л. Модзалевским сожалению о бесследной пропаже имущества Толстого, среди которого „должно было находиться не мало... писем многих замечательных людей Европы и России, с которыми ему (Толстому) приходилось сталкиваться на пути своей почти восьмидесятилетней жизни“¹⁾.

С. Шестериков.

Ноября 25-го 859 г. Калуга.

Сердечно благодарю вас, любезнейший Яков Николаевич, за ваш листок из Парижа, пополнивший 35-ти летний пробел наших дружеских отношений²⁾.

С. П. Трубецкому (отрывок) (А. И. Дмитриев-Мамонов. Декабристы в Западной Сибири, С.-Пб., 1906, стр. 210—211) и Е. Н. Хвостовой (сборн. „Огни“, кн. I, 1916, стр. 300—305). Из писем к Оболенскому узнаем письма Г. С. Батенькова (Русск. Стар. 1901, т. CVIII, № 10, стр. 101—108), А. Ф. фон-дер-Вригена (Русск. Стар. 1901, стр. т. CV, № 2, стр. 437—444), И. И. Горбачевского (Русск. Стар. 1903, т. CLV, № 9, стр. 706—716; т. CXVI, № 10, стр. 221—239), Я. Д. Казимирского (Русск. Стар. 1901, т. CV, № 2, стр. 444—449), гр. Я. И. Ростовцева (Русск. Арх. 1873, т. кн. I, № 1, стр. 486—509, Русск. Стар. 1899, т. LXIII, № 9, стр. 617—633; 1900, т. CIV, № 11, стр. 369—378), К. Ф. Рыльева (Всемирн. Вестн. 1905, № 7, стр. 21. Общественные движения в России в первую половину XIX века, т. I, С.-Пб., 1905, стр. 252—253) и Н. Р. Цебрикова (Русск. Стар. 1903, т. CXV, № 7, стр. 67—70). Наши указания имеют случайный характер и, тем самым, не претендуют на полноту.—Библиографические данные по Оболенскому, приведенные в статье о нем в „Русск. Биографическом Словаре“. (Обезьянников-Откин, С.-Пб., 1905, стр. 34—38. зам. Е. Ястребцева), совершенно не надежны.

¹⁾ В. Л. Модзалевский, Яков Николаевич Толстой. (Биографический очерк)—Русск. Стар. 1899, т. С. № 10, стр. 199.—Из писем к Толстому мы знаем письма А. А. Бестужева (Русск. Стар. 1889, т. LXV, № 11, стр. 375—377; ср. Пушк. и его совр., т. II, стр. 67—68), кн. П. А. Вяземского (Полн. собр. сочинений кн. П. А. Вяземского, т. X, С.-Пб., 1886, стр. 58—59; Русск. Стар. 1899, т. IC, № 9, стр. 190—191; ср. Русск. Арх. 1896, кн. III, № 9, стр. 140—145), Н. И. Греча (Сочинения Николая Греча, т. V, Спб., 1833, стр. 194—224), кн. П. В. Долгорукова (Былое 1907, № 3, стр. 166) и Пушкина (Переписка, акад. изд., т. I, стр. 52—54; ср. Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина, 2-ое изд., С.-Пб., 1910—по указателю). Из эпистолярного наследия самого Толстого опубликованы, кажется, только письма к Н. И. Гречу (Историческ. Вестн. 1882, т. VIII, № 5, стр. 329), кн. П. В. Долгорукову (Былое 1907, № 3, стр. 166), К. Марксу (Д. Рязанов. Очерки по истории марксизма, М., 1923, стр. 396) и брату Н. Н. Толстому (В. Л. Модзалевский, о с.). Доводы Толстого на И. Г. Головина и кн. П. В. Долгорукова см. в Былом 1907 г. (№ 3, стр. 166—167) и у М. Демке, Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. (1908, стр. 529—530, 541—542, 558; ср. В. Модзалевский, Сочинения Пушкина под ред. С. А. Венгерова, т. I, стр. 566).

²⁾ Толстой уехал за границу в 1823 г. и после декабрьского восстания был в России на короткий срок лишь в 1837, когда состоялось его назначение корреспондентом министерства народного просвещения в Париже. Эта должность ставила его в интимно-близкие отношения к III отделению, что не мешало некоторым из его прежних знакомых и друзей (кн. П. А. Вяземского, А. И. Тургенева) не прерывать с ним общения. Агентурные обязанности Толстого были, повидному, не всем ведомы (ср. Д. Рязанова, о. с., стр. 395—412 (п сл.) и П. Н. Сакулин Русск. литература и социализм, Гос. Изд-во, 1922—по указателю).

Не раз в течение этого времени мысль обращалась к вам, не раз думалось, в первые годы, почему вы не с нами, почему мы не идем с вами путем тернистым, когда так дружно шли путем надежд и верований; но минутное размышление обращало мысль и чувство к тому исключительному положению, в коем вы находились, и мысль и чувство оправдывали ваше пребывание за границей, ваше добровольное изгнание из страны родной; вы были покойны и это понимаю; но счастливым вы не могли быть. Вы были сердцем с нами в горах Сибирских, чувством вы были с народом русским, вы следили за его историческими судьбами, вы не увлекались тщеславием за его воинскую славу (sic), хотя и радовались несокрушимому русскому духу. — Много и часто осведомлялся о вас от (sic) многих лиц, которых случилось видеть в течение многих Сибирских лет, и, наконец, получил известие, что вы заняты редакцией статей о России, помещаемых в иностранных журналах. Меня порадовало это известие, как знак доверенности, и полного примирения вашего. Многим лицам передавал и также мое желание передать вам мой дружеский привет, но или вас не заставляли в Париже, или не встречались с вами в этом многолюдном городе.

Михаил Михайлович ¹⁾ без сомнения рассказал вам многое о нашей Сибирской жизни. Во многом она была утешительна и замечательна. Последнее я отношу к тому русскому духу, который отразился в ней. Честно, свободно (по духу), без лицемерия, без угодливости прожиты были эти годы в семейном, дружественном единении. Но как достойно высказать то, что между нами являли наши русские жены; эта аристократия высшего нашего общества — по воспитанию, по связям и по богатству — показала себя и тут истинною аристократиею по духу. — Вот, любезнейший Яков Николаевич, элемент жизни, которого вы были лишены, живя вдали от нас. Верю, что вам отрадно было бы пожить в этой стихии — вы бы в ней ожили и сохранили живое воспоминание о времени, в котором душа не прозябает, но ежедневно растет с новыми силами, на новую борьбу.

Что скажу вам о нынешнем времени? Его характеристику можно отчасти выразить следующим образом. Отречение от прошедшего, колеблемость в настоящем, неполная вера в будущее. Последнее готовится, повидимому, добросовестно и сознательно. Благо нам, если реформа не коснется одной внешней формы жизни, но возбудит дух личной самостоятельности, гражданской свободы, и той личной и общественной инициативы, без которой мы не сбросим с себя той апатии, которая и в прошедшем и в настоящем составляет ту атмосферу, среди коей всякое живое слово принимает преждевременную кончину. Есть, однако, вера непоколебимая в Провидение. Оно есть Источник жизни — и тому, кто вкусил от этого Источника. Оно дает те жизненные силы, которые в состоянии преодолеть все препятствия, все

¹⁾ Липо нам не известно. Вряд ли это был близкий друг Оболенского декабрист М. М. Нарышкин (1795 — 1863) (ср. Русск. Стар. 1900, т. CIV, № 11, стр. 374 — 375).

преграды. У нас этот Источник жизни не иссяк, а с ним не иссякает и суд, и правда ¹⁾).

Сердечно радуюсь, что вы начали составление Записок ²⁾; я уверен, что они будут не только интересны, но и поучительны, если только будут составлять верный отпечаток или верную картину того времени, которое протекало между 13-ым и 25-м годом. С братом вашим Николаем Николаевичем я еще нигде не встретился ³⁾; но знаю, что он дал временный приют нашему покойному Ивану Дмитриевичу Якушкину, бывшему его сослуживцу по Семеновскому полку — и заочно благодарил его за дружественную готовность оказать услугу ⁴⁾.

Теперь прощаюсь с вами, крепко пожав вашу дружескую руку. Если увидите Николая Ивановича Тургенева и если он еще не забыл наших признанных отношений, то скажите ему, что я с любовью и уважением вспоминаю его труды на пользу общую, и что он не забыт теми, которые чтят всякую лепту, вложенную в хранилищницу общую, его же лепта была немало-важная. Если будете писать с Мих. Мих. — скажите мне, какое место вы ныне занимаете, сообщите, есть ли у вас семья, и не прекращайте совершенно сношений с искренно уважающим вас.

Е. Оболенский.

¹⁾ Припомним, что Оболенский был в это время в частой переписке с Я. И. Ростовцевым, который внимательно прислушивался к словам бывшего государственного преступника.

²⁾ Записки Толстого не опубликованы и о них до сих пор в печати не появлялось никаких сведений.

³⁾ Н. Н. Толстой (1794 — 1872), младший брат Я. Н., тверской помещик, в 1814 — 21 гг. служил в Семеновском полку, а впоследствии был тверским предводителем дворянства (В. В. Руммель и В. В. Голубцов Родословный сборник русск. дворянских фамилий, т. II, С.-Пб. 1887, стр. 511. № 246. Русск. Стар. 1899, т. CI, № 9, стр. 588. Русск. Провинциальн. Некрополь, т. I, М., 1914, стр. 863).

⁴⁾ В имени Н. Н. Толстого в Тверской губ. тяжело-больной И. Д. Якушкин († 12-го августа 1857 г.) прожил с марта по июнь 1857 г. Здесь его здоровье окончательно расстроилось.

Из автобиографии М. Р. Попова ¹⁾.

Я, М. Р. Попов—сын священника, Родиона Васильевича Попова, родился 14 ноября 1851 г. в местечке Глафировке Ростовского-на-Дону уезда, тогда Екатеринославской губернии, ныне Донской области, где мой отец в то время был дьяконом. Местечко Глафировка было крепостным владением помещика Нарецкого. В Глафировке я прожил до 10-летнего возраста, а 10-летним мальчиком был отправлен в Ростов в частную школу для подготовки в среднее учебное заведение. Таким образом, в эти детские мои годы я был свидетелем крепостных отношений крестьян к помещикам, и это несомненно повлияло на мое духовное развитие. Наш помещик был единственным представителем Нарецких, не имел ни жены, ни детей, при том калека, с разбитыми параличом ногами и руками. Большую часть своей жизни, которая протекла на моих глазах, он проводил у себя дома в постели или в кресле, и только изредка лакеи вывозили его в тележке из дому в церковь или для прогулки летом по аллеям. Был он, очевидно, человек не жестокого нрава, и даже, как говорят, добряк, но это не мешало ему быть проникнутым насильственными принципами крепостничества, и потому ему ничто не мешало любоваться из своего окна, когда по воскресеньям хлестали по живому телу плети и розги провинившихся чем-нибудь в продолжение недели его крепостных; и всех этих крепостнических насилий я вместе с моими товарищами детства, которых в счастье моему было у меня достаточно, был свидетелем.

Особенно врезалось в памяти моей одно из надругательств над человеческой личностью крепостных нашего барина, которые разнообразились „панинятами“, по выражению малороссов, т.-е. всякими крепостными холоуями, начиная от любимца лакея до управляющего. За что-то на почве религиозной, помнится, за то, что под праздник молодежь местечка, молодые парни и девушки, собрались на улицу попеть и поплясать, ревнители Христа, чтоб предупредить от пагубного пути уклонения со стези христианства, прибегли к такому средству исправления: заставили эту молодежь, вместе девушек и молодых парней, без всяких других орудий, приспособленных для этого рода труда, вычистить

¹⁾ Этот отрывок найден в рукописях, оставшихся после смерти известного землевладельца-шляхтыбуржа Михаила Родионовича Попова и доставлен редакции племянником покойного проф. А. М. Ладыженским.

отхожие места при барской конторе голыми руками. В какой мере это надругательство над человеческой личностью отразилось на лицах этих жертв крепостного произвола, говорит то, что даже мы, дети, подстрекаемые нашим детским любопытством, пришедшие посмотреть на столь остроумное средство религиозного воспитания, придуманное управляющим, прочли на лицах унижаемых молчаливый укор нашему любопытству и, сконфуженные, оставили молча место этой своеобразной экзекуции. Иногда из пассивных свидетелей мы делались посредниками между этими двумя сторонами населения Глафировки. Мы знали мнение наших старших о привилегированных и мнения крепостных о привилегированных, сообщаемые нам в виде жалоб на свою горькую судьбу.

Нарецкий, отдавая дань своим крепостным принципам, не имел никого из близких, по отношению к которым он мог проявлять свою лучшую сторону души, и в этом случае оставалось только одно духовенство. Он любовно относился к нам, детям, и мы таким образом имели возможность обращаться к нему в качестве ходатаев за крестьян. Особенной заботой нашей пользовался Никита, молодой еще парень, лет 24—25, сидевший постоянно в барской тюрьме за побег. В Глафировке он только и жил, когда сидел в тюрьме. Как только его выпускали из тюрьмы, так он вновь и бежал в донские степи и пользовался свободой до поимки. Его ловили, привозили в Глафировку, предварительно наказывали розгами и сажали в тюрьму. Когда он сидел в тюрьме, мы были его единственными посетителями и посредниками между ним и его невестой Зинаидой, из-за неразрешения жениться на которой он и бегал. Мы постоянно толкались у решетки Никиты, приносили ему пищу, вести от Зинаиды, а он это оплачивал тем, что рассказывал нам о неведомой нам казачьей вольной жизни, плел нам корянки из мягкого ивыака и лодочки из коры выдалбливал. Вел он с нами разговоры, как с взрослыми. Мы часто из опасения потерять столь полезного нам друга обращались к нему с просьбой прекратить побег и жить, как все живут в Глафировке; но на это он откровенно говорил так: „ну, подумайте сами, за что я буду даром работать на него? Что он, брат мне или сват: да и что он хорошего сделал мне? Скажем, к примеру, за что он не дает нам с Зинкой разрешения жениться? А вот украду Зинку и бежим к казакам. И нам удалось в конце концов выхлопотать ему разрешение повенчаться с Зинаидой.

Помню еще следующую сцену из крепостного мира Глафировки. Когда стали ходить слухи о выходе крестьян на волю, мы, дети, перед каким-то праздником толкались на аллеях, которые крестьянами к празднику посыпались песком. Молодой парень, Зипр по фамилии, взял из кучи горсть песка и, рассеивая его по аллее, как сеют зерна, сказал, обращаясь ко мне: смотри, Миша, и учись, как сеют добрые люди хлеб, а то вот как выпустят нас на волю, тогда ведь вам самим придется.

Первоначальное воспитание я получил в г. Ростове в частной школе, и в 62-м г., когда мой отец был уже священником после долгих колебаний между гимназией и семинарией, я был отправлен в духовное учи-

лице в г. Маруаполь, где пробыл 6 лет, да потом 4 года в семинарии. В семинарии я не хотел слушать богословских классов и по окончании общеобразовательного курса поступил в Петербург в медико-хирургическую академию.

Годы училищной жизни прошли для меня почти бесследно, не дав в положительном смысле ничего, но в [отрицательном] смысле несомненно варонили кое-что; училищная обстановка еще во многом похожа на „Бурсу“ Помяловского. Учителя, кроме недоверия, а некоторые и ненависти к ним, ничего другого не внушали нам. Насколько в запасе у нас было ненависти к нашим воспитателям, свидетельствует смерть смотрителя училища. Когда он лежал на столе и мы, ученики, по дежурству читали у его трупа псалтырь, то были выходы, которые вообще дети из-за таинственного страха перед смертью никогда не позволяют себе. Напр., дергали его за нос и уши, обращались к трупу с теми грубыми окриками, какие этот труп, будучи человеком, в изобилии расточал по отношению к нам, малышам.

Один только из учителей духовного училища, Дыбский, часто мне вспоминается; не скажу, чтоб он, как педагог, чем-либо выделялся из среды других моих воспитателей в этом училище, за исключением того, что он был горькую и редко когда бывал в классе не „с энергией“, о чем он сам, являясь на уроки, обыкновенно нас предупреждал, т.-е. не пьян, но у него было много житейского опыта и какой-то проникновенности в душу человеческую. И несмотря на то, как он сам же любил хвалиться нам, что, хотя у него и маленькие ручки, но больно бьют, тем не менее к нему мы относились с некоторым уважением. Нам всё же казалось, что у него есть что-то хорошее, нам неясное, чего у других наших учителей нет. Ко мне в последние годы пребывания в духовном училище он относился с каким-то особенным вниманием, с какой-то бережностью и даже любовью. Часто, обращаясь к остальным товарищам по классу, он, указывая на меня, говорил: Михаил Родюнович (он часто и иронически и серьезно любил называть по имени и отчеству своих учеников), хнытофатом не будет, не будь я Даниилом Кондратичем Дыбским, если я ошибаюсь. Я редко ошибаюсь.

В семинарии я был в Екатеринославе. Состав учителей в Екатеринославской семинарии в бытность мою был в общем очень хороший. За исключением ректора и учителя священного писания, да и последний был безвредный сухой формалист, остальные учителя многое сделали для нашего развития. Учитель истории М. Ив. Никольский предоставлял нам самим велаться с Иловайским, он же все часы урока читал нам лекции по истории, с особенным вниманием останавливаясь на народных движениях, как Европы, так и России. Его лекции о Смутном времени, Пугачевщине, Стеньке Разине и малороссийском казачестве держали нас в напряженном внимании. Он был любимцем, как семинарии, так и женской гимназии. Он был поклонник Костомарова и давал нам читать монографии Костомарова.

Учителю литературы и словесности Аркадию Ст. Цветову мы тоже много обязаны нашими знаниями литературы. Часто он приглашал нас, четырехклассников, к себе на квартиру, где вечера посвящались разговорам о Гоголе,

Грибоедов. Учитель греческого языка Константин Григорич Дубровин часто на уроке греческого языка являлся с „Отеч. Записками“, и мы читали их вместо греческого языка. Кратко говоря, о семинарии у меня сохранились хорошие воспоминания. Многие из учителей еще оставались верными принципам освободительного движения 60-х годов. К нам четверым: мне, Кудревичу, Цветкову и Присецкому, решившим покинуть семинарию для университета, большинство учителей относились с благожелательностью и добрыми пожеланиями.

Поступил я в духовное училище в 62 году, вышел из семинарии в 72-м. Таким образом из 10 лет моего пребывания в духовных школах только 4 года были производительны для моего развития, 6 лет пропали для меня бесплодно. В Медико-хирургической академии, куда я поступил по выходе из семинарии, я первые два года усердно занимался науками, особенно любимым занятием моим была гистология, я работал с микроскопом в кабинете проф. Заварыкина.

На первых порах я боролся даже с искушением принять участие в политическом движении, которое захватывало в то время всё молодое поколение, и на первых порах упорно держался правила, что прежде нужно сделать себя человеком, а потом уже думать о других. Но упорства этого хватило у меня только до 4-го курса. Помню я хорошо, как по настоянию Наталии Николаевны Оловянной, сестры Марии Николаевны Оловянной-Ашаниной, я отправился с квартиры их, на набережной Невы, держать переходный экзамен на 4-й курс и, остановившись на Литейном мосту, опершись на перила и смотря на воды Невы, решал гамлетовское быть или не быть: переходить ли на 4-й курс и оканчивать ли курс или нет? Год на 3-м курсе я уже принимал достаточно деятельное участие в революционном движении. Начиная с декабря, я бывал в академии только тогда, когда был куратором при больном, мне назначенном, остальное же время я жил в Колпине, где вел занятия с рабочими.

Нас часто социалдемократы упрекали в том, что мы, народники, мало посвящали внимания пролетариату. Это неправда. Напр., я, будучи членом Земли и Воли, вел занятия с рабочими в Колпине и именно знакомил их с социально-экономическими учениями Маркса. С первыми главами „Капитала“ Маркса я знакомил их по Мосту, для чего он переводился, и я им прочитывал; „рабочий день“ и все остальные главы Маркса читались мною им с объяснением по подлиннику этого капитального труда Маркса. Мне, значит, приходилось гнаться за двумя зайцами — и не поймать ни одного, ни другого. Вот о чем я и думал крепкую думу, стоя на Литейном мосту. Здесь я и решил бесспоротно бросить академию и вступить на путь революционный. С этого дня я вступил в партию Земли и Воли, пережил вместе с другими ее членами все события этого революционного периода вплоть до Воронежского съезда.

Воронежский съезд, как о том в своем месте, в предположенной мной статье, вы узнаете, остался при программе Земли и Воли, хотя и сделал значительные уступки членам, настаивавшим на том, чтобы расширить деятельность политической борьбы; тем не менее, на этом съезде уже обнаружилось ясно, что цемент, связывающий партию Земли и Воли, был не прочен.

Большинство стоявших за сохранение программы Земли и Воли, к которым принадлежал и я, сделало уступки товарищам, потом выделившимся в отдельную организацию под названием Народовольцев — только потому, что не могли не согласиться с людьми более энергичными, из которых одни, как Александр Михайлов, Желябов, Морозов действовали с полным убеждением, что никакой другой борьбе, кроме борьбы за политическую свободу, в данный момент нет места, другие настаивали на такой деятельности в силу чувства мести за те гонения, которым подверглись уже их товарищи по делу. Принималось также во внимание нами, назову нас правыми, в Земле и Воли, что мы бессильны были создать скоро что-либо, что имело бы агитационное значение среди наличного революционного настроения в данный момент. Притом же многие, как, напр., Баранников, Перовская и другие, прямо заявляли, что они временно только присоединяются к левым, и не потому, что они разделяют мнение таких представителей Земли и Воли, каковыми были Желябов, Зунделевич и Михайлов, а лишь потому, что раз начатое дело нужно кончить (таковым начатым делом было дело, не сделанное Соловьевым).

Так стояло дело до конца июля или начала августа 79 года, когда, возвратившись из-за границы, Стефанович и Дейч стали подавать надежды на то, что в Чигирине, по имеющимся у них сведениям, можно вызвать крестьянское движение. Эти надежды основаны были на том, что сидевшие в Киевской тюрьме крестьяне-чигиринцы, арестованные по делу Стефановича и Дейча, действительно рекомендовали вновь взяться за чигиринских их земляков. Им в тюрьме казалось, что теперь можно без всяких подложных манифестов, а на чисто реальной почве земельного вопроса вызвать в Чигирине крестьянское движение. Чрез посещавших их в тюрьме жен они по этому поводу сносились с своими, оставшимися на воле, земляками. Туда мне и предлагали в качестве краморя (офени) отправиться для исследования почвы. Было решено, что я отправляюсь с этой целью в Киев. По этому поводу и возник конфликт вновь с партией Земли и Воли, окончившийся тем, что я, Стефанович — с одной стороны, Тихомиров, Михайлов и Зунделевич — с другой составили комиссию, уполномоченную установить условия разделения. Произошел раздел, на котором постановлено было, что ни та, ни другая половина разделившейся партии Земли и Воли не имеет права продолжать свою деятельность под названием Земли и Воли. Плодом этого раздела и были вновь возникшие организации: Народной Воли и Черного Передела.

Предварительно посланный нами в Чигирин некто Петров нашел, что в Чигирине в массе крестьянство совсем не так настроено, как это кажется сидящим в тюрьме крестьянам, и что предложение, сделанное им Петровым, что туда явлюсь я в качестве коробейника с определенной целью, было не одобрено в данный момент, так как полиция и жандармы бдительно следят за Чигиринским уездом. Встретившись в Киеве с Стефановичем, я предложил ему вновь работать над соединением расколовшейся Земли и Воли и предложил ему ехать в Петербург с этой целью, на что он, как мне казалось, склонился. Но затем, когда я был в Одессе, я встретил там вновь Стефановича и Дейча и увидел, что Стефанович и особенно Дейч думают

иначе, чем я. Не говоря вполне откровенно о своих дальнейших намерениях, они предложили мне ехать за границу. Я отказался и вошел в переговоры от группы киевлян с бывшими тогда в Одессе Колодзевичем и В. Н. Фигнер. Там мы пока сговорились на том, что мы, киевляне, и они, одесситы, будем вести дела на юге совместно. Постановили образовать южно-русский рабочий союз и решили убрать с дороги 2-х генерал-губернаторов: в Одессе Тотлебена и в Киеве Чертезова (предлагаю вам решить, насколько уместна будет в настоящий момент такая откровенность; если такая откровенность не безопасна, то просто скажите, что я вступил в сепаративный союз с народолюбцами до поры до времени. И в то же время мы, киевляне, отправили в Петербург делегата для переговоров с народолюбцами в Петербурге о соединении При-сецкого (Ивана Николаевича) и ныне благополучного Лохвицкого земца и потом Маслова, о котором я не имею сведений). В феврале же месяце, 22 февраля 86 г., я был арестован на Крещатике. В июле месяце был приговорен военным судом к смертной казни через повешение вместе с Игнатием Ивановым. Но благодаря наступившей „Диктатуре Сердца“ Лорис-Меликова, по велико-милосердию его императорского величества, помилован с заменой смертной казни бессрочной каторгой. Наш суд происходил в тот момент, когда наступили и либеральные веяния Лориса и вместе с тем общественный подъем духа.

Во время суда нашего я спросил жандармского капитана Скавдракова, состоявшего при нас в качестве цербера, как он полагает, будет ли кто-либо приговорен к смертной казни? Он ответил, что, вероятно, приговорят 2-х — вас и Игнатия Иванова. Я думаю, — возразил ему я, — никого. Тогда он предложил мне пари. На что я ответил ему, что держал бы с ним даже пари, но кто же уплатит ему, если я проиграю — ведь меня же повесят. Этот разговор скорее имел характер шутки, и каково же было мое удивление, когда вдруг Стрельников, военный прокурор, на нашем процессе в своей речи, обращаясь к судьям, сказал: повесьте их, г.г. судьи, так как Попов говорит и даже готов держать пари, что теперь их не посмеют повесить. На суде же с этим прокурором произошло еще вот что. На его вопрос: принадлежу ли я к партии террористов? я ответил ему: я революционер. Тогда он, обращаясь к судьям, сказал: каков был белый лист, таковым и остается после ответа Попова. Напрасно так думаете вы, г. прокурор, и очевидно потому, что плохо понимаете, какое понятие вкладывается людьми в слово революционер. Я же думаю, что раз я революционер, то значит не остановлюсь ни пред какими средствами, допускаемыми политической этикой, ведущими к цели, к государственному перевороту. Если же не отвечаю на ваш вопрос — террорист ли? — то только потому, что не желаю доставить вам удовольствие известить меня на эшафот без всякого с вашей стороны труда. Вы прокурор, — и ваше уже дело доказать, что я прибегал к террористическим актам для исполнения моих заветных стремлений. На это он ответил мне, что вполне удовлетворен моим ответом; а затем, во время перерыва, проходя мимо меня, стал уверять меня в том, что я напрасно думаю, что для него составляет удовольствие известить меня на эшафот. Но как вы уже знаете, что он не побрезгал в своей речи

поведать суду, что я готов был с Скандраковым держать пари, что нас не посмеют повесить.

Заслуживает еще внимания на нашем суде этот эпизод. Незадолго пред нашим судом, но в безраздельное царствование Черткова, который не задумался пред тем, чтоб послать на эшафот Разовского, юношу, ни в чем неповинного, за то, что у него ночевал Сергей Дьяковский, который нашим судом был приговорен к 20 годам каторги, был приговорен к смертной казни Богуславский, по ходатайству Судейкина извлеченный от казни за обещание свидетельствовать на суде против нас. Стрельников в расчете на него думал нас разоблачить и пред судом, как людей безнравственных, и с этой целью наспиритовал этого Богуславского. Когда настал час предполагаемого Стрельниковым его торжества над нами, он предупредил суд: „сейчас войдет в залу суда Богуславский, который тоже был опутан ложью сидящими пред вами вот этими господами политическими деятелями, и вы будете иметь возможность оценить всю глубину безнравственности этих господ“.

Вводит Богуславского. Богуславский вошел, смущенно глядя на нас. Стрельников обращается к нему: г. Богуславский, расскажите пожалуйста нам вот об этих господах, вы вращались в кругах их, повторите пожалуйста ту нравственную характеристику ваших старых знакомых. Богуславский молчит. Не стесняйтесь, скажите нам, напр., что побуждает людей, вроде сидящих сейчас на скамье подсудимых, вступить на путь революции? Молчит Богуславский опять. Председатель суда повторяет вопрос, предложенный Богуславскому прокурором. Богуславский на этот раз негромко говорит: любовь к народу. Слуцкий был туг на ухо и переспросил еще раз: — что? что? Любовь к народу, громко отчеканил Богуславский. Тем и закончилось торжество Стрельникова, и Богуславский выведен при общем смущении присутствующего Судейкина и Стрельникова. Что затем было с несчастным Богуславским, — ходили слухи, что он умер в Старо-Киевском участке; какой смертью он умер, осталось тайной. Другого же, сбитого с пути истины запугиванием жандарма, Севастиана Ильяшенко, и содержимого до суда тоже в Старо-Киевском участке и на суде в первый день посаженного отдельно от нас, после 1-го заседания суда они тоже потеряли как свидетеля против нас.

Ильяшенко, выходя после заседания вместе с нами, на приглашение жандармов на прежнее место, отделенное от наших камер двором, сказал им: я не шпион и не желаю сидеть вместе с шпионами. После этого жандармам не удалось возвратиться к себе Ильяшенко и тем, что при его допросе нас всех вывели из суда и допрашивали Ильяшенко одного. Прокурор, потерпевший неудачу, утешил себя и очевидно хотел утешить и судей тем, что в обвинительной речи настаивал на показаниях, данных Ильяшенко на предварительном следствии, и советовал не придавать значения показаниям Ильяшенко на суде, так как показания Ильяшенко просто объясняются: Попов пообещал ему 50 рубл., вот он и отказался от прежних показаний.

М. Р. Попов.

На этом автобиографические заметки М. Р. Попова обрываются. О нем см. С. Г. Святиков, „М. Р. Попов“ в „Галерею шлиссельбургских мучеников“; М. Ф. Фроленко, „М. Р. Попов“ в „Голосе Минувшего“ 1918 г., кн. 7; В. Н. Фигнер, „М. Р. Попов“ в „Ростовской Речи“ 2 апр. 1917 г. М. А. Ладыженский „Из стан славных“, там же № 89. Воспоминания Л. Н. Гартмана „Былое“ загр. изд., № 3, стр. 180; то же в журн. „Русск. Истор. Библ.“, № 4, переиздания заграи. изд. „Былого“, вып. 1, 1906 г., изд. А. Парамоновой; „Общее Дело“ № 37, № 51; Русск. Ист. Библ. загр. изд. № 6, „Литература партии Народн. Воли“, стр. 534, 540, 546; (об Ал. Н. Петерсон) „Русск. Ист. Библ. № 6 загр. изд., стр. 61 (о брате М. Р. — Илье) там же, стр. 63, а также „Правит. Вестн.“ 1876 г. 9 дек. и у Базилевского „Госуд. прест. в России“ (дегил. изд.) т. I, 345, и т. II (негил. изд.), стр. 1 и сл.; Автобиографические заметки А. О. Михайлова: „На Родине“, № 3, стр. 59 и особ. 65, и „Былое“ 1906 г. февр., стр. 156; особенно стр. 162; „Продесс В. Засулт“, изд. „Современник“, СПб. 1906 г. стр. 123 — 126; Тун „История револ. движений в России“. Изд. Библ. для всех, СПб. 1906 г. предисл., стр. 30, 39; с. 163, 181; „Отзвук жизни“ вып. I Е. Серебряков, Очерк по истории „Земли и Воли“, СПб. 1906, изд. „Своб. Труда“, стр. 11, 22 — 24, 40, 45, 48, 53 — 60 (о статье в Нов. Вукаго-прид. и на др. фабриках); Плеханов, „Русск. рабочий в револ. движении.“ СПб. 1906, изд. „Пролетарнат“, стр. 89 — 94; К. Пажитков, „Рабочее движение в России“, изд. „Нов. Мир“ стр. 23 — 25. „Темы Жизни“ № 9, А. Ельницкий, „Первые шаги рабоч. движ. в России“, 1906 г. СПб., стр. 21 — 24, 88; В. Бурцев, „Северный Союз русских рабочих“, „Былое“ 1906 г. янв., 176 — 178, 192; Ю. Стеялов, Историч. подготовление русской социал-демократии СПб. 1906, стр. 77 прил.; „Былое“ № 6 (загр.) воспом. Е. Н. Ковальской (о Южн. Русском Раб. Союзе); Букин, „Итоги револ. движ.“ Женева 1903, прилеч., стр. 229 — 233. Официальные сведения о процессе 21-го (в июле 1880, в киевском военно-окружном суде) см. в переиздании из „Киевлянина“ в газете „Голос“ 1880 г. — обвинительный акт в №№ 231 — 237, 239 — 241, 248 — 249, 251, 255, 270 и сл., отчет о деле (сочинения известного Пихно): №№ 202, 206, 207, 210, 215, 217, 218, а также телеграммы в № 218, 218, 189 и хроника в № 192. См. также статью „Отъезд М. Р. Попова“ в „Сине Отч.“, 16 ноября 1906 г.; в „Начале“ 1905 г. 18 ноября „Открытое письмо“; „Вольное слово“ 1882 г., Женева, № 48; „Революционная Россия“ № 14; „Сведения из секретной книги жандармов“ в заграи. „Былом“ № 5 (янв. 1904 г.) стр. 77 и др., а также в „Былом“ 1906 г., авг., из показаний Ф. Куридина, стр. 283; Якубович, „Шлиссельбургские мученики“, „Голос Минувшего“ 1915 г., кн. IV с. 138; V, 118 — 120. М. Ф. Фроленко „Памяти дорогого товарища“ в „Нашей газете“ 1909 г. 6 (19) янв. № 4; Новорусский М. В., „М. Р. Попов“ в „Правде Жизни“ 5 янв. 1909 г.; С. М-ров „М. Р. Попов“ в „Молодых Порывах“ 1909 г. № 5 — 6; С. Святиков „Памяти М. Р. Попова“ в „Южн. Телеграфе“ 1909 г. 9 янв.; М. В. Новорусский, „Шлиссельбургская крепость“ СПб. 1920 г.; В. Н. Фигнер, „Записки о шлиссельбургской крепости“, Москва 1921 г.; М. Н. Покровский, „Русская история“ т. V, М. 1921 г.

Из произведений М. Р. Попова опубликовано „К биографии Ипполита Мышкина“ (из воспоминаний „Былое“, СПб. 1906 г. февраль); „Земля и Воля“ накануне Воронежского съезда. „Былое“ СПб. 1906 г. август; Военный суд в Киеве в 1880 г. Исторический сборник „О минувшем“ 1909 г.; „Любо“ в „Вестнике Европы“ 1912 г. кн. III; „Н. П. Щедрина“ в „Былом“ 1906 г., кн. III; „Е История рабочего движения в конце 70-х годов“ в „Голосе Минувшего“ 1920 — 1921 г.; „Л. А. Волкентштейн“ в „Голосе Минувш.“ 1917 г. № 8 — 9; „Мечты о свободе“ в „Голосе Минувшего“ 1917 г. № 7 — 8; „Политические беспорядки в Ростове-на-Дону в конце 70-х годов“ в „Русских Богатстве“ 1918 г. посл. книжка.

Неопубликованные произведения М. Р. Попова и письма его из Шлиссельбурга за время его двадцатилетнего заключения будут скоро опубликованы.

Проф. А. Ладыженский.

Неизданные письма И. С. Тургенева.

Три письма М. Л. Веллеру.

I

В статье Л. К. Ильинского „Тургенев и эмигранты“ („Литературно-библиологический сборник“, П. 1918, стр. 32 — 39) приведен обширный материал, характеризующий ходатайства Тургенева за эмигрантов, желавших возвратиться на родину. Л. К. Ильинский приводит, между прочим, и письмо Тургенева к М. Т. Лорис-Меликову от 2(14) ноября 1880 г. с ходатайством относительно студента Киевского Университета М. Л. Веллера, „соучастника противоправительственного общества в г. Минске“, бежавшего за-границу и мечтавшего о возвращении в Россию. „Милостивый государь, граф Михаил Тарнелович“, писал Тургенев в этом письме. „Я должен начать с извинения в том, что не получив еще ответа на письмо, посланное мною к вашему сиятельству, вместе с прошениями на Ваше имя двух наших эмигрантов, я снова решаюсь беспокоить Вас. Но если, Вы удостоите, прочесть прилагаемое прошение г. Веллера, а также и письмо его ко мне, то, смею думать, Вы найдете, что если когда-либо предстоит смягчить строгость закона, то именно в применение к этому несчастному юноше, о котором сверх того, я имею самые лучшие сведения. (ibid., стр. 37). „Судя по письму, прибавляет Ильинский, Тургенев здесь выступил уже с большим запасом сведений о лице, за которого хлопотал. Он его знал, знал о чистосердечности его раскаяния и являлся уже как бы поручителем за него“. Обстоятельства этого дела несколько подробнее выясняются из трех писем Тургенева к М. Л. Веллеру, еще не бывших в печати; подлинники их хранятся ныне в Одесской Государств. Публичн. библиотеке, куда они поступили в 1918 г. из собрания гр. М. М. Толстого. Из этих писем, между прочим, видно, что Тургенев Веллера лично не знал; когда последний обратился к нему с просьбой о ходатайстве, Тургенев отвечал письмом, в котором рекомендовал обратиться к Лорис-Меликову, обещая со своей стороны поддержать его просьбу. Отсюда же видно, что сам Тургенев посоветовал Веллеру основным мотивом своей просьбы выставить желание „посвятить себя единственно науке, совершенно отказавшись от политической деятельности“: в таком духе и было состав-

явлено прошение Веллера на имя Лорис-Меликова. „пришлите это письмо, не теряя времени, теперь минута удобная“, прибавил Тургенев. Действительно, т. наз. „Верховная Распорядительная Комиссия“, начавшая свою деятельность еще в марте 1880 г., приняла ряд мер, направленных, главным образом, к облегчению участи лиц, заподозренных в политической неблагонадежности „и вскоре состоялось „высочайшее повеление о решении впредь всех политических дел по личным всеподаннейшим докладам Лорис-Меликова, или же в его присутствии, а также об освобождении от полицейского надзора лиц, исправившихся в поведении и нравственности“.

Это повеление было, вероятно, известно Тургеневу и его он, конечно, и имел в виду, указывая Веллеру на необходимость потопорониться с ходатайством. Последующая история этого ходатайства Тургенева известна: подобно другим эмигрантам, Веллер получил возможность вернуться в Россию. Однако Л. К. Ильинскому остался неизвестен трагический конец всей этой истории: о нем мимоходом рассказывает И. Гурвич в статье „первые еврейские рабочие кружки“ („Былое“ 1907, кн. 6, стр. 65). Продолжателем студ. Шварца приехавшего в Минск с целями пропаганды среди рабочих, говорит он, „явился студент киевского университета Моисей Веллер, который успел распропагандировать несколько столяров.“

Веллер вскоре вынужден был скрыться, жил два года в Женеве, вернулся при Лорис-Меликове и в начале 80-х г.г. покончил самоубийством.

Ниже приводятся три письма И. С. Тургенева к М. Л. Веллеру.

М. П. Алексеев.

1.

(Seine et oise)
Bougival
Les Frénes

Вторник 18 окт. 80.

Милостивый Государь
Моисей Львович,

Въ ответъ на Ваше письмо, которое возбудило во мне искреннее участіе къ Вашей судьбе, позволю себе посоветовать Вамъ следующее. Напишите письмо гр. Лорисъ-Меликову (Михаилу Таріеловичу), въ котором изложивъ съ полной откровенностью Ваше прошедшее, Вы соообщите ему о Вашемъ желаніи возвратиться въ Россію присовокупивъ обещаніе впредь не заниматься политикой, а посвятить себя единственно наукѣ. Пришлите это письмо ко мне, и я его отправлю вместе со своей припиской. Ни за что, конечно, я ручаться не могу (я графа Лорисъ-Меликова лично не знаю), но быть можетъ дело удастся — и во всякомъ случае попытаться не мешает. Пришлите это письмо, не теряя времени; теперь минута удобная. Примите увереніе въ совершенномъ моемъ уваженіи.

Вашъ покорный слуга

Ив. Тургенев.

2.

Парижъ
50, Rue de Douai
24/8-го Декабря 80.

Милостивый государь
Монсей Львович!

Сейчасъ получено мною письмо гр. Лорисъ-Меликова, точную копию съ которого при семъ прилагаю.

Радуюсь, что и Вамъ предстоитъ теперь возможность возвратиться въ отечество и выйти изъ тяжелого положенія, въ которомъ Вы находились. Примите увѣреніе въ моемъ уваженіи.

Вашъ покорный слуга
Ис. Тургеневъ.

Г-ну М. Веллеру.

3.

Парижъ
50, Rue de Douai
26-го Дек. 1880.

Милостивый Государь,

Согласно съ Вашимъ желаніемъ, посылаю Вамъ при семъ точную копию съ перваго письма гр. Л. Меликова, которое действительно можетъ служить Вамъ полезнымъ документомъ.

Вполнѣ надѣясь на благополучное возвращеніе Ваше въ Россію, прошу принять увѣреніе въ совершенномъ моемъ уваженіи.

Ис. Тургеневъ.

Г-ну М. Веллеру.

II.

Два письма П. В. Анненкову.

Недавно владельцами ленинградскаго книжнаго магазина „Антикварнатъ“ были приобретены три письма И. С. Тургенева к его другу, известному критику, Павлу Васильевичу Анненкову.

Между ними, какъ известно, велась очень обширная переписка. Значительная часть ее, относящаяся къ 50-м и 60-м годам, опубликована Анненковымъ в его статьяхъ: „Шесть летъ переписки съ И. С. Тургеневымъ. 1856—1862 г.г. и „Изъ переписки съ И. С. Тургеневымъ в 60-х годах. Но, очевидно, напечатанные письма—лишь часть того богатства, которое еще не опубликовано. Сюда относятся и вышеупомянутые три письма, датированные 1853,

1854 и 1855 годами. Эти годы были для Тургенева тем переходным временем, когда он постепенно расставался со „старой манерой“ творчества и в голове его зрели новые творческие замыслы, которые впоследствии сделали его имя всемирно известным. Уже повесть „Два приятеля“ (1853 г.), о которой упоминается в первом письме, написана им в „новой манере“, характеризующейся стремлением писателя примирить пушкинский и гоголевский стили (см. об этом в прекрасном исследовании К. К. Истомина „Старая манера“ Тургенева. 1834—1855 г.г.). В этой манере будут написаны все лучшие его романы. Как и все, вышедшее из-под пера великого художника слова, предлагаемые вниманию читателей письма представляют собой большой историко-литературный и автобиографический интерес.

А. Белоглазов.

1.

С. Спасское.

25 ноября 1853 г.

Вы уже вероятно знаете, любезный П. В., что мне позволено вернуться в Петербург — и потому я об этом распространяться не стану ¹⁾. Мне весело, что я опять попал в общую колею — и я очень благодарен за это позволение — тем более, что и для моего здоровья оно очень полезно.

Я думаю выехать отсюда около первых дней декабря — в Москве я не остановлюсь и потому мы, бог даст, скоро увидимся, а Вам пишу это в среду, а мой секретарь, или говоря проще конторщик переписывает мой рассказ и если он будет готов к субботе (дню почты), я Вам все-таки его вышлю ²⁾. Читаю я плохо — да и Вам, я думаю, будет так сподручнее. Мнение свое Вы мне скажете, при свидании. Боюсь я только, как бы это мнение не ограничилось молчаливым указанием на камин. Повторяю, эта вещь как то написалась сама собою, и я, без шуток, совершенно не знаю, что это такое?

А приятно мне думать, что я скоро всех вас увижу. Я уже было начал дом в Орле и я не покидаю мысли съездить туда на выборы. Этого этюда я пропустить не хотел бы.

Вот еще о чем я хочу Вас просить. Так как я с собой возьму весьма малое количество денег и буду стараться жить как можно экономнее, то

¹⁾ В 1852 г. за напечатание известного письма по поводу смерти Гоголя, Т—я был посажен под арест в петербургской полицейской части, где и просидел 3 недели, а затем был выслан административным порядком в свое имение Спасское. Это подневольное житье в деревне продолжалось с начала июня 1852 г. до 23 ноября 1853 года, когда от самого начальника III-го отделения, графа А. Ф. Орлова, он получил уведомление о „высочайшем“ разрешении въезда в столицу, чем, конечно, немедленно и воспользовался.

²⁾ Очевидно, речь идет о рассказе „Два приятеля“, так как, по словам Н. М. Гутябра, „с конца марта до конца ноября 1853 года, т.-е. за 8 месяцев, Т—я написал один только этот рассказ“.

не можете ли Вы — так в свободные часы — осведомиться о какихнибудь двух комнатах меблированных. Я беру с собой одного человека — он же и повар ¹⁾, потому что с моим желудком мне о ресторанной пище думать нельзя — поэтому маленькая кухня необходима. Я бы очень был благодарен Вам за это. На первых порах, я остановлюсь в гостинице и тотчас дам Вам знать. Не ожидал я, так скоро увидеться с Вами! Это мне очень приятно.

От Фета я получил письмо и 2-ую книгу Горация ²⁾. Перевод также хорош, а на мои замечания он не согласен и особенно стоит за славянские слова. Впрочем я Вам все это покажу в Петербурге и мы с Вами потолкуем об этом и о многом другом.

В субботу прибавлю еще несколько строк. О своей свободе узнал я из письма, адресованного прямо ко мне графом Орловым, что очень любезно с его стороны.

Пятница. Я получил Ваше письмо — и хотя не Вы первый известили меня о перемене, произошедшей в моих обстоятельствах, но я благодарен Вам за эту дружескую и любезную мысль. Советы Ваши очень дельны. Вы можете быть уверены, что я себя буду вести так, что не подам никому повода к осуждению. Через Москву я проеду почти не останавливаясь, а в Петербурге буду жить для литературных занятий, кружка друзей, музыки и шахматов. Надобно сказать, что я сделался страстным шахматным игроком. Пора угомониться — не даром я стал сед, как крыса.

Кажется переписчик мой не успеет окончить рассказа и я привезу его сам в Петербург. Я, может быть, раньше отсюда выеду, чем предполагал, а именно 5-го декабря.

Я, в последнее время, много занимался перечитыванием старых Русских журналов. Оказалось, что все можно читать и во многом можно еще принимать интерес — кроме произведений двух авторов — Дружинина и Авдеева. Д. невыносим своей напряженной ложью — А. грошевой пошлостью, лежащей в основе всего, что он выпустил на свет. А язык у обоих легкий и быстрый. Очень умна одна (кажется Ваша) статья в 49-м году Современника, о Русской литературе, хотя мнение Ваше о Дружинине вероятно, с тех пор, определилось яснее. Мне одни имена его героев — Ланицкий, Радзенский, производят давления под ложечкой.

Суббота. Переписчик не кончил и потому я привезу рассказ сам. Выезжаю я отсюда в четверг 3-го числа и если буду жив прибуду в П-г 6-го или 7-го. Скажите от меня Тютчеву ³⁾ — что вольная Аграфены уже полу-

¹⁾ Своего рода „знаменитость“, повар Степан см. о нем у Гутьяра (И. С. Тургенев, Юрьев, 1907 г., стр. 121) и в „Первом собрании писем Тургенева“, стр. 53.

²⁾ О знакомстве Т—ва с Фетом, завязавшемся в это время, см. „Мои воспоминания. 1848 — 1849. г.г. Фета, стр. 5 и сл.

³⁾ Николай Николаевич Тютчев, друг Тургенева, управлявший его имениями (Гутьяр, стр. 131).

чена и я ее привезу. Если придут к Вам письма на мое имя (я позволю себе так распорядиться) храните их у себя.

До свиданья, милый А. Заочно обнимаю Вас

Ваш *Ив. Тургенев*.

P. S. Будьте так добры, заезжайте к Исакову (В. А. на Невском, против католической церкви) и скажите ему, что если он еще не посылал ко мне книг, чтоб он подождал.

2.

Спасское

1-го октября 1854 г.

Представьте, какое странное наше положение, любезный Анненков. Погода удивительная — и именно потому, что она удивительная и дождей нет, и вальдшнепов у нас нет, и стрелять решительно не по чем. Впрочем мы здоровы, и Некрасов даже работает. Он еще не знает наверное когда вернется в Петербург может быть скоро. Но, вот в чем дело — представьте библиотеку Б-о, ¹⁾ которую я нашел здесь, кто-то бессовестно ограбил: нет ни Гоголя, ни Пушкина, ни самых интересных годов Современника и Отеч. записок и т. д. и т. д. Это ужасно досадно. Помнится, я у Вас видал каталог этой библиотеки — пришлите мне его пожалуйста, как можно скорее — он мне очень нужен — я в Петербург не прибуду раньше половины ноября. Будьте здоровы, кланяйтесь всем и Тургеневым, если увидите их. Известите о Пушкине, ²⁾ если что выйдет благоприятное — и вообще не оставляйте известиями.

Ваш *Ив. Тургенев*.

3.

С. Спасское

25-го июля 1855 г.

Прежде всего благодарю Вас, любезный Анненков, за присылку Пушкина, но отчего Вы, так давно ко мне не писали? Если-б мне Писемский не написал, что Вы уехали в Симбирск, я не знал бы, где Вы находитесь. Пишу Вам в Симбирск. По милости холеры, я провел все это время дома и не охотился. Она было совсем стала проходить, но вдруг вспыхнула с новой силой, и теперь я каждый день имею удовольствие слышать голосбу баб на кладбище, которое у меня перед окнами. Можете себе представить, как это утешительно. От нечего делать, принялся я за работу, и окончил вчера преобладающую повесть, над которой трудился так, как еще ни разу

¹⁾ Белинского. С ним были очень дружны Тургенев и Анненков.

²⁾ Очевидно, речь идет о готовившемся издании сочинений Пушкина, вышедшем в 6 томах в 1855 г. в СПб. 7-й дополнит. том вышел в 1857 г.

в жизни не трудился ¹⁾). Совершенно не знаю, удалась-ли она мне. Мысль ее хороша, но исполнение, вот в чем штука. Я Вам ее прочту, если Вы, по обыкновению, не надуете меня и приедите ко мне в сентябре. С 5-го сентября по 5 октября я нигде из Спасского не выеду.

Я на днях получил письмо от Надежды Михайловны и Ольги Александровны ²⁾. Они Вам кланяются. Я в последнее время опять много начал думать об О. А. Что ни говори — это существо прелестное.

Напишите мне, слова два, о своих намерениях. Вы теперь забрались в свою берлогу, пожалуй, и не вылезете оттуда до Нового года, чем больше я размышляю, тем меньше имею надежду увидеть Вас в Спасском. Но знайте, что с 10-го окт. я в Петербурге, если останусь жив.

До свиданья — будьте здоровы и не забывайте

Преданного Вам
Ив. Тургенев.

¹⁾ „Пребольшая повесть“ — роман „Рудин“, который, как видно по черновой тетради Т-ва, „начат 5 июня 1855 г., в воскресенье в Спасском, кончен 24 июля 1855 г. в воскресенье там же, в 7 недель“. (Анненков. „Литерат. воспоминания“, стр. 493).

²⁾ Ольга Александровна Тургенева, однофамилица Ив. Сергеевича, впоследствии в замужестве Сомова, с которой он находился в дружеской связи в 1855 — 7 гг.

Александр III.

Личная характеристика частью по его ненаданным дневникам.

Родился Александр III в 1845 г. 26 февраля. Он был вторым сыном наследника, впоследствии императора Александра Николаевича и его супруги Марии Александровны. Поэты не воспели его рождения, не наделили высокими добродетелями, не сулили ему всяких благ и не делали пожеланий ему быть человеком или не забывать об этом „святейшем звании“, ибо второй сын не предназначался для „высочайшего звания“ быть царем.

Его и не готовили царствовать, как готовили его старшего брата Николая Александровича, как когда-то готовили его отца и двоюродного деда (см. Александр II). На „чреде высокой“ Александр Александрович вступил неожиданно для всех и самого себя, когда ему было 20 лет, когда, вследствие смерти великого князя Николая Александровича (12 апр. 1865 г.), он получил от него в наследство не только звание наследника-цесаревича, но и его невесту, датскую принцессу Софию Фредерику Дагмару, превращенную у нас в Марию Федоровну, с которой он и повенчался в 1866 г., 28 октября. Учиться было уже поздно, и Александр Александрович единственно, что успел сделать для пополнения своего образования, это прослушать в 1865 и 66 г.г., курс русской истории у приглашенного к нему московского профессора, С. М. Соловьева. Этот добавочный образовательный экскурс имел, вероятно, то значение, что возбудил у Александра Александровича некоторый интерес к русскому прошлому, преимущественно „патриотическому“.

Пробелы первоначального образования были однако настолько велики, что профессорские лекции не могли поправить дела. Александр Александрович на всю жизнь остался полуграмотным человеком. Орфография его вызывает невольную улыбку. Он упорно некоторые слова делил, из одного делал два и смело писал: „при нима“, „при дерзкие“, „а ось“. На подобное словопроизводство у Александра Александровича, вероятно, были свои основания, нам неизвестные. В других случаях можно догадываться, что писавший руководствовался учительским советом. Так на уроках русского языка Александр Александрович, повидимому, слышал, что запятую надо ставить перед придаточными предложениями, а что всякое предложение, начинающееся со слова „который“, „что“ — есть придаточное предложение, поэтому

пред этими словами должна быть непременно запятая. Ученик твердо усвоил последний совет и с изумительным постоянством пред „который“ и „что“ ставил запятую, пиша: „при, котором“, „за, что“ (вместо „при котором“, и „за что“). Да и вообще нередко он затруднялся в наложении и разрешался лишь ему свойственными стилистическими перлами. Так, однажды в своем дневнике (1869 г.), высказав свое огорчение по поводу незаслуженно оказываемого ему „недоверия“, наследник российского престола присовокупил с благородным негодованием: „Я могу это заявить всем и не побоюсь сказать не правды“¹⁾.

Очевидно, не на русскую грамоту было обращено внимание, когда Александр Александрович волею судеб стал „наследником“, а на политику. В этом отношении о нем, как о будущем самодержце, сульба позаботилась: он попал в цепкие педагогические руки профессора К. П. Победоносцева. Государственная мудрость Победоносцева, противоположная государственной мудрости М. М. Сперанского, и создала для Александра III, а потом и для его сына катехизис государственного порядка и управления. Общий смысл этого политического катехизиса мог быть характеризован тою стереотипною надписью, которую читали в „списке лиц, разыскиваемых по делам Департамента Полиции“, пред фамилией каждого из этих лиц: Обыскать, арестовать и препроводить в распоряжение Начальника С. Петербургского Губернского Жандармского Управления, уведомив о сем Департамент Полиции“. Во всяком случае политический катехизис Победоносцева далеко отстоял от слова „правда“, рекомендованного Сперанским в его руководстве для самодержавия (см. Александр II).

Победоносцев возвращал своего воспитанника очень далеко назад, когда царской неограниченной властью не клалось никаких моральных пределов, когда она считалась непогрешимой и, нимало не боясь за „неправду“ прослыть самовластием, могла жаловать и казнить по своему усмотрению, вдохновленному свыше, от бога. Простому, не отягченному знаниями, достаточно свежему уму воспитанника эта наивная, самим богом данная, неограниченность царской власти — „что и как хочу, то и так сделаю“ — пришлось по вкусу, а недоверие к общественным силам и презрение к народу, преподававшиеся Победоносцевым, превратили это архаическое представление о царской власти прямо в известную политическую формулу: „тащить и не пущать“.

Победоносцев был настоящим человеком; но в данном случае настойчивость его едва ли была особенно нужна, ибо политическое зерно попадало на благоприятную почву, хорошо подготовленную всей историей „самодержавия“ в России: Александр Александрович по всем традициям династии и не мог думать как-нибудь иначе, а не так, как учил Победоносцев. Сверх того, исключительно военное воспитание, которое получил Александр Александрович, тоже, как нельзя лучше, располагало его крепко верить в означенную формулу и считать ее спасительной для Российской империи. Он сам про себя

¹⁾ Дневник 1869 г. стр. 261; также дневник 1870 г. стр. 103 и др.

говорил, что из него вышел „исправный полковой командир“, а известно, что чаще всего именно такой полковник оказывался наиболее подходящим для явных и тайных полицейских должностей. Но будучи „наследником“, Александр Александрович не скоро нашел свое настоящее призвание — быть розыскных дел мастером. Очень долго он посвящал свое время другим интересам и другим делам. И как подобает „наследнику“, одно время недовольный своим „папа“ находился, как бы, в оппозиции правительству отца, а в обществе возбудил неосновательные надежды.

II.

Семейные интересы были одним из самых существенных, которыми жил Александр Александрович, будучи наследником российского престола. В дневнике цесаревича или „журнале“, как он сам его называет, проглядывает большая чувствительность, когда он говорит о семейных событиях и своей „Минни“, как он именовал свою жену Марию Федоровну. В первое время их супружества чувствительность цесаревича бьет ключом, соединяясь постоянно с широким потоком благодарности по божественному адресу. Семейные радости в глазах Александра Александровича покрывали всё, и если год для него и его семьи был счастливым, то он и следующий год желал бы иметь таким же, забывая, что для России восхваляемый год был совершенно иного характера — наоборот — очень несчастливым. Таков был 1868 г., когда разразился над русским крестьянством столь частый для него голод, как результат значительного недорода во многих губерниях. Но в этом же году у цесаревича родился сын первенец, названный Николаем, „которого“, пишет Александр Александрович, „мы ждали с таким нетерпением“. „Ожидание“ чета считала для себя „испытанием, которое господь посылает“ ей, и когда это „ожидание“ исполнилось, то всё в представлении счастливого отца окрасилось в розовый цвет, и Александр Александрович 31 декабря 1868 г. желал только одного, „чтобы и новый год был бы столь же счастливым для нас, родных и Матушки России“ ¹⁾. Сначала — для семьи и родных, а потом уже счастья хотя бы даже с голодом пополам, можно пожелать и для родины, почтенной наименованием „Матушки“ и еще с заглавной буквой; он так сильно желал нового „счастливого“ года, что слово „аминь“, которым он нередко скреплял свои записи, в этот раз написал с тремя восклицательными знаками. Александр Александрович был, как видно, недурной патриот, но несомненно еще лучший он был семьянин; по крайней мере, репутация его, как отличного семьянина, приобретенная им еще в пору наследничества, затем держалась за ним и в течение всего его царствования. С каким восторгом он приветствовал появление на свет своих детей! Прошло 10 лет с рождения первого ребенка, у Александра Александровича было уже два сына и дочь, но вот в 1878 году 22 ноября (2 декабря) родился еще сын — Михаил, и отец

¹⁾ Дневник 1863 г. стр. 183.

в своем дневнике не нарадуется на новое, ниспосланное ему свыше, счастье. Он отмечает все главные моменты радостного события. „Около 1/2 (половины) 9-го вечера“, торопливо заносит он в свой дневник, „боли усилились и у чащались (sic!) так что я уговорил Минни лечь в постель“. Нежность мужа очень скоро получила вознаграждение сторицею: „через час“ свидетельствует Александр Александрович, „всё было кончено и в 1/2 10-го родился Михаил Александрович. Минни и я были страшно счастливы и благодарили господу за его милость к нам и что он благословил мою милую душу жену“. Счастливый муж и отец испытывал не в первый раз такое „счастье“, но тем не менее оно не сделалось привычным, не производящим первоначального острого впечатления; наоборот, он по-прежнему реагирует на „событие“ очень остро, преклоняясь пред пережитой счастливой „минутой“. „Эта минута“, пишет он, „всегда торжественная и оставляет глубокое и сильное впечатление и подобные минуты в жизни не забываются“. Не были забыты и „родные“; уведомлен был немедленно и „папа“, телеграфировано было и „мама“, находившейся в Ливадии. „Папа“ не заставил себя ждать, в 1/4 11-го явившись приобщиться к счастью сына самолично — „и был тоже счастлив“, свидетельствует в „дневнике“ Александр Александрович. Все были довольны, не исключая и лейб-акушера Красовского, ибо „славу богу“, говорит Александр Александрович, „все шло отлично“. И финал был „отличный“: „К 12 1/2 часам ночи, сообщает тот же очевидец, „всё было кончено и Минни заснула и спала очень хорошо“. Как же не ликовать автору „дневника“ и в заключении записи об этом счастливом „дне“ не воскликнуть: „Я счастлив. Очень счастлив“¹⁾. Такова семейная идиллия Александра Александровича, — по его собственным показаниям. Но не все шло у него так гладко, как рождение детей. Уже в 60-ых годах наследник в известной мере привлекался к государственным делам, присутствовал на докладах министров и других высокопоставленных лиц у своего „папа“, и вот в этой-то сфере Александра Александровича тогда же постигли некоторые неудачи, заставлявшие его, вообще весьма уравновешенного человека, впадать то в раздражение, то в некоторого рода меланхолию, от которой он, впрочем, быстро отряхивался.

Эти настроения тоже нашли себе место в его дневнике. Так, однажды в 1769 г. (18/30 янв.) на докладе отцу военного министра Милютину, услышав о снова „сочиненной самой нелепой истории на наше ружейное дело“, „наследник“, как он сам пишет, „объявил, что всё, что говорят и сочиняют о нем (т.-е. о ходе „ружейного дела“), вздор и что ему, наследнику, „постоянно мешают вместо того, чтобы помогать“. Дело это близко его касалось, оно находилось под его наблюдением и очень сильно задевало его. По сообщению Александра Александровича, он решился даже „итти на пролом, потому что“, поясняет он, „все артиллерийское правление мошенники и подлецы, которые желают испортить нам дело и значит повредить всей России“. Александр Александрович упражнялся в патриотизме и ему такого соображения

¹⁾ Дневник 1878 г. стр. 182.

было „достаточно, чтобы действовать „самым энергическим (sic!) образом и довести“, говорит он, „мое дело до конца“ ¹⁾. Но, повидимому, это не так-то легко было сделать, как записать в дневник. „Папа“ оказывался более склонным следовать указаниям военного министра Милютина, а не своего сына. По крайней мере, Александр Александрович был очень недоволен Милутиным, который 1/13 марта (того же 1869 г.), докладывая императору „о ружейном деле и о последней комиссии, прибавил много своего и вообще“, по мнению „наследника“, „представил вовсе не так, как было“. „Наследник“ сидел тут же и молчал. Как он признается в дневнике, он „не хотел возражать, потому что это было слишком долго и к тому же оно совершенно лишнее“. Александр Александрович поясняет, почему „лишнее“: „мне“, говорит он с горечью, „никто не верит и говорят, что я только путаю и завел сумбур с моим оружейным делом“. „Заведение сумбура“, конечно, не могло аттестовать сообразительность сына пред отцом с особенно хорошей стороны, но сын не сдавался и, после одного из следующих докладов, уже не министра Милютина, а другого лица, решился объясниться с отцом: „Я хотел“, пишет он, „воспользоваться поговорить с „папа“ о моей записке и о всем ходе ружейного дела“. Он был уверен, что „папа“ заинтересуется его объяснениями. Но не тут-то было. Сын, как он сам свидетельствует, „жестокко ошибся“. „Папа“ просто не захотел слушать своего „наследника“, заявив ему, что он „сам слишком пристрастен“, что царское „спасибо“ уже сказано кому следует, а что ему, царю, „теперь нет времени и что он должен писать“. Это было для „наследника“ большим ударом, и он „не успел даже ни одного слова выговорить“: не удалось не только оправдаться, но и разъяснить „некоторые вещи“. Огорченный и даже оскорбленный (по его собственному признанию), наследник вышел вон. Отсюда понятна та лирика, которой Александр Александрович заканчивает описание этого прискорбного для него дня (10/22 марта). „Мне тем более грустно“, поясняет он свое настроение, „потому-что (?) это не раз, а почти на каждом шагу оказывают полное недоверие, которое все больше и больше становится мне тяжелее. потому-что (?) это не заслужено с моей стороны“. Пусть читатель не смущается несколько нескладным изложением: автор был очень расстроен отцовским приемом и потому говорит как до-революционный русский солдат, обычно начинавший свою фразу с классического — „так-что“, к тому же не забудем, что Александр Александрович был только военного воспитания и не был тверд в русской грамоте. Но зато он, как гоголевский городничий; был „в вере тверд“, что блистательно и проявляет в своих лирических излияниях. Неудача в попытке „оправдаться“ пред отцом вызвала в сыне такое душевное смятение, на какое только была способна его холодно-спокойная натура: он терзался, вспоминая как это произошло, и, видя, „что мог бы всё поправить разговором с „папа“, а не вышло этого, он впал в уныние. „Мне это никогда не удастся, „жалуется он“, „и мне решительно не хотят дать случая оправ-

¹⁾ Дневник 1869 г., стр. 201.

даться. Грустно, очень грустно, и даже обидно". Но Александр Александрович не хочет окончательно падать духом и подбадривает себя самовнушением о чистоте своих целей, надеждой на справедливую оценку кем-нибудь его деятельности впоследствии и, особенно, покорностью божественной воле... „Меня это (то, что „не хотят дать оправдаться“) вовсе не останавливает“, пишет он, „на моем пути к добру пользе и правде а вась (sic) отыщется один хоть человек на родине, который отдаст мне справедливость и не помянет меня лихом. Да будет воля твоя господи“. (Последние слова подчеркнуты)¹⁾.

Неповоротливый человек все-таки находил выход своему „оскорбленному чувству“.

Александр Александрович серьезно считал себя большим патриотом, и это сознание, кажется, было для него важнейшим утешением во всех претерпеваемых им невзгодах и неприятностях „Мое искреннее желание“, писал он позднее (31 дек. — 12 янв. 1870 года), это принести больше пользы моему милому душе „папа“ и моей милой родине“. Но, повидимому, отец не особенно доверил умственным силам своего сына-наследника и не слишком торопился допускать его к важным государственным делам.

Поэтому и принести пользу двум своим „милым“, хотя бы даже одному первому из них, отмечаемому всюду с заглавной буквы, не представлялось большого простора, и Александр Александрович с сокрушением сознавался самому себе, что, „до сих пор“ (т. е. до 1870 г.) он „ничего почти не мог сделать“ и что ему „редко когда удастся“. Это он приписывал тому, что у него „нет никакой должности и постоянного занятия“, тем самым как бы свидетельствуя, что он все еще в глазах „милого души папа“ и других, может быть, более влиятельных лиц, продолжал оставаться недорослем. Но патриот наш и тут не унывал, хотя, повидимому, и волновался, делая описки, совершенно извращающие то, что он желал сказать: „а если хочешь быть полезным“, наставительно для себя пишет он, но (не?) надо самому навязываться на дело и поэтому это так трудно и больших усилий мне стоит, (тут запятая, ибо-перед „что“) что-нибудь провести истинно полезное для России. А вась (sic!) с каждым годом все больше и больше будет это мне удаваться. Аминь²⁾. „Аминь“ — истинно так, унывать не стоило: еще много предстояло Александру Александровичу случаев послужить „милой родине“, да и пожить сообразно со своими благочестивыми буржуазными наклонностями, о которых тоже нелицемерно свидетельствует каждая страница его откровенного дневника.

III.

Началась русско-турецкая война, — и патриот-наследник под 7/19 мая (1877 г.) записывает: „Взятие Ардагана. Ура! ура! ура!“ Несколько дней спустя, Александру Александровичу пришлось принять участие на дунайском

¹⁾ Дневник 1869 г., стр. 260.

²⁾ Дневник 1877 г., стр. 165.

театре, и он прервал усердное писание дневника, по причинам, которые он не преминул изложить в дневнике, когда снова вернулся к нему по возвращении из „действующей армии“ в Петербург. „С 21 мая 1877 г. до 6-го февраля 1878 г.“ пишет он, „мы были с Владимиром и Алексеем в действующей армии на Дунае. Журнала своего я не писал, не было времени и кроме того я подробно писал жене в письмах почти каждый день и повторять то же самое еще раз каждый день невозможно. Что было пережито, пережито и передумано за это время и писать нечего, если вспомнить, что было и что происходило за это время. Вернувшись наконец домой, пошла снова (?) наша обыкновенная жизнь в Петербурге, но еще более тревожная благодаря всем политическим делам. Едва мы заключили мир с Турцией и мир почетный для России, как начались переговоры о Европейском Конгрессе в Берлине для окончательного решения так называемого восточного вопроса и неразрывно соединенного с ним общеевропейского интереса. На четвертой неделе поста мы говеем и пр. Пошли „дела семейные“ ¹⁾. „Политические“ же „дела“, прежде всего, это те, неожиданные для русской дипломатии и царского правительства, неприятности, которыми огорчила нас в Берлине европейская дипломатия, в особенности английская. Англичей наследник российского престола был сильно недоволен, и свое чувство крайнего раздражения поверял дневнику: „Англичане вмешиваются“, с негодованием записал он 7/19 марта 1878 г., „самым нахальным образом в наши дела с Турцией и страшно затягивают дело“ ²⁾. Много досадных минут доставили коварные англичане Александру Александровичу. Прошла неделя, а „дело“ не улучшалось. „Все еще вопрос о конгрессе“, пишет „наследник“, „не решен, а Англия мутит всех и не соглашается ни на что“ ³⁾. Понятна повышенная раздражительность в данном случае этого вообще спокойного человека: ведь, он сам был участником русско-турецкой войны, и потому мог считать себя сугубо заинтересованным в „пользе“ для „родины“, а тут вместо „пользы“ надвигалось несомненное посрамление.

Война и без того не оставила в бывшем начальнике Рущукского отряда особенно радостных воспоминаний, ибо и тут Александр Александрович „путал“ и чуть было не попал, вместе со вверенным ему войском, в большую беду. Но все-таки, в конце концов, за испытанное беспокойство и другие неприятности войны и ответственного командования можно было утешиться „почетным миром“, в достижении коего и „мы работали“, претерпевая для „милого папа“ и для „милрой родины“, и вдруг, невежливые англичане „нахально“ вознамерились уничтожить это утешение. Поневоле пришлось тревожиться и раздражаться, хогл, попрежнему, вполне бессильно.

Но у Александра Александровича в те же времена, незадолго до его собственного воцарения, бывали огорчения и более острые, это — огорчения

¹⁾ Дневник 1878 г., стр. 172.

²⁾ Дневник 1878 г., стр. 174.

³⁾ То же, стр. 178. Пунктуация подлинника.

не политического, а династического характера. Его „милый-папа“, как известно, не был безгрешным папашей. Еще при жизни своей супруги Марии Александровны он имел побочную семью от княгини Долгорукой, нареченной потом, когда он с ней тайно повенчался, княгиней Юрьевской. В 1880 г. Мария Александровна, давно болевшая, наконец умерла, и „милый папа“ новую семью свою начал вводить в близкое соприкосновение со старой семьей, допуская княгиню Юрьевскую одну и даже со старшим сыном к совместным семейным обедам в Зимнем дворце. Это очень волновало Александра Александровича и его супругу Марию Федоровну. Зима 1880 г. вообще была не из приятных для этой четы. Вследствие смерти императрицы, был установлен траурный режим, действовавший на жизнерадостных супругов, далеко неравнодушных к развлечениям, угнетательно. Мария Федоровна увлекалась танцами, любила балы, вечера, Александр Александрович был большой любитель театра, но, увы, все это лицемерно прекратилось, и „наследник“, отражая в дневнике, вероятно, не только свое настроение, но и своей маленькой, бойкой жены, писал: „Эту зиму здесь в Петербурге мы положительно не живем, а прозябаем, потому-что никаких театров и балов по случаю траура нет, да и прочих вечеров совсем нет“. Но главная неприятность — это княгиня Юрьевская и „юное семейство“ папа. „В особенности что тяжело“, говорит Александр Александрович, „это до сих пор ненормальное положение жены папа и его юного семейства и все еще мы тяготимся и очень этим новым положением“. Княгиня Юрьевская сделалась, как бельмо на глазу у наследника с его супругой, каждый день приносит им новые и новые огорчения: „каждый день“, жалуется Александр Александрович, „что-нибудь нового, то княгиня Юрьевская появляется на семейных обедах, то даже показывается публично; возит старшего сына к нам обедать и с нашими детьми и все это раздражает семейство, а в особенности Минни и Михен, и ставит их в еще более фальшивое положение с кн. Юрьевской, а отчасти и с „бедным папа“. „Семейство“ наследника забило тревогу. Появился призрак династического вопроса, испугавший прежде всего женскую половину. У страха, разумеется, всегда глаза велики, но все-таки это „юное“ отцовское „семейство“, при дальнейшей жизни Александра II, не могло не внушать семейству наследника опасений. Во всяком случае, это было неприятно и огорчительно, и потому под пером любящего сына „милый папа“ превратился в „бедного папа“. Даже послушного и почтительного сына сильно задевало „юное семейство“ отца, хотя сын и старался „сколько мог“, по его словам, „успокаивать всех“. Однако при этом чувствовал себя тоже нехорошо: „Но признаюсь“, пишет он, „что самому иногда невтерпех, потому что положительно заходит иногда слишком далеко и конечно шокирует всех“. Бедный сын-наследник! Как испытывалось его стоическое терпение! Особенно, когда княгиня Юрьевская со старшим сыном, тоже с „наследником“ „бедного папа“, стала появляться в дворцовой церкви. В первый раз семейство старшего наследника было прямо-таки потрясено этим событием. „На днях“, рассказывает в дневнике Александр Александрович, „все были сильно потрясены и неприятно удивлены

появлением княгини со старшим сыном у обедни в малой церкви в воскресенье 21 декабря (1880 г.)¹⁾.

Неприятный был этот год для Александра Александровича и его жены, почему и „простились не с особенным сожалением с 1880 годом“, пишет встревоженный „наследник“ и поясняет: „Столько было грустного, тяжелого в этом прошедшем году, даже вспоминать не хочется, так тяжело“.

На следующий „наступающий“ год этому человеку, наклонному к спокойной и „безмятежной жизни“, хотелось иных перспектив, полного спокойствия. Новый 1881-й год был встречен ими, „как всегда с Минни вдвоем в ее уборной“, по собственному удостоверению Александра Александровича. Никакого „празднества“ при этом не было. Была зато молитва от обоих супругов, о которой одним из них в дневнике записано так: „Молим господа, чтобы он благословил наступающий 1881-й год и даровал бы нам мир и тишину и чтобы наконец, можно было нам всем с дорогой Россией надохнуть свободно и наконец пожить безмятежно“²⁾. Ясно—человек очень утомился неприятностями и всей душой стремился к „безмятежной“ жизни.

Но прошло всего два месяца следующего 1881 г., как судьба поразила Александра Александровича новым „испытанием“—событием 1-го марта. „Бедного папа“ не стало, я огорченный „наследник“, наконец, получил свое наследство, превратившись в императора, „самодержца всероссийского“. От сердца его отлегло, по крайней мере, одна забота—касательно княгини Юрьевской и ее старшего сына... Но в виде страшного призрака появилась другая забота, еще более обременительная для не слишком геройского сердца—забота касательно самого себя, своей личной безопасности.

Он пережил целый ряд покушений на своего „милого“, потом „бедного папа“ и научился их бояться, если только ему надо этому учиться. В тяжелом воспоминании о 1880 г., которому итог он подводил в „уборной“ своей Минни, почему-то не нашлось места о предпоследнем покушении—о взрыве Зимнего дворца: очевидно, „не хотелось вспоминать“ об этом ужасном моменте, не захотелось вспоминать о неприятностях, навеваемых „юным семейством“. Вообще же, если он и научился бояться „покушений“, особенно увидав воочию, как и чем они могут заканчиваться, то справедливость требует сказать, что во время покушений на своего отца он держался достаточно твердо и спокойно, не переставал и в эти моменты брать от жизни то, что ему казалось интересным и приятным.

IV.

Александр Александрович с юности до конца дней своих был человеком самых ортодоксальных привычек. „Имя божие“, как мы уже видели выше, повторялось им по всякому поводу. Так начинал 5-ю книгу своего „журнала“, он писал в ней: „Дай бог, чтобы в ней было столько же отрадного, как

¹⁾ Дневник 1880 г. стр. 108. Пунктуация „подлинника“.

²⁾ Дневник, стр. 109.

в последней ¹⁾). Это было написано 29 июня 11 июля, 1868 г. Находясь еще под свежим впечатлением рождения старшего сына (16 мая 1868 г.), вероятно, „отрадным“ последней книги он считал прежде всего это событие, за которое впоследствии, при окончании 1868 г., он, как мы видели, благодарил „господа“ и обещался и впредь благодарить.

О себе, как о человеке, Александр Александрович был довольно скромного мнения и потому рассудительно умерял иногда возникавший у него помысл воспарить мыслью в своем „дневнике“. „Хотел бы“, говорит он, „иногда писать еще обширнее в особенности мои впечатления, мысли, желания, но решительно иногда нет времени, а кроме того мало кого будет интересовать“. Значит, человек „хотел бы писать для потомства, но, здраво оценивая свои умственные силы, не надеялся в будущем иметь читателей. В настоящем же, при своей жизни, он делал интимно-семейную тайну из всего им записанного, что опять-таки подчеркивало его семейные добродетели. Человек основательный, увесистый физически и духовно, он и свой „журнал“ писал не в изящных записных книжечках-календарных, как его отец, и не в простеньких „общих тетрадах“, как его сын, а в толстых и больших in quarto книгах-фоллиантах, в основательных кожаных, под старинный пергамент, переплетах с застешками, запиравшимися на замок. „Журнал“ буквально запирался, как секретная камера, указывая, что особым доверием к окружающим Александр Александрович не отличался уже с молодости. Впрочем, может быть, тут играла некоторую роль и та застенчивость, которая бывает свойственна и медвежкам: своих записей Александр Александрович как бы немного стыдился, что, разумеется, делает честь не только его скромности, но и литературному вкусу. „При моей жизни“, писал он, „я никому не покажу кроме жены ²⁾“, а после смерти я уверен никто не заинтересуется посмотреть в эти книги. Итак с богом вперед“ ³⁾.

Своей „Минни“ он не стыдился, от нее у него не было никаких тайн. В „дневнике“ его она могла бы, с его разрешения, прочесть и о маленьком увлечении, которое Александр Александрович, как можно догадываться, испытывал совсем незадолго до его собственной свадьбы, в том же 1866 г., когда он сочетался законным браком с бывшей невестой своего старшего брата. Была весна, апрель месяц. Отца его постигло первое, карагозовское „покушение“, описанное Александром Александровичем в „дневнике“ ⁴⁾.

Но наследник проявил большую твердость, и после разных торжественных выходов и радостных молебнов „по случаю спасения“, спокойно продолжал свою обычную жизнь, не упуская случая в бесконечных коридорах Зимнего дворца подстеречь и некую таинственную Н. Э., повидимому, фрейлину, к которой он был неравнодушен. Рассказав о „высочайшем“ приеме

¹⁾ Подчеркнутое слово так написано в подлиннике.

²⁾ Так в подлиннике.

³⁾ Так в подлиннике. Дневник 1868 г. кн. V, стр. 2.

⁴⁾ См. мою статью „Александр II“, Былое, № 20.

в „белом зале“, где говорились речи — верноподданническая одного из вельмож и ответная спасенного „папа“, — Александр Александрович продолжает: „После этого я пошел домой. В коридоре встретился с М. Э. и А. В., которые тоже ходили смотреть прием. Бедная М. Э. сильно простудилась и хотела даже лечь в постель“. Даже такую встречу с М. Э. в коридоре Александр Александрович считал нужным занести в дневник, как событие, далеко для него не безразличное; очевидно, М. Э. задела сердце этого фундаментального человека, нашедшего и слово сочувствия „поповоду“ мимолетной болезни очаровательницы. Александр Александрович, повидимому, искал этих встреч в „коридоре“. Прошло всего два дня — опять встретились там же, в коридоре. Состоялись проводы до дверей. Время было уже позднее. „В коридоре“, сообщает Александр Александрович, „не было ни души все уже спали. Поболтали еще немного. Я между прочим упрекал М. Э. за то, что она не хотела христосоваться со мной на пасхе и сказал ей, что можно теперь поправить это“. Произошло милое препирательство, впрочем, для просителя успешно:... „она долго не соглашалась“, говорит он, „и наконец подставила мне щеку“. Победитель не заставил себя ждать: я, свидетельствует он, „поцеловал, потом она повернулась другой, опять поцеловал“. На этом дело и кончилось. Провожаемая исчезла за дверями. Отворялись ли они в другое время для сорвавшего благочестивые поцелуи — неизвестно. Кажется, нет. Да и в этот момент обольстительница допустила поцеловать себя под предлогом запоздалого христосования — при свидетелях. Кроме А. В. тут был Владимир Александрович. Таково было безгрешное увлечение наследника, который, добившись щечек дамы своего сердца, — счастливый, сейчас же“, как он сам сообщает, „лег спать и заснул скоро“²⁾. Совесть его была спокойна.

„Покушения“ на его отца не выбивали его из колеи. Когда папа, после посещения Смольного, вернулся домой, началось семейное чаепитие, с участием и „наследника“, который разговаривал и курил с отцом, потом пошел к себе, писал „журнал“, принимал то того, то другого, опять „пили чай, курили и болтали“. Это было в первый день после первого покушения. Под конец этого дня наследник оказался еще более благоразумным: он „разделся и помолившись и поблагодарив бога за сегодняшний день“, по его собственному сообщению, „лег и заснул скоро“. На следующий день он тоже вел себя молодцом, не отступая ни на шаг от своих привычек и исполняя свои текущие обязанности: Встал рано, в 7 часов „и одевшись пошел пить кофе, потом курил и занимался“. Занятия были подготовкой к лекции Победоносцева, который явился в 8 ч. утра; выслушав этого профессора, наследник „пошел к папа и мама“¹⁾. Словом, паинька был этот крупный мальчик, примерный сынок своих папаш и мамаш.

Человек ввевшейся в его почти первобытный мозг традиции и установленного жизненного порядка, Александр Александрович проявлял и значительную

¹⁾ Дневник 1866 г., стр. 21 и 22.

²⁾ Ibid., стр. 15.

для него пытливость мысли. В то время (1871 г.), когда Париж был облит красным заревом Коммуны, „наследник“ российского престола, счастливый муж „душки Минни“ и отец семейства, глубокомысленно высчитывал, „сколько раз“ „в течение жизни“ они „были в нашей церкви в Анничковском дворце“: оказалось 37 раз. Интересовался он и другим важным вопросом, сколько он сделал верст по царско-сельской железной дороге в 1869 и 1870 г.г.; высчитал и нашел, что в первом из этих годов — 195 в., а во втором — 132 в., а всего 327 верст. Но, конечно, как благочестивый семьянин и верный представитель феодально-крепостнической монархии, он важнее железнодорожного вопроса считал церковный, и потому статистика посещения дворцовой церкви велась целый ряд лет (1871 — 1881 г.г.), так что, при своем воцарении, он мог бы отпраздновать десятилетний юбилей этого рода деятельности.

Но при всех своих образцовых достоинствах, Александр Александрович не был человеком внутренне деликатным. В истинном своем отношении к людям он был грубоват и, если далеко не всегда проявлял это свое чувство, то лишь потому, что в то же время он был трусоват, и потому сдерживался, когда показать себя в настоящем виде было почему-либо неудобно и могло повредить ему самому. Когда же ему приходилось иметь дело с человеком, с которым без ущерба для себя можно было и не стесняться, то Александр Александрович пред ним совершенно разоблачался и появлялся во всей природной своей красоте.

Еще не будучи женатым, но уже будучи „наследником“, он однажды, как он сам рассказывает, пришедшего к нему в гости какого-то знакомого „князя“ „без церемонии попросил уйти“; он видел, что князь был оскорблен, „вышел безмолвным“, но что же делать — можно этим пренебречь, по отношению к просто князю, ибо он, великий князь и цесаревич „очень устал и хотел спать“. А спать он и вообще очень любил. Так, внешней его топорности соответствовала и внутренняя, психологическая топорность.

Тяжелый, малоподвижный, флегматичный, Александр Александрович однако любил не только спать, но и повеселиться вволю. Любил он весело провести время в театре на каком-нибудь забавном водевиле, хохоча до упаду; посещал и умел петь и русскую драму¹⁾; любил и веселую оперетку в роде „Прекрасной Елены“, не оставаясь равнодушным к пикантным прелестям не только музыки, но и самой исполнительницы заглавной роли.

Впрочем, любителем музыки он себя считал по преимуществу, унаследовав эту склонность, как и некоторые другие черты характера, может быть, от своего деда Николая Павловича, и если тот играл на трубе, то этот внук его специализировался на тромбоне. Александр Александрович, кажется, считал себя знатоком русской музыки и, слушая оперу Рубинштейна: „Купец

¹⁾ В 1870 г. 15/27 декабря в дневнике Александра Александровича записано: „Вечером были с Минни в русском театре, где давали „Испорченную жизнь“ и пр. маленькие пьесы. Самойлов играл великолепно и вообще русский театр вовсе не так плох, как думают об нем“ (стр. 93).

Калашников" вскоре после взрыва в Зимнем дворце (25 февраля — 8 марта 1880 г.), нашел, что „музыка очень хороша и в особенности финал“ ¹⁾. Но, повидимому, еще более русской оперы Александр Александрович любил цыганское пение. Немного позднее „Калашникова“ он вместе с женой наслаждался таким пением на вечере у графини Шереметовой (12/24 марта 1880 г.): „были цыгане“, занес он в дневник, „и мы очень веселились“. „Потом ужинали, а после еще слушали цыган и до того увлеклись, что остались до 4-х часов, и вообще вечер очень удался и все были в духе“ ²⁾.

Если же к цыганам присоединялась хорошая выпивка, то было совсем хорошо, „дух“ понимался и входил в свои права еще больше, а в таком состоянии Александр Александрович предпочитал веселиться без жены: „простившись с Минни“, рассказывает он, „отправился на вечер к Николаше; были цыгане (последнее слово в подлиннике написано через ять), потом ужинали, кутили с цыганами до 5 час. Было очень весело и оживленно, и я очень веселился. Лег спать только в 1/2 6-го утра!!!“ ³⁾ Последнему можно было бы поверить и без трех восклицательных знаков, энергично поставленных высокопоставленной кутилой. „Николаша“ это — великий князь Николай Николаевич, чуть было не занявший Константинополь в русско-турецкую войну; кажется, устройство вечеров с цыганами ему удавалось лучше, чем командование действующей армией, и потому неудивительно, что он зачастил с этими вечерами. Прошло всего каких-нибудь три дня после столь пришедшегося по душе „наследнику“ кутежа, — опять вечер с цыганами (22 марта, — 3 апреля 1880 г.), — и Александр Александрович вновь „веселится“. На этот раз он начал вечер очень благочестиво: побывал с „Минни и детьми“ у всенощной, не желая пропускать „выноса креста“, затем покатился к неблагочестию. Так как царская фамилия приобрела уже похвальную привычку от церковных служб переключиваться к театральным представлениям, то неудивительно, что после „всенощной“ с ее „выносом креста“, супруги, „простившись с детьми, поехали во французский театр“. Но в этот момент не французы были на уме Александра Александровича, а цыгане, и он поспешил оставить свою „Минни“ в театре, „а сам отправился на вечер к Николаше“. Там уж были цыгане (опять в дневнике наследника написанные через ять): они пели „большим хором“, а гости слушали и пили. „В 1/2 1-го ночи ч., сообщает Александр Александрович, „ужинали очень весело“. Но этим весельем не удовлетворились. После ужина „перешли в турецкую комнату“, повидимому, существовавшую для веселия в самых высоких градусах, ибо здесь „слушали снова цыган и очень веселились и порядочно пили“. Можно поверить и последнему свидетельству, ибо веселие с цыганами само говорит за себя. У гостеприимного „Николаши“ без цыган дело не обходилось. И тогда, вскоре после описанного вечера, он пригласил

¹⁾ Дневник 1880 г., стр. 330.

²⁾ Дневник 1880 г., стр. 7.

³⁾ Стр. 9.

Выпос № 1 (29).

Александра Александровича на обед, то и тут оказались цыгане (опять буква ять), и обед затянулся до 3-1/2 часов утра, когда ничего уже больше не оставалось нашему весельчаку, как „вернуться домой и лечь спать“. Разумеется, компании была на обеде избранная, а именно, по сообщению „наследника“, следующие, кроме него, лица: Владимир, Алексей, Алекс., Кони, Ежен, Воронцов, Черевин, Шереметов, Витгенштейн, Клейнмихель, Ростовцев, Гали и Юрий. И тоже разумеется — „очень веселились“ (2/14 апреля) ¹⁾.

„Но потехе час, а делу — время“. И готовившийся в дар любитель непринужденного веселья, как мы знаем, стремился и к делу. „Милый папа“ его всетаки приучал к делу, хотя и с известной осторожностью, так как, при всей своей склонности к математическим вычислениям, „наследник“ не обнаруживал особой остроты ума. В 1868 г. он состоял председателем особого комитета, на обязанности которого лежит сбор и распределение пожертвований на голодающих, затем в бытность же свою „наследником“ он участвовал в заседаниях и Государственного Совета и Комитета министров, не говоря уже о военном командовании и о таких почетных должностях, как атаманство над казачьими войсками и канцлерство в Гельсингфорском университете.

Он даже был председателем Русского Исторического Общества, названного императорским и основанного при его ближайшем содействии, ибо он считал себя любителем не только музыки, но и русской истории и вообще старины. В последние годы царствования своего отца он привлекался также к участию в особых комитетах и совещаниях, в которых вырабатывались меры борьбы с террористами. К этого рода деятельности Александр Александрович особенно пристрастился. Он, не очень бойкий человек, быстро вошел во вкус всяких запрещений и охран, самым внимательным образом интересуясь организацией борьбы с революцией. Даже, когда, после второго спектакля, сняли „Купца Калашникова“ с репертуара, Александр Александрович, одобрявший музыку этой оперы, одобрил и запрещенные ее, „так как сюжет“, поясняет он, „весьма грустный (т.-е. не поддерживающий, а роняющий то, что ревностно охранялось) и несвоевременно давать теперь подобные представления“ ²⁾.

Зато „своевременно“ было устраивать диктатуру для борьбы с террором, который, добравшись до Зимнего дворца, чуть-было не уничтожил всю царскую семью (5 февраля 1880 г.). Учреждением особой верховной распорядительной Комиссии с генералом Лорис-Меликовым во главе и была в сущности установлена диктатура, в шутку названная „диктатура сердца“, за помесь обычной полицейщины с обычным же фальшивым либерализмом, приправленным еще восточной хитростью и лукавством. Александр Александрович встал в довольно близкие отношения с диктатором. Из дневника „наследника“ видно, что Лорис-Меликов часто посещал его, и они вместе толковали о мерах к подавлению революционной крамолы. 3/15 марта собе-

¹⁾ 10 и 15.

²⁾ Дневник 1880 г.; стр. 330.

седники более часа рассуждали на полицейские темы, и Александр Александрович вывел следующее заключение о деятельности Лориса-Меликова: „Дельно и энергично принялся он за дело“, говорит он в дневнике, „и дай бог ему успеха“ ¹⁾. Благочестие наследника, по обыкновению, заставило его и бога впутать в полицейский розыск, но это не помешало ему всетаки едвали не большую надежду возложить на самую организацию высшей полицейской власти. „Вчера папа“, сообщает он (27/15 февраля 1880 г.), „решил подчинить гр. Лорису — 3 Отделение. А. Р. Дрентельн оставляет совершенно место и назначается членом Государственного Совета, а заведывать делами 3-го Отделения будет Черевин“. „Наследник“ одобрил эту реформу, как скорее ведущую к цели, как „первый опыт к объединению полиции“, вследствие чего, по его мнению, „дело может только выиграть“ ²⁾. „Дело“ не „выиграло“: 1-е марта 1881 г. опрокинуло лорисовскую диктатуру. Наследник стал царем. Он был человеком более, чем зрелым (36-ти лет) и к политическому розыску считал себя достаточно подготовленным. И вообще характер Александра Александровича уже вполне определился к моменту воцарения: медлительно соображающий, но упрямый, он был устойчив в своих привычках, взглядах и поведении и твердо знал, что царствовать, это значит всякими средствами стремиться к покою и безмятежной тишине с веселием и выпивкой в тесном кружке удостоенных особым царским доверием лиц. Спокойный и хладнокровный, он однако способен был и выходить из себя и, не привыкнув уважать личности зависимых лиц, становился резким и грубым, и это было в полном соответствии с природой его души, склонной лишь к простейшим, элементарным эмоциям и почти совершенно чуждой тонкому сочувствию по отношению к другим, не близким ему людям.

V.

Сделавшись царем, Александр Александрович изменил отношение к своему „журналу“. В качестве „наследника“ он записывал события, мысли и чувства подробно, нередко даже очень подробно, не опуская даже курения и славословий; теперь на царском положении он стал очень скуп на сообщения и слова, ограничиваясь лишь весьма краткими замечками, а впоследствии и совсем забросил свой „журнал“. Неприятные для него события он, видимо, совсем избегал отмечать. Столь тароватый на рассказы о „покушениях“ на своего отца, он совершенно обошел покушение на него самого, и только в славословии „богу“, что 1-го марта 1887 г. „уехали благополучно“ из Петербурга „в милую Гатчину“, можно усмотреть как бы намек на пережитое в этот день, тоже несомненно „чудесное спасение“. Но в „журнале“ ни в этот день, ни в следующие дни ни о „злодеях“, ни о „спасителях“, не только о полицейских, но и о боге, как о спасителе, ничего не говорится.

¹⁾ Дневник 1880 г., стр. 2

²⁾ Дневник 1880 г., стр. 331.

Очевидно, это неприятно было вспоминать, и 1-го марта (1887 г.) Александр Александрович в своем дневнике кратко отметил только „дела семейные“: „Приводил в порядок комваты. Пил чай с Минни и детьми. Поехал. Обедали в 8¹/₂ с детьми. Занимался и Минни писала у меня. В 1 ч. легли с Минни спать“. И была пора, ибо поутру приходилось снова приняться за самодержавное управление „милой родиной“, как он когда-то писал, будучи наследником. Но не мила была ему Россия теперь, если от нее он спрятался в Гатчину, которая, как убежище от врагов, и стала ему „милой“. Отсюда и исходила „государственная деятельность“ Александра III, пропитанная полицейизмом. Она и могла быть только такой. Трагические условия воцарения Александра III, устрешенного убийством его отца террористами, навсегда определили линию государственного поведения этого царя, направив все силы его ума на охрану себя от возможной гибели.

Попытки революционеров покончить с ним могли только укрепить его на полицейской стезе, на которую он вступил в последние дни царствования „бедного папа“. И мы в течение всего его 13-ти летнего царствования видим на российском престоле как бы отставного военного человека, променявшего военное дело на дело полицейского сыска, преследования и пресечения, и повольно вдохновившего некоторых высокопоставленных лиц, уловивших главный нерв внутренней политики, в создании тайной и добровольческой полицейской и провокаторской организации под названием „священной дружины“. Несмотря на то, что Александр III считал себя „исправным полковником“, он не любил военного дела так, как оно было любимо его предками. В качестве начальника так называемого Руцукского отряда во время кампании 1877—78 г. г. он познал на практике дело войны, не обнаружив при этом ни талантов стратега, ни личной храбрости, и оно, это дело, ему не понравилось. Не нравилась ему и столь милая его отцу, дедам и прадедам игра в войну и в всенную службу. Уже самая физическая организация этого царя большого роста с тучным тяжелым телом и потому с неуклюжими, неповоротливыми движениями, не располагала его к воинским маневрам, смотрам, парадам, обыкновенно соединявшимся с переодеваниями в разные мундиры, иной раз и совсем не подходящие к его более чем солидной фигуре, напоминавшей средних размеров медведя; а, главное, все эти воинские операции часто требовали появления перед фронтом на коне, что едва ли более было приятно Александру Александровичу, чем тем лошадям, на которых ему приходилось садиться. И из него вышел, в сущности, не исправный полковник, а разве исправник из полковников, любивший сидеть дома и отсюда управлять Россией. Словом, вышел царь-домосед. И он засел в своей Гатчине. Опасность, которую он постоянно чувствовал над собой, заставляла его сторониться от „большого света“, избегать всякого многочисленного собрания людей, будь то на придворном балу, на военном смотре, или на разводе, с одного из которых его отец сошел прямо в могилу. Даже коронацию, столь необходимую для царя, минительно боясь появляться перед толпой, он откладывал сколько было возможно. Неудивительно, что потом и из Гатчины он выезжал в Петербург лишь в редких и неотложных случаях.

считая эти влезлы тяжелой и неприятной для себя повинностью. Гатчина сделалась его убежищем от „мирской суеты и докучи“. Здесь он занимался в простой и однообразной жизни, с текущей повседневной работой и со скромными домашними развлечениями. То устраивался вечер с партией царя в тесном кругу особо доверенных лиц, чаще всего с другом и шутом его, генералом Черевинным. То царь, как известно большой любитель музыки, раньше никогда не избегавший случая послушать „императорскую оперу“, устраивал музыкальный вечер, при чем и сам принимал участие в квартете, играя на тромбоне. Хороший семьянин, он любил такого рода радости в семейном кругу, особенно если они соединялись с возможностью хорошо выпить. Тогда царь впадал в полное благодушие, ложился на пол на спину и, заливаясь веселым смехом, начинал ловить проходящих за ноги, предпочитая мужчин и бегавших вокруг царя детей. Это доставляло Александру III много удовольствия и означало, что он уже очень много позволил себе угодиться; в этой наивной реваности расшалившегося медведя только и проявлялось повышенное выпивкой настроение царя. Обращаться за подкреплением к животительной и возбуждающей влаге Александр III вообще любил и никогда не хотел помириться с указанием врачей, что ему это вредно, когда у него от настойчивости в упомянутом обращении и от ушиба при крушении поезда обнаружилась хроническая болезнь почек, тоже настойчиво дававшая о себе знать и грозившая преждевременно довести этого сильного и крепкого от природы человека до могилы. Устоять от соблазна на домашних вечерах Александр III не мог и не желал; но за ним зорко следила „милая душа Минни“, апелировавшая к медицинскому запрещению, — и было нелегко, несмотря на самодержавие, игнорировать это запрещение слишком откровенно. Тогда царь вместе с постоянным собутыльником Черевинным пустился на хитрость. Как сообщал потом последний, были спиты для каждого из них сапоги с более широкими, чем обыкновенно, голенищами, дабы можно было засунуть туда довольно большую фляжку вместимостью в бутылку, — и дело выпивания пошло, как по маслу. Фляжки за голенищами у того и у другого были наполнены коньяком и вынимались оттуда в те моменты, когда царица, обходившая целый вечер игравших в карты с целью наблюдения за супругом, не заметив ничего подозрительного, успокоенная удалялась из той комнаты, где играл царь; в эти счастливые моменты царь и подданный, молча, переглядывались и, вынув из-за голенищ свои плоские фляжки, наскоро глотали коньяк, боясь как бы не быть застигнутыми „августейшей“ соглядатайшей. И, действительно, когда она появлялась вновь, за царским столом все „было спокойно“: муженек невозмутимо был погружен в свою карточную партию. Эта проделка у софляжников шла под лозунгом: „Голь на выдумки хитра“, и заговорщикам бывало очень весело, что она шла так хорошо, с выразительным перемигиванием друг другу и в три несложных приема, в роде ружейного — „на караул“. „Раз, два, три!“ вспоминал впоследствии благоговевший пред Александром III Черевин, „вытаскивая фляжки, пососем, и опять как на в чем ни бывало... Раз, два, три! — Хитра голь, Черевин?“ — „Хитра, ваше величество. Раз, два, три!“ — И сча-

стливые друзья снова „сосут“. Пред нами и в царском звании громадный, медведеобразный младенец. Так и кажется, что у него непочатый край беспечности и благодушия, и всякий, смотря на него за карточным столом или потом, когда он раскрасневшись и блистая лысиной, к удивлению Марии Федоровны, бдительно надзиравшей за его поведением, под конец вечера опять радостно бархтался на спине и забавлялся ловлей за ноги проходящих, всякий сказал бы: вот человек, наслаждающийся прекрасным здоровьем и полным душевным равновесием, чуждый ненависти и гнева... Сказал бы и ошибся. Здоровье этого силача в 40 с небольшим лет было подорвано, внутренний смертельный недуг, маскируемый размерами тела этого человека, неуклонно вел его к гробу. Душа его, едва заметная среди такого количества мяса и жира, тоже была подавлена и угнетена сознанием постоянной опасности, в коей находилась его жизнь, и наблюдательные люди замечали, что в его равнодушном взгляде — нет, нет, да и промелькнет грустная тень скрываемого страха. Выдержкой, мы знаем, обладал этот с холодным обращением и отрывистой речью человек. Это сказывалось уже в том, что он позволял себе приходить в беззаботное настроение „годи, на выдумки хитрой“ лишь после того, как отбывал деловую часть дня.

VI.

Дела Александр III не чуждался, даже напротив: он ежедневно работал очень много, не допуская в эти часы к себе без доклада даже свою попечительную супругу и состоя в это время под охраной неизменного Черевина, располагавшегося в комнате подле царского кабинета и имевшего исключительное право войти туда для доклада. У Александра III было упорство в труде, как в физическом, к которому его мощный организм наиболее тяготел, настолько, что однажды в Аничковом дворце царь единолично произвел всю работу обойщика по уборке комнат и развешиванию картин, так и в умственном, к которому направляло его положение самодержца. Оно обязывало работать по управлению государством с величайшим усердием, и Александр III это усвоил твердо, а, усвоив, осуществлял на деле с тем упорством, на какое только была способна его элементарная натура. Многого в этой работе Александр III не понимал по своему, приводил в недоумение даже своих, выдавших виды, министров. При разъяснении дела он не прочь был иногда и поступиться своими слишком поспешными решениями. Но в чем был убежден, на том стоял твердо. К бедствиям народным, о которых ему сообщали, он относился спокойно, лишь отмечая на докладах словом: „неутешительно“. Узнав из одного показания революционера, что тот в юности имел своими героями Лопухова и Базарова, царь о последних любознательно осведомился: „Кто это“? отрывисто спросил он и, по получении ответа, что это — герои романов Чернышевского и Тургенева, спокойно-меланхолично перешел к очередным делам, не оспаривая разъяснения. По отношению только к одному вопросу он способен был оставлять свою обычную

живу спокойного и несколько меланхолического равнодушия, это по вопросу о его позиции помазанника божия. С нее нельзя было бы сбить Александра III никакими силами; он свято верил в свое помазничество по стародавней традиции, подкрепленной змеинными устами Победоносцева и рабски-преданными гимнами Каткова. На этой позиции Александр III держался крепко, иногда, в необычном положении, обнаруживая оригинальный выверт мысли, не лишенный топорного, как и вся его личность, юмора. Когда однажды надо было дать ответ на какой-то запрос, в котором были заинтересованы европейские державы, а Александр III в это время занимался в Финляндии ужением рыбы, то, как рассказывают, помазанник божий лицу, докладывавшему о спешности обще-европейского дипломатического дела, нимало не усумнился ответить так: „Когда русский князь удит рыбу, Европа может подождать!“ Это похоже на Александра III: он именно так, употребляя стародавнее слово, „высокоумничал“ о своем самодержавии. Оно-то и было в его представлениях тем центром, откуда выходили и куда возвращались все его мысли и чувства. Это была его основная и, пожалуй, единственная общая идея, с точки зрения которой он оценивал дела и людей. Но быть самодержцем и узником в одно и то же время, хотя и добровольным, в своем гатчинском или ливадийском монрепо,—это такое противоречие, которое не могло не вызывать в Александре III злобы и ненависти к тем, кто убил его „милого папа“, кто покушался на него самого и заставил его уединиться и быть постоянно под охраной и в вечном страхе. И в уединении злоба и ненависть росли и крепли, внушая этому затворнику мысль, что главное государственное дело, у которого он должен стоять, это вывод из России революционной „красоы“. Этим делом Александр III занимался самостоятельно и весьма внимательно, лишь вдохновляемый своим главным политическим пестуном Победоносцевым. В ученике отражался учитель, но надо сказать, что и сам ученик в означенном отношении был не хуже учителя и твердо стоял на своих собственных ногах. На докладе об аресте Цебриковой за ее брошюры — „Письмо к Александру III“, „Каторга и ссылка“, царь написал: „Брошюры при дерзкие“. Это было еще сравнительно мягкое выражение по отношению к политическому врагу, в данном случае обратившемуся к царю с словами убеждения. Вообще же Александр III совсем не церемонился в выражениях, дабы выразить ненависть и презрение к революционным деятелям, для коих в его лексиконе не находилось других слов, кроме — „каналья, дрянь, негодяй, дурак, скотина, скот, ослы“ и т. п. слов, украшающих его резолюции на докладах о разных „государственных преступниках“. Иногда в этих революциях чувствуется раздражение на сильных и стойких людей: „Порядочная скотина, ничего не показывает“, „Дрянь мальчишка и дерзкий“, досадливо в разное время писал царь, но иной раз, как будто-бы, он входил во вкус розыскного дела и приходил в то природное „благодарное“ настроение, за которое в молодости он слыл „добрым малым“, а в таком настроении он влил и милостивую резолюцию: „Хорошо пишет каналья“, написал царь на одном из полицейско-

политических докладов. Так внимательно относясь к расследованию политических преступлений, Александр III сам вводил свое правительство к беспощадному преследованию революционеров, и ему лично, а не кому иному принадлежала инициатива наиболее суровых кар по отношению к ним.

VII.

Смягчить Александра III было невозможно; достаточно вспомнить, что его нимало не тронуло даже кровью сердца написанное ему письмо матери А. И. Ульянова, письмо, на котором царь написал до призыва жестокою резолюцию ¹⁾. А. И. Ульянов был одним из главных организаторов покушения 1-го марта 1887 г., и Александр III, счастливо избежавший смерти, был не в состоянии отнестись к просьбе матери за обреченного на смерть сына иначе, чем он отнесся. Это дело близко его касалось, и он решительно принялся за него сам. Прежде всего он занялся, как это делал и его отец, „спасителями“. На докладе о „событии“ он написал: „на этот раз бог спас“ и прибавил меланхолично: „но надолго ли?“. Потом „повелел“ благодарить „всех чинов и агентов полиции, что не дремлют и действуют успешно“, а также „присылать“ ему все данные дальнейшего розыска. Своих спасителей-полицейских агентов и городских, участвовавших в арестовывании на улице 5 террористов с бомбами, Александр Александрович отблагодарил и более существенно. 9-го марта, как рассказывает один из них в прошении на Высочайшее имя об усилении данной ему за „государственный подвиг“ пенсии, все „спасители“ 11 человек были вызваны в гатчинский дворец и приняты царем „в присутствии всего августейшего семейства“. Тут Александр III благодарил их „за верную и преданную службу“ и сказал: — „Поберегите меня и впредь“. Но сухая ложка рот дерет, и царь, „обходя каждого отдельно“, выдал „верной“ охране „из собственных рук“, говорит один из нее, „по золотой медали с надписью „за усердие“ на Александровской ленте и по 1000 р. денег в пакетах“. „В скором времени, после этого“, пишет дальше один из „спасителей“, „было нам сообщено через г. министра внутренних дел графа Толстого, бумагою под наши расписки, что его величество еще раз благодарит нас и желает, чтобы мы еще послужили на этой службе“ ²⁾. Обстоятельно вел Александр III розыскное дело. Взывал, чтобы „поберегли его“, он ласкал полицию тайною и явную; желая устроить и образумить „крамольников“, он придумывал для них самые чувствительные „наказания“. По поводу 2-го первого марта он начертил: „По моему мнению“, пишет он, „лучше было бы узнавши от них все, что только возможно, не предавать их суду, а просто без всякого шума отправить в Шлиссельбургскую крепость.

¹⁾ См. мою статью — „Победоносцев“ в *Былом*, 1924 г. № 24.

²⁾ Дело Канц. Комиссии Прощений на Высочайшее имя. 3-е Отделение, 2-й стол. Нач. 26 мая 1906 г. Кончилось в 1909 г. 1-е Отд. Юридич. Секции ЕКАФ (Архив бывш. Государственного Совета).

Это самое сильное и неприятное показание¹⁾. Но однако не „смертная казнь“, которой, в конце концов, были преданы 5 перемартовцев второго призыва. В некоторой мере Александру III было тоже свойственно то бессердечное лукавство, которым отличались все Романовы XIX века. Надаром он придумал для осужденных к смерти особое смертное томение, которое они должны испытать, когда секретно было предписано смертный приговор не приводить в исполнение; осужденный не знал этого долго и в смертной тоске ждал исполнения... Это было особо изысканное мучительство, и для очень многих лиц, ибо военному суду тем же „благодущным“ монархом, как называли его современники, было „словеско“ повелено „объявить“ обвиняемым только смертную казнь и ничего не сообщать до поры до времени о возбужденном ходатайстве о смягчении их участи.²⁾ Простой ум царя естественно тяготел к простоте во всем, в том числе и в наказаниях; так, на докладе министра внутренних дел о беспорядках во время холеры 1892 г. Александр III начертал: „телесное наказание единственное средство покончить с этим брожением“. И по царскому слову захваченные крестьяне и рабочие были разложены, и спасительная розга засвистела, не освобождая однако главных „виновников и подстрекателей“ от тюрьмы и „от предания затем военному суду“. ³⁾ Это действительно „просто“, хотя и немилостиво. Но не так просто смотрел Александр III на политических, которых считал своими личными врагами. Тут он пускался на придумывание „самого неприятного“ наказания, из-за действительно простых и неулыбчивых фраз царя пред нами выглядывает мрачно насупившееся лицо озлобленного и мстившегося человека, упорно готового на самые „сильные“ средства, лишь бы отстоять свою жизнь и позицию самодержавного монарха. Еще в самом начале царствования Александр III дал своего рода обет в этом смысле: „Я“, писал он тогда своему брату, великому князю Владимиру Александровичу, „никогда не допущу ограничения самодержавной власти, которую нахожу нужной и полезной для России“. Также поступать он внушал и своему сыну Николаю, умирая: „Не уступай ничего, потому-что, если дать палец, то они захватят всю „руку“ ³⁾. Высказанный Александром III взгляд на самодержавие это не мнение его, это его основной догмат, не подлежащий критике. Этот догмат делал его маньяком, не видевшим иной цели своего царствования, кроме обороны и укрепления самодержавной власти. Когда дело доходило до покушения на эту последнюю, то он становился непримиримым и доходил до состояния настоящей ярости, в которой, действительно, мог напоминать быка, зашедшего красное. В таком состоянии не рассуждают, и вот, дабы поддержать то, что, казалось бы, должно было само держаться, — самодержавие, Александр III объявил лютую войну всем действительным и мнимым врагам его, всем неблагонадежным и всякой неблагонадежности, в разряд

¹⁾ Былое, 1924 г. № 24, стр. 147.

²⁾ Архив Истории труда в России, кн. 8-я. Петербург, 1922 стр. 111.

³⁾ „Былое“, № 20, стр. 88.

которой было поставлено и стремление к просвещению. Читая соболезнующее сообщение Тобольского губернатора, что в губернии мало распространена грамотность, Александр III вздыхал облегченно и писал на докладе: „И слава богу.“ Полагая вместе со своим учителем Победоносцевым, что основная опора самодержавной власти — православная церковь, царь не терпел неправославных и объявил смертельную войну сектантам (особенно шундистам) и евреям, которых считал главными застрельщиками русского революционного движения. Русский немец, но православный и сам всю жизнь старавшийся обрусеть, подгонявший всю свою внешность под русский тип, начиная с бороды лопаткой и кончая придуманным им обмундированием с круглой шапкой на бекрень и шароварами в сапоги бутылками. Александр III мечтал обрусить всех своих подданных не-русского происхождения, но наткнулся на остзейских баронов и спасовал, ибо за ними стояла „воинственная“, побрякивавшая тогда от времени до времени оружием, фигура другого европейского императора — Вильгельма, который нашему русскому немцу Александру III был ненавистнее всех немецких немцев. Однако личная неприязнь не делала Александра III воинственным. Зная, что нет ничего сомнительнее военного успеха, он избегал войны; простым здравым смыслом своим он понимал, что она-то всего скорее и может повести к внутренней катастрофе, к ниспровержению столь ревниво им оберегаемой „самодержавной“ власти. В этом, впрочем, он и не обманывался. Боязнь европейской войны и вовлекла его, самодержца милостью божьей, в союз с республиканской Францией, что, разумеется, его сильно шокировало, но что было уже совсем неизбежно, дабы, при изменившихся международных отношениях в Европе, не попасть в опасную изоляцию. Быстрый рост капитализма в России, власть которого неудержимо подчиняла себе абсолютистскую дворянско-бюрократическую монархию, вызвал образование этого, на первый взгляд, изумительного союза, но лишь на первый взгляд, ибо, при ближайшем рассмотрении, становится ясным, что это был союз буржуазии, которой волей неволей принужден был служить и „благочестивейший, самодержавнейший император всероссийский“. Так Александр III и стал сторонником обще-европейского мира, воздержался от внешней войны в течение всего своего царствования и приобрел репутацию царя-миротворца. Войну он признавал только внутреннюю, да и то „без шуму“, простыми средствами, вроде выселцы, Шлиссельбурга, Сибири и розги. Последняя предназначалась для так или иначе непослушного низшего брата, как лучшая общественно-педагогическая мера, и она применялась к мужику, недостойному, по мнению царя, тянуться вверх, к лучшей жизни, к свету, а долженствующему знать свое место внизу, — долу, в грязи, в темноте, прилагалась к мужику, для которого „царь-миротворец учредил попечительных земских начальников из промотавшихся дворян и тем самым частично восстановил крепостное состояние, прилагалась весьма часто в царствование Александра III и у шутников доставила ему другое прозвище „царя-миропорца“. Миротворец или миропорец, но историческая справедливость требует сказать, что это был царь не без достоинств, хотя и

неградушанных поэтами. Прямота его суждения иногда обезоруживала. Высового он был мнения о своей власти и, след., обо всем, что от нее исходило, но вот, когда Государственный Совет, к которому Александр III относился более чем презрительно, однажды уже слишком обиделся на резолюцию царя по адресу государственных мужей: „они думают надуть меня, но это им не удастся“, обиделся и испрашивал чрез одного из своих членов у царя милости повелеть не увековечивать этой „исторической“ резолюции, т. е. не покрывать ее лаком, то Александр III сказал: „Какой вадор — пусть их просто вычеркнут!“ Действительно, это было тоже „просто“, но в данном случае царская простота была похвальной и не походила на ту, которая „хуже воровства“. Жесткий в „резолюциях“ и в гневе, но обычно конфузливый, а потому и холодно-односложный в разговоре с чужими, Александр III был скромен и прост в обращении с близкими людьми, а с детьми так неизменно бывал ласков. Скрамность и простота его вполне гармонировали со всем непритязательным обиходом личной жизни Александра III, вообще не любившего царской пышности. Не любил он и не по разуму усердных слуг своих и поступал по отношению к ним тоже похвально-просто. Он очень боялся бомб террористов и выезжал с великими предосторожностями, но излишество охраны, переходившее всякие границы здравого смысла, которого отнюдь нельзя отрицать в Александре III, его раздражало, и он, спасая себя не только от бомбы, но и от смешного положения человека, преследуемого целой сворой назойливых наблюдателей, настойчиво запрещал выпускать ее за ним: „Я не знаю“, писал он генерал-адъютанту Черевину, „ваша ли это люди или Грессера (градоначальника), но прошу, чтобы более этого не было... Я разрешаю Грессеру, когда он находит нужным, самому иногда следовать за мной, когда известно, когда я еду, но кроме него я не разрешаю никому, потому что считаю эту меру глупой и весьма неприглядной“. Здравый смысл, благодаря которому Александр III „гораздо проникательнее судил о Бисмарке, чем все его сотрудники“ (оценка проф. Тарле)¹⁾, несомненно предохранял этого царя от исключительного подчинения кому-либо из его министров, в том числе и его бывшему политическому воспитателю и ментору Победоносцеву: Александр Александрович, стараясь быть самостоятельным, выбирал из указаний разных „сотрудников“ то, которое, по его мнению, было более целесообразно, при наличных реальных условиях жизни „дорогой России“²⁾, — и Победоносцев далеко не всегда мог похвалиться, что царь согласился с ним³⁾. А то так и прямо Александр III высказывал, как мы видели, свое мнение и на нем настаивал.

В двух отношениях здравый смысл изменял Александру III, во 1) в отношении к его упорству, с каким он настаивал на своей самодержавной

¹⁾ „Былое“ № 14.

²⁾ Сюда, напр., надо отнести рабочее законодательство 80-х годов, не принесшее, впрочем, большой пользы русским рабочим, так как, в сущности, оно было лишь проявлением свойственной царизму демагогии.

³⁾ См. упомянутую выше мою статью о Победоносцеве.

позиции, и во 2) в отношении настойчивости, с какой он продолжал до конца разыгрывать сочиненную им пьесу — „голь на выдумки хитра“. Но за все это едва ли можно его винить. В первом случае причиной была его природная ограниченность, не позволявшая ему шире взглянуть на вопрос, встать выше своих советников, прислушаться к насущным требованиям жизни, удовлетворить их и таким образом предотвратить неизбежную гибель не только самодержавия, но и династии под грозными справедливо-карательными ударами революции. Во втором случае причиной была страсть, может быть, наследственная, против которой был не в силах устоять массивный царь, внешнее богатство которого далеко не соответствовало его внутреннему содержанию, тусклому и сумрачному, лишь искусственно — вином, прояснявшемуся, и на его долю не выпало долголетия, на какое ему давала право рассчитывать его финансовая сила, позволявшая ему в молодости сгибать подковы и плечом высаживать дверки. Александр III умер („смертью святого“, пишет сын его, Николай II) всего на 49-м году жизни и на 14-м году его царствования (20 октября 1894 года).

Н. Н. Фирсов.

Восстание туркестанских сапер 1912 г.¹⁾

В ташкентском парке Федерации (б. Александровский парк) большой четырехугольный холм, покрытый цветниками, памятниками и столбами для электрического освещения, занимают могилы жертв революции.

Ближайший к народному дому угол этого холма увенчан обелиском, на котором изображены эмблемы технических работ: топор, лопата, молния и проч.

Это — могила 14 сапер, казненных в Ташкенте за восстание 1 июля 1912 года. Останки их перевезены сюда 29 окт. 1918 г. из местности vicino Чимкентского тракта, где они были похоронены в общей могиле.

Темной ночью, под покровом строгой тайны, повешены были эти пензенские и виленские мужчины, судьбою наряженные в солдатские гимнастерки и заброшенные в далекий знойный край. Тайком повешены и засыпаны в общей яме.

Тяжело было положение туркестанского солдата в летнее время. Постоянный военный лагерь находится под с. Троицким, в 80 в. к сев.-вост. от Ташкента, в холмистой местности Чимганских предгорий. Целый день проходили в тяжелых изнурительных работах (рытье окопов, военные упражнения) под палицами туркестанским солнцем. К этому надо добавить, так сказать, психологическую сторону. Оторванный от родного края, от семьи, от своего небольшого, но облитого трудовым потом земельного надела, солдат в лагерное время чувствовал себя особенно тяжело: картины природы, земледельческие работы местного населения напоминали ему родную деревню, семью, оставшуюся дома без кормильца. А офицеры, устроивавшиеся по-дачному, с пикниками и кутежами в „военном собрании“, особенно наглядно подчеркивали существование двух сторон, двух лагерей, всегда враждебно настроенных. Здесь, в условиях лагерного быта, особенно четко жизнью проявлялись два типа: барина-офицера и безгласного „нижнего чина“, который имел право только в одной форме высказывать свое мнение: „Слушаю, ваше благородие!“

Такова была лагерная жизнь и летом 1912 года. Но люди — не безгласные скоты. Еще живы были среди туркестанских войск воспоминания

¹⁾ По материалам Историка-Революц. Секции Ц. Управл. Архива. Делом Туркестанской Республики. Частично материалы были использованы мною в ташкентск. газете „Промышленность“ за 1918 г., № 54, и в журнале „Рабочая Кооперация“ 1919 г., № 14.

и свидетели восстания в ташкентской крепости в полбре 1905 г., об асхабском саперном бунте в июле 1906 г. Солдаты собирались в бараках Троицкого лагеря, в рощице, на берегах арыков (оросительных канав), говорили о своем житье-бытье, о тяжести службы и работ, рассказывали о действиях особо ненавистных начальников, изнуравших солдат работами и дававших им презрительные клички. Наиболее часто упоминались имена штабс-капитана Похвистнева, поручика Красовского и еще 3 — 4 офицеров. Нарастало общее глухое недовольство.

Когда перечитываешь документы следственного производства и судебного дела о восстании сапер, невольно удивляешься, как можно было сохранить в тайне от начальства, от охранной полиции все эти разговоры, угрозы, всё это ежедневно нараставшее недовольство. Конечно, в семье не без урода, но удивительно, что в огромной семье Троицкого лагеря (2 саперных батальона, 2 стрелковых полка, артиллеристы, казаки) нашлся только один урод, оказался только один доносчик. На сходках же бывали сотни солдат.

Этим предателем был сапер 3-й роты 1-го батальона Петр Андреевич Шереметевский, 22 лет, сын чиновника. Он прошел 4 класса классической гимназии в г. Вильно, после чего поступил на либавские курсы ближнего плавания. С 3-го курса его взяли в солдаты.

Чтобы больше не возвращаться в нашем рассказе к этому господину, приведем сведения о его личности и дальнейшей судьбе по имеющимся в делах документам.

После окончания его „работы“ по саперному делу, т.-е. после того, как были повешены 14 его товарищей — солдат, Шереметевский, оставаясь сапером, поступил на постоянную службу в туркестанское районное охранное отделение, где и сотрудничал, подписывая свои донесения псевдонимом „Зорька“. Горький пьяница, постоянно отбывавший то или иное наказание за неисправности по службе, Шереметевский вскоре был осужден на 3 года в дисциплинарный батальон за оскорбление в пьяном виде караульного начальника. Однако, благодаря хлопотам жандармских и других генералов, ценных рвение шпиона, Шереметевский уже в начале 1914 года получил царское помилование. Используя его для укрепления существовавшего строя и раскрытия крамолы, начальство не закрывало глаз на личность предателя. Вот отрывок из сношения минского жандармского полицейского управления. „По отзывам ближайшего начальства, Шереметевский поведения весьма дурного. Он отличается крайней лживостью, оказывает непослушание и неповиновение начальникам из нижних чинов, груб и дерзок в обращении с последними и с товарищами по заключению, в своих личных делах крайне скрытен. В общем — личность весьма порочная“. Очень характерен этот отзыв жандармских властей, вся деятельность которых и вела как-раз к воспитанию и развитию подобных лживых, грубых и порочных типов. Вырастив такого детище, жандармы сами удивляются, какая мерзость появилась на свет божий.

Еще перед пасхой 1912 года Шереметевский доносил батальонному командиру Еранцеву, что среди сапер поговаривают о бунте. В мае месяце,

попав за пьянство на гаучвахту, Шереметьевский опять доносит, что саперы Слободской и др. собирают сходки, на которые приходят саперы, стрелки и артиллеристы, нет только казаков. 5 июня — новый донос о митинге, на котором произносились речи о строгостях военной дисциплины, о необходимости добиваться улучшения пищи, изменения обращения офицеров с солдатами, об уменьшении срока службы. О предательской роли Шереметьевского солдаты тогда еще не знали, — он бывал на сходках и в своих доносах называет имена главных ораторов на митингах, это — саперы Слободской, Волков, Баряев, Попов, Синельников.

Начальство приняло некоторые меры. Вечерами по окрестностям лагеря посылались конные разъезды, которые должны были задерживать участников сходок. Но задержан никто не был. Солдаты уже догадались, что кто-то доносит, некоторые стали подозревать Шереметьевского, который частенько забегал к батальонному командиру. Особенно осторожны стали саперы, когда один подпрапорщик „пригрозил Синельникову веревочкой“ (выражение из показания Шереметьевского).

К концу июня настроение стало особенно тревожно, восстания ждали со дня на день. 29 июня Шереметьевский прибежал в цирк, уже не скрывался, на глазах солдат подошел к батальонному командиру и доложил, что восстание назначено на эту ночь, что заговорщики-саперы установили связь с военно-революционной организацией через разносчика — торговца булками и фруктами Боровика. Крестьянин Киевской губ. Звенигородского уезда Александр Никифорович Боровик отслужил свой срок сапером 2 батальона, после чего занялся торговлей в районе лагерного расположения. Роль его в подготовке восстания осталась вовсе не освещенной предварительным следствием. После восстания Боровик бесследно скрылся.

Наконец, уже 1 июля, Шереметьевский последний раз перед восстанием явился к командиру и, сообщая, что восстание произойдет ночью, просил арестовать называемых им главарей движения и его самого, для отвода глаз, или командировать его в г. Ташкент, где он надеется раскрыть военно-революционную организацию. Начальство, видимо, не очень доверяло доносчику и на все его предложения лениво отвечало: „Как-нибудь после!“

В этот же день, 1 (по нов. ст. 14) июля, вспыхнуло восстание. Согласно обвинительному акту, составленному помощником военного прокурора Афанасьевым, и многочисленным свидетельским показаниям, внешняя картина восстания рисуется так. Сигналом послужили 2 револьверных выстрела, раздавшиеся в лагере после ужина и вечерней переклички. Солдаты начали выбегать на переднюю линейку (так называется лицевая сторона лагерного расположения) с криками „ура“, слышны были одиночные выстрелы.

Волнение охватило сапер, главным образом, 1-й, 3-й и отчасти 5-й рот 2-го туркестанского саперного батальона, а также 2-й, 3-й и отчасти 1-й рот 1-го батальона. Саперы остальных рот (батальоны были пятиротного состава) разбежались и попрятались, а 2-я рота 2-го батальона, почти в полном составе, образовала ядро правительственных войск, под командой своего коман-

дира, капитана Жильцова, который и явился главным организатором подавления восстания. Остальные офицеры частью отсутствовали из лагеря, частью поспрашивались, и лишь немногие бросились в бараки своих рот. Одни офицеры приказывали солдатам брать винтовки и строиться, другие же, наоборот, с помощью фельдфебелей и заслуженных унтеров, старались не дать оружие солдатам, действуя уговорами, силой и руганью. Вскоре во 2-й роте 1-го батальона убит солдатами штабс-капитан Похвистнев, в 3-й роте тяжело ранен штыками поручик Шадский, бегавший по бараку с обнаженной шашкой. Во 2-м батальоне также было убито 2 офицера: в 1-й роте поручик Красовский, стрелявший в солдат из револьвера, сбит с ног ударом приклада и застрелен из винтовки, в 3-й роте тяжело ранен Кошениц, умерший впоследствии от ран. В наиболее „верной“ 2-й роте тоже было несколько случаев. В самом начале дела убит солдат Василий Каланта, несколько человек ранено. Энергичного капитана Жильцова ранил штыком сапер Савелий Чистобородов, которого немедленно застрелил его же товарищ, сапер 2-й роты Соколов.

Восставшие явно не имели ни определенного плана действий, ни налаженной организации, ни умелых руководителей. С винтовками в руках, с небольшим количеством патронов (по 1 — 2 обойми), саперы сбились в кучу на горке около сигнальной вежи и открыли беспорядочную стрельбу по роте Жильцова.

Организованная и усиливавшаяся с каждым часом „армия“ Жильцова быстро разогнала толпу восставших. Сначала Жильцов заставил своих солдат петь почему-то „Песнь о вещем Олеге“, а после перестрелки и разных военных передвижений (цепи, карре, перестройка фронта), когда восставшие саперы были разбиты, приказано было затянуть „боже, царя храни“.

Под звуки этой песни казаки ринулись в ночной темноте ловить отдельных матежников. Разбежавшиеся саперы прятались, кто где мог: в армяках, в ямах, под мостами, на крышах, под нарами в казармах.

Некоторые саперы убежали очень далеко, разъезды ловили людей еще несколько дней, а 4 человека задержаны даже в соседнем чимкентском уезде: Рачинский и Трембас 8-го июля крестьянами села Дорофеевки, Савкин 10-го июля и Гессен 12-го июля в горах киргизами-джигитами участкового пристава.

3 сапера бесследно скрылись: 1-го батальона Иван Орехов и Михаил Побежимов, 2-го батальона Василий Андреевич Тикунов, крестьянин деревни Знаменской, Гагаринской волости, Моршанского уезда, Тамбовской губернии. Судя по имеющимся в деле свидетельским показаниям и по судьбе, постигшей сапер-участников восстания, Тикунов, несомненно, был бы казнен, как активный участник восстания, ходивший по казармам с оружием в руках и разбивавший ломом патронные ящики.

На другой же день, 2-го июля, началось следствие. К нему были привлечены все саперы, задержанные вне лагеря, и те из арестованных внутри лагерного расположения, против которых имелись какие-либо показания или улики. Главной уликой служила винтовка, при чем особенное внимание было обращено на то, есть ли в дуле ружья свежий нагар от выстрела.

Правда, многие саперы объяснили, что винтовки они забрали по распоряжению офицеров, приказавших выходить с оружием „на линейку“, или для самозащиты, так как в темноте шла беспорядочная стрельба. Нагар в дуле мог остаться и от маневров 26—28-го июня, после которых винтовок не чистили. Объяснениям этим не придавалось значения.

Задержание в поле с винтовкой, все-какие свидетельские показания начальствующих лиц и, в особенности, 2-х солдат, упоминавшегося выше Шереметьевского и сапера 1-й роты 2-го батальона Степана Дорофеева, и обвинительный акт были наскоро сколочены. Именно—наскоро, так как при прочтении его поражаешься, как немного надо было улик, косвенных, шатких, сомнительных, чтобы отдельного сапера привлечь к делу, рассмотрение которого командующий войсками Туркестанского военного округа генерал Самсонов предложил произвести „по законам и срокам военного времени“.

Показания обвиняемых и свидетелей устанавливают такую цель восстания: „надо сделать бунт, чтобы сократили сроки службы, улучшили пищу и изменили обращение офицеров с солдатами“. В обвинительном акте эта последняя цель превратилась в „изменение порядка титулования офицеров“, хотя Шереметьевский, в своем письменном показании, говорит определенно: „о титуловании я ничего не слышал“.

Все обвиняемые, в том числе и признаваемые зачинщиками и руководителями, отвергали свое активное участие в восстании, или указывали, что действовали в толпе, или просто утверждали, что при начале восстания бежали, спрятались и ночью были арестованы.

Несколько особое положение занял обвиняемый сапер Гессен. Он показал, что „еще до поступления на военную службу он не раз оказывал услуги правительству: например, в 1908 и 1909 г.г. сотрудничал у солтычегодского исправника, а в 1910 году—у жандармского подполковника Редина в г. Холме; прибыв же в батальон, он хотел использовать замеченное им движение и с тем, чтобы выиснить всех главарей, хотел ввести среди нижних чинов правильную организацию. В настоящее же время он, обвиняемый, не выдает имена главарей, так как предварительным следствием они обнаружены почти все“.

Следователи и охранка заинтересовались таким показанием, из Ташкента были отправлены запросы, и на один из них получен такой ответ начальника люблинского губернского жандармского управления (от 5-го августа № 880): „Сообщаю что Эдмунд Юльянов Хессен, он же Гессен, в 1907 году был привлечен при вверенном мне управлении к переписке в порядке военного положения по делу изобличения его в принадлежности к революционным организациям и по постановлению министра внутренних дел выслан в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции, сроком на два года, 9 июля 1907 года. По окончании срока высылки названный Хессен в 1909 году возвратился в Холмский уезд и в начале 1910 года предложил свои услуги к раскрытию революционеров подполковнику Редину в г. Холме, но ни одного сведения по означенному делу не дал, почему в сотрудничестве ему было отказано“.

По показаниям многих свидетелей видно, что Гессен в дни, предшествовавшие восстанию, ежедневно виделся и о чем-то тайно беседовал с Боровином и, вообще, играл в событиях выдающуюся и руководящую роль.

Во всяком случае, из документов имеющихся в деле, можно видеть, что Гессен был слабый человек, старавшийся обещаниями и отговорами спасти себя от нависающей над его шеей веревки. Но фактически, он никого не предал, не назвал ни одного имени. А слабость духа, все свои словесные обещания Гессен искупил смертью на виселице.

28 июля был отдан приказ о закончении следствия и о предании сапер военно-окружному суду. 29 июля всем обвиняемым был вручен обвинительный акт.

31 июля, в помещении фехтовальной школы Ташкентской крепости, открылись заседания военно-окружного суда, в составе председательствующего генерала Уссаковского и 4 полковников. Защищали обвиняемых солдаты 6 казенных защитников — офицеров. Суду было предано всего 228 сапер.

Дело рассматривалось при закрытых дверях, но, по распоряжению ген. Самсонова, к слушанию были допущены: редактор официальных „Туркестанских Ведомостей“ Левин, начальник города Завитневич, начальник Ташкентского уезда Караульщикова, командиры войсковых частей и те лица, которых нашел нужным допустить председатель суда.

Разбор дела продолжался 10 дней. 9 августа вынесен приговор, по которому 15 человек приговорены к смертной казни, 18 чел. — к бессрочной каторге, 63 чел. к каторге на 15 лет, 15 — на 8 лет, 16 — на 4 года, 63 чел. в арестантские отделения на 6 лет, 16 — на 4 года, 1 чел. — в дисциплинарный батальон на 3 года, 3 чел. — на 2 года, 11 чел. — на 1 год и 7 сапер оправданы.

К смертной казни приговорены: унтер-офицер Владимир Федорович Шубин, из мещан г. Можайска, „как старший по званию начальник среди всех осужденных“, и 14 сапер, признанных зачинщиками и руководителями. В приговоре суда значится: „что касается до вида смертной казни, то суд находит, что по проявленной деятельности подлежащие ей 15 человек не заслуживают более почетного расстреливания, и назначил повешение“.

К бессрочной каторге присуждены следующие саперы: Веретенников А. Ф., Горбань В. А., Гришин А. П., Ежов Ф. И., Жигаловский В. А., Махов Н. Е., Надеждин Т. Я., Пешаков В. Р., Салмин А. Н., Симлят Р. М., Файнштейн Л. А., Файтлович Х. А., Федоров А. И., Филатов А. В., Филимонов П. С., Чистяков И. М., Шатохин А. Г., Шеронин И. Д.

12 августа приговор суда утвержден ген. Самсоновым, который заменил Шубину смертную казнь отдачей в арестантские отделения на 6 лет и саперу Ежову, вместо бессрочной каторги, назначил 4 года арестантских отделений. В остальном приговор оставлен без изменения.

В 5 час. вечера 12 августа приговор вошел в законную силу, и в этот же день ген. Уссаковский передал его для исполнения военному прокурору, который рапортом от 18 августа донес суду, что „приговор о 14-ти лицах приведен в исполнение“.

Повешены саперы:

1) Баряев Петр Александрович, крестьянин-землепашец хутора Саратовского, Александровской волости, Оренбургской губернии и уезда, родился 22 авг. 1889 года, неграмотный, ранен во время восстания, в суд доставлен на санитарной повозке, к виселице принесен на носилках.

2) Бунин Александр Иванович, мещанин г. Орска, родился 23 марта 1887 г.; убитый Похвистнев рассказывал офицерам незадолго до восстания что он отобрал у Бунина прокламацию с заголовком „долой чинопочитание“.

3) Волков Павел Емельянович, крестьянин с. Панцыревки, Городищенского уезда, Пензенской губ., родился 13 янв. 1889 г., ранил офицера Шадского.

4) Гессен, он же Хессен, Эдмунд Юльевич, крестьянин дер. Татары, гмины Вульбо, Люблинской губ. и уезда, родился в январе 1890 г., по профессии — домашний учитель.

5) Жулябин Иван Яковлевич, крестьянин Карелингинской вол. Нижне-Ломовского уезда, Пензенской губ., родился в марте 1888 г., холостой, по ремеслу — плотник.

6) Котлер Берк Вольфович, мещанин г. Вильно, родился 5 янв. 1890 г.

7) Нефедов Филипп Матвеевич, крестьянин с. Никольской Петровки, Бутурлинской вол., Инсарского уезда, Пензенской губ., родился 1 июля 1888 г., неграмотный, женатый, по ремеслу — плотник, убил офицера Красовского.

8) Онучкин, он же Анучкин, Иван Александрович, крестьянин с. Борин, Елизовской вол., Самарской губ. и уезда, родился 8 апр. 1889 г.

9) Попов Иван Иванович, крестьянин дер. Искрами, Кобылинской вол., Свендинского уезда, Виленской губ., родился 30 ноября 1889 г.

10) Рачинский Stanislaw Михайлович, мещанин г. Калиша, родился 4 апр. 1890 г., холостой, по ремеслу слесарь. По сообщению Калишского губ. жанд. упр. от 9 авг. № 4475, Рачинский принадлежал к П. П. С. и играл в ней видную роль.

11) Савкин Василий Ефимович, крестьянин дер. Селитьбы, Кевдомевситовской вол., Нижне-Ломовского уезда, Пензенской губ., родился 29 янв. 1889 г., неграмотный, по ремеслу плотник, женатый, имел сына 1 года.

12) Слободской Хуно-Мойша Нусевич, мещанин г. Черкасы, родился 6 марта 1887 г., по ремеслу — золотых дел мастер, женатый, имел дочь $\frac{1}{2}$ года.

14) Тарасов Федор Яковлевич, крестьянин Корсунского уезда, Симбирской губ., родился 20 янв. 1888 г.

14) Юрченко Адриан Сергеевич, крестьянин Гомельского уезда, Могилевской губ., родился в 1887 г., был в дисциплинарном батальоне.

Пятеро из казненных имели по 22 года, трое по 23 г., трое по 24 г. и трое по 25 л.

Казнь была совершена под наблюдением помощника начальника тапкентской тюрьмы Коппека, которым были подысканы 4 палача-сарта. Вешали в 2 приема, по 7 человек. Место казни было окружено вооруженными каза-

нами, а также рядами солдат, которые были приведены без ружей. Один из приговоренных, как передают, крикнул: „Наша смерть ляжет черным пятном на русскую армию“. Другой крикнул: „Прощайте, товарищи!“

Один из смертников плакал и кричал: „За что! Почему!“

Снятые с виселицы трупы казненных уложены на арбы и под наблюдением пристава Ковдышева отвезены в окрестности города, около Махау-нишлага, где живут прокаженные, и здесь зарыты среди густого кустарника.

14 авг. в Ташкенте около базаров разбросаны гектографированные прокламации „Туркестанской Междупартийной Военной Организации“ о суде над саперами.

Сообщение о бунте сапер, а позднее о суде и казни мы нашли в нелегальной печати: „Знамя Народ“ № 49 от августа 1912 г., газета партии с-р., издававшаяся в Париже, и „Знамя Труда“, № 45, от сентября того же года.

Кое-где, в ташкентских газетах и в столичной печати („Нов. Время“ от 11 июля, „Турк. Курьер“ от 18 и 20 июля), появились отчеты о процессе сапер. Главное военно-судное управление в Петербурге всполошилось и телеграфно запросило ташкентский суд, на каком основании допущены в зал заседания корреспонденты, и предложило принять меры к прекращению печатания отчетов. Председательствовавший в заседании Уссаковский донес председателю суда Афанасовичу, что: „1) двери суда были закрыты исключительно с целью избежания огласки о поведении некоторых офицеров во время восстания, 2) распоряжение генерал-губернатора допустить в заседание редактора „Туркестанских Ведомостей“ Левина было понято как желание, чтобы отчет о деле печатался с известными ограничениями“. Афанасович телеграфирует в Петербург, что к прекращению дальнейшего печатания отчетов „меры приняты“.

Департамент полиции также интересуется прессой. Исп. должн. директора Белецкий 29 июля за № 754 запрашивает туркестанскую охранку, верны ли сообщения иностранной печати, что причины восстания — жестокость [офицеров, плохое довольствие и провокационные действия полиции. Туркестанское районное охранное отделение отвечает, что следствием установлены такие причины: офицеры не имели духовной связи с солдатами, командир Еранцев не слушал шпионов Шереметьевского, [тяжелые и утомительные занятия при туркестанском климате, лишний год службы сапер сравнительно с пехотой.

214 осужденных сапер были разсланы по тюрьмам России.

Из тобольской, симбирской, саратовской, петровской (Дагестан), харьковской, херсонской, [рижской и московской тюрем поступали в военный суд многочисленные заявления: осужденные просили копию приговора для подачи прошения о смягчении участи, тюремная инспекция озабочена применением манифеста 1913 г.³

Дело возмущало слишком большого числа лиц, задело многие взаимоотношения: жена хлопочет о разводе с осужденным, брат настаивает на скорейшем получении наследства, отец хочет просить о помиловании.

Характерен мелкий бюрократизм военного суда даже и в таком деле. Осужденный на бессрочные каторжные работы сапер Лейзер Абрамович Файнштейн два раза присылал суду из шлиссельбургской каторжной тюрьмы просьбу о высылке копии приговора и оба раза получал отказ „за пропуском установленного срока и неуказанием мотивов просьбы“. Наконец, его отец, А. Л. Файнштейн, просит суд о том же, ссылаясь на свое полное неведение о причинах осуждения сына. Суд вынул просьбе старика, но послал ему из Ташкента в Одессу ответ, что копия приговора может быть выслана „лишь по получении от него пошлин, марками на 40 копеек“.

В деле имеется еще более интересный и современный документ. Уже после свержения с престола царя Николая II, бумагой от 29 марта 1917 г. рязанская губернская тюремная инспекция сообщает ташкентскому военно-окружному суду, что 6 авг. 1914 г. австрийцами освобожден из келецкого исправительного арестантского отделения крестьянин с. Завидова, Чучковской вол., Саножковского уезда, Рязанской губ.. Сергей Калинин Коротов, осужденный по делу о восстании сапер в 4 г. арестантских отделений. Коротов проживает теперь по месту приписки, и тюремная инспекция запрашивает суд, подлежит ли он заключению в тюрьму для дальнейшего отбывания наказания. Суд, постановлением от 13 апреля 1917 г. (1), определил: осужденный Сергей Коротов подлежит дальнейшему отбыванию наказания в течение 1 года и 1 дня“.

И это уже после свержения русским народом царско-самодержавного строя, когда дело о саперах, чисто политическое, должно было быть полностью аннулировано, и все оставшиеся в живых пострадавшие по нему саперы должны были немедленно, с почетом, быть освобождены из мест заключения! Да, трудно вливать новое вино в мехи старые, трудно было николаевским генералам понять последствия великой русской революции.

В заключение — одна бытовая картина. В деле оказалось письмо б. стрелка 2 Туркест. стрелкового батальона А. С. Небаева к его б. командиру с жалобой на то, что односельчане его, в с. Карлинском, Симбирской губ. и уезда, выслушав его рассказы об усмирении сапер в Ташкенте, сильно его поколотили и угрожали ножевой расправой, заявляя: „Это тебе не в Ташкенте сапер стрелять!“ Небаев просил защиты у своего б. начальства. Дело передано полиции для расследования.

Бунт туркестанских сапер 1 июля 1912 г. не был планомерным, обдуман-ным революционным актом. Связь с работавшей в войсках в то время военно-революционной организацией была у сапер ничтожна, да и деятельность самой организации была почти незаметна. Некоторые саперы слышали о революционных партиях, после суда в Ташкенте выпущена маленькая прокламация, но ни один из главных обвиняемых процесса не был в то время членом партии, они не знали ни программ, ни задач революционных организаций, ни их методов борьбы, некоторые были даже неграмотны. Самая

цель восстания формулировалась наивно: добиться сокращения срока службы и проч.

Это восстание было взрывом, стихийной вспышкой, протестом против невозможно тяжелых условий жизни. Когда на митингах и сходках отдельные солдаты высказывались с опаской, как бы не влетело от начальства, как бы не было хуже, революционно-настроенные саперы отвечали: „Нам терять нечего. Домой вернешься благополучно — с голоду подохнешь: земли нет“.

Эти условия полной безнадёжности, полного отчаяния и привели к событиям 1-го июля.

А. Черновский.

Шлиссельбургская каторга.

Из воспоминаний.

Карцера.

В уставе о ссыльных говорится довольно скромно, что каторжанин, совершивший проступок, не наказываемый по приговору суда, подлежит одиночному заключению на срок не свыше тридцати суток. Свыше этого может назначить только суд за преступления, наказуемые уложением о наказаниях или уставом о ссыльных. Редко можно было встретить на воле человека, который знал бы точно, что понимается под этими скромными словами статьи закона. Что же, в самом деле, может быть варварского, если какого-нибудь злодея, сосланного в каторгу, посадят на несколько дней одного. Да его, мол, повесить надо, а одиночное заключение даже на тридцать суток разве наказание. Нужно сказать больше. Даже большинство адвокатуры не понимало сущности такого простого выражения; поэтому представителям простых смертных нечего и удивляться. Всем им, не имевшим счастья или несчастья — кому что нравится — посидеть в тюрьме, казалось просто, что виновного в проступке отделить от других, поместят в камере одного на неделю, на две или на месяц, а там опять на старое место. Даже солдаты, испытывавшие на военной службе все виды карцера — простого, смешанного, строгого — имели смутное представление о рекомендуемом законом одиночном заключении: им на военной службе давалась в карцер шинель, табак и тому подобная благодать. Тюрьма — главным образом каторжники — расшифровала выражение закона и на своем языке передала это понятие „карцеры“ — лишением человека всего, что считается человеческим: света, тепла, одежды, питания: ввержением в земную преисподнюю.

Карцера не имеют ничего общего с одиночными камерами. В Шлиссельбургской каторжной тюрьме было девятнадцать карцеров, на подмогу им привлекались иногда и изоляторы, имевшие прямым назначением изоляцию психически-больных.

Десять карцеров находились в подвальном этаже четвертого корпуса. Три из них были совершенно темные, семь с окнами, которые впоследствии стали закрываться щитами из кровельного железа, которые, все же, настолько пропускали свет, что легко было отличить день от ночи. Для сна был устроен деревянный помост, окрашенный масляной краской. Зимой они не отапливались, и в них царил страшный холод, немного теплее было в темных.

Холодно было настолько, что лязгали зубами, этот лязг хорошо был слышен в одиночках первого этажа, через вентиляционные отдушины; но и летом было не особенно тепло. Шесть карцеров устроили в башне, прилегавшей к башне Ивана Антоновича, между первым и вторым корпусами — по три в каждом этаже. Внутренность башни была цилиндрическая, часть была оставлена для входа, остальная разбита на три равных части, и карцера получились неправильной формы, представляя собою часть площади круга, отсеченного хордой, длина которой равнялась 3—4 аршинам, а высота дуги аршина полтора. Окон, конечно, никаких не было. Со дня постройки башни, во времена Петра I-го, в них никогда не заглядывал солнечный луч, и вряд ли они знали, что на свете существуют метлы, мел или известь для побелки. В них постоянно было грязно, пыль висела хлопьями. И, однако, эти карцера перед другими имели преимущество, которое только дураки не умели ценить. Сквозь саженные каменные стены не проникал ни ветер, ни холод, ни тридцатиградусный мороз. Сидеть в них было сносно, в первом же карцере было лучше, чем в раю. Через него проходила труба парового отопления для второго корпуса, поэтому всегда можно было раздеться наголо, согревались даже кандалы — одним словом „Ривьера“. Для третьего корпуса пристроили около здания кухни три небольших карцера. Эти „в мирное время“ почти всегда пустовали.

По тюремному правилу посаженному в карцер полагалось три дня отсидеть в темном карцере на хлебе и воде, каждые четвертые сутки — в светлом, с выдачей горячего обеда и ужина и прогулкой по двору на пятнадцать минут. Это правило соблюдалось только в четвертом корпусе. Посажённые в башенные карцера сидели весь срок в абсолютной темноте. Но и в темноте человек привыкает: после нескольких опытов, кончающихся синяками на лбу, начинаешь свободно разгуливать, не выставляя вперед, в качестве предохранителя, руки.

При посадке в карцер, больше для усиления впечатлений, чем для исполнения закона, отбираются портянки, подкандальники и кандалный ремень. Кандалная цепь должна таскаться по полу — препятствовать движению, кандалы должны лежать на голой ноге, что и неприятно и развивает ревматические боли. Часто сидевшие в карцерах парализовали эту деятельность власти тем, что в кальсонах заблаговременно прорезали дыры, кальсоны заворачивали на кандалы, и шипы кандалов закладывали в приготовленные дыры; этим достигалось то, что кандалный обруч не опускался на ступню, но был на весу. Вместо ремня переплеталось соединительное кольцо бечевкой или узким ремешком, который в карцере разматывался и устранял все неудобства.

Карцерный холод и наставание железа особенно остро чувствовались в четвертом корпусе: летом полотняный костюм усиливал холод; зимой суконный костюм не мог защитить от температуры, близкой к нулю. Чтобы гарантировать себе мало-мальски тепла на тот момент, пока удастся уснуть, приходилось снять рубашку, завязать в её воротник и снова залезть в нее, как в мешок. Этот способ задерживал в рубашке выдыхаемую теплоту и.

таким образом, согнувшись в три погибели, удавалось уснуть и спать, пока не промерзнет спина, часа на два, на три. Когда мороз пропекал спину, этот метод мало помогал. Приходилось вскакивать, быстро повертеться, или выкидывать антраша до согревания и тогда снова уснуть на несколько часов. Такие операции занимали недели и месяцы.

Хлеба, при умелом с ним обращении, в течение первой недели почти всегда хватало. Вторую и третью уже чувствовался недостаток, особенно, если сорвешься с нутного употребления и начнешь „ушибать пайку с одного почерка“. Такой прием приносил на последние десять дней настоящее к нему отвращение — приходилось есть только от нечего делать — чувствовался форменный голод, но „пайку“ трудно было осилить даже за пять-шесть приемов в течение двадцати четырех часов. К этому времени сон уже пропадал, для борьбы с бессонницей приходилось пускаться на всякие выкрутасы, начиная от дачи самому себе „честного слова“ съесть хлеб, кончая подборкой пяти книг за всю жизнь.

Очень жуткое впечатление производила первая посадка, в особенности, в башенный карцер. Кругом ни звука, темно, под пальцами чувствуешь на подмостке липкую грязь — противно до омерзительности. Бока, от лежания на голых досках, затекают и вносят во все тело ощущение болезненности. Дум в голове, что песчинок на дне морском. Время тянется так медленно, как будто его кто-то держит за хвост. Начнешь мурлыкать песню, и свой собственный голос кажется таким странным, чужим и мертвым, точно он идет не из собственного горла, а из водопроводного крана. Начнешь смотреть вперед — там целые долгие-долгие годы, если год каждый будет тянуться так же, как карцерный месяц, то, пожалуй, не только „истреплешься волосами и поизносишься сапогами“, но и кости сотрутся, как пересохлая солома. А сколько же таких карцеров предстоит в течение этих долгих годов. Сколько за них накопится этой омерзительно липкой слизи. Фу-ты. Хуже чем поделуш мертвой тещи. Бр-р-р.

Несвольно, из задних закоулков, вылезает мысль „нет, ни за что не вынести каторжного срока“. Становится грустно и за себя и за человека — скованного кандалами, и за человека сковавшего — ведь и скотину не бросают в такое положение. Несвольно сами сочиняются стихи:

Предо мною путь великий —
Жизненной тропы...
Там все камень... камень дикий.
Как же нем идти?
Как идти — я телом слабый:
Грудь болит моя.
Да и путь мой безотрадный
Уж страшит меня...
Где же взять мне новой силы
На великий путь,
Чтоб хватило до могилы
Духом не заснуть.

А там, позади, вспоминаются картинки прошлого. Вот — школа сельская... Липовая аллея упирается обрывистым берегом в Воль... Сегодня экзамены — но экзаменаторы еще не приехали... Лежу в траве на спуске к реке... В глаза светит голубое небо, кругом приятный запах зелени и медовый дух только что разпустившихся одуванчиков... Река тянется синеватой полосой до самой деревни Устья, на четыре версты, и там прячется в кустах... За рекой широко раскинулся заливной луг, покрытый яркой зеленью осоки, за ним поля и на пригорке деревня Семовка, с серыми, судьбою вдавленными в землю, избушками. На душе хорошо: и радостно, и бодро. Жизнь впереди... Вспоминается детство, юность, ласки, всевозможные надежды... Начинаешь сравнивать с настоящим — жизни еще не было, но чувствуется, что весна, золотая весна уже прошла и невольно с губ срывается.

„Что ж так рано, осень,
В гости к нам пришла.
Еще просит сердце
Света и тепла“...

Все прошлое кажется далеким, далеким... Нет впереди ни света, ни тепла. Начинает понемногу накапливаться озлобление против всего, против самого себя, против тюрьмы и против всего мира. Так дальше жить нельзя, а как? Ответ сразу не приходит...

Однако и здесь оправдалась поговорка „пьяниц“: первая волом, вторая соколом, остальные мелкими пташечками...

Следующие карцера не кажутся жуткими, не вызывают озлобления. Мало-помалу научаешься „во мраке ночи“, без звезд и без луны, определять время и доходить до астрономической точности. Погрешности не превышают четверти часа, точно знаешь, когда отделенный принесет тебе хлеб, когда воду, когда придет проверка и всегда управишься запрянуть во время все приспособления, чтобы власть не отобрала. Если товарищ из соседнего карцера или сверху спрашивает замогильным голосом „сколько времени“. Отвечаешь безапелляционно „тридцать пять пятого“ и товарищ верит и не спорит не только о часах, но и о минутах. Постепенно находишь сам, или в опыте других, способы убивать время. Особенным успехом пользовался прием выбирания небольшого числа книг, песен, которые удовлетворяли бы точно предъявленным требованиям сперва одного человека, там двух, трех. Окончив подборку, начинаешь проверку над товарищами по мраку, удастся хорошо, не удастся нужно снова... Или начнешь выстукивать по тюремной азбуке какоенибудь целиком стихотворение, дальше начнешь высчитывать, сколько нужно времени для передачи „Вещего Олега“, „Рудина“, и не замечаешь в таком разнообразии, как отмахиваешь целый месяц. Скуки не больше, чем у трезвого на вечеринке среди пьяных...

За месяц карцера ржавчина от кандалов постепенно переползает на одежду и белье. Если посадили в летнем, снежной белизны, костюме, уж наверняка выйдешь темнее рыжего, как будто сидел в бочке с умброй. К голым

доскам привыкаешь, как к пуховой постели — ночь проспичь на одном боку и не повернешься. К чему только человек не привыкает. Даже грязь и слизь на деревянных досках не вызывает отвращения. Привыкаешь до такой степени, что издерганные в камере нервы приходят в порядок; после карцера чувствуется некоторое облегчение, только от истощения трудно становится что-нибудь учить — начинает побаливать голова. После третьего карцера я узнал, что такое головная боль, а до тех пор просто не верил, что голова, закупоренная со всех сторон, может болеть, и считал головную боль больше интеллигентской блажью.

Хорошо сидеть и в компании, т.-е. когда в каждом карцере сидит по товарищу, особенно из разных корпусов. Здесь одни разговоры, до самой подноготной, занимают почти целую неделю, узнаешь все новости о тюрьме, на воле. Так, в карцере я узнал, что невольский район опустился, встал в реакцию. В пятом и шестом году там удалось провести широкую компанию за бойкот трактиров и пивных. Довели до того, что трактирщик Зубок за снятие бойкота предлагал в пользу безработных десять тысяч рублей — рабочие не уступили. Теперь сообщали, что в редком доме нет пивной, расплодились и трактиры. Кончались разговоры, начинали песни — все больше национальные, каждый своей губернии. Песни скоро надоедали. Очень скверно было, если в карцер попадал хоть один кавказский татарин. Он обычно затягивал свою национальную, татарскую, пел ее днем, пел ночью, пел неделю, две, месяц. Монотонность и заунывность нагоняли такую тоску, такое душевное состояние, что готов был и татарина удавить и Ладожское озеро перевернуть, мешали только толстые стены башни. Ни просьбы, ни ругань, ничто не действовало на татарина, оставалось одно — покориться истязанию безропотно, покориться злодейке-судьбе, не сводящей гору с горой, но сводящей в карцерах татарина и русского.

Из всей восточной братии для карцеров был интересен только перс Фарзали, контрабандист, детина саженого роста, с физиономией способной напугать среди белого дня не только грудного младенца, но и взрослого человека. Он плохо понимал и говорил по-русски, но Костилов сумел выучить его декламировать стихотворение Пушкина „Брожу ли я среди улиц шумных“. Дикарь Фарзали пропел своим природным национальным чутьем в сокровенную тоску Пушкина, в страстное желание „почивать“ „ближе к милому пределу“. Поняв это, нашел в нем свое родное чувство и полюбил стихотворение. Ни карцерные стены, ни железные двери не могли составить преграды для богатого голоса Фарзали и он, коверкая до невозможности слова, но вполне соблюдая ритм и оттенки тонов стиха, гремел на всю башню. Как-то приятно было улавливать в громовых раскатах душевную боль человека, вырванного из „долины Дагестана“ и брошенного в бесприютные мрачные шлиссельбургские карцера. Что-то родное, сильное, слышалось в ней. Когда окончит декламацию, бывало спросишь его: „а, ты, Фарзали, слова понимаешь?“ Он с обидой отвечает: „мы понимай, понимай, все понимай, ваш лубил наш край, там хотел помырай“. Приятно было видеть и слышать душу живую у

подлинного богатыря-дикаря; благодаря этому, несмотря на однообразие декламации, он не надоедал в течение месяца, как татарин: в его звуках была и тоска и страсть и сила и жизнь; у татарина же кроме заубойной литургии по минувшему ничего не было — все было мертво или умирало, в то время как у первого было, именно, трепетание жизни, стремление к ее дикой свободе.

В духовном отношении карцера, пожалуй, действовали в сторону развития творчества; три четверти шлиссельбургских поэтов нашли свою линию в карцерах, в конце-концов достигли некоторых успехов и писали, если не сносные, то, во всяком случае, удобочитаемые и с чувством стихишки. Прикидывая на свой аршин, можно сказать, что в карцере легче всего найти самого себя, там мысль работает как-то логичнее и не скачет с пятого на десятое, легче замечаются всякие оттенки; я даже дошел до того, что ясно слышал длительность согласных, когда Нейман пел „Липа вековая под горой шумит“, проверял и убедился, что это „факт, а не реклама“. Начинаешь понемножку понимать самого себя, вернее оценивать силы, а главное, растет жажда жизни, солнца и красоты. Сама жизнь становится богаче, начинаешь людей ставить на их настоящее место и в этом процессе ростки озлобления отмирают и не остается места для чувства мести. Жизнь уже не рисуется, как какое-то болото с обязательными обедами, ужинами, спаньем... Перевес получает, так сказать, борьбистское направление мыслей, понимаешь, что лучшее достижимо только в процессе длительной, упорной борьбы, в которой меньше лавров, чем терний, что подзатыльники жизни должны больше воодушевлять, что опускание рук равносильно отказу от жизни. Жизнь становится как-то для себя легче и кругом не чувствуется бывалой пустоты. И, пожалуй, самое важное, что только в карцерах вырастает, это желание вять свою жизнь в собственные руки и вертеть ее, как душе захочется, тискать, чтобы она пищала, но не давать самому себе нестись в ней „без руля и без ветрил“. В конце концов, крепнет убеждение, что рано или поздно, но в великой борьбе победителем будет человек, и тогда ему засветит настоящее солнце Свободы, а не тусклый коптильник старой девы.

В физическом отношении карцера действовали очень разрушительно. Редкий организм выдерживал, чтобы не податься в том или ином отношении. Почти все катаральные заболевания являются результатом карцеров; половина туберкулезных принадлежит им же, а ревматизм целиком результат карцерной сидки. Благодаря карцерам развивается хроническое малокровие, которое впоследствии совершенно не удастся устранить. Много, даже очень много, ушло к праотцам чрез карцера, в особенности, обладавших крупным и рыхлым телосложением. Но начальство все же не стеснялось сыпать их щедрой рукой направо и налево, при чем долгосрочные карцера, не только по числу высуженных суток, но и по числу случаев посадки, занимали большую половину. В нужном месте этот вопрос будет освещен с точки зрения, правда, несовершенной, тюремной инспекции, сейчас же достаточно только упомянуть факт, чтобы подтвердить единственный вывод.

Карцер, по выражению устава о ссыльных, одиночное заключение, поимается тюремной властью, как способ без суда уничтожить осужденного. Тюремная политика не воспрещает практиковать его, как медленное убийство. Но этот способ, благодаря приспособляемости человека, не дает того результата, какого от него ожидают тюремщики.

Сидеть в карцерах приходилось за все: за пение песен и за слушание их; за оскорбление надзора и за оскорбление надзором, за хранение ножей, за писание записок и за их получение, неснимание шапок, за опоздание встать по свистку и за нележание после свистка, за отказ от разговоров с начальством и за разговоры с ним, за агитацию, пропаганду, за волюнки, подготовку их, за солидарность — одним словом, в тюремном мире мало существовало вещей, за которые, именно, нельзя было сидеть.

Мне даже удалось отсидеть за начальника главного тюремного управления Грана — единственный случай, когда за большое злодеяние дали маленький срок карцера.

После смерти Хрулева, пытавшегося цветами смягчить арестантскую душу, начальником главного тюремного управления назначили Грана, бывшего в Сибири губернатором. Вскоре после его назначения Шлиссельбург стал готовиться к его приезде. Администрация стала подтягиваться, кое-где, кое-что замазали, кое-что покрасили, подмели, лишнее спрятали, подучили фронтальной выправке и надзирателей. Каторжане, хотя и не ожидали от этого приезда великих и богатых милостей, также подготавливались, надеясь больше попортить крови тюремщикам, чем извлечь какую-нибудь пользу. Нужно было сделать ряд заявлений, и началась усиленная рассылка прокламаций, одна из которых на целом листе папиросной бумаги попала в руки начальника Зимберга. У каторжан отобрали тетради и по ним установили причастность. Из третьего корпуса изъяли троих и перевели на заразное отделение: Доценко и Страфун подозревались в переписке, а в сочинительстве.

Наступил день приезда, и старший Адельберг на утренней поверке объявил, что, если во время прогулки придется встретиться с Граном, нужно на его приветствие отвечать „здравия желаем, ваше высокопревосходительство“. Старшему с места в карьер заявили, что так отвечать не будем, и неизвестно, попадет он или нет на прогулку, а поэтому „просим доложить ему, что мы желаем его видеть“. На заразном отделении сидел 21 человек по трое в камере; заявление о желании видеть заявили все. Скоро пришел дежурный помощник Гудима узнать, какое у нас есть заявление к Грану, но ему объяснили, что передадим лично, что характер заявлений будет общий.

После обеда „посещение“ состоялось с большой помпой.

Камера открылась, вошел начальник тюрьмы Зимберг, в полной парадной форме с крестами, медалями; мы встали в ряд. Он подлетел к самому носу, приложил руку к шапке и, как какому генералу, доложил: „Его высокопревосходительство, начальник главного тюремного управления, не то действительный, забыл точно, не то просто тайный советник господин Гран“.

и отошел на шаг в сторону. Выявился Гран, в простом мундире с одним крестиком, за ним стояла целая плеяда мундиров, крестов, медалей: губернский инспектор, все помощники начальника тюрьмы — новенькие, как с иглою, блестящие, как будто они все солнце между собою разделили. Такой выкрутас порядочно ошеломил и показалось даже тесно в камере.

„Здравствуйте!“ обратился Гран к нам.

Мы просто ответили „здравствуйте“.

„Какая категория каторжан?“ обратился Гран уже к Зимбергу, тот отвечал по военному:

„Смешанная, ВВПР, со скверным поведением...“

„Какие имеете заявления ко мне?“

„Мы считаем нужным заявить о несоблюдении в Шлиссельбургской тюрьме законов...“

„Говорите каждый за себя, обобщение сделаю я сам.“

„Согласно устава о ссыльных, мне продолжен кандалный срок на два года, этот срок истек два года тому назад, но я до сих пор не раскован, как видите сами. По тому же уставу полагается двухмесячная скидка с года после расковки — эта статья у нас не применяется...“

„Говорите о себе, о скидке рано думать.“

„В карцерах, по закону, полагается четвертые сутки проводить в светлом карцере, между тем в башенных карцерах приходится сидеть все тридцать суток в совершенной темноте...“

„Я ВВПР. — перебил Зимберг — даю им искусственный свет...“

„Неправда. Искусственный свет можно давать только, когда работает электрическая станция, она же в течение лета ни одного дня не работает.“

Я старался изложить все факты по порядку и соблюдать хладнокровие. Гран слушал внимательно, но как только я сказал:

„В законе сказано... он перебил меня, повернувшись ко мне в полуоборот и сделав жест рукою, как будто отмахивался от надоедливой мухи словами „Мало ли что в законе сказано“ и хотел подойти к стоявшему рядом со мною Сграфуну. Меня взорвало и не столько от его фразы, сколько от самого жеста. Я не нашел ничего лучшего, как „ушибить“ его на месте и сказал громче, чем говорил до этой минуты:

„Если вы так рассуждаете, то вы не начальник главного тюремного управления, а настоящая свинья“.

Мое окончание было куда эффектней, чем удар грома в ясный солнечный день.

Гран остановился и смотрел на меня. В камере воцарилась мертвая тишина. Все лица тюремщиков вытянулись, как предзакатная тень, товарищи мои перетрусили, да я и сам подумал, что немного пересслил: можно, ведь, было назвать свиньей какнибудь иносказательно. Свинья, при таком изобилии крестов, медалей, погонов, новых мундиров и лакированных сапог, как-то не влезала в камеру. Но дело было сделано и нужное слово было сказано, оставалось выдерживать характер и спасти каторжанскую честь. Я вперил

глаза в физиономию Грана. Он молчал и смотрел на меня так, как будто за мной, сквозь меня, видел картину, какой во всю жизнь не видал.

Так продолжалось минуты три. Первым оправился помощник начальника тюрьмы Кириллов, подлетел к Грану, приложил руку к шапке и спросил:

„Прикажете, ВВПр, наказать“?

Гран опустил глаза к полу, ответил „я подумаю“ и направился к выходу из камеры. Он даже забыл, что хотел принять заявления и от моих сокамерников...

Не успел он уйти с коридора, как мои сокамерники, Страфун и Лявгин, напустились на меня, что я превысил полномочия избирателей и оскорбил сверх программы Грана. Желание его видеть было заявлено всеми; могли всех подвергнуть наказанию. Выходило так, что я своими „ораторскими“ способностями подвел все заразное отделение. Оправдываться перед товарищами не было смысла. По мнению сокамерников для всех был неизбежен карцер; мне нужно было готовиться к возможной порке. Я махнул на все рукой: от судьбы не уйдешь „кому быть повешенным — тот не утонет“ и т. д. Начал начинать воротник рубашки махоркой. Стал ждать часа возмездия. Час настал через три дня. Вызвали в кабинет начальника. Зимберг сидел за столом помощника, около стены.

— Свои слова помнишь?

— Помню.

— Картину восстанавливать не нужно?

— Мне — нет.

— Что скажешь в свое оправдание?

— Ничего.

Зимберг взял четвертушку бумаги и прочел заготовленный приговор: „За оскорбление словом Его Высокопревосходительства начальника главного тюремного управления господина Грана при исполнении им служебных обязанностей ссыльно-каторжного арестанта, имя рек, подвергнуть одиночному заключению на четырнадцать суток“.

„В башню“ — обратился Зимберг к старшему Дергачеву. Это было так мало для меня, уже сидевшего в карцере за обозвание надзирателя Михайлова только „солдафоном“ тридцать суток, что я и сам не поверил приговору, думая, что это „только ягодки, а цвстики впереди“. Не поверили и сокамерники, когда на четвертые сутки я, с прогулки, просигналил им приговор. Убедились только, когда через две недели меня привели в камеру.

Это единственный случай во всей моей каторжанской практике, когда я был сам убежден, что мне дали меньше, чем мне приходилось получить. Во всех остальных случаях карцерной сидки, а их было до 25, мне всегда приходилось получать больше, чем я назначал сам себе.

Из практики других следует упомянуть, что евреям приходилось сидеть в карцере за отказ петь русскую молитву православному богу...

Но это было уже во время войны.

Телесные наказания.

Система наказаний в каторжных тюрьмах не ограничивалась каторгами. На каторге царили розги, избиения и убийства. Весть о разгуле этих „институтов“ редко проникала в печать и общество. Проникновение бывало только в случаях эпидемической, массовой порки, когда ей подвергались, в общем числе, выдающиеся, по своему прежнему положению или по общественным связям, каторжане, да и то не каждый раз. Большинство же слугаев оставались и останутся тайной тюремных стен. Такому положению много содействовало царившее в обществе убеждение, что телесное наказание в России „отменено манифестом 1903 года“. Хотя в законах и есть статья гласящая, что „никто не может отговариваться незнанием законов“, мало кто знает законы вообще, еще меньше знают, что телесное наказание существовало в законах до дня Великой Февральской Революции 1917 года, вплоть до дня падения самодержавия и охранявших его законов.

Как подтверждение этого факта „общественной юридической темноты“ мне вспоминается случай, бывший в конце ноября 1911 года.

Меня перевезли для операции в больницу „Крестов“. Развозка арестантов по петроградским тюрьмам всегда начиналась с пересыльной тюрьмы, как расположенной рядом с казармами конвойной команды. Конвойные приняли меня вечером, часов в шесть, усадили в больничную карету и направились в Дом Предварительного Заключения, до которого я сидел в карете один, под замком. На дворе „Предварилки“ пришлось ожидать с полчаса. Наконец, открывается дверца, влезает конвойный и тащит штук три-четыре дамских картонок, коробок и несколько узлов.

„Сейчас, к тебе барыньку посадим...“ сказал он мне.

„Давай, хоть сатану — в шутку ответил я ему.

Через несколько минут появилась дамочка.

„Вещи направо“... указал конвойный. Дверцы захлопнулись. Было темно. Я молчал. Дамочка начала расставлять свои картонки и, очевидно, решила о существовании скамейки на моей стороне, наткнулась большим деревянным футляром на мою личность. Наткнулась и испугалась.

„Ай, здесь кто-то есть!

„Есть человек.

„Начиналось завязываться знакомство.“

„Кто вы?

Ее характерное „ай“, ангельский голосок, но больше всего количество картонок, оскорбляющих сущность тюрьмы, быстро подсказали мне идею „терроризовать“ дамочку для потехи. Я ответил кратко и насколько возможно внушительно.

„Каторжник.

„Ай, боже мой! Что вы, не может-быть?

„Может — и для доказательства дернул за кандалный ремень. Кандалы попали меня и лязгнули вполне согласно с моей идеей.

„Ай, как же это. Цепи... Как же мне быть?”

„Ехать, куда везут и больше ничего! я не кусаюсь.

„Но, позвольте, как-же... я каторжан никогда, никогда не видела, а здесь... вместе... и так темно...”

„Жалаете посмотреть. Если позволите — пусть я самое джентльменское орудие — я закурю и зажгу спичку, только у меня махорка...”

„Ничего, я сама курю, а вас угощу папироской. Боже мой, куда их положила...”

„Ладно — думаю — папироска от нас не уйдет, и пока она искала, скрутил собачью ножку и зажег спичку.

Стояла она в проходе между скамеек, но корпусом откинулась в угол кареты и одной рукой уперлась в стенку. Средняя фигура, миловидное бледноватое лицо, широко раскрытые глаза и живое выражение изумления, неожиданности, пришлось мне по душе. Пока я рассматривал ее, закурил, спичка сгорела, зажег другую. Она стала меня осматривать, глаз с нее я не спускал. Это было довольно игривое олицетворение любопытства и болезливости. Видно было, что мой арестантский серый бушлат коробит ее эстетические вкусы.

Набралась храбрости, подошла ближе и спросила.

„А цепи можно посмотреть?”

„Можно. Они кандалами называются...”

Я протянул ногу, она наклонилась и потрогала кандалный обруч пальцем.

„Тяжелые... а как же на ночь снимаете?”

„Слава богу, уже сколько лет снимать не приходилось...”

„Велье как же менять, неужели все в одном?”

„Нет, каждую неделю сменяется. Вкратце объясни, что по примычке в кандалах скорее можно одеться, чем другой без кандалов.

Знакомство завязалось прочно. За что? Как живет? и т. п. вопросы сыпались, только управляйся отвечать. Говорить со свежим человеком всегда хорошо, в особенности, если он из другого мира — не из тюремных обывателей. С ней приятно было беседовать. Она слышала о деле, за которое я был осужден.

Муж ее, присяжный поверенный каким то путем арестован по делу убийства Столыпина, он не виноват, она написала ему в „Петропавловку” письмо, в котором спросила, что и кому следует говорить в его пользу, послала по почте, а жандармы ее арестовали. Она — бестужевка, сыну четыре года, он с мамой.

Из „Предварилки” она снова написала мужу письмо, но помощник начальника тюрьмы пришел и объявил:

„Переписка между арестантами не разрешается.”

„Я арестантам не пишу, пишу мужу”.

„Ваш муж в Петропавловской крепости, он арестован — значит арестант и вы арестантка”.

Как, мой муж — арестант!

Выше № 1 (29)

Не долго думая, дамочка-арестантка ударила помощника по лицу медной тарелкой. Надзиратель бросился спасать начальство и нанес палкой ей в руку легкую рану... Везут лечить в больницу. Она больше всего возмущена, что ее мужа называли арестантом...

„Это—пустяк, не стоит обращать внимание, назовут, как вздумают, да еще и побьют, как вас.“

„А вас бьют?“

„Бывает бьют, бывает порют...“

„Это как?“

„Розгами, телесное наказание...“

„Не может быть. Я знаю... в России телесное наказание давно отменено... Не говорите неправды.“

„Смею вас уверить, чистейшая правда. О смерти Сазонова слышали? Он покончил с собой на этой почве...“

„Нет, нет... я не верю вам!“

„Мне ваше доверие не нужно, но это факт...“

„Перестаньте... перестаньте...“

Знакомство расстраивалось и папиросы уже улетали в область мечтаний, но ей самой трудно было не говорить. Перешли на частные темы. Добрались до времен, когда ее муж был студентом... Нашлись общие знакомые студенты, курсистки... Некоторые из них остепенились, обзавелись семьями...

Появились и папиросы—тоненькие, как мышинный хвостик. Карета тронулась и поехала в Литовский замок, где помещалась женская тюремная больница. Всю дорогу беседовали мирно. Но расставаясь, как друзья, она все-таки напомнила, что мне не верит.

„Потом, после, может поверю“—выпорхнула и конвойный забрал коробки с узлами...

Другой факт касается уже непосредственно сфер политических борцов, хотя тоже из женского пола.

Каторжанина Черемухина перевозили из Пскова в Шлиссельбург. На главном посту Петроградской пересыльной тюрьмы он разговорился с курсисткой, идущей в Архангельск в административную ссылку и упомянул о порке в Пскове. Эта не только не поверила, но объявила, что она считает его лжецом, а не политическим. Однако, ей здесь же пришлось убедиться в своей неправоте.

Принимал арестантов дежурный помощник Ионин, прозванный арестантами „хулиганом“. Хулиган вычитал из документов Черемухина о его политичности, поведении и напустился, не стеснясь присутствием женского пола, с матерной бранью. Как только Черемухин попросил не кричать и быть повесливей, Хулиган заорал: „не разговаривать. Порооть.“ Этим убедил неверующую: Черемухин, в отместку ей, проходя мимо, бросил ей: „когда вас будут порооть, надеюсь, свои слова возьмете обратно!“ и довел ее до обморока.

Два эти факта не только иллюстрируют женскую наивность, но они очень ярко показывают, что даже круги, в некотором роде близкие к тюрьмам, совершенно не имеют представления, что в них творится.

Телесное наказание, по существу, не может быть признано наказанием также, как и смертная казнь. Как одно, так и другая чистейшее издевательство над человеком, имеющее конечной целью уничтожение человека в человеке. Эти два вида издевательств имеют в себе крайне сильный разлагающий фермент. Как подвергающиеся им, так и подвергающие, пожалуй, последнее в большей степени, чем первые, совершенно утрачивают сознание ценности человека в обществе. Нужно обладать высшей степенью нравственной устойчивости, чтобы сохранить после телесного наказания человеческое отношение к окружающему, чтобы не стать мстящим животным за поругание, чтобы иметь смелость открыто смотреть в глаза другим людям. В этом кроется причина того, что среди подвергавшихся телесному наказанию так высок процент самоубийств и нравственных вырождений. Телесное наказание и смертная казнь является сознательным внедрением в общество и прививкой к его отдельным членам бактерии садизма. Только эти два института отодвинули развитие и совершенство человечества на целое тысячелетие назад, и все остальные препятствия на этом пути являются второстепенными. Хуже всего то, что они не замечаются обществом во всей их наготу, как стоящие в стороне от него. Какое бы ни существовало правительство, оно будет всегда рассадником реакции, если будет допускать их в стране. И гуманистам, изучающим вопросы прогресса общества следовало бы изучать влияние этих институтов там, где ближе всего к ним стоят, где, так сказать, массы всегда находятся под их угрозой; тогда голос протеста против этих варварств не только не заглушался бы, но вечно гудел бы набатым призывом скорее уничтожить этот позор...

Самая процедура применения телесного наказания дана уже в своем месте. Задачей этих строк является попытка подойти к нему с точки зрения каторжанской психологии.

Приговор суда о лишении всех прав и ссылке в каторжные работы понимается всеми осужденными, независимо от их культурного уровня, не только, как отвержение от общества, в среде которого осужденный вырос и сложился, но и как определенное принижение, перестановка на более низкую ступень, какую вообще занимает человек. Поэтому, вся последующая жизнь осужденного или ограничивается усилиями удержаться на этой низшей ступени, или же собиранием усилий подняться снова на прежнюю ступень. Только с таким подходом к положению каторжан можно подойти к их отношению к телесному наказанию, тем более, что по этому вопросу нет никакой возможности собрать какой-нибудь материал, основанный на опыте: в каторжных тюрьмах говорят прямо и громко обо всем, что существует в мире, но только не о телесном наказании. Задать же вопрос на эту тему вряд ли хватит у кого мужества. Отсюда понятно, насколько острее чувствуется каторжанами каждая новая попытка принизить их еще больше, чем это сделано судебным приговором.

Боль этого чувства сильнее во много раз охватывает того, кому угрожает принижение, чем того, кто является сочувствующим принижаемому. Телесное наказание рассматривается в каторжных тюрьмах не как наказание, но как орудие принижения уже сознающего себя униженным. Причиняемая самим наказанием физическая боль никогда не входит в предмет обсуждения и, в самом деле, она никого и нисколько не пугает.

В сознании каждого каторжанина, как и каждого человека, даже и не слышавшего о существовании теории всеобщего равенства, потенциально присутствует идея равенства всех людей, только общественная обстановка, где на каждом шагу проявляются то расовые, то национальные, то религиозные гонения, заглушают этот росток. Но стоит только перемениться ролями, как начинается снова назревание и пробуждение сознания. В этом кроется другая сторона признания телесного наказания сугубо-унижающим орудием. Такой же человек, как и истязуемый, часто намасливающий свой заработанный кусок хлеба далеко не лучшими путями, ни с того ни с сего получает право издеваться над другими, причинять не только физическую боль, но и давить, сталкивать нравственно еще ниже. Стоит только прямо взглянуть в глаза действительности и весь кошмар положения станет во весь свой рост. В обществе, в среде тех, которых почему либо не захватила фабрика, изготавливающая преступный мир, рассуждают, что „варварский“ закон порки применяется к отбросу человечества, воров, жуликам, убийцам; на самом деле им редко попадает. Если даже допустить, что именно эти типы являются объектами телесного наказания, невольно поднимается вопрос: за что они попали в тюрьму. Ответ один: за пустяки, так кое-что стащили, чтобы жить шире, чем позволяет заработок, стащили у того, кто может заметить свой ущерб и может защищать свои интересы. Но взгляните на тех, кто „применяет“ к такому типу наказание. Начальники, помощники, надзиратели. Им отданы значительные материальные ресурсы, выжатые из спины трудовых элементов. Им доверили, положились на их защиту общественных интересов. Но они крадут все, что можно украсть: обмундирование, продовольствие, дрова, уголь. Принуждают подвластных делать из народного добра не только для себя, но и для своих знакомых целые квартирные обстановки. Даже министру Щегловитову сделали чудную квартирную обстановку красного дерева, за которую, правда, он заплатил десятку стюардов, работавших месяца два, пять рублей, (факт). — Крадут без всякого зазрения совести и в тюрьме никогда не сидят. Сравнить эти две категории воров и получится, что вторые „не заслуживают снисхождения“ — они обкрадывают доверителя, беззащитного, все равно, что малого ребенка. Если бы мне пришлось когда-нибудь признать, что человека нужно пороть, я без колебаний решил бы, что пороть так пороть нужно начальство, обворовывающее беззащитного плательщика...

Телесному наказанию, за редкими исключениями, подвергаются осужденные, которые меньше всего причастны к жульничеству, но у которых достаточно сильно развито сознание человеческого достоинства, у которого сознание

равенства вышло уже из потенциального состояния. У таких уже надстроились понятия высшего порядка о человеке, его существовании и т. д. которые, усложняясь все дальше и дальше, производя в то же время обострение отношения к поворящему явлению, завершается, в конце-концов, полным убеждением о недопустимости его в человеческих отношениях. В этом убеждении уже не уделяется места тому факту, что орудие передано законом на произвольное распоряжение людям, часто не только не выдерживающим никакого приложения к ним нравственного критерия, но чаще большим патологическими извращениями. Иначе, конечно, и быть не может, раз принципиально отвергается само орудие.

Над человеком в каторге постоянно висит угроза подвергнуться оскорблению по злобе или мести, иногда, просто, по капризу. Такое состояние взвинчивает нервы до крайности, оттачивает восприимчивость до болезненности и, понятно, сильно возбуждает оскорбление и не самого лично, но и другого, часто ему неизвестного, но находящегося в таком же положении.

Так, без всякой пропаганды и дискуссии складывается личное отношение к решению данного вопроса и вырастает молчаливо общее отношение, которое сразу, в случаях применения телесного наказания, бросает на протест и властно выявляет требование об отмене позорного издевательства.

Отрицательное отношение к телесному наказанию настолько общее, что в истории каторги нет случаев обсуждения вопроса об отношении к нему. Вопрос касается только методов протеста и борьбы за его уничтожение. Здесь любители острот могут заметить, что было бы странно, чтоб висельники любили ту веревку, на которой он будет повешен. Но такая острога по отношению к каторжанам не уместна: ни тюрьмы, ни кандалы, а тем более карцера не пользуются каторжанской любовью. Однако существование их не вызывает такого отвращения, как телесное наказание. Это объясняется тем, что в первом видно орудие наказания, другой вопрос и здесь неуместный совершенно, правильно ли, заслуженно или незаслуженно подвергают наказанию, тогда как в порке наказания нет ни капли.

В отношении к методам протеста и борьбы уже нет никакого единодушия, какое видно в отрицании порки. Меньшинство всегда считает необходимым протестовать самоубийством: сильнее, мол, орудия в руках каторжан нет. Но большинство склонно думать, что самоубийство—не борьба, скорее отказ от борьбы, предоставление простора дальнейшему разгулу произвола.

Ведь ни для кого не тайна, что каждая смерть каторжанина, в особенности с определенной политической окраской, как бы она ни произошла, всегда вызывает у тюремной администрации только вздох облегчения. Правда, самоубийство, если оно только проникает в печать, станет предметом гласности и причинит администрации некоторую неприятность, но, опять-таки не своим фактом, а фактом именно проникновения сведения из тюрьмы на голую и, кроме того, эта неприятность так непродолжительна, что она даже не оставляет и следа на тюремном режиме. Исходя из таких соображений

противники самоубийства находят больше пользы в простом потрясении тюремных основ иными формами протеста, нарушением правильного течения тюремного режима. И, действительно, такая форма борьбы, отличающаяся всегда длительностью, дает лучшие результаты. В этом отношении можно сравнить Шлиссельбургскую тюрьму, применявшую исключительно „потрясение“ основ с другими тюрьмами.

В Шлиссельбурге, после массовой порки во время постройки, т.е. в течение 8 — 9 лет, было только два случая телесного наказания: во время протеста 1912 года в начале войны, когда Максимов, добровольно ушедший в церковный хор вместо „спаси господи“ затянул полным голосом какую-то матерщину. Между тем в других тюрьмах телесное наказание было явлением обыденным. Дело здесь не в том, что Шлиссельбург ближе других каторжных тюрем стоит к столице: в самом Петрограде в пересыльной тюрьме, часть которой была каторжной, розги разгуливали сильнее, чем в Пскове или в каком-нибудь Акатге. Преимущество Шлиссельбурга было в том отношении, что администрация хорошо знала общее отрицательное отношение каторжан к телесному наказанию вообще, а не только по отношению его применения к политическим. Начальник тюрьмы, Зимберг, отправлял на кладбище карцерами, пожалуй, больше каторжан, чем все остальные, вместе взятые, начальники каторжных тюрем розгами. Но только по отношению к Зимбергу из уст каторжан вылилась фраза Энгельгардта „Зимберг является идеалом начальника тюрьмы“. Эта фраза имеет достаточные основания только в том отношении: он давил, не давал пощады, но не издевался. Вот почему каторжане в революцию дали ему снисхождение и сами освободили из под ареста, а не потому, что революция внесла в их душу сентиментальность.

Поступок Максимова был осужден поголовно всеми каторжавыми, однако и протест был заявлен всеми. Таким образом отношение к телесному наказанию в Шлиссельбурге было не отношением каторжан, но отношением человека и, в этом смысле, Шлиссельбург стоял далеко впереди всего русского общества взятого целиком.

Если взглянуть на телесное наказание с точки зрения администрации, проследить ее практику, то, становится понятным, что и она не рассматривала его, как наказание, но практиковала или как издевательство, или как месть для удовлетворения своих чувств. Это лучше всего видно из деятельности в этой области помощников начальника Талалаева и Ключкова. Вель и они применяли порку только в дни, следующие за ночами, проведенными за пьянством и картежом в городском клубе. Случай Агафонов, применившего телесные наказания только после обнаружения им своего пошатнувшегося положения в высших сферах, к первым попавшимся под руку, но не после настоящего дебоширства с баком, говорит то же самое. Поэтому, объединение телесного наказания предписанного законом в одну главу с избиениями, воспрещенными тем же законом, совершенно правильно. Разница только в том, что телесное наказание администрация санкционирует до его применения, а избиение утверждает, говоря научно, *post factum*, и что избиение

производится надзором в виде аванса на получение начальнической похвалы.

Из двух зол выбирай меньшее... И порка — зло, и битие — зло. Последнее физически больнее, но в смысле издевательства оно меньше; поэтому быть избитым предпочтительнее. Здесь, хотя и мало, но все же допустима облобо, которая даст хоть маленькую компенсацию...

Кроме упоминавшегося избияния Орлова, бои производились при главном участии помощника Талалаева. Было еще одно покушение на избияние, с участием Любенецкого, каторжанина Костикова, но угроза Костикова и его решимость оказать сопротивление не дали возможности развернуться покушению; Любенецкий испугался.

Все остальные избияния каторжан в Шлиссельбурге производились надзирателями, стремившимися на этом сделать свою карьеру. Плечайтис, Михайлов, Потапов, Анжилов, Александров, Романов и Салов только избиянием и выдвинулись из рядового надзирательства. Больше всего от них досталось Вилькову и Роговому, но и остальным, имена же их, ты, господи, веси! пришлось не мало.

Били они научно, в бока и подреберье, следов не оставалось, били до потери сознания и сами же приводили в сознание, поливая водой.

Сколько заявлений об избиянии ни делалось, все было безрезультатным для каторжан, но избивавшие или занимали должности отделенных, или числились кандидатами на них. Рука — руку моет.

Картины боев были стереотипны. И мой бой, пожалуй, может служить прототипом всех тюремных боев...

Спустя несколько минут после отказа от работы явился за мной надзиратель и повел в карцер. Там уже нас ожидали помощник, два надзирателя с винтовками, старший и несколько надзирателей без оружия. Не успел я очутиться среди этой своры палачей, помощник заорал:

„В наручники“.

Старший надел наручники и так закрутил цепь, что одну руку можно было отвести от другой только вершка на два, на три... Возможность действовать руками была парализована, можно было только обороняться... Все время, пока старший путался, закручивая наручники, помощник сыпал отборную ругань по моему адресу и всех каторжан, но когда наручники были одеты, он приступил ко мне вплотную и еще сильнее закричал, вспомнив матушку:

„... отказываться от работы?“

Принесенные в карцер наручники говорили, что у тюремщиков план обдуман заранее, изменить я его не мог и решил молчать во что-бы то ни стало.

„Так ты молчать вздумал?“

„Не желаешь со мной разговаривать.“

„Я заставлю тебя заговорить... твою мать.“

„Ты у меня запоешь, как я захочу...“

Он размахнулся правой рукой. Я определил, что он может ударить меня в левый висок и быстро поднял руки для защиты. Помощник не рас-

считывал на это, стремительность моей защиты помешала ему удержать руку на поддороге. Его удар пришелся по смычке наручных обручей, раскровянил ему кулак и присадил мне порядочный синяк у глаза — я сразу почувствовал, что мой глаз заливается...

Дело было начато и терять мне было нечего, появилось желание не только претерпеть, но и нанести вред и тюремщику. Быстро сжав пальцы одной руки с пальцами другой, с размаху я вцепил наручники в левую щеку помощнику, оторопевшему от появления на кулаке крови. Удар мой был довольно силен, он рассек ему скулу так, что кровь брызнула мне в лицо, помощник свалился с ног.

Надзиратели бросились на меня. Стоявший позади ударил меня в поясницу прикладом так, что внутри все зашумело. Я упрямился ударить по шее старшего, наклонившегося поднять помощника, и в этот момент другой надзиратель сплел прикладом меня с ног, один надзиратель наступил на мои ножные кандалы и моя попытка всколыхнуть на ноги не увенчалась успехом.

Подбежавший помощник стал бить сапогом в живот и только кричал: „говори... говори...“

„Эй ты — прикладом... прикладом...“

Дальше посыпались удары и прикладом, и кулаками, и ногами. Я скоро перестал ощущать боль и потерял сознание...

Это было 16 августа... Очнулся я и стал соображать только 24-го в больнице.

Внутри все ныло. Было больно дышать. Глаз не хотел смотреть, наручники уже не было. Когда я захотел протереть левый глаз, то почувствовал такую слабость и боль в плече, что рука сама упала на матрац. Бывший в этой же камере каторжанин Верзин, дал мне пить и поднес к моему лицу зеркало. В нем я увидел совершенно чужую рожу, была именно рожа, даже хуже рыла.

Левый глаз весь распух, кругом почти фиолетовый, „физика“ вся опарана, как будто полирована крупным рашпилем... Сокамерники говорили, что я еще красивее был, когда меня к ним принесли; теперь нос и губы стали нормальными, тогда же опухшими.

От сокамерников я узнал, что принесли меня в палату только на третий день из карцера. Лечили меня с месяц: кормили котлетами, мазали рожу разными смазками и пили микстурой...

Я надолго утратил способность спать на спине и, если случайно повертывался, то там моментально что-то заливало, становилось больно дышать, повернуться на бок не было сил и я начинал махать руками товарищам, чтобы они перевернули.

Современем все смягчилось, но все же года полтора я чувствовал, что спина не совсем удобна для сна, несколько месяцев выхаркивал сгустки крови. Все обошлось благополучно. В карцере за это дело досаживать не пришлось и больше не заставляли ни работать, ни говорить. Когда приходилось встречаться с помощником, его охватывала лихорадка. „Очевидно, что

он считал, что я ему еще должен, но я ему не заплатил: где наше не пропадаю. Пришлось раз встретиться и с надзирателем, который свалил меня прикладом. При напоминании ему о бое, он даже не смутился, но просто-душно ответил „что ж, надо делать, что приказывают“... „не тебя, так другого, все равно“ и только похвалил меня, что я молчанием допек помощника; оказывается, оно было для него хуже острого ножа.

Самубийство Бабкова так и осталось тайной Шлиссельбурга; его били, но как, никто не знает. Не случайно повели его в третий корпус Плечкайтис, Анжилов, и Потапов...

Много было собрано мелких штрихов проливающих свет на эту тайну, много было накоплено и фактов, дающих более яркую картину избиений, но вся эта ценность погибла уже после революции в Шлиссельбургских трагедиях...

Побеги.

Среди каторжан Шлиссельбурга добрая половина вполне примирилась со своим положением отбыть определенный судом срок наказания, не считаясь ни со льготами, ни со скидкой. Четвертая часть надеялась получить какую-нибудь скидку, манифест или тому подобную комбинацию, сокращающую срок. В остальной части явно или тайно теплилась надежда на возможность побега. Но все это скрывалось внутри каждого и только приближение весны начинало выворачивать наружу все внутренности.

Каждая весна приносила тюрьме психические болезни исканием путей к свободе, в первую очередь посредством бегства. Это заболевание носило эпидемический характер и заражало не только третью четверть, но и первую половину. Каждая весна приносила разговоры о побеге, вносила в жизнь тяжелое ощущение скованности и страстно манила сбросить долой цепи и лететь на свободу. Пробуждалось какое то животное желание вольности, простора. И весной вырабатывались самые утопические планы, которые дебатировались и смаковались до мельчайших подробностей.

Проходила весна, наступало лето, впереди рисовалась приближающаяся осень. Разговоры о побегах мало по малу стихали и к началу зимы совсем замирали. Желание вольности, простора угасало, его место занимала дремотность. Уже с половины лета начинала разворачиваться потребность умственной работы, которая весной вываливалась из рук. Так отражалось пробуждение природы к новой жизни на тюремных пленниках каждую весну. Вместе с весной росли и расцветали надежды; вместе с ее уходом они увядали, бледнели и осенью погружались в зимнюю спячку.

Островное положение Шлиссельбурга сводило к минимуму расчеты на успешность побегов, но все же не исключало, если не практической, то теоретической их возможности.

Первая попытка массового побега, при постройке тюрьмы, не удалась, но и не убila охоты к новым попыткам. На смену ей пришла затея бессрочников в 1910 году бежать из шестой камеры второго корпуса.

Второй корпус пристроен к крепостной стене вплотную, его наружной стеной является крепостная стена. Если проломать в этой стене, толщина которой была больше сажени, дыру, можно вылезти прямо на берег Ладожского озера. Жажда свободы не знает на своем пути ни каменных, ни железных преград. Не была преградой и исполинская вековая стена. Весь вопрос сводился к тому, сколько времени возьмет ковыряние дыры. Не беда, что нет специальных инструментов; куском железа или гвоздем при желании можно пробить дыру куда больше, чем настоящим буром без желания. Вся беда в том, что каждый день можно выламывать не больше камня, чем удастся вынести на прогулку в карманах и разбросать незаметно для надзора; а вынести нужно было не меньше $\frac{2}{3}$ куба. Это требовало порядочно времени, каждую неделю были обыски; случайно могло обнаружиться. Не так easy горяч, как с места берет и энергия могла упасть у каторжан.

В середине стены оказалась пустота, проход внутри стены в башню, явилась возможность работать над проломом энергичнее и бросать выломанный камень там же. Дело довели до конца. Еще несколько дней и бессрочники были бы на берегу. В это время из Одессы прибыли два брата, бессрочники, Соколовы. Пришлось отложить окончание работы, присмотреться к вновь прибывшим, узнать их и нащупать их согласие на побег. Администрация и надзор не допускали возможности бежать сквозь такую толстую стену, на обысках просматривали кандалы, наручники и оконные решетки, стене внимания не уделялось и с этой стороны все обстояло благополучно. Соколовы согласились участвовать, но они, очевидно, не верили возможности убежать из Шлиссельбурга. Когда узнали, что вопрос касается дней, испугались и в последний день, во время выхода в уборную, не пошли обратно в камеру и передали начальству о предстоящем побеге. Конечно, нашли дыру, бессрочников рассадили по кардерам и стали внимательно осматривать стены.

Побег не удался. Соколовых посадили в сучий куток.

Неудачный побег Хитроша уже описан. На смену ему пришел план захвата крепостного пароходика и бегства на нем в Ладожское озеро. Уже подобрался комплект с собственным механиком и целой командой, но начавшийся общий протест отодвинул частное предприятие на задний план. Осенью удалось уйти Васькову и Роговому, но ненадолго.

Сговорившись бежать им удалось добиться работы „по печной части“. Эта работа допускала хождение на берег за песком. Вскоре им пришлось чистить дымоходы в доме начальника, они убили сопровождавшего их надзирателя, Роговой переделался в его форму и вывел Валькова из крепости на берег. Перебрались через рукав Невы и канал, пустились на утек. За ночь дошли почти до Чудова, но мокрые, от купанья в канале, быстро отбили ноги. Вальков, после дневки на одном сеновале, идти дальше не мог, но все же сделали попытку отправиться. Крестьяне их заметили и устроили на них облаву. Валькова поймали и через неделю он был уже в Шлиссельбурге. Роговой добрался до Каменец-Подольской губернии в своему товарищу по прежней преступной деятельности. Товарищ нашел более выгодным

сменить воровскую профессию на должность полицейского стражника и, вместо ночевки для бывшего друга, когда тот уходил от него, открыл по нем из берданки стрельбу и перебил ноги. Привезли и Рогового в Шлиссельбург. Летом их судил военный суд за убийство надзирателя и осудил, с применением манифеста 1913 года, в бессрочную каторгу. В добавок к этому им порядком набили бока надзиратели из чувства профессиональной мести и солидарности, после чего их развели по другим тюрьмам.

Самым замечательным покушением на побег была попытка десятой камеры второго корпуса. В этой камере подобралась публика веселая и согласная на все. Наступила весна и принесла зарю удрасть. Нужно было проломать только потолок, прорезать железную крышу, с нее перебраться на крепостную стену, проползти по ней около сотни шагов и можно спуститься на берег. Стащили у доктора ланцет, нашли железную ручку от параша обзавелись ножом и с таким инструментом начали работу, когда по научным данным, не могло быть луны. Подвел потолок. Начали 2 Марта и надеялись пробить дыру за одну ночь, но потолок оказался цементным и плохо подавался, в этот вечер удалось только снять окраску. На день обнаженное место стали заклеивать бумагой, выкрашенной зубным порошком; было заметно, но не очень — „умный не заметит, дурак скажет так и надо“. Со второго дня начали торопиться, чтобы закончить до очередного обыска, но не тут-то было, цемент под первобытно-приспособленными инструментами подавался плохо, появилась луна и заливала своим печальным светом всю крепость. Первый обыск сошел удачно: никто головы вверх не поднял, хотя на обыске пыль из постельных принадлежностей выбивали усердно. Уже в начале второй недели, под давлением твердого цемента, энергия стала ослабевать, появилось небрежное отношение к дыре: утром бумага, приклеенная с вечера мякотью хлеба, отставала и укоризненно висела, но ее уже не поправляли. Стоило старшему на поверке поднять немного голову и он обязательно бы увидел дыру. Но рассуждали просто: „пусть, все равно не удастся, не сегодня, так завтра засыпемся“. На смену пропавшей энергии пришло махальство: решили ломать пока или проломают или „засыпятся“. А не засыпаться было уже трудно. Цемент трещал чорт знает как. Соседняя камера уже догадалась в чем дело и чаще и чаще спрашивала, как подается. Дежурные надзиратели спрашивали около решетки на коридоре в карты и треску совершенно не придавали значения.

Потолок подался, проломали; там оказались деревянные брусья положенные на крест — это препятствие тоже взяло не мало времени, но как только преодолели его, оттуда сразу слетела такая гора мусору, что заполнила пылью всю камеру и подняла грохот, приведший всех в смятение. Часть каторжан бросилась осаживать пыль портиновским способом, часть свернула толстые папиросы и принялась около двери усиленно курить. Грохот привлек внимание надзирателя и он уже забежал „по волчкам“ камер, чтобы убедиться, что все на посту благополучно. Пыль и дым в десятой камере были очень густы и „мент“ в волчок ничего не рассмотрел, он открыл дверную форточку.

„Что за шум?

„У нас все тихо...

„Эк, накурлили, окаленные, подохнете...

Форточка захлопнулась, надзиратель помчался к другим камерам. Он скоро убедился в благополучии, и снова все стихло... В десятой камере мусор уже собрали в простыню, и высадили Лизандера на потолок и подли ему ушел... Скоро прорезали и крышу.

Луна светила, как „скаженная“.

По дню побега готовились основательно. В последнюю выписку продуктов выписали, папирос, конфет; старались больше истратить денег, чтобы меньше их осталось в пользу казны... Перерезали и сняли кандалы, наделали чучел, уложили их на койки и стали выбираться. У Ткачева появился аппетит захватить с собою в дорогу большой медный казенный чайник, но встретил дружный отпор: правда, в пути пригодился бы, но, ведь, это будет уже кража.

По одному вылезли на крышу и стали по ней перебираться на стену. Ползли сперва к первому корпусу, на башню Ивана Антоновича, с нее на стену, чтобы потом пробраться на северную. Прямым, коротким путем было опасно: мог заметить надзиратель, который подошел к другим и разговаривал. Крыша потрескивала, и надзирательские слова доносились до ползунов:

„Лед трещит, скоро тронется — говорит один.

„Пора — отвечает второй — завтра благовещение“.

„Тронулся, уже — думают ватожане и посмеиваются. „Что-то вы загворите, когда увидите прорубку на льду потолка“.

Наконец все на башне. Луна отчаянно светит. Направо в тени спускаться нельзя, там часовой с винтовкой, можно только к озеру; но здесь башня освещена луной не хуже, чем электричеством. У восточной башни, сажених в пятидесяти, расхаживает с винтовкой надзиратель, лицо его можно рассмотреть. Он, конечно, заметит, как начнут спускаться...

Решили ждать, пока луна спрячется за тучку, но небо чисто и безоблачно. Сгруппировались в башенной амбразуре, было холодновато, вытащили из надзирательской будки овчинный тулуп, укрылись; начались смешки, шутки, воля близка. Ткачев ругал луну. Стало светать. Уже близка проверка. Надежды на появление облачка не было никакой. Передумали; отложили до следующей ночи, авось луна одумается. Тем же путем поползли обратно. На башне остались Демидов, Аксенов и Зайцев. Последний и погубил все предприятие. Царень он был хороший, но такой верченый, что ему трудно было спокойно просидеть минуту на одном месте, еще труднее было медленно ползти кружным путем. Если от башни до корпуса быстро проскользнуть, надзиратель не заметит, а дорога короче втрое. Сказано — сделано. Зайцев проскочил и со всего размаха, по солдатски, вскочил на крышу. Крыша загремела, что первый, майский гром. Аксенов и Демидов пустились кружным путем, но было уже поздно. Зайцев проскочил в дыру, влетел в камеру и объявил „засыпались“.

Надзиратели прервали беседу и бросились на шум. На крыше были Демидов и Аксенов, на них направили винтовки, скомандовали „руки вверх, ни с места“. Бегуны повиновались. Надзиратель дал тревожный сигнал...

Часть каторжан легла, часть смотрела в окна. Там уже бежали на поднятую тревогу надзиратели с винтовками и револьверами, на бегу одевая мундиры и подпоясываясь ремнями...

Загремели и на коридоре, защелкали дверные замки, захлопали двери. Дошла очередь и до десятой камеры. Все улеглись и притворились спящими... Распахивается дверь, влетает толстый, запыхавшийся Гудина, за ним несколько надзирателей.

„Раз, два... пять... двенадцать, все.“

Камера закрывается, бегут дальше. Во всех камерах оказался полный комплект, а двоих поймали на крыше. С двенадцатой камеры начали снова, сдвигали одеяла и пересчитывали уже по лицам...

Снова в десятой. На четвертой койке, вместе с одеялом, сдержнули и чучело.

„Здесь“ как будто облегченно вырвалось у старшего.

„Ну, да, адесь — вон и дыра...“

„Вставать... смирно...“

„Где кандалы?“

„Вон, в углу...“

„Перерезал?“

„Перерезал.“

„Хотел бежать?“

„Хотел.“

„Очистить камеру! Рассадить по другим камерам!“

Рассаживали. Аксенов и Демидов попали в изолятор. Началось следствие. Через неделю начиналась Пасха, в карцер не было смысла сажать, пришлось бы амнистировать. Всех заковали наново и карцер отсрочили до окончания праздников.

Дыру освидетельствовали, определили убытки, и на долю каждого пришлось по 89 копеек, но у некоторых денег не оказалось. У богачей, в виду круговой поруки вычли по 1 р. 53 к.

Судили только Аксенова и Демидова, которые „взяли на себя дело“. Аксенову отменили свидку данную манифестом и он снова стал бессрочным, Демидову прибавили 6 лет, стало 21 год. В административном порядке оштрафовали отделенного и постовых надзирателей по 15 рублей каждого; всех бывших в течение трех недель на обысках по пяти рублей. Обзавелись длинной палкой и стали обстукивать потолки не только в верхнем этаже, но и в нижнем...

Так, русский человек крепок задним умом.

Прошла Пасха. В среду посадили всех бегунов в карцер, кого на две, кого на три недели... Там пели песни, Демидов свистал соловьем, не хуже настоящего соловья.

Отсидели в карцере. Все вошло в свою колею. Рассказов о побеге хватило на год. Колоритнее всего был рассказ Ткачева, постоянно оканчивавшийся.

„А луна то, луна—так и светит!“

Были и еще попытки, но ни одна из них не увенчалась успехом. Бежали круглым путем. В Шлиссельбурге нужно было прикинуться смиренным, тихим, просить, чтобы отправили в Сибирь на вольные работы, а там... на все четыре стороны. Многим удалось, но большая часть поплатилась жизнью за мечту о свободе... Скоро после отправки партий приходили весточки такой то убежал, таких-то убили.

Но это было уже не в Шлиссельбурге...

Бежать, бежать... было заветной мечтой, мечтой красивой, яркой своей красотой, она уже окупала необходимость рискнуть жизнью...

Психические заболевания.

Как бы ни были плохи условия жизни настоящего дня, человек все же не перестает верить и надеяться, что все изменится к лучшему, что пройдет лихолетье, снова появится солнышко и станет легче, веселее покажется жизнь и дыхание полется из груди вольнее, без стонов и мук. Эта вера на перемену к лучшему является самым могущественным стимулом жизни. В ней рядовой человек черпает свои силы, чтобы не упасть под тяжестью сегодняшнего дня. Стоит только поколебаться этой основе и человек немедленно теряет равновесие.

Колебания и утрата устойчивости всегда находятся в связи с какой-нибудь твердо определенной точкой. Если в этой точке не произошло перелома к лучшему, за ней лежит уже бессмысленное существование. В этой плоскости интереснее всего наблюдать совершенно нетронутых современной цивилизацией, или тех, которых она только поцарапала, только напомнила им о своем существовании. Прежде всего бросается в глаза, что у таких субъектов предельная точка находится всегда вне их самих и ни в коем случае не может подвергнуться их воздействию. Да они никогда и не пытаются воздействовать или направить свое будущее по желательному руслу, тем более, что и русла у них определенного установить нельзя. Для них ясно одно, что то, что есть сейчас, невыносимо, но должно перемениться на лучшее; но как, на какое и почему—до этого мысль еще не поднимается. Мысль у них только шевелится, но еще не двигается.

Среди каторжан, стоящих на такой ступени развития, можно установить две определенных точки, с которыми связана надежда на перемену к лучшему—бог и царь. Об остальном, существующем в мире, могущем произойти, они не имели никакого понятия. Все, что приходилось им слышать в этом отношении, было для них новым и всегда ставило их в тупик.

Интересным типом, опирающимся на бога был костромской крестьянин, как все его величали— „Иван Данилович“ Маслеников. Культура задела

его на отхожих заработках в Сибири встречей с одним студентом, от которого Маслеников усвоил несколько слов, но совершенно не мог различить их по значению.

Иван Данилович не был дураком, но был действительно темнее ночи темной и осенней. В области знакомого ему ремесла он был не только практик, но и теоретик. Все, что выходило из этого узкого круга, ему было совершенно неизвестно. Силу культурных ценностей, приобретенных от студента, ему пришлось испытать в Сибири, когда его арестовали за бесписыменность и хотели отправить на родину этапным порядком. Попасть в тюрьму для него было страшнее, чем очутиться в пекле. Для спасения от такого ужаса он решил просить у станового пристава помилования. Он придумал, что умиловить представителя всемогущей полиции можно только самыми благородными словами, из которых он в памяти откопал два „идиот“, и „синьор“, довольно часто употреблявшиеся студентом. При выборе решил остановиться на первом.

„Ваше Высокоблагородие, будьте такой господин идиот, отпустите.

„Что-о?

„Будьте такой господин идиот, заставьте за себя век бога молить — отпустите.

Как ни была дика русская полиция, но становой понял, что парень желая хватить повыше, попал не туда, куда следует. Он надвинул ему шапку на нос и сказал:

„Сам ты идиот.

„Где уж нам идиотами быть, отпустите.

Становой отпустил, но не велел в другой раз болтаться в его стане без паспорта.

Маслеников вернулся на родину, пошел в волость за паспортом и там влип в худшую кашу. Оказалось, его давно разыскивают за уклонение от воинской повинности. Забрали, отправили к воинскому, последний прямо в полк. Перед приемом присяги офицер стал разъяснять сущность ее и указал, что ее требует отечество. Маслеников вступил в спор, что у него нет отечества, в деревне нет земли, на службе дали рваную шинель, но она не отечество, защищать ее не стоит и отказался от присяги. На все увещевания он твердил одно „не приемли имени господа бога твоего всуе“. На военном суде, види, что все судьи сидят, он потребовал, чтобы и ему дали стул и пояснил, что перед богом все равны, поэтому, если пятеро сидят, то и шестому следует сесть. Стул ему дали, но его выходка настроила против него судей и ему дали четыре года каторжных работ.

С первого дня появления на каторге он был убежден, что бог видит всю неправду и скоро избавит его от нее. Но бог увлекся небесными делами и забыл про Ивана Даниловича и с избавлением не торопился. Каждый день, проведенный в тюрьме, заставлял Масленикова страдать все больше и больше. Мысль, под давлением камерных разговоров, пробуждалась и стало заметно возрастать возбуждение, которое и не замедлило вырваться наружу. Однажды

Иван Данилович долго ходил по камере и сосредоточенно обдумывал причину, почему бог терпит столько неправды, но почувствовав свое бессилие разрешить вопрос самостоятельно, подошел к Маслову и спросил:

„Иван Иванович, скажи, есть бог или нет?“

Иван Иванович увлекся переделкой подкандальников для форса и простодушно ответил:

„Метись, метись (в смысле уходи, выметайся) пускай будет, мне некогда.

Такой условный ответ не удовлетворил искателя, он подошел к эстонцу Каласу.

„Будь друг, скажи, есть бог или нет?“

„Какой тебе бог на каторге, с ума спятил!“

„Есть или нет?“

„Еслиб и был, то его здесь скоро задавили-бы.

„Будь друг, не смейся, скажи.

„Я же говорю. — нет, не было и не будет. Тут каторга, а не церковь.

„Так нет бога — уже закричал Маслеников. Тогда, значит, я сам по себе“ и со всего размаха огрел Каласа кулаком по физиономии. От неожиданности Калас свалился со скамейки. Иван Данилович схватил скамейку и начал выбивать окна, приговаривая „раз нет бога — не надо стекол“. Закончив с одним окном, перешел к другому.

„Нет, ну и не надо, проживем сами.

С коридора кричал надзиратель, выхвативший револьвер:

„Смирно — стрелять буду.

Сокамерники прижались к стенке и смотрели, что будет дальше. Иван Данилович вычистил и вторую раму, пошел по камере, к дверям и зашел „Да воскреснет бог“... Мракобесие разыгралось, окна не удовлетворили и Маслеников хотел приняться за сокамерников. Дело принимало серьезный оборот. На тщедушного Ивана Даниловича набросились трое, но не могли одолеть его. Он раскидал их, как щепки. Крик надзирателя опять привлек внимание Масленикова, он подошел к дверям и стал „доказывать“ раз бога нет, то, что не сделаю, все равно ничего не будет“. Сбежавшаяся администрация, с помощью каторжан, связала взбеленншегося и посадила в карцер. За стекла подвергли телесному наказанию, а потом отправили в психиатрическую лечебницу, там признали здоровым и вернули на каторгу.

Все свои четыре года Иван Данилович сохранял признаки ненормальности, хотя в частных беседах высказывал мысли здорового человека. Но порой на него находило упомрачение и он только удивлял собою. В существовании бога он все сомневался, но не пришел к его отрицанию. Да и как было придти, если нет-нет и приснится то богородица в виде смазливой бабенки, то сам бог в виде сердитого старика...

Последняя странность была совсем удивительной. Мне пришлось долго с ним сидеть в одной камере, часто разговаривать и он всегда называл меня по имени и отчеству. Однажды, когда его переводили в четвертый корпус, вспомнив что у меня там есть сопроцессник, спросил меня.

„Увижу Алексея, передать ему от тебя привет?

„Передай.

„А от кого? я кажется забыл, как тебя звать.

Он только что два раза меня назвал, и его вопрос показался мне шуткой, шутя и я ответил:

„От Тимофея Николаевича.

Попал в одну камеру, передал привет от Тимофея Николаевича и прибавил мою фамилию. Алексей заспорил с ним, но не мог его убедить, что я не Тимофей. Маслеников твердил одно:

„Я сам так думал и всегда называл его так, но когда я спросил, от кого передать, он сказал от Тимофея Николаевича. Как же он не будет знать ни себя, ни своего батьки“.

Скоро мне пришлось встретиться с ними обоими на дворе. Иван Данилович закричал с места в карьер. „А, друг В. Ф. вот, понимаешь, Ленька не верит, что ты Тимофей Николаевич“.

Масленикову оставалось досидеть месяца четыре, когда он пришел к выводу, что бога нельзя считать за бога, если ему безразлично зло и добро. После этого сознательные моменты совершенно померкли. Он попал в изолятор, прошел продолжительный курс боевого лечения под руководством Плечкайтиса и Анжилова и очутился в психиатрической лечебнице на ст. Виленька, в которой было отделение для каторжан. Что с ним случилось, в Шлиссельбурге не было известно.

Вторая группа все свои чаяния связывала с историческими датами, переноса надежды с одной на другую.

Первой датой было двухсотлетие Полтавской битвы, второй — столетие отечественной войны и последней трехсотлетие дома Романовых.

Чаявшим некуда было торопиться, и они отодвигали свое разочарование дальше и дальше. Вся группа твердо надеялась, что царь вспомнит об их страданиях и выпустит на волю. Но последняя дата не только окончательно разбила надежды, но и многих привела к полному крушению.

В связи с трехсотлетием была попытка исправить опыт двух минувших. Гольц, прибалтийский повстанец, вел усиленную агитацию о необходимости напомнить самим о себе посылкой царю соответствующей телеграммы и поднесением иконы. Но сочувствующих такой идее было очень мало. Агитация получила такой оборот, что агитатора Гольца загнали „в сучий куток“. Больше никто не заикался о поздравлении всероссийского палача. Однако, противодействие не ослабило чаяний.

Много и даже очень много ожидали от юбилейного манифеста. Распространяли уже черновые редакции будущего манифеста с амнистиями для политических и со скидкой двух третей для уголовных. Этот факт показывает, что в чаяниях участвовали и политические. Черемухин внес предложение отказаться от амнистии и, особенно, от манифеста. Сам он написал прокурору заявление, что в виду возможности той или другого, он заранее отказывается пользоваться какими бы то ни было милостями от власти. Среди

каторжан его предложение нашло мало сторонников. Бессрочники согласны были и на принятие манифеста, чтобы только избавиться от наручников. Срочные уже давно готовились к принятию амнистии, но в этот момент, для смягчения предложения Черемухина, стали утверждать, что вопрос об амнистии поднят Думой и не исходит от царя. Моя попытка доказать, что согласно основным законам Дума лишена прав касаться вопроса об амнистии, исключительно являющегося прерогативой верховной власти — была разбита собравшимися идти на волю. Разрушили в пух и прах, как говорится.

Настали юбилейные дни. Сидевшие по кардерам получили амнистию и вернулись в камеры. Всем поголовно, в честь торжества, выдали по казенной сеledке, неказистой, точно олицетворяющей грядущий манифест; сидящим в одиночках — по полфунта сахара от любвеобильной ханжи Вороновой. О самом манифесте — ни слуху, ни духу. Некоторые даже не вытерпели и обратились с вопросами к начальству. Из политических на этот путь первым стал Гейсман, он узнал, что манифест есть, но он политических совершенно не касается; применяться будет по усмотрению начальства к отличающимся хорошим поведением, т.-е. тем, кто не сидел в кардере; это значило, что скидки в одну треть получают очень мало.

Такая комбинация из трех пальцев особенно больно ударила веровавших, что им придет спасение от милостивого царя. Это был для них настоящий удар обухом и 1913 год дал сразу до десятка психических заболеваний. Юбилейный год убил последнюю ставку. Среди заболевших не было ни одного, кому можно уделить хоть некоторое внимание — все каторжанская мелочь. Они только порядком надергали нервы другим.

В третьем корпусе, в ночь под Пасху, когда каторжанам, при желании, разрешалось не спать, чем они охотно пользовались, как некоторым разнообразием, спятили с ума сразу трое и подняли такой гвалт, что трудно было сохранить спокойствие. Особенно нервировало начало, когда не было еще известно, в чем дело и только неслись крики „дараул“, „спасите“ и т. д. Крики сопровождал отчаянный стук в дверь. Эта музыка продолжалась всю ночь и день, пока, к вечеру, надзирателям удалось выловить сумасшедших из камер и удалить в изоляторы.

Как этим трем, так и остальным, пришлось за свою веру в царя перенести от царских слуг страшнейший бой и, в конце-концов, исчезнуть безвозвратно в бездонной Виленке.

Был случай и тихого помешательства одного кавказского татарина, на почве тоски по родине, но и он не миновал боя.

Психические заболевания, вообще, являются самым худшим видом из болезней, присущих человеку; в тюрьме же, даже в Шлиссельбурге, они просто ужасны. С одной стороны, утрата способности мышления, с другой смертный надзирательский бой и похвальба надзирателей „о результатах лечения“ производили очень и очень тяжелое впечатление, причиняли нестерпимую боль за человека и людей.

Все чалкине были жалкие люди, но когда они подвергались смертному бою, уже после утраты последней искры мысли, становились еще более жалкими и против них не было слов упрека за их глупую безрассудную веру...

Мало было случаев, чтобы искренняя вера в перемену к лучшему окончилась простым разочарованием. Крушение надежд всегда было и крушением человеческой жизни.

Культурно-просветительная работа.

Поставленный шестидесятыми годами вопрос правительству:

„Пороть ли розгой ребенка

Учить ли грамоте народ..

разрешило только начало двадцатого века да и то по способу семинариста, которому внимательная хозяйка сказала:

„Вам чай или кофе?“

„Того и другого, по два стакана, в накладку и с булкой“.

Начало двадцатого века находит в каторге замечательное объединение стремления учить и пороть, не считаясь и с возрастом. В добавок, к разгону розги в тюрьмах не мешает коснуться и потуг на просвещение. Они были и даже очень серьезные.

В Шлиссельбургской тюрьме просветительную работу должен был вести священник крепостного собора. Для обучения же неграмотных, по штату, числился настоящий учитель, получавший десять рублей в месяц и работавший в канцелярии тюрьмы. Была даже сделана классная доска, честь-честью выкрашенная черною краской, хотя, правду сказать, за ее работу и не уплатили столарям. Все было на-лицо: просвещающий священник, настоящий учитель, наличие неграмотных и классная доска. Не было только занятий, но зато оставалось жалованье одного канцеляриста, а это уже не фунт изюму.

Священник раза три пробовал делать поучения, но его мирок был так мал и узок, что тем для поучений не хватало. Единственная тема о нестяжании земных благ, чтобы попасть в царство небесное, всегда создавала курьезное положение. Священник напрягал все усилия, чтобы внести успокоение в каторжанскую душу, если не для жизни в этом мире, то хотя в загробном. Иллюстрации поучения, конечно, приходилось брать из окружающей действительности. Получалось в роде того, что „братие, не падайте духом и не скорбите, что вам приходится предстать пред всесветлым отцом господи бога в кандалах и арестантском бушлате. Евангелие говорит, что Иисус Христос не гнушался ни мытарями, ни прокаженными. Не думайте, что в царстве небесное войдут только те, кто здесь стоит расфуфыренный, с целыми корзинами на головах, упитанные и самодовольные. Их господь бог первых отринет...

Упитаннее начальники никого в церкви не бывало. Расфуфыренными были начальница и жены помощников. И батини поучение, по истине, было

не в бровь, а в глаз... Батя всех их гнал в пекло и возвеличивал каторжан. Поучение у каторжан всегда вызывало веселье, у начальствующих и их сродников недовольство и раздражение. Попы ставили всяческие препятствия, а потом и просто запретили подрывать авторитет властей...

Ни эти поучения, ни сама церковь не играли в жизни никакой культурной роли. Церковь и служба в ней, наоборот, вносили в каторжанскую среду форменный разврат. Охотников идти в церковь всегда было достаточно, это понятно, так как постоянное пребывание в камере приводило к такому осточертению, что готовы были идти не только в церковь, но и на виселицу и, действительно, шли. В церковь ходили больше за тем, чтобы посмотреть на надзирательских дочек. Это созерцание давало неистощимую почву для разговоров по возвращении в камеры. Больше того, на этой почве появлялись и скандалы, в роде знаменитой дуэли в певческом хоре на банных шайках, когда двум претендентам на симпатию надзирательской дочки Васильевой показалось, что она одинаково благосклонно взглянула на них обоих. Надзирательские же дочки да и сама начальница с помощницами, за неимением лучших объектов, как нарочно, разряжались только для хождения в церковь, где кроме каторжан, попа и дьякона никогда никого не бывало.

Даже пение церковного хора, иногда очень приличное, никогда не являлось предметом разговоров „молившихся“, оно проходило мимо их религиозного внимания.

На религиозной почве вносила в каторжанскую среду разврат и упоминавшаяся уже Воронова. Какова она была в молодости, история умалчивает; на старости же лет она пустилась на обращение в православную веру заблудших арестантов, посещала все петроградские тюрьмы, добралась и до Шлиссельбурга. Здесь она вела религиозные беседы с отдельными каторжанами, уговаривала неверных принять православие, обещала им заступничество митрополита, а иногда и возможность помилования. Двоих даже крестила и стала их крестной матерью. Ей не приходилось видеть камерной жизни „крестников“. Но если бы это случилось, вряд ли бы она стала продолжать свою роль. Крестники, после каждого ее посещения, ругали ее все крепче и крепче, поговаривая:

„Ишь, стерва, как подговаривала, по рублю привосила, помилование обещала, а перекрестила и полтинника жалеет“...

Под ее влиянием крестники, и такие имевшие никакого нравственного уровня, стали в полном смысле слова подлецами. Один из них, Вайшвиц, у каждого при встрече вызывал отвращение, как настоящая гадина. А Воронова, очевидно, думала на каторжанской спине въехать самой в царство небесное.

Воронова написала несколько книжек, касающихся арестантской жизни и ее хождений в их среде. Книжки, несмотря на заглавия в роде „Все люди-братья“ полны ненависти к человеку и больше всего к свободе. В них она серьезно рассуждает, что революция произошла потому, что „революционеры спавали рабочих вином“. Есть в них и настоящая клевета на тех, кого она хотела спасать.

Впервые пришлось мне увидеть лично эту ханжу на троицын день в 1911 году, и она на меня произвела впечатление совершенно противоположное тому, какое было у Н. А. Морозова при свидании с Дундуковой-Корсаковой.

В этот день, в числе других трех каторжан, на мою очередь пришлось натирать в конторе воском полы. В момент моих действий на коридоре, как заправского полотера, с тюремного двора, по лестнице торопливо поднималась тщедушная старушенка, с крысиной пронырливой мордочкой. Когда она семенила мимо меня, я взглянул на нее и встретился с ее безжизненными плутоватыми глазами, и она, на лету, бросила.

„Храни Христос“.

Не думая о том, что это за личность, я в тон ей ответил.

„Больше надзиратели хранят, матушка“.

Она не поняла в чем дело, остановилась и начала объяснять.

„В память нашего страдальца, Христа, я тебя приветствую. Пусть он тебя сохранит от всяких напастей“.

Слова у ней сыпались быстро и торопливо. Казалось, она приготовилась высыпать на мою голову всю библию, евангелие и псалтирь. У меня мелькнула мысль, что это, вероятно, и есть знаменитая заступница и спасительница арестантских душ, Елена Андреевна Воронова. Я спросил:

„Не вы-ли будете Воронова?“

„Так ты обо мне слышал, вот и хорошо, буду знакома“.

Ее „ты“ меня больно укололо, и я решил обрезать ее, чему помог ее вопрос:

„А ты кто будешь?“

„Каторжник, из тех самых, которые рабочих спавшали водкой на революцию, как вы говорите в своей книжке“.

Вид у меня был не только каторжный, но настоящий разбойнический: в кандалах, без бушлата, рубаха распахнута во всю грудь и рукава засучены — только бери ее за горло и дави. Мои слова, как огнем, обожгли ее, она отскочила, быстро повернулась и понеслась по коридору, приговаривая вслух.

„Господи помилуй, господи помилуй“...

„Не помилую, не проси, холера“ — пустил я ей вдогонку, чтобы усилить впечатление. Испугалась она довольно сильно. Через несколько минут на коридор вышел старший Дергачев, улыбающийся во всю физиономию, и спросил, что я сделал Вороновой, ее отпαιивает Богданов водой. Я в шутку ответил, что хотел ее щеткой благословить, но пожалел, как бы не осыпался натертый воск.

От этой встречи у меня получилось впечатление, что это настоящая ханжа, проведшая развратно молодость и убоявшаяся под старость возможного ответа, пустившаяся на дорогу в царство небесное, обзапасаясь делами „благочестия и милосердия“, но не пешечком с палочкой, как темные деревенские богомолки, а на спине ближнего, благо этот последний был скован

по ногам и не мог брыкаться, как Хома Брут. Она сделалась мне отвратительна до последней степени и при воспоминании о ней, снывавшихся ее словах, чувствуется и теперь такое омерзение, какое я испытывал, когда в кардере трогал рукою отвратительную слизь.

Эта ханжа также претендовала на культурную работу среди каторжан, но, конечно, никакого успеха не имела. Каторжанам нужен был ответ на вопросы жизни. Вопросы смерти у них заглохли: чтобы ни было, хуже тюрьмы и каторги не будет...

Учитель никого не учил и вряд ли был в этом способен. Полузабитый, полуживой, живший от получения до получения своими десятью рублями на канцелярской работе, когда и неграмотные надзиратели получали по двадцати пяти и больше рублей в месяц, имел только одну заботу, чтобы его не прогнали. Мобилизованный в начале войны он приходил в библиотеку попрощаться с каторжанами-библиотекарями и горько плакался на свою судьбину, которая, по его словам, дала рот, чтобы есть, но ни рук, ни головы подыскать не позаботилась. Но у него уже зародилась „светлая“ мечта: по приезде на позицию, сдать в плен немцу, попасть к ним на хлеб, в Германию, там „хоть народ умнее нашего“. В этом он, отчасти, преуспел: нед-ли через две после его отъезда он прислал письмо, сообщавшее, что он жив и здоров. Но... попал в Австрию.

Несмотря на все преграды, культурная работа велась в Шлиссельбурге довольно сильно и давала очень хорошие результаты. Работу вели сами каторжане.

Под влиянием политических, работали над собою не только повстанцы, аграрники, но и чисто уголовные. Особенно сильно развивалась культурная работа после протеста 1912 года, когда получилась возможность улучшить положение библиотеки, и когда она стала не только быстро пополняться всевозможными книгами и учебниками, но, почти целиком, перешла в каторжные руки.

До 1913 года библиотекарем был проворовавшийся чиновник из экспедиции изготовления государственных бумаг. Молодой, очень хотевший получить высочайшее помилование и несколько раз уже собиравший свои вещи для выхода на волю по помилованию (но оно почему-то не приходило), он еще больше старался работать в библиотеке, храня, как пес сторожевой, интересы начальства.

Главное тюремное управление издавало списки книг, воспрещенных условно и безусловно для чтения между арестантами. Этими списками и должен был руководствоваться начальник тюрьмы. Но начальство не перегружало работой себя и в этом отношении и передало все руководство в руки Молодого, который и оказался рынее самого главного тюремного управления. Последнее запрещало определенные книги; Молодой не допускал и тех, на которые были ссылки в запрещенных. Главное управление запрещало только молодую беллетристику, в роде Андреева и Горького, как безнравственную; Молодой не допускал беллетристики вообще, так как безнравственная вы-

росла на нравственной. Но, сверх того, он был с книгой также знаком, как и с порядком своего помилования, и получалось так, что выписанные книги приходили, за них вычитывали деньги, а потом, как „не дозволенные“, сдавались в цейтгауз на хранение, до окончания плательщиком срока каторги.

Манифест 1913 года унес Молодого в Омск на поселение и избавил библиотеку от добровольца-цензора. Библиотека перешла в руки политических, и отказ последних от „строгой принципиальности“ скоро отразился на содержании библиотеки, вдохнул в нее душу живую.

Начальник тюрьмы, хотя и делал вид просвещенного человека, в книгах понимал немного больше, чем в черной магии, авторов совершенно не знал и только требовал не пропускать книг, запрещенных „синодиком“ главного тюремного управления. Случалось, однако, что образы прошлого воскресали перед ним, и он начинал упорствовать в разрешении той или иной книги. В таких случаях выручала „логическая диалектика“. В руки начальника, например, попадала Иванова-Разумника „История общественной мысли“, он вспоминал о его запрещении и мялся. Здесь в свою роль вступал старший библиотекарь и доказывал, что Иванов-Разумник действительно написал запрещенную для арестантов книгу „Индивидуализм и нещанство“ — т.-е. попросту, называл подзаголовком первого издания той же самой „Истории“, или „Литература и Общественность“, но, вот, эта не запрещена и начальник разрешал. Когда же, в следующую выписку выписывали „Литературу и общественность“ — доказывали, что эта не запрещена, а запрещена „История“. Собрание сочинений Герцена удалось получить в обложках „Тургенева“ и все в этом роде. Важно было, чтобы книга попала в библиотеку; в ней все для начальнического ока тонуло бесследно. Хорошо этому делу помогал подарок какого-то благодетеля нескольких сот экземпляров „Трехсотлетие дома Романовых“. В запретной книге удалялись титульные листы, и она переплеталась в затылок дому Романовых, по каталогу шла она дубликатом „Дому“, но на корешке ставился бубновый туз, как символ, что книга чисто каторжанская и на случай инспекторской ревизии не подлежит ни в коем случае представлению перед начальством. Такими путями все оправдывались классическими изречениями „все на потребу человека“, „ложь да будет во спасение“, „в хорошем хозяйстве — всякая сволочь пригодится“. Маленький обман, делаемый во благо революции, призван был приносить пользу и парализовать реакционные козни власти.

Из казны отпускался на библиотеку какой-то пустяк, чуть ли не шестьдесят рублей в год; но этого фонда хватало только на канцелярские принадлежности для библиотечной работы, да оплаты за переплетные материалы. Главным фондом пополнения были пожертвования книгами от самих каторжан и их родных с воли. В течение одного 1913 года библиотека почти удвоилась и не переставала расти до последнего дня своего существования. К началу февральской революции число книг уже достигало 10.000.

„Диалектические“ махинации и заботы каторжан сделали то, что библиотека разрослась; за „затылками“ других скрывались архизапретные: Сал-

тыков-Щедрин, Горький, Андреев и Лавров, Михайловский и т. д. Рост библиотеки асен из сравнения, что девятый отдел — беллетристика — с 119 книг времени Молодого, перевалил на тысячу номеров. Пользовавшиеся большим спросом Тургенев, Достоевский, Толстой, Гоголь и др. были в нескольких изданиях и по несколько экземпляров каждого.

Грамотные читали книги поголовно все. В некоторых камерах практиковалось чтение вслух таких произведений, как „Братья Карамазовы“, „Война и Мир“, „Анна Каренина“. Эти книги имели длиннейшие списки кандидатов на чтение, их было трудно получить. Но кандидаты, все же, не только терпеливо ждали своей очереди, но и частенько спрашивались, скоро ли они могут получить, выражали свое нетерпение. Этот факт показывает, что читатель начинал жить книгой. Было просто любо смотреть, как хорошая книга становилась настоящей потребностью человека.

Читательские библиотечные билеты являются настоящими формулярами своих владельцев. Наблюдение за этими билетами и сличение их между собою достаточно выписывают физиономию библиотечных клиентов. На билетах отражаются все искания человека, заметно, как он самостоятельно нащупывает себе почву, как он растет, порою падает вниз и снова поднимается. находит свою линию и начинает идти ровным уверенно-твердым шагом, вписывая в билет немногие номера требующихся книг, но уже подобранных и согласованных между собою. Каждый читатель, на первых порах, переоценивает свои собственные силы и свое знание: он старается ухватить из сокровищницы как можно больше, и по количеству и по объему; ему интересно почитать по всем областям знания, что называется, от самого верха до самых глубинных низов. Поэтому, полученный первый библиотечный листок заполнен требованиями книг из всех отделов каталога и номера поставлены в порядке каталога. Такой листок никогда не носит отметок и примечаний о порядке снабжения абонента книгами; ему нужно знать, порядок не важен. Но прикосновение к книге и, особенно, разбросанность чтения, при очень большом и разбросанном требовании, скоро показывают ему мерку собственной силы, подчеркивают необходимость постоянной подготовки к более серьезной книге. Чувствуется прежде всего на читательском билете, что клиент начинает искать пути к облегчению решения желанной задачи. Вместе с билетом уже идут записки с просьбами прислать какую-нибудь программу, пособие. И энциклопедичность требований понемногу начинает специализироваться, суживаться. Листок начинает знакомиться с резинкой: сотни номеров стираются, вписываются десятки, число отделов сокращается и, если номера сохраняют порядок каталога, то некоторые из них подчеркнуты и внизу стоит примечание: „Прошу подчеркнутые номера выдавать в первую очередь“. Попадают листки, где номера требуемых книг и порядок отделов каталога уже перестановлены и к ним сделано примечание, для руководства библиотекарям „прошу прислать в порядке записи“. Это уже показывает, что читатель начинает шагать более твердо и уверенно. Такой чтец „не мусолит“ библиотечный каталог при каждом удобном случае; у него выпив-

саны в тетрадь все номера и заглавия книг, которые желательно или нужно прочесть. Эта запись и служит руководством. В каталог он лезет посмотреть только концы отделов: нет ли там каких новинок, стоящих внимания.

Как только читатель сживался с книгой, потребность ее начинает, понемногу, входить к нему в плоть и кровь. Начинает медленно пробуждаться стремление увеличить свои знания не только чтением, но и основательным изучением. Этот период читательской жизни самый интересный для наблюдения.

Дело изучения почти всегда начиналось с азов, ясно подчеркивая, что постановка школы, которую проходили в детстве, не дала навыка использовать материал. Школа снабжала некоторым багажом умения складывать отдельные буквы в слова, слова в фразы, но жизнь требует не только умения удержать мысль, прошедшую через массу фраз, но и умения использовать ее для расширения своего внутреннего мира. Благодаря этому, для многих было настоящим открытием Америки, когда заученные ими в детстве басни Крылова, или прочитанное стихотворение Некрасова „Песня Еремушки“ в их присутствии рассматривалось, как отражение русской исторической действительности, или как руководство для своего этического поведения по отношению к обществу. Неофитам приходилось невольно соглашаться и убеждаться, что „оно так и есть“, что в басне или стихотворении есть и другая душа, которая им показалась раньше, душа более широкая, касающаяся их непосредственно, которую они не замечали. Такие разборы приковывали их внимание, их удивляло, что, вот, мол, люди, не выдавшие автора, жившие в других местах и в другие времена, сумели проникнуть в его мысль, понять ее шире и лучше, и авторитет книги, знания рос для слушателей до беспредельности.

Явившиеся на каторгу уже хваивши из источника науки, скоро замечали незначительность своего знания и его мелкоту. Общая атмосфера тяги к знанию захватывала и их. Начиналась культурная работа над ростом человека. Каждое новое приобретение не проходило бесследно для человека. Так, боевые революционные элементы, по моим наблюдениям, серьезно увлекшиеся математикой, постепенно утрачивали боевой пыл, начинали меньше жить чувством и больше рассудком. Прежние замашки на удар отвечать ударом, без рассуждения о последствиях, исчезают окончательно. Начинается ко всему иной подход, во всем ищется логическая связь, учитываются вытекающие последствия. Увлеченные гуманитарными науками, наоборот, приобретают боевой пыл, но нуждаются для проявления его во внешних толчках. Историки, постепенно, приобретают налет национализма и в этой плоскости способны к дерзанию. Экономисты скоро теряют интерес к вопросам духа, и вопросы плоти мало по малу начинают ими командовать. Познакомившиеся с иностранными языками становятся настоящими космополитами...

Этих фактов было собрано порядочно, но все они погибли по всей вероятности безвозвратно.

По политическим фракциям разбросаннее всего читали анархисты. Требования их листов содержали все: философию, математику, право, эконо-

нату, публицистику, естествознание, историю и даже прикладные науки, но все же неминуемо было установиться преобладание интереса к вопросам философии, в сторону развития индивидуализма. Социалисты-революционеры тоже разбрасывались, но у них преобладали уже исторические вопросы, право и философские, почти всегда отсутствовали математика и естествознание. Самыми односторонними и узкими чтением занимались марксисты: материализм и экономикой были альфой и омегой, историей интересовались постольку, поскольку она являлась продуктом труда первых. Эта группа мне всегда казалась запряженной в шоры, сухими догматиками, а не людьми жизни. Но такая специализация не мешала ни одной группировке расти духовно. В результате проведенных на каторге ряда лет, получалось то, что не только студенты первокурсники, но и много учеников нижней школы получали настолько солидное образование, что не уступали и окончившим на воле университет. Большим минусом в этом солидном багаже было только то, что здесь не было систематической выдержки; бессистемность давала себя чувствовать и не вознаграждалась глубиной и серьезностью. Массы прочитанных книг заметно увеличивали способность ориентироваться в жизни.

В отношении развития культурной работы много сделала библиотека. Но она не закончила своего дела. Начатые рекомендательные каталоги принесли бы еще большую пользу, но на них поставила точку революция.

В общем объеме культурной работы порядочное место занимало и поэтическое творчество. Выдающихся поэтов за десять лет своего бытия Шлиссельбург не дал ни одного, но посредственных было порядочно. Много обещал поэт Боголюбенский, но он в начале своей поэтической тюремной карьеры умер после первого стихотворения. Особенно продуктивным и вдумчивым, обладавшим музыкой стиха и непосредственностью чувства, без сомнения, был Тихонов. У него было порядочно написано стихов, немного печальных, но разнообразных по содержанию и по форме. Если он не бросил работать над своими стихами, то при первом публичном выступлении он может занять довольно заметное место. Большая масса творчества остальных поэтов отличалась холодностью и безжизненностью. Все тюремные стихи отражали больше субъективные переживания авторов и для Шлиссельбургской каторги общественного значения не имели; но все же по ним можно было уловить ту атмосферу тюрьмы, которую вдыхал автор в момент творчества. Так или иначе, тюремная поэзия была зеркалом каторги.

Не было ничего опасней, как подвергнуть серьезной критике тюремное стихотворение и указать поэту его недостатки. Он не только обижался, но делался настоящим врагом.

Хорошему товарищу, ныне убитому, анархисту Фомичеву, я однажды сказал.

„Переселил, брат, в Неве ничего потного нет, исправь какнибудь, а то дрянь.

Этих слов было достаточно, чтобы он стал моим самым закоренелым врагом.

Без содействия властей, и часто при их противодействии, в царстве кандалов, карцеров и розги, забытые и отбросенные люди самостоятельно культурную работу. Эта работа имеет значение не только в истории самостоятельности каторжанского общества, но и по своему отражению на человеке.

Поставлена тюремного дела вообще, а в России в особенности, неизбежно была в разломе души человека. Закон определял наказание, как исправление и искупление, но исправленный получал в тюрьме воспитание только в том отношении, чтобы исправить себя окончательно от недостатков в методах преступности; он достигал в тюрьме только высшей степени квалификации того ремесла, в которое он, в большинстве случаев, попал случайно. Из тюрьмы не было возврата к труду в обществе. Тюремная песня верно отражала это положение, утверждая, что:

„Кто раз побыл в тюрьме случайно, тот сам придет в нее опять“.

Однако Шлиссельбуржцам удалось собственными усилиями поставить внутреннюю жизнь тюрьмы так, что она являлась больше школой жизни, чем тюрьмой. Здесь многие приобрели устойчивость и способность критического отношения к своим действиям. Это подтверждается лучше всего тем фактом, что после февральской Революции, кроме политических, пошли в общественную работу и много бывших уголовных. В революционном процессе часто творилась настоящая вакханалия, которая чрез суды или печать выливалась на свет, но внимательное наблюдение над участниками этих вакханалий за четыре года не дало ни одного участия в них бывших Шлиссельбуржцев.

Это, конечно, результат культурной работы, проделанной при невероятных условиях каторжанками.

Много от каторжан Шлиссельбург взял, но, пожалуй, еще больше дал. За все время культурной работы в стенах крепости было только два направления, когда Свири и Родзевич, вместо света, направились в гущу мрака оккультна и ударились в изучение черной магии. Зато можно с уверенностью сказать, что сотни, пришедшие на каторгу с пустыми, потрепанными душами, ушли из нее в белый свет с огнем и верой в жизнь.

Вот почему, несмотря ни на карцер, ни на розги, ни на булаки тюремщиков, Шлиссельбург в воспоминаниях не является темным тяжелым пятном. Он больше всего помог найти самого себя, понять и бодро смотреть вперед, несмотря и на темные тучи, закрывшие небосклон. Я понял, что

Я создал мечту из жизни,
Вратством грея грудь себе.
Я принес своей отчизне:
Дух негаснущий в борьбе,
Силу мысли, гордость воли,
Жажду света, лучшей доли
И привет ее несне.

Я отдал родному краю
Веру, юность и любовь
И за все — теперь я знаю, —
Что для прежней жизни вновь
Я не стану тратить сил,
Что за дверью лишь могил
Не вспенит борьба мне кровь.

В. Градский.

Из записок А. Д. Протопопова ¹⁾.

Влияния на царскую власть.

1. б. Царь. — Умный, расположенный делать добро, нервный, иногда упрямый, переменчивый. (Отпустит без сожаления того, кого недавно ласкал). Он оставался „вещателем власти“ и мнительно относился к этому своему праву. Не любил чувствовать, если на него кто влиял. Очень приятный в обращении, но придворные его не любили — боялись из-за переменчивости нрава.

2. б. Царица. — Дополняла свою волю и направляла волю царя. Имела громадное влияние, твердый характер, — консервативна. Все говорили, что верна своему расположению, но быстро не сходитесь. Любила своих детей — но, полагаю, в мужу любви не было. Молчаливая, больше слушала, нежели сама говорила.

Вырубова. — Долголетний друг б. царицы и привычка б. царя. Послушная и покорная воле Распутина; передавала его внушения (его фонограф). Ум простой — это сердило иногда б. царя. Много занималась благотворительностью (ходили неладные слухи, что отчетов правильных нет).

Распутин. — Связь власти с миром. Толкователь происходящих движений. Ценитель людей. Имел большое влияние на б. царя и громадное на б. царицу. Она говорила, что он выучил ее молиться и верить в бога. Он ставил ее на поклоны (по 90 поклонов в день), влиял на всю семью. Молился со всеми. Думаю, что имел гипнотическую силу. Говорил властно. Б. царица и Вырубова говорили мне, что я не так говорю с б. царем; надо говорить твердо, покойно, как говорил Распутин. (Вместе я их не видал). (Трепов же „кричит“, что б. царь не любил). Распутин по моему впечатлению приобрел влияние на б. царя, потому что его не только допустила, поддерживала и его слушалась б. царица; Вырубова же ему поклонялась. Всякий же другой встретил-бы на своем пути волю б. царицы, во время своей тяжелой нервной болезни. Однажды Бадмаев спросил меня, может ли он привести ко мне Распутина. Я не хотел обидеть Бадмаева отказом, хотя имел против Распутина предубеждение. Когда он ко мне вошел (пробыл

¹⁾ Воспроизводим черновой, неоконченный набросок записки Протопопова. Полный текст в окончательной редакции будет опубликован в выходящем под моей редакцией издании „Падение царского режима“.

довольно долго), я был удивлен тем впечатлением, которое он производит — приятный у постели больного. Там же я его видел еще раз, или два. Про свои отношения к б. царю и б. царице он вначале говорил мало, и неохотно. Курлов постоянно ездил к Бадмаеву, который его очень любил. Постепенно я с ним сошелся. — Распутин только позже стал откровеннее и давал понимать свое влияние. Это было до моего отъезда за границу. Мысль, чтобы я занял административный пост, пришла Бадмаеву. Он тогда о ней говорил и она меня льстила, нравилась мне. Однажды он передал мне, что Распутин сказал ему, что его осенило и что я буду полезен, как председатель Совета Министров. Я ответил, что это вздор, посмеялся над этим, не придавая этому особого значения. Бадмаев, однако, верил, что разговоры обо мне с б. царем и б. царицею Распутин поведет. Через некоторое время, Бадмаев мне передал, что ему Распутин сообщил о неудаче своего разговора обо мне, что б. царь сказал, что он меня не знает.

После моего приезда из-за границы, я знал, что многие (Родзянко, Барк, Шуваев) говорили обо мне б. царю; знал, что обо мне ему писали. Савонов устроил мне прием. В. царь долго со мной говорил. Бадмаев мне передал, что Распутин за меня „благодарил“. Я уже знал, что Распутин имеет большую силу при дворе, что он рекомендовал многих министров, поверил, что он меня поддерживает, и стал верить, что может мне последовать предложение на административную работу. Никогда я у Распутина помощи не просил; он не говорил о своих разговорах с б. царем обо мне и условий никаких не ставил. Вскоре я уехал в деревню. Там я получил депешу Курлова: „Приезжай скорее“. Приехав, я узнал, что Минист-во Торговли, о котором было слышно, что оно освобождается, остается без перемены (Кн. Шаховской пользовался поддержкою Распутина) и что меня назначают в М-ры Внут. Дел. Меня это смутило; я боялся не справиться; имел разговор с Курловым, который согласился мне помогать. Он жаждал для себя, более всякого другого, получить командира корпуса жандармов. Вскоре я был приглашен к Штурмеру, который сказал мне, что в числе кандидатов он назвал мою фамилию и б. царь на ней остановился. Штурмер тоже обещал мне свою помощь. После этого разговора участь моя была решена. После своего назначения я продолжал бывать у Бадмаева, где бывал каждый вечер Курлов, и встречаться с Распутиным иногда. Здесь я впервые услышал фамилию Добровольского, как М-ра Юстиции, Щегловитова, как Председателя Совета Министров. Б. царь на первом докладе спросил меня, знаю ли я Распутина. Я ответил утвердительно, сказал ему, что я сначала был противником Распутина, находя, что он делает вред монархии. Познакомившись у Бадмаева, не нашел в нем ничего ужасного. В. царь сказал, что он удивлен, почему из Распутина делают „притчу во языцех“. Выразил удовольствие по поводу нашего знакомства и сказал, что часто, начатое с неприязни, бывает прочнее другого. Я говорил также о поведении Распутина и о пользе его отъездов в Тобольск.

Распущенного нрава (эротоман), сначала не пил вина (когда приехал, вахается 16 лет назад), последние годы пил много. Был буйный, когда выпивал.

Б. царица оказывала ему особое внимание. Рубашки его были ею сшиты. Крест на шее, золотой, был с буквами б. царя (Н). Не знаю, был ли он христ. Гофштетер это отрицал; но что-то сектантское в нем было. Я слышал, что о нем было дело в Синоде, но оно прекращено.

Воейков. Постоянно находился при б. царя. Умный. Сердца немного. Сильная воля. Прежде был близок, как говорили, к Распутину, был совсем свой, затем отстранился. Последнее время опять стал дружен с Вырубовой (после смерти Распутина). Ловкий коммерсант. Умел выбирать удобное время для докладов б. царю, который часто его слушался.

Особая черта.

Б. царь жил замкнуто в кругу своей семьи; в круг этот вошел всецело Распутин — Вырубова, отчасти Воейков — он замкнулся с б. наследником, который его любил. Ко мне б. царь и б. царица относились ласково; мне тоже хотелось подойти ближе к семье, меня тянуло к ним за ласку, но за краткостью времени и его тревогами этого не случилось. Досужном семьи б. царя, я сказал бы — был „Любовь и молитва“ при этом, как говорила сестра Воскобойникова, понимались и привязанности человека, а не одна духовная любовь. Отношение к случаям из жизни сестер в лазаретах это подтверждают.

Маленький домик Вырубовой.

Этот домик в последнее время монархии был „напертью власти“. Народу там бывало очень много; бывал там б. царь, б. царица, Распутин. Приглашались туда люди для встреч, с кем им надо было встретиться. При дворе люди делились на „своих“ и не „своих“. Свои, это те, которые были приняты на обеих половинах б. царя и б. царицы и знали Распутина, Вырубову, посещая их сами или через своих домашних.

Вырубова занималась благотворительностью и во время войны содержала Серафимовское убежище. Приток денег в это учреждение был очень обильен. Особенно много давал денег некто Решетников Н. И. — Сам я лично дал на это дело 6.000 или 7.000 рублей. Распутин имел громадное влияние на жизнь этого лазарета. Многие сестры им поставлены. Давал ли он деньги на лазарет — не знаю, но раз попросивши у меня 500 р., которые я ему дал, он сказал: это что, нам надо много, много денег!

Отчетности в деньгах по лазарету не было, как говорила сестра Воскобойникова, и можно предполагать злоупотребления. Лазарет посещала б. царица, там я видел г-жу Сухомлинову и других дам, приезжавших во дворец.

Многие власть имущие посещали это убежище. Вообще для того, чтобы у власти быть прочнее, необходимо было иметь связи с владельцем маленького домика и ее покровителями, т.-е. б. царицей и Распутиным.

Совет Министров.

Недружный, друг другу недоверяющий Совет М—ров, под председательством Штирмера, собирался 2—3 раза в неделю. Заседания длились с 2-х до 6—7 ч. вечера. Утром приходилось готовиться к делам, числом 40—45, часто мелким, как надо было бы сдать малому совету, который мало собирался (кажется один раз в месяц). Раз в неделю были заседания по дороговизне, тоже длительные; надобно дать день на прием посетителей — времени для работы по министерству почти не оставалось. Ночь работать было мало полезно и вникать в дело оказывалось некогда. Разработанного плана по каждому министерству не было; не было и общего согласованного по своим отдельным частям плана для всего дела по государственному управлению. Представления министров удовлетворялись или отклонялись не по существу этих представлений, справедливому или нет, а по степени влияния представляющего. Журналы по самым важным вопросам не бывали готовы по целым неделям (напр. по продовольственному делу). Отношения к Государственной Думе, как общий вопрос, не обсуждались. Обсуждались „случаи в Думе“, стенограммы отдельных заседаний и даже отдельные выражения их и по этим данным ставили вопросы о перерыве занятий Думы, или продолжении этих занятий.

Общественные организации возникли и выросли сами по себе, без плана, разработанного в Совете Министров. Эти организации не опирались на кадры министерств; они работали самостоятельно, и министерства всякую руководящую роль утратили. Жизнь опередила работу министерств, в тех формах, как она была поставлена. Правительства было собственно два: одно — ставка, которая во все вторгалась, все „могла“, требовала, не считаясь с силами страны и — правительство тыла, которое не могло справиться со своей задачей, так как эта задача сводилась к увеличению производительности разных отраслей труда, к упорядочению их, а на это правительство „тыла“ не было способно. Необходимость глубокой перемены указывалась жизнью и перемена эта наступила.

Б. Председатель Совета Штирмер.

Он принадлежал к числу „своих“; пользовался расположением б. цари и б. царицы, поддерживал связь с Распутиным, к которому, говорят, ездила его жена, а также через фрейлину Никитину, которая бывала у него постоянно, для лечения его глаз и ног. Думаю, что Мануйлов был при нем для связи с Распутиным, так как он долго состоял при последнем (говори мне Белецкий). Мануйлов говорил (как я слышал, не помню от кого), что Рязов будет назначен директор. департ. полиции, по его рекомендации. Был слух, что Мануйлов причастен к контр-разведке. Гурлид мне говорил, что Мануйловым был составлен план особой разведки при Штирмере. Он не был при-

веден в исполнение, либо по случаю ухода Штюмерера из М. Внут. Дел, либо по случаю суда над Мануйловым. Штюмерер считал привлечение к суду Мануйлова, без его, Штюмерера, предупреждения, личным против него выпадом. Очень не любил Климовича (который к моему приходу уже получил сенатора) и Степанова, которого он советовал сместить, говоря, что он ненадежный и выпивает. Когда Степанов забыл дать мне копию с письма особого отдела о том, что Мануйлов должен был ехать на съезд „докторов“ в Копенгагене (а потом мне сказал, что эти дела ведутся самостоятельно отделом, что бумага прислана по ошибке, и он вернул, и дело идет не о Мануйлове, а о ком-то другом). Я передал об этом Штюмереру, который мне сказал: „вот видите, я Вас предупреждал“. Скоро Степанов был назначен сенатором. Я перестал его придерживать. После своего ухода ездили ли Штюмерер в Царское село — не знаю; но его там продолжали любить.

(Р. С. Я здесь очень жалел об уходе Степанова в связи с делом Перена, теперь вижу, что Штюмерер был прав).

Милиция февральской революции.

Воспоминания.

Глава I.

Милиция младенцев.

Образование 28 февраля городской милиции. Уполномоченные. Благотворительный добровольческий период. Бойскауты Гимназисты. Авантюристы и уголовный элемент. Образование рабочей милиции, ядра красной гвардии. Представитель С-Р и С-Д Чернев. Инструкция милиционерам. Провокационные слухи. Крестовая организация. Черные автомобили. Похороны жертв революции.

В субботу 25 февраля народ вышел на улицы, толпа разгромила несколько полицейских участков, была беспорядочная стрельба, народ шаркался в подворотни, по прекращении стрельбы вновь выходил, были раненные и даже убитые, но как-то не было ни боязни ни уверенности, что войска стреляют и будут стрелять в народ. В воскресенье 26 февраля однако такие случаи имели место, улицы опустели, порядок в столице, казалось, был восстановлен.

Ночью на 27 февраля Невский вымер. Фонари не горели. Только с вышки Адмиралтейства прожектор синим лучом освещал вымерший до Знаменской площади злобещий Невский. Навстречу не попадалось ни одного прохожего. Нигде не было видно воинских патрулей или постов. Казалось, что вымер весь миллионный город. Даже дежурных дворников не было у ворот.

Утром в понедельник 27 февраля трамваи уже не ходили. На Литейном, у Жуковской и Бассейной стояли редкие цепи солдат Семеновского полка с пулеметами. Литейный походил на поле сражения. Отдельных прохожих, проходивших сквозь цепь, солдаты не задерживали.

Но вот, в то время как Семеновцы у Бассейной еще козыряли своим офицерам—у Кирочной улицы, одним кварталом дальше разъезжало уже несколько штатских в котелках, кепках, фетровых шляпах, опоясанных саблями с перекинутыми через пазыто пулеметными лентами, верхом на лошадях из конюшен казарм помещавшегося здесь жандармского дивизиона. Грабили арсенал, выносили связки винтовки, толпа вооружалась. Окружный Суд напротив горел. Защищать уже не пришлось, и я направился в Государственную Думу. В течение всего дня 27 февраля я подвозил к Думе на

грузовниках мешки с мукой. Муку брали из складов. На „крыльях“ автомобилей лежали солдаты с винтовками на изготовке, время от времени постреливая.

На другой день во вторник 28 февраля члены образовавшегося уже Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов Жуков и Богданов и члены Государственной Думы Мяхотин и Востротин предложили мне отправиться в городскую Думу для организации милиции.

Вечером 28 февраля в Александровском зале городской Думы состоялось собрание, на котором начальником милиции был избран гласный Думы, архитектор Дмитрий Андреевич Крыжановский; в тот же вечер мы приступили с ним к работе.

Под штаб милиции мы заняли кабинет городского головы, уступленный нам избранным на этот пост Ю. Н. Глебовым. В этом же заседании Дума, избрав начальника, назначила и районных уполномоченных милиции и установила сборные пункты. Так напр., для Александро-Невского района сборным пунктом была назначена Вагабинская гостиница, для Казанского — Аукционная Камера при Съезде на Мещанской, для Коломенского — Курсы Лесгафта, для Московского — театр Фарс в зале Павловой на Троицкой и Технологический Институт, для Петербургского района — сад Акварии и кинематограф Элит.

В числе районных уполномоченных были большей частью гласные цензовой городской Думы, но не исключительно. Так напр. в Выборгский район, кроме гласных Алейникова и Стариковича, уполномоченными были назначены студенты Военно-Медицинской Академии Шахцбаба и Василий Георгиевич Воццццц, первый организатор красной гвардии.

В Василеостровском районе среди 5 уполномоченных, назначенных Думой, был прис. пов. Н. В. Иванов, впоследствии избранный на место Д. А. Крыжановского начальником милиции, — в числе 7 уполномоченных Московского района был прис. пов. Н. А. Оппель, впоследствии назначенный помощником общественного градоначальника.

Вечером 28 февраля районные уполномоченные разошлись по своим районам. Они должны были организовать милицию на местах и поддерживать связь с центром, с городской Думой.

Я переночевал в кабинете городского головы на диване, ставшим моим безвыходным жилищем впродолжение 2-х недель, а 1 марта с утра, едва я протер глаза, закипела работа. Прежде всего нужно было изготовить повязки для милиционеров. Несколько десятков дам и барышень, служащих Городской Управы и жен гласных, с утра привалились за шитье. Кабинет Городского Головы превратился в мастерскую. Белые куски холста разрезались на полосы, шивались в виде нарукавной повязки, красной краской кисточкой рисовались на них буквы Г. М. (городская милиция) чернилами ставился номер, прикладывалась печать городской Управы. Откуда взялись средства на это, не знаю. Возможно, что их отпустила Дума, возможно, что холст принесли с собой дамы. Здесь же наскоро закусывали чем попало.

Если бы не дязг и звон сдаваемого в этой же комнате населением и принимаемого мною оружия и привод группами солдат и граждан арестованных генералов, полицейских, охранников и прочих контр-революционеров, вся эта мирная, озабоченная, веселая, деловитая сутолока производила бы впечатление приготовления к великосветскому благотворительному базару. Еще более усиливалось это впечатление звонкими голосами снующих по аланью городской Думы, внезапно откуда-то подвыпившихся, десятков двух мальчишек бойскаутов, стремительно и аккуратно выполнявших всевозможные поручения. Бойскауты эти были организованы в отряд под начальством старшего, — которому было лет 14—15, самому младшему было 10—11. В отряде царил строгая дисциплина. Работали маленькие скауты самоотверженно, конечно без всякого вознаграждения, и принесли большую пользу. Услугами их, главным образом в качестве рассыльных (но не только), управление милиции пользовалось почти в течение месяца даже еще после перехода его из здания Думы в здание Градоначальства. Там, когда кончился добровольческий период милиции и последняя стала становиться „муниципальной полицией“ — скаутов заменили уже усатые кавалерийские ординарцы. Кроме скаутов в первые дни в Думе работало еще несколько гимназистов; последние не только выполняли канцелярскую работу, но во многих районах стояли также вооруженные на постах. Участие в первые дни революции этих ребят в добровольческой милиции дало повод шуткам впоследствии, когда начались нападки на милицию, к карикатурам и открыткам: 7-летний ровный карапуз с винтовой стоит на углу и охраняет безопасность граждан от налетчиков. Во время участия в милиции этих мальчишек-гимназистов, которым выдавалось оружие, с которым они не умели обращаться, несколько раз имели место случаи ранения ими граждан, а также друг друга. Так, одним из товарищей его в здании Думы был убит случайно при разряжении винтовки милиционер Дегтев. Резонанс „милиции младенцев“ звучал в прессе еще долго—много спустя после их исхода, когда в милиции были уже рабочие и солдаты. Так в июньские дни в шарже Линского „мой анкета“ на вопрос, какие меры охраны им приняты на случай выступлений:

„Почетный Д. А. Крыжановский развел руками—ума не приложу, что делать, половина милиционеров—гимназисты первых классов участвуют завтра в празднике древонасаждения, а другая половина взрослые гимназисты в празднике древопостреления! Это что? а пойдите в любой сквер — полюбуйтесь!“

Оружие для вооружения милиционеров в эти дни, когда все в милиции было основано на благотворительности и добровольчестве, получалось от населения. В первый же день за подписью Крыжановского было составлено и расклеено по городу объявление, приглашавшее граждан сдавать в городскую Думу для нужд милиции все имеющееся у них оружие. Хотя в объявлении не содержалось никакой карательной санкции за неисполнение этого, скорее даже не приказа, а вызова,—население чрезвычайно горячо откликнулось на него. В первый же день сдало оружие несколько сот человек — это было

в дни энтузиазма, ликования по поводу молодой, светлой свободы, веры в будущее, когда от дворника до действительного статского советника все надели в петлицу красную розетку, и незнакомые люди поздравляли друг друга на улицах—христосуясь будто на пасху. Так как в объявлении не было указано, что требуется лишь огнестрельное оружие—приносили и холодное. Седенький отставной генерал притащил целую коллекцию кривых турецких атаганов времен Очакова и покорения Крыма; дама принесла маленький игрушечный бульдог.

Что касается упомянутого привода арестованных, то в этой области в первые дни было много курьезов, курьезов иногда правда довольно трагических. Так как не было никакой инструкции, кто подлежит аресту и кто имеет право производить арест—арестовывали кого угодно „по подозрению в контр-революции“ и арест производили все, кому не лень. Какой-нибудь ретивый гражданин брал на улице нескольких вооруженных солдат, входил в квартиру, арестовывал владельца, приказывал солдатам отвести его в городскую Думу, а сам производил в квартире „обыск“. Такие арестованные в Думе, конечно, отпускались тотчас же, но, когда возвращались домой, находили свою квартиру разгромленной. Орудовали здесь, конечно, главным образом полчища уголовных, в первый день революции освобожденных толпою из тюрем. Так, в первый день революции в кабинет городского головы к моему столу явится гражданин, вооруженный саблей, винтовкой, револьвером, ручной бомбой, с перекинутыми через плечо пулеметными лентами (эта „форма одежды“ была „модной“ в первые дни) и приводит арестованных двух на смерть перепуганных старушек. Увидев меня грозный защитник свободы от старушечьей контр-революции сильно смутился и быстро исчез. Дело в том, что это был некий Рыбалев, лишенный всех прав состояния, взломщик, рецидивист, которого по обвинению в 9-ой краже (9-ая судимость) я должен был по назначению суда защищать 27 февраля—и у которого 24 февраля был на свидании в тюрьме. Случай, подобные только что описанному, в эти дни были не редкость.

В кабинет городского головы в первый же день перекочевало со своими машинками несколько служащих городской Управы волонтеров машинисток, которые без вознаграждения и без ограничения времени стали работать для управления милиции. Пришло на помощь на другой день и несколько добровольцев служащих Управы. Часто заходил и справлялся о ходе работы председатель городской Думы сенатор С. В. Иванов. Городской голова Ю. Н. Глебов, лишившийся своего кабинета, также, как и Иванов, старались удовлетворять многочисленные и разнообразнейшие потребности милиции, не имевшей ни штата, ни средств, начиная с чернильниц и типографских работ и кончая ассигновками, которые Ю. Н. Глебов выписывал на нужды милиции, как он говорил „революционным путем“, так как в смете Управы—статьи „Милиция“ не было. Повторяю однако еще раз, что все лица, работавшие в эти дни в милиции, никакого вознаграждения за свой 24 часовой рабочий день не получали. В первый же день откуда то взялся и вместе

со своим адъютантом офицером стал проявлять энергичную деятельность неизвестно кем назначенный Комендант Городской Думы гвардии поручик Корни-де-Бат. Вскоре, однако, он был арестован, как опознанный кем то аферист, и оказался не гвардии поручиком Корни-де-Бат, за которого он себя выдавал, а рядовым Корнеем Батовым. Подобные случаи разоблаченного самозванства в это время имели место конечно неоднократно. Что же касается „определения на службу“, то оно совершалось первое время точно также большей частью таким же способом, как это имело место с Корни-де-Батом; то есть в общей суматохе и толчее, когда часто лица, поставленные во главе какого-нибудь учреждения, будучи обременены работой, не имели возможности даже переговорить друг с другом, рабочих же рук не хватало, кто-то откуда то являлся, садился, начинал работать, получал поручения — выполнял их и только по прошествии некоторого времени начальник помощника или наоборот спрашивал: „Это вы назначили такого то“?

Таким образом, уже 1 марта, на второй день революции, в то время как на улицах города еще происходила стрельба и судьба революции была еще не решена, в Городской Думе сформировалось Управление Городской Милиции. В этот первый день ее стихийного создания о какой-либо организационной работе помышлять конечно не приходилось, но уже на второй и третий день она началась. В первый же день Д. А. Крыжановский на реквизированном для него где-то Корни-де-Батом бесхозном автомобиле (каковых в эти дни было не мало) в течение всего дня где-то разъезжал — и я с утра оказался предоставленным самому себе, сел за стол городского головы и начал „управлять“. Из типографии принесли неизвестно кем заказанные 10.000 удостоверений — карточек для милиционеров и почти столько же больших плакатов с надписью: „Этот дом находится под охраной милиции“ — и к моему столу нескончаемой вереницей потянулись люди. Думаю, что в этот день я принял не менее чем несколько сот человек. С какими просьбами и делами только ни обращались! Получалось впечатление, что в этот день Городская Милиция единственная признанная в городе власть. Первое принятое в Управлении Милиции заявление было следующее: „В Городскую Думу. Мирового судьи 49 участка. Имею честь заявить Городской Думе, что в семь часов вечера 28 февраля с. г. толпа вооруженных ворвалась в вверенную мне камеру, уничтожила огнем почти весь инвентарь и все бумаги, относящиеся к делопроизводству по участку. Все деньги, ценные бумаги, а также весь сбор „на яничко“ солдатам расхищены. Мировой судья Худяков. На заявлении была резолюция Члена Управы Демкина. „Д. А. Крыжановскому. Прошу обследовать и принять меры. I/III“.

Сейчас без улыбки нельзя прочесть эту платоническую резолюцию — но 1-го марта на улыбку не хватило бы времени. Так как вслед за первым заявлением посыпались остальные, потянулись просители, затрещал телефон... Приходили с просьбой разрешить похороны, выдать разрешение на получение бутылки вина для больного, заявляли о краже на Петербургской стороне и о пожаре за Невской заставой, об изнасилованиях и обысках, и арестах, и

грабежах, приводили арестованных и убежавших из сумасшедшего дома, брандмайор просил о выдаче ему пропуска для беспрепятственной езды по городу, сообщали о разгроме арестных домов и винных складов, сдавали оружие, спрашивали где наворить солдат, просили о выдаче разрешения на хранение оружия, директор гимназии Александра I представлял список воспитанников VIII и VII классов „изъявивших желание служить в городской милиции, смотритель и главный садовод Елагиноостровского дворца торопились представить в милицию „Список фамилий и званий 197 граждан, проживающих при дворце и примкнувших к временному новому правительству“. Сообщали о засадах переодетых городских — „фараонов“ и в то же время сдавали при списке 222 рубля, „собранные 129-ю железнодорожными жандармами, агентами охранной команды, оловоточными надзирателями, городскими и жандармами, находящимися под арестом в Конногвардейском манеже добровольно присоединившихся к народной революции и изъявивших желание на пожертвование в пользу революции в России“. — Без конца приходили уполномоченные милиции за получением для себя удостоверений и карточек, повозок и оружия для своих милиционеров — приходили из города и из пригородов из Коломяз и Поповки из Удельного и с Пороховых...

Какого то подвергнувшегося студента я посадил за приемку оружия, другому поручил выдачу его, двух бойскаутов назначил к отсчету и выдаче повозок, других для выдачи удостоверений, двух барышень для записи в импровизированные входящие и исходящие журналы, левой рукой держа трубку не смолкавшего ни на минуту телефона, правой подписывал и прикладывал печать Городской Управы, левым ухом слушал сообщения по телефону, а правым выслушивал просьбы проходящих и отвечал на обе стороны.

Все о чем просилось — удовлетворялось. Брандмайору давался пропуск для езды по городу, сеновцу разрешалось хоронить жену, ротмистру получить бутылку зелья для лечения, итальянскому подданному хранить револьвер, сумасшедшего предписывалось снова заключить в сумасшедший дом, арестованные направлялись в Государственную Думу, указывалось где наворить освобожденных из тюрем, рассылались циркуляры и телефонограммы по районам, куда направлять бывших городских...

Кто бы ни просил, получал плакат: „Этот дом находится под охраной милиции“ — поэтому было бы неудивительно, если все дома в городе в эти дни оказались снабженными такими плакатами.

Милицеских удостоверений в первые дни было выдано до 10.000 штук — и почти столько же в последующие дни; поэтому было бы также неудивительно, если почти все взрослое мужское население Петербурга в эти дни оказалось на службе милиции. — Сверх всего этого, так как фактически работать приходилась одному, мною в первый день развозились по районам какие-то объявления Временного Комитета Государственной Думы. Закусывал стоя за письменным столом, держа в руке телефонную трубку. Почти такой же характер носила работа и на второй и третий день. К Управлению милиции прибавилось несколько новых лиц: Гласный Думы инженер

М. С. Метт, избранный заместителем Крыжановского, инженер М. Г. Напатырь, образовавший при Думе резерв милиции, и студент М. Л. Сапер, второй секретарь. Разгрузки однако не чувствовалось, так как работа удвоилась, а М. С. Метт заглядывал только „на гастроли“, а вскоре совсем исчез.

2 марта в Думу прибыли рабочие Василий Пахомович Пятнев и тов. Чернев — меньшевики, заявившие, что они делегированы в Управление Милиции от Совета Рабочих Депутатов для „контакта“. Дело в том, что по инициативе Совета Рабочих Депутатов при многих заводах образовалась своя рабочая милиция. В тот же день 2 марта я с Черневым объехал главные районные организации рабочей милиции, чтоб добиться от них, во избежание двойственности в аппарате, возможности на этой почве конфликтов и необходимости вследствие сего разграничения сфер деятельности, их присоединения к общегородской организации милиции, что нам и удалось. 2 марта нами был составлен проект инструкции для милиционеров. — В этом первом „законодательном акте“ революционных дней регламентировались самые большие вопросы дня, инструкция пыталась внести хоть какой-либо порядок в бестолочь уличной жизни. В ней указывалось, кто подлежит аресту, в каких случаях милиционеру предоставляется пользоваться оружием („такое дается исключительно для целей самообороны и о каждом применении его он должен дать ответ перед судом“), регулировался вопрос о задержании автомобилей и наконец перечислялся целый ряд обязанностей милиционера, начиная с задержания пьяных, грабителей, стреляющих в воздух, чинов полиции, лиц, без полномочий производящих обыски, и кончая наблюдением за порядком в очередях, соблюдения таксы и спасением утопающих и замерзающих и призывом находящихся на улицах малолетних — § 1 этой временной инструкции гласил „на обязанности милиционера лежит защита всех и каждого от всякого насилия, обид и самоуправства, а последний параграф „милиционер должен помнить, что он является исполнительным органом новой Свободной России и обязан противодействовать всем попыткам контр-революции“

3 марта вечером в зале Думы уже удалось созвать первое собрание комиссаров всех районов, на котором присутствовало 50 комиссаров и представитель Совета Рабочих Депутатов Пятнев, каковое собрание утвердило вышеупомянутую инструкцию. На другой день последняя была уже отпечатана и разслана по районам для раздачи милиционерам.

Необходимость в скорейшем создании органа для наблюдения за порядком в городе на смену арестованной полиции ощущалась всеми. Уже 28 февраля в 1 № Известий Совета Рабочих Депутатов наряду с сообщением о ходе революционного движения, наряду с манифестом Ц. К. Р. С. Д. Р. П. с призывом к дальнейшей беспощадной борьбе имеется призыв — „не допускайте грабежей“.

„По городу начинают бродить шайки хулиганов, которые грабят лавки и имущество обывателей. Это может бросить тень на святое дело свободы. Революционный народ и армия должны арестовывать хулиганов. По улице

раздаются бесцельные выстрелы, наводящие панику на обывателей. Революционные патрули должны отнимать оружие у бесцельно стреляющих на улицах и передавать его в руки революционного правительства".

Того же 28-го февраля в Известиях Комитета Петроградских Журналистов, распространявшихся бесплатно по городу, так как газеты не выходили, было следующее обращение Комитета Военно-Технической Помощи: — „Граждане! Крайне важно скорейшее установление уличного порядка, только без жертв и колебаний закрепится окончательная победа народа. Способствуйте созданию и поддержанию порядка, подчиняйтесь патрулям. Во главе патрулей стоят начальники с повязкой на левой руке. Каждый час дозорный автомобиль с белым флагом объезжает патрули на углах и принимает доклады от постовых начальников, последние следят за тем, чтоб не допускать пьянства, стрельбы без приказаний, грабежа лавок и поджогов“.

Как сказано, таким образом 3 марта милиционеры уже стояли на постах с оружием и повязкой, снабженные удостоверениями и инструкцией районных комиссариатов, в которых уже было налажено делопроизводство и находившиеся избранные населением комиссары были в связи с центром. Милиционный аппарат, возникший стихийно, путем общественной инициативы, а не на базе закона, функционировал уже не хуже полицейского. Поэтому декларация Временного Правительства, 3 марта „о замене полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления“ лишь санкционировала свершившийся факт. Впоследствии много вреда для упорядочения милиции причинил санкционированный декларацией принцип выборности, чрезвычайно широко истолкованный. (Выбирались первое время даже милиционеры)!

3 марта депутат Караулов явился в Думу и сообщил, что царь отрекся от престола, и в городе наступило некоторое успокоение, и в управлении милиции жизнь начинала входить в свою колею.

Работали все дружно, самоотверженно и бескорыстно и единственное, что в дни медового месяца омрачало милицию, это бесцельные провокационные слухи, циркулировавшие в это время по городу. В эти дни всеобщего возбуждения эти слухи принимали самые фантастические, чудовищные размеры — не было такой самой очевиднейшей нелепости, которой тогда не склонны были придавать веру. Все эти признаки контр-революции по проверке оказывались блефами и по прошествии некоторого времени их перестали принимать всерьез.

В первые дни, когда всюду искали еще переодетых городских и полагали, что они-то сеют смуту, в милицию стали поступать сведения, что какая-то таинственная организация помечает белыми крестами двери многих квартир, в которых живут евреи, и что по обусловленному сигналу произойдет избиение их — „Варфоломеевская ночь“. Действительно в некоторых домах, главным образом на Лиговке и в районе, прилегающем к Николаевскому вокзалу, на дверях квартир оказались подобные кресты. Владельцы этих злополучных квартир, терроризованные слухами о Варфоломеевской ночи, умоляли дать

ним охрану. В некоторых случаях эти просьбы удовлетворялись; никакой Варфоломеевской ночи, конечно, в „крестовых квартирах“ не было. В первые же дни панику, главным образом в среде милиции, вызвала история с „черными автомобилями“. Дело в том, что слух о „черных автомобилях“, каковые ставились в связь с той же таинственной „крестовой“ организацией, исходил не из склонной к панике обывательской среды, а от авторитетного органа Совета Рабочих Депутатов. 3 марта в 3 часа ночи меня разбудил комендант городской Думы и передал только-что полученный пакет. „Начальнику милиции. Спешно. Секретно. В собственные руки“.

В пакете было отношение. „Коменданту города. По сообщению членов Совета Рабочих Депутатов Жукова, Васильева и др. сегодня ночью предполагается выезд черных автомобилей с черными флагами для обстрела милиционных постов. №№ их следующие... Комендант Таврического Дворца полковник Череп“.

Главнокомандующему войсками округа — на распоряжение.

Комендант города. Гвардии Полковник Пестриков. Начальнику городской Милиции на распоряжение, так как в моем ведении не имеется средств к противодействию и неизвестны места расположения милиции.

Главнокомандующий округом“.

По получении этого отношения, ночью же были разосланы телефонограммы по всем районам с указанием, что автомобили под указанными номерами подлежат задержанию. Никаких обстрелов ночью не было.

„Речь“ 10 марта писала, что „расследование выяснило, что все слухи о том, что по ночам из каких то черных автомобилей стреляли в милиционеров лишены всякого основания. В правительственных кругах слухи эти считают провокационными, распространенными с целью запугать милиционеров самоотверженно несущих свою трудную службу“.

Через некоторое время в думу был доставлен арестованным гласный Д. А. Казизин, проезжавший на автомобиле под одним из указанных в телефонограмме номеров. Он был немедленно освобожден и приказ о задержании пресловутых черных автомобилей отменен. Казизин ходатайствовал об избрании комиссии для снятия с него позорящих его имя слухов. Дума постановила, не проверяя явно неосновательных слухов о черных автомобилях, выразить ему доверие и высказать сожаление по поводу постигшего его несчастия. Такие же слухи о готовящемся выступлении какой то таинственной организации ходили упорно по городу перед похоронами жертв революции. К этому моменту по слухам организация приурочивала свои решительные действия. В градоначальстве было созвано особое совещание по вопросу об организации этих похорон. Последние были первоначально назначены на 17 марта, когда же выяснилось, что число участников достигнет около миллиона, отложены на 23 марта. В совещании участвовали представитель главнокомандующего округом начальник его штаба генерал-майор Рубец-Масальский, представитель Думы, милиции, от Совета Рабочих Депутатов Рамизовили, старый, седой революционер и какая то женщина, и художник Руднев, по проекту которого

на Марсовом поле построен памятник жертвам революции. На совещании обсуждались вопросы о месте могилы при чем оно отказалось от мысли похоронить жертвы революции на Дворцовой площади — и остановилось, в согласии с мнением Совета Рабочих Депутатов, на Марсовом поле. Относительно памятника возбуждался вопрос о перенесении на Марсово поле решетки ограды Зимнего Дворца, но в конце концов совещание согласилось с Рудневым — относительно формы могилы и постановки гранитных блоков, которые по мысли последнего могли бы в будущем послужить фундаментом для более грандиозного памятника. Совещание приняло далее церемониал шествия — хождения по районам, расхождения по магистралям — церемониал, применявшийся впоследствии и до сего времени при массовых демонстрациях. Подробно обсуждались и меры предосторожности, которые должны быть приняты против возможных катастроф, в роде Ходынки, были установлены санитарные пункты. Совещание согласилось с генералом Рубцом-Масальским, который настаивал на том, чтобы во избежание случайных эксцессов, все войска петербургского гарнизона без исключения принимали участие в демонстрации в день похорон без оружия в качестве простых граждан и отнюдь не были бы привлечены для несения полицейской службы. Милиция должна была находиться на постах, как всегда. Много времени было посвящено вопросу, как оградить демонстрантов от предполагавшегося обстрела их „таинственной организацией“. Были слухи о том, что на чердаках домов, расположенных на Марсовом поле, расставлены пулеметы для обстрела манифестации. Накануне дня похорон милиция осмотрела поэтому все чердаки указанных домов — никаких пулеметов конечно не нашла, запечатала чердаки и поставила караулы. Как известно, похороны прошли без всяких осложнений. Накануне дня похорон милиция развешивала пригласительные билеты для членов временного правительства и членов дипломатического корпуса.

Глава 2.

Колыбель красной гвардии.

Образование красной гвардии 28 февраля. Объединение рабочей милиции с городской. Боевые ячейки на заводах. Особый классовый характер рабочих комиссариатов. Рабочая милиция и генерал Корнилов. Организатор красной гвардии в Выборгском районе В. Г. Боцвадзе. Рабочие комиссариаты и управление милиции. Общегородская конференция милиционеров и их ультиматум. Милиционеры и анархисты в Выборгском комиссариате. Комиссар Цыганков.

В „Хронике февральской революции“ говорится, ¹⁾ что „идея красной гвардии, поддерживаемая большевиками, была их боевым лозунгом в рабочей среде. Исполнительный Комитет и Известия относились к этой идее отрицательно ²⁾“.

¹⁾ Д. Заславский. В. Канторович. Изд. „Былое“, стр. 249.

²⁾ Курсив везде мой.

... Исполнительный Комитет предлагал рабочим дружинам, поскольку они возникали, влиться в организуемые кадры милиции и таким образом подчиниться органам местного самоуправления, избранным на основе всеобщего избирательного права... организационной комиссией по формированию красной гвардии создано было 28 апреля в городской думе учредительное собрание для принятия устава организации... Исполнительный комитет был поставлен перед совершившимся фактом: красная гвардия возникла в виде боевых ячеек на многих фабриках и заводах, не получив благословения на то Исполнительного Комитета, но и не встретив правительственного сопротивления или резкого отпора со стороны Совета". — Это не совсем так. Верно только то, что Исполком предлагал рабочим дружинам влиться в городскую организацию милиции, и что красная гвардия возникла в виде боевых ячеек на фабриках, не встретив правительственного сопротивления; но возникли эти ячейки не после 28 апреля („учредительного собрания" красной гвардии), а 28 февраля в первый день революции (в апрельском кризисе — во время манифестации против Временного Правительства красная гвардия сыграла уже существенную роль) и в момент ее возникновения Совет не только не „относился к этой идее отрицательно", не „оказал резкий отпор", а напротив сам вызвал ее к существованию. Момент возникновения красной гвардии должен быть, как сказано, приурочен еще к 28 февраля, когда в „Известиях" Совета было помещено следующее решение: „к 4 часам ночи И. К. С. Р. Д. постановил: 1. Немедленно организовать районные комитеты 2. Установить сборные пункты для вооруженных рабочих и войск. 3. Работить на фабриках и заводах организовать милицию по 100 человек на 1000 рабочих. Милиция стройными рядами должна направиться к сборным пунктам, смотря по времени получения настоящего сообщения к 11, 12, 1 ч. дня. На эти пункты Сов. Раб. Деп. пришлет свои указания".

Далее, уже с первых дней революции, Совет, вызвавший, таким образом, к существованию красную гвардию, (в отличие от городской Думы, смотревшей на городскую милицию, как на организацию для поддержания порядка), смотрел на нее, как на боевую силу для защиты завоеваний революции.

Уже 1 марта в „Известиях" Совета имеется следующее обращение: „К офицерам социалистам. Совет Рабочих Депутатов обращается к офицерам социалистам с просьбой прийти на помощь рабочему классу в деле организации и военного обучения его сил".

Неизвестно, откликнулись ли офицеры на призыв, как будто бы нет, потому что во всяком случае нигде в рабочих районах, в первые и последующие дни офицеров в рабочей милиции я не встречал, но, повторяю, из обращения этого видно, как уже 1 марта смотрел на роль рабочей милиции Совет.

Мне неизвестно также была ли в первые дни при заводах образована рабочая милиция в таком именно масштабе, как это предлагалось в вышеприведенном постановлении Совета — вряд ли. Однако организована она в первые же дни была. При объезде мною 2 марта с делегированным из Совета Рабочих Депутатов в Управление Городской Милиции тов. Черным рабочим

районов, мы в Московском районе при столовой завода „Динамо“, при больницы кассе Фряко-Русского завода, в Нарвском районе при больницы кассе Путиловского завода и в Выборгском районе на даче Дурново нашли уже комиссариаты, организованные самостоятельно, без участия городской Думы, рабочей милиции. Таким образом 2 марта существовали по инициативе Думы образовавшаяся городская милиция, объединенная вокруг управления городской милиции, состоявшая из студентов, обывателей и частью рабочих и образованная по инициативе Совета рабочая милиция, состоявшая исключительно из рабочих, имевших свои районные комиссариаты и свой центральный орган „рабочих комиссариатов“ при Совете Раб. Деп. Совет Раб. Деп. решил организовать единую милицию—уничтожить центральный орган рабочих комиссариатов и предложить рабочей милиции влиться в городскую. 2 марта, как сказано, в Думу явился из Совета рабочих Чернев, сообщил об этом решении Совета и предложил мне объехать с ним рабочие комиссариаты, чтобы убедить их в необходимости примкнуть к городской организации. После объезда нами эта цель была достигнута. Рабочие комиссариаты влились в общегородскую сеть, подчинились управлению городской милиции, получали от нее повязки, удостоверения и оружие. Однако это „примыкание“ выразилось лишь в том, что рабочая милиция с грехом пополам начала нести милицмейскую службу; во всем остальном же она преследовала свои особые, отличные от городской милиции цели—не поддержание порядка, а возмещенную 28 февраля Советом— „защиту завоеваний революции“!

Таким образом, повторяю, если уже 2 марта все милиционные организации объединились вокруг Городской Думы и слились в единую названную нами „Городскую Народную милицию“ поглотившую обывательские, студенческие, рабочие ячейки, заменившую собою полицию, стремившуюся стать и вскоре ставшей муниципальной полицией, органом местного самоуправления, то рабочие комиссариаты городской милиции с первых же дней имели и сохранили классовый характер и сыграли крупнейшую политическую роль во всех решающих для февральской революции событиях, апрельские, июньские, июльские, Корниловские дни—во всех событиях, подготовивших октябрь—свержение временного правительства и получивших в нем свое завершение.

Ни Д. А. Крыжановский, ни сменивший его Н. В. Иванов не смотрели на милицию, как на Лафаэтовскую национальную гвардию, а все время подчеркивали ее аполитичность, нейтральность, характер муниципальной полиции, призванной, заменяя упраздненную полицию, в рамках закона охранять имущество и безопасность граждан, отнюдь не вмешиваясь в политические распри, борьбу партий.

Не могу сказать, было ли им ясно грозное значение рабочей милиции и те последствия, которые повлечет за собой их характер.

Во всяком случае, когда характер этот в июльские дни вполне определился, когда милиционеры петербургской стороны хотели арестовать Крыжановского, когда на демонстрации милиционеры Выборгской стороны шли с пла-

катом „Долой Крыжановского“, когда комиссар Выборгского района Цыганов при выселении анархистов с дачи Дурново пошел против Временного Правительства, начальник милиции, даже если бы хотел противодействовать рабочей милиции, был бессилен сделать это, будучи связан законом о милиции, проводившим полную децентрализацию, подчинив районных комиссаров районным Думам. Единственный, кто отдавал себе, казалось, ясный отчет в грозной силе рабочей милиции и не доверявший ей был главнокомандующий округом генерал Лавр Корнилов, с момента вступления в должность упорно отказывавшийся выдать для вооружения милиции хотя бы один револьвер, одну берданку из оружейного склада.

В оружии для милиционеров ощущался острый недостаток. В первые же дни им было нами рождено все оружие, принятое нами от населения, сданное последним во исполнение первого приказа Крыжановского о сдаче оружия. Его конечно не хватало. В дальнейшем оружие стало получаться нами из Военной Комиссии Государственной Думы.

4 марта мною с капитаном Ченцовым, представителем последней, был выработан порядок, по которому комиссары районов представляли в Управление милиции сведения о наличном у них оружии, количестве постов в районе, количестве милиционеров. Мною определялось количество потребного им оружия и выдавался соответствующий наряд на получение его в Военную Комиссию Государственной Думы. Там наряд контрассигнировался, выдавался ордер на Штаб главнокомандующего округом и оружие выдавалось из артиллерийского склада. Некоторое время выдача оружия указанным способом шла гладко. С назначением же главнокомандующим генерала Корнилова исполнение по нарядам Военной Комиссии сразу же прекратилось. 31 марта на требовании Военной Комиссии оружия для милиционеров Александров-Невского района Корнилов положил резолюцию: „Ответить, что револьверов нет даже для снабжения частей действующей армии“, а на требовании от 1 апреля для Петергофского района он сделал пометку: „доложить с вопросом о реорганизации милиции“ и одновременно с тем обратился к городскому голове с следующим отношением:

„С начала революции около 40.000 трехлинейных винтовок и 30.000 револьверов было взято из Птгр. артиллерийского склада и находится в руках рабочих и остального населения. Это оружие предназначалось к отправке в действующую армию, которая испытывает недостаток в оружии, особенно в винтовках; между тем, ожидаются решительные бои. Вследствие вышеизложенного, прошу зависящего распоряжения, чтобы все оружие, сдаваемое населением и рабочими, безотлагательно передавалось бы петроградским комендантам, которые в свою очередь, по мере поступления к ним оружия, будут препровождать его в артиллерийский склад“.

Генерал-лейтенант Корнилов.

Ни одной винтовки сдано населением и рабочими комендантам не было. В виду же прекращения Корниловым выдачи оружия для нужд милиции, 15 апреля

был командирован к нему для выяснения этого вопроса. Он просил меня обсудить этот вопрос с начальником его штаба генерал-лейтенантом Рубцом-Масальским. 22 апреля я вторично явился к Корнилову и вручил ему составленный мною доклад, в котором просил его утвердить уже обсужденный мной с Рубцом-Масальским порядок выдачи оружия из „милиционного фонда“. Доклад кончился следующим образом:

„Продолжающаяся уже более недели приостановка в удовлетворении нарядов и прекращение в виду этого выдачи оружия милиционерам приводит к крайне тягостным последствиям, как то: наблюдающимся, по сообщениям комиссаров, неоднократным случаям отказов милиционеров выходить ночью для несения постовой службы, отказам их дежурить невооруженными в опасных местах и т. д., что в свою очередь приводит к тому, что охраны безопасности граждан во многих местах, в виду отсутствия оружия, фактически не существует“. — Результата доклада с нетерпением ждали ряд комиссаров. Еще пока я сидел в приемной в штабе на Дворцовой площади я получил от них, ждавших на площади, ряд записок с вопросом, в каком положении дело. Аудименция у Корнилова продолжалась всего три минуты. Он категорически заявил мне, что впредь до образования „настоящей“ милиции он для вооружения ее ни одного револьвера не выдаст. Спорить с ним было бесполезно. Точно также трудно было добиться от него, что он понимает под словом „настоящая“ милиция. Из слов его можно было лишь вывести заключение, что ему сильно не нравятся стоящие на улицах „штатские“ с палашками на рукавах.

Если таким образом относились к милиции вообще, отождествляя ее с рабочей милицией, Корнилов, то отношение управления милиции к рабочим комиссариатам было несколько иным. Формально, как сказано, эти комиссариаты подчинялись приказам центра, но обнаружившийся уже с первого дня „сепаратизм“ их, расхождение во взглядах, целях — с течением времени все более углублялся. Выражение это расхождение получило уже на собрании комиссаров 3 марта, созванном нами для обсуждения инструкции милиционерам. Когда Крыжановский обратился к присутствующим со словами: „господа, мы собрались сегодня...“ раздалось несколько голосов: „здесь нет господ“. Крыжановский ответил, что в течение своей жизни привык к такого рода обращению и менять свои привычки не намерен. Особых трений впрочем чисто внешних, между управлением милиции и рабочими комиссариатами не возникало.

Достаточно указать, что комиссары большевики оставались в милиции и после июльских дней и после „правительственных ревизии“, и на собраниях комиссаров, на которых они всегда присутствовали, никогда не возникало с ними каких либо конфликтов.

Крыжановского они называли „товарищем“, и единственно, о чем всегда спорили, приходи в управление, это относительно отпускаемых в их комиссариаты кредитов и оружия. Особенно в этом отношении отличался комиссар I-го Выборгского подрайона В. Г. Боцвадзе. Студент Военно-медицинской академии,

он был вместе со своим товарищем Швацабом еще 28 февраля назначен городской Думой уполномоченным, наряду с членами Думь Алейниковым и Стариковичем, для организации милиции Выборгского района. Старикович и Алейников, как вообще все уполномоченные, вскоре отпали и Боцвадзе был рабочими избран комиссаром. Он не был большевиком, но пользовался среди рабочих большой популярностью. 27 февраля верхом на белом коне он с рабочими Выборгской стороны „брал“ „Кресты“ и „Предварилку“, т.-е. освободил всех заключенных. Его нужно считать первым создателем и организатором Красной гвардии, колыбелью которой был Выборгский район.

Человек неутомимой энергии, смелости и решительности, он буквально работал днем и ночью. Ежедневно почти он приходил в управление милиции просить денег и оружия — вооруженный с головы до ног: браунингом, маузером и кольтом, в сопровождении таким же образом вооруженных 2 — 3 внушительного вида рабочих, и со своим сильным грузинским акцентом говорил:

„Ну Дмитрий Андреич, давайте оружие, а то сейчас здесь стрелять будем“. Конечно, в шутовском тоне говорилось это. Крыжановский, который, кажется, в жизни никогда никому ни в чем не отказывал, всегда просил меня давать Боцвадзе для Выборгского района оружие по его требованию „без урезки“. Так как оружия не хватало для вооружения всех милиционеров (по приказу оружие выдавалось в комиссариат лишь для милиционеров, несущих постовую службу, и при смене должно было ими передаваться) то, в требованиях комиссаров на оружие количество, указываемое ими, потребное для их района, нами пропорционально сокращалось, чтоб иметь возможность хоть понемногу, но наделить все районы.

Как сказано, Боцвадзе получал оружие всегда без такой „урезки“. Мотивировал он потребность большего количества оружия именно для Выборгского района тем, что это, как окраинный район, очень темный: „фонарей мало — жуликов много“. Пока продолжалась нами выдача оружия чрез посредство Военной Комиссии Государственной Думы, пока она не была прекращена генералом Корниловым, Боцвадзе и впоследствии заменивший его рабочий Цыганков получили от меня для вооружения милиционеров Выборгского района едва ли не половину всего оружия, распределенного нами на весь город. Таким образом управление милиции не только не противодействовало вооружению Красной гвардии, а наоборот способствовало ему. В мае месяце Боцвадзе вследствие переутомления просил Крыжановского освободить его от обязанностей комиссара, и на его место был избран его помощник Цыганков.

Боцвадзе хотел уехать к себе в Грузию, чтоб, по его словам, там сделать „настоящую революцию“. Уже после октябрьского переворота Боцвадзе был вновь комиссаром Литейного района. О дальнейшей судьбе его мне неизвестно ничего — повторяю, что именно его следует считать истым организатором первого ядра красной гвардии. Я выше употреблял, не различая их, два термина — „рабочая милиция“ и „красная гвардия“ — и это не слу-

чайно, а нарочито. Красная гвардия не развилась из рабочей милиции, а рабочая милиция с первых же дней была красной гвардией. В деле образования последней сыграли роль не столько „боевые ячейки“ при заводах и фабриках, не столько „учредительное собрание“ красной гвардии от 28 апреля, как рабочие комиссариаты городской милиции, послужившие организованным ядром, вокруг которого наславались последующие образования. В деле образования красной гвардии немаловажную роль сыграло еще одно обстоятельство.

С 1-го июня городская дума решила сформировать постоянные штаты милиции. 1 мая ею был принят о сем соответствующий проект, ставший законом. В силу его предстояло значительное сокращение числа милиционеров, что вызвало среди них сильное брожение, результатом коего явилась созванная ими 5 июня общегородская конференция милиционеров, предъявившая городскому самоуправлению свой „ультиматум“. Газеты писали: „Собранная с бору да сосенки милиция в значительной части своей усмотрела в службе возможность изымать средства при минимальной затрате труда и времени. Конференция высказалась за установление обязательного вознаграждения в 360 р. в месяц, на 120 р. выше, чем того желали сами милиционеры — и ввела как обязательный пункт своих требований, чтобы фабрики и заводы, рабочие с которых будут поступать в милицию, сохраняли за ними место и ни на 1 день не прекращали бы выдачу жалованья.

Этот пункт вынужденно проводится сейчас на всех фабриках и заводах. Фабрики одного только Выборгского района за 1 месяц уплатили милиционерам 250.000 рублей — милиционерам, одновременно получающим жалованье у города...

В исполнительном комитете угрозы милиционеров встретили такое же резкое осуждение, какое высказала городская дума. Представители его заявляли, что со стороны Совета не встретится никаких препятствий к тому, чтобы „успокоить“ милиционеров всеми имеющимися средствами. В штабе было заявлено, что в первую очередь будут приняты меры к охране войсковыми частями зданий городского управления и общественного градоначальства, которые в случае неудовлетворения их требований милиционеры обещали разгромить... Как сообщил начальник милиции, формирование новых постоянных штатов в центре протекает удачно. Трения же продолжаются в фабрично-заводских районах“...

Эти „трения“ выразились в том, что несколько тысяч сокращенных милиционеров не вернули оружия, а влились в боевые ячейки и организовали при Выборгском комиссариате свою особую милицию — красную гвардию. Насколько правительство было не в курсе истинного положения вещей в городской милиции, видно из того, что товарищ прокурора Судебной Палаты И. П. Бессарабов, посетив 19-го июня по поручению министра юстиции, после ликвидации в ней анархистов, дачу Дурново, в беседе с газетным сотрудником заявил ему, что при посещении им дачи выяснилось, что „милиционеры Выборгского района, недовольные распоряжениями начальника общегородской

милиции Крыжановского, образовали при участии представителей С.-Р. и С.-Д. свою собственную милицию". Эта „собственная" милиция была ни что иное, как красная гвардия.

Она действовала в июньские дни, освободила из тюрьмы 18 июня Хаустова и др., действовала в июльские дни, выступала совместно с анархистами. Во время июльского выступления большевиков, милиционеры красногвардейцы Петербургской стороны комиссариата, помещавшегося на б. Белозерской 18. пытались арестовать Крыжановского. Во время демонстрации они несли плакат, „Долой Крыжановского", снабдившего их оружием. При захвате анархистами типографии „Нового Времени" среди них были милиционеры красногвардейцы Выборгского района, которые находились в редакции все время, поддерживали связь со своим комиссариатом.

Наиболее рельефно взаимоотношения рабочей милиции с управлением милиции можно проследить в эпизоде с захватом анархистами дачи Дурново. Из нижесказанного будет ясно, что комиссары городской милиции в рабочих комиссариатах хотя внешне и исполняли, как будто, распоряжения властей, но, по существу, солидаризировались с Красной Гвардией.

Комиссариат 1-го Выборгского подрайона городской милиции помещался в одном из флигелей дачи Дурново. Когда 18 июня толпой рабочих близ дачи был избит и ранен везший на автомобиле объявления генерального штаба о победе наших войск на фронте корнет Скосырев, он был огражден от дальнейшего избития милиционерами Выборгского района, притащен ими в комиссариат и через некоторое время помощником комиссара Кирпичниковым доставлен в управление милиции. Когда того же 18-го июня ночью на дачу Дурново явились министр юстиции Переверзев и Главнокомандующий войсками округа генерал Половцев с семеновцами и сотней казаков для ареста освобожденных днем из Крестов анархистами и находившихся у них Хаустова, Миллера, Стрельченко и других, и потребовали выдачи означенных лиц, помощник комиссара городской милиции Чернев передал анархистам это требование правительства, и когда анархисты заявили, что войска войдут в дачу только „через их трупы" от дальнейшего участия в этом деле устраняется. Что же касается комиссара этого подрайона Цыганкова, то, получив ночью телеграмму прокурора Судебной Палаты с предложением анархистам в 24 часа очистить особняк Дурново, он немедленно сообщил об этом распоряжении рабочим и, когда собрание их единогласно вынесло резолюцию оказывать анархистам активную поддержку в случае если бы правительство силой заставило их покинуть дачу, он, Цыганков, к этой резолюции присоединился. Когда на другой день после ликвидации 19 июня на дачу явился тов. прокурора Судебной Палаты И. П. Бессарабов и попросил Цыганкова проводить его в дачу, тот довел его лишь до входа, отказавшись вместе с ним войти внутрь.

Накануне дня ликвидации анархистов, помощник начальника милиции, по поручению начальника, отправился в Исполком пригласить его представителей для воздействия на толпу у дачи Дурново. Милиционеры же Выборг-

ского района заявили, что не допустят принятия репрессивных мер против анархистов. Это дало повод газетам писать о выступлении „анархистов, большевиков и милиционеров“. — Таковы были взаимоотношения управления милиции и Выборгского комиссариата — колыбели Красной Гвардии. Широкая публика, которая не была в курсе их, не знала, что по закону о милиции районы самостоятельны, эти отношения стали ясными лишь после июльских дней, когда писали о том, что милиция в эти дни была не на месте¹⁾, что за бездействие уволен Крыжановский, писали о „развале милиции“. После июльских дней многие заводы сообщали в Исполком, что Красная Гвардия, опасаясь держать при себе оружие, старается незаметно оставлять его на заводах, писали о том, что на Петербургской стороне Красная Гвардия и милиция разоружены и ожидается разоружение всей милиции¹⁾. На Петербургской стороне случай разоружения имел место, но это не по инициативе и не средствами управления городской милиции, а войсками по распоряжению Главнокомандующего. Никакого же общего разоружения не было. Напротив, в Корниловские дни, немного спустя после июльских дней, Керенский сам вновь вооружил целые отряды Красной Гвардии. Красногвардейцы милиционеры не были удалены из милиции и после „правительственной ревизии“ и после „чистки“. Последняя, напротив, лишь усилила их приток, так как было постановлено принимать в милицию лишь солдат и рабочих по рекомендациям фабрично-заводских комитетов и районных Советов Р. и С. Депутатов. Не были удалены из милиции после июльских дней и большевики комиссары, организаторы рабочих комиссариатов. 7 июля, во время ликвидации большевиков, „Маленькая Газета“ писала: „Из комиссариатов должна быть изгнана Ленинская пакость. Всем памятна история 19 июня, когда у дачи Дурново был убит корнет Сюсырев. Это возмутительное насилие не было расследовано местным большевистским комиссариатом. Вместо наказания насильников большевики из комиссариата решили наказать пострадавшего Сюсырева. Вот вам нелегитимная власть демократической милиции“.

Если большевистские комиссары не были уволены из милиции после июльских дней, то это отнюдь не потому, что управление солидаризовалось с ними или потакало им; оно просто было бессильно что-либо предпринять в виду установленных законом о милиции выборности и децентрализации, как это отмечено было и в прессе „Развал милиции“. „На этих столбцах мы не раз приводили фантастические постановления милиционеров, назначавших самим себе оклады, предъявлявших сверхъестественные требования, устранявших какое-либо подчинение и т. д. Малейшее противодействие начальника вызывало бурные протесты и приводило к тому, что против воли начальника, несмотря на протесты и возражения Совета Р. и С. Д. возникали самочинные и терроризирующие население организации в роде Красной Гвардии. — Каким

¹⁾ И американский корреспондент Джон Рид в своей талантливой книге: „10 дней, которые потрясли мир“ ошибочно замечает, что „делались попытки разоружить красную гвардию“.

образом содалась „муниципальная полиция“, лишившая начальника какой-бы то ни было, хотя бы самой эфемерной власти, децентрализованная, комиссары, которой были подчинены Районным Думам, проводившим и кажда в своем районе свою политику, об этом в следующей главе. Большевики комиссары не могли быть удалены, так как были избраны большевистской Выборгской районной думой.

Состояние децентрализованной милиции хорошо изображено в цитированном уже шарже Линского, „Моя анкета“, перед предполагавшимся выступлением большевиков. На вопрос, какие меры охраны приняты им, Крыжановский ответил, что все его милиционеры гимназисты. „Ну все же остается, хоть кто-нибудь? — Ну вот Московский Комиссариат? — Московский занят: он охраняет Литейный от Выборгского! — А Спасский? — Спасский охраняет Выборгский от Московского, которому в свою очередь, грозит Александро-Невский“.

3. Кальсон.

Погромы.

Из воспоминаний о денникнищине на Украине ¹⁾.

Первый же шаг добровольцев при вступлении в город отмечен был убийством первых подвернувшихся под руку евреев. Не на улице: на улице, конечно, не показывались в тот момент ни евреи, ни русские. Ради убийства добровольческий разъезд не поленился спешиться. Увидя по пути своего следования у подъезда вывеску с обозначением нескольких еврейских фамилий (двух врачей, остальные—свободных профессий), господа офицеры зашли в дом; в итоге—несколько убитых, (в том числе один из врачей, второй скрылся), и довольно крупная контрибуция. Сделано было это, впрочем, наспех, неорганизованно: времени было мало—в городе еще шла стрельба.

Этот этюд прозвучал, как лейтмотив ближайших „после боевых“ дней: дней погрома.

С мыслью о нем заранее примирились (именно примирились—я пользуюсь точным определением) и русские и еврейские кварталы: он представлялся совершенно неизбежным. Еще 3-го октября, прислушиваясь к разговорам, шедшим в расположившейся бивуаком на Пушкинской, прямо под моими окнами, осетинской сотни, я мог убедиться, что тема этих разговоров одна: погром. И начало ему, видимо, осетины тогда уже положили. По крайней мере, из притороченных к седлам сум они без стеснения вынимали охапки предметов, имеющие весьма отдаленное отношение к военному делу: шитые шелками и золотом ридикюли; дамские чулки, перламутровые бинокли, несессеры, кожаные бумажники... На руках большинства поблескивали драгоценными камнями кольца; не мало было и обручальных: у одного из наездников, мальчишки лет 15-ти 16-ти, я заметил даже целых четыре на одном пальце.

В вечер того же дня, 3-го, мне постучали: „Выйдите во двор послушайте“.

Я вышел. Над кварталами стлался, проникал воистину в каждую щель, в самую глубь подвалов, по которым затаились спасающиеся от шедшей еще бомбардировки обыватели, тихий, но немолчный, не прекращавшийся ни на секунду, жалобный, рвущий за душу вой сотен женских и детских голосов.

¹⁾ См. „Былое“, № 25—28.

Словно зарево незримого, но жгуче нестерпимого пожара над городом—то замирал, то взмывал снова, тяжелым скрежущим стоном. Словом не передать; но казалось кто слышал этот скорбный, заушковый тихий плач, тому уже не улыбаться больше в жизни.

И это чувство совершенной, безысходной беспомощности... что можно сделать одному, без оружия? Вмешаться в эту толпу обреченных и подставить свою голову под погромный удар? потому что их не поднять—громимых. Разве в этом всем не слышится так явственно, так непрерываемо—до кошмарности—сознание обреченности и еще хуже, еще кошмарнее, какая то внутренняя примиренность с этим неотразимо надвинувшимся насилием, издевательством и смертью. В этом общем, слятом стоне—не вопль о помощи, не крик протеста: в нем—тихая, принявшая смерть отходная самим себе и не это ли, самое тяжелое, самое неприятное, сжимающее тоской душу?..

Полчаса, показавшиеся бесконечностью. Стон ширится, он перекидывается на соседние кварталы; зарево его взмывает где-то совсем-совсем близко.

„На Васильковской, надо думать, громят“ говорит дворник. И сплевывает.

Не он один. Все окружающие, а их набралось-таки немало из соседних квартир, спокойны, даже веселы. Ведь это—„погромный“ нам не грозит ни мало. У нас во дворе, ни одного „жида“, стало быть некому подвести под погром. На всякий случай, впрочем, над дверями всюду, и над входными, и в квартирах самих, начерчены копотью свечи, зыбкие, кривые, от колебаний чертавшего их, кресты. И на шее, на крайность у всех кресты навешаны... даже у неправославных: есть у нас тут два-три немца.

Три сестры-барышни, дочери моей квартирной хозяйки зябко жмутся друг к другу:—„а все-таки это лучше, чем бомбардировка“.

„Лучше, чем бомбардировка?“

„Конечно. Повоют и перестанут.“

„При бомбардировке ведь тоже так: постреляют и перестанут.“

„Благодарю покорно: но ведь снарядам могут и меня убить: а здесь меня не тронут. Конечно, и их жалко. Но я сама жить хочу...“

„Чай пить“. Это мамаша вышла из подвала. Прислушалась. Совсем близко—навверное на Васильковской: там жидов—труба нетолченная.

С 2-х часов ночи в районе, откуда шел стон, застучали выстрелы: громилы или по громилам? Так или иначе, но стон смолк. А в четыре часа гулко ударила над Бибиковский бульваром граната, бой разгорался опять. А стало быть—отходим и погром.

Не надолго. Начавшаяся было в добровольческих рядах паника оснований не имела: напрасно бросились снова в тыл, к Днепру подвинувшиеся к центру города обозы I разряда. Боими четвертого числа красные (как

я сказал уже) прикрывали лишь отход своих частей, отход predetermined. И как только выяснилось это, немедленно же, за самой линией боя, в прилегающих улицах возобновился „тихий погром“. Офицеры и солдаты кучками обходили дом за домом, „очищая еврейские квартиры“. Об убийствах, по крайней мере в нашем районе, было слышно мало, но грабили жестоко. Не раз в течение дня, бредя по улицам, я видел кучки солдат и офицеров, здесь же на тротуаре, по выходе из подъезда, делавших керенки и „царские“. Кое-где, широко разметавшись по грязи, валялись порванные пачки советских. Солдаты в дорогих шубах, поверх рваных заплатанных шинелей, сосредоточенно и неторопливо волокли с разных концов узлы со всяким добром, от шифоньерок до шелковых одежд.

„Государственная стража“ бездействовала. Квартировавший у нас во дворе стражник рассказывал, что специальным приказом все постовые стражники были убраны с наружных постов, дабы не подавать повода пострадавшим обращаться к ним за содействием. В „участках“, в буквальном смысле слова, без перерыва звонили телефоны: со всех концов сообщалось о налетах, о требовании уплаты „контрибуции“, определялась она в 40—50 тысяч керенскими, зачастую выше; ниже 20 тысяч требований не было. Дежурившие в участках „наряды“ только поспевали на эти телефонные вопли: полицейские власти не высылали их „на место происшествия“, хотя, выполняя комендантский приказ, уверяли жалобщиков, что „меры к охране будут безотлагательно приняты“.

Приказ этот от 5 октября стоит привести почти целиком: более классического образца издевательства над „обывателем“ не придумать. Он гласил.

„В виду полученных мною донесений и сведений о происходящих в городе, в особенности на его окраинах, грабежах и всякого рода насилиях над мирными жителями, а также настойчивой погромной агитации, объявляю во всеобщее сведение, что Добровольческая армия, ведя борьбу с большевиками, вместе с тем ставит себе неперменной и постоянной задачей скорейшее водворение твердого порядка, личной и имущественной безопасности, без которых немислима правильная гражданская жизнь...

„Между тем находятся субъекты, которые, желая использовать переживаемый момент, чинят грабежи и насилия над мирным и без того измученным и истрадавшимся населением. Мало того, эти же субъекты, прикрываясь, зачастую, обликом чинов Добровольческой армии и ведя погромную агитацию, тем самым бросают тень и провокационно позорят честь чинов Добрармии.

„Этому безобразию я положу конец, не останавливаясь ни перед какими, самыми решительными крайними мерами. Еще раз напоминаю населению города Киева, что там, где ступит нога Добрармии, не может быть ни грабежей, ни насилий, а тем более каких либо эксцессов на почве национальной или религиозной вражды, все должны считать себя гражданами Единой Великой возрождающейся России, и все одинаково должны пользо-

ваться защитой и охраной ее законов. Категорически воспрещаю производство всякого рода обысков и вымогов во всяких частных домах и квартирах, без ордера за моей подписью. Домовым комитетам, а где их нет, управляющим и смотрителям зданий, от лиц, приходящих с обыском, непременно требовать предъявления ордера за моей подписью, без чего к производству обыска ни в коем случае не допускать, а при неисполнении этого требования лиц, пришедших с обыском, задерживать и сообщать в комендантское управление по телеф. 25-15.

„Одиночных грабителей и погромщиков задерживать, организовав для этой цели домовую охрану, под распоряжением председателя домовых комитетов. В случае налета партий, немедленно сообщать в комендантское управление, откуда сейчас же на грузовике будет высылаться наряд для заивата грабителей“.

„Арестованных коммунистов и явно подозрительных лиц и дезертиров препровождать в комендантское управление (Левашовский пр. № 2). Все имеющееся у кого бы то ни было, кроме воинских чинов, и чинов государственной стражи, оружие, как огнестрельное, так и холодное, должно быть немедленно сдано в комендантское управление... Не сдавшие оружие будут предаваться военно-полевому суду“...

„Продажа крепких напитков где бы то ни было и кому бы то ни было безусловно воспрещена. Все рестораны и папшкетные должны закрываться в 9 часов вечера. До этого же часа разрешается свободное хождение по улицам города Киева и его предместий“.

„Винновнные в неисполнении изложенных требований будут подвергаться высшей мере наказания и с докладом моим главноначальствующему будут высылаться за пределы области“...

„Призываю жителей к спокойствию, прошу всех приступить к обычным своим занятиям и работе, а торговцам открыть свои лавки и магазины“.

Последняя строка приказа вызывала улыбку даже у самых несклонных к шуткам людей; ибо лавки, еврейские в большинстве, были „открыты“ еще до приказа взломщиками, „прикрывающимися обликом Добрармии“; что же касается остальных пунктов, то „реальными“ являлись лишь пункты о сдаче оружия, и препровождении подозрительных, и невыходе на улицу после 9 часов, т.-е. пункты, облегчавшие грабеж и расправу. Ибо кто в те дни из еврейского населения не мог сойти за „подозрительного“ или коммуниста; и как „задерживать“ грошил без оружия, без права выйти, спасаясь от погрома, на улицу — и при одном единственном на весь город телефоне, по которому надлежало вызывать помощь. Можно ли, наконец, представить себе еврея, требующего предъявления ордера от шайки какихнибудь, до зубов вооруженных волчанцев.

Глумление было настолько явным, что ни солдаты, ни офицеры не обратили ни малейшего внимания на этот приказ; он, пожалуй, даже способствовал укоренению в солдатской массе неведомо кем пущенного, но твердо принятого на веру слуха о том, будто бы генерал Бредов отдал армии, в награду за

обратное завоевание Киева, город на 72 часа „в полную солдатскую волю“. И восприятие грабежей солдаты относили, искренно или нет, исключительно к „вольным“.

Характерные на этой почве разыгрывались сцены. 4-го октября, под вечер, проходя Бибиковским бульваром, вижу: два офицера гонят перед собой низкорослого, косопалого мальченку с целым ворохом каких-то домашних вещей на руках и бьют его нещадно, один ногой, другой, прикладом ружья. Прохожие останавливаются, смотрят. На углу Пушкинской мальченок, голосивший истонченным голосом, упал на колени: „Смилюйтесь, отпустите, Христа ради“. Стали наволакиваться толпа, сначала робко, затем ближе, ближе: замкнула круг. Подошли еще офицеры: в чем дело? Те, первые два, объясняют. Накануне, во время боев за город, наступая по Бассейной, они были по их уверению, обстрелены из одного дома. Дом этот сегодня, в наказание, был отдан своей роте на погром. Во время погрома к солдатам пристали какие-то „вольные“, стали тоже тащить вещи. Одного из них удалось захватить; во исполнение комендантского приказа они ведут его в управление.

Парень плакал навзрыд, заверял, что он „полагал себя в своем праве, ежели сами господа офицеры“... Не докончил он, так как получил прикладом по голове. Однако, на некоторых из присутствовавших офицеров этот аргумент как будто бы подействовал, как смягчающее вину обстоятельство. После краткого, но энергичного обмена мнений, здесь же на бульваре был учрежден полевой суд. Настроение зрителей было настолько не в пользу подсудимого, что приговор: „вещи отобрать, мальченка отхлестать дополнительно, сколько хватит охоты у арестовавших его офицеров, а затем отпустить“ был встречен ропотом. И когда, после экзекуции отпущенный парень с воjem поплелся вниз по Бибиковскому к Крепщатику, за ним тронулась целая толпа, настолько возбужденная, что можно было опасаться „личечаванья“.

Пришлось слышать и о некоторых других аналогичных случаях расправы с „вольными грабителями“, но о каких либо репрессивных мерах по отношению к военным не пришлось ни слышать, ни читать. Им предоставлялась полная воля и волю эту они использовали до конца. По верному указанию подпольного „Голоса Народа“ (единственный № которого вышел в ноябре) — „грабили по-взводно, по-ротно, по-эскадронно; грабили солдаты, прапорщики, полковники“.

Грабеж этот не принимал, однако, форму подлинного, открытого погрома, уничтожения имущества, и тем паче смертоубийств было относительно мало и пришлось они главным образом на самые первые дни на период обратного вступления в город добровольцев. Мне лично, непосредственно, т.-е. из первых рук известны лишь следующие случаи. 2-го октября, во время погрома на Подоле, на Кирилловской улице, изрублен был шашками старый партийный работник, с.-р. Абрам Давидович Сахновский (работал в Киеве с 1906 г. был сослан); 5-го во время налета на квартиру раввина налетчики требовали его выдачи для расстрела. Старика раввина, однако, удалось спасти тем, что во все время обыска его водили позади обыски,

вающих. Если бы хоть один из них повернул обратно в пройденную уже комнату, старик погиб бы; благодаря „круговому“ расположению квартиры хитрость удалась, равнин найден не был; 7-го на Васильковской убиты были три еврея, рискнувшие выйти на улицу; 7-го же в еврейской больнице, в хирургическом отделении, где лежали привезенные из Фастова, после тамошнего погрома раненные, ворвавшиеся громилы перекололи штыками лежавших на койках, прикончив 15 человек (остальные отделались новыми ранениями), изнасиловали докторшу-еврейку; после этого ушли к смотрителю больницы на квартиру „отдыхать“, причем некоторые из погромщиков беседовали с дочерью смотрителя, изысканнейшим порядком по французски, и играли на рояли похоронный марш Шопена „в память убиенных“. На Лукьяновке, где стояли преображенцы, ротный кашевар, „примкнувший“ к наряду, производившему обыски — (как он говорил „из озорства“) выпустил целую обойму в погреб, в котором укрывалось несколько еврейских семей: двух убил, несколько ранил. Но все же случаи были именно „случаями“ массовых избиений, подобных тем, которыми отмечен был путь Добармии по еврейским местечкам Украины — не наблюдалось. Шел по „техническому выражению“ добармейцев — „тихий погром“. Сами солдаты объяснили это тем, что „настоящий погром“ чьим то распоряжением (чьим именно они толково разъяснить не могли) отложен, а пока они только взимают контрибуцию „Торопиться некуда — не уйдут“.

В этой короткой, приговором звучащей фразе был клоч и „пытке страхом“, как удачно назвал в одной из погромных статей своих в „Киевлянин“ Шульгин то, что нависло в октябрьские дни над еврейскими кварталами. Это ежечасное ожидание погрома было мучительнее, пожалуй, погрома действительного. Каждую ночь — призрак насилия и смерти вставал над городом. И, день ото дня, он становился реальнее, так как день ото дня нарастала и ширилась погромная агитация. Не только на базарах и перекрестках, но и на столбах газет.

Сигнал к „еврейской травле“ подали „Вечерние Огни“, уличная газетка пинично-желтого типа. Уже 6-го октября, в воскресенье, она дебютировала статьей „выстрелы в спину“, в которой, между прочим, говорилось:

„Легко себе представить... с каким восторгом живописует большевистская пресса коммунистические симпатии Киевского населения, провожавшего и встречавшего добровольцев пулеметной стрельбой, бомбами из окон, кипятком и серной кислотой.

„Мы, пережившие здесь немногие часы большевистской победы, видели и знаем, кто именно стрелял в добровольцев, бросил в них бомбы и обливал отходящих кипятком. Мы знаем, что это было не Киевское население, а только его часть. Мы знаем, что вместе с добровольческой армией на левой берег Днепра ушли все русские, без различия классов и состояния... И эти два дня русское население Киева оказалось спянным так, как может быть оно не было спяно никогда. И, конечно, это не оно обстреливало с крыш и балконов наши героические русские войска...

... „Не во всей даже Киевской печати найдется достаточно мужества, чтобы сказать, кто именно стрелял в добровольцев. Вопрос об отношении большей части еврейского населения к Советской власти и к делу возрождения России окружен своего рода либеральным табу, нарушение которого ведет за собою немедленный вопль к погромной агитации...

... Мы приводим целый ряд данных, основанных на официальных источниках. Эти данные говорят сами за себя и комментировать их не приходится. Тем господам, которым угодно будет попрекнуть нас в погромной агитации, мы ответим: погромную агитацию создаем не мы. Погромы вызываются поведением наиболее активной части еврейского населения — еврейской молодежью, на три четверти состоящей из коммунистов. Но мы считаем бесчестным... систематическое замалчивание самого наболевшего вопроса русской революции“...

„Ряд данных“, о которых говорит газета, заключались в перечне домов, из которых будто бы производилась стрельба по русским войскам. Перечень этот в последующем пополнялся в каждом очередном № Вечерних Огней.

Из дома № 25 по Лютеранской стреляли по войскам коммунисты — врач-венеролог Гублер и Бродский. Оба они ушли с большевиками. Из дома № 18 по Крещатику стреляли с крыши из пулемета. Четыре еврея и один русский были сняты с крыши и расстреляны. На Бессарабке две молоденькие еврейки и одна русская обстреливали наши войска из пулеметов. Девушки были сняты с крыши, их тут же расстреляли. На Фундулевской улице вечером 1 октября три еврея набросились на проходившего полковника и стали его избивать и срывать погоны. Проходившей мимо частью полковник был освобожден, а евреи расстреляны. Расстреляны три еврея, стрелявшие из дома № 90 по Столыпинской. И т. д., и т. д.

Как и следовало ожидать, „Вечерние Огни“ были поддержаны традиционным, погромным „Киевлянином“. В первом же № его, выпущенном после возвращения добровольцев (№ 35, 6/х), было изображено:

„Большевикам... усердно содействовало местное еврейское население, открывшее беспорядочную стрельбу по отходящим добровольческим частям. Особенно активное участие принимали выпущенные при вступлении в город большевиками из тюрьмы свыше 1.000 коммунистов, а также боевые организации еврейских партий, так называемая самооборона, имевшая в своем распоряжении пулеметы и ручные гранаты... При вступлении обратно в Киев... поймано и расстреляно множество шпионов, а также коммунистов, в том числе еврей, стрелявший из пулемета с Никольской церкви, убивший 15 офицеров, врач-венеролог еврей Грубер... две еврейки, сообщавшие по тайному телефону, установленному на крыше дома, сведения о передвижениях добровольческих частей, и десятки других евреев и евреек, пойманных с пулеметами и ручными бомбами...

... Благодаря массовому участию евреев в наступлении на Киев, а также благодаря деятельной поддержке красных со стороны местного еврейского населения, зарегистрированным возмутительным случаям стрельбы из засады и

разным видам шпионажа, среди христианского населения царит с трудом сдерживаемое властями негодование“...

Шульгин, политический погромщик, в отличие от мелких ворюшек „Вечерних Огней“, естественно, воздержался от излишних точных дат, цифровых данных, и тем паче адресов, дабы отрезать всякие пути к опровержению. Не случайно и ссылки его сделаны все на... расстрелянных. „Вечерние Огни“ были менее осторожны „подставились“ под опровержения. „Киевская Жизнь“ предприняла специальное обследование всех „документально-установленных“ „Огнями“ случаев стрельбы: все они, до одного, оказались вымышленными начисто.

Так например, в домах на углу Тургеневской и Павловской, из окон которых по заверению В. О. „местные евреи дали серную кислоту, но к счастью попали лишь на лошадей, причинив им ожога“, евреев-жильцов не оказалось вовсе, зато оказалось, что в одном из этих домов во время боев за город, был расквартирован штаб добровольческого полка. Или: „на Фундуклеевской, из дома № 19 — стреляли 8 октября по наступающим добровольческим частям“. (В. О.). При проверке оказалось, что 3-го, против указанного дома стояло добровольческое орудие, а во дворе дома находился офицерский отряд. Или: по доносу „Вечерних Огней“ — с 4-го этажа дома № 32 по Фундуклеевской велась стрельба по добровольцам, причем стрелявшие были перебиты выстрелами в окна, а в занятой ими квартире взяты два пулемета. Обследование установило, что стрельбы никакой не было, да и быть не могло, так как на крыше названного дома находился добровольческий наблюдательный пост, а пулемет, хотя и был, но стоял не в четвертом этаже, а в воротах и принадлежал тем же добровольцам.

К таким же результатам привело и официальное расследование, произведенное специальной, назначенной генералом Драгомировым, комиссией, под председательством сенатора Гуллева.

Количество „фактов“, подлежащих ее расследованию, было чрезвычайно велико: с легкой руки „Огней“, город был полон слухами... нет, достовернейшими рассказами достовернейших очевидцев о нападениях евреев на добровольцев. В обывательском кругу рассказы эти звучали убежденно и непоколебимо твердо, несмотря на свой подчас слишком даже откровенно-фантастический колорит. Так обыскивавший наш участок Пушкинской улицы пехотный, пожилой уже, капитан почтеннейшей наружности клятвенно заверял меня, что он лично, будучи в составе офицерской роты, попал при отступлении из Киева, на Столыпинской под перекрестный огонь еврейских пулеметов: из 400 офицеров спаслись не больше 80-ти. Вторично был он под еврейским обстрелом 5-го октября; стреляли с колокольни Никольской церкви. Поднявшись с другими офицерами и солдатами на колокольню, он нашел там „перодетую жидавку, несколько жидов и старого 60-летнего жида“, стрелявших из пулемета. Всех „жидов“, кроме старого они сбросили с колокольни, а старика нагайками погнали в комендантское. По дороге встретили отставного полковника лет 80, белый, как лунь, спрашивает: „Куда вы? охота

с этойкой мразью таскаться". Вынул из кармана револьвер и выпалил еврея прямо в лоб. Так мы и бросили его на улице.

При рассказе присутствовала, в числе прочих, прислуга хозяйки квартиры, в которой я жил, украинка, ярая антисемитка, как большинство украинских крестьянок правобережья. По мере того, как разгорался в своем повествовании рассказчик, разгоралась и она, и едва он кончил, она заявила, в чрезвычайном волнении, захлебываясь словами и крестясь в подтверждение каждой фразы, что и „наши Пушкинские жида“ стреляли тоже, что она собственными глазами видела, как из третьего этажа того дома, что насупротив нас, две еврейки и еврей, молоденький такой, рыжий, бородака заветками стреляли из пулемета и по офицерам и по людям. Ложь была очевидна уже по одному тому, что женщина эта со всем семейством моих хозяев просидела без вылазки в подвале все эти дни и физически не могла видеть ничего, что происходило на улице, тем более, что дом, о котором рассказывала она, можно было видеть только из моих окон, а моя комната была на замке, когда я уходил из дому, при мне же она ни разу не появлялась. Стрельбы, конечно, не было никакой и быть не могло, так как дом был сплошь заселен богатейшей еврейской буржуазией. Весь рассказ был неправдоподобен до такой меры, что даже сам капитан не придал ни малейшего значения этому доносу, но рассказчица говорила так искренно, так взволнованно, так „клятвою“, что кажется, если бы ее пытать стали, она и под пыткой показала бы тоже самое. Воистину она „видела“ в меру своей ненависти к евреям.

Нужно сказать, не все офицеры оказывались столь благоразумными, как Пушкинский капитан. Обычно, они охотно отзывались на доносы такого рода и немедленно предпринимали по данному адресу „обследования“, заканчивавшиеся, если не арестами, то во всяком случае грабежом. Проходя в эти дни по улицам, постоянно приходилось наткнуться на сцены таких по случайному предложению предпринятых обысков. Так, 5-го, на Терещенковской я застал огромную толпу, сгрудившуюся вокруг отряда солдат. Какой то взъерошенный, очень обязательского вида господин, ерзая возбужденными глазами по толпе, рассказывал, как еврей, живущий во 2-м этаже особняка, против которого стояла толпа, выдал большевикам живущую в том же доме семью денкинского контр-разведчика; большевики, будто бы, вырезали всю семью. Не дослушав, офицер отдал команду, солдаты рассыпались, окружая дом, толпа отжалась к решетке сквера. Парадная дверь оказалась заперта; на удары прикладом никто не отзывался. Двое солдат, закинув винтовки за спину, полезли по выступам причудливо облицованной стены на балкон, перекинулись через решетку и проникли внутрь дома. Через несколько минут входная дверь распахнулась, дожидавшиеся на мостовой солдаты ворвались на лестницу. Толпа, затаив дыхание, ждала: вот-вот с балкона метнется „жидовское тело“. Но вместо этого, на балкон вышел офицер, в сопровождении пожилой, в шелковом платье дамы и, перегнувшись через перила, крикнул: „а где этот сукин рассказчик?“ Солдаты повернули к толпе, но рассказчика и след простыл.

Оказалось, что в особняке квартировала некая весьма почтенная на добровольческий вес генеральша, и о еврейх в доме не было помину.

Это вопиющее несоответствие между „рассказом“ и „показом“ отразилось чрезвычайно резко на „работах“ комиссии сенатора Гуллева. Обывательских доносов, циркулировавших по городу, было, как я сказал, немомверное количество. Но когда комиссия попыталась документально обосновать их, вызывая рассказчиков „очевидцев“ свидетелями, то эффект получился совершенно неожиданный: свидетели, словно сговорившись, не являлись на вызов. Гуллев попытался выйти из положения командировкой чинов комиссии на квартиры „очевидцев“ для опроса их на месте, но и это не дало желаемых результатов. „Очевидцы“ либо отказывались напрямик от ранее сделанных заявлений, либо дополняли их такими фантастическими деталями, что нелепость доноса становилась очевидной даже для гулевских чиновников. Так, между прочим, ликвидирован был донос и украинки-прислуги, о котором упоминалось выше. Она подала заявление сенатору, но свидетели, на которых она ссылалась (квартирная хозяйка моя и другие), ее рассказ не подтвердили.

Характерно, что уклонилось от дачи показаний не только гражданское население, которое можно было, так или иначе, заподозрить в боязни „большевистской мести“, но и военные чины самой же Добармии. В связи с этим, главноначальствующим был даже издан 29 октября следующий приказ:

„В интересах армии, для выяснения лиц, проявивших к ней враждебное отношение в дни 1—5 октября, мною учреждена комиссия из опытных, судебных деятелей под председательством сенатора Гуллева“.

„В то время, когда в эту комиссию начал поступать значительный материал от лиц, не принадлежащих к составу армии, офицеры войсковых частей и управлений, не исключая и начальствующих лиц продолжают высказывать недоверие означенной комиссии, и до сего времени, по вызову сенатора Гуллева, ни один из офицеров не прибыл в комиссию для снятия с него показаний, что задерживает производство расследования и отдалает время принятия мер против повторения подобных случаев в будущем.

„Приказываю:

1) „Всем начальствующим лицам оказывать комиссии сенатора Гуллева полное содействие и немедленно командировать для дачи показаний тех офицеров, которые указаны сенатором Гулевым.

2) „Всем офицерам, которые были сами свидетелями проявления враждебного отношения со стороны местных жителей к войскам или отдельным частям армии, немедленно прибыть в комиссию сен. Гуллева и дать свои показания. Каждый военнотружущий обязан помочь властям в выяснении означенных обстоятельств, а потому уклонение от сего буду рассматривать, как нарушение воинского долга.

3) Офицеров, которые не выполнят сего приказа до 10 ноября, привлечь к ответственности по суду, как за неисполнение приказа, лично ими полученного.

4) Сен. Гуллеву доставить безотлагательно списки всех офицеров, им вызванных до сего дня, с указанием части, в коей они числятся, со справкой, куда направлены повестки с вызовом*.

Не знаю, в какой мере подействовал этот генеральский нажим в смысле явки офицеров к Гуллеву. Но знаю, что на результатах работ комиссии не отразился ничто. Комиссией, даже при столь сильном „содействии“ не удалось установить и опубликовать буквально ни одного факта „стрельбы евреев по войскам“.

Конечно, на настроения горожан и войск эта доказанность нелепости слухов нисколько не влияла. Пожалуй даже напротив: неподтверждение официальными властями ходивших по городу слухов истолковывалось солдатами, как результат подкупа евреями чиновников. Они шли даже дальше. Когда опубликованы были приказы Бредова, Драгомирова, а затем и самого Деникина о недопустимости грабежей, не только солдаты, но, подчас и офицеры, с нескрываемым презрением говорили, что „начальство продано жидам“, что Бредов получил 40 тысяч царскими, а Драгомиров миллион за телеграмму Деникину с просьбой отдать строгий приказ против грабителей. „Ходили жида и к Антонию“, рассказывали мне солдаты, „но тот денег не взял; говорят, пусть раньше все ваши уйдут из чрезвычай и Советов, тогда я прокляну тех, кто громит, а до этого анафемствовать, по канону и писанию святых отцов не имею права“.

Надо отдать должное Киевскому официальному еврейству, оно сделало все, чтобы дать Антонию это „право анафемствовать“ погромщиков. Еще в первые дни деникинщины, образовавшийся поистине не за страх, а за совесть, „еврейский комитет содействия возрождению России“, опубликовал декларацию, которая с чрезвычайной, на мой личный взгляд, убедительностью излагала те идеологические и материальные предпосылки, которыми определялась для подавляющего, во всяком случае, большинства еврейской буржуазии искренняя поддержка добровольцев против большевиков.

„Словно смерть, прошел большевизм по всей России, говорится в этой декларации. Он сразу подчинил себе центральную коренную Россию с ее чисто великорусским населением. Здесь большевики почти не встретили сопротивления. Но с чрезвычайным трудом и лишь на короткое время овладел большевизм нашим краем, с его особыми условиями деревни, с городами и местечками бывшей черты оседлости, населенными в большинстве евреями. Здесь большевики не могли пустить корней, огромное большинство еврейского населения торгово-промышленное по своему составу, по своим интересам, по духу своему чуждо и враждебно коммунистическим экспериментам. Оно нуждается в правовом порядке в свободе для торговой и промышленной инициативы“...

Далее указывалось, как тяжело отразились на еврействе мероприятия Советской власти по социализации и национализации торговли и т. п. „Часть еврейской интеллигенции, отдельные рабочие попали в ряды советской бюрократии. Перед огромным же большинством народа раскрылась бездна разорения и обнищания... В условиях Советского режима еврейство России

стало разлагаться и распадаться... Свержение большевиков стало непосредственным национальным интересом евреев... С душевным волнением, с трепетной надеждой следили евреи за успехами армии, борющейся с большевиками. Еврейское население России кровно заинтересовано в победе начал государственности и свободы. Государственное единство и полнота национального существования всех народов в России это необходимое условие и для нормальной жизни евреев... Это стремление живет в нас и ничем не может быть убито. Ничем, даже погромами и насилиями, пятнающими великую борьбу за освобождение России от большевиков. Через преследования и пытки, сквозь клевету и гнусную ложь пронесем мы это стремление возродить страну, в которой права гражданства мы приобрели веками труда, страданий и горя“.

„Еврейский Комитет содействия возрождению России“ обращается поэтому ко всему еврейскому населению нашего края с призывом осознать своим гражданские обязанности и собрать все свои силы для поддержки творческих элементов страны в их борьбе за возрождение России“.

В совершенном созвучии с этой декларацией Совет Киевской Еврейской общины опубликовал 10 октября в ответ на погромную агитацию, нижеследующую резолюцию:

„Подводя общий итог всему пережитому в эти скорбные дни, Совет К. О., с чувством глубокого негодования констатирует, что разгром и насилие разразились над головой совершенно неповинных людей только потому, что они евреи“. (Далее следует цензурный пропуск)... „что под гнетом большевиков раздавлено и разорено 90 процентов еврейского населения, еврейские заводчики, фабриканты, крупные и мелкие торговцы, посредники, ремесленники. Большевики, и главным образом еврей-большевики разрушили национальные еврейские учреждения, разогнали еврейские общины, воздвигли целый ряд гонений против еврейских общественных деятелей... Обвинять весь еврейский народ за участие евреев в большевизме так же нелепо, как обвинять весь русский народ за участие русских в большевизме, и что требовать от еврейского народа отозвания Троцкого и др. евреев-большевиков так же бессмысленно, как и требовать от русского народа отозвания Ленина, Дунаевского, Горького, Пятакова и сотен тысяч русских красноармейцев“.

„Приветствуя предпринятые в этом отношении первые шаги со стороны властей, Совет Общины с душевным волнением констатирует, что в настоящее время не прекращаются издевательства и насилие над евреями на улицах города, особенно на окраинах, что хождение по улицам и теперь еще сопряжено для евреев нередко с опасностью для жизни, и что при таких условиях весьма естественным является среди еврейского населения крайне нервное, тревожное настроение и постоянный страх за жизнь, здоровье, достоинство“.

„Совет Общины с глубоким прискорбием констатирует, что, благодаря указанным выше печальным явлениям, вызывающим в еврейской среде душевную тревогу и беспокойство, широкие слои еврейского населения лишены возможности проявить должную активность в общей работе по государствен-

ному строительству и восстановлению распатанных устоев экономической жизни".

Этим „официальным“, так сказать, заявлениям еврейства в полной мере соответствовали и выступления многочисленных еврейских публицистов Киева. Разница была, пожалуй, лишь в том, что в заявлениях официальных было, как это ни покажется странным, больше достоинства, чем в „декларациях“ частных представителей еврейства. Иные публицисты дошли в своем усердии защиты еврейства до прямого „холопства“...

Галант в „Киевском Эхо" № 40, 12/х в ответ на требование Шульгинского „Киевлянина“, чтобы евреи отреклись публично от большевизма, со всею готовностью заявил, что за этим дело не станет; и в доказательство привел справку: „Петербургская Еврейская Община еще за два месяца до октябрьского переворота публично отреклась от Нахаммеса, Зиновьева и других ренегатов, изменивших вере отцов и своей нации и поворачивших бывших своих единоплеменников“.

„Я, еврей, не имею другой родины, кроме России, где я родился и где похоронены целые поколения моих предков“, писал в той же газете В. Финк. „Они и я, мы были всегда гонимы здесь, мы всегда жили между страхом и молитвой, но я не имею другой родины. И я люблю ее, потому что она моя родина. Это глупое и бестолковое объяснение, но я не знаю другого. Я люблю ее так, как, вероятно, горбуны и калеки любят жизнь: изуродованной, больной, тяжелой, безрадостною любовью, любовью без улыбки, любовью людей, которые хотят жить просто и только потому, что они живы...“

„Я знаю только, что нет жертвы, которой не стоило бы воссоздание России“...

И если он, Финк, протестует против погромов, то отнюдь не как еврей: нет, нет, исключительно как „гражданин России“. И думы его „не о муках еврейства, а о поругании России“...

Но рекорд... я не побоюсь сказать: холопства — побил в данном вопросе И. Эренбург.

„Научились ли евреи чему-нибудь в эти (погромные) ночи? — отвечает он, в „Киевской Жизни" ¹⁾ на сформулированный выше Шульгиным в „Киевлянин" вопрос. „Да, еще сильнее, еще мучительнее научился я любить Россию. О, какая это трудная и прекрасная наука. Любить, любить во что-бы то ни стало... Я благословляю Россию, порою жестокую и темную, вичую и неприятную. Благословляю ее некорящие груди и плетку в руке“...

„Есть оскорбления, трудно забываемые, и мне тяжело вспоминать рыжий сапог, бывший меня по лицу. В первый раз это был сапог городского изловившего меня „за революцию“, во второй раз красноармеец избил меня за „контр-революцию“. Это был сапог того, кто мнитса мне Мессией. Я не потерял веры, я не разлюбил“...

¹⁾ Статья: „О чем думает „жид““.

И в эти ночи „пытка страхом“ была для Эренбурга „шире и страшнее, чем думает Шулгин. Не только страх за тех, кого громили, но и за тех, кто грошил. Не только за часть евреев, но и за целое, Россию... Этот маленький трехцветный флажок перед моими окнами говорит о том, что вновь открыт для жаждущих источник русской культуры, питавший все племена нашей родины... В эти ночи я радовался взятию Киева и Орла, и я томился страхом, ибо там, где есть столько ненависти и мести, еще нет полного исцеления. Меня пытали страхом не только за еврейских детей, но и за великое русское дело“...

„И теперь я хочу обратиться к тем евреям, у которых, как у меня, нет другой родины, кроме России, которые все хорошее и плохое получили от нее, с призывом пронести сквозь эти ночи светильники любви. Чем труднее любовь, тем выше она, и чем сильнее будем мы любить нашу Россию, тем скорее, омытое кровью и слезами, блеснет под рубищами ее святое, любовь источающее сердце“...

На фоне шедшего в городе „тихого погрома“ цитированные выше строки подкрепленные еще и другими, тоже „исходившими кровью сердца по трехцветному флажку“ статьями Эренбурга, появившимися в те же дни, вызвали гадливое чувство даже у самых невзыскательных. Обедая в ресторане в день появления этой статьи, я слышал, как издевалась над ней компания офицеров: С „Недоросля“ списал, плут. Как это у него: „жалею маменьку, она так устала, колота папеньку“ — „жалею добармию, она так устала, колота жиденят“... А этого, Митрофана колотили, колотили, все мало: вот живучая „нация“.

Гневно отозвался в „Жизни“ на статью Эренбурга С. Марголин, единственный, к чести его, еврей, который в те дни решился заговорить по-еврейски.

„Мы слышали проклятия русскому народу за „плетку“ и „сапог“ от Герцена и Чаадаева. И вдруг благословление, приятие, оправдание плетки от еврея, поэта Эренбурга... В эти дни еврей Эренбург забывает обо всем на свете, кроме любви в России, любви во что бы то ни стало, хотя это от психологии раба, но вовсе не от психологии сына великого народа и гордой страны“...

Именно так и приняли психологию Эренбурга даже добровольческие офицеры...

* * *

Такого типа еврейские присяги на верность трехцветному флагу, естественно, меньше всего способны были улучшить положение еврейства. Прежде всего, несмотря на явную искренность чувства говоривших и писавших, на логичность их аргументации, им определенно не верили. От их уверений в любви затыкали уши еще крепче, пожалуй, чем от воплей насилюемых. И не одни „чины Добармии“, бросавшие, как это было в Киеве и других местах, на землю хлеб-соль, подносимую евреями при въезде „освободителей“, но и „русское общество“ Деникинских владений в его целом.

Конечно, совсем не реагировать на погромы оно не могло. К протесту обязывала традиция либеральной русской общественности. Но в каких формах выражался на Деникинской Украине этот „традиционный“ протест...

Характерен тот факт, что первой общественной организацией, откликнувшейся в Киеве на погромы, было... Религиозно-философское общество, заклевывшее все углы улиц своими воззваниями к „братьям христианам“.

В воззвании этом общество слезливо печаловалось о том, что снова попирается правда божественная, снова на земле нашей льется кровь человеческая, стоны и слезы людские снова терзают слух наш и доходят до господа бога. По городам, селам и деревням страны нашей кровавой волной разливаются еврейские погромы. Убивают стариков, насилюют и убивают женщин, не жалеют даже маленьких грудных детей, детей, которых так любил и благославлял Христос...

„Кто грабит? Кто убивает? Кто жестокосердствует?“

.....„Страшно сказать: дела сатанинские, дела звериные совершают христиане“...

Винновыми в этом, по странной логике Киевских религиозных философов, оказывались, однако, никто другие, как... большевики. „Кровавая мировая война родила большевиков. Кровавый туман большевизма создал еврейские погромы. Кровавый поток погромов несет анархию и разруху нашей жизни. А мы ведь так устали“.

И кончается воззвание:

„Братья христиане, братья граждане. Все чистое и святое, что только есть в душе человеческой: и бог, и совесть, и родина, и свобода, и честь, и достоинство, и любовь, и правда, и колокольный звон храмов наших... все, все говорит нам:

„Довольно крови. Довольно погромов. К мирной работе“.

Словом: погромили и будет: пора и честь знать.

.....
Только, когда уличные мальчишки закончили уже срывание вышпеститрованных воззваний с заборов, начали расклеивать на опроставшихся места „коллективное воззвание общественных организаций города Киева“. Оно отличалось от религиозно-философского тем лишь, что то же содержание изложено было в нем без „колокольного звона“, сухо, канцелярским языком. Да еще тем, пожалуй, что отпечатано оно было крупным шрифтом и на столь плотной бумаге, что господам офицерам, при срывании оных афиш со стен приходилось, зачастую, срезать их штыками.

Политические партии еще менее торопились высказаться. Меншевики и с-ры от гласных выступлений вообще воздержались, если не считать городского голову, с-р. Рябцова, заявившего на столбцах „Киевской жизни“, что он „допускает, что евреи стреляли из окон, хотя доказанных фактов он еще не видит“, что „бессмысленно было бы отрицать участие некоторых евреев в большевистских войсках и учреждениях“ и что „евреев много среди большевиков, хотя это конечно, не снимает с власти „обязанности оградить мирное население от насилий, но не надо забывать, что мы живем в смертное время“... Кадеты лишь в ноябре удосужились на Харьковской Конференции своей официально подать голос специальной резолюцией. В ней заявлялось,

что „происходящие погромы представляются недопустимыми, не только по соображениям человечности, но и с точки зрения того важного дела, которому служит Добродетель...“

„Совещание признает, что раскаленная атмосфера созданная большевизмом... является одной из основных причин возобладания в массах темных инстинктов... Порожденное большевизмом моральное одичание вызвало также распространение еврейских погромов.“

„Установлена в ряде случаев и прямая зависимость еврейских погромов от подстрекательства большевистских агентов, стремящихся к дезорганизации тыла“.

„Сознательные и руководящие круги еврейства должны объявить беспощадную войну тем элементам еврейства, которые, активно участвуя в большевистском движении, творят преступное и злое дело.“

„Совещание выражает надежду, что те здоровые течения в русском еврействе, которые стремятся, вместе со всеми русскими гражданами, принять участие в освобождении России от большевиков, будут деятельно поддержаны широкими кругами еврейского населения“.

„Русское еврейство должно понять, что вне безусловного и безотговорочного признания и поддержки национальной диктатуры... нет спасения и что только твердый правопорядок, который стремится установить национальная власть, обеспечит надежную защиту всем гражданам, без различия национальности и веры“.

Это „отеческое наставление евреям над трупами погромленных (погромы, к тому времени, дикой волной шли уже по всей Украине); это указание, осторожное, правда, по кадетской традиции, на то, что широкие массы еврейства, „еще не стремятся со всеми русскими гражданами“ восстановить Единую Неделю, наконец, это „живание головой“ в сторону „большевистствующих евреев“, как нельзя лучше оттеняет основную мысль, как данной резолюции, так и вообще „общественных резолюций“ Деникинских либеральных кругов... Они все одинаково снимали с добровольческой армии всякую ответственность за погромы; виновными в погромах объявлялись, в первую очередь, большевики, а во вторую сами евреи...“

Особняком, в ряду общественных деятелей, оказался только Киевский Совет Профсоюзов, также выпустивший специальное воззвание по поводу погромов. Отметив „страшные дни... в которые... до Киева докатывается волна небывалых еврейских погромов, кровавых, жестоких и зверских, воззвание говорило:

„Теперь этот позор переживает и Киев. Пользуясь провокационными клеветническими наветами, свободно распространяемыми даже в печати, деморализованные солдаты-мародеры... среди бела дня врываются в дома, облагают еврейское население сотысячными контрибуциями, отнимают последнюю рубашку, чинят убийства и всевозможные издевательства“. Разъясняя в последующем причины антисемитизма, К. С. П. С. обращался „со страстным призывом ко всем ослепленным сплотиться в борьбе за сохранение всего, что принесла великая „февральская революция 1917 года“.

Как злился, увидев этот циркуляр, „Киевлянин“. „Сколько смелости нужно, писал он, в № 42, чтобы выступать... с этой открытой прокламацией в Киеве, который все еще в руках Добровольческой Армии. Во что нужно было выродиться К. С. П. С., чтобы после того разгрома, которому много жителей подвергнуто в Киеве большевиками в страшные дни 1—4 октября, сказать то, что сказано в циркуляре? И не страшны ли наши дни тем, что возможны подобные открытые выступления“.

Но голос профсоюзов прозвучал без отклика. Напротив того, либерально-Шульгинский лейт-мотив, в нудных перепевах повторялся во всех статьях Деникинской „свободной прессы“ в разного рода „интервью“, повторялся с большей или меньшей развязностью... поскольку газеты вообще касались погромных тем. А темам этим они, к слову сказать, отводили не слишком много места. Скучно и не к чему было бы восстанавливать эскизы „Объединения“, недомолвки „Киевского Эхо“, или злорадство „Промин“ по поводу еврейских присяг на верность. Правильно сказал обо всей местной интеллигенции и в частности о господах-писателях, тупивших свои перья о газетные гранки, пока волчанцы тупили свои шашки о головы еврейских матерей, некий „Старый журналист“ в „Жизни“.

„В чем выразилась“, спрашивал он „активная деятельность интеллигенции в дни погромов?..“ „Она... читала „Вечерние Огни“ и возмущалась погромной агитацией, возмущалась провокаторским списком еврейских предательств и невольно рекламировала этот провокаторский список“.

„Впрочем, это не все. Интеллигенция в то время, когда стоны и вопли носились по улицам Киева, когда проклятия срывались с уст людей, корчившихся в предсмертных судорогах, была занята еще одним важным,преважным делом: она искала идейного обоснования совершившимся ужасам... И она таки докопалась до того, без чего ни один жизненный факт ей непонятен, до идеи погромов и убийств, которой руководствовались грабители и убийцы с винтовками. И стало для них ясно, что глухою ночью, в охваченном паникой городе сторонники Учредительного Собрания только мстили евреям, в которых усматривали коммунистов и сторонников Советской власти...“

„Не заметили только вдохновенные интеллигенты, что в число коммунистов и сторонников советской власти попали исключительно достаточные евреи, и что преступность евреев определялась вещественными доказательствами исключительно ценными: деньгами, золотом, каракулевыми саками и т. п.“

„Если не считать этого маленького недосмотра, то надо признать, что интеллигентское искательство увенчалось полным успехом: идея погромов и убийств найдена, психология грабителей и убийц обнаружена“.

„Старый журналист“ пощадил интеллигенцию. Он мог бы указать факты более активного, более действительного участия интеллигентов в погромах. Наиболее ярким из таких фактов является постановление Исполнительного Комитета Временного управления Российского Общества Красного Креста от 30/X (за № 3530) — о снятии флага Красного креста с учреждений Комитета Помощи Погромленным. Тщетно доказывал Комитет помощи, что

„в нынешних условиях жестокой гражданской войны, на почве которой и выросли бедствия еврейских погромов, когда самые учреждения, уполномоченные и служащие, работающие для помощи погромленным, подвергаются постоянной опасности со стороны тех же кругов и лиц, которые учиняют погромы, только флаг Росс. Общ. Красного Креста может дать хоть какие-нибудь гарантии действительного и безопасного выполнения означенной миссии“. Красный Крест остался неумолимым. Флаг был снят, а следом за тем и самый Комитет Помощи погромленным был приведен к закрытию. „Общество“ осталось праздным зрителем этого пособничества погромщикам¹⁾.

Тем громче звучали на фоне этого смущенного бормотанья либералов, и покаянных стенаний еврейских публицистов погромные фанфары Шульгина. Он глумился и над интеллигенцией, и над евреями в ежедневных статьях своих в „Киевлянин“. Он был недоволен даже Эренбурггами. „Где те кающиеся евреи, которые бы говорили, что они сами виноваты в своих несчастиях? Я их что-то не вижу: у них всегда виновны или Плеве или Столыпин, или Крушеван, или Шульгин“. (Киевлянин, № 45)... „Виновность евреев“ в погромах была для него основной темой. Он с восторгом цитировал (уже приведенную мною в свое время) фразу Бриггса о дурных и хороших евреях: „некоторые плохие евреи создали несчастье, постигшее Россию“. Шульгин разъясняет: „под плохими евреями мы подразумеваем евреев, занимающихся политикой... От хороших мы желали бы, чтобы они убедили своих сыновей и братьев не заниматься политикой в России“. Что же касается погромов, то в апологии их он дошел, в конце концов, до трогательнейшего утверждения, что происходят еврейские погромы потому, что у нас, русских — женственные натуры. Невероятно? Вот текст. ...„печальные дела, которые называют погромами: когда людям затыкают рот, они начинают действовать кулаками... Англичане поступают наоборот: они и позволяют закрывать себе рта, а потому может быть не боксируют евреев. Конечно, это логичнее и справедливее и гуманнее, а главное, проще. Но вся-то беда в том, что у нас женственная натура. И когда на нас очень сильно кричат, то мы готовы признать все, что угодно, лишь бы евреи прекратили свой гвалт. Но в конце концов не выдерживаем и этой позиции и, потеряв терпение, устраиваем очередную „погромную истерику“. (Киевлянин, № 63). Быть может потому, что в Киеве „истерика“ эта слишком затянулась и, вопреки всякой невропатологии, носила в высшей мере планомерный и выдержанный характер, Шульгин в другой статье, в прямое противоречие себе самому, обосновал „тихий погром“ соображениями не только квартального, но и воспитательного порядка, дав ему ставшее крылатым определение: „пытка страхом“.

Вокстину эта была пытка страхом. И она тянулась неделями. Каждый раз, как доходили из уездов вести о педших там погромах, и в Киев вхо-

¹⁾ Надлежит отметить, что Комитет помощи погромленным был восстановлен немедленно по занятии Киева частями XII советской армии.

дили новые войска—еврейское население напряженно ожидало, что „тихий погром“ перейдет в погром бурный, „пытка“—в „казнь“. Но этого не последовало. Войска явственно „берегли“ евреев, как статью дохода. Успехи на фронте, занятие Орла и Ельца, движение к Туле создавало уверенность в том, что добровольцы прочно осели в Киеве, постоянными хозяевами. Но в основе психологии „войскового погрома“ всегда лежит сознание кратковременности владения данным пунктом: не случайно злейшие погромы бываю т всегда на отступлении, когда войска знают, что им больше в этой местности не бывать, и, стало быть, все, что останется в ней, уйдет из их рук навсегда, безвозвратно. Именно этот момент, а не озлобленность неуспехом, не месть зовет к погромам на отступлении. И поскольку, в те дни, добровольцы менее всего думали об отступлении, не было основной предпосылки к подлинному погрому, он естественно протекал в „ти х и х ф о р м а х“. И, напротив того, во фронтовой полосе, погромы чинились проходившими с в о з ь деревни и местечки эшалоны, убежденными, что они здесь стоять не будут и вообще сюда не вернутся—неизменно и жестоко.

„Движение погромов“ очень точно отражает колебания фронта и движения эшалонов. В местностях „твердой оккупации и постоянных гарнизонов“ они бывали, обычно, по одному разу, принимая иногда (Белая церковь, Васильков, Смол а Россова, Степанцы, Чернобыль, Горностайполь, Богуслав) затяжной, как и в Киеве, характер. В прифронтовой, как общее правило, повторно. Больше всего было погромов: в Чернигове—2 раза, в Житомире—9 раз, в Радомысле—7 раз, в Фастове—6. Особой жестокостью отличались добровольческие погромы в Печоре (Подольск. губ.), где в один день было вырезано все еврейское население; в Тростянице (Подольск. губ.), где перебиты были все евреи-мужчины, расстрелянные из пулеметов над общей, заранее их же руками вырытой могиле; в Фастове, где зарегистрированы десятки случаев сжигания и погребения заживо; в Екатеринославе, где изнасиловано до 1000 женщин. В общем итоге за это время официально зарегистрировано было до 2000 погромов в 584 местах, что составляет в среднем по 4 погрома на каждое местечко, или город; при погромах этих, как видно из доклада представленного еврейской секцией при Ком. Партии (больш.) Украины—дала 100.000 убитых, до 200.000 раненых, десятки тысяч обещенных женщин и неподдающееся учету число вдов и сирот, разоренных и ограбленных до нитки. К моменту ухода добровольческой власти из Киева, в городе скопилось не менее 50.000 евреев беженцев ¹⁾).

С. Мстиславский.

¹⁾ Кошмарные подробности сообщали с мест раввины и преставители общин; в архив Киевской еврейской общины такие „рапорты о погромах“ очевидцев и пострадавших поступали сотнями. К сожалению, сделанные мною, в свое время, выписки из этих рапортов были затеряны при переносе их, а самый архив, в большой части своей, погиб во время польской оккупации.

Последние дни Врангелевщины.

(Жизнь в военном лагере Галлиполи 1920 — 1921 г.)

Мы высаживаемся на берег под мерные удары сарабана.

Трам-там-там-там-там...

Раздаются протяжные сигналы горнистов. Играют „сбор“.

Долгий путь окончился. Над нами реют не знамена победы... Сойдя с корабля, мы вступаем не на родимую землю... Далека Россия, где-то там она должна быть, за синим краем гор, что виднеются вдаль.

„Равняйся... смирно, равнение н-а пра-во“, — раздается резкая команда.

Мы выстраиваемся в длинную шеренгу.

Толстякий капитан Шуневский стоит на правом фланге, впереди первой шеренги. Его широкое английское пальто развевается от ветра, ему холодно и хочется спать.

Рано... всего только 5 часов утра.

Мы, солдаты, тоже продрогли и хотим спать.

„Смирно — равнение на пра-во“.

Дежурный офицер подходит быстрыми шагами к подходящему не спеша командиру и, взяв под козырек, отчетливо рапортует: „Честь имею доложить вашему длительству, что во вверенной мне сатарее все обстоит благополучно...“

Он говорит все быстрее и быстрее... его правая рука напряженно вытянута, и он старается держаться как можно прямее.

Хочется спать...

Хочется есть...

Пусто на душе... Чувствуется какое-то бесконечное одиночество.

Теперь уже все кончено. Россия навеки потеряна для нас.

Трам-там-там-там-там-там.

Дробит барабанище... снова раздается резкая команда

„Смирно“.

К чему теперь вся эта комедия?

К чему?

К нам обращается командир и начинает выкрикивать дрожащим и визгливым старческим голосом о том, что, согласно приказу верховного главнокомандующего, мы должны быть временно расположены „на отдых“ в окрестностях Галлиполи.

„Россия там, впереди.“

„Она нас ждет, как своих освободителей, от гнусного ига... Миллионы стонут и ждут вас... Орлы... отдыхайте после боев, набирайтесь сил... еще почует родимая земля мерную тяжесть ваших шагов, вы еще будете браться оружием, и над святым кремлем будет развеяться трехцветное поле... Да здравствует верховный главнокомандующий да здравствует русская армия... Ура“.

Нам приказывают кричать ура, и мы кричим, в этом крике не слышно бодрой удали, нет никакого подъема.

У каждого мысль, что слова эти теперь не нужны... и странно чужды на этой далекой, турецкой земле.

Нас конвоируют огромные черные сенегалы.

Губы у них выворочены и ярко пунцового цвета, точно они их окрасили краской.

Странно видеть этих детей природы во французских стальных шлемах, так неуклюже облегает желтое сукно их могучие тела...

Мы идем по-взводно, с винтовками на плечах... а сбоку мерно шагают наши верные конвоиры, вооруженные с головы до ног.

Кто кого ведет.

Они нас, или мы их?

Рядом со мною идет черный великан.

Я пытаюсь заговорить с ним по французски: „Куда вы нас ведете?“

Молчит.

Не может быть, чтобы он не понял моего вопроса, наверное боится своего начальства, не смеет говорить.

Нашу часть поместили за городом, в 2-х верстах, как раз напротив казарм черных стрелков. Нам отвели 2 огромных и длинных сарая, без крыши, и мы ждем, пока нам дадут материал, чтобы покрыть крышу.

Октябрь месяц, и мы очень страдаем от холода.

Вот уже неделя, как мы живем в этих сараях, а материала все не отпускают. Мы буквально замерзаем.

На галлиполийском полуострове зима очень суровая. Главным образом мучит страшный ветер. Он все рвет, леденит нас... мы взнемогаем от этого непрерывающегося ни на минуту, пронзительного ветра, и ужас в том, что мы бессильны что-нибудь предпринять, чтобы улучшить нашу судьбу. Нас кормят пойлом. Жидкая бурда, без мяса. Одни лишь непроваренные бобы; это называется обед. Хлеба полагается на человека $\frac{1}{2}$ фунта на день, конечно черного; вот и все.

Хорошо хоть то, что вчера привезли наконец доски, и мы для через два закончим крыши... все же лучше, чем чистое, беспредельное, звездное небо над головой. Крыша готова, окна мы прорубили, беда вся в том, что нет рам и стекол. Завесили пустые дыры одеялами, все же теплее.

Спим прямо на полу. Изю всех щелей дуют вихри, и крыша плохо помогает... когда идет дождь, то протекает. Вчера пришел из „чернокожих казарм“ наш унтер Антипов и стал восторженно всем рассказывать, „как

хорошо лопают черномазые обезьяны. Хранцы их кормят рисом и консервами; жрут так, что пудами на помойку выбрасывают объедки... Эхма! Не житье, а малина! Не то што у нас*.

Пустынное место, где мы живем.

Впереди угрюмый, холодный Дарданелльский пролив. За ним, вдали, темные контуры малоазийских гор, а на нашей стороне сплошная равнина, уходящая куда-то в бесконечную даль.

Нет тут наших зим, с их снежными метелями и заносами... нет глубоких сугробов... лишь непрерывные, пронзительные ветры, да ежедневные дожди говорят нам о том, что в этом краю зима. Холодно и угрюмо... и на душе у нас всех понуро и серо, так же, как окружающая нас природа. Дни тянутся однообразно и утомительно. В 6 часов утра трубач будит нас. Мы торопливо бежим к колодцу, находящемуся от нас на расстоянии $\frac{1}{4}$ версты, моемся и плескаемся в ледяной воде, потом бежим обратно в сарай, чтобы натянуть английские шинели, затынуться кушаком и „принять надлежащий воинский вид“. На это нам дается 10 минут, потом с такою же поспешностью мы выбегаем на „линейку“ и выстраиваемся в шеренгу. Впереди стоит первая батарея, за нами 2-ая... сбою-неизменный, толстенный Шуневский уже заботливым и строгим взглядом оглядывает фронт.

Наши соседи черные сенегалы проделывают ту же церемонию. У них горнисты играют сбор, они также начинают свой день, как и мы... Выходит „его превосходительство“.

„Смирно... равнение на ле-во.

„Господа-офицеры. Здорово, молодцы.

„Здравия желаю, ваше дительство.

Горнист играет на молитву и через минуту хор осипших от простуды голосов начинает уныло тянуть молитвы. По окончании начинается назначение на бесконечные наряды: командируют за вереском для походной кухни, посылают рыть ямы для солдатских „нужников“ за версту от казарм, для гигиены, других посылают с мешками для хлеба и круп в Галлиполи...

У всех наряды.

В 2 часа начинается учение, длинное, утомительное, совсем как там, на нашей далекой родине, когда нас держали в „Крымских“ казармах в Севастополе.

К 5 часам съезжают на обед, потом опять учение и караулы... и когда в 7 часов сигналист играет на „вечернюю“ молитву и наконец для нас наступает желанный отдых, мы бросаемся в своем сарае на одеяла, растеленные на полу, и погружаемся в тяжелый сон. Раздеваться нельзя... Слишком холодно... и так изо дня в день.

Спит батарея, растаянувшись длинными рядами и тесно прижавшись друг к другу. Холодно. Ветер вздымает прибитые над 'дырами одеяла, задувает свечу в разбитом фонаре, привешанном над дверью, все дрожат...

Я не сплю. Заели насекомые. Я шарю рукой под своим френчем и без всякого труда ловлю и давлю вшей. Сухой треск на ногте... На минуту

станет легче, потом снова начинается мучительный зуд и жжение и снова я отправляюсь на охоту.

Боже мой, сколько вшей, нет им счета!

Стонут ребята... разговаривают во сне... в испуге просыпаются, вскакивают... должно быть заели вши тоже...

Из сенегальской казармы раздается выстрел. Наверно часовой пристрелил сланьем обнаглевшего шакала.

Перед походной кухней стоит огромный хвост. „Повар“, Антон Парамонич, из вольнонаемных, в кожаной, засаленной куртке и грязном до отвращения фартуке, стоит на бочке, около „походной кухни“ на колесах и разливает пищу. Солдаты подходят по очереди. У каждого в руке медный „котелок“, все с жадностью смотрят, как разливает Антон Парамонич. Правильно ли отпускает, не слишком ли много, или мало... попадает ли в котелок горсточка бобов и маленький кусочек консервов (вот уже неделя, как французы стали отпускать нам в пищу корн-беф — мясные консервы).

„Нет, что ни говорите, а я уверен, что тут не без мошенничества“, говорит своему соседу какой-то солдатик из 2-ой батареи.

„Этот скот-повар нам вываливает в суп только половинку мяса, а остальную продает и сам трескает“.

Повар делает вид, что слишком занят раздачей и не слышит этих разговоров.

Дежурный по кухне с книжкой в руке отмечает фамилии получающих, „чтобы ребята не ловчили“. Дежурный по кухне веселый. Еще бы — ведь сегодня его праздник... он набил основательно „свое пузо“.

Хорошо дежурить по кухне!

Я возвращаюсь с котелком к себе в батарею... выглянуло солнце, и кругом стало не так серо и уныло. На чахлой растительности блестят дождевые капли, а вдали Дарданеллы покрылись белыми барашками.

У сенегалов тоже обед. Они сидят перед зданием казармы прямо на земле в кругу и едят. К ним сегодня привезли несколько подвод, груженных тушами. Должно быть, у них чудесный обед.

Я сижу на своем одеяле и думаю о родном доме. Мне вспоминается моя мать, любимая мать-старушка. Где она теперь, жива ли?

Напротив меня соседи делятся былыми военными подвигами.

„Вот, ребята, пошел я, значит, в разведку... а нас всего было, значит, 4 человека, я, да Мишка Петров, да еще двое парнишек...“

Тоска...

Какая ужасная насмешка судьбы.

Ребята рассказывают друг другу военные эпизоды и хвастаются...

Картины бесшабашного разгула и грабежа встают длинной вереницей перед моими глазами.

Грабежи крестьянских дворов.

Солдаты рубят пашками головы гусям и курам... бабы голосят... мужики угрожающе озираются по сторонам. На краю деревни горят хаты... Где-то вдали трещат пулеметы и бухают орудия...

Вот передо мною проносится другая картина.

Крестьянская изба. За столом сидит пьяный вахмистр и учиняет допрос молодому солдатику.

„Будешь отвечать, аль нет? — кричит вахмистр... будешь... у б...дъ...

Солдатык стоит перед столом. Его тело потрясает дрожь, он готов упасть от ужаса, но все-таки стоит прямо и держит руки по швам.

Перед вахмистром бутылка самогонки, и он почти всю ее уже опорожнил...

Я стою у окна и чувствую, что сейчас должно произойти что-то ужасное...

„Будешь говорить, сучий сын!

„Зачем заснул на посту, ежели тебя ставит твое прямое начальство“.

Вахмистр с грохотом опрокидывает табуретку и встает...

„Что стоишь, молчишь — ну?

Шатаясь он берет шомпол и начинает стегать им солдата по голове...

Раз... раз... из носа течет широким фонтаном кровь... Лоб рассечен.

Солдатык пытается закрыть лицо руками, но вахмистр все сильнее его бьет... Несчастный падает на пол и хрипит... Он весь в крови... кровь стекает струями по лицу на пол и образует лужу.

Вахмистр шатается и рычит.

„Выкинуть эту гнусь на мороз!“

В воздухе пахнет самогонкой и махорочным едким дымом.

У меня темнеет в глазах, и я в ужасе выбегаю из хаты, забыв о том, зачем меня послали к моему „начальству“...

И встает перед моими глазами другая картина: бесконечное снежное поле... Метелица... всю дорогу совсем замело...

Тянется бесконечный обоз. Мы замерзаем, бывают такие моменты, когда уже перестает греть всякая одежда.

Вдали канонада. Нас окружают красные.

Я верхом. У меня темнеет в глазах...

Непередаваемая слабость охватывает меня...

Знаю, что если упаду с лошади, то погибну... и все-таки вдруг все предметы становятся маленькими, величиною с точку, и начинают в бешеной огненной пляске скакать перед моими глазами... Канонада замедляется, делается абсолютная тишина... Простираю вперед руки и падаю в какую-то пропасть...

Открываю глаза и вижу, что лежу один в поле. Никого нет... Обоз скрылся. Мне совсем не холодно, даже жарко... Что-то стучит около моего уха... словно колесо о мерзлую дорогу... Кавказ... он перекидывает меня поперек седла и куда-то везет...

Потом опять вспоминается мать и родной дом, и все мое существо охватывает жгучая, мучительная тоска... бесконечно счастливая, прекрасная сказка... куда ты ушла от меня...

Я познакомился с чернокожим. Мы с ним стали большими друзьями. У него удивительно трудное имя, оно состоит сплошь из каких-то одних гор-танных звуков — „Га-ха-га-рла“. — Я болтаю с ним на ломаном французском

языке, и мы прекрасно друг друга понимаем. Гахагарла всякий раз, когда я прихожу к нему, кормит меня рисом и мясом и рассказывает о своей далекой родине — Сенегалии. У него там осталась жена, мать и сын. Когда он начинает рассказывать про себя, как его забрали проклятые французы из родной деревни, как были они всех негров бамбуковыми дубинками, а потом, сковав железными обручами, посадили на большой пловучий дом и увезли так далеко, у него на глазах выступают слезы...

И он верит все-таки, что вернется на родину, хотя французы их очень бьют и плохо с ними обращаются, верит потому, что у него, Га-ха-га-рла, есть очень сильный талисман из ракушек.

О нет... показать его мне он не может.

Тогда пропадет его чудесная сила.

Бедный Га-ха-га-рла.

Каждому человеку дан великий дар — это надежда.

Когда она уходит, тогда лучше снять со стойки винтовку и пустить себе пулю в рот.

Среди солдат своей батареи я подружился только с двумя. Это маленький калмык „Гузя“ и Петя Долин — вольноопределяющийся.

Когда у меня бывает табак я всегда делюсь с моими друзьями и они также со мною. У нас установилась своя маленькая коммуна, и мы строго соблюдаем все правила общности имущества.

По вечерам мы часто втроем выходим на дорогу, ведущую в Галиполи и Константинополь, садимся на придорожные камни и делимся своими думами и надеждами.

Мы прекрасно понимаем, что песенка белой армии спета, что вся муштра не что иное, как приказ французов и англичан утомлять постоянным тяжелым учением и плохим питанием войска, чтобы они не смогли взбунтоваться. Мы хорошо знаем, что все речи, с которыми к нам обращаются начальники, являются сплошной ложью. Трудно закрыть тонким слоем марли глаза — все равно будет просвечивать; также и тут.

У меня появились и враги. Я сам не знаю что сделал им и за что они стали меня ненавидеть.

Вольноопределяющиеся братья Колон из 2-ой батареи стали всякими способами меня преследовать.

В их ядовитых насмешках, в их служебных придирках ко мне, буквально во всех мелочах, они стараются мне показать свою ненависть. Два раза уже я стоял из-за них под винтовкой с полной выкладкой в „30 фунтов“. Однажды, когда я охранял на ночном посту „телефон“, раздался выстрел и мимо моего уха просвистала пуля. Я не видел, кто выстрелил, но я знал, что в меня стрелял один из братьев Колон.

Галиполи в последнюю мировую войну подвергался многократным бомбардировкам и поэтому нет там ни одного целого дома. Он весь разбит снарядами. Основная масса населения — это греки... в меньшем числе турки, арды и армяне. Несколько кофеен, немного лавченков, торгующих чем

угодно—вот и все. Между домами растут тощие кипарисы, пропыленные, обветренные. Красива бухточка.

Скорее это искусственная гавань, окаймленная гранитными плитами.

Как бы не волновался Дарданельский пролив, в бухточке вода всегда спокойна.

К медным кольцам гранитных плит привязаны рыбацьи лодки.

Тихо в бухте... Лодки даже не колыхнутся.

В самом городе размещено 2 полка.

В 7 верстах от Галлиполи, только в противоположную от нас сторону, весь корпус генерала Кутепова. Кутепов — самое главное лицо после Врангеля. Он заменяет в Галлиполи барона, который постоянно крейсирует на своей яхте „Лукул“. Говорят скоро к нам приезжает Врангель и будет выдавать каждому солдату по 1-ой турецкой лире и каждому офицеру по 2. Кутепов зверь. Его все ненавидят и боятся. Он устроил нечто в роде застенка, куда бросает солдат за малейшие проступки. Одного солдата Кутепов сам запер до смерти только за то, что тот повстречавшись с ним не встал во фронт. По приказу Кутепова, этим застенком управляет генерал Штейфон, правая рука Кутепова, такой же зверь.

Напротив застенка, в разбитом здании устроена гауптвахта. Всякий раз когда идешь мимо, через мрачные дыры и бесконечные щели полуразрушенного дома видно арестованных, их много там.

Режим самый суровый. Кружка воды и маленький кусочек черного хлеба... вот и все.

В первый раз я сидел на гауптвахте неделю, во второй 10 дней.

В застенке порют шомполами.

Быют до бесчувствия, до тех пор, пока тело человека не покрывается кровавыми ранами.

Замучил людей Кутепов.

Все боится дышать, громко говорить.

В Галлиполи он царь и бог. Еще бы, ведь он наместник верховного главнокомандующего, делает что хочет.

Ежедневно на заборе, близ штаба, вывешиваются приказы, один строже другого и Кутепов сам ходит по улицам и наблюдает за исполнением своих приказов.

Однажды мне довелось буквально наскочить на него.

Он шел быстрым и решительным шагом прямо на меня. У него коротко подстриженная борода и длинные усы. В руках хлыст. За ним на почтительном расстоянии 2 адъютанта.

Генерал остановился и поманил меня пальцем.

Я подошел.

„Отчего медленно идешь, когда приказывает идти начальство. Какой части. Не так отдаешь честь.“

Я приготовился уже немедленно отправиться в тюрьму, как вдруг раздалось оглушительное, разухабистое уханье. Кутепов вздрогнул, насторожился и очевидно забыл про меня.

Шумели за углом пьяные солдаты. Они ругались и пели песни.

Кутепов и адъютанты ринулись на место скандала.

Я юркнул в соседний переулок и побежал со всех ног.

Много солдат уже расстреляно по приказу „его превосходительства“.

Говорят их судили. Это означает, что был Шемякин суд.

Вчера расстреляли одного только за то, что он от голода продал свой хушак греку, и деньги проел... а про вину остальных так мы и не узнали. Краткое сообщение в приказе о казни без обозначения деликта...

Коротко и быстро.

Солдаты стали волноваться. „Это все Кутепов и его приживотни ору-
дуют“.

Он не хочет понять, этот плотный залоснившийся от „сытой жизни“ человек, что комедия уже окончена. Он не желает поразмыслить над тем, что он не в Крыму, не на 10-ти верстном в окружности фронте, а в Галлиполи, и что он такой же жалкий беженец, как и все мы. Кто же ему дал власть распоряжаться нашими жизнями? Во имя чего? Его карманов?

Когда я возвращаюсь из Галлиполи к себе в часть, я прохожу мимо русского кладбища; в первые 2—3 недели со дня нашего приезда на нем было всего 5—6 крестов. Через 2 месяца стало их больше сотни, виной этому: лихорадка, тиф, голод и Кутепов.

Я ненавижу белых. Они погубили мое здоровье, обилие мою душу помоями, не дали мне ничего, кроме бешеной ненависти к ним.

Галлиполи стал совсем русским городом.

Говорят здесь расположено до 20 тысяч белых войск и все вооружены.

Много орудий и пулеметов.

Французский гарнизон численно совсем не большой. Греческих войск тоже совсем мало. Немудрено, что иностранцы чувствуют себя словно на вулкане.

Пока особых недоразумений с иностранцами не возникает. Врангель приказал Кутепову держать части в „ежевых“, ну и держит.

Каждый день кого-нибудь порют шомполами, идут расстрелы.

Стонут солдаты. Стонут даже офицеры, кто не из числа штабных. Оборвались, изголодались на жиденькой водичке. По телу пошли отвратительные гнойные болячки... участилась эпидемия тифа и дезинтерии.

Преобразился турецкий городишко... не узнать его. Русские своими силами исправили много зданий, разбили сады, вымостили камнями улицы, и все-таки трудно сказать человеку, попавшему впервые в Галлиполи, что это город. Скорее приспособленные для жилья руины. Так в развалинах 2-х этажного здания разбитого снарядами, помещается чуть ли не пол роты. На ночь закутываются одеялами, загораживаются досками и так живут. Другая часть помещается уже в настоящих руинах. Неподалеку от французского кладбища стоит башня времен Янычар. Ее также прекрасно приспособили для жизни — и живут и не стонут.

Просто удивляешься до чего приспособлен русский человек.

Вчера к нам в часть приехали какие-то штатские, и командир приказал всех солдат собрать на лужайке. Когда мы разместились в кружок, один штатский обратился к нам с речью, в которой представил себя и своих товарищей, как корреспондентов „русской живой газеты“. Потом один стал информировать нас о положении стран всего мира, главным образом касался „русского вопроса“, при чем вся его речь сводилась к тому, что в России должен произойти уже окончательный переворот, что красные настолько слабы, что власть держится лишь по инерции. „Упустил мужик с горы телегу, она сама и покатилась, но лошадь ее не везет, так и в России“.— Закончил свою речь штатский. Потом встал другой корреспондент и стал нам рассказывать о том, как плохо живется русским в Константинополе, какая там ужасающая нужда, какие свирепствуют эпидемии среди русских беженцев и как плохо иностранцы относятся к ним. Свою речь он закончил тем, что умолял во имя спасения наших же жизней не просить отставки, не добиваться попасть на медицинскую комиссию и продолжать жить в Галлиполи, потому что только здесь рай. Наконец встал третий штатский и дрожащей истерической фистулой завопил:

„Привет вам до земли, герои-орлы,— единственные защитники и верные сыны своей поруганной родины. Да сгинет коммуния, погубившая родину!— Ура.

Командир быстро встал, окинул нас зверским взглядом, унтера очевидно поняли, что должен был означать этот взгляд, и стали угрожающе шипеть нам сзади: „кричите ура, сукины сыны!“—Мощное ура потрясло воздух. Штатские прослезились и полезли целоваться с генералом, который, прижимая сердце рукой, усиленно пытался что-то сказать, но ни штатские, ни „его превосходительство“ не могли никак понять друг друга... а кругом продолжало греметь мощное ура сотен голосов, поощряемых сзади грозными унтерами. Ура! Ура! Ура!

Хотелось всем есть и охватывала злость. Каждый думал о том, что из-за этих проквостов отложили обед чуть ли не на 2 часа, и каждый из нас ожидал с нетерпением, когда же окончится вся эта комедия. Корреспонденты стенной газеты остались обедать у командира... и поэтому повар выудил все мясо и гущу. Нам же досталась пустая водичка.

Устал я от этой жизни. Скучно и пудно... все опостыкло. Гузя и я мечтаем выйти по „чистой“ и вырваться из этого болота.

Среди солдат прошел слух, что через месяц в Галлиполи приходит английский пароход, который будет желающих русских отвозить в Австралию. Неужели это правда... Какое счастье!

Сегодня утром, когда я встал по сигналу, у меня закружилась голова, и я почувствовал страшную слабость во всем теле. Шатаюсь и вышел и встал в шеренгу. Все предметы вертятся перед глазами огненными точками... Должно быть я заболел и сильно.

В госпиталь меня отвел Гузя и Петя. Я пожал руки товарищам и просил их не забывать меня. Тяжело жить одному, но еще тяжелее одному

болеть... без друзей, без родных... Где ты, моя мать?.. Я не чувствовал бы себя таким бесконечно одиноким и заброшенным, как сейчас...

Кругом стонут больные... мечутся на койках... бедные, выброшенные случайные люди. Я закрыл глаза и заснул.

Под госпиталь отведена тентовая палатка. Койки. Чистое белье. Хорошо тут после той грязи, в которой все время живу. Пищу дают сносную, удвоенный паек. Я познакомился со старшим врачом. Его фамилия Кобецкий. Он держит себя очень надменно. У него борода раздвояна... густые усы и на близоруких глазах очки... в сущности это добрый малый. Не знаю, в силу каких причин он заделался старшим врачом „военного полевого госпиталя красного креста“, по своему образованию он всего только студент 3-го курса. Должно быть, за свое нахальство. Надо будет попросить Кобецкого меня отправить на комиссию. Хочу совсем уволиться со службы и уехать хоть в Австралию, хоть к чорту на рога. Говорят, там берут наших на заработки. Сестра несет ужи... Сосед... одолжите листочек курительной бумаги... выкурю после ужина...

В Галлиполи парад всем войскам. На яхте „Лукул“ прибыл „верховный главнокомандующий“ генерал Врангель. Преобразился городишко. Всюду вывешены флаги, штаб разукрашен гирляндами и трехцветными лентами. По всем углам вывешены отпечатанные на машинке приказы за подписью Кутепова, в которых предписывается „сегодня в пятницу к 2 часам дня всем частям явиться на военный плац для представления верховному вождю“.

Говорят, вечером будут раздавать деньги. Одну лиру солдатам и две офицерам.

Все русские находятся в волнении... Еще бы, ведь одна лира не шуточное дело. На нее можно купить „припасов“ и поджориться... ведь за четырех месячное пребывание на этом полуострове все сильно отоцали.

Приехал главнокомандующий...

Какое дело солдатам до него.

Заветная лира лишь ты можешь манить к себе измученного солдата.

С утра юнкера ходят патрулями по городу.

Они тщательно подчистились. Подзаштопали свои дыры, ремни у всех подтянуты. Сверкают на солнце штыки, должно быть всю ночь они их чистили на пролет. Даже французы и те как будто заинтересовались предстоящим торжеством, ведь скучно в Галлиполи;— все же хоть маленькое развлечение. У маяка, на краю обрыва поставлено небольшое горное орудие для салюта, когда Врангель начнет съезжать с „Лукула“ на берег.

Я вчера выписался из госпиталя и у меня в кармане медицинское свидетельство, освобождающее меня на пять дней от строя.

Документ этот дает мне право присутствовать на параде в простой толпе зрителей. Народ начинает уже понемногу стекаться к плацу. Идут греки, турки... пришли французские офицеры со своими „дамами“. За то нет ни одного сенегала.— Какое ему дело до белого генерала?.. Лучше он посидит свободную минуту на солнышке и, куря свою глиняную трубку, перенесется

мыслили в свою далекую и прекрасную родину, где живут его жены и дети, где журится дым его родного очага.

Бух. Бух. Бух.

Стреляет горное орудие, белое облачко медленно оседает на воду, все начинают торопиться. Многие бегут, чтобы не опоздать на парад: интересно увидеть человека, по чьей милости маршируют тысячи на этом проклятом полуострове. Вдали гремит оркестр. Вдоль улиц шпалерами стоят войска. По главным путям пропускают только „сильных мира сего“ и поэтому мне, чтобы попасть в плацу, приходится постоянно колесить и огибать закоулками. К шуму, говору, крикам, примешивается собачий лай и свистки бегущих к плацу мальчишек. Первому оркестру начинает вторить другой. Разнохарактерные мотивы переплетаются в диссонансе, долетают до уха какой-то фантастической какофонией. Вдруг музыка внезапно обрывается. Должно быть Врангель держит речь к войскам. Немного погода снова раздается гул голосов. Это кричат ура. Должно быть Врангель кончил говорить. Опять начинает играть музыка. Мне удается протиснуться в толпу, окружающую тесным кольцом плац. На поле стоят в каре войска. Врангель, Кутепов, четыре французских генерала и 2 английских офицера стоят перед войсками. На главнокомандующем надета черкесска. На его голове кубанка. Укая талия перетянута ремнем, окованным серебряными бляшками. Сбоку — изогнутая кубанка, вдетая в ножны из серебра. Врангель высокого роста, статен, держится очень прямо и надменно. Кутепов стоит сзади Врангеля. На нем серое офицерское пальто... генеральские золотые погоны и фуражка, сдвинутая на глаза... Французы о чем-то оживленно разговаривают с англичанами. Не слышно ничего из-за шума в толпе.

— „Здорово орлы!“ — вдруг кричит Врангель. „Что еще не закисли в этой дыре, не разучились стрелять?“

Он впился острым взглядом в лица людей и начал вдруг быстро наступать на фронт. Еще мгновение и он столкнется с шеренгой. Лица у солдат напряжены. Толпа с интересом ожидает, что будет... Не доходя пол-шага до фронта, Врангель вдруг круто поворачивает и идет вдоль фронта... идет словно знакомится с каждым солдатом, изучает его лицо, вот он подходит к какому-то офицеру, стоящему сбоку шеренги с обнаженной саблей, и также останавливается перед ним. Он что-то ему говорит, но ничего не слышно. Шум заглушает голоса. Неожиданно толпа вдруг слегка расступилась и кинематографический аппарат стал делать съемку. К нему быстро подбежали 2 офицера и замахали руками... Греки кинооператоры тотчас же подхватили свой треножник с ящиком и скрылись.

Ишь боится сукин сын, чтоб его не пристрелили.

Я обернулся.

За мною стояла группа солдат... Там, на этом парадном поле искусственно взвинчивались нервы, поднималось всякими артистическими приемами „надлежащее настроение“, а тут в этих безыскусственных и ничем не вызванных словах кипело подлинное настроение всей солдатской массы.

Войска стали дефилировать перед „главнокомандующим“, показывая свою „выправку“. Очевидно четырехмесячная голодовка дала себя знать. Много солдат попало в обморок и их утащили куда-то в толпу. Утаскивали поспешно, боясь, чтобы не произвело „неприятного впечатления“. Вновь гранул оркестр... и вновь полились крики „ура“, все выбились из сил, не только солдаты, дефилирующие перед своим „владыкой“ „фарсовым царьком“, но и мы, зрители.

Понемногу стали расходиться.

Кутепов окинул быстрым взглядом толпу, шепнул что-то „главнокомандующему“ и махнул носовым платком. Парад окончился. Четыре клеврета из матросов с „Лукула“, должно быть личный конвой, подхватили Врангеля на руки и понесли к автомобилю. Грануло ура. Это должно было означать, что „растроганная армия понесла своего обожаемого вождя на руках“.

Ту-ту-ту-ту... загудел автомобильный гудок. Кутепов уже не на руках, а пешком подошел к автомобилю и сел тоже. Народ раступился, и три автомобиля, в первом барон, во втором Кутепов и в последнем англичанин с французами, под крики ура поехали к пристани.

„Чтоб им лопнуть“ вдруг ясно и отчетливо кто-то крикнул в толпе. Марьевские офицеры—врангелевские гвардейцы нырнули поспешно на поиски и конечно никого не нашли.

* * *

Нас, человек 10 солдат, столпилось у водоема. Мы моем и полощем свое белье. Мыла нет и мы трем мокрым песком. На плоских прибрежных камнях мы бьем белье... и выжимаем воду. Группа сенегалов уже окончила свою стирку. Они сидят на корточках перед нами, — курят трубки и смеются над нашей стиркой. Еще бы, ведь они перед нами буржуи, у них мыла вдоволь. А нам каково, с песком вместо него? Мыло будут выдавать только через неделю, а до этого мой, как угодно. Да все равно трудно убить вшей холодной водой, не берет. День хороший. Ветер не дует так пронзительно и выглянуло даже солнце. Природа идет навстречу упавшему духом человеку, хочет словно приласкать, подбодрить его. Среди сенегалов сидит Гахагарла. Он лениво покуривает свою трубочку и смотрит жмурясь на солнце... поют птицы... Приближается конец зимы. Теперь на дворе не так уже сурово. Скоро не надо будет дрожать от сырости в долгие часы ученья, не надо будет стучать зубами от холода ночью в сарае, на полу или медленно коченеть от ледяного ветра с моря, под вой шакалов, которых так много в окрестностях Галлиполи. Месяца через два придет весна и станет совсем тепло. Братья Колон моют белье и громко издеваются над тем, как я стираю свою рубашку. Их громкий и ваглый смех заставляет прислушиваться. Старший Колон доходит до такого цинизма, что начинает критиковать мою наружность, все свои „замечания“ он подкрепляет бесстыдным ругательством.

Я спокойно вкладу свою скрученную рубашку на камень, подхожу вплотную к Колону и предлагаю ему замолчать. Колон доволен. Он забесил на-

конец меня. Напрасна моя просьба... поток ругательств все усиливается. Тогда я быстро делаю выпад кулаком по его переносице. От неожиданности и боли мой противник падает на песок. Сенегалы смеются. Громко хохочут и наши ребята... больше всех доволен Гузя: он тоже не любит Колона. Младший Колон в ярости набрасывается на меня. Он заступает за своего брата. Его правая рука стискивает мое горло. Он очень сильный. Я начинаю задыхаться, вдруг рука, сжимающая мое горло опускается. Младший Колон лежит на земле... Гахагарла стоит перед ним и громко смеется.

Вчера я опять ходил просить Кобецкого отправить меня на комиссию. Нет больше сил... Опостылила мне эта жизнь... всегда я ненавидел военную службу, но теперь я чувствую к ней сплошное отвращение.

Уйти во что-бы то ни стало.

Сегодня я был у французского консула. Я хотел получить разрешение на право въезда во Францию. Мои друзья живут в Ницце в Sint-Maurice, на Avenue santa Fiore. Робкий луч надежды, тонкая эфирная мечта скользнула по мне. Мучительно, как никогда еще, захотелось выбраться из этого болота и пробраться в Ниццу. У меня нет ни копейки денег, я плохо говорю по-французски, а билет на пароход стоит так дорого, и все-таки захотелось попытать счастья.

Странно было видеть у консула мягкую мебель, ковры, картины на стенах, большой письменный стол, покрытый синим сукном... все это были предметы цивилизованного мира, о котором я совершенно забыл думать... Над ним я уже почти поставил большой крест. С какой надеждой я ждал ответа консула. Увы, он заявил мне... этот гладко выбритый и шиварно одетый человек, что для нас, русских, попасть во Францию абсолютно невозможно. Консул добавил даже „la belle France“.

Чтобы попасть во Францию, нужно иметь определенную сумму денег и не маленькую... Французское правительство должно знать, что вы не явитесь для него „бременем“, „впрочем“, добавил он, если у вас знакомые в Ницце, то они, быть может, смогут похлопотать за вас в министерстве внутренних дел, которое находится в Париже, и тогда по телеграфу они смогут вас известить о результате своих хлопот... Но все это стоит больших денег.

Моя мечта разрушилась. Франция улыбнулась мне. Печальным возвратился я в свою часть. Неужели мне суждено провести долгие годы на этом унылом Галлиполийском полуострове, в обстановке грубой мунштры, дивной ругани, надевательств начальства... нет больше сил. Устал я... почва уходит из-под ног...

Навстречу мне идет сенегал. Идет он должно быть в Галлиполи...

„Здравствуй, муща“.

„А это ты, Гахагарла?“

Передо мною стоит мой друг. Его черная кожа лоснится на ярком солнце от пота... белые ослепительные зубы кажутся еще белее при солнечном свете.

„Выл, камрад, у вашего Консула... Ходил проситься, чтобы отправил меня во Францию... Не позволили...“

„Зачем тебе, „кардаш“, ехать во Францию... Там плохо... Там живут франки... Нехороший народ... Там много, много... живут тех, кто бьет каждый день бедных сенегалов...“

Гахагарла тоже, как Муше, хочет уехать, только он не пойдет в консулу, ни к кому не пойдет просить... Гахагарла попросит свой талисман из блестящих ракушек... и он поможет ему выбраться с этого проклятого полуострова... туда, где живут его братья, его народ, великий Мангуйн.

Сегодня все русские в Галиполи пьянствуют... Идет бесшабашный, безудержный разгул. По приказу Врангеля выдали каждому солдату по одной лире, а командному составу по целых две. Деньги выдали, правда, только лишь вчера вечером... а говорили, что будут давать после парада... а с тех пор прошло уже больше 2-х недель. Любит выпить русский человек, а в особенности, когда хочет заглушить сосущую тоску. „Хоть час да мой, а там плевать на все“. Лавки запружены покупателями. Греки и турки сбавили с ног, отпуская товары. Запасливые люди в первую голову покупают хлеб, дуранто, крупы, табак... и после уже идут пропивать остатки своего сокровища. Большинство же пропивают сразу всю сумму. По узким, кривым улочкам несутся пьяные, разгульные крики и песни... Чувствуется оживление... У всех приподнятое веселое настроение, вот это уже действительное, подлинное торжество, торжество пьяниц, получивших доступ к заветному вину. Кутепов в этот день не показывается на улицах... боится, как бы „не выпустили ему кишки... должно, сам пьянствует у себя на фатере“, — говорят, блаженно улыбаясь, молоденький, белообрый солдатик. „Таперича, ребята, значит наш день, и баста! и наплюем всему начальству в морды.“

На набережной у ворот ресторации Попандопуло идет уличный бой. Русские бьют стекла „кофейни с крепкими напитками“. Патруль юнкеров Алексеевского Училища пытается усмирить перебившихся буянов, но тщетно.

Хозяину Попандопуло, толстому греку, подбили физиономию, после того, как он пытался заявить о своих правах... и загнали на самый верх фонарного столба. 2-м патрульным-юнкерам сломали ребра и весь патруль через 5 минут разоружили... винтовки побросали в бухточку.

„Спервоначалу хотели скинуть с юнкеров портики и выпороть, да потом порешили, что такой же подневольный, как и мы, руки только зря мараги...“

„Эхма, — бей их всех проклятых буржуев-греков... вот бы Кутепичу да Штейфону кишки выпустить! Многих тут же на улице рвет... другие лежат в бесчувствии. Не могут сдвинуться с места...“

Весь город в движении. Заволновался муравейник. Пьет русский человек.

Тише, иностранцы белоручки, все равно не хватит у вас сил прекратить пьянство. Дайте уж лучше упиться всем до бесчувствия. Ведь иначе город разрушат до последнего камня, а то взбредет пьяным идти брать арсеналы голыми руками и возьмут, несмотря на ваши пулеметы.

Эхма. Пей, паря... пей... Сегодня наш час.

* * *

Сегодня Кобецкий известил меня о том, что устроил на комиссию. Будем надеяться, что вас отпустят по чистой, и тогда вы сможете уехать из этой дыры. Комиссия находится в двухэтажном домике без крыши, напротив греческой церкви... так он мне писал на записке.

Отпустят ли только? Не верю я этим комиссиям. Вот в Крыму тоже ходил на комиссию целых два раза, и все впустую. Ведь там им было нужно „пушечное мясо“, а тут скотинка для эксплуатации, чтобы набивать свои карманы. Ведь, если солдаты начнут выходить из армии, что же будет кушать наше начальство „Кутеповы да Штейфоны“, ведь армия для них прибыльная лавочка.

В 7 часов трубач дал сигнал на вечернюю молитву и мы все быстро-лись во фронт. Вышел сам командир и встал угрюмо сбоку фронта. Пропели молитву. Огненно-красное солнце село за малоазийские горы. Снова протрубил сигналист и мы уже хотели по обыкновению быстро разбежаться в рассыпную, почувяв наконец долгожданную минуту вечернего покоя и отдыха, как вдруг генерал отдал приказ, и колыхавшаяся было шеренга снова застыла. Генерал медленно и торжественно начал свою речь. Сперва он говорил нам о том, что русскому солдату, в особенности на чужбине, нужно быть „подтянутым“ — больше даже, чем когда мы жили там у себя. Командир махнул выхоленной, белой рукой куда то на Дарданельский пролив. Мы должны постоянно помнить, что находимся под внимательным оком иностранцев, которым должны показать пример своим поведением и доблестью... и вдруг, что же случается... У поручика Озолянца пропадают массивные серебряные часы. Пропадают из его помещения, при чем одеяла были опущены и никто посторонний не мог, следовательно, проникнуть туда (как будто трудно приподнять рукой одеяло, висящее вместо двери, и войти в помещение поручика Озолянца).

„Поэтому, как ни грустно мне, я предлагаю немедленно виновнику кражи сознаться... Я буду ждать 5 минут“. „Его превосходительство“ изволило вынуть массивные золотые часы и стало смотреть на них. „По истечении этих 5 минут я прикажу выйти из фронта каждому 5-ому... и их выпорю беспощадно“.

При слове беспощадно, генерал взвизгнул и даже подпрыгнул на месте. Фронт напряженно молчит. Генерал ждет. Проходит несколько минут. Что то будет?

Каждый мысленно начинает подсчитывать шеренгу, не принадлежит ли он к числу счастливицков.

Должно быть прошло 5 минут. Генерал приказывает бить в барабан „дробью“.

„По порядку номеров рассчитайся, раздается команда.

„Первый, второй...“

Прокричавши свой номер, солдат резко отбрасывает голову на место и замирает.

Что будет только. Что будет?

Потом снова раздается команда... всем пятым выйти из фронта... на два-а-шага вперед... Ша-а-гом...—

И так будет порка... дивная, жестокая порка...

В Галлиполи шутить не любят.

Неожиданно за поворотом дороги, ведущей к казарме черных стрелков, раздается резкий автомобильный гудок.

Что это. Неужели едет сам Кутепов?

Нет... в автомобиле сидят иностранцы и мчатся прямо в нашу сторону „Его превосходительство“ машет поспешно рукой... раздается команда: „дисциплинарное наказание отставить“.

Мы спасены.

* * *

Меня освободили. Когда доктор прислонившись ко мне, слушал грудь, я смотрел на его блестящую от пота лысину и думал о том, что в руках этого человека находится моя жизнь.

Теперь я штатский. Какое счастье. У меня не хватает слов выразить мою радость. — Мне приказано через 1/2 часа явиться в канцелярию на предмет получения „увольнительного документа“. Я застегиваюсь и выхожу. Перед домом на короточках, а кто прямо сидя на пыльной земле, дожидаются своей очереди военные. Теперь я уже штатский. Сегодня же срежу эти отвратительные погоны, символ казенщины, каторги... Хотя нет у меня денег, все же оденусь в штатское платье, хоть в рубище, но все же штатское. Как мечтаю я о свободе.

Я получаю две бумажки. Одну для себя, другую для командира моей части, с предписанием меня немедленно считать не военнообязанным, а простым беженцем. В моем документе говорится; что я перехожу на положение беженца и имею право получить паспорт „est autorisé de recevoir un passeport normal“ документ составлен на русском и французском языках... Я не верю своему счастью. Неужели правда... Сколько лет я добивался получить вот такую же самую бумажку и ничто не выходило, и вот теперь она в моих руках. Этот маленький клочок бумаги дает мне свободу, право стать человеком, а не номером. Теперь я уже смогу свободно уехать из Галлиполи. Ну, что же, что не пускают во Францию... все равно поеду в Константинополь... а там... что-нибудь придумаем. Я возвращаюсь к себе в часть... иду не спеша. Ведь я теперь штатский. Нудные дневальства с караулами, изнурительные учения на морозе и под палящими лучами солнца в знойные дни не коснутся меня. Завтра же, нет не завтра, а после завтра я уеду в Константинополь и начну новую жизнь. Завтра я отправлюсь в Галлиполи попрощаться со своими друзьями. Ко мне вышли Петя и Гузя.—Ну как, освободили? Мои мысли путаются, я только протягиваю им заветную бумажку. Они читают вслух. Вокруг нас собирается толпа солдат. Подходит несколько сенегалов. Все завидуют и поздравляют. Иду дальше. Странно... теперь сразу вдруг все приняло

новый вид. Даже наши сараи и те стали какими то совсем иными, совсем не те, что были раньше. Посреди поля стоит толстенный капитан Шуневский... он машет руками и о чем то говорит с унтером... Пройдусь ка я перед его носом нарочно и не отдам честь... ведь теперь я штатский.

Завтра утром я явлюсь в канцелярию и отдам свой документ. Весть о моей демобилизации быстро проносится по всей части. Меня приходят расспрашивать о том, как я словчил и освободился... У всех заинтересованные лица, все завидуют моей свободе. Гузя и Петя грустны. Теперь мы расстанемся с ними. Больше мы уже никогда не встретимся, в жизни всему приходит конец. Теперь я уже, в свою очередь, советую им идти на комиссию. Ночь... мы сидим втроем... трое друзей, и курим дрянной табачишко. Стонут ребята во сне. Чешутся, бормочат какие-то непонятные слова... Сонные тела сжались от холода в комки... Завтра я уйду отсюда. Раскидает нас всех судьба в разные стороны... встретим ли мы когда-нибудь в жизни друг друга.

Утром я иду в канцелярию, сидит только один канцелярист Артемов. Он сидит за грубым, самодельным столом и разбирает бумаги. Скоро должен прийти сам начальник канцелярии, поручик Палейкин, и ему то я и должен вручить свой документ. Уже идет учение. На дворе раздается команда „ружья... на пле-чо, правая шеренга... правое плечо вперед шагом ма-арш“. Канцелярист кончил разбирать бумаги и заскрипел своим пером. Он на меня не обращает внимания, как будто меня тут и нет. Канцелярия устроена тут же в углу сарая, лишь отгорожена досками и одеялами от общего помещения... Получается какое-то подобие маленькой комнатки. Место окна — дыра, через которую виден Дарданельский пролив. Я стою и жду... жду упорно... Мне немного жутко, а вдруг... но я себя успокаиваю, должно быть просто разгулялись нервы. Через полчаса приходит поручик Палейкин. Он быстро окидывает меня взглядом и подходит к столу. Канцелярист почтительно встает и не садится... Я жду. Проходит еще минут 15, пока наконец поручик не обращается ко мне с вопросом. Я протягиваю ему документ. Он читает его, не спеша... и на его лице появляется какая-то загадочная ехидная улыбочка.

„Какой батарея? — вдруг спрашивает он меня с необычайной строгостью.

„Фамилия?

„Ведь тут же написано, в документе — говорю я. — Молчать, когда говорит начальство. Я сам знаю, что тут написано. Прошу отвечать мне прямо на вопрос. Я называю себя. Поручик как-будто удовлетворяется... по крайней мере он молчит и пробегает глазами бумагу. „Когда были на комиссии“? — Вчера днем в 4 часа. — Поручик слегка задумывается и вдруг рывкает: „Как говоришь с начальством? Повторяй за мной „честь имею доложить, г-н поручик“... Я тоскливо повторяю за ним все его слова. На сердце опять стало пусто и уныло. Густая волна обиды и жгучей ненависти к этому поручику, ко всей белой армии охватывает все мое существо. Боже мой, когда наконец кончатся все эти издевательства и глумления? Наконец он

оставляет меня в покое и бросает бумагу на стол. — „Пришить к делу. Бумага с копиями переслать с ним в беженский батальон. Одежду отобрать“. У меня подкосились ноги. Меня хотят отправить в какой-то другой батальон... и отобрать одежду. „Но ведь меня же освободили совсем по чистой... г-н поручик... вы наверное не совсем поняли. — Я теперь уже штатский“. — „Штатский... мать твою“... поручик цинично выругался, „мы покажем вам“, всем штатским, где раки зимуют. Как стоишь, руки по швам! Приписать в препроводительных бумагах, чтобы поставили под винтовку на 2 часа по прибытии“... — и поручик цинично еще выругавшись и бросив на меня зверский взгляд, вышел из канцелярии. Я ничего не понимал. Медицинская комиссия меня освободила от военной службы, а мое начальство не только не освобождало согласно этой бумаге, но, напрогив, с какою-то невероятной злобой отправляло куда-то в другую, совершенно мне неизвестную часть. Канцелярист посмотрел на меня не то с раздражением, не то с злобной радостью и вдруг неожиданно выпалил: „Его превосходительство генерал Кутепов приказал всех желающих удрать с действительной службы, переводить в дисциплинарный батальон, — он же называется и беженский лагерь“.

От Галлиполи до беженского лагеря верст 12, если не больше. Верст с пятью дорога тянется по берегу пролива, потом она неожиданно сворачивает вправо и начинает виться длинной лентой по холмистой местности, покрытой густой растительностью. Приблизительно на 8-й версте вид на Дарданелльский пролив исчезает и начинаются бесконечные холмы и небольшие горы, покрытые низкорослым, колючим кустарником, да чахлой травой. То место, куда я шел, русские солдаты прозвали „долиной слез“. Глухо и пустынно кругом. Маленький, разбитый снарядами Галлиполи все же был центром. Тут были лавченки, кофейни, кипящие разношерстной толпой. Приходили хоть раз в неделю греческие и турецкие пароходы, а иногда заходили и большие иностранные суда... французские и английские. Тут можно было хоть изредка, в часы отпуска побродить по улицам, поглазеть на народ, сидящий по кофейням, отдохнуть хоть немного душой от ежедневной монотонности, если же случай предоставлял несколько лент, то и выпить стаканчик-другой, плохого греческого винца... Там же, куда я шел, это было почти невозможно. Много легенд сложилось среди русских про эту „долину слез“. Легенд, одна страшнее другой. Говорили, что летом там водится множество змей и ядовитых тарантулов, от укуса которых нет спасения. Пугали страшной желтой лихорадкой, от которой умерло уже столько наших солдат. Но самое страшное по слухам „была железная дисциплина Кутепова“. Еще там, в Галлиполи, на глазах иностранцев он сдерживал до некоторой степени свои зверские инстинкты, тут же, в этой глуши, — он совершенно распоясался. Это было его царство, а люди были его покорными затравленными рабами.

Наконец, после трехчасового пути, измученный, я поднялся на высокий холм. Теперь уже дорога спускалась вниз прямо в широкую долину, а посреди нее протекала узкая реченка, через которую был перекинут каменный мост, изогнутый аркой. Правее от моста, должно быть верстах в двух, и помещался

знаменитый корпус генерала Кутепова. С холма открывался вид на множество больших и маленьких палаток. Они были разбиты в долине правильными рядами, очевидно по плану, через правильные промежутки размеченные столбами, на которых развивались флажки.

Это было сплошное море палаток, белые блики на фоне чахлой травы. На лево от моста, должно быть и был разбит сам беженский лагерь. Тут было не больше сотни палаток; а прямо за ними возвышались вдали уже настоящие горы, типичные балканские отроги, поросшие таким же колючим можжевельником и низкорослым кустарником. Вот, что представляла из себя эта долина слез, про которую сложилось столько жутких легенд среди русских. Я спустился с холма и подошел к мосту. Часовой окликнул меня. — „Куда идешь: пропуск есть?“ Я остановился и полез в карман за препроводительным документом. Поверх солдатской шинели на часовом был надет женский, клетчатый платок... должно быть от холода; платок покрывал голову часового, его винтовку перекинутую через плечо и от того казалось, что у солдата на спине островерхий горб. Вместо обуви на ногах у него были обмотаны грязные тряпки, завязанные веревками. Вид его был жалкий, до нельзя болезненный. Впалые небритые щеки, далеко ушедшие в арбиты глаза... Казалось он перенес только очень недавно тяжелую болезнь.

— „Куда идешь? В корпус или к нам? допрашивал меня часовой снова. Я подаю свой документ. Он взял бумажку своими бледными бескровными пальцами и когда читал, руки у него тряслись, а жилы на лбу надулись от напряжения. Должно быть ему трудно было читать“.

„Так значит к нам, в беженский“. Часовой почему то рассмеялся и свистнул... — „На два часа под винтовку. Ну подождут черти... Ныне навряд ли наша сволочь поставит тебя... да и вряд ли поставят... Тут все больше отправляют в Галлиполи на гаушвахту, а ты толка от тедова“...

„Плохо что ли тут у вас?“ спросил я в свою очередь часового.

„Зачем плохо, быто бы выгоднее, чем там... он указал рукой на корпус Кутепова... вот тама-то, — так значит самый ад... а тут... ничаво... жить можно... Ну, проходи, что-ли... чаво зря стоишь на посту... проходи... докончил свою речь часовой, возвращая мне мой документ и слегка толкая в спину.

Вот тебе и чистая отставка, вот и свобода... с тоской думал я. Опять тот же лагерь, те же посты и караулы. Свернув влево с дороги, я стал подходить к рядам палаток. Первым делом мне надлежало явиться к начальнику, такой был уже установлен порядок. На встречу мне шел вялой, раскачивающейся походкой человек очень высокого роста. Правая его нога была сбута в высокий кавалерийский сапог со шпорой, а левая — в короткий английского образца шнурованный ботинок. Он кутался в серое байковое одеяло и по временам вынимал руку, почесывал свой нос и тогда одеяло раздувалось крыльями по ветру. Унылое выражение его лица и весь его вид говорил о его подавленном настроении. Я окликнул его и спросил, куда мне нужно идти, чтобы увидеть начальника беженского лагеря. — Вы какой

части? Задал он мне вопрос вместо ответа. Я был измучен от долгого пути, мне сильно хотелось есть и поскорее уже устроиться. — Поэтому этот ни на чем не основанный, праздный вопрос взбесил меня.

„А вам зачем это знать?

„Да мне собственно говоря это совсем безразлично, просто так от скуки спрашиваю, впрочем позвольте представиться... поручик Тагомиров, я родом из бессарабской губернии, — не знаю уже для чего пояснил он, хотя я его совсем и не спрашивал...

„А как мне пройти к коменданту лагеря? спросил я его снова, уже более вежливо.

„Да вот, третья палатка справа. „Он указал мне на большую, более новую, чем все, палатку, на которой развевался трехцветный флаг... знак пребывания генерала... Тогда я уже счел своим долгом представиться то же... Мой путь был окончен и мне суждено было отныне находиться здесь.

„А, очень приятно, очень приятно, говорил мне в это время поручик Тагомиров, пожимая мою руку... Я помещаюсь недалеко отсюда третий ряд, палатка № 6. Надеюсь, что мы будем часто видеться друг с другом, а пока идите к его превосходительству генерал-майору... г-ну мерзавцу Сахарову. Это наше прямое начальство и вам надлежит сперва явиться к нему. Он укутался плотнее в одеяло. „Эх проклятые ветры, пять дней мороз, два дня жара... ну и погода. Скорее бы весна“...

Я подошел к палатке и остановился в некотором замешательстве. Войти в нее... или ждать? Если ждать, то можно проторчать тут до утра. Если войти... то можно наскочить на дикую грубость бюрократически настроенного начальства. Должно быть Тагомиров, стоя за моей спиной, понял мое настроение. „Петров, а Петров!“ вдруг дико завопил он. Тотчас же из палатки высунулась белобрысая голова. „Чего орешь?“ — Выходи вписывать в книги новичка. — Белобрысая голова на минуту скрылась. „Это наш канцелярист... он вас занесет в списки и зачислит на довольствие“.

И так меня Петров запис в списки беженского лагеря. Завтра он уже обещал меня зачислить на довольствие. Пока мне приказано идти в палатку № 8. Сейчас туда иду. Жалко, ушел куда то Тагомиров. Тут сам черт ничего не поймет. Номера нет и все палатки, как капля воды похожи одна на другую, а тут, как на зло, почти уже темно... Я беру карандаш и вписываю в записную книжку: „начинается второй период моей жизни на Галлиполийском полуострове. В первый раз за все время пребывания моего на полуострове офицер пожал руку мне, солдату“.

Вечер. Мы сидим в палатке около ярко горящего костра. У нас настоящий индийский вигвам. Разница лишь та, что вместо отдушины для дыма наверху, мы просто откидываем сбоку холстину, прикрывающую входное отверстие. Нас в палатке № 8 помещается шесть человек, но говорят, что скоро придет еще один, поручик Платонов. Сейчас он выздоравливает от тифа и лежит в госпитале в Галлиполи. Когда я вошел в палатку, все

заинтересовались, подвинулись распросы. Кто я... откуда... из какой части? Где родился в России? Кто мои родители? Надоело даже отвечать... Мои сотоварищи по палатке, кажется, устроились тут довольно сносно. Постелями им служат ветки можжевельника. Сверху они покрывают только свое ложе одеялом. Получается мягко и уютно. Вместо подушек — мешки с вещами. На костре варится какая-то пища... кажется бобы. Я даже хорошенько не разглядел. Рядом кипятится вода. Котелки привешены на металлическом пруте, который вдет в две уключины на колышках. На дворе страшно сыро и холодно. Я немного озадачен: Как мне быть? Не знаю, чем прикрыться на ночь. Проклятый поручик в части отобрал мое единственное сохранившееся одеяло. Я поведал свое горе соседям, и они очень сочувствуют мне. Без одеяла можно прямо пропасть! Весной другое дело, но до весны еще месяца два-три... прямо кошмар! Когда я сидел у огня и смотрел на булькающую в котелке воду, один из обитателей палатки спросил меня почему-то о капитане Шуневском, должно быть потому, что я назвал свою часть, а этот человек, сидящий передо мною на корточках и помешивающий воду ложечкой, слышал что-нибудь о нашем капитане.

„Да что говорить... так, дрынь человечешко, отвечаю я... Знаете, он прирожденный военный. Он, наверное, даже не мыслит другой жизни. Его идеал — это правое плечо вперед шагом..., одним словом дурак.

Фигура, спрашивающая меня о капитане Шуневском кашлянула и проговорила:

Это мой брат... я тоже капитан Шуневский, только я не люблю войну, военных... и все такое прочее... Ну, а как сейчас его здоровье?

„Да благодарю вас... ничего... чувствует себя повидимому недурно... все командует... — Я совсем смутился и запутался. Для чего я сказал „благодарю“, я и сам не знаю. Шуневский улыбается. Его лицо ярко освещено пламенем костра.

Ну вот теперь вы будете знакомы с другим капитаном Шуневским... а вот вскипела и вода... вытаскивайте ваш котелок и будем пить чай. Капитан лезет по одеялу куда-то в темный угол, извлекает на свет костра маленькую сумочку и высыпает аккуратно в котелок две ложечки чая. Потом снова закручивает и тщательно завязывает тесемкой мешечек и кладет назад... — Ну вот... продовольствия ведь наверно у вас нет никакого?

„Увы, нет... —

— Ну, ничего? поедем с вами бобов с консервами. Кстати они, кажется, уже и готовы.

Пока Шуневский возился около еды, остальные обитатели палатки также принимаются за ужин. Одни подвешивают на свободное место на огне свои котелки, другие уходят из палатки на реку за водой. Все волнуется и торопится. Должно быть, хотят сильно есть. Обитатели палатки люди все солидные, за исключением молодого парня лет восемнадцати... У всех густые щетины, или бороды... а на лицах глубокие морщины... После ужина все укладываются спать. Ложится и Шуневский. Я подсаживаюсь поближе

в костру. Завтра же мне придется идти в горы за вереском для своего ложа... а также предпринимать что-нибудь на счет одеяла... Иначе можно замерзнуть. Пиннелю укрывать — слишком холодно. Скоро все начинают храпеть... Я подбрасываю ветки в костер и стараюсь поддерживать огонь. Снаружи страшно холодно. Через входное отверстие видно ясное ночное небо, покрытое звездами. Где-то, совсем поблизости воют шакалы... не завидую я часовому на посту... а ведь и мне придется стоять. Костер придает уют. Мне тепло. Потрескивают горящие ветки... разбрасывают искры, освещая по временам спящие фигуры. Шуневский укутался с головой в одеяло и храпит по-прежнему. Вот с этим я уже познакомился, а остальные обитатели палатки покрыты для меня непроницаемой тайной. Кто они? Откуда? Поживу с ними... поближе познакомлюсь и жизнь этих людей станет такой ясной, понятной. Мне делается слегка грустно. Я сижу, протянув ноги к огню... Тепло, как то не хочется двигаться... Понемногу грезится далекая Россия... мой дом. Как все не похоже тут на те условия, в которых я раньше жил. Я думаю без конца о своих мытарствах, о своей прошлой жизни... о доме... стараюсь представить себе будущее, но сон слипает мне глаза. — Я засыпаю. Проснулся я от мучительного холода. Костер потух. Я дрожу... у меня стучат зубы, отбивают мелкую дробь. Хочется снова развести костер, но нет спичек, а будить еще незнакомых людей я не решаюсь... Рассвет все усиливается. Уже скоро наступит утро. Я выхожу наружу и начинаю бегать перед палаткой. Кругом густой туман — совсем как там у меня на родине, в далеком Петрограде, где я когда-то жил... Часов в 7 утра проснулся весь лагерь. Люди побежали умываться на реку. Проснулась и наша палатка. Шуневский спросил меня, как я провел ночь и когда я ему поведал свои ночные мытарства, покачал головой, причмокнул губами совсем так, как причмокивают греки и турки, когда им предлагают что-нибудь купить и они не хотят... и сказал...

„Сволочи, а не люди, как будто им жаль одеяла... Негодяи и больше ничего.

Сегодня я должен буду уже получить свой паек. Я мечтаю, главным образом, о хлебе. В связи с переводом из одной части в другую, вот уже два дня я не вижу хлеба, а при нашем „сытном“ питании, это очень тяжелое лишение. Без 10-ти 8 мы идем выстраиваться на „линейку“; так называют военное место, где происходят всякие церемониалы, молитвы, смотры и т. д. Беженцы идут не спеша. Ленивым шагом, многие успевают по дороге еще забежать на реку, под мост, для совершения туалета... Все одеты страшно плохо. Одежда у большинства представляет сплошное рубище. Как офицеры, так и солдаты находятся тут в беженском лагере уже на одном положении, все друг с другом в большинстве случаев на ты и держатся совсем по товарищески. После части, где офицеры держали себя перед солдатами „особой породой“ „замкнутой кастой“ мне невыразимо приятно видеть панибратские отношения, в которых не проскальзывает даже и малейшего намека на различные чины и рангов. Тут все равны друг перед другом.

Все товарищи. Группа людей, которых загнали в кучу, „дабы отделить от армии, как „неблагонадежный элемент“. Впоследствии так и оказалось, что цель лагеря была именно такова.

Что касается воинской дисциплины, с первого же дня мне бросилось в глаза, как человеку свежему, только-что прибывшему из регулярных частей, что она тут абсолютно отсутствовала; если же наружно проявлялась, то лишь в виде дисциплинарного наказания, а именно, в форме отсы... на гауптвахту в Галлиполи. Весь день мы были почти целиком предоставлены самим себе, и я прямо отдыхал душой после „кошмарной и тяжелой лагерной муштры“. Правда тут тоже были свои наряды и даже некоторые из них были очень трудные; и все же между беженским лагерем и частью — было небо и земля. Из нарядов на долю беженца падали следующие. Охрана и караул на мосту — самый тяжелый, потому что нужно было стоять на ветру 3 часа, место было открытое и нигде было укрыться от непогоды. Затем я могу указать на „собираание дров“, как почему-то называли этот наряд. Нужно было обязательно ежедневно отправляться за 5 верст в горы и нарубать шашками (топоры у нас не было) 2 вазанки хвороста „на брата“, для генеральской палатки, для поддержания достойных рангу „его превосходительства“ удобства. Кроме указанных из основных нарядов было также „хождение за хлебом и продуктами в Галлиполи. Но наряд этот выпадал на каждого беженца приблизительно два раза в неделю, не чаще.

Но я не буду заходить вперед и возвращаюсь к описанию линейки, на которой мы, кстати сказать, уже построились в неправильные две шеренги. Надоело уже стоять. Все нет генерала... он должен притти... Говорят, что вчера он был в Галлиполи и получил от Кутепова какое-то предписание. По этому поводу беженцы стоят в кривых шеренгах и горячо обсуждают, что им может сообщить генерал...

— Ребята, беспременно разгонят из лагеря и ушлют опять в часть.

„Что зря треплешь языком... из частей поперли — и опять в часть“.

Другие обсуждают вопрос о тех, кто переведен сюда по болезни, а как же с теми быть — что же значит, их тоже пошлют опять на действительную. Все эти разговоры мне очень не нравятся. Неужели опять придется попадать из огня да в полымя. Надоело стоять... Некоторые уже начинают разбегаться по палаткам, но дежурные по лагерю с громкими ругательствами возвращают их на места... ругаются потому, что иначе самим придется держать ответ перед грозным генералом. Неожиданно вдали появляется коренастая фигура генерала.

„Смирно, равнение налево!“ кричит дежурный. Беженцы продолжают стоять во фронте, тихо разговаривая, заложив руки по карманам... многие покуривают в кулак.

„Равнения нет!“ издали кричит Сахаров, приложив для чего-то кулак к правому глазу, в виде подозрительной трубы.

„А у тебя вместо мозгов — навоз... на нет и суда нет!“ бурчит какой-то длинноногий дядя, стоящий рядом со мною в шеренге.

„Эй, там сброд, молчать!“ шипит генерал... и подходит к фронту... В руке у него стэк, и он нетерпеливо хлопает им себя по лакированному сапогу. Генерал с минуту молчит и словно обдумывает, с чего начать. Молчит угрюмо шеренга.

„Вчера я был в Галлиполи... начинает „его превосходительство“, и мне поручили сформировать из вас „гренадерский полк“. Кто желает и вас записать в мой формирующийся полк — выходи!“

По шеренгам проносится иронический заглушаемый смех.

„Молчать сброд... кричит генерал...“

Даю две минуты на размышление, в противном случае буду сам назначать.

Желающих дураков видно нет. Генерал нетерпеливо ждет и, заметно, еле удерживается от злости. Вдруг из шеренги медленно выходит поручик Тагомиров. Он до того хромает, что еле идет. Я слегка удивлен. Когда успел он так захромать, ведь он ковыляет, почти под углом наклоняясь в правую сторону. Вид у него более, чем несчастный и жалкий, в этом одеяле, в которое он плотно кутается и даже прикрывает чисто по бабьи свою голову. При каждом шаге он громко стонет и охает... наконец он добирается до генерала. — Я в-в-аше-п-п-ре-восходительство... Поручик страшно заикается... (меня это опять удивило, вчера со мною он говорил совершенно спокойно, ровно и правильно) хочу поступить в гренадер... хочу по-о-о-служить славе оружия...

„Это что за фигура? удивленно спрашивает Сахаров. Поручик Тагомиров называет себя. Генерал осматривает со всех сторон его. Тот стоит раскачиваясь как бы от невыразимой слабости, в бессилии закрыв глаза... По временам он жалобно стонет и охает.

„Чего охает? спрашивает „его превосходительство“.

Все болит!“ ваше дительство.

„Так куда же поступаешь в добровольцы?“

Так у нас тут все такие. Чем я хуже других? извольте поглядеть. Фронт начинает гудеть от хохота.

Генерал понял, что над ним потешаются... он в ярости... лицо его надувается и краснеет... совсем как индюк.

„Назад в шеренгу—генерал не кричит, а как-то уже лает, совсем по собачьи...“

„Почилуйте ваше пр...ство... за что.. же... ведь хочу честно служить, положить начало полку...“

Снова бурный взрыв хохота.

„Запору всех... перестреляю, как зайцев... вдруг взвизгивает Сахаров и бросает во всей силы на землю свой стэк. Он трясется от злобы, неуголмого бешенства, этот толстенный генерал, с бычьей шеей.

12 часов дня. Беженцы сидят на берегу реки и варят себе обед. Уже скоро должны принести из Галлиполи продукты. Обед готовят всегда из вчерашних запасов, а те, которые должны принести, пойдут уже на

завтрашний день: таков уже установившийся порядок. Горит больше сотни костров... Шуневский мне рассказывает о том, что раньше они всегда готовили обед в палатках, но теперь почему-то Сахаров днем запретил разводить костры... Ужин они варят контрабандой. Капитан сидит на корточках перед костром, и мне делается смешно, когда я гляжу на этого плотного, коренастого человека, сидящего в такой комической позе и раздувающего пламя.

„Принесли... хлеб... хлеб...“ вдруг несется страшный вопль по всему лагерю. Все поспешно вскакивают...забывают про свои костры и кипящие на них котелки и бегут сломя голову к „продовольственной раздаточной палатке“. В этой палатке живет капитанармус, и он с помощью двух раздатчиков, выборных от беженцев, производит раздачу продуктов. На землю складываются мешки с хлебом...консервами и бобами... Беженцы толпятся около продуктов и капитанармус отстраняет толпу. Сейчас уже начнется раздача.

„Палатка № 1“... кричит капитанармус... и записывает... „получайте“. Выдается один круглый небольшой хлебец на шесть человек, баночка консервов и шесть пригоршней сухих бобов.

„А жира? спрашивает представитель палатки № 1.

„Жир будет только завтра. Не выдали в Галиполи“.

Шуневский смотрит на меня, подмигивает и говорит... Вот почему приходится готовить обед из вчерашних продуктов. Всегда чего-нибудь не додают самого существенного... Потом раздают следующим по списку палаткам, пока не доходит очередь и до нашей. К моему огорчению... на мою долю продуктов не оказывается. Еще не успели зачислить на довольствие. Я в отчаянии. Шуневский меня утешает и обещает покормить, а в палатке начинается уже дележ между своей шестеркой. Выбирают „делильщика“. Происходит длинная процедура. Хлеб делит на пунктуально равные части... Причем даже вымеряют куски...сравнивают друг у друга, при этом спорят и ругаются... Потом, то же самое происходит с консервами и бобами. Когда дележка кончена, все вспоминают про свои горящие костры и сломя голову несутся к ним.

Вот уже целый месяц я живу в беженском лагере, и пожалуй даже свыкся с жизнью „дисциплинарного батальона“. Со всеми обитателями лагеря я почти перезнакомился, не говоря, конечно, уже про свою палатку № 8. Вначале я так боялся этого лагеря, шел туда, словно на пытку, а теперь я даже пришел к убеждению, что жить здесь куда лучше, чем в части.

Просторнее тут, привольнее... Мне хочется описать наружность дяди Кости. Я так теперь уже зову капитана Шуневского. Он такой же толстенный, как и его брат. Очень коренастый и сильный: рост у него средний, глаза черные с задорным огоньком. Каждый день он бреет свое лицо... вообще большой эстет и для удовлетворения своих эстетических наклонностей тщательно хранит в своем мешке под головой маленький

осколок зеркала. Бритву никому не дает; считает это негигиеничным. Другой представитель палатки № 8 это „Платосик“, так я зову поручика Платонова. Вот уже неделя, как он живет с нами. Он очень высокого роста, худ, как скелет... все не может оправиться после тифа. Характер у него бесконечно мягкий, всем он готов поделиться со своими товарищами, он даже постоянно делится с голодными своими жалкими порциями хлеба... бритвы не имеет и слегка завидует „дяде Косте“. Зависть выражается в колкостях, которые он начинает отпускать всякий раз, когда тот вынимает с необычайно торжественным видом... свою бритву и осколок зеркала.

Затем мне хочется описать наружность третьего моего друга... рядового Таганеева. Я сплю рядом с ним. Так как у меня до сих пор еще нет одеяла, он со мною делится своим. Теперь у нас с ним общие вши... Кстати, одеяло его кишмиш кишит ими. Также мы с ним обедаем и ужинаем.

Позволю себе несколько отойти в сторону и рассказать о том, как мы питаемся. Так как из наших продуктов одному человеку ничего приготовить нельзя, то мы все разбиваемся на группы по четыре и по два человека. Вместе соединяем свои припасы; также совместно ходим на „промислы“ их и таким путем улучшаем свою жизнь. Коммунальный образ жизни дает нам возможность быть сытыми. Я варю еду с Таганеевым. Платосик с дядей Костей. Братья Перевертовы друг с другом... И так мы живем.

Таганеева я очень полюбил. Полюбил я его за открытый добрый характер, необычайную честность, порядочность и неиспорченность натуры. Кажется, он тоже отвечает мне тем же. Когда он уходит в Галиполи за продуктами, я скучаю без него... Он стал мне истинным, преданным другом и товарищем. Рядовой Таганеев из Тулы. Ему всего лишь 18 лет. Он производит впечатление еще мальчика. У него черные, большие, всегда грустные глаза, а в них светится затаенная печаль. Когда я смотрю на него, мне делается его жаль и хочется всегда положить свою руку ему на плечо и утешить его в горе... Братья Перевертовы должны быть были в России мелкими кулаками. Сказать по правде, крайне антипатичные люди. Вечно они поднимают скандалы при дележе продуктов, всем недовольны... крайне мелочны и скупы... Одним словом, в общежитии невозможны. Каждый вечер, сидя у костра, мечтают уехать в Бразилию с первым же пароходом и заделаться „рантье“. Вот и все обитатели палатки № 8, мои сотоварищи, с которыми я делю свою судьбу.

Вечер, мы сидим у костра. Холодно. Где-то вдали воют шакалы; дядя Костя и Платосик мочат в воде бобы и вынимают для чего-то их... должно быть, выбирают испорченные. Платосик сидит по-турецки у самого костра.

„Спалешь шинель“ предупреждает его „Таганеев“.

„Ничего ей не сделается... Платосик вечно беспечен. „Коммерсанты“, мы так прозвали братьев, давая вшей и кажется держат пари, у кого больше... Полог раскрывается и в палатку входит дежурный по лагерю. „Кто здесь будет Асия“. Я отзываюсь. „Ну, так вот, вам завтра наряд... идти в Галиполи за

хлебом... Не проспите, в 5 утра уже партия выходит. Прикурив у костра, дежурный скрывается в ночной тьме. Мы сидим и некоторое время молчим... Каждый занят своими думами... Не проходит и 5 минут, как снаружи раздается громкое „можно войти“. Входит Таганцев...

„Ну и теплынь у вас!“ он садится на вереск и протягивает ноги к костру... Мы начинаем болтать...

„Не знаю я теперь, к какой партии примкнуть“.

— А что? спрашиваем мы...

„Да вот все колеблюсь между анархистами и коммунистами. Ах, если-б литературы какойнибудь почитать... знаете такой... за которую генерал Сахаров, да Кутепов... повесили бы вверх тормашками. Только негде достать, вот в чем беда“.

Пришла весна. Яркое светит солнце, бегут всюду ручьи. Поля и горы покрылись изумрудной травой. В реке вода стала теплой... Ребята уже начали купаться... Теперь мне уже не так страшно без одеяла, хотя ночи все еще очень суровые, но все же сознание, что скоро придет и настоящее тепло... Одно только плохо... Мы все стали страдать от нарывов... Наши тела буквально покрыты ими. Гнойные нарывы образуются сперва, главным образом, на икрах, потом ползут на лодыжки и спину... Трудно сидеть, больно ходить... а двигаться нужно. Некому будет носить еду, дрова, готовить пищу, если слабеешь. Многие уже отправились в госпиталь в Галиполи... их тела представляют один сплошной гнойник... Страшно смотреть... Врачи бинтуют, покрывают раны какой-то желтой мазью, а толка все нет. Страшно, — зимой почти никто не болел этой болезнью, а как пришла весна, привалялась к нам и эта гадость. Я думаю всетаки, что это от грязи, доктора говорят, что от недоедания. Мне больно ходить. Мои ноги до колена, нижняя часть спины и бока покрыты нарывами... Глубокие, отвратительные на вид, раны. По ночам я не могу спать, все тело жмет и саднит... Хочется кричать от мучительной боли, но страшнее всего, это ужасный зуд... хочется разодрать в клочья свое тело... утопиться от этого зуда, не переставшего ни на минуту. Платосик уже отправился в госпиталь, его тело представляет сплошную рану.

Я еле двигаюсь, а мне с Таганцевым нужно идти за дровами в горы. Он тоже болен болячками. Мы еле передвигаемся... Уже жарко, мы вспотели от ходьбы, раны чешутся... повязки слезли... Мы садимся на камень и перебинтовываемся. Раны, в виде глубоких воронкообразных дырок, а в них гной... Что это, нет больше сил уже идти. В долине все люди покрыты этими болячками. Настоящая эпидемия.

Нас заедает еще новый бич. Это отвратительные змеи. Я видел только в зверинце такой неимоверной длины змей. Серые, зеленые, желтые... Фу, какая мерзость. Буквально под каждым кустом они шевелятся... Стало уже опасно ходить в чащу, их там должно быть уйма. Слышно их отвратительное шипенье... и еще много в „долине“ тарантулов и скорпионов. Эти гадины сидят буквально под каждым камнем, в каждой щели греются на

солнце... Кстате пошли нестерпимые жары. Среди солдат пошли солнечные удары. Многих перекусали змеи и тарантулы. Нарывы по телу еще ухудшились. А тут эти проклятые наряды. Хождение в лес за дровами, за продуктами в Галиполи... вот когда начинается форменная пытка.

Сегодня после молитвы генерал Сахаров отправил поручика Тагомира на гауптвахту; предварительно он ударил его своей пухлой, выхоленной рукой по щеке... Проклятый чорт... наверное у тебя никогда не пойдут по телу нарывы... ведь ты жрешь и спишь не так, как мы, твои рабы. Поручик Тагомир поклялся его пристрелить. Хорошо было бы, еслиб удалось это ему. Только навряд-ли удастся.

Бегут дни. Прошла наконец тягостная, томительная зима с ее бесконечными холодными дождями и резкими ветрами. Прошли липкие туманы, застилающие долину... пришла весна. Только что-то не радость принесла нам пока она... Как будто стало еще труднее...

Вчера приезжал на автомобиле к нам в лагерь сам Кутепов в сопровождении каких-то двух иностранцев. Когда за поворотом дороги, ведущей к нам, мы услышали автомобильный гудок, по лагерю пошла суматоха. Из палатки успешно вышел Сахаров и подошел к Кутепову.

Беженцы выстроились в две шеренги. Что хорошего мог сулить нам его приезд? Мы стояли и думали о цели его посещения. Прошел час, а Кутепов все не идет на линейку. Нас охватывает дикая злоба... Мы хотим уже расходиться... и все же не расходимся... Каждый знает, что Кутепов не Сахаров... Сахаров в худшем случае пошлет на гауптвахту, а Кутепов может расстрелять с такою же легкостью, как мы перебинтовываем свои раны на ногах. Мы стоим вытянувшись и ждем...

Люди притихли, говорят вполголоса, боятся Кутепова, этого зверя. Наконец появляется и он. Несется команда „смирно“. Быстрыми шагами приближается он к фронту. За ним идут двое штатских, повидимому американцы, судя по их костюмам и гладко выбритым лицам. Мы думаем, что сейчас к шеренге подойдет Кутепов и начнет держать речь, но оказывается генерал задерживается и к шеренге подходят двое штатских. Кутепов и Сахаров стоят в отдалении, повернувшись спиной к фронту, о чем то ведут беседу.

Господа — обращается к нам один из штатских. „Завтра из Рио-де Жайнеро приходит большой корабль „Лаплат“, он будет брать на свой борт всех русских, желающих ехать в Бразилию работать на плантациях. Прошу желающих ехать, зарегистрироваться у своих старших, и не позже сегодняшнего же вечера... Я кончил“. Затем выходит другой штатский. Он говорит приблизительно то же самое, что и его товарищ, коверкая, как и предыдущий оратор, русский язык... Но мы прекрасно его понимаем. Эти люди, одетые в коричневые клетчатые костюмы, говорят нам о том, что мы сможем бросить эту военную службу и выбраться из этого проклятого полуострова. Больше, он убеждает нас ехать, чтобы трудиться, не сидеть здесь, сложа руки, как бездельники и тунеядцы. Мы ошеломлены...

Мы боимся, что это подвох, провокация со стороны Кутепова, мы смотрим вопросительно на него, но он стоит к нам спиной, должно быть не хочет смотреть на „этот сброд“, а „сброд“ стоит и ломает себе голову, и не верит, счастье ли это или ложь, наглое беззащитное глумление. Уезжает Кутепов, уходит Сахаров, а мы все стоим на линейке и не верим своему счастью. Правда ли, а вдруг обман, подвох... Ну ай да, ребята по палаткам. К вечеру будем составлять списки бразильяцев. Я иду к себе и думаю: ехать или нет. Не хочется мне здесь оставаться, нет больше никаких сил... и ехать в Бразилию тоже не хочется, слишком много понаслышался я рассказов о бразильских плантаторах, об их бесчеловечной эксплуатации и всех кошмарах, творящихся там. Ехать или не ехать?... Вот мысль каждого... Вот только о чем и могут размышлять беженцы. Лагерь сразу же резко разделяется на две стороны; едущих и остающихся. Мгновенно уже складываются частушки и тут же распеваются:

„Ах яблочко куда котишься?
В Бразилию попадешь, домой не воротишься“.

Я сижу в палатке, прислушиваюсь к пению, думаю без конца. И не знаю, как поступить. Как сделать, чтобы выгодать... Дядя Костя и Платосик сидят на своем ложе и с жаром обсуждают положение. Нет, ехать безумно, говорит Шуневский. Это значит из одного рабства попасть в другое. Променять кукушку на ястреба. Платосик приводит доводы и про и contra. Он еще и сам не знает, как ему поступить. Таганеев и братья, мечтающие заделаться рантье, думают ехать. Они сидят и мечтают о том, как наживут свои фермы и заделаются богачами. Я пытаюсь отговорить Таганеева. Он говорит мне „все равно, попытаю счастья... а там посмотрим что“... У меня тяжело на душе... Я растерян... Хорошо, что дядя Костя и Платосик остаются... Мне не хочется ехать в Бразилию и поступать белым рабом на плантацию. Оставаться здесь одному тоже слишком тяжело...

„Ах яблочко, куда котишься?
В Бразилию попадешь, не воротишься.“

Сегодня к вечеру нужно подать свою фамилию...

Из нашей палатки едут: Таганеев и два брата Перелетовых. Дядя Костя, Платосик и я — остаемся. Все палатки приблизительно дают отъезжающих в такой же самой пропорции... Списки уже составлены и заверены подписью Сахарова. Ночь. Я не сплю. Мы лежим с Таганеевым, тесно прижавшись друг к другу. Прощай, любимый друг. Завтра ты уже уйдешь от меня, нас также разведет с тобой слепой случай, как развёл меня уже со многими. Прощай.

Я лежу с открытыми глазами и смотрю на горящий костер. Потрескивают сучья... рассыпают искры. Спит Таганеев. Спит дядя Костя и Платосик. Храпят. Братья „коммерсанты“ вполголоса все обсуждают, как они приобретут себе в Бразилии богатства. Меня начинает от этого мерно

говора клонить ко сну. Я начинаю дремать. Мне грезится мой дом, далекая Россия, моя мать... Я вхожу к себе, в свою комнату, подхожу к своему столу и вдруг вижу ясно в темноте две блестящие отрубленные кисти рук, они машут мне, правый указательный палец поднимается вверх и манит меня к себе... Я хочу подойти, и вдруг раздается страшный нечеловеческий крик... Я вскакиваю и открываю глаза... Крик все усиливается... Что это? Где? Кто кричит? Я ничего не могу понять! Все в палатке просыпаются... Кричит дядя Костя... У него на груди мирно спит свернувшись в клубок огромная змея... Как она заползла сюда, эта гадина?... Нужно спасать... но как хорошо, что змея не делает пока никаких попыток шевельнуться. Она застыла в таинственной, жутко-неподвижной позе.

„Тихе... не шумите... иначе укусит... У братьев „коммерсантов“ оказываются под рукой две палки. Мы их крепко связываем крест на крест ножницами... дядя Костя лежит, в ужасе выпучив глаза. Кулаки его судорожно сжаты... А может быть уже укусила? Осторожно подкрадываемся... закидываем змею и бросаем в костер... Шипит гадина!.. извиваясь!.. Дядя Костя истерически вскрикивает... Мы даем ему воды... Его корчит от отвращения и ужаса... Ничего, дядя Костя!.. на этот раз ты спасен.

Косой луч зари пробивается через входное отверстие в палатку. Он играет на лице спящего дяди Кости... потом игриво пробегает по руке Платосика, мимолетно скользит по его небритой, впалой щеке и останавливается уже неподвижно на громко храпящих „коммерсантах“. Вставать пора... Уже утро. Пробуждайтесь от сна. Из „действующего корпуса генерала Кутепова“ доносятся до нас сигнальные рожки. Всего три версты только до него... Весело чирикают птицы, природа проснулась, вставайте. Сегодня особенный день. Сегодня день великого расставания с бразильцами. Сегодня они отправятся все в Галлиполи, чтобы грузиться на „Лаплату“ и ехать в далекую, неизвестную страну... с тем, чтобы быть может никогда оттуда не возвратиться... По земле неуныюще ползет тысяченожка... жирная, коричнево-черного цвета — я беру камень и раздавливаю ее...

* * *

Мы вышли на дорогу их провожать. Бразильцев около 60 человек. Прощайте, ребята... Не забывайте нас... Едут главным образом крестьяне, знакомые с сельскохозяйственными работами, привычные пахари. Едет и несколько офицеров... Они выстраиваются попарно. Прощайте, ребята... Я жму руку Таганееву... У нас на глазах слезы... Сейчас мы расстаемся. Дядя Костя и Платосик жмут всем руки. Всем грустно, наверное, так же, как и мне...

Горе сближает. И эти люди, уезжающие куда-то в незнакомую, далекую страну, нам не чужие... Мы сидим с ними, так же как и они. Прощайте, ребята... Пишите.

Запевало начинает петь...

„Эх жисть моя, жисть разнесчастная,
Долина слез ты злосчастная“.

Все подхватывают и „бразильцы“ начинают подниматься на холм. Мы идем их немного проводить. Прощайте ребята, не забывайте... и вы также нас... Все целуются и обнимаются друг с другом. Прощайте не поминайте ляхом.

* * *

Я, Платоски и дядя Костя шагаем по дороге по направлению к греческой деревне; деревня находится от лагеря в 6 верстах. Мы идем туда с коммерческими целями. У дяди Кости есть 2 куска „туалетного мыла“ и он хочет их „загнать“ и купить на эти деньги „дуранто“. Я и Платоски идем с дядей Костей просто так, ради прогулки и приятной компании. Вот и деревня. Она расположена так живописно на горе, окруженная чащей плодовых деревьев. Деревья в цвету и рельефно выделяются на ярком фоне голубого неба. Мы входим в деревню. Улица грубо вымощена камнем. С обеих сторон дороги небольшие домики, крытые красной черепицей. Перед домами скамейки, так и манящие усесться на них и отдохнуть... всюду сады. Много розовых кустов. Воздух от тени прохладный, благоухающий. Нет никого... Как странно, точно вымерла вся деревня... Глухо стучат наши сапоги о камни. Мы всматриваемся в окна домов — никого нет... Мы идем дальше и наткнувшись наконец на первое живое существо. Это упряженный мул. На его спине плетенка, а в ней „кукуруза“. Мы садимся и идем. Выходит наконец грек. Мы торгуемся с ним без конца... и вымениваем наконец за 2 куска туалетного мыла 4 фунта „дуранто“-кукурузной муки. Ладно, говорит дядя Костя, все равно больше мыла нет, так нечего и жалеть. Сказав это, он отправляется обратно, и мы идем за ним, слегка понурные, и утомленные. Где наши бразильцы? Посадились ли они на пароход?.. а может быть уже плывут теперь по проливу?...

А жаль все-таки, что мы не уехали. Никогда не надо ни о чем жалеть говорит философски дядя Костя... Мы начинаем спускаться с горы.

Прошла уже неделя с тех пор, как ушли „бразильцы“.. Лагерная жизнь стала входить в колею. Понемногу стали мы привыкать к отсутствию наших товарищей, как вдруг неожиданное известие как громом сразило всех: „бразильцев не выпустили из Галлиполи“. Эту новость нам принес наряд, вернувшийся с хлебом. Как выяснилось впоследствии, дело обстояло так: Когда партия прибыла в Галлиполи, их соединили еще с другими партиями желающими отправиться из города, и на ночь поместили всех вместе на просторном пустыре, окруженном полуразбитыми домами. Зажгли костры, и ребята стали готовить себе пищу. Настроение у всех было приподнятое, бодрое, никто не думал о сне. Так до самого утра почти никто не ложился спать. Еще накануне вечером объявили, что посадка будет производиться в 8 утра, поэтому, когда в 6 часов стали появляться значительные патрули, все решили, что это пришли уже за ними, что бы конвоировать для порядка на пристань и присутствовать при самой отправке.

Наступает уже назначенный для посадки час, а людей и не думают отправлять. Выбрали старших, которых и послали узнать, отчего не отпра-

влияют. Когда старшие подошли к дежурному офицеру и задали ему вопрос, дежурный офицер заявил, что „его превосходительство“ генерал Кутепов почему то изволил задержаться, но что он должно быть скоро прибудет и тогда партии отправятся на пристань. Солдаты ждут еще два часа... Наконец начинают раздаваться крики возмущения... назревает бунт. Патрули снимают с плеч винтовки и берут их на изготовку. Все начинают понимать, что попали в какую то ловушку. В толпе начинают носиться панические слухи о том, что будут всех расстреливать по приказу Кутепова... Под влиянием этих слухов многие делают попытку бежать с пустыря, но напрасно. Пустырь окружили со всех сторон Марковскими и Корниловскими частями... выход отрезан. Всем делается ясно, что они обмануты, что никакой поездки не будет.

„Товарищи мы в ловушке!“ Многие в панике мечутся по пустырю, тщетно пытаюсь прорваться через кольцо... в два часа дня на автомобиле приезжает Кутепов... Он быстро слезает с автомобиля и подходит к „бразильцам“. Он держит к ним речь, в которой заявляет, первым делом, что никуда они отсюда не поедут... так как иностранцы передумали их брать в Бразилию, дабы не распылять русскую армию, которой еще предстоит множество славных дел на ратном поле... А кроме этого... в скором времени все части будут уводиться из Галлиполи в Сербию на пограничную службу и в виду этого правительство не допустит никакого распыления армии, и всякая попытка к этому будет беспощадно караться“. Кутепов заканчивает свою речь тем, что обещает всем виновникам, т.-е. лицам, выразившим желание покинуть армию, прощение лишь в том случае, если „они в дальнейшем бросят всякие попытки разбежаться“. Все подавлены и не знают, что делать. Люди смиряются и ждут, что будет дальше. Тем временем „Лаплата“ не погружившая ни единого пассажира из русских, снимается с якоря и уходит. Только через шесть дней „бразильцев“ распускают снова по своим частям. Наиболее яркие по мнению „контр-разведки“ виновники подвергаются дисциплинарным наказаниям и аресту. Так кончается попытка русских уехать из Галлиполи...

На следующий день после этого слуха пришел к нам в лагерь Таганеев. Его рассказ совпадал вполне со слышанным уже нами описанием события. Нет границ нашему возмущению. В этот день генерал Сахаров держит себя с нами особенно нагло и вызывающе.

Идет дождь, гулко барабанят капли по черепицам домов. Таганеев и я идем по улицам Галлиполи; у каждого из нас за спиной по тяжелой вязанке хвороста. Мы принесли эти дрова из леса в Галлиполи для продажи. Вот уже целый месяц, как мы занимаемся с Таганеевым этим промыслом, два раза в неделю мы выходим из беженского лагеря в 5 часов утра и направляемся за четыре версты в горы. Там мы рубим деревья, увязываем в вязанки и носим на своих спинах за 12 верст еще в Галлиполи. За каждую вязанку нам дают по $\frac{1}{2}$ драхмы. Сегодня нас преследует неудача. Никому нет дела до наших дров. Никто не покупает... а мы выбились уже из

сил... Еще немного, и если их никто не купит, мы побросаем наши ноши на землю. Нет никаких сил тащить наш „товар“ обратно к себе в лагерь.

„Кому надо дров? хороших дров?“ Должно быть никому не надо!

Мы сбрасываем наши вязанки на землю и садимся на корточки по восточному. — Болит спина. Зудят ноги. Разболелась голова... В 5 часов мы встали, а сейчас уже 8 вечера. Столько верст прошли и ничего не ели. Ведь нет и одной лепты. Ах если-б кто-нибудь хоть купил у нас эти дрова! Немного передохнув, мы снова поднимаемся, наваливаем на свои спины вязанки и идем дальше. Ноги передвигаются как колоды, мы ничего не замечаем от страшного утомления, нет мысли кроме одной... продать во что бы то ни стало... Иначе наш каторжный труд пропадет даром и мы все бродим шатаясь по улочкам и кричим дров, кому надо дров?

Сегодня я встретил в Галлиполи Гузу. Он стоял перед кофейней и пытался продать рубашку. К нему подошел какой-то толстый грек и они стали торговаться. Грек чмокал губами и качал, как „ишак“, головой. Я стоял вдали, не желая мешать Гузе. Наконец рубашка была продана, и тогда я окликнул товарища. Как он мне обрадовался. Пошли расспросы о том, как и живу в беженском лагере, не думал ли я тоже ехать в Бразилию... Стал потом рассказывать про себя и сообщил печальную новость. Умер Петя от лихорадки, всего лишь три недели тому назад. Когда я услышал о смерти друга, боль сжала мое сердце. Сколько уже погибло здоровых, сильных... во имя чего?

Мы вошли в кофейню, и Гуза заказал 2 рюмки коньяку. Завидя мое смущение, он хлопнул себя по карману—рубашку он продал и желает угостить приятеля.

„Ну, как живешь Гуза?

„Так же, как и ты, должно быть, а в смысле здоровья неважно. Мучат нарывы. Мне больно ходить, даже лежать... Лечусь, да толку нет никакого, все ползут дальше по телу. А ты?

„Теперь как будто стало лучше... только на ногах... а на теле прошли“. Я стараюсь не обращать внимания, главное чаще купаться нужно... У нас ведь хорошо, есть река, а у вас соленый пролив — разъедает. А знаешь Жорж, ведь Гахагарла тяжел обомлел и лежит в госпитале.

Жаль друга.

Мы пьем уже по пятой. Грек, сидящий напротив меня, стал отчего то раздуваться как мыльный пузырь... а потолок кофейни перекосялся на бок...

— Не лопнет?—спрашиваю я у Гузы и показываю на грека.

Мы оба пьяны и нас душит беспричинный смех

„Яблочко... куда котиться,
в Галлиполи попадешь, домой не вернешься“.

Это поет Гуза. Поет он плохо, но мне кажется, что лучшего пения я никогда не слышал... приятная теплота разливается по моим жилам, и легкий туман точно вуалью застилает мои глаза.

* * *

Вчера умер поручик Тагомиров, умер для всех нас неожиданно в полном расцвете своих сил. Ему было всего лишь 30 лет. Его укусила ядовитая змея в то время, когда он в чаще выбирал подходящие для рубки молодые деревца... Спасти его не удалось. Сколотили простой гроб из необтесанных досок и положили в него покойника. Еловые ветки были его последним украшением. Четверо беженцев подняли гроб, и печальная процессия медленно двинулась к небольшой горке. Там наскоро вырыли ему могилу и опустили в нее тело Тагомирова. Он ушел из жизни... Больше никогда мы его не увидим. Спи спокойно своим непробудным сном, еще жертва тупоголовых генералов... спи... Распылится когда-нибудь злостастная армия по свету, уйдет последний солдат с Галлиполийского полуострова, и никто не будет знать из твоих близких, где ты похоронен. Лишь маленький камень сверху на бугорке, как раз над твоим застывшим сердцем, будет безмолвно свидетельствовать еще об одной безвестной могиле.

* * *

Начался 3-ий период моей жизни в Галлиполи. Вчера в беженский лагерь пришел посыльный с предписанием назначить пять человек на корпусную хлебопекарню в качестве рабочих. Меня туда назначили, и завтра я должен буду уже покинуть лагерь. Мне больно покидать нашу палатку дядю Костю, Платосика, Таганеева... Я сжился с их жизнью, мы делили сообща и горе и маленькие радости. Эти люди стали мне близкими и дорогими... а там, впереди, что ждет меня?}

Вот уже месяц, как я работаю при казенной хлебопекарне рабочим. Я встаю каждый день в шесть часов утра, кипячу воду, наскоро пью чай с куском хлеба и иду работать с артелью. В артели нас десять человек рабочих. С раннего утра до позднего вечера мы перетаскиваем на спине кирпичи, предполагают строить баню при пекарне. Приходится бегать чуть ли не за две версты от Галлиполи к развалинам старой башни и оттуда таскать строительный материал. Работа утомительная и неблагодарная. Мы живем в маленькой, грязной палатке на самом берегу [пролива, сбоку хлебопекарни. После нашей палатки в беженском лагере тут невыразимо грязно и тесно... На берегу стоят огромные чаны и мы должны каждый день [после работ наполнять их водой, разжигать под ними костры и кипятить воду для закваски. Я думал, что при хлебопекарне мне будет сытнее жить. Ничего подобного. Я сижу на таком же дрянном пайке, даже еще худшем: замиштр хлебопекарни мошенник первой руки и вечно недодает нам даже нашего законного пайка. Зато мы можем любоваться, как пожирают хлеб хлебопеки... Воровство среди них идет отчаянное. Они на ворованные деньги накупили себе костюмов, каждый вечер пьяны и курят дорогой табак. Это простые пекари... А что творится среди начальства — так трудно даже рассказать. Они воруют до дна изнеменности и все об этом знают и почему то молчат,

должно быть бояться. От главного французского интендантства до нашей пекарни проведена миниатюрная железная дорога со шпалами. Теперь мы кончили перетаскивать кирпичи, и нас заставляют перевозить в маленьких вагонетках мешки с мукой. Мы подвозим муку до самых дверей хлебобеккарни и потом уже на спине перетаскиваем мешки с мукой. Эта дорога проведена на две с лишним версты, и все время происходят работы по прокладке дороги и дальше. Работы производятся даровыми силами — трулом подневольным. Назначаются ежедневно наряды, большие партии солдат человек в 200—300, и все сооружается их руками. Ко мне иногда заходит Гуз, а также мои друзья из беженского лагеря. Как бы мне хотелось их покормить хлебом, но увы, у меня самого его нет. Должно быть они думают, что если я служу при пекарне, то у меня есть и хлеб. Увы, друзья, ведь я не пекарь, а всего лишь простой рабочий. Вчера вечером Кутенов объявил по Галлиполи приказ... Все высыпали на улицы читать. „Это что еще за новость“? В приказе говорится о том, что в России переворот. Кронштадт уже взят руками патриотов, и что весь мир с восхищением следит за геройской освободительной войной. „Орлы — будьте готовы к бою“, так заканчивается приказ.

„Пусть сам едет пузатый чорт. „Ладно. Соловья баснями не накормишь“. Смеются солдаты. За ночь все эти приказы сорвали. На следующий день вывесили вновь и у каждого приказа поставили для охраны часового...

Как раз напротив нашей пекарни, ну быть может домов десять от нас правее, помещается Алексеевское юнкерское училище.

Юнкера нарисовали на стене Кремль и разукрасили гарляндами... Все надеются еще завоевать Россию и посадить урядника с полицейским. Один из рабочих пекарни нарисовал интересную картинку, должно быть в ответ юнкерам. Нарисовано кладбище: всюду покосившиеся кресты... сплошное море могил... Над могилой стоит Кутенов. Он высох и превратился в скелет... Правая рука его протянута, куда то вперед... на горизонте виднеются Кремлевские стены — внизу картинки надпись: „Надейтесь орлы, мы еще будем там“?

У меня опять по телу пошли нарывы, два раза я уже лежал в госпитале. Меня смазывают желтой мазью, перевязывают, но раны все уудшаются... Я совершенно погибаю от них... Неужели так мне и не удастся выбраться из этого ада. Я познакомился с пекарем Николаевым. Он бывший студент. Очень славный парень, хотя немного двуличный и хитрый... В госпиталь он носил мне суп и хлеб. Я знаю, что болезнь моя от плохого питания, и грязи. Неправильный обмен веществ... вырваться бы отсюда как можно скорее и я знаю, что выздоровлю. Все госпитали полны солдатами и офицерами, которые покрыты этими гнойными болячками. Говорят от этого можно умереть. Неужели так и не удастся выбраться отсюда? Неужели суждено провести долгие годы на этом проклятом полуострове под палкой генеральских подхолимов. Я выписался из госпиталя, но каждый день приходится ходить на перевязки. Какая нечеловеческая боль, когда отли-

рают повязки. Как отвратительны эти раны... Но самое ужасное это почти невозможность ходить и сидеть, а мне нужно таскать тяжелые мешки с мукой. Всякий вечер, когда я снимаю с себя рубашку, по телу моему течет кровь. Мешки сдирают незаживающие струпья. Ходил вчера к Кобецкому. Он поражен, что я не штатский... Хитрый пройдоха, не может быть, чтобы он не был в курсе дела... Меня утешает лишь то, что он сам покрыт с ног до груди нарывами и еле может ходить.

Мы сидим с Николаевым в кофейне и он угощает меня водкой. Мне на все теперь наплевать. Отчаяние уже зажало мое горло в свои цепкие щупальцы... Мне кажется я смог бы подойти к Кутепову и без всякого колебания размошжить его поганую голову первым попавшимся на дороге кирпичом.

Коля поит меня водкой и я пью. Мне все равно, безразлично, в каком виде я явлюсь в пекарню. Шумит в голове... Все вертится перед глазами. Николаев пьет „оглушительно“ и уже сильно пьян.

„Знаешь Георгий — говорит он — бежим отсюда... сейчас же... завтра. Он берет рюмку с белой, кристальной чистоты жидкостью и залпом выпивает... Потом шумно плюет на пол, прямо под ноги какому то греку „Бежим, надоели эти сволочи золотопогонные измызальщики!“ Он начинает непечатно выражать всю свою злобу на них, удесятеренную выпитым алкоголем. Я давно уже бессознательно думал об этой единственной возможности выбраться отсюда. Но теперь я уже окончательно решаюсь на этот шаг. Бежать... бежать... бежать... Стучит пьяная, нудная мысль... бежать во что бы то ни стало, иначе пропоешь тут, сдохнешь, как собака. Вы жмем друг другу руки, плачем пьяными слезами, громко ругаем Кутепова, всех загнавших нас сюда в эту дыру... И пьяные пекаря вдруг начинают вытанцовывать необычайные, экзотические па перед моими глазами, бросаю в лицо Кутепова тягучую, желтого цвета закуску...

Стоит ли говорит о том, что за „попойку“ мы отсидели каждый по две недели на гауптвахте... Потом нас конечно выпустили и снова засадили за работу. Я стал опять таскать тяжелые мешки с мукой и перевозить на вагонетках, а пекарь Николаев вернулся к печи и лопате, на которую стал сажать снова свои хлеба. Но что твердо мы решили в пьяном виде, не выскакивало из наших голов и в трезвом. Мы ждали лишь удобного случая, чтобы наконец осуществить свой план бегства...

И наконец этот долго жданный случай наступил. Однажды вечером часов в 10, прибежал ко мне в палатку весь запыхавшийся Николаев и вызвал меня наружу. Я закурил папироску и мы вышли. Товарищ отвел меня к самой воде и мы уселись на плоские камни.

„Вот зачем я пришел к тебе... но прежде дай закурить — больше папирос у меня не было и я дал ему докурить свою. Он нервно затянулся несколько раз подряд и вдруг заговорил тихим, почти сдавленным шепотом. Сегодня ночью уходит греческий пароход в Константинополь. Нам необходимо на нем сегодня же ночью удрать. Сейчас пароход грузят углем и я

думаю, что сможем пробраться на палубу. Мои вещи уже сложены. Забирай свои монетки и идем. Кровь бросилась мне в голову, а ноги сразу стали странно тяжелыми, точно их налили свинцом.

„Хорошо, я готов бежать. Но я не могу уже входить в палатку... Это может вызвать подозрение, если я стану забирать свое барахло.

„Ну так чорт с ним, бросай, свобода дороже. — Мы немедленно встали и пошли, чтобы окончательно не вызвать подозрения / персонала в пекарне, которые могли совершенно случайно очутиться где-нибудь недалеко от нас в темноте... Николаев стал насистывать песенку

„Яблочко куда котишься
в Галлиполи понадешь — не воротись!..“

„Идем „пошлендраем“ по улице... Скучно что то. — Проговорил я ему в ответ нарочно громко... И хорошо сделали. Как раз в этот момент тяжелая рука легла на мое плечо и я увидал перед своим носом вахмистра хлебопекарни.

„Вы что ребята бродите... Пора спать.

„Знаем Антон Егорыч, сами знаем, что спать надо... Ведь завтра раненько вставать... Так хотим перед сном пройтись, повалять про свои дома. — Вахмистр должно быть поверил. — Знаем про дома... небось до девок. — Мы нарочно громко рассмеялись и не стали разуверять вахмистра. Первая опасность миновала. За поворотом Николаев не слеша подошел к какому то дому и поднял маленький узелок — это были его вещи, мы пошли нарочно медленным шагом громко разговаривая о всякой ерунде, в то время как у нас обоих подгибались от волнения колени. Два раза мы повстречали патруль. Николаеву пришлось бросить свой тучок, чтобы не вызвать подозрения. Но патруль нас не стал опрашивать. Вот наконец и пристань... В ночном полумраке вырисовывается черный контур греческого парохода. Помню как сейчас его, он был небольшого тоннажа и совершал рейсы исключительно между Галлиполи и Константинополем. Борт его свободно, почти вплотную подходил к деревянному молу, длинной косой выдающемуся в пролив, и всякий раз когда начинала работать лебедка, он слегка кренился и вздрагивал, чуть чуть ударяясь боком о сваи.

Работает лебедка, из трубы идет дым, нос корабля дрожит, должно быть работает машина.

„Палундра“ несутся крики. Полуголые тела втаскивают на плечах огромные мешки с углем по узкой доске. Работают при свете фонарей. Лица грузчиков закопчены угольной пылью. Крупные капли пота стекают с них. По бокам доски, перекинутой с мола на борт, стоят патрули сенегалов. Они держат у своих ног винтовки и следят за тем, чтобы никто из посторонних не проник на пароход. Мы в отчаянии. По доске пробраться невозможно. Арестуют. Что делать? Раздеться и начать таскать угольные мешки, смешавшись с грузчиками нельзя: артель знает своих наперечет. Мы не рискуем выходить далеко из темноты, чтобы не обращать на себя внимания лиц, могу

щих нас опознать. Наш план разгужен. Бежать не так то легко с этого проклятого полуострова. Мы начинаем по молу огибать в темноте борт. Николаев вдруг слегка вскрикивает. С невысокого борта свешивается вниз канат... Мы осторожно натягиваем его... Он держит крепко. Какой спаситель послал нам это счастье. Первый ползет наверх Николаев, я с бьющимся серпом жду внизу... вот он уже на середине... Еще минута и... что это... неужели у него не хватит сил взобраться на верх... Нет, минутная слабость. К счастью борт не высок я берусь уже за веревку и хочу карабкаться... Вдруг ко мне кто то идет... Я замираю от ужаса. Из темноты выходит фигура и направляется ко мне. Это грузчик. Молодой парень лет 20-ти... Крепкая мускулистая полуголая фигура... И я в его руках.

„Дай огонька прикурить.

„Не курю дружище. А ты что тут стоишь?

„Эй, Петров, вдруг несется из темноты голос... Иди, сукин сын, таскать... Грузчик поспешно удаляется. Я стремительно ползу по веревке, сдираю себе кожу на ладони, почти ничего не сознавая. Наверху меня хватает Николаев я почти изнемогаю от пережитых волнений... Мы осторожно по палубе начинаем пробираться вдоль борта. Мы ищем люк, чтобы запрятаться там как крысы... Забиться так, чтобы нас никто не нашел... И нам это удастся. Сколько времени мы сидели в своих тайниках — не знаем... Потеряли счет.

Как будто начал работать вент... Хотя бы скорей отчаливал пароход! Нет больше уж сил... Нет должно быть уже не поймут проклятые... Качнуло. Так и есть, резкий протяжный гудок...

Прощайте друзья, Дядя Костя, Платосик, Таганеев и Гузя... Прощай Гахагарла, бедный больной сенегал! Прощайте... Вы уйдете от меня также куда то в бесконечную туманную даль, вместе с Галлиполийским житьем, со всеми нашими невзгодами, страданиями, слезами и постепенно ваши лица сгладятся из моей памяти... И все будет казаться далеким, тяжелым сном... Время стирает все...

Прощайте.

Георгий Федоров.



Художник двух революций.

(С. В. Чехович).

1.

Политическая карикатура, особенно пышно расцветавшая в дни революционные, является драгоценным материалом, дополняющим и оживляющим архивные данные, с которыми по преимуществу оперируют наши историки.

В этом отношении особого внимания заслуживает художественный путь, пройденный Сергеем Васильевичем Чеховичем, выступившим в годы первой нашей революции и продолжающим работать до сего времени.

Для большинства, привыкшего в нем видеть художника-эстета, для людей, запомнивших только его очаровательные „узоры из роз“, тончайшие виньетки и заставки, его классический ампир, его фарфор, быть может эпитет сатирика рядом с именем Чеховича покажется неожиданным, особенно после той характеристики, которую дала этому художнику, вышедшая в этом году, роскошно изданная и специально посвященная ему, монография Эфроса и Пунина¹⁾.

Абр. Эфрос подробно остановился на социальном значении художественного творчества Чеховича, попробовал дать его портрет, но вышел у него художник каким-то двудликим.

Чехович первого периода у него „очарователь и дамский кумир“, „акварелист богатой жизни“, „поэт вековой государственности“ и т. д. Словом человек в безукоризненном смокинге, с орхидеей в петлице.

Чехович после октябрьской революции — в стане большевиков, чуть ли не в кожаной куртке, пламенный трибун нового строя. Критик сам в недоумении останавливается перед этой загадкой. Для него советский

¹⁾ Абр. Эфрос и Ник. Пунин. „С. Чехович“. Госуд. Изд. М. 1924.

облик Чехонина „слишком неожидан“: — как светский художник стал советским? От какого трамплина — недоумевает он, — должен был оттолкнуться Чехонин, чтобы очутиться среди низового, громящего, лязгающего, рушащего, разинского, пугачевского „большевицкого“ — стана?

„Если бы еще, говорит Эфрос, он изменил своему искусству, забыл свое старинное мастерство, отказался от нежнейших гирлянд и гербов, повернулся спиной к ампируму этикету; если бы перестал быть спутником аристократии, опростился, ушел в народ, как хаживало столько наших великосветских опрошенцов, если бы Савл стал Павлом, тогда мы, современники, еще появлялись бы его. Но этого именно не было, не было метаморфозы, внезапного обращения, скинутых одежд наготы, препоясанных чресл и пепла на голове. Чехонин ни от чего не отказался, своего искусства не изменил, любимых вещей не забросил, продолжал говорить тем же высокомерным языком ампирных форм, каким говорил раньше, даже становился все сложнее, обращался к более искушенным глазам, рассчитывал на более придирчивый вкус, и однако же его перо и его кисть тончайше выписывали не императорские вензеля, а октябрьскую аббревиатуру „Р.С.Ф.С.Р.“ и нежнейшим голосом фарфора, два века привыкшим грассировать про „веру, даря и отечество“, выводил советскую сюиту: „долой помещиков и капиталистов“ „пролетарии всех стран, соединяйтесь“, „да здравствует октябрьская революция“ и „дарству рабочих и крестьян не будет конца“.

Для большей ясности критик поясняет свое положение образным примером. „В 1912 году, в столетний юбилей отечественной войны, говорит Эфрос, русская армия была заново переобмундирована в „стиле 1812 года“. В самый канун серых, прячущихся, защитных форм мировой войны, армия засверкала многоцветием сукон и лаком киверов, а в придворно-хлыстовских кружках, играя на смене императорских вензелей на мундирах, заговорили о прееестве славы“. Так вот: Чехонин продолжил эволюцию: он сорвал императорские буквы, наложил на александровский мундир эмблемы серпа и молота и убежденно, как еслиб это был официально утвержденный „style sovietique“, вошел в таком наряде в строй рабоче-крестьянской государственности“.

Как просто. Однако, если Чехонин таков, каким его рисует его истолкователь, то он прежде всего совершенно не художник, и тогда зачем же ему посвящена такая, прекрасная с внешней стороны, монографическая книга? Это самый обыкновенный декоратор, дающий рисунки, по принципу „готовых и по заказу“... Чем же тогда объясняется тот особый стиль, тот особый „почерк“, по которому узнают сразу Чехонина как первого, так и второго периода? Откуда, наконец, тот захватывающий пафос, порожденный в Чехонине нашим октябрём, пафос, которого не мог не отметить сам критик, давший ему титул „трибуна“? Почему так захватывающе гудели после октябрьской революции его ампирные трубы?

Эфрос признается, что этого он сказать не может. Он понял бы, по его признанию, такую перемену, если бы Чехонин хоть на минуту надел вла-

сянцу, посыпал пеплом главу и, по примеру наших „великосветских опрошенцев“ пошел в народ... Критику при этом даже в голову не пришло, что, быть может, Чехонину, то казаться было не в чем, да и совершать паломничество „в народ“ не приходилось, так как сам он был и есть в этом народе. У критика не хватило простого любопытства для того, чтобы разобраться более или менее добросовестно в этом вопросе, который вставал перед ним во весь рост, и перед ним больше, чем перед кем-либо другим, ибо до него решительно никто не полагал такой глубокой, в действительности вовсе не существовавшей, пропасти между двумя периодами этого интересного и своеобразного художника.

Ибо если бы недоумевающий критик не успокоил себя словом „тайна“ и сколько-нибудь внимательно заинтересовался, не говоря уже биографией, а первыми шагами, первыми работами Чехонина, то, конечно, сам бы отбросил написанный им портрет Чехонина, не имеющий абсолютно ничего общего с оригиналом и в значительной степени подорванный уже напечатанной рядом статей близко знающего Чехонина — Н. Н. Пунина.

Начать с того, что Чехонин — ученик И. Е. Репина.

Тут он получил не только первое начало своего художественного мастерства, не только техническую, но и идеологическую подготовку. Что такое Репин — общеизвестно, и уже одно это обстоятельство, казалось бы, не давало права критику Абр. Эфросу писать портрет Чехонина в тех тонах, как это он сделал в своей книге.

Автор, очевидно, даже не подозревал, что Чехонин, с раннего детства, жил в атмосфере, насыщенной самыми живыми и серьезными революционными настроениями. Он родился 2 февраля 1878 года, в с. Лыкошине (ст. Валдайка) и вырос в доме, принадлежавшем поэту Некрасову. Неподалеку от имени Некрасова, находились деревня Сябринцы (около ст. Чудово), сыгравшая в его политическом воспитании особенно большую роль.

В этой деревне находилось маленькое имение Глеба Успенского. Сын Глеба Успенского — Александр, инженер по профессии, близко стоял к боевой организации, был очень деятельным членом революционных кружков того времени. Высланный в административном порядке из столицы, Успенский поселился в имении отца и устроил здесь чертежную мастерскую, куда вскоре и попал чертежником 18-летний Чехонин, служивший в то время конторщиком на Николаевской железной дороге.

Начавшееся на такой чисто деловой почве знакомство скоро перешло в близость. Чехонин стал близким членом этого кружка, имевшего свою конспиративную квартиру на Белозерской улице (Петерб. ст.). Тут бывали Брешко-Брешковская, Савинков, бывал Азеф... Работала молодежь — П. Е. Щеголев, Е. Е. Колосов и другие. Работа кипела горячая, почти в открытую, и работа большая.

Кружок принимал деятельное участие в подготовке покушения на Столыпина. А. Успенский решил использовать для этого случайно полученное им от известного богача Елисеева приглашение выстроить на его даче, на Аптекарском острове, примыкающей к даче Столыпина, оранжерею. Помощником своим для этого он пригласил инженера Рутенберга, убившего впоследствии Гапона.

Рабочие тоже подобраны были соответственные, и одновременно с постройкой оранжереи конспиративно велись работы совершенно иного свойства.

Молодой чертежник Чехонин, конечно, был в курсе всего происходящего. К этому, приблизительно, времени относятся и его первые опыты в области политической сатиры. Здесь, вместе с А. Успенским он задумал и даже



Медаль, выбитая в память нового закона о свободе печати
(„Зритель“. 1905 г. 4 XII).

исполнил свою революционно-сатирическую работу „Революционную азбуку“, которую предполагалось издать в Женеве.

Из рисунков, сделанных для этой азбуки, особенно ядовитой была буква „М“ — „Манифест“.

Рисунок, иллюстрировавший эту букву, представлял собой здание колоннад в Царскосельском дворце. Внизу у лестницы, у одной из колонн, стоял малень-

кий мальчик и тонкой исходявшей из него струйкой, которая отливала цветами радуги, писал на снегу слово „Манифест“.

Азбуке этой, не суждено было увидеть света. Причиной послужило неосторожное решение отпечатать ее не в Женеве, а, для ускорения, в Петербурге, замаскировав ее только указанием на Женевскую типографию. Полиции, однако, удалось узнать об этом, она неожиданно нагрянула в типографию Зееста, где книга печаталась, арестовала не только отпечатанные уже листы, но и самые оригиналы рисунков, которые так и погибли ¹⁾.

Неудача, однако, не обескуражила Чехонина. В это время начал выходить сатирический журнал „Зритель“ Ю. К. Арцыбушева, занявший вполне определенную антиправительственную позицию.

— Я, вспоминает Чехонин, однако, вошел в него не сразу. Начал к нему приглядываться. Чт-орт его знает — ведь могла быть провокация.

Действительно, пример Азефа, оказавшегося потом самым злостным провокатором, показывает, что осторожность была далеко не лишней.

Только спустя месяц, когда вышло 5 — 6 номеров, Чехонин зашел в редакцию и, не называя себя, оставил небольшую совершенно невинную виньетку (крестьянин, играющий на рожке) и большой страничный рисунок „Старые балабайки“, на котором фигурировали, с большим портретным сходством сделанные, издатель „Нового Времени“ А. С. Суворин, издатель „Гражданина“ кн. Мещерский и редактор „Моск. Вед.“ Грингмут.

Эти рисунки, напечатанные в № 6 „Зрителя“, и были в сущности началом сатирической работы Чехонина, который вскоре близко сошелся с столпами „Зрителя“ — Арцыбушевым и Н. И. Флаевым и начал вместе с ними „подрывать основы“ с особым увлечением.

Дело это он принял настолько близко к сердцу, что впоследствии, когда „Зритель“ был запрещен, он в 1906 году оказался ответственным редактором нового, выступившего ему на смену, журнала „Маски“, и вел его настолько остро, что 6 и 7 номера журнала были конфискованы, а после 10-го журнал закрыт совершенно и редактору пришлось спасаться бегством за границу.

В конце 1905 года он, через того же А. Успенского, получил работу в Москве по отделке открывавшейся тогда гостиницы „Метрополь“ ¹⁾.

Для группы Успенского эта работа была столь же своевременной, как и постройка оранжереи на Елисеевской даче. В это время, в Москве, подготавлился вооруженное восстание, и там необходимо было иметь побольше своих людей, у которых можно было бы чувствовать себя, как дома, не соблюдая в точности довольно строгих в то время и мешавших работе, полицейских формальностей.

¹⁾ Не всплывут ли они когда-нибудь в архиве департамента полиции?

²⁾ Чехонину принадлежит здесь главнейшая внутренняя роспись гостиницы и маноликовая отделка фасада (правая сторона). Манолিকা приготавлилась в сл. Абрамцево у Саввы Мамонтова. Таким образом, и Чехонин, как большинство лучших художников того времени, прошел через Абрамцево и Мамонтова!

Таким образом, даже это временное переселение в Москву не выбивало Чехонина из ставшей для него привычной, конспиративной, атмосферы близкого ему революционного кружка.

II.

Неудивительно, что первые же рисунки Чехонина обратили на себя внимание яркостью своей сатиры. В них чувствовался не просто карикатурист, а именно сатирик, и сатирик политический. Вглядываясь в современные события, Чехонин, по рецепту Кузьмы Пруткова, всегда смотрел в корень и старался поразить не мелкую, в сущности безответственную, сошку, а именно этот корень, как бы это опасно ни было. Еще Чехов говорил, что „не надо нарочно сочинять стихи про дурного городского“... Чехонин тоже это понимал.

Июль и август 1905 года были трудными днями для русского общества. Верхи пробовали нажимать, чем и как могли. Уже 6 № „Зрителя“ сильно запоздал „по независящим обстоятельствам“. Из номера 8 были выкинуты все рисунки, замененные фигурой уныло-недоуменно разгуливающего по всем страницам журнала редактора. На первой странице № 10 был помещен большой рисунок, изображавший женщину с печатью молчания на устах. В редакции решено было быть особенно осторожными и ограничиться одними виньетками.

И вот Чехонин дает такую виньетку. Это была небольшая по размеру черная заставка — полная черных силуэтов. В эту рамку, в эту узенькую полоску он поместил целую группу героев момента, которым русское общество было связано всем происходившим. Сюда вошли: громоздкий, точно спустившийся с монумента Трубецкого Александр III, Иоанн Кройштадтский, Победоносцев, Столыпин, Горемыкин, Скрыдлов и др. Среди них путается под их ногами маленькая рахитическая фигурка мальчика с шишкой на лбу, по которой все должны были узнать и действительно узнали самого Николая II.

Портретное сходство всех фигур поразительное, но виньетка, миннатурная, не обратила на себя внимания цензора и чудом проскочила. Удивленный таким неожиданным разрешением, Арцыбушев увеличил эту виньетку почти втрое и поместил на распахнутом журнале.

Успех номера был колоссальный. Читатели сразу узнали в этом рисунке всю „черную сотню“... Менее догадливым помогала подпись парада: „25 силуэтов. 4, т. е. $25 \times 4 = 100$. Объединением всех попавших в нее фигур Чехонин сказал больше, чем могли сказать и говорили наиболее смелые публицисты.

Печать молчания не мешала дать понять, что во главе черной сотни, или вернее в ее руках, — сам царь.

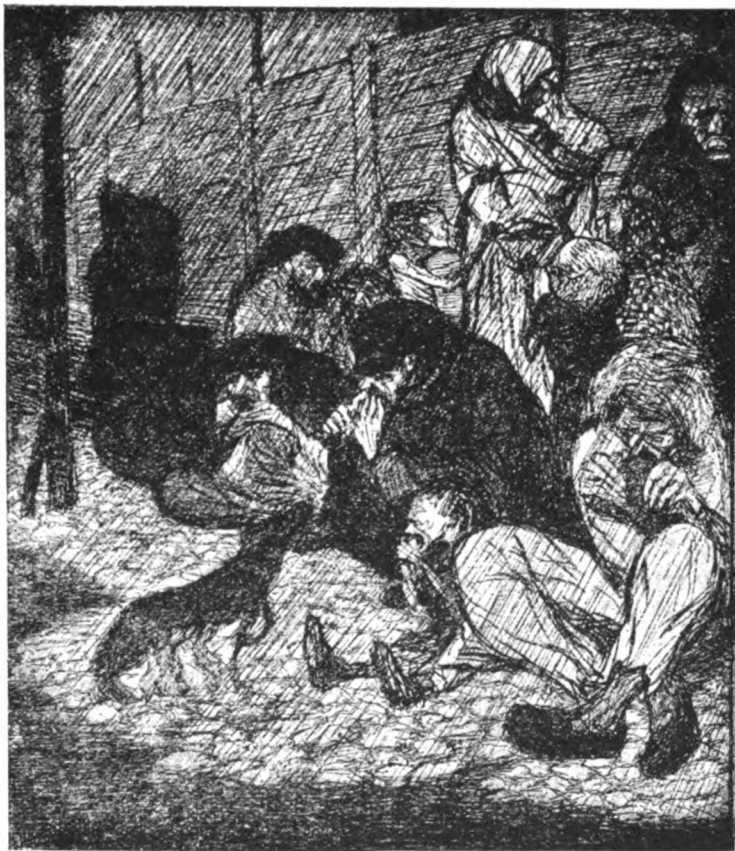
Номер „Зрителя“ был раскуплен моментально. К вечеру газетчики продавали журнал уже по 1¼ рубля (вместо 5 коп...), а кое-где даже по три рубля.

Так как рисунок прошел с разрешения цензуры, то против журнала преследования предпринять не могли, но цензорам внушение воспоследовало серьезное, и кое-кого даже переместили. Атмосфера была настолько угро-

жающей, что Чехонин предусмотрительно переехал на другую квартиру и некоторое время проживал без прописки.

Постепенно, мальчик с шишкой, пущенный в ход на этой заставке, возводится Чехониным в канон.

Достаточно было нарисовать рахитического мальчика с шишкой на лбу недоуменно-испуганно вглядывавшегося в оборванные проволоки телеграфа



После трудов. („Маски“, 1906, 8 II).

(см. виньетку на 258 стр.), для того, чтобы всем до наглядности стало ясным беспомощное положение и растерянность царя.

Чехонин открыто издевался над цензурой. Вглядитесь внимательнее в помещенную „Зрителем“ медаль, в центре которой закованный в тяжелую цепь-гирлянду художник (см. 240 стр).

Внизу висит огромная гиля. Звенья цепи состоят из голов, самых крупных черносотенных голов того времени: внизу направо черный силуэт

курносого Николая II, почти фотографически сходный, налево от него портрет „мамаши“ — Марии Федоровны, с ее типичной, хорошо известной по портретам, высокой прической, дальше идут портреты вел. кн. Владимира Александровича, Иоанна Крошадтского, Дурново.

Словом, та же „черная сотня“ только „другим манером“, как писалось в старых поваренных книгах.

Некоторые из газетчиков прилагали к номеру „Зрителя“ оттиснутый на гектографе список лиц, изображенных в этой виньетке.

Скованный по рукам и ногам художник, — (шаржированный автопортрет самого Чехонина) — однако, не унывает: зажатой в зубах кисточкой тщательно выписывает он еловую шишку...

Конечно, раз эти рисунки разгадывались снизу, то хотя с некоторым опозданием, но учились их расшифровывать и наверху.

— Чч-орт их знает, какие догадливые, смеется Чехонин.

А верхи защищали царя, конечно, вслеськи.

— 6 декабря, в день именин царя, я предложил, — вспоминает Чехонин, — напечатать на первой странице „Зрителя“ настоящий портрет Николая. Не разрешили... Чч-орт!.. Говорит, неприличное место.

Портрет, напечатанный в „Зрителе“ особенно в связи с текстом и на ряду с рисунками, изображавшими мальчика с шишкой, произвел бы конечно сенсацию.

Мальчик с шишкой, однако, был разгадан и пришлось искать новый символ, изобретение которого принадлежит опять тому же Чехонину.

На этот раз символ был более сложным. Как ни как, шишка, напевавшая на всем известный факт удара, нанесенного Николаю II в Японии японским городовым, была только внешняя примета. Теперь Чехонин пустил в ход „пылающее сердце“.

Первый раз оп дал это сердце в руки Витте, на карикатуре, напечатанной еще в „Зрителе“ (№ 20). Это было „сердце царево, в руке“ не божией, но призванного спасти отечество Витте.

Обладатель этого сердца восседал на лидвалевской ¹⁾ „урне благовония“ в шутовском колпаке, на котором, в виде коварды, помещены полицейский свисток и крючок. По всему борту рисунка — энергичные кукиши по направлению к Витте (см. 257 стр.).

Карикатура была и откликом и одновременно ответом на знаменитое обращение Витте к рабочим с воззванием, начинавшимся словами: „Братцы рабочие! Станьте на работу, бросьте смуту, пожалейте ваших жен и детей“...

Как известно, на это трогательное, родительское увещание, исходившее от пламенно любящего сердца, рабочие ответили резолюцией: „пролетарии ни в каком родстве с графом Витте не состоят“... Показали кукиш...

„Пылающее сердце“, таким образом, сразу окрасилось определенным ироническим светом. Вглядевшись в него пристальнее, Чехонин придал

¹⁾ Лидваль — инженер, изобретший особые „урны“ для уборных. Его имя стало нарицательным и сплошь и рядом заменяло обычное название: „ОО“.

нижней части его, хотя и отдаленное, но все же сходство с чертами лица Николая II (лицо редька корешком вниз, по характеристике Гоголя) а верхняя, большая, часть сердца получила контуры огромной императорской короны, в которой совершенно тонет маленькая голова царя.



После трудов.

(„Маски“. 1906, 9 II).

Повидимому, этот вновь изобретенный символ так понравился самому художнику, что он сделал его постоянной маркой журнала „Маски“, а в первом номере „Масок“, на первой странице, рискнул даже поместить прежнего черного мальчика, но с пылающим сердцем, вместо прежней головы, и в мантии, покрывающей добрую четверть земного шара. Подпись подсказывала, что это — „червонный туз, или пламенеющее сердце свободы“...

Обратила на себя внимание также необыкновенно ядовитая карикатура, после манифеста 17 октября, изображавшая „нашу конституцию“ в виде карточного домика ¹⁾).

Трудно было дать более образное и более правильное изображение конституционного карточного домика, который строил некто со связанными ногами на стареньком шатающемся столике с тоненькими, еле держащимися, ножками...

— Просят не дуть, говорит подпись...

И это было в тот момент, когда огромное большинство заправских политиков приходили от новой „конституции“ в восторг и готово было совершенно серьезно просить „не дуть“...

Чехонин, один из первых, понял настоящую цену этого карточного домика и решил „подуть“...

Насколько помню, этот рисунок был перепечатан в заграничных иллюстрированных изданиях, наглядно и просто ознакомивших Европу, при его помощи, с тем, что творилось у нас, в России.

К этому же времени относятся: его сатирические вылазки против капиталистов, которым он подал на одном рисунке грудного ребенка с воткнутой в него вилкой, его изображение черносотенных „патриотических манифестаций“ в Москве, закончившихся утоплением студента Шмидта, его параллельные картинки, показывающие как после „трудов“ отдыхают генералы и как отдыхают рабочие ²⁾), алая карикатура на братьев Гучковых ³⁾), которые на предложение, сделанное С. А. Муромцевым Московской Городской Думе (18-го октября 1905 г.) „почтить память вставанием всех положивших свою жизнь за дело освобождения“ ответили тем, что демонстративно остались сидеть и др.

Карикатура Чехонина, изображающая „суд скорый“, но „милостивый“, вызванная начавшимися казнями, обратила на себя особое внимание администрации. По подсчету журн. „Былое“, только за январь месяц 1906 г., было казнено 397 человек. Намек на это администрацию не смутил. Цензурной оказалась благословляющая рука человека с длинной бородой. Оправдался редактор только тем, что это не православный священник:

— Благословение не православное, а армянское: персты сложены с нарушением установленного канонами правила ⁴⁾).

Однако, чувствовалось, что даже в таких масках работать становится невозможным.

Началась определенная вакханалия реакции. Карточный домик российской конституции не выдержал и нескольких дней. Уже в передовой № 3 „Известий Совета рабочих депутатов“, вышедших 20 октября, говорилось:

„... И вот конституция дана.

¹⁾ Воспроизведена в № 25 „Былого“. Напечатанная в этом же номере „Былого“ карикатура на Трошева-индюка тоже принадлежит Чехонину.

²⁾ Маски, 1906 г. № 2.

³⁾ Маски, 1906 г., № 5.

⁴⁾ Маски, 1906 г. № 6.

„Дана свобода собраний, но собрания оцепляются войсками.

„Дана свобода науки, но университеты заняты войсками.

„Дана свобода слова, но цензура осталась неприкосновенной.

„Дан Витте, но оставлен Трепов.

„Дана конституция, но оставлено самодержавие.

„Все дано и ничего не получено“...

Реакция поднимала голову все выше и выше, задача карикатуриста становилась все более и более трудной. Приходилось все чаще и больше прибегать к эзоповскому языку (см. 251 стр.).

Карикатуры 1906 года уже гораздо более сложны, нежели первые карикатуры Чехонина.

В это время им сделана интересная, но очень замаскированная, карикатура на народных представителей ¹⁾. На фоне белого силуэта, вглядевшись в который можно различить очертания Таврического дворца, где работала Гос. Дума, пляшут картонные трудовики, и др. представители Гос. Думы.

В оркестре играют на больших медных инструментах Витте и министр внутренних дел Булыгин, а в первом ряду смотрят на этот спектакль представители иностранных держав, опускающие деньги в предусмотрительно поставленные им кружки. Карикатура, очевидно подчеркивала получение займа, относительно которого рабочие органы открыто протестовали, предупреждая, что эти долги никогда не будут признаны русским народом.

Мечты и ожидания амнистии политическим осужденным нашли себе выражение в карикатуре, изображающей осла, у которого амнистия на носу, но никак не может попасть в рот, несмотря на то, что он пытается достать ее длиннейшим высунутым наружу языком.

Одной из наиболее смелых сатир Чехонина, хотя, конечно, сильно замаскированной, была большая виньетка, в стиле ампир, изображающая реакционную вакханалию. В центре отплясывает „кэк-уок“ „сам“ сюзерен, в голове которого, украшенной своеобразной короной, очень искусно сатирик дал ряд типичных черт лица Николая II. Рядом с ним две дамы — конечно, императрицы, и у ног маленький уродец в короне такого же типа, как „сам“ — конечно наследник. Все они, при участии свиты, задорно, весело, отплясывают кэк-уок. Радость так и сквозит из каждого жеста...

С царем Чехонин расставался, повидимому, неохотно. Однако, пришлось. „Маски“ были закрыты, „Зритель“ тоже. „Альманах“, вышедший с обложкой Чехонина, на которой был изображен, правда очень туманно чорт, уносящий Николая II, тоже просуществовал недолго.

Такой альманах, изящно украшенный чехонинскими травками и цветами, разбросанными по всем страницам, не интересовал больше ни читателей, ни самого художника. Политическая сатира стала совершенно невозможной в том плане, в котором она только и привлекала художника. И Чехонин ее бросил.

¹⁾ „Маски“, 1906, № 9.

3.

Вот тот трамплин, которого никак не могла найти критика, задумавшаяся над тем, от чего отталкивался Чехонин, ставший сразу же, что называется, „советским“ художником во время второй революции.

Достаточно было проглядеть „Зритель“ и „Маски“, даже не зная биографических подробностей, для того, чтобы положить конец всем тем „недоумениям“, которые высказывались и до сих пор, кое-где, продолжают высказываться по адресу Чехонина людьми, повидимому, его мало знающими.

Но Эфрос этого не сделал и потому недоумевает на каждом шагу.

„... Я помню, говорит Эфрос, сенсацию в художественных кругах, когда пришло известие, что Чехонин является членом той футуристической директории, которая объявила в 1918 году свою диктатуру в русском искусстве. Что ему было делать в этом обществе? Не больше, чем в том рабоче-крестьянском. Эти уничтожили то, что он любил в искусстве, — те разрушили то, что он любил в жизни. Но он стоял их жарким товарищем, вместе за одним делом, — и вместе с тем продолжал чеканить свой императорско-советский амбир“¹⁾.

И эта „сенсация“ разрешается также просто, как и все прочие недоумения.

Февральская революция застала Чехонина в министерстве земледелия. Здесь он заведывал художественной частью, вернее кустарным отделом, который обязан ему очень многим.

После октябрьской революции, когда все чиновники объявили бойкот большевикам и покинули свои места, он один остался во всем комиссариате и продолжал работать вместе с назначенным туда новым комиссаром Погрюзовым.

— Для меня, говорит Чехонин, было совершенно ясно, что октябрь неизбежный и естественный шаг по пути революции, который я видел перед собой давно.

Революционная ломка несколько не испугала Чехонина. Наоборот. Он почувствовал в себе прилив созидательных, творческих сил. Ему захотелось строить, конечно, в той области искусства, которая ему была ближе всего.

По его инициативе и плану был организован особый художественный совет. На его призыв стилинулись и вошли в совет художники А. Н. Бенуа, Рерих, скульптор Матвеев, Балибин, Ваулин и др. Все внимание этого совета должно было сосредоточиться, по плану Чехонина, на почве производственной и прежде всего поднять на должную высоту кустарную промышленность, поддержать и вновь вызвать наружу подлинное народное творчество, которое при старом режиме было задушено. До какой степени в самом деле были беспомощны кустари можно судить потому, что они, забросив свои

¹⁾ Чехонин, стр. 22.

оригинальные орнаменты, ткали ковры по рисункам от мыла Брокара, отделяли избы по рисункам из „Нивы“... Случайная банальщина, попадавшая в руки кустара не только не развивала его природного вкуса, но прямо портила.

Первой мерой, которую предложил Чехонин совету, было принятие двух лучших производственных наших мастерских — императорского фарфорового



Суд скорый, но несправедливый, или интересное представление.
(„Маски“, 1906 г., 13 III).

завода и петергофской гранильной фабрики в непосредственное ведение совета. Позвонили А. В. Луначарскому, находившемуся в это время в Зимнем дворце. Он сейчас же приехал вместе с художником Д. Штеренбергом и сразу же дал свою санкцию на все, что было предположено сделать в этом, в революционном порядке организовавшемся, совете. В это же время, при Наркомпросе, составила инициативная группа из худ. Штеренберга, Альтмана, критика Н. Пунина, Ларисы Рейснер и Ятманова, организовавшая свою художе-

ственную ячейку, вскоре превратившуюся в отдел Изобразительных искусств, в который, естественно, должен был войти и Чехонин.

— Что ему было делать в этом обществе, ставится вопрос?

А вот что. Чехонин, вступив в коллегию, проникнутую футуристическими тенденциями, взял на себя охрану искусства от слишком резкого уклона в левую сторону, куда его тащили футуристы.

Сам Чехонин не был в этом отношении слепым консерватором. Его виньетки и рисунки в „Сатириконе“, относящиеся еще к 1912 году, показывают, что он многое принял от левых. Двукратное пребывание в Париже все же сказалось. Пикассо конечно, был ему чужд, но многие достижения левого крыла оказались приемлемыми.

Ему казались опасными те крайности, к которым так тяготело большинство коллегии новообразовавшегося отдела „Изо“.

Мне пришлось тоже работать в этом отделе, и я отлично помню пылкие споры на эти темы.

Помню, например, как однажды темпераментный „левый“ худ. Малевич, только что вернувшийся из Москвы, напел на худ. Татлина, хотя и тот не из правых.

— Возмутительно, негодовал Малевич. У нас искусство все время идет на запятках революции. Все еще душатся духами Брокара и Ралле. Везде у них Александры Бенуа понатыканы и дальше классического стиля не идут. Вот посмотрели бы, как они приспособливают Сухареву башню: колонны из римского форума устанавливают. Помпеянские бассейны строят. Львов, тигров пускают. То-то будет красота! Все воображают, что новое искусство непонятно народу, а я вот был у текстильщиков и спросил их, что им приятнее — розы, букеты воспроизводить, или футуристические пятна? Они прямо говорят, что красочные пятна куда лучше, новее... Металлисты те больше чувствуют стальную, машинную графику и живопись... А им все березки, да картинки подсовывают.

— А ты бы, добродушно заметил ему Татлин, сказал это Луначарскому.

— И скажу. Это вы все тут трусами стали. Кругом, куда ни глянь — стены. Я буду эти стены прошибать, пушкой буду прошибать.

Помню заседание коллегии, в которой отказали Добужинскому, просившему дать ему школу рисования в Витебске. Все только засмелось — куда дескать годен такой учитель рисования!

Помню доклад О. Брика, требовавшего учреждения особого института материальной культуры.

— Революция, мотивировал свое требование Брик, дала новый толчок в развитии художественной эстетики нового класса. Рабочие часто обращаются к художникам с просьбой расставить ими в занятых ими, буржуазных квартирах мебель по новому. Требуют новых рисунков для мебели, для посуды, для картонажей, для тканей и т. д. До сих пор художники только украшали уже готовые тарелки, или ящики. Нужно создать не только новые

рисунки, но и новые формы. Институт будет создавать с этой целью новых специальных инструкторов и т. д. и т. д.

Предложение Брика было принято коллегией „Изо“, и, как знать, если бы фарфоровый завод не находился в ведении Чехонина и работавшего в полном с ним контакте старого следа П. К. Ваулина, то мы получили бы



Амнистия на носу у ответственного редактора, прикрытая флагом.
(„Маски“, 10. IV 906).

треугольные тарелки. Предлагалось перестроить дворец вел. кн. Сергея Александровича на Невском пр., как несоответствующий, занявшим его под клуб новым хозяевам. Изготавливались рисунки новых обоев... Весьма одобряли проект стола с дырой по середине...

Работа была действительно „жаркая“, как справедливо выразился Эфрос, и нужно отдать справедливость Чехонину, — он вел свою линию спокойно,

твердо, нисколько не смущаясь теми энергичными громкими речами, на которые были так охочи футуристы.

Один Маяковский — он тоже входил в состав коллегии, — что стоял с его сполошным языком.

Насколько был прав Чехонин, ратовавший за то, что крайне левые футуристические формы не только не воспринимаются рабочими массами, но даже производят неблагоприятное впечатление, доказывает хотя бы недоразумение, случившееся с изданным отделом „Изо“ альбомом „Герои революции“.

Текст был написан Маяковским, рисунки, не помню уж, кем-то из левых художников, чуть ли не Татлиным или Козлинским. Во многих местах альбом истолковали, как карикатуру на героев революции и его пришлось изымать из обращения.

Язык Чехонина оказался более понятным и приемлемым. Само собой поэтому вышло так, что вошел в обиход рисунок государственного герба и печати не футуристический, а именно ясный, чеканно-отчетливый рисунок Чехонина. Помню, какие проекты почтовых марок предложил, например, Альтман. Среди футуристических стружек и завитков так была запрятана цифра стоимости марки, что ее мог найти, и то с трудом, только опытный в футуристическом искусстве глаз.

Что было бы, если бы такие марки вошли в употребление?! Сколько недоразумений выходило бы с ними на почте, особенно в деревнях!

Футуристы совершенно не учитывали того обстоятельства, что понимают их язык десятки, а непонимающих миллионы.

4.

Чехонин, не производя ни малейшего насилия ни над своей техникой, ни над идеологией, оказался наиболее подходящим для обновленной жизни художником.

Он агитировал на каждом шагу своими рисунками, своими плакатами своими иллюстрациями, наконец и своим и фарфором.

В Музее Революции можно найти некоторые из его плакатов, всегда ярко революционно агитационных.

В журнале „Пламя“, где ему было поручено заведывание художественной частью, подбор рисунков, и чужих и его собственных, отличался всегда этими же свойствами.

Чехонин жадно набрасывается на новую жизнь, записывает ее и ее творцов, где только может. Его видят и в заседаниях Коминтерна и в исполкомах самых отдаленных заводов, и в мастерских.

Нет, кажется, ни одного издания, которое бы он не украсил своими буквами, своими виньетками, своими рисунками.

Эфросу, кажется странным, как это он мог использовать для этой цели фарфор, „выводить советскую спяту“, „нежнейшим голосом фарфора“?...

Мне кажется гораздо более непонятным, почему это для „советской сюиты“ считаются подходящими только грубые фанфары и громкие тромбоны?

Тут в этом требовании чувствуется нелепый предрассудок, в силу которого считалось, что с „народом“ можно говорить только каким то особым языком.

Старые псевдонародники, подходя к „народу“, считали своим долгом по детски сюсюкать. Народные и детские книжки составляли одну категорию.

У футуристов другая крайность. Почему то думают, что у народных масс какие то особые нервы, особое восприятие, что с этими массами можно



Тов. Зиновьев на Путиловском заводе.

разговаривать только имея „стоверстный язычище“, нужно разыгрывать симфонии „на флейтах водосточных труб“, говорить особо и резко подчеркнутыми плакатами, яркими красками.

Чехонин, именно потому, что он всегда шел, нога в ногу, с „народом“ что рабочий класс ему ближе, чем многим из тех, которые устанавливают законы нового художественного языка, якобы революционного, продолжал говорить тем же языком, каким он говорил всегда до сих пор — своим языком, и оказалось, что это самый понятный, самый подходящий язык.

„Нежнейший фарфор“, украшенный им, тоже не лопнул, попав в мозолистые руки рабочего, а разбросанные по молочно белому фону чашек и тарелок этого фарфора красивые гирлянды разнообразнейших цветов и даже ампирных рисунков, радовали глаз рабочего, быть может, больше, чем пресыщенного красотой эстета.

Чехонин сделал портрет Ленина (с натуры) и украсил его узором из красных гвоздик. С точки зрения критика, подходящего к такого рода

задаче с слишком узкими и примитивными требованиями теоретика — агитатора, быть может, здесь нужна была бы какая-нибудь специфическая арматура.

Чехонин предпочел цветы.

Цветы — для него наилучшее выражение внутреннего, любовного отношения к дороговому для него предмету, при том его цветы, чехонинские, не ботанические. Точно растут они у вас на глазах, дышат как у Ван Гога.

Цветы для него самое красноречивое, и он окружает ими портрет народного вождя. Также точно он вплетает цветы в октябрьскую аббревиатуру „С.Ф.С.Р.“, и в другие подобные комбинации.

Он это делает потому, что во-первых, это его язык, на котором он лучше всего говорит сам, во-вторых и потому — и это, быть может, самое главное — потому, что эта символика не только понятна народным массам, а от нее целиком и вышла ¹⁾. Припомните только дубок, разного рода сундуки, подносы, кружева... Тут все цветы. Народная орнаментировка, — вся из цветка.

Оторвавшимся от этих масс „узор из роз“ может показаться эстетским, но Чехонин знает, что это не так.

У него, например, есть редкая коллекция старинных шалей, вытканых руками безвестных крепостных художниц.

Какие там цветы, какие узоры из полевых цветов!

Нужно видеть, с какой тщательностью, с какой любовью Чехонин копается на рынках, у старьевщиков, в тряпках и выбирает там, брошенные в хлам, обрывки домотканых ленточек, наполненных полевыми цветами, всевозможными листьями и растениями, часто фантастическими, но всегда дышащими жизнью.

Мне приходилось читать письма „из деревни“, где писавший (не от себя, а от другого неграмотного) неизменно приписывал в конце „читарю от писаря поклон“...

Точно два каких то массона перекликаются...

И тут, когда Чехонин внимательно вглядывается в эти чудные узоры оборвайных ленточек, мне живо представляется такой обмен мыслями двух, невидящих друг друга, отделенных столетием, но чувствующих друг друга и родных мастеров.

— Чь-чорт, какая работа, — гордясь неведомым ему мастером или вернее мастерицей, говорит Чехонин!

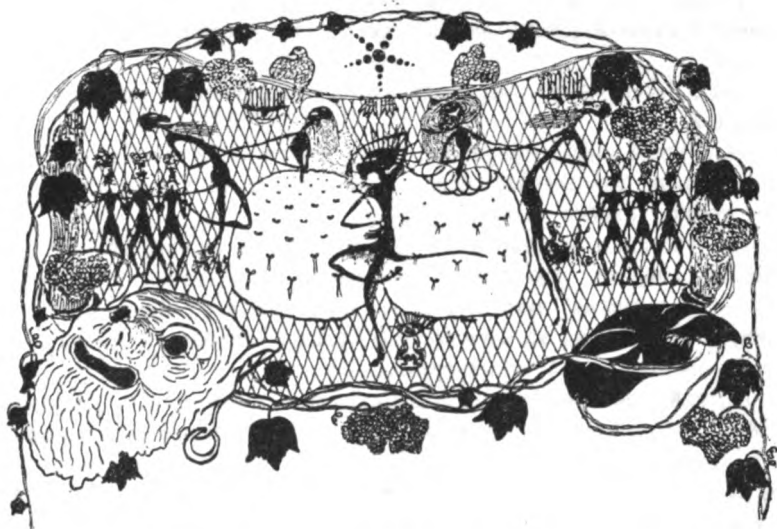
Скажут, что это рабочий, крепостной труд. Тем более он поражает и восхищает. Какой, значит, нужно было иметь яркий талант, какую тех-

¹⁾ Знаменателен в этом отношении вопль худ. Рериха. „Обеднели мы красотой, писал Рерих. Из жилищ, из утвари, из нас самих, из задач наших ушло все красивое... Стыдно! В каменном веке лучше, чем мы, понимали потребность и значение украшений, их оригинальность. Лучше и не вдумываться в украшения древности, гончарство, шитье, резьбу. Проще сожалеть далекое, дикое время“. „Весы“, 1904 г. № 9, стр. 36.

нику, чтобы все это не заглохло под тем тяжелым камнем, какой навалило на народное творчество крепостное право, а позднее безвкусная банальщина, культивировавшаяся мещанским спросом наших кустарных базаров.

Чехонин напрягает все силы, чтобы этот камень отвалить и дать возможность живым росткам вновь зазеленеть и покрыться цветами, из которых он и ему предшествующие художники плели и будут плести свои гирлянды. Цветы вовсе не такая уж банальщина, как это утверждают наши футуристы, и не порождение эстетизма. Конечно, цветы цветам рознь. Как их умели писать наши старые иконописцы, или старые голландцы!

Тоже самое и относительно, его классического ампира.



Почему художник должен от него отказаться? Почему эти формы, наиболее ему приятные, должны быть заменены какими то другими, по чужой указке и следовательно ему не свойственными? На эту тему говорилось не раз и не мало. Сохранилось очень характерное в этом отношении письмо Достоевского, где он горячо накидывается на своего брата за то, что тот пренебрежительно отозвался о Расине и Корнеле только потому, что у них „классическая форма“. „Ты с ума сошел, пишет он брату по этому поводу. Жалкий ты человек, да читал ли ты их“?...

В наше время Вал. Брюсов категорически и определенно заявил, что все формы искусства имеют право на существование и что „для правильно понимающего назначение искусства, оценка художественного произведения не зависит от того, какой оно школы. Если художник верно и полно пересказал свою душу, он дорог мне, а его школа не тревожит меня“ ¹⁾

¹⁾ В. Брюсов. Искусство, стр. 25.

Самое главное именно в этом мастерстве. А школа, как и материал, будь то фарфор, стекло, дерево или краски не все ли равно?

Чехонин представляет собой в этом отношении редкий пример разносторонности. Нет, кажется, материала, которым бы он не овладел в совершенстве и не мог превратить его в художественную ценность. Большинство знает его графику, его акварели, его фарфор... Но в такой же мере совершенным его работы над стеклом, деревом, металлом, его финифть, его майолика, его эмаль...

Сейчас Чехонин для Московского Художественного театра иллюстрирует пьесу Андрея Белого „Петербург“.

Давно когда то он делал декорации для театра-сатиры „Кривое Зеркало“ А. Р. Кугеля (первого у нас сатирического театра) — и, следовательно, театрально-декоративная работа, опять таки в плане сатирическом, для него не новость.

Над „Петербургом“, этим жутким городом, Чехонин работает с особым увлечением.

— Жуткий город, говорит он. Острую жуть его я почувствовал особенно после осеннего наводнения. Город, находящийся во власти стихий и сам долгое время стихийно давивший страну.

Его декорации, не гротеск, не сатира, но нечто совершенно своеобразное. Занавес — панорама, где земля (набережная Васильевского Острова с ее петровскими зданиями) чуть чуть видна, а над нею небо, бушующее грозными тучами, составленными из естественных облаков стихийного тумана и клубов дыма тянувшегося от фабричных труб...

Жуткий кабинет Аполлона Аполлоновича, этого героя „Петербурга“, цепкого Победоносцева, с огромным, точно поле, зеленым письменным столом и черными книгами законов, фигура самого Победоносцева, державшего в своих костлявых щупальцах всю огромную Россию, фигуры Мегер, бал у Цукатовых — все это в трактовке Чехонина делает пьесу Андрея Белого еще более жуткой, придает ей ту остроту, которая так необходима и которой в романе мало.

Многогранность художника сразу бросается в глаза всякому переступающему порог его мастерской. „Мастерская“! Это — очень скромная квартира в стареньком двухэтажном домике на окраине Васильевского острова, с узкой „черной“ лестницей (ход через кухню). Ни эффектных драпировок, ни нарочитых мольбертов, никаких обязательно преписываемых вкусов снобов художнику предметов. Ничего внешне показного, декоративного. Простой, заваленный всякими предметами — все нужными — стол. Лампа самая обыкновенная, электрическая, наскоро сделанный из самой простой бумаги защитный абажур А за столом — сам художник, с глазами, остро вглядывающимися сквозь очки и остро видящими, не в бархатной блузе, а в обыкновенном шерстяном, серого цвета, свитере, и всегда за работой.

Кругом него, далеко не в поэтическом беспорядке картины (все хороших мастеров), фарфор, стекло, ткани, дерево.

Что ни вещь — то музей. И сама комната напоминает музей, только что переехавший и еще не приведенный в порядок.

Все это собрано в течение многих лет, но не для коллекции. По тому, как Чехонин вам их показывает и объясняет, вы чувствуете, что все это ему „нужно“, что подход к этим вещам у него не обычный не дилетантски любительский.



Маг Витте, сидящий на урне благоволий в знак полнейшей расположенности и искреннейшего добра к кому то держит *что-то* многострадальное сердце, пылающее пламенем багровым. Кукиши принадлежат по всей вероятности анархистам, не жалеющим своих жен и детей.

(„Зритель“, 1905 г., 13 XI).

Здесь корни его мастерства, того крепкого, настоящего мастерства, которое передается от поколения к поколению, преемственно.

Есть в ней что-то, напоминающее старых итальянских мастеров в роде Бенвенуто Челлини.

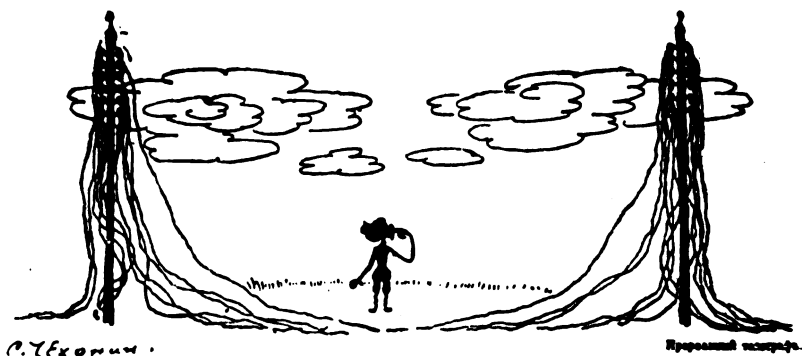
Тот факт, что Чехонин не свернул со старой дороги, а только усовершенствовал и утончил свою технику, представляется наилучшим показателем

того, что перед нами настоящий художник, художник с своим собственным стилем, в полном смысле слова мастер.

Динамика переживаемого революционного момента не могла не отразиться на его творчестве и его приемах. Карикатуры, которые мы встречаем теперь на листах „Красной газеты“ (одну из них мы воспроизводим здесь) технически конечно, гораздо сильнее, нежели его первые молодые работы, но по существу все же писаны одним и тем же „почерком“, а в смысле идейного содержания, только дополняют то, что он говорил раньше.

Будущий историк наших двух революций, конечно, не пройдет мимо Чехонина, рисунки которого, взятые в исторической последовательности, будут не просто иллюстрировать изложение, но многое дополнит и уяснит самому историку.

Вл. Боцяновский.



(„Зритель“, 1905 г., 22 XI).

А. П. Чапыгин.

РАЗИН СТЕПАН.

Исторический роман.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Москва, Соляной бунт.

I.

Бесконечным числом ударов в чугунную доску Москва вторила у боярских и купеческих домов часовому бою Спасских ворот. — Часы пробили одиннадцать, но в сумраке часов не видно было. Светились иногда фонари, стучали копыта лошади, то проезжал боярин. В конце лета сумрак густел, часто перепадали дожди. Оттого по кривым и черным улицам полз туман. Местами улицы выстланы тесаными бревнами отпотевшими и скользкими, словно в черном мыле.

Если где шел человек, то с подорожной бумагой и фонарем. Изредка чернели фигуры стрельцов, осторожно двигаясь на смену караула в Кремль, с бердышами на плече.

— Дьявол, а не путь! сколь раз в море бывал, а тут слеп, ужель не попаду? Ворчал человек в бараньей шапке в длинном казачьем жупане и шагал со звоном подков, иногда скользил, спотыкался о дерево — сатана! он наткнулся на поперечное бревно-колоду, загородившее улицу:

— Ты, сволочь! должно в земском приказе не был? окликнул человека сторож.

— Я ваших порядков московитских не ведаю, но дыр в башке умею сверлить! сверкнул пистолет. Сторож отшатнулся, а человек, согнув широкую спину, пролез под колоду, выпрямился и спешно пошел дальше.

Напуганный пистолетом сторож опомнился, крикнул:

— Чорт! штоб-те ноги, ребра изломали...

Подошел другой:

— Ты пошто пропустил?

— Да вишь шиши со Пскова по Москве бродят, должно воровской казак, с пистолетом и сабля.

— Ой, ты! сговорился-ба... кого ежели ограбит, чтоб доля нам.

— Спужал, трясца его бей! глаза горят, как у волка.

— Эх, ты баба столетняя!

Посредине обширной площади, бесконечной от тумана, на толстом столбе с образом, глубоко врезанном в дерево, мигал огонь негасимой лампы, сквозь слюду, вставленную в узорчатую раму. По земле расплывались тени двух человек, а у столба недалеко чернели две фигуры сторожевых стрельцов. Опершись на обухи бердышей, стрельцы видимо дремали под монотонный, жалобный голос, исходивший от земли:

«Ой, батюшки! могильные черви точат мою грудь, и губят за что меня судьи неправильные? Да, ведь муж-от мой аспид был!

Под ногти мне тыкал иглы каленые...

Волосьев половину выщипал. А сам порченой, бес гашника и жонку ему от того ненадобно, от того и мучитель был!..»

— Ага! человек в казацкой одежде глянул по земле и увидал зарытую по плечи женщину с растрепанными, мокрыми волосами.

От звука шагов один стрелец поднял голову:

— Эй, ты человече!

Он повернул бердышь топором к земле и крепко взялся за рукоятку.

— Кой бес тебя несет сюда?! крикнул второй.

— Свой я вам! чего бьете сполох?

— Есть вас своих!

— Свой соколы! выпить вам ташу.

— Что ты за человек?

— Видать заезжий. Там ужо вспорют — узнаешь, за какими песнями в Москву ездят.

— Разберемся!

Человек сдвинув баранью шапку на затылок, вытащил из-за пазухи глиняную посудину.

— Оно не худо пить, только мотри, не отравное?

— Пошто мне вас изводить?

Стрелец приложился к горлышку посуды, другой, жадно причмокнув, сказал:

— Оставь, не все тяни!

— Ух, пей брат! не на кружечном, без уловной деньги ¹⁾...

«Ой, тошнешенько-о! не видать младеньке боле ясно-солнышка-а... Калена-бела месяца-а!»

— Убила мужа, дак молчи чертова жонка! крикнул стрелец.

Человек в казацкой одежде сказал:

— Други, — а може муж стоил того?

— Кто спорит — може и стоил, да дело не наше!

— Чего сам не пьешь?

— Хватит и мне, ещё есть.

— Давай парень, коли што, другую!

— Да уж зачал чествовать, не скупись, а то вишь туман, знобит...

— Лето нынь скудное — дождей, дождей.

— На-те, дуйте!

Выпивая, стрельцы рассуждали.

— И как ты, детинушка, не боишься ходить?

— Молодой вишь, да зубастой!

— У нас на Вольном Дону никого не боятся...

— Мы от дедов стрельцы, да того...

— Боитесь?

— Не так что бы...

— Ино не на вас-ли братья соколы бояре воду возят?

— Ужо время преспеет тряхнем бояр...

— До поры в терпеньи!..

— Ой, а долга-ли та пора?

— При-и-дет!

— Мы и нынче ни чорта не боимся!

— Не боитесь?

¹⁾ Уловная деньги — плата за водку в к-бак.

— Не...

Один из стрельцов ударил себя кулаком в грудь.

— Глянь на меня вольной детина! вот я не боюсь ни со-
тоны, ни патриарха, ни бояр...

— Ой-ли?

— Вот бог -- и хрест!

— Ну брат-сокол хвалишься!

— Не хваюсь, башка!

— А, чем докажешь зарок?

— Чем хошь!

Стрельцы захмелели.

— Не боитесь — так отроем эту жонку, в кабак сведем
сами выпьем и ее обогреем.

— А, пропади все, — отроем!

— Нет, то детина не ладно! какие-же мы сторожи?

— Вот братья-соколы и не боитесь, а трусите!

— Нет, тут честь стреленная горит!

— Что тут горит? К жонке в сторожи приставили! честь?

— А, и то правда, отроем!

— Сами куды?

— В кабак!

— Откопаем жонку!

— А, чем?

— Эво! бердыши в руках, да я саблей подмогу.

— Мочно!

— Рой!

Подошли, отрыли женщину и за руки выволокли из ямы.

— Ена парень нагая?!

— Ни што! Обряжу в жупан, сам пройду в зипуне
держи одежду жонка!

— Голова у детины, хошь в попы ставь!

— А жонка-т с икрой!

— Грудастая...

— Э-эй, черти-и!

Голос зычно плыл по площади.

— Ой, мать твою перекасти поле — пятидесятник!

— Батоги нам!

— Кнут! чего делать, в обрат копать жонку? увидит.

— Не копать соколы вы жонку пасите, я с боярскими детьми хорошо лажу

— Иди, детинушка — веди сговор, угомони чорта!

— Э—эй, стрельцы!.. В ответ шаг и голос:

— Тут я!

— Ты тут, драный козел, твою перепечу! а где другая сволочь?

— На месте стоит!

— А, ты щучий сын пошто без бердыша, пошто не в сукмане?

— Сабля при бедре — зипун на плечах!

— Вон ты что — о... эй, стража а!

В сумраке сверкнуло лезвие сабли. Слово — ажа — а, не окончено. Тело начальника осело к земле и распалось на два куска.

Детина вернулся к стрельцам:

— Куды он делся? спросил один. Другой пьяно засопел и громко как-бы про себя сказал:

— Так-то не ладно!

— Чего не ладно?

Начальника посек! Понял? Мы в разбое...

Другой еще более хмельной стрелец захихикал? закашлялся, потом отдышался, сказал:

— Начали сечь, туды ему сотоне и дорога! дай пасекем в куски?..

Приволокли подтекающее кровью половинчатое тело начальника к огоньку образа:

— Матерый чорт! и как ты его вольной мазнул? Не всяк мочен такое...

— Одежду вниз! секите его на куски, да в яму замест жонки и в кабак.

— Вот — те Хрест! в попы тебя казак голова-а.

— Дальше попа не видал? Я може в патриархи гляжу!

— Хо, хо, хо. Сотона-а!

— В па-три-архи-и?!..

Языки и руки стрельцов худо слушались. Казак, как горюх сделал, все. Пошли.

Сторожа на ростанях улиц снимали перед ними бревна колоды. В иных местах отпирали решетчатые ворота, спрашивали.

— Куды служилые?.

— Воров, в земский приказ!

— Мы сами воры-ы!

— Чого рот открыл до дна утробы? тише-е!

— Начальника-то. а-а? Кровь на тебе и я в кровях...

Казак остановился:

— Вам братья-соколы дорога на Дон, утечете на Дону много вольных сошлось — там рука боярская коротка.

— А, ты?.

— Я оттудова и туды приду!

— Врешь!

— Давай Дема поволокем его с жонкой в разбойной?

— В разбойной? пойдем! руки вишь у меня в крови...

— Вот вам еще водки! пейте загодя спасть, а утром знать будете, что делать.

— Водку? давай!

— Дуйте из горлышка!

Падая и подымаясь, с лицами замаранными кровью, стрельцы пошли вдоль улицы. Казак потянул одетую в жупан женщину в переулоч, выглянул из-за угла. Стрельцы про них забыли — шли, падали и, подняв один другого, шли дальше.

— Веди жонка! Спасайся от могилы! плотнее запахивая женщину в жупан, сказал казак. Женщина дрожала, едва держалась на голых ногах, черных от грязи и холода. Сверкнули белым жестяные главы многочисленных церквей. Где то зазвонили. Загалдел народ, на ближайших рынках, словно на пожаре, заспорили и закричали женщины, торгуя холст и нитки. Берестовые и тесовые крыши на неопрятных домишках все яснее и пестрее выделялись:

— Будь крепче! — идем, кабаки отперли.

— Иду голубь-голубой... иду, а тяжко итти...

II.

Кабак гудел. Широкая дубовая дверь раскрыта настежь. Едкий воздух сивушного масла, спирта, потных тел, подмоченных лохмотьев и рубищ не давал дышать непривычному к кабацким запахам. Светлело в бревенчатой обширной избе, с за-

плеванными стенами и чавкающим от грязи земляным полом. За стойкой на стене висела большая желтая бумага с черными крупными буквами --- в стороне в железном подсвечнике, на ржавом кронштейне горела оплывшая сальная свеча, мутно, при утреннем свете скупым огоньком пятная бумагу. Каждый, кто смотрел на бумагу, мог прочесть:

«по указу царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси великия и малыя — питухов от кабаков не отзывать не гоняти — ни жене мужа, ни отцу сына, ни брату, ни сестре ни родне иной — покудова оный питух до креста не пропьется».

Казак по особому зорко оглянул обширный сруб с курным, как в овине, бревенчатым потолком. Его взгляд скользнул в глубину кабака, где за перерубом с распахнутой дверью выглядывала без заслона с черным устьем большая печь.

Казак высматривал исцов. Лицо его стало спокойно, он повел широким плечом, положил на стойку деньги:

— Косушку и калач!

Женщина задремала, вскинула сонными руками, казак поддерживал ее, но жупан распахнулся и голое, плотное тело, запачканное землей, открылось. Целовальник, косясь на саблю казака, на окровавленные руки, подал откупоренную косушку, положил калач густо обвалянный мукой.

--- Где экую откопал?

Женщина вздрогнула, и схватив было, уронила калач. Казак нахмурил густые брови, но спокойно ответил:

Пропилась — лихие люди натешились, да раздели... Подобрал, вот вишь согреваю.

Целовальник сощурился, недобрым голосом прибавил:

— Спаси бог! житья не стало от лихих людей. Почесть, что ни ночь Москва горит...

Сквозь слюдяные, проткнутые во многих местах, окна чиркали воробьи, слышался звон и гроыхание каких то тяжелых вещей, которые не то катили, не то везли:

— Немчин опять на государев двор пушку тянет...

— Мольть надо, кукуй — подь на кукуй!

--- А, не скажу того — кнута пробовал!

Шутили в глубине кабака у двери в прируб, на бочках огромных и пузатых оборванцы-питухи. Они сидели в об-

нимку с женщинами, столь же неприглядными, как и мужчины. Женщины лезли одна к другой и спорили. Целовальник крикнул:

— Дратся Жонки вольготнее на улице!

— А ты там стой! она у меня микешку отбила, а микешка мою кикку спер...

— Ой, ой! да она, вишь ты, не посацкая жонка?

— Матренка-т? она, ведомо всем, кабацкая боярыня!

• — Ха, ха, ха!

— А кика твоя с жемчугом или с винисами?

— Кика у меня от бабки!

— Знаю теперь—ха-аа-рошая... тут вишь, братаны, на торгу юродивый Гришка-горб шатается, так он Матренкиной кике не почестное место нашел—носит в портках, а зовет -- киллой!

— Хо, хо, хо!

— У ты образина нехрещеная!

Бочки лежали, иные торчали стоймя, люди за ними были, как за колоннами, выходили и вновь прятались. За бочками кто-то тренькал на струнах, а перед бочками тонконогий, черный, в длинном подряснике, подпоясанный рваной тряпицей, плясал поп растрига, гнусаво напевая:

„Дьякон с дьяконицей,
Дьявол с дьяволицей ---
Пономарь кошке
Скалечил ножку!
Кошка три года хворала
Все кота недолюбала
Кот упал с тоски
Перебил горшки!

Из-за бочек выскочил музыкант, тренькавший на ящике.

— У, ты! сидел-бы там.

Музыкант заюлил, завертелся, загребая рваными полами старой распашницы видимо украденной у жены. В прорехе мелькал голый, замаранный смолой зад.

Музыкант колотил по ящику, дергал натянутые на нем струны, подпевал:

„Как под ельницею
Под березницею
Комар с мухой живет

Муха песни поет.
Ой, спасибо комару,
Что пришлося ко двору,
Ой, спасибо Мушке,
Прожужжала ушки!

— Эй, народ! Знаете, что ваши домры да слоницы сожгли по патриаршу слову, и нынче настрого заказано в кабаках песни играть.

Музыкант перестал плясать, а кабатчику ответил:

— Ништо батько Трифон! Москва погорит — сам спляшешь.

— Ах, ты голое гузно! Ужо исцы придут, по иному заговоришь.

Кабатчик выскочил из-за стойки с плетью. Жонки пропойцы дрались.

Казак потянул женщину за собою. Целовальник разогнал дерущихся, вернулся за стойку, не видя казака и его подруги пожалел: он тряхнул бородатой головой, икнул, покрестил рот:

— Исцы не идут, а детину с женкой упустил — детина с саблей... кровь на руках, воровские каки-то людишки?..

Женщина двигалась, как во сне. Казак спросил:

— Ты женка ведаешь ли путь?

— Веду куда надо голубь-голубой.

Они прошли по шаткому бревенчатому мосту через Москву реку, пробрались закоулками стрелецкой слободы. Женщина вела такими местами, где людей или не было, или редкий кто встречался им. Потом она повела старым пожарищем. Через доски с гвоздями, через обгорелые балки и матицы шагали, спускались вниз, до земли и вновь подымались на бревенчатый завал.

— Не верил тебе, что путь знаешь!

— Ой, голубь! да как мне его не знать? Истомилась я, — сколь время высидела в яме. Голосила: «прости белой свет»... и не упомню, что голосила денно и ночью... Ой, да откуда ты сыскался такой? с неба видно?..

— С земли!.. дьяк на торгу вычитал — глянул я, ведут нагую...

В старинном тыне, обросшем кустами обгорелой калины да ивы, женщина отыскала проход. Согнувшись пролезая продолжала:

— Не домой тебя веду, голубь, там уловят, а здесь не ведают... Тут мои кои вещи хоронятся, да живет дедко шалой, скудной телом-юродивой...

— Иду — vedi!

Казак задел лицом за плесень тына — рукавом зипуна обтер худошавое, слегка рябое лицо.

Женщина спросила:

— Никак головушку зашиб?

— Замарался — грязь хуже крови...

За тыном широко разросся вереск. В самой гуще вереска стлалась почти по земле уродливая длинная хата. На пороге, на краю входа вниз, сидел полуголый старик-горбун. Н грязном теле горбуна, обмотанном железными цепями, висел на горбатой груди железный крест. Горбун не подвинулся, не шевельнулся, но сказал запавшим вглубь голосом:

— Ириньца? с того света пришла молотчого привела, а не прикажут ли вам бояры в обрат итти? Он растопырил костлявые ноги, мешал проходу.

— Ой, не держат ноженьки. Двинься дедко!

Горбатый старик подобрал ноги.

Казак с женщиной вошли в подземелье, в темноте наткались на сундуки-укладки, но женщина скоро нашарила низенькую дверку, в которую пришлось вползти обоим. На глубине еще трех ступеней вниз за дверкой была теплая горница. Женщина выдула огонь в жаретке небольшой изразцовой печки, особого лежаночного уклада. Казак стоял не сгибаясь и хотя роста он выше среднего, до потолка горенки еще было далеко.

От восковой свечи женщина зажгла лампадку, другую и третью, перекрестилась, сказала гостю:

— Да что ты стоишь, голубь-голубой? — садись! вызволил меня от муки мученской! а воля будет лечь — ложись, там кровать, перина, подушки — раскинься, сюды никто не придет...

Сбросила его жупан на лавку и куда то ушла голая. Устал казак, а в горнице было тихо, как в могиле. Сбросив зипун, саблю и пистолет, столкнув с ног тяжелые сапоги прямо на пол, он задремал на перине, поверх одеяла.

Женщина, тихо ступая по полу туфлями, обшитыми кунницей, вернулась прибранная в синем из камки сарафане, в шелковой душегрее. Густые волосы ее смяты и вдавлены в сетчатый волосник, убранный жемчугом. Она подошла к кровати, тихо тихо присела на край и прошептала, чтоб не разбудить гостя,— спи голубой-голубь! век тебя помнить зачну... пуше отца матери ты к моему сердцу прилип...

Казак открыл глаза.

— Ахти я беспокойная! саму дрема с ног валит, а тянет к тебе голубь придти глянуть...

— Ляжь!

— Кабы допустил лечь—лягу и приголублю, вот только лампадки задую, да образа завешу.

— Закинь Ириньца бога! не завешай,—с огнем весело жить.

— Ой, так-то боязно, грех!

— Грех? мало ли грехов, на свете?... Не гаси, ляжь!

— Ой, ты грехов гнездо! пусти-ко... дозволишь обнять, поцеловать ино не дозволишь?—а я и мылась, да все землей пахну.

— Перейдет!

— Все голубь перейдет, а вот смертка?..

— Жмись крепко и молчи!

— Ужо я сарафан брошу!

— Душегрею, сарафан—все — целуй! от лишней думы без ума нет проку!

— Родной! Голубь-голубой!

— Эх, Ириньца. Ты новой разбойной струг... не попусту я шел за тобой.

— Родной! дай ты хоть ветошкой завешать бога? — Слаще мне будет...

— Молчи — жонка!

III.

Проснулся казак, от яркого света свечей, за столом под образами сидит голый до пояса юродивый. Женщина исчезла, казак сказал уроду:

— Ты чего в красный угол сел?

Наливая водки в большой медный кубок, юродивый ответил:

— Сижу на месте... в большой угол сажают попов да дураков, а меня съизмала таковым именем кличут.

— Ну, ин сиди и я встаю! А где Ириньца?

— Жонка в баню пошла, да вот никак лезет...

Женщина вернулась румяная, пышная и потная, на ней был надет отороченный лисьим мехом шелковый, зеленый кортель-распашница, под кортелем голубой сарафан, рубаха шелковая розовая, рукава с накапками — вышивкой из жемчуга.

— Проспался голубь-голубой, мой ты — голубь!..

— Удечу скоро! гость встал, под грузным телом затрещала дубовая кровать.

— Матерой! молодой, а вишь как грузишь — не уродили меня веком таким грузным... проворчал старик...

— Я вот вина принесла, да меду вишневого! а улетишь голубь-голубой — имячко скажи, за кого буду кресты класть. кого во сне звать?

— Зовут таки меня Степаном, роду — я из далече...

— Оденься-ко Степанушко! чья это кровь на тебе? Смой ее с рученок да окропи, голубь, личико водой студеной... а я на торгу была... все проведала, как наших стрельцов, что у мосей ямы стояли исцы ищут всю-то Москву перерыли, да не дознались... жон стрелецких, да детей на спрос в земский приказ поволокли.

— Бойся, жонка! тебя признают, худо будет...

— Ой, ты голубь! Жонку на Москве признать труд большой — нарумянилась я, разоделась купчихой, брови подвела, нищие мне поклоны гнут, жонку искать не станут... Будто-те собаки в яме съели, и меня бы загрызли, да стрельцы, спасибо, угоняли псов — «пушай, говорили, помучится»...

— Худо вишь на добро навело... проворчал юродивый.

— И слух, голубь, такой идет — жонку собаки расташили, а начальник стрелецкий вор, ушел сам, да стрельцов увел. По начальнику, родненький, весь сыск идет. Женщина говорила нараспев.

— В долгом ли обмане будут? в долгом ладно, а в коротком, тогда пасись... Ну да сабля точена, елмань у ней — по руке, а кто нос сунет — будет знать Стеньку...

— Ой, да что я-то? воды забыла! Женщина ушла, вернулась шумя медным тазом. В правой руке у ней был кувшин серебряный, плескалась вода — умойся голубь-голубой!

— Эх, будем гулять, плясать, да песни играть! ладно-ли Ириньца?

— Ладно, мой голубь-ладно!

— Вот и кровь умыл — пропадай ты Москва боярская!

— Уж истинно пропадай! Народ-от, голубь, злобится на родовитых, кои ближни царю, на Бориса Ивановича, да на Думново дьяка Чистова, на Плещеева, судью корыстного, много народа задарма в тюрьме поморил Плещеев-то царю сродни, а соль всю ныне загреб под себя — цену набил такую, что простому люду хоть без соли живи...

— Слышал я это; у тебя, Ириньца, нет-ли ненароком татарской одежины.

— Есть, голубь-голубой. С мужем-то моим, неладом его помянуть, одежиной разной в рядах торговали... Уже я поищу в сундуках, да помню, голубь, что есть она поганая одежина и шапка и чедыги мягкие с узором.

— Ты жонка толковая!

— Народ-от давно бы навалился на своих супротивников, только немчинов пугается — немчин на зелье-пушки востер, а уж, конечно, немчин не за народ!

— Ништо и немчин! наливай-ка жонка... Русь надо колыхнуть, вот тогда и немчин в щель залезет...

Пили, целовались и снова пили. Гость поднял высоко голову, курчавую. Глаза его стали глубокими и по особому зоркими:

— А ежели меня палачи, исцы, да псы разные, боярские искать зачнуть, тогда Ириньца не побоишься дать мне суграву у себя?

— Молчи голубь-голубой! укрою, а сыщут и на дыбу за тебя иду.

— Пьем, молчим, жонка!

— Сторговались — в сани уклались?.. — сказал юродивый, — хмельным старика забыли тешить.

— Помним, дедо, помним! — в большой, медный кубок юродивого казак налил меду.

— Вот оно-то, что надоть: и сладко и с ног валит!

— Ты-бы, дедко, рубаху накинул!

— Эх, Ириха, под рубахой моей святости не видно, а я еще плясать пойду. Ты, паренек, когда о жонку намозолишь губы, а шея заболит от женских рук, поговори со мной.

— Ладно! Гость придвинулся к юродивому.

— Дальной-ли будешь?

— С Дона... у нас хлеба не пашут... рыбу ловят, зверя бьют и ясырь (человечий полон) берут, торгуют людьми да на Волгу из Паншина гулять ездят... тем живут!..

— А ты, гость-паренек, когда в отаманах будешь, не давай человекa продавать...

— А пошто, дедко?

— Самого продадут... а клады искать любишь?

— Нашел, вырыл, вот вишь клад—казак похлопал женщину по широкой спине.

— Этот клад, поет влад, а в лад не войдет, мороз по коже пойдет—она у меня с норовом...

— Ты казну ежели золотную, жемчужную, аль-бо серебряную похощешь, то скажу я тебе о травах цветных, сиречь по досельному... о кринах черленых и белых...

— Любопытствую, дедо, скажи?

— Так вот чуй: есть скакун-трава, растет на надгробных местех, ростом высока, цвет голуб, кольцами, весьма для клада гожа. Завернуть сию траву в тряпицу, она сама раскрутится и скочит, а вертеть ее надо на поле: куда трава скочит, там огонь возгорится тут и клад рой...

— Мой клад, дедо, вон на лавке лежит—в чудеса я не верю, а саблей добуду, жемчуг, золото и жонку.

— Али тебе не сказывать дальше?

— Нет, ты говори—чую?

— Ну так чуй! есть трава хмель полевой, растет при болотах, на ей шишки желтые, только цвет отличен от хмелевого, что в хмельнике... ежели истолкешь в порошок, семя тых шишек да в вине-ли в пиве изопьешь—сколь ни пей, пьян не будешь...

— Упомнить дедо потрeбно цвет тот-люблю пить хмельное:

— Помни, гостюшко, удалой, от многой той семени испыттой, человек в остатке бывает нехмелен, но зело буен и смел, в огонь, воду и на нож идет...

— Упомнить надо тот цвет: «ростет при болотах, на нем шишки желтые»...

Женщина, выпивая чашу меду и опрокидывая ее пустую себе на голову, сказала:

— Иной раз на улине или в церкви дедко такое заговорит, что страшно: того гляди иссы привяжутся и поволокут...

— Меня волокли, да спушали, чтут за скудного умом... Чуй еще: есть трава, зовомая воронец, цветет на бугорах на брусничниках в густых лесех, мелка, зело тонка, и видом чиста... лапочки на ней и иглы зеленые, ствол суковатой, коленцами, на тое травине ягодки зеленые, когда и черные бывают... пить ее отваром тому, кто кровию порчен, аже у кого глисты, змеи, жабы и иные гады... вся из нутра утробы вну изгонит; а може краше будет тебе о планидах сказать?

— Все что знаешь, дедо, говори!

— Было время шестикрыльную книгу я чел, жидовина схарии и иных мудрых речения и письмена их еретичные, числа исчислял по маурскому счислению и по звездам, кои писаны, гадал, а вычитал я в тых книгах, что земля наша, кою чтут патриархи и иные отцы православия, яко долонь человека, гладкой—кругла, что небо будто-бы не седми, не шти, не пять и не дву-три не бывает, что небо сие едино и земля наша кругла, а небо шар земли нашей обьяло, справа, слева, внизу и вверху, что яко бы земля наша вертится, но мотри—сие говорю только тебе, ибо ты мне, как и Ириньце по душе пат... иным боюсь. В срубе сожгут и худое мое телесо древнее, да огню его предать не изошло тому время...

— Еретичный, умолкни! крикнула женщина и застучала чашей по столу из чаши полился мед...

— Буйна ты Ириньца во хмелю зело буйна—умолкаю...

— А я говорю—сказывай, дед! то, что попы вредят говорить, надо говорить и, может, большая правда в тех жидовинных книгах есть!.. знать все хочу... хочу все, иконы чудотворные оглядеть и повернуть иной стороной, к тому я иду, и попов неправедных, как и бояр в злобе держу.

— Знать все надо, гостюшко! юродивый был пьян, но странно во хмелю обострялся его мозг и говорил он без запинки.

Он стучал костлявым кулаком в горб, тряслась его жидкая, седая борода, звенели вериги на тошем, коростоватом теле, а на горбе прыгал железный крест. Надо знать и вот за сие на костер готов идти-знать все мысля!.. и может, как указано в еретических письменах, земля наша станет в веках белой и хладной, яко луна, а луна тоже шар, крутящийся и шар сей ледяной... и звезды есть, гостюшко величины необозримой и каждая звезда-шар и все... все оно вертится сменяя свет тьмой и тьму светом и ветры и бури...

— Горбун! окунь столетний он мой голубь-голубой. Степа, ты ведь мой?

— Твой Ириньца — с тобой я твой!

— Снеси меня на постелю.

— Сиди!

— Снеси — говорю! или сорву с себя платье, нагая побегу по Москве и буду кричать — «я та, которую он взял от червей могильных, я та и он тот, кого я люблю больше света-солнышка!» Степа — снеси...

— Не вяжись Ириньца! дед говорит, я хочу знать...

— Она помеха и буйна. Сполни, не отстанет... Казак встал поднял женщину разомлевшую, от водки и меда, снес, положил на кровать. Женщина целовала его и кусалась.

— Ляжь — побью!

— Бей! люблю... бей, а побьешь — сзади побегу, битой, любимым еще слаще любить.

— Усни — приду скоро!

Ушел, а женщина примолкла и видимо спала.

И странно, когда гость прошелся по горенке, у него стало от хмеля мутиться в голове, ясные глаза налились кровью, а большая рука легла на рукоять тяжелой сабли, перед ним кривлялся маленький седой горбун, на нем позвякивало железо. Казак забыл, что еще так недавно слушал горбуна, который сидел и говорил ему неслыхавное. Он топнул тяжелым сапогом и повелительно крикнул:

— Пляши Сатана!

Юродивый завертелся по горнице, горб его, подбрасывая крест, ходил ходуном, моталась седая борода, каким-то ржавым голосом старик напевал:

„Жили-были два братана,
Полтора худых кафтана
Голова на прахе!
Кровь на рубахе,
Мясо с плеч,—
Стали сечь!
Ой щипцы да клещи,
Волоса да кожа—
Неугожа в крови
Покосилась рожа!
Зри-ла жилы тащат,
Чуешь? — кости трещет.

И тихо тихо продолжал:

Две сулицы...
Три сафьянных рукавицы...
Дьяк да приказной,
Перстень алмазной...
Чет ударов палача—
Бьют с плеча!
Сруб-от в мясе человечесем
Тулово с увечьем...
Кости, кости,—
Ворон летит в гости.
Кровью политый воз.
Под пятами навоз
Идут в кровь — как в воду—
Честь сия от бояр народу!
Ачинь...

Дьявол — худо пляшешь... гость было сбросил саблю на скамью, выдернул ее из ножен, и тяжелые сапоги с подковами лихо застучали по горнице: Он свистел припевая:

„Гей Настасья,
Эй Настасья,
Отворяй-ка ворота!
Распахни и со крыльца!
Принимай-ка молодца!
У тебя-ль моя Настасья,
У тебя-ли пир горой.
У тебя-ли пир горой,
Воевода под горой,
До полуночной поры
Гей, точите топоры!..

Воеводу прием в гости,
Воронью оставим кости
Ай, Настасья!
Гей, Настасья!

Вторя свисту казака, сабля посвистывала, описывая круги. Старик испугался блеска сабли и разбойных посвистов, залез под стол, казак сделав круг по горнице, приплясывая, вернулся к столу. Неожиданно тяжелая рука с саблей опустилась на стол. Дубовый стол, разрубленный вдоль зашатался и крякнул, доска разбилась от удара — сабля глубоко врубилась в прочный дубовый столешник. От треска, стука и звона посуды, брызнувшей искрами со стола, проснулась пьяная женщина, приподнялся на постели, спросила:

— Дедко, где звонят?..

Испуганный юродивый, привыкший к шуткам, не мог не пошутить, ответил:

— У Спаса — Ириныща!

По полу валялись огарки сальных свечей и дымили, колеблясь светили только лампадки у образов.

Притопнув ногой, казак с размаха воткнул саблю в стену, сабля сверкая закачалась. Сам он сел на скамью, тер лоб и ерошил кудри. Старик выполз из-под стола, собирал огарки свечей, битую посуду, яндовья и чаши. Сдвинув разрубленную доску, расставил посуду; заглянул в кувшин с медом, устоявший и целый:

— Оно еще есть — чем кружить голову и сердце бесить... и робко сказал гостю:

— Я гостюшко, такие песни не мочен играть...

Гость сидел, свесив голову, рвал с себя одежду, бросал на пол. Старик осторожно, как к хищному зверю, подполз, стащил с гостя тяжелые сапоги, приговаривая:

— Водки вишь на радостях глупая жонка добыла с зельем табашным... бьет та водка в человеке память. Казак встал тяжелый, глаза потухли, а рот на молодом лице кривился и зубы скрипели. Старик быстро исчез с дороги. Казак прошел и рухнул на кровать. Юродивый прислушался. Казак, приказывая кому-то во сне, громко засвистел.

— Пала молонья, гром прогрянул...

Старик нашарил дверь из горницы, но скоро вернулся, и его валеные тупоносые уляди прошамкали в прежний угол, он сел допивать уцелевший мед.

— Эх молодец-молодой, грозен! да не тот жив, кто по железу ходит, а тот вишь ты жив, кто железо носит... из веков так.

IV

Сумеречно и рано. Перед кремлем в рядах идет торг. Стоят воза со всякими товарами. Площадный дьяк с двумя стрельцами ходит между возов в длиннополой котыге ¹⁾, расшитой шнурами --на голове бархатный клобук, отороченный полоской лисицы. Дьяк собирает тамгу на царя на церкви и часть побора с возов на монастыри. Звенят деньги.

Впереди рядов ближе к Кремлю палач в черной плисовой безрукавке, в красной рубахе, рукава рубахи засучены, приготовился сечь кнутом вора. Преступник в синих крашенинных портках без рубахи стоит пригнувшись, дрожит — в ранней прохладке от тощего тела, вспотевшего от страху, идет пар. На впалой груди на шнурке дрожит медный крест.

-- Раздайсь, люд! кричит палач — бородатый парень, которого еще недавно видели приказчиком в мясных рядах. Он неторопливо сдвинул на затылок валеную шляпу, зажал в крепких руках, почерневших от крови, кнут и передвинул крепкую нижнюю челюсть, зашевелилась окладистая борода. Ворот рубахи у палача растегнут, виднеется на широкой волосатой груди шнурок креста:

— Ты голец и тать, спусти из себя лишний дух!

Преступник пыжится, от натуги багровеет лицо, а толпа гогочет:

— Сипит, худо!

— А, ну попробуй, ино жидкимпустишь!

— Несчего — иначе.

--- Держись!

¹⁾ Котыга — кафтан, только иного покроя и шире.

Палач шевелит кнут, распутывая движением руки на конце кнута кисть из воловьих жил.

— Тим! тамм! тимм! звенят в воздухе литавры. Народ расступается, иные снимают шапки:

— Боярин!

— Царя с добрым днем чествовать!

— Эй, народ, — дорогу!

Через площадь проезжает боярин, черная борода с проседью. Боярин бьет рукояткой кнута в литавры, привешенные к седлу, лицо мрачное, на лице густые черные брови, из-под них глядят круглые ястребиные глаза, он в голубой бархатной ферязи, от сумрака цвет ферязи мутно-серый — на голове клобук, отороченный соболем — боярина по бокам и сзади провожают холопы. Огонь факелов колеблется в руках челяди, мутно отсвечивая в драгоценных камнях ферязи, боярина и на жемчугах, заплетенных в гриве коня:

— Воевода — а!

— То кто?

— Князь Юрий Алексеевич!

— Ен Долгоруков — тот?

— Тот? что народу не любит...

— С дороги! людишки.

Свищет кнут... после десяти ударов преступник шатается. Кровь густо смочила опушку портков.

— Стоя не осилишь — ляжь! Спокойным голосом, поправляя рукав распутившейся рубахи, говорит палач.

Преступник охрип от крика; он покорно ложится, ослабел и только шевелит лишь губами. Бородатый дяк с гусиным пером за ухом, обросшим волосами, как шерстью с чернильницей на кушаке, считая удары, подал голос:

— Полно-о!

Подвели телегу. Помощник палача в черной рубехе; перетянутой сыромятным ремнем, поднял битого, ввалил на телегу. Преступник моргает слезливыми глазами и чавкает ртом:

— Пи-и-ть...

Палач делает шаг, не глядя, грозно кричит на толпу:

— Раздась! и щипцами откусывает преступнику правое ухо, тот не чувствует боли и шепчет внятно:

— Пи-и-ть!..

Дьяк махает мужику в передке телеги и говорит бито-
тому:

— Не воруй! левое ухо потеряешь...

— Поглядели бы крешенные, что уволок-то парень? Ку-
рицу-у...

— Да, суды... тыранят народ!

* * *

Недалеко от битого места дерутся две бабы. У них
в руках было по короваю белого хлеба, теперь хлеб затоптан
в песок, а бабы, сорвав с голов платки, таскаются за волосы,
шатаясь тычутся в толпу. Толпа науськивает:

— Белобрысая, ты за подол ее, за подол!

— Кажи народу ее подселенную!

— Черная жонка! вали ее, дуй коленкой-то в пуп! в пуп
чертовка, да коленкой-э-эх!

— А, не, робята! Русая забьет, страсть люблю у жонок
зады, мякоть.

— Лакомый, видать снохач?

— Зады у жонок... я знал одну...

— Беги!

— Плошадный дьяк!

— Не кусит! чего бежать?

Дьяк со стрельцами подходит не торопясь. Бабы лежат и,
лежа, держат одна другую за волосы, плюются и языки высо-
вывают.

— Эй, спустись кошки!

Бабы не отпускаются. Дьяк говорит стрельцам:

— Берите-ка на съезжую!

Бабы вскакивают, подбирают волосы, одергивают сарафаны.
Одна тощая с желтым лицом кланяется:

— Господине, дай молють?

— Ну!

— Да какже, господине, она моему мужу передом, все
передом угобжает — без ума мужик стал!

Другая тоже: кланяется:

— Господине дьяче, — она жена ему постылая, на всех лжет, а у самой жабы в брюхе кважут и кулькают. Чуть ее страшно, болотной тиной смородит — икота у ей завсегда...

— Ах ты сволочь, перескочи твою утробу! да я тебя...

— Вот господине дьяче — вишь кака она привязучая?

— Робята! разведите их дале врозно, да в зад коленом — говорит стрельцам дьяк и идет в толпу громогласно выпуская из себя газы.

— Будь здоров, дьяче! слышится голос. Дьяк отвечает строго, чувствуя насмешку:

— Поди постов не блюдете? а я блюду — с редьки это у меня по брюху ходит!

Он обошел ряды возов и, не видя того, с кого можно взять тамгу, исчез.

Толпа шатающихся праздно прибывает. В толпе появился татарин. На худощавом, рябом лице горят зоркие глаза — татарин в синей ермолке, в серой чалме, в желтом, бархатном зипуне в зеленых чедыгах с загнутыми носками, с мешком в руке.

— Купим соли, урус? Купим соли! и трясет мешком. Народ лезет к татарину, покупая, дивится, что дешево:

— Да где ты добыл, поганый, соль?

Татарин запускает в мешок большие руки, пригоршнями мерит соль, а берет за фунт, грош...

— У нас на Казань нет бояр, нет Морозов, нет Плещеев, на Казань соль три пригоршни — грош...

А был на Казань князь, татарской князь, соль, дорожил — народ не давал — рубили ему башка, соль дешева стал!..

— Православные! ино татарин правду сказывает!

— Кабы Плещееву завернуть голову, то соль была бы...

— Морозову.

— Морозову заедино!

К татарину протолкались сквозь толпу два человека в длинных сукманах, в черных, похожих на скуфью, шапках:

— Пойдем-ка, поганый, с нами!

Татарик на всю площадь крикнул:

— Гей, люди московские! За добро и правду к вам, меня исцы берут.

- Пошто? где исцы?
- Бей псов боярских!
- Гони! Лу-у-пи сотону-у.

Один из исцов быстро выдернул из под полы сукмана тулумбаз ¹⁾, но татарин не дал ему ударить сполох, пистолетом, спрятанным в длинном, сборчатом рукаве, стукнул по голове исца — черная шапка вдавилась в череп, истец упал. Другой побежал, призывая стрельцов, но его схватили тут же, свалив забили до смерти сапогами. Синяя тюбитейка и повязка свалились с черных кудрей татарина...

Народ теснился на площадь. Ловили и избивали исцов — исцы исчезли.

Кто-то закричал:

— Поганный ты, свой-ли? все едино веди на бояр!

Смуглый, в черных кудрях, в татарской одежде, крикнул на всю плоданы:

- Народ! гож-ли я в атаманы?
- Гож! гож!
- Пойдем, — веди-и!
- Веди! будет им нас грабить.
- Имать Морозова-а!
- Молотчий! — веди-и...
- К тюрьме-е! Колodников спустим.
- Бояр солить — идем!

* * *

По Москве во всех больших церквах бьют сполошные колокола.

Воеет медный звон, будто тысячи медных глоток.

- Зашевелились попы-ы, на фроловой башне звон!
- Небойсь! стрельцы с нами-и — пушай фролят...
- Морозов усохутился — сбежал!

В Кремле трещит прочное, резное крыльцо боярина Морозова. Серой лавой лезет толпа с топорами, с кольем, с палками. Крепко запертую дверь выдавили плечами. В толпе изредка мелькают лица холопов Морозова.

¹⁾ Род бубна.

В росписной, сумрачной прихожей с окнами из цветной слюды встретил грозную толпу седой дворецкий, в синем доломане, с протазаном в руках.

— Куда чернядь? Смерды! — чего надо? и размахивал неуклюжим оружием. Протазан задевал за стены и плохо ворочался в старых руках. Старик отчаянно закричал:

— Боярыня! Матушка! пасись беды...

— Брось матушку! пой батюшку.

К старику подскочил крепкого вида ремесленник в сером фартуке ударил по древку протазана коротким топором и оружие, служащее для парадов, выпало у дворецкого из рук.

— Пе-ес!

Старик стоял у дверей в горницы, растопырив руки, мешал проходу. Тот же человек схватил старика поперек тела, выбежал с ним на крыльцо и сбросил вниз. Толпа хлынула в горницы. От тяжеловесного топота дрожал пол, скрипели половицы, раздался хряст дерева, стук топоров. Вырвали окна, резные рамы тресали под ногами, слюда рвалась, липла к сапогам.

— Узорочье — товарищи-и!

Разбили крышку ларя, окованного серебром, но там оказались кортели, кики, душегреи. Пихали, роясь, в ларе боярские волосники, унизанные жемчугом и лалами.

— Во где наша соль!

Все из ларя выкидали на пол, ходили по атласу, а золотую парчу рвали на куски. Кичные очелья били о подоконники выколачивая венисы и бирюзу.

— Соли бра-а-таны!

Наткнулись на сундук с кафтанами, ферезями — стали переодеваться: сбрасывали сукманы и сермяги, наряжались наскоро с треском материи по швам, в фереязи и котыги. Сбрасывали с ног лапти и уляди, обувались в чедыги узорчатого сафьяна, а, кому не лезли на ноги боярские сапоги, швыряли в окно:

— Гришке юродивому гожи!

Одевшись в бархат ходили в своих валяных шапках и по головам лишь имели сходство с прежними холопами и смердами. Одни переоделись, лезли к сундуку другие:

— Ай, парень! одел боярином.

- Ватаман — в парчу его обрядить!
- Тут ему коц с аламом, с круживом!
- Не одержет — чижол!
- Эй, ты! как тебя отаман?
- Одейся!
- А, ну, нет ли там турецкого кафтана?
- Эво-бери-и! на ище колпак с прорехой с запоной.
- Пускай, буду я как из моря с зипуном...

Иные в толпе не переобувались, ходили в своих неуклюжих сапогах, то были осторожные:

... Ежли бежать надо, так одежду кинуть, а сапоги свои... Херувимы, писанные по золоту среди крестов, спиралей, голубых и красных цветов, неподвижно глядели на гостей, небывалых раньше в покоях царского свояка.

- Эй, други-и! винца-ба...
- Соскучал, за солью ходить, хо, хо, хо! бражник...
- Сыщем вино-о!
- Гляньте птича!
- Диковина — лопочет по людски?
- На кой ее пуп? не диво, кабы сокол!

Иные обступили клетку тянутого серебра, совали в клюв зеленому попугаю заскоруждые пальцы:

- Долбит трясогузая?
- Шипит!
- Бобку нашли младени? Шибай на двор!

Выбросили клетку с птицей в окно. Коротко сгрудились перед тяжелой, дубовой дверью с узорами из бронзы на филенках, нажали плечами, не подается:

- Подай топоры!
- Стук и вылетели дубовые филенки:
- Тяни на себя-а!

Дверь сломана — хлынули в горенку, мутно сиявшую золотой парчей вплоть до сводчатого потолка. Окна завешаны. На вогнутых плафонах с узорами синими и красными, фонари из мелких, цветных стекол на бронзовых цепочках, в фонарях горят свечи. Под балдахином из желтого атласа-кровать, на кровати растрепанная и очень молодая женщина.

- Сестра царицы!

— На пуп нам ее — тут девки есть!

На низких табуретах, обитых алым бархатом в головах и ногах боярыни, две девицы, обе русые в голубых сарафанах. Толпа смыла обеих. Скоро и буйно сорвали с девиц шелковые сарафаны, сбороздили заскорузлыми руками девичьи венцы с жемчугом, растрепали волосы. Больная боярыня с усилием поднялась над подушками и слабо крикнула:

— Не надо!

— Хо, хо-о! не будь ты сестра царицы мы бы тя помяли.

— Пяль робяты!

— На полу мягко!

— Чего ты? шибай им рубахи на голову!

— Жадной, обеих загреб!

Девицы снемели от ужаса, стиснув зубы и закатив глаза вертелись в грубых руках, падали, но их подхватывали. Тяжелый вошел в горенку, отбросил занавесь окна — летнее солнце хлынуло в сумрак. Раздался голос, слышный ранее на всю площадь:

— Зазвали в отаманы, слышите слово! девок насилить или то робота? Сечь топорами наша правда! Послушались голоса. Девиц помятых, растрепанных кинули на кровать боярыни, как снопы соломы. Шиблись обратно в другие покои — срывали со стен многочисленные образа, разбивали киоты, сдирали серебрянные ризы с лалами и жемчугом — доски образов кидали в окна.

Атаман остался в спальне. Тяжело ступая, шагнул к кровати. Больная боярыня, закрывшись до подбородка атласным одеялом, сидя на постели, дрожала:

— Слушай! я тебе грэзить не стану — скажи добром, где узорчье?

Морозова подняла голубые глаза и снова с дрожью зажмурилась:

— Отведи глаза, не гляди!

— Глаза?

Он шагнул еще ближе, почти вплотную и слышал, как забившись под одеяло всхлипывали девицы. Одной рукой приподнял Морозову за подбородок, другой тяжело погладил по мокрым от недуга и страха волосам, но в голове его мелькнуло — могу убить?

— Не боярин... огнем пытать не стану — добром прошу...

Чуть слышно боярыня сказала:

— Головашник... тут под подушками...

— Ино ладно!

Он выдернул тяжелый головашник, отошел, стукнул от-
вернувшись к окну, ящик о носок сапога и выбрав в карманы
драгоценности, пошел не оглядываясь, но приостановился слыша
за собой голос боярыни:

— Не убьют нас?

Ответил громко на слабый голос:

— Нынь же, никого не будет в хоромах!

— Не спялят?

Сказал голосом, которому невольно верилось:

— Спи... не тронут!

За дверями спальни, Морозова еще раз слышала его:

— Гей, голутьба! вино пить — на двор.

Терем вздрогнул — по лестнице покатилося тяжелое. Со
двора в окна долетал отдаленный, громкий раскат голосов
стучали топоры, потом страшно пронеслось в едином гуле:

— Вино-о-о!

Под землей, в обширном подземелье подвешаны к свод-
чатому потолку на цепях серокаведерные бочки с медами ма-
линовым, вишневым, лимбирным. Сотни рук поднялись с то-
порами, били в днища:

— Шапки снимай!.. пьем...

— А я спогом хочу?

— Хошь портками пей!

Долбились, прорубались дыры в доньях, из бочек забили
липкие, душистые фонтаны.

Пили, дышали тяжело, отплеывались, скороговоркой на
радостях матерились.

Иные садились на земляной пол. Кто то; надрываясь, зычно
кричал, одно и тоже повторяя:

— Приторомко-о! подай водку-у...

— Ставай, пей!

Здынь, я не мочен!

Липкие фонтаны из сотен бочек продолжали бить, на полу
стало мокро, как в болоте, потом хмельное мокро поднялось выше.

— Шли за солью-в меду тонем!

Мокро было уже по колено.

— Бу-ух! б-у-ух!

— Энто пошто?

— Бочки с водкой лупят!

Опять голос хмельной и басистый:

— Уторы не троньте-е! днища бей, дни-и-ша.

— Пошто-те днища-а?..

— Днища или брюхо намочите, а в глотку не попадет!

— Должно товарищи то, бондарь — бочку жаль?

— Бей! Хватит водки-и...

Черпали водку сапогами, сафьяными чедыгами и шапками.

— Пей, не вались!

— У-ую, тону ро-о-бяты-ы...

Хмельный, сырой и пронзительный воздух одурял без питья. Падали в липкое пойло и засыпали, булькая.

В пьяной могиле, как на перине шутили:

— Пра-а-во-славно-му самая сла-дка-я-а смерть в вине...

В подвале появились люди в серых длиннополох сукманах, в черных колпачках, похожи на поповские скуфьи.

— Робяты-ы! исцы zde...

— Бей сотону-у!

Ловили подозрительных и тут же кончали. Какой то посадский по бедности носил сукман, шапку утопил, стоял на коленях по грудь в хмельном пойле, крестился, показывал крест на шее и руки грубые:

— Схо-о-ж, бей!

— Царева сотона вся с крестами!

Бродили по подвалу, падали, расправлялись топорами, но их расправа кончилась скоро: зеленым огнем запылала одна бочка сорокаведерная, потом другая, тоже с водкой, третья, четвертая и зеленое пожарище поползло по всему подвалу, делая лица людей зелено-бледными:

— Исцы жгут?

— Лови псов!

— Спасай-сь, тащи ноги-и!

Вылезли на двор, но многие утонули и сгорели в подвале. Толпа живых была сильна и буйна. Нашли карету, окованную серебром, сорвали золоченые гербы немецкой чеканки:

- Морозову от царя ладено!
- Царь бояр дарит колымагами, а жалуется нас столбам в поле!
- Козой да кнутом на площади.
- Кру-у-ши!

Изрубили карету в куски. Беспокоясь пошли из кремля.

- Убыло нас.
- Посады зазвать надо!

Под горой у Москворецкого моста встретили новую толпу:

- На-а-ши zde!

Ту же под горой в стороне стояла кучка людей в куцых бархатных кафтанах, в черных шляпах с высокими тульями, при шпагах. На желтых сапогах длинные кривые шпоры. Кучка людей говорила на чужом языке, показывая, то на толпу, то на кабаки где трещали разбиваемые двери и звенела посуда.

- Die Leut sind barbarischer, als wie der Türk! ¹⁾
- Slaven, aber hinter der Maske des Slaven steckt immer der Räuber.. ²⁾
- Schaut, Schaut ³⁾!
- Na, die wollen uns drohen?! ⁴⁾

Сгрудившаяся толпа на Красной площади заревела:

- Робяты-ы! побьем кукуя.
- Царю жалются, а сами живут за нас!
- За них не мало людей били кнутом!
- Меня за кукушку били!
- Меня тоже-е!
- Эй, топоры! зачинай.

Грякнул голос:

— Или я, я не отаман? Народ! немец не причинен твоей беде... Мстите над боярами!

- Правда!
- Подай судью-у!
- Плещея беззаконного!
- Их братаны Гришка юродой выметал, метлы ходил давал — «чисто мести по морозу Плящему».
- Чистова дьяка би-и-ть!
- С головой урод горбатой!

¹⁾ Эти люди больше варвары чем Турки.

²⁾ Рабы — но под личной раба, всегда, укрывается разбойник!

³⁾ Смотрите, смотрите!

⁴⁾ Ого, да они грозят нам?!

Тесная семья Шлиссельбуржцев снова поредела . . . 5 марта скоропостижно скончался Василий Семенович Панкратов, выдержавший продолжительное заключение в Шлиссельбургской крепости с 1884 по 1898 год. Рабочий от станка, Панкратов в ранней юности примкнул к революционному движению и стал одним из деятельнейших членов партии „Народной Воли“. Специальность Панкраторова — революционная пропаганда среди рабочих. После крепости Панкратов отбыл тяжелую и тоже длительную ссылку в Вилуйске Якутской области, с 1898 по 1905 год. В 1905 году Панкратов бежал из ссылки, перешел на нелегальное положение и принял деятельное участие в работе партии с.-р. В 1907 году был снова арестован и вновь был отправлен в ссылку в Якутскую область, на 5 лет. По отбытии ссылки, Панкратов вернулся в Россию и продолжал революционную работу, подвергаясь по временам арестам и обыскам. Только революция 1917 года дала полную свободу Панкратову. В 1917 г. Временное правительство назначило его Комиссаром при семье Романовых, живших в Тобольске. Его воспоминания об этом периоде его жизни напечатаны в „Былом“. В. С. Панкратов оставил еще воспоминания о жизни в Шлиссельбургской крепости (и — во „Бл.ое“ Петроград 1922) и о своей деятельности среди рабочих (и — во „Красн. Новь“ 1923).

Письмо в редакцию.

В № 27 — 28 книги „Б.лое“ за 1925 г. тов. Градский в своих воспоминаниях о Шлиссельбургской каторге, рассказывая о протесте 6-ой камеры II корпуса, упоминает между прочим о случае с сидевшими в этой камере т.т. Бузиновым и Прожогинным, которые были подвергнуты администрацией тюрьмы наказанию розгами по доносу „мелкого жулика Колосовского“.

Дело в том, что в Шлиссельбургской каторге сидели двое Колосовских, осужденных по политическим делам: Валентин Колосовский, отбывавший приговор по делу „о заговоре на царубийство“ с 1907 по 1912 год, и Виктор Колосовский, сидевший по делу нелегальной типографии в 1915 — 1917 г.

Правда, описываемый автором случай относится к 1912 году, т.-е. не касается ни одного из этих периодов, но то обстоятельство, что упомянутая автором фамилия встречается очень редко и кроме нас, насколько нам известно, других Колосовских в Шлиссельбурге не было, заставляет предположить, что сделанная автором в конце его воспоминаний ссылка на 40-тилетнюю давность, которая сыграла в его памяти много имен и фамилий, заставила автора и в данном случае перепутать фамилии.

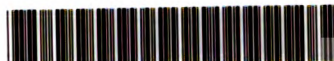
С товарищеским приветом *Валентин Колосовский, Виктор Колосовский.*

Примечание редакции. Автор воспоминаний изпрошен по существу этого письма.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

DK1
.B982

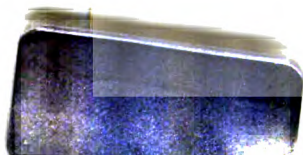
New Ser.
No. 27-29



3 0000 108 522 883



**DO NOT REMOVE
SLIP FROM POCKET**



DEMCO

DK1
.B982

New Ser.
no. 27-29



3 0000 108 522 883



**DO NOT REMOVE
SLIP FROM POCKET**



DENCO

